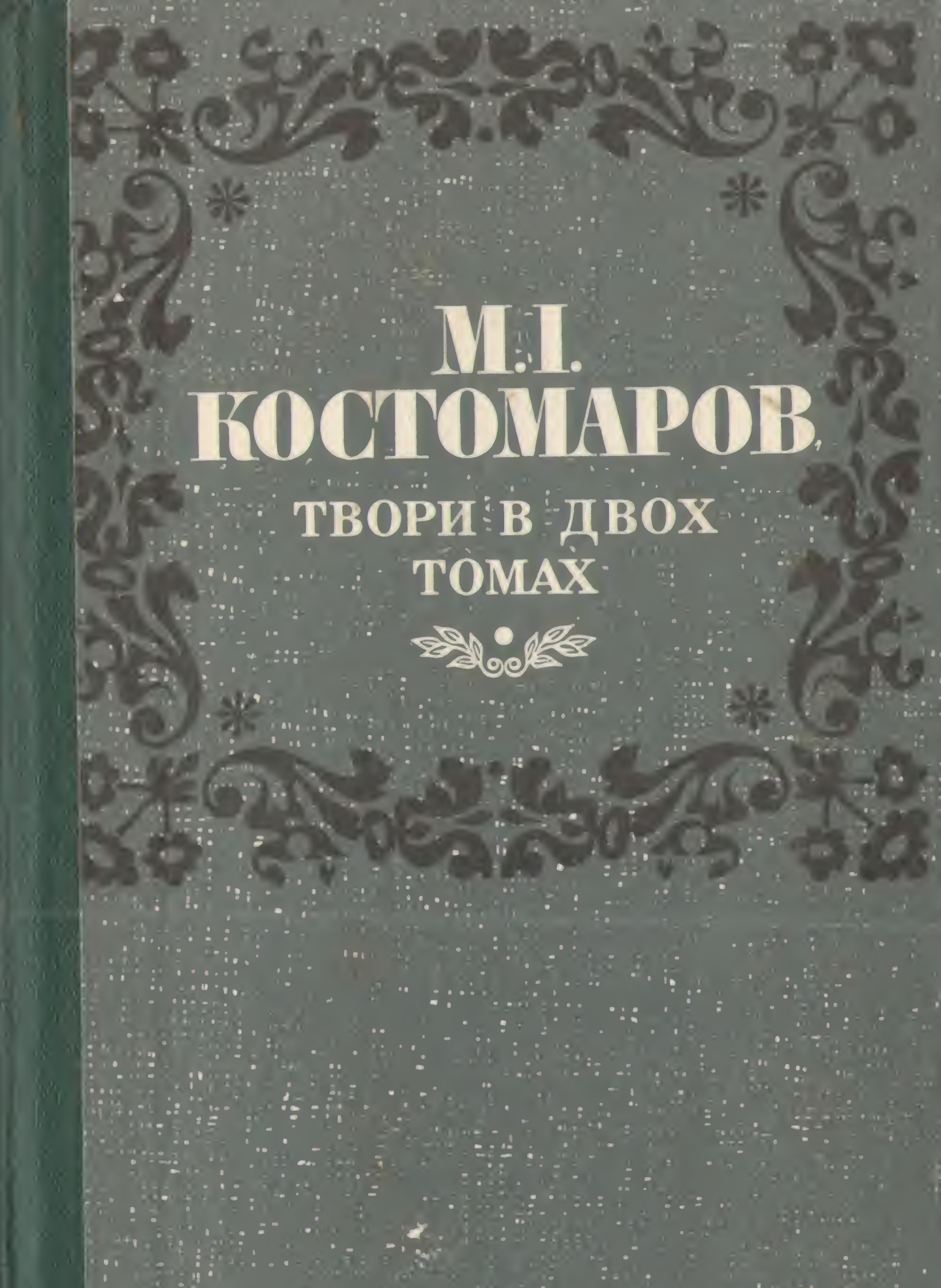


М.І. КОСТОМАРОВ

ТВОРИ В ДВОХ ТОМАХ


1817


1885

М. І. КОСТОМАРОВ

ТВОРИ В ДВОХ ТОМАХ



М. І. КОСТОМАРОВ

ТОМ ДРУГИЙ



ПОВІСТІ

КИЇВ
ВИДАВНИЦТВО ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ
«ДНІПРО»
1990

ББК 84УкІ+84РІ
К72

До тому ввійшли історичні повісті, написані російською мовою, в яких відображено побут, звичаї, трагічні події XVI — XVIII ст.

В том вошли исторические повести, написанные на русском языке, отображающие быт, обычаи, трагические события XVI — XVIII ст.

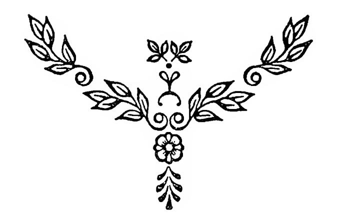
Упорядник, автор передмови та приміток *В. Л. Смілянська.*

К $\frac{4702640106—052}{М205(04)—90}$ 52.90

ISBN 5-308-00582-6 (т.2)
ISBN 5-308-00583-4



ПОВІСТІ



СЫН

Рассказ
из времени XVII века

I

В 1671 году, в августе месяце, по дороге, составлявшей боковую ветвь большой дороги в Саранск, проезжали двое путешественников: один был лет двадцати семи; другому, по его черной с проседью бороде и морщинистому лицу, казалось под пятьдесят. Молодой был одет в суконную чугу вишневого цвета с короткими рукавами, достигающую до колен, и с нашивками голубой материи вдоль переднего разреза, на которых прикреплены были петли с пуговицами; пояс из полосатой материи белого, черного и алого цветов обхватывал его стан; за ним был заткнут кинжал в ножнах и пистолет; на левом боку пристегалась к поясу на серебряной цепочке сабля. Подол чуги окаймлен был широкою желтою полосою; из-под него выказывались штаны малинового стамеда, убранные в большие сапоги, которые были некогда зеленые, но от пыли порыжели. На голове у него была четвероугольная шапочка с раздутыми углами, красного сукна с околышком из собольего меха; фигура этой шапочки обличала малороссийское происхождение: такие шапки стали входить в употребление только после присоединения Малороссии, и то преимущественно между служилыми, перенимавшими этот покрой в стране, где бывали. За широким седлом, состоявшим из раскрашенной пестрыми узорами луки, желтого чепрака и зеленой подушки, был прикреплен такой высокий чемодан, что почти достигал до плеч всадника, и всадник мог облокачиваться на него, как на спинку кресла; на внешней стороне были привязаны к нему овчиная шуба и бурка из верблюжьей шерсти; а между ними и всадником прикреплено к седлу ружье, положенное поперек. На правой стороне зацеплялся за луку седла мешок с сапогами и пороховницей, в нем был другой мешок с сухарями и вяленой рыбой; на левой висела большая медная сулея, привязанная цепочкой к седлу. Так как тогда было время утреннее, то на молодце сверх чуги был накинут опашень темно-зеленого сукна с широкими желтыми нашивками и длинными рукавами, которых концы спускались ниже стремян. Когда

солнце пригревало, он скидывал с себя эту верхнюю одежду и привязывал к чемодану. Сбруя его лошади была украшена множеством маленьких серебряных блях; подле ушей были на каждой стороне по два бубенчика, а под мордой висели два длинных сборных, расширяющихся к концу ремня, окованные серебряными бляхами по каждой сборке или чешуе. Звук бубенчиков на далекое пространство кругом разносился в утреннем воздухе.

Другой, ехавший позади молодого, был одет в кафтан синего сукна с зелеными нашивками, застегнутый большими медными пуговицами; за красным шерстяным поясом был у него заткнут огромный складной нож; на голове была остроконечная войлочная шапка; за плечами у него был привязан саадак со стрелами и лук. Позади него торчал чемодан, а на нем два больших узла; на правой стороне у стремян висел мешок, на левой — баклаг с водою; у стремян с обеих сторон было заткнуто по копью. Лошадь его была не так породиста, как у ехавшего впереди, сбруя с простыми медными бляхами.

Первый из наших путников был Осип Нехорошев, дворянский сын, возвращавшийся из похода в Малороссию, на родину; второй — его слуга; какое имя дано ему было при крещении, мало кто знал это, и все звали его Первуном или сокращенно Первушей. Тогда, как известно, оставался еще обычай давать, кроме крестного имени, другое, составленное на своем языке, и по этим именам людей чаще звали, чем по крестным.

Осип Капитонов был сын Капитона Михайлова Нехорошева, жившего в Саранском уезде, в селе Нехорошевке. Его отец, дед Осипа, Михайло, был сын боярский, испомещенный в карельской земле. После Столбовского договора, когда Московское государство должно было купить спокойствие ценою Водской пятины и Карелы — древних волостей Великого Новгорода,— многие из помещиков не захотели служить свейскому государю, покинули свои имения, прибыли в Москву и били челом государю поместить их в Московском государстве. Михайло Нехорошев был в числе их.

Не так скоро дело делается, как сказка сказывается. Переселенцы оставались без поместьев целых семь лет, даром что везде были неисповедимые пространства пустых земель и отвести земли можно было не только нескольким карельским помещикам, но такому же числу людей, сколько было тогда в Московском царстве; и тогда бы еще все

отзывалось пустырем. Михайло Нехорошев был грамотнее против своих товарищей и потому писал за всех челобитные за челобитными, стараясь разжалобить правительство уверениями, что они и босы, и голодны, и холодны, и с женушками, и с детишками волочатся меж дворов и умирают голодною смертью. Но Поместный приказ привык к такого рода трогательным выражениям и не принимал всякое лыко в строку, а по обычной беспечности откладывал эти челобитные на предние годы; дворяне же хоть и описывали свой голод, а при каждой новой челобитной все-таки должны были являться с пирогами да оладьями к приказному люду, чтобы, по крайней мере, не смотрели на них волками. Наконец после многолетних проторей и убытков последовал указ от царя и великого князя Михаила Федоровича всея Руси — испоместить перешедших из-за свейского рубежа в украинных городах на саранской черте. Тогда сплошь от Волги до Дона и до Воронежа проводились валы и по ним строились города, острожки и засеки; хотели заселить пустые земли: возникали города Тамбов, Шацк и др., в их числе Саранск. Около этих городков являлись сельца, деревни, майданы между мордовских и чувашских селений, и последние исчезали с появлением русских: жители их убирались в леса, и хотя должны были все-таки признавать власть белого государя, но старались жить как можно подальше от пришельцев со своими кереметями, которым становилось небезопасно поблизости христианских церквей. Русские жители этого края, кроме помещиков и служилых в городах и слободах, построенных близ городов, были по селам отчасти гулящие люди, то есть не записанные в тягло от отцов дети, от дядей племянники, а отчасти беглые: им здесь было безопасно на срочные десять лет, после которых они могли оставаться свободными и не бояться сыска от вотчинников, старост и приказчиков. Помещики, которым раздавались земли, назвали к себе такой народ, а другие приводили с собой холопей и крестьян из верховых городов, т. е. из северных провинций. Эти возникшие селения стояли одно от другого верст на тридцать и на пятьдесят; все были приписаны к тому или другому городу и вместе с городом составляли уезды; воевода того города, куда приписывалось селение, держал суд и расправу над его жителями, высылал помещиков на службу, посылал служилых собирать с людей царские дани, выгонять народ на городовые работы

и скликать их в город в осаду, когда слышал вести о приближении неприятеля.

Нехорошева произвели в дворяне. В чем заключалось различие между дворянином и сыном боярским, этого, кажется, еще не порешила археология наша; но, во всяком случае, дворяне получали больше жалованья, назначались на лучшие места к службе, и вообще их считали за «лучших людей», по выражению того времени. Нехорошев получил «пятьсот четей в поле и в дву потомуж» и, кроме того, копен двести пятьдесят сена, да леса совместно с другими поверстно. По воеводской разверстке, рядом с Нехорошевым дали жеребьи его сверстникам, пришедшим с ним из Карелы: Жарскому, Худому, Черепанову, Лукоперову, Пауку. Земляки выбрали себе усадьбы на реке Иссе один близ другого, дали обещание создать церковь и начали тотчас строить себе дома. Немедленно стали набираться к ним разные охотники селиться. Один за другим являлись бездомные бобыли и захребетники, в лаптях, дырявых шапках, в зипунах с заплатами, с заплечным мешком, где было по две рубахи, праздничный зипун да сухари. Один и тот же тулуп служил и летней и зимней верхней одеждой; разница была та, что зимой его носили шерстью к телу, а летом вверх. В воеводской памяти было сказано, чтоб принимать только по проезжим памятям и по отпускным, а не беглых; но распоряжение это во всей силе оставалось на бумаге, на деле же правительственный порядок исполнялся только тем, что помещик спрашивал приводимого, откуда он. В таком случае ответ был почти ложный. Если б захребетник и не знал за собой греха, и тогда бы не сказал правды: так уж было принято. Коль скоро человека допрашивали с видом власти и закона о его житье-бытье, надобно было лгать. Одни отдавались в крестьяне, другие в холопи, третьи в бобыли. Холоп жил в дворе; только немногих выселяли в так называемые людские дворы; во всяком случае, они делали то, что им прикажут, и не были обязаны ничем заранее определенным: крестьянин получал жеребий земли и отправлял за него повинность; а бобыль исстари не брал жеребья, потому что не в силах был с ним справиться, и жил у помещика на особых условиях, которые уже тогда заменялись произволом владельца.

Селение, основанное Нехорошевым с товарищами, разрасталось; лет через пять владельцы исполнили свой обет и построили церковь. И великая радость была всем прихожанам, когда ее освящал саранский протопоп. Нехорошев

был между всеми важнейшее лицо, и оттого село назвалось само собою Нехорошевкою, или Нехорошевым, хотя другие помещики упрямились. «Почему ж не Худовка?» — говорили Худые. «Почему не Черепановка?» — ворчали Черепановы. Церковь освящена была во имя Покрова богородицы, в память того, что в этот день прибыли в первый раз на место помещики. Нехорошев, чтоб избегнуть зависти, сам предложил назвать село Покровским; но имя Нехорошева усвоилось ему более, и даже писцы записали в писцовых книгах: «Село Покровское, Нехорошевка тож».

Проживши на новоселье лет пятнадцать, Михайло Нехорошев преставился и был погребен в созданной им с товарищами церкви. Он оставил троих сыновей: Петра, Капитона и Ивана. Имение не разделилось: братья жили вместе, и Петр заступил место главы семьи. Последние годы царствования Михаила Федоровича и первые Алексея Михайловича протекли мирно, и помещики, не тревожимые службою, спокойно занимались хозяйством в своих поместьях; только изредка посылали их к астраханским степям, прослышав о замыслах ногайских мурз; случалось тоже раза три ходить усмирять мордву, которая вздумала было не платить меду и воску. Старые оружия, привезенные Михайлом из Карельской земли, лежали в кладовой и покрылись бы ржавчиною, если б Петр не чистил их и не выносил ради забав, которые учреждал с соседями, чтобы не разучиться воинскому делу. В летние праздники, созвавши соседей и собравши слуг, он затевал стрельбу из ружьев и луков в цель, назначал за то награды, поил и дарил слуг, которые показывали ловкость; тогда и в запуски бегали, и боролись, и рубились на саблях. Петр очень любил охоту, держал большую псарню и часто осенью и зимой выезжал с соседями и с толпою крестьян и людей сражаться с волками и медведями, которых тогда было много в том крае. Были у него и соколы; он выезжал с ними на ставки за село, иногда же, когда ему приходила охота, то занимался рыбною ловлею. Он был чрезвычайно гостеприимен, и каждое воскресенье все соседи помещики считали обыкновением ездить к нему обедать. Такие обеды шли часа по четыре; а после обеда гости, нагруженные вином и медами, отправлялись с ним за двор на воинственные забавы. В большие праздники устраивал он «гостьбу толстотрапезну», как говорилось тогда; такой пир длился до ночи. Покончив яства, гости должны были пить разные заздрав-

ные чаши, а «умельцы» потешали честную беседу громкими песнями. Хозяин со всеми жил в ладах и умел погашать всякое возникающее несогласие; одного слова его довольно было, чтобы помирить поссорившихся. «Кто своему брату недруг, тот не ходи ко мне»,— говорил он и тотчас сводил врагов вместе и давал им пить из серебряной чаши, на которой было вычеканено мудрое изречение о кратковременности жития сего и о пользе любви и согласия. Читать он сам не умел и не занимался ничем церковным, однако знал на память несколько выражений из св. писания, относящихся к союзу между ближними и ко вражде с иноверными языками. Живой, деятельный, веселый характер не склонял его к хозяйственным занятиям. Меньшой брат Иван, нрава тихого и флегматического, предался всею душою земледелию и с весны до осени проводил дни в поле с рабочими. Средний, Капитон, имел наклонность более всего к торговым занятиям; чрезвычайно способный, он не прочь был и от забав старшего брата, хорошо читал и писал; одаренный чудной памятью, умел поговорить из св. писания; покупал разные сборники, где записывались повести об Александре Македонском, слова святых и разные иноземные диковинки. Но более всего Капитон любил выгодно продать и купить; сметливый, расторопный, он ездил по ярмаркам и продавал произведения своего хозяйства, шерсть, лен, хлеб, мед и привозил домой сукна, материи, вина и сласти; на нем лежало все письменное управление хозяйства.

Оба первые брата женились, Иван все откладывал и говорил, что успеет. У Петра не было детей даже и после десяти лет брачного союза, к крайней его досаде, потому что его добрая натура любила детей; зато, когда у Капитона родился сын Осип, Петр привязался к нему как к своему собственному детищу. Он сам учил его ходить, делал для него деревянных лошадок, и когда племяннику было шесть лет, смастерил ему лук и так выучил стрелять, что маленький Осип попадал в воробья на лету.

— Учись, Оська, стрелять из лука,— говорил он,— стрельба из лука всему воинскому делу голова; будешь хорошо стрелой попадать, и пулей попадешь.

Так безмятежно жилось в селе Нехорошевке. Но вот на западе русской границы поднялась страшная гроза, втянувшая и мирную Московию в продолжительную брань. Богдан Хмельницкий со всем войском запорожским принес подданство восточному государю, и Великий земский собор

всей Русской земли 1 октября 1653 года приговорил объявить польскому государю Яну-Казимиру за его неправды и за неправильные написания царского титула войну, и во все стороны из Разряда полетели гонцы с приказом воеводам собирать помещиков, дворян и детей боярских, новокрещенов, мурз татарских и всяких служилых людей и высылать их в Севск и Смоленск. По сельским торжкам бирючи кликали клич и сзывали их на пересмотр в города.

Тревожно и тяжело загремел этот клич в ушах отвыкших от войны помещиков. Иные спешили не в город, куда их звали, а куда-нибудь далеко, чтоб спрятаться и ускользнуть от службы. Не так принял царский приказ Петр Нехорошев. Он давно уже скучал бездействием; однообразная охота не удовлетворяла его; ему хотелось дать настоящую пробу своему уменью стрелять в цель и рубиться; его жажда деятельности давно искала простора. Петр с веселым лицом отправился в Саранск. Капитон сначала было призадумался, но вскоре утешился, узнав, что его оставляют на месте. Ивана также не тронули: оба брата служили с одного жеребья с Петром, и на этот раз не трогали тех, которые не имели собственных, отдельных жеребьев. Капитон чрезвычайно был втайне доволен тем, что не будет с ним брата; хотя Петр почти не вмешивался в хозяйство, но иногда принимал тон старейшины и показывал, что ему не хочется, чтобы это забывали братья. Теперь Капитон был полный глава. Петр созвал всех соседей и всех крестьян своего села от мала до велика и задал им такую прощальную попойку, что одного меду выпита была целая бочка; каждому он сам подносил чашу и с каждым целовался; не только весь двор, но и все околодворье было уставлено столами и досками, на которые ставили яства и напитки. Зато на другой день, когда он выезжал в путь, народ не пошел на работы; все столпились провожать его. Только разлука с Осипом несколько навела на него тоску. Он очень любил его и не без слез в последний раз прижал его молодые щечки к своей обросшей жесткими волосами щеке. Он выбрал с собой трех слуг, отличных стрелков; за ним в лубочной кибитке четвертый повез его имущество. Сам Петр поехал верхом на породистом аргамаке, которого ему купил брат Капитон в Астрахани, славной тогда лошадьми во всем русском мире.

Не даром прошли его военные забавы. Вскоре он отличился на Дрожиполе; после того под Уманью привел к

воеводе пленного польского пана, которого разбил с товарищами на подъезде, когда Хмельницкий шел ко Львову; под Гродеком его ранили по голове саблею: он пролежал месяца четыре; уже отчаивались в его выздоровлении, но сильная натура взяла верх, и Петр встал с огромным сабельным рубцом через все лицо и не думал об отставке. Когда наконец поляки, пораженные со всех сторон, обманули царя Алексея обещанием возвести его на престол и устроили Виленский мир, Петр был переведен в Лифляндию. Там он отличался против шведов, отмщая им за землю своих предков, но при штурме Риги ядро ударило его в левую ногу: ему отрезали ее по колено. Тогда только Петру пришлось расстаться навеки с боевою жизнью, и он, приделав себе ключку, воротился в далекое свое поместье уже не на бодром аргамаке, потерявшем жизнь за отечество где-то в Украине, а в кибитке, сопровождаемый верными слугами. Из Поместного приказа велено было обратить из его поместья земли двести четей в вотчину.

Но не так-то радостно стало ему, когда он вступил на порог отцовского дома. Жены его уже не было в живых. Брат Иван погиб напрасною смертью, как говорилось: зашел спор о меже с соседом Жарским; воевода приказал развести их; приехал из Саранска сын боярский со служилыми, собрал всех односельцев, пригласив соседей, которых ближе не было, как верст за сорок, призвали попа; понесли по меже икону; поп должен был сказать правду по священству, а мирские люди по евангельской непорочной заповеди ей-ей: как были ме́жи земель Нехорошевских и Жарских. Вдруг шествие наткнулось на посеянную рожь. «Здесь была межа,— говорили старики,— Жарские запахали ее». Крестьяне Жарского стали кричать, чтоб по хлебам не шли; а нехорошевцы говорили, что им дела нет, что тут хлеб; посеян он не по закону; они пойдут... Слово за слово, дали рукам волю, принялись потом за дубье. Иван бросился в середину, и кто-то неосторожно хватил его в висок — тут Иван Нехорошев и душу Богу отдал. Воевода послал сделать сыск, но никак не могли найти виновного, и дело кончилось тем, что крестьяне Жарского заплатили «веру за голову». Когда Петр приехал домой, то застал в доме одну жену Капитонову полною хозяйкою. Вскоре приехал из ярмарки Капитон. Петр по-прежнему не вмешивался в его хозяйство и весь посвятил себя племяннику, которого еще более полюбил, увидевши уже не ребенком, но здоровым юношей. Изрубленный воин любил сидеть на крыльце и

смотреть, как Осип стрелял в цель да примерно рубился с слугами; часто устраивал он охоту и приказывал везти себя туда; когда делали облаву, запряженные в тележку или в сани лошади скакали во весь опор вслед за верховыми, и Петр, посвистывая и прикрикивая, ободрял ловцов. Зимою, посадив подле себя Осипа и созвавши гостей всякого звания без разбора, Петр рассказывал о своей боевой жизни и с удовольствием поглядывал на племянника, когда замечал на лице его охоту испытать самому то же. Капитон редко бывал дома, все ездил по торговым делам. Имение их увеличилось, потому что Капитон получил особый жеребей; свою всю вотчину Петр заранее отдал Осипу. Но вдруг разнеслись лихие вести: Шереметев разбит под Чудновым и отдан татарам поляками, которым сдался военнопленным: Украина отпала от царского скипетра. Из Разряда последовал указ собирать дворян и детей боярских. Пришел указ и в Саранск; Нехорошевых потребовали. Приходилось идти Капитону, но пошел за отца Осип, настроенный рассказами и примером дяди. Горько убивалась родимая матушка и сама не знала, какие нескладные речи говорила в припадке родительского горя. Капитон настаивал, что сыну надобно идти служить за отца, а Петру хоть и очень не хотелось расстаться с племянником, но он не показал этого; напротив, полюбив Осипа еще больше за его готовность, он твердил, что такому молодцу следует проливать кровь за веру святую и за его царское величество. Он дал ему опытного слугу, одного из тех, которые были с ним самим в походе. Этот слуга должен был не только служить Осипу, но быть его пестуном. Повозки не повезли за ними. «Такой молодец,— говорил Петр,— должен все с собой за седлом возить, а то с повозкой одна возня, я сам этого дознал». Таким образом выехал Осип с Первуном и таким же точно, хоть на других лошадях и в других летах, возвращался теперь на родину.

В те времена сообщения были трудны, и потому естественно, что Осип не знал ничего о своих домашних и не получал от них никакого известия во все время своей службы. Поэтому можно себе вообразить тревожное состояние и ожидание, когда он приближался к месту родины. Живы ли батюшка с матушкой? Жив ли дядюшка, которого он любил больше отца, редко его видевшего и почти никогда не ласкавшего?.. Воспоминания детства воскресли одно за другим в его памяти. Вот еще немного, и он увидит знакомый дом, сад, хоромы, увидит матушку... Образ доб-

рой матери, сопровождавший его благодатным ангелом-хранителем во все время его странствования, теперь предстал перед ним, полный надежды и отрады...

II

Уже оставалось до Нехорошевки верст десять; Осип с нетерпением шел, поглядывая и вперед, и вправо, и влево: не засинеет ли где гора, под которой расположено было село; не заблестит ли на солнце крест храма, где его крестили и в первый раз причащали. Дорога шла по опушке леса, который более и более редел, и наконец потянулась по равнине. Вдруг Первун закричал:

— Это, государь, наша степь: вон колодец наш, а вон лошади, чай, наши!

Он свистнул и махнул рукой. Прибежал табунщик в синей рубахе с длинными ссученными рукавами, без пояса, в лаптях, в войлочной шапке, с длинной крючковатой палкой в руке:

— Чей табун? — спрашивал слуга Осипа.

— Капитона Михайловича,— отвечал табунщик.

— Все ли живы-здоровы? — тревожно спросил Осип.

— Не знаем,— отвечал табунщик,— давно у двора бывали, недели две будет; а в те поры, дал Бог, все были живы-здоровы — и Капитон Михайлович, и Наталья Андреевна.

— А Петр Михайлович? — спросил Осип.

— Петр Михайлович? — сказал с удивлением табунщик.— Почитай, государь, ты не здешний. Какой Петр Михайлович? Нешто братец Капитона Михайловича? Так уж будет годов шесть, как его схоронили.

Осип побледнел, потом потряс головою, снял шапку и, перекрестясь, сказал: «Царство небесное! Воля божья!» То же повторил и Первун.

— А вы, видать, издалека? — спросил табунщик.— К нашему государю едете?

— Это молодой государь,— сказал Первун.— Кланяйся, дурень! Знаешь ли ты его?

— Нет, государь-свет, не приходилось видеть. Мы издалека пришли, а твоя милость в службе тогда был.

— Ну, будешь знать,— сказал Осип.— Куда ехать? Далеко до Нехорошева?

— А вот как поедешь, проминешь колодец, так влево

поверни — дорога пойдет,— там под гору спустишься, а там и Нехорошево.

Путники поехали. Осип оглянулся: Первун плакал.

— Что, жаль дядюшки? — спросил его господин.

— Ах, боярин, как же не жаль! Не привел Господь Бог увидать его, моего кормильца. А куда бы какая радость была теперь!

Осип не плакал, но еще больше его загрустил и молча ехал, повеся голову. Наконец лошади побежали под горку, и Первун закричал: «Государь, Нехорошево!»

Село Нехорошево было расположено на берегу Иссы под горою, покрытою кустарником и в некоторых местах запаханною. За рекою по горе стояли там и сям помещичьи усадьбы в виде укреплений. Усадьба Нехорошевых была пространнее других и глядела с возвышения над самою рекою. Прямо против нее за Иссою на площади виднелась деревянная церковь с позолоченным и потускневшим крестом на полумесяце. Стены церкви были не побелены, крыша из драни. Не должно думать, чтобы села в то время были похожи на теперешние. В тот век в земле украинных городов селения носили вид крепостей. Околица села окаймлялась оградою, иногда и рвом. Каждая усадьба укреплялась то тверже, то слабее, смотря по состоянию и по расчету владельца; частые набеги татар, еще не установившиеся отношения с мордвою и наконец нередкие разбои заставляли жить в страхе нападения. Тогда не только дозволялось, но приказывалось всем держать оружие. Все помещичьи усадьбы огорожены были высокими плетнями или заборами, а в них сделаны, как в крепостях, узкие отверстия, чтобы стрелять или камни метать на неприятеля. Крестьянские дворы огорожены были крепко, а некоторые обведены кругом рвами; не все избы выходили наружу: большею частью они скрывались в средине ограды, и потому снаружи трудно было видеть крестьянские жилья, кроме деревянных крыш, обыкновенно без труб. Только низенькие бобыльские избушки с маленькими закопченными отверстиями, заслоненными тряпицами, торчали там и сям с развалившеюся оградою, и около них в ограде не было ничего, кроме сарайчика или навеса с соломенною крышею, израненною ветрами. Усадьбы, построенные вдоль реки, представляли непрерывную линию; другие стояли по две и по три вместе; в иных местах были за плетнями одне гумна или огороды, без изб, и таким образом все село представляло несколько рассеянных групп, разделенных

между собою пустырями. Поэтому пространство, занимаемое селом, было огромно, а самые дворы тесны и как будто жались друг к другу. Проехавши по извилинам между дворами, огородами и гумнами, путники очутились на площади, где паслись овцы и телята, и подъехали к церкви. Осип снял шапку, перекрестился и увидал сквозь решетчатую огородку в церковной ограде около самого трехчастного алтаря, возле дубового креста, свежую, незарытую могилу и при ней два брошенных заступа. Так как табунщик сказал, что недели две тому назад родители Осипа были живы и здоровы, то он не подумал ничего страшного, полагал, что эта могила назначается для кого-нибудь из соседних владельцев, и пожелал новопреставленному незнакомцу небесного царствия; Осип хотел было сойти и поздороваться с дядюшкою, догадываясь, что он лежит под дубовым крестом; но, подумавши, отложил на будущее время это грустное свидание: в его мысли блеснул образ любимой матушки и радость ее, когда она прижмет к сердцу свое милое чадо. Он переехал через мост без перил, сложенный из хвороста и покрытый соломою, и поворотил к отцовской усадьбе.

Усадьба Нехорошевых была огорожена бревенчатым забором в неправильных линиях, то выдаваясь выступами наружу, то углубляясь внутрь и образуя углы, треугольники и четырехугольники; кругом нее был ров. Этого укрепления было достаточно, чтоб выдержать напор небольшого татарского загона или разбойничьей шайки. Одни ворота прямо вели к хозяйским жильям, другие были назади. Передние ворота построены были под башенкой, на которой находился большой образ богородицы, а перед ним висела лампада, зажигаемая перед праздниками. Внутренность двора была усеяна разными постройками, известными в нашем старом быту под именем изб, горниц, повалуш, сенников, амбаров. Тогда не делали больших домов, а по надобности, если семья прибавлялась, строили особые дома; таким образом, еще Михайло Нехорошев построил четыре избы, одну для себя, три для сыновей. Когда у Капитона родился Осип, он ему построил заранее повалушу. Избы эти были соединены связью сеней, но стояли не на одной линии. По въезде на двор на левой стороне была большая одноэтажная столовая изба, выстроенная Петром Михайловичем для пиров; к ней примыкала, составляя с ней угол, другая, прямо против ворот,— изба собственно Капитона Михайловича. Она была трехэтажная. Второй

этаж, с открытой галереей на столбах, имел три продолговатых окна с круглыми верхними окраинами; в нижнем этаже или подклете было два четвероугольных окна, между которыми находилась широкая дверь: он служил для прислуги; с галереи второго этажа вела вниз лестница, крытая сверху и с боков, и оканчивалась у земли двухступенным рундуком и пирамидальным верхом на выточенных кувшинообразных столбах. Сверху второго этажа, на большой деревянной крыше, надстроен был чердак пространством меньше второго этажа, с окнами во все стороны, покрытый покрашенным красною краскою тесом, сквозь который проросла трава. Вправо от этого дома был другой, соединенный с ним сеньми. Он был двухэтажный, без чердака; второй этаж был надстроен на подклете не в одну с ним линию; но подклет был покрыт особою кровлею, а второй этаж углублялся от него назад: в каждом ярусе было по три окна. От него следовал, соединяясь сенями со стеклами, третий, двухэтажный дом с небольшою вышкою наверху, а от него в завороте была повалуша, построенная некогда собственно для Осипа; она более походила на башню, чем на дом, была трехэтажная, в два окна и соединялась с предыдущим строением не сеньми, но широким низким дощатым коридором внизу. От нее вправо стояла избушка с двумя оконцами вверху, пустая, назначенная для гостей, которые приезжали к Петру. Между вторым и третьим домами сени были только наверху и связывали верхние этажи, а внизу между подклетами были проездные ворота на другой двор. Там направо было огромное строение, где рядом помещались разные хозяйственные кладовые клети, амбары, сараи и, наконец, конюшня, в завороте против домов, с проездными воротами на третий двор. Строение это было в одну линию, но не в одну высоту: в трех местах на кровле были надстроены сенник, сушильня и сенница. Налево во дворе стояли поварня, хлебня, медоварня, пивоварня, кладовая для хранения винных кубов и винокуренной посуды и четыре людские избы. Все эти одноэтажные деревянные строения связывались между собою сеньми. Прошедши через проездные ворота к конюшне, можно было выйти на скотный двор, птичий двор и псарню, отделенные одно от другого плетнями. По левую сторону от всех этих строений за внутренним плетнем был сад, засаженный плодовитыми деревьями, и близ него гумно; за садом стояла винокурня.

При въезде в передние ворота глаза поражались пестротою фигур и красок, которыми были изукрашены в хозяй-

ских жильях столбы галерей, крыльца, окраины крыш, сделанные с прорезными гребнями, но в особенности окраины окон: тут виднелись наклеенные из дерева и размалеванные разными цветами звери, птицы, деревья и такие фигуры, которым нельзя дать названия. Столовая изба была обшита тесом и раскрашена всеми возможными узорами. Посредине двора стоял колодец с журавлем.

Осип и Первун подъехали к крыльцу с пирамидальной кровлей. У крыльца стояло несколько дворовых людей, по лестнице сновали женщины с печальными лицами. Увидя приезжих и узнавши в них своих, они всплеснули руками и вскрикнули. Осип соскочил с коня, перекрестился и, обращаясь к людям, сказал:

— Узнаете меня? Бог привел нас к вам живых и здоровых. Где батюшка и матушка?

Но люди не отвечали и, с тревожными взглядами обращая головы друг к другу, как будто хотели сказать между собою: «Вот не в добрый час принесло его!» В недоумении Осип сделал несколько ступеней на лестницу и увидал крышку гроба. Он вошел в сени; там стоял гроб. Осип подошел к нему и увидел в нем свою мать.

III

На большом столе, в дубовом, выдолбленном из одного большого дерева и потому цилиндрической фигуры гробе, украшенном снаружи изображениями крестов, лежала мертвая женщина в белом саване, сверху покрытая куском материи, предназначенной на церковное облачение. Священник и два дьячка отправляли обряд погребения. Осип подбежал к трупу матери и приподнял край савана, обвивавший ей голову; на голове был надет бархатный черный волосник, из-под него виднелась на виске синева с запекшеюся кровью.

— Ее убили! Матушку убили! — закричал Осип.

Побледневшая толпа стояла, не только не смея сказать что-нибудь, но едва переводя дыхание. Священник и дьячки, как бы желая перекричать Осипово восклицание, запели сильнее.

— Матушка убита! — повторил Осип и, поглядевши кругом диким взглядом, спрашивал: — Говорите, кто убил ее? Она убита. Говорите! — крикнул он так, что все попятились назад, но молчали. Дьячки заикнулись на половине ирмоса, но священник, поглядевши на них с укором, запел «На

него же не смеют взирати» так громко, как будто бы хотел заглушить голос Осипа. Осип, выйдя из себя, выхватил саблю.

— Вот вам Христос Бог — велико слово! — сказал он.— Я начну вас всех крошить, если вы мне не скажете, кто убил мою мать!

Все бросились в испуге из сеней. В это время вышел стоявший за дверьми в комнате, граничившей с сенями, Капитон Михайлович, старичок с круглой седоватой бородкой, с блестящими вертящимися глазами, в синем кафтане.

— Что? Что? — закричал он и, приглядываясь ближе, вдруг с видом радости отскочил и сплеснул руками.

— Оська! Это ты! — сказал он.— Боже ты мой! Сынок мой любезный!.. Вот не чаял, не гадал!

И он бросился его обнимать.

Осип, опустивши саблю, не знал, что ему говорить, и глядел на отца как-то бессмысленно. Капитон обратился к священнику, который тогда совершенно уже прервал богослужение, сложил руки на пояс и, поклонившись, сказал:

— Простите, отцы и братия, Христа ради, моему безумию: сына девять лет не зрел, чувствами возмутился. Сыночек, поди отсюда! После поговорим, потужим вместе, а теперь иди, омойся с дороги, покушать вели себе подать. Иди, сынок. Ключник тебе медку, вина доставит. Иди, дружок!

— Батя! Кто убил ее? — сказал Осип, указывая на мать.

— Поди, сынок! Успокойся, успокойся, дитятко мое! — И вместе с этим взял у него саблю. Тогда Осип оттолкнул от себя отца и закричал:

— Ты, что́ ли, убил ее?

— Греховодник! — воскликнул священник.— На родителя руку дерзает поднять!

— Прости ему, отче, ради его неведения и возмущения душевного,— сказал Капитон.— Эй вы! Отведите его в повалушу! — прибавил он слугам, которые боязливо выглядывали из дверей.

— Как в повалушу? — говорил Осип.— Здесь мать мою хоронят, а ты меня посылаешь в повалушу! Скажи, что это такое? Кто убил мою мать?

— Свяжите его и отведите в повалушу! — грозно крикнул отец.

Осип судорожно сжал кулаки... грудь его вздымалась, на лице написано было страшное отчаяние. Отец взял веревку; несколько слуг подбежали и связали Осипу руки.

— А! Вот что? — проговорил Осип, поглядел грозно на отца и повинуясь пошел в повалушу.— Развяжите меня! Я не убегу, я не пойду никуда, буду исполнять то, что велят,— сказал он.

Однако его привели в повалушу и только тогда развязали руки; повалушу заперли за ним.

Прерванный чин погребения был окончен; гроб подняли и понесли. Духовенство протяжно пело «Святый Боже». За гробом шли дворовые женщины и вопили, причитывая, но остерегаясь, чтоб их фантазия в сложении причетов не выдумала невольно чего-нибудь такого, что походило бы на правду. Капитон шел позади с поникшею головою, с кислою миною, стараясь показаться миру сколько возможно печальнее.

Осип был между тем заперт в комнате с тремя маленькими слюдяными оконцами. Стены ее были мытые; на них не было никаких украшений, кроме трех образов; средний был в окладе; перед ними стояли втулки для свечей. Налево от дверей была большая муравленая печь зеленого цвета, с лежанкой, а вдоль стены тянулись лавки, постланные кусками зеленого сукна с позументами по краям. Между печью и стеною находилась деревянная широкая скамья с изголовьем, покрытая ковром, на котором были изображены птицы; простой дубовый стол, застланный бумажною пестрою скатертью, стоял перед лавками; пол был устлан рогожею. Между печью и скамьею маленькая, низенькая дверь вела в каморку с одним окном, где была скамья, столик и пустой шкафик.

Осип несколько времени стоял, бессмысленно глядя в воздух; вдруг раздался погребальный звон. Пробужденный от своего оцепенения, он подбежал к окну. Ему было видно, как толпа народа собиралась в ограде, около могилы, приготовленной для его матери. Бешенство уступило в нем религиозному чувству. «Разберем дело после,— сказал он сам себе,— а теперь помолимся о душе родительницы». Он начал творить крестные знамения и читал какие знал молитвы, приличные его положению, но запас их скоро истощился, и Осип, творя крестные знамения, молился уже не словами, а сердцем. Между тем звон затих, потом опять раздался. Осип подошел снова к окну и увидел, что народ расходится: то был знак, что мать его в сырой земле. Закрыв руками лицо, Осип припал к изголовью скамьи и долго рыдал; потом вскочил, прошелся несколько раз по

комнате, ударил себя в грудь и, став на колени перед образом, произнес:

— Господи Боже, карателю грешников! Покарай лихого человека, лишившего живота мать мою, хотя бы то отец мой был! Господи праведный, молю тебя, даруй мне силы и крепость взыскать правду на убийце моей родительницы! Воздай ему по делам его, да восчувствует он мерзость деяния своего, а мать мою, рабу твою Наталию, упокой в царствии твоем небесном, идеже несть печали и воздыхания, но радость бесконечная, и меня по воле твоей соедини с нею, да прославим вкупе благость твою!

Он сел в изнеможении на лавку. Дверь отперлась, и в комнату вошел священник. Забросив за собою дверной крючок, священник благословил Осипа и сел возле него.

— Вот, сыне,— говорил он,— Господу угодно было посетить нас скорбию; но не подобает нам унывать, а надлежит возлагать упование на Бога милосердого, его же судьбы неисповедимы. Временная жизнь исполнена горестей и лишений, но скончавшихся праведников ожидает награда на небеси несказанная. Посему подобает молиться о усопших сродниках, и в церковь по их душе приносы давать, и милостыню щедро раздавать, а не подобает, чадо, предаваться неуместной тоске: великий грех есть и в пагубу душу ведет; и ты ныне, чадо, утиши свои чувствия и покорись родителю твоему, ибо тяжек грех пред Господом непокорство родителям.

— Батюшка! — перервал его Осип.— Кто извел мою мать?

— Твою мать никто не изводил; не годится говорить такие безлепичные речи. Твоя родительница умре от недуга. Господу угодно было переселить ее в вечную обитель.

— Как от недуга, когда я видел у ней рану на голове?

— Не рана, сыне, то не рана, и не от того она умре. Отец твой за вину ее, якоже подобает мужу учити жену свою, ударил ее легко: от того маленькая ссадина у ней осталась. Сам сочетаешься браком, и сам будешь учить жену свою, как придет к случаю, единый раз рукою, другий же раз жезлом побити, иногда же и плетию; от того жена не умрет, но паче ума приемлет и здрава бывает; и церковь повелевает мужу наказывать по вине жену свою, и кто наказания жене не творит, тот сам себе грех на душу возлагает. Паки же мать твоя умре не от удара, а то уж давно было, а приключился ей недуг, и от того недуга волью божиею помре. Ты же не стропотствуй и не будь

непокорлив отцу твоему, да не лишишься родительского его благословения. Ты ныне согрешил тяжко, сын, в ярость пришел, пение божественное остановил, и того ради повелел тебя отец заключить, а теперь он, чадолюбивый, прощает тебе юности твоей ради и тоски. Хочешь ли идти к отцу? Там христолюбцы собираются, трапеза учреждается; хочешь ли тут оставаться, то пребывай тихо, кротко, не буйствуй, но всячески молись Господу, в его же власти вси есмы.

Осип слушал с поникшею головою и, отвернувшись от проповедника, сказал:

— Я останусь тут: грустно мне в люди идти.

— Оставайся, сыне, оставайся и молись, Господь с тобой! — сказал священник и, благословя его, вышел.

Осип сидел опустя голову, несколько раз закрывал лицо руками и открывал, несколько раз припадал к изголовью скамьи, потом вскочил и сказал:

— Накажу, накажу того, кто лишил живота мать мою! Жив не буду, а накажу!

Вся грусть разом спала с сердца у Осипа, и вместо ее вступила в душу твердая, рассудительная, непреклонная решимость, и жажда дела заменила бездействие тоски. Осип принадлежал к таким натурам, у которых поражающее горе, потрясая их организм, уступает скоро намерению, какое укажет голос рассудка, руководимого чувством. Иногда несколько минут сильного перелома изменяют их и указывают такой путь, какого они не выбрали бы перед тем ни за что, и они после того до такой степени делаются иными, как будто в них не осталось уже и капли прежней крови. Осип в эти горькие минуты перенес такое потрясение, от какого мог бы разорваться иной духовный организм. Его одолевали минуты того падения, после которого человек часто делается на весь век неспособным плаксою или сумасшедшим. Перед приходом священника его одолевало религиозное чувство: ему представлялся монастырь, куда можно уйти от людской неправды; но пришел священник побеседовать с Осипом, и Осипова мысль отвернулась от монастыря. В монастыре бы ему напомнили, что он не смеет судить поступков отца, а должен с покорностью целовать ноги убийце матери. Его детство, ласки матери пришли ему на память; но он уже не плакал; и чем яснее ему представлялось то, чего он лишился, тем сильнее укоренялась жажда правды, воздания за злодейство.

— Господи! — воскликнул он еще раз.— Не дам очам

моим дремания, ногам отдохновения, пока не совершу правды за убиение матери моей! Я найду путь к этой правде! Я пойду искать суда, приведу душегубца под кару закона!

И Осип решился разузнать, как было дело, последний раз спросить отца и тогда посмотреть, что сделает отец: если раскается — пусть идет в монастырь, пусть сам себя осудит на жесточайшее наказание за злой грех; а не покается — тогда Осип пойдет искать правосудия во имя царя и правды его.

В это время вошел в повалушу Первун с заплаканными глазами. Осипу стало как-то совестно своего слуги: ему стыдно было заговорить о таком деле, где срамится отец его, о котором он не дозволил бы никому отзываться иначе как с почтением. Но Первун упал перед ним, обнял его колени и зарыдал.

— Ах, государь, государь! Не на радость мы приехали домой!

— Первун! — сказал Осип.— Ты один мне верный человек. Будешь ли мне служить?

— И в огонь и в воду с тобой, государь! — сказал Первун.

— Слушай же: ты должен узнать, досконально все узнать, как было с матушкой.

— Я все узнал, государь, да говорить страшно!

— Говори, милый мой, садись и говори,— сказал Осип.

IV

Если в нашем быту есть что-нибудь неизменное, что может дать понятие о прежнем быте наших прадедов, так это слуги, которые под именем дворовых людей наполняли и наполняют дворы наших дворян. В XVII веке у зажиточных дворян было обилие челяди; ходили они зачастую оборванные и босые; не столько служили, сколько обкрадывали господ и тунеядствовали, а подчас и бесчинствовали, но чаще, чем у нас, исчезали между ними старые и появлялись новые лица.

Двор Нехорошевых не уступал другим, и было в нем такое множество холопей, что из них составился бы порядочный гарнизон. Тут было всего, чего только желать можно, холопи всякого рода — и полные, и кабальные. Были и такие, что являлись к господину, били челом и представляли отпускные: оказывалось, что прежний господин перед кончиною отпустил их на волю ради спасения

души своей, думая сделать доброе дело, потому что церковь издавна поставляла в заслугу человеку, когда он даст свободу ближнему своему, и часто господа отпускали холопей на волю, а в час смерти наипаче, потому что в предсмертные минуты, когда знаешь, что нельзя более делать зла, является охота к добрым делам. Отпущенные не находили лучшего способа употребить дарованную себе свободу, как отдаться снова в холопство. Но были и такие, которые бежали от прежних господ, были посадские, убежавшие из тягла, когда им надоедали воеводские разверстки и слупы или когда наезжал на посад какой-нибудь сыщик открывать табачников. Бегали и служилые от службы, и преступники, что-нибудь накуралесившие и ускользавшие от тюрьмы и виселицы. У Нехорошевых вдоволь народу было. Они рядились с «государем», брали от него деньги вперед и обязывались заслужить, иные до срока за рост, с тем, что если не заплатят, то останутся на службе до смерти; другие продавали себя с потомством, а более всего живали у господ без всякого ряда и делались вечными холопями сами собою, по обычаю, и закон освящал такой обычай, ибо тот, кто проживал в доме господина без ряда долгое время, делался его холопом.

Наймы в холопи в то время несколько походили на наймы охотников в рекруты в наше время. Холоп получит деньги и пропьет их в несколько дней и потом остается в неволе. Немногие приходили с семействами; большая часть была одиноких — и мужчин и женщин; очень часто у первых были жены, у последних мужья, но те и другие скрывали это и, поселившись во дворе, снова женились и выходили замуж, по приказанию господ, которые обыкновенно находили себе развлечение в однообразии своей жизни, устраивая свадьбы слуг. Однажды у Нехорошевых случилось по этому поводу забавное приключение. Капитон женил какого-то Аверку на какой-то Матренке; вдруг приходит к нему рядиться в холопи муж с женою, и оказывается, что первый был прежде мужем Матренке, а вторая женою Аверки. Из этого народа были мастеровые, и учили они разным художествам мальчишек и девчонок, и оттого во дворе зажиточного помещика было, словно в посаде, всякого промышленного и умелого народу много: и ткачихи, и портнихи, и столяры, и сапожники, и иконописцы, и Бог знает кого только не было. Не обученных мастерству определяли в конюхи, скотники, псари; других вооружали луками и сайдаками и держали на случай опасности; были

и такие, которых должность в том только и состояла, чтобы по ночам бить в железную доску и пугать воров. Большая часть их проводила время праздно, да и самые мастеровые работали умеренно, зато не совсем умеренно пьянствовали. У Нехорошевых была своя винокурня и пивоварня, поэтому веселящего сердце пития было вдоволь. Капитон был для них мало грозен, да и дома живал редко, как сказано. Привыкши находиться под слабою десницею женского правления покойницы Натальи Андреевны, дворня отличалась распущенностью, ленью и своеволием. Начальником над нею был ключник Герасим; под его управлением состояло несколько второстепенных начальников: свой староста был над псарями, свой над скотниками. Каждого такого старосту имел право бить Герасим, и, в свою очередь, староста, получив от Герасима тумаки и оплеухи, отплачивал за них такою же монетою своим подчиненным. Женщины были под надзором жены ключника, а потому в начальстве у нее находились старостихи, ведавшие каждая служанок, сообразно их занятиям. Ключницу бил муж, ключница била старостих, а последние били своих подручниц; женщины вообще были подчиненнее мужчин; кроме того что рабу била другая раба, которой поручали над ней надзирать,— ее бил еще и собственный муж; и коль скоро мужа побьют по начальству, он с досады колотил жену, несмотря на то, что ее недавно колотили также по начальству. Такой порядок не возбуждал ропота, потому что был согласен с общими понятиями; если случались побеги, то не от жестокости, а оттого, что захочется в другом месте отведать житья-бытья холопского и денег с новых государей взять. При этом не обходилось без того, чтобы беглец чего-нибудь не украл, что ему под руку попадется. Все думали, что они на то и родились, чтоб их били; воображение их не могло себе представить существования на земле без побоев. «Так от Бога постановлено!» — гласила тогдашняя философия. Зато всякий старался обмануть и провести того, кто имел над ним власть и мог его бить, и это было вовсе не из мщения: напротив, если б кто с холопом обращался мягко, тот мог ожидать от него воровства и обмана.

Между властями и подвластными происходила своего рода война. Всякая власть, в каком бы лице она ни являлась — в лице господина или ключника,— всегда знала, что ее обманут, и заранее назначала за обман себе возмездие раздачею побоев, гордо хвастая: меня не проведешь! Под-

властный же в том поставлял свое достоинство, что сумеет обмануть того, кто думает, будто его провести нельзя. Ключник Герасим был любимец Капитона и пользовался его доверием; и когда умерла Наталья Андреевна, он созвал слуг и приказал им, чтобы они не смели говорить непристойных речей про государынину смерть, а наипаче ничего не болтать молодому государскому сыну и его слуге Первушке; когда же увидел заплаканные лица близких к покойнице служанок, то надавал им оплеух. «Вам,— говорил он,— не рюмить, а дело свое делать велено!» Несмотря на такое строгое предостережение, Первун тотчас же узнал всю подноготную от одной старой девки, с которой был в сердечных отношениях еще до своего отъезда: эта девка особенно плакала по своей госпоже и все рассказала своему старому возлюбленному, увлеченная свиданием с другом юности. Первун, в походной жизни получивший такую привязанность к своему господину, какую трудно было найти в холопе, живущем постоянно в мирном доме, явился пересказать ему страшную тайну.

V

— С тех пор как мы уехали,— говорил Первун,— батюшка твой государь, как и прежде, все был в езде, а государыня покойница матушка сама оставалась в доме. Все любили твою матушку покойницу, только невзлюбил ее ключник Герасим; а за то невзлюбил, что покойница государыня знала его хитрость, что он государскому добру не радит, а себе мошну набивает и всячески своих государей обманывает. Вот и стал ключник Герасим придумывать, как бы засмутить между батюшкой и матушкой. А батюшка твой,— прости, государь, на этом слове — падок на женскую плоть, не так, как ты, государь,— по дядюшке пошел. Вот, государь, знаючи это, ключник Герасим... а у ключника Герасима жена ведунья сущая и всякому ведовству и нечистому делу знатна; и стали они вдвоем, муж с женою, помогать твоему батюшке во всяких тайных женских делах, советливость с ним обо всем иметь, где какую женщину на блуд достать: то ключник Герасим в этом ему помогал, а жена привораживала.

А у соседа Жарского жена Неонила Филипповна — красота беспримерная. Смутил враг... Стал Капитон Михайлыч с ключником совет держать, как бы ее с ума свести. Ключница сейчас же найди кунку себе, такую же ведьму, как сама, у Жарских — Аксинию; денег ей пообещала,

и стали две ведьмы заодно лиходеять. Ключница наша спекла пирог, и положила туда крови своего государя, да наговорила своею бесовскою наукою; а Аксютка отдала тот пирог своей государыне, а потом взяла волос ее, да сожгла, и дала нашей ключнице: «На,— говорит,— своему дай, чтобы как моя не может жить без твоего, так чтоб и твой без моей не жил». После того, государь, довели они обоих до того, что Неонила Филипповна не съест, не выпьет, не поспит — все бредит Капитоном Михайлычем, светом-животом своим называет, а Капитон Михайлыч у себя только и помышляет, как бы с Неонилой Филипповной любовь сотворить. Вот и стали они сходиться у крестьянской вдовы Злодеевой, а Неонилина мужа в те поры в доме не было, в походе был, и прошло времени, чай, с полгода. Батюшке твоему своя жена, твоя, государь, матушка, горше полыни горькой стала: не посмотрит на нее, не заговорит с ней! И прежде не больно ласков был, а теперь все бы ему бранить ее да побить. Бедная все терпела, все выносила: и прежде грех за мужем был, да все не то; хоть на стороне сотворит грех, а все-таки не привьется к чужой, на свою не сменяет; а теперь, вестимо, как на стороне есть зазнобушка, так все к ней да к ней, а своя костью в горле стоит: как уж тут не бить ее! Стала матушка государыня наша думать, где бы это проявилась ей разлучница? Ну, а наше холопье дело: хоть знаешь, да боишься сказать! Одна только и была у ней верная слуга — старая девка Ганка. Она государыню больно любила, и государыня ее жаловала. Видит она, что государыня все тоскует, и спрашивает ее: «Скажи, мол, кормилица, что у тебя за горе? Авось я тебе помогу?» Та и говорит ей: «Так и так, чай, у моего мужа зазнобушка, а у меня разлучница есть». Ганка говорит ей: «Правда твоя, государыня, есть». И все ей рассказала. Стали они вдвоем думать, как делу помочь. А тут как раз приезжает муж Неонилин Жарской: наперед нас с месяц приехал из Чернигова со службы. Ох, на беду, видно, прилучилось матушке нашей кормилице-голубушке? Не в силу стало переносить сердцу: послала Ганку рассказать про все Жарскому. А ему, дураку, чем бы собрать людей да ночью накрыть свою жену с твоим батюшкой, он же взял да и рассказал ей самой, что вот, мол, про тебя что прислала сказать Нехорошевая. Вестимо, не дура Неонила, чтоб ей признаться: разрюмилась, расплакалась... Клянется, присягает — и ничего такого не было, и в голову ей того не приходило, и во сне не виделось; да сейчас же и послала к Капитону

сказать: не могу, мол, с тобой более свидеться, твоя женушка Наталья хочет меня со свету сжить,— все мужу моему передала. Как взбесится твой батюшка, прискочит к матушке, давай допрашивать да бранить, а та ему не смолчала да ругнула его; а он с сердцов, как держал в руках палку, так и хватил ей по голове; а государыня тут так и упала! Сейчас за священником: куда тебе! ни слова не говорит. Так без исповеди и святого причастья преставилась, для того что без речей уж была. Теперь... Бог весть, что с Ганкой и станется! Еще батюшка твой не знает, кто матушке весть передал про то, что он Неонилу любит; а как узнает — смотри, убьет!

Осип не проронил слова из рассказа Первуна.

— Слушай,— сказал он, когда тот кончил,— мы едем в Саранск судиться с батюшкой. Я подаю челобитную воеводе: пусть доводит все дело; на то оно убивственное есть. Царская правда покарает батюшку за бедную матушку. Я поклялся дойти до правды, чтоб недаром пропадала кровь христианская. Как думаешь, Первун: скажут люди правду по сыску?

— Где сказать правду, государь! — сказал Первун.— Народ все лестный, побоится. Капитон Михайлыч велик человек, с воеводой в приятстве. Вот хоть и поп: как ему не знать, как не ведать дела, а дает вид, будто государыня своей смертью умерла! Батюшку твоего все уважают и почитают за первого в уезде.

— Правда на него найдется,— говорил Осип,— и я найду ее! А не найду, так сам пропаду. Коли батюшка хочет остаться безответен за матушку, пусть меня убьет и положит с ней в одной могиле; а пока я жив — не миновать ему суда. Мы едем в Саранск.

— С тобой, кормилец, куда велишь! — сказал Первун.

VI

Вечерело. В хоромах, где жил Капитон, холоп зажигал лампаду перед образом и лежавшим на столе павлиньим пером обмахивал пыль. Капитон вышел из другой комнаты в синем поношенном кафтане, в туфлях, похожих на валенки, сделал крестное знамение и сказал:

— Позови ко мне Герасима.

В ожидании Герасима Капитон ходил взад и вперед по комнате. Вид его был задумчив; его бегающие во все стороны глаза блистали чем-то зловещим.

Вошел Герасим.

— Герасим,— сказал Капитон,— наделали мы беды! Истинно беды! Вот до чего лукавый доводит! Только поддайся ты ему, а он тебя как раз в пропасть заведет! Мало того, что бедная Наталья Андреевна подвернулась... еще и сынок на беду приехал. Что ты с ним будешь делать! Нельзя же, чтоб он свою родную мать забыл. А что с того? Хоть бы корысть какая!.. Ох, Неонила Филипповна, Неонила Филипповна! Все через тебя. Что нам за корысть, за радость? Неонилушка все-таки моя не будет...

Капитон заплакал.

— Ах, Герасимушко! — продолжал он.— Не жизнь мне без Неонилушки! За нее не то что один грех, сто грехов принять рад — коли б она, моя голубушка, зазнобушка моя, со мной неразлучна была. Эх, лучше бы мне смерть была вместо Натальи!

— Не кручинься, кормилец! — говорил Герасим.— Еще и наша голова не бедна, и мы умом повернем да дело склеим. За семь бед один ответ. Коли в воду по колени, так хоть и по шею. Найдем тебе Неонилу Филипповну. Не то что тайком учнет ходить к тебе: век будет с тобой жить, нашей государыней станет! Эх! То-то радость будет! То-то на свадьбе вина напьюсь!

И Герасим, говоря это, прищелкивал да подпрыгивал, потом, упершись руками в колени, нагнулся и вытянул голову к Капитону, засматривая ему в лицо.

— Как же это? — говорил Капитон.

— Боярин, любишь Неонилу Филипповну?

— Я ли не люблю ее! В огонь и в воду пойду! Что жену! — отца родного, душу отдам за нее!

— Не тужи, не грусти, не кручинься! — продолжал ключник.— Твоя будет Неонила Филипповна. Сумели приворожить, сумеем и женить. Все в наших руках! Жена моя недаром ведунья...

— А муж?

— Пойдет за Натальей Андреевной.

— Как! Зелья дать отравного?

— Не то чтоб зелья отравного, а ведовство. Что ж делать! Грехом спознался с ней, тем же грехом и получишь. А без греха такому делу не быть.

— Эх, коли грешить, то грешить! Я без нее не жилец на свете. Что хотите творите, лишь бы мне с ней, моей лебедушкой белой, в неразлучности быть. Иссушила меня эта любовь!

— Вот жена сама,— сказал Герасим, и вошла жена его, стоявшая за дверьми.— Она тебе, государь, лучше расскажет.

Жена Герасима была женщина лет тридцати пяти, одетая в синем опашне с медными пуговицами сверху донизу, с длинными, собранными в складки рукавами. Подол опашня был опушен красною полосою, а из-под него выглядывал пестрый подол летника бумажной материи, называемой киндяком, желтого цвета; ноги обуты были в сапоги. На груди у ней было множество крестов, сердечек и ожерельев. Голова была сверх волосника обвита белым повоем, которого концы завязывались под бородою. У ней было жирное лицо с выдувшимися вперед щеками; серые глаза имели в себе что-то особенно неприятное.

— Ну, Маланья,— сказал ключник,— сделаешь так, чтобы Неонила Филипповна стала супружницею нашего государя?

— Можно, коли боярину угодно,— сказала Маланья,— это в наших руках.

— А с мужем, Мироном Малафеевичем, что станется?

— Да что станется? — сказала Маланья.— Что со всеми нами станется; вдова после него останется, а пойдет за Капитона Михайлыча, за нашего государя.

— Маланья! Ведь это ты убивство замышляешь?

— Зачем убивство! Я зелья ему давать не стану; я просто смерть на него нашлю по ветру. Я такое слово знаю, что куда хочу, туда смерть и направлю, и на кого озлюсь, на того ее и нашлю. Мне можно только троче так насылать. За каждый раз с моего века десять лет скотится; положит мне бы судьба шестьдесят лет прожить на свете, так за первый раз мне придется только пятьдесят прожить.

— Что ж, ты насылала на кого-нибудь прежде смерть? — спросил Капитон.

— Насылала, батюшка, один раз, нече греха таить!

— На кого?

— Этого уж твоя милость не допытывай. Хоть ты мне и боярин, а я того тебе не скажу, хоть ты режь, хоть ты жги меня. А вот коли хочешь возобладать Неонилой Филипповной, так это можно. Я сослужу тебе службу, сама за то десять лет своей жизни утеряю, да тебя, мой свет, с дружком обвенчаю.

— Ах, делай, делай, что хочешь делай! — сказал Капитон.— Лишь бы Неонилушка моя была.

— Сделаю, батюшка; покоен будь, сделаю.

И она вышла.

— Герасим! Дружище мой! — сказал Капитон.— Если твоя жена правду говорит, если вы меня жените на Неонилушке — чем тебя и ее наградить?

— Мы всем твоей милости довольны,— сказал Герасим.

— Волю тебе дать, что ли? Я и без того тебе готов дать: ты и так много послужил. Нет, этого мало; я хочу тебя наградить... чем? Говори.

— Боярин! Ничего нам от тебя не надо. Мы и сыты, и одеты, и пьяны... Что нашему брату! Живем как у Христа за пазухой. Ничем от тебя, света нашего, кормильца, не обижены. Твоей милости счастье сложить — это нам всего охотнее.

— Ну, пошли-ка сына: я хочу поговорить с ним.

— Как же ты думаешь говорить с ним? Что про мать скажешь?

— Сперву я было думал ничего не говорить: на то я отец, власть имею, и не смеет он с меня спрашивать; а после раздумал: хуже станет, его раздоришь. Эх, нехорошее дело! Скверное дело! Причинное дело! А, право слово, не думал, не помышлял! Так вот склалось! Воля божия, видно.

— Так и говори, боярин, так и говори! Всего бы лучше лаской спровадить его куда-нибудь, а то как Неонилин муж-дурак умрет, да затеем мы свадьбу, так оно нехорошо.

— Да, подумаем... вот оно что: надобно сперва приласкать его, а потом пошлю его к своему приятелю в Нижний. А у него дочка есть. Вот мой Оська, того и гляди, там и останется. Лишь бы старый хрен не прятал дочки, чтоб Оська ее увидел.

— Лучше и придумать ничего нельзя,— сказал Герасим,— сын женится и горе позабудет!

После такого домашнего совета Капитон приказал позвать сына.

Осип между тем собирался было с Первуном ночью уехать; но оба увидели, что это трудно, ибо ворота на ключ запираются. Решились лучше переждать еще день, и на третий день, когда будет поминовение по матушке и трапезное учреждение, тогда и махнуть. В это время холоп позвал его к отцу.

Когда Осип из своей повалуши переходил к отцу с холопом, несшим перед ним свечу, то не без ужаса вошел в те сени, где поутру видел мертвую мать. Из этих роковых сеней дверь вела в две разные комнаты: в одной жила его мать, и там совершилось убийство. Дверь была полуотворе-

на; Осип взглянул туда и задрожал. Месть просилась сильнее из сердца наружу. Холоп растворил другие двери и ввел Осипа туда, где Капитон только что беседовал с ключником. Осип вошел бледный, с посинелыми губами, но старался придать себе вид спокойствия и бесстрастия, чтоб отец ничего не мог прочесть на его лице.

— Здравствуй, Оська, сын мой любезный! — сказал Капитон и, схватив его, начал целовать в обе щеки.

И казалось Осипу, эти поцелуи походили на прикосновение змеи. Когда он поцеловал отца — еще отвратительнее показался ему собственный поцелуй.

— Садись, сынок, садись.

Сынок сел.

— Дай посмотреть на тебя, дитя мое! Девять лет не видались. Расскажи-ка про житье-бытье, как Богу и государю служил. Какие напасти, чай, переносил! Ох, воинское дело, воинское дело! Слава всемилосердному Богу, что не лишил меня на старости лет радости тебя увидеть. Ох, никто, как Бог! Ох, Господи, помилуй, Господи помилуй!

Осип молчал.

— Ну, сынок! Видишь, у нас-то, у нас какое горе приключилось! О, великое несчастье! Божие попущение, сынок! Давеча, как ты только приехал, я не мог тебе ничего сказать — сам знаешь! Такое горе — и чужие люди кругом... Ты же в беспамятстве, в ярости... что делать! Не виню я тебя. Никто, как Бог; на все божие попущение! Теперь же все тебе расскажу, дитя мое милое! Ничего от тебя не скрою. Ты, любезный сын мой, мое единое утешение в скорбях!

Он поцеловал его в голову. Осип молчал и глядел вниз.

— Теперь я тебе всю правду скажу. Хоть кляни меня, сынок. Оно, конечно, Бог свидетель — не думал, не помышлял — рукам воли и тут не давал... Ох! Враг силен, заводит и в синем! Двадцать девять лет прожили вместе, душа в душу, по божьему закону жили; дай, Господи, всем добрым людям так согласно жить, как мы жили: не бранились, не дрались... а на старости пришлось... Ох, ох! Никто, как Бог! На все божие попущение! Говорится недаром: хмель. О хмель! К добру не приведет! Известно, в хмелю как в бреду: не помнит человек, что речет, что творит. На все божие попущение! И влас с главы нашей не спадет без воли его! А с чего сталось? Стали мы счеты сводить по хозяйству; покойница сосчитала; я говорю: не так! Она говорит: так! Я говорю: не так! А она на меня: ах ты

такой-сякой! Что, я разве мало тебе управляла домом! Ты, говорит, шатаешься всюду, а я одна всему порядок даю, да ты ж меня учить хочешь!.. А рече греха таить, стала покойница прихлебывать, и на тот час была в подпитии. А я, сынок, ух как этого не люблю! Уж давно и многажды журил ее, и из святого письма уговаривал и призывал священника в чувство приводить, а напоследок она перед образом мне поклялась, что не возьмет вина в рот: пусть, говорит, материнское мое благословение побьет меня, если хоть раз напьюсь! После всего этого, вижу, опять напилась и бранится. Я сперва лаской ей говорю: «Натальюшка, друг мой! Ты опять за проклятую дьявольскую воду берешься! Как же тебе не стыдно? Клятву свою вспомни, что ты сказала: материнское благословение тебя побьет! Вот оно, погляди!» А она... известно, пьяный человек свечки не поставит, а свалит — прямо к образу, да и говорит: «Что мне материнское благословение! Я сама себе госпожа, а ты мне не указ!» Тут я не вытерпел и ударил ее, памятуючи, яко мужу подобает жену учити и наставляти. Она же, чем бы покориться мне, прямо с кулаками ко мне; я стал от нее отмахиваться да как-то ненароком зацепил по виску: она, голубушка, тут так и упала! Уж чего-чего мы не делали! Нет, ничего не помогло. Слава создателю, хоть священник успел исповедать и причастить святых таин, по-христиански скончалась. Вот до чего хмель проклятый доводит! Знаю, сынок; знаю, тяжело тебе: приехал через девять лет в родной свой уголок, да матушку застал на столе. Разве оно легко! Да ведь и мне, сынок, она жена законная; двадцать девять лет прожили!..

Капитон закрылся обеими руками и всхлипывал. Ему казалось, что он притворился искусно, но сын получил к нему в эту минуту еще более отвращение, и еще сильнее в сердце его укоренилось желание возмездия за смерть матери, ибо он не видал и тени раскаяния в этом человеке, который назывался его отцом. Осип не противоречил ему и не поддакивал. Осип молчал, повесив голову. Как ни старался Капитон расшевелить его и вызвать, по крайней мере, хотя бы на какое-нибудь слово, даже неприятное — нет! Осип стоял бесчувственнее дерева. Не вторил он искренними сердечными слезами притворным слезам убийцы; не прояснилось его лицо и тогда, когда отец уверял его, что за сие невольное прегрешение он всю жизнь будет жить только для ненаглядного сына; наконец Капитон заговорил о необходимости Осипу жениться: Осип и тут молчал.

Только тогда, когда Капитон, выведенный из терпенья этой безгласностью, сказал с сердцем: «Да что ж ты стоишь как пень? Говори что-нибудь!», Осип приподнял голову и отрывочно произнес, без всякого чувства:

— Твоя воля, батюшка!

Отец проводил сына поцелуями и объятиями и возненавидел его вполне. Он бы гораздо менее раздражился, если б сын засыпал его укорами, если б даже поднял на отца руки, чем убивать такою зловещею покорностью. А Осип, пришедши в свою повалушу, еще раз дал волю слезам. Он проплакал до полуночи. Наконец Осип сказал:

— Теперь я оплакал и тебя, приснопамятная родная матушка, и тебя вместе, батюшка! Я теперь круглый сирота; нет у меня ни роду ни племени: матушка в сырой могиле, а батюшка на кару пойдет... Не минешь ты ее! От меня не минешь ты ее!

VII

Третий день после погребения был в старину днем погребального торжества. С самой зари во дворе Нехорошевых поднялась суета и беготня; печи его поварней дымились; ключник беспрестанно бегал из одной клети в другую, побрякивая связками ключей; слуги, по его приказанию, сновали в разные стороны, подгоняемые то бранью, то подзатыльниками: одни в медных ендовах выносили из погребов мед и пиво, другие несли к столу в лукошках кубки, чарки, братины, солоницы; на дворе уставляли рядом колоды, а на них накладывали доски, на которых подавался обед крестьянам и нищим. Часов в семь поутру, по нашему счислению времени, зазвонили к обедне. Капитон Михайлович оделся в поношенный кафтан, надел серую шапку и, взяв в одну руку четки, а в другую посох, вышел из горницы и тихо спускался по лестнице; когда он явился на дворе среди суетливой дворни и крестьян, то все кланялись ему в пояс; он отвечал наклонением головы и шел, опустив глаза в землю, испуская вздохи. Пришедши в церковь, он стоял у столба, крестился очень усердно, клал земные поклоны и то поднимал взоры к небу с видом возношения помыслов горе, то опускал их долу с видом задумчивости и грусти.

Его сын стоял у столба на противоположной стороне с каким-то безразличным, равнодушным видом, не плакал, не водил глазами; на лице его нельзя было прочесть ничего.

Крестьяне Нехорошева от мала до велика стеклись в церковь, довольные тем, что в этот день не будут работать и притом поедят и попьют за обедом.

По окончании литургии отправлялась панихида на гробе. Капитон Михайлович разливался слезами; сын по-прежнему не плакал и смотрел в сторону, отворотившись от отца, который был для него невыносимо противен в эту минуту. После панихиды все приложились к кутье из ячменных круп с медом, потом понесли в дом кутью в чашке, к краям этой чашки прилеплены были восковые свечи. На дворе Нехорошевых уж были расставлены доски в виде столов, и подле них стояли скамьи, колоды, обрубки, все, на чем только можно было присесть. Уже на столах виднелись большие деревянные солоницы, круглые деревянные ложки, ломти хлеба и большие чугуны с вареными яйцами. Народ, крестясь, занимал места. Между крестьянами явилось множество нищей братии.

Христовы слова «нищии всегда имате» запечатлелись над всею историею России. Казалось, откуда бы взяться такому обилию нищих в стране, такой девственной и малонаселенной? А между тем, где только отправлялось поминовение по усопшем, являлось их чрезвычайное множество. Как вóроны на добычу, стекались они на эти грустные пиры. Они были необходимы тогда для общества; подачею милостыни нищим выражалось у русского чувство милосердия и сострадания. Если б не было нищих, благочестивый человек не мог бы утешать своей совести: подать нищему значило проложить себе путь к прощению грехов от Бога. Все обстоятельства тогдашней жизни так слагались, чтобы плодить нищую братию: их плодили и воеводы, и дьяки, и приказчики, и помещики, и ратные люди, и татары. Как набежит ногайская орда из степей да пожжет хлеб на полях, а в селениях избы, жители, успев спастись от татарского аркана в болотах и лесах и очутившись без крова и без хлеба, расходились по Руси просить милостыни. Случалось, у дворянина или сына боярского отбиралось поместье на великого государя за то, что он убегал или прятался от царской службы: такой бывший помещик просил милостыни. Работать ему было неприлично; в лохмотьях, возбуждавших сострадание, таскался он из села в село, из города в город и восклицал под окнами: «Дайте бедному дворянину кусок хлеба, Христа ради!» Напрасно было бы, если б добрые люди взяли его к себе, обули или одели: он сейчас же пропьет свою одежду или обувь и уйдет из

душного дома на улицу да на дорогу: надо же залить зеленым вином горе жизни! А одежду дареную пропить — чистый расчет: в хорошем платье просить — не дадут; лохмотья лучше располагают нищедателей к щедротам. А жить в чужом углу — о, как тяжело! Чужой хлеб без труда горек; шатаясь под окнами, человек чувствует себя свободным; тут есть и труд: придется и ноги помять, и от собак убегать, и зною и холоду натерпеться — вот оно и кажется, что хлеб трудовой!

К Нехорошевым на поминки собралось мало слепых, хромых, безногих: такие не шли пропитывать себя нищенским подвиго-положничеством; нищие, собравшиеся туда, были люди здоровые, всякого возраста и обоего пола. Когда хозяин, Осип, священники и причет проходили из церкви в дом с кутьею, нищая братия подняла нестройный вой и плач, смешение всевозможнейших звуков. Иные просили милостыни, затягивая самым плачевным напевом: «Побейте меня, да покормите! Руки-ноги поламайте, да милостыньки христовой подайте!» Женщины заводили всеми родами пискливых дискантов; в их пении нельзя было разобрать ни одного слова; а так называемые божие старцы, полунищие, полумонахи, обрекавшие себя, как они говорили, на странническое житие, не просили, а пели нравоучительные стихи о кратковременности человеческой жизни и о превосходстве монастырского жития пред мирским. С нищими садились за столы и крестьяне, считая приличным почаще вздыхать и говорить: «Царство небесное! Царство небесное!» Среди этой толпы в серых зипунах и кафтанах сновала пестрая толпа челяди, заведовавшей учреждением трапезы.

Священники с хозяевами и гостьми дворянского происхождения вошли в столовую. Там, в просторной избе, назначенной исключительно для трапезы, поставлены были два стола, углом один к другому, покрытые узкими скатертями, а на них стояли серебряные солоницы на ножках, с рукоятками, уксусницы, перечницы и лежали большие ломти черного хлеба; ни тарелок, ни салфеток не было. В углу перед образами теплились лампады и горели свечи. Прямо против столов стоял поставец в три полки кругом, уставленный посудою — кубками, достаканами, братинами, ковшами, мисами,— так, что внизу были более массивные, а наверху мелкие. Входя в столовую избу, надобно было пройти через просторные сени, где стояли широкие медные ендовы с носками и с крышками, кувшины с раздутыми

боками и с узкими и длинными горлышками, а на столе лежали кучами ложки, ножи и вилки. Почетное место было под образами; его занимал священник; по правую руку садился хозяин, по левую сел Осип, а от них рядами садились гости, которых было всего четырнадцать человек, одни мужчины. Женщины обедали наверху, в избе, под учреждением священниковой жены, занимавшей должность хозяйки. Причетники не садились за стол: им подавали в сенях, ибо они вместе с несколькими охотниками должны были в сенях петь «яко по суху пешешествова израиль», а между прочим прикладывались и к вину.

Подали пироги с рыбой; потом подали в мисах с разложистыми краями горячую уху красного цвета, пропитанную шафраном и перцем, с толчениками или галушками, сделанными из тертой рыбы; при каждой миске было положено по две ложки; двое ели из одной миски. Когда поели уху с пирогами, поставили гостям тарелки; впрочем, не наблюдали, чтоб перед каждым непременно была особая тарелка, а ставили как придется; так перед одним стояла особая тарелка, у других — перед двумя. Мисы с остатками ухи принимали только тогда, когда нужно было место для другой посуды. За ухой следовал рыбный каравай — тельное с разными пряностями, запеченное в духовой печи и обильно облитое ореховым маслом. Потом несли жареную рыбу на двух больших круглых блюдах с широким ободом, который был украшен выпуклостями и впадинами, чередовавшимися между собою. Двое слуг несли одно блюдо, держа его за приделанные к краям кольца: так следовало по приличию. Блюдо ставили прежде перед дворецким в сенях, который разрезал лежавшую на нем рыбу, клал на нем несколько двузубых вилок, и тогда холопи, называемые, по поводу услужения за столом, стряпчими, несли его перед гостей. Гости ели руками, обтирая их о собственные платки, лежавшие у кого в шапке, а у кого в зепи (кармане); вилки же служили больше для помощи рукам, да и самих вилок положено было меньше, чем сколько было всех обедавших. Очищая рыбу от костей, гости бросали их на тарелки, где были остатки тельного. За жареною рыбою следовали леваши и оладьи, облитые жидким медом; потом клали на столе большие калачи пшеничной муки, но не излишней белизны, ставили в оловянных складнях медовые соты и приносили ножи. Каждый из гостей отламывал себе кусок калача и ножом накладывал на него кусок медового сота. Потом принесли в больших мисах взвар с сушеными

вишнями, яблоками, малиною и, наконец, в серебряных братинах кутью. Вся посуда, исключая братин, была оловянная. Между кушаньями беспрестанно подавались напитки. Ключник Герасим ставил перед гостьми высокие серебряные стопы и наливал в них домашнего пива: после жареного приносил кубки разной фигуры с затейливыми узорами и наливал их наливкою; а когда подали взвар и кутью, то принесли в братинах малинового меда и расставили перед гостьми ковши той формы, какую можно видеть теперь в церквях. Священник, обратясь к образам, запел «Зряще мя безгласна». Капитон опустил глаза. Сын, сидевший до сих пор угрюмо, воспользовался общим обращением к образам и ушел. Отец не обратил на него внимания. Пропевши песнь, выпили мед и сели есть варенные в патоке яблоки, и ключник наливал в кубки другого сорта наливку. Беседа стала оживляться, и священник рассказывал, как человеческая душа после разлуки с телом скитается по мытарствам, какие приключения терпит, как ангелы с бесами спорят за нее, как кладут на весы добрые и злые дела покойника, как перетягивают злые и как спасают человека от конечной отправки в ад церковные приносы и подаяния. Мало-помалу от небесных предметов разговор стал сходить на плачевную земную юдоль, и священник заметил, что живой думает о живом и что Капитону Михайловичу еще есть надежда вступить во второй брак, а добрым людям погулять на его свадьбе.

Между тем женщины, пировавшие в избе, подняли такой разговор, что слышно было в столовую, хотя нельзя было разобрать, что они говорили; да и сами одна другую не разбирали, потому что говорили все разом. На дворе нищие жалобным тоном затягивали духовные стихи; другие, развеселясь, насвистывали более веселые напевы, оглядываясь по сторонам, чтобы кто-нибудь не ругнул их за это, весь этот шум сливался с грустными ударами колокола под рукой звонаря, которому приносили яства и питие к низенькой деревянной колокольнице.

Не ранее как часа через два гости стали расходиться. Капитон ушел в свою избу, холопи стали убирать посуду, а потом в свою очередь принялись поминать покойницу, хотя и во время обеда не забывали себя до того, что к концу его некоторые уже не могли прямо ходить. Таким образом, им некогда было заметить, где был Осип. Наконец Герасим, оставшийся трезвее других, спросил о нем и узнал от конюхов, что Первун оседлал двух коней, привязал

к седлам дорожные узлы и молодой государь уехал с ним вместе через задние ворота и поскакал по дороге в Саранск. Так как они государских дел не знатны, так им и в голову не пришло сказать об этом.

Ключник покачал головой, смекнув, что тут что-то не ладно, и отправился донести Капитону Михайловичу.

VIII

Осип с Первуном бежали рысью, не останавливаясь и не заговаривая один с другим. Осип не нарушил молчание даже и тогда, когда перед ним вместо одной дороги явилось две в разные стороны. Не спросивши своего слугу, знавшего местность так же плохо, как и он, Осип по инстинкту повернул вправо и не ошибся: то была большая саранская дорога.

Пустынная местность вокруг показывала скудость населения около этой дороги; не видно было нив, ни скошенных полей; высокие стебли степной травы, отжившей свое летнее существование, торчали, наклонившись друг на друга, и лежали, переплетаясь между собою и представляя грустный вид наступающей осени. По обеим сторонам синели гряды лесов и принимали иногда зеленый отлив, когда дорога подходила к ним ближе. Такая пустота, однако, не доказывала, чтоб в этом крае не было селений: тогда не любили селиться около больших дорог; напротив, выбирали места поуединеннее, закрытые лесами; соседство с большими дорогами представляло гораздо больше неудобств, чем выгод. И татары скорее могли напасть на население, и ратные государевы люди, следуя по большой дороге, зашедши в село, могли чинить себе угодное, а ратный государев человек был большой охотник и до крестьянских женок, и до крестьянских клетей. Даже купеческие обозы мало приносили пользы жителям больших дорог: наедет обоз, лошадей покормят, сами поедят, попьют да не заплативши и уедут или дадут что им вздумается из милости; а в деревне мало людей, чтоб сладить с ними. Царские гонцы, дети боярские и стрельцы, ездившие с разными отписками и грамотами, отрывали людей от работы, брали подвод вдвое, чем сколько у них написано в подорожной, приглашали с собой купцов, взяв с них денег, а крестьян заставляли везти, да вдобавок, чтоб показать свое достоинство, хозяину зубы разбивали, ради потехи посуду в доме били и портили. Тогда всякий, кто состоял на службе и имел

право назваться царским холопом, хоть бы он был не более как кузнец или плотник в городе, подымал кверху нос перед сиротой государевым, как называли себя посадские и крестьяне. По этим-то причинам большие дороги были очень пустынны; иногда проезжий проедет верст семьдесят, не встречая ничего, кроме зверя прыскучего, да птицы перелетной, да своего брата проезжего. Только выселенные по царскому указу на ямы ямщики жили верстах в пятидесяти и далее ям от яма, жалуясь на свою судьбу, и нередко убегали с места своего поселения.

Наши путники въехали в лес; тут не раз приходилось их лошадям спотыкаться о пеньки и головам всадников испытывать удары от нагнувшихся древесных ветвей. Тут первый раз встретились с ними люди; то были двое всадников в зеленых кафтанах, с саблями при боках и с пистолетами за поясами. Осип с Первуном машинально, по привычке, приложили руки к своим пи столетам, чтоб показать незнакомцам, что с ними шутить нельзя; то же сделали незнакомцы. Таковы были дорожные обычаи. Разъехавшись мирно, незнакомцы сказали: «Бог на помочь, добрые люди!», а Осип с Первуном отвечали: «Дай, Боже, благополучно!» Скоро после того наши путники выехали из лесу и увидели перед собою город Саранск.

Прежде всего заблистала перед ними глава соборной церкви, покрытая яркой белой жестью; по ней играли лучи солнца, склонявшегося к западу. Извилистый лабиринт деревянных укреплений, называемых надолбами, окружал посад, раскинутый вокруг города, так что с одной стороны строений в нем было больше, чем с других, а с противоположной — той, откуда ехали наши путники, река Иква протекала возле стен самого города. Городская деревянная стена шла неправильными линиями и то высовывалась вперед выступами, истыканными узкими отверстиями для стрельбы в два этажа, то уходила внутрь выемками; там и сям возвышались башни, не похожие одна на другую; направо подымала высокую остроконечную вершину башня, называемая наугольная крымская, ставшая на большом углу стены, уходившем на запад в поле, далее, из-за зданий в средине города виднелись разнохарактерные верхи башен, стоявших по той части стены, которая шла вдоль Иквы; на сторонах, окружавших посад, стояли одна от другой в разных расстояниях башни: одна из них, называемая Троицкою, было четвероугольное здание с претензией бежать вверх и с приплюснутой кровлею, как будто бы кто

сверху ударил ее по голове и сказал: «Куда ты? Стой!» Ее звали в просторечии Наседкою. Другая верхоглядничала над всею стеною своими тремя крышами, каждая сверх другой; в ней виднелись широкие ворота; по направлению от нее шли три глухих башни круглого вида, за ними широкая невысокая башня с воротами, а за нею выступ без кровли с зубцами, называемый городком, сажен на двадцать выдавшийся вперед. Как бы взамен такого смелого выхода, стена потом уходила назад и, снова выдаваясь на прежнюю линию, упиралась в высокую и тонкую наугольную башню, которую называли Боярыней. Вся стена была покрыта высокой кровлей; в некоторых местах самая стена была выше, в других ниже; на выступах и башнях были особые кровли: поэтому издали казалось, как будто десяток разных городов нагроможден вместе. Стены города были черного цвета, во многих местах поросшие мхом и травою. Здания в средине виднелись сплошною массою деревянных черных кровель, между которыми инде белели полосы березовой коры, которою тогда устилались крыши; несколько церквей возвышали свои главы над зданиями; иные, как и на соборе, были покрыты жестью, другие зеленою черепицею. Самих церковных зданий нельзя было видеть за городскими стенами; нигде не показывалось ничего каменного, ничего беленого. Окружавшие посад надолбы состояли из столбов, поставленных вертикально и тесно один к другому в два ряда, с перекладинами поверху, и таким образом образовывали коридоры; они примыкали к самому городу у реки Иквы, и, протянувшись в прямом направлении как бы продолжением городской стены, заворачивались и разветвлялись в разные стороны и таким образом составляли переплетенную сеть укреплений, то упираясь друг в друга своими частями, то пуская от себя новые отрасли, то расширяясь в полукруги, то сжимаясь в углы. Когда путешественники подъехали к ним, то уперлись в их стены; проезда не было: они должны были поворотить вправо и в другой раз наткнулись на стену; тогда надобно было ехать влево между двумя стенами, по коридору, и еще раз взять вправо, чтобы въехать в спускные ворота.

Очутившись на посаде, Осип с Первуном поехали по улице. По обеим сторонам ее шли волнистые ряды крыш, на которых кое-где торчали вышки и чердаки с большими окнами; низенькие дымные трубы из небеленого кирпича казались птичьими гнездами. Дворы вообще были малы по улице и вытягивались в боковую линию; иные огорожались

плетнем или забором, в средине которого делались крытые ворота. Домашняя постройка стояла внутри дворов, но в других дома выходили наружу и ворота были обок их, примыкая одним краем к дому, другим к двухэтажной клети или амбару с лавкой. Дворы стояли не на одной линии по улице: одни выдавались вперед, другие уходили назад. Такой способ построек скрадывал улицу; она делалась то уже, то шире; едучи по ней, казалось, что она впереди скоро кончается, и от нее уже пойдет другая, а в самом деле шла все одна и та же. Низенькие курные избы стояли рядом с двухэтажными домами, очень узкими, с тремя и часто с двумя окнами на одном фасаде вверху; в подклетах часто не было вовсе окон: это показывало, что они назначались для кладовых. Когда путники доехали до переулков, то увидели образа, стоявшие на столбах; следовало остановиться и перекреститься. Едучи таким образом по улице, путники наши доехали до площадки, где стояли рядом две церкви без дворов, обе низкие, деревянные; одна была с прорезною башенкою над крыльцом, и в этой башенке висели колокола; около другой за троечастным алтарем стоял навес с колоколами. Обе церкви были покрыты დранью: главы были жестяные с крестом, поставленным на луне.

Сдержавши лошадей и сделавши несколько крестных знамений перед обеими церквами, Осип и Первун проехали еще несколько сажен по улице и достигли рва, окружавшего городскую стену. Глубиною этот ров был сажен до четырех и наполнен грязью от воды, проведенной туда из Иквы и высохшей во время лета; в средине рва вбиты были заостренные колья густым рядом, который назывался честик. Через ров вел мост без перил, очень некрепко сколоченный, так что когда въезжали на него, то лошади беспрестанно попадали ногами в расселины. Снявши шапки и помолившись перед образом, висевшим на воротах, путники въехали в город. Они должны были проехать по улице из дворов, из которых в одних жили служилые люди, другие были осадные, построенные разными помещиками Саранского уезда на случай осады, чтобы спрятаться в них с семействами, когда будет угрожать неприятельское нашествие. В обыкновенное время в них жили дворники. Таким образом, проехавши между дворами, путники приехали на площадь. Тут стоял деревянный собор, недалеко от него две другие деревянные церкви; на правой стороне была приказная изба, длинное одноэтажное строение, раз-

делявшееся на две половины, с проходными сеньми; близ нее воеводский двор, огражденный тыном; позади был врытый в землю каменный погреб с государевым зельем и свинцом — единственная каменная постройка во всем Саранске. Вправо от воеводского двора стояли два двухэтажных деревянных амбара; в одном хранилось оружие, в другом — хлебные запасы. Прямо против воеводского двора, подле собора, был гостиный двор с лавками, но в нем не торговали, исключая годичной ярмарки; зато туда купцы могли сносить товары из посада, если б оказалось опасно оставаться им на обычном месте.

У Нехорошевых был свой осадный двор, но Осип не поехал туда, чтоб не встретиться с отцом, который там остановится, когда воевода призовет его к ответу. Первун вспомнил, что тут есть добрый человек, новокрещен Мордвин-пушкарь, женатый на сестре той самой Ганки, которая покойной матери Осипа передавала вести. Недолго было искать его. Случилось, проходил служилый человек; Первун спросил у него, где живет Мордвин-пушкарь. «Я сам тот и есть»,— сказал Мордвин. Осип с Первуном повернули к нему на двор, стоявший на одном из концов площади. С дружелюбными поклонами Мордвин ввел гостей в избу, которая у него называлась чистою или светлицею и которая в самом деле была черна и грязна и слабо освещалась двумя маленькими окнами. Тут Первун принялся рассказывать Мордвину, зачем они приехали. Вскоре пристала к разговору и хозяйка и, узнавши про сестру, начала охать. Осип громко сказал:

— Есть правда у Бога и у царя! Не бойся за свою сестру; служила моей матушке-покойнице, мне пусть немного послужит: награжу!

— Ах, родимый мой! — говорила хозяйка.— У меня-то всей родни на белом свете, что сестра. Две нас было у батюшки; батюшка служил у дядюшки твоего верою и правдою и с ним в походе бывал. Дядюшка твой Петр Михайлыч меня и замуж выдавал. Мы все помним его добро. Как же нам теперь сестру-то вызволить? Они съедят ее живую.

— Сестра твоя пусть правду говорит,— сказал Осип.— Мы дело обделаем; надобно идти к воеводе да челобитную подавать.

— Воевода-то наш сам не при себе,— сказал Мордвин,— такая тревога, такой переполох, что Боже упаси!

— Что такое? — спросил с удивлением Осип.

— Ты, боярин, нешто, едучи из похода, не слыхал, что делается на Волге?

— Казаки пошаливают, что ли? — сказал Осип.— На Хвалынское море пошли, на персконо шаха?

— Кой тебе на Хвалынское море! — сказал Мордвин.— Астрахань-город взяли, воеводу убили, приказных людей извели... Служилые к ворам пристали, над христианами всякое бесчинство учиняют и теперь уж по Волге идут вверх. Проявился у них какой-то батюшка Степан Тимофеевич, что, говорят, его ни пуля не берет, ни сабля: таково слово знает! И с ним будто бы патриарх Никон, что старшой надо всеми попами был, а царь его сместил; да бают, с ним же еще и царевич Алексей Алексеевич. Идет будто бы на бояр, в Москву, и обещает людям льготные годы, что уж теперь, говорит, все люди будут равные, а не будет того, что вот теперь один боярин, и ему боярская честь, а другой крестьянин али посадский, а будут все заодно, как у казаков на Дону. Рассылают своих пособников, грамоты исписали да им отдали, чтоб носили да людям читали; а в грамотах, слышь, прописано, чтоб все люди принимали царевича да батюшку Степана Тимофеевича, чтоб народ православный сбирался кто с чем может: кто с саблею, кто с ручницею, а кто хоть и с дубинкою, да вставал на лиходеев. Анадысь на посад пришли три человека и стали у посадского человека Вавилки Хлебосолова и стали брехать: «Пристаньте,— говорят,— вы, посадские, к нам; когда мы к вам придем, зажгите город, побейте воеводу и приказных всех, а животы их и всю царскую казну себе поровну разделите; а где,— говорят,— нашего слова не послушают и батюшки Степана Тимофеевича приказу делать не станут, тому городу несдобровать: батюшка и царевич велят всех побить». Вавила же не будь прост, поди да и скажи воеводе: не побоялся, что они ему беду сулили, коли к ним не пристанет. Воевода отобрал нас, служилых, да к Вавиле. Тут на беду нам сталось, завидели воры, что идут люди, да бежать; мы за ними; двое завернули за угол, да и были таковы; третьего наш молодец по ноге стрельнул; поймали; а тех искали, искали, бегали, бегали по всему посаду, и конные поскакали за надолбы — нет тебе! словно в воду канули. И по дворам искали... нет да и нет! Воевода так и думает, что свои воры посадские прихоронили. Ругался беда как! «Такие-сякие,— говорит,— врагоугодники, клятвопреступники, царю хотите изменить!» Стал брать в застенки да пытать огнем, да животы отбирают

у них приказные люди. А Вавила и сам не рад, что сказал: на другую же ночь у него сенница загорелась; так вот невесть с чего огнем и взялась, и весь двор сгорел, а сам с семьею мало жив выскочил. Посадские на нас все злятся, что мы в их дворах обыск чинили.

— Давно это у вас?

— Да вот третий день всего. Идет большой переполох. А тут из Москвы указ пришел воеводе, чтоб жить с большим береженьем: чают, воры придут; дворян и детей боярских, бают, в осаду будут звать; а того, что поймали, завтра смерти предадут за посадом.

— Враг лукавый смуту чинит,— сказал Осип,— царю белому супротивное хочет сотворить. Сила крестная с нами и милость святых чудотворцев заступников! Есть у царя верные люди, покорят они под нозе его воровство и измену.

Ночь наступила, и Осип расположился на лавке, подостлавши под себя свою епанчу и кафтан, а Первун на холодной печи. Отходя ко сну, Осип усердно помолился и окрестил кругом свое странническое ложе, чтоб отдалить дьявола и слуг его.

IX

На другой день, с солнечным восходом, с Осипом сидел за столом площадной дьячок Еремейка, известный в Саранске и его окрестностях писатель челобитных и всякого письменного дела. Этот класс людей был тогда в большом ходу: народ в те времена был безграмотный, и кому только нужно было написать что-нибудь, тот обращался к одному из таких грамотеев. Осип хотя и знал грамоте, да писал нетвердо, и к тому же не знал всех тех приказных приемов, которые требовались в деловых бумагах, что с начала, что с конца поставить, как дело изложить, как царя-государя разжалобить. Дьячок Еремейка был человек лет около сорока, лысый, с клочковатой бородой и с рябоватым, вечно пьяным лицом; одевался в зеленый кафтан и носил дырявые сапоги. Когда его призывали писать челобитную, то всегда, кроме калыма, как называл он плату за свой труд, ставили перед ним жбан зелена вина: без того у него в голове мысли путались и не выливались на продолговатый свиток. Еремейка был большой искусник на все руки и притом олицетворенное беспристрастие: он писывал челобитную и истцу, и ответчику, научал обе стороны друг против друга; нередко, настроивши их, передавал той и

другой стороне планы, им же для них составленные. По этому поводу борода его беспрестанно теряла волосы, а на лице часто показывались синяки. Еремейка все терпел и шел своей дорогой; он сочинял посадским друг на друга ябеды и поджигал их идти жаловаться одних на других воеводе, и за это воеводы не только терпели его, но еще и любили, потому что он им хлеб доставлял. Только иногда сердились на него приказные люди, потому что вместо него сами бы могли написать ябеду; но Еремейка и с этой стороны умел улаживать дело, чтоб всем было хорошо: Еремейка челобитную напишет так, чтоб дело как можно лучше заплелось; воевода примет да передаст в приказную избу, а там уж приказные справки наводят и в законы смотрят. Так перебивался Еремейка и удивлял всех своим пером; особенно женщины с чувствительным сердцем не могли удержаться от слез, слушая его челобитные, хотя дело для них было постороннее. Осип не расплакался от красноречия Еремейки, потому что в его душе было много такого горя, которого не мог выразить никакой Еремейка. Еремейка знал, что челобитная против уложения, но не сказал этого Осипу, чтоб взять с него награждение. Заплатив писателю, Осип свернул челобитную в трубку и отправился к воеводе. Когда Осип шел в его двор, то на площади увидел толпу народа и, вспомнив, что ему рассказывал Мордвин, догадался, что готовятся казнить преступника.

Воеводская изба состояла из двух половин, разделенных теплыми сеньми; в одной жил воевода, принимал посетителей и отправлял свои служебные дела, а в другой помещалось его семейство; обок этого дома стояла одноэтажная поварня с пристроенною к ней просторною людскою избою; позади дома, на три стороны, построены были баня, конюшня, сарай, сенница и две клети. Этот двор со всеми в нем зданиями был казенный, назначенный для воеводы от правительства. Так как воеводы редко бывали более двух лет сряду на одном месте, то и не заводились большим хозяйством. Воеводы вели жизнь почти кочевую: два года в Саранске, третий в Тотьме, а то где-нибудь и в далекой Сибири. Случалось даже, что воеводы, отправляясь на воеводство, не брали с собой семейств, зная, что им недолго придется пробыть на данном посту. В Саранске воеводою был тогда дворянин Перфил Матвеевич Дрекалов и уже пребывал тут третий год.

Осип взошел по лестнице в сени, тут холоп остановил его и спросил, что ему надобно. Осипу следовало дать холопу

несколько денег, и тот велел ему подождать в сенях, а сам пошел доложить воеводе. Войдя по приглашению слуги в горницу, прежде всего Осип помолился образам, потом поклонился в пояс воеводе, стоявшему с величественным видом и с ласковою улыбкою.

— Пришел бить челом царю-государю! — сказал Осип.— Не побрезгуй, воевода милостивец, моим приношением: изволь принять; чем богат, тем и поминаю. Человек я служилый, долго с врагом в чужих землях воевал, кровью себе купил пистолет турецкий, отделанный серебром, у ляхов взял на битве.

Он подал ему пистолет. Воевода, принявши его, взял Осипа за плечи и посадил на почетном месте под образами и сказал:

— У меня такой обычай: прежде гостя посадить да накормить и напоить, а там уже расспросить и дело для него сделать. Гаврило! — крикнул он на холопа.— Подай сюда настойки да пирогов. У меня, господин, настойка отменная, а пироги сама хозяйка пекла, большая ведунья в этом деле. Вот ты говоришь, что с ляхами в чужой земле бился; а у нас здесь туча сбирается, придется, быть может, и нам кровь пролить и животы положить за святую церковь и за царя-государя. Воры, клятвопреступники, богоотступники, церкви святой обругатели, царского величества насильники идут по Волге вверх и грозят нас всех побить и всякую власть и начальство искоренить! Глупый черный народ волнуют и мутят, дома зажигают, чтоб людей в страх привести. Большая беда над всеми нами складывается. А тут из Москвы пишут к нам, чтоб мы, воеводы, того смотрели, чтоб воры к нам не пришли и дурна не учили, а в других городах служилых и воевод насмерть побили! Ох, тяжкие пришли времена!.. У нас в Саранске есть юродивый; говорит, что это так делается перед страшным судом: и точно, государь, видно, что недалеко свету преставление. Из всего видно: стали люди строптивы, властям непокорны, к церкви святой неприлежны, суемудренны, своевольны, родителям непослушны... Уж и знамения на небеси являлись: видели люди огненный меч, на полуденную страну обращенный. Ох-ох-ох! Господь указует нам, нашего спасения хочет, а мы-то, мы нечувственные, не думаем покаяться!

— Что же, воевода, Бог милостив,— сказал Осип,— посетит нас бедой и пожалует. Есть у царя верные слуги, с поляками и татарами бились, царство наше Богом свыше

возлюбленно. Станем ли бояться воров — донских казачишек? На них послать детей боярских да стрельцов; мы с божиею помощью и разобьем их, и связанных разбойников приведем.

— Эх, молод ты, государь,— сказал воевода,— хоть и бывалый! Оно правда, в Польше у вас, может быть, врагов было и более, да враг-то не таков: там люди, а тут... тут вражья сила нечистая! — произнес воевода шепотом.— Этот Стенька Разин чародей, лукавому душу свою запродал; его ни пуля, ни сабля не берет. Были примеры: в Царицыне, говорят, стреляли по нем, а порох вон из пушки запалом выходил; а он, богоотступник, по воздуху летает и по воде ходит, как по земле. Вот он что!

— Против адской силы крест животворящ — оружие непобедимое! — сказал Осип.

Между тем поставили водку, серебряные чарки и пироги на оловянной мисе. Осип выпил чарку водки и похвалил ее. Закусивши пирога, он поклонился хозяину, а хозяин поклонился гостю и налил еще водки. Гость отказывался, хозяин кланялся, просил и принуждал его пить. Наконец воевода сел и сказал:

— Ну, вот теперь после хлеба-соли можно и об деле поговорить. С чем добрым пожаловал к нам?

— То-то и беда, что не с добрым, а с худым...

— К нам, начальным людям, все только с худым и ездят,— сказал воевода, и Осип стал рассказывать свое дело. Но едва воевода услышал, что перед ним сын Капитона Михайловича, развернул руки и вскричал:

— Капитона Михайловича! Моего кормильца и благодетеля сын! Вот оно что!.. Эка радость! Ну, не знал я, с кем говорю. Дай же я тебя к сердцу прижму да поцелую! Прошу меня любить и жаловать. Мы с твоим отцом как с родным братом живем; благодетель не брезгует мной, не оставляет меня: и мучицы привезет, и меду, и мяса соленого... Первый помещик на целый уезд. Вот небось радость батюшке, сынка дождался, а то давно не видал, чай лет десять без малого был на царской службе.

Плохо было Осипу слышать такие речи перед тем, когда он готовился сказать об отце своем вовсе не такие добрые вести, каких ожидал воевода.

Скрепивши сердце, он промолчал на возгласы будущего своего судьи и потом, подав челобитную, прибавил:

— Давеча ты сказал, что к тебе все с худым ездят; а уже, верно, такого худого еще тебе не приносили, как я.

Прочитай, государь, и узнаешь. Я пришел к тебе просить царского суда на своего отца.

Воевода выпучил глаза и, обмеряв Осипа с ног до головы, покачал головой.

— Суда на отца! Вот оно что!.. Говорит правду юродивый, что суд божий скоро придет и дети начнут подымать на родителей руки. Ох-ох-ох!

И, развернув челобитную, он начал читать вполголоса, пожимая плечами, и по окончании чтения сказал:

— Эка причта-то! Господи Боже! Господи Боже! Экое вражеское попущение!.. Ты здесь пишешь, якобы отец твой был в блудном сожитии с чужою женою? Поди ты! Ты сам видел, говоришь, боевые знаки на голове у твоей матери?

— Видел, и другие видели: люди то же скажут.

— Люди скажут!.. Что люди! Люди воры, люди дурное думают, как бы государей обокрасть, да очернить, да всяческое лихо учинить. У людей теперь заячьи уши: Стеньки Разина, собаки, дожидаются! Господи Боже, господи Боже!.. Наше дело судебное: царю присягали судить правду и по евангельской заповеди, другу не дружить, недругу зла напрасно не творить. Пошлю розыск сделать: у меня на челобитной справа не остановится. Гаврила! Пошли ко мне Тюлюбаева.

— Эх, вот право хлопоты какие! — продолжал воевода, не глядя на Осипа.— Вот хоть бы это дело: совсем не мое, а губного старосты; а его не поставили тут... теперь губные дела и делаешь. Прощай. Сын боярский Тюлюбаев поедет розыск сделать, а ты понаведаешься в приказной избе; там тебе скажут, когда приходить ко мне!

Он холодно расстался с Осипом и даже не провел его до дверей.

На площади, куда вошел Осип, толпа умножилась. Приказные беспрестанно бегали в приказную избу и выбегали из нее. Как ни разрывалось Осипово сердце, но он невольно занялся предстоящей казнью и решился посмотреть на нее.

Тюрьма, где содержались преступники, была под губной избой, которая стояла близ городской стены и, за неимением особого старосты, была пуста. Нижний этаж, или подклет, составлявший тюрьму, был врыт в землю; маленькие отверстия, сквозь которые едва можно было просунуть кулак, освещали ее. Можно себе представить всю отвратительную внутренность этого помещения, сырого и темного, где преступники сидели в темноте, прикованные к колодам, и выводились раз в неделю, в кандалах, просить подаяния;

тогда их водили по посаду к рынку и они жалобными причитаниями должны были выпрашивать себе хлеб. Сторожа делили выпрошенные куски между ними в продолжение недели; а если что-нибудь подавали им получше или давали деньги, то сторожа прибирали это себе. В одном погребе сидели и мужчины и женщины; некоторые в таком месте живали лет по десять и свыкались со своим положением.

Постояв несколько минут между народом, Осип увидел, как воевода вышел в праздничном платье, весь пестрый с ног до головы: сапоги зеленые, из-под пол кафтана выглядывали полосатые штаны, цветов синего, красного и желтого, из материи, называемой дорогами, кафтан яркого красного цвета с синими полосками около разрезов; около шеи был стоячий воротник, усаженный жемчугом; на голове желтый колпак с жемчужными пуговицами. В руке у него была большая трость с набалдашником. Когда он вышел, стрельцы побежали к тюрьме и вывели оттуда в лохмотьях мужчину лет около тридцати, с черной бородою, хромавшего от полученной в ногу пули и со следами страдания пыток на лице. Железные кандалы у него были на руках и на ногах. Его привели к воеводе. Между тем явился священник.

— Хочешь исповедоваться и причаститься? — спросил воевода.

— Хочу! — сказал твердым голосом преступник. Его повели в приказную избу; за ним пошел священник.

Около воеводы собралось несколько городовых детей боярских. Осипу не слышно было, что говорил им воевода, указывая иногда на городские стены, но можно было догадываться, что дело идет о предостережениях по случаю ожидаемого прихода воровских людей. Священник вышел из избы скорее, чем можно было ожидать.

— Это такой беззаконник,— сказал он,— какого еще свет не видывал! Точно татарин некрещеный; в Петров пост мясо ел! Не хочу его исповедовать, не токмо что причащать. Пусть идет во ад, ко отцу своему сатане, во огнь вечный!

— Ну, ведите его! Туда и дорога! — сказал воевода.

Священник удалился прочь. Преступника в оковах повели прямо к проездным воротам, на посад; за ним шел палач с веревкой в руках. Служилые для эффекта ударили в тулумбасы и затрубили на трубах.

Идя вслед за шествием, Осип очутился на посадском

рынке. На площади стояли деревянные лавки рядами, так что образовывали между собою улицы. Каждый ряд носил свое название, ибо в каждом торговали своего рода товаром. В одном виднелись колеса, ободья, дуги, скамьи, ложки; в другом — топоры, пилы, лемеши, гвозди, крюки, чугуны, жбаны и разного рода железные снасти; в третьем — седла, узды, шлеи, хомуты; в четвертом — соль, крупа; в пятом — овес, сено, отруби; в шестом — посуда и т. д. Ряды были невелики: лавки в три и четыре. Между рядами стояли ночвы с ягодами, скамьи с мясом, сидели на голой земле молочницы с кувшинами и мисами, где были творог и сметана. Дошедши до церкви, стоявшей посреди площади, все остановились и стали креститься. То же повторилось через несколько саженей снова, когда встретили еще две церкви, стоявшие одна возле другой. Таким образом дошли до края посада: там недалеко от надолб поставлена была виселица.

— Православные христиане! — сказал преступник, когда, сняв кандалы, подвели его к виселице.— Дайте Христа ради чарочку винца выпить! Веселее и охотнее будет на тот свет идти, Христа ради дайте! В горле пересохло... промочишь, так веревка плотнее приляжет к шее!

Благочестивые люди с омерзением услышали такие слова, но другим понравилась эта выходка. Сейчас побежали в кабак, стоявший неподалеку от виселицы.

Воевода не стал мешать. Преступник схватил судорожно чарку и закричал громко:

— Много лет здравствовать нашему батюшке Степану Тимофеевичу!

— Не давать! — закричал воевода.

— Как бы не так! — сказал преступник и залпом выпил водку и бросил чарку.— Теперь вешайте меня! — продолжал он и прибавил крепкое слово.— Придет, придет наш батюшка, рассчитается он за меня, верного сынка своего!

Палач не дал ему говорить более и, накинув петлю, встащил его на воздух, а противоположный конец веревки обмотал около столба.

— Ну, смотрите ж вы у меня,— сказал воевода, обратившись к народу,— вот точно так пропадет собачьей смертью всякий из вас, кто станет ворам приятствовать. Я знаю, меж вами есть изменники, да я вас скоро выведу, с корнем выведу! Слышите вы это? Кто-нибудь только подумай на измену, по глазам увижу и заплечному мастеру отдам!

После такого нравоучения воевода с служилыми ушел в город. Народ стал расходиться. Осип, возвращаясь к Мордвину, думал себе: «Что это за батюшка Степан Тимофеевич?»

X

После того с неделю Осип, в ожидании суда, проживал у Мордвина, расхаживал по городу и посаду, толковал с детьми боярскими, осматривал с ними городовые укрепления, указывал на разные недостатки: во время своей службы он научился этому делу изрядно. Однажды сделался на посаде пожар; Осип бросился туда и вместе с другими помогал разламывать стоявшие подле горящих домов строения. Пожар приписывали поджогу тайных агентов Стеньки Разина, мстивших за казненного товарища. В самом деле, едва потушили этот пожар, как на рассвете вспыхнул другой. «Верно,— говорили тогда,— нашлись между посадскими воры, что стали творить по научению тех, что к Вавиле приходили; говорили ж они: поджигайте город! Вот теперь и поджигают». Носились вести, что в других городах то же происходит. Приехавшие из-под Пензы казаки говорили, что там вооружается мордва и готовится идти на русские города; воры, подосланные мятежниками, ходят между язычниками и подущают их на христиан. В Саранске только и речи было о том, как поступать, когда явятся казаки, и многие опасались, чтоб не сбылось предречение казненного преступника. Все принимало какой-то зловещий вид; самые служилые начинали смотреть исподлобья. Низший не так уже терпеливо, как всегда, сносил грубость высшего и осмеливался показывать вид неудовольствия, когда его били. Наконец в воскресенье у кабака, за посадом, близ того места, где казнили преступника (которого тело на третий день после казни схоронили в рогожке, без гроба, в буераке, за надолбами), собралось много народу. Там стояла толпа скоморохов; было их человек до двадцати, они играли на волынках, били в бубны и накры, другие представляли перед народом действа. Из раскинутого шатра, который они с собой всегда возили, вышел наряженный знатным господином скоморох в высокой черной шапке из дубовой коры, сел на колоду, подперся в бока и уродливо надулся, оттопыривши нижнюю губу; двое с униженным видом кланялись ему в ноги и подносили в лукошке кучу щебня и песку, на которой лежал сверток из лопушника:

это напоминало челобитчиков, подносящих воеводе поминки с челобитною, свернутою по обычаю в трубку.

— Выслушай, милостивец! — говорили они жалобно-смешным тоном.— Не побрезгуй нашим добром!

Сидящий начинал их бранить. В это время выскакивали из ряда скоморохов двое других, садились воеводе на плечи и кричали:

— Ой боярин, ой воевода! Любо тебе было хорохориться, да поминки брать, да людей безвинных обижать! Ну-ка, брат, вези теперь нас на расправу над самим собой!

И они начинали его тузить и грозили утопить в воде. Потом двое одетых в лохмотья и обутых в лапти тормошили и гоняли то в ту, то в другую сторону прутьями толстяка с огромным уродливым брюхом, а все другие хором кричали:

— Добрые люди! Посмотрите, посмотрите, как холопи из господ жир вытряхивают!

Потом являлся купец и начинал считать деньги, представляемые камешками, а другие скоморохи тормошили его и загребали у него из-под рук деньги, приговаривая:

— Давай, давай сюда! Делись с нами! Побрал с народа за гнилой товар; теперь поделись-ка с нами, с голытьбою!

Черному народу очень нравились такие представления. Веселость толпы удвоилась, когда скоморохи, выпивши по доброй чарке вина, стали в круг и, прихлопывая в ладоши, кричали:

Ребятушки! Праздник, праздник!
У батюшки праздник, праздник!
На матушке Волге праздник!
Сходися, голытьба, на праздник!
Готовьтесь, бояре, на праздник!

Эх вы, купцы богатые, бояре тороватые! Ставьте меды сладкие, варите брагу пьяную, отворяйте ворота растворчатые, принимайте гостей голых, босых, оборванных, голь кабацкую, чернь мужицкую, неумытую!

Осип понял, что значат эти действия, и с негодованием обратился к служилым, которые тут же глазели:

— Что вы это, дурни, зеваете-то? Что не скажете воеводе? Их всех надобно поймать да в тюрьму посадить: это воры!

Вдруг разнеслось в толпе: «Воевода! воевода!» В самом деле из города показался воевода верхом, в сопровождении стрельцов. Скоморохи с удивительной скоростью подобрали свои хари, которые надевали на лицо, свернули свой

шатер, убрали бубны и волынки и пустились врассыпную. Вся толпа побежала опрометью во все стороны. Воевода прискакал на место и не застал уже никого. Сам Осип и другие служилые отступили прочь подалее.

— Что здесь за действа? — кричал воевода на целовальника, стоявшего непоколебимо у своего кабака.— Тут воровские действия представляются! Где воры? Ловить их!

— Да кого ловить-то? — сказал целовальник.— Где их ловить, коли они убежали напугавшись? Это все свои честные люди, в кабак царев погулять пришли; воров никаких не было!

— Как не было! — кричал воевода.— Гулящие беглые люди, скоморохи!..

— И, батюшка, воевода-кормилец! — говорил целовальник.— Какие это беглые? Что ж такое, что скоморохи?

— Да то, что у меня в наказе написано таких ловить, и хари у них брать, и на огне жечь, да и тех, кто их слушает и на их богопротивные действия смотрит, бить кнутом.

— Эх, боярин! На всяко чиханье не наздравствуешься! Уж будто всяко лыко в строку? Что ж за важность, что в наказе написано? Коли нам их гонять, так и в царской казне недобор будет; да у тебя ж, кормилец, в наказе написано, чтоб голове кабацкому, что с откупа взял кабаки в Саранске, на посаде ни во что не мешаться. Вестимо, ты воевода, так и власть у тебя есть; да ведь коли почнешь их гонять, так весь народ посадской осерчает на тебя, да и у нас пить не станут. А воровского тут не было ничего.

Воевода повернул коня и уехал назад.

На другой день после этого происшествия Осипа позвали к воеводе.

Вошедши в знакомую ему горницу, Осип застал там воеводу, который сидел с его отцом. Воевода не думал начинать следствия по челобитной Осипа, но хотел воспользоваться этим случаем, чтобы ему перепало что-нибудь лишнее от обычного благодетеля его Капитона Михайловича. С этой целью, оставивши Осипа в недоумении, он послал сына боярского Тюлюбаева известить отца Осипова, что сын подал на него челобитную, рассказать, в чем ее содержание и пригласить отца в Саранск для смирения сына. Капитон Михайлович, узнавши, что его семейные тайны открыты воеводе, был поставлен в необходимость ехать в Саранск не с пустыми руками и повез воеводе значительную посулу. Иначе воевода, зная грехи за Капитоном Михайловичем, мог устроить так, что кто-либо иной

подал бы извет на Капитона Михайловича в том же деле, и тогда он произвел бы над ним следствие. Осип поклонился и стал в углу.

— Подойди, подойди, Оська! — сказал Капитон Михайлович.— Подойди сюда! Свидетельствуй ложная на родного отца... чтоб тебя, заповеди божии забывшего, вороны заклевали! Подойди, не бойсь!

— И не боялся, и не боюсь,— сказал Осип.— Никогда не говорил я ложного, а за божии заповеди умереть готов.

— Да, да,— сказал воевода и, обращаясь к Осипу, говорил с спокойным, улыбающимся лицом: — Вот, друже мой, подал ты челобитную на отца. А челобитных от детей на отцов принимать не велено; ты, молодец, в Польше с ляхами бился, свету повидал, а царского уложенья не знаешь. А к тому еще ты вымыслил за отцом своим убийственные дела безлепо и напрасно. Я выдам тебя головою отцу твоему.

— Я ничего не хочу ему делать,— сказал Капитон,— только ты, воевода, дай ему наказание при моих глазах, а более ничего не надо.

— Мудрое дело вздумано,— сказал воевода.— А призови-ка, Гаврило, трех стрельцов сюда!

— Воевода! — сказал Осип.— Ты хочешь меня бить? Это не по закону. Я подам челобитную в Москву, я до самого царя дойду правды искать.

— Эй, горяча голова, горяча! Простудить надобно,— говорил воевода.— Ишь ты что — не смею я тебя бить! Да знаешь ли ты, какое ныне время-то? Да не токмо что бить, я тебя повешу, коли захочу! Вот видишь, что у меня в наказе-то написано: «...и чтоб вам, воеводам, держать служилых и всяких чинов людей в страхе и послушаньи, а будет кто вам учинится силен, и вам бы, воеводам, тем людям чинить жестокое наказание безо всякие пощады и смертью казнить, кто чего доведетца». Пусть только отец твой скажет слово — повешу, ему в угоду повешу!

— Бог с ним! — сказал Капитон Михайлович.— Бог ему воздаст.

— А что говоришь ты, что пойдешь ты к царю,— продолжал Осипу воевода,— так ты бы пошел, кабы я тебя пустил; а то я не пущу, так ты и не пойдешь. Нечего, брат Осип Капитоныч, нечего!.. Помолись да ложись!

Вошли трое дюжих стрельцов и сняли с Осипа кафтан и рубашку, потом повалили его на землю, и двое сели на него: один на плечи, другой на ноги, а третий начал хлес-

тать его батогами. Осип не произносил ни молений, ни криков отчаяния и только стонал от боли. Капитон с радостью смотрел на истязания непочтительного сына.

После сотни ударов Осипа подняли. Кровь текла с него...

— Ничего, ничего! — говорил воевода.— У меня есть настоечка отменная, сейчас заживет!.. Потрите-ка ему спину!

Он подал стрельцам склянку, и те начали тереть Осипу настойкой избитые места.

— Дивная настойка! — говорил воевода Капитону.— Это мне знахарь дал травы такой. Ты брат, Осип Капитоныч, возьми себе и про запас: военный человек, не ровен час — Боже тебя сохрани! — в ратном деле всяко бывает: поранят, а вот тут она и есть! Ну, а все-таки, Капитон Михайлович, я тебя попрошу за Осипа Капитоныча: ты будь к нему милостив; молодой он человек, неразумен; теперь вот мы его поучили, он и будет знать! А все ведь он твое порождение!

— Не надо мне его! — сказал Капитон Михайлович.— Хоть он и мое порождение, хоть у меня и других детей нет, я его не хочу и видеть, не токмо что к себе брать. Вечное ему проклятие от меня! Пусть его орлы растерзают, вороны расклюют; нищета сокрушит его, болезни истощат его; струпами пусть он покроется с ног до головы да у всех людей пребудет в поношении и уничижении за то, что не устыдился сказать ложное на родителя своего. Отселе ты не мой сын! Не знай меня, и я тебя не знаю! Вот тебе мое последнее слово. И не ходи, и не показывайся ко мне на глаза!

— Ну крут же ты, Капитон Михайлович! — сказал воевода.

Он мигнул глазом Осипу, подавая знак, которым как бы хотел сказать: «Не бойся, молодец! Это он только так, сгоряча, а то он утихнет; кое-как после умилостивим!»

— Что ж это ты его на мою шею оставляешь? — продолжал он, обратившись снова к Капитону.

— Пусть меж дворами волочится! — сказал Капитон Михайлович.— Чтоб ему никто куска не подал! А вот этого собачьего сына, Первушку-холопа, так вели связать, а я его отвезу в Нехорошево и там ему задам!

— Да Первушку-то что! Холопу-собаке собачья холопья и честь; ты вот сына-то пожалей! А, Капитон Михайлович! Пожалей сынка!

— И не говори! И слушать не хочу! — сказал Капитон.

— Ну, нечего делать с тобой. Образумь тебя Бог! Коли так, то я Осипа помещу у себя с служилыми людьми. Эх, молодец, молодец! Молода, глупа твоя голова! Вишь ты чего наделал — отцовское проклятие на себя накликал... Кланяйся батьке, авось упросим его! Ну, кланяйся в ноги!

Осип молчал и глядел в землю.

— О, да я вижу, и ты упрям — в отца! Ну ступай! Тюлюбаев! Ты помести его в избе с Лукошкою да с Ярыгою.

Так кончился суд воеводы. Осипа поместили в избе с двумя стрельцами — Лукошкою да Ярыгою. Туда перенесли его белье и оружие; коня отец взял с собой. Первушки своего Осип уже не увидел. Пролежавши три дня в муках, на четвертый он услышал вдруг на дворе смятение.

— Что там такое? — спросил он у Лукошка, вошедшего в то время в избу.

— Что! — сказал Лукошко.— Беда складывается! Воры к Атемару подступили, прибежал гонец оттуда...

Осип ничего не сказал. На другой день, утром рано, как только отворились городские ворота, он взял свою саблю, ружье и вышел из города, прошел посад и, пробравшись через надолбы, очутился в поле. Никто не видал, не кинулся за ним. Севши на дороге, бессмысленно смотрел он на восток, где выходило солнце, потом с судорожным движением достал кошелек, пересчитал в нем деньги, привезенные из похода, положил кошелек снова, зарядил ружье, повесил через плечо и побежал скорым шагом по направлению к Атемару.

Но вскоре он услышал за собой конский топот и, обернувшись, увидел двух саранских служилых, которые наскакали на него. Догадавшись, что это погоня, Осип остановился и, взяв ружье наперевес, ожидал.

Всадники доехали.

— Куда ты это, дворянин, загулялся так рано? Воротись назад, а то дороги, чай, не знаешь. Подай-ка нам ружье сюда!

Осип, не отвечая ни слова, схватил в левую руку ружье, а правою мгновенно вытащил саблю и, ударив со всего размаху седока, перерубил его пополам. Испуганный конь понес половину его разрубленного тела назад. Вслед за тем, бросив саблю, Осип схватил ружье и, выстрелив из него, попал в лоб другому всаднику и схватился за его лошадь. Освободив ее от трупа, молодец сел на нее сам и погнал во всю прыть в Атемар.

Когда Осип приблизился к Атемару, то увидал, что ворота отворены и толпа народа снует взад и вперед. Издали завидел он красные казацкие кафтаны и догадался, что Атемар в руках мятежников. Подъехавши к воротам, он был остановлен казаками.

— Служить батюшке Степану Тимофеевичу еду! — сказал Осип.

— Милости просим! Нашего полку прибыло! — закричали казаки, и Осип въехал в город. Конь его весь был в мыле и чуть держался на ногах.

— Ого! — говорили стоявшие.— Видно, прытко бежал, что конь-то чуть на ногах стоит. Гляди, падет!

— От погони удирал! — сказал Осип.— Ведите меня к атаману!

XI

На площади, подле церкви, у обгоревшего воеводского двора лежал труп дворянина, управлявшего Атемаром, а с ним лежало четыре подьячих. Там и сям валялись разбитые винные бочки и бочонки. Рослый человек лет сорока пяти от роду сидел на бревне с человеком в кунтуше казацкого малороссийского покроя, который отличался от великорусского прорезными рукавами и отсутствием золотого шитья. Его ужасающей ширины шаровары, казалось, сделаны были для того, чтобы заметать за ним след. Голова его была выбрита, и огромный оселедец, спадая с макушки, заложен был за ухо. Усы у него были густые и длинные, черные с проседью. Его смуглое лицо и большие выдававшиеся вперед черные глаза показывали не менее одежды, что он был гость между другими.

— Паны атаманы! — закричал казак, приведший Осипа.— Пришел молодец из Саранска, хочет батюшке служить.

— Молодец! — сказал пьяным голосом сидевший возле запорожца, называемый атаманом.— Молодец-то он молодец, да кто он таков, этот молодец: дворянин, что ли, он?

— Дворянин,— сказал Осип.

— А коли он дворянин, да еще служилый, так повесить его!

— Постій,— сказал запорожец,— не годиться!

И, вставши и приглядевшись, запорожец вдруг с удивлением отскочил и закричал:

— Та се знакомий, єй-Богу, знакомый! Ей, чоловіче! Ти, здається, Осип Нехорошенко!

— Круча! — воскликнул Осип.

— Та я ж, я ж! Круча я! Е, братику рідний! От друзяка! От праведно говорять: гора з горою не зійдеться, а чоловік з чоловіком зійдеться!

— Как ты это здесь? — спросил Осип.

— Е, як я тут!.. Ти сюда як запопав? Що? Мабуть, добрий ківш лиха хватив, коли до нас притуливсь? Авжеж, хто до нас прийде, той запевне меду не пив! Брате Михайло! — сказал он, обратясь к товарищу.— Се мій давній-давній приятель! Як король польський на Україну приходив, так ми вкупі у Глухові сиділи в осаді: згадаєш, Осипе?

— Как не згадать! Тогда мы вместе белому царю служили.

— А опісля,— продолжал Круча,— як на Україні воєвод побито, у Переяславі я його оборонив, не дав нашим братчикам на поругу і до Січі одправив. Він там з запорожцями і на море ходив турків скубти. Гарний молодець! Ну, як же ти отсе до нас придибав? Що тебе занесло?

Осип рассказал свою историю.

— От бач,— сказал Круча,— я ж казав, що таки добрий ківш лиха випив! Що ж ти зі своїм батьком маєш робити?

— Убью его! — сказал Осип.

— От так молодець! От золото! Та якби наш батюшка Степан Тимофійович таке почув, так він би з радощів не знав, що з тобою і робить, де тебе й посадить! Батька уб'є!.. Ну, як з батьком справишся, тоді що? Тоді нас покинеш, а?

Эти слова смутили Осипа. В первый раз ему представился вопрос: что ему делать тогда, когда он достигнет своей цели и отмстит за мать?

— Тогда... тогда,— сказал он,— с вашей дороги нет назад поворота!

— Слухай, братику! — сказал запорожец.— Я з тобою говоритиму так, як ігумен з тим, хто у ченці посвящається. Тепер лихо тебе пригнало до нас, так ти у наш монастир й прибіг спасаться. Ти у козацькій землі бував, знаєш звичаї наші; а знаєш ти, що то єсть козацтво? Повинен знать, а може, забув, так я тобі нагадаю: козацтво єсть сама правда, така правда, що кривду карає, сильних зносить, потоптане підносить, упертих всіх рівняє. Великі гріхи стались між людьми; так от же за те йде на їх батюшка Степан Тимофійович. Ми не крові людської хочемо, а тих віроломців караємо, що кров чужую п'ють, худобу чужу

забирають і чужу працю на свою користь обертають! Хто до нас пристав, той мусить козак бути. Козак єсть то вільний чоловік, пана не знає, сам собі пан, і всяк йому брат, хто брата не скубе: втямив єси? Коли втямив, то йди до нас; а коли не теє, так іди од нас: ми нікого не силуємо. Я тебе знаю здавна: ти рубаться мастак, і стріляєш так, що в оріх улучиш. Одначе ти дворянин; тепер, коли ти до нас прийшов, попрощайся з своїм дворянством; у нас будь ти хоч дворянин, хоч мордвин, хоч син боярський, хоч собачий син — усім однакова честь! Козак, та й годі! Присягайся бути козаком!

— Присягаю быть казаком! — сказал Осип.

— Так пам'ятуй свою присягу. Ну, почоломкаємся, знакомий приятелю, друже!

Они поцеловались.

— Кто ж из вас атаман? — спросил Осип.

— В Атемарі отаман пан Михайло,— сказал запорожец, указывая на пьяного товарища.

— А ты что ж тут?

— Я од батюшки посланий отаманів творить: кого громада наставить, порядку та звичаю козацькому научать; я козак, та й годі, рівний усім, брат усім. У нас ніхто не задирай голови, а то як раз пригнуть отак!

С этими словами он сшиб с Михайла шапку; тот улыбнулся и надел ее снова набекрень.

— Ну,— сказал Круча,— житіє наше, як маков цвіт, скоро одцвітає. Чи не випить нам, бо сказано: що зіп'ємо і з'їмо, те й наше! Ну лиш меду! Вип'ємо на радощах, що такого славного та голінного лицаря до себе прийняли.

— Нет меду! — кричали казаки.— Все выпито!

— От халепа! — сказал Круча.— Хіба до Саранська оставимо. Ну а горілка є? Давайте хоч горілки!

Какой-то серяк принес жбан с водкой.

— Ото! — продолжал запорожец.— Тільки й є, що прокляте се вино московське! Е, се не те, що наша українська горілка! — Он выпил стопу и продолжал: — Нехай наш новий товариш здоровий буде! Випий же, брате!

Осип налил и, выпивая, провозгласил:

— Чаша войска казацкого!

Потом Круча налил снова стопу и поднес Михайлу. Тот поцеловался с Осипом и, поднявши вверх стопу, говорил:

— Я Мишка Харитонов, был когда-то холоп князя Черкасского, да не захотел в холопстве жить: показалось мне лучше в вольном казацтве, обворовал своего государя да

ушел на тихий Дон и стал казаком. Теперь иду казачество вводить на Руси, правду установлять. Гой еси добрый молодец, дворянский сынок! Поцелуйся, побратайся со мной, с холопишком Мишкою! Мы теперь с вашим братом дворянином в равности стали. Будь здоров на многие лета!

Осип поцеловался с пьяным Мишкой не без отвращения.

— Ну, що ж робиться в Саранську? — спрашивал Круча.

Осип рассказывал, что знал.

— Так! — сказал Круча.— Пошлемо ми служилих таких, що в Атемарі були. Нехай вони йдуть в Саранськ і скажуть, що од нас утекли. Ану, пане Михайло, кажи їм по-московськи.

Он рассказал ему, и Михайло говорил казакам:

— Служилые пойдут в Саранск и скажут, что от нас убежали и что мы повернули на Пензу; и вот саранский воевода понадеется на то, а они тем временем зажгут город, а мы пойдем отсюда и повернем на Саранск ночью, так чтобы нам в ту пору на город наскочить, как они пожар там учинят. Начнется суматоха, ратные на пожар кинутся, а мы на них тут и нагрянем.

Атемарские служилые, передавшиеся мятежникам, уверяли, что в Саранске служилые не довольны воеводою, а посадские и подавно на него злятся и не станут противиться.

— Сегодня вторник,— говорил Михайло,— в пятницу перед светом мы подойдем к Саранску.

Тогда отобрали троих молодцев, которые взялись пробраться в Саранск и зажечь город, когда будет нужно.

После того Осип увидел толпу мужиков, одетых в белые шерстяные кафтаны с красными оторочками, в лаптях с разноцветными веревками на голых икрах. За плечами у них были колчаны и луки, иные держали в руках двузубые рогатины. Михайло подозвал одного из служилых и сказал ему:

— Ну, мордвин, расскажи им по-своему, говори им, чтобы они все стояли за батюшку Степана Тимофеевича и за царевича Алексея Алексеевича; что теперь во всем свете иной ряд будет, не так, как доселева было: дастся им всякая льгота, не станут их в христианскую веру перевертывать; ни дети боярские никакие, ни служилые не станут к ним ездить, и будут жить они у себя по своему закону, и керемети их никто не посмеет разорять, свои князи у них будут — кого захотят, того и поставят; и детей у них не

велят хватать; и даст им батюшка Степан Тимофеевич всю ихнюю землю в их полную волость. Только теперь пускай постоят за него и за царевича Алексея Алексеевича.

Когда мордвин служилый перевел эти речи своим соплеменникам, те начали на своем языке что-то говорить, по лицам их видно было, что они стали очень довольны и воодушевлялись отвагою постоять за свои кереметы.

Собрание после того стало расходиться, и Круча, взявши Осипа под руку, повел его к одному двору и вывел из него отличного коня.

— Возьми, братику! — говорил он.— От тобі коня даю. Ух! Гарний кінь! Се як дуванили воєводині животи, так мені сей кінь достався. Нехай тому воєводі земля пером, що такого славного коня придбав. Озьми і їзди на йому, бо мені його не треба, у мене є на чім їздити; да й то правда, брате, що мені нічого тут не треба, чи буде що з нашого умислу, чи нічого не буде, а мені однакова дорога: коли не вб'ють, то я піду в своє Запорожжя і знову воюватиму з турком або з ляхом, і коли старий стану, не здужаю, так піду до Межигорського Спаса або у Печерське у ченці, бо я змолоду ще обіщався. От, братику, я питав, що робитимеш, як батька уб'єш: ти мені й одвітити не зумів, бо й сам добре не знаєш, що з собою зробить; а я тобі скажу що: утечемо з тобою в Запорожжя, і коли не уб'ють нас на полі ні на морі, та доживемо до того, що старими станемо, так у ченці підемо!

XII

Между тем в Саранске воевода успел озлобить против себя посадских. Он собственноручно избил плетью по лицу посадскую женку за то, что она на рынке рассказывала, как знахарка толковала народу, что явилась на небеси звезда простому народу к добру, а боярам к худу; а один из служилых, любимец воеводы, говорил на посаде: «Вы, посадские, будьте ниже травы, тише воды, хоть видите, да не смотрите, а то так плюнут в глаза, что и не протрете!» — «Добро! — отвечал один смелый посадский.— А как у нас глаза протрутся прежде, чем вы на них плюнете?» За эту дерзкую речь воевода, которому все пересказал затинщик, приказал посадскому всадить в рот палочку стоймя и, завязав руки, посадить в тюрьму. Каждый день воевода ездил по посаду и встречного и поперечного бранил измен-

ником. После всего этого посадские очень были нерасположены к воеводе.

В таком положении было настроение умов в Саранске. Трое бывших служилых явились туда и рассказывали воеводе небылицы, уверяя, что воров человек сто, не более, что между ними пошла поголоска, будто саранский воевода хочет идти на них в Атемар, и что они поспешили поскорее убраться и направились на Пензу, потому что там между служилыми людьми измена и их зазывали туда, обещаясь сдать город; в заключение рассказывали служилые, что самих их воры приневолили идти с собой, но они убежали и явились к воеводе рассказать всю правду. Все это говорено было так естественно, так непринужденно, что воевода совершенно поверил им и собрал в дом свой на совет дворян и детей боярских, которые съехались из поместий в Саранском уезде, услышав об опасности. Служилых призвали и заставили повторить свой рассказ перед всеми.

Один из храбрецов, дворянин, предлагал отправиться за ворами в погоню. Другие представляли, что это не совсем будет благоразумно. Воевода прибавлял, что если служилые все почти выйдут из города, то посадские могут пакостей наделать.

— Надобно подумать,— заметил один из дворян,— о наших братьях помещиках, а паче о женах их и детях. Нас сотня, да и те врозь живут, а наипаче то, что сами хозяева на царской службе, а жены с детишками одни остались. Надобно скликать их заранее в осаду.

— Ну, я не думаю, чтоб это вышло хорошо,— сказал воевода.— Пока еще беды не случилось, а мы станем ее на себя накликать. Пока в поместье либо вотчине сам государь, воровские прелестники все-таки побоятся расхаживать; а как государи уйдут, тут своя воля — и всякая сволочь пойдет по селам подговаривать народ на дурно.

— Нет, воевода,— возразили ему,— коли каждый будет сидеть у себя в поместье да свое добро оберегать, так и своего не убережет, и чужому не пособит. А пусть лучше воевода разошлет бирючей сбирать помещиков в осаду на дальний случай, а теперь же пошлет погони за ворами: коли с божьей помощью сами их побьют, тогда такой страх найдет на мужиков, что никто не посмеет ничего дурного делать, скажут: «Нет, плохо! Ворам удачи нет, надобно и нам сидеть тихо! А коли новые воры появятся, так у нас помещики будут!» В городе-то и людно, и безопасно, и вылазки чинить можно. А тем временем посылай, воевода,

отписки в Инсару, и Керенск, и в Алатырь со станицами, что воры проявились и город Атемар взяли, да, убоявшись, к Пензе пошли, и чтоб все сбирали помещиков, дворян и детей боярских идти на воров, коли опять придут.

— Все это хорошо рассказываешь ты, государь,— говорил воевода,— да нельзя оставить теперь город без обороны: ну хорошо, коли Бог пособит да побьем мы воров; а коли только что наши выйдут, а другие воры нападут с иной стороны?

— Как другие? — возражали ему.— Других, говорят тебе, нет. Да что ж, коли рати бояться, так уже это последнее дело! Да после этого с веретенами за печкой сидеть, что ли? Подумай, воевода, ведь князю Долгорукому не полюбится, что Атемар отдали; а царю-государю напишет, гляди, как бы за то не досталось! Скажут на Москве, как же это они там сидели, и у них под носом город взяли, а они и на бой не выходили! А будет мы их побьем, так хоть и Атемар взят, и в том нам вины не будет.

С этой стороны убеждение подействовало на воеводу. «А и впрямь,— подумал он,— а что скажут на Москве?» И он молчал, повеся голову... И все молчали, на него глядя.

— Так вы знаете,— сказал наконец воевода, обратившись к прибывшим из Атемара стрельцам,— наверное знаете, что воров человек со сто, не больше?

Те клялись, призывая кару божью на свое потомство.

— Ино быть по-твоему! — сказал воевода к тому из дворян, кто настаивал больше всех посылать погоню.— Твоя речь к делу.

И так воевода согласился отправить погоню за ворами, которые, по словам атемарских стрельцов, ушли из Атемара к Пензе, а сзывать дворян и детей боярских с их семьями в осаду не велел, чтобы оставить за своею головою хоть какое-нибудь распоряжение.

Воевода отобрал двести пятьдесят человек служилых и стрельцов, да прибавил к ним человек сорок пушкарей, и, выстроивши их на своем дворе, проговорил им наставление, что им делать и как отличиться на царской службе. «Как же им не одолеть воров, когда их почти триста, а тех только сто?» — думал воевода. Но тут вышла помеха: у стрельцов лошадей не было. Воевода велел им забрать лошадей у посадских, у кого из них только найдется. И стрельцы рассеялись по всему посаду по дворам. Иной, вбежавши во двор, не только саморучно выводил из конюш-

ни лошадь, но требовал еще и седла, да в прибавку кричал, чтоб ему дали съестного на дорогу. «Я слуга царский! — покрикивал служилый.— Вас, дураков, иду охранять!» И хозяйка собирала ему в мешки все, что находила у себя в клети.

— У меня одним-одна лошаденка,— говорил другому посадский,— вороти, родимый, коли Бог принесет здорового!

— Эка дурачина! — отвечал ему стрелец.— Чего просит! Убьют меня, все равно лошадь не воротится! За что ж я тебе стану ее отдавать, коли жив вернусь и ее живую приведу? То мое счастье, не твое. Нет, брат, попрощайся да поцелуйся с ней. Хоть и вернусь, так не отдам ее: продам и деньги пропью!

Были и такие, что требовали, сверх съестного, еще и денег, и когда хозяин заупрямился и божился, что нет, то стрелец отбивал замок от скрыни или разрубливал крышку и брал оттуда, что ему нужно.

Так обходились в этот день служилые с посадскими, и посадские от злости плакали, зубами скрежетали, судорожно кулаки сжимали, а прямо не смели ничего вымолвить.

Перед солнечным закатом воевода отправил погоню и дал отряду три пушки, которые повезли вслед за ним на колесах. Провожая их с отеческим вниманием, воевода стоял на башне и глядел им вслед, пока они не скрылись из вида, а потом снял шапку, перекрестился и сказал: «Спаси, Боже, люди твоя и благослови достояние твое!»

— Теперь,— прибавил он, обратясь к стоявшим возле него детям боярским,— нам следует обойти весь город да осмотреть всяческое утверждение.

И воевода с оставшимися отправился кругом стены из наугольной башни, на которой стоял, провожая глазами отправленных в погоню. Кругом, по извилистым отрогам городской стены, от башни до башни тянулись деревянные мосты, поддерживаемые толстыми столбами, которые упирались в низшие мосты, а от них в землю. В некоторых местах бревна, из которых они были сложены, прогнили и образовали щели; в других подгнили колки, которыми приколочены были их оконечности к оконечностям бревен, следующих за ними в длину, так что когда ступали по ним, то они поднимались вверх и угрожали стать вертикально. Там и сям черное их однообразие нарушалось мхом и травою. Воевода обращался с замечаниями о такой неис-

правности к служилым и сопровождал свои замечания крупной бранью, а те отвечали, что об этом они уже много раз докладывали, после чего воевода жаловался на разряд, куда он писал уже не один раз, да ему не разрешили починять города и высылать людей на городовое дело. Вдоль мостов, по которым совершал свое начальническое шествие воевода, торчали пищали в некоторых оконцах, и подле них лежали кучи ядер. Дошедши до другой высокой башни, воевода по узкой лестнице взошел на верхнюю площадку под пирамидальной крышей; там стояли обращенные на три стороны три пищали. Воевода осмотрел их дула, приглянул к лежавшей на полу куче кирпичей, припасенных для того, чтобы в случае осады метать ими на неприятеля; заглянул в маленький чуланчик, пристроенный к площадке для того, чтобы пушкарям можно было укрыться от дождя и снегу, и, сделавши два шага вниз, пошел по крыше городовой стены, где, при соединении двух кровельных полос, была сделана аршина в два шириною колея, по которой можно было ходить так же, как и по мосту. Воевода, прошедши несколько по такому пути, должен был перешагивать через большие коты или толстые колеса без спиц, которые скатывались на осаждающих. Дошедши опять до высокой башни, он снова осмотрел на площадке пищали, по лестнице сошел вниз, прошел несколько саженей по мосту и потом отправился по низшему мосту, едва поднятому от земли: тут отверстия вдоль моста по стене были шире, и пушки, называемые тюфяками. Многие только недавно были расставлены по местам; прежде того лежали в пушечном амбаре. Везде неусыпное попечение воеводы назначало места для пушкарей и затинщиков. При этом воевода счел нужным говорить в каждом месте, где отводил посты, некое примолвление, то есть доброе слово.

Так окончив осмотр стен, воевода прибыл в свой двор. Проходя через ту комнату, где сек Осипа, воевода невольно вздрогнул: он уже знал о смерти двух служилых и был уверен, что доведенный до отчаяния Осип убежал к ворам. Совесть воеводы в отношении его была покойна: он сделал дело хорошее — наказал непочтительного сына, и притом по воле отца, при самом родителе; в невинности Капитона Михайловича он не сомневался, но тайное предчувствие говорило ему, что этот молчаливый, затаенный юноша не простит ему своего поругания. Отправившись в другую комнату, воевода сел, придвинул огромную медную чер-

нильницу, вынул из ящика бумагу, держа ее на колене, а не на столе, начал писать на ней, поднимая беспрестанно глаза кверху, как будто что-то припоминая. Он писал распределение служилых, где кому назначалось быть. Собственно, это была должность дьяка; но сегодня загорелась в нем сильная деятельность: ему хотелось что-нибудь сделать самому. Окончив дело свое, воевода положил бумагу и отправился в сени, а оттуда в другую половину своей воеводской избы, где жила его семья, состоявшая всего-навсе из жены и шестнадцатилетней дочери.

Воевода был человек не суровый, никогда не дулся на жену и обращался вообще с семьею ласково, и только иногда расхаживался и подымал кутерьму, причем не обходилось и без побоев, за которые жена недолго на него сердилась. Вообще воевода наш был человек незлой, хоть и принадлежал к таким повседневным характерам, которые редко могли сказать поутру, что они намерены делать вечером. Он мог оказать кому-нибудь благодеяние, мог кого-нибудь и оскорбить и не раскаивался в этом после. Он легко запечаливался, легко развеселялся, любил пошутить, иногда покутить; впрочем, по своему воеводскому положению, в последнем случае всегда оставался в выигрыше. Давал ли он пир — гости его, подначальные или во всяком случае от него зависевшие, будь это дворяне и дети боярские, будь это посадские, всегда давали ему дары, поевши и попивши у него; приглашали ли его на пир — и тут его дарили, по общему обычаю: в первом случае надобно быть признательным за почет пировать у воеводы, а во втором за почет к себе принимать воеводу. Иногда и дома, в кругу своей маленькой семьи, разгуливался воевода, выпивал зелена вина, пива пьяного, меду сладкого и заставлял выкидывать перед собой разные затеи дурачка, ходившего по Саранску и кормившегося за счет людского смеху, либо приказывал рассказывать себе сказки старой жениной няне, которую всюду с собой возила жена его. Как с радости, так и с тоски воевода всегда прибегал к зелену вину. Теперь его охватила такая тоска, что он готов был уйти от нее хоть под лед.

Женина половина состояла всего из двух покоев: просторной светлицы с тремя окнами и комнаты с одним окном; в последней стояла кровать; позади были обширные сени, назначенные для прислуги: там и спали, и обедали сенные девушки и молодые служанки. Дочь спала в светлице. Когда воевода вошел, жена перед двумя свечами выши-

вала шелками колпак мужу; дочь разматывала матери клубочки; против нее сидела служанка и шила.

— Верушка! — сказал воевода.— Давай-ка выпьем мы с тобой, тоску-горе размыкаем!

Верушка вынула из шкафа сулею и налила ему водки в серебряную чарку. Выпив, воевода налил и подал жене.

— Пей, женушка! Пей, голубушка!

— Что сегодня за праздник? — сказала жена.

— Эх, Верушка! Не праздник, а воры меня сокрушили. Пей, матушка!

— Ах ты балагур! — сказала жена и выпила.

— Вот так, моя разлапушка, моя сожительница. Богом данная, моя голубушка сизокрылая!

И воевода поцеловал ее в губки.

— Ну, теперь я еще хвачу,— продолжал он.— Ударим о землю головой тоску-привередницу!.. А сердце мне, право слово, не добро вещает.

— Пошли-ка за ворожеей Феклушей,— сказала жена,— она ух как отгадывает! Всю правду скажет и пособит. Приключится ли в доме беда какова: только в воду посмотрит — и сейчас скажет. Хошь, я позову ее?

— А, женушка, грех! Богу молиться надо да терпеть, коли Бог искушает. О Господи! Не введи нас во искушение! Ну, а ужинать будем? Что у тебя припасено, все давай! Поужинаем сегодня вместе, а то за делами мне и с семьей-то некогда хлеба-соли съесть.

Он сел; жена пошла приготовлять ужин. Воевода подозвал к себе дочь, погладил ее светло-русые шелковые кудри, поцеловал в голубые глазки и потом загрустил...

— Боже наш, Боже наш! Что-то моей дочке, моей милой Настюшке, на свете какую судьбу Бог судил!

Между тем служанка расставила на столе три оловянные мисы и положила в них три деревянные ложки круглого вида с точеными рукоятками. Хозяйка поставила деревянную солоницу с подъемной крышкой, перечницу, нарезала большими ломтями ржаного хлеба; служанка принесла большой горшок щей и налила в мисы. Помолившись Богу, принялись все за щи, потом подали кашу, а потом принесли на блюде изрезанную на куски баранину, пропитанную запахом чеснока. Ели руками. По окончании трапезы принесли в медной ендове меду; хозяйка вынула из шкафа большую серебряную стопу с разложистыми краями и с выпуклыми изображениями зверей и птиц по стенкам; потом достала кружку с рукоятью, которая была меньше

стопы, и достакан, который был еще меньше. Стопу поставила мужу, себе кружку, дочери достакан. Обычай ставить перед женой и детьми хозяина сосуды поменьше величиной, чем перед самим хозяином, означал то, что жена была ниже мужа, а дети ниже отца и матери. Хозяин налил пенистого белого меду и, подняв стопу, возгласил:

— Подай, Господи, силу мышцам воинов царских, благопоспеши на искоренение врагов святые церкви Христовы и его царского величества нашего государя!

Когда все выпили, воевода, встав из-за стола, начал усердно креститься перед образами, слегка прикасаясь пальцами дубового пола, потом позвал семью в большую комнату, где принимал гостей и где сек Осипа. Там в углу стояло двадцать два образа; из них четырнадцать были привезены воеводою с собой и поднесены на месте духовными лицами, следовательно, принадлежали воеводе; остальные находились при воеводском доме. Образа Спасителя, божьей матери и трех святых, соименных воеводе, жене его и дочери, были в серебряных окладах; из других некоторые с позолоченными венцами кругом головы на изображении, а прочие написаны на позолоте или на празелени или составляли металлические складни. Главные, стоявшие в самом углу, были в позолоченных киотах с убрусами внизу из атласа, на котором вышиты были херувимы; от угловых по обе стороны до окон размещались другие верхними и нижними рядами. Весь этот угол с иконами закрывался пеленой, которая задергивалась по железному пруту. Тогда висела пелена зеленого цвета, несколько полинялая, с крестом, вышитым посредине золотом, и с узорами по углам в виде листьев. В большие праздники, как, например, Пасху, Рождество Христово, переменяли пелену и навешивали бархатную, обыкновенно красного цвета, а в пост черную. Пелена была обыкновенно задернута, чтоб иконы не зрели всяких мирских треволнений. Отдернув ее, воевода зажег три свечи, стоявшие в медном паникадиле, висевшем посредине. Дочь принесла огня в жаровне с крестом на рукояти, и воевода насыпал ладану, покадил и поставил жаровню на полочку перед образом, взял с этой полочки святцы и стал читать молитвы на сон грядущий. Семья и прислуга крестились, клали поклоны и шепотом произносили: «Господи помилуй! Господи помилуй! Господи Исусе Христе, спаси мя грешного!» По окончании молитвословия все разошлись: воевода лег в той комнате, где у него стояла чернильница и скамья с деревянным изголовьем, на кото-

рое дочь положила ему две подушки, набитые лошадиным волосом; на скамье не было матраца, а лежала полость и на ней ковер: воевода довольствовался таким немягким ложем; зато женина постель состояла из трех перин, положенных одна на другую.

XIII

В ту самую ночь приверженцы Стеньки Разина, выехавшие по дороге в Пензу, подступали к Саранску и, пользуясь темнотою, остановились за лесом, за полверсты от посада. Сидя верхом на лошадях по казацкому обычаю, они составили круг. Атаманы Круча и Михайло въехали в средину. Объехав кругом, Михайло говорил:

— Братцы-молодцы! Вот мы и к Саранску поспели. Станем держать совет, что нам чинить: идти ли к посаду и надолбы жечь или ждать, пока наши братья город зажгут?

— Как мы зажгем надолбы,— отвечали ему некоторые,— то служилые бросятся сюда, а тем временем наши город зажгут; тут они сами не будут знать, куда им кинуться: и там пожар, и здесь пожар!

— Нет, ребятушки! — говорили другие.— Лучше подождать. Их много; хорошо, как наши успеют город зажечь, а как нет? Тогда нам придется приступом брать и надолбы, и город потом. Много своих пропадет. Лучше подождем, пока дадут нам знать.

— Послухайте лиш мене,— сказал Круча,— панове громада. Ви всі тут постійте, а ми вдвох з паном Осипом навідаємо надолби та придивимось, з якого боку приступніш буде їх запалить. А то коли станемо довго радиться, що та як нам робити, то й до світу будемо теревені гнуть!

— Правду сказал! — отозвалось несколько голосов.

Круча, Осип и несколько удалых с ними поехали к надолбам. Ночь была безлунная, но звездная. В полумраке завиднелись чернеющие надолбы.

— Ану, товаришку,— сказал Круча,— ти молодий та бистроокий: приглядись, чи не видно якого злодія?

Осип глядел пристально вдаль.

— Атаман,— сказал он,— я вижу: кто-то бежит по полю.

— А є у нас чамбул? — спросил запорожец.

— У меня есть! — отозвался один из молодцов.— Якши умей!

— А, якши умей! — передразнил его Круча.— Так ти, братику, татарин. Добре! Ми з вашим братом давні приятелі! А залигай лиш того, хто там біжить. Та гляди в мене, не кричи! Бо я вже вас, татарів, знаю: ви не стерпите, щоб не заревти, так що не те що цілий город сполошиться, а навіть мертвого з землі піднімеш!

— Нет, нет, бачка! Я тих будет кричал! — сказал татарин.

— Та овсі мовчи, дурню! — сказал ему Круча.— А то тільки роззявиш рот, так я тобі його отсим заткну!

Он показал на саблю.

Осип с татарином стрелой пустились в ту сторону, где завидели людей. Татарин распустил свой ременный чамбул: то была широкая петля с двумя концами, за которые татарин держался; коль скоро петля забрасывалась на добычу, один конец стягивался, и пленник доставался победителю. Пеший, увидя скачущего против него человека, побежал, потом остановился и в то время, когда татарин, перегнувшись через лошадь, закинул на него свой чамбул, закричал: «Нечай!»

— Это наш, не трогай его! — крикнул Осип.

То был один из атемарцев. Зная хорошо местность, он покинул свою башню, где воевода отвел ему пост, спустился со стены, пробежал посад, обманул стражу в надолбах и бежал уведомить удалых.

— Обошлось наше дело так, как мы и не ждали,— сказал атемарец.— Воевода положился на наши слова да послал за вами в погоню почитай всех служилых; у него осталось теперь голов сто, не боле.

— Садись на мою лошадь за седло,— сказал ему Осип.— Доедем до Кручи, знать дадим.

Атемарец прыгнул к нему на лошадь и, как кошка, примостился за лукой седла. Осип и татарин поворотили назад.

— От так воєвода! — говорил Круча, узнавши от атемарца положение Саранска.— От догодив! От так добра душа! Ну, а коло надолбів велика у вас сторожа?

— Какая сторожа! — сказал атемарец.— Четверо на прясло, полтора человека на ворота! Только слава, что сторожа!

— От так воєвода! — продолжал Круча.—Єй-Богу, се

золото, а не воєвода! За се я його остреньким ножем любенько та гарненько заріжу, що і незчується!

— Ну, нет, атаман! — сказал Осип.— У меня еще спина не зажила. Мелкими деньгами рассчитается со мной!

— От який-бо же ти, пане-брате! — говорил Круча.— Видно, що дворянин московський! Спина не зажила! У нас на Коші, лучається, так бебехи одіб'ють, що ледве живий, та й то нічого! Засохне, як на собаці!

— У вас и добычи не отнимают,— сказал Осип.

— Авжеж! — отвечал Круча.— А що ж ти хочеш з тим дурнем воєводою робити?

— Увидишь,— отвечал Осип.

Они приехали к казакам, которые сошли с лошадей, привязали их к деревьям и уселись на траву да потягивали водку из сулей, которые некоторые привезли с собой.

Когда атемарец рассказал им, что сделалось в Саранске, все пришли в такую радость, что Круча и Михайло должны были напомнить им, чтобы они не очень давали знать о себе. Скучно было казакам дожидаться; нельзя было развести огня, даже и трубки закурить опасно, чтобы издали кто-нибудь не увидал огня и не догадался. Круча, умевший по звездам узнавать течение ночи, взялся наблюдать за небом и дать знать, когда придет пора.

Часа через три Круча сказал казакам:

— Вставайте, панове! Час! Вставайте!

Казаки сели на лошадей и подъехали к надолбам. Кругом было могильное молчание. Уже веяло утренней прохладой.

— Вот тут есть калитка: одному человеку проехать можно, и то просунувши голову,— сказал атемарец.— В ней опускается колода и поднимается цепями с той стороны. Надобно перелезть через стену и поднять.

Человек шесть вскарабкались один на другого. Верхний достал спрятанную веревочную лестницу и прикрепил ее; казаки перелезли через стену и подняли колоду. Все другие с нетерпением придерживали своих лошадей, ожидая знака из города. Прошло таким образом еще с четверть часа. На востоке начинало светлеть. Вдруг раздался свист: все обратились в ту сторону, откуда он послышался, но свист не повторился. Пение петухов нарушило молчание, замычали волы, заблеяли овцы... Городские стены начали уже обозначаться под слабым светом наступающей зари — и на одной из башен показалось пламя.

Вся казацкая толпа вздрогнула.

— Тс! — сказал Михайло.

Пламя возрастало. Ударили в набатный колокол — пронесся шум и топот... Раздались нестройные крики... Посад просыпался, пробужденный тревогою. Ударили в одной церкви в набат, ударили в другой, в третьей... На противоположной городской башне вспыхнуло пламя.

— Красный петух разгуливается! — сказал Михайло.— Едемте, братцы!

И казаки один за другим, гуськом, стали въезжать в калитку. Проехавши шагов семьдесят по коридору надолб, они наткнулись опять на колоду, которая была, на их счастье, поднята. Таким образом они очутились на посаде. Там уже все суетилось, бежали посадские людишки, сами не зная, куда им спешить и что делать спросонья: кто брался за ведро, кто за лопату, кто за топор, и в испуге бросали на землю, кто что держал в руках, когда увидели нежданных гостей. Казаки кричали:

— Нечай! Нечай! Многие лета нашему батюшке Степану Тимофеевичу и царевичу Алексею Алексеевичу! Не бойтесь, добрые жилецкие люди! Мы вам дурна не будем чинить никакого! Пришли вас избавить от недругов, царевичевых изменников, а вам, жилецким людям, дадим жить многие льготные годы.

Посадские были уже настроены слухами о Степане Тимофеевиче; поступки воеводы раздражали их в последнее время, и теперь, как только они услышали призыв и увидели, что пособники этого загадочного батюшки у них на посаде, то многие из них в свою очередь стали из всей силы орать: «Нечай! Нечай!» Другие хотя не были расположены пристать к мятежу, но, не спохватясь, как им держаться в общей сумятице, в свою очередь увлекались общим волнением; третьи прятались в погребах и клетях; четвертые бежали вон из посада. Так беспрепятственно доехали казаки до стен города, которые пылали уже в трех местах. Ворота были отворены, потому что служилые, которых было мало, бросились звать посадских на помощь. Казаки торжественно въехали с криком: «Нечай! Нечай!»

XIV

Воевода спал крепким сном безвинного на своей скамье, когда под дверьми его раздался зловещий голос: «Пожар! Пожар в городе! Вставай, боярин, горит город!» Вместе с тем дверь в сени, запертая изнутри, потряслась от кулач-

ных ударов. Пламя на башне светило сквозь окно прямо в глаза проснувшемуся воеводе.

— Ох, эти мне пожары! — сказал он в первое мгновение, не зная, где пожар; но когда подбежал к окну и увидел, что горит городская башня, то неистово вскрикнул и, не успевши надеть сапоги, бросился опрометью на двор, метался как угорелый и давал приказания.

— Тащите воду! Отворите ворота! Гоните всех посадских тушить! Бейте во все колокола!

Между тем в доме жена, дочь, слуги, служанки впопыхах хватали что попадалось им под руку и, оставляя одно, брались за другое, потом, бросая другое, хватались за третье. Воеводиха выбирала из шкафа посуду, выносила ее и бросала на крыльце; возвращаясь, тащила за одну ногу стол и покидала его на полдороге, хватала в охапку мужнины кафтаны и, растеряв их, металась из сеней в избу, из избы в сени, не зная, что еще взять. Служанки несли всякую всячину и растеривали, потому что брали не по силам, задние подбирали за передними и в свою очередь теряли, а холопи, взявши ключ от комнаты у воеводы, стали вытаскивать пожитки из клетей, но наткнулись на ендову с наливкой, не утерпели, чтоб не приложиться к ней, и скоро сблизились с ней так приятельски, что уже не могли более ничего носить. Служилые вертелись около воеводы, одни спрашивали, другие советы давали, третьи толкали своих товарищей, которые за это поднимали с ними брань. Всех спокойнее и благоразумнее вела себя молодая дочь воеводы: увидя отца в одной рубахе, босиком, она принесла ему кафтан и сапоги; но трудно было уговорить его одеться и обуться. Едва воевода надел один сапог, как вдруг закричали: «В другом месте стена горит!» Воевода крикнул: «Измена!», не стал более одеваться, не надел даже сапога на другую ногу и как бешеный выбежал из двора на площадь. Там около колодца сбилась в кучу такая толпа, что невозможно было доставать воды. Дочь бежала за отцом с его доспехами, но воевода схватил только из ее рук одну саблю и побежал далее.

— Затворяйте ворота! — кричал он.— Изменники царевы зажгли город! Посадские воры в одном умысле, хотят нас огнем сожещи врагу в угоду! Пушкари! Палите в посад! Валяйте их, таких-сяких детей! Всех с заводом и приплодом выкореню, предателей, богоотступников! Ни души живой не оставлю! Ребят, маленьких чертенят, и тех перебью! Палить в посад!

Но ворота не успели затворить, не успели и пушкари приводить в исполнение грозный приговор над посадом: тогда-то в ворота въехали казаки с криком:

— Нечай! Нечай! Многие лета батюшке Степану Тимофеевичу и царевичу Алексею Алексеевичу, вам, стрельцам, пушкарям, затинщикам, воротникам и всей простой служилой челяди, многие льготы и на вечные времена вольность!

— Это разбойники! — кричал воевода.— Деритесь с ними! Бейте их!

В это время жена и дочь прибежали к воеводе, за ними в испуге прибежала толпа дворянских жен и служанок.

— В церковь, в церковь ступайте! — сказал воевода, вдруг пришедши в себя.— Богу молитесь там, а я тут положу голову за церковь Христову и за царское величество!

Пугливое стадо женщин убежало в церковь. Там священник, облачившись, с крестом в руке, готовился встретить злодеев. Но жена и дочь воеводы не побежали за другими.

— Батюшка! — говорила молодая девушка.— Я не отойду от тебя! Убей меня! Не хочу доставаться злодеям. Убей меня, родимый мой батюшка, а сам клади живот за веру и за царя!

Эти слова были сказаны с той бессознательной невинностью, которая не подозревает всего величия своего геройства.

— Дитятко мое! Настюшка! Ступай в церковь! — говорил ей отец.— Верушка! Ступай с ней в церковь! Мы же, уповая на милость божью, будем биться со злодеями!

Но тут же увидел воевода, что биться было невозможно. Служилые не слушались его более.

— Проклятый дурак! Столб осиновый! — сказал ему тот дворянин, который противился посылке служилых в погоню за мятежниками по сказке атемарских стрельцов.— И сам пропадешь, и нас всех погубишь!

Казаки прямо летели на него.

— Подавайте сюда воеводу и всех приказных! — раздавались их зловещие голоса.— А вы, служилые, тушите пожар; царского города не станем мы изводить! Подавайте-ка нам воеводу прежде всего!

На него указали. Он стоял, опустя свою саблю, в совершенной готовности к смерти. Трусость им не овладевала, но смыслу и толку у него оставалось только на то, чтобы припомнить отцовский и дедовский завет умирать безбояз-

ненно за веру и царя. Жена держалась за него; дочь повисла ему на шею.

— Он мой! — сказал Осип, слезая с лошади.— Он мой, братцы! Узнаешь ли ты Осипа Нехорошева, государь воевода? Узнаешь ли ты его?

Воевода не отвечал ему и смотрел на него, выпучивши глаза, с совершенным бесстрастием и спокойствием.

— Судья неправедный! — говорил Осип.— Правитель беззаконный! Я искал у тебя суда за мать мою, ты оправил злодея, что ее со света извел, а меня немилосердно мучил и бил батогами! Теперь я стану тебе судьей и буду тебя мучить!

Жена испустила крик и упала без чувств на землю.

В это мгновение глаза Осипа встретились с глазами Настеньки. Увившись руками около отцовской шеи, она обернула к Осипу голову и посмотрела на него: в этом взгляде были написаны жалость и презрение. Этот взгляд опалил Осипа, пронзил ему сердце ножом острым. В глазах у него все помутилось. Этот взгляд как будто говорил ему: «Ах, Осип, Осип! Зачем ты встретился со мной в таком виде? Ты ли это, слуга царский, воин веры и отечества? Куда это занесла тебя жажда правды? Правды нет на свете, она у моего сердца! Зачем ты в нем не поискал утешения от своего горя? Оно чисто, оно непорочно, оно бы повело тебя к такому счастью, какого тебе и не снилось. Погибший молодец! Нет тебе возврата!.. Не сойтись нам с тобой: ты пойдешь губительным путем своим в бездонную пропасть... Погубил ты себя, погубил ты себя!» Перед ним в эту минуту пронесся прекрасный несбыточный образ: вот он приезжает домой; добрая мать встречает его; с ней молодая дочь воеводы, эта самая белокурая девочка, что так презрительно смотрит теперь на него ангельскими глазами невинности... И матушка говорит ему: «Ося! Вот тебе невеста! Люби да жалуй!» И он берет ее за белу ручку из старых рук родной матушки-кормилицы, он прижимает ее к сердцу, целует ее... Она ему верная подруга... Нет, нет! Матушка в сырой земле, она не приведет к нему невесты: батюшка, злой батюшка убил ее — а воевода покрыл его злодеяние... Воевода — враг его.

Осип схватил ружье у стоявшего подле него казака.

«Начал, так кончай! — шептал ему черный дух.— Нет тебе возврата! Не быть ей твоею! Воров побьют, искоренят, ты заплатишь виселицей за измену царскому величеству... Бей же их, не слушай сердца. Твоя судьба не тут!»

— Воевода! Молись Богу да кайся: я убью тебя! — сказал Осип и прицелился. С криком отчаянья дочь закрыла собой отца, прильнула губами к его щекам. Пуля попала в голову Настеньке. Отец обхватил ее крепко руками; он слышал, как исчезающая молодая жизнь охладевала в ней. Потоки крови обливали ему руки. Отец целовал ее в закрывающиеся глаза... Мать лежала без чувств на земле и, счастливая пока на тот час, не видела, что около нее делается!

— Ото! — сказал Круча.— Що це ти, братику? Чи стрілять розучився? Хіба вже ти не той, що колись в Глухові з стіни ляхів підстрілював; зарані було кажеш: сьому в голову, сьому в руку, й ніколи не помилявся!

Осип в неистовстве свистнул саблей воеводу и рассек ему голову так, что половина черепа отлетела далеко. Воевода вместе с мертвой дочерью упал в кровавую лужу.

— А отже ж, по-моєму вийшло! — говорил Круча.— Казав, буду мучить воєводу, а таки зразу покончив, як я хотів. Бо як же можна мучить такого доброго чоловіка, що нам допоміг город узяти, не утерявши ні одного з наших! Тепер же і других побить треба, усіх приказних та дворян!

Простые служилые указывали на дворян и детей боярских: их набралось человек пятнадцать; все были немедленно изрублены или застрелены.

— Давайте бумаги сюда! — кричал Михайло.— Из приказной избы все бумажье выметайте сюда, жечь их! Батюшка Степан Тимофеевич велел жечь все бумаги, чтоб ничего писаного не было на Руси.

Толпа ворвалась в приказную избу. Один только дьяк был убит. Подьячье кланялись в ноги, присягали служить батюшке Степану Тимофеевичу, и им даровали жизнь, наделивши, однако, вдоволь ударами. Явилась на площади куча свитков и тетрадей и запылала. Убийства уже переставали, как вдруг у ворот явилась толпа посадских. Они хватали служилых, тех самых, которые, думая себя спасти от гибели, только что перед этим останавливали и выдавали дворян и детей боярских.

— Они нас обирали,— кричали посадские,— они воеводе наговорили, что к нам скоморохи приходили, доносили ему, что мы говорим промеж себя речи вольные! Через них наших братьев в тюрьму сажали!

Напрасно служилые хотели как-нибудь отвертеться. Одни просто запирались, другие сознавались, но извиняли себя тем, что они люди подначальные, должны чинить то,

что им велят. Михайло сказал: «Коли вас круг судит, стало быть, вы повинны». Их убили. В это же время, когда с ними расправлялись посадские, близ церкви слышались страшные крики женщин и девиц, которых молодцы вытаскивали из божия храма и уводили в избы.

Тогда выпустили всех из тюрьмы, и вышли колодники бледные, чахлые, убийцы, воры, разбойники, и целовались с новыми своими братьями, даровавшими им нежданную свободу.

Вслед за тем, по приказам атаманов, явились запряженные возы: на одних положили тела убитых, на других складывали имущество воеводы и убитых дворян и детей боярских. По казацкому обычаю, посадские должны были выбрать ценовщиков, которые, смекнувши, оценили бы все пожитки, и всю сумму следовало разложить поровну на целый посад, а из казаков всякий получал бы на столько, на сколько на него приходилось по оценке, а коли брал на большую ценность, так приплачивал: приплата тоже шла в подел; есаул должен был собирать эти деньги и потом делить. Это называлось дуван.

В то время когда на площади происходил такой дележ, тела убитых на трех возах повезли в монастырь хоронить. Их провожал юродивый по прозванию Красноголовый, оттого что у него голова была обвязана красной лентой. Он ходил босой, носил в руке железный прут, увитый цветами и увешанный кусочками цветной материи. Этот юродивый просил у всех денежку на табак, а в пост на колбасу, и что получал, то раздавал нищим; не было у него приюта ни летом, ни зимой: если бы в трескучий мороз его забыли приютить где-нибудь, то он мог бы и замерзнуть, сам не попросивши ночлега. Еще не было вести о мятежниках, а он уже пророчил всеобщую беду: говорил, что будут на земле совершаться ужаснейшие грехи, что люди, установленные от Бога, власти забудут. Теперь, провожая тела, он кричал: «Полти хорошие, свежие! баранина жирная, мясники молодые наехали, мясцо подешевело!» В монастыре всех схоронили в одной могиле, отправили погребение убиенным, а по окончании церемонии юродивый стал плясать на могиле, припевая песенку:

Эй, братия, братия!
Берегите платия!
Цветно платье пригодится —
На страшный суд появиться.

После дувана, который происходил между теми, кто поспел придти, начали на площади устраивать казацкий порядок. Посадских в городе осталось не более половины: многие бежали, другие не выходили из закоулков. Бежавшие были большею частью купцы и зажиточные посадские, знавшие, что их брату в таких случаях не слишком будет вкусно. Толпу пришедших на площадь составляли работники, наемщики, кабальные люди, служившие у зажиточных посадских, пьяницы, спустившие все до ниточки, отвыкшие от труда и жившие у дверей кабака, питаясь вонючей рыбой, по милости доброхотных дателей, добрые молодцы, у которых кровь еще не остудилась ни от лет, ни от женитьбы, ни от воеводских батогов. Все было пьяно; воеводские, дворянские и купеческие меды и наливки лились не только в горла, но и на землю, упитанную свежей кровью. Круча поглаживал длинные седоватые свои усы, разъезжал в толпе на коне и очищал майдан, просторное место для составления круга, на котором должен быть устроен казацкий порядок.

Когда наконец кое-как успели водворить тишину, Михайло, наученный Кручей, говорил:

— Батюшка Степан Тимофеевич велел вам говорити: теперь, добрые жилецкие люди, сталась на божьем свете великая перемена, и такая перемена сталась, что не будет уже воевод и дьяков, а все будут казаки. Стало быть, и вы теперь уже больше не посадские, а казаки; никого над вами сверху нет, а все вы равны и не будете никому платить ничего, так как на Дону все — вольные люди и ничего никому не платят. А что вас ни есть теперь посадских людей, нужно поделить вас на сотни да на десятки, и чтоб над каждым десятком был свой десятский выборной, что излюблен своим же десятком, а над сотнею свой сотский, а его тоже выберет сотня. И судьи у вас будут свои ж излюбленные миром; а который судья не в правду учнет судить, ино его сменить да другого выбрать на его место; а над всеми вами будет атаман, а при атамане есаул, и тоже выборные люди; атаман будет строй держать, а есаул у него на помочи. Атаман с есаулом отберут охотников из вас, да пойдут Русь святую очищать, да царевичу путь к Москве прокладывать, а на место их в городе другого атамана поставят; а даст Бог, царевич сядет на Москве, и в те поры атаман с есаулом и со всеми молодцами назад вернутся и будут город ведать и беречь от всякого прихода воинских чужих людей, а сменяться атаман и есаул будут что ни год,

а излюбите, то оставите их на другой год. А будете вы все собираться в круг, не то что богатые да хозяева одни, а все что ни есть людей на посаде, чтобы зазорно никому не было. А даней платить не будете, ни оброчных денег, ни ямских, ни городовых, ни стрелецкого хлеба; только на которую нужу будет потреба, ино круг соберется и приговорит, что вот столько и столько с дворов собрать, а сотники и десятские сберут и отдадут целовальникам, выборным же, и те миру ответ дадут в деньгах мирских. А всякими промыслами и торговлею промышлять по своей охоте волен всяк, только того смотри, чтоб никто неправедно не разживался и бедным людям продажи не чинил; а кто не по правде учнет торговать либо промысел каков ни есть вести другим убытливо, ино того круг приговорит взять и животы его поделить между всеми, чтобы никому не повадно было ради своей наживы убытчить и разорять добрых бедных людей.

Последнее особенно понравилось многим из таких, которые ничего не имели и по лени не старались иметь. Толпа зашумела. Стали кричать, что коли так, то вот такого-то и такого взять и животы его поделить тотчас же, для того что он нажил свое добро неправедно, с бедных людей дорогие цены брал или рабочих у себя дурно кормил, и бивал, и в тесноте держал.

— Это все сделается,— сказал Михайло,— как в круге станется атаман: теперь следует вам прежде всего атамана выбрать, сотенный порядок учинить. Кого хотите в атаманы?

— Мы люди темные,— отозвалось несколько голосов,— и сами не знаем кого. Кого поставишь, тому покорны и будем.

— Нам почем знать? — сказал Михайло.— Всяк город и посад себе выбирает атамана сам. Вот и я атаман, меня атемарцы выбрали.

— Да кого назначишь, батюшка, тот и наш! — говорили посадские.

— Так вот вам Лукьяна Ярыгина,— сказал Михайло, указывая на того атемарца, который им весть за город подал.

— Ну, и Лукьян Ярыгин пускай будет!

— Нехай він буде городовим,— сказал Круча,— а войськовим нехай Осип Нехорошенко буде!

— Пусть будет! — сказали в толпе.

— Так по нашому козацькому звичаю,— продолжал Круча,— кидайте отак шапки вверх та кричіть «го!».

Все подбрасывали шапки вверх и кричали «го!». Это так показалось неловко запорожцу, что он не утерпел, чтобы не произнести вполголоса: «Бісові москалі».

— А давайте лишень ще царську казну! — сказал Круча.— Ми її подуванимо. Де той піддячий, що казною завідовав?

Привели подьячего денежного стола с связанными назад руками.

— Ну, брате! Кажи, де в тебе гроші? Та не бреши!

Подьячий, вместо ответа, от страха кланялся в землю.

— Ну, кажи, кажи! — говорил Круча.— А полежать ще доведеться.

— Батюшки, кормильцы! — вопил подьячий.— Помилуйте! Христа ради помилуйте! У меня женушка, детушки дробные! Пустите душу на покаяние, отцы родные! Заставьте век Бога молить!

— Полно балясы точить! Говори, где деньги?

— Все, все скажу! — говорил, весь трясясь, подьячий.— Всего в столе казны было пятьсот двадцать семь рублев, восемь алтын, две деньги. А ключей у меня нету: всяк день воеводе относил.

— А врешь! — заревел Михайло.— Воеводу убили, так ты на него и свертываешь: знатно, что из могилы вынимать не станут. И там в столе ничего, может, нет — сам ты украл?

— Нет, кормилец,— говорил подьячий,— не брал я; пересчитывал — было пятьсот двадцать семь рублев, восемь алтын, две деньги.

— А список где?

— А де список? — сказал Круча.— Чорти взяли список зо всіма бумагами.

— Так веди ж его, Осип, перебери с ним казну. Отбить замок, коли нет ключа! — говорили казаки.

Осип ушел с подьячим. Между тем опять в толпе поднялся крик, и явилась толпа черных людей в синих рубахах, в серяках. Они тормошили нескольких порядочно одетых посадских и кричали: «Давайте нам суд и правду!»

Атемарец в качестве атамана подскочил к толпе бедняков, что жаловались на богатых. Оказалось, что эти работники требовали, чтобы все животы своих хозяев тотчас же подуванить за то, что те брали большие барыши, а они, бедные люди, у них работали. Атемарец не мог понять, за

что грабить людей, ни в чем не винных? Между тем толпа увеличилась. Показалось больно хорошо, если зажиточных пограбить и между собой их животы поделить. Атемарец, не взявши хорошенько в толк, определил, что уж если дуванить, так не всех ли?

— Дело, дело! Всех дуванить, всех! — закричали в толпе.

Новонареченный городовой атаман стал решительно в тупик и побежал из круга советоваться, как ему всех подуванить. Запорожец ухватился за бока от смеха, приговаривая:

— Ото дурні з сина сі бісові москалі. Як же ж ви будете дуваниться, одно другого подуванить, а те уп'ять дуванитиметь те, що його подуванило... то так і кінця не буде!

Он побежал к толпе, стал уговаривать и объяснять, что никак нельзя так подуваниться. Они согласились с запорожцем, потом снова принялись за прежнюю песню. Притом же не все понимали речи запорожца. Тогда запорожец кликнул Михайла. Увещания последнего также были неудачны. Все шумели, кричали, бранились, наконец начали один другого бить по сусалам. Михайло, видя, что ничто не помогает, высыпал на них обильный запас крепких выражений, какие только могут придти удалой русской голове.

— Казаки! Плетей! — закричал он наконец.— Я их, таких-сяких, научу уму-разуму! Я их передуваню! Валяйте их, братцы!

Казаки бросились на толпу. Посадские пустились бежать врассыпную.

— Ах вы, пустолобые! — кричали казаки.— Мужичье эдакое! Молчать да делать, что вам прикажут!

Таким образом посадские снова вошли в свою колею: им показалось, что есть еще воеводы и служилые, которые могут по-прежнему каждого из них растянуть и отдуть батогами. Чувство порядка, не мыслимого без признаков воеводского управления, мгновенно водворилось: все остановились по приказу казаков, воротились и стояли смирно; только многие утирали по лицу текущую кровь, которая пролилась или от кулаков товарищей, или от казацких плетей.

— Как смеете не слушаться вашего начальства? — кричал Михайло.— Я вас с костьми истолку, в пыль размечу, собачьих детей! Вот только кто у меня рот разинь, сейчас велю изрубить! Угоден вам атаман или нет? Говорите!

— Как, твоя милость, прикажешь. Кого нам поставишь, тот нам и будет, и слушаться станем.

— Так от що,— сказал Круча,— Яригін не годиться. Треба другого вибрати. От нехай Осип Нехорошенко прийде, порадимось, кого їм наставить. Треба одібрать тих, що в поход підуть, а над другими, що остануться, отамана наставить.

— Кого, твоя милость, прикажешь! — говорили посадские.

— Мы,— сказал Михайло,— оставим над ними человек пятьдесят казаков, чтобы их в руках держать!

Осип в это время возвращался из приказной избы. Не спрашивая о казне, запорожец велел ему отобрать охотников, которые пойдут с ним в поход, и Осип сел верхом и поехал к толпе. Он выбирал не охотников, а тех, которых сам хотел. Всякий, на кого он указывал, кланялся и повиновался. Таким образом он отобрал до двухсот человек.

— Да у нас нет лошадей,— сказали некоторые,— воевода лошадей побрал.

— Я не хочу знать этого! — говорил Осип.— У кого лошади есть, те давайте тем, у кого их нет, а не будут давать, так вы, ребята, и силой возьмете. Чтоб были лошади!

И те, которые освободились из-под кулаков голытьбы, с радостью отдавали своих лошадей, довольные и тем, что самих на белом свете оставляют.

— А насчет дувану,— сказал Осип,— вот какой приговор: кто бежал из города и у кого что осталось, у тех все подуванить; а кто нам покорился, того не трогать, а кто тронет, велю повесить. Слыхали ль вы это?

— Слыхали, батюшка!

Между тем подьячий денежного стола дожидался с деньгами. Оказалось денег столько, сколько он показал прежде. Тем не менее возник вопрос: что делать с подьячим? Удалые кричали, что не может быть, чтоб он сказал правду; невозможно, чтоб человек, у которого на руках деньги, утерпел и не попользовался ими. Решили пытать подьячего. Когда потребовали палача, оказалось, что его убили за то, что по приказу воеводы повесил казацкого пособника. К утешению толпы, выскочил какой-то бородач, с лицом, испорченным оспой, грязный и оборванный. Он объяснил, что был дворовым человеком у какого-то князя на Москве и производил расправу над его многочисленной дворней по государскому приказанию, но один раз на масленице отправился он на промысел с товарищами, из-за угла запустил в прохожего кистенем и прошиб ему голову,— на беду,

другой прохожий шел с тем, кого он убил; этот успел убежать и закричал так, что прискочили стрельцы; товарищей его поймали, а он сам ушел из Москвы, шатался где день, где ночь, и попался в разбое в Саранском уезде; вот уже три года сидел в тюрьме, а теперь его выпустили.

Все обступили его с любопытством, и палач, потирая руки, готовился с хвастовством показать добрым людям свое художество в истязаниях бедного подьячего. Но едва только он за него взялся, как Осип подскочил к нему и закричал:

— Не надо! Я не велю!

— А круг велит! — сказал лукаво Михайло.

— Коли меня круг выбрал атаманом, так я не велю. Пошел вон! — сказал он палачу.

— Э, больно ты прыток! — сказал Михайло.

— А ты знай свой Атемар, а в мой Саранск не мешайся, пока я не дал тебе права! Михайло Харитонов люб вам или нет? — громко закричал он к толпе. — Хотите его городовым атаманом?

— Кого, милость твоя, поставишь!— говорила толпа.

— А в Атемарі хто ж буде? — спросил Круча.

— Он и Атемаром будет править: кого поставит он в Атемаре, тот там и будет. Михайло Харитонов! Оставайся тут, а я пойду с охотниками по своим делам. Ты, Круча, пойдешь со мной?

— Себто як ти з батьком розправляться станеш! Ні, товаришу, прався собі сам. Михайло в Саранську буде, а я одберу собі козаків та дальше піду!

XV

Еще шесть недель не прошло. Капитон Михайлович только и думал о том, чтоб поскорее жениться на Неониле Филипповне. Зловещие слухи о приближении воров носились: Того и гляди, что воевода позовет в Саранск на службу; уже стрельцы бегали по помещичьим усадьбам, призывали на царскую службу. Его почему-то еще не трогали.

«Верно,— думал он,— воевода Оську за меня поставил. Авось меня минуют; я ведь стар... А чем, однако, черт не играет! Что, как Оська?.. Он зол на меня... Нет, не может быть! Он Бога побоится. Столько лет служил верою-правдою царю... Нет, не сделает... не сделает! Никогда!»

Совесть в нем заговаривала. Подчас ему становилось

ужасно тяжело. Он призывал ключника или жену его. Он хотел как-нибудь прогнать от себя тайный голос, который шептал ему много неприятного, мрачного.

— Не первый ты и не последний,— утешал его ключник,— что ж, если и попутал лукавый — отмолишь Бога! Мы все за тебя будем милосердого Бога молить. Кто Богу не грешен! Бог милостив. Хуже было бы мучиться да сохнуть по своей милой. Ведь поглядел бы на себя: словно ковыль-трава на горючей степи от солнца, иссох; словно воск против огня, истаял! И она, бедняжечка, ночь-день покоя не знала, как голубочка ворковала; все по тебе, боярин, все по тебе! Без тебя ей свет не мил, солнце не красно; еда на ум не идет, жить не хочется! А как поберетесь, то-то заживете! И нам, холопям, любо да мило будет смотреть на вас!

Вот встает Капитон с утренней зарей пасмурный, болезненный. Ночью ему мало спалось: ночь была тревожная. Выли псы на дворе, за рекою в селе откликались другие псы таким же воем; на церкви кричал сыч. Капитон вышел на воздух. Было осеннее утро, ясное и холодное. Он оглянулся вокруг себя. Над ним раздалось трижды карканье ворона: черная птица сидела на трубе его хорóм, три раза прокричала и улетела.

Капитон Михайлович вошел в дом. Вздумалось ему надеть зеленый кафтан с золотыми нашивками. В этом кафтане он был тогда, когда неосторожно хватил свою супругу; он не надевал его с тех пор и нарочно запрятал в скрыню. Теперь, чтобы разогнать и превозмочь душевную тревогу, он задумал сделать именно то, что наводило на него эту тревогу. Он открывает скрыню — из скрыни выскочила мышь...

— Кота! — машинально закричал хозяин.

Мышь исчезла в подпольную дыру прежде, чем могли услышать голос хозяина и подать кота. Капитон Михайлович стал перебирать платье. Вот его праздничный кафтан рудо-желтый камчатный с серебряными пуговками, подбит тафтою зеленой; а вот штаны синие лунского сукна; а вот и он... кафтан зеленый настрафильный, подбитый дорогáми; он вынул его и видит — мышь проела на нем две дыры: одна дыра на правом рукаве, другая на груди, как раз против сердца... Капитона Михайловича самого что-то за сердце схватило!

— Как это проклятая мышь сюда пролезла? — сказал он сам себе, судорожно перебирая далее платье.

Вот он увидел в скрыне дыру; мышь прогрызла дерево и влезла; что же! Тут нет ничего дивного. Да как же это она другого платья не тронула, только один этот кафтан прогрызла?

Он пристально осмотрел все остальное платье — нет порчи, все цело! Одному этому кафтану только досталось. Стало быть, за этим только и дерево в скрыне прогрызла, за этим и в скрыню влезла!

Капитон Михайлович задумался. В это время какой-то глухой шум пронесся позади него... Он быстро обернулся, в глазах у него позеленело, ему было страшно: ему казалось, будто он вскользь увидел кого-то, не смел он назвать — кого... В самом же деле ничей образ не стоял у него перед глазами, но в глубине души у него что-то отразилось, и ему показалось, что он должен это увидеть, хоть и не увидел на самом деле. Капитон поспешно закрыл скрыню, не уложивши в порядок платья, и забыл запереть ее. Он вышел из дома, прошелся по двору, пошел на задний двор, в сад, в пчельник... Там жил у него старик: то в пчельнике, то в мельнице доживал он век свой за легкой работой по летам.

— Что, дедушка? — спросил хозяин.

— Не добре, боярин! — сказал старик, шевеля беззубыми челюстями.— Попа бы нам позвать — воду освятить, ладаном покурить... ках, ках, ках!.. нечистого прогнать... свят, свят, свят! Ох, все Господь за грехи наказует... да он же и милует грешных. Ночью будто что-то стонет да шумит, и вот все в этом углу; раза два выходил из избы, подойду — ничего нет; а улягусь — опять так и слышу: что-то вот стонет да тужит. Да вот птичница Акулина говорила: курица петухом пропела! Ух, боярин, это плоха примета! Да вон смотри, смотри, боярин: вишь, как галки да вороны вьются, инда кто их гоняет, все кругом, кругом... Видишь, боярин!

У Капитона Михайловича сердце сжималось, ему стало холодно. Он сказал:

— Ну что ж, дедушка! Коли примета и не к добру, что же, может быть, это Господь посылает для нашего вразумления, чтобы мы в чувство пришли и покаялись в грехах своих.

— Эх, боярин! — сказал дедушка.— С той поры, как наша добрая боярыня Наталья Андреевна преставилась, у нас все неладно! Я человек старый, боярин; конечно, наше дело холопье...

— Цыц! — закричал Капитон Михайлович, не любивший, если кто-нибудь вспоминал при нем о покойнице.— Коли тебя не зовут, так сам не суйся! Ступай себе, ходи за своим делом!

— Я пойду... пойду! — сказал старик, удаляясь и мотая потупленною головою.— Не гневись, боярин, не гневись, я ведь старый человек, а ведь сказано: старый — что малый, что ему на ум взбредет, то и несет.

Побродивши по усадьбе, Капитон Михайлович взошел опять на крыльцо своих хоро́м и стал смотреть задумчиво вдаль. Глаза его увидели вдали скачущего всадника: он бежал во всю прыть по Саранской дороге прямо к двору его. Вот всадник встретил кого-то, сказал ему что-то и опять побежал. Вот он подъезжает, вот он на дворе и прямо летит к крыльцу. Капитон Михайлович предчувствует, что услышит что-то недоброе. Гонец проворно соскочил с лошади и прежде всего попросил оставить эту лошадь у себя, а ему дать другую: он ее оставит у помещика, который даст ему на обмен третью, а эту пришлет к Капитону Михайловичу; лошадь же, на которой гонец пробежал, следует привести в Саранск. Потом гонец отдал Капитону Михайловичу воеводский указ и проговорил:

— Велит воевода сейчас собираться с людьми в город во всем наряде: воры в Атемаре и не сегодня-завтра подступят под Саранск. А сын твой Осип бежал и пристал к ворам.

— Господи Боже! — воскликнул Капитон Михайлович и схватился за голову.

Гонец, сделав свое дело, отошел, выпил чарку водки, которую поднесла ему женщина, снял со своей лошади седло, переложил его на лошадь, которую ему подвели, сел, сказал «прощайте» и быстро поскакал из ворот.

— Слышишь? — сказал Капитон Михайлович ключнику, вошедши в горницу.— Оська ушел к ворам! Нас зовут в осаду в Саранск. А свадьба?

— Позвать попа да повенчаться скорее,— сказал ключник,— да потом усадить Неонилу Филипповну да и бежать. Я вас провожу.

— Куда бежать! Слышишь, в осаду зовут! Это значит от царской службы хорониться. За это кнутьем отшлепают да поместье отымут.

— Э, боярин, кнутья без сыску не бывают. Воры не будут долго стоять под Саранском. Коли не возьмут они его в два вечера, так значит Саранск отсидится; а мы тут и приедем, будто опоздали, умолчим да умаслим воеводу.

А не отсидится, так тогда и нам паче всех беда будет: Осип будет главный заводчик, он поведет воров сюда, отца-то не посмеет тронуть, а Неонила Филипповна пропала. Пес Первушка все узнал и рассказал.

— Правда твоя; надобно спасать Неонилу. Да как же венчаться, когда шести недель нет?

— А что же делать, коли ждать нельзя! Нужда закон изменяет. Поговори с попом, что он скажет.

Недолго пришлось Капитону Михайловичу уговаривать попа. Честный отец не перечил: нет помехи ни в родстве, ни в кумовстве, а на шесть недель правила не написано. Почему не повенчать, коли за то дадут хорошую плату!

— Боже благослови! — сказал поп.

И еще дал такой благой совет Капитону Михайловичу: объезди ты четырех помещиков и зови их на свадьбу, и у детей боярских, соседей, побывай и их позови, и всем скажи, что вот, мол, хоть оно и необычно, да что же делать! В осаду зовут, а оставить бедную вдову одну — опасно; так я, мол, хотел все равно жениться на ней, уж так порешил поране повенчаться, и поп-де на такой случай разрешил.

Капитону Михайловичу оседлали лошадь, и он поехал звать соседей на свадьбу, вместе с ключником. Прежде всего заехали ко вдове-невесте. Вдова была чрезвычайно рада, когда ей объявили, что свадьба послезавтра, в воскресенье; а когда она спросила, отчего так скоро, не ждут шести недель — Капитон Михайлович начал было вывертываться и выдумывать. Но Неонила Филипповна сказала:

— Мой милый, говори правду. Мое сердце что-то чует. Говорят, воры под Саранск подступают? Правда ли этому?

— Да, светик мой,— отвечал Капитон Михайлович,— нас зовут в осаду. Да не бойся, после свадьбы подумаем, идти ли в осаду или уехать куда подалее; когда идти в осаду, так лучше мы вместе будем там. А то как ты одна здесь останешься! Коли я сам буду в осаде, как бы воры сюда не пришли и над тобою дурна какого не учинили.

— А твой Оська... где он, что он? — спросила Неонила Филипповна, она уже что-то предчувствовала и подозревала.

Капитон Михайлович побледнел.

— Оська? — сказал он, собравшись с духом.— Оська не мой сын,— собачий он сын! Будь он от меня проклят! У меня нету сына! Не поминай о нем никогда!

Капитон Михайлович уехал скликать гостей, а у Неонилы Филипповны начались свадебные приготовления.

Капитон Михайлович приехал в дом соседа. Сам хозяин был на службе; в доме оставалась жена с двумя сыновьями-недорослями и бабка. По тогдашним нравам, бабка была главное лицо в доме. Капитон Михайлович, как лицо просящее чести, слез с коня у ворот и ввел его за уздцы до крыльца. Бабка вышла к гостю. Это была высокая, худая, сгорбленная старуха, в огромной кике, перевязанной белым платком, которого шитые золотом концы, подвязанные под подбородок, развевались у ней на груди. Она подпиралась клюкой более для важности, чем из необходимости. Капитон Михайлович поклонился ей до земли, и когда начал просить быть посаженой матёрью, она заартачилась.

— Ах вы греховодники! — сказала она.— Только что похоронил свое первое подружье; шести недель нет, как у тебя жена умерла, а у ней муж; чем бы душу строить да слезами поминать, а он уж за мирские сласти! Да и до веселостей ли теперь, когда гнев божий наступает на нас, грешных, за наши беззакония! Лихой, окаянный супостат Стенька Разин высылает на нас свои темные силы. Сам человек и ученый, и смышленый — ведь это что? Страшный суд близко — вот что!

— Матушка моя, Прокла Тихоновна! — сказал Капитон Михайлович.— Не худое дело мы затеяли, закон святой, Богом установленный, принимаем. Что по воле божьей моей супружнице смерть прилучилась, я душу ее буду строить, пока веку моего; а в доме, сама знаешь, матушка, нельзя без хозяйки: все пойдет врознь. Да и ей, вдове, одной оставаться непригоже.

— Ох-ох-ох! Оно правда, родимый, правда! Вот я и сама теперь под старость, чем бы Богу молиться да душу спасать, в мирской суете утопаю. А отчего? Хозяйки нет. Невестушка у меня больно неразумлива; говоришь ей, говоришь, инда горло пересохнет, вся из сил выбьюсь,— не делает по-моему, как я ей велю. Слово грубое как-нибудь скажешь, сейчас надует губы, забывает, что я ей такое. То-то, родимый, времена, вишь, такие теперь стали, что молодые хотят разумнее старых быть. Ну пускай, дело хорошее хозяйку в дом взять, да зачем же так скоро?

— Затем,— сказал Капитон Михайлович,— затем так и скоро, что божие на нас попущение. Зовут меня на защиту благочестивого жительства противу воровской смуты. Ехать нужно, так я хочу скорее закон принять, чтобы было

кому в дому оставаться; а то все дымом пойдет без жены. Сынишка впал в непослушание и неведомо где теперь. А как я женюсь да сам на царскую службу пойду, так жена в доме большая будет.

Старуха убедилась этими доводами и согласилась быть посаженой матерью.

Оттуда поехал Капитон Михайлович к другому соседу — просить его посаженым отцом. Хозяин, получив указ воеводы, снаряжался идти в осаду: в доме и на дворе была беготня, несли сухари, приготовляли вьючные мешки. Капитон Михайлович, как вошел в дом, тотчас сказал:

— Бью челом и земно кланяюсь! Вижу, что тут сбор на службу царскую, и у меня то же; только у вас сын есть; Бог дал помощника и наместника на старость, а у меня сын не в меня пошел: не захотел отческой молитвы и благословения, оставил меня одного, а сам тягу дал; на службу теперь самому приходится идти! Я попрошу вас — поедем вместе. Только мне не на кого дома бросить: один я как перст; так я, помолясь Богу да благословясь, задумал жениться. Что делать! Шести недель нет, как умерла покойница, царство ей небесное, а вот приходится против обычая жениться. Просим покорно на свадьбу; попируем в воскресенье да сейчас и отправимся в поход.

Хозяин согласился беспрекословно быть у Капитона Михайловича посаженым отцом.

Капитон Михайлович побывал еще в двух помещичьих дворах, и там согласились быть у него на свадьбе.

Жили за Нехорошевым в деревнях дети боярские. Поехал к ним Капитон Михайлович и въехал он на двор к одному (Капитон Михайлович был старше его статьею, и потому прямо подъехал к крыльцу). Застал он там других соседей — детей боярских. Они толковали, что им делать: прослышали, что воры подходят к Саранску, у некоторых были дети и братья в осаде, теперь их самих звали.

— Батюшка! — закричали они, увидя Капитона Михайловича.— Сам Бог тебя принес. Дай нам совет.

— Вестимо, надобно ехать на царскую службу,— сказал Капитон Михайлович,— а прежде поедемте ко мне на свадьбу. В воскресенье отпируем, а потом в путь. Это дело будет.

Дети боярские с большою радостью приняли эти предложения.

Едучи назад, в Нехорошевке Капитон Михайлович во

всеуслышание всем объявил, что у него свадьба в воскресенье, и звал встречного и поперечного обедать в понедельник. Перед вечером воротился он в усадьбу.

Рассказавши ключнику и жене его свое путешествие, Капитон Михайлович сказал:

— Ты будешь у меня дружком, а ты — свахою.

— Да ведь мы, кормилец, холопи, статочное ли дело говорить, чтоб нашему рылу холопьему такой чин занимать на дворянской свадьбе.

— Я вам дам сегодня же вольную,— сказал Капитон Михайлович.— Хоть вы и не хотели этого, да теперь берите, а жить у меня будете неразлучно: мне без вас не жить.

Капитон Михайлович сделал этим совсем необычное для дворянина дело.

XVI

Еще до рассвета в субботу беготня и суета показывали, что готовится важное в доме. Взошло солнце; день был ясный, дворовые бабы, бегая по всем направлениям, горланили свадебные песни. В поварне готовили каравай. Ключница с прислугой убирала сенник, где должна быть опочивальня для молодых. Четыре холопа несли на носилках сорок ржаных снопов; их положили на доски, сколоченные вместе и положенные на толстых столбах: эти доски служили кроватью; на снопы положили перины одна на другую, длинное изголовье и на него четыре подушки, по две в ряд, обтянутые алыми наволоками с золотою тесьмою и бахромою по окраине; на простыне протянули два одеяла, одно верху другого: одно голубое, другое камчатное красное, с соболиною опушкою по окраине. Над самой головой сваха поставила образ в позолоченном окладе. Подле постели у изголовья поставили кадь, насыпанную житным зерном. Пол устлали циновками, а подле самой кровати постлали ковер. Стол, стоявший за кадью, укрыли персидским ковром, поставили на нем две восковых свечки и положили просфору.

Убравши сенник, сваха убрала столовую, где новобрачные должны были обедать после венца. Столы были расставлены подле лавок, с оставлением проходов для седания; напротив стоял поставец с чарками, кубками и прочею посудою. Столы покрыты суконными скатертями синего цвета с золотою бахромою; лавки — полавочниками из толстой персидской камки зеленого цвета с золотою оторочкою и кистями внизу. В почетном углу под образами

приготовлено два места для жениха и невесты, подложены толстые подушки с дорогильными наволоками, от чего сидевшие на них должны были казаться выше.

Капитон Михайлович целый день провел также в суетах. Но целый этот день томило его что-то неизвестное, что-то странное, что-то такое, чего он определить не мог. К вечеру это тревожное состояние стало тяжелее; может быть, в нем заговорила совесть; он сам не мог дать себе отчета и старался не думать об этом. Он пригласил спать с собою в одном покое ключника и велел сказывать себе сказку, и ключник начал рассказывать, как богатырь доставал из-за тридесять земель невесту-королевну. Вдруг раздался собачий вой, да какой вой! И вслед за этим воем завыло и залаяло множество собак и закричали голоса: «Держи, лови!» Капитон Михайлович вместе с ключником выскочил из избы, повыскакивала и дворня.

— Что там, что там? — кричал с крыльца встревоженный хозяин.

— Волк, волк пробежал через двор! — крикнул кто-то.

Не удалось ни поймать, ни убить волка. Во всем селе кричали: «Держи, лови!» Волк через все село пробежал, бросались на него собаки, бросались выскочившие из изб люди, схвативши спросонья что попало, и не догнали волка. Прогулявшись посреди человеческого жилья, волк убежал в лес.

— Ну, это не перед добром! — сказал Капитон Михайлович.— Не перед добром!

Он вошел снова в свою комнату, лег на постель и читал молитву, а сам дрожал. Несколько времени было тихо; люди уснули, кое-где только безмолвие нарушалось ревом коров да лаем собаки. Капитон Михайлович стал уже дремать. Вдруг раздается протяжный вой так близко, что Капитону Михайловичу показалось, как будто у него под самым ухом.

— Что это? — вскрикнул Капитон Михайлович.— Где это пес воет?

— Не похоже на пса! — сказал Герасим и стал рубить огонь.

Еще он не успел достать его, вой повторился, и казалось, как будто существо, испускавшее его, сидело на окне. Капитон Михайлович со страху стал читать молитву «Да воскреснет Бог». Зажгли огонь. Ключник выбежал смотреть, что это такое.

В саду возле самого окна горницы, где спал хозяин

с ключником, вырыта была яма, и в ней, скорчившись, лежала собака. Это был любимый пес Капитона Михайловича. Увидя подходящего ключника, он вскочил, отбежал и вертел хвостом.

— Ах ты проклятый, чтоб ты околел! — сказал ключник и, схватив дубину, хотел его ударить.

Собака отбежала и, остановившись, протянула шею и опять жалобно завыла. Ключник погнался за нею, но собака убежала и исчезла между деревьями. Ключник воротился и рассказал Капитону Михайловичу.

— Яму вырыла?.. Яму вырыла! — говорил хозяин.— Кому-то умирать! Мне, верно, смерть... О... от кого же смерть?.. От сына! — прошептал он болезненно.

Утром, когда он встал, прибежал ключник и сказал, что из столовой, где устроено было место для свадебного пира, и из изб ползут тараканы рядами, как будто войско идет на войну. Люди говорят, что это перед пожаром. Потом, спустя несколько времени, известили Капитона Михайловича, что когда затопили печь на каравай, дым повалил из печи в поваренную избу вместо того, чтобы обычным порядком идти в трубу.

— О, это просто беда! — говорили все в один голос.— Это хозяина из дому выживают, значит — не жить тут хозяевам, вот это что! Либо пожар будет, либо хозяин умрет, или какое-нибудь лихо большое сложится, что теперь и узнать нельзя.

— Это все к пожару! — толковала старуха.— Особенно, что тараканы и мыши из дому идут; это беспременно к пожару!

Опасение у всех остановилось преимущественно на пожаре. Капитону Михайловичу при этой мысли даже стало легче: пожар для него хотя был бы бедствием, но он ожидал такого удара, при котором пожар был бы благополучием. «От огня устеречься можно». Уж и это, по крайней мере, утешило его. Он приказал припасти воды и поставить в бочках и кадках по всему двору, приготовить ведра, приставить лестницы к кровлям, чтоб, если загорится, можно было вскочить скоро и ломать кровлю.

— Смотрите у меня за огнем! — кричал он.— От чьей оплошки беда будет, тому плохо станется.

Начали звонить к обедне. Капитон Михайлович оделся в свой лучший кафтан и пошел в церковь. Туда приехала и Неонила Филипповна, и стали они поодаль у разных столбов, и стояли всю обедню, не смея взглянуть друг на

друга; а по окончании обедни не подошли и не повидались между собою, и разъехались. Ключник проводил ее домой и переговорил с тамошнею прислугою насчет свадьбы: она должна была начаться перед вечернею. Возвращаясь от невесты, Герасим на дороге встретил соседнего сына боярского, он скакал во всю прыть: ему путь лежал через Нехорошевку, а он был уже давно на службе в Саранске. Ключник знал его лично и встретил, когда он въезжал в село. Этот сын боярский закричал:

— Собирайтесь все, старые и молодые! Выручайте... Воры Саранск взяли!

Ключник обратился к нему:

— Бога ради, не кричи так! Бога ради! Вот тебе пять рублев... поезжай в свою деревню, куда хочешь; только тут не распускай вестей по Нехорошевке. У нас сегодня свадьба. Грех тебе будет испортить и остановить дело. Весь народ всполошится, невеста перепугается... Бога ради, поезжай отсюда и не кричи! Я сам обделаю без тебя. Свадьбу обвенчаем; тогда я сам всем оповещу, и все пойдем на воров.

К счастью Герасима, не услыхали люди крика сына боярского. Удовольствовавшись пятью рублями, он ускакал в свою деревню через Нехорошевку, не оповещая никому о том, что случилось в Саранске.

Неонила Филипповна стала убираться. Был и тогда ясный день. На деревьях кое-где еще торчали красные и желтые листья; легкий холод проникал тело. По Нехорошевке люди ходили и глазели, ожидая свадебной процессии. По двору у нехорошевцев стояли столы с кусками хлеба и братинами, из которых провожающий молодых люд должен будет испивать во здравие новобрачных. В понедельник будет настоящий обед, пир на весь мир. Люди ожидали этой радости.

Вот часов около трех, в доме Неонилы Филипповны уже все готово. Сама «молодая княгиня» сидит за столом на алой подушке; на ней голубой с серебряными цветами летник, застегнутый мелкими и частыми медными посеребренными пуговками, к рукавам пристегнуты широкие вошвы из черного бархата, украшенные вышитыми золотом листьями; воротник летника из черной бархатной тесьмы, усеянной мелким жемчугом, с позолоченною бляхою посредине, обвивал ее белую шею; поверх летника накинута камчатная красная шубка с бобровым воротником; на голове кика с высоким челом белого атласа, расшитая золотом,

окаймлена мелким жемчугом, спускалась назад черною бархатною шапочкой; в ушах большие золотые подвески в виде паникадила с мелкою бирюзою, сверх кики прозрачная фата — признак невесты. По правую руку у нее сидит сваха, жена соседнего сына боярского, повязанная поверх волосника белым убрусом, сама в зеленом летнике и в красной парчовой душегрейке, подбитой и окаймленной куницами. По левую сторону сидят боярыни. От главной стены, у которой сидела под окном невеста, стояли скамьи; на правой стороне сидели посаженые отец и мать. На столе была постлана узкая белая скатерть, а на ней еще меньшая такая же белая; на этой скатерти положена была перепеча, белый сыр, крепко отдавленный и выжатый творог, стояла серебряная солонка и перечница. У правого угла стоял невестин дружко, длинноногий дворянский недоросль, племянник старухи Проклы Тихоновны, из-за природной глупости не ходивший на службу; он держал в руках мису, на которой разложены были кусочки мехов, материй, убрусы, деньги и посыпаны хмель и рожь. Налево против него стоял мальчик со свечою, увитою золотыми тесьмами и разноцветными ленточками.

Вот въезжает на двор Неонилы Филипповны поезд жениха. На повозке сидя, двое холопов держали огромный каравай, а двое возле них сидели — один со свечою, украшенною лентами, другой с фонарем. За этой повозкой ехали свадебные гости верхом, женщины в колымагах — одна за другою гуськом; подле них жених верхом. Конь под ним был покрыт двумя чепраками один сверх другого, так что вышитые золотыми листьями края нижнего чепрака с бахромою выглядывали из-под верхнего, на котором по черному полю вытканы были серебряные львы, драконы и грифы; на этом чепраке лежало небольшое седло с подушкою из персидского, затканного золотыми листьями сафьяна; лука седла была позолочена; на морде коня надето было множество уздечек, цепочек и маленьких бубенчиков, так что при каждом шаге коня морда его издавала смешанные звуки. Жених сидел в куньей шубе с собольим отложным воротником, покрытой белой объярью, а из-за воротника выглядывал расшитый золотом и унизанный жемчугами высокий стоячий воротник, пристегнутый к кафтану, то, что называлось ожерелье; на голове у него был высокий остроконечный колпак, суконный, черный, с прорезом на передней стороне, куда вставлено было два лоскута, вышитых золотом поперек положенных полос с про-

дольным, разделяющим их на две половины лоскутом красного цвета, украшенным жемчужинами. Золото, жемчуг и камни, которые были в таком изобилии в наряде Капитона Михайловича, как и вообще в нарядах тогдашних дворян, не были высокого достоинства, но довольно было, что они блестели. Капитона Михайловича сопровождал дружко — ключник Герасим, одетый в кафтан, принадлежавший Капитону Михайловичу и подаренный ему только перед поездом.

Когда поезд приехал, свечники и каравайники, сошедши с повозок, первые вошли в дом и остановились у дверей. Навстречу жениху вышли посаженые отец и мать с образом и хлебом. Капитон Михайлович приложился к образу и хлебу. Невеста привстала; дружко повел Капитона Михайловича сажать подле невесты. Если б невеста была девица, то следовало бы подле нее сидеть какому-нибудь другому лицу, и это лицо должно было приподняться, и на его место следовало посадить жениха; но она была вдова. Того, кто недавно мог загородить к ней дорогу Капитону Михайловичу, уже не существовало. Когда Капитон Михайлович сел подле нее на одну с ней подушку, тяжелые воспоминания теснились ему в грудь, и спиралось у него дыхание.

Когда они сидели вместе, дружко резал перепечу и сыр, положил куски их на мису, где были разные вещи, и отдал другому, который подавал поддружию. Поддружий держал мису, а дружко брал из нее куски перепечи и сыра и раздавал всем присутствовавшим, а потом начал раздавать убрусы, лежавшие на мисе,— сначала жениху, потом его дружке, а далее всем его поезжанам. После того дружко отдавал мису свахе, и та брала горстями мелочь, начиная от меховых кусочков до листьев хмеля, и бросала всем присутствовавшим на свадьбе, и те подхватывали что поспевали схватить. Во все это время холопи разносили кушанья, но никто ничего не брал; обнесши всех, понесли другое, и к другому никто не прикоснулся; потом появилось третье, но ему суждено только появиться и исчезнуть, ибо как только оно появилось, тотчас дружко обратился к посаженым и провозгласил: «Благословите молодых к венцу везти». Посаженые встали. Жених и невеста также встали; их для важности подводили под руки. Они поклонились до земли, посаженые благословили их образом и хлебом, а они поцеловали образ и хлеб. Дружко женихов вышел первый, за ним последовал жених, а потом все его

поезжане. Перед крыльцом стоял конь, на котором он приехал, но на коне, по обычаю, сидел уже другой; как только Капитон Михайлович явился, этот другой слез с коня и пособил жениху сесть на своего коня. Шествие двинулось.

Когда женихов поезд уже выезжал из двора, тогда начался поезд невесты. Вынесли вперед ее свечу, потом вышли боярыни, а за ними и невеста; сваха вела ее под руку. К крыльцу подъехала колымага; в ней, как и на жениховом коне, сидело другое лицо, долженствовавшее уступить место невесте, как только она явится. Неонилу Филипповну ввели в колымагу, где против главного места, на котором она сидела, было ниже другое,— там села сваха и с нею одна из сидячих боярынь. Кони, украшенные бляхами, цепочками, бубенчиками, кусочками мехов и разных материй, двинулись, издавая звуки. Когда невеста выехала, за нею вслед потянулись другие колымаги, где сидели гостьи, а мужчины ехали верхом.

Жених поспешил приехать в церковь прежде. У паперти он слез с коня, и коня этого тотчас повели в сторону; вслед за тем подъехала колымага невесты, и когда невеста вышла, колымагу отвели туда, где стоял конь Капитона Михайловича, и наблюдали, чтобы никто не прошел случайно между конем жениха и колымагою невесты, считая это дурным знаком. Жених дожидался невесты на паперти; они вместе вошли в церковь и стали у налоя.

Совершилось венчание. Священник, по обычаю, велел поцеловаться новобрачным, и после этого поцелуя новобрачная наклонилась к ногам жениха, а тот прикрыл ее полою платья. Это символически означало первенство, которое, по праву, предоставлено церковью мужу над женою. Дали пить новобрачным вино из деревянной чаши; муж и жена отпили три раза, передавая один другому по очереди; в заключение Капитон Михайлович опорожнил всю чашу и ударил ее с силою об землю, а Неонила Филипповна первая поспешила накрыть ее ногою; Капитон Михайлович вслед за нею раздавил эту чашку каблуками своего сапога и произнес: «Чтоб так потоптались те, которые станут между нами учинять ссору!» Это повторили окружающие, и всем бросилось в глаза, что первая дотронулась ногою до брошенной чаши жена: это было предзнаменование, что жена будет иметь первенство над мужем.

При выходе из церкви сваха осыпала новобрачных хмелем, семенами льна, конопли, ржи и мелкими серебряными

деньгами. Близ паперти Капитон Михайлович сел на своего коня, а Неонила Филипповна в свою колымагу. Оба поезда отправились в дом Капитона Михайловича. Уже стемнело. Толпа народа бежала вслед за ехавшими и кричала; женщины пели свадебные песни и били в медную посуду и железные доски, а мужчины играли на волынках и свистелках.

У дверей столовой избы ожидали посаженые Капитона Михайловича. Новобрачные поклонились до земли и получили от них благословение. Их посадили вместе. Гости уселись за столами. Большое медное паникадило с семью восковыми свечами, заправленными в два высоких подсвечника, державшихся на длинных, выходивших горизонтально из центра ручках, разливали свет, а на столе горели такие же свечи в «струнных» (проволочных) подсвечниках, бывших в большом употреблении в те времена.

Только что молодые уселись, ключник, он же и дружко, соединяя теперь в себе, кстати, обе должности, стал распоряжаться о подаче кушаньев с чрезвычайною быстротою. Не успели обнести гостей одним кушаньем, не успели гости взять что-нибудь, как является другое. Женщины в сенях поют между тем свадебные песни. За другим кушаньем немедленно является третье, и в то же самое время ключник подходит к столу, за ним слуга несет жареную курицу... Дружко взял ее, обернул скатертью, повернулся к посаженым и закричал громко: «Благословите молодых опочивать вести!» Те произнесли: «Благослови Бог!»

Новобрачные встали, поклонились посаженым и пошли к дверям. Сваха забежала вперед, накинула на себя вывороченный вверх шерстью тулуп и стала с мисою, где наложено было всякой всячины: зерна, хмелю, денег, кусочков материй; ей следовало осыпать молодых у дверей сенника, и она поспешила туда. Вперед никто не пошел туда за молодыми, кроме дружка. Гости, оставшиеся в столовой, принялись есть, пить и балагурить. Холопи расставили из поставца братины, ковши, корцы, кубки, чарки и щедро наливали разные сорты медов, которыми тогда щеголяли зажиточные хозяева: тут были меды, ставленные на малине, черной смородине, вишнях, барбарисе, чрезвычайно вкусные и чрезвычайно пьяные и тяжелые, потому что, кроме меду и ягод, туда клали большое количество хмелю. Были и заморские вина, но не в большом количестве. Гости поднимали чаши и кричали: «Многие лета!» Другие отпускали разные доказательства своего остроумия и находчи-

вости. На дворе толпу приходящих из простого деревенского народа угощали хлебным вином и хлебом и говорили, чтобы все, кто хочет, приходили завтра: будет-де от молодых пир на весь мир.

Прошло после того часа два. Гости были сильно пьяны. Потерялась уже чопорность в обращении между полами. Женщины стали плясать и выделывать разные двусмысленные телодвижения, а мужчины около них притопывали да глазами подмигивали, а иные, осмелившись, хватали их уже за стан и за груди. При общей суматохе посуда лежала на полу, и холопи подбирали ее, чтоб случайно пьяные не испортили чего-нибудь. Двери были настежь отворены, и когда некоторые из гостей, отягченные несколькими кубками крепких медов, лежали на лавках, другие вышли на двор и там на просторе и холодном воздухе раздольнее пели, кричали и плясали, а иные пáры, казалось, будто от хмелю, уходили от людей подалее. Никто не обращал тогда на них внимания: на свадьбе позволялось то, чего никак не позволялось в другое время; тут можно было избегнуть наблюдений, да и прощалось, если узнавали. «На то веселый час,— говорили,— далеко ли до беса! Что делать!» Об хозяевах как будто забыли: все были уверены, что им теперь очень-очень приятно и покойно. В самый разгар свадебной оргии вбегает в двор запыхавшись верхом сын боярский, прибежавший сюда из Саранска, и кричит:

— Эй вы, бражники, пьяницы! Что сдуру свадьбу справляете? Окатите скорее водою пьяным головы да беритесь за сабли и ружья. На вас идут воры из Саранска!

Какой-то пьяный гость, отставной сын боярский, только что ораторствовавший перед не слушавшею его толпою о своих подвигах против татар, обратился к нему:

— Ты, верно, сам вор, сюда пришел. Ну так мы тебя свяжем да посмотрим, что ты такое; коли ничего... добрый человек — пить заставим, а худой, ну, тогда не прогневайся... в Саранск к воеводе отвезем!

— Да какое тут Саранск и воеводы! Опомнитесь! Знаете, что воеводы уже на свете нет, Саранск воры взяли, а здешнего господина сын Оська у них заводчиком атаманом, ведет сюда воров, батюшку своего хочет карать: проклятый осерчал, что батюшка женится; а вы на свадьбу сюда затесались! Бегите скорее! Я был в Саранске сам, как город взяли; меня увели воры неволею, а я от них с дороги убежал да вам прибежал сказать. Постойте за веру правую, за службу царскую; а я поеду в соседний город давать

знать, чтоб на воров высылку послали; их человек всего полтораста будет; поднимите всю деревню, так можно постоять, пока ратные подвернутся.

В толпе гостей раздались несвязные крики. Один из них завопил:

— Где отец? Полно ему прохлаждаться с молодою женою! Будите его, пусть выходит, пусть нам совет дает! Бегите в сенник скорее, поднимайте его!

— Да поднимать некого! — откликнулся холоп.— Нет ни мужа, ни жены!

— Как так, где ж они? — закричала толпа.

— Наше дело холопье, подневольное,— сказал холоп,— что велят, то мы делаем. Приказ нам от ключника стоять на заднем дворе и никого туда не пускать,— мы и стояли. Мирон-конюх запрег пару лошадей в колымагу, а туда ключник заранее положил что поценнее; и подъехала колымага на задний двор; сел боярин с боярынею в колымагу; и ключник со своей женой сели; да и поехала колымага; а нам как не приказано говорить, так мы и не говорили доселева, боялись: люди мы подневольные, не знали, к чему оно деется.

— Ах он пес! — закричали гости.— Пронюхал, видно, беду себе да и улепетнул, а нас тут оставил своему псу на поругание! Не случись доброго человека, так бы нас тут и накрыли воры, и хмельных до смерти побили!

— Видно, так! — сказал холоп.— Нам-то невдогадку было, зачем это они уехали.

Несмотря на то, что холоп этот повторял несколько раз, что их дело холопье, подневольное, он все-таки получил зуботычину.

— Что же делать? — кричали гости.— Стоять здесь и давать отпор, что ли?

— Нас мало, ничего не сделаем!

— А баб наших куда денем?

— Надобно бежать да людей поднимать по соседству.

Много было советов, криков, доходило до брани. Наконец все кинулись — кто до своего верхового коня, кто до колымаги, усадили женщин, пьяные возницы наезжали друг на друга,— смятение было неописанное. Верховые выскочили из двора и понеслись в страхе во все стороны, поехали колымаги не домой, а в поле и в лес. Двое мужчин и двое женщин лежали на лавках в столовой пьяные и спали; их будили, но они не поняли ничего, а каждому было не до них; даже одной женщины муж, не растолкавши

своей жены, закричал, чтоб ее вынесли и облили водою, а сам, не дожидаясь этой операции, бежал без оглядки на верховом коне из двора. Дворня и бывшие тут крестьяне Нехорошева стали в кружок на дворе.

— Что ж нам делать? — говорили они.

— Вестимо, что! — сказали другие.— Наше дело подневольное: коли нас оставил боярин, так что же нам за него стоять! Приедет свой молодой боярин Осип Капитоныч. Что у них с отцом-то — не наше дело разбирать, а нам он свой был! Поклонимся ему хлебом-солью, скажем: «Рады служить; не вели, боярин, казнить; помилуй и пожалей!»

— Дело, так! — закричало множество голосов и мужских, и женских.— Против него пойдем — пропадем все, а покоримся — целы останемся: он сам не даст нас ворам в обиду.

И вот послышался конский топот, ближе, ближе, раздались крики: «Нечай, Нечай! Воля! воля!»

XVII

Толпа человек во сто прискакала верхами ко двору Нехорошева. Дворня с крестьянами выстроилась перед воротами и держала фонари. Месяц тогда зашел; стало темно. Осип ехал впереди толпы своей, подъехал к воротам и закричал:

— Здравствуйте! Вышли биться со мною или кориться мне хотите?

— Нет, родимый кормилец! — сказала дворня и кланялась в землю.— Коримся! Твоя воля над нами: не губи напрасно своих холопей!

— Какие тут холопи! — закричал Осип.— На то мы идем, чтоб на Руси холопству боле не бывать! Ни холопей, ни бояр не будет: все вольные казаки! Добрым людям — добро, всем обиженным — правда и льгота, а лихим — кара! Подавайте сюда батюшку на расправу!

— Уехал, кормилец, нет его!

— Уехал? Как, вы его спровадили? Прослыхали, что я буду, и спасли его! Так-то вы коритесь! Куда уехал, говорите! Бегите за ним, доставьте мне его сюда! А не то,— он обнажил саблю,— я с вас головы поснимаю, если вы не скажете, где он!

— Не знаем, родимый, свят Бог — не знаем! — кричали дворовые.— Как обвенчались, отвели его в сенник, а ключник тайно вывел из сенника, посадил в колымагу с молодой

боярыней и увез, а куда — не знаем. Вот они стояли на заднем дворе, стерегли, как уезжали.

Но те, которые стерегли задний двор, хотя бы и хотели открыть правду, да не могли, только объяснили, что колымага уехала по той дороге, которая идет в лес, а куда повернула — они того не знают... Чают — съехала на большую Арзамасскую дорогу, оттолева версты с три; а может быть, книзу, в Пензу поехали...

— Книзу они не поедут! — сказал Осип.— Пенза уже у наших... Они, наверное, повернули кверху, а не книзу; но тут много помещиков, у кого-нибудь спрячутся, пожалуй... Надобно их перетрясти всех: один конец... А может быть, они поедут прямо по Арзамасской дороге. Теперь бы за ним пуститься, так еще догнали бы.

— Э, каков молодец! — сказал кто-то из воровских казаков.— Больно прыток! Что мы, холопи тебе дались, что ли? Над заповедным твоим делом будем работать, бегать как угорелые? Лошади у нас потомились, чай, надо покормить; да и самим отдохнуть у тебя в гостях; а ты вот хозяин: ты угости-ка нас почестно!

— Что, атаман! — сказал кто-то.— Ты уж своего добра жалеешь на братью?

— Братцы! — сказал Осип.— Не жалею я этого добра: все в дуван отдаю, и усадьбу проклятую зажжем, пусть ее и следу не останется за ту неправду, что в ней делалась. Я больше не дворянин, я просто — вольный казак, как и все вы, братцы!

— Молодец! — сказали другие.— Вишь, здесь свадьба была... Вот и мы приехали попировать. Да где же гости? Что, это они от нас все в лес ушли, видно?

— Все разбежались,— сказал кто-то из дворни,— сын боярской, что был с вами, прискакал сюда и рассказал.

— Это Злоба! — сказал кто-то.— Это он, собачий сын! Кабы поймать, кипятком облить!

— А поп, что венчал, где он? — спросил Осип.— Сыщите его да подайте мне на расправу! Небось батька еще не успел ему заплатить за венчанье, так я заплачу. Ну, братцы вольные казаки, потешайте свои души, пейте, гуляйте, прохлаждайтесь: для вас отец припас яства и питья медвяного. Нежданные веселые поезжане. Пейте, гуляйте, а потом поскачем карать неправедных всех; и кого попадем, что по неправде творил, пощады никому не бывать! Кто неправду творил — кровь ли неповинную лил, век ли чужой заедал, людей подначальных мучил,— всех на распра-

ву! А вы, вы, заячьи души! — сказал Осип, обратившись к холопям.— Стоило бы вас!.. Вы попустили злодеянию совершиться! А! Зачем, когда отец убил матушку, зачем тогда вы все не побежали с этого проклятого двора? Зачем не ударили в колокол, весь мир зачем не созвали, зачем миром челобитной не подали? Зачем служили злодею? Не памятаете вы, что для вас матушка была, как вас кормила, поила, жаловала? На осину бы вас вздернуть всех, уды гнилые! Да я вас прощаю! Теперь вы все вольные; пойдем вместе с нами другим волю доставать! Ударьте в колокол, сзывайте крестьян... Кто хочет, бери коня, седлай, вьючь, за нами поезжай!

Дворня бросилась опрометью и хватала оружие из кладовой Капитона Михайловича. Осип сошел с коня, приказал его покормить и пошел пешком к церкви. Там молодец уже звонил в один край в колокол. Другие бегали по селу и зазывали нехорошевцев. Осип пришел к могиле матери. Чувство мести сменялось чувством тихой грусти.

— Матушка родная! — говорил он.— Не довелось мне тебя увидеть... не довелось благословиться от тебя, и нет на мне твоего благословения! С небес ты смотришь на меня и проклинаешь. Не проклинай меня, родная! Злой отец отнял тебя у меня, злой отец погубил мою душу... Нет мне возврата и не будет; и не хочу я его. Правды нет на свете: кривда царствует; не хочу служить кривде, буду правду кривдой бить. Знаю, недолго мне на свете жить: не наживется тот, кто против царя идет. Да зачем же с нами его слуги неправедно чинят!.. Матушка, матушка! Не проклинай меня, не проклинай меня! Я за твою обиду пошел, не стерпел твоего лиха! Матушка, слышишь ли ты?.. Сыра земля надавила тебе белые груди! Придет время, встанешь ты, встану и я, тогда Бог рассудит...

Он утер слезы, отошел от могилы. Видит — ведут к нему попа.

— Атаман,— сказали ему,— вот он, попище-то, что тебе нужно! Это он самый!

— Ну-ка, батька, доплатить тебе надобно! Расплачусь я с тобой честью, отче!

Священник повалился в ноги и умолял о пощаде, поминал малых детушек. Осип отвечал ему:

— Коли тебе своих детей жаль, надобно было чужих жалеть! Вы, попы, на то поставлены, чтоб нас, простых людей, на ум наставлять, мир и согласие содержать, а неправду обличать; знаючи, что батюшка обижает матушку,

жену свою богоданную бьет, ругается над нею, ты знал и не заступился за матушку... Потом, когда батюшка извел матушку, ты покрыл его злодейство: чем бы самому заявить про это, иск начать, ты повенчал отца и на свадьбе у него гулял; а свадьба была с тою, что сама извела своего мужа. Разве так тебе святые отцы повелели творить по священству! Достоит ли тебе быть попом? Правды, видишь, нет на Руси! Кого обидят, тот управы не сыщет, а обидчик везде подмогу найдет. Невинного попирают, злодея возносят! Нет правды в законе. Мы теперь самовольно и без закона будем правду чинить. Вот за твои дела тебе — смерть. Братцы, вздерните его на колокол.

Казак схватил попа, закинули веревку на колокольню. Поп кричал пронзительным голосом,— его удавили. Осип, не дожидаясь его смерти, пошел снова в усадьбу. По всему двору и около двора лошади ели овес и сено; везде пили и кричали воры. Осип вошел в столовую. На полу лежали две женщины в безобразном положении: кики с них были сбиты, летники на них были разодраны; полуобнаженные, полумертвые от страха и стыда; одна, лет под сорок, жена соседнего сына боярского, была в совершенном беспамятстве. Над ней стоял пьяный молодец и держал камышину, начиненную порохом... Осип догадался, что́ затевает молодец, выхватил у него из рук камышину и закричал:

— Не делать этой пакости! Я не велю!

— А отчего бы это так? — спросил нагло молодец.

— Грех мучить людей и наругаться. Коли кто винен, петлю ему на шею или камень да в воду — один конец! А мучить не следует! Баба эта ничем не виновата.

— Батюшки, отцы родные! Зарежьте меня, одним разом покончите! — проговорила жалобно другая, лежавшая на полу же, молодая невестка той старухи, что была посаженой матерью у Капитона Михайловича. Муж ее отправился под пьяну руку с женою сына боярского, а свекровь ее всполошилась и убежала в чужой колымаге... Бедная осталась тут. То была женщина лет тридцати, недурна собой, вся в крови и в синяках, волосы были вырваны, зубы вышиблены. Она была связана.

— Пустите их обеих,— сказал Осип,— развяжите их. Коли нам быть с такою жесточью, то за нами не пойдет народ; а нам нужно, чтоб люди правду нашу видели и к нам приставали, мы виноватых, злодеев, грабителей, утеснителей народных казним, а невинных не тронем.

Удальцы стали было сопротивляться, но Осип поглянул на них грозно, ударил рукою по сабле и сказал:

— Коли слов добром не слушаете, так я вас вот этим на разум наставлю! Дайте им прикрыться! У покойницы матушки много было платьев.

Но ему объявили, что все уже подуванили.

— Нечего делать! — сказал Осип.— Приходится им, бедным, идти чуть не нагишом по холоду. Запрягите им телегу, слышите?

Женщин развязали. Они не могли ходить: надобно было их нести. Та, которая была постарше, пришла в чувство и взглянула направо... Там лежали под столом двое мужчин.

— А это кто? — спросил Осип.

Он поднес свечу к лежащим, они были мертвы: у них были размозжены головы... Женщина постарше узнала своего мужа и закричала. Ее вынесли и положили вместе с другою на телегу и повезли со двора.

Осип вышел из столовой и на противоположной стороне двора услышал крики, ругательства и женские вопли.

— Что это? — сказал он и подошел. Там была толпа народа: воры принялись за дворовых баб, а мужья и отцы не давали их на поругание. Тут Осип махнул саблею и закричал:

— Оставьте!

— Да что, оставить... оставить... Не даешь нам погулять, повеселиться! — говорили казаки.— Что, эти дураки баб не дают нам... Целы будут бабы, назад отдадим!

— Эти люди теперь наши! — сказал Осип.— Они в казачество поступили, они нам братья. Ино дело с недругами: можно погулять и поглумиться над ними, а ведь это свои... Что ж, если над вашими женами начнут чинить поругание? Каково будет вам?

— У нас баб не было и не будет,— закричал какой-то пьяница.— Вот еще, с бабами возиться! Да если б у меня была баба, я бы ей голову срезал!

— Да разве мы,— сказал Осип,— на то идем, чтоб людей зря обижать? А знаешь ли ты, как батюшка Степан Тимофеевич наказывал в Астрахани казаков за бесчинства, что творили над женами посадскими, когда их мужья уже пристали к казачеству! Отважься кто тронуть бабу — сейчас изрублю!

— Ой ли? — сказал гордо, подбоченясь, молодец.

— Батюшка родимой! — кричали бабы без кики, с рас-

трепанными волосами.— Обесчестили, опростоволосили! Я мужняя жена, вышла замуж — никто моих волос не видал, а они мои волосы открыли!

— Кто? Кто ее опростоволосил? — спросил Осип.

— А хоть бы я? — сказал тот же удалец.— Что же ты мне сделаешь? А ты дворянский сын — вот что! Ты думаешь, боюсь я тебя!

— Не дворянский я сын! — кричал Осип.— Я от своего дворянского отечества перед вами отрекся. Я у вас по выбору атаман, чтоб ряд держать. Так вот ты когда ряду не знаешь, бесчинствуешь, то я тебя казню за это! Братцы, соберитесь в круг, судить будем; либо с меня атаманство снимите, либо делайте так, как я велю, бойтесь меня, и пока я над вами атаман, буду казнить всякую неправду. За то, что ты опростоволосил бабу — жену не недругову, не супостатову, а такого же казака, как ты сам,— за это ты довелся смерти.

С этим словом он перекрестил саблею казака и разделил его на четыре части... Казаки отшатнулись в страхе и, сознавши, что Осип был прав, не смели сказать ни слова. Отошедши от них и помолчавши немного, Осип сказал:

— Теперь, братцы, садитесь на лошадей, едем в погоню.

— Атаман,— сказал один казак с диким взглядом,— твой ряд, твоя правда; только наш ряд и наша правда в том, что хотим — с тобою ходим и коримся тебе во всем, а не захотим — отойдем от тебя. Вот теперь мы вышли из Саранска до Нехорошева, а у нас не было ряду идти далее лесу; стало быть, теперь кто хочет, пойдет с тобою, а кто не хочет — воротится в Саранск. Я не хочу ходить с тобою; может быть, и другие найдутся, что не захотят. Ты больно грозен: мы вернемся к Харитонову.

— Вы делаете не по правде,— сказал Осип.— Когда вы атаманом меня выбрали, то должны ходить за мною, куда я поведу вас; а не хотите — прежде меня с атаманства сбросьте. Вот что!

— Нет, атаман, не так! Коли ты вернешься в Саранск, мы тебе коримся; а ты в Саранск не ворочаешься, а мы из Саранска идти с тобою не хотим.

Подумавши, Осип сказал:

— Идите, мне насильно вас не удержать. А кто со мной хочет, тот пойдет. А вы, новые казаки, со мною пойдете, что ли?

— С тобой, Осип Капитоныч, с тобой! — отвечала толпа.

Нашлось до сорока человек, которые воротились к Саранску; другие согласились идти за Осипом.

— Теперь,— сказал он,— собирайте свои животы и оставляйте бабам своим, а двор зажжется. Пусть все гибнет — так я хочу; так по правде!

И вот весь отряд всполошился: воры отвязывают лошадей и седлают. Мужчины из дворни сбирают пожитки... Мужчины из дворни прощаются с бабами и детьми. Наконец все готово. Осип едет, за ним весь отряд на конях. И вдруг огонь стал пробираться сквозь крыши на всех строениях усадьбы; ее зажгли разом во многих местах; чаны с водою, приготовленные накануне Капитоном Михайловичем, были перевернуты; оставшиеся бабы бегали как угорелые и голосили. Вышел дедушка, что сидел на пчельнике, и, указывая на пожар, говорил:

— Вот оно, божье-то наказанье! Вот к чему они были — те приметы: и собаки выли, и тараканы, и мыши ползли из дому, и волк пробежал через двор, и дым выходил из печи назад! Все это к беде. Так я и думал! Пропали пчелки мои, а я столько лет ходил за ними! И садик мой пропал, а я столько лет его холил... И моей бедной головушке теперь негде приютиться будет!

Осип, удаляясь, несколько раз оглядывался с грустью на пылающую родовую усадьбу, пока она не скрылась за холмом. Тогда еще несколько времени зарево на небосклоне извещало о ее гибели.

XVIII

Они бежали очень быстро. Осипу было тяжело. Он видел, что пропустил время: отец, может быть, теперь Бог знает как далеко, и эдак, пожалуй, не удастся его поймать, и тогда зачем же он, Осип, к ворам пристал? Как ни старался он себя успокоить внутренно софизмами, что это не воры, что их дело правое, что они защитники правды, каратели неправды, но какой-то сердечный голос говорил ему иное, напоминал о белом царе, о долге службы, о святой церкви... Ужасающая мысль приходила ему в голову: Разин будет проклят со всеми своими единомышленниками, и он, Осип, будет проклят! Вечно проклят, и не будет ему прощения от Бога, никто на земле не умолит небесного судии за него: ужасно! Ужасно! И когда голос совести доводил его до этих мыслей, он делал над собою усилие, и вдруг в душе у него все возмущалось, как на воде от бури:

не было ничего там видно! Опять он обращался к прежнему чувству мщения, и начинал он опять размышлять, куда бы это мог укрыться отец его, по какой дороге направил он путь свой. Он остановился было на мысли, что Капитон Михайлович убежал прямо в Арзамас по дороге; там собирают детей боярских.

До света проскакали верст тридцать. Восходит солнце. День был снова ясный, как и вчера. Осип осмотрел свой отряд, дал отдохнуть с часик, покормить лошадей овсом, который был у каждого ездока в запасном мешке, потом выстроил отряд в четвероугольник, а где были рвы и овраги, там приказывал развертываться, ехать гуськом, а потом опять становиться в четвероугольник: этот род строя был выгоден тем, что с какой стороны ни нападут, всегда встретят отпор.

Тогда в этом крае было большое смятение; рассыльщики Стеньки Разина бегали везде по селам и деревням, предупреждали крестьян, что вот появятся шайки, и побуждали приставать к ним. Инде легковерные не дожидались шайки, сами составляли свою и нападали на казавшихся им обидчиками. Подобный случай произошел тогда верстах в сорока от Нехорошевки. Один Стеньки Разина сынок — как он называл себя — зашел в село и на сходке стал читать «прелестное письмо от батюшки»: там обещалась «воля и ровность». Народ разделился на две половины: одна, что была постарше и постепеннее, хотела поймать прелестника; но тут нашлось десятка полтора гуляк горячей крови,— им полюбилась речь его; они составили шайку, начали колотить робких,— тех было гораздо больше, но так как они были робкие, то и пустились бежать,— а удалые бросились на помещичий двор; помещика самого дома не было — на службу вышел; оставалась жена с двумя дочерьми: одной лет пятнадцать, другой лет девять. Негодяи заперли их в доме и зажгли дом, а сами убежали с прелестником в надежде пристать к какой-нибудь большой шайке. Они наткнулись на Осипа и пристали в его шайку. Первый вопрос его был об отце, но они ничего не могли сказать.

Проехали еще верст десять. Тут к Осипу привели мужика, поймали его в стороне от дороги: двое мужиков везло по дороге дрова; увидя издали ратных, покинули они воз и в страхе бросились в сторону; за ними пустились удалые и, поймав одного, привели к атаману. Он сказал, что утром здесь проехала колымага, в ней сидел мужчина лет за сорок и женщина лет двадцати пяти, а с ними еще мужчина

и женщина: должно быть, их люди государские, а правил парою рыжий возница; а сзади за ним ехали двое верхами, и поворотили все влево, чаять, куда-нибудь к помещику: дорога идет вниз под гору и доведет до села Бруханова, там усадьба помещика Свинорылова,— туда, чай, они поехали. Бывшие с Осипом прилежно расспросили о приметах тех, что ехали верхами, и вывели из ответов заключение, что это, должно быть, двое их братий из дворни: они, верно, улизнули вперед, как только Осип приехал в Нехорошево, и дали знать Капитону Михайловичу, чтоб спешить.

Осип взял мужика в провожатые, по указанию его повернули налево. Они спустились вниз в долину. Между тем, только что они закрылись за гору, как по той же дороге из Арзамаса ехал отряд, высланный «на высылку» князем Долгоруким «для проведыванья воров». Встретив на дороге мужика с дровами, товарища того, что повел Осипа, царские ратные люди стали его расспрашивать. Тот и сказал им, что поехала воровская шайка; взяли его товарища крестьянина неволею; и чает он, что поехали на Свинорылова. При этом мужик сказал, что можно ехать прямо и перерезать им дорогу, потому что дорога идет вниз, а потом объезжает овраг и выходит на гору; а прямо едучи, можно, минуя овраг, проехать на гору скорее, чем они поспеют.

Те так и сделали. Оставили возы свои на дороге и поскакали во всю прыть по полю. В то время, когда Осипов отряд, съехавши вниз, поворотил вправо и стал объезжать овраг, чтоб потом взобраться на гору, перед ним в конце оврага, при повороте дороги из долины на гору, стояла уже высылка и дожидалась их. Нацеливши на них ружья, ратные люди кричали: «Сдавайтесь, воры, изменники!» Было у них и две пушечки на колесах. Предводитель отряда велел выдвинуть пушечки, направить их на воровской отряд. Осипу негде было развернуть своего отряда: с правой стороны была та гора, откуда он съехал, слева овраг. Сообразивши свое положение, он закричал, чтоб все поворотили назад и взъехали на гору. Но только что сделан был поворот, как часть царского отряда поскакала на гору отрезывать им дорогу. Въехавши на гору, ратные люди палили сверху вниз по ворам, тогда как другие поражали их пулями сзади — несколько человек воров легло. Когда они добежали до того места, где прежде съезжали с горы, царские люди, зашедшие им путь через гору, ударили на них с саблями, ружьями, пистолетами, пиками... Воры,

теснимые и сзади, и спереди, бросились стремглав в овраг, некоторые переломали себе руки и ноги, другие удачнее спустились и бежали в лес, бывший на другой стороне оврага. «Где атаман?» — кричали ратные. В *памяти,* данной предводителям, было писано, чтоб атаманов приводить живьем на казнь, а чернь бить и разгонять. Толпа воров, желая подслужиться и сбавить со своей шеи ожидавшее ее наказание, схватилась за Осипа и отдавала его. В порыве отчаяния Осип достал саблю и хотел заколоться, но у него вырвали оружие и тотчас же связали ему руки, а другие, слезши с лошадей, привязали его ноги к стременам. Между тем другие ратные люди преследовали шайку, кололи и рубили людей и лошадей, не давали никому пощады; напрасно просили милосердия именем Христовым дворовые люди Нехорошевых, уверяя, что их взяли неволею,— всех истребляли, перебили человек восемьдесят, тридцать взяли в полон; а тех, которые выдали Осипа, отпустили для примера. Предводители отряда, васильгородский дворянин Бурташев да сын боярский Козодоев, привязали лошадей пленников уздами за подхвостники других и таким образом повели их с собою к выезду на большую дорогу. Весь отряд с Бурташевым отправился на дальнейшие поиски, а Козодоев с тридцатью человеками ратных повел в Арзамас тридцать пленников.

Козодоев был человек сурового нрава и обращался с пленными грубо. Он даже не спрашивал Осипа и его товарищей, кто они, как их зовут: все это было дело розыска, а его дело доставить их бережно до места суда и казни — в Арзамас. Вез он их два дни, отдыхая мало для покорма лошадей, и только ради крайней нужды позволял отвязывать узников поодиночке, а потом опять скручивали им назад руки и привязывали ноги к стременам. Кормили пленников из рук. Так доехали они до Арзамаса.

Когда стал отряд подъезжать к городу, то представилось глазам множество виселиц, сделанных глаголями, а иногда к одному столбу приделывали по два и по три глаголя, но никогда не было по четыре, во избежание сходства с крестом. На этих глаголях висели тела повешенных — по человеку, а иногда и по два на глаголе. Между виселицами и там и сям торчали колья, а на их заостренных верхних концах сидели казненные преступники. Некоторые уже обгнили и испускали зловонный запах; и невозможно было, не затыкая носа, ехать по той дороге, а у кого нервы были чувствительны, с теми делалась даже тошнота.

Здесь Козодоев впервые, оборотясь к Осипу, сказал:

— Ну, воровской атаман! Хороша ли у нас роща? Полюбуйся: придется и тебе в ней отдыхать!

Осип не отвечал, даже не сделал движения, что услышал сказанное. Со времени его взятия в плен он, сообразно своему сосредоточенному характеру, сохранял тупое спокойствие отчаяния.

XIX

Пленников привезли к воеводскому двору. Тотчас выбежали стрельцы и помогали провожатым отвязывать их и водить в тюрьму. На дворе было три тюрьмы; то были землянки с небольшим возвышением над уровнем, с деревянными крышами, насыпанными на аршин землею; на окраине крыш были сделаны небольшие отверстия для света. В каждой тюрьме была такая низенькая дверь, что нужно было входить нагибаясь, а толстяку надобно проходить боком. Пять или шесть ступеней вело внутри вниз, в просторное подземелье, где на голой сырой земле валялись преступники. Не оказываемо было никакого сострадания к их судьбе, никто не заботился о их участи; не было у них ни постели, ни свежего белья, кто в чем попался, в том и сидел, пока суждено ему было сидеть. У одних только на ногах, а у других еще и на руках были кандалы; а у иных, самых тяжких преступников, были на плечах «стулы». Они никогда не умывались; не водили их в баню, не давали пить, когда захотелось; не выводили для естественных нужд, и в случае болезни не только не лечили, но не оказывали никакого облегчения участи.

Когда нашего Осипа со старыми товарищами вкинули в одну из таких тюрьм, он увидел себя в незнакомом обществе: было там человек около двадцати; все это были товарищи Осипа по бесчинствам; на некоторых были видны следы недавних пыток. Один плечистый, дюжий парень в разорванной грязной рубахе, покрытой кровавыми пятнами, с обстриженною головою, в цепях на ногах, обратился к Осипу с расспросами. Осип молчал. Парень рассердился и после нескольких одинаковых вопросов, на которые не получил ответа, закричал: «Что молчишь?» — прибавил крепкий эпитет, схватил Осипа за шею и начал трясти. Но Осип, обладавший большею силою, освободил свое горло от невежливых рук товарища и взамену схватил его за горло и встряхнул так, что тот посинел и, когда Осип оставил его,

начал охать, потом сделалось ему дурно. Его сторону приняли товарищи: один подошел к Осипу и хотел ударить его кулаком. Но дюжий Осип предупредил противника и ударил его коленом в живот, так что тот повалился наземь. После этого на Осипа с яростью кинулось пятеро, и в то же время несколько других стали оспаривать у этих пятерых справедливость их нападения и готовились защищать Осипа. Они представляли своим противникам, что товарищу их, вступившему внове, надобно было дать время опомниться; а то сейчас к нему пристали: «У него сердце еще не спало,— говорили они.— Да он же и не знает, кто с ним говорил».

— Да,— подхватили другие,— ты не знаешь, кто это, кого ты схватил за горло. Это керенский атаман.

— А я саранский атаман! — сказал Осип.— Саранск почестнее вашего Керенска. Мне говорить сегодня невмочь, и говорить нечего. Мы уже переговорили все и договорились все разом до одного.

— Ну помиримся, саранский атаман! — сказал керенский, пришедши наконец в себя.— Силен ты, брат, больно: как сдавил, ажно чуть я дух не испустил. Что сидеть молча! Ты мне про себя расскажи, а я про себя расскажу, вот оно и веселее будет! А то что сидеть!

— Что будешь рассказывать! — подхватил один из товарищей.— Во рту пересохло, выпить не дают...

— Не беспокойся! — сказал другой, у которого вся кожа на ногах была покрыта волдырями от огненной пытки.— Еще позовут и поднесут... выпьешь горячую, как я.

Осип все молчал. Но один из посаженных с ним его шайки молодец рассказывал новым знакомцам все и про Саранск, и про Нехорошевку. Когда услыхали керенские, что саранский атаман не какой-нибудь беглый холоп, а дворянский сынок, то пропитались к нему уважением. Дворяне были большою редкостью в шайках Стеньки Разина. Дворянин, передавшийся в шайку, да еще атаман, это небывалая редкость.

— Прости меня,— сказал керенский атаман,— что я с тобою так грубно был... Что ты, дворянин и дворянский сынок, оставил свою дворянскую честь и за нас пошел, то тебе слава. Зачем же ты молчишь! Али, быть может, каяться стал, что пристал к нам?

— Нет,— сказал Осип,— не каюсь я, а досада берет меня, что ничего не успели мы сделать.

— А мы,— сказал керенский,— не много времечка гуля-

ли, да зато уж как погуляли! Много красных девок, белолицых молодушек-лебедушек за белы груди потрепали, над сынками дворянскими поругалися, а что меду-вина пролили...

— Да! — прервал Осип,— а теперь будем горечью закусывать! Такова наша, братцы, судьба на сем свете: отколупаешь меду ножом, что только на мизинец набрать, а потом хреном заедаешь: и в мешок его не уберешь — так много.

На другой день часов в семь утра Осипа и товарищей его стрельцы вывели из тюрьмы и повели к допросу. Привели их в воеводскую избу. За столом сидел товарищ Долгорукова — старый воевода и дьяк, сидело за другим двое подьячих; у дверей стояли стражи и палач в красной рубахе.

Воевода окинул глазами Осипа и спросил, кто он.

Осип твердым голосом назвал себя: дворянин Осип Капитонов Нехорошев.

— Дворянин? — сказал воевода.— Дворянин! Стало быть, и на царской службе был! Постой, Нехорошев, Нехорошев... Мне что-то припоминается твое прозвище, чай, родня тебе какая. Вот близу лет шесть в Переяславе на Украине один Нехорошев... Я тогда служил в Черкасской малороссийской земле,— Нехорошев посылан на подъезд в степь, бился с татарами и привел полону татарского, а за то после его и жаловал государь...

— Это я самый,— сказал Осип,— тогда я служил царю-государю.

— А теперь стал черту служить! Ах-ах! Статочное ли дело, дворянин, царский служилый человек, а в холопье дело вошел и воровским атаманом стал! Погубил тебя лукавый. Эх-эх! Снимайте с него допрос. Смотри же, не врать у меня, а то пытать буду больно.

Дьяк взял перо и стал спрашивать. Осип показывал:

— Зовут меня Осип Капитонов сын Нехорошев, а родом я из Саранского уезда; а служил я близу десяти годов в Малой России в полках, а в прошлом году воротился домой, и как вошел в родительский дом и увидел — лежит родная мать моя Наталия Нехорошева, Капитонова, отца моего, жена, на столе, и узнал я, что умерла она от ушиба, а ушиб ее отец мой Капитон, потому не мила ему стала, что он, отец мой, стал жить блудно с соседнею женою дворянскою Жарского Неонилкою. И положили они извести свое подружье: он, Капитон,— свою жену, а она, Неонилка,— своего мужа; и я, то узнав, что смерть моей матери Наталье приключилась от моего отца, поехал в город Са-

ранск и бил челом воеводе в том убивственном деле, а воевода моего челобитья не принял, для того что по «Уложению» принимать челобитья от детей на отцов не велено; и меня воевода при отце моем наказал батогами больно; и я, Осип, в сердцах убежал из Саранска и прибежал в Атемар; и там были воры, и я с теми ворами под Саранск подходил, и при взятии Саранска и в дуване был; а в Саранске воры меня выбрали атаманом; и я, Осип, взявши воров человек более ста, и поехал на село Нехорошевку на своего отца; а мой отец в те поры справлял свадьбу со вдовою, дворянскою женою Неонилкою, что с нею прежде блудно жил; и я своего отца в дому его в Нехорошеве не нашел и погнался за ним, хотячи его достать и убить; и на дороге встретился я, Осип, с царскою ратью, и меня, Осипа, с ворами царские люди разбили и взяли в полон и привели в Арзамас — и то моя, Осипова, вина.

По снятии допроса Осипа увели в тюрьму. Часа через три опять вывели его из тюрьмы в избу. Воевода сказал:

— Князь Долгорукий говорит, что речам твоим верить немочно: все это ты выдумал от себя на отца и на свою мачеху по злобе. Говори правду, а не то в пыточную.

— Я всю правду сказал,— отвечал Осип.

— Нет, врешь! — сказал воевода.— Ведите его в пыточную: он там правду скажет.

Его повели в пыточную башню. Это была одна из деревянных башен, которыми была усеяна деревянная с присыпом стена города Арзамаса. В башне этой было два яруса. Осипа повели в верхний. Там была огромная печь для содержания огня ради пытки огнем, лежали разные инструменты и стояли два столба с перекладиною, а под ними лежали круглые гири разных сортов. За Осипом пошли палач, двое сторожей и сын боярский, который приставлен у пытки быть. С Осипа сняли цепи, сторожи обнажили ему спину, потом привязали ему к рукам веревки, а один из них взял его за эти веревки на себя на спину так, что живот Осипа плотно пришелся к спине сторожа, а палач начал отсчитывать ему удары кнута по спине. Сын боярский за каждым ударом говорил: «Сказывай правду».

— Я всю правду сказал! — кричал Осип.

Дали ему таким образом ударов двадцать, от которых кожа на спине потрескалась и лилась подкожная кровь в изобилии. Потом его увели в тюрьму. Керенский атаман сказал ему: «Что, брат, позавтракал?» После обеда его снова повели в пыточную. Там подвели его к двум столбам

с перекладиною. Палач, обвязав ему руки веревкою, поднял его вверх и привязал на перекладине, а к ногам его привязали гири. Осип кричал от боли. Палач взял кусок раскаленного железа и стал водить вдоль израненной кнутом спины, в некоторых местах нажимая железо с особенным прилежанием. Сын боярский продолжал беспрестанно повторять: «Говори правду». Осип среди криков, исторгаемых страшным страданием, долго твердил одно слово: «Я всю правду сказал»,— наконец, не вытерпевши мучений, закричал: «Отрекаюсь».

Его одели в окровавленную сорочку и повели снова в воеводскую избу. Дьяк со слов его записал, что все, что ни говорил он на отца и на мачеху свою, наговорил он ложно; а пристал он к воровству своею дуростью, норовя своей бездельной корысти. Спрашивали его о товарищах. Осип что знал, то и сказал. Не доверяя ему, повели его снова в пыточную башню и посадили на горячие уголья. Осип кричал, но не мог ничего нового сказать. Его отвели в тюрьму.

— Что, брат,— сказал керенский атаман,— поужинал?

Осип лежал недвижно и не говорил ничего. Ему принесли сторожа ломоть черствого хлеба; он отвернулся.

На другой день привели его снова в воеводскую избу и уже не одного: с ним ввели его прежних товарищей и керенского атамана с семью товарищами. Сначала прочитали приговор керенскому атаману с товарищами: их всех присудили повесить. Потом прочитали Осипу следующее:

— Осип Нехорошев! За твое воровство и измену, что ты, пришед с царской службы домой к отцу, своею дуростью и бездельничеством пристал к ворам и учинился у них атаманом, и учал с ними воровать, и под Саранск с ними ходил, и при взятьи Саранска был, и многие убивства и напрасное кровопролитие учинил, и с ворами на отца своего двор находил, хотячи отца своего убить до смерти,— довелся ты смертной казни: посадить на кол.

— Хочешь исповедоваться?

— Хочу,— твердо сказал Осип.

Его отвели в особую избу. Там стоял священник и исповедовал керенских. Осип ждал. Потом священник обратился к Осипу и спросил его:

— Веруешь ли в Бога, живоначальную, единосущную и нераздельную Троицу?

— Верую,— отвечал Осип.

Потом священник, смотря в требник, стал ему задавать

вопросы о разных грехах. На многие из вопросов Осип отвечал: нет; на другие отвечал: грешен. И когда дошло дело до почтения к родителям, Осип хотел было открыть свою душу, но священник продолжал далее, сказав: «Недобре! Вперед так не делай!» Наконец, переспросив о всех грехах по требнику, священник прочитал молитву, разрешил его от грехов по власти, данной ему от апостолов, а в заключение причастил его святых тайн. Осипа повели на казнь. Уже впереди вели керенских. Их остановили у одного пустого глаголя, а Осипа повели далее и через несколько минут остановились. Осип увидел, что керенского атамана уже вздернули. Он продолжал свой путь после того еще минут пять, наконец его остановили. Двое палачей подхватили его, посадили на заостренный кол, а сами удалились. Медленно кол пробивал ему кишки по мере того, как тело его от тяжести опускалось, руки у него были завязаны назад... В невыразимых мучениях Осип оставался один среди гниющих трупов, торчащих и висящих. Он мучился так почти сутки; ворон выклевал ему глаз еще живому; наконец Осип лишился чувств. Он все-таки был счастливее многих казненных таким образом; иным приходилось мучиться долее, смотря по тому, какое направление в теле примет вбитый кол, а это зависело и от его фигуры, и от случайного положения преступника на коле.

XX

Прошла зима, памятная и страшная для юго-восточного края Московского государства. Много сел и городов обратилось в пустыни, много народа крестьянского погибло от меча, от огня, от мороза, на виселицах, на кольях... Но все успокоилось. Власть законная восторжествовала, мятеж был попран. С весною зазеленели вновь нивы, стали обстраиваться деревни; собственная нужда заставила забывать замученных отцов и братьев. В июне самый зачинщик смуты Стенька Разин испил достойную чашу наказания на Красной площади, против церкви Казанской Богородицы. Русь успокоилась. Осенью и Капитон Михайлович со своею молодою супругой возвратился в Нехорошево, выпросил у правительства милость —«сто рублев на обстройку, потому что разорен от воров»,— и принялся за возобновление усадьбы, сожженной Осипом. Наскоро отстроили две хозяйских избы и людскую избу, обнесли усадьбу деревянною оградою. Стали приходить кой-какие из дворни и из

крестьян, говоря, что пошли на воровство поневоле; другие не пришли, потому что были побиты, а третьи не пришли потому, что пристали к другим господам. Зато явились и новые записаться в кабалу. Опять усадьба начала напоминать прежний вид, хотя уже прежнего богатства и довольства нельзя было воротить: то, что было прежде, собиралось многими поколениями. Капитон Михайлович благодушествовал со своею молодою супругой. Ключник и ключница, уже свободные, остались у них верными слугами и друзьями. Капитон Михайлович справил новоселье. Были приглашены соседние дворяне, тоже воротившиеся в свои усадьбы; был тут и священник, но уже новый. На пиру, когда поднимали разные чаши, священник с чашею возгласил вечную память и упокоение погибшим и пострадавшим во время смуты за святую непорочную веру и за здравие его царского величества, великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца. Тогда кто-то, упившись, заметил, что жаль Осипа, которого нельзя уже помянуть в числе верных слуг царских. Мгновенно лицо Капитона Михайловича приняло суровое выражение, и он сказал:

— Да погибнет память его от земли живущих! Имя его никогда не вспомянется в дому сем! А кто его добром или худом мне припомнит, того прошу не жаловать за порог наш.

— Аминь! — сказал священник.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Цель настоящего рассказа была представить, в повествовательной форме, черты нравов, понятий, обычаев и домашнего быта в XVII веке. Для этого избраны историческая эпоха и частное событие такого рода, где бы удобно было связать поболее разных явлений старинной жизни. Сюжет рассказа заимствован из предания, слышанного автором в Восточной России. Существует воспоминание, что один из предков одной дворянской фамилии убил жену, а сын его начал мстить за мать, вступил в шайку разбойников, стал у них атаманом, напал на отцовскую усадьбу и сжег ее, а потом сам был схвачен и казнен. Здесь это событие отнесено ко временам бунта Стеньки Разина. Восемь глав этой повести были помещены в «Архиве исторических и практических сведений» Калачева.

КУДЕЯР

Историческая хроника
В трех книгах

КНИГА ПЕРВАЯ

I. ГОСТИ

Начинался рассвет ноябрьского дня. В доме священника Никольской церкви, в Китай-городе, горели огни. В просторной светлице с маленькими четвероугольными оконцами происходили приготовления к выезду знатного господина. Двое слуг вытащили большой сундук из угла, образуемого муравленною печью и разделенного на два яруса для всякой поклажи, и доставали из сундука разные наряды. Господин обулся в сафьянные сапоги с серебряными узорами, отороченные бобром, надел зеленые суконные штаны, входившие в сапоги, белый зипун из турецкой габы, а сверху бархатный темно-красный казацкий кобеняк с отложным воротником и горностаевой обшивкой. Эта одежда была короче тогдашнего великорусского кафтана, с одною только грушевидною пуговицею, и подпоясывалась поясом, до того унизанным золотыми бляхами, что нельзя было распознать материи, из которой он был сделан. За поясом заложен был кинжал с круглою ручкою, украшенною одним большим изумрудом; на левом боку у господина была турецкая кривая сабля в серебряных ножнах и с бирюзою на рукоятке; а на груди висела золотая цепь с медальоном, на котором изображалось восходящее солнце. Одевшись, господин выслал слуг, достал из шкатулки отделанную перламутром пергаментную книжку и стал читать молитвы, обратившись к образу, перед которым горели три восковые свечи. Между тем рассвело.

В светлицу вошел священник с крестом и святою водою.

— Потеснили мы тебя, отче,— сказал господин.— Не сетуй на нас: не наше хотение, а царская воля. Но я перед тобою за гостьбу твою в вине не буду.

— Честнейший господине княже,— сказал священник, благословив крестом господина и окропивши святой во-

дой,— коли б государь-царь жаловал нас такими стояльцами, то нам на том государю бить челом с хвалою, а не скорбить о тесноте. Таких, как ты, на свете немного, зане кровь свою не раз проливал за все христианство и страшен стал агарянам, яко Гедеон и Сампсон. Боже тебя благослови! А я, грешный, богомолец твой, буду молить Бога и пречистую его матерь, чтоб царь-государь последовал благому совету твоему, еже на брань с нечестивыми измаильтяны.

— Все в руце божией,— сказал господин.— Человек хочет тако и инако, а как Бог скажет: стой, не движися! — то все человеческие затеи прахом пойдут. Молчи да дыши.

Вошел царский пристав, поклонился князю в пояс и сказал:

— Князь Дмитрий Иванович! Государь-царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси пожаловал тебя, велел быть у себя и прислал за тобою свою царскую лошадь.

Князь всунул приставу в руку несколько червонцев.

Вошли слуги, доложили, что все готово, и накинули на господина соболью шубу, крытую зеленою камкою. Господин надел высокую черную баранью шапку с золотым пером и вышел, провожаемый благословениями и пожеланиями священника.

Этот господин был знаменитый богатырь XVI века — князь Дмитрий Иванович Вишневецкий, староста черкасский и каневский, предводитель днепровских казаков и первый виновник их славы. Медальон на груди носил герб его княжеского рода. Князь был лет сорока пяти, среднего роста, с большим выпуклым лбом, носившим печать ума и благородства, и с окладистою русою бородкою. В его голубых глазах светилось простодушие и доброта вместе с чем-то могучим и грозным; несмотря на лета, его лицо сияло здоровьем и свежестью; во всех чертах и движениях его виднелись следы внутренней крепости, сильной воли и многолетнего опыта.

Выйдя на крыльцо, он увидел толпу своих казаков; атаманы были в красных, а простые казаки в черных киреях и широких шароварах, запущенных в высокие черные сапоги. Одни сидели уже на конях и один за другим выезжали за ворота, другие держали за поводья лошадей, готовясь вскочить на них.

У крыльца стоял серый, с черными яблоками жеребец; на нем было красное сафьянное седло с позолоченною лукою, лежавшее на черном, с красными узорами чепраке, из-под

которого выглядывали концы желтой попоны с бахромой. Под мордою у лошади висела целая куча ремешков, расширявшихся книзу и усеянных золотыми бляшками, а на ногах выше копыт были бубенчики, издававшие звук при всяком движении лошади. Вишневецкий вскочил на жеребца и выехал из ворот; пристав ехал с ним рядом; впереди и сзади ехали казаки. Путь их лежал мимо Гостинного ряда, по Красной площади, загроможденной в то время множеством лавочек, шалашей, скамей с разными съестными припасами. Народ, любивший глазеть на приезжих, с любопытством бежал за Вишневецким, и в толпе слышались голоса: «Вот молодец! Как такому бусурмана не побить! И народ-то у него какой рослый, богатырский!»

Вишневецкий въехал в Фроловские ворота Кремля, на которых в то самое время раздалось два удара боевых часов, означавших тогда два часа по тогдашнему счету ночных и дневных часов, и в ту же минуту повторилось два удара на других кремлевских башнях, на которых были устроены часы: на Никольской, Водяной (к Москве-реке) и Ризоположенской (выходившей на Неглинную). Тридцать пищальников, стоявших на карауле, расступились и подняли свои пищали вверх. Вишневецкий проехал между боярскими домами, мимо Вознесенского монастыря и мимо церкви Николая Гостунского, прямо к собору, и остановился у золоченой решетки царского двора. Пристав соскочил с лошади; за ним сошел князь и все казаки. По приказанию пристава князь отвязал свою саблю, отдал ее казаку, взял с собою четырех атаманов и одного казака, несшего ящик, и пошел пешком вслед за приставом по Благовещенской лестнице. На крыльце, ради почета, была ему первая встреча, в сенях — другая. Вишневецкий вошел в переднюю палату.

Царь Иван Васильевич сидел в углу под образом, одетый в голубой, расшитый серебряными и золотыми травами кафтан, в собольей шапочке с жемчужною опояскою, в руках держал посох. Это был сухощавый человек, с клинообразною бородкою, с узким лбом и с чрезвычайно живыми, бегающими глазами, в которых трудно было уловить что-нибудь, кроме постоянного беспокойства и нерешительности. Близ него стоял думный дьяк Иван Висковатый, высокий, тонкий, с длинною шеею и с задумчивым выражением глаз.

Вишневецкий, сделав от двери три шага вперед, поклонился царю, прикоснувшись пальцами до земли.

Пристав сказал:

— Князь Дмитрий Иванович Вишневецкий приехал просить твоей царской милости, чтоб ты, великий государь, пожаловал, изволил бы принять его в холопство на верную свою государскую службу.

Дьяк Висковатый от имени царя дал ответ, что царь похваляет князя Дмитрия Ивановича, велит спросить о здоровье и жалует к своей царской руке.

Вишневецкий, подошедши ближе, преклонил колено и поцеловал лежавшую на коленях царя царскую руку, а потом отошел, устремивши глаза на государя.

Пристав заявил, что князь Дмитрий просит пожаловать его — велеть поднести царю в дар турецкую саблю редкой работы. Казак поставил ящик на столик и открыл его. Там лежала сабля с рукояткою, осыпанною рубинами, бирюзой и изумрудами.

— Бог тебе в помощь, князь Дмитрий Иванович! — сказал царь Иван.— Коли пожелал своею охотою служить нам и прямить, то мы тебя будем жаловать, и служба твоя от нас забвенна не будет. Ну, а сдал ты Черкассы и Канев брату нашему, королю Жигимонту-Августу, как мы тебе велели, для того, что мы теперь с братом нашим королем не в розратьи?

— Все учинил так, как от тебя, государя, приказано,— сказал Вишневецкий.— А ныне пожалуй нас, холопей твоих: вели слово вымолвить.

— Говори,— сказал царь,— послушаем, коли хорошее скажешь.

Вишневецкий сказал:

— Казаки городов Черкасс и Канева и все тамошние тубольцы, прирожденные русские люди истинныя восточныя веры, тебе, великому государю, прямят и желают поступить под твою высокую державную руку навек неотступно. Вся земля киевская с Украиною и с землею волынскою и галицкою — твоя государева извечная отчина от равноапостольного князя Владимира; но половиною ее уже давно завладели поляки, а другою думают теперь завладеть от Литвы. И нам бы не быть под латинским государем; а пригоже нам быть под своими прирожденными правоверными государями.

Во время этой речи Иван Васильевич беспрестанно поворачивался, вертел свой посох, как человек, который не в силах сдержать своих ощущений, и показывал, что разом слышит что-то приятное и неприятное. По окончании речи

он сказал что-то Висковатому, а Висковатый произнес громко:

— Князь Дмитрий Иванович, ты поговоришь с царскими боярами, которых тебе вышлет государь на разговор.

— Слыхали мы,— сказал царь,— что ты, князь Дмитрий, бился с неверными за благочестивую веру, и мы тебя за то похваляем, чаючи, что и впредь по нашему повелению будешь против наших недругов биться; а за твое радение, что пришел к нам, жалуем тебе в вотчину город Белев с нашими волостями и доходами, и твоих атаманов и казаков, что пришли с тобой, велим испоместить поместьями.

Все поклонились.

Пристав дал знак, и Вишневецкий вышел со своими атаманами.

Князя провели через сени и крыльцо в так называемую Малую избу, против дверей Благовещенского собора. Там, у входа, Вишневецкий увидел давно знакомого ему дьяка Ржевского, бывшего его товарища в недавних битвах с татарами. Они поцеловались как давние приятели. В избе посредине стоял стол, за которым сидело трое сановников. При входе князя они встали из-за стола и подошли к нему. То были князь Андрей Михайлович Курбский, Алексей Адашев и брат его Данило.

Алексей Адашев был человек лет тридцати пяти, с овальным длинным лицом, с белокурыми, плотно остриженными волосами и с небольшой клинообразной бородкой. Чрезвычайное благодушие светилось в кротких голубых глазах его. Он постоянно держал ресницы опущенными вниз, а когда взглядывал на того, с кем вел разговор, то, казалось, видел насквозь, что у другого на уме. В Москве говорили, что Адашев сам никогда не скажет неправды и перед Адашевым другому трудно было солгать: слова не скажет, только взглянет и пристыдит. Он был одет в черный суконный кафтан без всяких украшений, а на ожерелье его рубахи не видно было ни золота, ни жемчуга, как бывало тогда у знатных людей, только виднелись красного шелка узоры, вышитые его женою. Брат его, Данило, был одет пощеголеватее. В его круглом румяном лице светилось столько же добродушия, сколько живости и удальства. Наружность Андрея Михайловича Курбского показывала иного человека, чем оба Адашевы: его высокий рост, открытый большой лоб, гордый и вместе приветливый взор, величественная поступь обнаруживали в нем челове-

ка, хорошо помнившего свой род и своих предков, человека, для которого не было ничего тяжелее, как сгибать шею перед кем бы то ни было.

— Бог благословит приход твой! — сказал Алексей Адашев Вишневецкому.

— Радуемся, и радость наша не отнимается от нас,— сказал Курбский,— понеже узрехом посреди себя не яко гостя и чужеземца, а яко единоземца и товарища родоименитого, доблестного воителя; его же слава прошла не только по нашим российским пределам, но достигла отдаленных стран, германских, римских, гишпанских, на него же возлагают упование сыны христианские.

— Наш, наш князь Дмитрий Иванович,— говорил Данило Адашев,— пришел к нам, не пожалеешь. Здесь у тебя будут други верные. Вот, как я приезжал к тебе от царя-государя, тогда мы вели беседу и говорили: как бы ты был наш! Теперь сталось так. Теперь праздник у нас на всю Русь!

Все обнимали и целовали Вишневецкого. Вишневецкий представил своих четырех атаманов, назвавши их по именам, потом сел с боярами за столом; атаманы сели поодаль на скамьях. Курбский начал:

— Государь-царь выслал нас на разговор. А нам прежде тебя бы послушать да из твоих уст узнать о славных подвигах твоих.

— Какие подвиги! — сказал Вишневецкий.— Коли б и вправду что было сделано, то надобно все Богу приписать. А мне про себя сказать хорошего нечего. Разве своей неудачей хвалиться.

— Что же,— сказал Данило,— апостол Павел хвалился немощами, а твои немощи и неудачи славнее иных побед.

— Кто не слыхал,— сказал Курбский,— как ты отбивался от многочисленных крымских орд на Хортице!

— А все-таки покинул Хортицу,— прервал Вишневецкий,— оттого, что великий государь не прислал помощи впору, а тут король пишет: сведи казаков с островов. Вот, Днепр опять в руках у поганых. Но дело поправится, если на то воля царская будет. В Крыму уже два года хлеб не родился; во всей орде траву выжгло; лошади пали; на скот падеж и на людей мор. Теперь бы и ударить на поганых. Достался бы его царскому величеству весь Крым со всею степью; освободились бы христианские люди в Крыму, а их еще немало; станем молчать (медлить) — ино поганые детей их побусурманят, и души христианские пропадут. Госу-

дарь-царь ко мне паче меры милостив: подарил мне Белев с волостями; но я не за своею корыстью приехал,— у меня своих волостей довольно; все готов отдать за избавление братий своих, христиан, от поганых. Приехал я того ради, чтобы с своими казаками, вместе с вами против неверных биться и царскому величеству крымский юрт покорить, а ему, великому государю, вся наша Украина готова челом ударить в вечное подданство.

— Князь Дмитрий Иванович,— возразил Адашев,— для того, чтобы нам Бог помог завоевать крымский юрт, невозможно учинять задор с королем, а надобно быть с ним в мире и союзе против бусурман.

— Довольно,— сказал Курбский,— дуровали деды наши, бились промеж собою да бусурман нанимали одни против других: Москва на Литву, Литва на Москву. Теперь надобно Москве с Литвою и Польшею в дружбе жить и на поганых вместе идти.

— Оно бы так, бояре,— сказал Вишневецкий,— только у нас король Жигимонт-Август — одно имя ему что король, и телом и умом слаб. Всем у него заправляют ляхи, а ляхи нашей русской земле добра не мыслят, да в союзе с ними быть одна беда. К войне не годятся: им бы только объедаться, да опиваться, да на мягких постелях валяться. Вот то их дело! К тому же они люди непостоянные и в слове не стоят: войдут с вами в союз, а потом и сами на войну не пойдут, и казаков не пустят.

— О турском царе надобно подумать,— сказал Адашев.— Крымский царь — голдовник турского, и турский за него встанет. Дело-то не легкое. Надобно заручиться крепким союзом с окрестными государствами.

— Турецкая сила,— сказал Вишневецкий,— страшна угорскому королю и польскому, а Московскому государству сделать большого зла она не может. Мы Крым завоюем, и нас турки из Крыма не выбьют, рать свою посылать в степь побоятся; а кабы на то дерзнули, так не достанут в степи корму ни себе, ни лошадям, и все пропадут от безлошадья и безхлебья. Турский хвалится, что он непобедим; а отчего? Христиане никак не смолвятся между собою стать всем разом против неверных. Одно царство воюет и не совладает с турком, а все другие думают: силен турок, и каждый боится помогать тому, на кого бусурман пойдет.

— Об том, чтоб смолвиться всем на турка, речь идет многие лета; еще и до наших отцов и дедов про то говорили

во всех царствах, да до сих пор Бог не благословляет,— сказал Алексей Адашев.

— И до тех пор то дело не станется,— сказал Вишневецкий,— пока одно какое-нибудь христианское царство без помощи иных турка не побьет. Вот, как мы Крым отнимем, все тогда скажут: бусурман не так могуч, как мы думали. Тотчас веницейская Речь Посполитая пошлет свои каторги на Беломорье, и цезарь пристанет, и мултане, и волохи поднимутся, и перский царь пойдет на турка для того, что он ему старинный ворог; а вы знаете, как недругу в чем неудача станется, так все, что прежде его боялись, кинутся на него. Вот только с ливонскими немцами надобно вам замириться, оттого что через то творится рознь в христианстве, а бусурмане тешатся.

— Ливонские немцы согрубили нашему государю,— сказал Адашев,— и наш государь на них за то послал свои рати, и многие города нам покорились. Пусть бьют челом нашему государю, а то вот они мира с нами не хотят, мейстер идет на наши города.

— Слух есть,— сказал Вишневецкий,— быть может, недруги вымышляют, будто московские люди в ливонской земле поступали не по-христиански, людей мирных убивали, жен бесчестили, младенцев живота лишали; а в немецком языке книжки такие надрукованы, где описывается, как московские люди немецких людей мучат, и приложены рисунки тому, и то Московскому государству не в честь.

— Мало чего не пишут,— возразил Алексей Адашев.

— И мало чего на войне не приключается,— добавил Данило Адашев.— Коли делалось такое, так от татар, а не от наших.

— Прошлого года,— сказал Курбский,— я сам побил их многажды, и начальных людей их пленил, и не токмо не велел никого мучить, а приказал кормить и одевать и начальных людей к столу звал. А которые там простые люди, чухна и лотыгола, те немцев не любят сами и у нашего государя в подданстве быть хотят, и мы, воеводы, нашему государю даем совет, чтоб тамошних обывателей ласкать и льготы им давать, а не то, чтобы жестокостью отгонять их от себя. Ныне же, ради общего христианского дела, войны с неверными, мы будем царю подавать совет замириться с ливонскими немцами, лишь бы только они побили челом о мире. А ты, князь Дмитрий Иванович, как думаешь, нам идти на Крым и в кое время?

— Прежде всего,— сказал Вишневецкий,— надобно по-

ставить городок на Псле и поделать суда и струги, а с весны послать судовую рать по Днепру на море, до Козлова, а иная судовая рать пошла бы по Дону, на другой крымский берег, к Кафе. А разом послать на Крым черкесских князей, что царскому величеству послушны. А затем надобно однолично, чтоб царь-государь изволил сам выступить с главною ратью, так, как он ходил под Казань, а то для того, что как сам царь пойдет, то за ним все смело пойдут; и наши казаки, услыша про царское шествие, все пойдут своими головами.

— А как много у вас казаков будет, и какова их сила? — спросил Алексей Адашев.

— И каково их дородство? — спросил Курбский.

— У нас,— сказал Вишневецкий,— пословица есть: где крак, т. е., по-вашему, куст, там казак, а где байрак, там сто казаков. А какова у них сила бывает, я вам тотчас покажу.

Он обернулся к четырем атаманам и сказал одному из них что-то шепотом.

Вышел атаман, широкоплечий, высокий, смуглый, с черною бородою, с густыми нависшими бровями, с выдавшимися скулами и мрачным, невыносимо унылым выражением глаз. Он схватил одною рукою тяжелое кресло, на котором сидел Алексей Адашев, вместе с ним, высоко приподнял его и бережно поставил на пол.

— Это,— сказал Вишневецкий,— он из почести вознес боярина; а вот коли крымского хана с его трона так поднимет, так уж не поставит на землю, а кинет, чтоб расшибся вдребезги. А хотите видеть их дородство воинское, так выведите их в поле и велите стрелять в цель: коли один промахнется, так велите меня самого застрелить... А как пойдет государь с ратною силою на Крым, то велеть посошным людям ваши возить запасы за государем и городки ставить и в тех городках оставлять ратных людей с запасами, чтобы от города до города путь был чист, а государю идти на Перекоп. Вот мы с трех сторон ударим на крымский юрт, и христиане, что в Крыму живут, подымутся на бусурман.

— Ладно, право, ладно говоришь ты, князь Дмитрий Иванович,— сказал Данило Адашев,— от радости дух замирает; слушаючи тебя, так и хочется в поле на бусурман.

— Твоими бы устами да нам мед пить,— сказал Курбский.— Вот только кабы все так думали, как мы, а то около государя есть сопротивники нашим замышлениям.

— Мы передадим твое слово великому государю,— сказал Алексей Адашев,— а как ему Господь Бог на душу положит, так и будет.

— А что это за Самсон такой,— спросил Курбский по окончании переговоров о деле,— откуда ты его достал?

— Кто он такой,— ответил Вишневецкий,— про то ни он, ни я не ведаем. Чаем только, что по отцу, по матери он ваш прирожденный московский человек.

— Как не ведаете? — спросили бояре.

Вишневецкий сказал:

— Будет назад тому годов более двадцати, ходили наши казаки на татар и разорили татарский аул, взяли одного раненого татарина в плен, а на его дворе был этот молодец, еще мал, лет, так сказать, десяти либо одиннадцати. Татарин показал на него и говорил: этот хлопец вашей веры был, мы взяли его ребенком в московской земле и обрезали, а он был ваш, у нас есть крест, с него снят. Больше мы ничего не могли допроситься от татарина, он стал кончаться и умер, мы от его татарки взяли золотой крест.

— А парень по-русски умеет? — спросил Данило Адашев.

— Выучился межи нами,— сказал Вишневецкий,— а как взяли, так ничего не знал.

— Атаман,— сказал Курбский,— покажи нам свой крест.

Атаман снял с шеи золотой крест и подал его.

— О, здесь и надпись есть,— сказал Курбский и начал разбирать: —«*Благос... род...*», верно, родителей... слово... а другой буквы не разберу, не то люди, не то мыслите: «*сыну первенцу...*» глаголь... рцы... еще что-то... Посмотри ты, Алексей Иванович.

— Не разберу,— сказал Алексей Адашев, посмотрев на надпись.

— Палки какие-то,— сказал Данило Адашев,— ты, дьяк, не прочтешь ли? — продолжал он, обратившись к Ржевскому.

Ржевский стал пристально рассматривать крест, поглядывая также на атамана, который стоял с видимым равнодушием, вперивши глаза в пустое пространство.

— Над глаголем что-то есть,— сказал Ржевский,— а что такое — Бог его знает... Край стерся, а за глаголем еще слово какое-то было, да от него осталась только палка.

— Да,— сказал Вишневецкий,— и у нас не прочли,— казаки не знали, как ему имя дать, не то Григорий, не то

Георгий, не то Гаврила; не знали, крестить ли его в другой раз или нет, и отослали его к киевскому митрополиту. И митрополит разбирал на кресте надпись и не разобрал, а крестить его в другой раз не велел для того, что он хоть и был обрезан, да поневоле. Митрополит прочитал над ним молитву и дал ему имя Георгий. Тогда взял его к себе казак Тишенко, и он по нем стал зваться Тишенко ж, а другое прозвище дали ему Кудеяр — по тому аулу, где его нашли казаки; и стал он казак из казаков, силен, видите сами, каково, а на неверных лют зело и к церкви божией прилежен.

— А ты,— спросил Курбский Кудеяра,— живучи у татар, знал, что ты русский человек?

— Мало знал,— ответил Кудеяр.— Они со мной много не говорили, держали черно, как невольника.

Вишневецкий сказал:

— Казак Тишенко женил его на своей дочери; и пожили они в большой любви между собой, только недолго, года четыре; набежали татары, а Кудеяр был в походе; татары у него молодую жену увели. Все казаки собирались выкупить жену его из плена, да узнали, что ее кто-то купил в Кафе на рынке, и теперь неизвестно, где она.

— Вот несчастие! вот горе! — говорили бояре.

Вишневецкий продолжал:

— Долго он томился и поклялся отомстить бусурманам. Уж не раз он давал себя знать им. На войне совсем себя не жалеет, и один Бог его спасает; никогда не приведет в полон татарина, а кого поймает, сейчас бьет без милости. Иногда уж и я его журю за большую лютость,— мало того, что бьет, еще мучит, кого поймает.

— Как мне не бить их, собачьих сынов,— сказал Кудеяр,— когда они, быть может, у меня отца и мать убили, меня самого побусурманили и с женой разлучили.

— Бедный! бедный! — сказал Курбский.— Ну, а силищей тебя наделил Бог. Быть может, как мы государю скажем, он пожелает призвать тебя перед свои очи.

— Воля государская будет,— ответил Кудеяр.

— А давно у тебя жену полонили? — спросил Данило Адашев.

— Шестой год, бояре,— сказал Кудеяр.

— Божьи судьбы неисповедимы,— может, и обрящешь,— сказал Данило.

— Где сыскать ее,— ответил Кудеяр,— белый свет ве-

лик. Об этом я не думаю, одна у меня мысль: бусурманов бить.

— И христианству служить,— добавил Алексей Адашев,— всякими путями, как Бог укажет.

Бояре разошлись. Курбский пригласил Вишневецкого на пир и пожелал, чтобы с ним приехал Кудеяр.

В гостях у Курбского были сподвижники казанского взятия, все, как хозяин, желавшие войны с Крымом. Кудеяр показывал перед гостями свою необычайную силу, но отвечал на расспросы гостей короткими словами и поражал всех своею молчаливостью и угрюмостью.

— Молодец он! молодец! — говорили развеселившиеся у Курбского бояре.— Но что он так в землю смотрит?

— Горе у него великое,— говорили другие.

Курбский, подвыпивши, с обычным своим красноречием рисовал перед слушателями грядущее торжество покорения Крыма. Данило Адашев с живостью представлял перед гостями, как он будет вязать татарских мурз, как государь въедет на белом коне в Бакчисарай, подобно тому, как въехал в Казань; как русские станут обращать мечети в божьи храмы... Алексея Адашева не было. Он никогда не являлся на пиры, и приятели его, зная это, не сердились на него. Все привыкли с Адашевым говорить только о деле. Обязанный принимать каждый день просьбы, подаваемые на имя царя, он говорил, что каждая минута, проведенная им праздно, есть грех, потому что через то могут терпеть невинно обиженные и нуждающиеся. Никто не видал этого человека смеющимся, и зато никто, имевший повод плакать, не уходил от него без утешения; ему было не до пиров.

II. ЮРОДИВЫЙ

Война с Крымом составляла тогда живейший вопрос московской политики. После счастливого покорения Казани, после легкого затем покорения Астрахани на очереди стоял Крым; Москва разорила уже два хищнических гнезда, свитых из обломков Батыевой державы; оставалось разорить третье, самое опасное. Дело было трудное, зато от успеха можно было ожидать больше пользы, чем от прежних побед. Много скоплялось препятствий для исполнения великого предприятия, но главное препятствие было то, что в совете около царя не стало уже прежнего единодумия, прежней решимости, прежнего воодушевления.

Десяти лет не прошло с той поры, как вся Русь со своим царем шла на Казань; тогда всех мужей думы и рати соединял священник Сильвестр. Теперь многое стало изменяться.

Хотя отец Сильвестр все еще не переставал действовать на царя Ивана Васильевича спасительным страхом, хотя все еще казался царю человеком, облеченным силою свыше, но чувство зависимости уже давно тяготило царское сердце. С молоком кормилицы всосал Иван Васильевич мысль, что он рожден поступать так, как ему захочется, а не так, как другие присоветуют; на деле же выходило, что он делал все так, как другие ему подсказывали, и главное, как захочет поп Сильвестр. Не вдруг, а мало-помалу, как капля за каплей пробивает камень, сознание своего самодержавия освобождало Ивана Васильевича от гнета, давившего его, словно домовой сонного человека. В описываемую нами пору царь Иван боялся Сильвестра, но не терпел его. Сильвестр не ладил со многим таким, что было сначала с ним заодно. Царица Анастасия, горячо и нежно любившая своего супруга, не взлюбила Сильвестра; она видела и понимала, как Сильвестр, словно дурачка, держал царя в руках страхом посылаемых ему свыше откровений; притом же, Сильвестр раздражил нервную и болезненную царицу тем, что в качестве духовника государя хотел подчинить его супружескую жизнь правилам своего «Домостроя». Братья царицы, Захарьины, возненавидели Сильвестра после того, как во время опасной болезни, постигшей царя Ивана, Сильвестр вместе с некоторыми боярами помышлял на случай царской смерти о таком порядке правления, который бы оградил Русь от власти Захарьиных при малолетстве наследника престола. Из двух братьев царицы Никита хотя и не любил Сильвестра, но сам по себе будучи человеком честным, воздерживался от всяких козней против него; зато другой, Григорий, злой и коварный, не останавливался ни перед какими мерами, готов был на всякую черную клевету, на всякие козни. Он нашептал царю, что Сильвестр мирволил честолюбивым затеям царского двоюродного брата, Владимира Андреевича, будто бы добивавшегося престола в ущерб правам Ивановых детей. Пользуясь набожностью сестры, Григорий Захарьин беспрестанно подбивал ее таскать с собой царя по монастырям, чего не хотел Сильвестр, вообще не любивший тогдашних монахов-тунеядцев; Григорий свел царя Ивана с иноком Григорием Топорковым, бывшим ростовским епис-

копом, который в тайной беседе с царем пристыдил его и дал ему приятный для него совет: никого не слушаться и делать так, как ему вздумается.

Козни Григория и наговоры любимой жены хотя настроили царя Ивана враждебно к Сильвестру, но все еще не могли побудить царя к решительному разрыву со своим духовником. Иван любил жену, но насколько бывают способны к любви такие эгоистические натуры. Иван колебался то туда, то сюда. Вот, под влиянием жены и ее братьев, он возгорался злобою против Сильвестра, а Сильвестр напомнит царю, что муж есть глава жены, и даже еще заметит, как бы так, вообще, не относя свое замечание к царю, что плохо поступает тот муж, который во всем слушается своенравной жены; тогда Иван проникнется своим достоинством супруга, начнет сердиться на жену; но жена разольется в слезах, и царь помирится с нею, а потом ей в угоду опять покажет злобу к Сильвестру; вслед за тем, по привычке верить в чудодейственную силу Сильвестра, сам испугается своей смелости и старается примириться с Сильвестром. Сильвестр укажет царю на что-нибудь такое, что удобно объяснить знаком божьей воли; Сильвестр что-нибудь кстати предскажет, и предсказание сбудется; Сильвестр озадачит царя каким-нибудь текстом, каким-нибудь примером из священной и византийской истории, так что царь не может против того ничего отвечать и склоняется пред мудростию духовника. Можно сказать, что все козни против Сильвестра долго бы не могли подорвать его могущества, если бы Сильвестр, как прежде, находил себе опору в боярах. Но уже некоторые бояре, прежде во всем слушавшие Сильвестра, стали, подобно царю, тяготиться нравственною зависимостью от попа, самолюбие их уязвлялось, и вот, вместо того чтобы, как прежде, принимать беспрекословно его советы, замечали они Сильвестру, что люди мирские более его, попа, смыслят в государственных и военных делах. Роковым событием для Сильвестра была представившаяся тогда необходимость выбора между Крымом и Ливонией. Отец Сильвестр советовал царю не трогать ливонских немцев, жить вообще в мире с христианскими странами и, напротив, стараться подвигнуть их вместе с Россией на бусурман, а между тем самому идти на Крым и собственноручно водрузить крест на том месте, где святой Владимир принял крещение. В царской думе не все разделяли такое мнение: одни были за войну с Крымом, другие соблазнялись легким, как им казалось, завоеванием

Ливонии и приобретением моря. Сам Алексей Адашев поколебался было и не стал отклонять царя от войны с немцами; царь прельщался надеждою овладеть сильными германскими градами, о которых имел смутное представление, смешивая Колывань (Ревель) с Нюренбергом, Ригу с Регенсбургом. Духовные сановники охотно благословляли царя на брань с еретиками латинами и люторами главным образом оттого, что знали, как это неприятно Сильвестру, а они не любили Сильвестра за то, что он, будучи не более как поп, был сильнее архиереев не только в светских, но и в духовных делах. Царица Анастасия не удерживала царя от войны с Ливонией оттого, что никто не требовал, чтобы царь сам шел в поход на немцев, а крымской войны царица очень боялась; она знала, что царя Ивана повлекут в Крым, как повлекли под Казань.

Ливонская война открылась. Священник-временщик с самого своего приближения к царю не привык еще, чтобы делалось что-нибудь противное его желанию; он сильно досадовал, он выходил из себя, особенно когда злодеяния, совершенные татарами Шиг-Алея в Ливонии, давали ему благовидный повод вопиять против напущения бусурман на христианское жительство; он называл Ливонию бедной вдовицей, угрожал за нее России гневом божиим, предсказывал неудачи... Но что же? Как бы ему в обличение, вместо неудач, успех следовал за успехом! Сильвестр опускался.

Крымское дело, за которое он так стоял, ограничившись неважным по своим последствиям походом дьяка Ржевского и Данила Адашева, почти совсем оставлялось. Теперь приезд князя Вишневецкого поднимал его снова. Смелый и речистый князь Дмитрий Иванович обладал большим даром внушать к себе любовь и увлекать других за собою; на пире, данном Курбским, многие из бояр воодушевились уже мыслью о войне.

Вслед за тем у царя Ивана Васильевича собралась боярская дума. Люди, отличившиеся при взятии Казани, князья: Серебряный, Горбатый, Воротынские, Микулинский, Щенятев, Темкин,— вслед за Алексеем Адашевым и Курбским сильно поддерживали тогда войну с Крымом. Но против них восстал князь Петр Шуйский, гордый своими успехами в Ливонии. Он стал доказывать, что неблагоразумно оставлять начатое завоевание страны и вдаваться в новую войну, которая непременно втянет Московское государство в войну с Турцией. Шуйский говорил так хладнокровно, так рассудительно, что некоторых поколе-

бал, а других заставил призадуматься. Большинство, однако, все-таки было не на его стороне; но царь пристал к нему: у Ивана постоянно торчала в голове гвоздем мысль, что он самодержавен и потому многие должны делать так, как он хочет, а не так, как многим хочется; видя, что в думе большинство за войну с Крымом, Иван рад был, что нашелся противник этого мнения, и пристал к нему. Кроме того, Ивану Васильевичу не хотелось, по трусости, самому идти на войну; ведь и в Казань он ходил поневоле. Порешили обдумать и обождать. Между тем пришло известие из Крыма, что хан Девлет-Гирей отправляет в Москву посольство просить у царя мира и дружбы и отпускает захваченных во время набегов московских пленников. И желавшие войны с Крымом, и не желавшие войны выводили из этого благоприятные заключения. Желавшие говорили, что это посольство хана означает его бессилие, боязнь перед русским оружием, и потому следует поскорее начать с ним войну. Не желавшие войны говорили: «Вот и хорошо, значит, можно и без войны примирить хана, постановить с ним хороший мир, корыстный для Московской державы». Таким образом, вопрос о войне оставался нерешенным. Сторонники войны с Крымом были сильно огорчены, но не теряли надежды и приискивали средства и меры повернуть дело на свой лад. Никто из бояр не желал так войны с Крымом, как князь Курбский; после неудачи в думе стал тайно советоваться с Сильвестром и придумывал меры, как бы расположить царя к войне с татарами.

Царь Иван любил развлекаться чем-нибудь чудным, необыкновенным, таинственным. Блаженные, юродивые, предсказатели, тайновидцы занимали его и находили к нему доступ. В Москве не переводились этого рода люди; одни исчезали, другие появлялись. Тогда в Москве обращал всеобщее внимание недавно появившийся блаженный, сухощавый старик, высокого роста, с длинными и белыми волосами, с большою продолговатою бородою, в черном длинном одеянии из грубой шерсти, наподобие рубахи, в остроконечной шапке, с палкою наравне с его головою и всегда босой. Никто не видал у него котомки за плечами; не было у него постоянного приюта в Москве; иногда он ночевал где-нибудь в теплой избе христолюбца, а иногда на улице подле церкви. Никто не знал, откуда он и кто он; и разные догадки и слухи распространялись о нем по Москве. Некоторые замечали в его выговоре как будто что-то нерусское: одни говорили — он из Рима, другие —

из Ефеса, третьи — из Эфиопии, четвертые — из царства индийского; иные уверяли, что он русский из стран поморских, двадцать лет сидел на болоте, питался быльем и кореньем, а некоторые делали догадки, что он человек знатного рода, обрекший себя на нищету царствия ради Христова. Он, говорили о нем, видит, что делается за сто верст, угадывает мысль человеческую, предсказывает будущее; но когда с ним пытались заговаривать, то он отвечал обыкновенно так, что трудно было понять истинный смысл его речи. Этот блаженный был вхож к Сильвестру, несмотря на то, что Сильвестр недолюбливал людей такого рода. Блаженный, приходя к Сильвестру, не юродствовал перед ним, но всегда говорил что-нибудь разумное; а когда Сильвестр спросил его, кто он таков,— блаженный, вместо ответа на такой вопрос, просил Сильвестра никогда уже более не спрашивать об этом. Блаженный удивлял Сильвестра короткими намеками на разные предметы, касавшиеся тогдашней политики, земского и церковного строения; ничто, казалось, не было ему чуждо; все его занимало. Когда прибыл Вишневецкий и представлялся царю, блаженный пришел к Сильвестру и с большим сочувствием говорил о войне с неверными. Сильвестр рассказал ему, что слышал от других о Вишневецком, об его казаках, и заговорил об атамане-силаче с таинственным крестом.

Блаженный слушал с напряженным вниманием, и на его лице мгновенно показалось и исчезло как бы выражение испуга, так что Сильвестр спросил его:

— Уж не догадываешься ли ты, чей родом такой этот неведомый московский человек?

— Нет,— задумчиво сказал блаженный,— мало ли чего может быть похожего, да если б... Мир христианству! Мир христианству!

Сильвестр, однако, видел, что блаженный чего-то смутился, и хотел было допросить его, но блаженный сказал:

— Подобает православной рати идти на освобождение многих тысяч крещенных братий — и тот, что с золотым крестом, пусть идет, и тот, что с медным. Духовное рождение паче телесного!

Когда поход в Крым не решен был в думе, блаженный пришел к Сильвестру, который сообщил ему об этом, и прибавил:

— Тебе бы говорить всем православным христианам, чтобы единомышленно ополчились за крест святой, и самого царя благочестивого подвигать бы тебе на брань.

После того блаженный стал являться у Архангельского собора и кричать изо всех сил: «Ночь проходит, заря занимается, роса падает, млеко с неба польется». Царь увидал его и велел позвать к себе во дворец.

Вошедши к государю, блаженный упал на землю, протянувши руки вперед, а потом вскочил и закричал во все горло:

— Царь, иди бусурман бить.

— Садись, божий человек,— сказал царь, проникнутый страхом от такой неожиданной выходки.

Блаженный сел на полу. Царь приказал подать ему вина и сластей. Блаженный вскочил, взял кубок, поднес к губам и начал лить мимо рта по бороде; потом, как будто поперхнувшись вином, поставил кубок и, кланяясь в землю, говорил:

— Прости, царь-государь, не вели казнить, смилуйся, пожалуй! Не умею вина пить! Дурак я неотесанный, мужичина деревенский!

Потом блаженный взял с блюда несколько сухих вареных плодов, быстро спрятал их за пазуху, улыбнулся и сказал:

— Ребятишкам отдам.

— Каким ребятишкам? — спросил царь.

— Тем, что будут воеводствовать в Крыму, когда вырастут.

— Как! В Крыму?

— Да, в Крыму, когда Крым завоюют.

— Кто его завоюет?

— Русь.

— Когда?

— Когда Бог даст.

— Не я?

— Как пойдешь на войну, так ты завоюешь, а как не пойдешь, так не ты, а другие после тебя завоюют, а тебе будет срам и великое досаждение от неверных.

— Какое досаждение?

— Побьют тебя не в пору и Москву сожгут, как уже сожигали при твоих отцах.

— А разве мне будет победа, когда теперь пойду на войну?

— Победишь.

— Отчего ты это знаешь?

— В Лукоморье сказали.

— В каком Лукоморье?

— Все расскажу, коли хочешь, только тебе одному.

— Говори.

— Говорить?

— Говори.

— А ты не прибьешь? Дай царское слово, что не прибьешь.

— С чего я стану божьего человека бить!

— То-то, не прибей, а то больно будет, я перед Богом пожалуюсь.

— Говори, не бойся.

— Ну, так слушай. Далеко, далеко, за Пермью великой, есть горы каменные, высокие; а за теми каменными горами есть Югорская страна, и живут там люди малорослые, называются югра; страна-то холодная, а в ней зверя много и рыбы, а за Югорскою страною течет река Обь, а за тою рекою, за Обью, протянулась верст, почитай, на тысячу степь сибирская; на той степи ничего не родится, и земля размерзает летом не боле разве как на два пальца; за тою степью будет море ледяное; никогда то море не тает, а будет того моря верст на тысячу али больше; никто до того моря не доходит, а не то чтобы перейти его. А коли б какой человек по божьей воле перешел то море ледяное, ино тот человек увидал бы чудеса невиданные, недомыслимые; чего и во сне никому не привидится, и человеку на ум взыти не может. Пришел бы тот человек к берегу высокому, а взойти на тот берег высокий никоторыми делы невозможно: круто зело, разве сила божия человека туда поднимет. А как подняла бы сила божия того человека на гору, ино увидал бы он за горою страну светлую, теплую, зеленую; а как сошел бы, примером говорю, человек тот с горы, и была бы перед ним река; вода в ней чистая и прозорчистая. Стал бы тот человек и думал: куда ты это, Господи, занес меня? А тут с другой стороны реки дерево клонится, клонится и легло поперек реки. Тот человек сотворил бы крестное знамение и пошел бы с ветви на ветвь по тому дереву, и перешел бы реку, и стал бы ступать ногами по траве, мягкой, аки шелк; солнце светит и не палит, а на деревьях висят плоды, каких на земле нет, и пташки на ветвях поют зело сладкими гласы и в аере благоухание неизреченное. И вот, против того человека идет навстречу некий старец, беловлас, зело благообразен, и осклабляется и говорит: буди здрав, человече божий, пришедший семо не по своему хотению, а по божьему велению; идем в нашу обитель. Человек тот и пошел за старцем, и видит: церковь

стоит, верхи у ней золоты, а кругом церкви древеса, а под теми древесами сидят единонадесять старцы в одеждах белых, аки снег; а тот, что прихожего человека привел, двенадцатый, и говорит старец он тому прихожему человеку: се обитель наша, келий у нас нет, для того что незачем,— в сей стране не бывает ни дождя, ни снега, ни зноя, ни стужи, ни бури; нет здесь ни зверя лютого, ни гада ядовитого, ни комаров, ни мух, ни птиц; не бывает на нас ни скорбей, ни болезней, и смерти еще никто не вкусил от нас. Церковь сия, идеже приносится бескровная жертва, построена не нами, а ангелами невидимыми. Тогда те старцы встали и сказали прихожему человеку: пойдем вместе с нами в храм божий помолиться. И вошел прихожий человек в церковь, и видит: иконостас весь от злата, а престол от камения самоцветного; один старец облекся в ризы белые, паче серебра блестящие, а прочие клирошанами стали; и как начали они службу господню, и показалось прихожему человеку, что он как бы на небе, паде на землю челом, сам плачет, а на душе ему легко и радостно. А после службы все вышли и сели за трапезу под древесами, а прихожего человека с собой посадили; и ели хлеб белый, мягкий, и плоды и вино пили, а то вино таково, что только капля в уста внидет, то по телу разливается неизреченное веселие. И говорят старцы: мы хлеба не сеем и не печем, дерево у нас таково есть, что хлеб родит, и вина мы не делаем,— само течет из ягод виноградных. А окончив трапезу, все встали и воспели, и тогда старец тот, что священнодействовал, так говорил прихожему человеку: «Бысть некогда царство греческое, царство над царствами, а в нем царствующий град Константин, Царьград наречеся, занеже над всеми градами земными царь бе. Тако пребысть, донележе, наущением богомерзкого папы Формоза, отпаде ветхий Рим от благочестия и с ним вкупе страны западные во тьму еретичества уклонишася, точию в греческой стране благочестие не иссякаше; но действом дьявольским мнози от православных христиан совратишася с пути истинна, впадоша в блуд, в чревонеистовство, враждование, волшвение, чародеяние и во вся тяжкая, и Господь во гневе своем посла на них агарян нечестивых и предаде грады и веси их на расхищение, и мнози христиане мечем посечены быша, и мнози храмы святые и обители честныя обращены быша в ропаты (капища) скверныя, и по всей земли начаша нечестивые агаряне мучити иноки честные, нудяще их отрещися равноангельского иноческого жития, повеле-

вающе им мяса ясти и блуд творити. В оное время жиша во едином же месте дванадесят старец, отцы пустыннии, пребывающе вину в молитве, и тии волею божиею внезапу восхищены быша и во мгновение ока пренесены в страну сию, идеже ныне ны зриши. Принесенным нам бывшим явися нам ангел божий, рече: «Зде пребудете вину молящеся и живуще непорочно, дондеже свершится исполнение времен и смилуется Господь над людьми своими и освободит их рукою крепкою и мышцею высокою от неволи бусурманския. Ведомо буди вам, яко по мнозех летех воздвигнется держава греческая и паки воссияет вера благочестивая в Царьграде и во иных градах страны тыя, и тогда паки пренесены будете в первое место и тамо скончаете земное житие свое и отыдете в покой вечный, телеса же ваша пребудут во свидетельство родом грядущим. Донéлеже сие сбудется, живуще зде не узрите никого же от мира, от него же взяти бысте, и не услышите гласа его; егда же приближится время исполнения завета господня, тогда волею божиею придет к вам семо муж некий, восхищен от мира, и по тому поведайте сия, яко приближися час торжества всего христианства и падения неверия агарянского». По сем, помолчавши мало, старец сказал прихожему человеку: «Возвратися в страну российскую и поведай сия имущим любовь и ревность божию, наипаче же благочестивому царю, единому под солнцем сущему. Блажен иже имать веру словесам твоим, а иже не имать веры и явится пред ним тощ глагол твой, того постигнет нечто от язв, уготованных неверным в день воздания по делом их. Аще кто не убоится и идет на брань с неверными, тому отпустятся грехи, и не точию ему, но и роду его даже до четвертого колена, а иже убоится и не идет на брань, той посрамлен будет пред ангелы в день судный». После сих слов один старец увел прихожего человека к реке; древо наклонилось, и прихожий человек прошел по нем на полреки, и абие восхищен бысть на воздусе и принесен в страну свою.

Царь слушал блаженного с жадностью, но тут закралась ему мысль: не хитрит ли этот блаженный, не подучен ли он сторонниками войны с Крымом, хотя в то же время кара, обещанная в рассказе блаженного за неверие, смущала его. Помолчав немного, царь сказал:

— Что же этот прихожий человек, был он русский родом, что ли? А коли русский, то как он говорил со старцами? Они ведь греки и по-русски не разумеют.

— А разве русский не может научиться по-гречески? — ответил блаженный.— А коли б не научился, разве Бог не может отверзти ему разум, так что, не знаючи греческой речи, все поймет? Апостолы не учились языкам, а когда сошел на них дух свят, то и заговорили на всех языках.

— Правда,— сказал царь. Потом, помолчав немного, спросил: — Этот человек, что восхищен был к старцам,— ты?

— Я ли, не я ли,— отвечал блаженный,— не все ли тебе равно? Писание глаголет: имеющие уши слышати да слышат.

Царь опять замолчал, а лицо его все более и более принимало суровый вид. Наконец, вглядываясь в лицо своего собеседника, царь спросил:

— Кто ты таков? Как тебя зовут? Откуда ты?

Блаженный вскочил, замахал руками и закричал:

— Ай! ай! Я говорил, что прибьешь, вот же и прибьешь!

— Я тебя бить не стану,— сказал царь,— а только тебя спрашиваю, кто ты таков?

— Мужик,— отвечал блаженный.

— Как тебя зовут? Откуда ты?

— Меня зовут грешный человек, а родом я по телу от Адама, а по душе от Бога.

— Ты не ковыляй, а отвечай толком,— сказал царь.— Что ты? Не знаешь разве, куда зашел, кто тебя спрашивает?

— Знаю, знаю,— сказал блаженный,— ты государь и можешь со мною сделать все, что захочешь. Вели положить меня на землю да поливать горячим вином, как ты это делал с псковичами. Помнишь... Когда упал большой колокол в знамение грядущей тебе кары,— а скоро после того пожар... мятеж... И ты сам чуть не пропал от народного мятежа.

Воспоминание об ужасных событиях покоробило царя. Он задрожал, побагровел, волосы на голове его наежились; он сжал кулаки, как будто собираясь уничтожить дерзкого загадочного человека, а тот смотрел на грозного владыку с таким выражением лица, как будто хотел сказать ему: «Не бесись, царь, ты со мной ничего не можешь сделать».

— Ступай вон с глаз моих,— крикнул наконец царь.

Блаженный поклонился и произнес:

— Аще кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет проклят! маран-афа! — Сказавши это, он повернулся и добавил: — И епископство его приимет ин.

— Стой!— закричал царь.

Блаженный остановился и спокойно смотрел в глаза озлобленному царю.

Царь сказал:

— Кому ты это изрекаешь проклятие? Чье епископство ты предлагаешь кому-то иному?

— Это тому, кто не любит Господа нашего Иисуса Христа,— ответил блаженный.

— Ты думаешь обо мне, что я не люблю его,— сказал царь.

— Царь-государь,— сказал блаженный,— ты уверил меня царским словом, что не прибьешь меня. Дурак мужик тебе нес безлепицу. Ты ведь всех людей умнее, для того что ты царь. Не слушай дурака, прощай.

И блаженный быстро побежал вниз по лестнице, произнося:

— Что дурака умному слушать! Дурак дурацкое говорит, а вот как умному придется потерять голову, так и дурацкие речи вспомнит.

Последние слова блаженного звучали в ушах царских роковым предсказанием чего-то страшного. Противоречивые думы волновали царскую голову. То казалось Ивану, что этот блаженный подучен Сильвестром, то царь боялся остановиться на этом подозрении. Наконец царю блеснула мысль призвать к себе Сильвестра и допытаться: не подослал ли протопоп к нему этого блаженного?

Перед царем предстал сухощавый человек, лет за пятьдесят, большого роста, с длинной седоватой бородой, в черной суконной ряске, в маленькой шапочке. В его глазах было что-то доброе и вместе суровое, что-то испытующее и вместе насмешливое; все черты лица его как бы говорили: я вас вижу насквозь; куда вам до меня?

— Отче,— сказал царь,— у нас в думе идут все речи разные, несогласные. Одни говорят — надобно воевать с крымскими татарами, а другие говорят — не надобно, чтобы не остановить войны с немцами. Как, отче, даешь ли ты мне благословение на войну с Крымом?

— То дело твое и боярское,— ответил Сильвестр.— Наш голос что есть, аще от себе, а не свыше глаголем. Сильные мира сего не внимают нам, и то добре: поп знай свой алтарь да свой потребник, боярин же знай совет и ратное дело; посадский человек — свой товар и лавку, а уездный — свое поле да соху. Всяк твори, к чему призван. Ты же призван свыше властвовать над государством, тво-

рить правду и от супостат защищать христианское жительство. Есть у тебя советники и слуги, с ними думай; им то дело за обычай.

— Я верую мудрости твоей, отче,— сказал царь.— Ты многажды давал мне мудрые советы, и теперь хочу вопросить тебя.

— Мудрость человеческая буйство есть перед Богом,— сказал Сильвестр.— Паки реку: аще от себя глаголем, не верь нам, аще не от себя, а от Бога — повинуйся словесам нашим, занеже повинуешься Богу, а не нам. Испытуй, царю, своим царским разумом: аще от Бога, или от себе глаголем. Ты, царь-государь, рассердился на меня за то, что я тебе говорил: не начинать бы тебе войны с немцами, а идти тебе войною на бусурман. И поделом бы то мне, негодному попишке, если бы я от своего ума говорил, только то было говорено не от себя, а свыше. Так, государь.

— Война с ливонскими немцами идет счастливо,— сказал царь.— Наши войска побивают супостат. Вся Ливонская страна скоро наша будет; Бог, видимо, благословляет нас.

— Конец делу венец, государь-царь,— сказал Сильвестр.— Бывает, что Бог попущает совершаться неправому делу, а потом за него карает, паки реку тебе не от себя, но от Бога. Правая брань бывает тогда, когда обороняют святую церковь и жительство христианское от нашествия супостат; а немцы на Российскую державу не находили, ты, государь, стал истязать у них неудобоемлемую дань, и понеже невозможно заплатить им тое дани, ты послал разорять их, да еще кого послал! — татар неверных... Аще бы я сказал, что сие благо есть, солгал бы духу святому. Ты на меня осердился; во всем твоя воля.

— Приехал из Литвы князь Вишневецкий, зовет на крымских татар,— сказал царь.— Идти нам на татар?

— Всяко дело во благонамерении конец благий приемлет,— ответил Сильвестр.— Аще же неблаговременно начинается, трудно и нуждно творится. Не имам повелений свыше, а своим худоумным разумом что могу сказать? Советуйся с боярами, людьми думными и ратными.

— Ко мне,— сказал Иван, вглядываясь пристально в глаза Сильвестра,— приходил какой-то блаженный и чудные дела говорил о некоей дивной стране, где живут двенадесять старцев, и те старцы якобы предвещают конец бусурманства и велят идти войной на бусурман.

— Бывают, государь,— сказал Сильвестр,— видения ис-

тинные, бывают и ложные, якоже и Никон Черныя-Горы пишет в своей книге; а я тебе, государь, ту книгу давал чести. Сему подобает внимати со рассмотрением.

Иван Васильевич отпустил Сильвестра ласково, ничего от него не допытавшись, и остался еще в большем недоумении, чем прежде. Между тем у Сильвестра был соперник, чудовский архимандрит Левкий. Он не имел и десятой доли того обаяния, каким обладал Сильвестр, зато отличался качествами, которыми привлекал к себе царя. Слушая Сильвестра, царь сознавал, что Сильвестр скажет так умно, как ему самому не выдумать; царь чувствовал, что Сильвестр умнее его, и царь ненавидел Сильвестра. Левкия, напротив, царь считал глупее себя и всегда встречал от него одобрение и оправдание того, что ему хотелось; за то царь любил его. И по наружности Левкий составлял противоположность Сильвестру: маленького роста, сутуловатый, с глазами, выражавшими подобострастие, он постоянно держался перед царем с тем напряженным вниманием, с каким человек боится проронить слово из речей своего собеседника. Когда царь обращался к Левкию как бы за советом, Левкий не задумывался, выступал со своим советом смело, решительно, как будто против царя, но говорил именно то, что царю было приятно. Царь Иван Васильевич любил тешиться над архимандритом; архимандрит поддавался этому и сам веселил царя.

Царь позвал Левкия.

— Пьян, архимандрит,— сказал Иван Васильевич.— Не проспался? Ей, рыло-то! Преподобное рыло! Опухло с перепоя!

— Испиваю, государь,— сказал Левкий,— писано-бо есть, в беззакониях зачат есмь.

— А зачем же писано: не упивайся вином. В нем же... Знаешь, что в нем?

— Некая ковыка недоуменная, государь; а другое место говорит: воды не пий, но вина...

— Вина? остановился? а? боишься договорить? Написано: «вина мало»... А ты дуешь какими ковшами?

— По чину, государь, и по телесной нужде стомаха ради и частых недугов. А что написано: вина мало пей,— ино лошади ведро воды не много выпить, а кабы человек выпил ведро разом? А вот, в писании говорится: мытари и любодейцы варяють (идут впереди) вы в царствии небеснем, а оно значит: мытари были когда-то, а теперь мытарей нет, а есть монахи бражники, пьяницы вместо мытарей: они-то

прямо в рай пойдут. А отчего? Они неповинны, аки младенцы. Аще что и согрешат, не вменит им Бог греха, сами-бо не ведают, что творят. Говорят же: невозможно прожити без греха, а коли грешить, так лучше пьяному, чем трезвому. И еще писано, государь: се коль добро и коль красно, еже жити братии вкупе! А коли братия сойдется вкупе, ништо обойдется без вина?

— Хорошо,— сказал царь,— выпей же, коли так.

— Левка всегда пить готов,— сказал архимандрит,— а коли государь-царь велит, то как же Левке царского указа не исполнять?

Принесли чашу вина. Левкий разгладил бороду, посмотрел на чашу умильно, произнес: «Ах ты чаша, чаша моря соловецкого» — и разом выхлебнул всю чашу.

— Хочешь еще? — спросил царь.

— Сколь велит царь, столько и буду пить; только коли на ногах не устою да свалюсь, не наложи гнева. Пьяный не владыка себе самому.

— А если,— сказал царь,— государь велит тебе пить в такой день, что в святцах не показано разрешение вина и слез, тогда что?

— Несть разрешения, кроме царского повеления. Царев указ все равно что божий. Исполнять его велит сам Бог,— тогда в ответе перед Богом уже не я; аще же царского указа не послушаю, то всегда в вине буду как перед Богом, так и перед царем.

— Мудро сказано,— сказал царь,— а если царь скажет: Левка, не пей николы, и даже в полиелей, тогда что?

— Тогда Левка упадет царю в ноги...— И с этими словами Левкий упал к ногам государя и продолжал: И скажет: «Царь-государь, вели лучше Левке голову снять, оттого что Левке лучше живу не быть, чем не пить».

— Не бойся, Левка, царь пить не закажет, а скорее укажет. Ну, Левушка, скажи мне лучше вот что: проявился тут блаженный, ходит да кричит, знамо блажит; я его звал к себе... Кто он таков?

— Не знаю, государь, о том вели спросить отца протопопа Сильвестра.

— Отчего Сильвестра, а не тебя? — сказал царь нахмурившись.

— Я не звал его, и не приходил он ко мне, а видел я, как он из Сильвестрова двора выходил.

Зловещая мысль вновь посетила голову царя: Сильвестр

ничего не сказал о блаженном, когда царь его спрашивал, а блаженный бывает у Сильвестра.

— Дивные вещи он рассказывает,— сказал царь и передал вкратце Левкию то, что слышал от блаженного.

— Это значит,— сказал Левкий,— чтобы царь на войну шел... Да, знать, есть такие, что желают, чтобы ты на войну сам ходил... Нет, царь-государь, не ходи, у тебя есть воеводы, слуги твои; их, своих холопей, посылай, а тебе свое здоровье беречи надобно. Князь Курбский, князь Серебряный не воротятся с войны,— потеря не велика: много их, князей, на Руси, а ты, государь, у нас один, всему государству голова и оборона. А вот этих блаженных взять бы в розыск да поднять раза два на дыбу, так заговорили бы они правду-матку, а то они народ только мутят! Вишь, что затеял! Старцев каких-то выдумал! Задал бы я ему старцев! Вспомни, царь-государь, как по Москве ходил юродивый да пророчил: Москва сгорит, а Москва и впрямь загорелась, а потом народное смятение стало... Все то недруги твои учинили кознями своими! Нет, царь-государь, не слушайся вражьих советов, не ходи на войну. Кто знает, что у них на думе.

Левкиева речь пришлась по сердцу государя, который мучился подозрением, что его, как дурня, хотят провести и заставить делать то, чего он не хочет. Царь призвал к себе Афанасия Вяземского, молодого любимца, которого он уже тогда приблизил к себе.

— Афонька,— сказал царь,— блаженный какой-то проявился в народе, про войну пророчит; узнай, что он там такое говорит, а коли услышишь что-нибудь про нас, тотчас вели схватить его... Нечего ему в зубы смотреть, что он блаженный.

Вяземский искал блаженного, спрашивал, ездил несколько дней по Москве,— и след простыл этого блаженного, словно в воду канул; только и узнал Вяземский, что вечером того самого дня, как он был у царя, видели его у Подкопая; он кланялся народу во все стороны и говорил: «Прощайте, люди добрые! Увидите меня разве не в добрый час, когда враг бусурман под Москву подойдет!» И потом уже никто не видал его.

III. ЦАРИЦА

В царицыных покоях, вокруг большого, продолговатого стола, покрытого зеленою, с красными цветами скатертью, стояли две мастерицы и старая боярыня, надзиравшая над

женскими работами. Поодаль от них, у двери, стоял мужчина лет за тридцать, с задумчивым лицом, и постоянно опускал глаза в землю, как того требовала вежливость из уважения к месту, в котором он находился. Одежда на нем была полумонашеская, черная, длинная; только голова была открыта. На столе лежал рисунок, изображающий положение Христа во гробе. Женщины, стоявшие у стола, находились, видимо, в тревожном ожидании и поглядывали беспрестанно на маленькую дверь, ведущую во внутренние комнаты царицы Анастасии. Никто не смел заводить разговора. Наконец дверь отворилась, вошла царица, женщина бледная, сухощавая; ее черты, некогда красивые, сильно искажены были преждевременными морщинами, в ее глазах отражалась грусть и озлобление. Она была одета в голубом атласном летнике с серебряными узорами; на голове у ней была бобровая шапочка с верхом, унизанным жемчугом. За нею шли две девицы в красных летниках, с распущенными волосами. Их боязливый взгляд показывал, что они находятся в строгой дисциплине. Подошедши к столу, царица молча разглядывала рисунок.

— Вот, матушка государыня-царица,— сказала старая боярыня,— иконописец из Новгорода написал плащаницы образец, буде твоей царской милости угодно будет.

Иконописец поклонился до земли; царица взглянула на него, потом посмотрела на рисунок и сказала боярыне тихо:

— Выдать ему три рубля, пусть идет.

Боярыня сделала знак иконописцу, а тот, понявши, поклонился и вышел.

— Первый худог,— сказала боярыня,— матушка государыня-царица, и книжен вельми, у отца Сильвестра на воспитании вырос, когда еще отец Сильвестр был в Новгороде; и дал ему Бог дарование иконописное; живет, государыня, в Новгороде.

— Так он новгородский? — сказала царица.— Да еще у Сильвестра вырос? Не хочу! Не делать плащаницы по его образцу! И впредь чтобы мне из Новгорода не приводить ни на что мастеров, а паче из попа Сильвестра детенышей. Слышишь? Чтоб не было того. Нешто из иных городов отыскать не можно? Нешто в Москве нет достойных? Что это все из Новгорода да из Новгорода? Новгород всему указ стал; и Богу-то по-новгородски заставляют молиться. Москва Новгороду глава и всем городам: так и в книгах написано. А нешто в Новгороде благодати больше: рос-

товские чудотворцы посвятее-то новгородских святых. Не чета Ростову Новгород,— не то что Москве! Да ты что, новгородка, что ли?

— Матушка-государыня,— сказала боярыня,— ведомо тебе, что я прирожденная московка, старого московского рода.

— Так сыщи иного иконописца,— сказала царица,— чтоб не из Новгорода, а паче, чтоб не из Сильвестровых детенышей. Поп набирает себе на улице Бог знает кого да в люди выводит... А за его милостивцами никому хлеба достать нельзя. И в попы своих ставит, и в подьячие ставит, да еще иконы пишут все его люди. Сыщи иного.

— Буди твоя воля, государыня-царица,— сказала боярыня.

В это время вошли в комнату двое братьев царицы, Григорий и Никита, единственные мужчины, имевшие право во всякое время входить в покои царицы.

Анастасия продолжала:

— А три рубля? Так им и пропадать, по твоей вине! Коли бы ты сказала, что из Новгорода, я бы не велела и показывать мне его образину с его образом.

— Матушка-государыня,— сказала боярыня,— не гневись. Я верну эти три рубля, коли они напрасно потрачены чрез мою вину.

— Было бы на нищую братию раздать! — говорила царица.— Смотри-ко, три рубля ни за что взял! И так дерет за свою дрянную работишку, ни на что не похоже, а иные бедные чуть с голоду не помирают. Им надобно помогать, а не даром деньги бросать сильвестровцам; разжирел вельми попина, пусть бы из своих животов раздавал своим.

— Матушка-государыня,— говорила боярыня,— не изволь гневаться. Я верну три рубля.

— Я с тебя трех рублей не возьму назад,— сказала царица,— отдай их половину к Троице, а половину на нищую братию раздай, коли твое усердие будет. А то, право, тремя рублями сколько нищих-то оделить можно, а они в одну ненасытную утробу новгородскую ушли... Боже, Боже! прости наше согрешение! Ну, гляди, достань иного иконописца московского, либо ростовского, либо ярославского, только не новгородского и не из Сильвестрова гнезда. Ступай же себе.

Боярыня и мастерицы поклонились и ушли. Царица обратилась к девицам:

— Вы что выпучили-то буркалы! Ох, смиренницы, как

только с глаз моих, так у вас зубоскальство и смех неподобный. А! ты, ты — что глядишь там! Вот теперь при мне чуть не засмеешься! А ты, пучеглазая! Говори: смеялась она у меня за спиною? Покроешь ее?.. Мне не скажешь?

— Я не видела, государыня!

— Врешь! видела! Ну, если не видала и увидишь — скажешь мне?

— Скажу, государыня-царица.

— Лжешь! не скажешь! Где у вас верность? Какая у вас верность! А как повернусь да увижу... Ты думаешь, тебе меньше будет кары, чем ей? Обеих одинаково накажу. Идите себе от меня.

Девицы ушли.

— Куда ни повернись,— говорила царица братьям,— от Сильвестра не уйдешь. Хотела плащаницу вышить по обещанию, по душе моего Мити-царевича в Горицы. Что ж? Говорю: найдите иконописца, чтобы мне образец написал. А оне нашли из Новгорода, да еще из Сильвестровых детенышей. Поп со своей попадьей собирали разную сволочь — мальчишек и девчонок, воспитывали да в люди выводили. А это чинилось не в угоду Богу, а для того, чтоб во всем царстве своими людьми все углы испоместить. Видите — везде у них свои люди. И мне ихнего привели из новгородских.

— Знаю,— сказал Григорий,— это из тех, что писали господа Саваофеа, чем Висковатый соблазнился. Вот, и тебе привели из ихней норы крысу. Хотят царя-государя с толку сбить, чтоб он в поход пошел на крымскую землю. Подослали к нему какого-то юродивого, пророчили о падении турецкого царства. Спасибо, отец Левкий царя-государя вразумил. Не поддается. А тут, видишь, приехал из Литовской стороны Вишневецкий князь подбивать царя на войну, да еще какое-то чудо привез с собою — силача какого-то, Илью Муромца... Хотят царя отуманить.

— Горе мое, горе! — сказала царица.— Ох, уж и как-то мне на сердце грустным-грустно. Чует мое сердце что-то недоброе. Ох, братцы родимые! Спасите меня, люблю я своего Иванушку боле всего на свете; быть может, оно и грех так любить, для того что Бога любить надобно более всего, а коли человека больно полюбишь, так и против Бога согрешишь. Только что же мне делать? Точит мое сердце червь невсыпущий! Разлучники мои лютые хотят меня с Иваном разлучить, со света меня рады согнать, чтоб самим владеть и царем и царством. Чего-то я не пострада-

ла? Не забыть мне вовек, как Иванушка был болен, при конце живота лежал, а они около него... думали, как бы детей наших наследства лишить, Владимира Андреевича царем наставить... Мать его — змея лютая!..— низко мне кланяется, а у самой в уме лихо... Господь спас царя; и денно и нощно с той поры благодарю его пресвятую волю. Только не дремлет ад. Сильвестр-поп, враг лукавый, у меня детей ведовством отнял... А теперь хотят лиходеи царя на лютую войну тащить, как тащили под Казань; затем хотят тащить, чтоб живота лишить! Ох, чует мое сердце беду: недолго мне горевать на белом свете, не жилица я на этом свете. Ох, ох!

Брат ее Никита сказал:

— Не гневи Бога, сестра, малодушеством. Не любишь ты Сильвестра, и я его не люблю, да и как нам его любить? И он нас не любит. Ему бы хотелось, чтоб нас близ царя не было, а только бы он со своими советниками при царе остался. Паче меры властолюбие его. А чтоб он ведовством детей у тебя отнял, того говорить не подобает. Божье то дело, а не человеческое. Не достоит наговаривать на человека лишних слов, хоть бы он и ворог и лиходей был тебе!

— Как же он не ведун! — сказал Григорий.— Как же он так обошел царя-государя? Или впрямь он прозорлив и богоугоден муж, что ли? Который год уж мы с ним боремся! Вот, рассердится государь, сдается, приходит конец сильвестровскому царствию,— ан нет! Смотри, опять стал в приближении, и опять царь его слушает. Как не ведун он, проклятый!..

В это время послышались шаги,— Захарьины узнали походку царя.

Вошел царь Иван Васильевич, покачиваясь с боку на бок и улыбаясь; одной рукой он поглаживал свою бородку, а другой — опирался на посох с золотым набалдашником.

— Ха, ха, ха! — сказал царь.— Шурья! Слышите, как меня одурить хотели. Перво подослали какого-то юродивого, и тот говорил мне какие-то чудные речи о видениях, чтоб меня подбить на войну с Крымом; я велел того юродивого изловить на преступном слове, а он пропал, как в воду впал! Теперь за другое взялись. Хотят для нашей царской потехи показывать какого-то силача, что один медведя руками ломает, привез его с собой Вишневецкий. Думают, что я, глядя на то, их поучениям поддамся. Нет, голубчики мои! Не на того напали. Я таки потеху посмотрю, а чтоб в Крым идти войною, да еще самому, по их

хотению, того не будет. Ты, Настенька, о том не думай и сердца своего не томи! Я на Крым не пойду, их желания не сотворю. А будут они творить у меня то, что я захочу, оттого что я самодержец; от Бога дана мне власть свыше, и что захочу, то и буду делать, а они мне повиноваться должны.

— О государь,— сказал Григорий,— как мы все рады твоему мудрому слову. Не только мы, все православные христиане, сущие под твоею высокою рукою, только о том Бога молят, чтобы все делалось по твоему великому разуму, а не по совету боярскому, паче же не по совету поповскому.

— Поп Сильвестр мне не советник,— сказал царь.— Наша воля была такова, чтоб поп Сильвестр был близко нас, а не захотим, так поп Сильвестр завтра в Соловки пойдет. Что такое поп? Не только поп — митрополита не захочу держать, и митрополит вон пойдет.

— Истинно и мудро слово твое! — сказал Григорий.

— Милый мой, Иванушка! — сказала царица, обнимая с нежностью голову супруга.— Ты не поедешь на войну, ты со мной останешься!

IV. ЦАРСКАЯ ПОТЕХА

Первый зимний снег — желанный, нетерпеливо ожидаемый со дня на день гость; первый санный путь — праздник на Руси. Так и теперь; так и встарь бывало. Работы пойдут дружнее, забавы затейливее, юность станет отважнее, детство резвее, старость приободрится. А для охотников... вот веселье-то! Царь Иван Васильевич не пошел по следам своих древних предков, князей, которые, бывало, езжали друг к другу за сотни верст поглумиться в лесах и полях над зверем прыскучим и птицею летучею и свои старые ссоры и усобицы заканчивали на мировую ловами. Царь Иван Васильевич слишком берег свою царственную особу и удалялся от малейшей возможности встретиться с чем-нибудь опасным. Трус он был большой, хотя ему ничего так не хотелось, как слыть отважным и храбрым. Поедет он на охоту разве за зайцами, да и то если ему мимоходом не проговорятся, что там, где ему придется расправляться с зайцем, встретит он медведя, волка, рыси. Не любил он сам быть в лесах на охоте, как не любил ходить на войну; но этот царь как заводил войны и посылал своих полководцев, так и на охоту,— хоть сам трудиться не хотел, но

посылал своих дворцовых крестьян ловить для себя зверя. То было и подручно тогдашним людям: везде были охотники; да без них звери бы заедали целые села; не ради забавы, а по крайней необходимости выходили посадские и уездные люди большими скопищами воевать со зверьми в лес со всякого рода оружием, начиная от простой дубины до хитрого ружья, тогда еще составлявшего редкость в крестьянском быту, где лучше умели обращаться с прадедовскими луками и стрелами. За толпою ловцов псари вели собак, которых обязанность состояла в том, чтобы находить звериный след и выгонять зверя; тенетчики несли огромные тенета, а копцы — заступы, чтобы вырывать ямы, куда заманивали или загоняли неосторожного зверя, покрывши ямы тонкими жердочками, притрушенными сухими листьями или снегом. Веселая была пора, когда наступали такие походы... Молодцы идут, песни поют, приплясывают, балагурят, игрецы гудками, волынками, сумрами и дакрами потешают рабочий люд, а когда случится — собаки выгонят волка, лису, медведя и растерянный зверь запутается в тенета или попадет в яму, тут столько смеха, шума, гама, веселья! Старались, разумеется, для царя ловить молодых медведей и волков — со старыми сладить было трудно,— надевали на них цепи, привязывали под шею палки и отправляли в подмосковные села. По царскому указу, там содержали и растили их, давая корм немалый, и берегли для государевой потехи; а когда вздумается государю — приедет он в село, прикажет выпустить медведя или волка и пустит на них собак либо же заставит людей своих драться со зверьми; кто одолеет — тому царское жалованье бывает; кого медведь поранит, тому на лечбу дается; а случалось, что медведь и до смерти задерет молодца, тогда его в синодик запишут, по разным монастырям на поминание пошлют.

Теперь, ради первого снега, изволил царь-государь ехать в село Тайнинское тешиться вместе со своими ближними боярами. С вечера отправили туда царскую стряпню; до света месили короваи и пироги, потрошили разную рыбу, готовя ее на различные кушанья к царскому столу. У царя готовилась тогда потеха необычная,— царю наговорили о необыкновенной силе приехавшего с Вишневецким казака Кудеяра, донесли ему и об его странном происхождении, но ни сам Кудеяр, ни другой никто не знает, кто этот казак, а видно, что русского рода. Царю охотно было посмотреть на него; Вишневецкому желалось показать его московскому

государю, но сам Кудеяр не обнаруживал ни радости, ни боязни показаться перед царем.

Царь отслушал обедню. Вереница саней наполнила Кремль. Бояре ведут великого государя под руки; он одет в соболью шубу, нагольную, с узорами, искусно сделанными по восточному образцу, на юфтяной коже; на голове у царя остроконечная шапка. Огромные развалистые сани разделены на два отделения; на заднем, возвышенном, садится царь-государь, обок его — крещеный царь казанский, впереди, ниже его, садятся двое близких бояр. Сани запряжены четырьмя лошадьми, не рядом, но гуськом; на каждой лошади сидит возница верхом; у переднего возницы бич длиннее его самого. По бокам саней едут окольничьи. За царем следуют бояре, думные и ближние люди, щеголяя богатством мехов на своих шубах, с большими отложными воротниками, да околышками шапок с золотными серебряными швами, затейливостью материи на покрышках шуб, узорами своих санных ковров и породистостью своих лошадей. Князь Дмитрий Иванович Вишневецкий, приглашенный царем на царскую потеху, ехал в одних санях с князем Андреем Михайловичем Курбским; во всю дорогу они толковали между собой о том, как бы им склонить царя послать на крымского хана великую рать и самому предводительствовать ею.

Вот приехали. Бояре ведут государя под руки по лестнице деревянного дворца в селе Тайнинском; пройдя большие теплые сени, царь входит в столовую избу. Там уже накрыты столы браными скатертями, на столах поставлены тарелки, положены ножи, ложки, большие ковриги хлеба, к столам придвинуты скамьи с камковыми полавочниками, а для царя поставлен особо маленький столик, обложенный перламутровыми кусочками; перед столиком — кресло с позолоченными ручками, а над креслом ряд образов в басменных окладах. Царь помолился образам, прошел через столовую избу в другую комнату; там топилась печь; и здесь царь прежде всего помолился, а потом сел у печи; бояре стояли около него; прошло несколько минут,— посидели у горящей печи; царь встал, взял свой посох, который на время сиденья у печи отдавал окольничему, прошел в третью комнату, где была его царская постель, потом — в четвертую, назначенную для ближних людей, которые должны спать при царе, когда он изволит ночевать в Тайнинском. Из этой четвертой комнаты, составлявшей угол с предыдущей, была дверь на рундук под навесом;

выходил этот рундук на широкий внутренний двор, где происходили бои со зверьми для царской утехи. На рундуке стояло одно только кресло для государя.

Иван Васильевич был тогда не в веселом расположении духа. Все слышанное и замеченное им недавно легло ему на сердце; он чувствовал, что вокруг него что-то замышляется, подозревал, что его хотят обойти, думают заставить его делать то, чего бы он и не хотел, а чего хотят другие; царь злился. Ему в голову приходило, что и самою настоящею потехою заговорщики хотят воспользоваться, чтоб подманить его на войну с Крымом. Не пришла еще пора Ивану Васильевичу освободиться от той застенчивости, которою сопровождалась его врожденная трусость, не пришла еще пора перейти этой трусости к беззастенчивой борьбе с воображаемыми опасностями. Еще пока все ограничивалось только выходками своенравия.

— Алексей! — сказал царь Адашеву, севши на кресле, поставленном на рундуке.— Хотим идти в поход с великою ратью на войну.

— Бог тебя благословит,— сказал Адашев, несколько изумленный такою неожиданностью.— Мы все идем с тобою и будем биться против врагов креста святого до последней капли своей крови, не щадя голов своих. А куда ты думаешь? Против татар?

— Нет, против ливонских немцев. Вы, мои добрые, вы, мои верные бояре, так мужественно бились с немцы, что уж мне никоими делы не хочется покидать ливонской земли, не подклонивши ее всю под нашу державу. А бусурман крымский не страшен; он шлет нам свое посольство и уже отпустил наш русский полон. Мы возьмем мир с крымским ханом на всей воле нашей, а сами пойдем на немцы. Вот и бояре иные в думе тоже говорили, чтоб идти нам войною на ливонских немцев. И новоприезжий князь Дмитрий Иванович Вишневецкий пусть со своими казаками идет с нами заодно на ливонских немцев! Они нашим жалованьем помилованы!

— Твоя воля, государь,— сказал Адашев,— мы еще не знаем, с чем приедет ханский посланец; а хан хоть и скажет, что он отпустит полон весь, тому верить не можно, бусурман солжет христианину. Немцы, государь, побеждены силою твоего царского величества; если теперь их пожаловать, дать им мир, так они отдадут нам и Юрьев, и Ругодив, и прочие городы, взятые нашими ратьми.

— А если мы их не помилуем,— сказал, лукаво засмеяв-

шись, царь,— так они нам отдадут и Колывань, и Ригу, и почитай все германские грады завоюем. Ну, а что на это скажет вот князь Курбский?

Князь Курбский, стоявший все время у двери, выступил и сказал:

— Наш совет, великий государь, тебе ведом, понеже мы изрекли его пред тобою в думе, а коли твоя такова воля, чтобы я пред тобою паки сказал его, то я скажу и теперь только то, что в думе говорил: не ходи, государь, на немцев, возьми с ними мир на всей нашей воле, а сам иди со всею своею ратью на крымского бусурмана ради защищения своей державы и целости жительства христианского.

— А другие бояре да не то говорили,— сказал царь,— а затем будет так, как ваш государь изволит, как ему Бог на сердце положит. На него надеюсь, его велению покоряюсь, а не князей, не бояр советам. Господь со мною и никто же на мя. Где князь Вишневецкий?

Вишневецкого подозвали. Царь сказал:

— Показывай, показывай, князь Димитрий, своего Голиафа. Только у меня такие лютые два медведя; никто с ними не дерзал биться. Если кто из них да снимет череп с твоего Голиафа, ты на нас за то не пеняй.

— Такого медведя нет, которого бы не поборол мой Кудеяр,— сказал Вишневецкий.

— Ого-го! Хвастливо сказано,— возразил царь,— а у нас говорится, что похвальное слово гнило бывает.

Ударили в бубны. Из нижнего жилья дворца вышел Кудеяр, одетый в черное суконное короткое платье, в больших сапогах со шпорами. У него в руках не было никакого оружия, только за красным поясом заткнут был большой нож, наполовину высунутый из ножен. Кудеяр поклонился в ту сторону, где был царь, надел шапку и стал боком к рундуку, приложил подбородок к шее, выставил правую ногу вперед, заложил левую руку назад и держал правую наотмах, как бы готовясь отразить нападение врага. Его мрачные глаза были устремлены на двери амбаров.

— Эка плечища-то, плечища,— заметил царь,— а пальцы, пальцы!.. А брови какие яростные! Да это просто какое-то чудо лесное, страх водяной!

Все бояре стояли около царя с напряженным вниманием. Вдруг растворилась одна из амбарных дверей — оттуда вышел медведь... Дверь за ним быстро затворилась. Медведь вступил на майдан (так называли тогда такой двор), увидел стоящего Кудеяра... Казак глядел на него грозно

и сурово... Медведь заревел, поднял передние лапы и на задних шел прямо на Кудеяра... Кудеяр выдернул нож. Медведь заревел сильнее и замахнулся своею лапою; одна секунда — медведь снес бы череп со смельчака; все ахнули... Но Кудеяр ловко уклонился головою от взмаха медвежьей лапы и в то же мгновение воспользовался положением медведя, выставившего против соперника грудь, ударил его ножом в сердце и сам отошел прочь.

Раздался последний рев издыхающего медведя. Кудеяр глядел на мертвого, уже бессильного врага. На рундуке все были до того поражены этим неожиданным исходом битвы, что не смели выразить ни одобрения, ни изумления.

Царь прервал молчание.

— Есть,— сказал он,— медведь еще поболее и подюжее этого. Похочет ли он с ним биться?

— С кем повелишь, государь,— сказал Вишневецкий,— с тем он и будет биться!

Вишневецкий передал царское пожелание Кудеяру.

Кудеяр поклонился царю молча; подошел к мертвому медведю, вынул из сердца нож, обтер об шерсть того же медведя и снова стал в прежней постати ожидать нового врага.

Недолго пришлось ему ждать. Медведь громадного роста показался из другой амбарной двери...

Увидя мертвого товарища, медведь в испуге отскочил назад, оглянулся кругом, остановились глаза на Кудеяре. Новый враг не ревел, как прежний, а только свирепо смотрел на человека. Прошла минута. Царь сделал такое замечание:

— Медведь, видно, смекнул, что прежний оттого пропал, что на человека сам пошел; этот дожидается человека к себе: поди-ко ты сам ко мне, а не я к тебе!

Но медведь сделал движение и тихо начал обходить своего врага; медведь отворачивал голову в противоположную сторону, как будто хитрил с ним, как будто показывал вид, что не обращает на него внимания, как будто затевал броситься на него неожиданно; но медведь не провел казака; Кудеяр быстро, как кошка, сделал прыжок и вмиг очутился верхом на медведе, обеими руками схватил его за горло и стал давить изо всей силы. Медведь захрипел и подогнул ноги. Кудеяр не переставал давить его, пока в медвежьем теле не перестали более показываться предсмертные судороги. Тогда Кудеяр встал с медведя, снял шапку и поклонился царю.

— Молодец! молодец! — сказал царь.— Вот настоящий богатырь, Илья Муромец!..

По царскому приказанию, переданному чрез Вишневецкого, Кудеяр взошел на рундук и молча ожидал царских приказаний. Все разглядывали его с любопытством.

Царь приказал поднести богатырю серебряный ковш с медом.

Кудеяр смутился. Степной казак не знал, как ему обращаться перед таким властелином, говорить ли, молчать ли; он поглядел на Вишневецкого, потом поклонился царю молча, выпил мед и отдал ковш стряпчему. Царь сказал:

— Этот ковш тебе за твою потешную службу.

Кудеяр снова молча поклонился.

— Сказывали нам, ты сам не знаешь, кто ты таков, с измалку был у бусурман, а сам роду русского, христианского. Покажи-ко мне крест, что у тебя на шее.

Кудеяр молча снял с себя крест и подал царю.

Пристально разглядывал царь крест, вдумывался, не догадается ли, и потом отдал его Кудеяру.

— Кто тебя знает, кто ты таков, а сдается, не простого роду. Велю кликнуть клич по всему царству, чтобы отозвались те, у кого пропали дети в оно время, что приходилось по твоим летам, годов за тридцать или того более. А пока Бог тебе не откроет твоего рода, будешь ты наш, и мы тебя пожалуем. Отвести ему поместье в Белевском уезде пятьсот четей и в дву потому ж, да лесу, да сенокосу, как пристойно, и поверстать его в дворяне. Пусть нашу царскую службу несет. Я его пошлю на ливонских немцев. Пусть их колет и давит, как медведей.

— Великий государь,— сказал Вишневецкий,— мой Кудеяр в большом долгу.

— Перед кем? — спросил царь.— Я его выкуплю от правежа.

— Он в долгу перед бусурманами. Когда он был со мною в походе, татары набежали на хутор его под Черкассами и увели жену у него. Так и пропала без вести! Он поклялся мстить бусурманам.

— Для такого молодца у нас сыщется невеста получше прежней его жены,— сказал царь.— Надобно другую взять, а прежнюю забыть. Попалась в плен к бусурманам — все равно что умерла. Хочешь, молодец, жениться?

— Я закон уже принял,— сказал Кудеяр.

— Разве надеешься, что прежняя жена к тебе вернется? Нет, молодец, тщета твое упование! Чай, с горя умерла,

вели лучше записать ее в поминание... А красавица была твоя жена?

— Для меня лучше не нужно было, царь-государь,— сказал Кудеяр.

— Жаль, жаль,— продолжал царь,— а все-таки, коли ее достать нельзя, надоть иную брать.

— Нет, царь-государь, не хочу,— сказал Кудеяр,— когда так угодно Богу, останусь без жены. Позволь, царь-государь, бусурман бить, им за жену мстить.

— Ого! — сказал царь,— ты хочешь на бусурман идти, жену свою отыскивать! Ты, может быть, хотел, чтоб и мы пошли с тобою ради твоей жены. Ха! ха! ха! Если бы мы пошли и весь Крым завоевали, и тогда навряд ли бы твою жену там нашли; если она жива, так уж наверно запродана в какое-нибудь бусурманское государство, что подальше Эфиопии. Ну, ступай, ступай! мы тебя не удерживаем. Ступай воевать с бусурманом, отыскивай свою жену и приходи вместе с нею ко мне, только я с тобой не пойду... нет! — При этом царь окинул взглядом своих бояр и продолжал: — Ну, а вот если ты найдешь свою жену и придешь ко мне вместе с нею, тогда я со всею ратью пойду на бусурмана и Крым завоюю. Теперь иди себе покамест.

Кудеяр во все продолжение речи царя смотрел чрезвычайно мрачно, с видимым озлоблением: издевки царя задевали его по сердцу.

— Ну, покажи теперь стрелков своих, князь Димитрий Иванович,— сказал царь Вишневецкому, когда Кудеяр ушел.

По приказанию Вишневецкого казак прибил к столбу, стоявшему на майдане, большую доску, в виде полки, на эту полку положили рядом несколько яиц. Вышло десять казаков с ружьями, и каждый стрелял друг за другом, попадая в яйца пулями. Царь хвалил их.

Потом принесли ленту холста, растянули ее от столба до тех досок, которыми были заделаны промежутки между амбарами, и приколотили гвоздиками; вся эта лента была усеяна крестиками, начерченными углем. Вышло несколько других казаков, и один за другим стреляли из лука, оставляя в холсте завязшие стрелы и в тех местах, где были намечены крестики.

Царь становился все веселее от этих развлечений.

— Теперь,— сказал он,— пусть Кудеяр приберет двор мой, снимет доски с проходов и столб вынет.

Вишневецкий передал приказание Кудеяру. Силач пре-

жде всего вытащил прочь мертвых медведей, потом почти без усилия снял доски, вынес их и сложил в кучу у одного амбара, а вслед за тем, подошедши к столбу, глубоко врытому в мерзлую землю, начал двигать его; столб мало-помалу начал качаться. Кудеяр принагнулся, поднатужился, вырвал столб из земли, не дав ему упасть на землю, подставил свое плечо, понес и спустил у стенки амбара.

— Эка силища, а! — сказал царь.— Ну, вот что ты мне скажи, князь Димитрий Иванович,— я знаю, ты человек богобоязливый и добрый. Поручишься ты мне, что тут нет чего-нибудь нечистого, что этот твой Кудеяр получил такую силищу от Бога, а не от лукавого, не чрез волшебство и ведовство?

— Царь-государь,— сказал Вишневецкий,— мне самому приходила такая думка, но нет... Мой Кудеяр ничему такому непричастен; благочестив, и в церковь ходит почасту, и постится, и на исповедь ходит поновляться не то, что раз в год, и почаще, раза по два и по три.

— Ну, то-то,— сказал царь,— а то ведь и мы с ним в погибель ввергнем души наши, коли станем тешиться бесовским действом.

Царь с рундука вошел во дворец, прошел в дальние сени, где уже были приготовлены столы для царских жильцов и для казаков, и пришел на другой рундук, выходивший на широкий двор прямо против ворот, откуда был главный выезд. По царскому приказанию привели собак, выпустили из заперти лисицу и пустили в поле; собаки бросились за лисицею. Царь тешился, глядя, как лисица, со свойственною ей хитростью, увертывалась от собак, обманывала их, метаясь в разные стороны, ускользая от роковых зубов в то время, когда собака готова была уже схватить ее за хвост,— все было напрасно; далеко, далеко погнали собаки смышленого зверя, за собаками поскакали псари; царь уже не мог видеть ничего, но с нетерпением ожидал, когда принесут ему весть о том, чем кончилась война с лисицей. Наконец псари вернулись и привезли труп истерзанной собачьими зубами лисицы.

По окончании всех потех пошли обедать. Обед был постный, рыбный. Царь, сидя за своим особым столиком, посылал подачки Вишневецкому и его атаманам, обедавшим с царскими жильцами в сенях; царь обращался к Вишневецкому с ласковым словом: «Князь Димитрий Иванович Вишневецкий! Приехал ты из Литовской державы к нам на службу своею доброю волею со своими храбрыми

атаманы и казаки. Мы, государь, тебе рады и в милость нашу приемлем тебя и твоих атаманов и казаков. Ешь нашу хлеб-соль, пей мед, вино, подкрепляйся и веселись с нами».

Когда налили белого меду, все выходили из-за стола и здравствовали государя. Вишневецкий, проговоривши царский титул, с жаром громко произнес:

— Дай, Боже милосердый, тебе единому под солнцем истинныя восточныя веры нашея государю, над всеми твоими врагами победу и одоление, наипаче же да затмится от сияния креста святого луна мусульманская, да покорятся нечестивые агаряне скипетру царствия твоего и да водрузится стяг московский на стенах Бакчисарая, яко же на стенах Казани и Астрахани уже водрузился с помощью божиею. О великий царю! Да прославишься паче всех твоих предков, да возвеличится держава твоя над всеми державами мира сего, да благоденствуют многочисленные народы под мудрою властию твоею. Буди благословенна Богом держава царствия твоего, аминь!

Ободренные примером Вишневецкого, желавшие войны с Крымом бояре также произносили желания победы над бусурманами. Царский пир сам собою принимал вид приготовления к предстоящей брани с Крымом. Царь, упоенный величаниями и похвалами своей мудрости, могуществу и силе, сам поддавался этой мысли.

Между тем в сенях, за несколькими столами, обедали атаманы и казаки, перемешанные с жильцами. Кудеяр был с ними и очень мало ел и пил. Он был по своему обычаю угрюм; всех он отталкивал от себя своим видом, на всех наводил невольно тоску своим присутствием. Собеседники пытались вступить с ним в разговор, но не могли добиться от него ничего, кроме отрывистых речений, в особенности же не терпел он, когда с ним заводили разговоры о нем самом, об его судьбе, об его жене и даже об его силе. Всякий, попытавшись спросить его, в другой раз не имел охоты вступать с ним в какую бы то ни было беседу. Трое жильцов, сидевшие от него вдали, вели между собою тихо такой разговор:

— Этот силач,— сказал один,— уж не знается ли с нечистою силою? А!

— Да,— заметил другой,— как он на тебя поглянет, так ажно страх тебя разбирает. Давай ты мне рубль, скажи: переночуй с ним один на один, право — не возьму!

— Навряд ли он знается с нечистым,— заметил третий,— на нем крест есть. А кто с нечистым знается, то

перво крест с себя снимет. Намедни я видал, он в церкви был, крестится, только не совсем так, как мы; ну, да это они все так крестятся, литовские люди; у нас, видишь, последние два пальца вместе слагаются с большим, а два перста прямо, а у них так два эти, что у нас прямо, сложены с большим. А вера-то, кажись, все едина греческая.

— А головы-то зачем они бреют и клок оставляют? — сказал первый.

— Это у них чуб называется; я спрашивал, говорят: это-де, значит, вольность казацкая, видели бы все, что он казак, человек вольный.

— Ну, это он вольный у себя там, на Украине, в Черкассах, а у нас, коли к нам пришел, так вольным ему называться не годится, для того что как стал служить нашему великому государю, так уже учинился холоп, а не вольный человек. Придется волю-то дома оставить, а сюда не возить. Товар заповедной,— так заметил первый.

— Да и крест полагать на себя,— сказал второй,— подобало бы им так же, как мы полагаем, а не по их обычаям, для того что как ты назвался с нами единой веры, так уж ничем не рознись. А то... кто весть, какова сила в той розни. Что это за крест таков? Прав ли сей крест? И от Бога ли? Он говорит, все-де то равно, все едино; ну, да это он про себя говорит, а вестно, что никто про себя дурна слова не скажет. Подлинно бы про то нам узнать: крестится ли он, а может быть, совсем не крестится, а открещивается. Вот что! А! Старые люди сказывали, что в литовской земле всякие ведовства и чары бывают; у них и пули заговаривать умеют, кто куда целит, туда и попадет безотменно, а все то не без нечистой силы. Есть у них к тому бабы-чаровницы, что умеют привораживать и отворaживать; сделают так, что вот человек одного любит, а другого ненавидит. Вот и гляди, как этакие-то к нам наедут да чарами приворожат к себе в любовь нашего государя, чтоб любил их паче нас, а нас, прирожденных московских людей, отворожат от государя, и станет царь-государь к ним зело милостив, а нас учнет держать в немилости. Вот ты говоришь: в церковь он ходит, крестится; крестится-то крестится, а как крестится? А что, коли в самом деле открещивается, так это только обман, лукавого вымыслы; чтоб в церковь ходить его слугам было невоспретно, выдумал он, значит, не крест, а открест; что оно нам кажется только будто крест, а оно не есть крест, и все то, чтоб нас

обмануть и слуг своих возвеличить, нас же, верных христиан, умалить и уничижить? Коли вправду эти приходцы прямые христиане истинной нашей веры, то велеть бы им креститься так, как крестимся; а не похотят, ино знатно, что у них на уме лукавое и люди они недобрые, и выгнать бы их из нашего государства, чтоб они в нем своим ведовством какой смуты и дурна не учинили.

— Про все, что ты изволишь говорить,— заметил третий,— подобает рассудить не нам, простцам, а духовного чина людям; а то как станем про такие дела говорить, то греха наберемся; а коли не уймемся, так нас и пред священный собор потянут за суетные мудрования, как было с Матюхою Башкиным и его единомышленники да с дьяком Висковатым. Наш преосвященный митрополит Макарий говорил: «Коли ты ноги, так не думай быть головою».

— А ты думаешь,— сказал второй,— духовного чина люди того ж не говорят, что я? Вон, чудовский архимандрит какой умница, а книжен как! Супротив него есть ли на всем Московском государстве таков книжник! А он говорил, многие от него слыхали: от сих пришельцев ничего доброго не чаять. Льстецы они и обманщики, христианами прикидуются, а неправые они христиане... ведуны они проклятые; думают обойти и очаровать нас своим ведовством и чернокнижеством. Да еще что прибавлял: на бусурман царя нашего они подущают, а сами с бусурманы в тайной дружбе, нарочно нас хотят поссорить с бусурманом, чтоб изменить нам же и тому же бусурману предать. А этот силач, Кудеяр, что ли, зовут его... Так он не казак, а татарин, нарочно с казаками живет под видом будто казак, а тайно служит он крымскому хану и здесь затем, чтоб выведывать и хану переносить, а сила у него телесная от лукавого,— он ему за такую силу душою поклонился!

По окончании обеда царь приказал, в виде особой милости, позвать казацких атаманов и из собственных рук давал им белого меда. Когда подошел к нему Кудеяр, царь сказал:

— Ну, смотри, молодец, иди и побей бусурмана, найди и отними у него свою жену и явись вместе с нею предо мною; тогда я, как сказал, пойду и сам со всею ратью на Крым. В том мое царское слово. Только вот что: ну, коли ты найдешь свою жену, а у ней будет ребенок — не от ее воли, а поневоле — от бусурмана, что тогда? И ребенка бусурманского возьмешь себе за чадо? А!

Кудеяр молчал, глядел как-то особенно злобно и кусал себе губы.

— Что, молодец, не знаешь, что сказать? Да, оно мудрено... Придется чужое, да еще бусурманское, дитя за свое кровное принять и с ним век нянчиться. Кажись, тяжеленько будет. А не то — ребенку кесим баши...[1] Так мать-то что скажет? — Иван, не дожидаясь ответа от хранившего тупое молчание Кудеяра, повернулся к своим боярам и сказал: — Вот оно... силен, а глуп! Руками медведей давит, столбы из земли вырывает, а головой того рассудить не может: коли уже такое несчастие сложилось, что жена попала к бусурманам,— и то все едино, что жена умерла; чего там о ней тужить и помышлять?.. Где ее найдешь? А хоть бы и нашел, так она не годилась бы. Нет, этого рассудить не хватает мозгу.

Царь, смеясь, ушел в свои комнаты.

Скоро после того, уже при наступлении вечера, царь двинулся опять в Москву. За ним поехали и бояре. Вишневецкий ехал, по-прежнему, с Курбским в одних санях, и два князя вели между собою такой разговор:

— Князь Андрей Михайлович! Сдается, мы не дойдем до того, за чем я к вам приехал. Царь, видимо, не хочет воевать с бусурманами. Царь хочет посылать меня с казаками на ливонских немцев...

— Князь Димитрий Иванович,— сказал Курбский,— истинно тебе скажу: тяжело становится жить. Государь добрых советов мало слушает, а скоро, не дай Бог, и совсем перестанет слушать, а вдает слух свой речам сикофантов, шептателей, которые, ради гнусного своего прибытка и чтоб им быть в приближении у царя, будут подущать его на всякое худо и восставят против советных и ратных честных мужей, и будет на нас гонение велие и царству российскому ущерб и разорение. А всему злу начало — царица и ее братья глупоумные. Царица не терпит отца Сильвестра за то, что отец Сильвестр царя добру учит, к делу приводит, от безделья и сладострастия праздного отводит, и от шатания по монастырям, и от времяпровождения с шутами, да с ханжами, да с волхвами и волхвицами — с бабами глупыми... Братья царицы завистью ко всем нам дышат; они люди худородные, и досадно то им, хотят всех нас, добродных людей, от царя отдалить, чтоб им самим всем государством править.

---

[1] Голову геть *(тат.)*.

— Коли такое, не дай Боже, у вас станется,— сказал Вишневецкий,— так я тебе скажу по дружбе, князь Андрей Михайлович, я у вас не жилец. Я ради доброго дела, для службы христианству к вам приехал, а буде не приходится, так это значит, как у нас говорится: коли мое не в лад, так я с своим и назад.

— Ох,— вздохнувши, сказал Курбский,— и я тебе одному по дружбе скажу, князь Димитрий Иванович, я хошь и прирожденный московский человек, а злу потворщик не буду, и придется мне, как у вас говорится, свет за очами идти.

V. КРЫМСКИЙ ПОЛОН

За Москвою-рекою был тогда большой двор, назывался он Крымский; внутри его, на правой стороне, построен был ряд изб одноярусных, под одну высокую крышу из драни, представлявший вид как бы одной предлинной избы. Прямо против ворот была большая изба в три яруса, отличавшаяся вычурностью постройки, сравнительно большими окнами и узорами около окон; левая сторона двора была застроена множеством сараев, клетей, навесов, загородок, расположенных в таком беспорядке, что, казалось, можно было запутаться и целый день искать выхода. Такой способ построек представлял превосходный материал для пожаров, которые нередко и посещали Крымский двор, но после пожаров постройка велась прежним способом. Крымский двор был пристанищем приезжавших в Москву посланников и гонцов крымского хана, для них-то и была назначена большая изба с украшениями. На этот двор приставали и татарские купцы, посещавшие Москву с восточными товарами. В этот двор по временам пригоняли и освобожденных русских пленников и держали там день-другой, пока их не разбирали и не развозили, куда приходилось. В те времена пленников выкупали или разменивали обыкновенно в пограничных городах, откуда освобожденные разъезжались по местам жительства, но тех, которые были безродны, или выкупались на счет царской казны, или почему-нибудь оказывались нужными для расспросов, привозили в Москву и помещали на Крымском дворе. В это время туда являлись и русские полоненники с ханскими посланниками и гонцами, привезенные в обмен на татарских мурз, по заключенному заранее условию, или же отпускаемые в знак любезности к русскому государю со

стороны крымского,— последнего рода явление произошло в описываемое время. Хан Девлет-Гирей, испуганный успешными действиями Вишневецкого и Данила Адашева в прошлом году, услыхавши, что Вишневецкий поджигает Москву против Крыма, рассудил, что, при тогдашних расстроенных обстоятельствах Крыма, благоразумно будет показать Москве охоту мириться, и прислал Карач-мурзу посланником в Москву, извещал, что в знак дружбы и братства отпускает всех русских пленников, захваченных в последние годы. Большая часть была отпущена на границе, а толпа в несколько сот человек прибыла в Москву с Карач-мурзою и поместилась на Крымском дворе. При всей обширности этого двора, помещение оказалось для них до того тесным, что бедняки, которым недостало места в избах, ночевали в холодных сараях, клетях, несмотря на то, что уже наступала зима... Но чего не терпел и чего не мог вытерпеть многострадальный русский народ! Впрочем, пленникам пришлось там быть недолго. На другой же день после прибытия Карач-мурзы и Крымский двор, и весь околоток наполнился санями бояр, думных людей, дворян, гостей, архимандритов, игуменов и множеством людей всякого чина. Те приезжали и приходили отыскивать своих родных и близких, другие — для подачи милостыни и для приема к себе несчастных, из сострадания или из видов. Поднялся шум, начались восклицания, рыдания, причитания, благодарения, объятия, лобызания. Там мать обливала слезами голову возвращенного сына, там дети вешались на шею отцу, которого сразу не узнавали, не видавши несколько лет, там целовались брат с братом, племянник с дядею; для многих наступил день такой незаменимо радостный, час такого счастья, за который не жалко, казалось, перетерпеть много горьких годов. Бедствие теряет свою жгучую силу, когда прекращается, и человек чувствует, что одолжен ему минутою величайшего блаженства на земле — минутою прекращения страданий. Но были тут и такие братья, дяди, племянники, которые только наружно изъявляли радость, а внутренно досадовали: то были такие, которым не хотелось отдавать возвращенным родственникам их наследия; они считали их погибшими, и вдруг неожиданно родные оживают... Что делать? Их целуют, обнимают, а в душе думают, лучше было бы, коли б дьявол тебя взял. Иной господин приходил на Крымский двор как будто из благочестия, а на самом деле из корысти: высматривал, нет ли какого бедняка, которому негде деться, и,

нашедши такого, расспрашивал его с участием, давал ему полтину, потом опять расспрашивал, вздыхал вместе с ним об его горе и сиротстве и, как бы соболезнуя, говорил ему: «Бедный ты, бедный! одинок, сиротинушка! Что тебе слоняться по белу свету? Ох, ох! Людей добрых на свете мало стало, всяк норовит, как бы себе добро было, а ближнему своему зла ищет, оскудело милосердие; иди ко мне, у меня тебе и угол теплый будет, и сыт, и одет будешь, и работы большой тебе не будет». Поддается сиротинушка на приманчивые речи, и поведет добросердечный сиротинушку к дьяку в холопий приказ писать кабалу, даст ему рублей пять, а пообещает вдвое, и возьмет бедняка в рабство на всю жизнь его, придется бедняку променять кукушку на ястреба,— освободился из татарской неволи, а попал в русскую. Монастырские власти приезжали на Крымский двор вербовать полоненников к себе в монастыри; тоже — дадут сироте милостыню, изрекут ему мудрые словеса о суете мира, о том, как хорошо будет на том свете тому, кто отречется от мира и пойдет в монастырь в чаянии равноангельского жития, а потом потянут сироту к себе, и освобожденный из татарской неволи сделается рабом всечестной обители, осужденным трудиться в поте лица, в скорби, в тесноте, в нищете, чая царствия небесного и вынося на хребте своем, вместо татарской плети, жезл игуменский. Знатные бояре ездили на Крымский двор подавать милостыню, потому что так велось; того, кто этого не сделает, назовут скупцом, немилостивым, злым... Но были и такие, которые не ради мирской молвы или корысти, от чистого сердца тратили большие деньги на пленников, надеясь, что Господь вознаградит им потраченное после их смерти сторицею. Боярин Иван Шереметев на всю Русь славился тем, что выкупал пленных; и теперь обделял он щедро пленников на Крымском дворе; не уступал ему Алексей Адашев, который отказывал себе во всякой роскоши и, оставляя на свои потребности только необходимое, все свои огромные доходы тратил на дела милосердия. Славилась тогда в Москве вдова Магдалина, родом полька, принявшая восточное благочестие, мать взрослых сыновей, женщина богатая и тароватая; много давала она на нищую братию, а на выкуп и на пропитание пленных паче всего. Теперь этим добродушным людям платить за выкуп не приходилось; зато они брали на свое попечение многими десятками пленных с тем, чтобы здоровых устроить и дать возможность зарабатывать трудом себе хлеб насущный,

а старых и больных покоить на своем иждивении. Приехал тогда с другими и князь Андрей Михайлович Курбский, но если он и развязывал свою мошну на милостыню, то гораздо более говорил, шумел, поучал всех и с обычным своим красноречием беспрестанно свертывал на любимую мысль о необходимости вести войну с бусурманом и покорить Крым Российской державе. Приехал Сильвестр с сыном, раздавал милостыню, расспрашивал одного, другого и взял на свое попечение человек двадцать, сказавши им: «У меня кабальных нет, и вас я в кабалу не возьму; поживете у меня, пока я найду вам пристанище и работу, а там с Богом — трудитесь, пока хватит силы и здоровья. В законе Господнем сказано: не трудивыйся да не яст».

Приехал вместе с Данилом Адашевым, своим бранным сотоварищем, и князь Димитрий Вишневецкий; и он хотел не отставать от других в своем новом отечестве и положить часть своего достояния на благочестивое дело.

Полоненники один за другим уезжали и уходили с Крымского двора, число их все умалялось, редело, и, наконец, осталось их не более двух десятков... Между ними была женщина, одетая в тулуп, повязанная какою-то грязною тряпкою; она сидела на колоде под окном избы, то поглядывая вокруг тревожным взглядом, то опуская глаза с выражением безнадежности. Возле нее стоял ребенок трех или четырех лет, круглолицый, смуглый, в овчинном тулупчике и в бараньей шапочке, и жевал кусок черного хлеба. Женщина была еще молода, статно сложена, но горе провело по ее худощавому лицу рановременные морщины, так что, взглянувши на нее, всяк невольно назвал бы ее молодою старухою. Ее черные большие глаза носили следы былой живости и страсти и вместе с тем выражали столько грусти и терпения, что нельзя было взглянуть в эти глаза без сострадания и вместе без уважения,— в них светилось много благородного, прямодушного, честного. Увидя Вишневецкого, женщина невольно вздрогнула: ее поразил наряд этого князя, отличный от наряда московских бояр; женщина увидала что-то для себя знакомое, родное; она встала и подошла к одному из посетителей; ребенок неотвязчиво шел за нею со своим куском.

Она спросила, кто этот господин.

Ей сказали, что это Вишневецкий.

— Князь Дмитрий Иванович! — воскликнула женщина и побледнела, задрожала всем телом, неровными шагами подошла к Вишневецкому и упала к ногам его.— Отец наш,

кормитель наш...— сказала женщина,— сам Бог тебя принес, голубчик... спаси меня... Я твоя, я не здешняя, я не московка, я из Черкасс, твоя подданная...

— Как же ты попалась сюда, в московский полон? — спрашивал Вишневецкий.

— Виновата, милостивый князь, прости меня, бедную... Обманом сюда зашла я: стали в Крыму собирать московский полон, чтоб отправлять в Москву... я назвалась московкою. Меня продали уже другому хозяину, а тот не знал, что я из Украйны, и отпустил меня; если б знал, не выпустил бы. Думала: на страх божий пойду, может быть, кто-нибудь в кабалу возьмет, хоть в чужой стороне буду жить, все же в христианской, не в бусурманской, а может быть, думала, попадется и такая христианская душа, что в мой край отпустит. И пошла. А вот, на мое счастье, тебя, господина нашего, Бог принес сюда. Возьми меня, Христа ради, отправь в мой край.

— Когда ты из Черкасс, я возьму тебя,— сказал Вишневецкий.— Ты вдова, что ли?

— Не вдовою взята была в неволю, теперь не знаю, вдова или замужняя... Меня татары схватили на хуторе, а муж был у тебя на службе. Мой муж Юрий Кудеяр, что атаман Тишенко в приймы взял за сына, а я дочь Тишенкова.

— Твой ангел-хранитель с тобою! — сказал Вишневецкий.— Ты увидишь своего мужа, увидишь сегодня, он здесь, в Москве, со мною, тоскует о тебе!

Женщина вскрикнула, всплеснула руками; болезненное чувство, смесь радости и вместе ужаса захватило ее дыхание. Не знала она, что с нею, что делать ей: хотелось ей поскорее лететь к мужу и в то же время провалиться сквозь землю от стыда; не знала она, благодарить ли судьбу или клясть ее...

— А этот ребенок — твой? — значительно спросил Вишневецкий.

— Мой, милостивец, мой, да не моего мужа... Я не хотела; меня били, мучили, я не поддавалась; меня продали в другие руки; и там тоже... насильно, Бог свидетель, насильно... Я была невольница, на работе, в кандалах.

— Верю,— сказал Вишневецкий.— Однако я тебе скажу: Кудеяр твой крут; я его знаю, тебя он простит,— да и как не простить? Ты невинна; коли б винна была, не убежала бы из Крыма; но ребенка чужого, да еще бусурманского,

навряд он примет за родного сына. Зачем ты взяла его с собою? Оставила бы его там.

— Мне его отдал хозяин. Ступай, говорит, с ним, нам не нужно его; у него своих жен шесть, и от каждой жены ребята... Сам знаешь, милостивый князь, я мать; оно хоть и бусурманское, а все ж мое; родила, муки принимала, кормила, ночи не спала.

— Не знаю,— сказал Вишневецкий,— Кудеяр не возьмет его. Неладно.

Вишневецкий, отошедши, рассказал Адашеву и Курбскому о случившемся. Узнал и Сильвестр. Протопоп подошел к Вишневецкому, с которым заговорил в первый раз, и сказал:

— Неисповедимы пути божии, чудны дела его. Вижу перст божий! Князь Димитрий Иванович, и вы, бояре, не говорите мужу этой женщины о ней, пока я не скажу царю; отдайте ее на попечение мне.

— Возьми, честнейший отче, твори, как Бог тебе на сердце положит,— сказал Вишневецкий.

— Твое дитя не крещено? — спросил Сильвестр женщину.

— Нет, отче, бусурманское.

— Я крещу его. Оно будет наше. Я буду увещевать твоего мужа, а не захочет взять ребенка, не бойся; я возьму его на свое воспитание; вырастет, человек из него будет!

В это время женщина, случайно повернувши голову, вперила глаза вдаль и, не слушая более слов Сильвестра, с криком бросилась бежать. Сильвестр, бояре, Вишневецкий обратили за нею свои взоры и увидели Кудеяра.

Узнавши, что его князь поехал на Крымский двор давать милость полоненникам, Кудеяр вздумал отправиться туда же, чтоб положить и свою долю в добром деле. Жена увидала его, узнала, забыла все, бросилась к нему.

— Юрко! мой Юрко! — кричала она.

— Настя! — вскрикнул Кудеяр.

Оба сжимали друг друга в объятиях. Ребенок побежал вслед за матерью и, видя, что мать целует и обнимает казака, стал, усмехаясь, дергать его за полы.

— А что это? — спросил Кудеяр, опомнившись от первого восторга и не успевши еще спросить у жены, как она попала в Москву и где была.

— Юрко! Юрко! — простонала Настя.— Бог свидетель, я не винна, я не хотела, насильно... Вот тебе крест...

— Бусурманское? Ты была у кого-нибудь в гареме?

— Нет, я была невольница, на работе, в кандалах, меня изнасиловали...

— Верю, верю... Так оно и есть. Ты, Настя, всегда была и будешь добрая, верная жена. Пойдем со мною. Пойдем. И его бери с собою. Пойдем.

Он взял ее за руку и пошел из Крымского двора; ребенок, видимо, обрадованный, сам не понимая чем, бежал за матерью.

Князь Вишневецкий, смотря на происходящее и слышавши речи Кудеяра, обратился к боярам и сказал:

— Никак я того не ждал, бояре, чтоб мой Кудеяр был такой добрый; я думал, он крут, это совсем не он... Да не задумал ли он чего? Пойду, узнаю.

— А я,— сказал Сильвестр,— сейчас еду прямо к царю. Надеюсь и уповаю; с божиею помощью теперь дело пойдет на лад. Война с бусурманом будет, и сам царь пойдет с ратью, возвратятся времена казанские, воссияет слава Российской державы, здравие и благосостояние христианского народа... Господи! благословен еси, благословен еси!

VI. РЕБЕНОК

Вышедши с женою и ребенком из Крымского двора, Кудеяр сел в извозчичьи наемные сани, приказал ехать за Серпуховские ворота. Жена ласкалась к нему, целовала его; Кудеяр отвечал ей поцелуями, но прежняя суровость, оставившая его только на мгновение первой встречи, возвратилась к нему. Взор его, по обыкновению, стал мрачен, угрюм. Кудеяр ничего не говорил и на вопросы жены не стал отвечать, сказавши раз: после поговорим, все я тебе расскажу про себя, а ты мне все свое горе поведаешь. Жена не смела спросить, куда он везет ее; предчувствие чего-то ужасного стало томить ее. Проехали ворота. Кудеяр велел поворотить влево, к Данилову монастырю, около которого рос тогда большой лес. Приблизившись к лесу, Кудеяр приказал извозчику остановиться, заплатил ему деньги и отпустил, а сам, взявши жену за руку, шел по молодому вязкому снегу в лес. Мать вела ребенка за руку.

Вошли в лес. Кудеяр увидел вдали два пня и, указавши на них, сказал:

— Вот там сядем, Настя, поговорим.

Жена молча повиновалась. Они сели. Ребенок, начинавший дрожать от стужи, стал глядеть жалобно и морщиться, собираясь плакать.

— Настя,— сказал Кудеяр,— ты ни в чем не виновата, ты была в неволе... Теперь все прошло, я тебя приму женою, так как я принял тебя от покойного, царство ему небесное, Якова Тишенко. Но это бусурманское отродие опоганило твою утробу; я не могу назвать его своим ребенком, не могу любить его... Сама подумай, можно ли это? Этого человек не снесет! Ты — мать, тебе жалко его! Да, Настя, жалко тебе его, а мне тебя из-за него жалко, и делать нечего. Выбирай теперь, что хочешь,— кто тебе милей, кого тебе больше жаль? Меня или твоего сына, что его тебе враги нацепили насильно? Коли я тебе милее, так я зарежу ребенка, и живи со мною по-прежнему, как жена, и во всю жизнь я не помяну тебе об нем и никому не дозволю укорить тебя; а коли ребенка жальче, так вечная нам с тобою разлука: я тебе худа не сделаю, ни твоему ребенку; дам тебе денег и отправлю в Черкассы; там наш хутор — он твой, от отца твоего тебе достался, живи там, расти ребенка, а меня не знай вовеки. Уже я не твой и ты не моя, и не услышишь обо мне, и я о тебе слышать не хочу. Что-нибудь одно — выбирай!

— Юрий, Юрий, да как же мне разлучиться с тобою,— вскричала жена,— когда пять лет я о тебе плакала день и ночь, о тебе только и думала; не чаяла я, бедная, такого счастья, Бог нежданно послал его,— как же я отрекусь от такого счастья?.. Мне теперь разлучиться с тобою все равно, что в татарскую неволю опять идти!

— Так попрощайся с сыном,— сказал Кудеяр,— я его зарежу!

— Юрий, Бог с тобой! Христос с тобой! Юрий! За что же? Чем оно виновно?

— Коли жаль дитяти, ступай с ним,— сказал Кудеяр,— и меня уже никогда не увидишь.

— Юрий! — кричала Настя.— Не прогоняй меня, помилуй свою Настю. Я не то что женою, невольницею твоею буду... Юрий, может быть, я не годна по-прежнему быть тебе женою; позволь же у тебя, мое сердце, жить в неволе; женись, возьми другую, а меня ей работницею возьми. Юрий, Юрий, только бы мне возле тебя быть недалеко, только бы на тебя глядеть,— Боже, я не видела тебя пять лет, уже более того... да... Не помню, горе память отшибло, Юрий, если б ты знал, что перетерпела твоя бедная Настя... Ты добрый, Юрий, ты бы заплакал, когда бы увидел, как били, как мучили твою Настю. Теперь я тебя увидала,

тебя, мое сердце, а ты меня прогоняешь... Юрий, Юрий, сжалься, смилуйся!

Настя пала к его ногам, ухватилась за ноги его, разливаясь слезами. Ребенок, и без того уже плакавший от холода, слыша плач матери, орал во все горло и бессознательно цеплялся за ноги казака.

— Настя,— сказал Кудеяр,— не плачь, не рыдай, не голоси! Ничего не поможет,— коли хочешь со мною жить по-прежнему, дай мне зарезать ребенка.

— За что же его резать, Юрий! Юрий! Оно тебе ничего не сделало... Оно маленькое, оно крошечка, не жаль разве тебе... Посмотри, как оно плачет; зернышко ты мое, бедное, кланяйся, проси милости, скажи: смилуйся, я жить хочу, не убивай меня, я тебе ничего не сделал... Юрий, ради Христа, не убивай его... Юрий, пожалей его, пожалей свою Настю! Я ему мать, я буду плакать, тосковать по нем.

— Поплачешь, перестанешь, забудешь...— сказал Юрий,— а может быть, Бог благословит, даст нам своего ребенка, ты будешь его ласкать, и я с тобою; я буду любить его. А на этого я не могу глядеть. Оно бусурманское, оно насильное... Да что говорить! Я уже тебе сказал; перемены не будет: либо зарежу ребенка, либо ступай с ним от меня навеки — либо то, либо другое.

— Зачем его убивать, Юрий? Его возьмут добрые люди. Вот там, на дворе, куда нас пригнали, священник, какой добрый, говорил со мною, обещал взять ребенка, крестить его; пусть возьмет, пусть задаст его так, чтобы мы об нем не знали. Ты его никогда не увидишь, никогда не услышишь про него; я сама не буду узнавать, где он, что с ним творится. Не все ли равно, что он жив, что он умер, ты его не увидишь, и я присягну тебе в церкви, на святом кресте, не то, чтобы увидать его — думать об нем не буду. Только не режь его, не губи души невинной.

— Какая душа у него, бусурманского, некрещеного; что жалеть его,— туда и дорога!

— Его окрестят. Юрий, не греши, не бери на душу греха тяжкого. Нет, Юрий, это нехорошо, это Богу противно... Юрий, ты добрый, ты опомнишься, ты сам жалеть будешь, что погубил его... Ей-Богу, Юрий, будешь сам жалеть. Это теперь ты сгоряча так говоришь. Послушайся меня... Нет, меня не слушайся, я простая, глупая баба. Посоветуйся с умными людьми, спроси священника божия,— что он тебе скажет? Велит ли резать ребенка? Спроси, спроси! Коли скажет: убей его — тогда убивай, а он скажет: не бей,

Юрий, пожалей душу свою. Подожди, я прошу тебя, спроси прежде священника.

— Что мне у попов спрашивать? — сказал Юрий.— Мало чего поп скажет,— он велит мне взять его за сына! Так как же мне брать, коли сердце отворачивается, когда я смотреть на него не могу? И люди будут срамить меня, глумиться станут. Вон, скажут, Кудеяр, татарчука нянчит! Нет, нет, я такого срама не вынес бы. А отдать в чужие люди! Коли ты будешь знать, что он жив, все-таки думка твоя об нем будет, за ним убиваться станешь, все-таки сама себе скажешь: что-то мой сынок? А там как-нибудь узнаешь, захочешь повидать. Я не хочу этого.

— Ей-Богу, нет, вот тебе крест, Юрий: никогда, во всю жизнь не захочу, не увижу, забуду...

— Вырастет, узнает, придет к тебе, ко мне, тогда хуже будет, коли я его большого зарежу. А он еще, может быть, хорошим человеком станет, у меня все-таки закипит кровь: как его увижу, так и зарежу; тогда хуже греха наберусь, крещеного, да еще, может быть, доброго человека загублю. Теперь же пока он поганый,— что он? Некрещеный, так себе: все равно что зверь! Нет, Настя, я на то не соглашаюсь, чтоб его отдавать в чужие люди. Сказано, не переменю: либо дай ребенка зарезать, либо ступай с ним от меня навеки.

— Боже, Боже мой! Зачем ты меня, Господи, вызволил из тяжкой неволи! Лучше было бы умереть в бусурманской земле в кандалах.

— Чего на Бога роптать? — сказал Кудеяр.— Коли тебе так жаль ребенка, значит, ты любишь это бусурманское отродье больше, чем меня. Господь с тобой, я не враг тебе и не мститель. Ступай с ним в хутор, живи себе с ним, а захочешь замуж пойти за иного — и то в твоей воле, я буду просить, чтоб владыка тебе дал разрешение. А я... я пойду на бусурман. Может быть, Бог даст положить душу за веру христианскую. Я тебе найму подводу, казаков дам проводить тебя, выпрошу через князя у царя проезжую запись, чтоб тебя нигде не задерживали. Пойдем тотчас. Твой ребенок будет тогда жить.

— Нет, нет, мой милый, мой единый, мое солнце, мое счастье, мое сердце! Я от тебя не уйду. Я с тобой буду. Не прогоняй меня!

— Так дай зарезать ребенка.

— Юрий! Юрий! смилуйся...

Настя упала на землю и голосила; ребенок ревел.

— Говори скорее,— сказал Кудеяр,— последнее слово говори: едешь от меня с ребенком или остаешься со мною?

— Остаюсь, остаюсь с тобой, без тебя я жить не хочу,— кричала Настя.

— Дай зарезать ребенка.

— Возьми,— сказала Настя, потом вскрикнула и припала к пню головою.

— Вот жена, вот клад,— сказал Юрий.— О моя дорогая! Ну, есть ли на свете такая другая женщина!

Он поцеловал жену в голову, потом взял ребенка за руку и хотел вести.

Ребенок, как будто чувствуя инстинктивно, что ему будет что-то худое, заревел сильнее и стал упираться. Настя быстро подняла голову, увидала, что Кудеяр уводит ребенка от нее, бросилась к нему, схватила за руку и кричала:

— Юрий, Юрий, смилуйся, Христа ради!

— Опять! — сказал Кудеяр.— То даешь, то не даешь ребенка. Возьми же его себе и поезжай от меня. Идем тотчас, идем в город. И сегодня ты уедешь с ребенком в Украйну.

Он пошел по направлению из лесу к городу. Настя стояла. Ребенок подбежал к ней, как будто ища спасения. Кудеяр, прошедши несколько сажен, оглянулся.

— Иди за мной,— громко сказал он,— иди, говорю тебе, скорее иди. Сказано тебе — не будет перемены. Иди. Нанимаю подводу; ты поедешь в Украйну сегодня. Иди.

Он ускорял шаги. Настя пошла за ним. Ребенок бежал за матерью.

— Нет, нет! — вскрикнула Настя.— Нет, Юрий, никогда, я твоя, не покину тебя, не разлучусь с тобою. Ты мой... не прогоняй меня. Возьми его... делай с ним что хочешь. Боже мой! Боже мой!

— Отдаешь ребенка?

— Отдаю.

Кудеяр подбежал к ребенку, схватил его на руки и побежал в лес.

Настя стояла как вкопанная, задом к лесу, куда Кудеяр унес дитя; она глядела в небо, читала молитву... Вдруг до ушей ее достиг пронзительный крик ребенка. У Насти подкосились ноги, задрожало сердце, по телу пробежал холод, все в ней оцепенело; в глазах стало темно. Настя упала без чувств.

Кудеяр, перерезавши ребенку горло, стал приглядываться, куда бы схоронить его, и, заметивши между деревьями

углубление, достал саблю, расчистил снег и начал копать землю. Земля оказалась едва замерзшею. При своей необычной силе Кудеяр скоро выкопал яму аршина в полтора, положил туда труп ребенка, зарыл в землю, набро́сал хворосту и присыпал снегом. Окончивши свое дело, быстро пошел он к жене.

Очнувшись от первого ужаса, бедная Настя сидела на снегу в каком-то забытьи. Кудеяр взял ее за руку, приподнял и сказал:

— Все покончено. Пойдем, сердце мое, в город.

Настя ни слова не промолвила и пошла, опираясь на его плечо.

VII. КАЗАЦКИЙ БАТЬКО

Кудеяр с женою стоял перед Вишневецким, в той горнице у священника Никольской церкви, откуда выезжал князь первый раз к царю. Настя была одета уже не в прежний изорванный тулуп; на ней был красный камковый летник с частыми серебряными пуговками, на голове меховая шапочка. Сверху накинута была шубка, покрытая вишневым английским сукном. Кудеяр, по возвращении в город, тотчас же отправился на английский двор и одел жену, насколько хватило у него денег, сожалея, что в Москве не мог одеть ее в такой наряд, в каком, по обычаю своего края, ходила она в Украйне. Ее шею украшало красное коралловое ожерелье и несколько крестов.

— Злодей, зверь лютый, а не человек! — говорил Вишневецкий.— Как твоя злодейская рука подвинулась на безвинного младенца. Ирод проклятый! Волчица или медведица тебя, видно, родила, а не женщина. Ну, не хотел брать его за сына, отдал бы добрым людям,— не все же на белом свете такие кровопийцы, как ты. Что же, думаешь, что я тебя держать стану. Мне не нужно детоубийц, иродов. Был бы ты лют и немилостив с врагами, то честь, хвала и слава войсковому человеку. Но убивать ребенка... беззащитного, что ничем от тебя не обороняется, только слезами и криком. Злодей, злодей, исчадие дьявола. Прочь от меня. Я тебя знать не хочу,— ты не атаман и не казак, ищи себе приюта у других. Да ты думаешь, это тебе пройдет? Узнает царь, думаешь, помилует тебя? У него в земле не вольно чинить убийств, а то еще над невинными младенцами. Тебя повесят, злодея, и поделом.

Кудеяр молчал, по обычаю, глядя на князя угрюмо. Но Настя упала к ногам князя:

— Князь Димитрий Иванович, голубчик, смилуйся, не гневайся, не губи его! Прости ему. Меня казни, а не его. Я виновата. Он, голубчик, добрый, мне дал на выбор: захочу, поеду в Черкассы с ребенком, и тогда он ничего не станет ребенку делать, только уж с ним будет мне вечная разлука; а захочу с ним жить по-прежнему — чтоб отдала ему ребенка зарезать. А мне легче было ребенка смерти предать, чем с ним в разлуке быть, то была бы мне горше татарской неволи, и я отдала ему ребенка своими руками. Он не насильно убил его; я виноватее Юрия.

— Зачем вы не отдали ребенка в чужие руки? Отец Сильвестр сказал тебе, глупая баба, что он возьмет его, крестил бы его, воспитал, и вам он ничем бы не шкодил. Зачем же вы, злодеи, его убили?

— Жена слезно просила меня, чтоб я так сделал — отдать бы ребенка в чужие руки, да я на это не поддался,— сказал Кудеяр.

— Что ж, тебе крови детской захотелось, жид ты проклятый!

— Не хотел, чтоб оставалось на свете такое, что опоганило непорочную утробу моей честной жены,— сказал Кудеяр.— Когда она моя жена, пусть не будет с нею такого, на что мне глянуть стыдно. Князь, ты гневаешься, а если бы тебе пришлось быть на моем месте, то и сам бы так же учинил. Было бы живо это бусурманское отродье, хоть бы оно на краю света было, была бы нескончаемая мука и для меня, и для жены. Все-таки нет-нет — и подумала бы о нем, пожалела бы, видеть захотела бы; а хоть бы и того не было, так я бы все думал про нее, что она хочет видеть его, любит его, и сердился бы я на нее понапрасну; теперь же, как его на свете нет, и стыда на ней не осталось, что против ее воли был на нее положен, и моя Настя какова прежде была, такова и теперь. Волен ты, князь, надо мною, только не прав и жесток будешь, коли меня из-за этого прогонишь, своего верного слугу. А что ты, князь, сказал про царя, так ты слыхал, как он, будучи в Тайнинском, сам, будто наперед видел, что со мной станется, спрашивал меня, что я буду делать, коли найду жену, а жена будет с чужим ребенком, да сам же по-татарски и прибавил: кесим башка. Видишь, князь, царь сам уразумел, что нельзя будет инако учинить. Один конец, чтоб не оставалось следа и памяти неволи и стыда.

— Батюшка, голубчик,— говорила Настя,— не гневайся на моего Юрка. Прости его,— он тебе верный слуга, какого не сыщешь другого.

— И так много ему милости,— сказал Вишневецкий,— что я не велел казачеству судить его, а то с него непременно голову бы сняли за детское убивство. Пусть идет от меня. Я говорю — иродов нам, казакам, не надобно!

— Батюшка, прости! — кланяясь в землю, повторила Настя.

— Баба! — сказал Вишневецкий.— Я не из таких, что посердится, посердится да и раскиснет от бабьих слез. У меня что раз сказано, тому так быть. Вы не пропадете. Царь принял твоего мужа в служилые, поместье дал. Ну, и живите себе! А в казаках ему не быть.

В это время дверь отворилась. Вошел царский пристав и сказал:

— Царь-государь изволил приказать привести к нему пред его ясные очи Юрия Кудеяра с женою, что в полоне объявилась.

— Вот они! — сказал Вишневецкий.

VIII. ЦАРСКАЯ МИЛОСТЬ

В то время, как Кудеяр с Крымского двора увел жену свою и ребенка за город, Сильвестр с того же Крымского двора отправился к царю и велел доложить, что пришел сообщить очень важное дело. Царь тогда только что проснулся от послеобеденного сна. Он приказал позвать протопопа.

— Великий государь,— сказал Сильвестр,— благородию твоему угодно было призывать меня, грешного, и спрашивать о крымской войне. Тогда я сказал тебе, государю, такое слово: не имам указания свыше, а от себе говорить мне о таких делах не пригоже, а том-де бояре и думные люди ведают; ныне же, царю, явися указание божие, и аз прихожу объявить о нем твоему величеству.

— Что? — сказал Иван, побледневши и ожидая чего-то необыкновенного, сверхъестественного.

— Воистину указание божие, царю,— продолжал Сильвестр.— Я ездил, великий государь, на Крымский двор, для подачи милостыни бедным полоненникам, и узнал там, что между теми полоненниками объявилась жена приезжего с князем Вишневецким атамана Юрия Кудеяра, а ты, великий государь, будучи в Тайнинском селе на своей

государевой потехе, изволил тому Юрию сказать: коли-де он найдет свою полоненную жену и с нею вместе придет к твоему царскому величеству, в те поры ты, великий государь, сам изволишь идти с ратью своею на войну, на крымского хана. Не перст ли божий, царь-государь, не указание ли свыше? Изволь сам рассудить своим премудрым разумом. Не чудо ли сие, не знамение ли?

Иван Васильевич перекрестился.

В эту минуту ударили в колокол. То был благовест к вечерне.

— Слышишь, благочестивый царь,— сказал Сильвестр,— слышишь глас церкви во утверждение словес моих.

Звон повторился.

— Внимай, о царю,— говорил Сильвестр торжественным тоном,— в сем звуке слышится слово: аминь! Внимай, царю!

Звон еще повторился.

Царю, под обаянием речей Сильвестра, в самом деле послышался «аминь» в звоне колокола.

— Отче, отче! — сказал пораженный и взволнованный Иван,— воистину божий муж еси! Прости меня, грешного, Христа ради! Усомнихся в тебе, прости! Помоли Бога о мне, да не вменит мне в тягость сего прегрешения! Идем к вечерне. Вижду перст божий и разумею!

Весь вечер был царь Иван встревожен и не пошел к царице, а позвал к себе снова Сильвестра и слушал его поучения.

На другой день представлялся царю посланник Девлет-Гирея. Он привез царю подарки, проговорил речь от имени своего повелителя, уверял в его добром расположении и просил учинить вечный мир. Царь молчал. Думный дьяк Висковатый сказал ему в речи, что от крымских людей чинилось российского царствия державе немалое разорение многие годы, крымские люди приходили на государевы украинские города войною многажды и людей Московского государства всякого чина уводили в плен многие тысячи, и от крымского хана его царскому величеству были в том деле большие неисправления; а что теперь светлейший хан Девлет-Гирей желает учинить вечный мир, и то дело великое, и скоро, не подумавши, совершить то дело не мочно, а великий государь пролития крови не хочет и мир учинить с крымским ханом рад, только было бы то прочно и нерушимо. С тем отпущен был из палаты крымский посланник, понявший, что Москва станет водить его и придется ему

целые месяцы жить на Крымском дворе, под надзором пристава, будто в неволе, и дожидаться, пока позовут его в ответную избу; а как позовут, потолкуют, поспорят, и ничем не решат, и до другого раза отложат, а через месяц снова позовут, и тоже ни на чем не решат, и отложат, и так будет много раз чиниться. На то Москва.

Царь в этот день вечером ходил к царице, но не говорил ей ничего о делах, был с нею как-то холоден, а встретившись с братьями ее, даже не взглянул на них, и они поняли, что подул какой-то противный для них ветер.

Свыкаясь с мыслью о неизбежности войны с Крымом, царь позвал к себе Адашевых, Курбского, Серебряного и других сторонников войны и стал советоваться с ними. Все радовались этой перемене, все стали ожидать, что наступают вновь славные времена казанские.

Тут узнал царь, что Кудеяр убил ребенка своей жены, и велел привести к себе Кудеяра с женой.

Их привезли в санях и провели в царские покои с постельного крыльца. С царем были Адашев и Курбский.

Муж и жена поклонились царю до земли.

— Ты убил ребенка. Правда ли это? — спросил с первого раза царь.

— Правда, царь-государь,— сказал Кудеяр.

— А знаешь ли ты, что в моем царстве за убивство казнят смертию?

— Я поступил по твоему мудрому совету, или паче по твоему велению,— сказал Кудеяр.— Изволил ты, великий государь, будучи в Тайнинском, спросить меня: что будет тогда, когда я найду свою жену с чужим ребенком от бусурмана? Я не знал, государь, что и отвечать тебе, для того что у меня ум помутился от такого спроса, а ты, государь, сам изволил сказать: тогда кесим башка! И когда я нашел жену свою и с чужим ребенком, уразумел, что тебе, великому и мудрому государю, дана от Бога благодать предсказать то, что вперед будет, и я учинил так, как ты, государь, сам изволил сказать. Я давал жене на волю: хочет — останется ребенок жив, зато со мною ей вечная разлука, а хочет она со мною жить — ребенка зарежу. Она так любит меня, что лучше ей показалось ребенка на смерть отдать, а со мною жить. Я убил бусурманское отродие затем, чтоб жену мою от насильного стыда очистить и от осквернения бусурманского.

— А ты, баба,— спросил царь у Насти,— что мне ска-

жешь? Насильно у тебя он отнял ребенка и убил, либо ты сама на то согласилась?

— Муж,— сказала Настя,— давал мне на все волю: идти в свою сторону с ребенком; и денег хотел дать, а я не согласилась, потому что не хотела быть в вечной разлуке с мужем. Я сама отдала ему ребенка.

— Стало быть, вы оба виновны! — сказал царь.

— Нет, государь, я виновна,— сказала Настя.— Я привела ему чужого ребенка. Только Бог видит, царь-государь, то было по крайней неволе, по насилию.

— Стало быть,— сказал царь,— казнить следует тебя; только муж твой говорит правду, я сказал ему таково слово: кесим башка! Он учинил по моему слову. Я втоды не думал, чтоб сталось так, чтоб он свою жену нашел, и Бог устроил так, как человек и не думает. Значит, на то воля божия, и виновнее вас обоих, выходит,— я, государь ваш, что таково слово изрек. А царское слово непременно бывает. И для того казни вам обоим не будет никакой. Живите в любви и совете, детей наживите, добру научите, а от нас милость видеть будете по вся дни до конца живота вашего. Пожаловали мы тебя, Юрий, поместьем в Белевском уезде, жалуем еще вам два сорока соболей да сто рублев денег на постройку.

Муж и жена поклонились.

— Теперь,— продолжал царь,— поезжайте в свое поместье да устройте хозяйство. По весне, Бог даст, мы с тобой, Кудеяр, пойдем на бусурман; только так как ты один и у тебя нет ни братьев, ни племянников, ни сыновей подрослых, так мы тебя боле в походы высылать не станем, для того чтоб от частых и долгих отлучек твое поместье не пришло в упадок. Один поход с нами сделаешь и будешь жить у себя в поместье. Что, баба, рада небось, что мы у тебя мужа брать не станем?

Муж и жена поклонились до земли.

— Ну, поезжайте с Богом!

С радостным сердцем вышел Кудеяр от царя, обласканный его милостью, но его томил гнев Вишневецкого, он привык считать князя своим отцом; ему хотелось во что бы то ни стало получить его прощение.

Кудеяр отправился к князю. Вишневецкого не было дома; Кудеяр стал у ворот, намереваясь дождаться, когда он будет возвращаться. Князь ехал в санях вместе с Данилом Адашевым к себе и, проезжая мимо стоявшего у воротного столба Кудеяра, не показал вида, что заметил его. Кудеяр

взошел за ним на крыльцо, просил казака, чтоб он доложил об нем князю.

Казак пошел к князю и чрез несколько минут, вернувшись, сказал Кудеяру:

— Приказал тебе князь Димитрий Иванович к нему не ходить никогда, ты уже более не казак; ни князь, ни казацкая громада не хотят, чтоб ты был казаком. Ты принят в службу его царского величества и пожалован дворянином; теперь ты человек не казацкий, а московский, и коли тебе какое есть дело, ступай в разряд, а до казацкого войска тебе дела никакого нет.

Прежде столько лет Кудеяру всегда был доступ к князю, хотя бы среди ночи пришел, а теперь князь ни видеть его не хочет, ни говорить с ним. Нечего делать!

Кудеяр стал справлять за собою пожалованное поместье. Не зная московских порядков, он обратился к дьяку Висковатому, которого доброе лицо ему понравилось; тот научил его, как поступить, и сам обещал похлопотать о нем в Поместном приказе. Зная, что государь к Кудеяру особенно милостив, в приказе не стали волочить его дела, как обычно делалось, назначили ему самое лучшее из отдаточных поместьев, дали послушную запись крестьянам и указ наместнику белевскому об отдаче Кудеяру его поместья.

Стал Кудеяр собираться, накупил всякого добра для будущего своего дома: образов, скрынь, полотенец, холста, сукна, ножей, ложек, чарок, братин, поясов, седла, узды, упряжь; купил сани и две пары лошадей, и взял в кабалу людей; набивались к нему пришедшие с татарским полоном полоненники, но он не взял их, так как они могли узнать его жену. Взял он вольноотпущенного пожилого отца с сыном и невесткою и с племянником, и дали они на себя запись служить до живота своего.

Собираясь уезжать, Кудеяр решился еще раз попытаться умилостивить Вишневецкого. Не смея более идти к нему сам, он обратился к Данилу Адашеву, надеясь на дружбу его с князем. Данило, со всеми ласковый и открытый, принял его с участием, обещал, сколько у него сил станет, уговорить князя, по крайней мере, хоть простить вину Кудеяра. Данило назначил ему на другой день придти к себе узнать ответ князя.

Кудеяр пришел к Данилу в назначенное время.

— Ничего ты не поделаешь с князем Димитрием Ивановичем,— сказал Данило.— Сдается, какой добродушный и милостивый, а крут и неподатлив человек. Издавна, гово-

рит, так ведется в казачестве, что за всякое убивство, учиненное не в бою, положена смертная казнь; так оно было, так оно будет до тех пор, пока казачество на свете стоять будет. Много того, что я его живого на свет выпустил, и то сталось оттого, что Кудеяр уже не наш, царем в дворяне поверстан; коли же мне его оставить в казацкой громаде или хоть с ним ласково обходиться, тогда у нас в казачестве ладу не будет, всякий другого убьет да скажет: прости меня, ведь простил же Кудеяра... Ты, говорит князь, меня о нем не проси, да не токмо что не проси, имени его никогда не упоминай. Не хочу я его видеть, не хочу об нем и слышать, что он есть ли на свете или нет его.

Ничего не оставалось Кудеяру.

Он уехал с женою и с купленными холопями в свое поместье.

IX. ПОМЕЩИК

Приехал Кудеяр прямо в Белев, явился к наместнику с указом и послушною грамотою, поднес ему две пары соболей в поминки. Наместник по поместным книгам отыскал его поместье и отправил туда вместе с Кудеяром сына боярского, чтобы объявить крестьянам о послушании.

В селе, которое было отдано Кудеяру, находилось тридцать пять жилых крестьянских дворов да дворов пятнадцать пустых, откуда вышли крестьяне в Юрьев день и куда чаяли прибытия других на место убылых. Поместье осталось без владельца после бездетного помещика, которого вдова получила из него свою прожиточную часть вместе с двором своего мужа; поэтому Кудеяру приходилось строить себе двор вновь; за неимением двора поместился он в крестьянской избе. Созвали крестьян, прочитали послушную грамоту: в ней сказывалось, чтоб они служили своему помещику, делали всякое дело, какое он положит, и платили оброк, каким он их изоброчит. В знак царской милости дозволялось новому помещику курить вино, варить пиво и мед для себя, а не на продажу. Кудеяр объявил, что крестьянам к праздникам, свадьбам и крестинам дозволит он брать со двора своего напитки и самим варить брагу, будет их миловать и жаловать, а они бы не ленились работать и во всем ему были покорны. Крестьяне поглядывали на него свысока. Одно то, что он был новый помещик, какой бы к ним ни приехал — все равно; на нового они бы смотрели зверем, а Кудеяр с первого взгляда не представ-

лял ничего привлекательного. Его нависшие брови, постоянно суровый взгляд, толстые губы, как будто не умеющие смеяться, грубые черты лица, громкий голос — все показывало в нем человека не легкого; их поражал даже выговор Кудеяра и его жены; крестьяне смекнули, что эти господа откуда-то издалека, не из их края, а стало быть, и порядки у них будут не такие. «Помещик наш покойный,— говорили они,— царство ему небесное, наш был, а эти что-то не так!»

Кудеяр принялся за работу, погнал крестьян рубить лес, пилить бревна; началась стройка. Сам помещик взялся за топор, и как принялся рубить, как стали от его ударов падать столетние деревья, то крестьяне и рты разинули. «Да этот, братцы,— говорили они,— за нас десятерых сделает дела, эка силища-то! Оно что-то не простое, право! Как может простой человек такую силу иметь!» Крестьяне готовы были порешить, что их новый помещик ведун и знается с дьяволом, если б в первый же воскресный день он не поехал в церковь, отстоявшую от его сельца за десять верст, и не повторил бы того же в следующее воскресенье. Не дозволял он крестьянам с собой ни шутки, ни балагурства; ничего не скажет он крестьянину, кроме того, что касалось до работы или дела, и скажет всегда немного; рано как встает и рано всех поднимает; отдыху на работе почти не дает и сам не отдыхает, зато более трех дней в неделе не пошлет никого на работу, и в праздник не пошлет, и сам ни за что не принимается. Такое обращение и такой образ жизни внушал крестьянам и уважение и страх, и они невольно во всем повиновались, не смели даже хитрить и отлынивать, по своему обыкновению. Жена Кудеяра также была беспрестанно в труде, заставляла баб мыть белье, варить яству, прясть, шить и сама за всем смотрела. Скоро поспел для помещика домик о трех покоях: один — с большою печью для поварни, другой — чистая светлица с печью из кахлей муравленых, нарочно купленных в Москве хозяином и поставленных на место, а третий — для хозяина и хозяйки. На доме надстроен был светленький теремок об одной комнате. Дом был крыт березой, внутри дома были поставлены лавки домашней работы — то была и вся мебель дома помещика. Образа, привезенные из Москвы, да небольшое металлическое зеркало, купленное у англичан, составляли все убранство; на полках расставлена была необходимая домашняя посуда; была она оловянная; только три серебряные чарочки и ковш — подарок царя — были единственною роскошью; по

стенам в светлице развесил Кудеяр свое оружие и панцырь со шлемом; в другой комнате стояла постель, состоявшая всего-навсе из мешка с соломой, вместо перины, и из четырех подушек. Большая скрыня, в которой уложено было платье его и жены, стояла в углу, блистая новою оковкою и огромным висячим замком. Кудеяр и жена его очень жалели, что не могли побелить стен своей новой избы, по обычаю их родного края, на это не было мастериц, да и мелу не находилось в околотке. Для людей построена была людская небольшая изба; кроме нее, был построен амбар, конюшня и скотской загон. Хозяин предположил еще выстроить пивоварню, но отложил до будущего времени. Двор огородили плетнем. Когда все было готово, позвали священника с причтом, отслужили молебен с водоосвящением, наварили браги, меду, накупили вина, зарезали баранов; всем крестьянам был обед и попойка; справили новоселье.

О Благовещенье была в Белеве ярмарка. Кудеяр поехал покупать рабочий скот, плуги, бороны, колеса и узнал, что князь Вишневецкий находится в городе, данном ему в управление, кроме служилого сословия; его тянуло к воеводе, и он решился еще раз попытаться возвратить к себе его милость. Он обратился к бывшему своему товарищу, казацкому атаману, и просил поговорить о нем князю. Атаман исполнил его просьбу и передал Кудеяру вот что:

— Нахмурился и рассердился на меня князь, когда я вздумал заговорить о тебе. «В Белеве есть наместник,— сказал он.— Тот ведает дворян и детей боярских и всех царских служилых людей, а мне государь пожаловал ведать только свои дворцовые волости да поместья, которыми поверстаны мои казаки. Пусть помещик идет к своему воеводе, коли есть ему какое дело, а ко мне им дела нет, и мне до них... А о Кудеяре чтобы мне никто не смел никогда сказать ни слова».

Скрепя сердце, Кудеяр отправился в свое поместье, решившись в душе уже никогда не обращаться к упрямому князю.

Наступила весна. Кончался санный путь. Помещик распределил свои поля и угодья — одну часть назначил под засев помещичьего хлеба; крестьяне обязаны были его посеять, убрать, свозить и смолотить; другая часть роздана была крестьянам за их работу, а третья сдавалась им в оброк, который тогда брался более естественными произведениями: хлебом, крупою, сыром, яйцами, баранами, ку-

рами, утками, гусями, пряжею, холстом; деньги составляли редкость. Вместе с пахотною землею также распределены были сенокосы и леса.

Начинались весенние полевые работы, но Кудеяру уже не приходилось видеть их продолжения и окончания; он предоставлял надзор над ними жене, а сам со дня на день ожидал, как его позовут в поход. Казак, недавно еще не желавший ничего, кроме битв с врагами, стал за короткое время свыкаться с прелестью мирной жизни; он чувствовал, что ему не хотелось идти в поход, что гораздо лучше было бы ему оставаться в своем новом затишье с любимой женой, возвращенной ему после таких невзгод. Мало, слишком мало казалось ему несколько месяцев жизни с нею, но Кудеяр отгонял от себя это чувство, стыдился его, считал его недостойным воина и более всего старался не показать жене того, что у него шевелилось на душе, тем более, что сам царь обещал ему не высылать его более одного раза в поход. Между тем ему невольно теснилась в голову неотвязчивая дума: а что, если поеду в поход да не вернусь сюда, не увижу моей Насти, опять будет мне с нею разлука, может быть, убьют меня на войне,— то-то, бедная, будет горевать! Он старался избавиться от этой думы, возлагал упование на Бога: «Не может быть,— говорил он сам про себя,— чтобы Господь еще подверг нас новым мукам, довольно мы вынесли; ведь он же, милосердый, воротил мою Настю, когда я и не думал и не ожидал!» Так волновалась душа богатырская, а когда Настя призадумывалась и начинала ему говорить о каких-нибудь опасениях насчет будущего, он сурово говорил: «Ну, баба! стыдно тебе. Разве можно жене ратного человека думать об этом».

Наконец в один вечер, когда Кудеяр, после дневных работ, собирался с Настею ужинать, прискакал верхом на его новый двор гонец от воеводы, белевский пушкарь, с приказанием ехать без мотчанья в город, собравшись в поход с двумя людьми, конно.

Покормил Кудеяр вестника разлуки с Настею и стал тотчас собираться. Утром оседлано и навьючено было двое верховых лошадей: одна — для кабального молодца, другая должна была идти вместе с ним. Тут был и мешок с бельем и платьем, и мешок с съестным: сухарями, крупою, сушеною рыбою и проч., и ящик для пороху, пуль и вооружения. Сам Кудеяр сел на породистого татарского коня, с которым прибыл в Москву из Украйны. Запрягли, кроме того, воз, и Настя поехала провожать своего Юрка.

Воевода дал им помещение в осадной избе в городе и известил, что, по царскому указу, велено ему собрать наспех помещиков белевского уезда, дворян, детей боярских и новокрещенов и отправить в полк к Данилу Адашеву на реку Псел, а головою поставить над ними его, Юрия Кудеяра. «Вот,— говорил с уважением воевода,— как государь-царь тебя, Юрия, жалует: в грамоте из разряда написано посылать таких, у которых есть дети, братья и племянники, а у которых нет, и тех не высылать покамест, чтобы от долгой отлучки их хозяйству убытку и разорения не было, опричь одного Юрия Кудеяра, а его, Юрка, призвав к себе, сказать, что быть ему в походе на сей раз до осени, а как воротится осенью, и его вдругорядь не высылать». Кудеяр видел, что царь помнит его, и радовался. Насте также было отрадно, что, по крайней мере, ей остается надежда скоро увидеть своего Юрка, хотя тяжелая мысль теснилась ей в душу, что и до осени мало ли чего может случиться.

Один за другим съезжались помещики. Воевода записывал приезжавших и отдавал под начальство Кудеяру; потом, когда наступило восьмое число мая, крайний срок, указанный в грамоте из разряда, воевода приказал своему подьячему отметить в списке всех нетей, т. е. неприбывших, чтобы послать о них особый список в разряд, и объявил, что на другой день, в праздник чудотворца Николая, надобно выступать в поход.

Рано утром все собрались в церковь, и после обедни протопоп служил молебен в напутствие и кропил святою водою знамена и ратных людей. Поднялись вопли, причитания женщин и детей. Настя не была между ними; она тихо сидела в избе; когда же при звуке труб, ударе бубнов и звоне колоколов стали ратные люди выезжать, Кудеяр бросился в избу, прижал к груди свою Настю крепко, вырвался из ее объятий, вскочил на коня и поскакал догонять выехавших вперед подначальных ему помещиков.

Воротилась Настя в свое поместье. Грустно стало в ее одиноком новом домике; слезы беспрестанно и неотвязчиво лезли ей в глаза, но она старалась вообразить себе, как ее ненаглядный Юрко приедет к ней осенью, как она выбежит встречать его, какая будет для нее радость, а между тем мимо ее воли как будто кто-то шептал ей зловещим голосом: будешь ждать его всю осень, будешь ждать и зиму, будешь ждать и другое лето, и осень, и зиму, и далее будешь ждать, ждать, ждать...

X. ПОХОД

На устье реки Псела давно уже идет кипучая работа. Множество народа снует туда и сюда с топорами, тесами, буравами, заступами, молотами, клещами; тешут бревна, пилят доски, сколачивают гвоздями, долбят огромные стволы многовековых дубов, строят суда всякой величины — и байдаки, и струги, и однодеревки, и завозни. По берегу, на большое пространство, раскинуты шатры, шалаши, навесы; стоят возы, дровни; ржут лошади, ревут волы, кричат овцы, козы, гуси. Харчевники в шалашах продают съестное; пылают костры с таганами и котлами; беспрестанно прибывают и верхом, и по реке, и пешком ратные люди, везут на волах возы, туго набитые сухарями, крупою, сушеною рыбою, вяленым мясом, луком, горохом; расширяется подвижной город, увеличивается его многолюдство.

Вот и Кудеяр прибыл с своими беглецами, расположился в стане, разбил шатер, свернутый у него на вьючной лошади, и отправился к Данилу Адашеву.

— Здравствуй, здравствуй, силач,— сказал Данило,— как поживал на своем новоселье? Что, не бойсь, хорошо было на покое? Ха, ха, ха! Не хотелось, может быть, расставаться с теплым углом да с женою? О зима, зима! Баловница для нас, ратных людей; как весной-то приходится расправлять свои крылышки, так и тянет в гнездо, а как разгуляешься, так и любо на широком раздолье. Ну, брат, видишь, как Бог-то устроил? По-нашему-таки вышло. А все через тебя: ты — орудие божие! Не будь тебя — почитай, не бывать бы этому походу. А теперь идет дело не на жарты. Вишневецкий поплыл по Дону, а нам плыть по Днепру, а сам государь с сильною ратью — на Перекоп, ударим на проклятых с трех сторон разом, руками окаянных похватаем, придет конец царству крымскому, придет. Откликнутся проклятым слезы и муки христианские. Нет, нет пощады кровопийцам, бей их, руби их, коли, жги, весь Крым выжгем, попленим, разорим, что не пей крови христианской, не разоряй жительства нашего, не соси нас! Довольно; пришел час возмездия божия! Ну, а я на тебя зело надеюсь. Перво, что тебя одарил Бог силою, что на свете такой не сыщешь; а в другое, что ты по-татарски горазд и все их норовы знаешь.

— Рад послужить царю-государю по христианству,— сказал Кудеяр,— только бы Господь Бог благословил.

— Конечно, конечно, никто как Бог! А я, брат, всего

боле теперь о том думаю и пекусь, чтоб у нас харчей было приготовлено вдоволь. Это всему голова. Когда в жилой стране война идет, ратные люди поживляются от трудов бедного поселянина той страны, грабят его, поедают то, что он для себя приготовит, а мы поплывем чрез страну пустую, безлюдную, и в Крыму тоже... Ну, да в Крыму, говорят, теперь и недород, и падеж на скот был, почитай, и там недостаток терпеть придется. Для того же я велел навозить сюда столько, чтоб нам, по крайней мере, на полгода стало. Зато в Крыму нас христиане ждут не дождутся, Бога молят все, чтобы скорее поступить под державу царя православного. У меня теперь есть грек — родился в Крыму и знает все тамошние обычаи; говорит, что его единоверцы все поднимутся на татар и станут бить их. А вот он... золотой человек, Бог нам дал его, Афанасий Елисеевич! Вот тот силач, Юрий Кудеяр, что я про него тебе говорил; ты знаешь по-татарски, и он смолоду у поганых в полоне был и также знает по-татарски. Вот вы у меня дорогие люди!

Афанасий Елисеевич, осклабясь, подошел к Кудеяру и стал с ним целоваться. Стали они разговаривать. Афанасий Елисеевич рассказывал, что он родился в Крыму, на берегу моря, воспитывался в христианской вере, вел торговлю в Кафе, потом приехал в Украйну и поселился в христианской земле, в Киеве, хотел постричься в иноки в Печерской лавре, да услышал, что царь православный собирается идти на неверных, и приехал в Москву для того, чтоб служить, сколько может, христианскому делу.

Ополчение двинулось. Часть его плыла на судах, часть шла по берегу конницею, там были большею частью и кони тех, которые прибыли в стан со своими людьми. За конницею ехали возы, запряженные волами. Плывшие останавливались на берегу и на островах для отдыха, раскладывали огни, варили себе кашу из ячных и гречневых круп и щербу или уху из рыбы. Плавание шло благополучно до порогов, но тут пришлось промешкать дней десять; небольшие струги и однодеревки со смельчаками проскакивали посреди камней, и то в иных порогах; через Ненасытицу никто не поплыл; если и находились смельчаки, то Данило не пустил их. Большие байдаки на каждом пороге вытаскивали, тащили руками и спускали опять в реку до нового порога; часть судов перевезена была на возах. Проплывши пороги, ратники остановились на Хортице; Кудеяр с грустью смотрел на остатки укрепления, в котором еще

недавно защищался он с неустрашимым Вишневецким против крымского хана; жалко ему стало, что уже не увидит он своего батьки, что батько сам оттолкнул от себя сына. Здесь пловцы простояли три дня, давши время прибыть коннице, которая за остановками, по поводу кормления лошадей в степи, несколько приотстала. Ратные люди казались бодры и веселы, шутили, шумели, распевали песни.

Окончивши свой отдых, русские поплыли вниз посреди бесчисленных островов и плавней, где встречали себе союзников: то были рыболовы, отправлявшиеся из Украйны за рыбою, и отчасти беглецы, променявшие службу панам или старостам на вольную жизнь в днепровских лесах и камышах, известные тогда под именем «лугарей»; они составляли зародыш будущей Запорожской Сечи, образовавшейся несколько лет спустя. Их встречали на разных островах; жили они в куренях или шалашах, по нескольку человек вместе, на острове Томаковке, где потом возникла первая Сечь. Было их тогда уже до сотни. Эти молодцы пристали к ополчению. Но они же принесли Данилу нерадостную весть, что турки укрепились в Ислам-Кермене, на Днепровском лимане, установили пушки, ждут русских и хотят палить на русские суда.

Проплывши зеленое царство плавней и уже приближаясь к той полосе, где Днепр течет между песчаными берегами, Данило остановился на одном острове и собрал на совет голов и начальных людей.

— Первое,— говорил он,— где оставить лошадей, а другое — как нам плыть мимо Ислам-Керменя?

О лошадях постановили остановиться станом здесь, около Днепра, и отправить сильную станицу на поле узнать, где теперь царь, чтоб дать ему знать о себе и в случае нужды примкнуть к его силам. Слухи об Ислам-Кермене заставили призадуматься. Тут Кудеяр дал такой совет:

— Нам не годится плыть, не узнавши неприятельские силы. Надобно прежде изведать, что у них есть. Если позволишь, боярин, я поплыву к ним и узнаю; я говорить с ними сумею; пожалуй, коли велишь, я прикинуся перебежчиком,— может, мне удастся подделаться к ним и заколотить пушки; я знаю, эти бусурманы плохо умеют с пушками управляться.

— Вот мудрый совет,— сказал Афанасий Елисеевич,— ничего не может быть мудрее этого. Ступай, брат, учини нам всем пользу и себе великую славу, и я с тобой пойду.

— Нет, нет, не пущу я ни тебя, Юрий, ни тебя, Афана-

сий Елисеевич,— сказал Данило,— вы оба мне дороги. Положим, что мы через то и проплывем благополучно, да бусурманы вас побьют; вы не успеете уйти от них. Ни за что не пущу. А вот что. И ты, Юрий, и ты, Афанасий, хорошо знаете ихний язык и ихние обычаи; вы поплывете вперед, как будто в послах, и присмотритесь, как там у них. Может быть, оно и не так страшно, и мы успеем прорваться в море.

Решили, что Кудеяр поплывет вперед посланником от предводителя царской рати вместе с Афанасием Елисеевым; им придали одного новокрещенного из касимовских татар, испомещенного так же, как и Кудеяр, в Белевском уезде. Кудеяру очень не хотелось плыть вместе с Афанасием Елисеевичем; этот человек показался Кудеяру что-то подозрительным, хотя он выдавал себя за грека, но по выговору и ухваткам напоминал собою сынов Израиля, которых Данило Адашев не знал, но к которым Кудеяр присмотрелся в Украйне.

Когда трое, составлявших посольство, подплыли к Ислам-Керменю, Кудеяр, осматривая местность, сказал:

— Боялись напрасно, Днепр так широк, что коли будем плыть возле противного берега, так, почитай, до нас не долетят их арматные пули.

— Особенно, когда они и стрелять-то — небольшие искусники,— прибавил новокрещенец.

— Не воротиться ли нам да сказать воеводе, как бы худа этим не сделали мы себе, только им дадим о себе знать; чай, они нас не ждут, так мы проплывем себе ночью.

— То правда,— сказал Кудеяр.

— А нет,— сказал Афанасий,— как же можно не исполнить того, что воевода приказал? Да притом мы всего здесь не видим, а вот как нас впустят в крепость, так мы и узнаем, как в средине у них, все смекнем и доложим воеводе подлинно.

Подплыли к крепости. Афанасий Елисеевич затрубил в рожок, а Кудеяр выставил на конце своей сабли шапку. В воротах крепости приподняли щиток, открылось отверстие. Вышло двое турок. Афанасий Елисеевич первый вскочил на берег и закричал по-турецки:

— Посольство от воеводы его царского величества.

— Иди сюда один,— отвечали ему,— а прочие пусть остаются в челнах.

— Не я голова; вот голова,— сказал Афанасий,— он пусть войдет со мною! Так надо!

— Идите, только без оружия: не воевать пришли.

Кудеяр и Афанасий повиновались, оставили в челне свое оружие. Их пропустили в ворота и тотчас отпустили щиток.

Их привели в деревянное здание, где жил санджакчей, начальствовавший крепостью.

Положив руку на грудь по восточному обычаю, Кудеяр почтительно поклонился и произнес речь, в которой излагал неправды крымского хана, извещал от имени воеводы, что он по царскому повелению идет с войском наказать хана и принудить его отпустить русских пленников и установить прочный мир, чтоб вперед не было более обиды и разорения Российской державе; уверял, что с турками Россия не воюет, царь находится с турецким падишахом в любви и дружбе; и просил пропустить русское войско в море.

— Это не может статься,— сказал санджакчей.— Московский царь хочет завоевать Крым, как он уже завоевал Казань и Астрахань, мусульманские царства; нам ведомо, что в Москве чинилось и что затеяно, не вы одни идете на Крым: Вишневецкий послан на Дон, а сам царь со своими великими силами хочет идти на Перекоп. Нельзя допустить, чтобы мы сложа руки сидели да смотрели, как Москва будет покорять и порабощать наших правоверных мусульман. Мы все должны защищать нашу веру. Притом хан крымский подручник и слуга нашего могущественнейшего, непобедимейшего государя; довольно того, что прошлый год мы спустили вам. Нет, мне приказано беречь проходы и не пускать на море никого, а если пойдете силою, то буду биться с вами.

— Этот человек,— сказал Афанасий Елисеевич,— не посланник, а лазутчик; он вызывался прикинуться перебежчиком и заколотить у вас пушки. Воевода не согласился, пожалевши его, чтоб он не пропал, пожалел оттого, что у него необычная сила, а велел ему плыть как бы посланником, на самом же деле для высмотров.

Кудеяр бросил свирепый взгляд на товарища и сказал:

— Он лжет, как пес. Я прибыл к вам посланником от воеводы, а не лазутчиком.

— Нет, он не лжет,— сказал санджакчей,— этот человек нарочно подослан нами к вам в Москву, чтоб проведать, что у вас затевается и делается; он нам прямит, он наш верный слуга, и мы ему во всем верим. Ты не воротишься к воеводе, мы тебя здесь задержим.

— Вы не можете меня задержать,— сказал Кудеяр,—

это нечестно, противно народным правам. Я посланник, послов не секут, не рубят. Я приехал за ответом, какой ответ вы мне дадите, такой я и отнесу воеводе.

— Нет, ты ничего не отнесешь воеводе,— сказал санджакчей.— Я тебя отсюда не выпущу.

— Ты не смеешь этого делать. Я не военнопленный, наш государь не в войне с вашим, наш государь будет жаловаться вашему, и тебе будет за меня наказание.

— Наш государь,— сказал санджакчей,— велит хватать лазутчиков, и ваш то же делает. Вот мы к вам подослали этого еврея, который прикинулся у вас не знаю кем; если бы вы узнали, что он лазутчик, вы бы его не выпустили. Так у нас ведется. Ты будешь задержан.

Кудеяр вспыхнул и крикнул:

— Я не лазутчик, я посол, эта змея лжет,— и с этими словами он схватил за затылок Афанасия Елисеевича и нагнул его к земле. Афанасий Елисеевич лишился чувств.

Испуганный санджакчей бросился в заднюю дверь и начал кричать. Весь гарнизон всполошился. Турки с яростными криками бежали к дому. Кудеяр выскочил из дома, сгоряча стал отбиваться кулаками, но толпа, стоявшая сзади, бросилась на него; ему на шею накинули аркан... он стал задыхаться и упал навзничь; тогда человек тридцать набросилось на него и стали надевать на него цепь.

— Мало одной, разорвет,— говорил санджакчей,— еще одну.

Принесли еще цепь и стали ею обвязывать Кудеяра.

— Мало двух цепей. Третью.

Принесли третью цепь и надели на Кудеяра.

— Кандалы ему на ноги потяжелее!

Кудеяра отвели в нижний ярус деревянной башни и заперли.

Тогда один турок вышел за ворота.

— Ты по-турецки знаешь либо по-татарски? — спросил он оставшегося в челне.

— Знаю по-татарски,— сказал новокрещенец.

Турок приказал передать воеводе, что посланцы его задержаны, потому что они лазутчики, а затем, если воевода пойдет на море, то из крепости будут стрелять и не пропустят его.

С этим ответом поплыл вверх по Днепру новокрещенец.

На другой день отправлялась галера в Кафу. Вывели окованного Кудеяра, посадили в темное дно галеры,— санджакчей написал донесение кафинскому паше, что от-

правляет пойманного московского лазутчика, который во время его поимки дрался и ушиб до смерти еврея, указавшего на него.

Мнимый Афанасий Елисеевич не вынес руки Кудеяра.

Данило Адашев, получивши известие о задержании своих послов, не подозревал, что Афанасий Елисеевич погубил своего товарища, и жалел о нем столько же, сколько о Кудеяре. Он решился идти вперед и не только пытаться проплыть мимо Ислам-Керменя в море, но взять самую турецкую крепость и освободить посланцев, задержанных вопреки всяким народным правам.

Вдруг неожиданно является из Севска станица, а с нею московский сеунч с царским указом. В этом указе извещался Данило, что великий государь, его царское величество, изволил постановить с крымским ханом замирение, а ему, Данилу, велено не ходить далее, не зачинать с татарами и турками никаких задоров и воротиться в города, распустить полк, а самому ехать в Москву.

Можно вообразить себе досаду Данила Адашева, получившего такое внезапное и никак не жданное приказание; давняя была мысль о покорении Крыма, столько лет он об этом только и говорил, столько трудов из-за этого перенес, все не удавалось,— теперь вот, казалось, пошло дело вперед, и вдруг, как бурею, все поломалось, попортилось...

Однако жалей не жалей, а надобно было исполнять царский указ. Данило хотел, по крайней мере, освободить задержанных в турецкой крепости и отправил станицу человек в десять, уже не по Днепру водою, а полем на конях. Новокрещенец опять был послан головою в этой станице. Данило извещал турецкого коменданта, что его царское величество с крымским ханом постановил замиренье, посланная им рать возвращается назад, а потому воевода просил отпустить к нему отправленных для переговоров посланцев.

Санджакчей, получивши такую грамоту, пригласил новокрещенца в крепость, принял его дружелюбно и тотчас предложил ему лакомство. Прочих станичников в крепость не впустили, но угощали за воротами. Санджакчей послал Данилу Адашеву в подарок сахару и цареградских плодов и сказал:

— Дай Бог вам подобру-поздорову вернуться домой, а с нами по соседству жить всегда в любви и дружбе; а чтоб отдать вам ваших посланцев, того я никак не могу сделать, для того что они не посланцы, а лазутчики, да еще один,

у нас будучи, ушиб до смерти человека. За это мы его сковали и отправили на галерах в Турцию. Пусть боярин не прогневается: ни в какой земле не отпускают убийц, а казнят, а человек его, что сказался послом, учинил убийство, и потому мы его не отпускаем.

В таком смысле послан был ответ Данилу. Нечего было делать ему. Не вести же войны из-за Кудеяра, когда царь не приказал чинить задоров и велел ворочаться.

XI. ИНОЗЕМНЫЙ ДОКТОР

Душевное и телесное здоровье царицы Анастасьи день ото дня становилось хуже. Вечная досада, злость, тоска сушили ее. Ее хворому воображению повсюду представлялись козни врагов; и к числу этих врагов прибавился теперь Кудеяр, которого она никогда не видала в глаза, но которого ненавидела за то, что случай, происшедший с ним, расположил царя к войне с Крымом и сблизил опять с Сильвестром и боярами. Сначала царь долго скрывал от Анастасии свое намерение, но братья узнали и сообщили сестре. Царица стала перед царем ахать и корить его. Царь, увидав, что царица все знает, сперва хмурился, сердился, потом стал уговаривать, чтоб она успокоилась, доказывал, что всем видна воля божия, указывающая путь Русской державе, что теперь уже ему нельзя не ходить в поход; уверял, что пойдет на короткое время, что иначе будет перед Богом грех, а перед людьми стыдно. На Анастасью ничего не действовало, тем более что братья, особенно Григорий, возбуждали ее. Царицу мучила не столько боязнь за здоровье мужа, сколько ревность к тем, которых царь приближал к себе и слушал советов. Она становилась невыносимо плаксива, царь стал реже ходить к ней, потому что каждый раз ворочался от нее с тоскою; царь для развлечения стал ездить в подмосковные села, забавлялся там травлею, учреждал попойки, окружил себя новыми любимцами и потешниками. В числе их Вяземский и Басманов занимали первое место и незаметно овладевали царем; он не занимался с ними никакими делами, не говорил о делах; они только старались забавлять царя, доставали ему скоморохов и шутов, потешали разными дурачествами. Анастасия между тем все более хирела, а братья кричали, что ее испортили ведовством. Царь, глядя на ее болезненность, то сердился и не посещал ее по неделям, то умилялся и проводил с нею целые дни, между тем не бросал своего

крымского предприятия, хотя не занимался никакими приготовлениями к походу, оставивши все на волю бояр. Последние были этому рады и надеялись, что дело пойдет лучше, если царь не будет в него мешаться и станет слушаться других. Им нужен был в самом походе царь только для того, чтобы его присутствием придавать предприятию более силы и значения. Вишневецкий был отправлен на Дон, Данило Адашев — на Псел, служилым людям велено было собираться к весне в Тулу; с Ливонией начались мирные переговоры; бояре стали действовать согласно, прекращались мелкие дрязги; великое дело воодушевляло их так же, как во время казанского похода; Сильвестр деятельно поддерживал их, не давал задремать их порыву, беспрестанно посещал то того, то другого, оживлял своими беседами, весь предался делу, несмотря на то, что в это время постигло его семейное горе: умерла жена, с которою он жил более тридцати лет дружно, душа в душу.

Приближался час, когда царю надобно было отправляться в поход. Тут враги Сильвестра и его сторонников нашли способ повернуть царя в иную сторону.

Назад тому год приехал в Москву вместе с английскими гостями доктор Бомелий из Везера, живший перед тем в Англии и занимавшийся, кроме медицины, астрологией, алхимией, кабалистикой и всяким ученым вздором. Человек он был ловкий: приехавши в Россию, начал тотчас учиться по-русски и скоро успел до того, что все понимал и сам говорил бегло, хотя неправильно. Врач был тогда редкостью. Бомелий умел пустить пыль в глаза, представлялся всезнайкою; царь взял его к себе. Когда царице стало хуже, царь предложил ей призвать врача. Сначала царица против этого отбивалась, как говорится, и руками и ногами; благочестивое чувство ее отвращалось от врачества. «Надобно надеяться на Бога, а не на врачей»,— говорила она. Но потом согласилась, именно тогда, как узнала, что ненавистный ей Сильвестр был против этого врача. Воспитанный в преданиях благочестивой старины, Сильвестр вообще не очень доверял врачевству, постоянно говорил, что если Бог не поможет, то врач ничего не сделает, и приводил примеры, когда люди, одержанные тяжелыми недугами, освобождались от них божиею милостью; но Сильвестр не называл всякое врачевство дьявольским ведовством, как говорили тогда многие, и посоветовал бы сам прибегнуть к знающему человеку: от какой болезни принять внутрь какую-нибудь траву либо чем-нибудь помазать наружную

язву; только доктора Бомелия сильно невзлюбил Сильвестр. Пронырливый немец пытался подделаться к нему и приходил толковать с ним о вере, изъявляя готовность убедиться в правдивости православной веры и принять ее. Сильвестр так умел угадывать людей, что сразу раскусил Бомелия, и, когда царь советовался с Сильвестром: не грех ли позвать к царице иноземного доктора? — Сильвестр не только вооружился против этого, но убеждал царя прогнать от себя этого немца и возложить на Бога упование о здравии супруги. Зато отец Левкий, с которым царь также заговорил о Бомелии, расхвалил доктора до небес и доказывал царю, что врачебная наука дается от Бога, как милость божия к человеку; и кто не советует обращаться к врачу, тот, значит, здоровья не желает царице.

Царица, узнавши от братьев, что Сильвестр ненавидит Бомелия, а Левкий советует царю положиться на него, сама стала просить царя привести к ней врача, о котором царь говорил ей прежде.

Царь пришел к ней с Бомелием.

Это был маленький человечек с большою лысою головою, длинным носом, прищуроватыми небольшими глазами, никогда не смотревшими прямо, всегда с низкопоклонным видом и с тонким, почти женским голосом.

Немец, по царскому приказанию, подошел на цыпочках к сидевшей в креслах царице, внимательно смотрел на ее лицо, пощупал пульс, потом приложил палец себе ко лбу, потом развел руками и знаменательно пожал плечами.

Царь тревожно ждал, что скажет иноземный мудрец.

— Государь,— сказал Бомелий,— Господь Бог может помочь ее маестету государыне-царице. Недобрый человек — государь.

— Что? что? Отрава!

— Нет, великий государь,— отравы нет! А злой человек сделал тоже...— как это называется?

— Порча, волшебство?

— Да, государь.

Анастасия бледнела, теряла сознание.

— Немец,— закричал государь,— ты испугал ее.

— Государыня-царица,— сказал Бомелий,— не бойся, Господь Бог милосерд! С божией помощью хорошо будет. Помочь еще можно, только надобно дурного человека прочь — далеко...

— Пойдем, немец, ты мне там скажешь,— сказал царь.

— Государыня-царица,— продолжал немец,— ничего! —

твое величество, будешь здорова и покойна; я так сделаю, что все будет как лучше.

Царь вышел с Бомелием.

— Говори, немец, всю правду мне говори,— сказал царь.

— Государь-царь,— сказал немец,— есть в чужих краях науки; в России наук нет, а в наших краях есть науки, и через эти науки я могу узнать, что где есть и что будет наперед. Я по звездам небесным умею читать и твою судьбу скажу. У вас в России говорит народ, что это ведовство от диавола. Нет, государь, не верь такой речи: науки не от диавола, а от Бога. Как может быть, чтоб наука была от диавола? Я много учился всяким наукам, я учился богословию, верую в Троицу единосущную и в Господа нашего Езус Христус,— и как же можно, чтоб наука была Богу противна.

— А если ты учился богословию,— сказал царь,— то как же ты, немец, не дошел до того, что наша греческая восточная вера есть сущая христианская, и зачем остаешься в своей лютеранской ереси и Господа нашего зовешь Езус Христус?

— На все потребно время, великий государь, я много читал святых отец,— сказал Бомелий,— и видел из их книг, что римская вера неправильна, и наша вера евангелическая не совсем правильна, и хотел бы узнать веру греческую, только в наших землях веры греческой нет, я нарочно приехал в твое царство, державный царь, чтобы научиться, что есть греческая вера, и теперь как я узнал, какая в православной вере есть большая сила, так я имею желание принять греческую веру, креститься истинным крещением.

— Вот это хорошо, немец,— у меня в моем царстве для иноземцев принуждения в вере нет; сам видишь, живут у меня и английские и галанские люди безобидно, и ты, коли хочешь, можешь оставаться в своей вере; а когда есть твое желание быть с ними в единоверии, так тем лучше.

— Только, великий государь, не положи гнева на меня, что я скажу: духовный чин не хочет науки знать, и я не думаю, чтобы истинная вера далеко пошла... Я приходил к твоему протопопу Сильвестру, думал, он очень ученый человек,— о, пфуй, нет! Я его стал спрашивать, думал научиться от него, а он со мной и говорить не хочет, ничего сам не знает, а какой гордый, оттого что в твоей милости, думает, что он умнее и важнее всех людей в твоем царстве. Вот чудовский архимандрит — ах, какой это мудрый, ум-

ный человек! Если б этот человек учился! А то нехорошо, великий государь, что в твоем царстве школ нет, наук нет.

— Знаю,— сказал царь,— что это нехорошо; да ты думаешь, с нашим народом что-нибудь сделаешь? Ты думаешь, наши люди таковы, как ваши? Не так они Богом созданы, чтоб им чему учиться!

— Отчего ж, великий государь, твое царство — величество русского рода, а такой человек и так все знает!..

— Я разве русский,— сказал царь,— мои предки из немец пришли, а роду были славного кесаря Августа римского, от брата его Пруса, и поселились у Балтийского моря на реке Русь, и оттого Русь прозвалась.

— А,— сказал Бомелий,— твой великий род! великий род! В целой Европе нет такого славного старинного рода, как твой, государь. Так тебе непременно надобно овладеть Ливонией, Балтийским морем, там рода твоего отчина — твоя.

— Да, этот край — наша извечная отчина, и оттого мы добиваемся, чтоб он был под нашим скипетром.

— Да,— сказал Бомелий,— Бог тебе помогает, великий государь, ты побеждаешь врагов иноземных; а кабы только ты мог победить врагов внутренних. Они опасны. От домашних врагов не можно уберечься. А у тебя много врагов около тебя, государь, очень много. Они хотят, чтобы ты самодержавным не был, чтоб по их совету все делал, ты такой мудрый царь, ты один можешь управлять народом своим: ты умнее их всех, ты храбрый... Бог свидетель, нет такого другого государя не только в Европе — и на целом свете, как ты,— а твое несчастье, что у тебя слуги коварные, изменники, лиходеи... твои бояре... О!.. Они тебе добра не хотят, себе власть взять хотят. Да этого не будет. Велик государь! Я доложу твоему величеству, что умею по звездам узнавать и, что будет наперед, все узнаю, есть у меня такая книга. О! эту книгу надобно двадцать лет читать, да еще других сто книг прочитать, только тогда можно понимать, что в этой книге написано. Я по этой книге все узнаю...

Царь отпустил Бомелия, а через день опять позвал его.

— Я много, много знаю,— сказал Бомелий.— Твой первый тайный враг — протопоп Сильвестр; ты его, государь, далеко... он недобрый человек, он не любит твоей царицы, он называет ее Езавелью. У! Государь! Как это можно! Вся Москва знает про это. Этот протопоп бесовскую силу имеет, он ведун... он тебя, великого государя, опутал. Это

мне книга сказала, и бояре твои, лиходеи, с ним одно. Они тебя хотят вести на крымского хана. Нет, государь, не ходи. Я по звездам смотрел; великое несчастье будет, твоя царица умрет без тебя, как ты в поход пойдешь, и твоих царских благородных детей изведут. Много их таких, что хотят царствовать. А есть один... О, это, это очень опасно!

— Это кто? — спрашивал нетерпеливо царь.

— Я тебе назвать его не могу,— сказал Бомелий.— Я еще сам не знаю, кто он, только вижу, что есть такой, самый опасный враг!

Ум помутился у царя от этих слов. Не решаясь сразу ни на что, царь сказал:

— Смотри, немец, никому-никому не говори об этом.

— Нет, нет, государь; я всегда буду тебе узнавать; как только что ты задумаешь делать, сейчас позови меня, вели посмотреть в книгу и по звездам; я все тебе скажу, может быть, такая планита придет, когда можно идти воевать на крымского хана,— тогда Бог тебя благослови! А теперь Бог тебя сохрани, твоей царицы на свете не будет.

Вслед за тем отец Левкий открыто наступил на государя и явно стал говорить пред царем, что Сильвестр ведун, околдовал царя и мыслит ему зло.

Явился еще монах, Михаил Сукин, и доносил, что Сильвестр называл царицу Анастасию Иезавелью.

С своей стороны новые любимцы, с которыми царь ездил в подмосковные села забавляться, стали уверять его, что Сильвестр ведун; говорили, что он смеется над царем, хвастает, что он держит царя в руках и что захочет, то из него сделает.

Настроенный с разных сторон, а более всего напуганный предсказаниями Бомелия о смерти, долженствующей постигнуть Анастасию от тайных врагов, если он пойдет в поход, царь наконец решился сделать над собой усилие.

Бояре собирались в поход и торопили царя. Выезд его был назначен; до выезда оставалось три дня.

Царь Иван Васильевич созвал бояр и думных людей в свою столовую палату. Глаза его сверкали каким-то болезненным огнем; походка его была неровная. Он сел на свое место и сказал:

— Бояре и думные люди, объявляю вам мою царскую волю! Нам не угодно идти в поход на крымского царя; призовите ханского посла, которого мы задерживаем, и объявите ему отпуск; скажите, что мы хотим постановить с крымским ханом вечный мир и жить с ним в дружбе,

а затем отправим в Бакчисарай нашего посла для договора. Сейчас послать гонцов к Вишневецкому на Дон и к Данилу Адашеву на Днепр с указом, чтоб они воротились и никаких задоров с крымскими людьми не чинили; всем служилым людям, что собраны под Тулою, сказать нашу царскую волю, чтоб они расходились по домам до нашего царского указа.

Князь Курбский хотел вести речь, но только что сказал: великий государь!..— как царь прервал его:

— Бояре и думные люди! Говорите тогда, когда мы вас спрашиваем и вашего совета требуем; ныне же мы, государь самодержавный, вашего совета не спрашиваем, и говорить вам ни о чем непригоже.

Он с гневом, быстро ушел из столовой избы.

Услышал обо всем Сильвестр, узнал, что у царя в приближении Бомелий, что враги Сильвестра подстроили этого иноземца напугать царя звездословными предсказаниями; узнал, что Сукин подал на Сильвестра извет, а Левкий открыто говорит царю, что он ведун; понял Сильвестр, что господство его минулось, и решился проститься с царем навсегда. Он послал к царю просить допустить его, но получил ответ, что царь его видеть не хочет.

Тогда Сильвестр отправился к митрополиту Макарию и сказал:

— Преосвященный отче Макарий! Богу угодно было позвать к себе мою жену; того ради, яко вдовым попам не подобает священнодействовать, я пожелал удалиться от мира, благослови принять иноческий образ.

Макарий знал Сильвестра издавна, еще с Новгорода, и сам, сделавшись митрополитом из новгородского архиепископа, пригласил его в Москву. Возвышение Сильвестра не совсем было по сердцу Макарию: «Смотри-ка,— говорил он своим приближенным,— каков! Как подъехал к царю! Поп, а сильнее нас, митрополита и всего освященного собора,— что скажет, так царь и делает».

Не любил Макарий Сильвестра, но только хмурился, досадовал на него, а зла ему не делал; Макарий был самолюбив, но не злобен,— Сильвестр со своей стороны всегда относился к Макарию чрезвычайно почтительно, хотя случалось, что говорил царю противное тому, чего хотел Макарий. Макарию было очень приятно, что Сильвестр наконец уходит. Макарий благословил его, напутствовал самым дружелюбным образом; Сильвестр попрощался с сыном и уехал в один из белозерских монастырей.

Когда Данило Адашев по царскому приказанию воротился в Москву, Сильвестра уже там не было. Бояре повесили головы, не смели заикнуться о крымской войне, а некоторые из тех, которые недавно еще доказывали ее несообразность, восхваляли мудрость царя, лучше всех понимающего, что следует делать.

Данило явился с донесением к царю. Иван Васильевич принял его сурово. Его рассказ о задержании Кудеяра турками не произвел на царя никакого потрясения; царь по этому поводу не сделал никакого замечания.

Вишневецкий, получивши приказание прекратить военные действия, воротился в свой Белев и отправил к Сигизмунду-Августу письмо, просил прощения за выезд, изъявлял готовность служить своему природному государю и во всем повиноваться его воле. Жигимонт-Август прислал ему ласковый ответ и пригласил воротиться. Вишневецкий собрал своих казаков.

— Плюнемте, братцы,— сказал он,— на эту глупую Москву и пойдемте в свою Украйну. Нет на свете земли лучше нашей вольной Украйны. Пришел я сюда с вами ради того, чтоб подвинуть московского царя с его ратью на бусурмана; не удается нам это, так нечего нам тут делать. Царских милостей и поместьев нам не нужно, есть у нас земли и всякого добра довольно.

— Правда, батько,— сказали казаки,— черт с нею, с этою Москвою; и детям и внукам закажем ходить сюда, разве когда войною пойдем на москвитина.

И собрались они и уехали все из Белева. Донес царю белевский воевода. Царь сказал:

— Пришел как пес и ушел как пес. Туда ему и дорога!

Царица Анастасия и ее братья добились наконец своего. Царь не пошел в поход, ненаглядный Иванушка остался неразлучно со своею агницею, как он называл жену в минуты нежности. Ненавистного Сильвестра уже не было. Но здоровье Анастасии не поправлялось, а становилось все хуже. Она ездила вместе с царем к Сергию, к Пафнутию и в другие святые места; и никто уже без Сильвестра не посмел представлять царю, что ему следует вникать в дела, а не ездить по монастырям. Но молитвы, как видно, не помогали здоровью царицы. Она обильно раздавала милостыню; каждый праздник ее боярыни обделяли толпу попрошаек; со всей Российской державы приходили к ней старцы за милостынею; дружелюбно допускала она их к себе и толковала о душеспасительном деле,— и все хвалили ее

милосердие, говорили, что она истинная мать страдающих, и только бедного Кудеяра некому было искупить из неволи.

Не помогла царице и милостыня, не помогло ей и то, что во всех церквах и монастырях молился духовный чин об ее здравии. Царица скончалась.

Царь разрывался от горя, но чрез две недели предался разгулу и разврату ради утешения; в его голове засела твердо уверенность, что Анастасия была жертвою порчи и отравы по наущению Сильвестра. Бомелий, чтобы выгородить себя, старался поддерживать в нем ту уверенность, представлял царю, что чары, которыми давно уже испортили царицу, были так сильны и так успели подорвать ее здоровье, что его ингоги и безуи ничего уже не могли тут поделать, и выводил из этого, что если воротить мертвую из гроба невозможно, то царь должен, по крайней мере, беречь себя и своих детей от лютых врагов, окружающих его престол. Бомелий принял православие, ходил в церковь, бил поклоны и наружно держал посты, позволяя себе подсмеиваться над ними в беседе с иноземцами на языке, которого русские не понимали.

КНИГА ВТОРАЯ

I. НЕВОЛЯ

На берегу залива Черного моря построен многолюдный, обширный город; остроконечные минареты, купола и зеленые вершины тополей выбегают в воздушную синеву из кучи черепичных крыш; дома, построенные в один, а много в два яруса, расположены узкими неправильными улицами. Окна расположены большею частью во двор... На западной стороне города, по скалистой горе, тянется толстая, темносерая стена, заворачиваясь на северо-западе к морю и оканчиваясь у самого берега огромною башнею со въездными воротами; на южной стороне, на холме, черные, угрюмые стены турецкой крепости с четырьмя башнями, а под холмом, над морем, другое укрепление, где находится двор турецкого начальника. Это город Кафа, город, знаменитый с давних времен, некогда генуэзская колония, средоточие торговой деятельности на Черном море, а теперь центр турецкой власти над Крымом и всем черноморским берегом, местопребывание беглербега, или губернатора: он над-

зирает над крымским ханом и начальствует над турецким войском, состоящим из тимарли (служилых помещиков, вроде русских детей боярских), сипаев (состоящих на жалованьи конников) и эджидов (нечто вроде наших казаков). Древняя слава торгового и промышленного города не затмилась для Кафы с поступлением ее под турецкое владычество; в это время она посвящена была особенно одному промыслу, и вряд ли в Европе был другой город, где бы так процветал этот промысел. То была торговля невольниками; с именем Кафы повсюду соединялось представление о живом товаре; приезжего в Кафу с первого же разу поражал звук кандалов и цепей и зрелище бесчисленного множества невольников, переходивших за деньги из рук в руки. Разные страны, племена, физиономии, нравы и языки имели в Кафе своих представителей: черкесы, грузины, калмыки, молдаване, персиане, поляки, греки, немцы, венгры, чухны — люди обоего пола и всякого возраста; но более всего продавалось здесь нашего, русского, многотерпевшего народа, со всякого края, всех наречий и званий: татарам было всего подручнее ловить русских людей, и русский человеческий товар ценился выше другого; русских невольников с особенною охотою покупали на галеры, не только в мусульманских, но и в христианских странах. В приморских пристанях Италии, Франции, Испании можно было видеть толпы их, скованных и сидящих на веслах на галерах; почти все они переходили через кафинский рынок, и у редкого кафинского зажиточного купца не было этого товара, скупленного у татар и хранимого для перепродажи с барышом. Не должно, однако, думать, чтобы тогдашняя Кафа была исключительно магометанский город; половина жителей состояла из христиан разных исповеданий: греческого, армянского, римского; свидетельством их благочестия служило обилие церквей, которым не мешало процветать в свое время веротерпимое правление Солеймана; но благочестие не препятствовало, с своей стороны, христианам держать в кандалах и продавать мусульманам своих братий по крещению.

Невольники были двух родов. Одни — достояние частной торговли: татары после каждого набега приводили наловленных русских людей в Кафу и продавали купцам обыкновенно на рынке, где почти каждый день, с раннего утра до вечера, воздух оглашался стонами, воплями, жалобами и проклятиями на разных языках, преимущественно на русском. Покупщики были туземные, но были также и приез-

жие, посещавшие Кафу по торговым делам. Другие невольники были государственные, или, как мы говорим, казенные; они приобретались также покупкою, но в числе их были и военнопленные. Бо́льшая часть их осуждалась на галеры, а меньшая содержалась в крепости для крепостных и городских работ. Для этого рода невольников отводилось помещение в нижних отделениях стен и башен со сводами и маленькими окнами наверху.

В восточной башне было такое отделение с железною дверью, постоянно запертою. Невольники находились там в тесноте, прикованные к одной длинной цепи, которой конец прицеплялся к кольцу, вбитому в каменный столб, и замыкался огромным замком. У каждого на ногах были кандалы, также с замком. Цепь, соединявшая невольников, оставляла им свободу двигаться, работать и ложиться, но не дозволяла никому отделиться от товарищей и покуситься на побег. Они проводили ночь на голой земле. Утром тюремные стражи выводили их работать под наблюдением надзирателей из тимарли; на ночь опять приводили в тюрьму. Кандалы врезывались в ноги невольникам, а на их спинах часто виднелись багровые следы таволожек, которыми секли их надзиратели за недостаток трудолюбия. Их кормили хлебом да луком; иногда давали дурное мясо и вонючую рыбу; вообще, здоровьем их не очень дорожили в Кафе, потому что там недостатка в них не было. В крепости невольники беспрестанно переменялись; одни, не вынося тягости труда и дурного содержания, умирали; других переводили на галеры, где смертность была постоянно в громадном размере: кто вынес бы лет восемь галерной жизни того времени, тот считался необычайно крепким.

В тюрьме, где жила толпа крепостных невольников, было отделение с запертою железною дверью и с маленьким отверстием, выходившим в общую тюрьму. Этот застенок имел до трех сажен длины и до сажени ширины. Там заключен был Кудеяр, окованный и по рукам и по ногам. Он признан был военным лазутчиком; притом же, будучи в плену, дерзнул сопротивляться и совершил убийство,— за это ему отвели такое помещение.

Идут дни за днями, месяцы за месяцами. Кудеяр сидит, а больше лежит в своем застенке; кандалы разъели ему руки и ноги, протлелая одежда вся наполнилась насекомыми; нестерпимая вонь душит его. Ему приносят в сутки по ломтю хлеба и по ковшу воды, а иногда забывают принес-

ти — и Кудеяр сидит без пищи дня по два. Кудеяр молит у Бога смерти, а смерть не приходит.

Иногда невольники заводят с ним разговор. Между ними бывают русские. Вспоминают они далекую родину, кто родителей, а кто жену и детей, и горько заплачет, бедный, а потом затянет русскую песню; но другие, скованные с ними, сердятся, бранятся на непонятном языке за то, что певцы не дают им спать. Кудеяр слушает, вспоминает свое былое, вспомнит он Настю; и сердце его обольется кровью, и просит он у Бога смерти, а смерти не дает ему Бог.

Думает Кудеяр: «Почему не выкупит меня царь? Он был так ко мне милостив. Царь не знает, где я, а то он бы меня вызволил. Послать челобитную — но кому сказать? Кого попросить?» Пытался Кудеяр заговорить об этом со сторожем, но сторож не отвечал ему ни слова. Никакое начальствующее лицо не приходило в тюрьму с тех пор, как его бросили в нее.

Минул год. Кудеяр потерял счет месяцам. Минуло еще полгода,— Кудеяр почти теряет ум, память, забывает, где он, что с ним, думать не может, тосковать даже не способен. Кудеяр не человек более; Кудеяр словно дерево хилое, дряблое...

Прошло таким образом более двух лет. Уже в общей тюрьме переменялись много раз невольники; Кудеяр не раз слышал последние стоны умиравших, слышал, как сторожа отцепляли труп от живых людей и зарывали в той же темнице... Завидовал Кудеяр счастливцу. Переменялись лица, а звуки цепей и стоны были все те же.

Вдруг в одно утро, когда все из общей тюрьмы были выведены на работу, отпирается дверь, входят несколько человек; отворенная дверь пропустила в общую тюрьму полосу света, и Кудеяр через отверстие своего застенка увидел господина в зеленой чалме, в золотом кафтане, из-под открытой полы которого выглядывали голубые шелковые штаны и вышитые сафьянные сапоги. На левом боку его была сабля с рукоятью, украшенною драгоценными камнями. За ним держали бунчук с тремя конскими хвостами.

— Отоприте,— сказал господин по-турецки, указавши на дверь, ведущую в застенок, где томился Кудеяр.

Дверь отомкнули и отворили.

— Выходи,— сказал господин Кудеяру.

Но Кудеяр не в силах был идти; ноги его страшно опухли.

— Ах, бедный, бедный,— сказал господин,— как его измучили. Ему черви ноги съели.

В самом деле, черви кишели в ранах, покрывавших ноги Кудеяра.

Сторожа, поддерживая Кудеяра, вывели его из застенка. Он стонал от боли, силясь ступить на ноги.

— Я новый беглербег,— сказал господин,— ты более здесь не останешься, прикажу тебя обмыть, лечить; поправится твое здоровье, будешь жить у меня; я тебе найду легкую работу.

Кудеяра вывели на воздух. Солнечный свет ослепил его. Он долго не мог открыть глаз. На лице, от непривычки к воздуху, выступила кровь.

По приказанию нового паши Кудеяра перевезли из верхней крепости в нижнюю, на губернаторский двор. Две невольницы обмыли его, надели чистое белье. Губернаторский врач дал ему мазь, от которой стали заживать его раны. Его более не заковывали и, вместо прежнего черствого хлеба, кормили бараниной с рисом.

Откуда такая милость, какой добрый ангел сжалился над Кудеяром? Все это значило не более, что в Кафу приехал на смену прежнему новый губернатор. В Турции беглербеги и подведомственные им санджакчеи (начальники уездов) сменялись часто; посредством подкупов и поклонов они добывали себе места и старались поскорее обогатиться всеми беззаконными средствами, обдирали подчиненных, обкрадывали казну и за то скоро слетали со своих мест, уступая их другим искателям. Эти последние, принимая должность, старались действовать наперекор один другому. И на этот раз случилось так в Кафе. Прежний губернатор был человек крутой, надменный, суровый и притом заклятый бусурманин; преемник его был своего рода философ, защитник веротерпимости; он вообще казался благосклонен к христианам, тем более что сам по предкам был грек и между христианами даже знал себе родственников. Притом же этот господин был склонен к винопитию, а как оно запрещается мусульманским законом и дозволяется христианским, то поэтому у нового господина было сочувствие к христианам. Вдобавок, он был личный враг уволенного. Вот почему он по вступлении своем в должность облегчил судьбу христианского пленника, которого так бесчеловечно мучил его предшественник. И не только Кудеяру, всем вообще невольникам стало полегче: они хотя продолжали ночевать в темнице, скованные цепью, но им давали луч-

шую пищу, водили в баню и снабжали переменным бельем хотя изредка.

Оправившись от недуга, Кудеяр рассказал новому губернатору свою судьбу; и губернатор, по-видимому, поверил невинности Кудеяра тем охотнее, что санджакчей, арестовавший Кудеяра как лазутчика в Ислам-Кермене, был родственник кафинского губернатора.

— Я бы,— сказал губернатор Кудеяру,— отпустил тебя, но не смею этого сделать, не доложивши визирю, а доложить боюсь, чтобы, вместо свободы, тебе не было худшей неволи, чтоб тебя не велели прислать в Стамбул да не отправили куда-нибудь на галеры. А ты напиши челобитную своему государю. Пусть твой государь попросит тебя у нашего. Быть может, наши потребуют за тебя денег, потому что наши без денег никого не отпускают!

Затем начали искать такого русского, который, будучи грамотен, мог бы написать челобитную, но такого человека не нашли; тогда со слов Кудеяра, не умевшего ни читать, ни писать, сочинена была челобитная по-турецки секретарем беглербега; вместе с тем Кудеяр продиктовал письма к двум Адашевым, к Курбскому и Сильвестру. Бедный пленник не знал, что в Москве все изменилось, и обращение к таким лицам могло только послужить ко вреду. Письма были отправлены в Бакчисарай, к русскому послу, с просьбой перевести их на русский язык и отправить по назначению.

Живет Кудеяр на губернаторском дворе не закованный, спит с прислугою, исправляет разные работы. Губернатор им доволен. Проходит таким образом год. Из Москвы нет ответа. «Что же,— думает Кудеяр,— не близко! Пока-то в Бакчисарай переведут мои письма, пока-то они дойдут до Москвы, а из Москвы пошлется обо мне грамота в Турцию. Пока-то из Турции придет грамота в Москву — времени много нужно». Проходит еще три месяца, проходит полгода. Кудеяр грустит. «Уж не убежать ли! — думает он.— Хорошо, как удастся! А как поймают? Тогда уж я пропал!» Ужасный застенок слишком врезался ему в память. Тут он узнал, что есть в Кафе какой-то невольник, бывший русский подьячий. Кудеяр просит губернатора: нельзя ли позвать этого подьячего, чтоб он написал новую челобитную на имя царя. Губернатор дозволил; подьячий настрочил челобитную да еще слезное письмо к Афанасию Нагому, русскому послу в Бакчисарае. Эти бумаги отправили в Бакчисарай.

Прошел еще год после второго челобитья. Ответа не было. Мысль о побеге неотвязно стала тесниться в голову Кудеяра. Он решился наконец исполнить свое намерение, как только представится удобный случай. К этому его располагало и то, что губернатор, вероятно, понявши, что в Москве не дорожат этим невольником и не думают освобождать его, переменил свое обращение с Кудеяром, держал его наравне с другими рабами; и однажды, находясь в злобном расположении духа, дал Кудеяру собственноручно несколько ударов ни за что ни про что. Губернатору показалось, что Кудеяр в его присутствии держит себя слишком смело и без боязни.

Вдруг, когда Кудеяр, по обыкновению, исполнял на дворе какую-то работу, двое сипаев подозвали его и наложили кандалы с цепью.

Кудеяр не мог выговорить ни слова от изумления. Три года он ходил без цепей. Что же он сделал теперь? Или губернатор колдун — может узнавать, что у человека шевелится в мозгу? Или он в самом деле смекнул, что Кудеяр поддается мысли о побеге?

Сипаи, заковавши Кудеяра, приказали ему продолжать свое дело. Губернатора не было дома. Кудеяр продолжает работать и видит: губернатор выезжает на двор с другим каким-то господином, богато одетым. Вслед за тем в доме пошла суетня, беготня...

Кудеяр спросил,— что это значит?

— Новый паша приехал,— отвечали ему.— Старый немедленно собирается в Стамбул.

«Так вот что,— думает Кудеяр,— он велел меня заковать, чтобы сдать новому... значит, меня опять поведут в верхнюю крепость. Ах, я дурак, дурак! зачем я не убежал? Ну, пусть только оставят здесь ночевать! Я уйду, цепи эти порвать не штука».

В доме суетятся, укладываются в дорогу. Ходит Кудеяр как шальной, побрякивает цепью; звали его обедать; ему еда на ум не идет. Вечером, на закате солнца, четверо сипаев взяли его за цепь и повели со двора.

Привели Кудеяра в верхнюю крепость, прямо в ту тюрьму, откуда три года тому назад его вывел губернатор, но уже его не посадили в застенок, а сковали с толпою невольников в общей тюрьме. Только в уважение к его силе на ноги наложили ему те кандалы, которые были на нем в застенке и с которыми всякий другой не мог бы двигаться с места.

Товарищи все новые... Кудеяр произнес горькое восклицание, и вдруг ему откликнулось несколько голосов: оказалось, тут были его земляки, украинские казаки, даже знакомые. Кудеяр узнал от них много нового и печального. Он узнал, что Вишневецкий, покинувши Московское государство, воротился в свою Украйну и с казаками пошел в Молдавию; молдаване сами позвали его на господарство, а потом изменили и подвели турок. Вишневецкий с казаками был взят в плен и отвезен в Царьград. Турский царь приказал привести его перед себя, а Вишневецкий, стоя перед турским царем, обругал Мугаммеда; за это турский царь велел повесить его за ребро на крюк, и висел Вишневецкий, батько казацкий, три дня на крюке, пел псалмы, ругал мусульманскую веру, восхвалял Христа и окончил живот свой святым мучеником. Бывшие с ним атаманы и казаки разосланы в неволю. Жаль было Кудеяру батька Вишневецкого, а пуще всего жаль ему было, что батько умер, не простивши его. «Может быть,— подумал тогда Кудеяр,— оттого и беда меня постигла, что проклятие батька легло на меня»,— и в первый раз пожалел Кудеяр, что убил ребенка своей Насти.

Утром погнали невольников на работу, вечером опять загнали в тюрьму. Так прошло около месяца. Один раз, когда невольники работали на стенах крепости, подошел к ним армянин, торговец невольниками, большой знаток достоинств человеческого тела, как мужского, так и женского. При его многолетней опытности он сразу узнавал и определял, куда и насколько годился всякий живой товар. От его зоркого ока не скрылась телесная сила Кудеяра. Купец рассчитал, что если приобресть такой образчик силы, то, наткнувшись на охотника, его можно продать с большим барышом. Купец стал торговать Кудеяра у беглербега. Собственно беглербег не имел права продавать казенных невольников, но этот беглербег был падок на деньги и притом не боялся, чтобы злоупотребление открылось,— он согласился.

Вечером, по окончании работ, когда невольников уводили в тюрьму, Кудеяра отцепили от прочих, перековали в кандалы, принадлежащие купцу, и купец повел его в свой двор в сопровождении сипаев. Двор этого купца был окружен внутри с трех сторон каменными амбарами с небольшими окнами наверху; эти амбары назначались для помещения невольников, которые беспрестанно то прибывали, то убывали, редко проживая в этом помещении более недели.

Невольники приковывались к стенам, но довольно просторно, так, что могли удобно спать на грязных кожаных тюфяках. На пищу купец не скупился; как благоразумный и рассчетливый торговец, он понимал, что не следует давать товару захудать, потому что тогда придется спустить цену. Купец почти ежедневно ходил на рынок скупать невольников из первых рук, но сам не выводил их туда на продажу: его знали не только в Кафе, но и во всем Крыму; даже в далеких землях он не был безызвестен. У него товар был отличный; оттого и цена была высокая. Мужчины, женщины и дети — все помещались у него вместе; в невольничьем быту приличий не соблюдается.

Беспрестанно приходили в амбар посетители; купец умел завлечь покупателя красноречивым описанием достоинств своего товара, выставлял свою опытность и честность и сбывал товар удачно. Ему помогало то, что он объяснялся на разных языках. Но Кудеяру пришлось посидеть несколько недель. Хозяин ломил за него такую цену, что не находилось охотников купить его. Наконец явился к нему один из богатейших крымских мурз и стал спрашивать, нет ли какого-нибудь силача? Надобно знать, что у крымских вельмож было в обычае щеголять силачами при своих дворах и держать их для борьбы, которая составляла одно из тогдашних развлечений. Купец показал ему Кудеяра, расхвалил до небес его телесные достоинства и присовокупил, что он очень кроток, тих и послушен.

— Знает он по-татарски? — спросил мурза.

— Знает, знает,— сказал купец.

— Немного,— сказал Кудеяр.

Купец бросил на Кудеяра свирепый взгляд, но покупатель сказал:

— Это еще лучше, лишь бы знал настолько, что мог делать то, что ему прикажут. Я нарочно подбираю себе невольников из разного народа, чтобы не очень беседовали между собою.

Кудеяру пришла мысль представиться почти ничего не понимающим по-татарски. «Меня,— думал он,— стеречь не станут, рассудят, что я не посмею убежать, не зная языка; а если убегу, то сейчас поймают — оттого что видно будет беглого невольника-чужеземца».

Мурза отсчитал купцу горсть золотых монет. Кудеяра отцепили, заковали особо и сдали с рук на руки новому господину.

Мурза в тот же день отправился из Кафы в свое имение

на собственных лошадях, в большой арбе, в которой было удобно лежать троим. Кроме невольника-кучера, у него был еще невольник персиянин и наш Кудеяр, сидевший рядом с кучером в оковах.

Когда арбе приходилось спускаться с горы, Кудеяр слез, побрякивая своими цепями; хозяин быстро приподнялся; ему мелькнула мысль: не думает ли невольник убежать? Но Кудеяр схватил за колесо арбу и закричал кучеру: «Гайда», а сам сдерживал тяжелую арбу одною рукою, под гору.

Хозяин вытаращил глаза от изумления: «Понимаю,— сказал он сам себе,— отчего купец дорого взял за него». Но тут же хозяин подумал: «А что, если он при такой силе разорвет свои цепи да убежит? Не заковать ли его покрепче, приехавши домой; но тогда что? Он исхудает, потеряет силу... на что он будет годен? Нет, лучше я буду с ним ласков; он полюбит меня, я ему пообещаю свободу за верную службу. Эдак будет лучше».

Мурза стал объяснять Кудеяру, с расстановкой, добавляя свою речь знаками для большей вразумительности, что он через несколько лет отпустит его за верность, а если невольник вздумает бежать, то ему будет смерть: для выражения последней угрозы мурза с суровым взглядом провел Кудеяру пальцем по шее.

Кудеяр поклонился в землю и объяснил знаками, что понимает, но прикинулся, что не может сказать правильно ни одного слова по-татарски.

— А приедем домой, я тебя раскую,— сказал хозяин.

На ночь приехал мурза в поместье своего друга, такого же мурзы, и первым делом было похвастать покупкою. Кудеяра заставили поднять большой камень и бросить вдаль, а потом разломать подкову надвое. Хозяин был в восхищении.

На другой день оба мурзы выехали из поместья, где ночевали. В одну арбу они сели сами, а править лошадьми велели Кудеяру. В другую арбу услали своих невольников.

— Он ничего не понимает,— сказал хозяин Кудеяра,— при нем можно говорить.

Кудеяр догадался, что у мурз есть какие-то секреты, которые они боялись открывать при людях, знающих татарский язык. Кудеяр тронул лошадей, они пошли живее.

— Каков молодец! — сказал хозяин Кудеяра.— Я его сделаю кучером, и у хана не будет такого кучера.

Затем мурзы стали говорить о своих делах. Кудеяр прислушался к их разговору и понял, что у них есть

замысел против хана. «Э! — подумал Кудеяр.— Вот оно что!» — и старался показать совершенное невнимание к их беседе, а между тем не проронил ни одного слова.

Верст через десять путешественники встретили едущую им навстречу арбу. Из нее высунулся третий мурза,— они к этому мурзе ехали в гости, а мурза, не дожидаясь гостей, ехал к хозяину того поместья, откуда путники выехали. Мурзы остановились, выскочили из арб; начались восклицания: «Акмамбет! Алай-Казы! Алтын-Ягазы!» — затараторили мурзы, смеялись, шутили, целовались; каждый тянул гостей к себе; наконец, порешивши не ехать никуда, остановиться близ леска, неподалеку от деревни, где можно было купить барана и устроить себе прохладу. У татар было в обычае выехать в поле, разбить шатер и там поблагодушествовать несколько времени. Часто мурзы-приятели условливались между собою заранее, съезжались вместе и веселились в шатрах.

Наши мурзы приказали распрячь лошадей и разбить три шатра. Одни слуги отправились в деревню доставать барана, другие пошли рубить дрова, а Кудеяр знаками и отрывистыми словами просил дозволить ему устроить шатры. Несмотря на свои ножные кандалы, он быстро достал из арбы свернутый холст, палки и быстро поставил три шатра, из которых один был обширнее прочих. Мурзы хвалили его и смеялись над его коверканным татарским выговором.

Пригнали барана, зарезали, разложили огонь, стали жарить шашлык. В большом шатре, принадлежавшем хозяину Кудеяра, Акмамбету, уселись мурзы, поджавши ноги, ели руками шашлык, пили кумыс, а потом принялись и за водку, которую достал из своей арбы мурза Алай-Казы, приставший к своим друзьям последним. Акмамбет отпускал вольнодумные выходки насчет запрещения вина Мугаммедом; Алтын-Ягазы доказывал, что они в дороге, а дорожным грех прощается по Корану; Алай-Казы приводил толкование мусульманского мудреца Бурхан-эддина, что все перегнанное через куб не есть вино и не подлежит запрещению. Слуги были удалены. Собеседникам прислуживал один только Кудеяр. Мурзы мешали дело с бездельем, и тут Кудеяр узнал положительно, что у них есть замысел убить Девлет-Гирея и возвести на престол брата его, Тохтамыш-Гирея, находившегося тогда в Московском государстве. Алай-Казы прочитал друзьям письмо Тохтамыша, в котором обещались мурзам золотые горы, если они изведут брата его, Девлет-Гирея. Кудеяр видел, как Алай-

Казы положил это письмо в свой красный шелковый халат с золотыми полосами.

Когда мурзы значительно подпили, то начали петь, дурачиться; потом приказали Кудеяру петь по-русски и плясать. Кудеяр, зная, что татары в минуты веселия любят, чтобы все вокруг них веселилось, вертелся перед ними, побрякивая кандалами, припевая малорусскую «горлицу».

Веселье совсем не шло его суровой физиономии, и тем забавнее казался он подвыпившим мурзам. Алай-Казы до того пришелся по вкусу русский невольник, что он стал просить Акмамбета продать ему Кудеяра. Акмамбет ни за что не соглашался. Алай-Казы стал сердиться, упрекал приятеля в недостатке дружбы, потом началась между ними перебранка, и чуть дело не дошло до драки. Алай-Казы вынул саблю, Акмамбет сделал то же, но Алтын-Ягазы стал между ними и своим красноречием старался примирить ссорившихся друзей. Ему удалось успокоить их, главным образом, тем доводом, что никак не следует ссориться в такое время, когда следует всем соединиться для общего дела. Мурзы помирились, поцеловались, и Акмамбет, в припадке умиления, оказал столько великодушия, что уступал приятелю русского невольника даром, но Алай-Казы, с своей стороны, не хотел брать его и изъявлял готовность подарить другу свою дорогую саблю. Алтын-Ягазы, которого товарищи пригласили на третейский суд, нес такой вздор, что ни Акмамбет, ни Алай-Казы не могли уразуметь его решения. Акмамбет говорил: «Твой, твой невольник!», а Алай-Казы кричал: «Нет, твой, твой!» — и Кудеяр, глядя на них, не знал, кому он теперь принадлежит.

Мурзы принялись опять пить и напились до того, что уже не могли ворочать языком. Слуги постлали постели в шатрах, каждый своему мурзе. Акмамбет отсылал от себя Кудеяра к Алай-Казы и говорил: «Там теперь твой господин, ты уже не мой!» Кудеяр вошел в шатер Алай-Казы; тот уже лежал раздетый и пробормотал, увидя Кудеяра: «Вон, ступай к своему господину, ты уж не мой!» Тут, благодаря проникавшей в шатер полосе света от полной луны, Кудеяр увидел халат с золотыми полосами, лежавший за подушкою Алай-Казы в углу шатра, и сообразил, что стоит только приподнять снизу полу шатра — и легко будет овладеть халатом. Невольники расположились около арб. Кудеяр пошел к лошадям, которые паслись невдалеке, спутанные. На счастье, ему попался под ноги камень. Он без труда разбил свои кандалы и освободил ноги; тогда он

подошел к шатру Алай-Казы, приподнял полу шатра, вытянул халат, побежал к лошадям и, за исключением одной, перебил их ударом камня в лоб, а оставшуюся в живых распутал, сел на нее и во весь дух поскакал.

До света он отъехал верст тридцать. Лошадь его не выдержала и упала. Кудеяр, сняв с лошади уздечку, пошел пешком на юго-запад, где, по его соображению, должен был находиться Бакчисарай. Вскоре он увидел в стороне пасущийся табун лошадей. Свернувши с дороги, Кудеяр подозвал табунщика.

— Чей это табун? — спросил Кудеяр.

— Мурзы Алай-Казы,— отвечал табунщик.

«Вот куда меня Бог принес»,— подумал Кудеяр и сказал табунщику:

— Вот этого жеребца я возьму себе, хозяин приказал.

— Не дам,— сказал табунщик.

— Как не дашь, дурак,— сказал Кудеяр,— видишь халат твоего господина?

— Я не знаю,— сказал табунщик.

Кудеяр, не отвечая ему, подошел к жеребцу, надел на него уздечку, распутал ему ноги. Жеребец захрапел, поднялся на дыбы, но Кудеяр изо всей силы схватил его за гриву и прыгнул на него. Жеребец вмиг присмирел. Кудеяр вскочил на жеребца и, обратившись к табунщику, сказал:

— У вас там в курене седло, нельзя, чтоб не было седла; давай седло, зови своих товарищей.

Кудеяр поехал на жеребце к куреню; табунщик шел сзади и звал товарищей. Двое табунщиков бежали к куреню. Кудеяр соскочил с жеребца и закричал:

— Эй, вы, давайте седло, скорее оседлайте жеребца!

— Кто ты таков? — спрашивали табунщики.

Но один из них, приглядевшись, сказал:

— Это халат нашего господина, я его знаю!

— Да,— сказал Кудеяр,— Алай-Казы велел взять этого жеребца и приказал ехать на нем в Бакчисарай. Он с Акмамбетом и Алтын-Ягазы остался в шатрах на поле, а чтоб вы видели, что он послал меня сам, вот он и дал мне свой халат.

Табунщики поверили и помогли оседлать жеребца. Кудеяр сел на него и сказал:

— Алай-Казы велел кому-нибудь из вас проводить меня до Бакчисарая. Я везу важную бумагу,— скорее!

Один из табунщиков наскоро оседлал коня и сел на него.

— Прощайте,— сказал Кудеяр табунщикам,— когда

вернется Алай-Казы, то скажите ему, что приезжал человек в его халате и уехал в Бакчисарай. Он сам скоро туда приедет.

До Бакчисарая было верст семьдесят. Кудеяр, благодаря проводнику, не путался в дороге, остановился часа на два покормить лошадей, потом снова поскакал и еще до солнечного заката въехал в узкую улицу Бакчисарая. В городских воротах караульные пропустили его, когда он назвался посланцем Алай-Казы.

У ворот дворца стояли на карауле ханские телохранители.

Кудеяр закричал:

— Тотчас доложите светлейшему великому хану, что приехал человек объявить его величеству важнейшее дело.

— Светлейший хан,— отвечали ему,— изволил уехать на свою потеху, на Альму... А если тебе есть какое дело, ступай к великому ханскому визирю.

— У меня такое дело,— сказал Кудеяр,— что я могу объявить его одному только великому хану.

Караульные сказали, что доложат Атталыку, которого хан оставил заведовать дворцом.

Атталык, молочный брат хана, сын ханской кормилицы, любимец Девлет-Гирея, услышавши, что кто-то требует свидания с ханом, велел прежде обыскать его: нет ли с ним оружия, а потом ввести на двор.

— Обыскивайте,— сказал Кудеяр,— но этого письма я не покажу вам; я отдам его самому хану и никому больше, и вы не смеете взять его у меня.

Телохранители, обыскав Кудеяра, увидели на нем крест и сообщили Атталыку, что приехавший какой-то гяур.

Кудеяра ввели во двор. Атталык вышел из дворца и с недоверием оглядывал Кудеяра с ног до головы.

— Кто ты? Зачем? На что тебе нужно увидеть светлейшего хана? — спрашивал Атталык.

— Кто я таков и зачем приехал — не скажу ни тебе, ни визирю, а скажу одному хану. Идет дело о здравии вашего великого повелителя. Если ты меня тотчас не отправишь к хану, то будешь изменник. Тотчас дай мне свежую лошадь и провожатого довести меня до того места, где находится теперь ваш государь. Коли не веришь, боишься меня безоружного, вели заковать меня, это все равно,— мне нужно видеть хана, и я тебе еще раз говорю: если ты меня не допустишь тотчас до хана, тебе худо будет.

Атталык велел дать Кудеяру свежую лошадь и нарядил

десять человек провожатых, а провожавшего его до Бакчисарая табунщика задержал в ханской столице по требованию Кудеяра.

Кудеяру пришлось проехать верст пятьдесят, утром рано он был уже в ставке хана.

На берегу Альмы раскинуто множество шатров, один другого пестрее, один другого выше, а всех выше, обширнее, наряднее шатер Девлет-Гирея,— он весь из шелковой ткани, на нем ханское знамя с изображением луны.

За шатрами вельмож улицами расположены холщовые шатры разных купцов, продающих товары, преимущественно съестное. Куда хан поедет со своим двором, туда за ним едут купцы, появляется город, торговый, шумный; потом, с переходом хана, исчезает и появляется в другом месте, и так на Крымском полуострове появляются и исчезают шатерные города, пока наконец хан не изволит воротиться в Бакчисарай или не пойдет со своими ордами либо на москвитинов, либо на ляхов.

Накануне этого дня хан тешился охотою; вечером после охоты пировал с вельможами, а ночь проводил с одною из своих жен.

Еще хан покоится сном, а Кудеяр настойчиво требует, чтобы его допустили к хану. Капуджи-баши, хранитель дверей ханского шатра, говорит ему «Нельзя будить хана»,— а Кудеяр стоит на своем:

— Если не разбудите, хан разгневается, дело очень важное!

Капуджи-баши сообщил об этом евнуху; евнух пожимал плечами, разводил руками и вопросительно смотрел на Кудеяра, а Кудеяр говорил:

— Тотчас разбудите хана, дело важное!

Ханский шатер разделялся на три покоя. Первый покой — обширная столовая, где хан пирует; второй — диванная, где хан толкует о делах с мурзами; третий — спальня.

Евнух вошел в спальню, разбудил хана и увел красавицу задним ходом в гаремный шатер, находившийся рядом с ханским. Хан омылся розовой водой, обулся в шитые жемчугом сапоги, надел халат, перепоясался саблею, накрыл голову бараньей шапкой с брильянтовым пером, расчесал клочковатую, окрашенную бороду, прочитал наскоро намаз и вошел в столовую.

— Приведите его сюда,— сказал хан.

Кудеяр вошел в столовую, поклонился до земли и произнес:

— Светлейший хан, могущественный повелитель! Лиходеи хотят тебя извести и на твой престол возвести Тохтамыш-Гирея. Вот письмо его.

Девлет-Гирей устремил свои выпуклые глаза на письмо. Морщины внимания покрыли его лоб и к концу чтения заменились выражением свирепой злобы.

— Это письмо к Алай-Казы,— сказал хан.— Еще кто с ним против меня?

— Мурза Акмамбет, Алтын-Ягазы; за этих я ручаюсь, что они изменники; но у них есть соумышленники, как я слышал, другие твои мурзы.

— Сам кто ты? — спросил хан.

— Бедный русский невольник,— сказал Кудеяр.

— Вижу,— сказал хан,— что ты мне доносишь правду; письмо ясно это доказывает. Сам Бог тебя послал. С этих пор волею нашею ты уже не невольник, а мой первый друг, мой избавитель. Как тебя зовут?

— Юрий Кудеяр.

— Как и где ты попал в неволю?

— Я,— сказал Кудеяр,— послан был царским воеводою для разговора в турецкую крепость на Днепре, а меня турки не по правде схватили, много лет мучили в тюрьме, а потом продали твоему мурзе Акмамбету.

— Ты страдал тяжело,— сказал хан,— но будешь награжден щедро. Все суета, все прах перед добродетелью, а ты добродетелен.

Хан приказал созвать всех своих мурз, бывших в стане, глянул на них сурово и сказал:

— Кто из вас мне друг и слуга, кто мне враг? Есть между вами тайные злодеи: они раболепствуют предо мною, ползают как змеи и тайно приготовляют мне яд. Но и вы, которые хвалитесь своею преданностью,— отчего из вас никто не уведал о лихом умысле против меня, не поспешил отстранить от меня тайно заостренного кинжала? Не вы меня спасли, а этот иноплеменник, иноверец, несчастный невольник! Он мне более друг, чем все вы. Кланяйтесь ему, благодарите его. Величайте его: он спаситель вашего государя! Дам ему лучшей одежды из моих нарядов, повешу ему на шею толстую цепь чистого золота, чтобы она заменила ему те кандалы, в которых он мучился многие годы; он будет есть и пить так, как есть и пьет спасенный им государь. Дам ему слуг, жен, награжу его

деньгами, поместьями, всем, чего он захочет. Девлет-Гирей умеет награждать за спасение своей жизни.

— Великий государь, светлейший хан,— сказал Кудеяр,— благодарю Бога, что повелел мне послужить тебе. То не мое дело, а божие. Если же милость твоя будет, отпусти меня в мою сторону; там у меня жена, дом свой.

— Слышите, как он умен,— сказал хан,— не себе он приписывает доброе дело, а Богу. Улем, сведущий в законе, не мог сказать ничего мудрее. Все исполню, мой первый друг, чего ты пожелаешь, но теперь мы пойдем в Бакчисарай. Вы, мурзы, произнесете праведный суд над виновными, а ты, Кудеяр, поможешь нам обличить злодеев; окончится суд, и тогда, если захочешь, уедешь, осыпанный по достоинству нашими милостями, а до того времени, прошу тебя, оставайся у нас, будешь жить в моем дворце, в чести, довольстве и славе!

II. ХАНСКОЕ УГОЩЕНИЕ

И во сне не виделось Кудеяру такой роскоши, в какой он очутился. Недавно еще кандалы разъедали ему ноги; теперь его обули в сафьянные сапоги, расшитые золотом, в которые входили широкие штаны из толстой шелковой ткани; к черному кожаному поясу прицеплена была на серебряной цепи сабля в серебряных ножнах, с золотым эфесом, в котором блистал дорогой изумруд; вместо прежней рубахи из верблюжьего сукна, его плечи покрывал темно-красный шелковый халат с висячими золотыми пуговицами; мускулистую шею казака украшала золотая цепь, сделанная в виде жгута, а его голову прикрывала черная баранья шапка с золотым пером. Кудеяра поместили в трех покоях ханского дворца; стены их были обвешены, а пол устлан персидскими коврами; вдоль стен стояли низенькие диваны, обитые красным тисненным сафьяном; разноцветные стекла, вставленные в полукруглые оконные рамы, разливали мягкий, приятный полусвет; прямо из покоев был выход в сад: там счастливец, наевшись вкусной баранины и запивши ее кипрским вином, мог предаваться восточной лени под шум водомета, обсаженного чинарами. Двое невольников приставлены были служить ему; а две красивые невольницы-черкешенки обязаны были, по его требованию, разделять с ним по очереди ложе. Несколько раз хан удостаивал его приглашением к своему столу и брал с собой на охоту, где Кудеяр изумлял Девлет-Гирея своею силою и лов-

костью. Придворные, из угождения к хану, должны были оказывать ему почести и внимание; но у многих начала гнездиться зависть и досада: одни опасались, как бы этот гяур не вздумал принять мусульманство и не сделался всемогущим любимцем при дворе; другие, в своем мусульманском фанатизме, оскорблялись тем, что неверный пользуется почетом наравне с правоверными.

Предусмотрительный Девлет-Гирей, еще не уезжая из Альмы в Бакчисарай, догадался, что враги его, почуявши об открытии их замыслов, поспешат убраться в Московское государство. Хан отправил своего селердарь-агу с двумя отрядами молодцов своей гвардии, называемых игитами, к Перекопу: одному отряду велел стать на перешейке, никого не пускать из Крыма без расспроса, поймать виновных мурз, если они явятся, и отправить их в Бакчисарай; другому отряду велено ехать к Арабатской стрелке, чтоб и чрез нее не могли ускользнуть преступники. Девлет-Гирей не ошибся.

Утром, после той ночи, когда убежал Кудеяр, раньше всех проснулся невольник персиянин, увидал побитых лошадей, пришел в ужас, ожидал от разъяренного господина всяких истязаний и, не сказавши никому о виденном, дал тягу в страхе, не размышляя, удастся ли ему скрыться. Проснулся за ним другой невольник, грузин, и, заметивши, что двоих товарищей нет, полагал, что они убежали вместе, и пустился бежать сам, рассчитывая, что если ему удастся их догнать, то они, поневоле, возьмут его к себе в товарищи, а если не удастся, то он скажет, что бежал ловить беглецов. Осталось еще двое невольников; что бы они делали, если б проснулись, не знаем, но раньше их проснулся Алай-Казы, тотчас осведомился о своем халате, как самой драгоценной вещи, и, не нашедши его подле себя, поднял тревогу. Пробудились его товарищи, сначала вопили и кричали без памяти; а потом, пришедши в себя, стали помышлять, что им делать. Так как убежавшие невольники не стащили ничего, кроме халата, в котором было письмо, то явным казалось, что похищение учинено было с целью открыть заговор против хана. Зачинщиком зла мурзы считали не Кудеяра, а персиянина; оставшиеся невольники отправились искать лошадей для своих господ, а мурзы стали советоваться о своем спасении. Алай-Казы и Алтын-Ягазы решили бежать в Московское государство степью, но Акмамбет предпочел лучше скрыться в Кафе, надеясь на расположение турецкого губернатора, и потом же, если

нужным окажется, пробраться морем в Московское государство. Затем все положили остаться на месте и дождаться, пока невольники приведут им наемных лошадей, чтоб ехать каждому к себе и собираться в далекий путь.

Но из слов, неосторожно произнесенных мурзами во время суматохи, невольники поняли, что их господа затевали что-то дурное против хана и теперь боятся... Невольники, вместо того чтоб искать господам своим лошадей, отправились в Бакчисарай с тою целью, чтобы самим объявить о преступных замыслах господ. Мурзы потеряли целый день в ожидании, переночевали в поле и на другой день пошли пешком к Алтын-Ягазы, которого имение было ближе от рокового для них места. Там, взявши у хозяина лошадей, Акмамбет и Алай-Казы поскакали каждый к себе. Алтын-Ягазы собрался в путь, обещаясь догнать Алай-Казы.

Алай-Казы, с двумя вьючными лошадьми и с одним русским невольником, которому обещал свободу по прибытии в Московскую землю, приближался к Перекопу, но ханский селердарь с отрядом игитов ждал уже его. Алай-Казы наткнулся на него так близко, что не успел повернуть коня, как игиты окружили его и связали. Алтын-Ягазы в это время догонял Алай-Казы и, увидевши вдали суетню, быстро повернул в сторону, но селердарь-ага пустился за ним в погоню. Его вьючная лошадь и невольник, русский родом, достались игитам, но Алтын-Ягазы ушел от них и доскакал до стрелки, как вдруг стоявшие там игиты бросились на него. Несчастный беглец, видя неминуемую гибель, пришел в такое отчаяние, что, соскочив с коня, хотел удавить себя уздою, но игиты не допустили его до самоубийства, связали и повели к Алай-Казы, а потом обоих повезли в Бакчисарай.

Заговор против хана был делом обычным в Крыму. Ханы хотя и дозволяли себе разные деспотические выходки, без которых немыслим ни один восточный властитель, но непрочно сидели на своем престоле, завися не только от цареградского падишаха, но от своих беев и мурз. Мало того, что беи, сильные магнаты, не дозволяли ханам вмешиваться в управление их бейлыками, многие мурзы, имевшие поместья в бейлыках и происходя от одного рода с беями, считали беев своими главами, и во всех государственных делах хан должен был угождать беям и их мурзам, иначе, пользуясь своею материальною силою, они могли поднять восстание, свергнуть хана и посадить другого, что не раз

случалось в крымской истории. Сам Девлет-Гирей, при помощи заговора, низвергнул и перебил детей своего брата, Саип-Гирея, и таким путем достигнул престола. В собственном своем уделе, который был значительнее других бейлыков, хан распоряжался произвольнее, но и там мурзы в случае, когда хан раздражал их, могли составлять заговоры в пользу претендентов, в которых редко бывал недостаток, тем более что новый хан в признательность за содействие награждал мурз поместьями и дарами от добычи. Услуга, оказанная Девлет-Гирею Кудеяром, была важною: заговор был открыт в самом зародыше; без того он мог бы расшириться, и хан был бы свергнут.

Алтын-Ягазы был человек трусоватого десятка. Когда его привели к допросу пред верховного судью, кади-аскера, он сразу очернил нескольких мурз и в том числе бросил подозрение на чиновников ханского двора. Немало людей было привлечено к следствию по его показаниям, а несколько заключено в тюрьму. Алай-Казы, напротив, упорно запирался даже и тогда, когда другие сознавались в преступлении и подтверждали показание Алтын-Ягазы. Алай-Казы уверял, что никогда не получал писем от Тохтамыша, и когда кади-аскер для его уличения дал ему очную ставку с Кудеяром, Алай-Казы плюнул на своего обвинителя. Но потом, устрашенный пыткою, Алай-Казы изменил свое показание, сознался, что точно Тохтамыш писал к нему, и прибавил, что он слышал от бывшего в Крыму московского гонца, будто московский государь обещал награду тем, которые изведут Девлет-Гирея. Поставленный пред судью переводчик, чрез которого Алай-Казы объяснялся с московским гонцом, показывал такие двусмысленные речи, слышанные им от гонца, что по ним невозможно было никак положительно признать подущение со стороны царя Ивана Васильевича, но кади-аскер ухватился за показание Алай-Казы с жаром. Ему и многим мурзам это было на руку. Уже давно они были недовольны своим ханом, зачем он дружит с москвитином и не дозволяет мурзам нападать на пределы московские. С того времени, как, устрашенный приездом в Москву Вишневецкого и приготовлениями к завоеванию Крыма, хан, соображая расстроенное состояние своего юрта, просил у царя Ивана мира, вел беспрерывные дружеские сношения с московским царем и высасывал из него деньги, меха и всякие подарки; он то уверял его в братской дружбе, то грозил ему турками, требовал отдать Казань и Астрахань, а московский царь присылал ему все

больше и больше. Хану казался выгодным такой образ сношений: вместо того, чтобы брать с Москвы добычу войною, подвергая своих людей опасностям, хан рассчитывал лучше обирать царя Ивана без войны, без труда. Тот же способ сношений находили для себя выгодным и те вельможи, которым царь присылал поминки, но крымцам вообще было мало пользы от этого; гораздо лучше казалось им идти в поход и грабить: тут бы им всем была пожива. Поэтому весть о том, что московский государь подущал лиходеев на хана, была для многих очень отрадною: можно было надеяться, что теперь хан рассорится с московским государем. Сам Девлет-Гирей не без удовольствия узнал о показании Алай-Казы: ему предстоял удобный случай придраться к московскому царю, чтоб сорвать с него лишнюю дань.

Следствие тянулось целых полгода. Остановка была за Акмамбетом; его отыскивали, узнали, что он убежал в Кафу, писали к беглербегу; беглербег отвечал, что его нет у него; хан жаловался турецкому падишаху,— приказано было беглербегу выдать беглеца, беглербег отвечал снова, что не знает, где он; писали в Москву, оттуда отвечали, что в Московское государство он не приходил; между тем сообщено было, что Акмамбет у московского царя; снова послали к царю, требовали его выдачи; хан требовал также выдачи брата своего, Тохтамыша. Царь известил хана, что Тохтамыш умер, а Акмамбета нет в Московском государстве; если же найдется, то выдадут его. Девлет-Гирей призывал к себе Афанасия Нагого, сообщал ему о показаниях Алай-Казы, о подущении со стороны московского государя, но самому царю о том не писал. Так проходило время. Кудеяр поневоле должен был ожидать окончания дела. Наконец, не доискавшись Акмамбета, решили вершить важное дело о заговоре на жизнь хана в курилтае, или ханском совете.

В диванной зале дворца собрались все знатные сановники крымского юрта, тихо ступая по роскошным персидским коврам тонкими подошвами своих сафьянных башмаков. Одетые в парадные золотные халаты, уселись они, поджавши ноги, на низеньких и широких диванах. Хан сидел на возвышении; близ него истолкователь мудрости, муфти, с книгою Корана в руке, а с ним имамы и улемы.

Позвали Кудеяра. Он проговорил довольно правильно по-татарски, хотя с некоторою запинкою, всю историю,

каким образом он попал к Акмамбету в неволю и как ему помог Бог открыть заговор на жизнь хана.

Крымские вельможи смотрели исподлобья; духовным не нравилось, что гяур так смело говорит в курилтае, но хан в высокопарных выражениях превознес заслуги Кудеяра и назвал его пред всеми другом своим.

Кудеяру велели выйти. Ввели преступников. Алтын-Ягазы пал ниц и вопил. Алай-Казы призывал Бога и Мугаммеда во свидетельство своей невинности. Другие соумышленники — Батырь-Мурза, Секир-Мурза, Ярлык-Мурза и несколько царедворцев — молили пощады и взваливали всю вину на Москву. Их вывели. Совет стал рассуждать. Муфти, указывая на места из Корана, объяснял важность преступления. Решено было всех предать смертной казни. Алай-Казы вменили в особенную вину его запирательство и желание показаться невинным; ему назначили жестокую казнь: вырезать желудок и положить ему на голову; Алтын-Ягазы и прочим приговорили отрубить головы и воткнуть на колья. Приговор был прочитан за дверьми дивана кадиаскером и на другой день — исполнен.

Но в диване поднялись крики против Москвы.

— Мы наказали злодеяние,— говорил муфти,— но не главных злодеев; это были только исполнители; все это затеи неверного московского царя и его советников. О правоверные! Извлекайте мечи из ножен, устремляйтесь, как вихрь, на отмщение, пустите стрелы ваши по неверной земле, как град, побивающий нивы. Там корень зла,— там да совершится правосудие. О правоверные! Доколе нам терпеть поругание нашей веры и поношение нашего славного племени? Разве не знаете, что там, где прежде были мечети, где восхвалялось имя нашего славного пророка,— ныне поставлены христианские капища с идолами? Многие из людей нашей веры и нашего рода перешли к христианскому идолопоклонству. Разве не знаете, что все это делают те, которых предки были рабами предков наших?

— Давно ли,— кричали другие,— давно ли проклятые москвитины замышляли вести многочисленные рати на нашу страну, чтоб поработить нас, как уже поработили наших братий?

— И сам этот гяур,— заметил один мурза,— величаемый спасителем нашего светлейшего хана,— не один ли из тех, которые тогда шли на нас войною?

— Он взят в плен как лазутчик, а не как воин.

— Он говорит, что не был соглядатаем,— сказал хан,—

но ты при том не был, как его взяли, а потому и говорить тебе о том не стать.

— Светлейший хан,— сказал мурза,— говорит о себе раб, а ты веришь рабу.

— Он не раб,— сказал запальчиво хан,— он мой друг. Никто не дерзай поносить того, кто спас мне жизнь и царство.

— Если он в самом деле хороший человек, пусть остается у нас и примет нашу правую веру,— сказал один улем.

— О, чего бы я не дал, если б этот человек обратился к истинной вере пророка,— сказал хан.— Но на все воля Бога. А мы будем говорить о наших делах. Московский царь писал к нам, что нашего ворога Акмамбета у него нет, а мы слышали, что он у него. Напишем к нему еще об этом, да пусть он нам пришлет поминки нелегкие, вдвое против того, что присылал; пусть нашим беям и мурзам, заседающим в совете, пришлет по росписи поминки нелегкие, а если он того не сделает, то мы турского царя на него двинем и всю его московскую землю разорим.

— Что много с ним говорить,— сказал Караг-бей, ярый враг Москвы,— не с ним бы нам переговариваться, а с блистательнейшим солнцем правоверных народов, могущественнейшим, непобедимейшим нашим падишахом; пусть повелит воинствам своим грянуть на московитов, и мы соберем все наши орды и всю московскую землю покорим и поработим; заставим московского князя подавать коня нашему светлейшему хану.

— В наших татарских книгах написано,— сказал один имам,— Бог дает на время неверным торжество над правоверными, а потом правоверные снова верх возьмут над неверными!

— Можно писать к московскому князю,— сказал Орабей перекопский, завзятый рубака,— почему не писать? А тем временем спать нечего — идти набегом на московскую землю; оно и лучше, как написать; пусть себе Москва по нашим письмам думает, что мы хотим с нею в мире жить — не чаючи на себя грозы. Москва к обороне не приготовится, а мы тут как тут: города их сожжем, села разорим, ясыру наберем, а потом Москва сама же, будто благодарствуя за разорения, пришлет нам подарки; значит — мы будем в двойном барыше! К тому посудите: у нас ясыру будет много; надобно его куда-нибудь сбывать! А мы его будем сбывать им же; они станут выкупать своих, а мы

им же ихний товар продадим; да еще дороже, чем бы в иное место продали.

— Правда, правда! — закричали мурзы.— Вот рассудил хорошо!

— Да, да,— сказал Ширинь-бей, владетель Эски-Крыма, сильнейший из беев,— пока хан будет переписываться, наши наберут ясыра; это хорошо. Но зачем же одному Ора-бею идти на поживу? И мы также хотим набрать ясыра.

— И ногаи также хотят,— сказал сераскир, управляющий ногайскою ордою.

— Что ж это? — сказал хан.— Это значит: весь юрт пойдет за ясыром, без меня?

— А что же,— сказал Ширинь-бей,— ты изволь переписываться и пересылаться с московским князем да бери с него побольше поминков, а мы будем воевать; ты сам по себе, а мы все сами по себе: твое величество об этом не знай, не ведай.

На том и порешили.

После этого заседания Девлет-Гирей отправил гонца в Москву с грамотою, в которой просил двойных поминков, требовал, сверх того, посадить его сына Адинь-Гирея на казанском столе; указывал на то, что, по слухам, Акмамбет скрывается в Московском государстве, и просил выдачи его.

Между тем один из беев, явлашский бей, был доброжелатель Москвы. Он не имел вкуса к грабительствам и набегам, любил, напротив, жить дома в полном довольстве, устроил у себя великолепный дворец с цветником и водометом, держал в гареме таких красавиц, что и хану делалось завидно, продавал арбами плоды из разведенных на своей земле садов, выручал много денег за шерсть и овчины со своих стад, знал хорошо по-арабски, любил читать произведения арабской литературы и сам писывал стихи. Он был почти всегда против набегов и говаривал так: «Чем нам Москву и Литву разорять, не лучше ли Москве и Литве продавать наши изделия да с них деньги лупить: и у москвитинов и у литвинов будет чем нам платить, и у нас будет за что с них деньги брать. Все равно труд принимать надобно: по степи ходить, нужду терпеть — разве не труд? Лучше дома сидеть да трудиться без нужды и за труд деньги брать». За свое доброжелательство к Москве он не оставался в накладе и постоянно получал из Москвы подарки за то, чтобы удерживать татар от разбоев.

Головы казненных воткнуты были на спицах, поставленных на стенах, окружавших бакчисарайский дворец. Кудеяру, казалось, нечего было более делать в Крыму. Он обратился к визирю с просьбою доложить хану об его отпуске. Приближенные хана советовали под разными благовидными предлогами попридержать Кудеяра, пока не выяснится, как поставит себя московский государь в отношении Крыма, иначе Кудеяр может рассказать о крымских делах то, чего заранее знать в Москве не должны. Хан велел сказать Кудеяру, что он съездит с ним на охоту, а потом уже отпустит.

Между тем Кудеяру в первый раз дозволили видеться с Нагим, который в то время был под почетным караулом для того, чтобы не мог известить царя о замыслах сделать набег на московские земли.

Нагой принял Кудеяра холодно, почти недружелюбно. Он, видимо, не хотел вдаваться с ним в разговоры. Когда Кудеяр напомнил ему, что он два раза просил его, будучи в неволе, о выкупе, а над ним не смиловались, Нагой сказал:

— Я во всем поступаю по указу царского величества, великого государя.

Кудеяр напомнил о своей челобитной, о письмах к Адашеву, Сильвестру, Курбскому. Нагой сказал ему:

— Что ты писал к ним, того тебе делать не годилось для того, что те люди объявились царю-государю в противности и были под царскою опалою, а Курбский царю изменил и убежал к недругу царскому, литовскому и польскому королю, и ныне с его ратями воюют города его царского величества. Сам можешь рассудить, какого добра и заступления ожидать было тебе от таких людей.

— Я тому был неизвестен,— сказал Кудеяр.— Когда я был в Москве, они были в приближении у государя. А ныне челом бью твоей милости: заступись пред государем, пошли челобитную мою его величеству, чтоб дозволил мне государь воротиться и служить ему верою и правдою, а я, как государь-царь меня пожалует, велит к себе вернуться, ударю тебе челом из того, чем хан пожалует при отъезде.

Это обещание разъяснило чело Нагого, который, по московскому обычаю, не любил приходивших к нему с пустыми руками.

— То ты делаешь гораздо,— сказал Нагой,— что прежде хочешь послать челобитную; а в ней пропиши, что ты письма писал к царским изменникам своим неведением,

а то — неровен час! Многие измены и шатости объявились у нас в государстве, и того ради наш праведный государь стал грозен. Ты же, молодец, открыл ханских лиходеев, а лиходеи учали говорить безлепишные, непригожие речи про государя нашего, и с того хан и его татарове думают идти на города его величества.

— То не моя вина,— сказал Кудеяр,— я был в тяжкой неволе, а Бог мне послал случай освободиться. Мне хан не свой государь, тем паче, что он бусурман; мне лишь бы каким способом из неволи выйти. И теперь я живу у бусурмана хоть и в довольстве, а все сдается — в неволе. О том денно и нощно думаю, как бы вернуться в христианскую землю и служить своему великому государю. Помню его великое ко мне жалованье и милость.

— Хорошо будет,— сказал Нагой,— коли мы с тобой пошлем царю челобитную; не знаю только, как послать: татары меня стали держать как бы за сторожи. Боятся, чтоб я не известил государя об их умыслах, что хотят государеву землю воевать. Проси хана, чтоб дозволил тебе отправить челобитную к царю-государю.

Кудеяр чрез ханского визиря просил хана дозволить послать челобитную, а его известили, что хан приглашает его к своему столу.

За столом у хана в этот раз обедало несколько мурз, как будто нарочно подобранных из ненавистников Москвы. Сам хан начал речь о двоедушии москвитинов и прямо стал укорять царя в подущении лиходеев на его жизнь. Мурзы подхватили ханские слова и разводили их еще более укорами на счет московского государя. Кудеяр слушал все терпеливо, наконец сказал:

— Светлейший хан, не изволь склонять своего высокого слуха к клеветам злодеев, думавших спасти свою преступную жизнь, для того-то они и лгали на нашего государя.

— Да, рассказывай,— сказал один мурза,— все вы заодно, вас сколько ни корми, вы все в лес смотрите.

— Ничего бы я так не желал,— сказал Кудеяр,— как бы только промеж моего государя и светлейшего хана учинилась твердая любовь и братская дружба.

— Хороша ваша дружба! — сказал брюзгливый мурза.— Давно ли твой государь собирал на нас рать, хотел весь Крым завоевать, ты сам тогда ходил на нас с царскою ратью и бить нас хотел, да тебе не посчастливилось, попался ты в плен; теперь, как ты у нас в руках, ты и говоришь

то, что́ нам приятно, а только выпустишь тебя отсюда, так опять на нас пойдешь воевать.

— Я не в плену,— сказал Кудеяр,— меня освободили из неволи светлейший хан, твой повелитель, и коли его ханской милости угодно даровать мне такую честь, что за стол с собой посадить,— то как же можешь ты упрекать меня полоном и неволею? Я чужой вам человек, но мне Бог дал такую благодать, что я послужил его ханской милости паче ваших людей татар. Это случилось так по воле божией, что я, чужой человек, оборонил вашего государя от его же холопей-изменников, а вы его не оборонили. А ныне вы меня же упрекаете неволею!

— Кудеяр,— сказал хан,— я полюбил тебя; ты правдив и мудр, как может быть только правоверный. Ты мне спас жизнь, и если я тебя отпущу к твоему государю, который не хочет быть мне другом, ты поневоле станешь мне недругом. Этого я не хочу. Останься у меня. Прими нашу правую веру; ты будешь из первых людей в моем царстве.

— Не гневайся, великий хан,— сказал Кудеяр,— я своей веры не переменю и у тебя не останусь. Я прост человек и неучен. Пусть люди мудрые и знающие говорят книгами о вере, а я так думаю, что в какой вере кто родился, в такой, значит, Богу угодно, чтоб он пребывал. Господь Бог один над вами и над нами. Какому государю дал присягу служить, тому служи и без крайности не отходи. Я не уподоблюсь тем изменникам, от которых спас тебя. Есть в Москве немало таких, что от страха либо из лакомства, бывши вашей веры, да приняли нашу... Что ж, разве это хорошо? Не хочу быть на них похожим.

— А ты думаешь,— сказал хан,— твой государь пожалует тебя за то, что ты мне спас жизнь? Нет. Ему то будет в досаду.

— Мой государь,— сказал Кудеяр,— праведен и милосерд; он наградит меня за это. А хотя бы по какому-нибудь лукавому совету и не так сталось, так лучше мне от своего законного государя потерпеть, чем изменить своей вере. Если б я не верен был Богу и государю своему, то как бы ты мог мне верить.

— Счастлив твой государь,— сказал хан,— что у него такие слуги. Ты просил дозволения послать челобитную к своему государю. У нас положено, до обсылки с московским, не дозволять никому посылать людей в Москву, но я тебе не могу ничего отказать: ты мне спас живот и царство. Пиши челобитную. Позволю послать гонца.

— Храни тебя Господи,— сказал Кудеяр,— на многие лета! Боже, утверди мир промеж светлейшего хана и великого московского царя-государя!

Челобитная была написана подьячим и послана с гонцом, которого отправил Нагой. Татары в предостережение осматривали, не везет ли гонец иной грамоты от Нагого, но грамоты не оказалось; татары, однако, не рассчитали того, что гонец вез у себя в памяти то, чего они искали на бумаге. Посылка этого гонца была необыкновенно кстати. Набег, предпринятый мурзами, не удался, потому что русский гонец успел прискакать в Болхов и дать знать, что татары идут степью... Воеводы успели стянуть свои силы и отбили татар.

Между тем с наступлением осени хан отправился на охоту в горы. Кудеяр был с ним неразлучен и ехал на превосходном коне, пожалованном ему ханом. Охотились более всего за дикими козами, которых было очень много в Крымских горах. Делали ставки, разбивали шатры и пребывали в разных местах по нескольку дней. Девлет-Гирей, подвигаясь все далее и далее к югу, дошел до моря и, ставши на утес, пришел в такой восторг, что тут же стал декламировать о море, скалах, о величии Аллаха, отражающемся во всем творении. Мурзы поднимали руки и глаза к небу, как бы проникаясь восхищением от вдохновенной речи их повелителя, Девлет-Гирея.

По возвращении в Бакчисарай хан получил ответ от московского государя. Иван Васильевич наотрез отказывал дать Казань сыну крымского хана, замечая, что там уже вместо мечетей христианские церкви; обещал поминки, но с тем, если татары не будут воевать земель Московского государства; жаловался на последний набег, сделанный татарами на окрестности Болхова. Московский государь не запирался, что беглый мурза Акмамбет находится у него, но извещал, что он принял христианскую веру и его выдать нельзя. Московский государь, узнавши, что татары отбиты от Болхова, говорил с ханом смелее; а хан, с своей стороны, получивши сведение, что татары не только не принесли никакой добычи из московской земли, но воротились в беспорядке,— принялся опять за прежний способ: показывать московскому государю дружбу и по возможности обирать его. Теперь хан уверял, что нападение на Болхов сделано своевольными татарами против его воли и желания, и уже не требовал выдачи Акмамбета. Царь москов-

ский отвечал, что желает пребывать в братской любви с ханом, и обещал прислать подарки весною.

На челобитную Кудеяра ответа не было. По прошествии зимы приезжал к Девлет-Гирею московский посол с поминками, а о Кудеяре в царской грамоте не упоминалось, и послу никакого об нем наказа дано не было. Кудеяр обратился к хану и просил заступиться пред царем. Хан написал царю Ивану письмо, изложил в нем всю историю своего спасения, расхваливал Кудеяра, извещал, что Кудеяр, не желает никаких милостей от хана, а просит только дозволения воротиться в Московское государство и служить царю; присовокуплял при этом, что завидует своему брату, у которого такие верные и преданные слуги.

На это письмо последовал ответ уже осенью. Царь Иван, из любви к своему брату Девлет-Гирею, дозволял Юрию Кудеяру с наступлением будущей весны приехать в Москву и служить по царскому усмотрению.

Наступила весна 1568 года. Хан призвал к себе Кудеяра и сказал:

— Ты сделал нам такую важную услугу, что мы поступили бы противно нашему закону, если б не учинили всего, что можем учинить доброго для спасителя нашего живота. Наши гонцы, ездившие в Москву, привезли нам верные вести, что московский государь стал лют, зол и кровожаден, рубит головы, вешает, топит и мучит слуг своих неизреченными муками. Он сделался подобен разъяренному тигру. Мне жаль тебя, Кудеяр, если ты поедешь к такому свирепому государю. Последний раз простираю к уму твоему дружелюбное слово увещания. Останься у нас, мы не будем неволить тебя к нашей вере. Сам знаешь: в нашем юрте живут в довольствии христиане. Мы дадим тебе поместье, позволим там построить церковь, держать священника по своей вере; мы дадим тебе льготу от всяких наших даней, ты не будешь под ведением нашего тат-ягасы, ведающего всех наших татов, подданных христианского закона: знай только нашу особу и больше никого не знай, и так будет не только тебе, но и всем потомкам твоим до тех пор, пока царствовать будет над крымским юртом род Гиреев. Если же тебе ни за что не хочется оставаться в нашей земле, не езди в московскую землю, а поезжай в литовскую; ты говорил нам, что ты казак из Украйны, а не москвитин; там, коли хочешь, живи, а до нашего Крыма тебе всегда путь чист.

— Челом бью тебе, светлейший хан,— сказал Кудеяр,— но у меня жена в Московском государстве.

— Быть может,— сказал хан,— твою жену достать можно; у меня довольно московского полона, я весь выпущу за одну жену твою.

— Коли ты изволишь говорить, светлейший хан,— сказал Кудеяр,— что мой царь-государь стал грозен и немилостив, то как мне отважиться на противность ему, чтоб, побивши челом о службе, да остаться у тебя и не поехать на службу после того, как он изволил меня допустить по моему челобитью! Он тогда над моей женой лихое учинит. Нет, светлейший хан, мой благодетель, об одном только прошу твою милость: отпусти меня к Москве. Я не думаю, чтоб все то была правда, что про моего государя слыхали твои гонцы; коли он грозен и жесток для своих супостатов и лиходеев, так и везде таких не терпят. И ты, светлейший хан, достойно наказал своих злодеев.

— Как хочешь, так и поступай,— сказал хан,— твоя воля над собою. Но если тебе худо покажется в московской земле — беги к нам. Тебе здесь будет безопасность и честь. Пока я жив, Кудеяру в Крыму будет так хорошо, как нигде в свете, а когда я закрою глаза,— дети мои будут покровителями тебе, и твоим детям, и твоему потомству. Вот мой старший сын и наследник, царевич Газы-Гирей.— Хан обратился к сидевшему близ него царевичу: — Слышишь, мой старший сын,— сказал хан,— таково мое великое родительское и прародительское слово тебе и твоим детям, внукам и правнукам: не забывайте, что этот человек спас жизнь мою, будьте к нему и к потомкам его милостивы и щедры; если дети, и внуки, и правнуки его придут к вам просить приюта, не отгоните их от себя, приютите их, наградите, успокойте; таков завет мой. Доколе потомство Гиреев будет сидеть на престоле крымского юрта, потомство Кудеяра всегда пусть найдет здесь хлеб, покой и безопасность. Таково мое желание, паче всякого иного желания.

Хан подарил Кудеяру превосходного коня, трех крепких вьючных лошадей, дал ему мешок денег, в котором на татарский счет было двадцать тысяч юзлуков (тогдашних 10 000 руб.), большой чемодан платья, мешок с золотыми и серебряными вещами, великолепно оправленную саблю, колчан стрел, лук, обложенный перламутром, и ружье.

Кудеяр, по обещанию, поднес Афанасию Нагому несколько одежд и дорогих вещей. Вместе с ним поехал

отправленный в Москву ханский посол Ямболдуй-мурза, которому приказано было пребывать в Москве постоянно, как московский посол Афанасий Нагой пребывал в Бакчисарае: это было зна́ком доброго согласия между московским царем и крымским. При после было посольских людей-татар до пятидесяти человек. Они не брали повозок; все пожитки, предназначенные для царя, как равно и свои пожитки, везли на множестве вьючных лошадей. Длинная дорога по безлюдной степи требовала многих запасов и хозяйственных орудий. На вьючных лошадях везли искусно свернутые палатки, ковры, кухонную и столовую утварь, сухари, вяленую рыбу, мясо, сушеные плоды, сыр, пшено, соль, пряности — и гнали баранов, которых назначили резать на дороге для прокормления.

III. ВОЗВРАЩЕНИЕ

Главная дорога из Крыма в Московское государство шла тогда по так называемому Муравскому шляху, на который выезжали из Крыма двумя путями: через Перекоп и через Арабат. Муравский шлях шел вдоль Молочных Вод, потом поворачивался вправо к верховью р. Конки, далее шел к верховью Волчьих Вод, вдоль р. Быка к верховью Самары, поворачивал влево по Самаре до р. Орели и потом шел вдоль этой реки до ее верховьев. Все это была собственно земля ногайская, безлесная вплоть до самой Самары; только за Самарою начинались рощи, и чем дальше к северу — край становился лесистее. На степном безлесном пространстве путник не встречал ни города, ни селения, ни даже хаты, а между тем край был вовсе не безлюдный. Здесь, по степи, изобильной солончаками, перемешанными с богатыми пастбищами, сновали многочисленные кочевья ногаев; там и сям появлялись и исчезали огромные купы кибиток, сделанных из тростника и покрытых кожами и рогожами; около них паслись стада волов, овец и преимущественно конские табуны. Ногаи представляли в своем быту не только отличия, но отчасти даже противоположность с бытом крымцев; у крымцев кочевые дикие нравы все более и более уступали место признакам оседлого быта. Крымцы заимствовали культуру Востока; напротив, ногаи оставались в первобытном виде, не сеяли хлеба, не заводили садов и огородов, не строили домов, не занимались ремеслами, всегда на конях, всегда в одной и той же овчине с тою разницею, что летом одевали ее шерстью вверх,

а зимою шерстью к телу, равнодушные к холоду и зною, не терпели они никакого труда, ни телесного, ни умственного, жены их не умели ни прясть, ни ткать; и если у них являлись какие-нибудь предметы житейских удобств, то все это было награблено у русских. Набеги и грабежи знакомили их с этими предметами, но не подвигали к лучшей жизни. Ногаи предпринимали свои набеги не столько из корысти, сколько оттого, что иного ничего не умели делать и не знали, чем пополнить жизнь, неудовлетворяемую лежанием на степи и пожиранием ягнят и жеребят. Ногаи уводили из Руси множество пленников, но от этого получали пользу больше крымцы, перекупавшие у ногаев за бесценок их добычу. При своих воинственных успехах, ногаи часто были в крайней нужде; они богаты были только стадами, но не знали, как с ними обращаться: скотские и конские падежи были обычным явлением в их степях, и после таких падежей обыкновенно наступал мор на самих ногаев, лишенных средств пропитания. Нередко случалось, что во время жестокой зимы ногаи во множестве пропадали от стужи: у них не было топлива, кроме сухого бурьяна и тростника; ногаи ненавидели лес, и где начинались леса, там уже не было ногайских жилищ.

Пока наш Кудеяр проезжал по ногайской земле, ему была возможность доставать баранов и жеребят; за Самарою страна делалась безлюдною. Путешественники делали продолжительные отдыхи для корма лошадей; и тогда они стреляли стрепетов, тетеревов и дрохв, которых было чрезвычайное множество,— для этого употреблялись стрелы; ручное огнестрельное оружие того времени больше годилось для войны, чем для охоты.

У верховьев Орели Кудеяр встретил купеческий караван, состоявший из множества вьючных лошадей и двухколесных возов. С караваном был царский гонец; провожали его вооруженные стрельцы. Купцы были по преимуществу кафинские армяне; они везли из Московского государства рогожи, покупаемые у них ногаями для покрышки кибиток, разные меха, муку, конопляное масло, воск, а также в небольшом еще количестве изделия европейской промышленности, купленной у англичан в Москве. Но у них, кроме того, был живой товар — невольники, военнопленные немцы и чухна, взятые русскими на войне в Ливонии и проданные крымским купцам; они шли, соединенные длинною цепью, которая обвязывалась вокруг шеи каждого; с ними были и природные русские — кабальные люди,

проданные своими господами: хотя это законом не дозволялось, но постоянно делалось. Муравский шлях не считался тогда безопасным и удобным путем для торговли: торговля Москвы с Востоком удобнее велась через Москву и Киев, но во время частых войн между Москвою и Литвою купцы поневоле должны были избирать другой путь. Кроме того, в Литве им приходилось платить большие пошлины за товары, и для избежания лишних затрат купцы возили свои товары по Муравскому шляху. На этом пути их могли грабить и русские удальцы, и ногаи; но жадность к приобретению заставляла их забывать об опасности. На этот раз купцы особенно смело пустились по опасному пути, потому что с ними ехал гонец, а гонца провожали стрельцы. Сами купцы были вооружены и каждую минуту готовились защищать жизнь и достояние. Кудеяр, повидавшись с царским гонцом и купцами, узнал, что на южных пределах Московского государства развелись разбойничьи шайки и на самый караван сделано было нападение.

Кудеяр, попрощавшись с караваном, двинулся на север со своими товарищами, а караван следовал на юг; вопли и стоны живого товара неслись в воздухе вместе со скрипом одноколок, запряженных волами, и жалобным криком степных чаек.

От верховьев Орели Кудеяр ехал извилинами промеж верховьев разных рек, впадавших с одной стороны в днепровскую, с другой — в донскую систему. Таким образом, он следовал по правой стороне р. Уды, на левой минул Ворсклу и Псел и достиг вершины Донца. На этом пространстве лесá перемешивались с открытыми полями, растительность была в полном блеске; корм для лошадей роскошный, зверей было такое множество, что лисицы и зайцы беспрестанно перебегали путь, а волки и медведи не давали путникам спокойно спать; они каждую минуту должны были быть готовы, по крику караульных, схватиться за оружие и вступить в борьбу со зверем за пасущихся лошадей и за себя самих. Далее открылось ровное поле, верст на пятьдесят, чрезвычайно плодородное и некогда пахотное, но давно уже покинутое по причине отсутствия края. Путники подъехали к огромному кургану, который носил название Думчего; здесь увидали они спутанных лошадей, курени, дым от костров и толпу людей: то были царские станичники, отправленные из Рыльска для наблюдения за татарскими набегами. Увидя татар, провожавших Кудеяра, они

вскочили с места, схватились за самопалы и готовились недружелюбно встречать гостей, но Кудеяр закричал им:

— Здравствуйте, земляки-товарищи; не татары набегом идут, невольник, бывший его царского величества служилый человек, ворочается из неволи бусурманской в край крещеный.

Дети боярские, начальствовавшие отрядом, собранным из севрюков (поселенцев северской Украйны), приказали своим подначальникам оставить оружие. Кудеяр сошел с коня и начал лобызаться со всеми, как будто с давними знакомыми, хотя никого из них не видал прежде. Станичники, с своей стороны, были очень рады, встретив в пустыне освобожденного из неволи русского человека. Кудеяр рассказал им свои приключения, снял с одной из своих вьючных лошадей баклагу с водкой и начал поить своих земляков. Тут Кудеяру стало разъясняться то, что еще в Крыму доходило до него как бы в тумане. Станичники рассказали ему, что на Руси все переменилось с тех пор, как Кудеяр оставил русскую землю. Люди, бывшие тогда у царя в приближении, казнены или изгнаны; царь разделил свое государство на опричнину и земщину: опричнину держит в милости, а земщину — в опале; многих бояр, думных людей и дворян показнил государь лютыми казнями и семьи их истребил, и даже на крестьян и на людей их положил свой лютый гнев; многие села разорены и сожжены по его царскому повелению, а люди и крестьяне от разорения пошли в разбой; и теперь около Москвы, говорят, проезду нет, а иные бегут сюда, в украинныя земли, и проживают воровски в лесах, обгородясь острогами, пашут на себя хлеб, заводят дворы и пасеки, даней никаких не платят, работ не делают и царским наместникам под суд не идут.

Попрощался Кудеяр со станичниками и поехал своим путем. Вести, слышанные им, сильно смутили его, и стали ему входить в голову иные думы. «Если так,— говорил он сам себе,— то какого праха буду я служить московскому государю,— что я, москвитин, что ли? Разве батька наш, Вишневецкий, не покинул московского царя, когда ему у него не по нраву пришлось? А мне-то что? Разве мне поместье царское нужно? Пропадай оно прахом! Правду говорил Девлет-Гирей. У крымского я ни за что не остался бы, хоть он меня золотом обсыпь,— но как тут делать? Настю надобно вызволить: поеду в поместье, коли она там,

возьму ее и удеру с нею на Украйну. Денег ханских хватит на наш век!»

Так рассуждал Кудеяр. Следуя по своему пути, он въехал в Пузацкий лес, обширный и густой лес, преимущественно дубовый. Орлы кружились над их головами, всполошенные человеческим присутствием. Звериный вой доносился до ушей путников со всех сторон. Миновали они верховья Сеймы, Оскола, выехали снова в поле и достигли р. Тима. Муравский шлях шел вдоль этой реки, то приближаясь к ней, то отдаляясь от нее параллельно к реке Щене. Так, наконец, Кудеяр с товарищами добрался до р. Быстрой Сосны. На том месте, где через несколько лет после того построен был город Ливны, Кудеяр увидел большую станицу: вместо куреней поставлены были избы, а необходимость защиты заставила станичников обрыть все строение рвом и обсадить частоколом. Отсюда станичники посылали разъездных проведывать про татарские загоны и про русских воровских людей.

Кудеяр, повидавшись со станичниками, узнал от них еще подробнее о том, что делается в Московском государстве, и после новых сведений решился во что бы то ни стало взять свою Настю и уйти в Украйну. Предполагая, что она в поместье, Кудеяр отпустил ехавшего с ним крымского посла, вместе с татарами, по прямой дороге в Москву, а сам договорил одного из станичников проводить его до Белева.

— Как-то мы приедем к Белеву? — говорил станичник дорогою.— Под Белевом шайка разбойников завелась. Наместник Постников посылал высылку ловить их, да у воевод людей немного, детей боярских не соберешь; мало их в уезде: кто на Москве в опричнине у государя, а кого послал царь войною на немцев. Атаман у разбойников — Окулка Семенов, из белевских детей боярских, что государь велел вывести из Белева, а он, Окулка, учинился государю силен да набрал себе ватагу из людей и крестьян опальных, да изо всяких беглых; а к нему пристал другой атаман — новокрещен Ураман, а крещеное имя ему Иван, тож из детей боярских белевских, а тот Урман, говорят, не прост человек, ведовские слова знает.

Имена Окула и Урмана поразили Кудеяра: первого он знал мало, но вспомнил, что так называли одного из боярских детей, которых он привел на Псел к Данилу Адашеву; а второй был, по его соображению, не кто иной, как тот самый крещеный татарин, который плавал с ним по Днепру к Ислам-Керменю и советовал воротиться, не доверяясь

речам Афанасия Ивановича. «Они узнают меня,— думал Кудеяр,— и едва ли станут трогать, а если не так, то ведь сила у меня не пропала».

Волнуемый и страхом, и надеждою, Кудеяр гнал своих лошадей, давал им мало времени на корм. Уже недалеко оставалось до Белева. Кудеяр помышлял миновать его и прямо ехать на свое поместье. Между тем солнце было на закате, путники доезжали до опушки леса.

— Нам,— сказал провожатый,— лучше бы проехать лес засветло, а то тут разбойники держат притон.

На опушке леса стояла изба со двором. Вывешенный шест с колом сена показывал постоялый двор: тут большая болховская дорога, ведущая к литовской границе, сходилась с новосильскою, по которой, миновавши Новосиль, ехал Кудеяр. Лошади были сильно притомлены. Кудеяр въехал на постоялый двор.

Вошедши в избу и помолившись, как следовало, образам, Кудеяр обвел глазами внутренность избы и увидел коренастого хозяина с лукавыми, не смотрящими прямо глазами и приземистую, худощавую хозяйку, а в углу, под образами, он увидел двух людей, одетых в одинаковые черные однорядки: один из них был рыжий, высокий, длиннолицый, с большою бородой; другой — приземистый, смуглый, плотно остриженный, с четвероугольным обликом лица, узкими глазами и клочковатой бородой. Кудеяр в последнем узнал Урмана.

И Урман сразу узнал Кудеяра. Оба смотрели несколько минут друг на друга с вопрошающим выражением лица.

Наконец Кудеяр обратился к Урману по-татарски. Урман тоже ответил по-татарски.

Вслед за тем Урман сказал своему товарищу по-русски:

— Это наш давний добрый приятель. Если помнишь, тот, что был над нами головою, когда мы ходили с Адашевым на Днепре. Тогда его турки взяли обманом. Теперь, как видишь, он на воле.

Окул недоверчиво посмотрел на Кудеяра. Кудеяр разговорился с Урманом по-русски, стал ему рассказывать свою судьбу. Окул слушал со вниманием, но все еще посматривал на Кудеяра искоса.

Разбойники нарочно приезжали к хозяину постоялого двора, чтобы высмотреть, кто будет проезжать: они не нападали на проезжих на постоялом дворе, а, поговоривши с ними, показывали вид, будто они также проезжие, расплачивались с хозяином, уезжали заранее, а потом стерег-

ли свою добычу в лесу. Хозяин поневоле потакал им из боязни, что если он станет им перечить, то они сожгут его дом или убьют его самого.

Рассказавши в общих чертах свою судьбу Урману, Кудеяр добавил, что едет в поместье за женой.

— Не пытайся напрасно, товарищ,— сказал Урман,— меня прежде расспроси; твоей жены нет там, и поместье не у нее, да и не у тебя.

— Где же она? Жива ли? — воскликнул Кудеяр.

— Может, и жива,— сказал Урман.— Слушай, как тебя взяли турки, мы воротились домой по царскому наказу. Я первый привез жене твоей горькую весть про тебя. Я дал ей совет: «Поезжай в Москву просить царицу. Пусть бы государь приказал списаться с турецким государем, чтоб твоего мужа выписать из неволи». Она поехала. А царица заболела, а потом и умерла. Твоя жена ходила и к тому, и к другому; ей все обещали, а ничего не сделали. Она поехала в поместье, живет, бедняжка, да ждет. Год ждет, другой ждет; опять поехала в Москву, стала просить то того, то другого. Ей опять обещали. «Ступай,— говорят,— в свое поместье и живи там, а муж к тебе приедет». Вот она ждет год, другой, третий, тебя нет... А тут вышла от царя опричнина; стали у помещиков поместья отбирать и другим давать. Будет тому без малого года два: взяли твою жену и увезли в Москву, говорят, отправили куда-то в монастырь жить, пока ты вернешься, а в какой монастырь, того мы не ведаем... А твое поместье дали какому-то новокрещеному татарину.

— И ты говоришь правду? — сказал Кудеяр.

— Бог убей меня на этом месте... С чего мне выдумывать. Ты давно у нас не был, так и не знаешь, что тут делается. Ты говорил про себя, а я теперь про себя скажу. Я не московского роду человек, слыхал ты, может быть, был на Казани царем Шиг-Алей: верный он был человек московским государям; мой отец у него жил и умер близ него, а меня сиротой оставил. Взяли меня русские люди, крестили и воспитали, а царь пожаловал меня поместьем. Чем не хорошо! Я женился на русской, жил с царского жалованья и верно служил его царскому величеству; вдруг ни с того ни с сего, ни за что ни про что отняли у меня поместье и велели с другими идти на вывод в немецкую новозавоеванную землю; все у нас хозяйство пропало, а нам и на дорогу-то не дали припасов, хоть голодом умирай; я так-таки женушку свою с дочушкой покинул, оттого что

кормить было нечем, и теперь не знаю, где они: говорят, к кому-то в кабалу пошли. И наши белевские, дети боярские, что их погнали в немецкую землю, свои семьи покинули, а иные и сами на дороге померли; а которые живы остались, все до одного бежали и стали жить в лесу в землянках, а есть надобно же что-нибудь, вот мы поневоле и на разбой пошли. Нас грабят, отчего же и нам не грабить других.

— Со мной хуже сталось,— сказал Окул.— У меня жена была больна, четвертый год с печи не вставала, а двое детей малых. От царя пришел указ отдать мое поместье опричному человеку царскому, прислано городничего выгнать меня с семьею. «Без мотчания,— говорит,— выступайте», а с ним новый помещик приехал, ременный кнут держит надо мною и кричит: «Выбирайтесь, по мне хоть на морозе околевайте»; а тут зима, жену чуть с печи стащу, дети ревут. «Поезжай в город»,— кричит опричник. Насилу одну клячонку дал с телегой жену да детей в город свезти. А крестьянишки мои, злодеи, тому рады, еще насмехаются над моей бедой; не без того, что иному затрещину в зубы дал, все сякие-такие дети припомнили. Только после уж, при новом господине об нас пожалели. А в городе собираются дети боярские, велено гнать в немецкую землю на вывод, и меня с ними. «Куда я жену дену?» — спрашиваю. А наместник говорит: «Куда хочешь». Я и покинул ее, больную, в городе. После уж я узнал, что наместник отослал ее в монастырь, а там ее кормили на дворе с собаками. Болезнь у нее была такая, что дух от нее шел такой; ее в келью не пускали. Так и померла. А я с двумя детками пошел пешком зимою в далекую сторону. Денег нет, хлеба не дают, разве Христовым именем выпросишь, а и то редко кто даст,— у самих людей мало было хлеба от неурожая. Дети не выдержали, померли от холода и голода, а мы бежали с дороги. Таких, как я, много по всей Руси. Чаю, кабы всех собрать, то и царская рать ничего бы с нами не поделала.

— Что, товарищ,— спрашивал Урман у Кудеяра,— хорошо у нас поводится? Каково потерпел Окул! Были и такие, что потерпели похуже Окула. У нас ватага человек сот две. Пришло их немало из одной вотчины и рассказывают: опалился царь на боярина их; самого боярина казнил лютою смертью, а потом поехал царь с опричниною в боярское село: село окружили, а народу велели выходить вон с женами и детьми, и старыми и малыми. Опричники

перво сожгли боярский двор, а дворню начали бить до смерти, мало не всех перебили, только разве какой успел убежать. Потом пошли по крестьянским дворам, все рубят: двери, столы, какая посудина была — все перебили, переломали; овец, лошадей, скот, птицу — все порубили, даже кошек и собак побили, а потом село зажгли и крестьянам сказали: «Идите куда хотите, хоть с голоду пропадайте; каков-де ваш боярин был, таковы и вы, такие-сякие дети». Да еще царь не велел другим людям принимать их и кормить. И половина их околела, особливо малые да хворые, оттого что в те поры был великий пост, время холодное, а прочие с голоду да холоду напали на одно село, берут насильно, что можно съесть и во что одеться; хозяева не дают своего добра, а те отнимают. Начали драться дубьем, и кулаками, и чем попало; опальные подолели и все село разграбили, и в такой задор вошли, что красного петуха по селу пустили и дотла сожгли. «Каково,— кричат,— нам было от царя-государя, таково пусть и вам будет! Мы потерпели, так и вы заодно с нами потерпите». Тогда из того же разоренного села были такие, что к ним же пристали,— прежде бились с ними за свое добро, а как у них все отняли и сожгли, так, значит, нет ничего, и жалеть не о чем. Пошли на другое село боярское, да уж на опричное, приказчика убили, двор боярский сожгли, а с крестьянами биться стали; дело было горячее. Человек с сотню положили: кого тут же насмерть прихлопнули, кому руки и ноги подломили, глаза вышибли, а из того села многие утеклецы прибежали в город Серпухов, дали знать губному старосте, и губной староста приказал скликать уездных людей. Тогда опальные и к ним приставшие люди видят, что не сладить им силою, побежали лесами в украинные города и пристали к нам. Теперь мы сидим в землянках и тем и живем, что кого на дороге ограбим либо на двор опричный нападем. Прежде были чуть не голые и босые, а теперь и одеты, и сыты, и конны.

— Ну, не повсякчас сыты,— сказал Окул.— Ино время голодная ватага с нас, атаманов, харчи спрашивает: «Корми братью,— говорят,— а то тебя съедим». Проезд был невелик в Литву от войны. А вот как теперь царь замирился с Литвою, стали торговые людишки ездить.

— И теперь двоих ждем,— сказал Урман.— Онамедни купец под огнем сказал: будет ехать из Киева купец, а с ним монах. Вот мы их и ждем.

— Так вы и монахам не спускаете? — спросил Кудеяр.

— Монахов? — прервал Окул.— Кого же нам и тормошить как не монахов. У кого деньги, у кого всякое добро, как не у них!

— Вот,— сказал Урман,— тебя так не тронут, ты полоненник.

— У тебя,— сказал Окул,— кони чуть ноги волочат от ханских даров. Был бы ты не полоненник, так не проехал бы. А у нас такой зарок исстари ведется: полоненника, который из полона идет, нельзя тронуть, хоть он груды золота вези,— он божий человек. Коли полоненника ограбить или убить, то нам самим удачи не будет,— так старые люди говорят. А монахов... Что они? Вот как бы монах или поп с ризой шел, с образами — ино дело.

— Погоди,— сказал Урман,— про то Бог весть, что впереди будет, может, и сам Кудеяр с нами заодно станет.

— Никогда с вами не стану,— возразил Кудеяр.

— А, чай, на нас пойдет, коли царь укажет? — спросил Окул.

— И на вас не пойду, царю служить не буду. Возьму жену и пойду в свою землю.

— Право слово не пойдешь на нас? — спросил Окул.

— Право слово не пойду, оттого что служить царю не стану,— ответил Кудеяр.

— А ты думаешь, тебя так с женой и отпустят подобру-поздорову? Когда придется бежать, к нам приходи. Мы тебя до границы проведем.

— Сам пройду,— сказал Кудеяр.— А вы сами зачем не уйдете в Литву?

— Боимся,— отвечал Окул,— царь напишет в Литву, что мы разбойники, а нас и выдадут как лихих людей.

В это время послышался топот лошадей.

— Приехали,— закричал Окул,— наша добыча приехала!

В избу вошло трое человек. Один низенький, горбатый, одет был в монашеское платье. Концы клобука, подвязанные под бороду, скрывали черты лица его. Другой был высокого роста, с остроконечным лбом, длинным носом и пугливыми глазами. Третий был работник. Хозяин-купец, давши ему приказание насчет лошадей, сел на лавку и, снявши мешок, положил возле себя, бросая кругом тревожные взгляды. Хозяйка предложила приезжим поужинать и поставила перед ними миску постных щей и ячменную кашу, так как была пятница. Купец достал из мешка водки,

выпил вместе с монахом и, ободрившись, стал заговаривать с присутствующими.

— Откуда едете? — спросил купец.

— Мы чужеземцы,— сказал Урман,— из цесарской земли едем в Москву по торговым делам.

— Чай, не в первый раз у нас,— спросил купец,— когда по-нашему говорить умеете.

— Живали подолгу,— сказал Урман и добавил, указывая на Окула,— русский человек, наш приятель.

Купец ободрился, начал говорить о торговле; вмешался в разговор монах и повел речь о киевских святых: оказалось, что он ездил с купцом на богомолье.

— Говорят, у вас под Белевым нечисто,— спросил купец хозяина.— Ребята пошаливают?

— Все это люди врут,— отвечал хозяин.— Было прежде немного... да губной староста переловил лихих людей и посадил в тюрьму. Теперь, благодарить Бога, хоть ночью один поезжай, никто пальцем не тронет.

— Тут, говорили, шалит какой-то Окул.

— Окул? — возразил Окул.— Уже недели две, как его повесили в Белеве.

— Слава тебе Господи! — сказал купец и перекрестился.

— Мы не боимся и света ждать не станем,— сказал Окул.— Теперь прохладно, лошадям легче ехать.

— Наши лошади утомились,— сказал купец.— Мы дождемся света. Да и вам чего спешить. Честный отче нам бы немного почитал: у него книжка есть, такая книжка умная, так в ней все хорошо написано, что как слушаешь, так слеза тебя прошибает.

— Нет, благодарим на добром слове,— сказал Окул.— Нам надобно спешить.

Он вышел из избы, а Урман по-татарски позвал в сени Кудеяра.

— Слушай, Кудеяр,— сказал Окул,— ты полоненник, путь тебе чист, но хлеба от нас не отбивай. Проезжим об нас не говори и в наше дело не мешайся, а не то — не прогневайся.

— Ты хочешь, чтобы я с вами был заодно,— сказал Кудеяр,— да еще пугать меня думаешь.

— Други, слушайте,— сказал Урман,— ты Кудеяру не перечь, а то у него сила такова, что он нас обоих в бараний рог согнет. А ты, Кудеяр, тоже рассуди. Купец и монах тебе не братья, не кумовья, у тебя свое горе, тебе надобно

жену достать, а как ты ее достанешь, Бог весть. Может, и мы тебе погодимся.

Кудеяр насупился, помолчал и спросил:

— Вы их хотите загубить?

— Нет, нет,— сказал Окул,— мы напрасно людей не бьем; мы его только облегчим маленько.

— Ну, делайте как знаете,— сказал Кудеяр.— Мое дело сторона.

— Ну, смотри и помни,— сказал Окул.— За это мы у тебя в долгу будем и, когда нужно, отплатим тебе всяким добром.

Кудеяр воротился в избу. Купец и монах, поужинавши, легли спать, а Кудеяр, полежавши немного, встал, рассчитался с хозяином, потом заплатил своему провожатому, все время не отходившему от лошадей, и отпустил его, сказавши, что теперь сам доедет до Белева; затем, оседлав и навьючив лошадей, пустился в путь по лесной дороге.

Проехавши верст десять и спускаясь в долину, он увидал огни: то был горящий костер, возле которого сидела толпа разбойников. Увидя проезжего, она бросилась на него с диким криком.

— Не тронь,— раздался знакомый Кудеяру голос Урмана.— Это едет тот полоненник, что я вам говорил об нем.

— Когда полоненник,— закричали из толпы,— то милости просим к нам хлеба-соли есть и винца выпить.

Напрасно Кудеяр отговаривался. Атаманы клялись ему отцом, матерью, что никто у него не возьмет нитки. Он сошел с коня и выпил предложенную ими чару вина.

— Слушайте, братцы,— сказал Урман,— это наш давний друг, старый товарищ; коли будет ему какова нужда, мы все ему в помочь будем, для того что он обещал нам на нас не ходить по царскому указу и царю не служить. Согласны ли на то, братцы?

— Согласны, согласны,— закричала толпа.

— Зачем тебе ездить к царю,— сказал один разбойник,— узнай только, где твоя жена. Мы ее достанем тебе и проводим обоих вас в Литву.

— А где мне узнать про то? — спросил Кудеяр.

— В Белеве должны знать,— сказал Окул.— Ты вот что, брат: поезжай в Белев да узнай, куда услали жену твою, а потом к нам приезжай, так мы вместе с тобою отыщем жену тебе.

— Ох, братцы,— сказал Урман.— Боюсь я Белева. Не было б тебе там того, что было в Ислам-Кермене!

— Живой не дамся другой раз в неволю,— сказал Кудеяр.

Простившись с разбойниками, Кудеяр садился уже на лошадь, как вдруг караульный из разбойников закричал: «Едут, едут наши!»

— Ступай с Богом, Кудеяр,— сказал Окул,— и про нас не забывай. А мы тебе в угоду купчишки не убьем.

— Разве только маленько огоньком подсмолим,— сказал один из разбойников.

Кудеяр поспешно поехал своей дорогой, и, когда поднялся на гору, до него долетели жалобные вопли купца и монаха и громкий хохот расправлявшихся с ними разбойников.

Проехавши еще верст десять, Кудеяр развьючил одну из лошадей, вырыл в лесу яму и зарыл в нее большую часть полученных от хана денег, золотых и серебряных вещей; заклал яму дерном и сделал пометку на дереве, отсчитавши от того дерева до клада десять дерев и вымерял между ними расстояние, затем пустил лошадь на произвол судьбы, а сам с другою вьючною лошадью поехал далее и через пять верст достиг Белева.

Остановившись в посаде на постоялом дворе, Кудеяр отправился к наместнику и поднес ему вышитый золотом халат и серебряный кубок. Наместник был в восторге, но когда наместник услышал, кто он таков, то произнес неопределенное восклицание и, пригласивши Кудеяра сесть на скамью, сказал ему:

— На поминках благодарим. О тебе, Кудеяр, прислана от царя-государя грамота, и, чай, такова писана не ко мне одному, а во все украинные города. Прочитай.

Он подал Кудеяру грамоту.

— Я не умею читать! — сказал Кудеяр.

— Так подьячий прочтет.

Позвали подьячего, и тот прочитал:

— «И буде Юрий Кудеяр прибудет к тебе в город и тебе б его, Юрия, ни часу не мешкав, отправить к нам, великому государю, в Александровскую слободу, наспех с провожатыми, дав ему провожатых человек десять и больше. А ему, Кудеяру, объявить, что он надобен нам, великому государю, для наших важных государских дел, и ему, Кудеяру, с теми провожатыми ехать к нам, никуда не заезжая и не останавливаясь нигде, а приехав в нашу Александровскую слободу, явиться к нашему ближнему человеку, князю Афоньке Вяземскому...»

— Слышишь,— сказал наместник,— садись на лошадь и поезжай.

Кудеяр стал было расспрашивать о своей жене, но наместник отговаривался, сказавши, что ничего о том не знает оттого, что сам приехал вновь.

Кудеяр сообщил, что разбойники напали на него и отняли от него вьючную лошадь, а на той лошади были самые богатые ханские подарки.

— Жалею о твоем горе,— сказал наместник,— пошлю служилых людей тех воров изловить и губному старосте велю написать, чтоб послал уездных людей на тех воров; а как тех воров изловят и животы твои у них обрящутся, в те поры все животы твои тебе отданы будут по расписке. А теперь ступай к царю с провожатыми.

IV. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СЛОБОДА

Не раз случалось в истории, что незначительные поселения быстро обращались в многолюдные города с богатыми торжищами. Такой пример был и с Александровской слободой. Уже давно существовала она как заурядная дворцовая слобода, как вдруг царь Иван, вообразивши себе в Москве гнездо злодеев и заговорщиков, превратил слободу в царскую столицу. Царские любимцы волею-неволею заводили себе там дворы и деревянные дома; нигде в угоду царя не расточалось на Руси столько искусства резьбы по окнам, гзымзам и столбам. Одна улица этой слободы, ведущая от рынка ко дворцу, приняла такой праздничный вид, какого не имела ни одна улица старой Москвы: все здесь было ново и не успело загрязниться. Улица была вымощена распиленными бревнами, положенными плоской стороной вверх; мостовая эта еще не успела подгнить и не угрожала пока ногам людей и лошадей, как это бывало во всех городах Московского государства. Прямо в конце этой улицы, под высокою башнею с большим образом на верхнем щите, глядели на путника главные ворота, а перед ними был мост, поднимавшийся и опускавшийся на цепях. Дворец был окружен рвом в две сажени ширины и столько же глубины. На дне рва была вода. За рвом по внутренней стороне шел земляной вал, одетый с обеих сторон бревенчатыми стенами с шестью кирпичными башнями в два яруса. Посредине двора возвышалась и белела большая церковь с пятью вызолоченными куполами, а близ нее тянулись царские хоромы с высокою гонтовою кровлею,

размалеванные разными красками, с вышками, подзорами, с крыльцами, под круглообразными навесами и с четвероугольными окнами, которых карнизы были размалеваны снаружи затейливыми узорами. Много щегольства было приложено к этому деревянному зданию; но, несмотря на все желание разукрасить его, физиономия его заключала в себе нечто подавляющее, отталкивающее, как часто бывает, что дом, построенный хозяином по своему вкусу, мимо воли самого хозяина носит его характер. Окна царского жилища, глубокие, вдавшиеся внутрь, невольно носили в себе отпечаток чего-то таинственного, зловещего. Все в этом дворце, начиная от чванных труб на расцвеченной кровле до кирпичного подклета с чрезвычайно маленькими окошечками, снабженными железным переплетом, глядело как-то высокомерно и недружелюбно. За хоромами был недавно разведенный сад, а за садом длинное и низкое кирпичное строение, вросшее в землю, с железными дверями, куда нужно было входить несколькими ступенями вниз от уровня земли. Кровля над зданием была земляная. В этом здании было несколько отделений: оружейное, пыточное, с адскими орудиями мук, и тюрьмы; впрочем, тюрьмы были не только здесь, но и в башнях, и в пещерах, сделанных в земляном валу и даже в подклетях под самыми хоромами. Обширный царский двор был весь обстроен жилищами царских опричников и множеством служб. За валом, окружавшим двор, было два пруда, которые современники называли адскою геенною, так как царь топил там людей и бросал туда тела казненных, потому что рыбы и раки, поевши человеческого мяса, станут вкуснее и пригоднее к царскому столу.

Провожавшие Кудеяра служилые беглецы не покидали его ни на минуту, понимая, что везут к царю такого молодца, которому едва ли будет выход оттуда, куда он прибудет, но не отбирали у него оружия, так как об этом им ничего не было сказано. Кудеяр во время дороги мог не только уйти от них, но перебить их самих, если бы захотел употребить в дело свою необычную силу. Но то не было в его целях: без воли царя он не надеялся узнать о местопребывании своей Насти, притом же он все еще не вполне верил рассказам о свирепости царя и соображал, что царь оценит его видимую преданность, когда удостоверится, что он не хотел служить крымскому хану, у которого ему не могло быть худо, а предпочел воротиться на службу к христианскому царю.

Кудеяр прибыл, наконец, в страшную Александровскую слободу, доехал до ворот дворца. Караульные велели ему оставить лошадей и снять с себя оружие. Исполнивши приказание, Кудеяр шел пешком с непокрытою головою до главного крыльца и встретил здесь двоих людей, странно одетых. На них были монашеские, черные рясы из грубой шерстяной ткани, на головах скуфьи с клобуками, а из-под распахнутых ряс виднелись шитые золотом кафтаны, а за поясами кинжалы с богато оправленными рукоятьми.

— Я,— сказал Кудеяр,— прибыл по повелению его царского величества, великого государя-царя и великого князя всея Руси. Я, Юрий Кудеяр, вернулся из татарского плена на службу его царского величества. Мне велено сказать о себе князю Афанасию Вяземскому.

— Рады гостю дорогому и из далекой стороны. Я сам и есть князь Афанасий Вяземский,— сказал, приветливо улыбаясь, один из стоявших у дверей, человек лет тридцати, с темно-русой бородой и лицом, силившимся казаться добродушным.— Федя, пойди доложить царю-государю,— сказал он своему товарищу, парню лет восемнадцати, белокурому, румяному, с голубыми глазами, выражавшими наглость и бесстыдство.

Федор Басманов, царский потешник, побежал вперед, за ним пошел Вяземский, а за Вяземским медленно шел Кудеяр.

Они вошли в просторные сени с частыми окнами, в которых рядом с матовыми стеклами были вставлены цветные — голубые, красные, зеленые.

Через несколько минут вошел царь, сопровождаемый двумя любимцами, одетыми так же, как и Вяземский: один из них — невысокий, тучный, толстогубый, с серыми глазами, выражавшими смесь злобы с низкопоклонничеством; другой — высокого роста, статный, чернобородый, с азиатским лицом. Первый был Малюта Скуратов, второй — шурин царя, черкасский князь Мамстрюк Темрюкович. Сам царь одет был в желтый шелковый кафтан, из-под которого виднелся белый зипун; на голове у него была черная шапочка, саженная жемчугом, а на ногах высокие черные сапоги, шитые серебром. Трудно было узнать в нем того царя, которого некогда видел Кудеяр,— он весь высох и пожелтел; щеки впали, скулы безобразно выдавались вперед. На бороде не было ни одного волоска, из-под шапочки также не видно было волос; глаза его страшно и как будто непроизвольно бегали из стороны в сторону,

губы дрожали, голова тряслась. Он шел сгорбившись, переваливаясь с боку на бок и опираясь на железный посох. Физиономия его была такова, что, увидавши ее в первый раз, трудно было решить: пугаться ли этой фигуры или расхохотаться при ее виде.

— Здорово, здорово, Кудеяр,— сказал царь, подходя к нему и расширяя свои дрожащие губы в виде улыбки.— Ну, как поживает наш брат, бусурман Девлет-Гирей, хан крымский, твой государь. Ты...— как это?..— приехал к нам править посольство от него.

— Я приехал,— отвечал Кудеяр, поклонившись до земли,— из бусурманского полона на службу к тебе, моему великому государю.

— Какой я тебе государь! — сказал царь.— Ты приезжал ко мне когда-то с собакою Вишневецким, а Вишневецкий, присягнувши нам на верность, убежал от нас с своим казачьим собацким обычаем. Мы узнали, что его в турской земле за ребро на крюк повесили. На здоровье ему!.. И его казачью туда дорога — и ты бы себе пошел за ними... Ха, ха!

— Великий государь,— сказал Кудеяр,— ты пожаловал меня милостями, поверстал поместьями на своей земле и в свои служилые люди велел меня записать. Я твой раб, и, кроме тебя, единого православного царя, у меня нет государя. Волен ты, великий государь, делать со мной что угодно. Твой царский указ был мне объявлен, чтобы я прибыл и явился перед твои ясные очи.

— Мой указ, мой указ,— говорил царь,— ты из Крыма челобитье мне послал, просил, чтоб тебе приехать в мое царство. Ну, говори теперь, зачем тебе в мое царство? Ты соглядатаем сюда приехал от нашего прирожденного недруга, крымского хана. А? Бусурман писал к нам, что ты ему живот и царство спас. А мы послали тебя в поход не царство его спасать, а царство его темное воевать. Так ты, исполняя наш указ, вместо того, чтобы воевать крымского хана, стал спасать ему живот и царство...

Кудеяр попытался было изложить случай, по которому он оказал услугу хану, но царь перебил его и сказал:

— Ты думаешь, я ничего этого не знаю; твой господин Акмамбет, которого ты, как неверный раб, предал, прибежал к нам и про все нам поведал; он принял у нас христианскую веру, и мы ему пожаловали поместье, что прежде за тобой было справлено, для того, что он, заплативши за тебя деньги, потерял их, да и вотчину свою через

тебя утратил в Крыму. Так мы и пожаловали его за то, что он понес убыток через тебя, раба лукавого и ленивого.

— Твоя воля, великий государь,— ответил Кудеяр,— я рабом у него прирожденным не был, а всегда был и остаюсь теперь рабом твоим, великий государь. Акмамбет хотел своего прирожденного государя убить, а я, будучи верен своему государю, думал, что и другие все должны быть верны своим государям, для того что коли б я узнал, кто неверен моему великому государю-царю и великому князю всея Руси, то не то что был бы он мой господин, а мой родной отец, то я и того бы не пожалел за здоровье моего государя.

— Молодец! молодец! — в один голос произнесли и Малюта, и Вяземский, и Басманов, а Мамстрюк издал какой-то неопределенный, дикий, но одобрительный звук.

— Ты хорошо говоришь,— сказал царь,— а у меня много злодеев, больше, чем у крымского хана: бояре-изменники изгнали меня из столицы, где царствовали мои предки и где покоются телеса их; я сиротою скитаюсь по лицу земли, а они все не оставляют меня в покое, как львы, рыкают, алчут моей крови, хотят все мое семя царское истребить. Злой умысел составили: меня вместе с сыном лишить престола и отдать недругу моему, Жигимонту-королю. С крымским ханом в уговор вошли, чтобы он пришел с ордою и меня из земли моей выгнал... Хотели посадить на моем престоле своего брата, подлого раба, моего конюшего. Но Бог не допустил их до того не по грехам нашим, а молитвами святых заступников церкви и державы Российской! Вот каково деется у нас. Ты давно не был у нас в земле и ничего того не знаешь.

— Меня,— сказал Кудеяр,— бусурман хотел наградить поместьем, чтоб мне и потомству моему была вечная льгота, позволял и церковь построить по нашей вере, а я сказал ему: лучше черным хлебом буду кормиться по воле моего христианского государя и умру на его службе.

— Напрасно не согласился,— сказал царь,— может, тебе там и лучше было бы, чем у нас будет. Ну, а все-таки, чай, бусурман, отправляя тебя, дал тебе на дорогу чего-нибудь, а?

— Он дал мне денег и разного узорочья,— сказал Кудеяр.— Но под Белевым напали на меня разбойники и отбили одну лошадь с ханскою казною. А теперь у меня осталось меньше половины того, что хан мне дал.

— Ой, не врешь ли ты? — сказал царь.— Может, где-ни-

будь в лесу зарыл: как же ты, такой силач, что с медведями боролся, а не мог отбиться от разбойников?

— Я отбился от них, жив остался,— сказал Кудеяр,— только лошади одной не мог отбить для того, что много их было, а у них огненный бой.

— Ну, а что хорошего, самого лучшего из ханских даров у тебя осталось? — спросил царь.

— Все здесь со мной привезено, а дороже всего сабля булату дамасского, рукоять у ней с камнем самоцветным, смарагдом зело великим и с цепью золотою.

— Покажи,— сказал царь.

Пошли за саблей. Царь продолжал:

— А вестно ли тебе, что ханские лиходеи говорили на нас безлепишные речи, будто мы их научали на убийство хана?

Кудеяр отвечал:

— Я был во дворце ханском как бы в неволе, и ничего мне не говорили, только уж когда хан отправлял меня, то сказал: «Мои лиходеи наговаривали на царское величество, но я их речам не верю; только то,— говорит,— мне кручинно, что государь моего недруга Акмамбета у себя держит». Таково слово мне хан сказал, а более того ничего не говорил.

— Ему-то кручинно? А он сам зачем моих недругов принимал и с боярами-изменниками ссылался? Акмамбет теперь крещеный человек — нова тварь, а крещение — второе рождение. Мы подарили ему твое поместье, только ты, Кудеяр, на нас за то не кручинься. Мы пожалуем тебя паче прежнего.

Кудеяр поклонился царю до земли.

Принесли саблю. Царь разглядывал ее и хвалил. Любимцы также хвалили саблю.

Кудеяр еще раз поклонился и сказал:

— Великий государь, пожалуй меня, холопя своего, позволь мне челом ударить тебе, государю, этой саблей.

— Спасибо, Юрий,— сказал царь ласково.— Вяземский, отнеси эту саблю в оружейную. Чай, она там не последняя спица в колеснице будет. Ну, Кудеяр, чего бы ты от нас хотел?

Кудеяр поклонился до земли и ответил:

— Великий государь, смилуйся надо мною, холопом твоим, вели видеться с моею законною женою.

— А! вот он чего захотел! — сказал царь, засмеявшись.— Вот о чем он паче всего думает! Он, верно, затем

и ко мне приехал, что жена его оставалась здесь, у меня в руках, на моей воле. А где она, он не знал и теперь не знает! Без этого и ворон костей его не занес бы сюда. Ой казак, казак! ты думаешь провести нас: жену твою мы тебе отдадим, а ты с нею уйдешь от нас к своему приятелю, Девлет-Гирею, либо к королю Жигимонту-Августу да на нас будешь зло мыслить.

— Царь-государь,— сказал Кудеяр,— буду служить тебе единому до последнего издыхания и никуда не уйду от тебя. Какой тебе угодно искус на меня положи.

— Искус-то я положу на тебя,— сказал царь,— да как-то ты его вынесешь. Люди знатных княжеских и боярских родов нам изменяют, так мы близко себя держим людей худородных, от гноища сотворихом себе князи, от камения чада Авраамли. И тебя возьмем близко к нам. Какой твой род? Кто твои прародители? Чай, лапти плели или свиней пасли? А вот мы тебя возьмем в наши опричные, и ты будешь каждый день наше лицо видеть.

— Челом бью на такой великой милости,— сказал Кудеяр и поклонился до земли.

— Но ты,— сказал царь,— может быть, думаешь, что эта великая милость достается даром? Нет, казак, даром ничего не дают. Афонька, скажи ему, как нужно быть у нас в приближении.

Вяземский сказал:

— Достоит тебе дать присягу или паче клятву служить государю до последней капли крови и до последнего твоего издыхания, царя любить паче всего, паче жены и детей, паче отца и матери. Писано-бо: аще не возненавидит отца своего, и матерь, и жены, и чад, и всех сродников мене ради, несть мене достоин. Сие потребно и для истинного, нелицемерного слуги царского. Коли б тебе государь-царь сказал: убей отца своего, или мать свою, или жену, или детей — соверши царское повеление, не размысливши в сердце своем. Кто царю недруг, тот и тебе лютый враг. Аще царский недруг придет к тебе хладен, гладен или наг и ты дашь ему одежду, или укрух хлеба, или чашу воды — повинен еси лютой смерти. Достоит тебе повсюду смотреть и слушать: не говорит ли кто про царя непригожие речи, не глядит ли кто исподлобья, когда его высокое имя произносится... Ищи царских недругов, как гончий пес ищет зверя, терзай царского врага, аки тигр лютый. Попа, в ризах облаченного, но зло царю мыслища, не убойся, старца, сединами убеленна, не пощади, младенца ссущего, отродие

изменническо, не пожалей. Вот что значит быть верным, истинным слугою царским.

— Буду так творить, как царю-государю угодно,— сказал Кудеяр.

— Будешь,— сказал царь, захохотавши,— теперь ты нам все обещать будешь, а как жену свою возьмешь, так и станешь помышлять, как бы от нас утечь вместе с нею. Знаю и вижу, что у тебя на уме! Но ты сам сказал нам: какой нам угодно положить на тебя искус. Хорошо. Я на тебя положу три искуса один за другим. Коли все три выполнишь, так будешь у нас в великом приближении. Жена твоя не должна быть тебе дороже нас, помазанника божия. Слышишь!

— Буду все творить по твоему повелению,— сказал Кудеяр.

— Поместите его у меня во дворце с прочими опричными,— сказал царь.— Перво он увидит, как у нас Богу молятся, а потом я ему дам первый искус. Через день — другой искус, а там, через день или два,— третий.

Кудеяра отвели в двухэтажный дом, с переходами внизу и наверху. В этом доме помещались царские опричные люди. Кудеяра ввели в один из нижних покоев; за ним внесли его пожитки. Покой был перегорожен надвое, кругом были лавки; в углу висел, над медною лоханью, умывальник, наподобие чайника, с двумя носками. В покое уже был жилец, опричник, из детей боярских, Дмитрий Зуев. Он рассказал Кудеяру, что во дворце у государя как бы монастырь; всякий должен носить, поверх мирского одеяния, монашеское, соблюдать иноческие уставы и правила, ходить к заутрене, обедне и вечерне и обедать за царским столом, как бы за монастырскою трапезою. Они должны были в угоду царю творить расправу над царскими недругами. Много стало,— говорил Зуев,— изменников, и они довели царя до грозы. Прежде наш государь был милостив зело, и было велие от того послабление, и того ради он стал грозен, как гром небесный. Тела казненных не погребают, а псам бросают или в пруд повергают, а редкий день обойдется, чтобы казней не было. Кудеяр слушал, и у него самого едва язык ворочался; на него нашло какое-то одурение. Его могучая натура переживала роковые минуты нравственного перелома: против собственной воли ему казалось, что он стоит на краю бездонной пучины, откуда выглядывает отвратительное чудовище.

Раздался благовест к вечерне. Кудеяр пошел вслед за

Зуевым. В просторной церкви, блиставшей обильною, еще не потускневшею позолотою, стояла толпа любимцев, с клобуками на головах; впереди сам царь, также в монашеском одеянии, возле него старший сын, черноволосый парень, с злым выражением глаз. Царь бил поклоны, ударяя лбом о пол, так что по церкви раздавался отголосок; любимцы старались подражать ему, и Кудеяр делал то же.

После вечерни все пошли в царский дом, где в сенях накрыт был стол. День был постный; подавали рыбное кушанье, сильно приправленное перцем и шафраном. Пили в изобилии вино. Царя не было. Повечерявши, все снова пошли слушать повечерие, а потом разошлись,— одни в свои кельи, а другие по разным царским поручениям.

В полночь раздался благовест.

Кудеяр, со своими товарищами, отправился в церковь. Князь Вяземский, в звании параклисиарха, зажигал и тушил свечи, клал угли в кадило, а царь очень медленно читал шестипсалмие и кафизмы. После первого часа все ушли в келью, но скоро потом заблаговестили к часам и к обедни. Царь всю литургию стоял, поднимая глаза к небу и испуская громкие вздохи, на ектениях за каждым «Господи, помилуй» бил земные поклоны, но во время херувимской Малюта Скуратов подходил к царю, и царь, с выражением злобы на лице, отдавал ему какие-то приказания: впоследствии Кудеяр узнал, что это были распоряжения о назначенных на этот день казнях.

По окончании литургии все пошли в трапезу, и, когда любимцы сидели и молча ели, царь с возвышения читал им житие преподобного отца, которого память приходилась на этот день и который отличался большим постничеством, а между тем за столом было множество кушаньев и все напивались вдоволь. После обеда, выйдя из-за стола, все подошли к другому столу, пили из одной серебряной чаши так называемую чашу богородицы и пели «Достойно есть».

По выходе из трапезы Кудеяр с Зуевым отправились в свою келью, как вдруг раздался трубный звук.

— Это значит,— сказал Зуев со вздохом,— приспе час суда и кары.

Служитель позвал Кудеяра к царю...

Кудеяр, по приказанию царя, отправился в длинное каменное строение, входившее в землю. Там, в огромном длинном покое, освещенном в верхней части одной стены маленькими окнами с железным переплетом, Кудеяр увидал огромные сковороды, в рост человеческий, орудия вро-

де кошачьих когтей, привязанных к ремням, пилы, большие иглы и гвозди, какую-то сбитую из досок стенку, усеянную гвоздиками острием кверху. В углу топилась огромная печь. Пол был весь измазан кровью. Посредине залы стоял трон. Царь с сыном сидели на лавке, прямо против трона; за ними стояла молчаливая толпа любимцев.

Из противоположной двери вывели старика, высокого роста, лысого, с клинообразною седою бородою, бледного, изможденного; его голубые глаза смотрели прямо и бодро; на лице было выражение выстраданной решимости и равнодушия к ожидаемой участи. Сзади его шла старуха в черном летнике, с глазами, обращенными к небу; в них не видно было слез; она встала на колени, сложила накрест руки и шептала молитвы.

Царь, обратившись к старику, сказал:

— Конюший Иван Петров! Ведомо нам учинилось, что ты, забыв Господа Бога и наше превеликое к тебе жалованье, вместе с единомышленниками своими, призвав на помочь недругов наших, Жигимонта-Августа, короля польского, и Девлет-Гирея, хана крымского, хотел нас, прирожденного государя, свергнуть с прародительского престола и погубить со всем нашим царским семенем, а сам думал сесть в Москве на царстве. Завиден показался тебе наш престол, захотелось тебе посидеть на нем. Ныне мы, по нашей царской милости, сделаем тебе угодное, посадим тебя на престол. Наденьте на него царский наряд.

Старик ничего не говорил и не противился, когда на него одевали царское облачение.

— Садись,— сказал царь,— бери в одну руку державу, в другую скипетр.

Старик повиновался.

Иван Васильевич поклонился ему до земли и сказал:

— Здравствуй, царь и великий князь всея Руси. Посмотрите на него: правда, хорош! Что же ты сидишь, словно на образе написанный? Поверни головою вправо, влево, поведи бровями грозно, достойно... Ну, я тебя посадил на престол, я тебя и свергну с престола.

С этими словами царь ударил его кинжалом в грудь. Старик упал, заливаясь кровью. Опричники бросились на полумертвого, кололи, топтали ногами, потом поволокли труп к растворенным дверям, за которыми виднелась стая собак на привязи у псарей. Собакам умышленно перед тем долго не давали есть, и они от голода выли.

— Псам его на съедение,— сказал царь.

Опричники выбросили труп; собаки накинулись на него, и двери затворились.

Старуха во все продолжение этой сцены не пошевелила головою, продолжала держать глаза обращенными кверху и шептала молитву.

— А вот и царица его,— сказал царь,— Кудеяр, задуши своей железной рукой эту царицу всея Руси.

Старуха не изменилась в лице, продолжала смотреть кверху и шептала молитву.

Услышав повеление, Кудеяр сначала от ужаса отшатнулся, но в голове у него пробежало такое рассуждение: если он не погубит старухи, другой погубит ее, царь не спустит ему, и он не увидит своей Насти. Он бросился на старуху, сдавил ей горло, и она мгновенно лишилась жизни.

— Молодец! — сказал царь.

— Молодец! — повторили любимцы.

Ввели другого старика, несколько моложе прежнего, но его ноги чуть двигались. Он был в черном платье, глаза его были опущены, голова клонилась на грудь.

Царь сказал:

— Князь Петр Щенятев! Каково спасаешься? Ты хотел идти в монастырь и постричься, думал тем избежать праведного суда моего, вот же не ушел! Не довелось тебе, обманывая мир, сидеть в монастыре в тепле и холе да есть монастырских карасей, запиваючи вином,— вот я из тебя самого сделаю монастырского карася.

Опричники бросились на князя, сорвали с него платье, обнажили, потом схватили за голову, руки и ноги, положили на сковороду и сунули в горящую печь. Раздались ужасные крики. Царь повернулся спиною к печи.

Ввели высокого человека с клочковатой бородкой, средних лет. Подле него шла женщина с растерянным выражением лица и парень лет семнадцати.

— Батюшка-царь, смилуйся,— говорил введенный,— ей же Богу, не лгу, оговорили меня напрасно... никогда ничего не брал. Государь, земной Бог, помилуй,— и кланялся в землю.

— Царь-государь, помилуй,— вопила женщина и била поклоны.

За нею парень молча кланялся.

Царь сказал:

— Казарин-Дубровский, ты, забыв свою крестную присягу, учинил против нас воровство, мимо нашего указу отпустил со службы детей боярских, взявши с них посулы,

а то учинил ты, норовя недругу нашему Жигимонту-Августу, и за то довелся ты лютой казни.

— Батюшка-государь! — сказал Казарин-Дубровский.— Виноват я в одном, что отпустил десять душ, давши им выписи, не за посулы, а по их просьбе, что они сказались больны и к ратному делу негодны, а чтоб я то делал, норовя твоему недругу, того и на уме у меня не было.

— Лжешь, пес,— закричал царь.

— Батюшка, кормилец! Бог милосердый, пощади! — кричала женщина, валяясь у ног царских.

По царскому приказанию опричники притащили стенку с гвоздями и привязали к ней раздетого Казарина спиною, а по груди, животу и рукам водили зажженым трутом. Раздражающие крики страдальца покрывали замирающие стоны и вопли жарившегося в печи Щенятева.

Царь сказал:

— Кудеяр, и ты, Мамстрюк! Лупите до смерти кошками жену и сына Казарина перед его глазами. Истребляйте собачье отродье.

На женщине разорвали одежду от затылка до пят, связали руки и ноги и положили ее на пол. То же сделали с парнем. Кудеяр со всей силы бил кошками женщину, Мамстрюк — парня, а другие опричники переворачивали их то грудью, то спиною вверх. И так били их, пока они не лишились жизни.

Затем ввели целую семью: отец, низкорослый, сутуловатый, с русой окладистой бородкой, с короткой шеей, с глазами навыкате, в которых сквозь страшный испуг пробивалось выражение хитрости; близ него немолодая жена со смуглым толстым лицом, две дочери-подростки, с заплаканными глазами, бледные, как полотно, и двое ребятишек, которые ревели и утирали слезы кулаком, не понимая, что с ними делается.

Царь сказал:

— Хозяин Тютев! Был ты пожалован нами: велено быть тебе у нашей государевой казны, и ты, забыв Господа Бога и святую его заповедь и наше великое жалованье, учал нашу казну воровать и корыстоваться с соумышленниками своими, и хотели нашу казну передать Жигимонту-Августу и крымскому хану, чтоб им нас, государя, свергнуть с нашего прародительского престола. Думал ты, диавол-сосуд, обогатиться и пожить в лакомстве и довольстве, забыв, что кто не в Бога богатеет, тот сам себе уготовляет в сем

мире кару от земного владыки и на том свете мучим будет вечно; и за то ты довелся лютой казни!

— Во всем твоя воля, государь,— сказал хозяин Тютев,— ты наш Бог земной, а мы рабы твои; благодарить за все тебя должны, и за милость, и за казни.

Он поклонился царю в землю.

Жена кланялась в землю и вопила о пощаде, но от страху не могла произносить связно слов. За нею кланялись дочери, а ребята с плачем ползали по земле.

— Вот, мы начнем с дочерей твоих,— сказал царь.— Повесьте их вверх ногами и распилите пополам.

Пока опричники исполняли повеление, царь, близко подойдя к стоявшему на коленях Тютеву и указывая на терзаемых дочерей, говорил:

— Смотри на муки и на срам рождения твоего! Вот что бывает неверным и лукавым рабам: не точию они, но и семя их проклятое муку примет за них, ничем не согреша.

Мать в беспамятстве бросилась к дочерям, с которых струилась потоком кровь. Мамстрюк сильною рукою оттолкнул ее.

— Ребят малых в печь! — заревел царь.

Женщина совершенно потеряла рассудок, понесла бессмыслицу, в которой слышались проклятия.

— А! она еще языком ворочает,— сказал царь,— вложите ей веревку в рот и раздерите его до ушей, а ты, Кудеяр, коли ее иглою.

Опричники исполнили приказание царя, а Кудеяр колол женщину огромною иглою по всему телу.

— Довольно,— сказал царь,— забей ей гвоздь в темя.

Кудеяр исполнил царское приказание, а вслед за тем двое опричников держали за руки хозяина Тютева, двое раскрыли ему рот, а Мамстрюк, по царскому приказанию, из глиняного горшочка влил ему в рот расплавленного олова.

— Полей, полей горяченького сбитеньку! — говорил царь.

Хозяин Тютев упал, испустивши глухой крик, и несколько минут метался по полу. Царь любовался его судорогами.

Все наконец замолкло. Ввели красивого черноволосого человека лет двадцати пяти. Рядом с ним вели пожилую женщину, которой правильные черты лица и большие черные глаза выказывали былую красоту. Она глядела смело и держала голову так высоко, как будто шла принимать подарки.

Царь сказал:

— Князь Борис Тулупов, ты забыл Господа Бога и, презрев наши великие к тебе и твоему роду милости, хотел убежать из царства нашего к недругу нашему Жигимонту-Августу по стопам изменника нашего Курбского, и твоя мать была тебе в том помощница. Но Бог вашу измену открыл, и ты пойман на пути вместе со своею матерью, и за то ты довелся лютой казни. Посадить его на кол!

— Царь-государь,— сказал осужденный,— я тебе не изменял, а из твоего царства хотел бежать от великой кручины, что ты, царь-государь, на нас напрасно гневаешься и свою царскую опалу кладешь на нас без всякой нашей вины. Собаку напрасно бить начать, так и та со двора сбежит. Ныне я под твоею рукою. Твори с нами, что хочешь. Есть судья над тобою: Бог на небе. Он воздаст тебе за всех нас.

Тулупова посадили на кол.

— Ты не царь,— крикнула мать,— ты дьявол, ты зверь лютый. Мучь нас, терзай. Будь ты проклят от Бога. Погибнешь ты сам и весь твой кровопийственный род...

— Ха, ха, ха! — закричал царь Иван.— Княгиня, у тебя язык настоящий бабий! Ты, видно, женщина шутливая, я тебе и задам веселую смерть. Защекотать ее до смерти. Кудеяр, начинай ты.

Тяжелая работа выпала на долю Кудеяра. Княгиня металась во все стороны около сидевшего на колу сына. Кудеяр бегал за нею. К нему присоединились и другие. Княгиня отмахивалась, вскрикивала, дико хохотала, наконец упала без чувств. Ей дали отдых. Придя в себя, она приподнялась, бросилась к сыну, но опричники поймали ее, повалили на пол и щекотали до смерти.

Царь несколько минут тешился этой сценой, потом дал знак, чтобы ему приводили других. Ввели одиннадцать человек дворян, обвиненных в соумышлении с казненными вельможами. Царь приказал всех их раздеть донага; пятерых велел перед своими глазами облить кипятком, но при этом досталось и двум опричникам, исполнявшим царское приказание; они нечаянно плеснули кипятком на себя, и царь, увидя это, смеялся. Троим из осужденных отрубили руки и троим — ноги и, постегивая тех и других кнутом, заставляли первых бегать, а вторых ползать, пока они не лишились чувств от сильной потери крови; тогда царь приказал Кудеяру покончить их ударами кулака в головы.

Царь, обратившись к опричникам, громко спросил:

— Праведен ли мой суд?

— Праведен, государь,— закричали опричники,— как суд божий.

— Праведен ли мой суд? — спросил царь Кудеяра.

— Праведен,— сказал Кудеяр, а на душе у него было так скверно... Он чувствовал, что опустился в такую яму, из которой выйти уже нет возможности. Он ненавидел царя, презирал себя, но желание увидеть жену преодолевало в нем все.

— Довольно пока,— сказал царь,— время к вечерне.

Все вышли, оставивши в пыточной лужи крови, обгорелые изуродованные трупы, дым, удушающий смрад и одно еще живое существо — Тулупова на колу, в страшных муках смотревшего на лежавшую у ног его мертвую мать.

Ударили к вечерне. Опричники, как и прежде, клали поклоны, а царь с умилением читал псалом: «Благослови душе моя, Господи!» После ужина и повечерия царь приказал позвать Кудеяра.

— Садись,— сказал ласково царь Кудеяру,— садись да расскажи нам про свои похождения; чай, немало ты, бедный, горя претерпел, зато много диковин видел.

Кудеяр начал рассказывать свое странствование. Царь слушал со вниманием. Когда Кудеяр говорил о той муке, какую он терпел в кафинской тюрьме, царь прерывал его вздохами и восклицаниями: «Ах, злодей! ах, лютые человекоядцы!»

Кудеяр воспользовался таким благодушием царя и заговорил о своей жене.

— Бедная! как она горевала по тебе!

— Царь-государь,— сказал Кудеяр и бросился к ногам царя,— яви отеческую милость. Буду за тебя век Бога молить! Кровь пролью за тебя, государя моего! Дозволь мне видеть жену мою.

— Увидишь, увидишь,— сказал царь.— Потерпи немного. Вот один искус тебе уже был. Будет другой. Исполнишь — будет третий, тогда и жену увидишь. А теперь рассказывай дальше.

Кудеяр продолжал свою повесть, и, когда кончил, государь приказал дать ему стопу крепкого меда и сказал:

— Ступай, Кудеяр, отдыхать. Ты сделал большой путь к нам и сегодня — таки потрудился. Завтра тебе опять работа будет. Ступай, Господь с тобой.

Отпустивши Кудеяра, царь позвал к себе немецкого пастора Эбергарда. Этот пастор из пленных ливонцев, выучившийся замечательно хорошо по-русски, был однажды при-

зван царем и так ему понравился, что царь неоднократно призывал его к себе по вечерам, дозволял ему смело хвалить аугсбургское исповедание, осуждать по всем правилам лютеранского мудрословия монашество, даже касаться умеренно почитания икон, соблюдения постов и т. п. Православный царь сам вольнодумствовал с немцем, что так противоречило тому монастырскому обиходу, какой царь завел у себя в слободском дворце. В то время царь был недоволен митрополитом Филиппом, и ему хотелось, чтоб церковь не только не противоречила ему, но находила хорошим все, что ему вздумается делать. Хитрый немец выставлял ему свое лютеранство такою религиею, где царь может быть безусловным, непогрешимым государем церкви, где нет ни митрополитов, ни архиереев, поставленных, по преданию, от Христа, а есть только такие служители алтаря, которые за собою не имеют другого достоинства, кроме того, какое им даст верховная светская власть. В этом-то и заключалась вся тайна, каким образом подделался немецкий пастор к московскому царю. Все удивлялись Эбергарду, которого положение напоминало положение смельчака, усевшегося на краю жерла огнедышащей горы. Милостивое обращение царя с пастором не спасало до сих пор единоверцев и земляков пастора от царских мучительств. Не раз царь, для потехи, приказывал убивать перед своими глазами немецких пленников или отдавал на продажу в Крым. Эбергард никогда не ходатайствовал за опальных, не надоедал царю просьбами о своих земляках, напротив, всегда говорил царю, что все его поступки исходят от воли божией, и если царь бывает грозен, то это значит, что Бог караст людей за их прегрешения. Умел, как подобало лютеранскому пастору, толковать на все лады тексты Святого Писания: Эбергард приводил их и объяснял в пользу беспредельности царской власти так удачно, как не сумел бы ни один православный мудрец того времени. Такою угодливостью и покорностью Эбергард надеялся мало-помалу расположить царя к немцам. В этот вечер Эбергарду казалось, что он приблизился к своей цели: царь до такой степени признавал превосходство немцев перед русскими, так ласково обещал покровительство и безопасность для них в своем государстве, как будто для немецкого племени в Московской стране наступала новая, счастливая эпоха.

На другой день, после заутрени, двое опричников объявили Кудеяру, что он должен ехать с ними в Переяславль;

Кудеяр поехал верхом с двумя только опричниками. В поле его воображению невольно представилась возможность бежать из проклятого московского пекла, но он отогнал от себя эту мысль, вспомнив, что Настя в руках у мучителя.

Кудеяра привезли в Переяславль и поместили в наместничьем дворе. К вечеру того же дня приехал царь в карете с Мамстрюком, Вяземским и молодым Басмановым, провожаемый верховым отрядом опричников. Царь поместился в особом дворце, нарочно построенном для его приезда близ наместничьего двора.

На другой день царь отслушал обедню в переяславльском соборе и вкусил «богородицына хлебца», а потом, ставши вместе с любимцами на переходах, окружавших внутренность верхней части дворца, построенного на низменном подклете, велел подозвать ко дворцу Кудеяра. Царь ничего не сказал Кудеяру, когда он явился, но, обратившись к своему шурину, дал ему такое приказание:

— Вон в той башне сидят шестнадцать немецких полоненников; прикажи снять с них цепи и привести сюда, а вы,— прибавил царь, обращаясь к наместничьим людям,— затворите все городские ворота.

Через несколько минут Мамстрюк вывел из башни шестнадцать человек, бледных, изможденных, едва волочивших ноги от боли, причиненной им только что снятыми с них кандалами.

— Немцы,— сказал царь,— я жалую вас, освобождаю от неволи и отпускаю домой. Понимаете, немцы.

Из немцев только один понимал немного по-русски и передал царское слово землякам на их языке. Все подняли вверх руки и закричали: «Hoch lebe!»

Царь, указывая на ворота, дал знак немцам, что они могут уходить. Немцы поклонились царю до земли и повернулись с тем, чтобы идти. Тогда царь крикнул: «Кудеяр, бей этих нехристей!»

Кудеяр бросился за немцами и ударами кулака в спину убил двоих, одного за другим. Остальные, не понимая, что с ними делается, пустились бежать, насколько позволяли им больные ноги. Кудеяр догнал их и еще положил двоих. Двенадцать остальных немцев, спохватившись, бросились на Кудеяра, но Кудеяр схватил одного из них за ноги, начал им бить немцев, свалил с ног двоих, потом, бросив оземь уже умершего немца, которого держал в руках, схватил другого, размахнул им, как и первым, и уходил еще двоих. Остальные шесть немцев, добежавши до ворот, уви-

дали, что ворота заперты, пустились вдоль стены искать выхода; Кудеяр забежал им вперед, свистнул в висок одного, другого... Четверо прочих уже не защищались, бросились на колени и просили пощады, произнося: «Jesus». Кудеяр побил их своим могучим кулаком. Шестнадцать трупов лежали трофеями его силы и покорности царской воле. Кудеяр воротился к царю и молча, с непокрытою головою, стоял у крыльца царских хором.

— Молодец,— сказал царь и приказал подать Кудеяру стопу меда, а трупы немцев побросать в озеро. Вслед за тем царь обедал у себя во дворце с любимцами, а Кудеяру принесли обед с царского стола. После обеда царь выехал и приказал следовать за своею каретою Кудеяру, но не на своем татарском коне, а верхом на быке.

«Господи! — думал Кудеяр, едучи на быке.— Каково мне горе послано! Столько людей безвинных побил, а теперь какой срам терплю! Все за тебя, моя Настя, все для того, чтобы тебя увидеть». И стал он мысленно утешать себя: вот уже два искуса он совершил, будет еще третий, а как третий совершит, царь будет доволен и отдаст ему Настю, а он переоденет ее и уйдет с нею в Украйну. О, какое будет счастье, когда он вырвется из проклятой Московщины! Как он заживет вдвоем с Настей в ее батьковском хуторе! Довольно он уже повоевал, пора в мире пожить хозяином; да и с кем воевать. На татар он не будет нападать, пока его друг и благодетель царствует в Крыму. Разве сами нападут, тогда иное дело! На Москву разве пошлют, но он наймет вместо себя наймита; на его век с Настей хватит того, что ему хан дал, а если в Украйне ему почему-нибудь станет нехорошо, так он махнет к своему другу Девлету: ведь обещался он дать ему поместье в Крыму.

Так грезил Кудеяр о возможности счастья, стараясь подавить гнетущее чувство нравственного унижения, и приехал в Александровскую слободу не в виде витязя, а в виде шута. «Уж не это ли третий искус мой»,— подумал Кудеяр, и ему входила в голову надежда — что, если царь позовет его и скажет: «Кудеяр, ты исполнил этот третий искус, подвергся сраму, покоряясь моей воле, возьми свою Настю».

Однако в тот день не позвали Кудеяра к царю.

На следующий день заутреня — и Кудеяр прослушал царя, читающего шестипсалмие и кафеизмы. Пришло время обедни. При самом начале ее Кудеяр заметил, что царь подозвал к себе Малюту, говорил с ним, поглядывая на

Кудеяра с каким-то выражением злобной насмешки, потом Малюта ушел, бросивши на Кудеяра злорадственный взгляд.

После обедни все по обычаю уселись обедать. Кудеяр тоже сел. Царь взял пролог, чтобы читать житие святого того дня, и вдруг, вместо чтения, взглянувши на Кудеяра, сказал:

— Кудеяр, наступает твой третий, последний искус. Если ты его выдержишь, то будешь у меня лучший слуга, первый человек. Знай это. Ты сегодня обедать будешь не у меня, не здесь, а поведут тебя в иное место.

Кудеяр встал, встали Малюта, Мамстрюк и четверо опричников; они повели Кудеяра в одну из изб, построенных на царском дворе.

Там, в светлице, на столе, покрытом красною скатертью, стояла оловянная миса щей; подле нее лежал ломоть хлеба, а над столом, на крюке, вбитом в матицу, висел труп женщины.

Кудеяр взглянул на труп повешенной и узнал свою Настю.

На человеческом языке не найдется слов, чтоб выразить то, что почувствовал тогда Кудеяр.

— Садись и обедай,— сказал ему Малюта.

В голове Кудеяра сверкнула такая мысль: чтоб отомстить убийце Насти, нужно быть к нему допущенным, а допущенным он может быть, исполнив до конца его волю. Кудеяр сел за стол, взял ложку и стал подносить ко рту щи, задевая рукою холодную ногу своей мертвой Насти. Он не в состоянии был проглотить щей, и они текли по бороде его.

— Смотрите, смотрите,— говорили опричники,— вот что называется: по бороде текло, а в рот не попало.

Трудно было Кудеяру пересиливать себя. Он положил ложку и сказал:

— Доложите великому государю, что я совершил свой третий искус.

— Мало ел, еще покушай,— сказал Малюта,— а то голоден будешь. Мясца кусочек съешь!

Кудеяр стал доставать из миски кусок мяса и при этом снова зацепил ногу покойницы, и нога, заколыхавшись с телом, ударила его в губы.

— Ха, ха, ха! поцеловался с женою,— сказал Малюта.

— Смотри, жены не съешь вместо говядины,— сказал один из опричников.

— Выпей, Кудеяр, винца,— сказал Малюта,— выпей во здравие государя.

Кудеяр, повинуясь приказанию, налил вина и выпил.

— Ну, коли наелся и напился, так пойдем, доложим царю-государю, а на ночь с царского дозволения возьмешь жену на постелю.

Они вышли. Малюта пошел докладывать царю. Кудеяр с опричниками стоял на дворе. В глазах его не было ни слезинки. Он молча и как бы равнодушно смотрел вдаль. Через несколько минут воротился Малюта и сказал:

— Кудеяр, тебя зовет царь-государь, иди смело; царь-государь будет к тебе несказанно милостив.

Кудеяра ввели во дворец, повели через царские покои, обитые сафьяном с тисненными золотыми узорами, и ввели в угольный покой. Царь стоял у окна, опершись на свой посох; против него у дверей, в которые должен был входить Кудеяр, стояли Вяземский, Басманов и Василий Грязной.

— Ну, Кудеярушка,— сказал царь ласково,— ты совершил свой третий искус...

— Совершу четвертый,— прервал Кудеяр и, сжав кулаки, бросился на царя; но вдруг пол под ним раскрылся, и он упал стремглав в подклет, на полторы сажени ниже комнаты.

— Ха, ха, ха! — воскликнул царь,— забыл, собака, а может, и не знал, мужик-невежа, что Бог повсюду охраняет помазанника своего. Ангелом своим заповесть о тебе, да не преткнеши о камень ногу свою.

В то время, как Кудеяр бросился на царя, Вяземский и Басманов дернули за доску, прикрывавшую отверстие на полу. Все было предусмотрено заранее. Ожидали именно того, что случилось.

— Закройте его, пусть пропадает там голодною смертью,— сказал царь и вышел из комнаты.

V. ПОБЕГ

На другой день царь, приказавши разослать по всему государству грамоты о молебствии по поводу спасения его от рук убийцы, отправился сожигать дворы и разорять вотчины недавно казненных, а дворец на время был поручен Мамстрюку Темрюковичу. При нем было оставлено несколько опричников.

Татарский посланник Ямболдуй-мурза, выехавший из Бакчисарая вместе с Кудеяром, тотчас узнал, что сделал

царь с женою Кудеяра и что потом сталось с самим Кудеяром. При отправлении своего посла из столицы хан Девлет-Гирей поручил ему наблюдать, как московский царь примет Кудеяра, отдаст ли ему тотчас его жену и не станет ли стеснять его свободы. В таком случае Ямболдуй-мурза должен был немедленно требовать от московского государя освобождения Кудеяра и отпуска его из государства, в противном случае угрожать царю, что за Кудеяра хан отмстит на двух сыновьях царского шурина, взятых в плен ханским сыном Адиль-Гиреем. Ямболдуй-мурза с жаром ухватился за это дело; кроме своей обязанности, он хотел угодить хану, зная, как хан полюбил своего избавителя.

О пленных черкесских князьках, сыновьях Мамстрюка, уже шли переговоры, и царь, желая сделать угодное своему шурину, обещал за избавление племянников царицы отпустить татарских пленников, поименованных в списке, нарочно присланном при грамоте крымского хана; дело останавливалось только затем, чтобы сыскать их всех. Ямболдуй-мурза пришел к Мамстрюку в дом, находившийся в слободе, и сказал на татарском языке, который разумел черкесский князь.

— Князь Мамстрюк! светлейший мой повелитель, хан Девлет-Гирей, дал мне такое повеление: коли Кудеяру станут в Москве причинять какое-нибудь зло, то мне придти к тебе и сказать, чтобы Кудеяра отпустили к нам, коли он вам не нужен на службе, а буде не отпустите и Кудеяра лишите живота, то хан прикажет казнить лютою смертью твоих двух сыновей, которых Адиль-Гирей взял в полон, да еще пошлет свою орду разорить вконец улус твоего отца; да еще велено мне сказать то же и великому государю вашему, что коли ваш государь Кудеяра безвинно казнит, то светлейший хан сам пойдет войною на землю Московского государства.

Мамстрюк сначала стал было доказывать, что Кудеяра предают казни не безвинно, что он покусился на жизнь государя, а таких злодеев нигде не милуют. Но Ямболдуй-мурза прервал его и указал на то, что царь без всякой вины убил жену Кудеяра, и если Кудеяр точно покушался на жизнь государя, то сделал это сам себя не помня, и ему того ставить в вину нельзя.

Мамстрюк понял, что крымскому послу все известно, и не стал более спорить.

— Но как же быть,— сказал он,— наш государь бывает не в меру гневен. Ты посол, а коли такое ему скажешь, то

он и с тобою невесть что учинит; а мне ему сказать то,— он мне за такое слово велит язык урезать.

— Ну, так попрощайся со своими сыновьями,— сказал Ямболдуй-мурза.— Хан велит их казнить самыми лютыми муками. Если хочешь, чтобы сыновья твои были живы, спаси Кудеяра и отпусти к нам.

Мамстрюк отговаривался тем, что надобно во всяком случае подождать царя, что если хан дал такое поручение Ямболдуй-мурзе, то пусть сам говорит царю, когда он вернется из похода.

— Пока он вернется, Кудеяр умрет с голоду,— сказал Ямболдуй-мурза.— Освободи Кудеяра, а я отправлю его в Крым, иначе сыновья твои погибли.

— Так вот что,— сказал Мамстрюк,— царю об этом сказать невозможно и отпустить Кудеяра к тебе також нельзя: мне за то голову снесет царь... А вот, слушай... Ямболдуй-мурза, будь мне друг, и я тебе друг буду! Поклянись по своей вере, что никому не скажешь; будем знать про то я, да ты, да третий, кого я выберу, а больше никто.

— Я клянусь тебе, что никому не скажу,— сказал Ямболдуй-мурза,— только чтоб Кудеяр был жив и свободен.

— Он будет жив и свободен,— сказал Мамстрюк.— Мои сыновья — своя кровь, мне дороже всего! Царь-государь дал мне дворцом управлять; как царь вернется, я донесу ему, что Кудеяр в подклете умер, скажу — сам себе разбил голову с голоду и досады, а я велел тело его бросить в озеро. Только в Крым отпустить Кудеяра невозможно, там Афанасий Нагой — наш посол — узнает, что Кудеяр в Крыму и тотчас напишет царю. А пусть Кудеяр бежит в Литву; ведь он к нам пришел из литовской земли, ведь он литовский человек, а не московский, пусть, там живучи, имя себе переменит, а Кудеяром не зовется. Дай ему лист свой, будто ты своего татарина за делом в Литву посылаешь, и я тебе велю дать грамоту, что позволено тебе гонца послать; а государю скажу, что ты посылал о моих сыновьях через Литву гонца.

— Пусть так будет,— сказал Ямболдуй-мурза,— лишь бы я видел Кудеяра и знал, что он на воле, тогда и сыновья твои будут отпущены на волю; а буде Кудеяр из Московского государства благополучно не выбудет, твоим сыновьям на воле не быть, и тебе их не видать.

Был у Мамстрюка верный, преданный слуга, родом черкес, по имени Алим, в крещении Наум. Мамстрюк доверил ему тайну и стал советоваться, как бы сделать так, чтобы

и сам Кудеяр не знал и никому сказать не мог, кто его спас.

Алим, подумавши, дал такой совет:

— Помнишь ли, с месяц тому назад наш опричный человек Федька Ловчиков доносил на другого опричного человека, Самсонку Костомарова, будто он, Самсонка, хотел бежать в Литву и для того ездил к литовскому гонцу, а Самсонка в ответе государю заперся и сказал, что у литовского гонца не был и бежать не умышлял. Царь-государь велел отдать Самсонка на поруки, но из опричнины его не выбил, а я подлинно знаю, что Самсонка был у литовского гонца, и бежать хотел, и теперь живет в опричнине не по охоте и всех боится. Если бы тому Самсонке дать денег, с чем бы ему уйти, он ушел бы вместе с Кудеяром. Кудеяр думал бы, что его Самсонка освободил, а Самсонка знал бы только про меня, а про тебя не знал бы ничего.

Мамстрюк дал полную волю своему Алиму.

Самсон Мартынович Костомаров был широкоплечий детина, лет тридцати, родом из каширских детей боярских, служил в войске и попался в плен литовцам. Судьба бросила его во двор одного литовского пана, где обращались с ним очень ласково. Там ему зазнобила сердце дочь одного литовского землянина, жившая на воспитании при дворе жены пана, у которого находился Самсон. Девица была не прочь выйти за молодого москвитина, да и панья, ее покровительница, не находила этого неудобным, зная, что Самсон с охотою останется навсегда в Литве, но родители девицы воспротивились такому браку. Наступил размен пленных. Самсон с неохотою вернулся на родину, где у него оставалась немилая, постылая жена, с которою против его воли соединили родители еще в юных летах. Установляя опричнину, царь зачислил в нее Самсона, а из опричных вместе с другими выбрал в число тех, которые должны были находиться неотлучно при его дворе в Александровской слободе. Казни царя претили Самсону; горячего нрава и невоздержанный на язык, он с трудом мог скрывать свое омерзение к той среде, в которой находился, и, наконец потерявши терпение, пошел к литовскому гонцу просить, чтобы он увез его с собою. Гонец не решился брать царского человека, потому что это было прямое нарушение посольских прав, но уверил Самсона, что если он сам найдет способ убежать, то король Жигимонт-Август примет его ласково и наделит поместьем. Этот же гонец

сообщил ему, что отец панны, на которой хотел жениться Самсон, уже умер и панна еще не вышла замуж. После сделанного на него доноса Ловчиковым положение Костомарова было до крайности опасно; у царя оставалось на него подозрение, и при первом случае, когда царю что-нибудь не понравилось бы, царь немедленно приказал бы казнить его.

Алим, обратясь к этому Самсону, посулил ему три тысячи рублей, если он согласится при его содействии освободить Кудеяра и бежать с ним в Литву под видом татар, посылаемых в Литву ханским послом.

Самсон сначала не поддавался, подозревая, не испытывают ли его, но, когда Алим положил перед ним деньги и проезжую грамоту, Самсонка согласился. Между тем уже третий день Кудеяр оставался без пищи в своем заточении. Надобно было торопиться; время же было удобное, так как во дворце людей было немного. В вечер этого дня назначена была выручка Кудеяра.

Мамстрюк заранее приготовил татарское платье для двоих, а Ямболдуй-мурза — двух отличных лошадей. Мамстрюк вместе с Алимом прошел задним ходом во дворец, а потом Алим другим ходом провел Костомарова в ту комнату, где открывался пол в подклет. Алим поставил там лесенку и положил на стол большой кусок мяса, ломоть хлеба и стклянницу вина, а сам вышел прочь, запретивши Костомарову называть себя и приказывая уверить Кудеяра, что Костомаров один, без участников, избавляет его.

Самсон открыл отверстие, спустил лесенку в подклет и стал звать Кудеяра по имени.

Ответа не было.

Самсон стал кликать сильнее. Из подклети раздался глухой голос: «Я».

С минуты заключения Кудеяр находился в каком-то бессознательном состоянии, ни на что не надеялся, ничего не желал, ни о чем не жалел, потому что на свете для него ничего не осталось, чего бы можно было желать. Кудеяр даже почти не чувствовал мучений голода. Внезапное произнесение его имени вывело Кудеяра из этого полулетаргического сна.

— Вылезай скорее, скорее,— говорил Костомаров.

Кудеяр уцепился за лесенку и в первый раз почувствовал, что голод отнял у него обычную силу.

— Идем, идем скорее,— говорил Самсон,— нас ждут лошади.

Весть о свободе привела Кудеяра в себя. Первая мысль его о мщении убийце Насти.

— Где он? где он? — говорил Кудеяр, вылезши из подклета и озираясь кругом.

— Молчи, молчи,— останавливал Самсон,— прежде съешь и выпей, потом перемени платье.

Кудеяр с жадностью принялся за еду, выпил вина и через пять минут был одет в татарское платье.

— Если,— сказал Самсон,— нас будут спрашивать караульные у ворот,— ты ничего не говори, показывай вид, что ты прибылый татарин и по-русски не разумеешь.

Они вышли; за ними следом шел Алим, чтобы выручить их своим присутствием от вопросов караульных.

Но караульные не спрашивали идущих, так как за ними шел Алим, которого они хорошо знали. Алим проводил беглецов до самого подворья, где жил ханский посол, и ушел, не сказав им ни слова.

Ямболдуй-мурза, знавший хорошо в лицо Кудеяра, ахнул от удивления, когда увидал, что у Кудеяра борода была седая и из-под татарской шапки высовывалась поседелая прядь казацкого чуба. Это сделалось с ним в несколько дней от сильного потрясения.

— Я тебя выручил,— сказал Ямболдуй-мурза,— ты спас нашего светлейшего государя от смерти, теперь я тебе заплатил за своего государя. Ступай только не в Крым, а в Литву и называйся там каким-нибудь другим именем, а не Кудеяром, мешкать нельзя. Ступай тотчас. Провожатых я тебе не могу дать, кроме твоего товарища. Вот тебе московская грамота, вот тебе сабля, лук, колчан, ружье.

— А у меня пистолеты,— сказал Самсон.

— От разбойников, буде нападут, отбивайтесь вдвоем,— сказал Ямболдуй.

— Я не боюсь разбойников,— сказал Кудеяр,— Московское государство таково, что в нем разбойники лучшие люди.

Беглецы сели на лошадей и поскакали. Самсон не мог объяснить Кудеяру, кто руководил его спасением, не назвал даже Алима, сказавши только, что ему помог какой-то татарин. И Кудеяр клялся Самсону в вечной признательности за избавление. Когда друзья открыли друг другу свои задушевные намерения, то увидали, что им предстоят различные дороги. Костомаров только и думал, как бы добраться до Литвы, где у него была своя зазнобушка, где он надеялся получить от короля поместье и разом навсегда

избавиться от постылой жены и от ненавистной царской службы. Он убеждал и Кудеяра поступить так же и искать милости у литовского короля.

— Тебе эта дорога кстати,— сказал Кудеяр,— а мне нужна другая. Была бы жива моя Настя, я бы так и сделал, но лютый змей съел мою добрую, бедную жену! Теперь что мне королевские милости! Что мне поместья! К чему мне богатства? Одна дума осталась на душе: отмстить злодеям. Не удалось мне задушить его своими руками в тот день, как он извел мою Настю... У мучителя хитрости такие, что не смекнешь заранее... Но теперь — разве жив не буду, а то я его, изверга, тем или другим способом, а доконаю. Вот ты, друг, зовешь меня в Литву, а я бы тебе иное сказал: не ездить бы тебе в Литву, а остаться и спасать свою землю от мучителя. Ты ведь прирожденный московский человек. Тебе бы за твою землю постоять! Много теперь таких, что мучитель обидел. Их бы всех собрать да идти с ними на мучителя!

— Э, друг,— сказал Костомаров,— черт с ними, со всеми этими московскими людьми. Пригляделся я в Литве, как вольные люди-то живут: совсем не по-здешнему. Там шляхтич — что у нас сын боярский, а таков ли, как наш? Нет, он знает свою честь и говорит: шляхтич у себя на загороде равен самому воеводе. А сенатор — что у нас боярин, таков ли, как наш? Вздумал бы там король так дуровать, как у нас дурует! Эге! Как бы не так! А у нас — и боярин, и князь — все равно что подлый человек перед царем. Какого добра надеяться от такой земли! Там из прадедов, из прапрадедов есть вольные люди, а у нас всякий московский человек, каков ни буди из прадедов и из прапрадедов,— раб подлый, и только! Больше ничего! Нет, друг, ты как себе знаешь, а я отрекаюсь навсегда от проклятой московской земли и от людей ее: детям своим, если у меня будут, и внукам и правнукам дам зарок не ворочаться в Московщину...

Костомаров, однако, очень пригодился Кудеяру: на будущее время он познакомил его своими рассказами с состоянием Московского государства. Он сказал ему, что у царя-мучителя есть двоюродный брат Владимир Андреевич, которого мучитель не любит, а многие его любят и хотели бы посадить на престол Владимира. Он объяснил ему, кроме того, что многие втайне считают Ивана незаконным по рождению, так как отец его, великий князь, развелся с законной своей женой Соломонией, заточил ее насильно

в монастырь, а сам женился от живой жены на другой, а от этой другой родился мучитель.

— Бают,— говорил Костомаров,— что как Соломонию-государыню заперли в монастырь, а она объявилась в тягости, родила сына, а новая государыня со своими клевреты, не допустив о том вести до великого князя Василия, велела тайно извести младенца, а великий князь Василий хоть и узнал про то, что прежняя жена родила сына, но ему сказали, что тот сын, родившись, тотчас умер, а говорят, будто тот сын жив; да это, знаешь, только так бают, а правда ли тому — Бог весть!

— Вот кабы отыскать этого сына! — сказал Кудеяр.— Но как его нет и найти невозможно, так надобно за Владимира Андреевича браться.

Ни Кудеяр не уговорил Костомарова остаться в Московском государстве и стать за Владимира Андреевича против мучителя, ни Костомаров не уговорил Кудеяра покинуть Московское государство и уйти в Литву. Друзья расстались. Костомаров повернул ближайшею дорогою в Литву, а Кудеяр — на юг, по направлению к Белеву.

КНИГА ТРЕТЬЯ

I. РАЗБОЙ

Кудеяр ехал, выдавая себя за новокрещена-татарина; остановившись на постоялом дворе, он услыхал, как проезжие люди рассказывали друг другу, что царь, вновь показнивши знатных людей, уехал с опричными людьми разорять вотчины казненных и бедному народу приходят скорбь и тесноты паче прежнего. На переправе через Угру Кудеяр разговорился с купцом, ехавшим из Москвы; тот рассказал ему, что в Москве служили по церквам молебен об избавлении царя от убийцы.

— А кто такой этот злодей? — спросил Кудеяр.

— Имя ему Кудеяр,— сказал купец,— он был в плену у татар, там принял бусурманскую веру и от Христа-Бога отрекся, а хан крымский выпустил его на Русь и научил его нашего православного царя убить, только не попустил Бог.

— А мне говорили не так,— вмешался в разговор другой проезжий.— Говорят, он принял бусурманскую веру и вернулся на Русь, а того никому не говорит, что он побусурма-

нился, только уж как-то узнала про то жена его и стала его корить, а он жену повесил. Государь-царь, как уведал про то, приказал привести его пред себя, а он как бросится на царя, а тут над ним совершися несказанное чудо: внезапу явися ангел и порази его мечем огненным,— он как стоял, так и провалился сквозь землю.

— Да,— сказал купец,— и мы слыхали,— говорят люди, будто провалился под землю, только вот про жену его я не слыхал.

Кудеяр умышленно поехал глухими дорогами. Спустя сутки после переправы через Угру ему случилось ехать по лесу; лошадь его притомилась, он снял с нее вьюк и седло, развел огонь и стал варить кашу с сушеным мясом в небольшом казанке, находившемся у него под седлом вместе с другою рухлядью, которою снабдил его Ямболдуй-мурза.

В это время послышался лошадиный топот, и раздался голос:

— Что тут за люди?

— А вы что за люди? — спросил Кудеяр, вскочивши на ноги.

— А мы такие люди,— сказал незнакомец, сидевший на лошади,— что нас много, а ты один. Стало быть, развязывай мошну да лошадь свою нам отдавай, потому что у нас лошадей недостача.

Кудеяр, не говоря ни слова, уцепился обеими руками за дубок, наклонил его и переломил надвое; потом, взявши в обе руки отломленную часть дерева, замахнулся ею на незнакомца.

— Черт! Леший! — закричал незнакомец, уклонившись от удара,— тронул под бока свою лошадь и поскакал...

— Не черт и не леший,— кричал ему вслед Кудеяр,— а крещеный человек, такой же опальный, бесприютный, как ты. Иди лучше сюда подобру-поздорову да поговорим.

— Коли так, то иная речь,— сказал незнакомец и поворотил к нему лошадь. За незнакомцем ехало девять человек конных.

— Вы, братцы,— говорил Кудеяр,— верно, таковы, что коли вас поймают, так повесят, да больше ничего; ну, а со мной расправились бы почище! Слезайте, братцы, с лошадей, мы свои. Мне таких надо, как вы, и я вам не лишний; будете Бога славить за то, что меня встретили.

Незнакомцы сошли с лошадей.

— Я вас не стану спрашивать, кто вы такие,— сказал

Кудеяр,— а сам вам про то скажу: есть меж вас крестьяне из опальных вотчин, и боярские люди, и служилые, бежавшие от службы, и посошные, ушедшие от посохи.

— Прямо уцелил! — сказал один из незнакомцев.

— Вы,— продолжал Кудеяр,— шатаетесь по лесам, слоняетесь по дорогам, в чужие мошны заглядываете...— а много вас?

— Человек... человек более сотни будет,— сказали ему.

— Врете,— сказал Кудеяр,— прибавили; вас не так много, вас может быть немного больше как полсотни!

— Отгадал,— сказал один из незнакомцев,— нас теперь шестьдесят девять человек...— да ты что, ведун, что ли?

— Да, ведун,— сказал Кудеяр,— и ведаю про вас то, чего вы не ведаете; ведаю я то, что коли вы будете жить в лесу в таком малом числе, то, проведавши про ваши разбойные дела, пошлют на вас многих воинских людей, и станы ваши найдут и разорят, и вас самих заберут и перевешают. Почему вы к другим на сход не идете, чтоб у вас и у других сила была?

— Другие сами по себе,— сказал один из удалых,— и нам надобно куска, и другим тоже.

— Всяк в своем месте промышляй, а другому не мешай,— сказал другой.

— У тех свои атаманы, у нас свои,— сказал третий.

— А вы знаете, дурни,— сказал Кудеяр,— мучитель, что живет в Александровской слободе, опять пошел жечь и разорять крестьян казненных от него бояр, а своих опричников выправляет выкоренять по лесам удалых. А вы в разных местах малыми ватагами стоите, вот вас и заберут... А вам-то, дурням, всех опаснее: вы недалеко от города стоите. А подумать вам, чтобы стать вместе большою силою.

— И впрямь так, братцы, — сказал один из удалых,— вон, говорят, Муравья, что стоял промеж Серпухова и Тулы, разбили и самого взяли и повесили в Серпухове.

— Нам коли петли бояться, так и в лес не ходить,— произнес другой.

— И с голода умирать,— заметил третий,— здесь наша пожива.

— Славная, думаю, пожива у вас! — сказал Кудеяр.— Оружьишко-то у вас дрянь! Разве что на дороге бедняка оберете, алтын возьмете да у крестьянишки какого-нибудь из клети сермяжку вытянете! Не такова была бы у вас пожива, коли б вас было поболе да все хорошо изоружены

были: тогда бы какой богатый монастырь обобрали или город взяли.

— Оно правда,— сказали удалые,— поживы-то нам немного бывает... да и не часто...

— Чем вам-то по лесам скитаться невеликими ватагами, идите ко мне на службу,— сказал Кудеяр.

— Как — к тебе на службу? — спрашивали изумленные разбойники,— да ты кто таков? Разве ты нам платить станешь? Нешто у тебя денег много?

— Достанет на жалованье не одним вам, даром, что теперь в кармане очень мало,— сказал Кудеяр.— Найду, откуда заплатить, а моя плата вернее царской. Идите воевать, я вас поведу.

— На кого воевать?

— На мучителя, что сидит в Александровской слободе.

— На царя? — сказали разбойники.— Он, видно, не в своем уме! Что вы с ним раздобариваете? Он шальной!

— Вам то в башку не приходило! Кто вам ворог, кто разорил вас и заставил шататься без приюта? Через кого жить нам стало горько? Все через него. Против него воевать пойдем.

— Да ништо это можно? Это все равно что со всею землею воевать.

— Вот и не то! Земля-то будет за нас.

— Без Бога свет не стоит, и без царя земля не правится,— заметил один разбойник,— где царь, там земля за него.

— Будет,— сказал Кудеяр,— царь иной: князь Владимир Андреевич! Земля его хочет. Мы, братцы, мучителя стащим с престола и посадим Владимира Андреевича. И за такое дело новый царь вас пожалует.

— Нашим ли рылом такие дела вершить,— сказали разбойники.— Нам ли, мужикам, царей садить? То дело боярское.

— Бояре за нас,— сказал Кудеяр.— Есть бояре опричные — те за мучителя, а бояре есть земские — настоящие то бояре: они за нас.

— Так что же, стало быть, ты от бояр нам платить станешь? — спрашивали разбойники.

— Было бы за что платить,— сказал Кудеяр.— Вы будете на службе князя Владимира Андреевича, а я от него буду вам жалованье давать.

— Ну, давай,— сказали разбойники.

— И дам,— сказал Кудеяр,— да прежде всего ряд надо

учинить: вы должны, собравшись, идти все за мною к Белеву. Там, в лесу, есть стан, а в нем стоит с ватагою атаман Окул Семенов; а к нему пристала другая ватага, у ней атаманом Урман. Вы пристанете к ним.

— Сами мы не можем идти,— отвечали ему,— у нас есть атаман выбранный, и атаман сам собою ничего не делает, а все решает круг.

— Дело правое,— сказал Кудеяр,— я поеду с вами в ваш стан, поговорю с атаманом и с кругом.

Кудеяр убрал свою рухлядь, навьючил на коня и поехал на этом коне с разбойниками. Они свернули с дороги в лес, ехали извилинами, обходя яры и овраги, и прибыли в долину, где показались признаки жилья. Вырыты были землянки, близ них виднелись следы огня. Кудеяр увидел мужчин, сидевших кружками, увидел женщин и детей.

— Э, да вы тут с бабами и ребятишками! — заметил Кудеяр.

— Не все, немногие,— сказали провожавшие его разбойники.— К нам пристали из опальных сел кое-какие люди и крестьяне с женами, у иных дети, а у других, у молодых,— старые отцы и матери. Что с ними делать? Не побить же их. Да оно их немного. У нас человек двадцать, не более, с семьями, а то все одиночные; иные сами не знают, где их жены и дети и что с ними сталось.

— Где десять баб на полсотни мужиков — неладно бывает! — заметил Кудеяр.

— Женки у нас есть варят на ватагу,— говорили разбойники,— и на всех моют, мы им даром хлеба не даем.

Женщины были одеты очень бедно и грязно. Видно было сразу, что они были здесь почти рабочим скотом. Лица у них были истощенные, испитые. Когда Кудеяр сошел с лошади, к нему подошла толпа удалых, одетая в серые зипуны, в лаптях, другие в сапогах, не отличавшихся крепостью. На многих шапки были с дырами, на иных, вместо серых зипунов, были вытертые ветхие тулупы, надетые шерстью вверх. Удалые, провожавшие Кудеяра, показали ему атамана. То был человек лет пятидесяти, с небольшою седоватою бородкою и с большими растопыренными усами; лицо у него было круглое, а зеленоватые глаза глядели как-то коварно. В его физиономии было что-то кошачье.

Кудеяр стал ему говорить в таком же смысле, в каком говорил встретившимся на дороге разбойникам. Атаман слушал недоверчиво, но стоявшие возле него товарищи не

дали ему изъявить несогласия. Обещание давать жалованье склоняло их на сторону Кудеяра.

— Собирай круг, атаман,— сказали они атаману.

Атаман опасался, что новый человек подманит всех и его выберут атаманом; и потому не хотел собирать круга.

— Коли с тобою много денег,— сказал он, лукаво улыбаясь,— так ты отдай их мне, а я уж буду знать, что сказать кругу.

— Со мной тут нет денег,— сказал Кудеяр,— и ты меня обобрать не порывайся; а денег у меня много, так много, что станет на жалованье не одной вашей ватаге, а также иным, которые пойдут за князя Владимира Андреевича. А я тебе, атаман, скажу вот что: ты боишься, чтоб я тебя не сместил и сам не стал бы атаманом; этого не бойся. Ты останешься атаманом, и, кроме тебя, у меня будут еще атаманы: разумей это. Я не атаманствовать пришел к вам, а набирать вас на службу князя Владимира Андреевича за жалованье и за великие от него милости, что вы все получите, как посадим его на престол.

Собрали круг. Неженатые и одинокие легко поддались увещаниям Кудеяра. Но женатые стали толковать, как им подняться в путь с женишками и с детишками, коли у них-то на всех только двенадцать лошадей.

— Деньги ты нам дашь,— говорили они Кудеяру,— а что, мы их укусим, что ли? Их не съешь, не оденешься ими здесь. У нас тут хлеба нет, живем тем, что птицу либо зверя убьем; пропадем с голоду, с холоду! Деревни отсюда редко; да пойдешь в деревню, не всегда что украсть удастся; конные ездят на добычу, а нам не дают, а коли что дадут, то разве чтоб с голоду не околели.

— Все равно,— сказал Кудеяр,— коли тут останетесь, то пропадете: на вас скоро царская рать пойдет с оружием, с пушками. А у вас какое оружьишко!

— Одни стрелы да дубины,— отвечали ему,— сабель мало у кого, а ружей не будет на всех нас и десятка.

— Вот оно что,— сказал Кудеяр.— Живот свой дороже всего. Можно и пешком идти. Оставаться тут вам нельзя. А я вот попытаюсь вам добыть лошадей. Чьи тут есть боярские вотчины?

— Верст будет двадцать — вотчины Воротынского.

— И табуны есть?

— Большие.

— Отчего же вы не отобьете их?

— Там людно. Напасть на табун да отогнать было бы

можно,— да увести как? Тотчас соберутся крестьяне и — догонять.

— Да и то,— сказали другие,— у нас как стать говорить о том в круге, так одни согласятся, а другие заупрямятся.

— Дайте мне троих, знающих хорошо дорогу; я вам пригоню лошадей,— сказал Кудеяр.

Выбрал Кудеяр троих молодцов с лошадьми и поехал по их указанию, пробираясь среди зарослей, потом по дороге, которая вилась между селениями, отстоявшими одно от другого на несколько верст. Они наехали на одну деревню. В ней было дворов около двадцати, но время было рабочее, оставалось немного народа. Кудеяр потребовал себе веревок и обещал заплатить за них. Старики и старухи нашли ему мочальных веревок. Кудеяр заплатил дороже, чем они стоили, и поехал далее. Верст через семь он увидал большой табун лошадей, пасшихся на лугу. Табунщиков было десять человек, но не все они были вместе. Кудеяр с товарищами подъехал к двоим из табунщиков, стоявших на конце табуна, и сказал:

— Нам нужно сто лошадей; свяжите веревками по две вместе, чтобы было пятьдесят пар. Мы заберем их с собой и угоним.

Табунщики стояли, выпучивши глаза, как ошеломленные. Кудеяр говорил с ними так спокойно, как будто имел полное право распоряжаться, как будто лошади были его собственные.

— Повертывайтесь скорее. Делайте, что вам велят! — прикрикнул он.

— Да как же так? — возразили табунщики.

— А так, как я вам велю! Скорее. Хотите разве отведать вот этого!

Он показал им плеть.

— У тебя,— спрашивали табунщики,— есть приказ от боярина? Иди с ним во двор к приказчику.

— Я вам приказчик, коли приказываю,— сказал Кудеяр.

Оторопевшие табунщики сказали, что идут отгонять лошадей.

Увидя незнакомых людей, разговаривающих с их товарищами, другие табунщики сочли нужным подойти. Те, которым Кудеяр прежде сообщил свое требование, стали передавать его другим, а Кудеяр, не дожидаясь новых вопросов, выразительно сказал подошедшим другим табунщикам:

— Отгоните сто лошадей. Свяжите их веревками. Мы их угоним с собою.

— У нас есть приказчик...— начали было табунщики.

Кудеяр прервал их:

— Я побольше вашего боярина, не то что вашего приказчика. Сейчас делайте, что вам приказывают, а то я вас изотру в пыль, сякие-такие дети, и приказчика вашего с вами!

Табунщики совсем растерялись. Им казалось: перед ними что-то большое, сильное, полновластное, что-то... они не могли назвать, что оно такое, и поехали отгонять лошадей и связывать их. Но один из них поворотил лошадь и поскакал прочь. Кудеяр смекнул, что он едет в село поднимать тревогу, поскакал вслед за ним, догнал, огрел плетью по спине так, что тот опустил голову на гриву своему коню и чуть не лишился чувств, а потом, пришедши в себя, застонал... Кудеяр схватил за повод его лошадь, хлестнул ее плетью и погнал вперед себя, к табуну.

— Дело делай, что́ тебе велено, а не улепетывай, сякой-такой сын! — закричал Кудеяр.

Табунщики исполнили приказание Кудеяра. Лошади были отогнаны, связаны. Кудеяр поехал вперед; за ним товарищи погнали лошадей. Табунщики стояли в изумлении, пока похитители не скрылись из глаз.

— Что оно такое? — стали тогда рассуждать табунщики.— Как же это нас десять, а их четверо? Что же они, от боярина? А может, от самого царя? Сказать бы: не разбойники ли они? Нет, не похоже... Разбойники так не ходят. И как же разбойники пойдут четверо на десятерых человек, да еще днем, неподалеку от села. Разве уже не чужие ли воинские люди пришли? Может быть, Литва? Так и есть, верно, Литва.

На этом остановились табунщики в своих догадках.

— Не будемте,— сказал один из табунщиков,— говорить приказчику, что их было всего четверо, а скажем, что приходили многие воинские люди и отогнали лошадей.

И пошли они к своему приказчику, и наделали большой тревоги. Пошла весть, что пришли воинские люди, и испуганные крестьяне хотели собираться в осаду.

Кудеяр с товарищами по дороге покормили свою добычу чужим овсом на ниве; люди, увидя, что лошадей много, боялись зацеплять их и думали, что чужих людей пришло столько же, сколько лошадей. Кудеяр двинулся далее, увидел стог сена, приказал сплесть жгуты из дубовых ветвей, наложил сена на лошадей и привязал его к лошадям

жгутами; потом благополучно со всем своим табуном добирался через лесные заросли до разбойничьего стана.

Все разбойники были в изумлении и обещали во всем покоряться Кудеяру.

— Вот вам лошади,— говорил он,— будет не только вам всем, но останется и тем, которые к нам вновь пристанут.

Стал Кудеяр расспрашивать, где есть монастыри, и узнал, что в соседстве есть два монастыря — один Добрый, а другой, в иной стороне,— Оптин.

Было в ватаге двое братьев; они были калужане, сыновья разоренного и переведенного куда-то сына боярского Юдинкова. Отец их был выходец из Украйны, и сыновья немного напоминали Кудеяру Украйну. Сыновья эти были, по царскому приказанию, разлучены с отцом; отца перевели в Казань, а сыновья были отправлены на переселение в Ливонию, но ушли оттуда в калужский край, им знакомый, и пристали к шайке, ради спасения собственной шкуры. Одного из них звали Жданом, другого Василием. Кудеяру полюбились эти молодцы, и они с первого разу прониклись каким-то благоговением к этой сильной личности. Они сопровождали его в поход за табуном. Кудеяр взял их обоих с собою снова и отправился к Доброму монастырю. Достигнув деревянной ограды монастыря, расположенного в роще, Кудеяр оставил своих товарищей с лошадьми, а сам вошел пешком в отворенные ворота монастырского двора.

Он встретил послушника и сделал ему такой вопрос:

— Где лежит монастырская казна? Не у игумена ли?

— А тебе на что? — спросил изумленный послушник.

— Я приехал посчитать вашего отца-игумена: как он правит крестьянами, какие доходы получает, как братию и вас, послушников, кормит! Не бывает ли с вами лют?

Послушник простодушно вообразил, что это такое сильное лицо, которое будет творить суд и расправу над игуменом, и стал рассказывать про разные злоупотребления; сообщил, что игумен творит у себя в келье пиры для гостей мирских, пьет с ними сладкие меды, а по большим праздникам и фряжское вино, а братии один квас дает, и то кислый; игумену христолюбцы привозят свежую рыбу, а он братии дает только вяленую, а порой тухлую; у игумена пшеничные калачи пекутся, а братии хлеб дают только житный, а порой пушной; все доходы игумен берет на себя, а казну монастырскую держит у себя в келье, в простенке, с запертыми на замок дверцами, да там у него есть и чужие

деньги, что отдали ему приятели на поклажею; у игумена на хуторе живет посестрея, а у посестреи дети, их игумен кормит; игумен часто пьян бывает, а старцы жаловаться на него не смеют, для того что сами старцы живут непочестно, робят голоусых к себе в келью водят, а имея женок и девок, по вся дни пьяны бывают, а иноды в монастыре недели по две и по три пенья не бывает; придут люди на молитву издалека да так и пойдут, не помолившись.

Кудеяр выслушал все это и узнал от послушника, что он просфоры печет; пошел за ним в его просвирню, увидел там два мешка с мукою и велел просвирнику дожидаться его, когда он выйдет от игумена.

Кудеяр подошел к келье игумена — деревянной избе, крытой неободранною березою, вошел через приотворенные сени к дверям горницы игуменской и, постучавшись, произнес: «Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас!» Ответа не было. Кудеяр повторил молитву. Ответа не было.

Игумен в тот день на подпитии крепко спал. Кудеяр толкнул запертую дверь,— петли слетели; дверь повисла на замке.

Игумен вскочил с постели, увидел незнакомого и стал ругаться. Кудеяр, не глядя на него, заложил острие своего ножа в растворку дверей поставца, устроенного в простенке, вынул два больших мешка с деньгами и заложил себе за пазуху.

— Кто ты такой? — крикнул игумен и бросился на него. Кудеяр схватил игумена за затылок и приплюснул его носом к стене. Кровь хлынула из игуменского носа. Кудеяр забежал в просвирню и, никого не заставши там, взял два мешка с пшеничною мукою, взвалил их себе на плечи, вышел за ворота, сел на лошадь и вместе с товарищами ускакал.

Растерявшийся игумен несколько времени не мог прийти в себя, отирал кровь с лица, а потом уже поднял тревогу. Братия бегала собирать служек и крестьян, чтобы гнаться за разбойником; но Кудеяр был уже далеко.

Он раздал каждому удалому рублей по двадцати жалованья и отдал муку на всю братью.

— Пусть бабы напекут калачей,— говорил он.

Разбойники прониклись еще большим уважением и даже страхом к Кудеяру. Котообразный атаман, по имени Кузьма Серый, только скрежетал зубами, а Кудеяр, в уважение к его атаманскому достоинству, дал ему вдвое против

других жалованья и уверял, что атаманства с него не снимут.

— Теперь, братцы, оставаться нам здесь нельзя,— сказал Кудеяр,— Калуга близко; вышлют на нас большую силу. Двинемся к Белеву и там сойдемся с Окулом и Урманом.

Табор снялся. Баб с детьми усадили на лошадей; седел почти ни у кого не было. Все пожитки были привязаны к лошадям, на которых сели разбойники. Кудеяр запретил по дороге грабить села и велел, напротив, у крестьян покупать все за деньги. Разбойники проезжали через села, накупили у крестьян топоров и кирок; крестьяне неохотно продавали их, так как необходимые в хозяйстве вещи приходилось покупать в городах и посадах, куда нарочно надобно было ездить. Кудеяр, платя им хорошую цену, пригрозил им, что если они не продадут, то у них отнимут силою.

Встречавшиеся с разбойниками проезжие люди не смели спрашивать у них, кто они такие, а Кудеяр не велел их трогать. Проехал мимо их царский гонец, но Кудеяр не велел и его трогать; гонец с удивлением смотрел на толпу едущего народа и не смел обратиться к ней; он и тем был доволен, что его самого пропускают. Кудеяр рассчитывал, что надобно избегать напрасных тревог до соединения с Окулом и Урманом.

Разбойники объехали Белев, выехали на болховскую дорогу и подъехали к тому месту, где Кудеяр, едучи из Крыма, встретился с Урманом и Окулом. Но постоялого двора уже не было; на месте его лежали обгорелые бревна. Кудеяр расположил ватагу в ближнем лесу, а сам один поехал по дороге узнавать, что это значит. Он взял с собою кирку. На дороге встретился он с одним служилым, и тот рассказал ему следующее: белевский наместник послал ратных людей, а губной староста поднял уездных людей на разбойников, которые завелись в подгородном лесу. Ратные и уездные люди доходили до их стана, и был бой, но разбойников добыть не могли, а двор постоялый сожгли за то, что хозяин с разбойниками был в одном умысле; хозяина привезли в Белев вместе с хозяйкою и там обоих повесили; а разбойники, чаячи на себя бо́льшей высылки, покинули свой стан и ушли к литовской границе. Кудеяр отправился к тому месту, где зарыл ханские сокровища, вынул деньги и кое-какие вещи, но не все, оставив часть про запас на будущее время. Он потом вернулся к своим.

— Окул и Урман пошли к литовской границе,— сказал он,— нам надобно догнать их.

Ватага двинулась на запад, к Жиздре. Начались дожди. Разбойники дошли до реки Жиздры, вошли в село и разместились в курных избах. Крестьяне не могли им помешать. Здесь разбойники узнали, что Окул и Урман были в этом селе и пошли вправо, через лес. Подстрекаемые Кузьмою Серым, удалые стали роптать на Кудеяра.

— Что же твой Окул с Урманом? Ты нас обманываешь. Зачем ты нас завел сюда? — раздавались крики.

— Вам,— сказал Кудеяр,— под Калугой оставаться нельзя было, один день еще вы пробыли бы там — и к вам пришла бы рать царская; под Белевым тоже нам быть нельзя для того, что коли Окул с Урманом там стоять не могли, так нам подавну нельзя. Они пошли отсюда вправо, через лес,— и мы пойдем по их следу.

Разбойники поуспокоились, но Кузьма Серый выискивал средства вредить Кудеяру. Кудеяр не велел ничего брать насильно у крестьян, а Кузьма, против его воли, подучил своих подчиненных грабить крестьян, и крестьяне, покинувши свои избы, разбегались в лес. Тогда в ватаге сделались междоусобия. Те, которые хотели слушаться Кудеяра, напали на тех, что слушались Серого,— началась драка. Партия Кудеяра оказалась посильнее. Серый покорился. Кудеяр тогда собрал круг и потребовал, чтоб Серого сменили. Удалые исполнили требование и выбрали атаманом Антипку Толченого, беглого стрельца, дюжего чернобрового молодца, одному только Кудеяру уступавшего в силе. После успокоения смуты разбойники двинулись вдоль реки Жиздры и вдруг на полдороге увидали большую толпу людей на лошадях и пешком, переправлявшихся через Жиздру вброд.

— Это царские ратные! Это царские ратные! — закричали они.— Что нам делать? Они нас видали. У них огненный бой! Мы пропали!

— Да,— отозвался Серый,— вот если б меня слушали, так того не было бы с вами! Подвел вас проклятый проходимец, черт его знает, кто он таков... может, нарочно подвел. В лес, скорее в лес!

Кудеяр, услышавши это, бросился прямо к толпе, еще не перешедшей Жиздру, и кричал своим:

— Не робейте, братцы!

— Куда ты? — заревел, бросившись на него, Серый.— Убегать хочешь? Бейте его, сякого-такого сына!

Серый нацелился в Кудеяра из лука, но товарищи вырвали у него лук.

Кудеяр поскакал ближе к реке и вдруг с радостью поворотил коня назад и кричал своим:

— Это наши, наши! Те, что их ждали мы! Окул с Урманом.

Кудеяр встретился лицом к лицу с Урманом.

— Брат, товарищ Урман, друг,— кричал Кудеяр,— мы за вами ходим, вас ищем.

— Кудеяр,— воскликнул Урман,— ты наш?

— Ваш, ваш,— говорил Кудеяр,— веду к вам свою ватагу.

— Вот как! — смеясь, говорил Урман.— У него уж и ватага.

Урманова ватага перешла Жиздру вперед. За нею шел Окул со своею. Урман крепко обнял Кудеяра, а Окул, видя, что Урман кого-то обнимает, кричал ему с реки: «Кого это так?» — «Кудеяр с нами,— кричал ему в ответ Урман,— да еще не сам, а с ватагой».— «Он сто́ит один трех ватаг»,— сказал Окул, и, переправившись обратно через реку, соскочил с коня, и бросился целоваться с Кудеяром. Разбойники шайки Окула и Урмана, видевшие Кудеяра прежде, с любопытством глядели на него и громко выражали свою радость.

— Как мы тебе пророчили — так и вышло,— сказал Урман.— Вот, видно, и пригодились мы тебе.

— А ты нам еще боле,— сказал Окул.

— А вот наш атаман, Антип Толченой,— сказал Кудеяр,— любите по-братски! А вот бывший атаман, Кузьма Серый.

Разбойники, отнявшие у Серого лук, держали его за руки и не пускали убежать. Серый, видя, что попался сам в сети, расставленные Кудеяру, упал на колени и кричал:

— Смилуйся! виноват! не буду вперед!

— Ты меня убить хотел,— сказал Кудеяр,— ты смуту в ватаге поднимал. Пусть тебя судит круг и атаман.

— Изрубить его,— кричали разбойники.

— Нет, повесить! — говорили другие.

— На кол посадить! — кричали третьи.

— Повесить ли, изрубить, или на кол посадить, все равно смерть,— говорил Толченой.— Я думаю повесить его на этом дереве.

В это время какая-то женщина из шайки, услыхавши громкие крики, требовавшие смерти Серого, издала пронзи-

тельный крик. Но вслед за тем на нее напустился с бранью грубый мужской голос. Это была жена одного из разбойников, которую муж давно уже подозревал в любви к Серому. Теперь она невольно перед всеми высказала свое чувство. Муж обругал ее; она, возбужденная наступающею казнью возлюбленного, плюнула мужу в лицо и закричала: «Кабы тебя, паскудного, вместо Кузьки на дерево!» Муж ударил ее ножом в сердце. Сбежались около него разбойники... Одни были за него, другие против него. Убийца кричал, что он муж и может, как хочет, расправляться с женою. Ему возражали, что хоть и муж, а самоуправно не мог лишить живота жены, должен был пожаловаться атаману и всему кругу... Пришел Кудеяр вместе с Толченым, Окулом и Урманом, выслушал дело и сказал:

— Все зло от того, что баб возим. Вот оно и отозвалось. По-моему, виноват муж, только не так, чтоб его казнить смертью, для того что женка его раздразнила и он убил ее в запале. Накажите его палками под тем деревом, на которого повесят Серого.

— Праведно, праведно! — сказали атаманы.

Серого вздернули на дуб и, когда он, высунувши язык и страшно выпучивши глаза, руками и ногами отбивался от смерти, которая скоро одолела его, под ним дали ударов двадцать ревнивому его сопернику.

Вслед за тем сняли Серого с дерева и бросили в одну яму с его возлюбленною.

Окул с Урманом объяснили Кудеяру, что они с своею ватагою, убегая от новой против них высылки, распустили слух, будто идут к литовской границе, а на самом деле задумали вернуться из-за Жиздры и стать на другом месте, недалеко от Жиздры, в лесу, посреди оврагов, где есть хорошая ключевая вода, а из оврагов выход на луга с хорошими пастбищами.

— А мы,— говорили они,— таки подумываем улизнуть в Литву, только туда надобно с деньгами; прежде нажиться нужно.

— Нечего нам о Литве думать,— сказал Кудеяр и сообщил товарищам свои планы насчет свержения с престола Ивана Васильевича и возведения Владимира Андреевича; но при этом несколько солгал: он уверял их, что сам Владимир Андреевич знает о предприятии и земские бояре обещают тотчас провозгласить его царем, лишь бы удалые извели мучителя.

Окул и Урман с восторгом слушали рассказы Кудеяра.

— Нам,— сказал Окул,— теперь все равно; если не доведем такого великого дела до конца и пропадем, то беда невелика,— все равно пропадем когда-нибудь... А доведем, вестимо, всем будет хорошо.

— Что говорить о том, если не доведем до конца,— сказал Кудеяр,— надобно довести, коли беремся.

Созвали круг. Кудеяр объявил, что князь Владимир Андреевич приглашает их на службу и велит им раздать жалованье. Немедленно он всем дал при этом по двадцати рублей. Разбойникам деньги понравились. Как эти деньги, так и ватага, с которою явился Кудеяр, были для шаек Окула и Урмана поразительным доводом его силы и справедливости того, что он говорит. Удалым польстила мысль, что они уже теперь не разбойники, а служилые люди князя, который будет царем. Они разом возвысились в собственных глазах.

— Идем за весь мир христианский,— говорили они.

— Теперь надобно,— сказал Кудеяр,— нам хорошо изоружиться, а то у нас почти нет огненного боя и зелья. Я думаю, братцы, поехать самому в Литву покупать ружья, а Урмана послать в Болхов. У меня есть татарские деньги; Урман их там променяет на русские; в Болхове татары приводят пленных на выкуп, там татарских денег нужно бывает. Да там же, говорят, можно и оружие прикупить.

— Можно, можно,— сказал Урман,— я Болхов знаю.

— А вам,— сказал Кудеяр,— усесться на то время в лесу, в укромном месте, и дождаться меня.

По указанию знавших местность разбойники свернули в лес и стали меж оврагов в яру. Они прорубили маленькие извилистые тропинки в лесной заросли, такие, что им проехать можно было только одному человеку; тропинки были прорублены так, что всякий другой, не знающий их пути, не мог пробраться по ним. Эти тропинки вели к лугу из оврагов, где был стан. Разбойники водили на луг пасти лошадей. Кроме того, в лесу были поляны, где можно было найти траву.

Урман отправился в Болхов, а Кудеяр взял с собою братьев Юдинковых, знавших дороги, и поехал в другую сторону, к литовской границе.

Денег, награбленных в Добром монастыре, было так много, что хватило бы на вооружение войска вдвое более того, сколько было у Кудеяра.

Собираясь по направлению к литовской границе, Кудеяр с Юдинковыми остановился в одном селе и стал у крестья-

нина расспрашивать о порубежных делах. Он узнал, что царь, сильно боясь, чтоб его бояре и думные люди не убегали в Литву, велел устроить разъезды и ловить бегущих, если покажутся. Но крестьянин, сообщая эту новость, тут же засмеялся и сказал:

— Разве дурень будет, так тот к ним попадется. У нас только денег посули, проведут тебя и выведут, хоть с товаром будучи.

По просьбе Кудеяра, подкрепленной деньгами, хозяин нашел ему вожа, черномазого крестьянина. Он благополучно перевел его лесами за рубеж, а оттуда Кудеяр, вместе с Юдинковыми, ехал безопасно, останавливаясь в корчмах, и так приехали они в город Мстиславль. Тамошний воевода был тот самый пан, у которого жила девица, пленившая Самсона Костомарова.

Кудеяр застал там своего избавителя, Самсона, и это ему очень пригодилось. Без него воевода не слишком охотно дозволил бы ему накупить оружия из боязни, что оно покупается для царских войск, которые этим оружием будут воевать против Литвы. Самсонко уверил воеводу, что Кудеяр опальный человек, едва спасшийся от голодной смерти, на которую осудил его мучитель, покупает оружие не для чего иного, как только для того, чтоб поднять восстание против царя Ивана и вместо него посадить на престол Владимира Андреевича. Воевода ненавидел московского царя и с особенною заботливостью старался наделить Кудеяра хорошим оружием, притом как можно дешевле. Кудеяр накупил большой запас ружей, пороху, свинцу, копий и кос: последние оказывались нужными для кошения травы на зиму. Осталось перевезти все за рубеж. Воевода поручил Кудеяра двум ловким иудеям. Кудеяр купил двадцать вьючных лошадей и навязал на них свою покупку в рогожевых мешках; на каждой лошади висело по обе стороны по большому мешку, а сверху привязывался на спине лошади еще мешок. Таким образом Кудеяр с товарищами проехал через леса, удаляясь от селений, и наконец приблизился к тому месту, где покинул разбойничий стан.

Между тем в его отсутствие случилось такое происшествие.

Один из разбойников, друг казненного Кузьмы Серого, ушел из стана в Калугу и донес, где находится разбойничий стан. Калужский наместник тотчас позвал на совет губного старосту, и оба решили собрать всеуездных людей на ловлю разбойников, отправили отписки в Лихвин и

Белев, чтоб и там делали то же. Крестьяне в таких делах были очень туги на подъем, а особенно, когда было время жатвы; притом они неохотно ссорились с разбойниками, опасаясь, что если их раздражат, но не переловят, то разбойники станут им мстить. На этот раз губные старосты не собрали никого: отправились только служилые люди, калужане, да и то большею частью отставные, старые, потому что молодые, дюжие, здоровые были в войске. Белевцы и лихвинцы не поспели с ними соединиться, калужане одни подошли к указанному месту. На беду их наместник не отправил с ними доносчика, но кинул его в тюрьму и подверг пытке, от которой он и умер; служилые только по рассказу этого доносчика должны были отыскивать то место, где находилась шайка. Они не знали извилистых тропинок, которыми удалые выходили из своего стана. Подъехавши к месту, где, по их соображениям, следовало быть разбойничьему стану, калужане соскочили с лошадей, входили в лес, прислушивались и услыхали за деревьями лошадиный топот и гул человеческой речи. Проехать в лес казалось невозможным: в чаще леса они увидали овраги. Служилые оставили оседланных лошадей на дороге и поручили смотреть за ними своим слугам, а сами с ружьями пошли пешком в глубину леса. Тем временем разбойники, чрез своих расставленных сторожей, узнали о прибытии ратных людей, посланных на них, забрали наскоро свои пожитки, сели на лошадей и своими извилистыми тропинками, едучи гуськом один за другим, выехали на большую дорогу. Когда преследовавшие их пешие служилые добрались до разбойничьего стана, там уже не было никого. Разбойники напали на слуг, оставленных служилыми на дороге, захватили у них лошадей, перебили слуг, когда те начали кричать, пошли вброд через Жиздру с отнятыми лошадьми, потом повернули в лес и исчезли из виду. Калужане, услышавши крик слуг, бросились назад и нашли только трупы их, а куда делись разбойники с лошадьми — они не видали. Дело окончилось тем, что калужане пошли домой пешие и, встретившись на дороге с лихвинцами и белевцами, рассказали им, что разбойников более нет. Тогда лихвинцы и белевцы, не зная, где искать разбойников, и не надеясь, при своей малочисленности, справиться с ними, ушли себе также назад.

Разбойники, прошедши семь верст, вошли в село, набрали себе там фуражу, заплатили за него, как следовало, но запрещали продавцам говорить про себя, угрожая в против-

ном случае пустить по селу красного петуха. Прошли потом удалые еще девять верст и нашли себе приют крепче прежнего: то было лесное ущелье; посреди его озеро; в этом ущелье расположились разбойники станом и для выхода прорубили себе через лес извилистые тропинки, как и в прежнем своем притоне, а в некоторых местах, доступных для проходу, умышленно навалили деревьев, чтоб сделать места непроходимыми. Устанавливаясь на новоселье, они послали двух товарищей на прежнее место известить Кудеяра и Урмана, когда те прибудут из Болхова.

Посланные не нашли никого на месте прежнего стана и засели в своих тропинках, ожидая, когда будут ехать Кудеяр и Урман. В тот же день они услыхали лошадиный топот; появился на тропинке Урман, за ним, один за другим, ряд незнакомых им всадников, а за ними вьючные лошади.

— Вот вам,— сказал Урман,— новые гости и товарищи, дорогие гости с Дону прибыли и нас зовут к себе.

— А наши,— сказали ему товарищи,— вышли отсюда оттого, что была на нас высылка, только той высылке на нас не было удачи.

— Я догадался,— сказал Урман,— по дороге следы вашей работы... орлы и вороны благодарствуют вам.

Он намекал на трупы побитых слуг.

На другой день приехал Кудеяр с своею покупкою. Урман рассказал ему, что в Болхове была большая ярмарка, деньги он променял, накупил оружия, накупил также тулупов на деньги, которые ему давали для того удалые, припасая на зиму теплую одежду.

— А вот,— говорил он, указывая на десятерых своих товарищей, с которыми приехал,— это молодцы с Дону, приехали закупить оружие и лошадей для своей ватаги и прикинулись детьми боярскими; а я их спознал зараз, какого полета они птицы; они ехали с тем, чтоб с нами сговориться. Собралось, видишь, четыре ватаги вместе, четыре атамана у них, и стоят на Дону; и про нас они послышали, что тут ватаги ходят в нашем краю в лесах, так они и велели им разузнать про нас и позвать нас к себе, чтоб мы заодно с ними были.

— А где ваш стан? — спросил Кудеяр.

— На Дону,— отвечали пришельцы,— неподалеку от того места, где река Быстрая Сосна устьем в Дон входит.

— А много вас будет?— спросил Кудеяр.

— Сотни, почитай, четыре,— сказали пришельцы.— Мы

ходили повыше — около Венева до Рязани, только на нас была высылка: дети боярские на конях, а стрельцы пешие с огненным боем! У нас оружья мало, мы и ушли подалее на Дон.

Кудеяр поехал с ними на новое место стоянки разбойничьего стана и роздал всем удалым купленное оружие: его оставался еще большой запас, и Кудеяр обещал раздать его тем, что стоят на Дону, когда придет к ним на сход. Удалые дивились, как это все удается Кудеяру, считали его всесильным ведуном и готовы были во всем повиноваться.

— Мы за тебя словно заложились,— говорили они ему,— куда ты поведешь нас, туда и пойдем, что велишь, то и будем делать. Ты все знаешь: что скажешь, так тому и быть.

— Укромно вы, братцы, здесь и поместились, да недолго тут вам гостить,— сказал Кудеяр,— надобно будет сниматься, пойдем на сход к нашей братье, что на Дону. Слыхали мы от тех, что к нам с Дону приехали, что по Муравскому шляху будет идти большой караван из Москвы в Крым и в Царьград, как говорят, а в нем много везут мехов дорогих, и хлебного зерна, и муки, и всякого запасу. Мы разобъем его и пойдем на Дон, а потом станем купно с нашею братьею, что на Дону, промышлять нашим великим делом. А здесь нам оставаться зимовать не годится для того, что про нас уже проведали и пошлют на нас большую высылку, а у нас не весьма людно, не отобъемся.

Никто не стал и не смел перечить. Все поклали свои пожитки в сумы, которые висели у каждого за спиною по обоим бокам лошади. Седел было мало, их заменяла подостланная одежда. За плечами удалых были луки и колчаны, а сзади за сумками, поперек лошади, привязывалось ружье. Лишнее оружие и запасы везли на вьючных лошадях. Разбойники ехали медленно, пробирались лесами, чтоб не быть замеченными, должны были в некоторых местах прорубливать заросли и засыпать рвы, когда это казалось легче, чем делать большие обходы. Они дошли до Оки и там два дня занялись рубкою леса; срубленные, не расколотые и не совсем очищенные от ветвей деревья, связанные вместе, послужили им плотами; они переправились через Оку и, пройдя двадцать верст, увидали табун лошадей и отбили его; таким образом, у них было теперь много лишних лошадей. Потом атаман Толченой со своею ватагою отделился и сделал набег на вотчину, откуда пригнал коров, быков и овец для продовольствия.

Разбойники двинулись на юг, покидая жилые места, и очутились на Муравском шляху, немного ниже того места, где потом построен был город Ливны. Чуть только они пришли на Муравский шлях и хотели располагаться станом, как увидали толпу конных, едущих к шляху: то были станичники, высланные из Рыльска для провожания каравана через степь. Станичники, завидевши конных, а за ними стада, сначала думали, что это татары, но, приглядевшись, смекнули, что это русские и, по всем признакам, воровские люди. Станичники сообразили, что у воров огнестрельного оружия нет, а у них самих есть, стало быть, они с ворами сладят, хотя бы воров было и больше. Станичники бросились на них, но разбойники схватились за свои ружья, приложили фитили и были готовы наклонить их на порох, в то самое время как станичники только брались за ружья. Станичники увидали множество ружейных дул, направленных на них, повернули назад и поскакали прочь.

— Это плохое дело, когда мы дадим им убежать,— сказал Кудеяр,— они дадут про нас весть, и на нас вышлется большая высылка. На коней, братцы, а у кого кони потомились, кидайте их и садитесь на молодых из табуна, скачите за ними.

Разбойники стали соскакивать со своих коней и хватать запасных лошадей, из табуна, садились на них; но необученные лошади относили их в сторону. Станичники, увидя это, думали, что их не догонят, но обманулись: Кудеяр летел прямо на них, ободряя своим примером удалых.

Станичники остановились и нацелились. Разбойники не подъезжали к ним и также остановились и нацелились.

— Биться или мириться? — кричал Кудеяр.

— Мириться,— сказал голова станичный,— ведь вы крещеные люди, не татары.

— Зачем вы здесь? — спросил Кудеяр.

— Караван оберегать.

— А вы зачем? — спросил в свою очередь голова.

— А мы,— сказал Кудеяр,— караван разбивать. Царя-мучителя посол ехать будет, мы у него казну возьмем. Мы умыслили царя-мучителя извести за кровопийство его над христианами, а на престол российского царства посадить хотим князя Владимира Андреевича. Земские бояре за нас. Приставайте к нам. Нас много. Кто теперь пристанет и поможет нашему государю взойти на престол, те у него первые люди будут. Наш государь не велел никого сило-

вать: хоти́те с нами идти — будет вам хорошо, а не хотите — судья вам Бог!

— Что ж? Это хорошее дело,— произнес кто-то из станичников.— Давно пора. Что, братцы, пристанем, что ли.

— Да коли земские бояре за них, так пристанем,— сказал другой.

— Пристанем, пристанем,— раздались голоса.— Царь больно лют стал! Другой будет милостивее! А нас наградит.

— Наградит, наградит! — говорил Кудеяр.— Я по его приказу тотчас всем вам жалованье денежное раздам, а караван наш будет! Наш государь нам его жалует.

— Хорошо, хорошо! — кричали станичники.

— Что вы, собаки,— закричал голова,— в петлю вам захотелось, что ли? Вы им, дурни, верите. Они все то затеяли сами. Князь Владимир Андреевич ни духом ни слухом про то не ведает и вас, собак, повесить велит за то, что вы его на царство возводите! Мы знаем одного царя, Ивана Васильевича, нашего и его государя. Князь Владимир Андреевич его раб и ему верен.

— Правда, правда! — закричали другие станичники.— Это воровские затеи; не слушайте их, братцы, беда будет.

— Будьте верны мучителю, когда хотите,— сказал Кудеяр,— мы вас не силуем, а кто хочет с нами стать за князя Владимира и за всю землю святорусскую, тот к нам переходи!

Сорок человек перешли к разбойникам.

— Будьте вы прокляты! — кричал голова.— Трусы, псы смердящие! изменники! Быть вам всем на коле!

— Не ругайся, голова,— сказал Кудеяр,— не хочешь русской земле служить,— Бог тебя рассудит и осудит. Мы тебя не силуем. Побросайте ружья, слезайте с коней и идите себе, куда знаете.

— Чтоб мы оружие свое покидали? Что мы, изменники такие, как ты? — сказал голова.

— Братцы, стреляйте в них! — закричал Кудеяр.

Разбойники выстрелили и убили человек пять. Станичники выстрелили и убили шесть человек разбойников; пуля повредила ухо Кудеяру; кровь струилась; разбойники рассвирепели, бросились на станичников, дрались и копьями, и саблями, и ружейными прикладами... Под Кудеяром убили коня, а станичник ударил его по голове, так что он лишился чувств. Разбойники, остававшиеся позади, бежали на битву, окружили станичников и всех до одного перебили, но потеряли довольно своих.

Кудеяр приподнялся; к его ране приложили пороху с землею, обвязали тряпьем. Оглядевшись, он увидал более десятка мертвых разбойников и столько же раненых. Те, которые были ранены тяжело, просили себе смерти. Кудеяр приказал перерезать им горло, чтоб они не мучились, а прочим велел перевязать раны тряпьем.

После этой свалки Кудеяр заснул таким богатырским сном, что проснулся только на другой день. Ему стало легче, но головная боль долго мучила его после полученного удара.

Караван, которого тогда ожидал Кудеяр, был особенно важен. Вслед за послом, приехавшим в Москву из Крыма вместе с Кудеяром, прибыл от хана к царю гонец с тайным известием, что турецкий царь непременно хочет будущею весною идти на Астрахань и что хан поневоле должен будет пристать к нему. Теперь хан всеми силами отговаривает турецкого царя, а если не отговорит, то из братской любви к московскому государю будет нарочно делать так, чтоб турки Астрахани не завоевали; за такую дружбу хан требовал с московского государя таких тяжелых поминков, каких еще царь Иван ему не давал. По этим вестям царь московский отправлял с караваном в Крым своего гонца со множеством мехов и с большою денежною казною. В караване было много купцов-армян; кроме мехов и воску, вывозимого из московской земли, они везли значительное количество хлебного зерна и муки. В Московском государстве был в тот год урожай, но к концу лета стали появляться тучи полевых мышей, истреблявших хлеб в копнах и скирдах. Весть об этом бедствии произвела повсюду ужас; хлеб поднялся в цене. В амбарах и лабазах торговцев, однако, было еще довольно запасов; в подобных обстоятельствах такие люди, замечая повышение цен, обыкновенно приберегают хлеб, чтобы продать его тогда, когда он достигнет наибольшей цены. При Иване Васильевиче купцы боялись, чтобы царь не велел отнять у них хлеба ради людской нужды или даже для того, чтобы самому продавать его с барышом; они продавали свой хлеб на вывоз из государства. Таким образом, караван, шедший в то время, был особенно богат.

Для береженья этого каравана в степи велено было провожать его трем станицам: первая шла за ним из Новосиля, вторая и третья должны были встретить его у Быстрой Сосны, прибывши из Рыльска и из Путивля.

Мы видели, как неудачно исполнили рыльчане свою обязанность.

По указанию передавшихся рыльчан, Кудеяр велел двинуться поближе к урочищу Ливнам, где был переход через Быструю Сосну и где уже заводилось поселение. Подходя к этому месту, разбойники увидали толпу людей, сидевших спокойно около огня. Их кони паслись спутанные.

Кудеяр догадался, что это путивляне, приказал одной части своей ватаги зайти в тыл сидевшим и стать за лесом, чтобы по данному знаку выскочить из своей засады и стрелять в путивлян, а сам с конными ехал прямо к последним; у разбойников наготове были ружья с горевшими фитилями, которые нужно было только посредством пружинки наклонить к пороху, чтобы выстрелить. Путивляне смотрели на едущих к ним верхом людей и думали, что это рыльчане; они уверились в этом тем более, когда действительно узнали в лицо нескольких рыльчан из передавшихся разбойникам, а потому подпустили их к себе и не предпринимали никаких мер осторожности.

— Бог в помощь вам, братья-путивляне,— сказал Кудеяр,— вы пришли караван оберегать, а мы пришли его разбивать. Знайте, братцы, что мы за люди. Мы все опальные. Царь-мучитель нас из домов своих выгнал, родных наших помучил... Царь-мучитель много крови неповинной пролил... Мы задумали, ради всего христианства и всей земли святорусской, извести его и посадить на престол российского царствия князя Владимира Андреевича. С нами заодно земские бояре. Мы теперь пришли сюда затем, чтобы караван разбить, у гонца царского казну отнять, чтобы было чем войско князя Владимира Андреевича содержать. Хотите с нами заодно? Мы вам тотчас дадим жалованье от князя Владимира,— я от него присланный человек. И караван себе раздуваним. А как Бог пособит князю Владимиру сесть на престол, так он вельми вас пожалует.

Станичный голова Егор Шашков дал Кудеяру такой ответ:

— По твоей речи вижу, что ты не прирожденный московский человек. Бог тебя знает, кто ты, таков, только я по душе тебе скажу; для нас что ни поп, то батька: будет ли Иван сидеть на престоле или Владимир, тому мы и холопи. Коли б у твоего князя Владимира Андреевича была сила велика, так иное дело, ина речь была бы... А то у него силы нет; доселева мы ничего такого не слыхивали. Опальным

людям мало что от сердца скажется. Как идти против царя Ивана, когда за него весь русский народ! Нас побьют и отведут к царю Ивану, а каков он в гневе, всем то ведомо. У царя Ивана ратных поболе, чем у тебя.

— У царя-мучителя,— сказал Кудеяр,— ратные отправлены в немцы, а сам он остается с небольшими людьми. Мы улучим час способный, нападем на него, изведем, а царем будет Владимир Андреевич.

— У царя два сына,— сказал Шашков.— Если бы вам и была удача, извели бы вы царя Ивана, так не Владимира Андреевича, а царевича Ивана, старшего царского сына, земля поставит царем.

— Он такой же мучитель будет, как и отец; земля поставит царем Владимира. На том у нас уговор с земскими боярами.

— От земских бояр,— сказал Шашков,— мы того не слыхали, а коли б и земские бояре нам то сказали, так еще надобно было бы подумать. Нет, мы с вами не идем и к вашему умыслу не пристаем.

— Так что же,— сказал Кудеяр,— хотите с нами биться?

— Давай и биться, коли хочешь,— сказал Шашков.

— Биться, биться! — закричали путивляне, схватившись за ружья, но из лесу выскочили разбойники, выстрелили и сразу положили человек пять.

С своей стороны разбойники стали стрелять в путивлян и также ранили несколько человек.

— Стойте,— закричал Шашков,— перестаньте стрелять; мы пристаем к князю Владимиру Андреевичу.

— Пристаете? — сказал Кудеяр.— Пристаете поневоле, как увидали, что у нас сила есть.

— Да, оттого и пристаем,— сказал Шашков.— Я тебе давеча сказал, что коли б у князя Владимира сила была впрямь большая, так ина речь была бы... Сам посуди, умный ты человек: нешто можно так всему поверить, что кто скажет? Я из рязанских; царь Иван отнял у меня поместье, что было от отца и деда справлено, и взял поместье в опричнину, а меня перевел в Путивль... Я сам обиженный, а ты говоришь: поневоле пристал? Не хотел приставать оттого, что не поверил тебе, а теперь верю, когда вижу, что у тебя сила есть.

Кудеяр раздал часть жалованья передавшимся путивлянам и обещал остальное доплатить после разбития каравана.

Шашков сказал:

— Будут новосильчане за караваном идти; не отпустил ли бы ты меня наперед, я бы учал уговаривать их пристать к Владимиру Андреевичу, чтоб не было напрасного пролития крови, как у нас случилось.

— Нет,— сказал Кудеяр,— по твоей новости тебе доверять еще не стать. Мы засядем в кустах и нападем на новосильчан сзади, пропустивши их за караваном. Пристанут к князю Владимиру — хорошо, а не пристанут — биться с ними будем.

На ночь разбойники расположились близ самого шляху. Шашков подозвал к себе толпу путивлян и сказал:

— Когда эта сволочь уснет, скорее садитесь на коней — и вместе со мной побежим. Надоть знать дать в разные городы, в Путивль, в Рыльск, в Болхов... Дело не пустошное, на царя-государя идут ратью, другого царя хотят ставить! Коли мы успеем да их .переловят, будет нам от настоящего государя награда поболе и повернее, чем от того, который еще не царствовал.

Поневоле путивляне были с ним заодно. Некоторые тотчас сообщили о замысле Шашкова Кудеяру.

Кудеяр сказал Окулу, Урману, Толченому, велел прикинуться спящими и быть между тем наготове...

В полночь Шашков, думая, что все спят, вскочил, сел на коня, путивляне, лежавшие около него, за ним вскочили на лошадей, поскакали в поле, но вдруг позади их раздался оглушительный крик,— громада разбойников была уже на конях и скакала за путивлянами. Кудеяр летел впереди, догнал Шашкова, схватил его за плечо и свалил с лошади.

— Вяжите его,— кричал он.

Путивляне бежали; разбойники их догоняли и били; несколько легло на месте, несколько было схвачено живьем, нескольким удалось уйти далее, но по приказанию Кудеяра разбойники погнались за ними и били их.

Кудеяр притащил связанного Шашкова в стан. Утром рано собрался круг. Кудеяр объявил, что Шашков достоин за свою измену того, чтоб его живого сжечь на огне.

— Суд праведный! — закричали все.

Разложили огонь и положили на него Шашкова.

— Умру за великого государя,— кричал он,— умру за правду! Бог милосердый примет мою душу, а вас, злодеев, покарает.

Пойманным путивлянам отрубили головы.

Через час после этой расправы разбойники увидели иду-

щий караван и станицу новосильцев, провожавшую его сзади. Караван состоял из множества вьючных лошадей и двуколок, к которым были прицеплены за шеи пленные немцы и чухны, так же как в том караване, который Кудеяр встретил, возвращаясь из Крыма.

Разбойники разделились на две половины: одна ехала верхом прямо навстречу каравану, другая скрылась в кустах, намереваясь броситься на новосильцев сзади. Новосильцы, видя ехавших прямо к ним конных, думали, что это путивляне и рыльчане.

Караван прошел. Разбойники пропустили его и стали лицом к лицу с новосильцами. Из-за кустов выскочили удалые,— и конные и пешие нацелились на новосильцев.

Новосильцы растерялись от такой неожиданности.

— Биться или мириться? — кричал Кудеяр.

— За что биться, с кем? — спрашивали новосильцы.

— Если хотите мириться,— сказал Кудеяр,— приставайте в службу князя Владимира Андреевича; мы идем на мучителя христианского, кровопийцу Ивашка, что в Александровской слободе, хотим его извести, а на царство посадить Владимира Андреевича. Идите к нему на службу: вот вам денежное жалованье, и караван раздуваним.

— Мы верою-правдою присягали служить царю Ивану Васильевичу, всея Руси самодержцу, а князю Владимиру Андреевичу не присягали и присягать не хотим,— сказал станичный голова.

— Так вы биться хотите! — сказал Кудеяр.— Братцы, стреляйте в них.

— Постойте,— сказал голова, осмотревшись и увидя, что станица его со всех сторон окружена,— дайте подумать.

— Думайте, да недолго,— сказал Кудеяр,— а на нас ружья не поднимайте! Вот вам наше слово. Хотите биться, так мы вас примем в два огня, нас втрое больше, чем вас... Мы всех вас перебьем. А хотите мириться, так либо к нам переходите и поступайте на службу князя Владимира Андреевича, либо, коли не хотите ему служить, побросайте оружие и коней — наш государь князь Владимир Андреевич милостив — вас животом пожалует.

— Дайте подумать,— сказали новосильцы.

— Думайте, думайте, да, говорю вам, недолго,— сказал Кудеяр.

— Нас меньше, чем их,— сказал голова станичникам своим,— покинем им ружья и коней; мы скажем, что не

смогли против большой силы. Все равно, коли станем им противиться, они перебьют нас, а царь-государь, может быть, нас и помилует за то, что мы все-таки не изменили ему. Так ли?

— Так, так! — говорили станичники.

Голова обратился к Кудеяру и сказал:

— Мы покидаем оружие и коней. Ваше слово твердо: отпустите нас домой.

— Кидайте оружие,— сказал Кудеяр,— мы вас убивать не станем.

Новосильцы стали слезать с лошадей и кидать оружие. Но двое, перешепнувшись между собою, сказали:

— Мы пристаем на службу князя Владимира Андреевича.

— Так поезжайте сюда, к нашим,— сказал Кудеяр.— Кто перейдет на службу Владимира Андреевича, тот не слезай с коня, а завертывай налево, к нам!

За двумя последовало еще восемь человек. Остальные побросали оружие.

— Заберите ружья их,— сказал Кудеяр разбойникам,— и стерегите их. Они в полон сдались.

— Отпусти же нас! — сказал голова.

— Прежде караван разберем,— ответил Кудеяр.

Он подошел к царскому гонцу, которого уже успели связать разбойники.

— Подай грамоту,— сказал Кудеяр.

Гонец подал.

— Читай, да не лги,— сказал Кудеяр.

Гонец прочитал. В грамоте московский царь уверял Девлет-Гирея в дружбе, извещал, что посылает тяжелые подарки. Царь просил прислать двух пленных черкесских князей, сыновей Мамстрюка, обещал за то отпустить бывших в плену татар и несколько человек отпускал. В заключение было сказано: «А что твой посол говорил про Кудеяра, чтоб его отпустить к тебе, и Кудеяра не стало, а мы к тебе, брату нашему, его отпустили, коли б он был жив».

— Врет, мучитель! — сказал Кудеяр.— Я жив и поехал бы к светлейшему хану, да хочется отомстить злодею своему и избавить всю землю русскую от мучителя.

В это время знакомый голос назвал по-татарски Кудеяра.

Кудеяр узнал одного из приезжавших с послом хана татар.

— Где Ямболдуй-мурза? — спросил он татарина.

— Задержал царь Иван.

— Братцы,— сказал Кудеяр своим,— отпустим всех татар. Девлет-Гирей наш друг. Ну, Иванов гонец, есть у тебя еще грамоты?

— Есть.

— К кому? Это к кому? — спрашивал Кудеяр, указывая на грамоту, взятую у гонца.

— К явлашскому бею.

— Читай.

Гонец стал читать. Кудеяр по его физиономии догадался, что он читает не то, что в ней написано. Он вырвал грамоту из рук гонца и спросил, обращаясь к своей ватаге:

— Есть кто грамотный?

Нашелся один из передавшихся новосильцев, бывший подьячим. Он прочитал грамоту, в которой царь Иван, ласкуя явлашского бея, делал намеки на возможность получить ему ханское достоинство. Кудеяр передал содержание грамоты татарину, назвавшему себя крымским гонцом, и, отдавая ему грамоту, сказал:

— Возьми эту грамоту и отдай светлейшему хану. Пусть увидит, какова московская дружба.

— Кудеяр,— сказал крымский гонец,— Ивановы поминки отдай нам. Это ханское добро.

— Друг мой,— сказал Кудеяр,— оно не дошло до рук ханского величества и посылалось не с чистым сердцем, как сам видишь. Мы идем войною на нашего врага и лиходея; он и хану враг и лиходей. Нужно войску одежды и жалованья. Как мы изведем Ивана и посадим на царство иного царя, князя Владимира Андреевича, тогда, будучи у него первыми людьми, возблагодарим хана в десять крат. А теперь коли все это выпустить из наших рук, то нечем будет войска нашего содержать, и дело наше не пойдет на лад. Хан мудр и милостив, сам рассудит, что иначе нельзя. Для его милости будет лучше, как мы изведем его недруга.

— А купцы,— сказал гонец,— они деньги платили за товары.

— Мне их жаль,— сказал Кудеяр,— да что же делать? Нам хлеба нужно и на войско одежды. Не с голода же умирать нашим и не от холода окоченевать! Придет время, воцарится князь Владимир, за все убытки заплатит, потому что у них взят товар на его обиход по крайней нужде.

— А людей? Они купленные.

— Русские есть между ними? — спросил Кудеяр.

— Нет,— отвечали ему,— все воинский полон немецкий.

— Возьмите их! — сказал Кудеяр.— Нам они не нужны! Вот вам еще новосильцы, что вас провожали. Ведите их в неволю.

Татары бросились вязать новосильцев. Поднялся вой, вопли, крики.

Кудеяр взял у московского гонца денежную казну и приказал его самого изрубить; потом велел отвязать двуколки и забрать вьючных лошадей с товарами, а все принадлежащее собственно татарам отдал им. Наконец, сказавши ханскому гонцу, что по возведении князя Владимира на престол докажет хану свою любовь и преданность, отпустил татар с невольниками.

Разбойники, с приобретенными возами, вьючными лошадьми и стадами, двинулись вправо от Муравского шляха, по правому берегу Быстрой Сосны. Оказалось, что в то время по берегам этой реки не было уже безлюдно. Местами стояли селения; беглецы, искавшие себе свободы от всяких тягостей, селились там; были тут и дети боярские, убежавшие со своими людьми. Сельца были ограждены рвами и частоколами. Разбойники не нападали на них; они шли по опушке лесов, иногда проходили и леса. Так миновали они Елец, стараясь не показываться ельчанам, и для того в этом месте особенно должны были держаться леса.

Когда уже недалеко был Дон, Кудеяр стал дуванить отбитый караван. Всю царскую денежную казну и деньги, отнятые у купцов, он не пустил в дуван, объявил, что это казна князя Владимира и пойдет на уплату жалованья его служилым. Чтоб уравнить всех, Кудеяр назначил по выбору ценовщиков, которые оценяли меха, одежды и другие товары, исключая хлеба; каждый мог брать себе, что хотел, приплачивая деньгами, если брал больше, сколько приходилось на его долю по оценке. Лошади были также поделены, но лишние оставлены в запасе для тех, которые были на Дону. Скот и хлеб не делили; Кудеяр назначил поваров, которые должны были готовить есть разбойникам по кучкам: на кучку в тридцать человек назначался повар. Для смотрения за скотом назначены были скотари. Установивши правила хозяйства, Кудеяр привел свою ватагу на Дон, где соединился с другою ватагою, еще более многолюдною.

II. ЗИМОВЬЕ

Донская ватага с радостью приветствовала новых товарищей, они были ей дороги, потому что привезли с собой оружия, запас съестного, лошадей. Все проникались уваже-

нием к Кудеяру, о котором прибывшие товарищи рассказывали удивительные вещи; все обещали слушаться Кудеяра, особенно, когда он всем им раздал жалованье и обязал считаться служилыми людьми князя Владимира. Однако донские смотрели с завистью на прибывших, потому что последние были богаче и носили меховые шубы, тогда как донские должны были довольствоваться овчинами.

— Вы прежде караван разбейте, как мы,— говорили донским прибывшие,— коли у нас что есть, так досталось не даром.

Кудеяр занялся устройством жилищ на зиму и велел делать землянки в горе, над Доном. Для скота и лошадей были сделаны деревянные загоны. Пока не спал снег, скот и лошади были на подножном корму; а на зиму у донских заранее припасено было несколько стогов сена. Хлебного зерна и овса было вдоволь награблено в караване. За неимением мельниц зерно толкли в деревянных ступах, которые в небольшом количестве изготовили донские.

Люди, составлявшие донскую ватагу, главным образом были холопи опальных бояр и их крестьяне, затем беглые и лишившиеся поместьев служилые, а к ним присоединялись еще забубенные бродяги, которым с юности было противно всякое порядочное, законченное дело, омерзело жить посреди мира и связывать себя его тяготами. То были любители простора, вольности и так называемого воровства, т.е. всего того, что осуждается и преследуется законом: порок и злодеяния стали, так сказать, их природою. Люди боярские, наполнявшие дворни бояр и знатных людей, и крестьяне, несмотря на видимое подобие, рознились между собою по своим нравам. Первые, как холопи, составляли такой класс, для которого неизбежным казалось всегда служить кому бы то ни было, быть в неволе у кого бы то ни было. Гнев царский, постигший их господ, освобождал их от холопства, они сами собою делались свободными; но свобода была им несвойственна, как рыбе воздух без воды; обыкновенно в московской Руси освобожденный холоп делался снова холопом другого господина. В их положении никто не хотел брать их в холопи, потому что судьба связывала их в прошедшем с опальными; в людском обществе им было небезопасно: достаточно было на такого холопя кому-нибудь донести, что он хвалил своего бывшего опального господина или пожалел о нем, и холопу была беда; это тревожное положение, лишая таких холопей средств устроиться в людском обществе, увлекало их в

разбойническую шайку. Но качества, приобретенные ими в холопьем быту, не оставляли их и в разбойничьем. Кудеяр, начальствуя над ватагою, не нося звания атамана, назывался хозяином и исполнял то, что обыкновенно составляло признак господина дворни, платил жалованье, распоряжался продовольствием: он был первым, важнейшим лицом в ватаге и поэтому стал полным господином над теми, которые прежде были холопями и не понимали никаких других отношений зависимости, кроме рабского повиновения тому, от кого получали жалованье. По понятиям своего времени, они и относились к нему, как вообще к такому, которому давали на себя кабалу. Но на их постоянство, верность и честность не мог полагаться Кудеяр; не могли в этом полагаться на них и прежние господа; Кудеяр — еще менее. При малейшем противном ветре, подувшем на их господина, при первом лакомом обещании, данном сильною стороною во вред господину, они способны были предать и продать его. Таково достоинство холопя.

Крестьяне были люди иного склада, чем холопи, но также, как холопи, не могли составлять для Кудеяра надежного оплота. Крестьяне, прежде находясь в своих дворах, не были, подобно холопям, челядью без определенного призвания, обязанною исполнять ту либо другую прихоть господина, их кормившего и одевавшего. Крестьяне были тружениками, в поте лица добывавшими хлеб свой с полученной по договору земли от ее владельца. Горькая судьба разорения постигла их случайно, оттого только, что им пришлось жить на земле того боярина, которого постигла опала. В них не было тех пороков, которые присущи были дворне. Земледельческий труд облагораживает человека, и как бы ни было порочно какое-либо общество, те, которые занимаются исключительно земледелием, будут сравнительно лучшими и честнейшими людьми в этом обществе до тех пор, пока не перестанут быть земледельцами. После того как царь, без всякой вины со стороны этих крестьян, приказал сжечь их дома, истребить скудное их имущество и самих разогнать на все четыре стороны, осуждая их на голодную смерть, им приходилось каким-нибудь иным способом поддерживать свое существование, и они пошли в разбой из-за куска хлеба. Других средств им не представлялось. Но пока они не привыкли к новому образу жизни и не вошли еще во вкус к злодействам, они всегда готовы были покинуть разбойное дело, лишь бы представилась возможность заняться прежними средствами добыва-

ния хлеба. Стоило им сказать: вот вам земля, вот вам соха, борона, серп,— и они оставят Кудеяра на произвол судьбы!

Служилые люди, ушедшие от службы, были трех родов: одни убежали от опасностей войны, следовательно, от трусости. Многие из их братии уходили в степи и там селились с своими людьми; в разбой шли такие из них, которым нечем было подняться и вообще не представлялось удобств к переселению. На них нельзя было слишком полагаться Кудеяру: трусость, загнавшая их в разбой, взяла над ними верх и здесь, как в государевой службе. Такие были отважны только тогда, когда приходилось расправляться с безоружными и слабейшими, но при встрече с очевидною опасностью храбрости у них не хватало. Другие, как передавшиеся Кудеяру рыльчане, увлеклись минутною надеждою на выигрыш дела, на удачу предприятия. Эти люди при неудаче тотчас бы поддались увещаниям противной стороны, если б она посулила им прощение их вины. Наконец, тут были служилые, которых судьба походила до известной степени на судьбу Кудеяра: то были те, которых царь лишил поместьев, не принявши самих их в опричнину, или подверг опале их родных,— эти сердечнее относились к делу, предпринятому Кудеяром; но их было меньшинство.

Из атаманов той шайки, к которой пристал Кудеяр, двое — Лисица и Муха — были из боярских людей; их шайки состояли почти исключительно из людей и крестьян опальных бояр. Лисицу сделали атаманом за его юркость; он то и дело вертелся, бегал, запыхавшись, кричал так торопливо, что понять его не всегда было можно, строго приказывал и сам же нарушал свое приказание. С прибытием Кудеяра он беспрестанно совался к нему с советами, а Кудеяр не обращал на них внимания, хотя никогда не противоречил ему, и Лисица исполнял во всем волю Кудеяра, хоть и был этим постоянно огорчен. Муха был образчиком иной натуры, также свойственной холопьему быту: в нем было мало поворотливости, какая-то сонливость, тяжеловатость, говорил он не скоро, но зато как будто всегда думал и силился выдумать что-то такое, чего не выдумать другим; его считали умным, знающим и за то выбрали атаманом. Он не взлюбил Кудеяра, который не дослушивал его тягучих речей, потому что ничего умного и способного в нем не находил; однако и Муха, как и Лисица, не любя Кудеяра, повиновался ему. Третий атаман, Васька Белый веневский — сын боярский, был трус преестественный, зато большой хвастун и лгун, жесток до бесче-

ловечия над бессильным и при всякой опасности дрожал как лист. Он ненавидел Кудеяра, как ненавидит действительно сильного слабый, считавшийся по ошибке сильным. Еще более ненавидел Кудеяра четвертый атаман, Федька Худяк. Он был давний злодей и начал с того, что когда-то, живучи в Серпухове на посаде, по злобе сделал поджог, а потом, когда причина произведенного им пожара стала раскрываться, Худяк бежал в лес. Одаренный большою телесною силою, он сделал несколько удачных грабительств; к нему пристали молодцы, нарочно отправившиеся в лес искать его, когда о нем пошел слух. У него явилась шайка человек в пятнадцать; до опричнины такая шайка считалась бы многолюдною. Разбойники поселились в лесу, между Серпуховым и Коломною, жили в землянках, грабили проезжающих, нападали и на усадьбы. Они завели торговлю с крестьянами в разных местах, покупали у крестьян необходимое, а крестьянам дешево продавали такие вещи, которые было трудно найти в деревнях; многое из карманов богатых людей переходило к небогатым. Крестьяне нарочно не расспрашивали разбойников, кто они, и хотя хорошо это знали, но притворялись незнающими; при таких отношениях ни разбойники не обижали этих крестьян, ни крестьяне не доносили на разбойников. Но скоро губной староста, услыхавши многие жалобы на разбой, поднял на разбойников всеуездных людей; Худяк убежал в Веневский уезд, а там, в лесу, жил уже Васька Белый с двенадцатью удальцами; два атамана встретились и стали вместе вести разбойное дело. Тут случилось, что опричнина изменила вообще положение разбойников и отношения к ним населения. Разогнанные люди и крестьяне опальных бояр, дети боярские, лишенные своих поместий, осужденные на переселение и не хотевшие идти на новоселье, сыпнули в лес. У Худяка и Белого вдруг стало много народа. Крестьяне боялись разбойничьих шаек, были рады, чтоб только они их щадили, а потому заведомо потакали им, укрывали их, всегда предупреждали, когда губные старосты посылали бирючей кликать всеуездных людей на ловлю разбойников, и сами отлынивали от таких походов. Разбойники смеялись над высылками против них и над губными старостами. Дошло до царя, что наместники и губные старосты ничего с ними не поделают. Царь отправил в Веневский и Рязанский уезды Алексея Басманова с ратными людьми и пушками. Это заставило Худяка и Белого со своими ватагами уйти на юго-восток в лес, где

можно было прятаться за омшарами, как назывались в рязанской земле лесные топи. Туда же опасность загоняла другие шайки, и таким образом Худяк и Белый соединились с шайками Лисицы и Мухи. Через крестьян, везде мирволивших им, они узнали, что царь не хочет их оставлять в покое и там; они решили двинуться южнее, совсем в поле, как говорилось тогда, т. е. туда, где уже оканчивались сплошные поселения, и очутились на берегу Дона, где застал их Кудеяр. Крестьяне, наполнявшие ватаги, были того намерения, чтобы оставить разбойное дело, поселиться на новых землях и жить своим обычным способом, возделывать землю и питаться от плодов ее. Но пришел Кудеяр, соблазнил всех надеждою обогатиться, наделил их жалованьем, лошадьми, оружием и завербовал в службу князя Владимира Андреевича. Худяк сильно увлекся предприятием Кудеяра, надеялся на успех и воображал играть великую роль в будущем. До прибытия Кудеяра Худяк над всеми верховодил, и при Кудеяре хотелось ему остаться с прежним значением главного коновода; он стал показывать свою прыть даже над самим Кудеяром и позволял себе кричать на него так же, как он привык кричать не только на подчиненных, но даже на равных ему атаманов. Кудеяр не вдавался с ним в споры и ругательства, выдерживал его выходки покойно, равнодушно и заставлял его поступать так, как Кудеяру хотелось. Весь круг был за Кудеяра, во всем ему повиновался, ни в чем ему не перечил, и Худяк злился, но поневоле покорялся Кудеяру, не теряя притом веры в успех руководимого последним предприятия.

В конце ноября явилась еще небольшая шайка, человек в пятьдесят, на конях, под атаманством Гаврилки Кубыря. Он был послушник Радуницкого монастыря. Прошлое лето повздорил он с другим послушником, ударил его в висок, а тот на месте и душу положил. Кубырь бежал в лес, несколько дней скитался, чуть не умирая с голоду, потом пристал в деревне к крестьянину и нанялся работать за кусок хлеба. Здесь он услышал, что верст за двадцать есть разбойничья шайка Жихаря. Кубырь обокрал своего хозяина, взял у него лошадь и ускакал искать Жихаря. Дня через два он встретился с удалыми, которые привели его к своему атаману, Жихарю. Этот Жихарь был когда-то холоп князя Курбского; после бегства господина царская опала стала карать его слуг; Жихарь, спасаясь от смерти, постигшей уже других холопей, бежал с несколькими холопями того же князя в лес, начал промышлять разбоем,

а потом шайка его умножилась до двухсот человек, большею частью из холопей опальных бояр. Жихарь принял с радостью Кубыря, тем более что Кубырь был грамотный человек, единственный во всей шайке. Ловкий, сметливый и отважный, Жихарь отлично вел свое дело, водил хлеб-соль с крестьянами, торговал с ними, и шайка его была в хорошем положении. Но и над ним, как над другими, собралась гроза. Он разбойничал около Зарайска. Губные старосты ничего с ним не могли сделать. Но на него послана была царская рать, и Жихарь ушел к Пронску, потом двинулся еще южнее и утвердился в лесу за омшарами. Осенью 1568 года услыхал он, что прогнанные из рязанской земли ватаги ушли на Дон. Хотелось ему туда же, и он послал Кубыря разведать об этих ватагах.

Вот этот Кубырь принес Кудеяру важные вести. Он сообщил ему, что Радуницкий монастырь, откуда он убежал,— одно из любимых мест Ивана Васильевича, что царь уже посещал его и приказал этим летом строить для себя дворец, обещая приехать весною на богомолье.

Кудеяр ухватился за эту весть. В его голове блеснула мысль в этом месте напасть на царя и извести его.

Кудеяр решился сам лично узнать обо всем, удостовериться, правду ли говорит Кубырь, и осмотреть местность, чтоб решить, удобна ли она для совершения предприятия. Он взял с собой Кубыря и двух братьев Юдинковых и поехал верхом по молодому снегу.

Достигши жилых мест, Кудеяр остановился у одного крестьянина и послал Кубыря звать к себе Жихаря для переговоров. Кубырь воротился и сказал, что Жихарь ждет его в корчме.

Корчма эта была в том же селе и содержалась одною вдовою; то было место всяких удовольствий; там была постоянная брага пьяная и мед; туда приходили охотники до женского естества, и веселые прелестливые женщины, и бродячие скоморохи там потешали народ. Когда Кудеяр туда прибыл, в корчме, кроме Жихаря, никого тогда не было.

— Сперва выпьем,— сказал Жихарь,— я, брат, коли не пьян, так ничего не пойму, хоть голову мне пробей, а только выпью, откуда ум возьмется.

Выпили.

— Ты, говорят,— сказал Жихарь,— большой силач. Кубырь мне говорил... А пьешь мало. Ну, скажи, брат, размил-

друг, какие ты затеваешь великие дела. Постой... ты говори, говори, а я еще выпью.

Кудеяр изложил ему свое намерение. Жихарь все ухмылялся и говорил:

— Ну, ну! хорошо! ну!

Кудеяр остановился.

— Кончил? — спросил Жихарь.

— Кончил, тебя жду, что ты скажешь?

Жихарь помолчал, потом вдруг, возвышая голос, сказал:

— А я тебе то скажу, что такой умной головы, как твоя, другой на свете не найдешь! Все мы будем тебе покоряться; как ты велишь, так и будем чинить. На всей твоей воле. Я, брат, давно о том думал, что ты говоришь, да не я один,— вся Русь о том помышляет, того только и чает. Только все хотят, да не знают, как взяться за дело, а ты вот своим умом все смекнул и способ нашел. Слушай же, брат, милый товарищ дорогой, ты поезжай в Радуницу да все там высмотри хорошенько. А я с своей шайкой к тебе на Дон не поеду оттого, что придется же опять назад ехать; мы сделаем вот как: весною ты выступишь и со мной сойдешься, я тебе теперь покажу место, где у нас быть сходу.

Выпивши и поевши, товарищи поехали верст за семь к озеру, которое с трех сторон было окружено лесом, а с четвертой выходило в открытое поле.

— Ты,— сказал Кудеяру Жихарь,— как придешь сюда, меня подожди, а коли я прежде приду, так я тебя подожду, а быть нам здесь после вешнего Юрия. А я тем часом пошлю собирать еще ватаги. Есть, знаю, под Муромом большая ватага. Она к нам придет.

Они разъехались. Кубырь остался с Жихарем, передавши власти Кудеяра свою ватагу, приведенную на Дон. Кудеяр с братьями Юдинковыми поехал к Радуницкому монастырю.

Ему пришлось проехать более ста верст. Радуницкий монастырь находился в лесу, близ озера, и стоял на возвышенном месте. Новая каменная церковь красовалась посреди большого двора, обведенного толстою бревенчатою двойною стеной, за которою кругом прорыт был ров. Во дворе были избы; одна просторная изба со светлицею занимаема была игуменом; близ нее находился не достроенный еще деревянный дворец, который велел царь приготовить для себя к маю будущего года.

Кудеяр вошел в церковь во время обедни, в монашеской одежде, которую взял у одного из своей шайки, ограбивше-

го когда-то чернеца. День был будний, зимний, кроме служек и монахов, никого не было. Сразу увидел Кудеяр, что монастырь этот легко было бы ограбить, но удержался от искушения, рассчитывая, что Радуницкий монастырь пригодится ему на более важное дело. По окончании литургии Кудеяр подошел к игумену, упал к его ногам, просил благословения и объявил, что он — монах из Киева, странствует для поклонения святым в Московском государстве. Игумен велел одному из своих монахов приютить у себя странника, а после вечерни позвал его к себе и стал у него расспрашивать про Киев.

Кудеяр говорил ему, сколько знал и сколько мог, но вскоре оказался в нем недостаток сведений, нужных для того, чтобы играть роль монаха. Стал его игумен спрашивать, как в Киеве поется такая-то церковная песнь, как отправляют там такой-то церковный ход. Кудеяр очутился в глупом положении и мог выпутаться из него только тем, что сказал:

— Отче! я человек совсем не книжный! Прост человек! Памяти большой мне не дал Бог.

— Вижу, что ты простак,— сказал игумен,— но не скорби о том, чадо; нищие духом в царствие внидут, а высокоумные в геену пойдут, аще не от Бога их мудрость. Бог смиренныя возносит. Вот и наш монастырь был бедный, нищий, самый последний. А ныне явися нам благодать, спасительная всем человеком. Великий государь стал отменно жаловать нас, у нас бывал и теперь повелел приготовить себе дворец, хочет к нам в мае приехать, к Николину дню. Вот это божья благодать.

Намотал себе на ус слова игумена Кудеяр и порешил: к вешнему Николину дню царь придет сюда, вот тогда-то мы расправимся с ним, отомстим ему за всю кровь, пролитую им напрасно.

Кудеяр на другой день, после рассвета, вышел из монастыря, сказавши, что идет в Богословский монастырь, нашел в ближнем селе своих товарищей с лошадьми и в продолжение трех дней объезжал, уже не в монашеском платье, все окрестности монастыря, высмотрел удобное место для стана за лесом и уехал, пробираясь не без труда по заваленным снегом полям, до своего стана на Дону. Только железной натуре людей того времени возможно было пробираться в пустынях зимою, ночуя на сугробах, сбиваясь с пути во время метелей, питаясь одними сухарями и кормя лошадей скудным запасом овса, купленного

в последней деревне и сохраняемого в мешках, привязанных к спинам лошадей. После таких трудов Кудеяр добрался до теплой землянки в донском стане и положил не выезжать уже никогда до весны, когда предложено было идти для совершения заветного предприятия.

Между тем в Москве происходило следующее.

Был у царя Ивана Васильевича в Москве новый дворец, построенный им за Неглинною в ту пору, как царь возненавидел все, напоминавшее ему времена Адашева и Сильвестра, и в том числе старый кремлевский дворец своих предков. Царю опротивела Москва, не жил он в ней, предпочитая Александровскую слободу, и только иногда приезжал в столицу на день на два и тогда поселялся в этом своем новопостроенном дворце. В одной комнате этого дворца, обитой зеленым сафьяном с золотыми узорами и украшенной рядом икон в басменных окладах, за столиком, на котором мозаикою выделаны были изображения птиц, сидел царь Иван Васильевич, одетый в черный атласный кафтан, на голове у него была тафья, а в руках его был остроконечный посох. Страшен был вид царя в эту минуту; он слушал с напряженным вниманием; шея была вытянута, голова тряслась, судороги бешенства передергивали его лицо. Перед ним стоял Басманов и рассказывал, как Кудеяр, которого царь считал погибшим, собирает шайку, хочет извести государя и думает посадить на престол князя Владимира Андреевича.

— Так вот, мой братец возлюбленный, каков ты! — говорил царь.— Давно ты замышляешь снять с меня венец! Прежде бояр хотел соблазнить, да не удалось, однодумцы твои получили достойную казнь. Теперь ты себе нашел иных пособников! Хорошо, хорошо! А и шурин мой хорош. Разве не он мне донес, что Кудеяр умер с голоду и будто слуга его, Алимка, стащил его тело в воду! Басманов, ты мне верен или предашь меня, как Христоса Иуда предал?

— Государь, чем заслужил, что ты не веришь мне, верному рабу твоему? — сказал Басманов, кланяясь в землю.— В огонь, в воду пойду по твоему велению, жилы свои дам вымотать за здоровье моего царя-государя.

— Вы все одно поете,— сказал царь.— Мамстрюк был мне свой человек, а изменил... Вот и Афонька Вяземский, я замечаю, змеею глядит.

— Я не Мамстрюк и не Афанасий Вяземский,— сказал Басманов,— я человек прост, не княжеского рода, не бо-

ярского; ты меня, царь-государь, из грязи извлек; я твой пес верный.

— Так достань мне Кудеяра,— сказал царь, ударяя посохом об пол и оставляя на полу знаки...— Достань мне моего лиходея! Кудеяр — моя беда... это черт его знает, что он такое... Пришел из чужой земли, сила у него нечеловеческая, роду он невесть коего: крест какой-то на нем... Это непросто! В неволю попал — и в неволе не пропал, а еще у хана в приближении стал. Ну, что ж, зачем там не остался? Ко мне захотел? А! Басманов! В те поры, как он к нам стал проситься, я призывал к себе гадателя немца, что по звездам смотрит; тот немец сказал, что есть у меня враг лютый, страшный, сильный, такой-то враг у меня может отнять престол. Я допрашивал его,— кто он? А немец сказал, что не знает, как его назвать. Потом прошли годы. Когда вокруг меня появилась измена, я вспомнил про то, что говорил мне астроном, позвал его и спросил: где теперь тот враг мой, что ты мне когда-то говорил? А тот астроном мне отвечал: в чужой земле. Я спросил его: каков он? А тот астроном мне рассказал; по его речам я догадывался, что это Кудеяр. Слушай же! Я никому про то не говорил и долго сам с собою думал: оставить ли его в чужой земле либо к себе зазвать. Напоследок я рассудил не оставлять его в чужой земле, чтоб он оттуда мне зла не учинил, и позвал его к себе. Что ж? Видел сам, что случилось! О! — произнес царь Иван бешеным голосом, стукнувши своим посохом.— Зачем я его не предал смерти? Хотелось мне его лютыми муками казнить... А он вот цел остался. Нет, Басманов, это не прост человек! Это — это беда моя! Басманов, поймай, достань мне Кудеяра, что б то ни стоило тебе... Ты будешь мой первый друг, коли его достанешь!.. Постой! Позови мне этого разбойничьего атамана, что пришел к тебе. Хочу сам видеть его.

Басманов ушел, потом привел Жихаря в цепях и, оставив его в сенях, доложил царю. Царь вышел в сени.

Жихарь упал к ногам царя.

— Разбойник! — сказал царь.— Ты за свои злые дела довелся жестокой казни по нашему царскому указу, но ты не убоялся нашего праведного суда, пришел прямо к нам и донес про умысел собачьего сына, Кудеяра, на наше государское здоровье и на наш царский венец. Этим ты уподобился оному благоразумному разбойнику, который, вися на кресте, обличил блудословие своего товарища и поклонился святыне распятого Господа Бога и спас нашего

Иисуса Христа. Бог простил его и в рай его с собою ввел. Так и мы, по нашему царскому милосердию, подражая Господу нашему, прощаем тебя за все тобою сделанные мерзкие дела и приемлем тебя в нашу царскую службу. Мы прикажем поверстать тебя поместьем нашим в московском уезде. Снимите с него цепи!

С Жихаря сняли цепи. Жихарь молча кланялся три раза в землю.

— Как зовут тебя? — спросил царь.

— Данило Жихарь,— сказал Жихарь.

— Сослужи нам верную службу, Данило,— сказал царь.— Иди к разбойникам в стан и скажи, что государь-царь их всех прощает: какие там есть крестьяне и боярские люди — тех велит поселить в дворцовых своих слободах, а какие есть наши служилые люди, тех велит испоместить, и быть им на государевой службе по-прежнему, всем прощение царское и вины их впредь воспомянуты не будут, но только чтоб они сами сковали и привезли к нам Кудеяра.

— Царь-государь,— сказал Жихарь,— не вели казнить, вели слово вымолвить.

— Что? — сказал нетерпеливо и грозно царь.

— Великий государь! — сказал Жихарь.— Они меня не послушают, скажут, я сам то своею волею затеял... Коли твоя воля будет, пошли своего воеводу, а мне позвать их, будто на тебя, государь, с лихим умыслом идти и потом навести на новую рать. А у меня, великий государь, с Кудеяром сговор был таков: чтоб ему с своими разбойниками придти в Пронский уезд и стать подле озера и меня дожидаться там. И как они туда придут, пусть придет на них твой воевода с твоею царскою ратью и с пушками, и отовсюду их обступят, и выходу им не будет. А пушек у них нету. И когда воевода к ним пошлет с таковым твоим царским словом, и они, видючи, что им некуда деться, отдадут Кудеяра!

— Басманов! — сказал царь.— Данило говорил дело. Я пошлю тебя на разбойников, а Данило укажет тебе то место возле озера. Ты мне приведешь Кудеяра. Он должен принять смерть перед моими глазами.

Отпустивши Басманова и Жихаря, царь велел позвать к себе Алима.

Алим во всем сознался.

Царь приказал отвести его в дом своего шурина и повесить над порогом его дома, на верхнем косяке двери, и оставить до тех пор, пока труп сгниет. К дому Мамстрю-

ка приставлена была стража, а ему самому было объявлено, что он должен ожидать смерти. Дни проходили за днями. Мамстрюк, не выходя из дому, должен был терпеть невыносимый смрад от разлагавшегося трупа своего слуги и мучиться каждоминутным ожиданием мук и смерти. Так оставался он целые месяцы, наконец целый год,— пока жива была сестра Мамстрюка, царица, Иван Васильевич не казнил его. По смерти Анастасии * царь Иван женился на Марье Собакиной, умершей чрез несколько дней после брака. Мамстрюк все оставался в заточении, в ожидании смерти; время приучило его к такому ужасному положению.

III. НЕУДАЧА

Не без труда приходилось Кудеяру сдвинуть с места свою ватагу, когда наступила весна и пришло время выступать в поход. Многие запели неприятную для него песню: лучше нам остаться тут на житье да построиться избами и дворами по-людски, лесу здесь довольно; стали бы мы орать да сеять, земля испокон века непаханная, черноземная, урожай большой даст; будем себе мы проживать в добре и холе, никаких даней не платя и тягостей никаких не отбывая; от Москвы далеко, царь про нас не узнает, а хоть бы и прослышал, так не станет на нас посылать рати.

— Нерассудливые вы люди и неразумные речи ваши,— сказал Кудеяр.— Нешто вас так и оставят на покое, как вы себе уповаете? Царю-то, чай, ведомы ваши прежние разбои; прошлый год посылал он Басманова разгонять вас. Теперь, узнавши, что мы ушли к Дону, он беспременно пошлет рать на нас посильнее, чтобы нас добыть и выкоренить; жить вам здесь он не даст, будет думать, что, живучи здесь, вы когда-нибудь вздумаете и набежите на его город. И что, вы думаете, за даль такая? Вот на Дону город Данков построили: это уж недалеко от нас. Вы тут поселитесь, думаючи жить во льготе, а льгот вам и на три года не хватит. Придут ратные; какие из вас побойчее, тех посекут, других батогами и кнутьями побьют да куда-нибудь пошлют, а которых тут на новоселье оставят, тех обложат всякими тяготами. А что тут за рай такой? Что хлеба много уродится! Да, хорошо, как уродится, а как не уродится, тогда вам плохой будет рай на первый же год! А как мы пойдем на мучителя, да изведем его, да другого царя посадим, так нам не таким счастьем запахнет. И дело наше

* В першодруку цариця Анастасія помилково названа Мар’єю.

скорое будет: в каких-нибудь полдня все обработаем; против нас земля за мучителя не встанет; бояре земские того только ждут, чтоб отважные молодцы избавили их от Ивана. Они нашего умысла ведомы... и чают прихода нашего, и как только мы изведем мучителя, тотчас же с нами станут вместе, и мы все будем им вровню. Вот что нам будет, вот чего добудем своим походом. Что, кажись-то, познатнее вашего урожая. Ха, ха, ха! На урожай, дурни, надеются. Да я вам теперь же каждому дам столько серебра, сколько бы вы получили за свой хлеб, если бы при большом урожае его собрали с этих полей. Посудите же сами своим мозгом: хлеб надобно посеять, да когда-то он вырастет, а как вырастет, надобно его еще убрать, да смолотить, да провеять, да куда-то еще на продажу отвезти и тогда уже, продавши, деньги взять; а тут вам дают столько же серебра, и вы берете его ни оравши, ни сеявши, ни молотивши, ни на продажу не возивши!

Кудеяр тотчас после такой речи предложил им деньги; серебро своим пленительным видом выбило у них мирные грезы о крестьянской жизни. Однако Кудеяр все-таки сделал уступку нехотевшим и предоставил на волю идти с ним либо оставаться. Набралось человек шестьдесят, которые не пошли и решились обзаводиться крестьянским хозяйством: это были женатые и семейные. Шедшие в поход женатые оставили своих жен на месте.

Снег почти сошел с полей и скрывался только в глубоких оврагах. Молодая трава стала покрывать степи. Разбойники выступили в поход верхом; возов с ними не было; у некоторых были вьючные лошади, но у большинства запасы лежали на тех же лошадях, на которых ехали сами всадники. Кудеяр не велел гнать за ватагою ни скота, ни овец, чтоб не замедлять хода.

— Нам,— говорил он,— скорее бы добраться и покончить дело, а там у нас всего будет вдоволь.

Едучи дорогою, Кудеяр ободрял едущих с ним разбойников, твердил им, что они все скоро станут богатыми и знатными людьми, перестанут скитаться в лесах, будут владеть вотчинами.

Проехали степь. Стали появляться признаки оседлого житья, вспаханные нивы, и на них работники набегали и прятались, завидя неведомых всадников; по сторонам виднелись деревни и селения, хотя нечастые. Уже до места, где надобно было Кудеяру сходиться с Жихарем, оставалось недалеко. Кудеяр отправил Окула и Урмана с отрядом

разбойников и с запасом вьючных лошадей в дворцовую волость и приказал захватить там, что случится, съестного для ватаги, чтобы стало ей в походе до вешнего Николы. Кудеяр велел им приказчика и его приказных людей в дворцовой волости побить до смерти и царские запасы себе забрать, а крестьян не трогать и не грабить; а коли чего недостанет из царских запасов, то у крестьян все купить, а даром не брать, только при том сказать крестьянам, чтоб они о приезде их знать никому не давали до времени, а сами бы то знали, что, согласно воле всей земли русской, Иван за свои мучительства царем больше не будет, а станет царем-государем князь Владимир Андреевич. Все награбленное в дворцовой волости Окул с Урманом должны были привезти на то место, где Кудеяр уговорился съехаться с Жихарем; а чтоб Окул с Урманом попали прямо на то место, Кудеяр послал с ними братьев Юдинковых, потому что они с ним были в то время, как он уговаривался с Жихарем.

Ватага дошла до назначенного места близ озера. Озеро было в разливе. Разбойники расположились на берегу его, развьючили лошадей, спутали им ноги и пустили щипать молодую луговую траву, а сами стали разводить огни и варить себе кашу. Многие бросились удить рыбу в озере. Солнце тогда склонялось к западу.

Вдруг из-за леса, который окаймлял озеро на противоположной стороне, начинают выезжать конные.

— Наши, наши! — кричали разбойники, вскакивая с мест, где уселись.

Конные, которых увидали разбойники, не ехали прямо к ним, а остановились, делая полукруг, и вслед за ними, с другого бока, также из-за леса, показался отряд конных и ехал на соединение с выехавшими прежде.

— Что это? — говорили разбойники.— Две ватаги к нам едут!

— Это Жихарь, должно быть, привел ватагу из Мурома, как обещал мне,— сказал Кудеяр.

— Хорошо-то, хорошо,— заметил Худяк,— да корма-то станет ли у них на себя и на лошадей, а нам их харчить нечем будет при таком множестве.

Конные, на которых глядели разбойники, и по соединении двух отрядов не ехали прямо к ватаге, а стояли полукругом, отрезывая у разбойников выход в поле; затем мимо выстроившихся конных, из-за того же леса, откуда они появились, вывезли на двухколесках пушки, числом

десять, двинули их вперед и направили на разбойничий стан пушечные горла; при пушках стояли пушкари и держали в руках фитили.

Стан заволновался, раздались отчаянные крики:

— Это не наши! это не наши! Это царская рать! У них пушки. Садитесь на коней! Бежать, бежать!

Но в это время конные, стоявшие против разбойничьего стана, стали выскакивать вперед, захватывали разбойничьих лошадей и убивали их, чтоб не дать разбойникам овладеть ими.

Кудеяр смекнул не только то, что в глазах его делалось, но и то, что должно было после этого делаться; он подбежал к озеру, кинулся в воду и сильным движением рук быстро разбивал волны, направляясь на противоположный берег. Он плыл в одежде, в обуви, с оружием; у него за плечами был колчан, лук и ружье.

Смятение в разбойничьем стане было так сильно, что не многие заметили отплытие Кудеяра. Он благополучно добрался до берега и скрылся в лесу. Между тем из рати, осадившей разбойников, выехал сын предводителя Алексея Басманова, Федор Басманов, и кричал:

— Удалые! Вы в осаде, вам выхода нет и не будет! Вы храбры и бойки, да с нами не сладите, потому что у нас есть пушки, а у вас одни ружья да луки, а пушек нет. Примемся на вас стрелять из пушек и всех вас положим до последнего! Высылайте-ка скорее ваших атаманов к нам на разговор! Ждать мы не хотим. Не явятся скоро атаманы — велим ударить из пушек!

Атаманы кинулись было искать своих лошадей, чтобы выехать на разговор, но лошади их были отогнаны. Они все пятеро пошли пешком навстречу предводителю, Алексею Басманову, который после речи, произнесенной его сыном, выезжал уже вперед с отрядом. Худяк шел бодро, как человек, которому во всякое время смерть близка и самая жизнь не дорога; Лисицу всего передергивало из стороны в сторону: он говорил сам с собою несвязные слова; Муха прикладывал пальцы ко лбу, разводил руками и тряс головою; Толченой шел мрачно и не говорил ни слова; а Белый едва волочил ноги, и когда все подошли к Басманову, то первый бросился на землю и растянулся у ног царского воеводы.

Басманов сказал им:

— Государь-царь и великий князь всея Руси Иван Васильевич велел вам говорити: по вашим лихим и беззакон-

ным и богомерзким делам довелись вы жестокой, лютой казни, но ведомо ему, государю, и то, что вы на такое богопротивное дело, чтобы подняться бунтом на своего государя, пустились не по измышлению своему, а по своей дурости, слушаясь пущих заводчиков всякому злу; того ради царь-государь для вашей мужичьей простоты, милосердуя о вас, прощает вас: какие есть промеж вас дети боярские и другие служилые люди, те будут помещены, где государь укажет, а которые из вас есть бывшие боярские люди и беглые крестьяне, и тех государь велит записать в свои дворцовые волости, а ваши прежние вины вперед вспомянуты не будут; и такая великая милость вам дается на том, чтобы вы тотчас без малейшей волокиты связали и привезли к нам живого Юрку Кудеяра, изменника и ко всякому злу заводчика и первого нашего великого государя лиходея. А приведши сюда к нам Кудеяра, побросайте всякое оружие, какое у вас есть, заберите с собой лошадей, у кого целы остались, возьмите свои все животы и ступайте за нами. А вашей разбойничей рухляди разбору не будет для того, что по царскому милосердию всему погреб и вам за все ваши прежние худые дела прощение сталось. А буде кто из вас оружие всего не отдаст и не положит и потом у кого сыщется хоть один малый нож, и такой человек из вас повинен будет смертной казни безо всякой пощады. Вот вам царская воля объявлена. Ступайте и приведите сюда Кудеяра, а я буду здесь ждать.

Атаманы ушли в стан и ударили в бубен, который достался Кудеяру при разгроме каравана на Муравском шляху.

Собрался круг.

Васька Белый, который перед Басмановым не смел пошевелить языком, теперь стал громче всех говорить:

— Согрешили мы тяжко перед Богом и перед царем-государем, пустились на дурные и богомерзкие дела, людей многих грабили и убивали, а наипаче согрешили мы тем, что поддались на лесть еретика, ведуна, изменника Кудеяра и учинили мятеж против государя. Я думаю, братцы, все то сталось его еретическим ведовством, что он напустил на всех наших оману и неразумие и оттого мы ему стали послушны и к его умыслу лукавому пристали. Ино видите: каков милостивец наш царь-государь! Чего только мы достойны по нашим винам, а он нам за все прощает, и не токмо что прощает, а еще и землями обещает пожаловать, только требует и велит, чтобы мы тотчас же без всякой

волокиты выдали изменника Кудеяра его царского величества воеводе.

— Боже, спаси царя! — закричала толпа.— Чего тут думать! Отдать Кудеяра, собачьего сына! Берите, вяжите его, ведите к воеводе!

— Да где он? — закричали другие.

— Давича кинулся в озеро и уплыл на ту сторону,— сказали третьи.

— А вы чего глазели? — раздались крики.— Что вам, буркулы вылезли, что ли? Зачем не подняли тревоги, зачем не бросились за ним в воду и не схватили его? Вот мы вас, сяких-таких детей, перебьем самих за это!

— Перебить, перебить! — кричали разбойники хором.— Зачем они, видевши, не закричали... Стало быть, они ему помогли уйти!

Как бешеные кинулись одни на других...

— Стойте, стойте! — кричали те, на которых нападали.— Мы-то чем виноваты? Мы не видали! Что́ вы на нас? Вы, может быть, сами его спровадили! Нет, брешете, собачьи сыны, вы! Нет, вы!..

Пошли в дело сабли, копья; дрались сами не зная с кем... Уже несколько человек лежало не земле, обливаясь кровью.

Басманов с сыном и толпою ратных въехал уже прямо в разбойничью ставку и кричал:

— Что за драка? Из-за чего? Дураки! Опомнитесь, отдавайте скорее Кудеяра!.. Где он? Отдавайте, а то я прикажу помирить вас пушками.

Драка стала утихать. Атаманы вышли к Басманову, упали на землю и вопили о пощаде.

— Кудеяр ушел не по нашей вине, без нашего согласия. Вон там злодеи видели, как он уплыл по озеру... Их-то стали бить! — так говорили атаманы один перед другим, стараясь понравиться Басманову шлепанием о́ землю. Только Толченой не порывался показывать воеводе свою покорность.

— Вы все пятеро не виноваты,— сказал Басманов,— а тех злодеев, что с ним были в единой думе при его побеге, мы разыщем. Кудеяр не может спрятаться от нас в лесу. Там поставлена наша пехота; он как только побежит, так на них наткнется. Бросайте все оружие, какое у вас есть, и ступайте за наш стан. Скорее! без мотчанья!

Разбойники один за другими бросили оружие, ратные

забрали его, а другие с презрительными приговорками стали гнать обезоруженных разбойников за стан.

— Боярин, позволь лошадей взять! Позволь животы свои забрать. Ты сам обещал,— говорили разбойники.

— Ничего не дозволю брать,— кричал им в ответ Басманов,— коли б вы отдали Кудеяра, так взяли бы все свое, а не отдали Кудеяра, так теперь так, безо всего идите. Будет вам розыск, а коли по розыску доведется, кто видел, как Кудеяр бросился в озеро и не хотел его удержать, того велю казнить.

Разбойников пригнали на место; Басманов ехал за их толпой. Потом ратные стали разбойников вязать.

— Как же так! — роптали разбойники.— Нам обещали царское прощение, а теперь вяжут.

— А вы зачем Кудеяра не выдали? — кричал им Басманов.— Будете связаны, пока не найдется изменник, говорил я вам: учинен будет розыск; тем, кто не явится виноват в его побеге, будет помилование, так было обещано.

Обезоруженные разбойники, в виду пушек, окруженные ратными, дали себя вязать безотпорно.

Басманов отправил ратных в лес на помощь пехоте, поставленной там заранее, и приказал искать Кудеяра. Но скоро наступила ночь. Басманов, не дождавшись известий о Кудеяре, послал приказание ратным воротиться, а пехоте велел оставаться всю ночь в лесу, не спать, прислушиваться, как будет пробираться Кудеяр, и схватить его.

С рассветом Басманов сам отправился в лес, разъезжал там с трудом между зарослями до вечера. Весь тот лес был шириною верст шесть, не более, ратные изъездили его по всем направлениям, но Кудеяра не отыскали.

Басманов сердился на пехоту.

— Эки разини, сякие-такие дети! — говорил он.— Прозевали, проспали добычу!.. Шкуру бы с вас снять за это. Только я так не оставлю этого дела! Разбивать шатры! Станем здесь станом и будем стоять, пока найдется Кудеяр. Без него как явиться к царю-государю!

По приказанию Басманова разбиты шатры. Он посадил в своем шатре подьячего и велел ему строчить в нескольких списках грамоту ко всем людям соседних сел, чтобы все покинули свои работы и шли ловить великого царского лиходея; потом написали другую грамоту губным старостам, чтоб они поднимали всех уездных людей, чей кто ни буди, на поимку того же лиходея, и приметы его были в грамоте прописаны. С этими списками отправились рат-

ные люди в разные стороны. Грамоты велено было честь в церквах; всякому, кто укроет и пропустит заведомо Кудеяра, угрожали жестокою смертною казнью; а тому, кто его поймает и приведет живого, обещалась от царя такая награда, что и помыслить невозможно; позволялось даже в нужде, когда нельзя будет добыть злодея живьем, принести его голову; но за нее обещалась награда простая, а не недомыслимая.

По всей земле древнего рязанского княжения, а также и в близких украинных городах началась суетня; все искали Кудеяра; все говорили только о Кудеяре; иных прельщала царская награда за приведение преступника, но больше было таких, что боялись царского гнева, который может постигнуть без разбора и правого и виноватого, когда Кудеяр не будет отыскан.

Двадцать дней стоял Басманов с станом близ озера. Каждый день ждал он — вот-вот приведут Кудеяра или, по крайней мере, принесут его голову. Но Кудеяра не приводили, головы не приносили, и вести об нем не было.

— Что же это такое! — говорил Басманов.— Да не упал ли он на дно, в озеро, когда поплыл?

И он велел поделать лодки, плавать по озеру и щупать баграми дно: не найдется ли где человеческое тело.

Ничего не нашли.

Близко исходил целый месяц со времени прибытия Басманова к озеру.

— Нечего делать! — сказал Басманов.— Надобно отправляться назад. Вестимо, Кудеяр ведун, и нечистая сила ему помогает. Пусть государь-царь судит нас, как Бог ему известит.

Басманов повернул назад. Разбойников, связанных вместе цепями, гнали как стадо, кормили одним хлебом. Проезжая через Коломну, Басманов оставил половину их шайки в подземных тюрьмах, а другую половину, вместе с пятью атаманами, погнал за собою в Александровскую слободу. Когда Басманов явился к царю и доложил ему, что все разбойники переиманы, а Кудеяр ушел, Иван Васильевич пришел в такую ярость, что чуть было не убил собственноручно своим жезлом Басманова. Жалкий вид лежащего у ног властелина Басманова возбудил в сердце Ивана если не жалость, то ощущение того презрения, которому невольно уступает место зверская жестокость. Иван Васильевич только поколотил Басманова ногою в зубы до крови и дал по спине жезлом два удара, от которых Басманов пролежал

недели две. Но уже с тех пор Басманов перестал быть в числе любимцев, царь не хотел смотреть на него и не велел допускать к себе ни его, ни его сына.

Царь приказал с разбойников снять показания. Они рассказали все, что им наговорил Кудеяр о том, будто многие земские бояре с ним были в соумышлении, чтобы извести царя Ивана и возвести на престол Владимира Андреевича; разбойники не могли назвать этих бояр по именам и оставляли плодовитой фантазии царя создавать различные предположения и догадки. После допросов царь сорвал на разбойников свою досаду о том, что Кудеяр ушел от его рук. Всех, как оставленных Басмановым в Коломне, так и привезенных в слободу и содержавшихся в тюрьмах дворца, царь велел побить палицами и отдать на съедение собакам. Погода была летняя, теплая; смрад от портившихся трупов и вой терзавших их собак, принося̀сь в окна царских хором, приятно щекотали обоняние и слух Ивана.

Событие с Кудеяром усилило в царе свирепость до крайних пределов, и время, казалось, не охлаждало ее, а развивало. Царь увидал, что не одни бояре могут составлять против него заговоры,— и простой народ способен к мятежу, и с прямою целью свергнуть его с престола и посадить иного царя. Он увидал, кроме того, что от заговоров и козней врагов его не спасает опричнина, в которой он думал изобрести для себя опору,— люди, близкие к нему, люди, избранные им для охранения его особы, люди, вознесенные им, обласканные его милостью, эти люди делают ему вред. Кудеяр, посягнувший на жизнь царя и самим царем осужденный на голодную смерть в дворце, освобожден опричником,— да еще каким? Шурином царя!

Давно уже злился царь Иван на своего родственника, князя Владимира Андреевича, давно подозревал в нем желание взойти на престол... Злоба царя к Владимиру Андреевичу не находила себе явного оправдания; теперь мятеж Кудеяра, поставившего своим знаменем князя Владимира, давал Ивану предлог выдумать такое оправдание. В голове его утвердилась уверенность, что Кудеяр действовал не без желания и не без ведома самого князя Владимира. Участь последнего была решена.

В то время как Кудеяр собирал разбойников и приводил их на службу Владимира Андреевича, сам князь Владимир Андреевич, ничего о том не ведая, готовил войско в Нижнем с целью оберегать юго-восточные пределы от турок и татар, ополчавшихся на Астрахань. Услыхавши от Жиха-

ря, что в пользу князя Владимира Кудеяр готовит заговор, царь Иван не смел тотчас же тронуть этого князя, он даже боялся его, хотя князь Владимир по своему уму и нравственным качествам столько же мало был способен спасать отечество от царя-мучителя, сколько и защищать его от внешних врагов. Когда замысел Кудеяра не удался, но разбойники были перехвачены и казнены, царь Иван Васильевич не стал уже церемониться с двоюродным братом: он ласково зазвал его к себе, и умертвил разом с женою, и затем приказал утопить мать его и еще, неизвестно по какому поводу, невестку свою, именно вдову брата своего Юрия, живших в монастыре на Шексне. Но избиение родных не удовольствовало злобы царя. Ему казалось, что заговор, с целью возвести на престол Владимира, прорвавшийся наружу в замысле Кудеяра, глубоко и широко пустил свои корни. Ему хотелось выкоренить измену так, чтоб она на будущее время не пускала ростков.

Предприятие Кудеяра, набравшего себе ватагу из людей незнатных, простых, обратило злобу царя на простой народ. В конце 1569 года Иван свирепствовал над народом в Клину; в Торжке его опричники били всякого чину людей ни за что, ни про что; но подозрение Ивана пало более всего на древние народоправные земли — на Новгород и Псков: они были виноваты перед самодержавием московским уже тем, что на их почве некогда процветала народная вольность. Новгород ненавистен был для Ивана еще и потому, что напоминал ему Сильвестра, который из Новгорода пришел в Москву, чтобы овладеть волею царя на несколько лет сряду. Царь в начале 1570 года приехал в Новгород, и тут-то совершились варварства изумительные... «Была у мучителя некая хитрость огненная»,— как говорили современники; он называл ее поджар; это было изобретение Бомелия: избитым палками новгородцам натирали спину этим составом; он причинял невыразимое мучение, а их привязывали к саням и везли с Городища топить в Новгород; к саням привязаны были истерзанные женщины; руки у них привязывались сзади к ногам, а к узлу, соединявшему руки и ноги, прицепляли младенцев их. Иван ехал с этим поездом и тешился воплем страдальцев. Волхов был запружен телами человеческими и с тех пор, как гласит предание, перестал замерзать в самые трескучие морозы, чтобы люди, глядя на него, не забывали, как некогда грозный царь велел прорубить на нем лед и наполнил его волны новгородскими трупами. Оставшимся в жи-

вых было хуже, чем утопленным. Христолюбивый и благочестивый царь приказал истребить все запасы хлеба, хранившиеся в Новгороде, а между тем уже в предшествовавший год был худой урожай, в следующем году тоже, а вдобавок повторилось бедствие, уже постигавшее Русь: полчища мышей снова истребляли хлеб и по полям, и по гумнам, и по амбарам,— все вместе было поводом того, что в 1570 году цены на хлеб возросли до невероятных размеров. Бедные люди мерли с голоду, а царь не переставал искать вокруг себя измены, Бомелий не переставал быть.

Вдруг приходит царю весть от Афанасия Нагого, из Крыма, что Кудеяр находится в Крыму при дворе хана Девлет-Гирея, пользуется его милостью и возбуждает его против Москвы.

Иван Васильевич не взвидел света от ярости, когда к нему пришла такая весть. Ему так хотелось замучить этого врага, что он готов был помиловать многих, которых он казнил, если бы только Кудеяр прежде попался в его руки: много казней совершено было им с досады, что нельзя было казнить Кудеяра. И что же? При всем самодержавии Ивана, при всем могуществе его — Кудеяр ему не давался, два раза, как змея, выскользнул из его когтей и теперь прохлаждается на воле и смеется над бессилием московского самодержца. В досаде Иван Васильевич приказал призвать к себе Басманова с сыном: это было первый раз после того, как государь собственноручно отколотил его за недоставку Кудеяра.

— Алешка,— сказал ему царь, постукивая своим остроконечным посохом,— сколько ты рублев взял с Кудеяра, чтобы его выпустить?

— Царь-государь! — вопил Басманов, валяясь у ног царя.— Бог-сердцеведец видит невинность души моей!

— Лжешь, пес! — кричал царь.— Лжешь! Ты вместе с другими такими же псами мирволил и добра хотел брату Владимиру; ты хотел нас с престола сместить, а его посадить; ты, хамское отродье, выпустил Кудеяра, боячись, что он, если ты приведешь его, под пыткою, не стерпя мук, все про вас откроет. Я послал тебя привести ко мне Кудеяра, а ты привел шайку воров, которые ничего не знали и годны были только на то, чтобы ими собак кормить. Мог же ты привести с собою сотни три такой сволочи, а одного не мог. Отчего? Оттого, что те три сотни ничего про вас сказать не знали, а тот один сказал бы про вас всю правду! Не все ли вы присягали, как поступали в опричнину: присягали отца

родного не жалеть за нашу царскую честь и за наше государское здоровье. Федька! и ты присягал на том! А! Присягал? Ха, ха, ха! Покажи же теперь, что хранишь присягу не устами точию, но и делом. Твой отец изменник царю, заколи его!

— Бей, Федор, коли царь велит,— не ослушайся государской воли! — сказал Алексей Басманов.

Федор ударил отца ножом в сердце.

IV. ОТСТУПНИК

У хана Девлет-Гирея в Бакчисарае большое празднество. Его спаситель, Кудеяр, которого он отпустил от себя с таким дурным предчувствием, снова с ним в его дворце, сидит за его столом вместе с приближенными вельможами и рассказывает про свои чудные похождения.

Рассказавши все, что с ним было после отъезда из Крыма, и дошедши до рокового события с его разбойничьею шайкою близ озера, Кудеяр продолжал:

— Переплывши озеро, я очутился в лесу, а там уже была на меня поставлена засада: только бы я побежал, так бы меня и схватили. Я увидел близко берега дуб с дуплом, влез в дупло и сижу: слышу по лесу шум, гам, крик, меня ищут, и много их. Сиди я подальше в лесу, меня бы нашли, а то я сидел у самого берега, и никому в голову не приходило искать меня так близко. Сижу я день, другой, третий, у меня был в кармане кусок хлеба, я съел, а более не было, голод стал меня мучить. Ночью случилась гроза; темь такая, что хоть глаз выколи; вылез я из дупла и пошел по лесу, прошел версты четыре: нет сил, ноги подкосились от голода, я лег под деревом, а тут рассветает; вдруг бежит заяц, я пустил в него стрелу и убил, кремень и огниво со мной были, да я боялся огонь разводить, чтобы не увидали, ободрал зайца да так сырого и поел, подкрепился и далее пошел. Вижу, лес кончается, а вдали виден опять лес; перешел поле и вошел в тот лес, а тот лес большой; я пошел по лесу; день иду, другой, далее иду и слышу топот лошадей, голоса человечьи. Я смекнул, что это меня ищут, да в заросль, а там волчья нора, а из норы выскочила на меня волчица, я схватил ее за горло и задушил, влез в яму и волчат перебил и выкинул. А погоня за мной была; только ехали, куда можно было проехать, а норы не приметили. Просидел я там день, не евши; потом, чаючи, что погоня минула, вылез из норы, шел, шел; дорогой бил дичь да ел,

только уж не сырую, а пек. Так прошел я до города Данкова, на Дон-реку, и вошел близко того города в одну деревню, стоит над самым Доном; зашел я во двор, была ночная пора, хозяева спят, я дверь разломал, вошел в избу и говорю: дайте съестного да лошадь, я вас грабить не стану, деньги заплачу,— а деньги со мной были в чересле, как я в озеро бросился. Те смекнули, в чем дело: дали мне мешок толокна, сыру, солонины да котелок путный для варки и лошадь вывели оседланную. Я им заплатил и говорю: «Коли вы кому явите, что я у вас был, да за мной погоня будет по вашим речам, то и вы пропадете, и ваша деревня сгорит». Сел я на лошадь, переплыл Дон и проехал, пробираючись по лесам и сторонячись от поселков. Не встречал никого, только там зверя много и птицы, а ночью, бывало, как станешь на ночлег, то и боишься заснуть, чтоб зверь лошадь не задрал, а то, чего доброго, и тебя лапою не задел. И выбрался я на Муравский шлях. Тут со мной повстречалась станица человек двадцать. Я себе еду, а атаман ко мне: что ты за человек? Я ему говорю: «Я еду за своим делом, а ты ступай за своим».— «Э, нет, постой,— крикнет атаман,— у нас царское повеление ловить воровских людей; видишь, намножилось их много, а наипаче велено ловить разбойника Кудеяра, а приметы его, каков он рожею, к нам присланы; а ты, брат, мне сдается, что-то на него взмахиваешь».— «Ну,— говорю им,— ищите его, а я поеду своей дорогой. Прощайте». Тут на меня как бросятся двое, хватаются за лошадь, а я им, одному, другому, как дал кулаком, и попадали; я от них, а атаман как прикрикнет: «Эй, держите,— это Кудеяр!» Я вижу, они все на меня, коли не подужают схватить, так застрелят. Соскочил с коня да в лес. Они стали соскакивать с коней да за мной. Я троих из них повалил и бегу далее. Они по мне стрелять. А тут глубокий овраг, я с прожогу в этот овраг; коли б не придерживался за деревья, так и голову бы сломил,— овраг был зело крут. Они не посмели за мной в овраг кинуться, бегают, кричат, ищут схода в овраг, а я тем оврагом бегу, бегу; увидел заворот в другой овраг, туда бросился, а потом вылез оттуда, да пошел лесом, да опять в иной овраг спустился и так все плутался, ожидаючи, что они на меня нападут. Однако на меня уже не напали, видно, потеряли след мой; и шел я дремучим лесом и дошел до реки: рыбы там видимо-невидимо; наловил рыбы, сварил в своем котелке и поел, а потом переплыл реку во всей одеже, как есть, и пошел далее. Иду, сам не знаю куда. Все

лес дремучий. И так я шел от реки дня три и набрел на тропу: видно было, что где-то жилье есть. Повстречал я восемь человек верхом, все обвешанные убитою дичью. «Ты беглый,— говорят,— так иди к нам, у нас беглым приют».—«Да,— говорю им,— я беглый».— «Ты,— говорят,— устал, садись на коня». Один, что был потоньше, посадил меня за собою. «Мы,— говорят,— из нашей засады на лов ездили». К вечеру мы приехали на реку Оскол; там стоит городок. Беглые люди поселились, обзавелись, обжились, скот расплодили, хлеб сеют, избы себе построили хорошие, живут вольно, тягостей не знают. «Живи с нами,— говорят они мне,— у нас хорошо вельми! Пусть пристают к нам люди, места для всех станет, мы тогда церковь себе построим». А я думаю себе: нет, братцы, не моя доля жить с вами! Я не сказал им, кто я таков, а сказал, что я беглый сын боярский, иду на Дон, хочу к казакам пристать. А они говорят: турские люди пошли войною на Дон. «Вы,— говорю,— отколь знаете, живучи здесь, про турских людей?» —«Станичники,— говорят,— сказывали».— «А нешто,— спрашиваю,— к вам станичники ездят?»— «Ездят,— говорят,— человека по два торговать с нами, они нам покупного чего привезут, а от нас съестное забирают. А больших людей к себе не пускаем». Я прожил у них с неделю, а потом задумал плыть вниз по Осколу и стал у них покупать стружок и снасти и всякие запасы на путь. А они говорят: «Зачем нам деньги? — Мы денег не знаем. Нам вот паче денег гвозди нужны, да у тебя нет». И дали они мне стружок и всякие снасти и съестного на путь; я и поплыл вниз по Осколу. Берег крут, всюду лес, нигде нет поселков, а из Оскола поплыл я по Донцу, а там по берегу стали кое-где городки попадаться, и я к ним приставал, и там люди русские, они меня кормили. А из реки Донца, по речам тамошних людей, что в городках живут, я поплыл по реке Тору вверх и плыл, пока можно было плыть, а как стало мелко, что плыть нельзя, я покинул стружок и пошел степью. Лесов более там не стало; съестное у меня поистратилось, так я стрелял птицу в степи и так кормился. И так идучи, набрел я на юрту ногайскую; там людей было мало, все только старые, да малые, да женки; все молодые да здоровые пошли на войну под Астрахань по твоему ханскому велению. Я им говорю: «Продайте мне коня».— «А куда ты идешь?» — спрашивают они. Я им говорю: «К самому светлейшему хану». А они мне: «Кто тебя знает, кто ты таков! Коня мы тебе так

дадим, только проводим тебя до перекопского бея».— «Что же,— говорю,— мне то и лучше». Они меня проводили до Перекопа, а перекопского бея дома не было, в поход с тобою ходил. А у него в бейлыке всем радил мурза Кулдык. Привели меня к этому мурзе, а он, зол человек, стал на меня кричать: «Ты,— говорит,— соглядатай московский,— я велю тебя повесить». А я ему говорю: «Коли ты меня велишь повесить, то светлейший хан велит тебе самому за то голову срубить». «Да что,— говорит,— твой хан, я его знать не хочу; у меня господин — перекопский бей». А я ему: «И ты, и твой бей холопи светлейшего хана. Как ты смеешь так неповажно говорить о светлейшем хане!» А он как крикнет: «Что? Ты еще меня смеешь учить! Эй, люди, закуйте его! Он смеет нехорошо говорить про нашего бея». А я ему и говорю: «Я про твоего бея ничего не говорю нехорошего, мы с ним не раз обедали у светлейшего хана, а тебе я в глаза говорю: ты грубиян, мужик, не смей говорить дурно про твоего и моего государя». Тут люди ко мне приступили, человек десять, сковать меня; я дался им. Они на меня наложили цепи. Тогда я засмеялся и сказал: «Мурза Кулдык! Ты думаешь, твои цепи крепки, смотри: каковы они?» Тряхнул и разорвал цепи. Кулдык глаза выпучил, а я ему говорю: «Не бойся, я не убегу. Я Кудеяр: коли ты слыхал, тот самый, что светлейшему хану живот и царство спас от бездельников мурз. Тебя оставил бей вместо себя; воле твоей я покоряюсь, хочешь — отпусти меня до Бакчисарая, хочешь — здесь вели оставаться, и я останусь, буду ждать твоего бея; а ты мне не говори дурных речей про нашего государя». Тогда мурза сказал: «Коли ты Кудеяр, так нечего с тобою делать. Видишь, я не своей волею то чинил. Бей не велел никого пропускать без ханской или его грамоты, а у тебя никакой нет».—«Ты право говоришь,— сказал я,— держи меня до приезда своего бея». Я и остался. Кулдык-мурза стал со мною обходиться ласково, за стол с собой сажал и в баню меня велел водить. А тут приехал Ора-бей; так тот узнал меня и приказал проводить к тебе, мой светлейший хан!

— О великий Аллах! — сказал хан.— Каким неслыханным бедам ты подвергался, мой Кудеяр. Но теперь все твои беды минули. Ты останешься у нас в чести и славе. Хочешь — пребывай в своей вере: я, как и прежде тебе обещал, дам тебе поместье, и церковь позволю построить. А нам бы всем хотелось, чтоб ты был одной веры с нами человек. Тогда бы мы посадили тебя в курилтае и ты

был бы знатнейшим человеком в нашем крымском юрте. О Кудеяр! Ты мудр. Размысли. Ты был в христианской вере,— а что испытал? Одни беды! Правда, христиане не язычники, они веруют в истинного Бога и почитают величайшего посланника Божия Иисуса, сына Марии. Но христиане не познали и не хотят познать премудрости премудростей — нашего Корана. Прими нашу правую веру и увидишь, как Бог наградит тебя за такое богоугодное дело.

— Светлейший хан! — сказал Кудеяр.— Твои слова правдивы. Теперь я увидел, что ислам святее и праведнее христианства. Крепко я держался христианского закона, думал тем Богу угодить, а Бог мне счастья не послал: все только беды за бедами! Я возненавидел Москву, и людей московских, и веру их, отрекаюсь от них и от их веры, принимаю ислам и становлюсь вашим татарином.

Девлет-Гирей соскочил с места и воскликнул:

— О великий пророк! Великие дела творишь ты! Ты обратил сердце и ум нашего Кудеяра к твоему откровению. В твоей книге сказано: кто оставит для Бога страну свою, тот найдет обильные источники! Мы должны осыпать Кудеяра всеми благами жизни! Ныне день самый счастливый в моей жизни.

Он бросился обнимать и целовать Кудеяра. Мурзы тоже обнимали его и изъявляли радость.

Кудеяр принял ислам, и хан произвел его в сан тат-агасы, начальника над крымскими христианами. Так как Кудеяр по-татарски читать и писать не умел, равно как и по-русски, то при нем был татарин секретарь и все делал за него.

Надобно было Кудеяру расстаться с своим крестом. Но Кудеяр привык к этому таинственному кресту, дару неведомых родителей. Отрекшись от христианства в избытке накопившейся злобы, он сохранил суеверное уважение и страх к заветной вещице. Кудеяр снял свой крест с шеи, но берег в шкатулке, как сокровище. «Бог знает, какая вера лучше,— рассуждал он сам с собою,— кабы я остался христианином, мне бы здесь не было хорошо; все мурзы меня ни во что бы считали. А теперь я у них в совете буду сидеть».

И вот Кудеяр стал заседать в курилтае. Зная расположение к нему хана, все льстили ему, особенно имамы и муллы, довольные его отступничеством. Они выхваляли его на все лады, осыпали цветами арабского красноречия. Главный и постоянный совет, какой Кудеяр давал хану и его вельмо-

жам, был — идти на Москву, разорить ее, уничтожить царя Ивана со всем родом его, поработить весь московский народ власти татар. Кудеяр стал татарским патриотом завзятее самих татар; его выходки пленяли всех; но в вопросе о войне с Москвою татарский патриотизм сталкивался с вопросом о вмешательстве в эту войну Турции.

Прошлогодний поход турок и татар был неудачен. Они не только не покорили Астрахани, но на возвратном пути множество турок погибло от всякого рода лишений, производивших между ними смертельные болезни. И татарам таки досталось; от этого теперь мурзы не слишком порывались идти снова на войну. Явлашский бей сказал:

— Московский царь, чаячи, что турки и татары не захотят остаться в посрамлении и пойдут на него снова ратью, соберет большое войско и будет ждать нас весною. Если мы пойдем на него, то нам придется биться с великими силами. А мы не пойдем на будущую весну. Пусть московский царь дожидается нас с войском, пусть напрасно поистратит довольно своей казны и, не дождавшись нас, распустит войско или же пошлет его воевать в другие страны. Тут-то мы на него и нагрянем в те поры, как он останется без рати.

Это мнение понравилось всем. Кудеяр не мог стоять один против всего курилтая, хотя очень огорчался и не скрывал своих чувств. Хан, будучи с ним наедине, сказал ему:

— О Кудеяр, не все можно говорить в курилтае. А я тебе вот что скажу. Когда бы мы завоевали Москву, воюючи ее вместе с турками, то нам, татарам, мало бы от того пользы сталось. Турки нашею татарскою кровью победили бы москвитина, а нам бы Москвы не отдали. Турское царство усилится без меры, а нам от того хуже станет: мы тогда будем в совершенной неволе у турок. Нам же хочется самим добиться славы и величия, так чтобы уже не быть под рукою турского государя. Турки не взяли Астрахани, и хорошо, что не взяли. Они бы все равно нам ее не отдали. Повременим. Пусть Турция замирится с Москвою, тогда мы сами нагрянем на Москву, и если одолеем ее без помощи турок, так нам будет тогда хорошо.

Кудеяру было все равно: турки или татары завоюют Москву,— лишь бы только царя Ивана уничтожить, лишь бы только побольше зла наделать русскому народу, к которому он питал ненависть со времени измены разбойников. Кудеяр не стал перечить хану и должен был ждать, скрепя сердце. Ему некстати было на первых порах не

ладить с большинством. Ему хотелось, чтоб все беи и мурзы относились к нему дружелюбно. И так было на самом деле. Один только явлашский бей был его заклятым врагом, как давний доброжелатель Москвы. Письмо царя Ивана к явлашскому бею, перехваченное Кудеяром в разбитом караване и посланное хану, чуть было не подвергло бея опасности. Хан тогда же предал его суду курилтая. Но явлашский бей уверил всех, что ничего не знал об этом письме. Курилтай признал бея невинным, тем более что и выражения в письме царя Ивана были какие-то несмелые и как будто показывали, что московский царь не уверен, чтоб явлашский бей ухватился горячо за предприятия, враждебные хану. С тех пор, однако, явлашский бей боялся говорить что-нибудь в пользу русских, как делал прежде, и на последнем собрании курилтая, возражая против Кудеяра, нарочно дал только совет об отсрочке нападения, совпадавший с мнениями большинства. Этот совет, принятый всеми вельможами крымского юрта, поднял значение явлашского бея, к крайней досаде Кудеяра; Кудеяр вооружал хана против бея. «Если,— говорил он хану,— этот человек теперь и правду сказал, то все-таки твое величество не изволь ему доверять и, когда придет время идти в поход, держи от него втайне свой умысел, а то он заранее передаст вести московскому царю».

Разъяренный Иван, узнавши чрез Нагого о том, что Кудеяр находится у хана, велел задержать ханского посла Ямболдуя, а его татар заковать. Хан узнал о том и приказал таким же образом поступить с Афанасием Нагим и его посольскими людьми, а к царю Ивану отправил гонца с грамотою, требовал отпустить Ямболдуя, выдать скрывавшегося в Московском государстве врага своего, Акмамбета, прислать большие поминки соболями и деньгами и уступить Казань и Астрахань, а в случае отказа грозил сделать с русским государем то, что сделал некогда предок его, Батый-хан. Царь по этому письму выпустил из-под стражи Ямболдуя с людьми его, но задержал ханского гонца, приказал собирать войско к Оке и медлил с ответом хану, выжидая, до какой степени могут осуществиться на деле угрозы хана. Вдруг, в начале лета 1570 года, принесли царю известие, что станичники видели в степи громадные толпы ногаев, видели и зарево от пылающих костров их, слышали прыск и топот бесчисленного множества лошадей. Царь Иван пришел в страх от таких известий. Он отправил к Девлет-Гирею гонца, обещал отдать Астрахань, но так,

чтобы ханы, которые будут там посажены, назначались разом царем московским и ханом крымским; царь обещал прислать большие поминки и выдать Акмамбета, но взамен последнего просил хана выдать Кудеяра.

Грамота царя Ивана должна была быть прочитаною в собрании курилтая. Хану щекотливо казалось, если в присутствии Кудеяра будут говорить в совете о выдаче Кудеяра, и он хотел собрать совет в его отсутствии, когда Кудеяр поедет в свое, пожалованное ему от хана, поместье.

Но один мурза, искавший покровительства у Кудеяра, как у ханского любимца, известил его об этом заранее. Кудеяр явился неожиданно в курилтай и занял свое обычное место, подобавшее ему по званию тат-агасы. Нечего было делать, приходилось читать грамоту царя при Кудеяре.

По окончании чтения Кудеяр сказал:

— Мучитель, не сытый кровью моей безвинной жены, ищет моей головы. Если она ему так нужна, отдайте ее, но Астрахани за нее мало; пусть прибавит Казань в вечное владение нашему светлейшему хану и всему крымскому юрту. Пусть, сверх того, отдается под руку нашего светлейшего хана с Москвою и со всеми своими землями и городами, назовет себя ханским холопом, так как его предки были холопями предков нашего могущественного государя. Коли он на то согласится, отдайте меня, а до той поры, как он пришлет свой ответ, посадите меня в тюрьму, чтоб я не ушел.

Все молчали. Девлет-Гирей первый прервал молчание и сказал:

— Наш достойный тат-агасы! Никакой мудрый и искусный стихотворец не мог бы прославить твое великодушие и твою преданность истинной вере, которую ты принял по Божию изволению, просветившему твой разум! Ты готов принести жизнь свою и подвергнуть себя великим мучениям за славу татарского народа! Но мы все, начиная от меня, государя вашего, и до последнего татарина умеем ценить нашего друга и мудрейшего сановника. Ни за какие сокровища Соломоновы не отдали бы мы тебя в руки врага. И как бы могли мы совершить такое дело, когда бы оно было ужаснейшее преступление против Корана. Мы просили у царя Ивана выдачу Акмамбета, потому что московский царь неправоверный и правды не знает; мы же, правоверные, как можем отдать на погибель нашего благодетеля, тем паче принявшего нашу истинную веру!

Написали московскому государю грамоту в таком смыс-

ле, в каком советовал Кудеяр, только о Кудеяре не упоминали в ней. Но хан, отправляя гонца, велел тайно сказать кому-нибудь из ближних царских: пусть царь для дружбы к хану выдаст Акмамбета, тогда Девлет-Гирей подумает, посмотрит по книгам и, быть может, выдаст ему Кудеяра, только нужно прежде, чтобы царь выдал Акмамбета.

Кудеяр отправился в пожалованное ему от хана поместье на реке Каче. Там у него было четыре жены разных наций и между ними одна украинка, схваченная татарами; она была священническая дочь. Присутствие украинки, подаренной ему ханом, произвело на Кудеяра потрясающее влияние. Он мог объясняться с нею на ее языке, и по этому одному она стала ему ближе других жен. Эта украинка, по имени Ганнуся, своими красивыми чертами напоминала ему Настю. Ганнуся была постоянно печальна и горько плакала. В сердце Кудеяра, черством, загрубелом, зашевелилось чувство жалости. Он не мог обращаться с этой землячкой животным способом, подобно тому, как обращался с другими. Однажды, когда Кудеяр, сидя на крыльце своего дома, вместе с своим секретарем разбирал какое-то дело, к нему долетели звуки украинской песни:

Нехай батько не турбує
І віночка не готує,
Бо я вже свій утратила
Під зеленим яворином
І з невірним татарином...

Пение закончилось раздирающим плачем. Песню эту певала Настя. Кудеяра всего перевернуло... Он досадовал, что в его сердце пробуждается жалость. Он боялся этого чувства; он сознавал, что если поддастся ему раз, то оно увлечет его куда-то... Он злился на существо, которое нарушило спокойствие его ожесточения.

«Что с нею делать? — думал он.— Убить ее или отпустить на родину! Но когда он ее пустит, и другие жены нарочно поднимут плач, чтоб их отпустить. А, черт с ней!» — сказал сам себе Кудеяр и позвал одного татарина, который занимался лечбою.

— Дай,— сказал Кудеяр,— одной из моих баб такого лекарства, чтоб она перестала плакать, чтоб я не слыхал ее плача и воя.

— А тебе самому ее больше не нужно? — спросил татарин.

— Не нужно! — сказал Кудеяр.

Людское зло сделало Кудеяра злым человеком. Несчаст-

ная Ганнуся неожиданно пробудила в нем доброе чувство сострадания.

Через два дня Ганнуся умерла; бедную поповну похоронили в чужой земле чужие руки, руки неверных людей.

Поддайся только этому чувству Кудеяр, отпусти он Ганнусю — удержу бы не было! Кудеяр был не из таких натур, которые колеблются в одно и то же время, наклоняясь то вправо, то влево, то к добру, то к злу. Оказавши добро Ганнусе, Кудеяр на этом бы не остановился; он пошел бы далее по пути добра, пошел бы так же точно, как пошел по пути злодеяния, когда, ради спасения Насти, решился совершать дела, противные своему нравственному убеждению. Ему невозможно было оставаться у хана; он бежал бы, может быть, куда-нибудь в монастырь — оплакивать свои преступления... Но Кудеяр преодолел на этот раз искушение добра. Зло взяло в нем верх.

Скучно было Кудеяру ждать без дела. Ему хотелось скорее на войну; крови, русской крови хотел он; пожаров, дыма, стона раненых, вопля пленных и голодных желал он...

Вдруг, неожиданно для самого Девлет-Гирея, глубокою осенью явился московский гонец с толпою служилых людей в сопровождении татар, присланных Ямболдуем из своей свиты. Они привезли скованного по рукам и ногам Акмамбета, носившего в крещении имя князя Федора. Радость хана не имела пределов. Он призвал к себе Кудеяра. Привели Акмамбета. Хан хохотал, приказывал Акмамбету целовать ноги Кудеяра, своего бывшего невольника, приказывал своим царедворцам и слугам плевать на изменника, бить его по щекам, потом велел посадить в тюрьму в погреб под своим дворцом, обещав приготовить ему особенно жестокую казнь.

В грамоте своей царь Иван писал:

«Нам, государям, не подобает держать подле себя изменников, беглых наших холопей, которые, мысля на нас зло, будут бегать — твои к нам, а наши к тебе. Я для братской любви прислал к тебе злодея твоего Акмамбета, не посмотрел на то, что он принял нашу веру, чаю, что он то учинил притворно, ради того, чтоб быть ему в нашем государстве бесстрашно. Учини, брат возлюбленный, и ты мне милость, пришли ко мне с нашими и твоими людьми Кудеяра, нашего изменника и лиходея».

Хан, не обращаясь к курилтаю, написал такой ответ московскому царю:

«Что ты, возлюбленный брат, царь Иван, прислал к нам, для своей братской любви, изменника нашего Акмамбета, на том мы тебе благодарны, а Кудеяра послать тебе не мочно. В твоих книгах, быть может, так написано, чтоб отдавать людей, которые к тебе придут и примут твою веру, а в нашем Коране мы того не нашли, а по нашей правой мугаммедовой вере будет то великий грех и беззаконие».

С таким ответом отправился русский гонец назад, но двое из сопровождавших его детей боярских не поехали с гонцом в Москву, они пришли к Кудеяру. Один из них, высокий, тонкий, с длинною шеею и наглыми глазами, стоя перед Кудеяром, отставя ногу вперед, ухарски поводя плечами и потряхивая кудрями, говорил:

— Я, Федька Лихарев, каширский сын боярский, был в опричнине и твою милость видел, как у царя бояр душили; я тогда работал и твоя милость. А как мучитель велел твою жену извести, я горько плакал и тебя, господина, жалел. Я с Самсоном Костомаровым в дружине был. Давно хотелось мне уйти от мучителя, да нельзя было. А теперь, как нас послали сюда, я не хочу ворочаться, хочу служить хану; узнает мою службу, так пожалует.

Он лгал. С Самсоном Костомаровым он другом не был и был одним из убийц Насти.

— А я,— сказал другой, низкорослый, рыжий, с лицом, покрытым веснушками, и с боязливым выражением глаз,— я из серпуховских детей боярских, зовусь Матюха Русин. Был тоже в опричнине. Жутко ворочаться домой. Житье наше такое плохое, что хоть в воду, только бы не при царе. Придется так ему — вздумает, да ни за что, ни про что нашего брата замучит. Таково житье: коли день прошел, жив остался, слава Богу, а ночь прошла, так слава Богу, что ночью беды не было, а дня переднего боишься. Возьми, кормилец, к себе на службу.

Он кланялся в землю.

— Хорошо,— сказал Кудеяр,— светлейший хан правдив и милостив. Коли будете верно служить, то пожалует, а дурно будете служить, так и вам дурно будет.

Лихарев говорил:

— Мы извещаем ханское величество, что весною будет подходное время для войны на Москву; такого не дождетесь скоро. Московское государство ныне в последней тесноте. Прошлый год меженина была, и хлеб стал немерно дорог, рать царская ушла в немцы, а при царе ноне рати мало, царь лучших бояр и воевод показнил, остались толь-

ко неумелые да нехрабрые, и те побегут, как только хан с ордою придет. Коли то не так, как мы показываем, тогда его величество хан пусть нас казнить велит!

Не прошло трех дней после явления этих двух изменников, к Кудеяру прибыло двое новокрещенов татар из Урмановой шайки.

Они рассказали ему, как Окул с Урманом со своими ватагами, уведавши, что прочие сдались царскому воеводе, шатались по лесам, а наконец ушли в Брянский лес и там установились на жилье. А ныне, говорили посланцы, Окул с Урманом уведали, что ты жив и пробываешь в Крыму у хана, и послали нас к тебе спросить у тебя про здоровье, а буде ты что от нас хочешь и что нам приказать изволишь, и мы все учиним по твоему велению. И то еще пришли мы тебе сказать: будет хан изволить с тобою вести орду на мучителя, мы тебе слуги и вожи вам всем. А назнали мы на Оке таков брод, что вся орда перейти может скоро. А таков брод есть, где втекает в реку Оку река Ицка, от того втека версты полторы, а не доезжая с версту отколь будет большое поле, зовется Злынское. И коли бы хан с ордою на Москву пошел, и мы бы ждали там его, на Злынском поле, и через Оку переведем его с ордою, да не токмо через Оку, а також через Жиздру и Угру, и может его величество хан, минуя Серпухов, подойти к Москве так, что мучитель про то и не уведает.

Кудеяр сообщил об этом хану. Девлет-Гирей был в восторге.

— О великий пророк! — сказал он.— Ты помогаешь нам! Если у нас будут хорошие вожи, мы доберемся до Москвы, и возвеличится племя татарское.

Хан велел Кудеяру взять на свое попечение прибывших русских. Кудеяр отправил их в свое поместье и там велел содержать их в довольстве.

Кудеяр советовал хану собирать орды, чтоб были готовы в поход с наступлением весны, но не объявлять в курилтае об этом из опасения, чтобы благоприятели Москвы не дали туда знать заранее и не доставили возможность царю Ивану собирать оборонительные силы.

Хан так и поступил. Он не говорил никому о желании идти на Москву; напротив, стал перед беями и мурзами жаловаться на Литву.

Он твердил, что казаки беспокоят белогородскую орду и делают набеги на турецкие пределы и турский падишах готовится послать на Литву свои силы, поэтому и татарам

надобно быть наготове. Мурзы, получавшие поминки от Литвы, стали было убеждать хана, что следует воевать Москву, а с Литвою находиться в добром согласии. Хан доказывал, что московский царь только и желает того, чтобы татары напали на пределы его государства, потому что у него теперь войско собрано, а потому не следует никак зацеплять Москвы до того времени, когда она забудет, что татары могут внезапно напасть на нее. Одним словом, хан повторял мурзам то самое, что им говорил прежде явлашский бей. Всегда готовые грабить кого бы то ни было, воинственные мурзы успокаивались, довольствуясь тем, что если теперь нельзя задевать Москвы, то, по крайней мере, им доставляют возможность потрепать Литву. Приезжавший от короля Жигимонта-Августа гонец был принят дурно; хан не хотел брать подарков, кричал, сердился на казаков, говорил, что король их умышленно не унимает, и угрожал напомнить Литве своего предка Менгли-Гирея, разорившего Киев. В Литве происходила тревога, там старались укреплять границы, а радные паны пытались отклонить от себя опасность и поссорить Крым с Москвою, считая Девлет-Гирея и царя Ивана друзьями и союзниками. Чтобы еще более убедить в таком мнении литвинов и усыпить москвитин надеждою на союз с ними во время пребывания литовского посла в Бакчисарае, Девлет-Гирей, не пригласивши его ни разу к столу, угощал Афанасия Нагого, бранил Литву, хвалил московского государя, сожалел о том, что доброе согласие с московским государем нарушилось было походом турок на Астрахань; уверял, что татары шли поневоле, обещал на будущее время жить с московским государем душа в душу, по-братски и вместе воевать их общего недруга, литовского государя.

— Я,— сказал тогда Девлет-Гирей Афанасию Нагому в присутствии явлашского бея и одного мурзы, бравшего постоянно поминки от московского царя,— я нарочно вел турок так, чтоб им не было успеха: я так делал из братской любви к твоему государю, моему любезнейшему брату и вернейшему другу.

Речи Девлет-Гирея переданы были Нагим в Москву в грамоте, посланной с нарочным гонцом; и этот гонец сообщил, как очевидец, утешительные известия, что весь Крым готовится к весне на войну с Литвою, а явлашский бей послал от себя к царю и уверял, что все это сделалось его старанием, и просил для себя поминков от московского государя.

И действительно, во всем Крыму зимою хотя все знали, что весною будет поход, но думали, что хан поведет орду воевать литовские пределы. В Москве тоже так полагали, хотя князь Михайло Воротынский, старый враг татар, осмеливался говорить, что не следует вполне успокаиваться, основываясь на уверениях хана и вестях, присылаемых из Крыма.

В апреле 1571 года хан неожиданно собрал свой курилтай и объявил, что поход будет не на Литву, а на Москву.

— Я,— сказал он,— нарочно о том не говорил никому, чтоб наш ворог, московский князь, не узнал и не приготовился к обороне. Нападем на него врасплох. У него в государстве беда и нестроение — и голод и мор на людей; лучших своих воевод он сам побил; теперь у него осталась дрянь. У нас есть ихние люди, которые поведут нас через броды и перелазы до самой Москвы. Возьмем Москву, сожжем ее, разорим все Московское государство, как еще никогда мы не разоряли. Помните, как они, неверные, услыхавши, что у нас хлебный недород и на людей мор и на скот падеж, умышляли в такую пору идти на нас, хотели наш крымский юрт покорить, как покорили Казань и Астрахань. Но великий пророк затмил разум их, помешал умыслы их... Теперь нам очередь пришла. И на них такая теперь беда, какая тогда была на нас. Не будем же мы глупы так, как они тогда были глупы. Учиним над ними то, что они хотели над нами учинить, да не сумели.

Мурзы были в восторге. Во всем Крыму вѐсть о том, что поход будет на Москву, а не на Литву, принята была с восторгом. Пробудилась тотчас старая вражда, старое чувство досады об утраченном господстве над Русью. Кудеяр отправил своих новокрещенов вперед к Окулу и Урману с приказанием, чтобы они дожидались его с ханом на Злынском поле около вешнего Николы. Через две недели он выступил в поход сам, а за ним следовал хан с ордою. В день самого выезда Девлет-Гирея из столицы на острокончии, вбитом в стену ограды бакчисарайского дворца, появилась голова врага его Акмамбета, во святом крещении Федора. Девлет-Гирей, напугавший обещанием мучительной казни, продержал его в тюрьме до своего выезда, а потом сказал: «Я не Иван московский, чтобы мне тешиться муками людей»,— и приказал отрубить голову преступнику.

V. ТАТАРСКОЕ НАШЕСТВИЕ

Кудеяр, в сопровождении двух русских изменников, с отрядом татар тысяч в пять, шел впереди через ногайские степи по Муравскому шляху. Громадные толпы ногаев ехали отовсюду к Муравскому шляху, верхом, с колчанами и луками за плечами, и вели с собою много запасных лошадей. Поход им предстоял тремя путями: одни должны были примкнуть к ханской орде, другие, свернув с Муравского шляха, переправиться через Донец на Изюмской сакме и, достигнув жилых мест, опустошать срединные украинные земли московские, а третьи должны были идти восточнее, через Тихую Сосну, Потудань, к Дону, на рязанские земли. У них было одинаковое назначение: все должны были сожигать русские селения, портить посевы, убивать людей, а лучше ловить на аркан и вести в плен. Им не было положенного срока пребывать в походе: какие успеют прежде других, награбят, наделают разорений, нахватают пленников и ворочаются, коли хотят, в свои степи. Сам хан Девлет-Гирей, со сто двадцатью тысячами орды, намеревался свернуть с Муравского шляха влево, перейти Оку в ее верховьях, по указанию русских изменников, потом перейти Жиздру, Угру и идти к Москве с запада, в надежде, что царь если и спохватится, то будет ждать его с юга от Москвы, как прежде бывало. Хан не заботился о продовольствии своих ратных сил; каждый татарин брал себе, что хотел, а не взял, сам виноват, хоть с голоду умирай; только дано было приказание брать с собою побольше ремней, чем вязать пленников. За ханом не ехал обоз; все везли на вьючных лошадях. Хан шел с необычною быстротою, чтобы внезапно напасть на столицу; поэтому за ним хотя и везли шатры, но они почти никогда не разбивались; хан отдыхал под открытым небом, на ковре, разостланном на траве. Только иногда, когда надобно было подолее покормить лошадей, для хана жарили бараний шашлык или какую-нибудь дичь; в другое время, торопя свою орду, он ел только сухую вяленую конину и показывал своим мурзам пример воздержания и сурового образа жизни.

Кудеяр с Лихаревым и Русином, опередившие хана, прибыли к Оке на Злынское поле, находившееся недалеко впадения в Оку реки Ицки. Здесь встретил он уже ожидавших его Окула, Урмана и братьев Юдинковых, а с ними было всего-навсего только десять человек.

Когда разбойники изъявили радость о встрече с Кудеяром, ханский тат-агасы держал себя уже не так, как прежде, и здоровался с ними хоть и с приветливым, однако, вместе с тем и с гордым видом, который шел к его расшитому золотом чекменю. Он важно и покровительственно объявил им от хана великие милости, если они благополучно переведут ханскую орду через реки, и тут же, через своего секретаря, выдал им по нескольку золотых монет. Окул с Урманом хотели было наперерыв рассказать свои приключения, испытанные ими после погрома разбойничьего стана близ озера, но Кудеяр, как будто не желая даже вспоминать о прошлом, прервал их и с важностью сказал:

— Говорите дело: что́ я у вас спрошу, то мне и говорите. Отчего вас так мало? Где вы были в последнее время?

— Мы были в Брянском лесу,— начал Окул.— Когда мы с Урманом услышали, что хан идет, то стали говорить ватаге, что идти бы нам Кудеяру навстречу и проводить хана через броды и перелазы. Ватага так и заорала: как можно, чтобы христиане бусурманам на христиан помочь давали?

— Я им говорю,— сказал Урман,— да ведь нам, братцы, лишь бы милость была, а теперь будет такой случай, что другого не дождешься. А они на меня: ты сам татарин и своим татарам наговоришь; видно, хочешь в прежнюю веру повернуться и нас туда же тянешь.

— Я говорил им,— сказал Окул,— ведь мы шли же против царя-мучителя с Кудеяром, а теперь Кудеяр хана на того же мучителя ведет и нас просит с собою,— отчего ж нам не идти?.. А они говорят: то иное дело было; мы тогда уповали, что вместо царя-мучителя иной царь христианский будет, а теперь хан-бусурман идет разорять народ. Да тут же стали кричать на нас: долой их с атаманства. Нас с атаманства скинули; атаманами поставили Захарку Мельницу да Митюху Курощупова. А те, как стали на атаманство, тотчас сказали кругу такову речь: пойдемте, братцы, прямо к царю с повинною, а Окулка с Урманком свяжем; авось нас государь-царь помилует за то, что мы не пошли служить крымскому хану. А ватага на это как крикнет: «Да, помилует! как помиловал нашу братью, тех, что близ озера сдались. Вишь ты, говорит, что затеяли рассякие, растакие дети, рубить их, а то они нас выдадут»,— да тут же их изрубили. А мы стоим с Урманом, себе смерти дожидаем. Только нет: они нас рубить не стали, только все ругали. «И к царю не пойдем,— кричат,— и к хану не пойдем,

а кто скажет еще хоть слово про то, чтоб нам идти либо к хану, либо к царю, тому тотчас смерть». Так мы с Урманом посоветовались, что нам оставаться в стане не мочно, да ночью и убежали.

— А вот эти, что с нами пришли,— сказал Урман,— десять человек, все татары новокрещены; им также не мочно было оставаться, для того что им веры уже не будет, затем что татары; и они бежали с нами, хотячи послужить хану и тебе.

— А мы,— сказал Ждан Юдинков, целуя полу одежды Кудеяра,— твои вечные холопи, твои дети верные; как прежде с тобой неразлучно ездили, так и теперь поедем близ твоего стремени.

— Служите верно светлейшему хану,— сказал Кудеяр,— и получите большие милости.

Он приказал угостить разбойников, но сам не садился с ними.

— Горд,— заметил Окул,— важным человеком стал у хана!

— Нет, он милостив! — сказал Василий Юдинков.

Прибыл хан. Он заблагорассудил разбить себе на Злынском поле шатер и намеревался отдохнуть один день после продолжительного беспрерывного пути. Кудеяр привел к нему русских беглецов. Они целовали руки хана. Урман не утерпел и заплакал: национальное чувство, задушенное в молодости, воскресло при виде государя того племени, к которому принадлежал Урман, государя, говорившего языком, слыханным Урманом в детстве от отца и матери.

— Светлейший хан,— сказал Урман,— я твой прирожденный человек; и эти люди,— он указал на новокрещенов,— все это, как и я, твои люди; все мы прирожденные татары, нас неволею повернули на москвитинов. Ты наш настоящий государь. Все мы хотим тебе служить навек!

Новокрещены клялись в верности хану. Окул и Юдинков молчали, не понимая по-татарски.

— Я рад,— сказал хан,— что наши пришли к нам. Вы — дети мои, я — ваш отец. Московский мучитель набрал вас в мусульманских царствах и насильно отвратил от правой нашей веры. Много вас таких. За вас и за них иду я мстить ему, и вы за себя отомщайте. Послужите мне, так будете у меня ближними людьми. Вот Кудеяр вам скажет, ка́к я умею благодарить и награждать услугу. Кудеяр сделал мне добро — и теперь важный человек в нашем юрте.

При помощи русских изменников, взявшихся быть вожа-

ми, хан с ордою перешел Оку на Быстром броде, перешел Жиздру в том месте, где когда-то разбойники ушли от калужан, наконец перешел Угру и повернул к востоку. Татары шли неутомимо, не встречая нигде от русских сопротивления; в этом крае русской рати не было; царь, услышав чрез станичников, что ногаи стали появляться в украинных землях и что за ними хочет быть сам хан, собрал наскоро рать; она стояла под Серпуховом, ожидая татар по дороге к этому городу.

Татары не брали городов, чтоб не тратить времени, и мало разоряли край, оставляя это дело ногаям, а только, проходя через селения, сожигали их, означая тем свою победу. Уже до Москвы оставалось не более семидесяти верст. Окул исчез: его стала мучить совесть, что он служит бусурманину на христиан; он убежал, пробираясь лесами, в Литву.

Кудеяр призвал к себе новокрещенов, передавшихся к хану с Урманом, а с ними Урмана, и сказал:

— Вот вы почуяли, что вы не русские, а татары. Противно вам стало, что вы служите чужому государю, московскому, прирожденному заклятому врагу всего вашего татарского племени. Вы увидели вашего истинного праведного государя татарского, и сердце ваше затрепетало. Сослужите же ему великую службу. Наш государь наградит вас, и вы будете у него — как первые мурзы. Служба вам будет нелегкая, зато и милость немалая. Ступайте в Москву: все вы по-русски умеете, и вас признают за русских; теперь же всякого народа много туда бежит. Как мы придем к Москве и увидите наших людей и лошадей — зажгите Москву в разных местах. Вот вам деньги, чтобы обойтись там. Ступайте, хан велит.

Они получили деньги и уехали.

Потом призвал Кудеяр Юдинковых и сказал:

— Вы мои верные, любезные дети. Нет у меня людей на свете вас милее, вы нарекли меня своим батьком; я вам поручу такое важное дело, которого другим поручить побоюсь. Ступайте в Москву, а как мы подойдем к ней, зажгите ее в двух местах. Смотрите, не попадайтесь, а то мне без вас тяжело будет.

— Зачем попадаться,— сказал Ждан,— на то идем, чтоб дело сделать, а не попадаться.

— Да никому, никому не говорите! — сказал Кудеяр.

Орда сделала к следующему дню тридцать верст. Кудеяр призвал Лихарева и Русина.

— Братцы! — сказал он.— Все ваши утекли куда-то, вы одни остались. На вас надежда вся. Хотите или не хотите служить хану? Мы вас не держим. Не хотите — уходите, как сделали вожи ваши. А хотите служить хану — учините нужное дело.

— Куда нам идти! — сказал Русин.— Нешто к Ивану, чтоб шкуру содрал? Нет, оно больно.

— Все можем сделать! — сказал Лихарев.— Что хан прикажет? Хоть жар-птицу достать велит, так и ту поедем доставать.

— Не доставать жар-птицу, а пустить ее посылает вас хан,— сказал Кудеяр.— Ступайте в Москву, и как мы подойдем к ней с ордою, вы зажгите ее в двух местах.

— В двух? — сказал Лихарев.— Я один в десяти местах зажгу. Всю сожжем дотла: коли Лихаря на то пошлют, так уж Москве целой не быть.

— А то...— промямлил Русин... Он целовал полу Кудеяровой одежды.— Таково дело важное сделаем,— продолжал он,— твоя милость, не оставь нас, чтоб светлейший хан пожаловал нам поместьишко у себя в Крыму.

— Делайте ваше дело,— сказал Кудеяр,— а нагорода вам будет.

— Что нагорода? — сказал Лихарев.— Лихарь ради одной славы черт знает чего наделает.

— Вот вам деньги,— сказал Кудеяр,— да никому о сем не говорите. Может быть, вожи наши в Москву ушли изменою, так коли встретитесь, не говорите с ними и сторонитесь от них.

— Я себе начерню бороду,— сказал Русин.

— Я желтой глиной намажу,— сказал Лихарев,— да еще горб на спине примощу.

— А я себе и рожу напятнаю,— сказал Русин.

Они уехали. Кудеяр, узнавши, что татары наловили русских пленников с женами и детьми, призвал четырех таких пленников и сказал:

— Что вам дороже: жены и дети ваши или Москва?

— Вестимо, свои дороже! — отвечали ему.

— Идите в Москву и зажгите ее в четырех местах, когда мы подступим к столице. Вам за то будет нагорода великая. А не захотите того исполнить, велю казнить жен и детей ваших лютыми муками.

Пленники поневоле согласились.

Потом Кудеяр призвал еще троих и говорил им то же, что и первым; потом призвал еще троих и говорил то же,

что вторым. Все согласились, но не все решились исполнить такое приказание. Кудеяр поступал таким образом для того, что если бы кто-нибудь открыл замысел или попался русским по неосторожности, то, не зная всех соучастников, не мог бы показать на них.

Сделали еще двадцать верст и остановились. Вечерело. Кудеяру привели четырех схваченных татарами ратных московских людей.

— Кто вы? Опричные или земские? — допрашивал их Кудеяр.

— Мы земские,— отвечал один из пленных.

— Куда вы пробирались?

— Нас послали проведать, где татары и скоро ли прибудут.

— Где царь?

— Убежал.

— Куда?

— Не знаем. Нас собрали под Серпухов. Царь был с опричниной. Ждал хана к Серпухову и послали за Оку проведывать вестей, а посланные, приехав, сказали, что не видали и не знают, где хан. А тут пришла весть, что хан перешел Оку у верховьев, а потом уже перешел и Угру и идет к Москве. Тогда царь с опричниною ночью убежал, покиня всю земскую рать.

— Хорош царь ваш,— сказал Кудеяр,— он, видно, отважен только над своими дураками, которые, как овцы или свиньи, подставляют ему свои морды под нож. А кто у вас воеводы?

— Князь Бельский старшой, а под ним князь Мстиславский, а у них князь Воротынский, да Шуйский Иван Петрович, да с ними бояре.

— Какой это Воротынский — Михайло? — спросил Кудеяр.

— Да.

— Это хоробрый человек. Он хотел когда-то с нами, крымцами, биться, Крым наш думал завоевать. Что же ваши воеводы хотят чинить?

— У них разлад. Воротынский и Шуйский хотели идти прямо на вас и учинить бой, а Бельский и Мстиславский не захотели, стали говорить, что надобно идти в Москву и в Москве борониться. Сегодня они пришли все в Москву.

— А ратной силы много у них?

— Было у нас тысяч боле ста, только, чай, половина разошлась после того, как царь ушел с опричными.

— Одного оставить, а прочим порубить головы! — закричал Кудеяр татарам.

— Да за что же? Помилуй! подари животом! ради Христа помилуй! — кричали пленные.

— Что с вами возиться? — сказал Кудеяр.— Порубить им головы! — повторил он татарам, а сам отправился к хану.

— Светлейший хан! Нам,— сказал он,— идти бы скорее к Москве; языки сказали, что воеводы с своею ратью придут сегодня в город, хотят отсиживаться, так нам не допустить их установиться и к утру бы поспеть к Москве. А я послал вперед, чтоб Москву зажгли, как мы придем.

— Пусть так будет! — сказал хан.— Благодарю, мой тат-агасы.

При всех свойствах, присущих предводителю хищнического полчища, Девлет-Гирей имел в себе что-то рыцарское; в его душе, склонной к поэтическому созерцанию, было уважение к благородному и честному, несмотря на то, что его собственные поступки шли часто вразрез с этим уважением. Девлет-Гирею в первое его знакомство с Кудеяром понравилось то, что Кудеяр не прельстился выгодами и обещаниями, остался верен христианской вере и русскому царю. Тогда Девлет-Гирей всем сердцем полюбил Кудеяра. Но теперь, когда Кудеяр, принявши ислам, лез, как говорится, из кожи, чтобы казаться татарином, и старался услуживать хану назло русскому народу, хан, хотя ценил услуги своего тат-агасы, хоть благодарил его и хвалил, но уже не питал к нему прежней сердечной привязанности.

Кудеяр стал расспрашивать оставленного в живых пленника о Москве, откуда можно лучше глядеть на нее, и, узнавши, что паче других мест пригодны к тому Воробьевы горы, велел ему вести хана с мурзами и телохранителями на эти горы, обещая за то пленника отпустить на волю. Вож этот, москвич, сын боярский Орлов, поневоле исполнил приказание. Утром, на следующий день, 24 мая, орда явилась у Москвы и растянулась кругом Замоскворечья и до самого Коломенского села, а сам хан с мурзами и с Кудеяром взъехал на Воробьевы горы. Кудеяр отпустил Орлова, приказавши татарам не трогать его.

Хан поместился в царском дворце, том дворце, из которого некогда царь Иван глядел на московский пожар, где, устрашенный народным возмущением, отдался в волю попа Сильвестра. С переходов этого самого дворца крымский

хан готовился смотреть на другой пожар Москвы. Его мурзам стали разбивать шатры. И Кудеяру разбили шатер на самом спуске с горы и внесли в шатер его вещи.

VI. ИСКУШЕНИЕ ДОБРА

Вся Москва была как на ладони, на небе не было ни облачка; весеннее солнце обливало светом возносившиеся над темно-серою массою домовых крыш стены церквей, окрашенные белым, красным, зеленым, синим цветами; лучи его играли на золотых куполах и крестах; сверкала блестящею серебряною лентою Москва-река, за нею, к востоку, ярко зеленели широкие луга, усеянные подгородными селениями и дворами, вдали — темная зелень лесов. Пели пташки; безучастная к человеческой злобе, природа совершала свой обычный праздник весны. С вершины горы можно было думать, что для этого праздника сошлась и масса народа, волновавшаяся тогда по московским улицам.

Кудеяр смотрел на этот роскошный вид, который должен был, может быть, через час замениться ужасным видом разрушения. Кудеяр спешил сюда с злобным ожиданием насладиться гибелью столицы, а теперь, мимо его воли, в сердце ему стало подступать то ощущение жалости, которое он так подавил в себе, когда несчастная украинка в Крыму напомнила ему навсегда потерянную любимую женщину. Кудеяру становилось жаль Москвы. Кудеяр стыдился этого чувства и всею силою своей воли старался подавить его, а оно, с своей стороны, как будто напрягало все усилия, чтоб овладеть им. В воображении Кудеяра неотвязчиво носился образ Насти. Он поглядел вниз и увидел Крымский двор; он вспомнил, как там он нашел свою погибшую Настю; он глянул на далекий Данилов монастырь и узнал тот лес, где Настя с такою покорностью пожертвовала ему своим ребенком. Настя как будто теперь говорила ему: «Юрий! за что ты убил ребенка? Тебе ненавистно было татарское отродье, а теперь ты привел татар истреблять народ христианский! Ты не дал мне окрестить ребенка, а теперь сам отрекся от Христа!»

Кудеяр прогонял от себя этот неотвязчивый образ, хотел тешить себя надеждою скоро увидеть пламя столицы, а Настя все-таки внедрялась в его воображение и говорила ему: «Юрий! меня убил мучитель, а ты мстишь невинным москвитинам; мучитель разлучил меня с тобою на этом

свете, а ты добровольно разлучился со мною и для того света; я осталась верна Христу, а ты отвернулся от него!.. Юрий! Юрий! нам теперь вечная разлука! Ты сам не захотел быть со мною!»

Могучая воля его боролась с этим искушением добра и никак не могла побороть его; оно принимало на себя неотразимый образ любимого некогда существа и врывалось в сердце, в мозг Кудеяра. Кудеяр призывал на помощь свою злобу, насилуя себя, притворялся сам пред собою, что желает крови, разрушения, пожаров, стонов, страдания, нищеты,— а ему было жаль Москвы, жаль бесчисленного множества народа, осужденного на гибель под ее развалинами. Вдруг по всем московским церквам раздался благовест; был праздник Вознесения. Толпы народа валили в церкви, но не в праздничных нарядах шли они, в духовном веселии славить торжество Спасителя; они шли готовиться к смерти и принимать смерть в церковных стенах от огня и дыма. Звон стал резать, пилить, печь Кудеяру сердце. Опять предстала пред его воображение Настя и говорила ему: «Помнишь ли, Юрий, как, бывало, ты услышишь этот звон, снимешь шапку и перекрестишься. А теперь — ты не смеешь снять шапки и перекреститься! Помнишь ли, как, с православным народом стоя в храме, только услышишь, что читают о победе и одолении, тотчас кладешь большие поклоны и просишь у Бога, чтоб крест святой одолел бусурманство, а теперь ты слушаешь звон, да уже не входишь в церковь и дожидаешься гибели христианам от бусурман, которых ты навел на них!»

«Прочь, прочь! — твердил сам себе Кудеяр.— Прочь Настю! К черту жалость! Прочь христианство! Я мусульманин, я не верю в Христа, я не хочу знать его. Мне нужно христианской крови! Пожара! Дыма смерти!»

Но все было напрасно. Голос Насти раздавался в его душе: «Юрий! Юрий! не упрямься. Бог милосерд даже и для таких грешников, как ты: надень свой крест, беги в Москву! Погибни там вместе с православным народом. Бог простит тебя!»

А Кудеяр все-таки не поддавался этому голосу, Кудеяр все-таки хотел искать зла, гибели христианству — мало того: гибели людей, каких бы то ни было.

Воздух стал колебаться. Тишина нарушилась, подымался ветер, природа готовилась помогать злобе Кудеяра. А голос Насти продолжал звать его душу, тянуть ее за собою. «Скорее! скорее! торопись. Поздно будет, видишь, какой

ветер: вспыхнет Москва — не пройдешь; жалеть будешь — не воротишь. Юрий! Юрий! Спеши ко мне, спеши! Если ты любишь Настю — иди к Насте. Она недалеко, ты пройдешь к ней через огонь, который истребит православную столицу, дойдешь до нее, если добровольно погибнешь вместе с православными людьми...»

Кудеяр отбивался; ему давило грудь, сжимало горло; он трясся всем телом; его ноги, мимо его воли, тащили его с места. Кудеяр упирался.

В минуты этого внутреннего борения, происходившего в душе Кудеяра, прибегают татары и ведут старика, лысого, с седою бородою, одетого в черную одежду наподобие рубахи, босоногого, с огромною палкою. Это был тот самый юродивый, который во время приезда Кудеяра с Вишневецким в Москву напрасно хотел рассказами о видениях побудить царя Ивана Васильевича на войну с Крымом.

— Тат-агасы! — кричали татары.— Вот этот московский старик пришел сюда и зовет твое имя... Он чего-то хочет.

— Кто ты? — спросил Кудеяр.

— Нужно поговорить с тобой одним.

— Говори,— сказал Кудеяр,— татары по-русски не знают.

— Нет,— отвечал старик,— вели отойти им прочь. Я пришел тебе сказать, кто ты таков.

— Я и без тебя знаю, дурак! — сказал Кудеяр.— Я ханский боярин, и с тобою, мужиком, что мне говорить; вот я велю тебе голову снять за то, что ты пришел ко мне без дела.

Кудеяру воображалось, что этот старик пришел укорять его.

— Сними с меня голову,— сказал старик,— только прежде меня выслушай, а то будешь жалеть, да не воротишь. Один я знаю, чей ты сын, какого ты рода, другой никто того невесть. Я пришел для того только, чтоб тебе сказать.

Кудеяр дал знак,— татары удалились.

— Цел ли у тебя золотой крест, что тебе дала неведомая тебе родительница? — спрашивал юродивый.

— Я отрекся от христианства! Я познал правду! — сказал Кудеяр, пересиливая в себе внутренний голос, говоривший ему иное.

— Это твое дело! — сказал юродивый.— Я не обращать тебя пришел. Цел ли твой крест? Если цел, покажи его мне, и я назову тебе твоего отца и твою мать.

Кудеяр пошел в свой шатер и вынул крест из маленькой

шкатулки, сохраняемой в одном из мешков. Кудеяр подал крест юродивому молча.

Юродивый пристально посмотрел на обе стороны креста и сказал:

— Слушай! Отец царя Ивана, великий князь московский Василий Иванович, по бесовскому искушению, восхотел отвергнуть свою законную жену и понять другую, литвинку Елену Глинскую. У великого князя был любимый боярин Шигона, и тот боярин, чем бы государя своего от такого беззакония отговаривать, забывши заповедь Божию, человекоугодив сын, стал ему советовать учинить по своей похоти, будто бы того ради, что у великой княгини не было детей. Тогда великий князь Василий повелел свою жену, великую княгиню Соломонию, постричь насильно в черницы и приказал то дело боярину Шигоне. Великая княгиня постригаться не хотела, и Шигона бил ее, заставляючи постричься. И князь великий женился на другой жене от живой жены. А после того великая княгиня Соломония обретеся во чреве имущи; а боярин Шигона, узнав о том, великого князя не доложил, а сказал про то новой великой княгине Елене и ее родне, Глинским; а как великая княгиня Соломония родила сына, то великая княгиня Елена велела Шигоне того младенца извести, а Шигона младенца не убил; он отдал его одному сыну боярскому в рязанской земле, не сказавши, чей такой младенец, и оставил на младенце благословенный крест, что дала ему мать по крещении. По неколих летах великая княгиня Елена родила сына Ивана, нынешнего царя, а в те поры, как он родился, по всей русской земле был гром и буря, какой не помнили старые люди, и тогда говорили русские люди: Божия де кара на свет родилась, еже и бысть. Потом вскоре умре великий князь Василий, и приял правление Московского государства, вместо малого зело сына, жена его Елена, и та живяше блудно и к пролитию крови склонна бысть. Тогда боярин Шигона прииде в чувствие и позна свое беззаконие, хотел он добыть царевича, Соломониина сына, и объявил народу, но узнал, что татары, набежав на рязанскую землю, извели того сына боярского, и младенца с ним не стало.

— А как звали того младенца? — спросил Кудеяр.

— Моя речь впереди! — сказал юродивый.— Ты слушай. Боярин Шигона раскаялся зело и сам себе осуди на покаяние: постричься он не хотел, понеже по делам своим гнусным недостоин себе мняше равноангельского иноческа-

го чина, но и волею похаб сотворися, сиречь юрод стал вящего ради унижения, и ходил он, странствуя из града в град, из веси в весь, никем знаем, а потом пришел в Москву и там увидал, что Соломониин сын жив, только Шигона не объявил о том никому.

— Зачем не объявил? — спросил тревожно Кудеяр.

— Затем,— сказал юродивый,— узнал, что царь Иван, долго упрямясь, хотел, наконец, последовать словам мудрых советников и стал было собирать рать, чтоб разорить темное царство крымское; того ради Шигона не хотел ввергать котору и раздор в христианство, понеже в такую пору, великого ради дела, благопотребно быть согласию и единомыслию между христианы; да и затем Шигона не объявил, что боялся, как бы царь Иван, уведавши про Соломониина сына, не вздумал бы извести его, боячись, чтоб он, яко первородный, не отнял у него престола.

— Что сталось с тем княжичем? — спросил Кудеяр.

— Про то,— сказал старик,— ты знаешь лучше меня: боярин Шигона — я; а ты — князь Юрий Васильевич!

В это время в Москве вспыхнул пожар; разом в пятнадцати местах потянулись кверху столбы дыма, и набатный звон, заменивший торжественный благовест, раздался в ушах Кудеяра, как звук трубы последнего суда.

— Это твое дело, князь Юрий Васильевич? — спросил Шигона, указывая на Москву, внезапно покрывшуюся густою тучею дыма.

— Мое! — признался Кудеяр, затрясшись всем телом.

— Проклят же ты от Бога и от людей, князь Юрий Васильевич! — сказал Шигона.— Томиться тебе неизреченным мучением столько лет, сколько ныне погибнет людей, православного народа в Москве!

Шигона удалился; Кудеяр стоял как вкопанный, глаза его бессмысленно глядели на пожар. Необычайная телесная сила Кудеяра не могла устоять против необычайной душевной бури. Нет той силы, которая бы могла устоять в борьбе с добром, потому что добро есть сам Бог: или покорись ему, или — страшно впасть в руки Бога живого! Кудеяр упал навзничь бездыханен.

Москва горела с поразительной быстротою; солнце сквозь покрывало дыма лило зловещий бурый свет, как чрез закопченное стекло. Ветер усиливался, колыхая волнами пламени и унося во все стороны снопы искр; испуганные стаи голубей, ласточек, галок сновали по воздуху, не находя себе пристанища. Хан Девлет-Гирей,

стоя с мурзами на переходах дворца, любовался этим зрелищем, пришел в поэтический восторг и сыпал изречения из Корана, приправляя их выражениями собственного вдохновения:

— О пророк! как истинны слова твои! О пророк! какой безумец, смотря на сие, дерзнет усомниться в том, что ты вещал не от Бога. Вот жребий отвергающих откровение Мугаммеда и отверженных за то Богом! Вот день трудный для врагов наших, сынов ада и гибели! Что, неверный царь Иван? Ты уповал на свои богатства, гордился своими сокровищами,— помогли ли они тебе? О безумный! ты не ведаешь того, что написано в Коране: горе собирающему сокровища и думающему, что они вечны. Все богатство человеческое — прах и суета пред добродетелью. Не уподобились ли сокровища твои легкокрылым бабочкам, улетающим от алчных детей? Где же ты, неверный безумец, царь Иван? Куда же ты убежал? Носишь изображение орла, а сам уподобился пугливому зайцу. Приди к нам, стань рядом с нами, посмотри вместе с нами на свою столицу, восплачь о погибели множества своих великородных бояр и подлых рабов. Ты восплачешь при нас, а мы возрадуемся при тебе! Клянусь быстротою конских ног, извлекающих огонь из камня во время погони за неверными, они не устоят против нас. Мугаммед велик и правдив! Мы пришли в страну неверных, чтобы сузить их пределы, да сбудется сие слово Корана. День суда постиг врагов наших. Слои огня под ногами их, слои огня над их головою. Тень черного дыма станет им мраком Эблиса: она не защитит их от столпообразного пламени, предвестника вечного огня Альготаны, ожидающего по смерти души их! Эльгавия, место скорби и мучений,— удел их. Они взывают: Господи! отврати от нас огонь и дым, а Бог посылает ветер, чтоб умножать огонь и поразить гибелью наибольшее число их. О Господи, удвой, удесятери их мучения смерти. Пошли на них дождь кирпичей. Да будет огонь выкроенною для них одеждою, пусть они просят орошения, а ангел смерти подаст им кипящей воды. Пусть в бешенстве кусают себе руки, пусть грызут дерево смерти, и оно станет во внутренности их как растопленный металл. Смотрите, смотрите, правоверные! Небо стало как расплавленная медь, а горы будто покрыты клочками красной шерсти, как сказано в Коране. Восхвалите Бога и пророка его, правоверные. Наполнитесь духом благочестия и отваги. Разите, истребляйте врагов, не оказывайте им никакого милосердия, ибо

то не угодно Богу. Убивайте их, проливайте кровь их и связывайте крепко путами пленников, как сказано в Коране.

Чрез то, паче всяких добрых дел, мы получаем от Бога себе прощения и рай, где в садах эдемских будем есть плоды и мясо и возляжем на богато убранных ложах с черноокими девами!

Москва-река стала выступать из берегов своих, запруженная телами тех, которые, убегая от огня, в беспамятстве бросались в воду.

— А где мой тат-агасы? — сказал хан.— Позовите его сюда ко мне, пусть порадуется вместе с нами погибели своих прежних соотечественников, которую он паче всех нас так хитро устроил.

Девлет-Гирею принесли известие, что его тат-агасы постигла неожиданная и внезапная смерть: приходил к нему какой-то старик из Москвы, говорил с ним что-то по-русски; видели издали, что тат-агасы дал ему в руки что-то и опять с ним говорил, потом старик ушел, а тат-агасы упал и умер.

Девлет-Гирей поднял кверху указательный палец правой руки, держа голову, повернувши влево, потом сказал:

— Подайте мне Коран.

И когда подали хану Коран, он сел, углубился в него, перелистывал его, как бы ища в нем объяснения странной кончины Кудеяра; наконец положил Коран и ничего не сказал, не найдя, как видно, в Коране подходящего ответа на возникший в его голове вопрос.

Проходили годы, десятилетия, столетия. Москва, отстроившись после сожжения, причиненного ей злобою Кудеяра, не раз после того испытывала и пожары, и нашествия иноземцев. Тяжело приходилось и всей московской Руси: сильно терзали и опустошали ее литовские и русские воры во время лихолетья; потрясали ее скопища Стеньки Разина, Булавскаго, Некрасова, Пугачева и иных; много бродило по ее лесам и дорогам удалых, оставляя по себе память в народных песнях, а имя Кудеяра не истребилось из народной памяти. Во всей нынешней средней России, в украинных городах старого времени, в прежней земле Северской, на берегах Оки, Десны, Инути, Жиздры, Угры, Упы, Дона, Мечи, Быстрой Сосны и в древней рязанской земле — везде известно имя Кудеяра. Знают про него и на

берегах Волги, в саратовском, симбирском, в самарском крае.* Где только есть овраг с следами землянок какого-то неизвестного обиталища — там, говорят, жил Кудеяр-разбойник... Где дикая заросль, где жилище волков, человеку становится поневоле жутко, где человека как будто кто-то сзади хватает — там Кудеяр. Этот Кудеяр что-то бродячее, страшное и тайное, ни живое, ни мертвое, что-то такое, чего и объяснить нельзя. Детей пугают именем Кудеяра; бегают дети в лес, а отцы говорят им: не бегайте туда, ребята, там Кудеяр-разбойник ходит... там страшно!

* Нынешний редактор киевской газеты «Труд», почтенный А. А. Русов, лет тому назад пять обязательно сообщил мне, что в Черниговской губернии, в Новозыбковском уезде, в даче села Рыловичи, у речки Каменки, между поселениями Демевскою и Василевскою (Дубковка тож), есть песчаный бугор, носящий в народе название Кудеярова погреба. Живущий в том краю народ, говорящий наречием, составляющим переход от малорусского к белорусскому, думает, что там лежит клад, зарытый назад тому триста лет Кудеяром-разбойником. Этот Кудеяр был необычный силач, царя не боялся, разбивал знатных и богатых, а за бедных заступался. «Мы сами було думали, що яго не було на свети, дак яго знают и в Подольской губернии — наши люди с коробками туда ходили и там слышали, що у яго и там есть погреб. И в Саратовской губернии были у яго погреба. А наш погреб, значит, самый главный. Наши ребята ходили-ходили коло яго, дак ни дается! Бают — заклятый. А сам Кудеяр на острову лежит прикованный: он бы и встал, дак не сила... птица пролятит да все мясо з яго и аблюе. Дак що вона аблюе, знов на яму наросте. Так и ляжит там... А я, каже, якбы встал, я бы всех сваих багатств даймов. Дак не сила встать».

СОРОК ЛЕТ

Народная малороссийская легенда

Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки? Дети их с ними пред лицом их и внуки их пред глазами их. Домы их безопасны от страха, и нет жезла божия на них... Проводят дни свои в счастии и мгновенно нисходят в преисподнюю. А между тем они говорят богу: «Отойди от нас, не хотим мы знать путей твоих! Что вседержатель, чтобы нам служить ему? И что пользы прибегать к нему?..» Но Бога ли учить мудрости, когда он судит и горних!

(Кн. Иова, гл. XXI, стихи 7—9, 13—14, 22)

В крае, где великорусская и малорусская народности сходятся между собою рубежами, есть слобода, называемая Мандрики. В последних годах прошлого столетия она принадлежала отставному гвардии поручику Мотылину, проживавшему там безвыездно с женою.

Крестьяне в тех краях не были тогда слишком обременены. Требования степных помещиков были умеренны и не представляли владельцам необходимости выжимать сок из подданных, а лень, одолевавшая провинциалов, не дозволяла им вымышлять новых средств к житейским удобствам. Мотылины были из неприхотливых и некорыстолюбивых владельцев. Барщины у них не было вовсе, кроме двух недель сенокоса. Земля раздавалась крестьянам с оброка, и хотя размер оброка для каждого крестьянина зависел от воли господина, но Мотылин не накладывал на крестьян своих больших оброков, и потому крестьяне в слободе Мандриках жили довольно зажиточно.

Одним из зажиточнейших обитателей слободы Мандрики был Денис Савельич Шпак. Двор у него был просторен. Ко двору прилегал плодовитый сад, а за садом был огород и гумно. Во дворе Шпака было две хаты. Одна, передняя, носила название светлицы и была внутри помощена дощатым полом; к ней примыкал другой покой, меньше светлицы, называемый комнатою. Ряд икон под потолком, увешанных барвинком и васильками, перед иконами — две

лампадки и полдюжины маленьких подсвечников для восковых свечек, несколько раскрашенных гравюр, прибитых гвоздиками к стенам, четыре немалых окна с растворчатыми рамами, зеленая муравленая печь и пестрый ковер, застилавший липовый стол,— все это придавало светлице веселый вид, а несколько книг в массивных переплетах, лежавших на лавке в углу под образами, обличали в хозяине грамотного человека. Ребром к светлице стояла во дворе другая хата, носившая название черной, но она была цвета белого, так же, как светлица, будучи и снаружи, и внутри обмазана раствором мела с молоком: то была рабочая изба с большою печью у входных дверей и с пристроенными к ней чуланчиками для хранения домашней рухляди. Кроме этих двух изб, во дворе Шпака были амбар, конюшня и плетеный сарай для скота и повитка (навес), под которою стояли плуг, телеги и сани. Шпак был настолько зажиточен, что мог держать наймита и наймичку, и это было для него тем удобнее, что вся семья его, кроме его самого, состояла из одной дочери, которую он очень любил и баловал.

В прежние годы Шпак чумаковал и этим промыслом успел себе зашибить копейку. Когда он начинал стареться, перестал ходить в дорогу и в это время попал в милость к своему барину. Мотылин держал с ним советы по хозяйственным делам и давал ему кой-какие поручения. Шпак был от природы умен и понял, что в таких случаях, когда дело шло о господском интересе, выгодно быть честным. Шпак очень понравился Мотылину. Желая сделать ему благодеяние, барин дал ему взаймы денег. Шпак накупил хлебного зерна. Через два года после того сделался неурожай, хлеб поднялся в цене, и Шпак продал свое зерно в шесть раз дороже той цены, по какой сам покупал. Шпак обогатился пуще других односельцев и стал возбуждать к себе зависть. Его вообще недолюбливали в слободе: был он мужик суровый, постоянно ходил с потупленною головою, на всех глядел как будто исподлобья, ни с кем не веселился, не ходил в шинок, не посещал пирушек и сам их у себя не заводил, не пел песен, не балагурил, хоть не прочь был при случае отпустить на других колкость, особенно, когда ему приходилось щегольнуть своим превосходством грамотного человека, а в слободе Мандриках, кроме церковников, из крестьян было только двое грамотных. Скупцом Шпак не был, но никто не называл его и щедрым; не был он злым, но никто не находил, чтоб он был добросерде-

чен. «Себе на уме, крутой мужик!» — говорили про него все, кто только знал его. После своей наживы Шпак стал побаиваться, чтоб его не обокрали, и, отдавая своему помещику занятые на торговлю деньги, просил взять на сохранение свои семь тысяч ассигнациями. Мотылин, принявши от Шпака эту сумму, дал ему собственноручную расписку и тогда же, сообразно желанию Шпака, написал в оставляемом сыну, на случай своей кончины, завещании, чтоб тот отпустил на волю дочь Шпака вместе с ее будущим мужем, если этот муж будет из крепостных слободы Мандрик. О себе не просил Шпак.

Не много времени прошло после того; сперва умерла госпожа Мотылина, а за нею, месяцев через пять, последовал и Мотылин.

Единственный сын и наследник Мотылиных учился в московском благородном пансионе, не показывая ни способностей, ни охоты к ученью. Молодой Мотылин чувствовал и знал, что он столбовой дворянин и наследник шестисот ревизских душ и 12 864 десятин земли, в количестве которой числилось до двух тысяч десятин леса. В те времена в дворянском сословии господствовало такое убеждение, что столбовому дворянину, да еще богатому, учиться незачем, и с таким убеждением молодой Мотылин, получив известие о кончине родителя, приехал в Мандрики. Он объявил назначенному над ним опекуну, что учиться не хочет, а желает служить. Молодец вступил в гусары. Через три года после того он вышел в отставку с чином корнета, по расстроенным домашним обстоятельствам. Прибывши в Мандрики весною 1820 года и поживши месяца три в родительском гнезде, молодой барин задумал жениться на дочери соседа, человека богатого, занимавшегося откупами и летом проживавшего в своем имении в слободе Лубках, в трех верстах от Мандрик.

Событие, составляющее начало нашего повествования, происходило именно в ту пору, когда молодой Мотылин вознамерился жениться.

Выше было сказано, что у Шпака была единственная дочь. Звали ее Вассою. Ей был уже восемнадцатый год. Это была девица рослая, белокурая, немного курносенькая, что составляет признак красоты у малоруссов. Одевалась она пестро и, по сельскому обиходу, богато: зеленый корсет с красными кисточками, нашитыми по всему корсету, желтая запаска, клетчатая плахта, красные сапожки, на голове

двухцветный шелковый платок в виде повязки, из-под которого спадало на спину несколько кос со вплетенными в них лентами разных цветов; на шее нитки кораллов, на груди серебряные крестики и сердечки, в ушах коралловые серьги, а пальцы у ней на руках были словно окованы золотыми перстнями и кольцами. В ее походке, в каждом повороте ее тела виднелось сознание достоинства дочки богатого крестьянина. Васса никогда не ходила на сборища сельской молодежи, ни даже с девушками в хороводы, ни в дружках на свадьбы; и это не потому, чтоб отец ее не пускал: сама она ничего подобного не любила, а с молодыми ребятами не только не вела бесед, но как только какой-нибудь вздумает подъезжать к ней с двусмысленными выходками, Васса, не говоря ему ни слова, повернется спиною и уйдет, а молодец останется в дураках. Во всей слободе находили ее неприступною, городою, называли даже недоброю, и никто не знал, что в сердце этой чванной дочки богатого мужика уже зародилось чувство любви.

Был у Шпака наймит, по имени Трохим, по прозвищу Яшник, круглый сирота. Родителей потерял он так рано, что и не помнил их. Вскормила его тетка солдатка, женщина очень бедная. Нерадостно прошло детство Трохима. Тетка была баба ворчливая, вечно хныкавшая о своем горе. Да и было отчего. Земли за нею не было. Во дворе с обваленным плетнем стояла хата, близ которой находился погреб: в этом погребе ничего не сберегалось, потому что сберегать было нечего. За двором был небольшой огород, где садились только лук, картофель да подсолнечники, без которых обойтись не может ни одна малороссиянка, ни богатая, ни бедная. Хлеба солдатке не за что было купить, приходилось его выпрашивать, и ходила она со двора на двор, произнося имя Христово: в одном дворе дадут ей хлебный недоедок, в другом щепотку соли. Если же кто, расщедрившись, даст ей кусок сала, тогда у солдатки — праздник: топилась печь, варились галушки. Трохим по следам тетки ходил также за подаянием с грязным мешком за плечами. Хлеб и вода составляли его обычную пищу. Вкуса в молоке он не знал, а яйца и мясо отведывал разве только на Пасху, когда в виде христовой милостыни дадут ему где-нибудь красное яичко или кусок освященной поросятины. В тринадцать лет от роду приставила Трохима громада пасти свиней, и за это занятие он получал три рубля в год да, кроме того, два раза в год, весной и осенью, обходил дворы хозяев тех свиней, что пас, и получал

подачки. Носил он рубаху с заплатами, а сверху надевал серую ветхую свиту, впрочем, какой-то мужик сжалился над Трохимом и осенью подарил ему изношенный тулупчик своего сына, Трохимова однолетка. Спал Трохим где попало: в поле со своими свиньями, а у тетки в хате ложился на голой земле, подостлавши тулуп и свитку под голову,— постели он не знал, как и тетка не знала. Лет пять исполнял Трохим таким образом должность свинопаса, а тем временем вырастал и становился красавцем: его карие глаза и черные брови заставляли засматриваться на него слободских девушек. Только большая худоба лица тотчас показывала, что детство его протекало неприветливо.

Увидал его однажды Шпак, когда молодец гнал с поля свиней, и подумал про себя богатый мужик: «Какой славный хлопец! Ему бы дать другое дело, а пасти свиней мог бы кто иной, похуже его!» Шпак взял Трохима к себе в наймиты.

Нельзя сказать, чтобы у Шпака положение наймита было Бог знает какое хорошее. Крутой мужик-хозяин часто ворчал на него и упрекал то в лени, то в непослушании, хотя Трохим был не ленив и послушен. Да и сам Шпак был им внутренне доволен, только так уже считал нужным держать наймита в строгости, чтоб тот не зазнавался и ни на минуту не забывал разницы между собой и своим хозяином. Но Шпак Трохима кормил и одевал, и то ему после того житья, какое переносил Трохим у своей тетки, житье у Шпака показалось ему очень сносным.

Дочь Шпака не так отнеслась к бедному наймиту, как ее родитель. Статность и красота наймита защемили ей сердце. Трохим от природы был сметлив, и умен, и менее чем всякий другой способен был на смелую выходку к дочери своего хозяина. Девушка предупредила его и сама первая сказала ему, что полюбила его. Трохим предался ей всею душою. Они видались по ночам в саду и любезничали. Васса надеялась, что отец, любя ее без ума, согласится отдать ее за Трохима, если только хорошенько упросить-умолить старика. Долго стыдилась Васса и не решалась заговорить с отцом о своей любви. Наконец пришел к Шпаку один раз сосед односелец, и после ухода гостя Шпак говорил дочери:

— Приходил ко мне Павло Дрижак и молвил: «Как бы нам спаровать своих детей? У тебя,— говорит,— дочь, а у меня сын». А я ему в ответ: «Жить с моей дочерью не тебе, а твоему сыну, и с твоим сыном жить не мне, а моей

дочери. Спрошу у дочери, как она скажет, так пусть и будет. Коли скажет, что пойдет за твоего сына, так присылай сватов, а скажет, что сын твой ей не по сердцу, тогда не взыщи».

— Я не пойду за Дрижаченка. Я не люблю его,— отрывисто и решительно произнесла Васса.

— Не любишь,— сказал Шпак,— так и разговора больше не будет об этом. Я так и скажу Дрижаку. Я своей дочери силовать не буду, да и мешать ей не стану. За кого она захочет выходить, за того пусть и выходит.

— Так вы, тату, не станете мешать вашей дочери выходить замуж за того, за кого она сама захочет? — сказала Васса.

— Боже сохрани! Большой это грех! — произнес Шпак.

— А если,— сказала Васса,— я захочу идти за нищего, безродного?

— Хм! Как это может статься, чтоб ты пошла за нищего, безродного! Как-таки нищий и безродный посмеет приступить к тебе? Знаю тебя я, дочка! Не то что нищий и безродный — и любой отецкий сын в нашей слободе без опаски не подойдет к тебе. Ты вся в своего батька,— так говорил Шпак.

— Тату! — робко произнесла Васса.— Я полюбила всею душою нашего наймита Трохима и ни за кого не хочу выходить, только за него.

— Дочко! — сказал Шпак.— Что ты шалишь, что батька дразнишь? Не повторяй этого больше. А то, чего доброго, подслушает твои речи наймит и заберет себе в голову не знать что!

— Нет, тату, я не дразню батька, я говорю правду. Люблю Трохима: отдай меня за него; ни за кого другого идти не хочу,— сказала решительно девушка.

Шпак, сидевший до того времени на лавке с палкою в руке, вскочил, стал ходить по светлице, потом остановился и судорожно ударил палкою о помост.

Васса стояла у печки молча, ожидая своей судьбы. У отца сверкнули глаза гневом. Он как будто готовился что-то произнести, но удержался. Постоявши немного времени на одном месте, он опять прошелся по светлице, потом сел на скамью и стал водить концом палки по помосту. Васса все молчала, глядя на отца. Наконец Шпак, силясь казаться спокойным, сказал:

— Что сказано, так тому и быть. Я сказал: за кого сама захочешь, за того и выходи. И опять скажу: силовать тебя,

дочка, я не стану. Только теперь я тебя за Трохима не отдам, а отдам, коли Бог даст, после. Пусть твой Трохим наживет себе жупан из синего панского сукна да приедет ко мне со сватами на своем собственном возе, своею собственною лошадью. Тогда я отдам тебя за него. А до той поры пусть не порывается: сегодня же сгоню его со двора. Пусть сюда своего носа не сует!

— Это загадка! — сказала Васса.— Куда какие вы, тату, добрые на словах, а как до дела дойдет, так и вы, я вижу, такие же, как и другие батьки, а может быть, и злее!

— Не тебе наставлять меня,— сказал Шпак рассерженным голосом,— яйца курицу не учат. Ты моя, за кого захочу, за того иди, а против моей воли ты не смеешь!

— Так что же, что я ваша,— сказала Васса с горячностью.— Разве, коли я ваша, так вы меня съесть можете? Ай, тату, тату! Я против воли вашей не пойду, да и как идти: попы венчать не станут без вашего согласия. Только я вам, тату, говорю: не пойду ни за кого, только за одного Трохима. А когда вы за него меня не отдадите, то своей дочери свет завяжете.

— Иди прочь! Не дразни меня! — сказал Шпак.— Отдам тебя за Трохима тогда, когда Трохим приедет ко мне в синем жупане, на своем возе, своею лошадью. Я ж тебе сказал. Чего ж тебе еще! Слово мое непременно. Любишь отца и почитаешь — жди, а не любишь и не почитаешь — иди себе куда хочешь с своим Трохимом. Живите себе у его тетки, нищей солдатки вдовы Орины.

Говоря это, Шпак стучал палкою о помост.

Васса завопила и вышла из светлицы. Ее рыдания раздавались в сенях. Минуты через три за нею вслед вышел и отец. Он прошел мимо нее, умышленно показывая вид, что не замечает ее слез и не обращает на них внимания. Шпак пошел по двору и встретил Трохима, который нес в рабочую хату наколотые щепки.

— Трохим! — сказал хозяин.— Приходи сейчас ко мне в светлицу.

И с этими словами Шпак повернул назад в светлицу и опять прошел мимо плакавшей Вассы, все-таки показывая вид, что не замечает ее.

Сделавши свое дело со щепками, наймит по зову хозяина шел в светлицу, но, встретивши в сенях Вассу, стал расспрашивать, о чем она плачет, как вдруг из дверей светлицы высунул голову Шпак и сурово произнес:

— Трохим, иди сюда!

Вошел Трохим в светлицу. Шпак сказал сухо и отрывисто:

— Ты мне неугоден. Вот тебе твое жалованье за два года с месяцем. Возьми и ступай со двора.

— Куда мне идти? — начал было Трохим.— У меня ни роду, ни племени!..

— А я что же, безродных, бесплеменных содержать должен? — сказал Шпак.— В царскую службу ступай, коли у тебя нет ни роду, ни племени. Там таких и нужно.

— Я не хочу в солдаты,— произнес Трохим.

— Так займись ремеслом каким-нибудь либо торговать начни. Расторгуешься, разживешься, купишь себе лошадь, справишь себе синий жупан из панского сукна, тогда, нарядившись пристойно, ко мне приедешь. Тогда иной почет будет тебе, тогда и за будущего зятя приму. А то рано задумал. У тебя, вижу, губа-то не дура.

Так говорил ему Шпак.

— Как я начну торговать? — заметил Трохим.— Кто даст мне денег на торговлю?

— Не знаю,— сказал Шпак,— это не мое дело, а твое.

Пытался Трохим еще заводить речь с хозяином, но тот перебил его и сказал:

— Ступай себе, разговаривать нечего; когда приедешь в синем жупане, на собственной лошади, тогда поговорим. Теперь что мне с тобой, сермяжником, толковать? Иди отсюда.

Трохим вышел. Васса, стоявшая за дверью в сенях, все слышала. Она бросилась к Трохиму на шею, но грозный отец выглянул из-за дверей и сурово крикнул:

— Васса, иди сюда. Скорее иди. Слушайся отца!

Повиновалась Васса, вошла в светлицу и порывисто промолвила:

— За что вы нас мучите?

— Кого это нас? — злобно усмехаясь, сказал Шпак.— Тебя да еще кого?

— Моего жениха! — твердо произнесла дочь.

— А кто,— спрашивал отец,— кто вас пожаловал в женихи с невестою? Женихом с невестою называется такая пара, что ее родители благословили. А вас какие родители благословляли? Говорил я тебе и Трохиму тоже говорил: когда он разживется, разбогатеет, справит себе синий жупан, лошадь себе купит и приедет ко мне со сватами — вот тогда вы будете жених с невестою.

Завернул Трохим в узел свои две пары рубашек да серяк, подарок Шпака, и отправился к нищей тетке. Узнавши, что сталося с племянником, солдатка разразилась проклятиями Шпаку и его дочери, потом начала корить и бранить племянника за то, что не ужился во дворе богатого хозяина, а напоследок принялась за свои обычные жалобы на нищету и беспомощность.

Наслушавшись теткиного ворчанья, Трохим вышел из хаты, не зная, что с собой делать и куда идти. Стал он бродить под забором барского двора, около двух кузниц, построенных на обрывистом берегу речного плеса, поросшего тростником. Солнце отражалось в воде и в окнах барского дома, чванно глядевшего сквозь зелень лип, посаженных во дворе вдоль заборной стены. Стало Трохиму как-то и больно, и досадно. «Вот как свет стоит,— размышлял он,— одним роскошь, другим нищета и горе». Озлобился Трохим на все, что было богаче и сильнее его. И мгновенно сверкнула в голове у него мысль: «Зачем мне жить на этом свете? Счастья-доли нет мне и, видно, не будет. Я молод. Много лет придется горевать. Лучше теперь порешить с собой, чем долго терпеть». И поддался Трохим такой роковой думе и бросился к плесу с намерением утопиться. Вдруг его ухватил кто-то сзади за плечо. Оглянулся Трохим — перед ним был невысокий, кругленький человечек, одетый в светло-серую бекешу, подпоясанную ременным поясом с серебряною пряжкою. На голове у него был черный бархатный картуз.

— Куда ты лезешь? Дурень! — сказал человечек.

Трохим опамятовался, ничего не ответил и торопливыми шагами повернул от воды. Незнакомец зашел ему вперед и, глянувши в лицо Трохиму, сказал:

— Пойдем в шинок. Выпьешь — полегчает!

Он дернул Трохима за рукав и почти насильно потянул в шинок.

— Ты, может быть,— говорил он Трохиму дорогою,— слыхал про меня что-нибудь недоброе? Не верь ничему. Я человек хороший, всем радетельный.

Вошли в шинок, который содержал великороссиянин. Жидов в этом крае не держали. Угостил незнакомец Трохима, потом пригласил его выйти и повел к барским кузницам.

— Ну-ка,— произнес он,— что у тебя за горе, что ты себя хотел живота лишить? Расскажи!

Трохим рассказал ему про все.

— Только-то! — сказал незнакомец.— Не знаю я этого Шпака, но слыхал: про него говорят — крут мужик! Но уж коли сказал, что отдаст за тебя дочь, так отдаст. Не посмеет не отдать, когда приедешь к нему так, как сам он велел: на своей лошади, в синем жупане из панского сукна!

— А где мне взять жупан и лошадь? — говорил Трохим.— Я не то что человек бедный, совсем как есть нищий, без роду, без племени. Тетка есть, и та нищая: Христовым именем кормится. Старик Шпак сказал нарочно на смех: ему поругаться бы над моею бедностью, знал он, что не достать мне лошади и жупана, оттого так и сказал.

— Ты жалуешься,— сказал незнакомец,— что у тебя ни роду, ни племени. А я тебе скажу: были бы деньги, а при деньгах будут и род, и племя. При доброй године у человека браты и побратимы!

— А при лихой нет ни тех, ни других! — сказал Трохим.— А я, кроме лихой, никакой другой не знал.

— Бывает,— сказал неизвестный,— при лихой године явится друг-благодетель, что добру научит и к счастью приведет. И с тобой так сталось. Я твой друг-благодетель!

Этот странный человек проживал в барском дворе, куда назад тому с год поступил главным садовником. Он помещался в саду в одной половине длинной садовничьей избы, в другой помещались его помощники из крепостных Мотылина, и они-то, собственно, были настоящими садовниками. Этот же, главный, получал от господ поручения, иногда вовсе не относящиеся к садоводству. С первых дней своего водворения во дворе он подделался к опекуну, управлявшему имением, а по возвращении из военной службы молодого Мотылина сошелся с последним еще теснее, чем с опекуном. Дворня, замечая, что он в милости у господ, уважала его и побаивалась; но в слободе смотрели на него сискоса. Лицо его было непоказисто, все покрыто веснушками. Зеленоватые глаза бегали из стороны в сторону. Кругловидный облик лица с торчащими усами придавал его физиономии что-то кошачье. В слободе звали его Придыбалкою, выражая этою кличкою, что он неизвестно откуда приплелся (прыдыбав), а во дворе величали его Фетисом Борисовичем. Считали его иностранцем, хотя никто не мог сказать, какой он нации. Прозвище его было какое-то мудреное, так что никто этого прозвища не помнил. В церкви его никто никогда не видал, но в шинок он хаживал, хотя сам там не пил, только других угощал. Батюшка села Мандрик невзлюбил его чересчур и говорил,

что этот Придыбалка — сам лукавый в человеческом образе. С голоса батюшки и другие то же про него говорили, старые, благочестивые люди.

— Приехал,— говорил Придыбалка Трохиму,— в ваш барский двор кацап с товаром. Есть у него всякое сукно на жупан, и денег найдется еще в придачу на покупку тебе лошади и воза. Пробудет он у нас только до вечера, а к ночи выедет вдвоем с своим батраком и поедет по дороге, что пошла через слободу Лубки. За Лубками есть лес, а в лесу овраг очень глубокий, весь порос кустарником. Дорога идет по самому краю оврага. Ступай туда и засядь возле оврага за деревьями. Как поедет по дороге мимо оврага их повозка, ты выскочи и ударь дубиною в голову купца, потом батрака, только поскорее, чтобы, когда станешь бить одного, другой не успел повернуться. Заберешь себе из повозки, что тебе нужно, а повозку с побитыми людьми и с их лошадьми перевернешь в овраг. Наедет земский суд. Увидят, что лошади не уведены и товар остался при мертвых. Судящие не знают, сколько у них товара было и сколько ты взял себе: присудят так, что купцы, едучи ночью, наехали на овраг, опрокинулись и убились до смерти.

— Как же я людям-то буду говорить, где достал жупан? Все знают, что у меня нет ни гроша за душою,— возразил Трохим, озадаченный таким неожиданным советом.

— Скажешь, что я тебе дал взаймы денег, а ты за них справил жупан,— отвечал Придыбалка.

— Да как же это? — говорил Трохим.— Побить людей! Неповинные души загубить? Как это можно! За такое дело Бог накажет. Я не хочу быть злодеем.

— Так тебе не видать своей Шпакивны женою твоею, как не видать своих ушей,— говорил ему Придыбалка.— Коли хочешь быть праведником, не думай ни о женитьбе, ни о синем жупане, думай о царстве небесном, ступай в монастырь, поступи в тяжелую работу к чернецам. А коли хочешь весело на свете пожить, так не бойся греха: греши, только так, чтоб люди про твой грех не узнали да в Сибирь тебя не услали!

— Бог накажет пуще Сибири! — со вздохом произнес Трохим.

— А ты видал этого Бога? — засмеявшись, сказал Придыбалка.

— Не видал, да люди говорят,— отвечал Трохим,— и

батюшка говорил, что Бог все знает, ничто от него не укроется и он за всякое дурное дело накажет.

— Кабы все боялись, что Бог накажет, так все бы думали, чтоб им сделаться старцами, что милостыни просят, а не бились бы, как рыба об лед, чтоб разбогатеть. Ты, дурень, думаешь, все это богатеют — это они от трудов праведных, без греха богатеют? Сами-то они так про себя говорят, только верят им в том одни дурни. А умные знают, что коли кто разбогател, так это значит, что других по миру пустил, а то еще и хуже бывает: иные через них и живот свой порешили. Хочешь себе счастья: первое дело — не бойся греха, делай все, что тебе корысть приносит!

— Говорят,— сказал Трохим с задумчивым видом,— кровь христианская рано ли, поздно ли не пропадает даром. Люди узнают и в Сибирь сошлют!

— Не узнают! — говорил искуситель.— Делай только так, как я тебя научу. Главное, никому про то ни гугу! Тетке своей ничего не скажи; невесте своей еще пуще того не подай никакого вида. Никто не узнает. Я тебе ручаюсь. Смотри, вон солнышко уже закатывается. Скорее отправляйся. Вот тебе суковатая дубина. Время. Скорее. До того места, где овраг, верст пять добрых будет. Купец уже собирается выезжать. Их двое: сладишь. Смотри только: не шуми, не кричи, присядь за деревьями и тихо жди, и сразу, молча, бросься на них. Лупи их прямо по головам. На твое счастье купец, может быть, заснет в своей повозке.

Трохим, увлекаемый какою-то непонятною для него силою, не нашел более ничего возражать, не отважился и звать с собою неведомого искусителя в товарищи, хотя внутренне был недоволен, зачем тот, давши ему такой совет, сам не предложил помогать Трохиму. Принявши из рук Придыбалки суковатую палку, он пошел в путь.

Дорога шла из Мандрик через плотину на другой берег заросшей камышом реки и поднималась на гору, покрытую лесом. Взошедши на гору, Трохим шел версты две мимо убранных нив: был тогда август, ночь с 12 числа на 13-е. Дошел Трохим до слободы Лубки, проминул помещичью усадьбу, прошел мимо деревянной церкви, обсаженной березами, и вступил в лес. Страх начал подступать ему к сердцу. Затревожила его мысль о божеском наказании, но он спешил прогнать от себя эту мысль приятными образами синего жупана, Вассы и старого Шпака, который, увидя его в таком виде, в каком сам велел ему явиться, отдаст за

него дочь по данному обещанию. Известно, что голос совести у человека слаб до совершения преступления: иначе бы их так много не совершалось. Трохим ускорил шаги свои, вдаваясь в лесную густоту. Наконец дорога поворотила влево и подходила к оврагу не далее, как шага на три. Здесь Трохим остановился и сел за деревьями ожидать свою добычу.

Недолго пришлось ему ждать. Через какие-нибудь четверть часа он послышал стук колес и лошадиный топот. Купец ехал по дороге почти вслед за Трохимом. Как только повозка поравнялась с оврагом, бросился Трохим и сперва огрел дубиною по голове правившего лошадьми батрака, потом спавшего в своей повозке купца. Пробужденный ударом купец произнес крик, но Трохим повторил удар, и купец не испустил более никакого звука. Трохим вынул у мертвого из кармана бумажник, а потом стал выбрасывать товарные тюки, как вдруг перед ним нежданно явился Придыбалка. Удивленный Трохим хотел было расспрашивать его, как он здесь, но Придыбалка, взявши один из тюков, сказал Трохиму:

— Вот это с собой бери, а прочее все бросай! Земский суд наедет, пусть увидит, что с мертвыми их товар остался, и подозрения в разбое ни на кого не будет!

Опрокинули в овраг повозку с трупами побитых людей, с их товаром и с лошадьми.

— Оно так лучше будет! — говорил Придыбалка.— Я еще в барском дворе подсмотрел, что у него в этом тюке есть. Тут все найдешь, что тебе теперь нужно. Две штуки сукна, одна синего: из этой будет тебе жупан, другая — черного, из той сделаешь себе штаны и шапку; есть еще здесь и бархат на жилет и штука тонкого холста на рубашки.

Трохим показал ему бумажник. Придыбалка сосчитал и нашел, что в нем было до осьми тысяч рублей.

Оба воротились в Мандрики. Придыбалка ушел в барский двор, а Трохим к своей тетке, которая уже спала. Трохим, не тревожа ее, улегся в сенях, осаждаемый попеременно то сладкими мечтаниями о могущем ему быть счастии, то уколом нечистой совести.

На другой день по совершении убийства мужики слободы Лубки увидали опрокинутую в овраг повозку с мертвыми телами людей и лошадей. Дано было знать земской полиции. На месте приключения земская полиция произвела

следствие и удостоверилась, что с мертвыми остался их товар. В кармане у купца нашли еще бумажник с деньгами. Трохим не заметил этого бумажника, когда вынимал другой, потому что он находился в другом кармане кафтана на противоположном боку. Это обстоятельство более всего утвердило земскую полицию в том решении, что найденные мертвыми погибли от собственной неосторожности. И врач, свидетельствовавший их трупы, также заявил, что смерть постигла этих людей от сильного удара головами о древесные пни во время падения в овраг. Во избежание подобных несчастных случаев на будущее время земская полиция обязала владельца дачи, приписанной к слободе Лубкам, устроить около оврага со стороны дороги кирпичную загородь.

Обо всем этом узнал Трохим от Придыбалки. По распоряжению последнего, дворовый портной взялся шить Трохиму длиннополый сюртук, который тогда малоруссы называли жупаном, черные штаны, бархатный жилет и шапку; дворовый сапожник принялся шить ему сапоги, а барские белошвеи кроили и шили Трохиму белье. Всем во дворе Придыбалка рассказывал, что дал Трохиму денег на одежду и на покупку лошади и воза. «Шпак,— говорил он,— посмеялся над бедняком; задал ему такую хитрую загадку, что тот хотел наложить на себя руки. Теперь я в свою очередь насмеюсь над богачом». Это всем слушавшим нравилось, потому что малоруссы вообще охотники подтрунить над чванством своего брата разбогатевшего мужика. Придыбалка приговорил двух человек в сваты Трохиму: один был тот дворовый сапожник, что шил Трохиму сапоги, другой — зажиточный крестьянин из слободы, Негляд.

Дожидаясь приготовления одежи, Трохим отправился повидаться с Вассою. Он решился открыть ей про себя всю правду. Трохим слишком горячо любил Вассу, чтобы решиться лгать перед нею, сочинять и притворяться. Стал Трохим ходить около Шпакова сада и, заглянувши в щель частокола, увидал Вассу. Она была, как казалось, одна в саду и рвала яблоки. Трохим через щель сказал ей, что нужно с нею поговорить, и Васса вышла из сада во двор, из двора в ворота и, обогнув двор и сад, очутилась за оградою сада перед Трохимом.

— Станется все точно так, как твой батько велел,— сказал Трохим Вассе.— Я приеду со сватами на своем собственном возе, своею лошадью, одет буду в синий жупан из панского сукна.

— Где ж ты достал все это? — спрашивала его Васса с выражением неожиданной радости и вместе испуга.

— Чужим людям никому про то не скажу, а тебе все открою,— отвечал Трохим.— Воля твоя будет: хочешь — выходи за меня, хочешь — плюнь на меня, как на самое последнее ледащо!

Трохим рассказал ей все подробно, сообщил и о том, что земская полиция присудила после произведенного следствия.

Слушая страшную повесть, Васса бледнела, потом отскочила от Трохима с каким-то диким взглядом, потом подняла руки и закрыла ими лицо себе. Трохим дрожал, как Каин. Боязнь божеской кары, уже до того времени тревожившая его, охватила в нем душу с неудержимою силою. Несколько минут он молчал. Молчала и Васса, продолжая закрывать себе лицо руками и всхлипывая.

— Ах Васса, Васса! — начал снова Трохим.— Ты думаешь, мне не страшно того, что я наделал? А как же было делать? Я хотел утопиться и утопился бы, когда бы этот Придыбалка меня не оттащил от реки. Легче ли было бы тебе, если б я сам себя смерти предал? Коли ты меня больше не любишь, скажи одно слово, и я пойду брошусь в воду!

Васса стала смотреть на него с выражением скорби, потом задумчиво опустила голову и немного погодя, как бы что-то вспоминая, промолвила:

— Говорят, когда кто убьет человека, тот пусть идет в самую глухую полночь на то место, где похоронили убитого: там ему привидится такое, что он узнает, как его Бог покарает и скоро ли постигнет его кара. Так старые люди говорят. Батько в книге читал, что одному убийнику было такое видение на могиле убитого. Убийник после того стал спасаться, и Бог его простил. И ты сделай так: иди в полночь в лес, где побитых зарыли в землю. Что там тебе станется — мне про то скажешь. Тогда подумаем, что делать.

В раздумье ушел от ней Трохим и в тот же день в сумерки направил путь свой туда, куда посылала его невеста.

Взошел Трохим на гору, дошел до Лубков, прошел слободу Лубки, стал входить в лес. Мимо собственной воли стало Трохиму очень-очень страшно. Совесть в нем заговорила. «Суд не узнает,— думал он,— правда; суд уже решил, что

купцы сами убились и разбоя никакого не было; на меня никто не положил думки; всех обманули мы, но Бога обмануть невозможно. Бог все видел, как делалось, Бог все знает... Бог знает, что был разбой и разбойник — я. Бог и такое знает, чего еще не сделал человек, а только думал сделать. Бог — такой судья, что от него ничто, ничто не скроется. Бог справедлив. Не только худое дело, и худая думка не останется у Бога без кары».

Никак и ничем не мог Трохим отогнать от себя гнетущей мысли о божием наказании. Чем ближе подходил он к роковому месту, тем страшнее становилось ему. Ночь была безлунная; звезды на небе то закрывались тучами, то сверкали, выступая из-за туч. Была глубокая тишь; листья на деревьях не шевелились. Вот наконец Трохим дошел.

На левой стороне от дороги в ночном полумраке отличил Трохим новый деревянный крест, поставленный на могиле свежей, еще не утоптанной. Воображению преступника стали представляться мертвецы, вылезающие из-под земли: они грозно глядят на него и как будто призывают против него божеское правосудие. Скрепившись, подходит он к могиле; ноги у него подкашиваются. Трохим перекрестился, положил земной поклон и произнес:

— Господи, помилуй! А вы, души праведные, простите меня, вашего убийника.

Вдруг у него в глазах зарябило, сердце застучало. Он не в силах приподняться. Он не понимает, что с ним творится. Ему мерещится Придыбалка: вот он как будто стоит прямо против него и смотрит так насмешливо. Ему представляется синий жупан, представляется и лошадь, запряженная в новый воз; и приходит ему в голову: «Вот если б я не побил купцов, не имел бы ни синего жупана, ни лошади, ни воза, и не увидать бы мне Вассы вовеки!» Но эту мысль быстро сменяет другая: «Не лучше ли было мне терпеть нищету, оставаться свинарем? Меня б не давило тогда такое горе, что теперь давит: оно тяжелее нищеты». Вслед за тем ему в голову как бы вскакивает опять мысль, противоположная: «Деньги у меня есть, а с деньгами еще деньги будут и прибудут. Люди не знают и не узнают, откуда я их добыл!» Но эту искусительную мысль тотчас сменила другая: «Да, люди не узнают, так Бог узнает и Бог накажет». Трохим напрасно силится приподняться с земли: глаза у него закрываются; его бросает то в холод, то в жар; на него как будто сон находит, он со сном напрасно борется. Порывается Трохим встать и не может: словно

ґвоздями прибит он к земле! И чудится ему: вот-таки будто своими ушами он слышит — из-под земли голос выходит: «Господи, покарай того злодея, что нас побил!» А этому голосу отвечает другой, кто его знает откуда: «Покараю в сорок лет!» [1] И потом — нет ничего! Трохиму как будто стало легче, его члены раздвигаются, он открывает глаза; но его глаза приковываются к могиле, и Трохиму опять страшно. Кажется, вот-вот из-под земли два мертвеца вылезут. Вдруг Трохим будто не своею силою сорвался с места и бросился во всю прыть назад по дороге, а ему чудится, что за ним кто-то гонится, кто-то бежит такими тяжелыми шагами, что земля гудит, что этот кто-то бросает за ним вслед огромные деревья, хочет попасть в Трохима. Бежал Трохим без отдыха и без оглядки, пока не выбежал из леса в поле. Далее бежать он был не в силах и упал на землю.

В эту минуту никак нельзя было уверить Трохима, что с ним на самом деле не было того, что ему представилось. Спустя несколько минут он встал и пошел медленнее; вместо страха ему под сердце подступила томительная тоска.

Прошедши слободу Лубки, Трохим наткнулся на человека, идущего насупротив его. Трохим пригляделся и узнал Придыбалку.

— Ты что тут шляешься? — спрашивает его Придыбалка.— Зачем сюда забрел в такую пору? Отвечай, да смотри: говори правду. Не думай обмануть меня. Не выдумывай ничего. Слышь: правду говори. Меня ты не обманешь.

Трохиму показалось, что этот загадочный человек спрашивает его о том, что уже знает, и спрашивает только для того, чтоб его выпытать: будет ли он ему лгать или откроет правду. Не мог Трохимов язык пошевелиться, чтобы лгать перед наставником и благодетелем. Трохим отвечал:

— Я ходил на могилу убитых.

— Зачем? — спросил Придыбалка.

— Хотел узнать: не привидится ли мне чего-нибудь, не откроется ли мне, будет ли мне кара от Бога,— говорил Трохим.

— Дурень ты великий! — сказал Придыбалка.— Не умеешь держать языка за зубами. Проболтался бабе или девке, а тебе наплели бабьих россказней, а ты, дурень, всему

[1] В народной редакции легенды: «Господи, Господи! Побий того злочинця, що нас побив!» Ответ: «Поб'ю у сорок літ» *(приміт. авт.)*.

веришь и делаешь глупости. Так доболтаешься до беды. Ах ты, дурень, дурень! Недоволен ты, видно, что все так хорошо сложилось для твоей пользы. Ты своим дурацким языком все испортишь: и себя самого погубишь своею дуростью, и меня подведешь. Попадешься в беду да на меня всю главную вину сложишь: я тебя искусил, я тебя на злое научил, подбил! Вы все такие, ледачие, сами заплатить готовы злом за добро, что вам сделаешь. Ну, рассказывай, дурень, что там тебе на могиле привиделось.

Рассказал ему Трохим все, что ему представлялось.

— Дурень и еще дурень! — воскликнул Придыбалка и расхохотался.— Тебе со страху пригрезилось. Ты и в самом деле подумал, что мертвецы с Богом разговаривали! Куда уж им разговаривать, когда ты хватил их по головам дубиною так, что и череп проломал и мозги вывернул.

— А душа? — сказал Трохим.— Недаром же говорят, что у человека не то, что у скотины или у какой-нибудь твари, душа есть. Когда человек умрет, его душа отлетит к Богу, и Бог будет судить ее за грехи.

— Бабы это все наплели! — сказал Придыбалка.— Никакой души у тебя нет и не было, и никуда она не отлетит. Что человек, что зверь, что птица, что рыба, что червяк — все одинаково поживет на свете, и умрет, и согниет, и нет его больше.

— Как можно? — говорил Трохим.— Человек тварь крещеная: оттого у него и душа есть. Батюшка говорит, что все мы после нашей смерти будем жить на том свете; праведные души в рай пойдут, а грешные в пекле мучиться будут за худые дела. Батюшка так говорит, а он все знает, что и как написано.

— Ах, простота, простота! — сказал Придыбалка.— Всему верит, что ему ни скажут. Да ведь батюшки нарочно так выдумывают, чтоб на вас туман напускать да вас обирать; вы боялись бы на том свете пекла, а батюшки за молебны да за панихиды с вас деньги станут брать.

Удивился Трохим таким речам. Подобного он еще не слыхал.

— Значит,— спрашивал он у Придыбалки,— по-твоему так: души у человека нет, и кто умер — тому уж не жить?

— Не будет тот больше жить, кто умрет! — объяснил ему Придыбалка.— Коли батюшки знают такое место, где живут те, что померли на этом свете,— пусть вам покажут такое место.

— Про то Бог знает! — сказал Трохим.— А мне сдает-

ся: не может быть так, чтоб человек как умрет, так душа его не жила бы на том свете у Бога! Нас всех будет судить Бог; и меня он станет судить за мое лихое дело. Вот я и боюсь страшного суда его, и на муку вечную в пекло меня Бог осудит.

— Почему ты знаешь, что есть на свете какой-то Бог? Я об этом тебя уже раз спрашивал; и теперь опять спрашиваю. Видал ты этого Бога? Покажи ты мне его, дай поглядеть на твоего Бога,— смеясь, говорил Придыбалка.

— Люди умные говорят про него, а я что? — сказал Трохим.— Я прост человек. Попы — люди письменные, ученые; они про то знают и нас, дурней, учат, над попами есть архиереи, те еще умнее попов, а над архиереями, сказывают, есть старшой, папа Рим называется,— тот, говорят, Бога видит и с самим Богом разговаривает.

— Все вздор, все глупые бабы такое болтают,— сказал Придыбалка.— Никто Бога не видал, никто с Богом не разговаривал, потому что Бога на свете нет и никогда не было. Нынче умные люди не верят ни в Бога, ни в дьявола, ни рая по смерти не дожидают, ни муки в пекле не боятся, только говорить о том не смеют.

— Коли Бога нет, как ты говоришь, так кто ж это сотворил свет весь? — спрашивал озадаченный Трохим.

— Само себя все сотворило! — отвечал Придыбалка.— Все, что ты видишь кругом себя: небо, солнце, звезды, всякая тварь на земле и в воде, всякая рослина в поле — все это называется природа, все это сталось само собою, безо всякого Бога, так-таки само себе сложилось. Ты думаешь, все, что вам рассказывают про Бога, думаешь, они и на самом деле верят, что есть Бог? Нет, Трохим. Они знают правду, знают, что Бога нет, да вам этой правды не сказывают для того, чтоб вы были все дурнями, ничего не ведали, ни об чем не судили и верили бы всему, что вам скажут, и делали бы то, что вам велят. Вот они и закон такой написали, чтоб вам во вред был, и обдуривают вас: говорят вам, будто сам Бог дал такой закон. Смекни, брат Трохим, откуда взялся этот Бог, что ты его так боишься? Никто того Бога не видал, никто не знал и не знает, хоть и говорят, будто он есть где-то.

— Стало быть, и суда от Бога нам не будет за наши худые дела? — спрашивал Трохим.

— Конечно, не будет,— отвечал Придыбалка.— Кому судить, коли бога нет. Да и как тебя судить, когда тебя на свете не будет.

Трохим не нашелся, что на это сказать. Молча шли они оба вместе. Приближаясь к Мандрикам, Придыбалка возобновил беседу и говорил:

— Вы все боитесь суда за злые дела. А какие такие злые дела и почему они злы — того не знаете. Волк задерет овцу, кошка задерет птичку. Что, это разве не злые дела? А если злые, то, стало быть, и волков, и кошек, и всякого лютого зверя будет судить Бог? Как ты скажешь?

— Не знаю,— отвечал Трохим,— наш дьячок как-то раз говорил, что на страшном суде волк принесет в зубах кость того барана, что когда-то задрал, и Бог будет его судить.

Придыбалка сказал:

— Волк скажет Богу: «Мне есть захотелось, оттого я задрал овцу. Зачем ты, Боже, создал меня такого, что я не могу есть травы, а ем только мясо? Коли мне овец не драть, так с голода пропадать». И тебя если б стал Бог спрашивать: «Зачем ты купцов побил?..» А ты бы тому Богу в ответ сказал: «Зачем, Боже, сотворил меня бедняком? Коли б я бедняком не был, я б и купцов не побивал. А то я вижу: другие люди женятся, и мне захотелось жениться; но другие люди живут в добре и холе, и за них девушки идут, а я живу в нищенстве, и за меня, через мою бедность, девушки не отдали. Вольно было тебе, Господи Боже, создавать меня бедняком! Мне тоже, как и всякому другому, хочется хорошо пожить. А чтоб хорошо пожить — нужны деньги, нужно платье, нужна лошадь и много чего еще нужно. У других людей все это есть, а у меня нет. Даром никто не дает, купить не за что, а жить хочется. Вот я пошел и побил купцов: затем их побил, чтоб набрать себе такого, чего нужно для житья хорошего. Зачем, Боже, сотворил меня таким, что я должен делать тебе неугодное? Когда меня ты сотворил, то знал, что я буду худое делать: ты бы лучше меня совсем не творил!» Это я тебе, Трохим, только для примера говорю, как бы ты отвечал перед Богом, если бы тебя стал Бог судить; но Бога нет, и судить тебя некому будет, и говорить тебе так не придется. Поживешь, поживешь, потом умрешь и согниешь в земле. Вот и весь конец тебе. И всем тот же конец. Одни дурни думают о Боге и боятся суда его. Умные люди о такой чепухе не помышляют и стараются только о том, как бы на этом свете повеселее пожить.

Не привык Трохим прежде размышлять, а слепо держался детских представлений; не в силах он был, однако,

защищать их, когда Придыбалка принялся их разбивать. В Трохимовой голове возник какой-то туман.

Дошедши до Мандрик, собеседники расстались. Придыбалка пошел к себе в барский сад, Трохим к тетке. Он сообразил, что тетка уже спит, не вошел в хату, а уклался под повиткою. Утром, вошедши в хату, он дал тетке денег и поручил ей купить курицу, молока и водки и приготовить обедать по своему желанию, а сам отправился ко двору Шпака. С улицы, через окно светлицы, увидал он старика, возившегося около своих книг. С ним в светлице была и дочь его. Васса из светлицы через окно увидела своего возлюбленного, ходившего по улице. Трохим подмигнул Вассе. Васса кивнула головою. Через три минуты Васса была уже за воротами своего двора и пошла вслед за Трохимом, стараясь идти вдали от него, чтоб отец из светлицы не заметил их вместе. Они обогнули двор, пошли вдоль сада и сошлись. Трохим рассказал ей, что с ним было на могиле убитых купцов. Прослушавши рассказ с напряженным вниманием, Васса сказала:

— О, коли в сорок лет обещает Бог побить тебя, так нам таки долго придется пожить! Приезжай со сватами к отцу моему и синий жупан надень на себя. Отец отдаст меня за тебя. За сорок лет успеем покаяться и отмолить твой грех; в церковь начнем усердствовать, нищим будем раздавать милостыню по нашему достатку. Бог нас помилует. Бог без меры милосерд. Отец в книге читал, что такого греха нет, чтоб его нельзя отмолить перед Богом.

Трохим под влиянием Вассы успокоился. Он отправился к тетке, пообедал с нею, потом пошел к Придыбалке.

Сошлись они на заветном месте под барскими кузницами, и стал Трохим держать совет, как ему жить на свете.

Придыбалка говорил:

— Первое, мой дорогой Трохим, покинь всякие бабьи россказни. Забудь про своего Бога, совсем выбей себе из головы эту поповскую нисенитницу. Моих советов послушайся, и будет тебе хорошо на свете. Ты был совсем нищий, а я тебя своим советом разом из нищенства поднял; и в люди начинаешь ты выходить, и выйдешь, коли по моим наставлениям жить будешь; богатым сделаешься, люди знать и уважать тебя станут! Думай всегда о том, что тебе может принести корысть, и чтоб тебе убытку не было, а о том никогда не помышляй, за что грех, за что нет греха! Все это бабьи выдумки. Правду я тебе скажу: греха на

свете за людьми нет вовсе, а, коли хочешь, есть у людей глупость, вот она-то и есть настоящий грех. Кто глуп, тот и грешен. Деньги наживать — не глупо, стало быть, и не грешно. Надобно только так делать, чтоб никто не знал, как ты их наживаешь, и никто бы не посмел тебя осудить. Сам теперь видишь, как умно поступил по моему совету: убил купца и добыл от него все, что тебе нужно было, а лишнего ничего не взял. Никто на тебя не положил подозрения. Никто не знает, что это сделал ты, никто этого и не узнает, пока сам не проболтаешься. Сделал бы ты иначе, погнался бы за большою выгодою, забрал бы себе весь товар, увел бы к себе лошадей — вот и пропал бы! Тогда суд смекнул бы, что тут было убийство, стал бы доискиваться и, наверное, доискался бы. А ты вот за лишним не погнался, взял только свое, что тебе необходимо было, и только. И теперь все шито-крыто. Вот по этому образу и всегда так поступай. Без самой последней крайности не пускайся на такое дело, что за него пришлось бы идти в Сибирь, коли б оно за тобой открылось. Этого мало. Без последней крайности никого не обмани, ни у кого чужого не зажиль, никого не огорчи, со всеми в согласии будь, живи так, чтоб никто худого про тебя сказать не посмел; а уж коли пришла крайность последняя, тогда ничего не бойся, никого не жалей, нужно обмануть — обманывай, только так, чтоб люди не узнали, а хоть бы узнали, то чтоб не посмели попрекать; придется украсть — украдь, но только так, чтоб люди никак не узнали, что ты украл; нужно человека убить — убей, да только так, чтоб все было шито-крыто, вот как теперь сталось. Не бойся греха,— суда божия на том свете себе не жди, а умей только от суда людского на этом свете укрыться. Вот что называется быть умным. Я тебе скажу: узнаю все, что с тобой наперед будет, и узнаю вернее того Бога, что ты слыхал, как он на могиле в лесу с мертвецами разговаривал. Он обещал тебя в сорок лет покарать, а я тебе скажу: неправда; будешь ты жить в богатстве и благополучии; будь только умен и живи по моему совету.

Чрез несколько дней после того одежа, обувь и белье для Трохима было все готово. Придыбалка купил ему воз и лошадь. Запрягли лошадь в воз, сели на воз двое сватов, Негляд и сапожник; с ними сел Трохим, одевшись в свой новый длиннополый сюртук. Поехали к Шпаку. Трохим соскочил с воза и отворил ворота во двор. Цепная собака,

завидя чужих, рвалась на длинной веревке, по которой скользило кольцо ее цепи. Васса с наймичкою стояла тогда на пороге рабочей хаты. Она ждала гостей, но отца не предупредила. После того как Шпак прогнал со двора Трохима, Васса ни разу не дала отцу повода заметить, что встречалась где-нибудь с ним, а сам Шпак не напоминал о нем дочери: он надеялся, что время все исцелит и Васса, без всяких усилий со стороны родителя, перестанет тосковать о Трохиме. И вот, когда Шпак, надевши очки, готовился читать в «Четьи-минеях» житие Саввы Дорофея, послышался стук колес въезжавшего на двор воза. Закрывши очки и положивши книгу, Шпак бросился отворять дверь светлицы, и вдруг перед ним является Негляд с хлебом в руках. Помолившись к образам, Негляд начал произносить речь, которую при сватаньи по обычаю произносят малоруссы: как молодой князь ездил на охоту, как гонялся за лисицею и потерял ее след, как потом след пропавшего зверя нашелся и довел их до двора хозяина. Говоря о князе, Негляд указал пальцем на Трохима, но Шпак несколько секунд не мог узнать, кто таков был этот названный князь в синем жупане: до того Шпак был далек предполагать, чтоб его бывший наймит мог так скоро явиться к нему в качестве жениха и притом в таком одеянии. Только тогда, когда Негляд назвал жениха по имени, Шпак дрогнул и побледнел, а Трохим, поклонившись до земли, сказал:

— Вы обещали отдать за меня Вассу Денисовну, когда я приеду на своем возе, собственною лошадью, в синем жупане. Я так приехал, как велели.

— А где ты взял синий жупан? — спрашивал Шпак.— Украл или, может быть, купца на дороге убил да у него из товара сукна взял?

Невольно дрогнул Трохим. Такую речь впору было бы Шпаку произнести, если б он сидел в лесу за Лубками, когда Трохим расправился с офенями. Шпак продолжал:

— Вот я покажу тебе свою дочь. Я тебя в земскую полицию отправлю; пусть доищутся, где ты достал жупан и лошадь.

— Не говорите так,— сказал Негляд.— Не кладите на свою душу греха, а на свою семью позору. Трохим беден, да честен. Мы знаем, откуда он добыл себе жупан, и воз, и лошадь. Нашлись добрые люди, дали ему взаймы денег, на эти деньги он себе все справил.

— Как это может статься? — сказал Шпак.— Какой дурак даст денег такому оборванцу?

— Не все такие, что дают деньги только ради своей наживы,— сказал Негляд.— Есть на свете и такие добрые люди, что бедному человеку помогают в нужде.

— Эти добрые люди,— сказал Шпак,— верно, дали ему денег, надеясь получить их от меня, когда успеют одурачить и сделать тестем этого голодранца. Скажите, какие это добрые люди в мой карман заглядывают?

— Не тревожься, Денис Савельевич,— сказал Негляд,— никто в твой карман не заглядывает. Ты прогнал Трохима от себя за то, что дочь твоя полюбила его; он, бедный, хотел с горя утопиться, но по Божией воле спас его от смерти добрый человек, Фетис Борисович. Этот Фетис Борисович и денег ему дал. Не бойся, Денис Савельевич, он с тебя этих денег править не будет. Твой зять, когда разживется, сам ему заплатит, а не то барин за него отдаст, а не изволит барин отдать и с твоего зятя получить нельзя будет, все-таки с тебя Фетис Борисович их не потребует. Бог наградит его за доброе дело, что человека от напрасной смерти спас!

— Кто такой этот Фетис Борисович? — спросил Шпак.

— Тот, что у барина в садовничьей живет,— сказал Негляд.— Кто он таков — Бог его знает, а в слободе зовут его Придыбалкою.

— Я отлыгаться не стану,— сказал Шпак.— Говорил я этому голодранцу, что тогда не стану перечить своей дочери выходить за него, когда он приедет ко мне на своем возе, собственною лошадью, одетым в синем жупане. Не отпираюсь. Я так сказал. Только уж коли Фетис Борисович нашёлся ему таким благодетелем, так подобало бы ему придти ко мне и со мной повести об этом деле разговор.

— Он придет, как вы дадите согласие,— отвечал Негляд.

— Я спрошусь у барина,— сказал Шпак.— Покойный барин — царство ему небесное! — обещал вольную моей дочери вместе с тем, кто будет ее мужем, а моим зятем. Он велел тогда придти к его сыну. Нельзя мне не сходить к молодому барину.

— Хорошее дело, Денис Савельевич,— сказал Негляд,— барская воля всему голова. Только нам, сватам, вы должны сказать: согласны ли отдать дочь свою, и жениху тоже объявите, вот он перед вами!

— Позову дочку,— сказал Шпак.— Сама она пусть скажет. Я ее ни в чем не силую.

Он вышел и через две минуты опять вошел в светлицу вместе с Вассою.

— Васса,— сказал отец,— сватают тебя за Трохима... Господа сваты! Как бишь вы его величаете?

— Семеновича,— сказал сапожник.

— За Трохима Семеновича,— продолжал Шпак.— Желаешь ли идти за него замуж?

— Желаю, тато! — сказала Васса.

— Слышите, господа сваты,— сказал тогда Шпак.— Ее добрая воля: сама вам объявила. Я ей не перечу; спрошу только барина, потому что я из барской воли не выхожу.

Явились на стол водка, пироги, колбасы. Стал хозяин угощать гостей. В это время двери отворились и в светлицу вошел Придыбалка.

— Денису Савельевичу сто лет здравствовать,— сказал он входя.— Хлеб-соль добрым людям и горилка. У вас, вижу, на лад пошло.

Шпак пригласил нового гостя к беседе, хотя смотрел на него недоверчиво. Придыбалка не допустил Шпака делать подходы к делу, и сам первый завел речь о Трохиме, занес Шпаку турусы на колесах о том, как Трохим хотел утопиться, а он, случайно вышедши со двора, увидал это и остановил парня, как потом дал Трохиму денег взаймы, чтоб справил себе жупан, воз и лошадь.

— А тебе, Денис Савельевич,— прибавил он,— надобно непременно сходить к барину. И я буду при барине, когда ты придешь к нему.

Шпак, выпроводивши гостей, надел на себя новую свитку светло-синего сукна, которую надевал не более трех или четырех раз в год, и вышел из дома.

Придыбалка, подбившийся в расположение к молодому Мотылину, уже сообщил ему историю Трохима, выставивши себя спасителем. Барин в этот день знал, что делается у Шпака, и ожидал последнего к себе, когда Шпак, вышедши с своего двора, направился к барскому двору. Мотылин был человек добродушный и заранее потешался над тем, что богатый мужик зачванился, а потом запутался так, что теперь должен будет в самом деле делать то, что обещал только в насмешку над бедняком. Придыбалка был вместе с барином, когда Шпак входил во двор.

— Что, старый хрен, попался в тенета? — сказал ему отставной гусар.— Сам научил зятька. Видишь, он так и приехал к тебе, как ты ему велел.

— Я затем и к вашей барской милости осмелился придти, чтоб испросить вашего господского дозволения,— сказал Шпак, низко кланяясь.

— Ему,— сказал Мотылин,— ему, доброму Фетису Борисовичу, благодарен будь за все. Он твоего зятя из беды выручил, из воды вытянул! А ты, старик, я вижу, недобрый человек! Как тебе не жаль было бедного парня? До чего ты его довел? Сквалыга ты этакой! Вот за это стоишь ты, право, того, чтоб тебя здесь разложить да взбучить. Я прощаю тебе ради моего покойного отца, что он тебя, старого хрена, любил и в завещании написал, чтоб тебе отдать семь тысяч, что ты отдал ему на сохранение.

Мотылин ушел и, возвратившись снова, держал в руке билет Сохранной казны воспитательного дома.

— Вот,— говорил он,— и твои деньги. Покойный отец отправил их в опекунский совет, чтоб накопить тебе процентов. Тут их накопилось уже за четыре года. Из этих процентов, что наросли на твой капитал, заплати Фетису Борисовичу все, что он истратил на твоего зятя. Слышишь?

— Слушаю,— сказал Шпак.

— А ты, Фетис Борисович,— продолжал Мотылин, обращаясь к Придыбалке,— подай ему счет. После этого нечего медлить, старик: за свадьбу!

— Благодарим вашей барской милости,— сказал Шпак, кланяясь и касаясь пальцами до земли.

— После свадьбы,— сказал Мотылин,— пусть молодые придут ко мне получить отпускную.

Прошло после того не более как две недели, и двор Шпака огласился свадебными песнями дружек. Была первая половина сентября. Погода стояла ясная, теплая. Крестьяне покончили полевые работы и занимались возкою снопов на гумна: это самое подходящее время для веселостей в сельском быту. Свадьба у Шпака устроена была не хуже и не скупее, как у всякого зажиточного мужика, но там недоставало живой непринужденной веселости. Хозяин старался быть со всеми приветлив, всех просил есть, пить и веселиться, но всем было как-то неловко в близости с ним, и все дышали тем свободнее, чем меньше замечали внимательность к себе хозяина. Даже тетка Трохимова, после многих лет нищенской жизни, теперь, в качестве жениховой матери, посаженная на почетном месте, чувствовала себя так стеснительно, что хотела бы уйти в свою бедную хатку.

После свадьбы новобрачные ходили к барину, и Мотылин выдал им отпускную.

Пришел после того к Шпаку Придыбалка и при нем говорил его зятю:

— Я тебе, Трохим Семенович, дам вот какой совет: ты переселись в город и запишись в купцы. Только прежде выучись читать и писать. Человек неграмотный все равно, что малый ребенок, которому всегда нужна нянька. Так неграмотному нужен всегда благоприятель, чтоб его во всем наставлять. А выучишься грамоте,— словно из слепого сделаешься зрячим: никто тебя не обманет, а всякий будет еще бояться, чтоб ты его не обманул!

— Истинно правда, Фетис Борисович,— сказал Шпак, лебезивший тогда перед Придыбалкою, панским любимцем, до унижения.— Настали такие времена, что, не знаючи грамоте, невозможно никуда сунуться!

Предложил Придыбалка сам учить Трохима гражданской печати, которую знал тверже, чем Шпак, более сведущий в церковной. Стал Трохим ходить к Придыбалке и учиться чтению и письму, гражданской печати, арифметике и уменью считать на счетах. Придыбалка хвалил понятливость ученика своего.

В следующую зиму перед масленицею молодой Мотылин женился на дочери своего соседа, владельца слободы Лубки, и, по окончании свадебных пиров в барском дворе, в великий пост, Трохим, по обычаю пришедши к Придыбалке заниматься, услышал от него такое слово:

— Нам приходится расстаться и, верно, уж навсегда. Дай мне руку.

Трохим подал ему руку. Придыбалка внимательно посмотрел ему на ладонь и говорил:

— Я умею угадывать по рукам, что с человеком вперед станет. Ты богат будешь. Пойдешь в купцы — знай: все торговое дело на том построено, что один другому лжет, один другого обманщиком обзывает, а себя честным выставляет, а всех искуснее, умелее тот, кто успееет так прикинуться, что все его честным считают и никто его в обмане никак не поймает, а он-то самый первый обманщик и есть. Тот паче всех разбогатеет. Смотри, Трохим! Дойди до того, чтобы всех обманывать, а тебя никто обманщиком назвать бы не посмел и все бы трубили про твою честность. А чтоб до этого дойти, нужно с начальством ладить, нужно ему взятки давать. И ты, знавши это, не

скупись, давай всем, кому нужно давать: лучше иногда и лишнее дать, и такому иногда дать, что можно бы и не давать; все-таки лучше, нежели не дать или не отдать кому следует. Давши начальству взятки, не бойся ничего и никого: уже тебя никто не посмеет чернить, боясь начальства, потому что начальство — сила, а ты себе силу закупил! Только над всяким начальством на свете есть еще начальство верхнее. Большому кораблю плавание большое, а малой лодке плавание малое. Вот ты начнешь торговать в небольшом городе; это тебе малое плавание будет. Тут городничие, исправники, заседатели и другие, всех их закупишь себе взятками. А расторгуешься — перейдешь в губернию, там тебе будет побольше плавание: там губернаторы и прочие важные лица, подлаживайся к ним и взятки давай. Они ведь тоже люди, и им своя польза дорога. Расторгуешься — перейдешь в столицу: там тебе будет самое большое плавание. Там начальство еще выше: там министры, генералы, всякие знатные особы. И они люди, и им хочется жить как можно лучше; и к ним подладиться можно. Зато уж как с ними в приятство войдешь, так широко и высоко пойдешь; всею Россиею повернешь! Тогда обманывай всех сколько хочешь, никто не посмеет обвинить тебя, ни даже попрекнуть.

— Куда мне так высоко залетать? — сказал Трохим.

— Не говори так! — сказал Придыбалка.— Сколько таких примеров, что смолоду ходит человек в изорванном серяке, а под старость ворочает миллионами. Мне, Трохим, сдается, что с тебя выйдет богатейший купец на всю Россию. У тебя смекалки-то много. Перечислишься в купцы, прислушаешься к их речам, присмотришься к их делам и многое поймешь. Не забывай только моих наставлений,— главное: о своем Господе Боге не думай, суда его не жди, чертей в пекле после смерти не бойся! Помышляй только о том, как бы себе на этом свете пользы больше получить.

— Вы куда ж уходите отсюда? — спросил Трохим.

— Наш барин женился. Молодая барыня невзлюбила меня. Я ухожу от них,— отвечал Придыбалка.

— Куда? — еще раз попытался спросить Трохим.

— На что тебе знать? — сказал Придыбалка.— У тебя своя дорога. И мы, верно, уж более не встретимся. Помни мои наставления.

И они попрощались. Через три дни Придыбалки не было в барском дворе. Никто не мог сказать, куда и в какое время он уехал и даже уехал ли. Словно испарился или

сквозь землю провалился. Не было об нем с той поры ни слуху. В Мандриках тогда сильнее подозревали: не бес ли то был в человеческом образе! А оно правдоподобно, судя по тому, как он отзывался о Боге.

Того ж года после Пасхи не было в Мандриках ни Трохима с Вассою, ни его тестя. Усадьба Шпака по продаже, с разрешения помещика, перешла к другому лицу.

Перебрался Трохим в город, записался в третью гильдию, принялся, по совету с тестем, торговать подсолнечным маслом, которое в то время было совершенною новостью и давало Трохиму большие барыши до тех пор, пока, по примеру его, другие торговцы не взялись за то же; тогда случайно на улице услыхал Трохим разговор двух прохожих, толковавших о том, что один торговец другого города разжился от торговли косами, которые тогда привозились из Австрии. Не сказавши никому о своем намерении, Трохим договорил одного немца, жившего в аптекарских гезелях переводчиком, съездил с ним за границу и привез оттуда транспорт кос. Обогатили Трохима косы пуще подсолнечного масла. Трохим был в состоянии купить себе двухэтажный дом с лавками внизу. Потом заметил Трохим, что люди ни от чего так быстро не разживаются, как от винных откупов, и вступил в компанию откупщиков, состоявшую из купцов и помещиков. В этом деле еще более посчастливилось Трохиму.

«Эка! Как ему деньги-то сыпятся! — говорили торговцы.— А кажись, никакой особой мудрости в нем нет». И в самом деле, никак не могли отыскать в Трохиме таких качеств, что помогали ему разживаться. С виду он казался так себе, простофилею, прикидывался незнайкою, когда его пытались о чем-нибудь выспросить, сам никогда прямо не спрашивал о том, что его данное время занимало, а старался узнать об этом как-нибудь сбоку, слушая одним ухом и показывая вид, будто его не касается вовсе то, о чем идет речь, а потом уже извлекал как мог и умел свои выгоды. Из купцов своего города он один только читал газеты и в состоянии был говорить и по-своему судить о таких предметах, которые для других были совершенно чужды, и поэтому он нравился дворянам, которые были с ним в одной откупной компании. «Какой умный мужик этот хохол, какой простой и честный!» — говорили они о Трохиме.

Васса оставалась безграмотною, но, одаренная природным умом, отличалась замечательным житейским тактом:

она успела отстать от таких слободских привычек, которые слишком угловато выдавались в ее новом положении; со всеми приветлива, ни с кем не заносчива, ни с кем особенно не дружилась, ни с кем не ссорилась, никого в глаза не хвалила, никого за глаза не бранила и, несмотря на зависть, возбуждаемую скорым обогащением Трохима, находилась со всеми в добрых отношениях. В первый же год своего переселения в город Васса родила сына. В голову Трохиму вошла тогда зловещая мысль: *что, если сын его,* теперь невинный младенец, *понесет кару от Бога за тяжкие преступления родителей?* Недаром Шпак рассказывал ему из какого-то прочитанного благочестивого рассказа, как невинный человек, не сделавши ничего дурного, пил горькую чашу бедствий за преступления своего родителя и, наконец, сам того не желая, *погубил отца своего.* Так Бог покарал грешника. «Так, может быть,— думал Трохим,— и меня когда-то Бог покарает чрез моего сына». Придыбалки не было; его искусительных наставлений подновить было некому, память о них теряла свежесть и силу. Детские грезы брали верх. Внутренний голос как будто шептал Трохиму: «Есть Бог, и он тебя накажет!» Когда Васса оправилась от родильного недуга, муж напомнил ей о ее обещании молиться Богу за грех его. Васса сказала:

— Будем молиться. Надобно! Каждый праздник в церковь станем ходить, посты будем соблюдать, милостыню раздавать начнем у церковных дверей, а я непременно исполню обещание — схожу пешком на богомолье в Киев.

И потекли месяцы, годы... Жила Васса, не помышляя о подвигах покаяний и о паломничестве в Киев.

На десятом году после своего переселения в город, похоронивши своего тестя, перебрался Трохим в губернский город.

Здесь счастье улыбнулось ему еще дружелюбнее. Наш Трохим — теперь уже Трофим Семенович Яшников — богатейший купец во всей губернии; уже он не примыкает к откупной компании, он самостоятельный деятель, и к нему примыкают другие; ни у кого денег взаймы он не просит, своих у него вдоволь; зато другие его просят: «Сделай милость, батюшка Трофим Семенович, возьми, будь благодетель!» И Трофим Семенович многим благодетельствует — берет у кого сотни, у кого тысячи, а у некоторых и десятки тысяч, платит процентов по пятнадцати, а сам, пуская в оборот занятые деньги, наживает по два рубля на рубль и более. У него в откупу пять уездов

и губернский город, а в последнем два каменных дома; в одном из них помещается его питейная контора. Губернатор, вице-губернатор, председатель и советники казенной палаты, все полицейские и земские чиновники — у него на определенном жалованье; а его питейная контора — источник богатых милостей. Служить по питейной части было так выгодно, что управляющим конторою Трофима Семеновича был статский советник, оставивший коронную службу и все сопряженные с нею надежды на чины и ордена за двадцать тысяч жалованья в год и удобную квартиру при конторе. За пределами своей питейной части Трофим Семенович пользовался таким весом и значением, что стоило только заручиться его покровительством, чтоб иметь успех во всяком тяжебном деле, где бы оно ни производилось. Показисто жил Трофим Семенович: давал обильные обеды и блестящие вечера, где бывали губернские властители и каждому из них оказывалась подобающая честь по его рангу. И кто бы мог узнать оных времен бедного наймита в этом миллионере, перед которым так лебезили высокородные и превосходительные светочи губернского мира! Не забывал Трофим Семенович и долга христианского человеколюбия: каждый год жертвовал по триста рублей на городскую больницу и раздавал обильную милостыню нищенствующей братии у подъезда своего дома в день великого пятка.

На двадцать первом году своей коммерческой деятельности Трофим Семенович, отправившись в Петербург на сенатские торги, возвращался в свою губернию с намерением переселиться в столицу. Но как только он вступил в подъезд своего дома, услыхал печальную весть. Васса Денисовна скончалась за неделю до возвращения мужа из столицы. От доктора, лечившего г-жу Яшникову, он узнал, что смерть постигла ее скоропостижно, от разрыва артерии.

Сильно загрустил Трофим Семенович об утрате жены, с которою сжился в продолжение многих лет. Скорбел он, между прочим, о том, что Васса Денисовна все собиралась совершить путешествие в Киев на богомолье и уже теперь не могла никогда исполнить своего обета. До сих пор счастье неуклонно везло Трофиму Семеновичу, а в счастье, как всем известно, человек мало способен бывает к раскаянию и сердечному сокрушению; от этого как ни осаждало душу Яшникова воспоминание о содеянном им когда-то преступлении, но не могло надолго и всецело овладеть его

существом. Бывало, когда такое чувство охватит его, он спешит поделиться им с своею женою, и Васса Денисовна так или иначе старается успокоить мужа. Теперь ее не стало, и в целом свете не было уже никого, с кем бы он мог заговорить о своей сердечной тайной боли. Преступник осужден теперь страдать один, без раздела. Священнику он ни разу не открывал своего греха на исповеди: жена постоянно просила его, чтоб он, ради своей безопасности и доброго имени, этого не делал, да и от других лиц Яшников слыхал, будто попы, узнавши на исповеди о совершенных преступлениях, открывали их. Трофим Семенович выбирал себе в духовные отцы таких попов, которые у исповедующихся не спрашивают о грехах по росписи, какая составлена и напечатана в требниках, а ограничиваются общими выражениями вроде таких: покайтесь, в чем чувствуете себя грешным, и тому подобное,— так что, исповедуясь у такого попа, можно и не открыть ему греха и не скрыть его, а совершить настоящее иезуитское restrictio mentalis [1]. Теперь, когда не было с Трофимом Семеновичем единственного друга, знавшего всю подноготную его прошедшей жизни, пробудившаяся с неукротимою силою нечистая совесть жестоко мучила его. Неудержимо хотелось ему поделиться своею тайною мукою. Он обратил мысль на местного архиерея, а этот архиерей пользовался всеобщим уважением в губернском городе, как муж святой жизни и мудрых словес. Преосвященный Агафодор был известен Яшникову и прежде. К нему отправился теперь он для тайной беседы.

— Ваше преосвященство,— сказал архиерею откупщик,— я тяжелый грешник, пришел к вам просить совета, утешения и наставления. Исповедуйте меня, духовный отец, по правилам.

Бог знает, как принял бы такую просьбу от кого-нибудь другого преосвященный владыка, но от богатого и всеми уважаемого в губернии откупщика он принял ее любезно, приказал подать себе мантию, поставить аналой, прочитал молитву и начал спрашивать.

— Я грешник великий! — сказал Яшников.— Тяжелый грех лежит на моей совести многие годы.

— Нет греха, который был бы оставлен Богом без прощения, если только грешник принесет истинное покаяние,— сказал владыка.— Каялись ли вы пред духовным отцом?

---

[1] Духовна стриманість *(латин.)*.

— Я страшился,— сказал Трофим Семенович,— чтоб духовный отец, узнавши о моем преступлении, не предал меня в руки земного правосудия. И теперь, если я решаюсь исповедать мой грех перед вами, владыко, то поступаю так оттого, что питаю к вам особое, величайшее уважение, и притом открою перед вами свой грех только тогда, когда вы соизволите дать свое архипастырское слово, что...

Архиерей перебил его речь и сказал:

— По правилам святых, отец, никакой священнослужитель не должен открывать никому чужих грехов, о которых он узнал от исповедующегося грешника. Если вам наговорили, будто священники могут повредить вам, узнавши от вас тайны ваши на исповеди, то вам не следовало этому верить. А что вы так беспокоитесь, то даю вам свое архипастырское слово: не смущайтесь, говорите смело; хоть бы вы родителей своих убили или собственную дочь изнасиловали,— все равно — будьте покойны! Я вам назначу, сообразно вашим винам, церковное наказание, но не предам вас ни мирскому суду, ни мирской молве.

Яшников, успокоенный такими словами, начал повесть своей жизни и рассказал о событии, случившемся в даче села Лубки, в лесу над оврагом.

— Другого тяжкого греха никакого за собой не сознаете? — спросил владыка.

— Нет,— отвечал Трофим Семенович.

— Я потому вас об этом спросил,— сказал архиерей,— что обыкновенно одно преступление влечет за собою ряд других преступлений; но если вы не совершили после того никаких порочных поступков, это значит, что содеянное вами преступление было плодом пылкой молодости, неопытности, крайней бедности и, главное, полнейшего невежества, в котором вы тогда пребывали, наравне со всем простонародием. Грех ваш велик, но вина ваша смягчается обстоятельствами вашей тогдашней жизни и вашего тогдашнего духовного состояния. Я не могу назвать вас испорченным, неисправимым грешником, когда вы, сделавши преступление в юности, потом, в течение более двадцати лет, прожили честно, принося пользу обществу, и притом, как мне посторонние сообщали, не оставляли дел благочестия и христианского милосердия. Если я особенно строго буду вас порицать, то за то, что вы так долго не открывали своего греха духовнику и не постарались заранее очистить свою совесть. За это я вам назначу епитимью. В память вашей добродетельной супруги, которую Господу угодно

было призвать к себе, и вместе с тем во искупление греха вашего, содеянного в те годы, когда волнуют человека страсти, извольте построить церковь, снабдить ее изящным иконостасом, изрядною утварью, нарочитым священнослужительским облачением и положить в ее пользу сумму, на каковую мог бы содержаться клир. Если свершите сие благое дело, примете сторицею благая и в сем житии, и в будущем, и отпустится вам грех ваш. Согласны ли исполнить назначаемую вам епитимью? Не выше ли средств ваших она будет? Откровенно скажите: тогда я вам иную назначу.

Яшников поклонился с видом смирения. Архиерей продолжал:

— Однако не подумайте, что, созидая храм Богу, вы, так сказать, подкупаете его правосудие. Такое помышление да не внидет в душу вашу. Сущность покаяния — в сердечном сокрушении и в искреннем сожалении о том, что вы совершили грех пред Богом! Но всякое содеянное человеком преступление требует возмездия, которое состоит в том, чтоб виновный потерпел нечто за свою вину. На сем основании и земный суд определяет кару по закону. И церковь, хотя чадолюбивая мать, но вместе с тем и праведная судия, прощая кающемуся грешнику, требует, однако, чтоб он понес возмездие за свой грех. Вот на таком-то основании я налагаю на вас епитимью. Кроме сего, имею еще и то в виду. Если бы вы знали близких кровных убитых вами людей, то сочли бы своим долгом оказать им с своей стороны какое-нибудь благодеяние. Конечно?

Яшников утвердительно кивнул головою.

— Но вы их не знаете,— продолжал архипастырь.— Так вместо них совершите благодеяние для христианского общества. Вы сами говорите, что, желая умилостивления за свой грех, раздавали милостыню. Но что значит плотская милостыня? Вы из своих сокровищ давали неимущим только телесные блага. Выше всех телесных благ благо духовное. А такое благо дадите вы алчущим и жаждущим оного тем, что создадите храм, в котором будут всегда возноситься молитвы и куда будут притекать ожидающие от Бога великия и богатыя милости. Тогда и многолетнее томление души вашей, яко раскаяние, вменится вам в искупление греха вашего.

— Обещаюсь исполнить все, что изволите наложить на меня,— сказал Яшников.

— Я вас лишаю причащения святых таин, донеже не

совершите налагаемого на вас дела,— сказал владыка.— Впрочем, если бы, сохрани вас от этого Бог, вы заболели опасно, тогда можете причаститься.

Немедленно принялся Яшников за постройку храма.

Денег откупщик не жалел, и потому дело это пошло живо. В марте, после беседы с владыкою, происходила закладка, осенью в тот же год все церковное здание было готово, поставлен иконостас, и преосвященный Агафодор совершил освящение нового храма с приделом, во имя святой мученицы Вассы. В день освящения владыка произнес слово о заслугах создателей и благотворителей святых Божиих храмов, а «в своих палатах», оставаясь наедине с Трофимом Семеновичем, сказал ему:

— Ныне древний грех ваш отпущается вам всецело. Писано-бо: «Аще разрешите на земли, разрешено будет на небеси». Я, смиренный и недостойный, разрешаю грех ваш: верьте, что и Господь разрешил его. Таковы слова Христа самого. Не помышляйте более о грехе своем и не страшитесь кар за него, иначе, показывая недоверие к словам Господа, согрешите тяжко и оскорбите безмерное милосердие Божие. Теперь, после исповеди, можете причаститься святых таин!

Спустя немного времени преосвященный Агафодор был указом святейшего синода переведен в другую епархию, а потом Трофим Семенович, успокоившись и утешившись о потере супруги, вступил вторично в брак с дочерью помещика слободы Лубков, тестя Мотылина. Этот барин занимался откупным делом, и потому Трофим Семенович с ним сблизился.

Скоро после свадьбы Трофим Семенович перебрался в Петербург.

И начался еще новый период жизни Трофима Семеновича Яшникова. Годы пошли за годами: живет он в Петербурге в собственном доме на Невском проспекте. Не ограничиваясь откупным делом, он взял в Сибири золотые прииски и ведет дела через своих доверенных. В золотом деле везет ему счастье пуще, чем в откупном. Остряки, выражаясь о возрастании его богатства, говорят, что Яшников просто пухнет. Молва доводит его капитал до суммы многих миллионов. Он — коммерции советник и кавалер ордена св. Владимира, сообщившего ему потомственное дворянство. Весь нижний этаж его дома занят его конторою; она, по качеству его занятий,— в двух отделениях и представляет

подобие министерского департамента. В бельэтаже помещается сам хозяин. Широкая, устланная коврами и уставленная экзотическими растениями лестница ведет в его покои, где все блестит серебром, золотом, фарфором, малахитом, яшмою... Дом Трофима Семеновича постоянно открыт для гостей: роскошные обеды, блестящие вечера, широкое хлебосольство хозяина и хозяйки! Лет через восемь после переселения Яшникова в столицу к нему в дом прибыла сестра жены его, Мотылина, которой муж, умирая, оставил в собственность свои Мандрики. Эта госпожа, поживши у Яшниковых года два членом семьи их, умерла, передавши полученное от мужа имение своей сестре, Яшниковой. После того Трофим Семенович, вместе с женою и дочерью от первого брака, отправился в доставшиеся жене его вотчины. Незадолго до того скончался ее отец, и ей теперь доставались и Лубки, и Мандрики.

Путь их с большой почтовой дороги направлялся проселочною дорогою к Лубкам. Приближаясь к этой слободе, Трофиму Семеновичу приходилось проехать через то место, где когда-то происходило событие, тяготившее его совесть. Крест, поставленный на могиле двух убитых, еще стоял на своем месте, но подгнил, почернел и покрылся зеленою плесенью. Со стороны дороги овраг был обнесен кирпичным парапетом: уже несколько кирпичей из него успело выпасть и обвалиться в овраг.

— Ah, quel abime! [1] — невольно воскликнула дочь Яшникова, отворачивая голову от оврага.

— Хорошо еще, что обгорожено! — заметила госпожа Яшникова.— А то не дай Бог заехать сюда в глухую ночь! А вот и чей-то крест: может быть, здесь похоронен такой, что ночью опрокинулся в этот овраг!

Ямщик, услыхавши замечание барыни, сказал:

— Это так точно было, сударыня: ехал купец с товаром ночью и опрокинулся в овраг, и товар при нем остался, и лошадей с ним нашли в овраге. Так его-то вместе с батраком здесь похоронили.

— Давно это было? — спросила Яшникова.

— Годов, почитай, более тридцати будет. Не при нашей памяти. Старые люди сказывают,— отвечал ямщик.

Трофиму Семеновичу подперло дыхание, но он не произнес ни слова.

Приехали в Лубки. На другой день госпожа Яшникова,

[1] Ах, яка безодня! *(Фр.)*.

вместе с падчерицею, отправилась служить панихиду над могилою своих родителей. Трофим Семенович остался дома. Он был сильно взволнован после того, как увидел место, где когда-то совершил страшное преступление, и, в беспокойстве расхаживая по комнатам дома, в углу под образами нашел святцы киевской печати, принадлежавшие его давно уже умершей теще. Он машинально развернул их и наткнулся на следующее место во вседневной полунощнице: «День ов страшный помышляющи, душе моя, побди, вжигающе свещу твою, елеем просвещающи; не веси-бо, когда приидет к тебе глас, глаголющий: се жених!» Трофим Семенович положил святцы и стал ходить по комнатам, но прочитанные в святцах слова не отставали от его души. Грозно воскресало перед ним прошедшее в страшных, знакомых образах: как он убивал купцов, как вместе с Придыбалкою опрокидывал их тела в овраг, как потом, пришедши на их могилу, услышал неизвестно откуда исходивший голос: «Покараю в сорок лет!» Вот уже прошло тридцать четыре года, осталось шесть лет: и те пройдут, и сороковой год наступит, и тот год пройдет, и настанет день, тот самый день, о котором говорится в святцах, день, когда к душе его приидет глас, глаголющий: «Се жених!» Стал тогда пытаться Трофим Семенович утешать себя воспоминаниями о преосвященном Агафодоре; он ведь владыка, архипастырь, он в церкви носит на себе образ самого Христа-Господа. Не сказал ли преосвященный, что грех его прощен, что ему не следует томить себя и пугать ожиданиями божия суда? Да, он сказал так. Что можно возразить против того, что он говорил? Не указал ли он на слова самого Бога, давшего власть пастырям разрешать грехи людей? Не оставил ли Господь обещание, что все, разрешенное на земли, будет им разрешено на небеси? Разве это не так? Да, а между тем совесть начала снова жечь сердце Трофима Семеновича. Разве разрешение архиерея бессильно? Или не значит ли, что со стороны грешника еще что-то осталось сделать? Что же? Каяться; но ведь архиерей не велел более ни скорбеть, ни думать о том, что уже разрешено и прощено! Да, архиерей разрешил, и Бог, стало быть, разрешил; а Трофиму Семеновичу страшно, больно... Колена его тряслись, сердце задрожало. Он перестал ходить по комнатам дома, в изнеможении прилег на диван и невольно закрыл глаза.

Вернулись жена и дочь. Принялись завтракать. Напрасно Трофим Семенович думал залить бургонским вином и за-

есть честерским сыром расшевелившуюся совесть. Случайно раскрытая в святцах страница не выходила у него из воображения: ему все мерещился страшный день, свеча и глас, вопиющий: «Се жених!»

Пробывши с неделю в Лубках, Яшниковы отправились в Мандрики. Невыразимые ощущения охватили душу Трофима Семеновича, когда он увидал то село, где родился, проехал по тем улицам, где когда-то бродил с мешком за плечами, выпрашивая хлебные недоедки. Теперь вот он въезжает в барский двор, тот самый двор, куда он назад тому тридцать пять лет не смел войти, пугаясь грозного имени: барин; а барин в его детском воображении представлялся существом странным и вместе ужасным, существом, не похожим на обыкновенных людей, таким существом, которое все только сердится и дерется! Теперь сам барин, да еще владелец этого самого двора, которого в ребячестве так боялся.

В первый же день, когда Яшниковы расположились в барском доме слободы Мандрик, Трофима Семеновича что-то невольно потянуло в сад. Вот оранжерея, вот садовая изба: здесь, в отдельной половине этой садовой избы, жил Придыбалка, сюда приходил к нему учиться чтению, письму и цифири молодой крестьянин, только что женившийся на дочери богатого мужика. У дверей оранжереи стоял неведомый Трофиму Семеновичу рабочий; он почтительно снял шапку, сознавая, что перед ним новый барин.

— Кто у вас теперь главный садовник? — спросил его Трофим Семенович. Рабочий назвал его по имени.

— Не знаешь ли,— спросил Трофим Семенович,— где теперь Фетис Борисович, что был у покойного Мотылина главным садовником?

— Не могу знать,— отвечал рабочий.— Такого, сударь, кажись, у нас не было.

— Был,— сказал Трофим Семенович,— давно только, годов больше тридцати тому прошло.

— Этого мы помнить не можем,— отвечал рабочий,— я в те поры еще не родился.

Отошел от него Трофим Семенович, он пошел гулять по саду; везде замечал он отпечаток запустения. Видно было, что этот сад много лет уже оставался без хозяйской любви к нему. Вышедши из сада и проходя через двор, Трофим Семенович встретил служителя; волосы с проседью показывали, что он живет на свете около пятидесяти лет. Трофим Семенович остановил его и спрашивал:

— Не помнишь ли ты Фетиса Борисовича, что был когда-то главным садовником у Мотылина?

— Немного помню,— сказал служитель,— только я тогда жил еще на слободе, и во двор меня не брали. Помню. Его звали в слободе Придыбалкою.

— Да, да, Придыбалкою,— сказал Трофим Семенович.— Не знаешь ли, не слыхал ли, где он?

— Не знаю, сударь,— отвечал служитель.— Да навряд ли кто в слободе про то знает. Про него ходили в народе странные слухи,— ну да ведь глупый народ, мало ли чего болтает.

— Что такое? — спросил Трофим Семенович.

— Такое, барин,— сказал служитель,— такое, что и говорить про то не годилось бы. Известно, народ глуп, мало ли что мелет.

— Что такое? Скажи,— с любопытством допрашивал его Трофим Семенович.

— Что будто...— говорил таинственно служитель,— будто он только в образе человеческом ходил, а на самом деле не человек был.

— Кто же? — спрашивал барин.

— Известно,— сказал служитель,— народ глуп, сударь; необразованность, мало ли чего выдумает простонародие по своей простоте?

— За кого же считали в слободе этого Придыбалку? Скажи,— допрашивал барин.

— За самого лукавого, сударь,— сказал служитель.— Говорили: кто только с этим Придыбалкою свяжется, того он сейчас на грех подведет. С покойным нашим барином, говорят, такое было в те поры, как они были молоды и приехали из полка. Совсем было обошел их этот Придыбалка, во всем на него барин положился и души в нем не слышал; только после, как они изволили остепениться и женились, молодая барыня первым долгом потребовала от барина, чтоб этого Придыбалки у них ни во дворе, ни в слободе не было. Барин послушались доброго совета барыни и согнали Придыбалку. Куда тот ушел, где делся, где жил после того, и живет ли он до сих пор на свете, про то я не знаю, и навряд ли у нас в слободе есть такой, кто про это знает. Еще про него в слободе ходила такая притча, что коли кто по наущению его пойдет и пообещает ему жить так, как он укажет, того он богатым сделает и в большую честь введет. Был у нас в слободе старик, лет ему за восемьдесят перевалило; недавно умер. Тот, помню,

рассказывал: был, говорит, у нас в слободе парень, бедный такой, что совсем нищий, милостыни под окнами просил! Этот Придыбалка и говорит ему: «Дай мне клятву, что будешь делать все, что я тебе велю. Я тебя за то богачом произведу». Парень искусился и дал ему такую клятву. Что ж вы думаете? Этот парень как-то вышел на волю и ужасть как разбогател. Так старик этот сказывал, а Бог его знает, правда ли это, или нет.

От этого рассказа побледнел Трофим Семенович. Он понял, что речь шла не о ком другом, а именно о нем. У народа про него сложилась сказка. «Вот что оно,— думал Яшников, ушедши от рассказчика,— народ здесь не совсем забыл про меня, сплел про меня небылицу. Значит, надобно быть осторожным, чтоб крестьяне не узнали, кто теперь у них стал барином. А разве можно утаить шило в мешке? Пусть бы знали, что я когда-то по этой слободе ходил бедным оборвышем. Это не беда. Тем больше чести. А вот что дурно, когда станут болтать, что их барин разбогател при помощи черта, ходившего в человеческом образе. А что ж? Станут болтать. Что тут поделаешь? Всем на зажмешь рта. Всего хуже, как проведают, с какого повода я богатеть начал. Нет, нет! Этого проведать не могут. Суд уже давно решил, что убийства не было: купцы по собственной неосторожности опрокинулись в овраг. Так и в народе, как видно, осталось. Вот и ямщик, что нас вез, говорил: ехали какие-то купцы и упали с повозкою в овраг, и товар, и лошади при них найдены. Стало быть, их никто не убивал, иначе разбойники взяли бы себе товар. Нет, люди не узнают моей тайны; один Бог знает ее. Но архиерей уверял меня, что Бог простил уже меня. А вот умные люди говорят, что Бога вовсе и нет. А кто его знает: однако все равно мне бояться нечего, коли есть Бог, так он меня простил и наказывать больше не станет, а коли его нет, так и наказывать меня некому».

Прошедши через двор, Трофим Семенович не вошел в дом, а вышел чрез калитку и очутился в виду двух господских кузниц. И вспомнил он, как здесь, под этими кузницами, он видался с Придыбалкою и слушал его наставления; увидал он и то плесо, куда хотел броситься, когда Шпак прогнал его. Вспомнил он и речи Придыбалки, как тот указал ему путь найти себе синий жупан и лошадь, чтоб жениться на Вассе. Вспомнил он и про то, как Придыбалка предсказывал, что он будет богачом. Пророчество сбылось. Но с чего пошла его разжива? С того несчастного

бумажника, что он вынул из кармана убитого им человека! Ах, какой скверный начаток! Ах, какое ужасное дело! Не с этого ли гнусного дела начал он богатеть, а мало-помалу дошел до того, что стал коммерции советником, дворянином, знатным барином. Какая необычная и вместе проклятая судьба! Всему начало положило преступление, за которое следовало его, по закону, сослать в каторгу. Что ж теперь делать? Каяться. Но кому каяться? Богу? Но Бог простил его; так архипастырь сказал, и то было уже давно. А вон другие умные люди, что все читали и много знают, говорят, будто и Бога-то нет.

Так перевертывались мысли в голове Трофима Семеновича, когда он остановился перед кузницами, под которыми тридцать четыре года тому назад слушал наставления Придыбалки. И не на что было его уму опереться, снова начиналась и не кончалась в его душе обычная внутренняя борьба.

Воротившись с прогулки в дом, Трофим Семенович предложил жене и дочери проехаться по даче. Пообедавши, они сели в коляску покойных Мотылиных, оставшуюся в имении после господ. Проехали мимо того места, где жила когда-то солдатка Ирина, Трохимова тетка. Не было уже убогой солдатской хаты, где проводил когда-то теперешний петербургский богач свое грустное отрочество. Вместо нее в новом дворе стояли две нарядных избы, а позади, где был когда-то жалкий огород солдатки, зеленел густолистный садик. Яшниковы проехали мимо бывшего двора Шпака: и там увидал Трофим Семенович совсем не то, что напечатлевалось в его памяти от молодых лет. Ни следа прежней светлицы, ни рабочей избы; прежние ворота отнесены в другое место, а там, где у Шпака были ворота во двор, красовался домик в великорусском стиле, с пятью окнами, перед которыми не во дворе, а на улицу в палисаднике зеленели кусты сирени и бузины. Все переменилось в Мандриках за тридцать четыре года, заметил Трофим Семенович. Даже церковь, в которой его крестили и венчали, изменила свой наружный вид: прежде она была покрыта дранью, а теперь — листовым железом, покрашенным ярко-зеленою краскою, а посаженные вокруг церкви березки, которых знал Трофим Семенович маленькими деревцами, стали теперь большими, густолистными деревьями. Только два надгробные памятника в церковной ограде гласили о прошедшем слободы Мандрик: первый — покрывал останки старого Мотылина и жены его, другой, рядом с

первым,— поставлен был на могиле последнего из Мотылиных, оставившего имение жене своей, передавшей его, по завещанию, в род Яшниковых.

Пробывши около двух недель в Мандриках и сделавши хозяйственные распоряжения об управлении Мандриками и Лубками, Яшниковы возвращались в Петербург.

Яшниковы выехали на своих лошадях на почтовую дорогу. Путь их в Петербург лежал через Москву. На этом пути, в тридцати верстах от столбовой дороги, находился знаменитый во всей России монастырь: чудотворная икона богоматери привлекала туда богомольцев из близких и далеких сторон православного русского мира. Госпоже Яшниковой казалось предосудительным не посетить этого монастыря хоть раз в жизни, особенно когда случай приводил ее проезжать неподалеку от этой святыни. Трофим Семенович, угождавший жене, и теперь не отказал ей. Яшниковы свернули с почтовой дороги и прибыли в монастырскую гостиницу, где расположились в трех покоях. В большой монастырской церкви стояла в серебряном позолоченном окладе чудотворная икона богоматери; в другой церкви был колодец, называемый живоносным: народ признавал особую благодать в воде этого колодца. Когда Яшниковы побывали у архимандрита, тот сообщил им, что в монастыре есть схимник, отец Пафнутий, старик семидесяти пяти лет, имевший дар прозорливости и провидения будущего. Впрочем, преподобный отец, как счел нужным заметить архимандрит, не терпел, чтоб к нему приходили из любопытства; нередко посетителю, являвшемуся с таким побуждением, схимник говорил: «Что ты ко мне гадать пришел? Ступай лучше к бабе-ворожее, коли тебе охота заниматься суевериями!» Если же посетитель ему нравился, то схимник укорял его в наставительном тоне: «Будущее одному Богу ведомо! Грешно желать знать о своей грядущей судьбе: полагайся во всем на волю божию». Хотя он был постник и отшельник, но никого не заманивал к прелестям монашеского жития. Пришел к нему однажды купчик, которому пришла охота странствовать из монастыря в монастырь, с намерением вступить со временем самому в монахи. «Тебе,— сказал ему отец Пафнутий,— не велит Бог думать о монашестве. Не всякому иноком быть можно, а только тем, кого Бог сам к тому избирает! Не думай, что в мире спастись нельзя. Ступай в свой город и занимайся торговлею. Бог пошлет тебе хорошую жену, и ты будешь добрый

семьянин и честный торговец». Так поступил купчик, и так с ним сталось в жизни. Не всякого допускал к себе схимник; иным он не отвечал, когда, подходя к его дверям, они произносили молитву: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!» Не дождавшись благосклонного «аминь!», они принуждены были уходить с прискорбием. Однажды пришла к нему какая-то барыня. Схимник допустил ее, но, не давая ей обычного благословения, спросил ее: «Какой ты веры?» —«Как какой? — сказала изумленная барыня.— Православной, греко-российской!» —«Есть люди,— сказал отец Пафнутий,— именующие себя христианами, а они — сущие язычники и поклоняются многим идолам. И ты такая же. У тебя идолы — женские платья, шляпы, ленты, перчатки: все это идолы твои». И потом начал ее учить отец Пафнутий, что надобно паче всего любить Бога, а к тленным земным вещам не прилепляться. Много подобного рассказывали об отце Пафнутии во свидетельство его мудрости и прозорливости.

Услыхавши от архимандрита об этом прозорливом старце, Трофим Семенович, остававшийся под влиянием впечатления, возбужденного посещением Мандрик, решился пойти к старцу и у него исповедоваться.

По указанию монаха, Трофим Семенович отправился на монастырское кладбище, отделенное невысокою каменною оградою от главного монастырского двора, на котором стояли церкви. На кладбище вела калитка, настолько широкая, что через нее можно было пронести гроб с покойником. Вправо от калитки вдоль стены, отделявшей кладбище от двора, стояла небольшая церковь; главный вход в эту церковь был со двора, а на кладбище выходила из церкви другая дверь, железная, отворявшаяся только в таком случае, когда нужно было нести покойника в могилу. Далее за церковью, вдоль той же стены, была келья схимника. Единственный вход в эту келью был со стороны кладбища. Близ ее двери проделано было маленькое оконце, а на противоположной стороне во двор было другое оконце, несколько шире первого; через это последнее затворнику подавали пищу. У самой кельи на кладбище были могилы, и один надмогильный крест, стоя у самой двери, как будто просился в келью к отшельнику. По наставлению, сообщенному монахом, Яшников, подошедши к оконцу, выходившему на кладбище, произнес:

— Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!

Из кельи послышалось:

— Аминь!

Дверь отворилась.

Трофим Семенович вступил в келью. Это была маленькая комнатка, в ней не могло стать в ряд более трех человек. Каменная лежанка, без всякой постели, составляла ложе отшельника. Стол, с двумя лежавшими на нем книгами, и простая, некрашеная скамеечка составляли всю мебель комнаты. Над лежанкою висел образ Спасителя в терновом венце. Перед Трофимом Семеновичем стоял мужчина в черной власянице, закрытый схимническим аналавом с изображением креста и Адамовой головы под крестом. Трофим Семенович хотел поцеловать ему руку; схимник отдернул ее.

— Я...— начал было золотопромышленник.

— Ты,— перебил его отшельник,— грешник! Но всех грешников Бог по своему бесконечному милосердию прощает, если они смиренно покаются пред Богом. Есть грех паче всех грехов — то гордость духа. Рек-бо Господь: «Блаженны нищии духом: тех-бо есть царствие божие!» Смиряйся и кайся!

Другой бы счел такие слова обычным иноческим нравоучением, применительным ко всем людям; но Трофим Семенович оставался под впечатлением воспоминания о своем преступлении; ему пришло в голову такое соображение: он сразу назвал меня грешником, он, стало быть, узнал, кто к нему пришел. Правду говорят про него, что он прозорлив. И Трофим Семенович рассказал отцу Пафнутию всю повесть жития своего, начиная с детства. Не утаил он и страшного дела, совершенного в лесу над оврагом.

— Окончил? — спросил отец Пафнутий строгим, но спокойным голосом.

— Окончил,— отвечал Трофим Семенович.— Меня смущает...

— Да не смущается сердце ваше,— сказал отшельник,— терпи наказание от Бога и уповай на его беспредельное милосердие.

— Меня,— продолжал Трофим Семенович,— именно то смущает, что я не понес никакого наказания, и я думаю, что кара меня ожидает тогда, когда исполнится сорок лет, как мне обещано было на могиле. До сих пор все идет благополучно, деньги за деньгами сыпятся в карман, мне только и горя было, что потерял жену, но скоро потом Бог даровал мне другую, также достойную. И детьми своими я доволен.

— Этим тебя Бог и наказывает,— сказал схимник,— что тебе во всем удача и благополучие; в этом тебе и почин кары божией. Никакой грех не останется у Бога без кары, ни одна добрая мысль — без награды. Как бы ты, после совершенного тобою злого дела, перенес какое-нибудь несчастье, то счел бы его божиим наказанием, а ты вот говоришь, во всем тебе удача была, и денег у тебя много, и семьей ты доволен. Это значит: Бог оставляет вперед кару над тобою. Хорошо было бы, когда бы на самом деле приключилось тебе какое-нибудь несчастье или болезнь тебя постигла, прежде чем исполнится сорок лет, а то хуже будет, когда и сорок лет пройдет, и с тобой ничего не случится, и денег у тебя много будет, и будешь ты здоров и благополучен, и во всех делах твоих будет удача. Тогда перестанешь ты страшиться кары, и тогда совсем потеряешь — не скажу веру в Бога: у тебя ее нет,— потеряешь страх божий, который у тебя еще есть. Вот тогда последняя твоя будет кара на земле. Земные люди слухом внимают и не слышат, очима смотрят и не видят. Им нередко благополучием кажется то, что есть великое бедствие; добро видят они там, где настоящее зло. Со стороны глядя на тебя, люди подумают: «Вот над ним благословение божие! Оттого ему во всем удача и счастье!» Обманываются люди: не благословение тебе это, а кара! Вот как бы привел тебя Господь потерпеть даже за то, в чем ты ни душой, ни телом не виноват. И тогда было бы тебе лучше. Пусть бы люди напрасно тебя обвиняли, а ты бы сам знал, что не за то, по божию смотрению, несешь наказание. А если так до твоей смерти будет тебе во всем одно благополучие и люди будут тебя хвалить и прославлять, не зная, что ты был великий грешник и злодей, тогда горе тебе! Это значит, что зело прогневил ты Бога: и Бог соблюдает для тебя кару в твой последний день, рука страшного суда своего.

— Что мне делать, честный отец? Скажи, что мне делать? Я думал угодить Богу и заслужить его милосердие, я на святые церкви жертвовал, храм построил, нищим благодетельствовал.

— А что сказано,— возразил отец Пафнутий,—«аще вся имения моя раздам нищим, любве же не имам, никая польза ми есть». Храм построил, нищим благодетельствовал! Вы думаете Бога подкупить вашею милостынею! Да ведь Иуда-предатель о нищих пекся, когда укорил жену, пролившую драгоценное миро на Господа. Что ему Господь сказал: «Нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда».

А он, Господь, что такое? Он — любовь всесовершенная. Когда в наше сердце вступает любовь, значит, сам Бог в него вступит. С нами тогда Христос. Пользуйся, человече, минутою, когда Христос с тобою. Пройдет сия драгоценная минута, отгонишь Христа от себя лукавыми своими помыслами и намерениями, тогда месяцы, годы пойдут обычною чредою, а Христа с тобою не будет; станешь звать его к себе, а он не придет! Тогда сколько ни раздавай милостыни, сколько ни строй церквей — все тщета, никая ти польза есть. Люди тебя хвалить будут — и только. От людей восприимешь мзду свою, а от Бога ее не ожидай.

— Что же,— сказал Трофим Семенович,— что же делать, когда ни милостынею, ни богоугодными делами нельзя, как говоришь ты, загладить греха? А честный владыка, повелевший мне построить храм во искупление моего преступления, сказал мне, что как он разрешил мне грех здесь, так и на небе разрешен будет грех тот.

— По разрешению пастырскому,— сказал схимник,— грех разрешается на небеси Богом только тогда, когда грешник сам кается с верою. А у тебя нет веры. Без собственной веры грешника бессильно всякое разрешение духовного лица. А чтоб иметь веру, надобно со смирением вымолить ее у Бога.

— Как же это сделать? Научи,— сказал Трофим Семенович.

— Если я укажу тебе к тому средство, ты не поступишь по моему совету,— сказал отшельник.

— Поступлю, честнейший отец. Скажи твой совет,— произнес Трофим Семенович.

— Скажу тебе,— сказал отец Пафнутий,— только наперед знаю, что ты моего совета не примешь; скажу тебе для того, чтоб ты знал тот путь своего спасения, по которому пойти у тебя не хватит ни решимости, ни силы. Раздай все свои капиталы на добро своим ближним, а сам останься без гроша. С чего началось твое обогащение? С преступления, со злодеяния! Потеряй же добровольно все, нажитое тобою на этом нечистом пути: тогда получишь ты возможность испросить у Бога полное прощение за свой тяжкий грех. Только все раздай, ничего у себя не оставь; не уподобись Анании и Сапфире. Так раздай, чтоб никто не узнал, что это роздано тобою. Не труби перед собою!

— Как же,— сказал Трофим Семенович,— я сделаю нищими собственных детей, неповинных в отцовском грехе?

— А ты,— сказал ему отец Пафнутий,— читаешь в по-

вседневной молитве: хлеб наш насущный даждь нам днесь. Если так молишься, чего тебе страшиться за детей? Бог даст им хлеб насущный. Господь силен прокормить и одеть твоих детей. В Евангелии сказано: «Имейте веру божию, и аще речете горе сей: «Верзися в море»,— будет по глаголу вашему». Это ведь словеса самого Господа. У тебя нет веры; я это вижу, но без веры никакая щедрая милостыня не примирит тебя с Богом; без твоей собственной веры никакое архипастырское разрешение не разрешит тебя на небеси. Веру надобно приобресть, а чтоб ее приобресть — я подаю тебе такой совет. Весь свой капитал потратишь, детям своим не оставишь, тогда детей своих предашь в волю божию. Вот тут и будет твоя вера в Бога. Тут важно не то, что ты свои миллионы издержишь на богоугодные дела. Что миллионы? Прах, тлен, сор. Что такое богоугодные дела? От дел не оправдится никакая плоть пред ним. Тут именно то важно, что дети твои тебе милее и дороже всего, а ты им никаких богатств не оставишь и предашь их в волю божию. Этим ты благодать божию к себе привлечешь.

Трофим Семенович молчал, потупивши голову. На лице его изображалось смущение.

— Что, богач? Видно, жестоко слово сие! — сказал схимник.— Видно, ты уподобляешься тому богачу, ему же Христос предложил, если хочешь совершен быти, раздать все свои имения нищим и идти за Христом! Не прошло мимо тебя слово Господа, рекшего: «Удобее верблюду пройти сквозь уши иглиныя, нежели богатому в царствие божие внити!» Пусть же Бог сам вразумит тебя и наставит, а я более не скажу тебе ничего. Оставь меня.

Трофим Семенович поклонился и вышел из келии молча.

Ничего не сказал он ни жене, ни дочери, которые осматривали монастырскую ризницу в то время, как Трофим Семенович посещал отшельника. После него мать и падчерица, по совету архимандрита, ходили к схимнику, но обе возвратились в гостиницу, не видавши схимника. Три раза, один вслед за другим, под дверьми келии его госпожа Яшникова произносила обычную молитву: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!» Не последовало на эту молитву желанного: «Аминь!» Прозорливый старец не показал охоты вступать с ними в беседы.

Вернулись Яшниковы из монастыря на почтовую станцию, а оттуда покатили в столицу.

Дорогою Трофим Семенович был грустен и молчалив. Он

солгал жене и дочери, сказавши, будто отшельник не принял его так же, как и их, но, углубясь в себя, размышлял о беседе со схимником. «Вишь ты,— думал он,— раздай другим ни за что ни про что весь свой капитал, а сам останься безо всего! Хорошо так говорить, когда у него ничего нет и, может быть, никогда не было, коли у него в келье даже постели нет! А мне как это сделать!» И стало Трофиму Семеновичу воображаться: все свои банковые билеты, все свои деньги раздает он на благотворительные учреждения, продает свой дом на Невском и вырученные с продажи деньги обращает туда же, и поступает так, как велел схимник; никто не знает, откуда жертвуются такие суммы. И ему за это ровно ничего. Шиш под нос. Ни ордена, ни монаршего благоволения, ни министерской благодарности, ни газетной похвалы! Никто не знает, что он совершил такой подвиг. Только дети узнают. Как им не узнать, когда они через этот отцовский подвиг станут бедняками? Что тогда они скажут? И стало Трофиму Семеновичу ужасно. «Ах я дурак! Пошел спрашивать совета у выжившего из ума чернеца! — говорил сам себе Трофим Семенович.— Я человек общественный, и уж коли спрашивать совета, так спрашивать его у такого, что живет сам с людьми, а не на кладбище с мертвецами. Да и в самом деле, разве я не загладил греха молодости и невежества честною и полезною для общества жизнью в течение многих лет? Разве ни за что меня и люди одобряли, и государь жаловал? Что, я был разве скуп для неимущих? Мало ли я благодетельствовал и нищим, и святым храмам? Архиереи поважнее этого схимника, и те меня в пример благочестия и всяких добродетелей ставили, а преосвященный Агафодор давно уже разрешил мой тяжкий грех! Да еще как разрешил: вменил мне в новый грех, если я стану беспокоиться за свой прежний, им разрешенный! Помню я, как этот мудрый архипастырь насчет раздачи милостыни говорил: следует давать милостыню с рассуждением, с толком, и давать ее так, чтоб и себя самого, и детей своих не разорять. Вот истинно мудрое наставление! А этот чернец что говорил? Надели дармоедов, а собственных детей пусти по миру. Да почему это бедные так приятны Богу, что другие должны трудиться и собирать состояние, чтоб его бедным раздавать? Гораздо больше благотворит тот, кто не даст никому даром ни гроша, а устраивает какое-нибудь дело и доставляет труд бедным людям, и им за труд платит. Хоть он и себе доставляет пользу, но и другим дает,

и дает не даром, а за труд. Это похвальнее. И средства бедным доставляются, и к лености они не приучаются. Разве я не так поступал? Мало ли народа служит у меня и по откупам, и по золотым приискам? Все получают исправно за свой труд жалованье, никто не пожалуется, чтоб я кому-нибудь недоплатил, кого-нибудь обманул. Разве все это не благотворение общественное? Вот это-то и есть настоящая благотворительность, а вовсе не эта глупая раздача денег лентяям и бродягам, как нас учат монахи! Вишь, что выдумали! «Хочешь спастись,— говорят,— раздай нищим все свое состояние», это значит: сам трудись, ни днем, ни ночью покоя не знай, а что наживешь — все это раздай таким, что сами трудиться не хотят, приобретать не умеют, а охочи на чужой счет пожить! А отчего нищий стал нищим? Спросил бы их. Оттого, что работать не хотел. Конечно, так. Кто трудится и притом кто одарен умом, тот богатеет, а кто ленится и глуп, тот весь век остается бедняком. А у этих чернецов такое рассуждение: ты богач, у тебя всего много; раздай все тем, у кого ничего нет, а сам бедняком стань. Тогда в рай пойдешь. Богатому, говорят они, нельзя войти в царствие небесное: так сам Бог сказал. Ох, видно, не совсем неправы те умные и ученые люди, что не очень-то верят в Бога. В самом деле, какой премудрый Бог, что такое сказал, чтоб не входить богатому в царствие небесное!»

И путем саморазмышления Трофим Семенович подходил опять к отрицанию божества.

Воротились Яшниковы в Петербург. Трофим Семенович опять погрузился в свои торговые и промышленные спекуляции. Дела его не только не упадали, но становились все лучше. Откупа он совсем покинул и ограничивался одною золотопромышленностию, и с этой целью он в летнее время съездил в Сибирь. Два семейных праздника огласили необычною веселостью дом золотопромышленника, и без того всегда людный и шумный. Первый — был выход замуж его дочери за князя знатной фамилии, избравшей Елену Трофимовну как ради ее красоты, так и ради богатого приданого. Второй праздник была женитьба сына его, служившего по дипломатической части. Отец достойно своему состоянию наделил и отделил обоих детей своих.

Но быстро, быстро с гор текут
В долину вешни воды,
И невозвратные бегут
Дни, месяцы и годы.

И вот настал роковой сороковой год со времени совершения преступления, тяготившего совесть Трофима Семеновича. В июне этого года жена Яшникова уехала в свои имения по делам. Трофим Семенович не поехал с нею, отозвавшись, что важные дела требуют его присутствия в столице.

Проводивши жену, Трофим Семенович проживал на собственной даче, близ Царского Села, и часто по делам езжал в город. Состояние духа его делалось день ото дня тревожнее. Преступление совершено было 13 августа, и Яшников ждал сорокового из прожитых им с тех пор августов с таким же ужасом, как Громобой — появления Асмодея.

Трофиму Семеновичу представлялись разные виды божеской кары, долженствующей его постигнуть ровно через сорок лет: то думал он, что на него нашлется смертельная болезнь, и он пробовал узнать, нет ли признаков начинающейся водянки или рака и т. п. То приходила ему мысль, что он умрет от внезапного апоплексического удара, и он спрашивал врачей, не предрасположен ли он к апоплексии? То воображалось ему, что он погибнет от неожиданного случая: загорится дом, и он не успеет из него выскочить, либо обвалится свод здания, где он будет находиться, и убьет его. Иногда золотопромышленник опасался тайных врагов и завистников: они затеют извести его и подкупят слуг или каким-нибудь способом найдут возможность отравить его. Все навязчивее становились пугающие его призраки. В начале августа он пригласил к себе на дачу сына, жившего от родителя отдельно, в подаренном ему отцом доме.

— Александр,— сказал ему отец,— хочу поговорить с тобою об очень важной материи. Ты у меня учен и учен, а мы, грешные, учились на медные деньги и то не доучились.

— Слушаю, батюшка! — отвечал сын.

— Я, мой друг,— сказал старик,— всегда был откровенен с своим семейством, а с тобой более всего. С тех пор как ты меня знаешь, не произошло со мною ничего сколько-нибудь важного, о чем бы ты не узнал от меня самого. Но ты не знаешь кое-чего такого, что со мною происходило в то время, когда тебя на свете не было. А было со мною такое, чего я до сих пор ни тебе, ни кому другому не открывал; не потому, чтоб я не доверял своей семье, но, видишь ли, бывает, у человека останется из прошлого на

душе такое, что ему самому вспоминать неприятно; хотелось бы, чтоб этого не было в жизни, да ничего не поделаешь, когда знаешь, что оно было!

— Я думаю, батюшка,— сказал Александр Трофимович,— нет на свете человека, у которого на душе не оставалось бы неприятных воспоминаний. Если не ошибаюсь, мне кажется, тебя тревожит воспоминание о чем-нибудь таком, что легло бременем на твою совесть, воспоминание о каком-нибудь событии в твоей жизни, когда ты поступил не так, как бы хотел после поступить, и желал бы ты, когда бы этого события не случалось с тобою. Не так ли, дорогой батюшка?

— Истинно так, Александр! — сказал Трофим Семенович.— Ты угадал. Ну, ты знаешь меня, своего родителя; скажи, способен ли я нанести оскорбление моему ближнему?

— Ты, батюшка, выражаешься немного по-церковному,— сказал Александр Трофимович.— Слово «ближний» употребляется часто, но не всегда в одинаковом смысле. Послушаешь какого-нибудь монаха, так из его речей выйдет такой смысл, что ближний нам тот, кто молится с нами одинаково написанным иконам. А если принимать, что нам ближний тот, с кем мы постоянно в сношении, так выйдет, что мой ближний будет мой сеттер. Ты, батюшка, верно, хотел спросить: считаю ли я тебя способным оскорбить человека? На это я тебе скажу: еще тот не родился на свет, чтобы мог угодить всем. Всегда найдутся такие, что будут недовольны твоими поступками и сыщут повод жаловаться, что ты их оскорбил. Не мудрено, что и против тебя найдутся такие, что скажут, будто ты оскорбил их. Но я думаю, что мой родитель не способен умышленно сделать кому-нибудь зло.

— И мне, мой друг, кажется,— сказал Трофим Семенович,— что с тех пор, как я посвятил себя торговой деятельности, я не сделал ни одного поступка, в котором бы совесть упрекала меня. Но было время, когда я был молод, неопытен и так беден, что не имел дневного пропитания. При своей крайней бедности, я находился в полнейшем невежестве, не в состоянии был отличать, что хорошо, что худо, и сам, ничего не зная, должен был во всем слушаться чужих советов. В это-то время, Александр, был случай, когда я нанес оскорбление человеку, не желавшему мне ни дурного, ни хорошего. Я не мог исправить нанесен-

ного оскорбления, потому что оскорбленный сошел в могилу.

— Это со многими бывает,— сказал сын.— Но что было, то, говорят, былью поросло. Что прошло, то не вернется!

— В том-то и беда, что не вернется,— вздохнувши, произнес Трофим Семенович.— Та и беда человека вообще, что дурного дела поправить нельзя!

— Однако, батюшка, у тебя желание было его поправить! — сказал сын.— Это я вижу из твоих же слов. Разве ты виноват, что оскорбленный тобою сошел в могилу!

— А если виноват? — сказал Трофим Семенович.

Сын смутился и побледнел. Отец, заметивши это, продолжал:

— Сегодня не стану рассказывать, как это случилось. После, когда-нибудь, все расскажу. Теперь мне тяжело припоминать подробности.

— Я и не требую,— сказал сын.— Я понимаю суть дела. Нанесенное тобою оскорбление свело оскорбленного в могилу. Не так ли?

— Да, оно так! — ответил задумчиво отец.— Но уволь меня, Александр, от рассказа. После все тебе расскажу подробно. Теперь же скажу тебе, что оно меня сорок лет беспокоило и до сих пор беспокоит. Тревожимый совестью, я ходил в полночь на могилу оскорбленного и там молился о прощении своего греха. Тогда из могилы послышался голос: «Господи! Накажи того, кто меня... кто меня оскорбил и привел к смерти!» На эти слова в ответ услышал я дрогнувший голос неизвестно откуда; он произнес: «Накажу через сорок лет!» С тех пор вот проходит сорок лет. Я ожидаю кары от Бога. В ночь на 13 августа текущего года исполнится сорокалетний срок. Вот, Александр, что меня томит и мучит!

— Тебе представилось, не более,— сказал Александр Трофимович.— Ты был тогда взволнован, находился в неестественном положении, в забытьи, в дремоте, в полусне; вот и привиделось тебе такое, чего быть не может. Голоса, которые ты слышал, выходили не из могилы, не с неба, а из твоего собственного воображения: их создали твои возбужденные и расстроенные нервы!

— Так и мне часто казалось,— сказал Трофим Семенович.— А иногда мне думалось, что то был божий глас, и Бог определил меня покарать через сорок лет. Александр! Ты человек умный и ученый: веришь ли ты в Бога?

— Конечно, нет! — сказал Александр Трофимович.—

В наш век сколько-нибудь образованный человек разве может верить в Бога?

— Отчего же люди верят? — спрашивал Трофим Семенович.— Видишь, везде церкви поставлены, устраиваются храмы божии. Люди сходятся Богу молиться. Не все же только дураки туда ходят. Бывают там и умные. Отчего же они верят?

— Оттого, что еще не додумались,— отвечал на это Александр Трофимович.— Те, что уже додумались, в церковь не ходят и Богу не молятся. Ты хорошо понимаешь, что значит отвлеченное понятие?

— Это... Это... Понимаю,— говорил старик.

— Неясно, батюшка, понимаешь,— сказал Александр Трофимович.— Я тебе объясню. Вот, например, видишь ты: человек сердится; потом в ином деле видишь: другой человек сердится. Ты замечаешь, что тот и другой чем-то похожи между собою, когда сердятся. Вот то, чем они походят друг на друга, когда сердятся,— ты называешь: гнев. Это и есть отвлеченное понятие. Видишь ты, что муж с женою согласно живут, одно другому во всем угождает, одно для другого ничего не жалеет, и в другом месте видишь, что муж с женою так же живут, замечаешь сходство между теми и другими и то, чем одни на других походят, называешь: любовь. И это отвлеченное понятие. Пока люди своим размышлением не доискались, как у них складываются отвлеченные понятия, люди воображали себе, что эти понятия где-то существуют отдельно от человеческой головы и с ними можно говорить, как с живыми людьми. Верили, например, что гнев и любовь где-то существует не в человеке, а особо́; замечали, что люди делают людям добро и зло, и вообразили, что где-то есть существо, называемое добро, и есть другое существо, называемое зло. Но мало того, что человек из своих отвлеченных понятий выдумал себе существа, небывалые на свете; он еще вообразил, что эти существа, хоть имеют человеческие свойства, но выше и сильнее человека, и назвал их божествами, или богами. В старину признавалось много богов; на каждое явление человеческой жизни было свое божество: были божества любви, гнева, драки, мира, торговли, плутовства, пьянства,— и каких-то богов не было! Детское воображение наделало у этих богов сыновей, дочерей, внуков. Воображали себе люди, что небеса населены такими богами и богинями, и эти боги и богини, хоть в кой-чем похожи на человека, но никогда не умирают. Когда же люди поумне-

ли, то уразумели, что это совсем не боги и не живут на небесах, а есть только наши отвлеченные понятия, создались в наших головах и без них отдельно ни на небе, ни на земле, нигде не существуют. Однако не мог скоро человек освободиться от того, что у него вошло в привычку. Перестал верить человек в прежних богов, а с единым Богом не мог расстаться. Вообразили себе люди, что есть единый Бог, всесовершенный, преблагий, премудрый; устроили ему храмы, установили обряды служения ему и думают, что этот Бог человека слушает, когда человек к нему заговорит, что этот Бог может человека наделить счастьем или покарать его, если человек Богу не угодит. Так думают и так верят до сих пор все люди, мало думавшие и мало образованные. Напротив, люди, вполне умные и просвещенные науками, Богу не молятся и в Бога не верят, оттого что понимают, что и этот Бог такой же, как те боги, что им прежде когда-то люди верили и молились: и наш Бог, которому строят церкви и служат обедни, тоже не что иное, как наше собственное отвлеченное понятие о всемогуществе и добре, а не какое-то высшее, живое и мыслящее существо. Умные люди веруют только в могущество человеческого разума: этот разум создал Бога; он же его и уничтожает, додумавшись, что Бог не существо какое-нибудь, а собственное человеческое отвлеченное понятие.

— Стало быть,— сказал отец,— и страшного суда после нашей смерти не будет?

— После нас,— сказал сын,— будет над нами суд совершен теми людьми, что после нашей смерти будут на свете жить. Род человеческий не прекращается; вымирает одно поколение, живет после него другое, и это в свою очередь отживет, умрет, наступит третье, а за третьим четвертое и так далее. Новое поколение приобретает жизнью смысла и сведений более старого, и потому новое поколение совершает суд над старым, оценивает: что хорошего и что дурного сделало старое поколение. Вот тебе и страшный суд, батюшка! А чтобы каждый из нас после своей смерти жил где-то и подвергался суду от какого-то Господа Бога, так наука не представляет для этого никаких доводов, и вера в бессмертие души есть такое же суеверие, как и верование в мертвецов, выползающих из могил и бродящих в ночной темноте по миру, как воображает себе чернь.

— По-твоему,— заметил отец,— душа наша умирает с нашим телом.

— Вот, батюшка,— объяснял ему сын,— горящая свеча,

догорит свеча, потухнет огонь; нет более свечи, нет и огня. Видал ли ты, батюшка, огонь без свечи или без того, что горит? Никто не видал. Вот так никто не видал души без тела. Что такое душа? Способность человека думать, чувствовать, желать, говорить. Когда говорится, что у человека душа есть, это значит, что у человека такие способности есть. Но у человека есть еще жизненные способности: есть, пить, спать, ходить, сидеть. Умрет человек — не будет он есть, пить, спать, ходить, сидеть, оттого что не станет уже того, что прежде ело, пило, спало, ходило, сидело. Точно так же: умрет человек — не будет он думать, чувствовать, желать, говорить, потому что не станет того, что прежде думало, чувствовало, желало, говорило. Не может быть живого человека без души, не может быть и души без живого тела.

— Вот,— сказал Трофим Семенович,— как ты начнешь мне объяснять, так мне кажется правдою все, что ты говоришь. А пройдет немного времени, опять меня страх забирает: опять боюсь суда божия и кары и сам не знаю, как от себя этот страх отогнать.

— Понятно,— сказал Александр,— ты, батюшка, очень умный человек от природы, да не учился и с ребячества набрался разных предрассудков. Известно, что́ с детских лет усвоишь, с тем нелегко расстаться в старости. Оттого так важно воспитание детей.

Наступило двенадцатое августа. Трофим Семенович проснулся так рано, что еще не всходило солнце, и вышел в свой сад. Лучи утренней зари играли жемчугом и бриллиантами на каплях росы, набегавшей на цветы. Глянул Трофим Семенович на восток, и вспомнилась ему слышанная в театре ария из «Жизни за царя», где Сусанин прощается со своею последнею зарею. «И моя последняя заря, быть может, теперь светит; много раз будет она светить, да уж не мне; много раз будет восходить солнце, а меня уж не осветит и не согреет!» Невольно беспокоила его мысль, что в следующую ночь, когда исполнится сорокалетний срок, с ним последует конец; правда, он не чувствовал ни малейшего предвестия болезни, но припоминал себе много случаев, когда конец постигал человека так неожиданно, что за какой-нибудь час пред концом человек не был в состоянии предвидеть, что с ним случится. Жизнь стала особенно мила Трофиму Семеновичу, и все достояние его возвысило свою ценность в его помышлении, когда его

тревожила мысль, что не пройдет суток, как ему, быть может, придется со всем расстаться.

В этот день сын Яшникова обедал с отцом, а после обеда, вечером, сказал отцу:

— Поедем к Марушкиным. Проведем там этот вечер. У них сегодня большое общество; и сестра с зятем там будут. Я, батюшка, не отойду от тебя до завтрашнего утра.

Марушкины были богатые помещики, проживавшие на собственной даче в Царском Селе, приятельски знакомые с Яшниковыми.

Заложили коляску. Отец и сын Яшниковы сели в коляску и покатили в Царское Село. Небо закрывалось тучами, на юге, сквозь тучи, мелькнула молния, раздались раскаты грома. Когда коляска въезжала во двор Марушкиных, гром слышался сильнее. Невольно в голове Трофима Семеновича промелькнула мысль: «Меня здесь убьет гром!»

Когда уселись за чайным столом, Трофим Семенович против себя увидел фигуру, как две капли воды напоминавшую ему лицо Придыбалки. Фигура смотрела на него, и Трофим Семенович затрясся всем телом.

— Кто это сидит против нас? — спросил он сына.

— Не знаю,— отвечал Александр Трофимович,— я его в первый раз вижу. Спрошу у хозяина.

Фигура не сводила глаз с Трофима Семеновича. Старик беспрестанно опускал голову вниз, но как только приподнимал ее, глаза его невольно встречались с лицом, которое как будто уставилось прямо против него с испытующим взглядом.

Улучивши удобную минуту, Александр Трофимович встал, поговорил шепотом с хозяином дачи и, воротившись к отцу, сказал:

— Это какой-то иностранец, называет себя голландцем. Он садовник на соседней даче. Здесь он в первый раз и по-русски почти не знает.

— Какое странное сходство! — сказал отец.— Да еще и садовник! Он напомнил мне человека, которого я знал в молодости: и тот был также садовник.

— Сходства бывают поразительные! — сказал Александр Трофимович.

Гроза разыгрывалась. В окна дачного дома заглядывали ярко-синие полосы молнии. Удары грома сыпались за ударами. Дождь хлестал по крыше дачного дома и по оконным стеклам. Трофиму Семеновичу лезло в голову: «Вот грянет гром и убьет меня!»

Гром, однако, не убил Трофима Семеновича. Чай отпили. Гости расходились по комнатам. Гроза стала утихать. Но старик Яшников был до того потрясен, что едва держался на ногах и не отходил от сына. Кто только с ним ни заговаривал, всяк дивился: что с ним делается. Глядит дико; слова путаются у него на языке. В полночь Трофим Семенович хотел уехать, но Александр Трофимович убедил его подождать ужина.

За ужином Трофим Семенович искал глазами фигуру, испугавшую его, но в ряду сидевших за столом ее не было.

— Где тот господин, что за чаем сидел против нас? — спросил он сына.

— Он ушел тотчас после чая,— отвечал сын.— Я видел, как он взял свою шляпу и проскользнул, ни с кем не прощаясь.

Присутствие лица, похожего на Придыбалку, перестало тревожить Трофима Семеновича, но он чувствовал себя как бы выбившимся из колеи и не мог сам себе объяснить, что с ним происходило.

После ужина гости стали разъезжаться. Отец и сын Яшниковы возвращались к себе на дачу. Александр Трофимович спросил отца:

— Отчего ты, батюшка, так взволновался, увидевши этого господина?

— Он,— отвечал отец,— как две капли воды похож на одного моего знакомого, который сорок лет тому назад о Боге и суде божием говорил такие речи, какие слыхал я от тебя.

— Этот человек был русский или иностранец? — спросил сын.

— Кто его знает! — отвечал отец.— Мне он казался не русским, и людям нашей слободы также. Он был садовником у владельца.

— Не дурак он был, как я вижу! — сказал Александр Трофимович.— В то время и в такой глуши! Однако, если он произносил такие речи перед вашими хохлами, они, верно, сочли его воплощенным дьяволом.

— Ты угадал, Александр,— сказал Трофим Семенович,— именно так было.

— Не трудно угадать! — сказал Александр Трофимович.— Так всегда бывало и бывает с теми, кто дерзнет невежественной толпе открывать истины и разбивать суеверия, которыми утешают себя темные люди, наталкиваясь на необъяснимые для них вопросы.

Приехали на дачу. Рассвело.

— Прошла зловещая ночь! — сказал Александр Трофимович.— Кончился сорокалетний срок, так долго тревоживший воображение моего дражайшего родителя.

— Ах, Александр, Александр! — сказал старик.— Теперь только я вижу, что напрасно тревожил себя целых сорок лет! Все оттого, что напугали меня, что я, как мне казалось, слышал в лесу. Теперь нет никакого сомнения, что это мне только представлялось. Ты, Александр, сущую правду говорил: все, что люди рассказывают, будто мы после нашей смерти будем жить и отдавать Богу отчет за наши грехи, все это выдумка, вздор, брехня, как говорят наши малороссияне.

— Жаль,— заметил Александр Трофимович,— что человечество столько веков не могло освободиться от этой брехни и теперь еще не освободилось!

Тут обрывается наша легенда. Сорок лет прожил преступник в полном довольстве и благополучии, и только временами тревожило его опасение кары, которая должна была постигнуть его в срок, указанный в видении. Дожил он, наконец, и до этого срока, а кара не пришла. Не знал он и не уразумел, что началом обещанной кары было его многолетнее земное благополучие, а ее завершением — потеря Бога. Не понял этого и архиерей, отпустивший ему грех за построенную им церковь. Понял это один схимник, обитавший на земле единым телом, но голос его не был голосом земной мудрости. Эта же мудрость земная, говорящая рассудку, а не сердцу, внушающая уверенность, но не веру, не могла дать Трофиму Семеновичу иного утешения, кроме того, что преподал ему Александр Трофимович. Не удивительно, что грубая проповедь современного нам атеизма переворотила, так сказать, вверх дном все нравственное существо старого разжившегося мужика, умственно совершенно не развитого, когда подобные проповеди в наше время сбивали с толку людей, подготовленных воспитанием к более правильному мировоззрению. Материализм привлекает к себе людей небогатой духовной натуры своею легкостию и доступностию для каждого умника рассудочных доводов, годных в предметах житейского обихода, но вовсе не приложимых к высоким вопросам о божестве, о духе, о бессмертии. Сын заглушил в сердце родителя последние остатки того детского страха, который Священное Писание называет началом премудрости. Трофим Се-

менович разлучился с Богом, и как свободно, как привольно ему тогда показалось! Не опасался он уже ни суда божия, ни кары за свое злодеяние; он мгновенно как бы забыл про страшное дело, им когда-то совершенное в лесу над оврагом, как будто оно происходило не с ним, а с кем-то другим, как будто он об этом деле слыхал или читал когда-то уже давно. Прежде он чуждался благотворительности: нищим раздавал милостыню, бедным помогал, в благотворительные заведения делал пожертвования; теперь все это было оставлено, не было побуждений к хлопотам и издержкам; и в церковь никогда Трофим Семенович не заглядывал; не нужно было ни подкупать, ни умаливать какого-то Бога в чаянии снисхождения к своим грехам. Еда и питье во всех видах и обстановках: роскошные обеды и ужины, повара искуснейшие, вина лучшего достоинства, сервировка изящнейшая, при столе своя музыка! Жил Трофим Семенович во все свое удовольствие. Но не очень долго прожил он после окончания сорокалетнего срока: однажды после веселого ужина отправился он по обыкновению спать и утром уже не проснулся. Кончина внезапная и, конечно, легкая! Его богатый гроб повезли на кладбище Александро-Невской лавры, за гробом следовала толпа дармоедов, посещавших прежде обеды и ужины покойника. Один проповедник, славившийся тогда в Петербурге даром красноречия, произнес надгробное слово, в котором высоко превознес добродетель усопшего. Проповеднику верили, да и сам он был убежден, что говорит правду. Никто не имел причины сомневаться. О преступлении, совершенном Трофимом Семеновичем в юные годы, никто не знал, и до сих пор не знает о нем никто, кроме нас с вами, благосклонные читатели.

ХОЛУЙ

Эпизод из историческо-бытовой русской жизни первой половины XVIII столетия

ГЛАВА I

Во всяком городе, существующем на земном шаре, если не все вообще обитатели этого города, то, по крайней мере, хозяева домов, в нем построенных, питают привязанность к месту своего жительства. Один Петербург составлял в этом отношении изъятие. Этот «парадиз» Петра нравился только своему основателю да немногим из его приближенных,— да и те повторяли царские похвалы новосозданному городу только из угождения государю или из боязни за себя: в глазах Петра не любить Петербурга было признаком несочувствия ко всем видам и затеям государя. Петру хотелось, чтобы все русские люди любили то, что ему самому было по сердцу. Но старая русская поговорка: «Насильно мил не будешь»,— как нельзя более приложилась к Петербургу. Как ни добивался государь Петр Алексеевич заставить русских полюбить Петербург,— не полюбили его русские. Не только не стал он им любезным, но и по смерти Петра был отвратителен и ненавистен; и до сих пор недолюбливают его на Руси, хотя после Петра прожила Россия столько времени, что отроки настоящих годов, поступившие в школы, будут находиться в самой цветущей поре возраста, когда придется праздновать двухсотлетний юбилей основания Петербурга. Что же было тогда, когда основатель Петербурга только что закрыл навеки глаза и его гроб стоял в деревянной церкви Петропавловского собора, между тем как достраивалась каменная церковь с подземными усыпальницами русских императоров, из которых первому Петру приходилось начать собою ряд царственных покойников? А в это именно время произошло событие, послужившее основанием настоящему рассказу.

Основатель Петербурга в последние годы своего царствования полюбил особенно Васильевский остров. Там хотел он сделать средоточие своей столицы и повелевал отправлять в Петербург для поселения на Васильевском острову из разных краев России помещиков, не обращая внимания на их жалобы. Этого было мало: государь велел переноситься на Васильевский остров даже тем, у кого были уже построены дома в других частях города Петербурга: преж-

ние дома и дворы приходилось или продавать, или оставлять в запустении; отдавать внаймы было трудно, потому что на это мало было запроса. Дворовые места на Васильевском острове раздавались даром желающим, и для этого учреждена была особая канцелярия. Но великий государь не напрасно всю жизнь роптал, что его повеления исполнялись плохо и несвоевременно; русские люди постоянно вымышляли увертки, как бы обойти закон и не делать так, как власть велит делать. То же высказалось и теперь. Туго заселялся Васильевский остров, хотя государь издавал указ за указом, один строже другого, понуждая скорее переселяться и строиться на Васильевском острову тех, кому выпал жребий. С тем Петр и умер, а на Васильевском острову стояло много начатых и недостроенных зданий и еще более значилось отмеченных дворовых мест, где не было никаких начатков строения. Застроена была только стрелка, две первых улицы до Среднего проспекта и значительная часть набережной Невы. Большой проспект был тогда только дорогою, проложенною от сада князя Меншикова вплоть до маяка в каменной башне, поставленной на взморье в галерной гавани. По этой дороге, называемой тогда Большою перспективою, кое-где стояли недостроенные домики с разводимыми при них садами и огородами; виднелись следы каналов, которыми хотел государь изрыть весь Васильевский остров, но потом оставил этот замысел. Все остальное пространство Васильевского острова было покрыто ольховым и еловым лесом. Украшением застроенной части острова был тогда дворец Меншикова с огромным садом, тянувшимся по нынешней Кадетской линии, и со множеством строений, принадлежавших лицам из его княжеского штата. По набережной Невы, по направлению к стрелке, красовался дом Соловьева, бывшего у князя управляющим делами; далее следовали: новое громадное, тогда уже отстроенное, здание коллегий, дворец царицы Прасковьи, вскоре потом обращенный в здание Академии наук и дома разных вельмож, рядами выстроенные по берегу Малой Невы. Между дворцом князя Меншикова и двором Соловьева прорыт был канал, и на берегу его построена была каменная церковь Воскресения, внутри красиво расписанная, с наружною колокольнею, на которой были устроены часы с курантами. В другую сторону от меншиковского дворца был расположен рынок (он занимал нынешний Соловьевский сквер) с деревянными лавками, а за ним по набережной шли частные дворы разных хозяев,

насильно переселенных по царской воле на Васильевский остров. Дома в этих дворах были каменные или деревянные, обложенные кирпичом, двухэтажные и расположены были по линии ближе к Неве, чем теперь. При каждом из дворов были на берегу реки пристани с судами, принадлежавшими хозяевам этих дворов, а близ рынка и в некоторых других местах Невской набережной были пристани для перевозки разного народа в судах, называемых буерами. Эти пассажирские буера плавали беспрестанно по Неве и ее протокам от пристани до пристани, одних пассажиров выпуская на берег, других набирая с берега: такие буера в те времена занимали место железноконных карет нашего времени. Как в наше время мы встречаем повсюду эти кареты, снующие из улицы в улицу со множеством разнородной публики, так в то время вся Нева кишела множеством сновавших по ней буеров, торншхоутов, яхт, шлюпок, карбасов, яликов, вереек и с иными наименованиями судов и частных, и публичных, а берега Невы усеяны были пристанями, где беспрестанно причаливали и отчаливали суда разных величин и разных образцов.

В числе дворов, расположенных по набережной Большой Невы на Васильевском острове, был на углу осьмой линии двор княгини Анны Петровны Долгоруковой. Ее барский дом выходил угольною стороною к набережной и снабжен был широким крыльцом с балконом, выходившим во двор; перед ним во дворе был разведен палисадник. Дом был деревянный, обложен кирпичом и крыт черепицею.

Рядом с домом были ворота во двор, по набережной от этих ворот шла аллея к пристани, а в глубине двора были службы и между ними — обширная людская изба. За службами — деревянный забор, ограждавший недавно разведенный сад. Двор этот со всеми в нем находившимися постройками был окончен в 1724 году, и владелица перебралась в него в конце этого года из другого своего двора в Литейной части на Воскресенском проспекте. От этого весною 1725 года все в этом васильеостровском дворе носило отпечаток свежести и новизны. Деревянные стены служб и заборов не потеряли еще той желтой окраски, которая везде отличает надавно возведенное деревянное строение, а деревья, посаженные в саду и в аллее, ведущей к пристани, были не выше человеческого роста. На помосте крылечного балкона виднелись расставленные стулья и кресла, показывавшие, что здесь было обычное место сиденья боярской семьи.

Был конец мая.

На дворе княгини Долгоруковой кишела толпа дворни обоих полов и разных возрастов: тут были и дети, и молодые парни и девки, и сморщенные старики и старухи. Дворня княгини была многолюдна. Хозяйка была русская боярыня до мозга костей и в том поставляла достоинство своей боярской знатности, чтоб ей прислуживало много холопьев. Теперь дворня оставалась без боярыни, отлучившейся из дома, суетилась и бегала по двору с пронзительными криками. Все были вооружены длинными палками с ложбинами на конце, все гоняли по двору деревянное колесо или каток; каждый старался ударить палкою по катку и отогнать его то в ту, то в другую сторону, и каток вертясь перебегал то в глубину двора, к службам, то к главным воротам с набережной. То была обычная в то время игра в килку, или в каток. По правилам этой игры, игрецы составляли два ряда; один ряд становился против другого, один ряд гонял каток в одну сторону, другой — в противную, и так гоняли каток до тех пор, пока кто-нибудь из того или другого ряда успевал ударом палки поставить его на деревянную колоду. Две таких колоды стояли: одна в углублении двора у конюшни, другая у ворот; кто взбивал на колоду каток, тот делался победителем и сообщал торжество победы тому ряду игрецов, в котором стоял. Тем оканчивалась игорная партия, и потом могла начинаться другая. В ряду игравших был молодой сын княгини, восемнадцатилетний князь Яков Петрович Долгоруков, одетый в кафтан фиолетового цвета с золочеными позументами и в штаны ярко-зеленого цвета, что по нарядности отличало его от наружного вида прочей дворни. Молодые боярчата не стыдились принимать участие в играх собственной дворни, и сами родители часто не возбраняли им таких потех, а считали долгом наблюдать, чтобы их дети не набирались в холопьем кругу «подлых» привычек, и запрещали холопям в присутствии боярчат произносить непристойные слова, чтобы дети бояр таких слов не перенимали. Но плохо исполнялись приказания старых господ и госпож, а всего чаще не исполнялись вовсе так же точно, как и прежние запрещения царей и патриархов не истребили срамословной болтовни русского простолюдина. Княгиня Анна Петровна не одобряла общения своего сынка с дворнею, хотя по временам на него ворчала, но во всем ему снисходила; на ту же пору старухи не было дома, и молодому княжичу была вполне своя воля. Князь Яков

Петрович в игре с холопами дозволял себе такие выходки, каких бы не позволил в товариществе с равными себе, так, например, подбросить каток так, чтобы тот, подпрыгнув, задел кого-нибудь из игравшей челяди: за такую проделку холопи наделили бы тумаками своего брата, но на боярчонка никто не смел заявить и тени неудовольствия. Во всем остальном все шло попросту, без чинов, как будто здесь не было человека сиятельной или даже благородной крови: крики, брань, смех, балагурство.

— Эх ты, старина! — кричал молодой холоп седому.— Али руки уж одубели, что ползает у тебя каток!

— Эй ты, курносый, нишкни! — отвечал старик.— Ты свою башку поставь на место килки, так увидишь, как я ее закину через конюшню!

Другой холоп из противного ряда ударил по катку и погнал его к воротам.

— Нет, врешь, к нам! — кричал боярчонок и погнал каток по направлению к конюшне.

— Ан к нам, боярин! — крикнул тот, что прежде гнал его к воротам.

— Постой, Сенька, руки у тебя еще не выросли! — закричала баба и опять направила каток к конюшне.

— Нет, к нам пожалуйте! — закричала девка и опять повернула каток к воротам.

— Пробегайся-ка, лебедка! — закричал ей парень и двинул каток к конюшне.

В кругу игравших был один холоп по имени Василий Данилов, молодой парень двадцати двух лет от роду. Это был коренной холуй из деда и прадеда; ни он, ни родители его, уже тогда умершие, не могли во время своей жизни сказать, как давно род их стал в холопстве у князей Долгоруковых. Его покойная мать была в Москве у княгини ключницею, и княгиня в знак милости пожаловала ее сына и отдала учиться вместе с другими холопьими детьми к священнику Егорьевского женского монастыря в Москве. Покойный император не раз заявлял желание, чтобы бояре отдавали своих холопей учиться грамоте. Не слишком торопились бояре исполнять такое царское желание, когда оно не делалось приказанием, и смотрели на него подозрительно. «Уж не думает ли государь,— говорили они промеж себя,— попользоваться нами? Выучим холопей своих, а они отойдут от нас да пойдут в царскую службу. Царь позволил же холопям нашим записываться в солдаты и драгуны, а паче в матросы, хоть бы и мимо нашей воли.

Мы холопа своего обучим: какой уж из него слуга нам? А грамотных царь любит. Вот и выйдет, что нам убыток, а царю корысть. Пожалуй, чего доброго: как намножится-то грамотных холопей — царь их всех и заберет себе в службу». Говорившие таким образом не были не правы. У Петра точно было такое желание. Но княгиня Анна Петровна Долгорукова во всем отличалась покорностью царю и старалась как-нибудь довести до него, что она из первых делает так, как ему угодно. Так она безропотно и скоро перенеслась по его воле на Васильевский остров; так она, услыхавши, что царю приятно было бы, когда б господа отдавали холопей учиться грамоте, тотчас договорила соседнего попа и послала к нему кружок дворовых мальчишек, а потом пыталась разблаговестить об этом, чтобы о ее поступке узнал государь. Но этим не удалось ничего выиграть княгине.

Василий Данилов учился хорошо и, когда дошел до того, что умел читать церковное и гражданское письмо, был отпущен в свою дворню. Боярыня приказала своему московскому управителю прислать Василия в Петербург в дворню, а в Петербурге, спустя несколько времени, приставила его в услужение к своему сыну Якову, тому самому, что играл с дворнею в килку.

Василий Данилов служил боярчонку, ходил за ним, выражаясь языком прислуги, чередуясь с другим товарищем поденно. Этот Василий Данилов был нрава горячего, живого, но вместе меланхолического, и потому был склонен к мечтательности и любил разговоры о гаданьях, волшебствах, привидениях, а грамотность, приобретенная им у священника, невольно расположила его к недовольству своим холопьим положением; оно, однако, не повело еще пока Василия Данилова к желаниям как-нибудь освободиться от этого положения, а ограничивалось только сожалением: зачем он родился холопом, тогда как другие родились свободными. Все равно как если бы кто жалел — почему человеку не дана способность летать по воздуху, подобно птице; ему было бы жаль, что этого нет, но он бы не выдумывал средств, как этому пособить; так и Василий Данилов: хотя и скорбел душою, что он холоп, но примирялся с этим на той мысли, что иначе быть нельзя, так уж он создался. Вот уже зиму провел он в услужении молодому княжичу. Этот княжич был большой драчун, и редко проходил день, когда бы он не изругал своего слуги или не дал ему затрещины. Правда, князь Яков Петрович, избало-

ванный матерью, хотя был драчлив, однако когда, по холопскому выражению, отходится, то делался ласков, а такое качество господ, как известно, примиряло холуев с их положением и обыкновенно побуждало их надувать своих господ и тем отплачивать им за претерпеваемые пинки и побои. И Василий Данилов вступал уже на ту дорогу, и, так сказать, захолуивался, как вдруг неожиданное событие поставило его в исключительное положение к своему боярину.

Была в дворне Долгоруковых девушка, именем Груша, девка полнолицая, румяная, мясистая спереди и сзади. Василий Данилов почувствовал влечение к этой девушке. Уже с месяц он, как умел, старался ухаживать за нею, хотя, по неопытности своей, приступал к этому делу несмело. Между тем не знал он, что у него оказался соперник и этот соперник был его боярчонок, князь Яков Петрович. В настоящий день Груша была в числе челяди, игравшей на дворе в килку. Василий Данилов, стоявший в ряду игрецов против того ряда, где стояла Груша, по влечению старался, мешавшись в толпе, тронуть ее рукою. Но то же делал и боярчонок, стоявший в одном ряду с Грушею. Василий этого не замечал, но боярчонок заметил, куда клонятся движения Василия Данилова. Заметила все это и Груша и поняла, чего хочет боярчонок. Она приветливо улыбалась, когда он ее затрагивал, а от Василия Данилова отвертывалась, надувала губы и отдергивалась, как будто желая сказать ему: поищи себе, голубчик, другую! Боярчонок не решался придраться за что-нибудь к своему холую всенародно, а только пыхтел, краснел и сверкал глазами, готовясь отплатить ему после и расправиться с ним втихомолку; здесь, при народе, выразилась его досада тем, что, когда приходилось догонять каток к колоде, князь Яков Петрович, стоявший в то время далеко, проскочил сквозь толпу играющего люда с палкою и ударил по катку так, что каток полетел прямо на Василия Данилова и задел его по носу. У Василия Данилова пошла из носа кровь. Боярчонок сорвал свое сердце, холуйская компания захохотала над Василием Даниловым, стараясь тем понравиться боярчонку, а Груша, поглядывая на князя Якова Петровича, и себе тоже осклаблялась. Василий Данилов заметил это движение Груши; в нем закипело сердце, и не в состоянии был он удержать себя, хотелось ему дать господину отместку. Каток был еще не вскинут на колоду, и Василий Данилов, оправившись от удара, полученного в нос, весь красный от

злобы, ударил палкою по катку и нарочно пустил его так, что каток попал князю Якову в живот. Князь Яков отшатнулся, схватился за живот; холуйская компания не смела захохотать, а только кусала себе губы и отворачивалась, чтоб не засмеяться, потому что фигура его сиятельства была тогда очень забавна.

— Ах ты животное! — крикнул, рассердившись, князь Яков Петрович и, махнув палкою по катку, направил его так, чтоб каток снова попал в Василия Данилова, но от большого усердия хватил так сильно, что каток перелетел через Василия Данилова и попал в голову Груше, стоявшей позади. Груша вскрикнула от боли.

— Болван! — заревел князь Яков Петрович, глядя на Василия Данилова, сам не зная, кого он обругал; но в эту минуту стоявший близ него холоп ударил по катку, поймал его ложбиною своей палки и вскинул на колоду.

Тут раздались голоса: «Господа! Господа!» Дворня разбежалась. Князь Яков Петрович отдал холопу свою палку и сам пошел к дому. На пристани вышла княгиня из богато убранного судна, носившего итальянское название гондолы, вместе с сыном и, поддерживаемая холопями, словно архиерей иподьяконами, шествовала чинно и величаво по аллее в ворота своего двора. Часть дворни, игравшей в килку, покидавши палки, встречала свою барыню с поклонами. Княгиня медленно всходила на крыльцо дома. На ней было верхнее платье лилового цвета, из-под которого выглядывало другое, ярко-зеленое, обшитое золотыми позументами. На голове у ней была черная шляпка с большим букетом наверху и с развевающимися перьями. Ставши на крыльце, княгиня окинула взором свой двор и спросила:

— Что, здесь в килку играли?

— Забавлялись,— отвечала прислуга.

— Вишь, проказники! Только что я со двора, они без меня на головах начинают ходить! — сказала княгиня.— И Яша мой с ними?

Прислуга молчала.

— Что не отвечаете? — сказала княгиня, возвышая голос.— Оглохли, что ли? Мне разве десять раз об одном и том же спрашивать?

— Да-с, князь Яков Петрович изволили забавляться.

Покачнула головою княгиня и вошла в дом. В передней холуи сняли с нее верхнее лиловое платье, и она в зеленой бархатной робе с фижмами вошла в залу, уставленную стульями с высокими спинками и черными столами с пер-

ламутровою инкрустациею; стены были обиты голубыми штофными обоями с белыми цветками, на стенах висели зеркала в золоченых рамах с черными обводами на окраинах.

Князь Яков Петрович был уже там; он почтительно подошел к руке матери, но княгиня, отдернувши руку, покачала головой и сказала:

— Бесстыжий! Как раскраснелся! Опять с челядью играть принялся? Чем бы сидеть за французскими диалогами, а он обрадовался, что матери дома нет: сейчас в холуйскую компанию. Видно, такая «ассамблея» приятнее тебе всякого благородного общества? Хочешь, чтоб эти подлые тебя всюду ославили? С нами, будут молоть, боярчонок играет, как с равными! Дойдет до государыни, а государыня, пожалуй, как увидит меня, так в насмешку скажет: «Твой сынок, княгиня, хорошо умеет в килку играть». Что я тогда скажу ее величеству? И так мне один срам с тобой! Никуда с тобой явиться нельзя. Постыдился бы ты хоть на других глядя. Вон князь Черкасский, почти твоих лет, может быть, годами двумя старше, никак уж не больше, а какой молодец: при дворе про него только и речи. Как танцует, как по-французски говорит и по-немецки, как верхом ездит! Высоко пойдет. А ты? Долгоруков-князь! В благородную компанию стыдно привести! Ах, срамник!

Княгиня отворотилась.

— Маменька!..— начал было князь Яков Петрович.

— Не выговаривайся, не оправляйся,— говорила княгиня.— Виноват, и только. Винись, а вперед не делай так. На, целуй руку!

Князь Яков Петрович умильно поцеловал матери руку.

Княгиня смягчилась и ласковым голосом произнесла: «Шалун!»

ГЛАВА II

Познакомимся теперь с этой боярской семьею.

Древний род князей Долгоруковых еще задолго до Петра Великого разделился на несколько ветвей. Одна из этих ветвей имела родоначальником одного из князей Долгоруковых, которого в свое время за вспыльчивость нрава прозвали Чертом, и это насмешливое прозвище надолго

оставалось за его потомками, так что, говоря о них, в отличие от прочих князей Долгоруковых, их называли: Долгоруковы-Черти. К этой ветви принадлежали в конце XVII в. князь Юрий Долгоруков и сын его Михайло, убитые стрельцами в мятежный день 15 мая 1682 года. Командовавший тогда Стрелецким приказом этот князь Михайло Юрьевич был до крайности нетерпим подчиненными: от малейшего противоречия он приходил в ярость и в порыве гнева способен был не только убить всякого, но и мучить самым зверским образом. За то стрельцы прозвали его Чертом, подобно тому, как это прозвище носил один из его предков. «Черт как есть,— говорили о нем стрельцы,— недаром и рода он чертовского». После мученической смерти князя Михайла Юрьевича (убитого разом со своим родителем) остался сын его, князь Петр Михайлович. Он участвовал в азовских походах, потом в шведской войне и в 1708 году был убит в сражении при Головчине. Года за четыре до смерти сочетался он браком с княжною Анною Петровною Щербатовою; после мужа осталась она вдовою с тремя сыновьями. Первый, Сергей, был отправлен Петром Великим для образования за границу и в описываемое время находился на службе в Голландии. Там он задолжал, просил мать выплатить его долги, но княгиня Анна Петровна не могла исполнить сыновней просьбы. Она только что переселилась на Васильевский остров, много потратилась на издержки, необходимые при переселении, на постройки, на обзаведение хозяйства на острове, а между тем управляющие из ее имений присылали ей неутешительные отзывы: там град побил хлеба на корню, там постройки сгорели, там пчелы вымерзли... Денег не присылали сколько нужно было, а сумма для уплаты долгов князя Сергея Петровича требовалась немалая. Когда умер Петр Великий, княгиня пожалела, зачем он не умер несколькими месяцами раньше: она соображала, что тогда ей не предстояло бы необходимости переселяться на остров. Воцарилась Екатерина. Княгине приходила мысль, что, при известной всем добротесердечной, эта государыня могла бы заплатить долг за князя Сергея Петровича, но княгиня не была так близка к государыне, чтоб отважиться просить ее об этом. И все думала княгиня о своем Сереже, и ни к какому средству выкупить его из долга не прибегала, а между тем получила известие, что Сережу за неуплату посадили под арест. Другие двое сыновей княгини росли дома. Яков, которого мы видели, достиг уже восемнадцати лет, но не оказывал

склонности ни к учению, ни к службе, ни к какому бы то ни было занятию. Это был образчик боярчонка старых времен, шалопай с головы до ног, каких было много в боярских семьях и каких особенно не терпел покойный государь Петр Алексеевич. Счастье было для князя Якова, что государь не обратил на него своего орлиного взгляда. Третий сын княгини, князь Владимир, был годом моложе князя Якова; он был способнее и охотнее своего братца, служил в кавалергардской роте, и так как этой роты никуда не посылали из столицы, то проживал дома с матерью. Как нравом, так и привычками братья мало походили друг на друга, хотя вырастали и воспитывались вместе и в одинаковых понятиях. Владимир не стал бы играть с холуями: это он признавал унизительным для своего родового достоинства; Владимир охотно проводил время в компании боярских сынков, любил круг боярышень с их милою болтовнею. Князю Якову, напротив, тошно казалось пребывать долгое время в господской компании, особливо дамской; он не находил там, что и о чем ему говорить, он предпочитал компанию холуев и сенных девок: там ему было привольнее, там не нужно было соблюдать приличий,— можно было подчас ввернуть и крепкое словцо, а девка, не то что боярышня, как ни верти хвостом, а все-таки угождай господину — подневольный народ! Ни одеваться, ни пудриться не нужно,— никто не осудит. А в этой господской, благородной компании какая тоска для князя Якова Петровича! Являйся пристойно одетым, причесанным, а прическа сколько времени унесет и сколько перепортит крови! Не смей ни облокотиться, ни почесаться; а станешь говорить — за каждым своим словом замечай, чтобы сказано было прилично, благопристойно и вежливо. Князь Владимир выучился по-немецки и по-французски; правда, выучился он плоховато, но все-таки мог, с помощью диалогов, складывать фразы, употребительные в текущем разговоре. Князя Якова сколько ни заставляли учиться языкам — ничто ему не давалось; по принуждению он зубрит, а чуть над ним не смотрят, он книжку в сторону, шалопайничает и от дела отлынивает; или с холопами болтается, или шатается, либо в лодку сядет да без дела плавает; на другой день спросят его то, что зубрил накануне,— ничего не помнит! Учивший обоих братьев француз сделал о нем такой приговор, что если бы его сто лет учить французскому языку, он и тогда ему бы не выучился. И в самом деле, преподававшие братьям-князьям француз и немец были

отпущены с той поры, как князь Владимир поступил в кавалергарды. Князь Яков ничего не понимал из того, чему учился; мать думала все еще как-нибудь и сколько-нибудь сделать из своего сынка что-то похожее на молодого человека благородной крови; она продолжала томить его, засаживая за диалоги, но князь Яков отлягивался от них, как норовистая лошадь от хомута. Князь Владимир танцевал и любил танцевать; князю Якову танцы с боярышнями были все равно, что тяжелая барщина для ленивого мужика. Зато князь Яков любил пляску холопей и часто, усевшись в людской, заставлял перед собою отплясывать трепака или вприсядку под звуки балалайки или гитары, причем подчас готов был залепить тумака каждому, в ком замечал косой, не нравившийся ему взгляд. Так потешались его предки, так любил тешиться и он, бессознательный хранитель отживавших предковских приемов жизни! Всякого серьезного разговора он избегал как чумы, да и вести его не мог. От всякого труда он уклонялся; не тянули его к себе и такие забавы, как звериная и птичья охота, рыбная ловля и всякие игры — все, где сколько-нибудь является необходимым терпение. Нельзя сказать, чтоб он был, как говорится, соня. Он спал немного, вставал рано, после обеда не заваливался, ел умеренно, пил мало, всегда в беготне, в суете: непосидючий такой, говорила о нем дворня. Холопи не любили его, хотя он с ними и панибратился, не любили за то, что подчас был драчлив; для него ничего не значило угощать их вином, шутить, дурачиться с ними, да тут же одного-другого залепить в морду; после того он не сознавал, что сделал нехорошо и оскорбил человека. Мать чрезмерно его баловала; она втайне сознавала, что он глуповат, но не решалась ни перед кем сказать этого гласно, зато никуда не брала его в гости и не делала никаких шагов с целью как-нибудь поместить его на служебном поприще. Она любила его более других детей; нередко бывает, что материнское сердце привязывается особенно к тому из детей, кто поглупее прочих, так как матери считают таких детей обиженными природой и требующими их попечений.

И в этот раз, нагрозивши сыну и заставив его в знак покаяния поцеловать материнскую руку, княгиня Анна Петровна отпустила своего Яшу с материнскою нежностью. Князь Яков задумывал поскорее расправиться с дерзким холуем; князь сознавал, что тот умышленно хватил его катком в живот. Он побежал к сеням, где собиралась

обыкновенно прислуга, и из полуотворенной двери увидел в комнате, примыкавшей к сеням, сцену, которая заставила его приостановиться и наблюдать ее втихомолку.

Василий Данилов беседовал с Грушею. Князь Яков услыхал между ними такой разговор.

— Говорят тебе, не задерживай, мне некогда,— говорила Груша.

— Задерживать тебя не стану,— говорил Василий Данилов.— Ты мне скажи только: зачем ты от меня отвертывалась, когда играли в килку, а боярчонку усмехалась, как тебя он затрагивал. Я все видал!

— Как же я смею перед господином губы надувать? — сказала Груша.— За это и по губам кулаком дадут. На то господа! Как им угодно, чтобы мы велись перед ними, так и ведемся. А ты мне что такое, что спрашиваешь? Словно ты мне муж или родной брат!

— Я полюбил тебя, Груша. Я ж говорил тебе не раз,— сказал Василий Данилов.

— Этаких речей наша сестра слушать не должна,— отвечала Груша.— Мягко вы, молодцы, нам стелете, да жестко будет уклasться на постланном. Вижу я, что у тебя на уме: поиграть со мною, а потом чтобы плакалась на тебя. Нет, Василий, ты ищи себе попроще и поглупее.

— Прежде ты мне так не говорила,— сказал Василий Данилов,— а вот как увидала, что боярчонок стал на тебя заглядываться, так ты меня прочь отпихиваешь. А того в толк взять не хочешь, что уж коли кто вам, девкам, мягко стелет, а жестко бывает ложиться, так эти вот боярчата. Князь Яков Петрович затеял поиграть с тобою, позабавиться, а после бросит да за другую возьмется. А наш брат — не то; мы свои люди.

— С чего ты это выдумал князя Якова Петровича ко мне прицеплять? Пустомеля ты этакой! — говорила Груша.— Что тебе до меня, скажи пожалуйста?

— Да то, что я люблю тебя,— сказал Василий Данилов.

— Ну, чего ж ты от меня хочешь-то? — спрашивала Груша.

— Хочу в любви с тобой быть! — сказал Василий Данилов.

— А я этого не хочу,— ответила Груша.— Это нехорошо.

— Я бы на тебе женился,— сказал Василий Данилов.

— Мы разве можем жениться и замуж выходить с кем нам захочется? — сказала Груша.— Это вольные люди мо-

гут так. А мы, холопи, должны жениться и замуж выходить тогда только, когда господа нам прикажут.

— Кабы у тебя, Груша, такое чувствие было ко мне, как у меня к тебе,— сказал Василий Данилов,— ты бы пошла к княгине да бух ей в ноги: полюбила я, мол, Василия Данилова, отдайте за него замуж!

— С чего ты взял, чтоб я это сделала? — говорила Груша.— Что ты, в самом деле, за Иван-царевич какой, чтобы я к тебе такое чувствие возымела? Нет, брат, про эти глупости говори лучше какой-нибудь другой, а не мне. Я про эту любовь не знаю и знать никогда не желаю. Это одно баловство, и больше ничего. Вот коли госпожа наша боярыня скажет: «Груша, выходи замуж»,— за кого прикажут, за того выйду. А чтобы мне самой идти говорить об этом княгине,— что я, девка совсем потерянная или дура неотесанная?

— А если бы,— сказал Василий,— боярыня велела тебе замуж выходить за Василия Данилова, пошла бы ты?

— Вестимо, пошла бы,— отвечала Груша.— За кого бы велела идти, за того бы и пошла. Уж, конечно, не артачилась бы. Я девка подневольная. Как же я смею?

— И любила бы ты меня, Груша? — спрашивал Василий Данилов.

— Любила бы,— отвечала Груша.— Как же не любить мужа? На то закон принимают, чтобы мужа любить. И господа замужним приказывают любить мужьев. На то девок и замуж выдают, чтобы мужьев любили.

— А теперь ты меня не любишь? — спрашивал Василий Данилов.

— Вестимо, нет. Что ты мне такое, чтобы я тебя любила? Не муж, не брат, не отец, не дядя, не родня вовсе... За что же и с какой стати любить мне тебя? — отвечала Груша.

— А я вот люблю тебя, хоть ты мне не жена,— сказал Василий Данилов.

— Не люби, не за что! — сказала Груша.

— А боярчонка, князя Якова Петровича, любишь ты? — спрашивал Василий Данилов.

— Своих господ мы должны любить и во всем слушаться их. Что они прикажут, то и делать. На то они господа наши. Волю имеют над нами,— говорила Груша.

— Груша! — сказал с усиливающимся жаром Василий.— Я очень, очень люблю тебя; так люблю, что и сказать не знаю как. Груша! Не люби боярчонка! Меня люби!

Ах, как мне хочется обнять тебя, к сердцу прижать, расцеловать...— Груша повернулась от него, собираясь выходить.— Груша! Груша! — говорил Василий Данилов, воспламеняясь.— Груша, душенька моя!

Он бросился обнимать ее, но в это время стоявший позади его в другой комнате боярчонок из полуоткрытой двери крикнул:

— Васька! Иди сюда!

Василий Данилов опомнился. Груша ушла. Василий обернулся и увидел князя Якова Петровича, позвавшего его и шедшего обратно. Василий Данилов поплелся за боярчонком, повеся голову.

Сыновья княгини помещались в отдельных комнатах с разными входными дверьми, выступавшими в коридор. Князь Яков Петрович вошел в свою комнату; за ним последовал и Василий Данилов. Боярчонок, не входя с холуем в объяснения, не говоря никакого худого слова, залепил ему кулаком в лицо, потом приставил к стенке и стал бить по щекам с таким удовольствием, как будто после каждой пощечины похваливал его стоявший за спиною предок, заслуживший некогда название Черта. Совершивши эту операцию, княжич велел холую чистить клетку, висевшую с птицею в комнате, наконец, угостивши Василия Данилова бранью, перенятою из словаря кучеров и холуев, прогнал его от себя. Бедный холуй, отведавши такого господского угощения, сгоряча побежал к своей боярыне; она была тогда в угольной комнате за гостиною, в комнате, носившей в тогдашнем домашнем быту название светлицы. Княгиня сидела на софе; перед нею стояла ее приближенная женщина Мавра Тимофеевна, которую дворня звала «боярскою боярынею». Княгиня рассказывала ей, как она ездила с визитом к князю Василию Лукичу Долгорукову, входившему тогда в силу при дворе, и как просила этого князя, нельзя ли постараться как-нибудь избавить ее сына Сережу от ареста за долги в Голландии.

— Я говорю ему, знаючи, что он большой заступник за честь всего рода долгоруковского: «Ведь это, князь, пятно кладется на весь род!» А он мне говорит: «Всяк сам себя знает. По одежке протягивай ножки. Коли нечем платить — не бери в долг».—«Да ведь,— говорю ему,— оно было бы чем заплатить, да вот такое приспело разом: покойный государь приказал строиться на Васильевском острове; тут казны немало убухали».—«Что ж,— говорит он,— такова царская воля была. Что будешь делать! Ты,

княгиня, по-бабьи рассуждаешь! А что, как нашего брата пошлет царь-государь в иную землю с посольством? Траты немалые, а едем, крепимся, из сил выбиваемся, а слушаем царского наказа! А тебе, видишь, тяжело стало издержать каких-нибудь шесть-семь тысяч рублев». А я ему говорю: «Помнишь ли, как дядя твой, князь Яков Федорович, заступился перед покойным государем за Василия Владимировича? Тогда написал он государю письмо и выложил в том письме, что честь нашего рода терпит тем, что князя Василия Владимировича под арест взяли. Теперь разве честь нашего рода не терпит? Мой Сережа также долгоруковского рода, а его, вот пишет, под арест посадить хотят». А он мне на это: «Ты, княгиня, опять по-бабьи судишь. Что приводишь пример князя Якова Федоровича, как он заступился за князя Василия Владимировича? То было важное дело, государственное, головное, а это свое, приватное; там на человека взвели преступное дело, вину великую, а за твоим сынком преступления никакого не взводили. Тут просто заплатить надобно, и только! Окроме того, князь Василий Владимирович и по летам, и по службе государю — не верста твоему Сергею. Твой еще человек молодой; пусть послужит; пройдет много лет — дослужится до такой ступени, как князь Василий Владимирович: тот ведь фельдмаршальский чин носил! Не безделица! А тут что ж? Молодой человек задолжал, имение у матери есть. О чем тут долго думать! Заложите да и выручите сынка! А то нешто за него всему роду Долгоруковых платить? Этого, княгиня, вы хотите, что ли? Так видите, если бы кто из Долгоруковых по какому-нибудь несчастному припадку до нищеты дошел, тогда иное дело: я первый бы из своего кровного достояния стал его выручать. А с вашим сынком никакого несчастного припадка, храни Бог, не было, да и вы, княгиня, слава Богу, не нищая; стало быть, можете из своих средств сына выручить».

Я на это сказала ему: «Если б я была близка к государыне, непременно попросила бы ее, пусть бы заплатить повелела за моего сына из казны. Этим казны не разоришь». А он наморщил брови и говорит мне: «Скорбит душа моя, что слышу таковы речи от княгини Долгоруковой, урожденной княжны Щербатовой. Вот кабы их услыхал покойный дядюшка, князь Яков Федорович! Он всегда говаривал: «Мы, князья и бояре, должны пример всем подавать собою, беречь деньги, что собираются с народа, беречь паче очей своих! И не дай Бог,— говорил,— дожить до того, чтобы

увидеть за моим родом иное!» Тут уж нечего было с ним толковать. Суровый боярин! Пожалела я, что с ним об этом речь повела! Бог с ним!

— По моему глупому рассуждению,— сказала Мавра Тимофеевна,— вашему сиятельству, право, бояться нечего. Так-таки поехать прямо к государыне да и попросить ее, была не была! Ведь, говорят, она ужасть какая добрая и милостивая.

— Она-то, может быть, и добрая и милостивая,— говорила княгиня,— да она не сделает по-моему, как я попрошу, а посоветуется с ближними стариками. А они, видишь, каковы? Князь Василий Лукич своего роду человек, и тот вон что заговорил! А что скажет светлейший Меншиков, Толстой, Остерман да и другие? Еще вот думалось мне Макарову поговорить: он, сказывают, в большой силе!

В это время вошел Василий Данилов, упал к ногам своей боярыни и завопил:

— Ваше сиятельство, матушка вы наша милосердая, помилуйте меня, своего верного холопа! Их сиятельство князь Яков Петрович изволят все сердиться и бить меня. Дня не проходит без того, чтоб не разгневались. Сейчас изволили до крови морду избить ни за что ни про что!

— Верно, нагрубил,— сказала княгиня,— за то и побили!

— Ничем не грубил я им,— говорил холуй,— Бог свят: ничем! Так-таки сейчас вот призвали к себе в комнату и, ни слова не сказавши, изволили побить всю морду, а потом клетку заставили чистить.

— Нехорошо, видно, клетку вычистил — за то и ударил тебя! — сказала княгиня.

— Ваше сиятельство! — говорил Василий Данилов.— Я еще клетки не чистил, как они меня побили, а после уже заставили клетку чистить.

— Пошел вон, болван! — крикнула княгиня.— Не смей соваться ко мне с такими пустячными речами. Тебя, дурака, приставили молодому князю служить, и ты должен ему угождать. А ты, холуйское отродье, своему господину не угодишь, да потом к его родной матери лезешь, отваживаешься жалобу нести на ее же сына! Пошел вон, и никогда, приказываю тебе, таким делом не беспокоить меня!

Вышел Василий Данилов и зарыдал:

— Плакать у меня не смей! Слышишь! — крикнула вслед ему княгиня.

— Это, матушка княгиня,— сказала тогда Мавра Тимо-

феевна,— я вашей княжеской милости доложу, в чем тут сила. Играли в килку, и молодой княжич играл; только дурак Васька махнул неосторожно палкою по катку, а каток полетел вверх да и задел его сиятельство. Я стояла на крыльце и все видела. Так они осерчали и ударили его. Что ж, матушка княгиня, за дело взыскали. Сам виноват!

— Я сколько раз журила Яшу за то, что с холопами играет,— говорила княгиня.— Он тогда, как говорю с ним, как будто слушает, и видно, что хочет угодить своей матери. А потом никак не утерпит. Горяч немерно. Весь в покойника отца своего.

— Истинно изволили сказать,— заметила Мавра Тимофеевна,— весь в своего отца, настоящий покойник князь Петр Михайлович.

— Поделом ему,— говорила княгиня,— не играй с холопами! А коли свой род забываешь, так и терпи! Только этот холуй Васька мне больно не нравится. Не мог перетерпеть, что Яша там щелкнул его немного. Прибежал матери жаловаться на ее сына! Что ж он вообразил себе в своей глупой голове, что я прикажу родного сына розгами сечь за его холуйскую морду?

— Негодяй этакой!— сказала Мавра Тимофеевна.

Василий Данилов, не получивши управы от старой барыни, зашел в чулан и горько плакал, утирая слезы рукавом своего потертого кафтана. Его вопли раздавались в соседних покоях. Боярская боярыня, отпущенная княгинею, услыхала плач в чулане и заглянула туда.

— Что зеваешь? Чего? — грубо говорила она Василию Данилову.

— Да как же? — вопил Василий.— Боярчонок избил ни за что ни про что, а боярыня не изволили оказать милосердия, меня же прогнали.

— Ах ты, холопская душа! — сказала Мавра Тимофеевна.— С чего ты это взял ходить беспокоить боярыню, жаловаться матери на ее родного сына затеял! Вишь ты, важное дело! Молодой княжич, рассердившись, съездил раз-другой по морде. Сам бы о себе ты пораздумал. Разве не твоя вина?

— Какая же моя такая вина, тетушка Мавра Тимофеевна? — спрашивал Василий Данилов.

— Ты б еще вдругорядь хватил господина катком по животу, дурак ты неотесанный. Я видала все; на крыльце в те поры стояла, как в килку вы по двору играли,— сказала Мавра Тимофеевна.

— Да нешто я нарочно, тетушка? — говорил Василий.— Я нечаянно.

Так уверял Мавру Тимофеевну Василий Данилов, а сам хорошо знал, что, говоря так, лжет: пустил он в князя каток умышленно, в отместку за то, что княжич ударил его прежде, злясь на него за Грушу.

— Нагаями бы тебя, мерзавца! — говорила Мавра Тимофеевна.— Мы, холопи, должны каждую минуту помнить и чувствовать, что у нас есть господа, а когда господа изволят забавляться с нами, значит, господа к нам ласковы, и нам следует осторожность иметь, а не так обращаться, как со своим братом. Моли Бога еще за то, что старая боярыня изволила только прогнать тебя от себя, а не велела выпороть на конюшне, чтобы ты не ходил жаловаться матери на сына.

— Господи! — говорил Василий Данилов.— Хоть бы как-нибудь приворожить к себе господ, чтобы милостивы стали! Боярчонок хоть бы не бил, а то ужасть как дерется. Ох, ох! Горемычное наше холуйское житье! Самое что есть последнее на свете! Иной раз так досадно станет, что вот пошел бы да в Неву кинулся. Так греха боюсь. А когда-нибудь станется такое сгоряча, как горе невыносливое пристигнет! Намедни как-то избил меня князь Яков Петрович так, что ажно морда опухла. Княгиня увидала и спрашивает: «Ты, Васька, что это: в кабаке дрался, что ли? Кто тебе фонари поставил?» А я говорю: «Их сиятельство князь Яков Петрович изволили побить». А княгиня не спросила, за что, а сказала: «Так, видно, тебе и надобно, стало быть, заслужил того, чтоб тебя наказывали. Ваше холопье дело — господам угождать, за то вашего брата и бьют».

— Какой же ты дурак, остолоп! — говорила Мавра Тимофеевна.— Коли раз такие речи ты от самой княгини слыхал, как же ты в другой раз полез к ней жаловаться на сына?

— Сердце взяло! — сказал Василий Данилов.— Редкий день пройдет без того, чтоб меня не побили. Хорошо, Мавра Тимофеевна, что тебя не бьют и всегда к тебе княгиня ласкова и во всем тебе верит.

— А ты заслужи, чтоб к тебе ласковы были и во всем тебе верили,— сказала Мавра Тимофеевна.

— Черт его знает, как тут заслужить! — сказал с досадою Василий Данилов.

— Зачем черта вспоминать? — возразила Мавра Тимофеевна.— Лучше молебен отслужи Екатерине-великомуче-

нице. Она подаст такую благодать, что господа любить станут.

— А ты нешто служила, что господа тебя так жалуют? — спросил Василий Данилов.

— Видно, служила, коли другим советую,— отвечала Мавра Тимофеевна.

— И помогло? — спросил Василий.

Мавра Тимофеевна утвердительно кивнула головою.

— Я уж думал,— заметил Василий Данилов,— ворожею бы отыскать такую да посоветоваться с нею: как бы так навести молодого боярина, чтобы стал ко мне милостив, по крайности, не бил бы меня часто.

— Пусть Бог тебя сохранит! — сказала Мавра Тимофеевна.— Как это можно? Ворожеи — кто их знает, какою силою они помогают; может быть, недоброю. Приведут тебя к тому, что за них на том свете придется отвечать.

— На том свете что? Бог с ним, с тем светом,— отвечал Василий Данилов.— Мне вот хоть бы на этом свете пожить легче, чтобы кулаками в морду не совали.

— Молод ты, Васька, и глуп! — сказала боярская боярыня.— Как это говоришь ты, будто тебе до того света нет дела! Дурачина безмозглая. Мы все для того на этом свете родились и живем, чтобы на тот свет после нашей смерти перейти, а там нас за худые дела черти будут подпекать. Вишь, что выдумал! Ворожею бы ему достать, чтобы помогла к господам в любовь войти! Оно пожалуй, можно такую ворожею сыскать, что и в любовь к кому хочешь введет и богатством наделит, да за то можно и душу свою припечатать. Нет, Васька, на такие дела не отваживайся и к ворожеям не ходи, а лучше, как я тебе говорила, отслужи молебен Екатерине-великомученице: умолит она за тебя милосердого Бога, чтобы к тебе господа стали милостивы. Вот оно, по крайности, Богу не будет противно.

Слушал Василий Данилов эту речь, а сам на ус мотал себе. Очень, очень хотелось приворожить к себе господ на милость, хотелось достать и Грушу. Слыхал он, что ворожеи умеют и такое и другое человеку доставить. Зародилась у него мысль непременно такую ворожею сыскать и совета у ней попросить. На все лады готов был Василий Данилов попытать счастья: к Богу обратиться прежде, а коли Бог не пособит, тогда к ворожее, хотя бы ворожея услужила ему с помощью черта. Кто бы ему ни пособил, лишь бы только пособил, лишь бы его поменьше кулаками в морду били. Спрашивать у Мавры Тимофеевны, где есть

ворожеи в Питере, он не посмел, чтобы не выдала и не донесла боярыне. Задумал он поразведать на этот счет у своей братии, у холопей: есть старые, давно живущие в Питере; они, может быть, скажут, где найти ворожею.

ГЛАВА III

Дворня княгини Анны Петровны главным образом находилась в Москве, в ее старинном боярском дворе, на углу Тверской улицы и Охотного ряда. После переселения господ в Петербург прислуга беспрестанно сновала между Петербургом и Москвою: возьмут их человек сорок или больше и везут в Петербург, продержат несколько времени, потом возвращают в Москву, а на смену им прибывают новые холопи. Приехавшие в Петербург проживали сперва во дворе Долгоруковых, на Воскресенской перспективе; но когда, по воле государя Петра Великого, княгиня перебралась в новоотстроенный двор на Васильевском острову, тогда из того двора, что был на Воскресенской перспективе, брали прислугу на васильеостровский двор и, продержавши там несколько времени, отправляли опять во двор на Воскресенскую перспективу, а оттуда привозили другую прислугу. Только те, что определены были в приближении служить господам или же пользовались особою милостью господ, оставались на одном месте долее. Все, впрочем, зависело вообще от произвола господ. При господах на Васильевском острову дворня жила в людской избе, построенной в глубине двора; эта изба разделялась на три отделения: в первом была людская поварня, она же и хлебня; там готовили прислуге есть и пекли хлебы; во втором отделении была холопья застольная, там прислуга обедала, а в третьем прислуга спала; для мужеского и женского пола была сделана перегородка, разделявшая один покой на две половины. В обеих половинах устроены были для спанья внизу нары, вверху полати. Каждой холопской душе давалось по кошме и по кожаной подушке для спанья. Женатые с женами укладывались обыкновенно наверху, на полатях.

Василий Данилов пришел в застольную к ужину. Холопи сходились ужинать обыкновенно после господского ужина. Когда все уселись, повариха поставила оловянные мисы со щами. Во все продолжение ужина Василий Данилов молчал, но когда многие стали расходиться, он завел беседу с сидящими близ него и против него собратами и навел

речь на ворожбу и волшебство: думал, авось, может быть, кто-нибудь ненароком проговорится и он мимоходом узнает, где можно отыскать ворожею такую, какая ему может оказаться подручною.

— На этот счет, парень, тебе вот Созонт расскажет. Он знает многое,— сказал сидевший близ Василия холоп, указывая на человека лет пятидесяти, поместившегося на противоположной стороне стола, против Василия Данилова.

— Да, братцы,— сказал этот Созонт,— мы видали важные виды, нечего греха таить! Доводилось много кое-чего и видеть, и слышать! Жили мы с покойным боярином нашим князем Петром Михайловичем в литовской стороне; там покойный наш боярин и голову сложил на верной службе царю-государю. Так вот, жили мы в литовской стороне. А там народ прехитрый, такие колдуны у них, что просто чудеса творить умеют! Захочет, так тебя в зверя либо в птицу обернет!

— Будто таки в зверя либо в птицу? — спросил кто-то.

— Истинную правду говорю. Стар человек: лгать не стану, сам видел, своими глазами. Едем мы с покойным боярином по дороге через лес. Вдруг выбегает из лесу волк да на нас; лошади испугались да в сторону, а волк стоит прямо супротив нас и глядит, да так умильно да жалко, вот как будто хочет сказать: «Не бойтесь меня, я добрый, не злой волк». Боярин за ружье да прыгнул с телеги, хотел целиться, а волк подбежал к нему да, словно собака, ластится; тут у боярина моего и руки опустились; кажись, волк, ну как его не убить? А вот же не посмел! Волк убежал от него в лес и так жалобно завыл, словно человек заплакал. Сел боярин в телегу, и поехали мы далее, а как приехали на ночлег, нам и говорят тамошние, ихнего народу люди, как мы им про волка стали рассказывать: «Это,— говорят,— не волк, а оборотень».—«Как,— спрашиваем мы,— оборотень?» — «А так,— говорят,— анадысь у нас колдуны свадьбу в волков обернули, так это один из той свадьбы волк, что вы на дороге видали. Это,— говорят,— у нас заобычное дело. Колдуны либо колдуньи рассердятся за то, что их на свадьбу не позвали, да всю свадьбу и пооборачивают в волков — и будут те обороченные люди ходить волками столько лет, на сколько им по заклятию положат». И точно; мы потом узнали, что у них ведем, ведем такая сила, что чуть не в каждом сельце или деревушке непременно есть ведьма, а то иногда и две, и три

ведьмы, и больше того: глаза тебе отведет, колесом по дороге катится; ты ударишь по колесу, а ее не зашибешь, тебе кажется — по колесу бьешь, а ты мимо бьешь; а вот коли кто в этом силу знает, так надобно бить не по колесу, а мимо колеса, наотмашь, тогда в нее попадешь — и потом, как она в свой человечий вид придет, так стонет и охает, это оттого, что ее побили; сказать о том, однако, не смеет. А что у них умеют привораживать, так уж просто на диво! Коли какой молодец полюбит девку либо чужую жену да пойдет к ворожее, так она поделает, что та девка либо та женка за молодцем стонет, и убивается, и жить без него не может! Или теперь: примером сказать, коли вот на кого ты рассердишься, пойдешь к ворожее, и она сделает твоему ворогу такое, что он извянет-иссохнет. Рассказывали мне, как ихнего пана, а по-нашему боярина, приворожила колдунья к девке простой, так что пан совсем жить без ней не мог, и потом женился на ней, и все имение ей после себя записал. Только жене стало досадно, что муж-боярин, записавши ей после себя имение, сам все живет и смерть к нему не приходит; и пошла она к ворожее! Вот ворожея приказала ей принесть к ней волос своего мужа. Та и принесла. Тогда ворожея и замазала эти волосы в печь, и с той поры господин стал сохнуть-сохнуть, и месяца через три так умер, а вдова осталась на своей воле с тем имением, что ей боярин одной все отписал. И тоже вот у них бывает: живет, примером, молодец с девкою в любви, а потом бросит ее и полюбит другую, а та, брошенная, пойдет к ворожее, и ворожея принести ей прикажет белье своего изменщика и сделает потом так, что тот ничего не может сотворить со своей новой любезной, говорят: «Плоть его на огне сожжет!» Это нам сказывал дед, старый-старый, такой старый, что с него ажно песок сыпется.

— Этого добра, что колдуний и ворожей, и у нас в Питере довольно есть,— сказала одна женщина.— За рекою на Петербургском острову, в Татарской слободе, есть такая ворожея, что просто чудеса выделывает, и отгадать умеет: скажет, что с человеком через двадцать лет станется.

Василий Данилов хотел было спросить, где она живет и как ее звать, но смолчал, чтоб не навести на себя подозрения. Его предупредила другая женщина, обратившаяся с вопросом к рассказчице:

— Не чухонка ли?

— Нет, калмычка,— отвечала женщина,— она живет, почитай, на краю Татарской слободы. Избенка у ней во

дворе. Да спросить калмычку, всяк тебе скажет; только нельзя говорить, что ворожея, а то сейчас прицепятся и в полицию поведут. Теперь при государыне, может быть, и ничего, а при покойном государе был такой указ дан, что коли кто станет искать колдунью либо колдуна, сейчас того брать в полицию и розгами сечь.

Василий Данилов услыхал мимоходом и узнал все, что ему нужно было на это время. Разговор у холопей свелся на другое, а Василий в него уже не вмешивался и молча составлял план: как и когда найти ему колдунью-калмычку.

ГЛАВА IV

В период, когда совершились описываемые события, был в России очень замечательный человек, с чрезвычайно своеобразным значением; это был для многих, можно сказать, загадочный человек. Был он одним из важнейших сотрудников Петра Великого, и притом немалое время его царствования, а между тем он так скрывался в тени, что о нем и современники не все знали, и потомки скорее, чем других, забыли, так что знающие имена других Петровых сподвижников его имени совсем не знают или считают за второстепенного чиновника одного времени. Это произошло оттого, что он не командовал войском, не начальствовал ни приказами, ни коллегиями, установленными для определенных ведомств общественного управления, не ходил в походы и экспедиции, не ездил в чужие края с дипломатическими поручениями, не посылаем был царем для учения, не занимался и в своем отечестве ни науками, ни художествами, ни ремеслами, не вел торговых операций, не заведовал по царскому поручению никакою ветвию хозяйства и не подавал проектов о каком-нибудь новом источнике прибыли: был он человек малообразованный, не знал иностранных языков и держал переводчика, чтоб объясняться с чужестранными особами, когда приходилось ему иметь с ними сношение, а знание языков в те поры было важнейшим признаком, отличавшим образованного человека, и делалось путем к возвышению. Этот господин между тем, однако, был в свое время очень большой человек. Он назывался Алексей Иванович Макаров и носил звание кабинет-секретаря его величества; при Петре Великом в его особе соединялось все, для чего теперь существует целая собственная канцелярия государя с четырьмя отделениями. Никто не мог превзойти этого человека в трудолюбии;

много он в жизни делал и много сделал, но дел его за ним не видали, много он писал, а собственноручного писанья его мало знали, многое сочинялось им самим и приписывалось не ему, но другим, имя же его оставалось как-то постоянно в малоизвестности: никаких особенных отличий ему не оказывалось, не пожаловали ему ни титула, ни ордена, ни больших чинов, и только уже при Екатерине сделан он был тайным советником. Между тем едва ли кто пользовался таким доверием Петра, как этот господин. Никуда почти не выезжал Макаров в командировки, а знал все, что происходило в России. Все секретное было ему ведомо, все, о чем извещался государь, поступало через его руки, и распоряжения, даваемые от царя, не шли иначе, как через него. И теперь памятником его неусыпного трудолюбия сохраняются в государственном архиве сто шестьдесят восемь книг кабинета входящих и выходящих нумеров. Кто обращался прямо к государю или к кому обращался государь, тот не мог обойтись без Макарова. Не все из тех, кто имел с ним сношения, знали степень его значения при Петре. Иные мало обращали на него внимания, воображали, что около бумаг государевых ходит так себе подьячий письмоводитель, пишущий и переписывающий то, что ему прикажут. Другим же известно было, что Макаров был не только письмоводителем, но и составителем бумаг, заключавших в себе царскую волю, а иногда и царским советчиком. И те, которым было небезызвестно такое качество Макарова, те подчас прибегали к нему с очень низкими поклонами. Нельзя сказать, чтобы Макаров был безукоризненный Аристид, совершенный бессребреник. При конце царствования Петра Великого и он, как все русские люди того времени, не хуже Меншикова, Апраксина, Шафирова, Долгорукова, заподозрен был во взяточничестве и избавился от преследования заступничеством Екатерины. Впрочем, взяточничество его не было отяготительным вымогательством, а ограничивалось только тем, что он не отказывался, когда ему добровольно давали с надеждою, что за такую подачку он окажет содействие, насколько это зависит от него. Хотя ему были известны все суды и следствия, производимые над государственными преступниками, но государь не посылал его ни производить дознаний, ни розысков, ни присутствовать в застенках. К нему бесполезно было обращаться с просьбою о ходатайстве перед царскою особою. «Это не мое дело,— говорил он в таком случае,— я человек небольшой, на черной работе состою,

письмоводство у царя веду и больше ничего! Ищите особ познатнее». Зато никто не мог и роптать, что Макаров ему что-нибудь недоброе сделал. Вынес ли кто по царской опале пытку, приговорен ли был в ссылку или к смертной казни — нельзя было сказать, что потерпевший обязан своим несчастием Макарову, что от Макарова тут что-нибудь зависело, и стоило только Макарову захотеть, чтобы спасти пострадавшего, Макаров ни за кого не просил, ни на кого не наговаривал и даже не начинал разговоров с царем, а всегда дожидал, когда царь с ним заговорит; Макаров не совался и с мнениями да с советами, когда царь сам не изъявлял ему желания их слышать. Это нравилось Петру, и любил за то Петр Макарова. Нельзя, однако, сказать, чтобы Великому Петру нравились только с такими качествами люди. Он, правда, любил таких, как Макаров, но ценил также смелых, когда они отзовутся кстати и умно. Петру пригодны были разообразные человеческие характеры: и угрюмые и веселые, и слезливые и шутливые, и хладнокровные и горячие, лишь бы все стояли на таком месте, на каком по своим свойствам могли быть полезными для дела. Удалось Макарову понравиться государю некоторыми приемами, и усвоил он их в себе навсегда. То медленно-трусливый, то быстрый, кипучий, то подходит к Петру на цыпочках, как будто идет мимо постели больного человека, то напишет в полдня столько, что другой не успеет написать в два дня. Обращаясь постоянно с государем, Макаров в разговорах с другими лицами о таких предметах, которые не составляли секрета, был всегда эхом своего властелина, не говорил: «Я так думаю»,— а выражался: «Так государь изволит думать». Макаров во всем как будто духовно жил и мыслил не собственным умом, а царским. Занят был он своим делом и день и ночь, не знал ни отдыха, ни развлечений, убегал от всего, что не оказывалось нужным прямо для его дела,— и Петр не заставлял его посещать ассамблеи, не тащил во всепьянственную компанию, не принуждал пить до опьянения, несмотря на то, что вообще любил спаивать близких к нему особ, и в этом никому не было спуска. Макаров долго не думал обзаводиться семьею, удалялся от женского пола, не держал любовницы; вечно занятый делом своего государя, он как будто создан был для того, чтобы умереть за бумагами, за которыми провел жизнь, и уже только за полгода до своей кончины Петр женил его, посватав за него невесту. Жена Макарова была гораздо моложе его самого, охотница

до всяких забав и увеселений: впрочем, и сам он, хотя не участвовал в таких забавах, однако не был угрюмцем, слушал с удовольствием рассказы о светских увеселениях и расспрашивал о них у тех, которые им предавались. Воцарилась Екатерина, его благодетельница, отстоявшая его пред своим покойным супругом, когда на Макарова возникло подозрение во взяточничестве. Служебное положение Макарова не изменилось. Он оставался все тем же кабинет-секретарем, но с воцарением Екатерины стал вообще смелее и позволял себе ходатайства о разных лицах; к нему тогда с большею решимостью стали обращаться за покровительством и ходатайством у государыни.

Макаров жил в собственном доме, построенном у Почтового двора на берегу Невы и недалеко от тогдашнего Зимнего дворца. Три раза в неделю у него были приемные дни, когда в положенные часы он принимал посетителей, имевших нужду подавать просьбы высочайшей особе: это обыкновенно случалось тогда, когда чего-нибудь не могли в пользу просителя решить высшие правительственные места или когда дело зависело исключительно от царской особы. Со многими из таких посетителей Макаров говорил, выходя из своего кабинета в залу, и тогда все ограничивалось обменом нескольких слов; но по делам, требовавшим секрета, посетители могли просить особой аудиенции с глазу на глаз, и тогда их впускали в кабинет, что напоминало способ, каким обыкновенно соблюдается порядок докторских консультаций. Служитель докладывал Макарову, произнося имя входящего.

В один из таких дней, когда являлись к нему по делам посетители, в его кабинете, выходившем окнами на Неву, стоял он сам, Макаров, одетый, по своему обыкновению, весь в платье черного цвета, в длинном темно-русом парике, у большой конторки с откинутою для писания доскою. По всему кабинету вдоль стен уставлены были шкафы с полками, на которых лежали и стояли книги и связки бумаг. В прогалинах между шкафами виднелись на стенах портреты Петра Великого, Людовика XIV, польского короля Августа и прусского короля.

Перед Макаровым стоял Казанской губернии помещик, толстобрюхий и низкорослый человек, и рассказывал ему о своем деле. Он домогался, чтоб ему заплатили из казны за его беглых людей, поселенных в Ингерманландии: по указу Петра, за таких велено было отпускать прежним владельцам по десяти рублей, но ему отказали на том

основании, что люди эти поселены в Ингерманландии не в качестве его беглых крестьян, а в качестве не помнящих родства, а за таких из казны никому платить не указано, хотя бы впоследствии и открылось, кому они принадлежат и откуда убежали. Макаров объяснил помещику, что действительно получать ему из казны за людей ничего нельзя, и потом отпустил его.

Служитель, высунув голову из двери, произнес:

— Подьячий Капустин.

Вошел сухощавый человек среднего роста, лет под сорок, с плешью на голове и с прищуловатыми глазами.

Он поклонился Макарову в пояс.

— Здравствуй, Капустин! — сказал Макаров.— Давно мы не видались. Кажись, два года уже минуло. Ну, что твои разведки?

— Невозможно более счастливо,— отвечал Капустин.— Мои разведчики в четырнадцати местах открыли залежи земляного угля не глубже как аршина на три, много на четыре. Дон, я вам доложу, превосходительный господин Алексей Иванович, этот Дон — просто дно золотое. Великая благодать! Следует беспременно начать и повести неуклонно раскопки в оных местах. Я привез вам, Алексей Иванович, ведомость, и чертежи всем местам, и смету, во что обойдутся работы примерно и какая польза от того воспоследовать может.

— Ты в берг-коллегии был? — спросил Макаров.

— Был,— отвечал Капустин,— и больше идти не хочу туда. Не понимают да еще и на смех поднимают! Посему я рассудил просить вас, Алексей Иванович, повергнуть мой прожект лично государыне императрице с прилагаемою ведомостью и чертежом.

— Ее величество,— сказал Макаров,— в сию вещь сама вникать не будет, а пошлет в ту ж мануфактур- и берг-коллегию по належности.

Макаров, однако, взял из рук у Капустина прожект, написанный последним, и, пробежав его быстро, продолжал:

— Ты прожектуешь устроить компанию. Навряд, я думаю, наберем охотников. Смотри, какие расходы, а когда и как покроются они барышами? То Бог весть! Да мало того, во сколько добывка угля обойдется, а еще и возка на сбыт чего стоить будет. А куда возить и кто покупать его станет, коли дров повсюду много и они дешевы по местам?

— Мне это и в берг-коллегии замечали,— говорил Ка-

пустин,— только я думаю, коли прежние царские законы будут строго исполняться насчет того, чтоб лес везде беречь и не рубить, так потреба в топливе будет всем и станут уголь покупать. Как отъезжал я на Дон, то покойник изволил меня призывать к себе и говорил: «Дело то важное и зело полезное. Леса надобно беспременно сберегать, понеже для стройки и всякого хозяйственного изделия требуется древо, а к тому и в земле необходимая для растения волога сохраняется, и урожаи даются хлебные, и благорастворение воздухов от обилия ращений деется. А топлива,— говорил государь,— нужно будет год от году все больше да больше, фабрики и заводы умножатся и машины заведутся; на все на сие окажется потреба в топливе».

— Это, брат, все тогда говорилось,— сказал Макаров.— Покойник чуден был: иной раз такое вымышлял, что нашему простому уму и невдомек было. Одиножды прислал к нам прожект француз какой-то, крылья, писал, сделать хочет, по воздуху человеку, как птице, летать бы. Все смеялись, а государь говорил: «Не смейтесь ни над чем, не знаете сами, до чего человеческий ум дойти сможет. И в Святом Писании написано: «У человек невозможно, а у Бога вся возможна суть». Это значит,— толковал государь,— коли теперь для ума нашего что невозможно, так по тому еще нельзя сказать, что оно и вперед невозможно; Бог действует на земле через наш человеческий ум: сей ум наш — божественного происхождения. Теперь мы не зрим способа летать по воздуху, а может быть, после нас наши внуки либо наши правнуки найдут! Вон погдядите: в бане теплый воздух весь поднимается к потолку, а на полу становится прохладнее. Может быть, таким теплым воздухом можно поднять вверх человека». Я осмелился тогда сказать: «Государь всемилостивейший! Какою же силою двинуть можно такую тягость, как человеческое тело?» А он говорит: «Велика сила водяного пара: поставь воду на большой огонь да закрой плотнее, оно тебе крышку так и сорвет. Вот и смекайте, что тут статься может; чаю,— говорит,— можно довести до того, что корабль против ветра пойдет, когда бы его водяным паром через какую-нибудь машину двинуть». Вот каков затейник был покойник! Тогда у нас много, много кое-чего затевалось и пробовалось. Ныне иное время настало; ныне на все на такое рукой махнули! Да ты,— продолжал Макаров, принимаясь смот-

реть в прожект,— написал тут себе и награду: одну треть дохода в твою пользу за то, что способ нашел...

— Закон,— сказал подьячий,— государев закон! Кто отыщет новый источник прибыли, тому именно треть предоставляется; так покойный государь Петр Алексеевич постановил.

— А что тебе в коллегии на это сказали? — спросил Макаров.

— Я же говорю, насмеялись, и только,— сказал Капустин.—«Эка,— говорят,— будто золотые рудники нашел, как возится со своею дрянью, ничего не стоящею. За находку угольев дай ему денег! Да мы тебе сами, не копаясь в земле, достанем угольев сколько хочешь, как сожжем верст на десять леса, а лесов у нас не занимать в заморских государствах, сами туда повезем лес, как и в старину важивали».

— То же, брат, и наверху скажут,— сказал Макаров.— Нет, Капустин, оставь эту затею! Умер наш государь Петр Алексеевич, с ним похоронены и все чудеса, что при нем начинались. Ведомости твои и чертежи я покажу государыне и светлейшему только так, для куриозитета, а больно надеяться тебе на то не даю совета. Время уже ныне, сердечный ты мой, не прежнее!

Капустин пожал плечами, вздохнул и ушел.

Служитель, вошедши, сказал:

— Малороссийская полковница.

Вошла в кабинет женщина лет пятидесяти с крестами и монистом на шее, лежавшими на вышитой рубашке, выглядывавшей из-под черной верхней одежды, похожей несколько на монашескую; на голове у ней был кораблик с двумя меховыми рожками, между которыми виднелся изношенный парчовый верх. На лице у этой старушки виднелись глубокая грусть и страдание. Она поклонилась, сложа на грудь обе руки, и сказала:

— Вдова бывшего полковника войска Запорожского Аграфена Герцик.

Макаров, окинув суровым взглядом вошедшую, произнес:

— Твой муж некогда приличился в измене богоотступника Мазепы, был достоин смертной казни, но государь, по своему милосердию, даровал ему жизнь, заменив ссылкою. Так?

— Государь повелел ему жить в столичном городе Москве с семьею, а все маетности его поступили на него, великого государя,— сказала Аграфена.— Муж мой полу-

чал по десяти копеек в день и теперь умер, а я осталась с детьми без пропитания и живу, волочась меж дворы. Прибыла просить у государыни милости.

При этих словах полковница поклонилась до земли.

— Какой милости хочешь? — спросил Макаров.

— Если б изволила государыня царица для поминовения души почившего государя императора воротить детям моего мужа его родовые маетности.

— Это невозможно,— сказал Макаров,— маетности изменничьи розданы другим еще в ту пору.

— Хоть бы что-нибудь пожаловали из них на прожиток,— говорила Аграфена.

Макаров сказал:

— Сперва рассмотрим просьбу вдовы полковника Полуботка, что умер в крепости. Она о том же просила, о чем ты просишь. Полуботковы маетности еще не розданы. Когда удовольствуем ее, тогда и тебе окажется некое милосердие. Твой муж схвачен был в Польше, ездил туда с прелестными письмами. Кажется так, если я не запомнил?

— Так точно,— сказала Аграфена.— Мужа моего нет уже на свете. Я за детей прошу; муж виноват и понес достойную кару за вины свои, а дети были тогда малы, ничем не провинились.

— Видишь,— сказал Макаров,— там, в Москве, вашей братии, малороссийских семей, довольно сидит, и те, что из Турции вернулись, там остаются доселева. За них патриарх цареградский просил государя, и государь вины им отпустил, но маетностей не вернул. Им прежде тебя оказать милость подобает, да и те подождут, пока Полуботкову вдову удовольствуют, а ты подождешь, пока им всем покажут милость, а там уж и тебе. Ступай и жди.

Малороссиянка вздохнула, поклонилась и вышла. Служитель, вошедши в кабинет, громко произнес:

— Княгиня Анна Петровна Долгорукова.

Вошла княгиня, нарядно одетая. Веруя в свое боярское достоинство, она после первого поклона глазами искала места, надеясь, что Макаров, во внимание к ее княжескому званию, подаст ей сам кресло. Но Макаров, человек дела, не отличался любезностью и предупредительностью к знатным особам, хотя бы и прекрасного пола. Он не просил ее садиться; стоял, как прежде, на своем месте у стола, обмерял княгиню глазами с головы до ног и сухо спросил ее:

— Что вам будет угодно, княгиня?

— Алексей Иванович, благодетель,— сказала княгиня,— я приехала просить вас повергнуть императрице мое слезное прошение об оказании мне всемилостивейшего внимания. Я вдова; муж мой проливал кровь за царя и отечество и убит в шведской войне, а меня оставил вдовою с тремя сыновьями. Старший мой сын, князь Сергей Петрович, ныне в Голендерской земле. Он задолжал тридцать тысяч ефимков, будучи на службе царской; мне пишут, что его посадят под арест и не выпустят, если я скоро не заплачу его долга. А у меня теперь в готовности таких больших денег нет; я истратилась, переселяючись на Васильевский остров, желая исполнить волю покойного царя. Такое мое бедное положение, что сказать прискорбно. А тут, как назло, из имений не шлют доходов; там случились разные несчастья и требуются большие издержки, и все от меня, не то чтобы ко мне доходы присылать. В таковом отчаянном положении я решилась прибегнуть к неизреченной благости государыни, понеже всем известно и ведомо, что она зело великая милостивица и утешительница всех скорбных, под покров ее прибегающих. Батюшка, голубчик, отец родной, Алексей Иванович! Прошу я вас и молю: будьте моим ангелом-хранителем, соблаговолите произнести за меня слово перед царицею-государынею.

— Что ж вам нужно? Чего вам, княгиня, от государыни хочется получить? — сказал Макаров.

— Если бы соизволила всемилостивейше приказать заплатить из своей казны сей долг,— сказала княгиня.— Я уповаю на беспредельную щедрость государыни, кормилицы нашей.

Княгиня хотела распространиться более, но Макаров прервал ее.

— Сказали вы, княгиня, про беспредельную щедрость государыни. Вы, значит, разве думаете, что и русская казна также беспредельна? Коли платить за вашего сына долги, так и другие станут просить, чтоб за них долги платили. Казны не хватит!

— Батюшка, Алексей Иванович,— сказала княгиня.— Вникните в мое положение.

Макаров опять прервал ее словами:

— Только что перед вашим входом ушла малороссийская полковница; молила она воротить ее детям отобранные у ее умершего мужа, за измену, маетности. Она поистине возбуждает жалость, а я все-таки ей отказал. А у вас, говорите, есть имения, только доходов из них не присыла-

ют. Что же? Заложите одно-другое имение, а не то продайте. Нищею не станете!

— Вы сами,— сказала княгиня,— говорите, что у мужа этой женщины, что передо мною от вас вышла, за измену царскому величеству отобраны имения и она просила их вернуть, а вы ей отказали. Как же вы, Алексей Иванович, можете с такою женщиною ставить в одну версту меня, вдову честного воина, положившего живот свой в бою за веру, царя и отечество? Я урожденная княжна Щербатова, по мужу княгиня Долгорукова, а вы меня приравняли к какой-то хохлачке, да еще жене изменника царского!

— Княгиня,— сказал Макаров,— местнические счеты покончились еще при царе Феодоре, брате царя Петра Алексеевича. Поднимать их снова с вами я не хочу. Говорю вам: беспокоить государыню такими безлепяными челобитными, как ваша, я не берусь. Прощайте.

Он слегка кивнул ей головою и крикнул: «Эй!» Служитель вошел.

— Зови, кто там есть! Пусть входят! — сказал Макаров.

— Купец Евреинов,— сказал служитель.

Вошел старик лет семидесяти. Княгиня, заметивши, что Макаров обратился к вошедшему Евреинову, а на нее вовсе не глядит, ушла и даже не кивнула головою Макарову на прощанье.

Она внутренне тогда же положила себе не сказывать никому, что была у Макарова.

ГЛАВА V

На другой день после беседы в людской о колдуньях Василий, проходивши через гостиную, увидал на столе ридикюль, оставленный княгинею, которая перед тем только что вышла из дома и уселась в гондолу. Василий Данилов заглянул в ридикюль: он был почти пуст, но в нем осталась золотая монета. Василий Данилов взял ее себе в карман, ушел из дома и направился к пристани; он сел в перевозочный буер, который через каждую четверть часа, по битью часов на колокольне меншиковской церкви, наполняясь народом, отходил вверх по Неве, тогда как другие буера подходили к пристани.

Житье на Васильевском острове было в те времена соединено с такими же условиями, как в последующие времена житье где-нибудь на даче, только с большими неудобствами сообщения. Почти за каждою покупкою на-

добно было отправляться в другие части города, либо на Петербургский остров, где находился Гостиный двор, либо на Адмиралтейский, где заводился другой, а на Васильевском острове хоть и был рынок с лавками, но торговля в них была еще незначительна. Мостов через Неву тогда еще не было. Для сообщения обывателей только буеры беспрестанно сновали по невским пристаням. Платилось за провоз до какой угодно пристани по одной копейке с души. Это было затруднительно, хотя власти старались сделать такого рода сообщение и скорым и дешевым; все чувствовали тягость житья на Васильевском острове, и пока не было моста на реке, никто не мог свыкнуться с островом. Уже позже перенесение коллегий на остров усилило приток населения, но в описываемый нами год коллегии еще переведены не были, хотя здание, предназначенное для их помещения, уже было почти окончено. До того времени, кроме Меншикова и его многочисленного придворного штата и прислуги, на Васильевском острову селились и жили только поневоле, и на буерах, перевозивших и привозивших в пристани пассажиров, каждую минуту можно было услышать недоброе слово о Васильевском острове. Буер, на котором в толпе других пассажиров уселся Василий Данилов, поплыл к дому Апраксина (где ныне Зимний дворец), потом повернул на Петербургский остров и причалил к пристани у Мытного двора. Человек пятнадцать вышло из буера на берег; столько же, а может быть, и больше, вошло с берега в судно; буер поплыл далее. Василий Данилов, вышедши на берег, пошел на Мытный двор, и пришлось ему идти шагов двести до этого обширного четвероугольного строения, крытого дранью. Слева доходила до носа Василия вонь от скотской бойни, находившейся недалеко, на самом берегу Невы. Вот наконец Мытный двор: вот крытая галерея, во многих местах сквозная, на деревянных столбах; можно было пройти ее насквозь, войти на внутренний двор и вступить на противоположную часть; можно было также идти вдоль всей галереи и обойти ее всю кругом, но тут увидели бы, что в некоторых местах, вместо столбов, делавших галерею проходною насквозь, была устроена деревянная стена с полками, а поперек поставленные стенки образовали отдельные друг от друга клети или лавки, назначавшиеся для помещения таких товаров, которые могли портиться от дождя или снега, если б были разложены в проходах между столбами. Идучи с берега, надобно было завернуть вбок со стороны от крепости, чтобы взойти

в галерею. Прямо с берега входа туда не было, потому что с этой стороны были лабазы с мукою и зерном, глухо запираемые с наружной стороны. Таким образом, галерея была сквозною только с северной и восточной сторон, а с остальных двух в нее был, и то кое-где, доступ только со двора. Тут были выставлены для продажи колеса, ободья, скамьи, стулья, столы, мисы, чашки, утюги, замки, сундуки, шкафы, всякого рода деревянная, глиняная и металлическая посуда, а в лавках или клетях, находившихся в галерее, стояли крупа, мед, воск, сало, деготь, мыло, деревянное масло, вяленая рыба, висели крестьянские сапоги, тулупы, кафтаны, шитье на всякие лады; хотя покойный государь запрещал продавать так называемое русское платье, но здесь, на Мытном дворе, его можно было сыскать в изобилии; продавцы толковали, что царский указ строго должен соблюдаться только в Гостином дворе, а не на Мытном, предоставленном главным образом для продажи предметов, необходимых для простонародия, а простонародию дозволялось ходить по старине. По галерее Мытного двора расхаживали пирожники, сбитенщики, квасники; они кричали каждый на свой лад, восхваляя произведения своего искусства.

Василий Данилов подошел к пирожнику, носившему на голове свой товар, накрытый куском холста, который только более именовался чистым, чем был таким на самом деле. Василий купил у него пирожок с мясом, заплативши за него денежку. В это время с дружелюбною улыбкою подошел к нему матрос, с которым он случайно познакомился на рынке у Адмиралтейства. Матрос этот принадлежал к известному сорту таких общительных людей, которые очень легко сходятся со всеми новыми людьми; о них легче делать вопрос, с кем они не знакомы, чем противный вопрос, с кем они знакомы. Это не нахалы вроде Ноздрева, не хитрые плуты, заводящие дружбу с целью залезть в чужой карман, это люди добрые и вместе живого нрава; им хочется со всяким поделиться собственными впечатлениями и от всякого что-нибудь услышать; они бывают готовы при возможности оказать всякому услугу. Всего два раза виделся этот матрос с Василием Даниловым, а уже между ними образовалось такое близкое знакомство, что они друг друга могли называть приятелями; и теперь, встретившись с Василием Даниловым, матрос приглашал его выпить сбитеньку, подозвал сбитенщика и велел наливать два стакана сбитня. Сбитенщик поставил свой самовар на узкий

столик, имевший вид скамьи, вынул из влагалищ, устроенных при поясе, два стакана, флягу с молоком и калач и налил им сбитня с приговором: «Кипяточек!» Матрос и Василий Данилов уселись рядом на другой скамейке и стали прихлебывать сбитенек, заедая разломленным калачом. Тут завели они беседу о своем житье-бытье.

Василий Данилов стал жаловаться на свою горемычную судьбу; никак не угодит он своему молодому боярчонку, князю Якову Петровичу; бьет его боярчонок, почитай, всякий день, а старая княгиня ему еще потакает; у ней не ищи ни суда, ни правды, сам же виноват объявишься за то, что тебя так бьют!

— Ох,— сказал матрос,— и я знавал такое же горе; смолоду и я ту же горькую выпил. Мальчишкою взял меня господин к себе в услужение и лупил как собаку, то в морду кулаком, то в грудь; один раз — мне был тогда еще пятнадцатый годок — побил мне, подлец, грудь так, что фельдшера позвали, пиявки поставили, насилу отходили; другой раз дубиною спину мне избил так, что с месяц повернуться нельзя было, и я, как животина, на четвереньках ползал. Наконец, как я пришел в совершенный возраст, так сам себе сказал: «Полно, не стану терпеть такой муки, первый же раз, как побьет, убегу и подам просьбу на государеву службу». А тогда покойный государь Петр Алексеевич — чтоб ему земля пером стала — установил такой закон, чтоб наш брат, холоп либо крестьянин господский, коли пожелает в царскую службу вступить, так уж господин не смей ему в том перечить и назад к себе не может потребовать, разве за этим холопом либо крестьянином какое дело головное состоит, но и то, если такое дело еще прежь того началось, а коли уж принят на службу, так тут что хочешь на него помещик вымышляй... нет уж, дудки! Из царской службы принятого назад в холопство не ворочают, как мертвого с кладбища. И вот как это проведал я, и думаю себе: «Ну, сукин сын, побей теперь, попробуй! Только ты меня и видел!» А тут вскорости рассердился на меня господин да как хватит меня в спину, а я упал грудью на железный сундук... поверишь: тому больше двадцати годов прошло, а и теперь, как погода сырая станет, так отзывается! После этого приключения, братец ты мой, я в канцелярию для свидетельства мужеска пола душ, а там принимали желающих поступить в царскую службу. Подал я туда просьбу, меня и записали в матросы!

— Ну что ж,— спросил Василий Данилов,— легка показалась тебе та служба? Легче она разве нашей, холуйской?

— Нет, братец ты мой! — отвечал матрос.— Не скажу я, чтоб государева служба легка была, и особливо наша, матросская. Подчас, ух, как тяжело бывает, и особливо в походе. По крайности, там тебя никто без вины не мучит, начальство за вину взыскание положит, ну, так уже знаешь, что сам тому причинен. Правда, как иной горячий офицер сыщется, что нашего брата по сусалам бьет, за то что службы не понимает, так и тут, как хорошенько обдумаешь, так сам себе скажешь: «Что ж, поделом! Не зевай, слушай и понимай!» Но в государевой службе та отрадность, что наш ли брат, рядовой, или начальное лицо какое, а все тягость службы несут. У бояр наш брат, холоп, работай, ночи не спи, недоешь, недопей, служи — а он-то, боярин, которому служишь, разве несет какую-нибудь тягость? Ест и пьет сладко, спит мягко, ходит в узорочьи, житье ему в роскоши, ничего не делает, не работает, а ты ему угождай и никак не угодишь! А в царской службе не то: там если кто по начальству с меня взыскивает, так над ним есть выше его начальство: и оно с него так же взыскивает, как он с меня. Всякому, и старшему и меньшему,— свой труд, своя работа. Посмотри-тка царь-государь, что он? Народ называет его «Бог земной». И вправду! Великороднее над него в свете никого нет, все ему деньгу несут, сколько ни потребует, и куда захочет — туда и потратит: никто с него не властен отчета спросить; кто ему по сердцу, по нраву, того жалует, а кого невзлюбит — с того голову долой! Кажись бы, при такой власти жил бы да поживал в своих царских палатах, в добре и холе, ел бы, да пил, да спал, да веселился! Ан же нет! Государь наш, Петр Алексеевич, еще будучи в молодых летах, за море в чужие края поехал, да и других, сынков наших бояр, за собою повез, и начал всему учиться, а наипаче корабельному делу, да не как-нибудь учился, а до тонкости всю науку прошел. Приезжали к нам иноземцы, первейшие мастера, и те говорили, что никто из них лучше нашего царя корабельного дела не знает. Он сам тебе все судно разберет, и сложит, и поставит на штапель, и в море спустит. Ужасть как он, государь, это корабельное дело любил и нас, морских людей, жаловал! Вот нам, старым, что много лет во флоте служили исправно, отвести велел места для поселка: две слободы морские завел, Большую и Малую, и дворы нам построить велел — и вот мы на старости лет веку доживаем с женами и

детишками да за упокой души его милосердого Бога молим! Негде правды деть: строг и крут бывал покойник, да ведь коли бы он таким не был, так ни до чего бы не добился, чего хотел, и ничего бы хорошего у нас на Руси не вышло! Гляди-ко, до него народ наш русский совсем был непривычен к морю; всякий русский человек как только взойдет на судно да отчалит от берега по воде, так у него сейчас и голова кружится, и тошнит его, и лежит он как убитый. И поэтому-то не было в России ни единого кораблишки. А как воцарился государь Петр Алексеевич, так и корабельное дело пошло, и русские матросы объявились, и с неприятелем на море воевать стали, и одолевали их в морских битвах. Вот Бог его знает, как оно теперь станет при государыне Екатерине Алексеевне. Дай Бог, чтоб она продолжала то, что покойничек начал! Уж, конечно, ее женское дело, не то что государя покойного, однако за то Бог ей дал доброго здоровья, что не оставляет прежнего! Вот и теперь, недавно, в Петербурге у нас указ последовал чрез генерал-полицмейстера, чтобы по праздникам все гребные суда были в готовности к плаванию по Неве, как бывало при покойном государе; тогда, бывало, как поднимут флаг на Адмиралтействе, а за ним поднимутся флаги во всех пристанях, так вся гребная флотилия должна выступать и идти от флага к флагу. Это покойный государь уставил затем, чтобы всех живущих в Петербурге приучить к плаванию по воде. И вот таки государыня не хочет в свое государствование бросить этот обычай. Теперь, чай, морская служба легче будет, чем при покойнике. Знаешь, брат, что: коли тебе больно надокучит холопство и захочешь на государскую службу поступить, подай прошение в канцелярию для свидетельства мужеского пола, как я сделал: в Петербурге есть такая же канцелярия, как и в Москве, где меня приняли. Только вот что: никому о том заранее не говори, оттого что как узнают твои господа, так, пожалуй, какое-нибудь головное дело на тебя наклеплят, чтоб не приняли тебя. Коли не хочешь в матросы, можешь в солдаты,— по твоему желанию!

Итак, из слов матроса Василий узнал новый способ, как можно, в крайнем случае, высвободиться из-под холопского гнета. Василий Данилов простился с матросом и пошел во внутренность Мытного двора, где стояло множество телег, повозок и всякого громоздкого деревянного товара, который не боялся непогоды и не мог подвергаться расхищению. Василий снова вступил в галерею, потом, оставив

Мытный двор, вышел в Русскую слободу, расположенную тремя длинными прямыми и узкими улицами; домики обращены были на улицу обыкновенно тремя, а кое-где пятью окнами в ряд. Строение было мазанковое, крытое черепицею и кое-где дранью. С первого взгляда видно было, что все строилось по приказанию. При некоторых дворах были сады и огороды. Справа вдали виднелись кровли высоких зданий; то были дома знатных особ, построенные вдоль берега Малой Невки; налево в самой Русской слободе Василий Данилов видел сравнительно более высокие домики — то были жилища чиновников канцелярии — и между ними поднимался дом губернатора Корсакова с зеленою черепичною кровлею. Василий Данилов не пошел ни вправо, ни влево, а направлял свой путь прямо и вышел за Русскую слободу. Он очутился на просторном пустыре; за ним виднелась опять куча домиков, другая слобода. На самом пустыре толпилось множество народа и шаталось то в ту, то в другую сторону. Здесь был ветошный рынок, производилась торговля всяким тряпьем, поношенным платьем и всякого рода мелочью, между которою иногда можно было встретить и ценные вещи. Лавок здесь не было, вся торговля была ручная, и продавалось много краденого. Это был притон мошенников. Петр преследовал их жестоко в своем парадизе; великое множество рыцарей ветошного рынка потерпело вырезку ноздрей и ссылку в Рогервик на работы; но слава этого рынка не умалялась, и как только государь закрыл глаза, так, словно мыши, почуявшие отсутствие кота, поднялись духом петербургские мазурики. Не очень удерживал их страх перед именем грозного генерал-полицмейстера Девиера, неусыпного их ловителя при покойном государе. Он, говорили они, страшен только для тех, кто попадается к нему, а добрый вор на то и ворует, чтоб не попадаться. По отдаленности своего местопребывания у Полицейского моста Девиер не всегда мог усмотреть за тем, что происходит на ветошном рынке. Василий Данилов продрался сквозь толпу этого народа, несколько раз отмахиваясь и отбиваясь короткими выражениями от докучливых вопросов и предложений, и дошел до той кучи домиков, что видал издали. Это была другая слобода на Петербургском острове и называлась Татарскою. Когда Петр строил Петербург, то выписывал со всей России работников и селил их в Петербурге; между присланными были разные инородцы восточной полосы России, и здесь-то именно Петр поселил их вместе с пленными

шведами. Татары между восточными русскими инородцами были самым культурным народом, и язык их был в большом употреблении у всех других поселенцев — поэтому слобода и называлась по их имени Татарскою. Когда после Ништадтского мира шведы ушли в отечество, вместо их поселились там русские, но слобода продолжала называться Татарскою, хотя много татар уже успело совершенно обрусеть, а другие выпросились вон из Петербурга, уступив свои места в слободе русским.

ГЛАВА VI

Василий Данилов по прямой улице прошел почти всю Татарскую слободу; она по наружному виду своих построек далеко уступала Русской слободе; сразу показывалось всякому, что здесь было местопребывание бедноты. На выходе, уже в поле, Василий Данилов повернул в один двор, где, по его соображению, должна была жить калмычка; и точно, он не ошибся: встретившаяся с ним женщина на сделанный им вопрос указала избу калмычки.

Избенка эта была средняя по величине, крыта дранью, от ветхости позеленелою и местами перепрелою. Василий Данилов постучался. Его впустила в избу старушонка, сгорбленная, согнутая в три погибели, с четвероугольным безобразным лицом, с маленькими впавшими глазами, с расходящимися бровями и с тремя волосками на подбородке; одета была она по-домашнему, в русском летнике.

— Пришел к тебе, тетушка, совета просить,— сказал, входя, Василий Данилов.

— Добро пожаловать, кормилец! — произнесла старуха таким чистым русским языком, который совсем не шел к ее калмыцкой физиономии.

— Я, матушка,— произнес вошедший,— из крепостных. Князей Долгоруковых человек, княгини Анны Петровны, если слыхали. Мне сказывали ее боярские люди, что ты умеешь всякому правду сказать и совет подать. Так вот я к тебе, тетушка, за советом и пришел.

— Никакой вашей княгини Анны Петровны я не знаю и людей ее боярских тем паче. Советов никому не даю и правды говорить не учена,— сухо отвечала старуха.— Это кто-то напрасно тебе на меня наболтал.

— Я к тебе не даром пришел,— сказал Василий Данилов,— изволь вот принять от меня гостинец, чем богат, тем

служить рад. А когда изволишь совет дать и меня из беды выручить, так я уж вот как поблагодарю!

Старуха проворно спрятала в карман предложенный ей червонец, а сама, покачивая недоверчиво головою, сказала:

— А кто вас знает? Ты, быть может, ко мне нарочно с подвохом пришел! Потом — на меня наговоришь, а после возьмут меня в полицмейстерскую контору.

— Не думай этого, матушка! — говорил Василий Данилов.— Я человек простой, добрый. Не с дурным помыслом к тебе явился, матушка!

— А кто тебя знает? — опять произнесла старуха.— Разве кто приходит с дурным помыслом, так тот наперед про себя скажет? Иди-ко лучше, голубчик, к какой-нибудь другой, а я обстреленная птица!

— Тетушка, голубушка! — умильно говорил Василий Данилов.— Смилуйся, изволь меня выслушать. Ей-ей, не с лихим я умыслом пришел к тебе, а услыхавши от людей, что ты правду сказываешь и хорошие советы подаешь.

— Ну хорошо! — сказала старуха.— Только вот что. Знай, батюшка, коли кто ко мне придет, да от меня совет услышит, да после того на меня донесет, так лучше ему не то что на свете не жить, а и совсем на свет не родиться. Такое я с ним за то сделаю! Это я тебе, голубчик, наперед сказываю, чтоб ты знал, к кому пришел и куда забрел. Слышишь?

— Слушаю,— ответил Василий Данилов,— у меня и в помышлении не было на тебя доносы чинить!

— То-то! — сказала старуха.— Я тебе это говорю не потому, чтоб тебя и твоих доносов боялась. Была я, батюшка, в переделке уж не раз, все по наговору от тех, что ко мне с подвохом приступали. Что ж? Видишь, я все до сих пор живу, а мои губители сами пропали, и какой лютый конец им стался! Так вот и тебе я наперед говорю. Что я тебя с первого раза не хотела слушать, так это я сделала не из опаски за себя, а жалеючи тебя же, чтоб тебе лиха не нажить, если ты с недобрым помышлением пришел ко мне, чаючи меня выпытать да потом под меня яму копать. Вот что! Наперед говорю тебе, чтоб ты, братец, знал; обдумай хорошенько, и коли у тебя дурное против меня было на уме, так лучше не спрашивай меня ни об чем, а уходи отсюда подобру-поздорову, никаких советов не чаючи. А то захочешь под меня яму подкопать, так выйдет то, что ты мне ничего не учинишь, а себя страшно погубишь!

— Матушка, голубушка! — говорил Василий Данилов.—

На все согласен. Буду знать, буду помнить, что ты мне говорила. Выслушай только меня и подай совет.

— Ну садись! — сказала старуха.— Только ты, может быть, думаешь, что ты мне дал сегодня золотого, так тем и отделаешься? Нет, голубчик ты мой! Это дешево будет. Наперед говорю тебе. Прежде, одначе, послушаем, чего тебе надобно. Тогда и вскинем, сколько мне заплатить следует. Покажи-ка преж всего мне свою руку!

Василий Данилов подал руку. Старуха со вниманием рассматривала ладонь и, покачав грустно головою, промолвила:

— Мало тебе хорошего приходилось видеть в своей жизни, да и вперед мало на роду написано; да мы все переделаем. Я не в вашей вере родилась, после крестилась. Я из сибирской стороны родом. Отец мой такой чудный знахарь был, что такого на свете еще не бывало: ветры умел направлять, в какую сторону сам захочет, и солнце посреди бела дня спрячет, так что сразу темно станет, и бурю, бывало, наведет такую, что деревья с корнем вырывает, и дождь с небес сведет и отведет; коли на кого рассердится, то поделает так, что всюду идет дождь, только на поле того, что его прогневал, ни капельки не упадет, а кому добра захочет, так учинит, что нигде дождя нет, только на его поле идет. И меня научил батюшка. А как меня отдали замуж, тогда от царя вышел указ людей собирать в Питер, и нас погнали. Муж мой тут помер, уж десятый год от пошел; а я осталась вдовою. Спасибо, что батюшка своей науке научил: теперь людям помогаю. Меня и в большие дома к важным господам звали, только батюшка наш покойный государь не любил этих дел, а лихих людей развелось довольно. Случалось мне: придет кто-нибудь за советом, вот как бы и ты пришел, ему скажешь по простоте, по доброте, а он в полицмейстерскую... Только я ему за такое, бывало, учиню, что у него все мякоти разгниются, все косточки, все суставчики разломятся, и рад он был потом в кабалу к тому пойти, кто бы его от муки освободил, да нет! На свете нет такого, чтоб от моих чар исцелил, кроме самое меня, а я такова, что коли мне кто зло подумает только, так его в погибель лютую приведу, и уже тут хоть на золото его самого взвесь да мне давай, чтоб я отпустила его... Нет, не отпущу моего лиходея! Ну, как тебя звать?

— Василий Данилов,— отвечал холуй.

— Говори, чего хочешь от меня, Василий Данилов? — сказала калмычка.

— Первое,— начал Василий Данилов,— ко мне господа немилостивы. Старая княгиня приставила меня ходить за сыном, боярчонком князем Яковом Петровичем, а он осерчал на меня, и все меня бьет, а матушка его, княгиня Анна Петровна, мне защиты не дает да еще пуще на меня же сердится. А все это мой боярчонок, молодой княжич, невзлюбил меня через девку. Есть у нас девушка сенная, Груша, так боярчонок подметил, что я около ней захаживаюсь; ему это в досаду стало, а я совсем того и не знал, и в уме не держал, что он к этой девке хотение имеет.

— А девушка эта как? — спрашивала старуха.— Тебя любит али боярчонка? Ты как подметил?

— Она меня не любит! — отвечал Василий.

— Так можно сделать, что будет без памяти любить. На это есть приворотные средствия. Слыхивал ты про них? — говорила старуха.

— Слыхал я,— отвечал Василий Данилов,— коли поймать лягушку да бросить в муравьиную кучу...

— Это пустое! — отвечала старуха, презрительно улыбаясь.— Есть у меня гораздо лучше средствия. Против меня во всем Питере другой не найдешь; да, чай, и в целом свете не сыщешь никого, чтоб ту науку знал так, как я знаю. Но об этом, чтобы девку приворожить к себе, мы после поговорим, а теперь прежде сделаем так, чтобы молодой князь, которому ты служишь, не только бы тебя не бил, а так бы тебя взлюбил, что души в тебе не чуял. Хочешь ты этого?

— Как бы не хотеть! — сказал Василий.

— Так достань и принеси ко мне сорочку своего боярина, молодого князя. Я пошепчу над нею и так сделаю, что он тебя почнет любить через меру. А потом и девушку к тебе приворожим. После и с тобой посчитаемся. Будешь в милости у господина, получать станешь подарки — и мне принесешь, что я назначу, а коли обманешь, так тебе худо будет!

Успокоенный обещанием колдуньи, Василий Данилов воротился домой тем же путем, каким дошел до Татарской слободы.

Белье княжича переходило через руки Василия Данилова. Ложась спать, снял с себя Яков Петрович сорочку, а Василий Данилов не отдал ее женщине, сбиравшей боярское белье для передачи в прачечную, но спрятал ее в чулан. На другой день, пользуясь тем, что не он, а другой

служил по очереди при княжиче, Василий отправился на буере и доставил сорочку старухе колдунье.

Между тем женщина, отбиравшая белье для передачи в прачечную, недосчиталась сорочки и сказала об этом боярской боярыне Мавре Тимофеевне, а та, соображая слова Василия Данилова о том, как бы господина своего приворожить, смекнула в чем дело и донесла княжичу. Князь Яков Петрович позвал Василия и спрашивал:

— Ты не все мои рубашки отдал в мытье. Где одна?

— Не могу знать! — начал было отлыгаться Василий Данилов, но князь Яков Петрович не дал ему продолжать и залепил в ухо.

— Ой не лги, Васька,— сказала стоявшая тут же Мавра Тимофеевна,— я знаю, куда запропастил ты боярскую сорочку. Меня не проведешь. А зачем ты спрашивал меня анадысь про ворожею, чтоб как-нибудь бояр своих приворожить, чтоб стали к тебе милостивы? Я тебе сказала, что думать про это грешно, а советовала тебе отслужить молебен Екатерине-великомученице, чтоб тебя сам Бог научил, как доброю службою господам угодить. А ты вот, верно, у кого другого поразведал про колдунью, да и снес к ней господскую рубашку. А! Что краснеешь? Что переставливаешь ногу? Беспременно так, ваше сиятельство, он вашу рубашку к колдунье снес.

— Я матушке скажу! — сказал княжич.

Мавра Тимофеевна пошла в людскую и громогласно рассказала, что у боярчонка Якова Петровича пропала сорочка и, чает она, Васька Данилов снес ее к какой-нибудь колдунье.

— Так и есть,— сказал один из холопей, Семен Плошкарев.— Намедни он здесь все добивался, про ворожей допрашивал, а Марина ему и скажи, что-де, говорят, есть в Татарской слободе калмычка, гадальщица и колдунья. Чуть ли он туда и боярскую сорочку не снес?

Сообразил Семен Плошкарев, что представляется случай показать свою холопскую верность княгине: он тотчас отправился к своей старой боярыне.

ГЛАВА VII

Была у княгини Анны Петровны родственница и большая приятельница, княгиня Федосья Владимировна Голицына, родная сестра двух знаменитых братьев Долгоруковых, Василия и Михаила, носивших в свое время звание фельд-

маршалов. Княгиня Анна Петровна со времени своего вдовства мало вела знакомств, но княгиня Федосья, постоянно вращаясь в свете, сообщала своей приятельнице о всяких новостях и делилась с нею всякими впечатлениями. Это была женщина одних лет с княгинею Анною, отличалась от нее по наружности тем, что была полнее и ниже ростом, а внутренними качествами — тем, что от природы была умнее и, ведя большое знакомство, приобрела более опыта и искусства обращаться с людьми, хотя по своему образованию недалеко отходила от своей подруги и была не чужда суеверия и предрассудков, свойственных тогдашнему русскому обществу, еще мало двинувшемуся по открытой Петром европейской дороге.

Княгиня Анна Петровна сидела у себя на крыльце с своею родственницею княгинею Федосьею Владимировною и беседовала с нею о разных текущих делах.

— Пришел доложить вашему сиятельству по своему холопскому долгу: есть нехорошие умыслы на боярское здоровье от нашего брата, холопа,— сказал вошедший Семен Плошкарев, поклонившись княгине, и потом стал переминаться, не зная, можно ли все говорить при гостье.

— Говори, говори все, что знаешь и сказать хочешь. Мы с княгиней Федосьей свои,— сказала княгиня Анна Петровна.

— У Васьки Данилова есть лукавые замыслы против вашей честной боярской семьи, ваше сиятельство! — сказал Семен Плошкарев.

— Мне,— сказала княгиня,— сейчас говорил про него сын Яша, будто он рубашку господскую утаил и будто есть подозрение, что он ту рубашку снес к какой-нибудь колдунье.

— Подлинно это так и есть! — сказал Семен.— Вот намедни, сколько-то дней назад тому, наверно не упомню, спрашивал в застольной про ворожей, а женщина наша Марина Лазарева сказала, что слышно, будто есть в Татарской слободе колдунья-калмычка, а Васька тогда мне сказал: «Пойти бы к ней, чтобы нашего боярчонка приворожила».

Василий Данилов этих слов не говорил, но Семен Плошкарев прилгнул на него.

— Скажи пожалуйста! Ах он бездельник! Да я его за такие речи в Сибирь упрячу! — сказала Анна Петровна.— Позвать его сюда!

— А про эту калмычку удивительные вещи сказывают,—

проговорила княгиня Голицына.— Говорят, она в самом деле знает такие приворотные корешки, что кого угодно можно посредством их наклонить в свою пользу и все получить, чего хочется. Ее берут в важные дома. Прежде это опасно было; знаешь, покойный государь ужасть как не терпел этого колдовства; узнает, так больно покарает, да не одну колдунью, а и того, кто колдунью позовет к себе. А теперь, при государыне, стало вольнее. Эта калмычка, сказывают, такова, что только на руку поглядит, тотчас скажет, что с тобой прежде было и что вперед станется,— все распознает и расскажет! Говорят, она такая, что за сто верст отселе и далее все видит, что происходит. Одна моя знакомая рассказывала: муж ее был в Москве, а она от него давно вестей не имела, и вот призвала к себе эту калмычку. Та приказала подать себе миску с водою, пошептала над нею и говорит: «Смотри в воду, увидишь, что твой муж делает». Посмотрела туда моя знакомая и увидела, а потом, как муж воротился, жена спрашивает его, что он в такой-то день делал и где был, а как тот, припомнивши, стал рассказывать, тогда жена ясно увидала, что ей в миске с водой представилось именно то, что делалось с ее мужем в ту минуту!

Рассказ княгини Федосьи Владимировны сильно занял княгиню Анну Петровну и расположил познакомиться с калмычкою. В то время знатные боярыни лишь из угождения Петру притворялись неверующими мужицким басням, а когда Петра не стало, головы их стали невольно обращаться к старинным воззрениям.

— Ах, княгиня Федосья, друг мой,— сказала княгиня Анна Петровна,— я по душе тебе скажу. Как бы я хотела, если б можно только было, склонить на милость ко мне государыню. Сын мой Сережа за морем в Голландии задолжал, и его в тюрьму посадят, держать станут, пока долги свои заплатит. А у меня теперь денег мало, выплатить нечем; видишь, вот этот Васильевский остров подрезал нас больно, чтоб ему не устоять и сквозь море провалиться! Постройки много строили, и теперь житье на нем убыточное; посуди: на два дома живем! две дворни содержим! А тут из имений только и шлются вести немилые: все только утрата да убыток... придется имение какое-нибудь заложить да большие проценты платить. А вот если б государыня была милостива, изволила бы заплатить долг за моего Сережу! Да боюсь я об этом ехать просить ее. Она — так ко мне, ни хороша ни дурна, мало меня замеча-

ет. Так я думаю, если бы эту калмычку позвать: не дала б ли она такого приворотного корешка, чтобы государыню к себе на милость оборотить?

— А что ж, Анюта! И впрямь попробуй позови. Истинно, говорят, удивительные вещи она творит: может быть, и пособит в твоем деле,— говорила княгиня Федосья Владимировна.— Только вот что: нельзя тебе обойтись без тайного советника Макарова.

— Как? — заметила княгиня Анна.— Чтоб через него тем корешком подействовать?

— Нет! — сказала княгиня Федосья.— А то, что государыня без этого человека никаких денежных выдач не делает.

Между тем слова обеих княгинь долетали до слуха стоявшего сзади в передней Василия Данилова, которого позвали к боярыне. Когда княгини замолчали, он вошел на балкон крыльца и стоял бледный, переваливаясь с ноги на ногу, однако силился напустить на себя храбрость и бодрость, особенно когда услыхал, что его боярыня затевает по отношению к своей государыне делать то же самое, что затевал он, ее холуй, по отношению к своей боярыне.

— Где Яшина рубашка? — спросила княгиня гневным голосом.

— Она с моим бельем. Она цела. Я ее доставлю,— говорил Василий Данилов, сам не зная, что ему отвечать.

— Доставишь?! А куда ты ее снес? — говорила княгиня с усиливающимся гневом.— Куда? Говори! К колдунье? А! Ты бояр своих задумал околдовать! Правду говори, мерзавец! Я все знаю. Отнес к калмычке-колдунье в Татарскую слободу? Так? Говори! Шельма ты, а не то я с тебя велю сейчас шкуру твою подлую снять на конюшне.

— Никак нет! — отвечал Василий Данилов, озадаченный тем, что княгине уже все известно, чего он не воображал.— На что мне боярская рубашка? Я не носил ее к калмычке-колдунье и не знаю, какая такая это калмычка-колдунья есть. Ваша воля отправлять меня на конюшню, только не за что. Помилосердуйте, ваше сиятельство.

— Как? Ты еще все запираешься? — произнесла княгиня с выражением сильного гнева.— Когда нам уже все известно, ты еще запираешься! На конюшню! Влепить ему горячих двести!

Вбежал князь Яков Петрович и закричал:

— Маменька, это такой негодяй, такая шельма, такой собачий сын, что с ним никакого терпения не хватит. Украл

мою рубашку да еще лжет! — Потом, обращаясь к Василию Данилову, князь Яков Петрович сказал: — Ты говоришь: рубашка не пропала. Где ж она? Подай мне ее сейчас.

— Сейчас и принесу,— отвечал Василий Данилов.— Не извольте, ваше сиятельство, напрасно гневаться. Подождите, я принесу.

— Я знаю, где она,— сказала княгиня Анна Петровна,— она у колдуньи-калмычки в Татарской слободе. Если ты ему позволишь, он побежит, сядет в буер, съездит к калмычке и принесет рубашку сюда. Нет, надобно это дело иначе сделать. Я пошлю за сорочкой не его, а Мавру Тимофеевну, а как она сорочку привезет — мы его и уличим, и накажем как следует за такое тяжкое преступление, что хотел он своих бояр околдовать. Теперь посадить его на цепь, пусть посидит на цепи в конюшне, пока рубашку привезут. Ведите его на цепь, задержите, чтоб не ушел.

— Увели Василия Данилова.

— Ну, Мавра Тимофеевна,— сказала после того княгиня своей боярской боярыне,— ступай в Татарскую слободу, найди калмычку-колдунью и допроси ее про Яшину рубашку, давал ли ей этот мерзавец и на какой конец давал? А затем вези ее самую ко мне, скажи, что ей ничего нехорошего не будет: княгиня, мол, хочет от тебя совет принять. Без сумнительства пусть едет.

Мавра Тимофеевна отправилась исполнять поручение своей госпожи.

В конюшне между тем происходила другая сцена. Когда холопи притащили Василия Данилова к конюшне, он стал упираться и сопротивляться. Тогда шедший за ним князь Яков Петрович ударил его в затылок; Василий споткнулся и упал. Исполнители приказания княгини стали накидывать цепь на шею, но он вдруг рванулся, выскочил стремглав из конюшни и побежал со двора. «Держи, держи его!» — кричал боярчонок; холопи за ним погнались, но не могли догнать. Василий Данилов бежал по набережной к другой пристани у рынка, бросился к берегу и сел в буер, отправлявшийся с накопившимся в нем народом на Петербургский остров. Достигши благополучно Мытного двора, Василий Данилов прытью побежал в Татарскую слободку; молодые ноги помогли ему добежать до двора калмычки прежде, чем могла прибыть туда еще не приставшая к берегу Мавра Тимофеевна. На свое счастье, он встретил калмычку на улице у двора и сказал ей:

— Тетушка, отдай скорее ту сорочку, что я принес тебе.

Господа узнали, что она у тебя, и посылают за нею к тебе женщину и тебя хотят, я слышал, звать для совета себе! Христа ради, отдай скорее, а когда придут к тебе от них, не говори, что я был у тебя и сорочку приносил. А то они меня задерут! Видишь, они сами тебя звать хотят для колдовства себе, а нам, холуям, не велят делать того, что делают сами.

— Не бойся, молодец! — сказала колдунья.— Ничего от меня про тебя не узнают! Бери сорочку скорее!

Она вынесла ему из избы сорочку и, отдавая, сказала:

— Я уже дело сделала, наколдовала так, что боярчонок твой не будет тебя бить и за твоею девкою не станет бегать; за всякою другою побежит, а от твоей отстанет!

Василий Данилов взял рубашку и с нею побежал что ни было духу обратно. Пробегая Русскую слободу, он издали увидал идущую против него Мавру Тимофеевну и, не давая себя увидеть, быстро повернул в поперечную улицу к дому Корсакова, а потом выскочил к берегу на иную пристань на Малой Неве, сел в буер, перевозивший обывателей на Васильевский остров, и пристал к стрелке, оттуда скорым бегом достиг своего двора и тотчас вошел к князю Якову Петровичу.

— Изволили спрашивать свою рубашку,— вот она, ваше сиятельство.

— А где она была? Ты куда убегал, негодный холуй? Куда? Ты бегал к колдунье за рубашкой? — закидывал Василия Данилова такими вопросами господин его.

— Нет, ваше сиятельство! — говорил Василий Данилов.— Рубаха вашего сиятельства по ошибке положена была с моим бельем, а я свое белье отдавал штопальщице в починку, а теперь побежал и принес ее.

— Врешь, врешь! — говорил князь Яков Петрович.— Где эта штопальщица? Приведи ее ко мне.

— Извольте, ваше сиятельство! — сказал Василий Данилов.— Когда прикажете, приведу! — А сам Василий, отлыгаясь, не знал, как может после выпутаться, когда никакой штопальщицы не знал.

— Ступай вон! — крикнул молодой Долгоруков.— Я с тобой разделаюсь!

ГЛАВА VIII

Между тем Мавра Тимофеевна, добравшись до калмычки, прежде всего сообщила ей, что ее боярыня, узнавши о ее искусстве гадать, просит ее пожаловать к ней для

совета. О Василии Данилове и о рубашке молодого князя Мавра Тимофеевна не заикнулась.

Калмычка сначала на предложение Мавры Тимофеевны отказывалась, уверяла, что ничего не знает и не смеет за такие дела приниматься, вспоминала, как покойный государь строго наказывал за колдовство и гаданья, как велел отыскивать ихнюю сестру колдунью и сажать в полицмейстерскую канцелярию, как, наконец, взыскивал с тех, кто призывал к себе ворожей, колдуний и гадальщиц.

Мавра Тимофеевна сказала ей:

— То были времена, а теперь настали иные. Строгого государя нет на свете, а новая государыня сама будет готова принять от тебя совет. Весь Питер про тебя говорит, что ты просто чудеса творишь и будущее отгадываешь. Пожалуй, тетушка, не откажись прибыть к нам. Княгиня наша добрая и щедрая! Она тебя не выдаст! Денег тебе даст немало! Поедем со мною, тетушка! Княгиня может тебе в большой корысти быть. Ихний род Долгоруковых в большой силе, почитай, знатнейший боярский род на всю Россию. Сам Бог тебя, тетушка, благословляет тем, что такая персона тебя к себе зовет.

Калмычка падка была на деньги и на всякие выгоды, но страх генерал-полицмейстерской канцелярии останавливал ее. Она была уже в переделке у Девиера и насилу высвободилась. Задумалась она и теперь. Может быть — так ей казалось — и впрямь будет хорошо, если княгиня Долгорукова станет ей покровительствовать; но худо будет, если Девиер проведет, и кто ее знает, эту самую княгиню: что, как она сама как-нибудь проговорится и доведет до генерал-полицмейстера!

— Скажу я тебе вот что, по сущей истине,— помолчав немного и окинув испытующим взглядом незнакомку, проговорила колдунья.— Я точно кое-что смыслю, только граф Девиер мне сказал собственным языком таково слово: «Коли я узнаю, что ты опять колдовать начала, я тебя тогда засажу в подвал, и сгниешь ты у меня без света, без воздуха, без хлеба». Строг и суров он через меру. Пусть пообещает и поклянется мне княгиня, что никому не скажет, что я у ней была, чтобы не дошло до полицмейстера. А если после того, как бы там оно ни было, а полицмейстер узнает, так я тогда отрекусь, скажу, что ничего княгине не говорила, никакого совета не подавала. Так тогда и скажу, наперед говорю: договор дороже денег. Скажу, что меня

позвали, а я не знала зачем; а когда пришла, меня просили, дескать, погадать, а я не согласилась.

— Изволь, княгиня в том тебе сама даст какую хошь клятву, а я теперь от нее, по ее приказу, присягаю тебе на том, что никакими мерами доводить до генерал-полицмейстера про тебя не будут. Как можно думать что-нибудь недоброе о такой персоне, как наша княгиня! Расспроси кого хочешь: все тебе в один голос скажут, что такой другой доброй боярыни не сыщешь!

Тут сообразила калмычка, что это предложение отправляться к княгине имеет связь с тем холопом, что приносил ей рубашку: Василий Данилов, потребовавши назад эту рубашку, сказал, что к ворожее придет женщина от княгини. Явно было, что перед нею теперь эта самая женщина. Однако она хотя зовет ворожею к княгине, а о рубашке не заикается! И раздумывала калмычка, как ей поступить: совсем молчать о холуе, приносившем сорочку, или самой завести о нем речь, хоть бы через то холую этому и произошло что-либо неприятное. Разочла ворожея, что, верно, ее выпытывают, дожидаются, чтоб она первая сама заговорила о холуе, и выгодней для ней будет угодить княгине, чем холую. Калмычка сказала:

— Приходил ко мне какой-то холуй, говорил, что со двора каких-то князей Долгоруковых; приносил рубашку, говорил, что та рубашка его господина, и просил наколдовать на ту рубашку, чтоб господин стал к нему милостив; а я ему сказала, что такими делами не занимаюсь, и он, взявши назад ту рубашку, пошел прочь. Не из вашего ли двора был тот холуй?

Тогда Мавре Тимофеевне пришла в голову такая мысль: когда колдунья подлинно еще не знает, откуда холуй этот приходил, так и не открывать ей теперь; пусть уж сама боярыня ей про него скажет, коли боярыне то будет любо; если колдунья этого знать не будет, что идет в тот двор, откуда холуй к ней приходил, так охотнее пойдет, а то, быть может, и поопасуется! Она отвечала калмычке:

— Не знаю. У наших господ велика дворня и дворов не один: и в Питере два, и в Москве один старинный их двор от дедов и прадедов ихнего рода, и в подмосковных, и в дальних имениях есть дворы, и в каждом дворе полно холуев. Может быть, какой и задуровал.

Колдунья на этот счет успокоилась и согласилась немедленно идти и плыть вместе с Маврой Тимофеевной к княгине, но еще раз подтвердила, что пойдет с тем, если

княгиня даст обещание никому о том не сказывать, чтобы как-нибудь до генерал-полицмейстера Девиера не дошло, а тот больно крут человек и немилостив!

Мавра Тимофеевна прибыла домой вместе с калмычкой и, оставив ее в одной из комнат задней половины дома, сообщила княгине все, что говорилось у калмычки, потом позвала калмычку к своей боярыне.

— Я, тетушка,— сказала княгиня,— слыхала про тебя много доброго, хорошего и решилась побеспокоить тебя. Прости, пожалуй, меня за это. Пособи в моем деле, наставь меня.

Калмычка поворачивала глаза во все стороны, как будто для того, чтоб удостовериться, не слушает ли кто-нибудь их сзади и захочет донести. Потом поклонилась и тихо сказала:

— От своих предков мало чему таки научилась. Кой-что смыслим и могим такое, что другой, без этой науки, простым средством не сделает.

— Этого-то мне и нужно,— сказала княгиня.— Садись, бабушка.

Колдунья села на указанное ей место. Расселась в креслах и боярыня и заговорила:

— Видишь, бабушка, в чем дело. У меня сын за морем, послан был покойным государем в обученье, а потом на службу в иноземном государстве, в Голландии. Теперь пишет мне, что задолжал, и просит выручить его, заплатить за него, а сумма большая, и денег столько в эту пору у меня не стает посылать ему,— так я хотела бы упросить одну важную особу, чтоб оказала нам милость, изволила бы заплатить за моего сына. У этой персоны денег много, и она через то не разорится. Я не знаю, как мне к этой персоне в милость попасть. Ты, бабушка,— так про тебя люди сказывают,— знаешь такой приворотный корешок. Не можешь ли дать его мне, чтоб я приворотила ту важную персону к себе на милость, чтоб она изволила заплатить долги за моего сынка.

— Матушка княгиня! — отвечала калмычка.— Надобно знать мне, как зовут эту важную персону.

— Да не все ли равно тебе,— говорила, видимо смущаясь, княгиня.— Ну, положим, ее зовут Катериной.

— Матушка-сударыня княгиня! — сказала калмычка.— Великое дело мне задаешь. Привернуть к себе в любовь хочешь такую важную персону, что важнее над нею на свете нет. Ты, матушка, от меня не укроешься. Хоть мне не

скажешь, а я все равно узнаю: вот и узнала! Это дело, я вижу, затеяла ты, матушка княгиня, очень большое и страшное, да для меня опасное. Ну, как проведают, что я за такое дело взялась? Да меня запытают, замучат в застенке такими муками, что и вымолвить страшно. Оно точно, у меня есть такой корешок, только ты свою княжескую милость на меня, нищую, положи: чтоб про этот корень никто не уведал, и я как будто не знаю и не ведаю, кого ты это приворотить в любовь к себе хочешь, и если бы так случилось, что меня стали допрашивать, я так и скажу, что этого дела знать не знаю, никакого корня ее сиятельству не давала и с ее сиятельством никаких о том речей не имела. Так вот и скажу тогда, и теперь твоей княжеской милости говорю наперед, чтоб ты про меня это знала, матушка-сударыня княгиня.

— Уж конечно, бабушка,— отвечала княгиня,— я про такой секрет сама для себя говорить с кем бы там ни пришлось опасуюсь. Будь на этот счет покойна. Достань только мне такой корешок, а от нас получишь немалое нагораженье. Сама, чай, слыхала, что у нас таки, слава Богу, есть!

— Как не быть! — промолвила калмычка.— Кто ж того не ведом, что князья Долгоруковы первые во всей России бояре? Другого рода почище и познатнее, чай, нет. И про ихнюю добродетель все знают.

— То-то ж,— сказала княгиня.— Стало быть, и в сумнительство входить не належно.

— Только я, бедная, все-таки еще прошу твоей княжеской милости: не изволь об этом деле никому сказывать,— кланяясь, говорила калмычка.

— Ты смотри, бабушка, сама не проврись! — сказала княгиня.— А то ваша сестра из подлого народа такова: прихвастает, скажет — была у княгини Долгоруковой, корешок приворотный дала ей. Гляди у меня: будет тебе нагораженье боярское, а если узнаю, что ты язык распустила, так тебе живой не быть. Слышь, это и заруби себе.

— Узнаешь меня, матушка княгиня, сама скажешь, что я крепче могилы,— сказала калмычка.

— Да чтобы все, что тут у нас говорилось, словно бы в землю зарыто было! — сказала княгиня.— Да вот еще что: женщина моя, что ходила звать тебя, сказывала мне, что ты, бабушка, объявила ей, что к тебе приходил холуй наш, приносил господскую рубашку и просил на нее наколдовать.

— Приходил, матушка-сударыня княгиня,— отвечала калмычка,— приходил! Сказывал он про себя, что из двора князей Долгоруковых, а каких подлинно Долгоруковых,— не сказал. Просил он, точно, наворожить на рубашку своего господина, чтоб господин стал к нему ласков, а то, говорит, господин его больно сердитует. Только я, матушка-сударыня княгиня, отвечала ему: не возьмемся мы за такое дело, оттого что вы, холопи, все на том живете, чтоб господам своим какую-нибудь пакость учинить. Что-нибудь с твоим господином станется — оно совсем не от нас,— а по твоим речам, да к нам придерутся. И так не приняла я от него той рубашки и его отправила с тем от себя. Не знаю подлинно, каких князей Долгоруковых этот холоп.

— Человек это наш,— сказала княгиня,— спасибо тебе, добрая бабушка, что сама оповестила нам про него. Мы уже знали, что он украл рубашку, да не знали, куда он занес ее, а он, по своему холопскому обычаю, стал нам лгать.

— Матушка-сударыня княгиня! — сказала калмычка.— Будь милосерда: он не на зло просил околдовать рубаху. Осмелюсь доложить твоей княжеской милости: он хоть и провинился перед вами, только все-таки не достоин, чтоб его наказывать больно, без всякого милосердия.

Княгиня ничего на это не сказала, но вышла и, увидавши проходившую девушку, приказала, чтоб Василий Данилов пришел к ней и подал кружку квасу. Потом, вернувшись в комнату, где остановилась калмычка, княгиня сказала ей:

— Так когда же ты, моя добрая бабушка, принесешь мне обещанный корешок?

Калмычка поклонилась княгине в пояс и произнесла:

— В пятницу, матушка-сударыня княгиня, в пятницу, ваше сиятельство!

— Я к тебе сама пошлю женщину, что сегодня звать тебя приходила. По ее зову иди, а коли б кто пришел другой от моего имени — не верь ему и не ходи! — сказала княгиня.

— Слушаю, матушка-сударыня княгиня! — отвечала колдунья.

В это время вошел Василий Данилов, неся на серебряном подносе кружку квасу. Увидавши колдунью, он побледнел, ноги у него задрожали.

Княгиня взглянула на него выразительно, выпила квас и, отдавая кружку, сказала:

— Ступай!

Василий Данилов ушел. Княгиня спросила калмычку:

— Этот холуй приходил к тебе с господскою рубашкою?

— Этот самый! — отвечала калмычка.

— Прощай, бабушка! — сказала княгиня.

Колдунья ушла. Княгиня велела позвать Василия Данилова и, когда он явился, спрашивала его:

— Васька! Где боярина твоего рубашка была?.. У какой штопальщицы?.. Не у этой ли, что стояла здесь, как ты квас мне подавал?

Василий Данилов упал к ногам своей боярыни и вопил:

— Виноват, виноват! Ваше сиятельство, помилосердуйте!..

— Ах ты, подлая холуйская рожа! — говорила княгиня.— Отлыгаться начал! Штопальщицу выдумал! На цепь не дал посадить себя!

— Помилуйте, ваше сиятельство! — говорил Василий Данилов.— Собаку начать каждый день бить, и собака со двора сбежит, а я человек!

— Человек он! — говорила княгиня.— Человек! С разумным созданием божиим равняет себя! Ты все равно что собака, бессмысленная животина этакая! Я велю влепить тебе в спину пятьдесят!

— Помилуйте! За что? — завопил Василий Данилов.

— За то, что боярскую рубашку носил к колдунье, хотел своего боярина испортить,— сказала княгиня.

— Я не думал ничего худого против князя Якова Петровича,— сказал Василий.— Они дерутся больно, почитай, каждый день меня толкут... так мне стало невтерпеж: я думал найти средствие такое, чтоб они меня не били и стали бы ласковее.

— Вас, холопей, на то и на свет создал Бог, чтобы вас били,— сказала княгиня.— Коли вас не бить, так вы зазнаетесь и нас, господ своих, бить учнете!

— Хорошо терпеть, когда знаешь, что за дело бьют,— говорил, всхлипывая, Василий.— А то каждый день ни за что ни про что бьют! Что ни слово, то пинком в морду либо в грудь!

— Мой Яша горяч, это правда,— сказала княгиня,— а ты, холуй, коли смыслишь, что боярин горяч, не мог бы хоть немного потерпеть и не сердить его, а старался бы во всем угождать ему и тем бы себе заслужил господскую милость вместо гнева. А у вас, холопей, такая скверная натура, что коли господин горяч, так надобно его нарочно дразнить да сердить, а потом, как вас ударят, так вы

жалуетесь и плачетесь, что вас напрасно бьют. А кабы сами вы господ своих не дразнили, так вас бы и не били!

В это время стоявший за спиною Василия Данилова вошедший в комнату князь Яков Петрович подошел к матери и сказал:

— Маменька! Прошу вас, на этот раз простите Ваську. Он ведь зла нам делать не затевал, а хотел только, чтоб господин стал к нему милостив и он мог бы войти в доверие к своему боярину. Услыхал он в людской о колдунье и по глупости своей пошел к ней и мою рубаху понес. Будьте, маменька, на этот раз к нему милосерды! Вдругорядь, если он сделает худое, то наказать его, а на сей раз помилуйте: я, маменька, вас прошу за него!

— Ах ты, мой добряк! — сказала княгиня.— Тот ему согрубил, а он же за него еще сам просит. Истинно ангельская душа! Ну что ж, перед тобой провинился Васька; как хочешь, так с ним и разделайся. Хочешь простить — прощай; хочешь наказать — наказывай!

Василий Данилов поклонился в ноги князю Якову Петровичу, но не вымолвил ни слова. Глаза его слезили.

— Правда, маменька,— говорил княжич,— Васька меня дразнит нарочно и сердит, да уж нечего делать: я его прощаю, но только чтоб он вперед так не делал. А коли что-нибудь мне противное за ним окажется, так я сам буду, маменька, вас просить согнать его от меня.

— Чувствуете ли вы, холопи, эту ангельскую кротость, эту доброту? — говорила расстроганная княгиня.— Вашему холопскому грубому сердцу куда это чувствовать! Ах, Яша, Яша! Истинно ангельская у тебя душа!

Ушедши от господ из комнаты, Василий Данилов сошелся с Маврою Тимофеевною. Боярская боярыня стала делать ему внушение.

— Что, Васька,— говорила она,— много помогла тебе волшебница? Тебя ж и выдала, как только увидала, что ее прижать хорошенько могут! Ах дурачина, дурачина! Сам же ворожее себя назвал, чей таков, все отрепортовал. Дурак, как есть дурак! Ништо таковские дела этак делаются? Кабы ты не объявлял о себе, кто ты, а выдал бы себя за другого, выдумал бы такого, что и на свете его, может быть, и не было,— вот бы и не попался! Наперед умнее будь. Коли охоч воровать, воруй так, чтоб все концы были в воду попрятаны.

— Не хочу я ни в чем воровать! — сказал Василий Данилов.

— То-то! — говорила Мавра Тимофеевна.— Будь благодарен добрым господам, что тебя простили этот раз. А то знаешь ли, кабы тебя за такое дело в полицмейстерскую, да и твою колдунью взяли бы туда же? За то одно, что ходил к колдунье, засадили бы тебя в тартарары. А за колдовство, знаешь ты, что бывает? Просто погибель. Сожгут живьем. Я помню, как при покойном государе в Новгороде дьячка жгли, а здесь, в Питере, возле Малой Невки на берегу одну бабу жгли за то, что чародейством занималась и дьявола призывала. Поделом ей,— кто дьявола призывает, тот от Бога отрекается, того сжечь следует. Так по божьему закону положено.

— А разве, тетушка, есть такие, что дьявола призывают и с дьяволом дружбу ведут? — спрашивал Василий Данилов.

— Ох, есть, голубчик, есть! — говорила Мавра Тимофеевна.— Чур нас! Наше место свято! Дело больно нечистое, проклятое! На вечную погибель душе! Потому что кто захочет с дьяволом знакомство вести, тот прежде должен от Бога отрещись и крест себе под подошву положить. Слыхал ты, быть может, про Гришку Отрепьева, что царем был с год в Москве? Этот Гришка был такой бедный, одно слово — Отрепкин, уж и кличка ему таковская была! Надоело ему на белом свете жить, и задумал он утопиться, да и пошел к Москве-реке. Там есть такие проклятые места, что излюблены дьяволами. И такое проклятое место есть под мостом Москворецким или Каменным — забыла, голубчик, под каким. Вот на это место пришел Гришка, а дело было зимою; от того места был пролубь: туда хотел кинуться Гришка. Только что он подошел под мост, а тут дьявол к нему. «Куда ты?» — спрашивает его. «Да топиться иду»,— говорит Гришка. «Зачем топиться? — говорит ему дьявол.— Не надобно топиться! Продай лучше, говорит, мне душу! На что она тебе! Продай! Я дьявол». А Гришка говорит ему: «Хорошо, только я тебе дешево не продам. Сделай меня царем на Москве!» —«Изволь,— говорит ему дьявол.— Положи крест под себя и напиши своею кровью договор, что ты мне душу продал за царство». Тогда Гришка снял с шеи крест, положил в сапог, потом разрезал себе палец и написал кровью такой договор, что он свою душу отдает дьяволу, а дьявол за то его царем сделает! Только в том ошибся Гришка, что срока не назначил, сколько лет ему царем быть. После этого дьявол такой туман на всех московских людей навел, так всем глаза отвел, что все

стали почитать Гришку Отрепкина за царя; только скоро дьявол его оставил, оттого что Гришка, пишучи кровью договор, не поставил срока, сколько ему царствовать, а тут архиереи отчитали народ: у всех с глаз туман-то снялся, и увидали все, что на престоле сидит не настоящий царь, а просто Отрепкин Гришка; взяли да сожгли его, и пепел положили в пушку, и выпалили на ветер. Только если б Гришка Отрепкин процарствовал долго, и тридцать, и сорок лет, все бы ему один конец стался, все-таки его сатана к себе бы взял, потому что он за временное царство душу ему запродал. Только не во всяком месте дьявол властен человеку явиться, а есть такие проклятые места, вот как и под мостом, где Гришка Отрепкин с ним сошелся. И коли случаем на таком проклятом месте дом построится — нелегко будет людям в том доме жить. Как ни взойдешь в такой дом, так тебя будто кто-то сзади хватает, сам ты боишься сам не знаешь чего, иногда страшилище какое-нибудь покажется, то как будто зверище прыгнет, то будто птица откуда ни возьмется пролетит мимо тебя, то будто что-то маленькое бородатое на петухе верхом из-под пола выскочит, а иногда ничего не увидишь, а только услышишь: то что-то будто стонет, то будто хохочет, то будто чем-то тяжелым кидает; а в ином доме хоть никаких таких страстей не бывает, да тем тот дом проклят, что в нем жить никто не может: кто перейдет в такой дом на житье, сейчас и умирает. В Москве много таких домов, что стоят на проклятых местах и в них никому не живется легко. Да и здесь, в Питере, они есть: да не дальше пойти, как у нашей княгини в старом дворе. В доме-то, и в людской, и везде по строениям, слава Богу, все благополучно, а в бане так не совсем. Хоть не каждую ночь, а иногда разов сколько-то в году бывают большие привидения. Баня, как помнишь, построена на фундаменте, и входить туда надобно по сходцам вверх ступеней на пять. Так там ночью иной раз ни с того ни с другого подымется такой стук, как будто там человек десять возятся, а с лестницы — словно дрова мечут, ажно в людской все трясется! Один наш холуй пошел было туда, да назад! «Что там?» — спрашивают его. А он и языка не поворотит, ничего промолвить не может; а другой, только что сунулся в дверь, да оттуда назад, словно его ветром что-то отнесло! Так тут и упал! Спрашивали того и другого, что они видали, ничего, говорят, не видали, да так страшно стало, что сами себя не помнили! Так вот это, видно, проклятое место, и если бы написать

записку на дьяволово имя да бросить в эту баню, так бы тому человеку дьявол явился. Только записка должна быть написана не по-русски, а как-нибудь по-бусурмански, оттого что дьявол русского языка не любит, языком-де этим говорят крещеные люди.

— Вот как! — сказал Василий.— Стало быть, надобно прежде по-бусурмански выучиться. Ну, а если кто бусурманскую грамоту знает, да немного — говорить по-бусурмански не умеет? Так оно что ж, если оно по-русски будет, да только бусурманским письмом написано, и то будет годиться али нет?

— Ты что спрашиваешь-то? — сказала Мавра Тимофеевна.— Али сам подумываешь такое? Не дай тебе Господи! Лучше уж бы на свет не родиться, оттого что за такое дело от Бога прощения не будет и такому грешнику гореть и в сере кипеть. А ты, Василий, послушай меня: отслужи молебен Екатерине-великомученице, возьми бумажку да напиши на ней русским христианским письмом: «Святая Екатерина! Помоги мне, сотвори так, чтоб господин мой стал ко мне милостив!» Потом понеси эту записку, и заткни за образ великомученицы, и найми священника молебен отслужить. Сделай так, послушайся меня.

Мавра Тимофеевна отошла, а у Василия Данилова в голове зародились два противоположные представления: то молебен великомученице Екатерине и с ним записка, в которой бы заключалось призывание святой на помощь,— то записка к дьяволу и ночное путешествие в баню в старом дворе Долгоруковой. Рассказ о Гришке Отрепьеве, который он и прежде еще слышал, произвел на него сильное впечатление. «Вот как я сделаю,— сказал сам себе Василий Данилов.— Я прежде отслужу молебен святой Екатерине и записку с молитвою к ней заложу за ее образ в церкви, а если это не пособит, тогда уже пойду заводить знакомство с дьяволом». После такой думы Василий Данилов стянул у Мавры Тимофеевны головной шелковый платок, оставленный ею в своей комнате в доме, побежал на рынок, продал платок и за вырученные деньги отслужил молебен святой Екатерине в церкви, находившейся на Васильевском острове; там за образ этой святой заложил записочку, собственною его рукою написанную в таком смысле, как советовала обокраденная им боярская боярыня.

Мавра Тимофеевна из-за своего платка подняла тревогу; княгиня, благоволившая к ней, приказала у всех дворовых

сделать обыск, но как ни у кого платка не нашли, то боярская боярыня принуждена была предать дело божией воле. Между тем Василий Данилов, отслуживши молебен, ожидал, что теперь, при помощи святой, боярчонок станет к нему милостив. Прошло дня три. Вдруг князь Яков Петрович ни с того ни с сего стал придираться к Василию Данилову: не так он на него смотрит, не так отвечает,— и влепил боярчонок холую две полновесные затрещины. Василий Данилов, отошедши от князя Якова Петровича с побитым лицом в другой покой, плюнул, обращаясь мысленно к той церкви, где служил молебен, и произнес: «Провались ты от меня, святая Екатерина! Не хочешь ты либо не можешь пособлять мне! Тебе, сякой-такой, я молебен правил, попу три гривны дал, а меня боярчонок опять побил ни за что ни про что! Ничего, значит, мне не остается, как отрещись от Бога и завести знакомство с господином дьяволом. Попробуем». «Только Тимофеевна сказывала, что записку дьяволу писать надобно не по-русски, а по-бусурмански,— подумал холуй,— да меня ведь отец Андрей Егорьевский учил латинскому письму: я напишу таким письмом дьяволу записку».

ГЛАВА IX

В порыве страсти, досады и огорчения Василий Данилов снял с себя серебряный крестик, подаренный ему покойною матерью, и положил его себе под пятку, а сверху на ногу надел сапог; потом, одевшись, зашел в сени, разрезал себе мизинец, написал кровью на бумажке уродливыми латинскими письменами русские слова: «Господин диавол, я предаюсь тебе, а ты мне послужи» [1],— положил бумажку в карман своего камзола и рано утром вышел со двора.

Василий Данилов сел на пристани в буер и вместе с другими, не знакомыми ему пассажирами, поплыл вверх по Неве. Буер причаливал к Морской академии, к Апраксину двору (где теперь Зимний дворец), потом к Летнему саду, где жила тогда государыня во дворце, наконец, к Литейному двору. Здесь, в последнем месте, Василий Данилов вышел на берег и отправился на Воскресенский проспект. Там находился дом княгини Долгоруковой, где она жила прежде до невольного своего переселения на Васильевский

[1] Подлинные слова в находящемся при деле показании Василия Данилова *(приміт. авт.)*.

остров. Большой двухэтажный кирпичный боярский дом выходил фасадом на улицу. На одной линии с ним через въездные ворота был деревянный, обложенный кирпичом флигель, а внутри двора громоздились разные служебные постройки. За двором, по линии большого дома, вдоль улицы тянулся сад, довольно разросшийся и тенистый, что показывало много лет его существования. Владелица, живучи на Васильевском острове, не помышляла в то время совершенно покидать своего прежнего жилища; напротив, при новой государыне надеялась покинуть Васильевский остров и возвратиться на Воскресенский проспект, где жила целых двадцать лет; поэтому большая часть боярского хозяйства оставалась в этом старом гнезде и много прислуги наполняло тамошний двор.

Вошедши во двор, Василий Данилов направился тотчас во флигель, где помещалась людская. Приближался вечер, холопи сели ужинать. И Василий Данилов сел с ними. Он умышленно старался навести разговор на такой предмет, что его занимал в данные минуты.

— Правда ли, братцы,— спросил он,— что здесь, во дворе, в бане, по ночам какие-то дива бывают?

— Бывают, да не каждую ночь, редко бывают! — отвечали ему.

— Редко, да зато метко! — подхватили другие, и тут начались рассказы о разных привидениях, виденных и слышанных в бане.

Повторялись почти дословно россказни Мавры Тимофеевны о стуке, метании дров и даже грызне собак, будто бы слышанной в бане, но никто ничего не видал. Одна баба начала рассказывать, что и в людской один раз вечером ей через окно показалась мертвая голова под покрывалом: в избу глядела со двора. На это ей возразили, что она тогда была больная и ей в бреду привиделось. Баба сказала тогда: «И впрямь! После того я на другой день заболела и с того дня три недели пролежала в горячке».

— А что ж,— возвращаясь к своему излюбленному предмету, спрашивал Василий Данилов,— ходил кто-нибудь ночью туда, в баню, где такие дива бывают?

— Один раз,— рассказывал один из холопов,— мы с Яремою пошли туда со свечами. Ярема пошел вперед, так у него свечу задувало, словно ветром.

— Это домовые, значит,— сказал другой, взявшийся быть объяснителем,— беспременно домовые. А что оно зовется домовые, так значит сила нечистая.

— Нет, братцы, это не верно сказано,— говорил холоп, охотник до всякого резонерства.— Домовые совсем не то. Покойный батюшка, отец Григорий, говорил: домовые — это души людей умерших, что за свои грехи покоя себе после смерти не имеют. А это не то чтоб нечистая сила!

— А все-таки без нечистой силы не обойдется,— сказал первый объяснитель.— Кто умер, тот будет лежать в земле до страшного суда, когда Господь ангелов своих пошлет затрубить: вставайте, значит, на суд все: и мертвые, и живые! А вот коли кто не по-божьему живет, и не Богу, а дьяволу угождает, и каяться не хочет, тому дьявол по смерти не дает покоя, вытащит его из-под земли и пугает им живущих еще на свете людей.

— Как же это дьявол может так сделать? — замечал другой холоп, увидавший возможность вмешаться в разговор и показать свое остроумие.— Как он мертвого из могилы поднимет, когда мертвый в земле тлеет и сам землею становится?

— А душа-то на что? — возразил ему противный объяснитель.— У каждого человека есть душа, в средине такой же другой человек, только маленький — это вот и есть душа! Тело в земле сотлеет, а душа не сотлеет: коли человек, живучи, Богу угождал и служил, так после его смерти душа его на небеса принимается, а коли служил он не Богу, а дьяволу, так дьявол его душою владеет. Вот он, дьявол, и заставит грешную душу по свету бродить и людей пугать.

— Говорят,— сказал Василий Данилов,— где такие стуки бывают, как у нас в бане, там дьявол показывается человеку. Правда ли это?

— Это как кому! — возразил один из собеседников.— Коли на тебе крест, то дьявол не посмеет приступить к тебе!

— Да хоть и креста не будет на шее, так все-таки дьявол не посмеет явиться человеку, потому что человек все-таки крещеный; а вот коли кто от Бога отречется и под пятку крест себе положит, значит, дьяволу совсем отдается; ну, тому дьявол явится как к своему. Свой своему брат! — говорил один холоп.

После ужина разошлись. Василий Данилов уклался в сенях, так как тогда было теплое время.

Перебирал он в своей голове все, что слышал в людской, и пришел к такому решению: «Попробую! Не удастся — не явится дьявол помогать мне, тогда пойду исповедоваться

и во всем на духу покаюсь священнику: пусть на меня наложит эпитимью. А коли явится дьявол, то я ему скажу: «Денег, денег дай мне!» С деньгами все можно сделать, все добыть; деньги если будут — я из неволи выкуплюсь, в купцы уйду, дом себе куплю! Да что и говорить: чего при деньгах не достанешь? Теперь вот житье мое какое? Самое горькое, самое последнее! Господин бьет меня чуть не каждый день; ни покоя, ни веселости мне, все меня пренебрегают, ни во что считают; Груша какая-нибудь, холопка такая ж, как и я,— а на меня смотреть не хочет! А как деньги-то у меня будут! Ого! Тогда не то чтоб кулаком в морду сунуть,— и толкнуть меня никто не посмеет; и не то что какая-нибудь Груша, а первая купецкая дочка сама набиваться станет, чтоб я ее в жены себе взял. Что мое теперешнее житье? Я не живу, а мучусь! Просил я Бога, просил: не помогает ни в чем Бог! Так и я ж, коли так, его знать не хочу! Пусть дьявол поможет, коли Бог не хочет!»

Когда Василий Данилов удостоверился, что все уже улеглись, то вышел из сеней и пошел к бане, она была построена рядом с людскою, только поглубже во двор.

Василий отворил дверь, взошел на пятиступенную лестницу и очутился в мыльне. Он вынул из кармана записочку, три раза проговорил призывание, в ней написанное, потом бросил записочку в угол за печь. «Вот явится!..— думал Василий Данилов.— Вот стукнет!..» — ожидал он, но никто не являлся, не произошло никакого стука, ни даже малейшего шороха. Вздохнул холуй, сошел с лестницы, воротился в сени и уклался на свою постель. Он уснул, и было ему такое сновидение. Лежит он на том самом месте, где он в то время наяву лежал; подходит к нему кто-то в черном кафтане с красною оторочкою и говорит: «Я — дьявол, что ты сегодня кликал; когда меня звать не боишься и хочешь, чтоб я тебе во всех твоих делах помочь подавал, так не молись Богу и никакой надежды на него не полагай, а на одного меня уповай! Чего хочешь?» —«Денег, денег!» — отвечал Василий Данилов. «Изволь,— говорит ему дьявол,— у твоей боярыни в светлице меж двух окон висит на стене образ Казанской богородицы, лик оправлен в золотом окладе с каменьями, и образ тот вставлен в серебряном киоте. Украдь его. Продай оклад и киот: вот тебе деньги, и с этих денег пойдет тебе разжива!» С тем холуй проснулся, и все черты виденного во сне в человеческом виде дьявола до того живо отпечатались у него в памяти после пробуждения, что если бы явился на улице такой человек, каким во

сне показался ему дьявол, Василий Данилов тотчас узнал бы его.

Когда по Неве стали ходить обычные буеры, холуй пошел на пристань и с первым буером воротился на Васильевский остров.

В тот же день вечером ни княгини Анны Петровны, ни обоих сыновей ее не случилось дома и Василий Данилов вошел в угольную комнату, красиво убранную, носившую название светлицы; здесь он снял со стены образ Казанской богоматери в золотом окладе с каменьями, вставленный в серебряном киоте. Выходя из светлицы, Василий Данилов завернул в комнату князя Владимира Петровича и снял с колка епанчу, подбитую мехом черно-бурой лисицы. Он положил все украденное в свой мешок, переночевал отдельно от прочей дворни в сарае, а рано утром убежал с мешком из двора к пристани. Мало помышлял Василий Данилов о том, что с ним станется, когда преступление его откроется, и о том, может ли оно остаться неоткрытым. Он сильно увлекся сновидением; он слепо верил, что ему являлся во сне дьявол и считал необходимым слепо исполнить его приказание. Впрочем, и все вообще воры в те минуты, когда крадут, не помышляют о том, что их воровство откроется и за него придется испытать кару.

Пустившись по Неве на буере, Василий Данилов сошел на берег с пристани у Морской академии (между Адмиралтейством и нынешним зданием Зимнего дворца) и пошел по направлению к Невской перспективе. Тут был другой толкучий рынок, где Василий Данилов надеялся сбыть украденную епанчу. Совершенно неожиданно для себя встретил он знакомого матроса, жившего неподалеку оттуда, в Морской слободе. На вопрос матроса, зачем он здесь, Василий Данилов показал ему епанчу и сказал: «Это мне господин подарил, да на что она мне? Хочу продать!» — «Пожалуй, я куплю!» — сказал матрос. Василий Данилов запросил за нее один рубль; матрос без разговоров дал ему требуемую монету, потом, по своему хлебосольному обычаю, пригласил Василия Данилова в Петровское кружало,— в распивочную, находившуюся на углу Невской перспективы; там и угостил матрос вином Василия Данилова.

Вышедши из Петровского кружала, Василий Данилов отправился обратно на пристань у Морской академии, сел в буер и поплыл вверх по Неве, а потом вышел на берег у Литейной пристани и оттуда прошел пешком во двор Долгоруковых на Воскресенском проспекте.

Иному читателю, знающему нынешний Петербург, может показаться непонятным: зачем это наш холуй избрал водяной путь, когда теперь можно было сухопутьем пройти туда, куда он направлял свои шаги. Но в описываемое нами время город Петербург расширялся и застраивался по берегу Невы и отчасти по берегам речек Мьи (Мойки) и Фонтанной (Фонтанки), но и то на пространстве, не далеко́м от впадения их. Невская перспектива была с обеих сторон застроена только до Полицейского моста, и на этом пространстве вправо шли две Морские (населенные матросами) слободы, давшие потом названия двум улицам: Большой Морской и Малой Морской. За Полицейским мостом на левой стороне было большое здание генерал-полицмейстерской канцелярии, а за ним двор генерал-полицмейстера. Противоположная сторона в этом месте оставалась еще без построек. Далее — Невская перспектива вплоть до Александро-Невского монастыря была дорогою, обсаженною двумя аллеями и вымощенною камнем. Вправо и влево тянулись болотистые леса и заросли. Удаленных от Невы строений во всем Петербурге было очень мало, а ходить и лошадьми ездить было чрезвычайно неудобно. От этого и сообщение в новой столице производилось главным образом по воде. На пристанях, устроенных повсюду, и по Неве и по ее притокам целый день виднелось множество боярских экипажей; они выезжали на пристани, чтоб там принимать своих хозяев либо гостей, ожидаемых хозяевами; было там довольно разного рода извозчиков, перевозивших людей, тягости и всякую рухлядь.

Пришедши в людскую двора Долгоруковых, Василий Данилов немедля завел речь о мастерах серебряных и золотых дел. Один холуй сообщил ему, что недалеко оттуда, на той же Воскресенской перспективе, живет покойного Воскресенской церкви попа сын, занимающийся ремеслом серебряка. Василий Данилов зашел в сад, вынул из мешка образ, сорвал с него золотой оклад, завязал этот оклад в платок, положил к себе в карман, а образ и киот оставил в мешке и положил мешок под деревом. Сделавши это, Василий Данилов направил путь по Воскресенской перспективе и, прошедши несколько саженей, нашел жилище серебряка. Войдя к серебряку, Василий Данилов увидал худощавого мужчину с длинною шеею, лет тридцати возрастом, сидевшего за своей работой.

Серебряк окинул глазами с ног до головы Василия Дани-

лова, а тот показал ему золотой оклад, несколько измятый, потому что снимала его с образа неискусная рука.

— Этот оклад, конечно, был на образе,— сказал попович,— и напрасно ты сам снимал его, ты не сумел как следовало снять его и изломал! Оклад через то потерял свою цену! Продавать принес, что ли?

— Продаю,— сказал Василий Данилов.

— Лучше было бы, когда б ты принес его вместе с образом: я бы тебе тогда дороже дал! А теперь придется продавать его только в лом! Золото хорошее, а камни так себе... средственные! Могу тебе дать четыре рубли... больше не дам...

Василий Данилов согласился, хотя попович давал ему, по крайней мере, только двадцатую часть той цены, какой стоил этот оклад даже и при продаже в лом. Попович, видя, что продавец отдает ему за первую цену, какую покупатель посулил, смекнул, что такого продавца можно еще поприжать для своей выгоды, и сказал ему: «За деньгами придешь в среду!»

Василий Данилов стал недоволен. Попович давал, как ему тогда показалось, чересчур дешево, да и еще денег тотчас платить не хочет.

— Я пойду к другому серебряку,— сказал он и хотел завязывать в платок оклад, как вдруг попович остановил его руку и сказал:

— Мой друг, я покличу полицейского; ты перед ним скажешь, что это твой оклад, а не краденый, и объявишь ему, кто ты сам таков за человек; коли полицейский тебя отпустит, так и пойдешь себе с Богом к другому серебряку.

— Как так? — возвысивши голос, сказал Василий Данилов.— По какому праву смеешь ты меня задерживать? Я принес тебе вещь продавать: хочешь покупать — давай настоящую цену, а не даешь — понесу тому, кто пощедрее тебя заплатит.

— Нам,— сказал попович,— велено от полиции задерживать таких, что приходят с золотыми и серебряными вещами и со всякою кузнью. А ты человек подозрительный, коли принес оклад, снятый с образа. Зачем вместе с образом не принес его? Тогда бы я тебе дороже дал и не задерживал бы тебя. А то, коли оклад сорвал, а образа не принес — значит, где-нибудь воровством достал.

Нечего было делать Василию: позволить придти полицейскому — значило себя выдать.

— Ну хорошо,— сказал, смирившись, Василий Дани-

лов,— бери оклад; только в среду я приду за деньгами; не води, а заплати в срок, что сам назначил.

— Беспременно заплачу,— сказал серебряк,— у меня что сказано, то верно, деньги все равно что у тебя в кармане!

Вернувшись с досадою в боярский двор, Василий Данилов пошел в сад к оставленному мешку, заглянул туда и не нашел серебряного киота. Кто-то без него приходил сюда и стащил киот.

«Что ж теперь делать? — говорил сам себе Василий Данилов, стоя над мешком и размахивая руками.— Как тут будешь искать? Объявлять об этом нешто можно? Сейчас же все узнают и скажут — у своей боярыни украл. Да и образ этот многие признают; ведь он висел в комнате княгини в этом доме, когда она еще жила здесь, не перебираясь на остров. И слова сказать не дадут; свяжут и к боярыне потащат! Что ж мне теперь делать? Молчать, больше ничего! Ах дурак я, дурак, разиня! Не умел пользоваться счастьем! Сам теперь пеняй на себя!»

Василий Данилов положил в мешок образ, оставшийся без оклада и без киота, завязал мешок и, не заходя более в людскую, пошел к пристани; там сел он в буер и отправился на Васильевский остров.

Приставши на Васильевском острову, Василий Данилов шел в боярский двор и увидал стоявшего у ворот холуя Семена Кривцова. Этот холуй в боярском дворе на Воскресенском проспекте слышал, как Василий Данилов собирался идти к серебряку. Как только после того Василий, отправляясь к серебряку, завернул в сад, Семен пошел за ним по следам, остановился издали и видел, как Василий развязывал мешок и доставал из него, что такое — Семен подлинно распознать не мог, но заметил только, что то была какая-то блескучая вещь. Василий не заметил тогда Семена. Когда Василий из сада пошел к поповичу, Семен — к мешку: в нем нашел он образ и серебряный киот. Семену вещи эти были очень памятны, и он тотчас понял, что Василий Данилов украл их у своей боярыни. Представился ему случай оказать неожиданную услугу княгине и тем приобресть особую милость и благорасположение своей госпожи. Не дожидаясь возвращения Василия Данилова, Семен Кривцов взял серебряный киот и опрометью побежал к пристани. Случилось, что буер, плывший по Неве сверху книзу, в ту самую минуту подходил к Литейной пристани: выпускались пассажиры и набирались новые.

Семен вскочил поспешно в буер и поплыл обычным путем на Васильевский остров; он успел достигнуть Васильевского острова и войти во двор княгини Долгоруковой гораздо раньше Василия Данилова. Семен застал весь дом в тревоге: княгиня уже досмотрелась, что на стене в ее светлице не стало образа. Княгиня собирала слуг, допрашивала, угрожала, а князь Владимир Петрович искал своей епанчи. Еще не появлялся Семен, как уже подозрение падало на Василия Данилова: заметили ранним утром, что Василий ушел куда-то со двора с мешком. И Мавра Тимофеевна, и все холопи в один голос кричали: «Это не кто как Васька Данилов! Пожалуй, не воротится, сбежит!» Княгиня, однако, приказала Мавре Тимофеевне обыскивать всю дворню, но производить такой обыск стало не нужным, потому что вслед за приказанием, данным от княгини, появился Семен Кривцов с серебряным киотом в руке.

Поклонившись княгине, Семен Кривцов сказал:

— Докладываю вашему сиятельству, что я нашел серебряный киот с образа, что висел всегда в комнате вашего сиятельства; я нашел его в мешке Василия Данилова вместе с его рухлядью. Вестимо, он украл его. Пришел он к нам, Васька, во двор, сейчас стал спрашивать про серебряков и собрался идти к попову сыну, что серебряным и золотым ремеслом занимается. Знатно, хотел тому попову сыну продать или заложить золотой оклад с того образа и для того взял оклад с собою, а киот и образ оставил в своем мешке в саду. А я подсмотрел и нашел.

Княгиня похвалила Семена за его холопскую верность своей госпоже и велела ему вперед быть надежным на ее господскую милость. Суета прекратилась в тот же миг. Княгиня дала другой приказ — отправляться в тот боярский двор, что на Воскресенском проспекте, и задержать Василия Данилова, иначе, он, познавши, что его воровство уже стало ведомо, куда-нибудь своим бездельным обычаем улизнет. Княгиня нашла удобным возложить это поручение на того же Семена Кривцова: он должен был немедленно воротиться в прежний двор, посадить вора Василия в темную и держать его там до господского указа. С таким поручением Семен поспешно шел к пристани, как вдруг, выходя из ворот, увидал идущего с пристани Василия Данилова. Семен пропустил его во двор и ничего ему не сказал. И Василий ничего не сказал Семену, хотя из внезапного появления его на острове понял, что тут что-то неладно. Сообра́жал он и придумывал, как ему отлыгаться

перед госпожою, потом пошел прямо в людскую и как только отворил туда дверь, холопи и холопки закричали ему:

— Васька! Иди скорее к княгине, неси образ в золотом окладе, что ты украл. Серебряный киот с того образа уже у ней! Она требует образа. Ступай, неси скорее.

— Да и епанечку князя Владимира Петровича неси! — прибавил кто-то.

«Ах я животина этакая, скот глупый, рыло свиное! — подумал Василий Данилов.— И своровать-то, схоронивши концы, не хватило у меня глузду! Дурак как есть! Ну, теперь отдувайся своими боками. Что теперь скажешь? Как тут можно отолгаться? Придется во всем повиниться».

Он пошел в дом. Княгиня стояла на балконе крыльца. Василий Данилов стал перед нею, вытянувшись в струнку.

— Васька! — сказала княгиня.— Подай образ в золотом окладе, что ты снял у меня в светлице со стены.

— Виноват, ваше сиятельство! — завопил Василий, повалившись к ногам своей боярыни.— Лукавый смутил у меня ум. Истинно так, он враг рода человеческого, искусил на дурное дело.

Княгиня сказала:

— Лукавый невидим, и дай Бог никому крещеному не увидать его ни в сем веке, ни в будущем. Мы лукавого искать не станем, а взыщем и накажем того, кто в вине попался.

— Я виноват, ваше сиятельство! Не запираюсь.

— Да куда ж тебе запираться, когда поличное у тебя взяли! Киот-то у меня в руках! — сказала княгиня.— А где оклад?

— Виноват! — сказал Василий.— Оклад я отдал попову сыну того покойного попа, что был в Воскресенской церкви.

— Как? Продал? — спросила княгиня.

— Продал, а денег не получил. В среду велел придти за деньгами,— отвечал Василий Данилов.

— А епанечка моя где? — спросил князь Владимир, вошедший в эту минуту вместе с братом Яковом на балкон.

— Этого я не могу знать. Не брал! — отвечал Василий.

— Врешь! Все твое дело! Разом стащил и то и другое,— говорил князь Владимир.

— Как перед Богом могу побожиться: епанечки не брал, ваше сиятельство! — говорил Василий Данилов, стоя на коленях и жалобно глядя на княгиню.

— Не ври, не ври! — сказал князь Владимир.— Ты взял, некому, кроме тебя.

— Да мало ли здесь народу во дворе! — сказал Василий.— Помилуйте, ваше сиятельство, ей же Богу, не брал!

— Ишь ты, куда вернет свое холопское рыло! — говорил князь Владимир.— Еще «помилуйте» смеет он говорить, будто добрый человек! Кто раз попадется с поличным, потом что ни пропадет, все на этого сложится, как на ведомого вора.

— Ну, доброго слугу вы мне дали, маменька! — сказал князь Яков Петрович.

— А кто ж его знал? — говорила княгиня.— Все они, холуи, одним миром мазаны; сколько их ни учи, как ни наставляй, все-таки холопская кровь скажется. Нельзя к холую веру иметь: все плуты, лгуны и воры. Только этот выскочил хуже всех; может быть, через то, что грамоте учился. Правдиво говорили старики, наши отцы и деды: не следует холопей учить грамоте. Через то себе только беду наживешь.

Князь Яков, который пуще матери не терпел никакой грамотности, подтвердил мнение родительницы.

— Ведите его на конюшню да прикажите при своих глазах хорошенько наказать его, а то без вас они, холопи, пожалеют своего брата.

Княгиня, сказавши эти слова, отвернулась и ушла в комнаты.

— Ну, Васька, в баню! — скомандовал Яков Петрович.

И Василий Данилов с лицом, облитым слезами, пошел вслед за боярчатами.

— Живей поворачивайся! — прикрикнул князь Яков и ударил Василия Данилова кулаком в лицо.

Не удержал Василий в себе рыдания.

Отправились в конюшню. Князь Владимир Петрович не охоч был собственноручно тузить холуев по сусалам, как в этом часто упражнялся его братец, зато князь Владимир Петрович без всякой застенчивости приказывал при себе наказывать их другим, и сам стоял тут же с особенным удовольствием. И теперь, не крича, хладнокровно, со злою улыбкою и с видом спокойствия, он сказал, указавши на Василия:

— Разложите его! Двое сядьте на него: один в головах, другой в ногах, а вы, Мишка и Сашка, дерите его в два батога!

Когда Василия Данилова стали раздевать и разувать, из

сапога у него выпал серебряный крестик, который он положил себе под пятку, затевая заводить знакомство с дьяволом.

— Смотрите, смотрите! Где у него крест! — сказал кто-то из холопей.— В сапоге!

— Да это он, должно быть, с нечистым зазнался,— сказал другой.— Так делают те, что от Бога отрекаются и лукавому душу продают!

— Это,— сказал Василий Данилов,— у меня снурочек перетлел на кресте, так крестик упал.

Положили и стали полосовать Василия по спине.

— Переверните его вверх животом и бейте! — сказал князь Владимир.

Василий страшно кричал, потом все тише, тише. Заметно было, что силы его слабели.

— Побрызгайте его водою! — сказал князь Владимир Петрович.— Пусть отдохнет!

Василия Данилова посадили и облили водою; потом, по приказанию князя Владимира, опять положили вверх спиною и полосовали батогами. Из битого и посинелого тела сочилась кровь.

— Теперь, на первый раз, довольно,— сказал князь Владимир Петрович.— Посыпьте ему битые места солью, чтоб стало больнее.

Исполнено было и это господское приказание.

— Васька! — сказал князь Владимир.— Где моя епанечка?

— Не могу знать. Не бирал. Как Бог свят, не бирал. Ей же Богу, не бирал!

— А коли не хочешь правды сказать, опять велю класть и буду бить, пока не сознаешься и не скажешь, где епанечка.

Опять положили Василия и стали сечь по спине, но от посыпанной соли стало так больно преступнику, что он не вытерпел и закричал:

— Виноват, все скажу!

— Говори! — сказал князь Владимир.

— Епанечку я продал в Петровском кружале матросу,— сказал Василий Данилов.

— Как звать матроса? — спросил князь.

— Не могу знать! — отвечал Василий.

— Коли не можешь знать, опять бить, пока не скажешь,— промолвил князь Яков.

— Почем же мне знать! — говорил Василий.— Я пошел

на толкучку. Кто встретился и сторговался, тот и купец мне был!

— Врешь, знаешь! Пороть, пока не скажет,— приказывал Владимир Петрович.

Начали сечь Василия Данилова. После двух ударов он крикнул:

— Матроса Егор Саввич зовут. А как прозывается, ей-Богу, не знаю!

— Врешь,— сказал князь Владимир.— Бить, пока не вспомнит и не скажет прозвища.

— Прозвищем он, кажись, Губкин,— произнес Василий Данилов.— Я его прежде встречал на рынке, и ноне на толкучке он узнал меня и, увидевши, что я продаю епанечку, купил ее за один рубль.

— На цепь его посадить,— сказал тогда князь Владимир Петрович,— и держать до утра, а завтра он пойдет с другими выкупать оклад.

Окровавленному, посинелому от побоев Василию накинули на шею цепь и прикрепили эту цепь к толстой деревянной колоде. Князь Яков Петрович не утерпел, подошел к нему и залепил ему две тяжелых оплеухи.

Оба молодые княжича пошли к матери. Василий остался прищепленным к колоде. Княгиня напрасно опасалась, что холопи станут в минуты наказания жалеть своего собрата. Конюхи исправно секли Василия Данилова, а когда он был уже на цепи, то стали над ним издеваться.

— Ах ты, рыло ветошное! Воровать пустился, а не умеешь. Поделом тебе! Вишь ты, серебряный киот оставил, а золотой оклад продавать понес: за золото, вишь, больше дадут. Вот мы тебе и насыпали на спину хорошую цену чистым золотом!

— Нет,— сказал другой конюх,— это мы ему серебром отсыпали, а золото после будет, как не покается да снова провиноватится. Тогда уж велят господа отодрать так, чтобы недели две прокачался.

— И теперь, может быть, прокачаюсь,— с жалобным тоном произнес Василий Данилов.— Вы, братцы, не глумитесь надо мною, несчастным, и вам, каждому, то ж статься может. Лучше смотрите на меня да смекайте, что значит, когда человека лукавый искусит да в грех введет!

— Лукавый! — заметил один конюх.— А ты, видно, стал с ним в большом приятельстве! То-то у тебя и крест выпал из сапога. Вестимо, такой, что с лукавым зазнается, крест

потопчет и в сапоге его держит, а все православные христиане крест носят на шее.

— Точно, точно! — промолвил другой.— Такого дива еще мы не видали, чтоб у человека, вместо шеи, был крест в сапоге!

— Плохо, видно, лукавый помог ему,— сказал первый конюх,— подшутил над ним, и только!

ГЛАВА X

Конюхи пошли убирать лошадей, а Василий Данилов молча размышлял о своей горькой участи. «Точно, правду они говорят,— думал он,— подсмеялся надо мною лукавый! Я его стал призывать к себе; он ко мне и явился во сне, велел украсть образ, чтоб с этого разбогатеть. Вот и разбогател я! Хотел в милость господскую войти — вот и вошел! По достоинству! Поделом вору мука! Я, кажись, грамотный и книжки читал божественные. Что ж? Научили они меня? Глупее всякого безграмотного стал я! Всякий безграмотный понимает: как можно крещеному человеку дьявола себе на помощь звать. О Господи Боже! Тяжело согрешил я, помилуй меня!»

Эти мысли осветили Василия Данилова, и ему стало на душе легче. Но телом он страдал сильно; сидеть ему было невозможно на избитых частях, лечь не допускала цепь, притом спина была иссечена так, что он бы и не мог опрокинуться навзничь. Он то приседал, то поднимался. Избили так, что, по народному выражению, ни сесть ни лечь! Есть ему приносили только хлеба и воды. Вечером от нечего делать приходили к нему дети из дворни; одни из них со страхом глазели на него, другие дразнили и глумились.

На другой день к несчастному Василию опять сошелся кружок холопей и начали произносить над ним свои суждения в таком роде:

— Хорошо, что господа сами его проучить приказали. А что, кабы в полицмейстерскую доставили, оттуда бы его в каторгу в Рогервик на работы услали, отлупивши хуже, чем теперь.

— У нашего боярчонка бывает не хуже Рогервика,— сказал озлобленный Василий Данилов, для которого уже в тот час не казалось страшным, хотя бы о таком его отзыве доложили самому боярчонку.

— Ну, врешь, парень,— сказал один из холопей.— Там

похуже было бы. Это говоришь ты оттого, что в Рогервике не бывал. Боярчонок даст тебе под горячий час затрещину, да и все тут. Свои господа накажут, да и помилуют.

— Помилуют, как же! — говорил Василий Данилов.— Помиловали они меня! Холопье житье наше таково, что хуже на свете нет. Самое лучшее нашему брату в могилу лечь.

— Пошел бы да кинулся в Неву; вытащат да в могилу отнесут,— сказал один холоп.

— Из Невы, пожалуй, не вытянут скоро,— заметил другой.— Против нашего двора сажен, почитай, двенадцать.

— Тем лучше,— возразил другой,— на глубоком месте топиться лучше, чем на мелком, потому что на мелком долго барахтаться будет.

— Послушай, Васька,— сказал один забавник,— как тебя с цепи спустят, ты бултых в Неву — и вся недолга!

— Душу загубить. Нельзя! — сказал другой.

— Какая душа! — возразил первый.— Намедни княгиня Анна Петровна, рассердившись на всех нас, холопей, сказала, что у холопа души нет!

— Как это можно! — возразил один резонер.— Холоп нешто не крещен? Холоп говеет и святых таин причащается. У холопа есть душа, как у всякого христианина!

— Это пусть Васька нам расскажет,— сказал другой,— он у попа грамоте учился.

— Учился,— произнес третий,— а воровать начал. В книгах нигде не написано, чтоб красть было позволено.

— А может быть, написано? — заметил кто-то.— Мы люди темные, не знаем, что там написано, чего не написано!

— Васька все знает. Ума палата! Ха-ха-ха!

И все захохотали.

Наконец двое холопей сняли с Василия Данилова цепь и сказали:

— Нам приказано поплыть с тобою вместе к тому серебряку, что ты ему продал золотой оклад.

С трудом передвигая ноги, снятый с цепи холуй вышел из конюшни. Все трое сели в буер и поплыли вверх по Неве. Приставши у Литейной пристани, они пешком дошли на Воскресенский проспект и вошли к серебряку, попову сыну.

Увидавши входящую к нему ватагу людей и в числе их того, кто передавал ему золотой оклад, попович смекнул, что оклад был краденый; теперь пришли к нему отбирать похищенную вещь, и эти новые люди, что входили к нему,

должны быть свидетелями. Поповичу представился розыск полиции о краденой вещи, а такого рода розыски в те поры возбуждали страх, особенно когда грозное имя Девиера у всех петербургских жителей беспрестанно переходило из уст в уста. Попович сразу порешил отречься от всяких показаний и указаний.

— Пришел за деньгами либо за окладом,— сказал Василий Данилов, наперед условившись с провожатыми, как ему говорить.

— За какими деньгами? — с видом притворного изумления спрашивал попович.

— Как за какими? За золотой оклад, что я тебе в понедельник продал,— сказал Василий Данилов.

— Оклад? Какой такой оклад? — говорил попов сын.— Я никакого оклада не покупал у тебя и не видал. Никаких денег я тебе не должен.

Василий Данилов обратился к своим товарищам и сказал:

— Он отрекается. Я ему отдал оклад, а он велел придти за деньгами в среду.

— Это ваше дело. Мы при этом не были и не знаем, как тут у вас было и точно ли ты привел нас куда следует: сюда ли затащил ты краденный с образа оклад,— сказали холопи.— Кто тебя знает?!

— Я не брал от него никакого оклада и в первый раз его вижу,— сказал им попов сын.

— Это впрямь мошенник! — болезненно говорил Василий Данилов.— Его надобно в полицию.

— Тебя я отправлю в полицию,— крикнул на него попов сын.— Ты обокрал своих господ, да на меня всклепываешь! Вот я сам в полицию пошлю, и ты мне ответишь за бесчестье! Тебе за это спину вычешут.

— Кто вас разберет! — сказал один из пришедших с Василием холопей.— Он точно обокрал своих господ: образ у своей госпожи со стены стянул, а потом, как в той краже попался, показал, будто оклад золотой с камнями, с того образа снявши, отнес к тебе на продажу. Господа отправили нас узнать об этом доподлинно, и коли точно так, как он говорит, то взять у тебя тот оклад, а его, вора, отпускать от себя ни на три шага не велели. Ты, мастер, прости, коли неистовно к тебе мы пришли!

— Говорю вам,— сказал решительным тоном серебряк,— никакого оклада мне он не давал; в первый раз этого бездельника вижу сегодня, как и вас. Вор мало ли на кого

поклеплет? Ворам веры нять по закону не показано и честных людей беспокоить не годится.

— Господи Боже! Что ж это такое? — вопиял Василий Данилов.— Теперь господа скажут, что я солгал, и опять меня бить велят!

— Верно, так будет,— сказали холопи.— Пойдем, нечего нам тут делать! Мы не посмеем взять и обыскивать не нашего человека, да еще вольного мастера. А над тобою, Василий, воля господская будет! Ты холоп боярский: с тебя сделают господа все, что им угодно будет. К тому же ты вор ведомый!

— Пропал! — сказал горьким голосом Василий Данилов и ввернул при этом непечатное словцо.

Вышли, сели на буер. Василий Данилов всю дорогу проклинал поповича за то, что не отдает оклада, напрасно хочет его вновь в беду ввести. Холопи, провожавшие его, твердили ему все одно и то же: «Воля господская! А ты — вор ведомый!»

Когда воротились во двор на Васильевском острову, один из провожавших Василия холопей пошел в дом докладывать, другой стерег на дворе преступника. Из дома выбежали оба молодые князя.

— Ты опять лгать! — кричал князь Яков.— Я тебя, я тебя!

Княжич махал кулаками над лицом Василия.

— Убейте сразу! — произнес Василий Данилов.

Князь Владимир Петрович не кричал, но, обратившись к холопям, сказал:

— Ведите его опять на конюшню! Стало быть, мало ему прежней бани. Еще попарить надобно.

Василий Данилов был так сильно озлоблен князем Яковом Петровичем, что не просил его уже о пощаде, а с ожесточением решимости отдавался на всякую муку. Но князь Владимир Петрович не мог против своей особы так озлобить Василия, как по своему более сдержанному нраву, так, главное, и потому, что не за ним, а за его братом ходил Василий Данилов. Теперь как бы у князя Владимира находилась судьба его, и это побудило Василия просить о пощаде. Он упал к ногам князя Владимира Петровича и вопил:

— Боярин, голубчик, отец родной! Сжальтесь, Христа ради! Богом присягаю, я оклад отдал попову сыну. Батюшка, голубчик, боярин! Поверьте! Не бейте, боярин, меня уж так избили, что на мне места живого нет!

— Где оклад? — спросил князь Владимир.— Где моя епанча?

— Оклад у попова сына,— сказал Василий Данилов,— а епанча продана матросу.

— Неправда,— сказал князь Владимир,— наводили справку. Такого матроса в Морской слободе нет. Ты солгал. Вот точно так и на попова сына, верно, солгал; за это надобно бить!

И повели Василия Данилова, плачущего и вопиющего повели в роковую конюшню, где и повторили истязание несчастного по прежнему способу.

Василий крикнул несколько раз и более уже не кричал. Слышен был только его жалобный, ослабевающий стон. Батоги разбередили на его теле струпья, образовавшиеся от прежних побоев. Кровь и сукровица лились из них. Князь Владимир Петрович спокойно стоял, заложивши руку в карман. Вдруг ходатаем за несчастного Василия явился тогда князь Яков Петрович.

— Брат! Прикажем перестать. Он не снесет!

— Не снесет, так черту баран будет! — сказал Владимир Петрович.— Не бойся, брат! У этих холопьев воловья шкура. Все вынесут.

— Так бить вола — не вынесет! Брат! Прошу тебя, прикажи перестать! — говорил Яков Петрович.

— У кого оклад? Говори, Васька! — сказал князь Владимир, обращая речь к лежащему преступнику.

Но Василий Данилов не отвечал. Он был в обмороке.

— Он мертв! — в испуге произнес князь Яков.— Что ты наделал, Володя! Я говорил: надобно перестать!

— Не бойся,— спокойно сказал Владимир Петрович.— Жив будет! Облейте его холодною водою! Он очнется!

Облили Василия Данилова. Он пришел в чувство и начал стонать от сильной боли.

— Пойду скажу маменьке,— сказал Владимир Петрович.— Пусть что ей угодно делает с этим мерзавцем. Не хочет сказать по правде, где задел золотой оклад и мою епанечку,— хоть ты его убей — не сказывает!

Князь Владимир Петрович рассказал матери об упорстве холуя. Княгиня сказала:

— Отослать этого мерзавца в Москву; да, кстати, написать управляющему, чтобы как поспеют ягоды, так прислать нам сюда.

— Не сослать ли этого негодяя в Сибирь? — заметил

князь Владимир.— Какая польза держать в дворне вора и обманщика!

— Зачем терять его,— отвечала княгиня.— Каков он ни есть, все-таки с него чернорабочий быть может. Не годится в дворне городской — в деревню его отправить! Написать управляющему в Москву, тот поступит с ним, как лучше найдет. Ему там виднее будет, как с ним поступить.

Но через несколько часов, когда день склонялся к вечеру, доложили княгине, что Василий Данилов в горячке, бредит!

— Отправить его в госпиталь,— сказала княгиня.— Я напишу от себя записку. А как полегчает ему, тогда отправить его в Москву.

В то время при устроенном царем Петром госпитале в Петербурге принимали холопей знатных бояр по запискам их господ, и для этой цели устроено было в самом госпитале особое отделение. Туда отвезли жестоко избитого холуя.

ГЛАВА XI

После ухода калмычки княгиня, по ее обещанию, дожидалась всю пятницу ее прихода и не дождалась. Ждала она всю субботу и воскресенье, ждала еще несколько дней, спрашивала дворню, не приходила ли какая-нибудь неизвестная женщина и не добивалась ли видеть княгиню. Ей отвечали, что никого не бывало. Княгиня принялась беспокоиться о корешке. Минуло уже более недели с того дня, когда колдунья должна была принесть ожидаемую вещь. Княгиня отправила Мавру Тимофеевну к калмычке позвать ее к себе или, по крайней мере, узнать, что случилось и отчего до сих пор калмычка не исполнила своего обещания.

Воротившись из Татарской слободы, боярская боярыня сказала княгине:

— Заартачилась старая карга! Говорит, боюсь ходить. Коли, говорит, угодно будет ее княжеской милости, пусть пришлет тебя; я дам тебе корешок и через тебя научу княгиню, как с ним поступать. А сама не пойду. Как-нибудь увидят, что я приходила, разнесется,— мне в приводе быть! Только пусть княгиня через тебя мне пришлет вперед десять червонцев; после, когда увидит сама, что корешок мой в пользу ее княжеской милости послужил, сама тогда, без моей просьбы, наградит меня, нищую, по-боярски, как обещала. А теперь, говорит, наперед пусть беспременно

пожалует — десять червонцев пришлет. Я, было, так и этак,— нет: «Ты мне,— сказала,— и не говори! Коли десяти червонцев не принесешь, так и корешка ее сиятельство не получит. Так,— говорит,— и скажи княгине».

— Ах она старая! — воскликнула в негодовании княгиня.— Что ж она это нам, Долгоруковым, не верит? На десять червонцев я ее обманывать стану, что ли? Тут не в деньгах сила. Не то что десяти червонцев,— и ста, и тысячи не пожалею, когда нужно; досадно, как смеет нам не доверять: вот что не добро! Холопка она этакая!

Княгиня хотя и говорила, будто ей не денег жалко и не о них идет речь, а о родовой чести, но то была неправда. Княгиня таки была скупа и жадна к деньгам. Самое желание, чтобы за ее сына долги заплатил кто-то другой, происходило от этого свойства. И теперь ей жалко стало десяти червонцев; ей не хотелось отдавать их, как вообще скупым неприятно бывает выпускать из своих рук деньги. Просердилась княгиня три дня, не решаясь посылать колдунье требуемые червонцы; несколько раз доставала она из своего комода деньги с тем, чтобы посылать их,— и всякий раз прятала их в комод снова. Но желание во что бы то ни стало достигнуть предназначенной цели и вера во всемогущество калмычки взяли верх. Княгиня позвала свою боярскую боярыню, дала ей завернутые в бумажку десять угорских золотых и сказала со вздохом:

— Нечего делать. Неси, Мавра Тимофеевна!

Ушла Мавра Тимофеевна. Княгиня с нетерпением ожидала возвращения боярской боярыни и вместе с нею желанного корешка. Почти целый день прошел в таком ожидании. Наконец, уже вечером, появилась Мавра Тимофеевна перед своей госпожой.

— Принесла? — нетерпеливо спросила ее княгиня.

— Нет, боярыня,— отвечала Мавра Тимофеевна.— Калмычки дома не было, как я к ней в избу вошла, прождала я, почитай, часа три. Приходит. «Бабушка,— говорю,— княгиня велела передать тебе гостинец, что ты просила, десять золотых». А калмычка как всплеснет руками и говорит: «Ах она милая, ах она добрая, матушка моя, лебедушка! Уж и как-то и чем возблагодарить ее княжескую милость, что про меня, нищую такую, бесталанную, вспомнить изволила и мною не побрезговала! Ангел она, настоящий ангел, моя голубушка сизая, княгиня!» И пошла, и пошла величать да хвалить вашу княжескую милость. Я выслушала все это и говорю: «Пожалуй, бабушка, корешок!» А она

говорит: «Как же, моя ненаглядная, сейчас, сейчас!» И стала она отпирать сундук, что у ней стоит в избе, большущий такой, скрыня эдакая! Отпирала, отпирала, никак не отопрет. «Тьфу ты, пропасть! — говорит.— Тут что-то неладно». Отдохнула да опять принялась отпирать, возилась-возилась, наконец таки отперла. «Это, матушка моя, кем-то поделано»,— говорит. А я ей: «Как это, бабушка, поделано?» —«Лихим наговором,— говорит,— да против моей ведьбы никакой наговор не устоит!» Начала шарить; шарила-шарила, потом остановилась, утомилась, знать, ищучи, и говорит: «Не найду, родимая! Истинно так: лихим наговором поделано! Вот не найду да и не найду! Сама, помню, положила сюда, а теперь нет как нет!» —«Как же это? — спрашиваю я.— Как так, бабушка? Кто тебе это поделал?» А она мне на это: «Ты, голубушка, не ведома нашей науке, так тебе это невдомек. Я не одна здесь: есть другие бабы, тоже тем занимаются, чем я, и те мне всякую пакость норовят сделать. Они вот проведали, злодейки, что у меня теперь припасен приворотный корешок; это они по своей науке про то узнали да по той же нашей науке и поделали мне, что вот я никак не найду того корешка. Он вот где-нибудь здесь, да они поделали так, что я его никак не найду! Только я, матушка, позубастее их, паскудниц! Они думают, что куда как хитры, ну а я их хитрее! Моя наука познатнее и посильнее ихней науки. Теперь вот я никак не могу найти своего корешка через их чары; надобно будет их отчаровать, тогда все опять ясно мне станет, и я таки найду корешок. Завтра, значит, в субботу, беспременно сама принесу его к твоей боярыне». А я ей говорю: «Бабушка, как же я теперь ворочусь к своей боярыне без корешка? Княгиня будет на меня сердиться». А она говорит: «Скажи княгине, пусть меня простит: завтра беспременно приду и корешок принесу». А я ей: «Ну, а коли и завтра не сыщешь?» А она мне на это: «Коли не найду, другой припасу. Да уж коли по грехам сталось так, что меня обошли враги мои, так вот что: пусть милостива будет княгиня, подождет до воскресенья; найду прежний, что для ней припасла, а коли так сделано, что и до завтрашнего дня я его не найду, новый припасу и в воскресенье беспременно доставлю. С тем,— говорит,— иди к княгине. Пусть не сумневается; уж коли изволила по своей боярской милости прислать мне гостинец, так теперь этот корешок все равно что у ней в шкатулке. Оно, почитай, и лучше, что так сталось. То нужно было бы тебя наставлять, как поводить-

ся с этим корешком, а ты бы что-нибудь пересказала своей боярыне совсем не так, а теперь я сама пойду к княгине и своим языком все ей сама скажу и наставлю. Вот так-то мои враги думали мне пакость учинить, а учинили еще лучше!» Так вот она говорила, и нечего мне было делать, я с тем и пошла от ней.

Задумалась княгиня Анна Петровна и после минутного молчания произнесла:

— Мавра Тимофеевна! Мне сдается, это выходит не совсем хорошее дело. Как же это? Деньги за товар отдали, а товара в свои руки не взяли!

Боярская боярыня отвечала:

— От вашей княжеской милости не было на этот счет никакого приказа. Изволили приказать отнесть десять червонцев калмычке, а насчет того, если бы она, взявши деньги, не отдавала корешка, ничего не приказывали, как поступить. Конечно, вашей княжеской милости никак не могло придти в голову, что так оно станется; да и я, боярыня, не могла домекнуть, что она сочинит такое.

— Да оно и бесчестно было бы, если б назад брать червонцы от ней,— сказала, подумавши, княгиня.— Скажут, пожалуй, что это за бояре такие, подлой женщине гостинец посылают, а вслед за тем назад отнимают. Так у хороших бояр не ведется. Да и угорских десять золотых, скажут, велики ли деньги для князей Долгоруковых? Мне паче денег то, что кто ее знает, принесет ли она корешок? Ну, как надует? Как думаешь? А, Мавра Тимофеевна, что скажешь?

— Кто ее знает, ваше сиятельство! — сказала Мавра Тимофеевна.— Не должна бы, сдается, по виду она такая душевная старуха! Ну, а в середину, в душу ей не заглянешь! Подождемте до воскресенья, а коли в воскресенье не принесет, тогда я опять к ней пойду.

— Меня вот что больше в сумнительство приводит,— сказала княгиня,— прежде она тебе сказывала, что не хочет сама идти ко мне, а через тебя корешок пришлет, а после, видишь, говорит, что сама принесет. Не значит ли это: путается и виляет?

Мавра Тимофеевна покачала головою в знак согласия с княгинею относительно сомнений насчет колдуньи.

— Как ты думаешь,— продолжала княгиня,— не надует нас она?

— Не думаю, ваше сиятельство! — отвечала боярская боярыня.— Кажись, нет. А впрочем, кто ее знает? Говорят

люди, что надобно съесть с человеком два пуда соли, пока его распознаешь, что у него на уме, а с этой калмычкой я и щепотки соли не съела. Подождем!

В тревожном ожидании встретила княгиня воскресенье и в совершенной досаде простилась с этим днем. Калмычка не пришла. В понедельник опять отправила княгиня Анна Петровна свою боярскую боярыню к волшебнице в Татарскую слободу.

Боярская боярыня вернулась домой к вечеру. По ее физиономии княгиня с первого раза подметила, что она ей несет что-то неутешительное. Когда же княгиня обратилась к ней с расспросами, Мавра Тимофеевна сказала смущенным голосом:

— Плохо дело, ваше сиятельство!

— Что такое? — спросила тревожно княгиня.

— Попались мы, боярыня, в руки такой шельме, что хоть весь свет исходить, другой такой не найдешь. Настоящая мошенница,— говорила Мавра Тимофеевна.

— Что? Как? — дрожащим голосом говорила княгиня.

— Вот извольте выслушать, ваше сиятельство! — сказала боярская боярыня.— Все расскажу по ряду, как было. Вхожу я в избу, вижу, сидит старая ведьма на своем большом сундуке и что-то шьет или зашивает, не распознала, вижу только, что иголкой ковыряет в ситец или полотно. Я к ней. «Здравствуй, бабушка!» — говорю. Она сидит, не встает и не глядит. Прежде как я войду, так она вскочит, кланяется, сама щебетать начинает; а теперь сидит словно воды в рот набрала и головы не поднимает, будто не видит и не слышит, что к ней в избу вошли и заводят с нею речи. Молчит, и только! Я к ней опять. «Здравствуй, бабушка!» — говорю ей. «Здравствуй!» — проговорила она, а сама все сидит и головы ко мне не поднимает. «Пришла,— говорю,— от княгини. Обещалась ты, бабушка, принести корешок в воскресенье, и воскресенье прошло вчера, а ты не пришла и корешка не доставила. Княгиня беспокоится, думает, не случилось ли чего нехорошего, не захворала ли ты, бабушка, не дай Бог!» —«Нет! — она говорит.— Ничего не случилось худого».—«Так отчего ж ты не пришла? — спрашиваю я ее.— Княгиня целый день до вечера все тебя дожидала, надеялась, что принесешь корешок, как обещала». А она на это: «Ходить незачем было, оттого не пришла».—«Как,— говорю,— незачем? А корешок принести обещала?» Тут она, ведьма, в первый раз подняла голову и говорит: «Какой корешок?» —«А тот,— говорю ей,— что

княгиня тебя просила и ты обещала ей принесть в воскресенье». Она мне на это: «Княгиня,— говорит,— у меня такого корешка допытывалась, что за него можно попасть в такую беду, что и не выпутаешься и животу своему не рад будешь! Статочное ли дело? Замыслила приворотить к себе в любовь государыню, чтоб за ее сына долги заплатила! Что это княгиня затевает? На кого это она замышляет? И еще меня хочет затянуть на такой умысел! Ну, я не таковская! Мне еще мила своя шкура!» —«Как же это, бабушка! — говорю я.— Ты ж сама вот на этом самом месте в пятницу сказала, что принесешь корешок в воскресенье и десять золотых княгининого гостинца взяла из моих рук, а теперь отпираешься». А она мне на это: «Десять золотых я взяла от княгини в гостинец, за то благодарствую, а чтоб доставать ей приворотный корешок на такую персону — я и за сто золотых не возьмусь! Я княгине сказала, как только она со мною в первый раз об этом заговорила,— опасное дело, нельзя взяться мне за такое дело! Вот кабы это было на кого иного,— куда бы ни шло! А то против такой важной персоны, что важнее ее и на свете нет; ни за что не возьмусь, я и помыслить об этом боюсь».—«Да почем же,— сказала я,— ты, бабушка, знаешь, что княгиня у тебя просила приворотного корешка на государыню? Разве ее сиятельство так тебе про нее прямо и сказала?» А она мне на это: «Княгиня сказала на такую важную персону, чтоб могла заплатить долги ее сына, а зовут ту важную персону Екатериною. Тут и дура поймет, на какую это важную персону княгиня метит. Вестимо, эта важная персона Екатерина — не кто иной, как наша государыня царица Екатерина Алексеевна! Нет, я ворожить на ее величество не смею! Я думала-таки после пойти к генерал-полицмейстеру да объявить, а потом передумала и сказала сама себе: «Бог с нею, с княгинею! Зачем буду я ей неприятство чинить? Я женщина простая, бедная, мне ли в такие великие дела влезать!» И не пошла я тогда ни к княгине, ни к генерал-полицмейстеру, и только. А тут приходишь ты и приносишь от княгини десять золотых. Что ж — за гостинец я благодарствую, чаю, это мне за то и гостинец, что не пошла к генерал-полицмейстеру докладывать ему про княгиню. Только уж доставлять ей приворотный корешок на государыню — ни за какие золотые горы я не возьмусь. Так и скажи княгине. Пусть ее княжеская милость это знает и больше ко мне пусть об этом деле не посылает! Таков мой последний ответ княгине будет».

Во все продолжение рассказа боярской боярыни княгиню что-то передергивало; она то краснела, то бледнела, а по окончании речи Мавры Тимофеевны начала ругать калмычку, примешивая такие слова, которые не употребляются ни в разговорном языке благовоспитанного общества, ни в печатном слоге. Это было в духе времени, когда русские знатные боярыни, одетые Петром Великим в европейские робы и насильно выведенные в ассамблеи, всегда, как только им приходилось выражаться по душе, являлись истинно русскими бабами, мало отличными от своих холопок. Сорвавши свое сердце заглазною бранью против калмычки, княгиня Анна Петровна напустилась на Мавру Тимофеевну.

— И ты-то хороша! — говорила княгиня.— Хвалишься, что предана господам, пуще глаза бережёшь господское добро! Хорошо бережешь его! Десять угорских золотых запроторила ни за что ни про что этой старой суке! Все вы, видно, одинаковы, все вы господ своих рады ограбить, разорить и нас самих, если бы можно, утопить. Вон там собачий сын Васька золотой оклад украл, а тут она десять золотых запропастила! Хороши слуги, нечего сказать! Берегут господское добро!

— Чем я так провинилась против вашей боярской княжеской милости,— говорила Мавра Тимофеевна,— что вы меня, верную слугу свою, изволите равнять с явленным вором? Сами извольте вспомнить, ваше сиятельство: призвали вы меня, дали десять золотых и приказали отнести калмычке. Я, по своей холопской службе, учинила то, что мне моя боярыня приказала.

— А ты,— говорила ей княгиня,— сказала ли мне хоть словечко, когда я тебя стала посылать к этой калмычке? Как бы ты была мне верная слуга, ты бы свою боярыню остерегла. А ты ничего... Как чурбан стояла, когда я посылала тебя; потом взяла от меня деньги и понесла, не спросивши меня, как тебе и что говорить, коли старая ведьма что-нибудь не так...

— Кто ж ее знал, ваше сиятельство,— говорила Мавра Тимофеевна.— И вы не знали, какова она есть, и я тоже не знала, что она такое. Кабы я ведала, что она такая плутовка, я бы вашу княжескую милость остерегла, а то вы, не знаючи, изволили дать золотые, а я, не знаючи, понесла их к этой шельме! В чем же тут провинилась я перед вашею княжескою милостью? Не извольте гневаться, соизвольте

гнев свой на милость боярскую ко мне, верной своей холопке, переменить!

Произнося эти слова, боярская боярыня кланялась низко княгине.

— Поеду к княгине Федосье,— сказала раздраженным голосом княгиня Анна Петровна,— она, сорока, всему причиною! Наговорила мне про эту калмычку турусы на колесах: и чудеса-то она творит, и все угадывает, и хоть кого приворожить умеет, и в знатные дома-то ее возят, и чего не наплела! Я ее словам поверила и позвала к себе старую проклятую ведьму. Поеду разругаю княгиню Федосью вот как!

И, приказав запрягать в коляску лошадей, поехала к княгине Федосье.

Княгиня Федосья Владимировна Голицына, урожденная княжна Долгорукова, жила на Васильевском острове в мужнином доме, построенном на набережной Малой Невы, куда с семейством перебралась почти в то же время, как и Анна Петровна. Княгиня Федосья оставила свой прежний дом близ Гагаринской пристани. Обе княгини подружились между собою еще будучи девицами; они вместе почти и вырастали. Княгиня Федосья Владимировна вышла замуж раньше княгини Анны Петровны; дружба двух боярышень содействовала тому, что, после замужества Федосьи, вышла вскоре за родственника ее княжна Анна, остававшаяся еще не замужнею. Много лет прошло с тех пор, как обе княжны повыходили замуж; обе успели нажить детей, обе уже постарели, обе овдовели, но между ними не только не охладевала, но еще крепла дружба, завязавшаяся в годы их девичества.

— Ну, удружила ты мне, Феня! — говорила княгиня Анна Петровна, усевшись в светлице княгини Федосьи Владимировны.— Наговорила мне про калмычку-колдунью, нахвалила ее, а она оказалась злодейка, шельма, грабительница!

И рассказала княгиня Анна Петровна княгине Федосье Владимировне все, что произошло у ней с калмычкою.

— Сама виновата! — сказала княгиня Федосья Владимировна.— Я тебя знаю давно, Анюта. Ты все такою ж осталась и в старых годах, какою когда-то в девках была! Зачем сказала колдунье, кого ты приворожить задумала? Имя ей назвала зачем?

— Да когда она,— сказала княгиня Анна Петровна,—

объявила, что надобно ей беспременно знать, как зовут ту персону, на которую будет ворожить!

— Ты б сказала: Катерина, и только, а не открывала, какая это Катерина,— заметила княгиня Федосья Владимировна.

— Я так и сделала,— сказала княгиня Анна Петровна,— а она сейчас догадалась, что это государыня!

— А ты бы,— заметила княгиня Федосья Владимировна,— тогда же растолковала б ей, что это совсем не государыня, а так, мол, знакомая твоя боярыня. И зачем было сказывать, что ты от важной персоны милости ищешь, чтоб долг за твоего сына заплатила? Ничего этого тебе ей говорить не надлежало. Сказала бы только: приворожить боярыню Катерину; со мной прежде в приятстве была, а теперь-де мы не поладили, так хочу, чтоб она по-прежнему сдружилась со мною!

— Правда, сказать надо было так! — говорила княгиня Анна Петровна.— Так вот не пришло мне вдомек так сказать. Вот и пропало десять золотых.

— Золотые-то — Бог с ними,— заметила княгиня Федосья Владимировна,— а вот худо было бы, кабы эта змея да вправду Девиеру либо Ушакову на тебя донесла. Она, чаю, теперь этого учинить не посмеет: поопасается, чтоб ей не потерять своей доброй славы меж господами. Видишь, она точно побоялась наворожить на государыню. Это на самом деле страшно. А с нашей сестрой она не боится. Позовут эту колдунью да скажут — приворожи такую-то княгиню либо боярыню, так она сделает, как пообещает, и не выдаст! Это ее хлеб. Ее берут в дома, и она без опаски всюду ездит; и не болтушка: все говорят про нее, что не сплетничает! Ну, а как она вплетется хоть раз в слово и дело, да еще с собою впутает и тебя, так ее звать никуда не будут после того. По этой-то причине я не думаю, чтоб она сунулась донос подавать. Сорвала с тебя десять угорских золотых, ну и будет с ней. Тем и покончится! Только вот что, Анюта. Кроме нее, колдуньи, да твоей женщины, что ты к ней посылала, точно ли никто не знает, что ты кликала к себе эту ведьму?

— Никто,— отвечала княгиня Анна Петровна,— с одной тобою говорила я о ней, Феня.

— А эта твоя Мавра Тимофеевна? — заметила княгиня Голицына.— Верна ли она тебе? Ты что-то на нее много полагаешься. У них ведь холопское сердце у всех, доверять им всем не нужно!

— Мавру Тимофеевну,— сказала княгиня Долгорукова,— я знаю; уж вот одиннадцатый год при мне близко. Уж коли на нее нельзя положиться, так, значит, ни на кого.

— Да таки и ни на кого,— промолвила с резким выражением голоса княгиня Федосья Владимировна.— Ты, Анюта, очень доверчива и когда-нибудь через свою доверчивость попадешь в беду. Я вот так никому, как есть никому не доверяю. Детям родным — и тем не доверяюсь. Они зла родителям сделать не захотят, а могут сделать по недомыслию. Никому, никому, друг мой Анюта, не говори про то, что ты к себе колдунью и зачем кликала. Меня хоть бы к Ушакову либо Девиеру позвали по такому делу,— я б уперлась и крепко заперлась. Все бы только им одно твердила: слыхать не слыхала, видать не видала, ни со мной о том никто не заговаривал, ни я ни у кого не расспрашивала, и только. Хоть бы в застенок вести меня грозили, я все бы одно им твердила, на одном бы как стала, так бы и стояла, оттого что в таких делах хоть малую поблажку дай своему языку, так и пиши пропало. И тебе, Анюта, советую то же, коли бы на тебя,— сохрани тебя Господь от этого,— какой донос объявился.

— Разве ты, Феня, в самом деле боишься, что на меня донос последует? — говорила Анна Петровна.— Сама ты говоришь, что калмычка не пустится на это. Кроме нее, никто про то не знает, что она была у меня, только одна Мавра Тимофеевна, что звать ее ходила.

— А если,— сказала княгиня Федосья Владимировна,— твоя хваленая Мавра Тимофеевна инако объявится? Холопка она, и с холопьем ведется. Она сама не задумает тебе худого чинить, так проболтается, другие холопи узнают, и кто-нибудь захочет ради своей выгоды на свою боярыню донести. На всякий такой случай, Анюта, я говорю тебе: молчи! И если бы сделали на тебя донос, и призвали тебя, и стали бы стращать, ты не бойся, все одно да одно тверди: не делала того, не знаю, не ведаю. Мой муж на этот счет говорил так: «Постращать постращают, а как увидят, что страх не донимает, так и стращать перестанут». А хоть бы на самом деле взялись пытать? Что ж? Первая пытка — легкая, посекут немного. Коли тут не сболтаешь — тем и кончится, как увидят, что сечка не проняла! А не дай-то Бог под первою пыткою хоть что-нибудь крошечное сказать, тут и пойдет беда за бедою! В другой раз станут пытать даже покрепче, не так, как первый раз: пожалуй, поджигать огнем станут либо на виску потянут, как там

у них зовется,— наше дело женское, не знаю, что оно такое, говорят, какая-то виска, что-то очень страшное. За всякою новою мукою человек все больше да больше на себя насказывает и наплетает, и нагородит такого, что ему прежде во сне не снилось. Не стерпя мук, всякую небылицу на себя наскажет! От этого-то лучше всего и безопаснее говорить все одно только: знать не знаю, ведать не ведаю, не слыхала, не видала, не делала, не говорила и ниже не помышляла про это.

— Не приведи Бог до этого дожить! — говорила, вздрагивая, Анна Петровна.— Как бы меня привели к пытке, я бы, кажется, еще не ложась под батоги, от одного страха умерла. Ну, а как ты думаешь, Феня, стало быть, насчет того, чтоб царицу приворожить, чтоб она за моего Сережу заплатила, надобно это дело совсем оставить?

— Да, Анюта,— отвечала княгиня Федосья Владимировна,— оставить. Сама виновата! Зачем так повела? Дала колдунье узнать, на кого ворожить хочешь. Теперь уж приходится тебе об этом больше не думать. А сколько долг твоего сына?

— Тридцать тысяч ефимков,— сказала княгиня Анна Петровна.

— Нешто у вас нечем заплатить? — спрашивала княгиня Федосья Владимировна.

— Издержалась я много вот с этим Васильевским островом,— сказала княгиня Анна Петровна.— Придется, верно, одну вотчину спустить.

ГЛАВА XII

Недели три прокачался Василий Данилов в госпитале. Молодые врачи, все иноземцы, были поражены видом избитого, изуродованного боярского холопа и делали замечания насчет бесчеловечия и дикости московитских господ, но главный доктор, начальствовавший над ними, англичанин Бидльо, строго воспрещал им показывать какой-либо вид неодобрения таких явлений. «Мы,— поучал он их,— в чужой земле; нам платят деньги за наши труды, надобно быть благодарными, а осуждать обычаи края — какое право у нас? Кто нас уполномочил на то, чтобы русских по-нашему переучивать? Так у них исстари велось и теперь ведется. Их обычаями земля их крепко держится. Что нам не годится, то для них необходимо». Зато в своих попечениях о больных доктор Бидльо приказывал соблюдать между

ними совершенное равенство: полковник ли, холоп ли — ко всем одинаковое внимание, за всеми одинаковый уход, всем равно здоровая, потребная пища. Василий Данилов перенес горячку, и в бреду представилось ему: подходит к нему дьявол и говорит: «Я тебе совет подать пришел. Выздоровеешь — отомсти своим господам. Ты от них милости и́скал, а они с тебя всю кожу слупили. Они к тебе немилостивы — и ты с ними будь немилостив. Донеси на княгиню: ты слыхал, как она с княгинею Федосьею Голицыною сидела на балконе и говорила, как бы ей приворожить государыню в любовь к себе, чтоб государыня за ее сына долг выплатила. Затем-то она и колдунью призывала, ту, к которой ты ходил. Ты видал ее у княгини. Донеси на княгиню. Ее с детьми возьмут в Тайную, пытать станут, мучить, а ты в милость и ласку войдешь к самой государыне за то, что на свою боярыню донес». Когда Василий Данилов стал оправляться, все виденное им в бреду исчезло из его воспоминаний, кроме этого явления дьявола, которое до того живо запечатлелось в его мозгу, что он сам не в силах был дать себе отчета: во сне или наяву было ему это видение. По прошествии месяца Василий Данилов был выписан из госпиталя и возвратился к своей госпоже в ее двор на Васильевском острову.

Холопи донесли обоим боярчонкам о том, что Васька уже в людской, и оба, князь Яков и князь Владимир, потребовали его к себе.

Холуй поклонился господам своим в землю и, приблизившись поодиночке то к одному, то к другому, раболепно целовал им полы кафтанов. Князь Владимир спросил:

— Где ты оклад дел? Ты не отдавал его тому поповичу, на которого показал. Сознайся теперь добровольно.

Василий Данилов стал на колени и, подняв глаза к небу, крестился и клялся, что оклад остался у попова сына.

— Как же тебе верить,— говорил князь Владимир,— когда ты много раз облыгался? Ты под батогами уверял меня, что епанечки моей не брал, а как тебя прижали, так сознался, что продал ее, и все-таки назвал матроса, что будто у тебя купил, не тем именем, потому что такого Губкина не оказалось в Морских слободах. И в окладе верить надо попову сыну, а не тебе.

— Ваше сиятельство,— говорил Василий Данилов,— не знаю, как вас уверить. Что б я ни говорил теперь, вы мне не изволите поверить, только насчет оклада я ничего иного

сказать вам не могу; попову сыну отдал, он мне денег не отдал, что обещал.

— Врешь, врешь! — сказал князь Владимир.— Сознайся вправду, а то опять пороть велю.

— Воля вашего сиятельства,— отвечал Василий Данилов,— хоть и пороть прикажите, я ничего другого не скажу. Разве мне выдумать на кого-нибудь напрасно? Так все-таки тот, на кого я напрасно скажу, не возьмет вины на себя, а станет отпираться, и ему, конечно, вера будет, а не мне. Ваше сиятельство! Помилосердуйте! Извольте меня услать кому-нибудь на работу, пока я выработаю деньги, что стоит сделанная покража.

— Рассказывай! — говорил князь Владимир Петрович.— Ты и в три года не выработаешь столько, сколько стоит оклад золотой. Сознайся-ка лучше, а то велю вести на конюшню.

— Извольте через полицию обыск сделать у поповича, ваше сиятельство,— говорил Василий,— а я бедный человек, как могу заставить его воротить либо сознаться, что он у него? Я его уговаривал, а он мне в глаза говорил: «Не брал-де у тебя и в первый раз вижу тебя». Что делать с таким плутом!

— А ты правый человек! Смеешь плутом называть другого. Холоп ты негодный! — сказал князь Владимир.— Вор ведомый!

— Глуп я был, ваше сиятельство, поддался дьявольскому искушению. Враг рода человеческого всегда нас, дураков, на худые дела настраивает. Теперь, ваше сиятельство, ей-Богу, не буду и другу и недругу закажу.

— А все-таки скажи, где оклад? — еще раз спросил князь Владимир.

— У попова сына, ваше сиятельство! — промолвил Василий Данилов.

— На конюшню, пороть! — решительно сказал князь Владимир.

Повели Василия Данилова, раздели, положили и опять, как прежде, отсчитали по спине несколько ударов. Князь Владимир, стоявший над ним, приказал остановиться и спросил:

— Говори, где оклад?

— У попова сына, ей-Богу, у него! Чтоб меня Бог разразил сейчас, если не у него! — отвечал жалобно Василий Данилов.

— Переверните и бейте по животу! — скомандовал

князь Владимир, и когда отсчитано было двадцать ударов по животу, снова спросил: — У кого оклад?

— У попова сына! — повторил лежащий на земле холуй, у которого на животе появились уже синие полосы.

— Ну, оставь его, брат! Черт с ним! — сказал стоявший здесь же князь Яков Петрович.

Оба княжича пошли к матери советоваться, что делать с этим отъявленным негодяем.

— Держать его при нас не годится,— сказала княгиня.— Отправить его в Москву и написать управляющему, чтоб его повернули там во дворе на черную работу.

Приказание княгини передано было от сыновей дворне.

Василий Данилов собрал свою рухлядь, состоявшую из двух пар пестрядинного белья, двух кафтанов, пары сапогов, камзола и парика. Холопи объявили ему, что княгиня приказала сейчас же отправляться в другой двор на Воскресенском проспекте, чтобы оттуда ехать с провожатыми в Москву.

— Готов! — сказал холуй и пошел к княгине, сидевшей на балконе.

Василий Данилов упал к ее ногам и говорил:

— Матушка боярыня! Будьте милосерды! Простите меня, мерзавца этакого. Ей-ей, каюсь в своих худых делах и прошу милости как у Бога, так и у вашей боярской милости.

— Если в Москве у нас во дворе, до отправки тебя в деревню, случится какая покража или какое другое худое дело, так первое за тебя примутся, оттого что ты вор явленный! Я так приказывала управляющему. И ты это знай, слышишь! — сказала княгиня.

— Слушаю, ваше сиятельство! — отвечал Василий Данилов.— На всяком месте и во всякой должности рад служить госпоже своей по вашей воле. За свои скверные дела достоин я пущего; только пожалуйте меня вашим господским милосердием, простите меня, Бога ради!

Он кланялся в ноги. Княгиня ничего не отвечала и отвернулась, а князь Яков, стоявший близ матери, приказал Василию Данилову идти прочь.

Двое холопей обычным водяным путем провели преступника на другой княгинин двор и там сдали его двум другим холопям, а тем велено, по распоряжению княгини, везти Василия Данилова в Москву. Один из этих холопей был Семен Плошкарев, другой — Семен Кривцов, доставивший своей боярыне украденный серебряный киот. Вечером то-

го же дня холопи сели в повозку с будкою, покрытою рогожею, и поехали на ямских под звуки неумолкавшего колокольчика, висевшего под дугою. У путешественников была подорожная, но они терпели беспрестанные задержки на ямах, потому что по дороге между Питером и Москвою сновали царские курьеры и, кроме того, разные благородные особы, этим господам оказывали первенствующее внимание перед подлыми боярскими крепостными людьми, какими значились в подорожной холопи Долгоруковых. В продолжение пути Василий Данилов не изъявлял ни малейшего сожаления о перемене судьбы своей; напротив, он казался довольным случившеюся с ним переменою.

— От господ чем подальше, тем лучше,— говорил он,— пусть другие близко господ живут, такие, что умеют им угождать! А я, дурак, не умею! С той поры, как меня взяли в Питер да приставили ходить за князем Яковом Петровичем, я заслуживал чуть не всякий день оплеухи да кулаки, и более ничего не заслужил, а наконец совсем проворовался! Значит, неспособен и недостоин я близко господ находиться! Мое место — в деревне.

— Хорошо, как бы в деревню пустили! — сказал ему Семен Кривцов.

— Я того чаю, оттого что боярыня мне сегодня про то как бы сказала,— заметил Василий Данилов.

— Тебя,— сказал ему Семен Плошкарев,— приказано сдать управляющему двора ее сиятельства; ты в его воле будешь; куда он захочет, туда тебя и приставит; быть может, куда-нибудь и в деревню сошлет, а может быть, и в московском боярском дворе к какому-нибудь работному черному делу приставит.

На десятый день после выезда из Петербурга прибыли холопи в первопрестольную Москву и ехали по Тверской улице. В то время обе стороны этой улицы не были еще во всю длину ее застроены каменными домами, как теперь. Каменные строения были еще не часты и заметно виднелись в ряду деревянных. Зато церквей на этом пути было больше, чем теперь. Нашим путникам пришлось проехать два раза через ворота: одни деревянные, в земляном вале, покрытом с обоих боков бревенчатою стеною,— они вели в Земляной город; другие ворота, каменные, вели в Белый город, окруженный кирпичною побеленною стеною с башнями, и в некоторых из этих башен проделаны были ворота. Те ворота, через которые проехали холопи княгини Долгоруковой, назывались Тверскими и находились на мес-

те, до сих пор удержавшем старое название, хотя никаких ворот уже там нет. По пути от Тверских ворот город носил название Белого, вплоть до самого Кремля, и здесь каменных зданий на Тверской улице было гораздо больше, чем в том пространстве, которое путники проехали. Доезжая по Тверской до Охотного ряда, путники поворотили в угольный двор: тут-то было давнее гнездо князей Долгоруковых той ветви, к которой принадлежал покойный муж княгини Анны Петровны и их сыновья.

Боярский дом выходил углом на две улицы, Тверскую и Охотный ряд; был этот дом двухъярусный, кирпичный, крытый высокою черепичною зеленою крышею, оштукатуренный серою краскою, с изобилием окон разного формата и величины, вдававшихся глубоко в стену. Большие брусяные ворота с Тверской вели на широкий двор; во дворе с первого взгляда бросался в глаза каменный голубец с крестом, сложенный на том месте, куда в грязную кучу было выброшено тело убитого стрельцами владетеля этого дома и где ежегодно в день его смерти, 15 мая, служилась панихида. По двору располагались многие службы и людские покои. Приехавшие из Петербурга холопи вошли в людскую застольную, и Василий Данилов увидал тех своих товарищей по званию, которых знал когда-то прежде и не видал с того времени, когда по воле своей госпожи был отправлен из Москвы в Петербург. Прибывшие с ним Семены не замедлили тотчас объявить всей холопской компании, какого гуся привезли они теперь в Москву и за что боярыня его отправила от себя. Все присутствовавшие посмотрели на Василия Данилова с недоверием и опасливостью, и бедный наш холуй сразу сообразил, что его положение в московской дворне не очень будет хорошим: товарищи, знаючи, что он под боярскою опалою, станут сторониться от него. Тотчас Семены повели Василия Данилова к управляющему дома в Москве. Это был один из тех детей боярских, которые, за старостью или неспособностью к государевой службе, числились в отставке и, при удобном случае, нанимались в службу к родовитым боярам. Двором Долгоруковых управлял толстый приземистый человек по имени Фома Лукич Ходаков; при покровительстве князей Долгоруковых он устроил на службу царскую выгодно своих сыновей, был предан дому Долгоруковых, а потому княгиня дорожила им как строгим и точным исполнителем ее распоряжений. Прочитавши письмо княгини, написанное рукою ее сына князя Владимира, и узнавши из этого

письма о воровских подвигах привезенного к нему холуя, Фома Лукич покачал головою и глянул на Василия Данилова с таким грозным выражением, какое совсем не шло к его добродушному лицу.

— Тебя государыня твоя, княгиня, отдает в мою волю,— сказал он,— знай наперед, коли здесь у меня вздумаешь воровать, быть твоей шкуре слупленной с головы до ног! Смотри у меня! Моли Бога, чтоб не случилось у нас во дворе ничего худого; а коли, по грехам, что случится, еще не буду знать подлинно, кто учинил дурно, а с тебя начну розыск и пытать велю тебя! Оттого что ты вор ведомый!

Фома Лукич назначил Василия Данилова быть в чине дворовых чернорабочих, которые, по приказу дворника, чистили двор, вывозили грязь и всякие нечистоты и вообще были готовыми на самые «подлейшие» работы; но, собственно, ни один из них сам по себе не имел определенной и постоянной обязанности. И Василий Данилов, сделавши несколько пустых работ по приказанию дворника, был оставлен без занятий и мог болтаться куда хотел, лишь бы охоты стало.

С дозволения управляющего домом княгини, которое дошло к Василию не прямо от него, а через дворника, Василий Данилов собрался говеть.

На совести своей чувствовал несчастный холуй тягость накопившихся грехов и хотел поновиться, как продолжали еще выражаться в то время русские люди. Прежде всего Василий Данилов обратился к священнику Егорьевского женского монастыря отцу Андрею: у него он когда-то учился грамоте. Отец Андрей, увидя нежданно бывшего своего ученика, подумал было, что в Москву приехали князья Долгоруковы и с ними их прислуга; но Василий Данилов отвечал ему, что господ здесь нет и неизвестно-де ему, когда они изволят собраться в Москву; приехало-де сюда несколько людей из их петербургской дворни и он в числе приехавших. Настоящей причины, по какой он прибыл в Москву, Василий Данилов отцу Андрею не открыл, оставляя это до того времени, когда будет исповедаться. С благословения отца Андрея стал Василий ходить в церковь и сразу почувствовал, что ему в храме божьем ужасно неловко: он отрекался от Бога, он призывал к себе дьявола на помощь, два раза дьявол ему являлся во сне. Василий Данилов усердно бил поклоны, а какой-то тайный голос шептал ему внутри: «Что ты молишься? Думаешь, что Бог помилует тебя? Нет, ты отрекся от Бога! Такого

грешника Бог не принимает!» Несколько дней во время говения испытывал Василий Данилов жестокое внутреннее мучение. Наконец настал последний день недели. Василий Данилов явился на исповедь к своему бывшему наставнику и сознался перед ним во всем. Отец Андрей за призывание дьявола наложил на Василия епитимью: каждый вечер класть по сту поклонов и каждый день ходить в церковь к заутрени, исключая такого времени, когда по своему холопскому званию не получит на то дозволения господ. Так должен был провести целый год каявшийся грешник, и тогда отец Андрей обещал причастить его. Василий Данилов просил управляющего домом княгини позволить ему каждый день ходить к заутрени, исполняя таким способом епитимью, наложенную, как он объяснял управляющему, духовным отцом за совершенную у своих бояр кражу. Управляющий не стал ему в том перечить. Прошло так несколько недель. Василий Данилов ходил исправно в церковь к заутрени, а целый день после того был в распоряжении дворника, но почти не имел за собою никаких работ, а более бил баклуши. Тут стала ему неотвязно приходить в голову мысль освободиться от холопской зависимости: вспомнил он то, что говорил ему когда-то в Петербурге матрос, можно-де этого добиться, определившись в государеву службу либо матросом, либо солдатом, а для того стоит подать просьбу о себе в канцелярию для свидетельства мужеска пола душ. Открыл Василий свой замысел своему духовному отцу, попу Андрею. То был единственный человек в Москве, с которым он позволял себе говорить откровенно. Поп Андрей не советовал ему, не отсоветовал, а отнесся к этому как к делу совершенно для него постороннему, однако сообщил холопу, где находится канцелярия, что он ищет. Поп объяснил ему, что для такого дела нужно сочинить по форме и подать прошение на гербовой бумаге, а сочинить такое прошение может только знающий всякую форму подьячий, и надобно будет заплатить ему за труд, да и на гербовую бумагу нужны будут деньги. У Василия Данилова денег не было ни полушки. Он попытался было попросить взаймы у отца Андрея, но поп отказал ему наотрез. Денег-то нужно было всего полтину. Но где взять их? Украсть? Неудавшиеся в Питере воровские подвиги отбили у Василия охоту повторять их в Москве. В первопрестольном граде шаталось и валялось по улицам множество нищих; еще больше их было в те поры, чем можно встретить теперь. Василий Данилов на каждом

шагу видел, как христолюбивые прохожие им подавали и как нередко нищие на выпрошенные деньги ходили пить в кабак и заводили там между собою ссоры и драки оттого, что одни считали себя обделенными другими. «Вот,— думал Василий Данилов,— этим дармоедам дают же! Почему и мне не попросить». И попробовал опальный холуй сделаться нищим: стал на Тверской и протягивал руку, выпрашивая у прохожих подаяния. Не повезло Василию Данилову с первого же раза. Прохожие, вместо того чтоб давать ему денежки и копейки, кричали на него: «Пошел вон! Экой срамник! Здоровый, молодой, а христарадничает! Работать еще горазд!» Нищая братья обошлась еще грубее со своим новым товарищем по ремеслу. «Проваливай, проваливай! — кричали они на него.— Не отбивай у нас хлеба!» Они толкали его с места на место и не допускали становиться там, где возможно было получить подаяние. У московских нищих было в обычае дорожить бойкими местами подобно тому, как дорожили такими же бойкими местами торгаши, когда приходилось становить лавки или шалаши. Василий Данилов оставил Тверскую улицу и перешел просить милостыню на Дмитровку, но и там с ним происходило то же, что на Тверской. Он перешел на Мясницкую — и там не удавалось. Прошло таким образом несколько дней; часов по пяти в сутки посвящал Василий Данилов этому ремеслу. Для других, как он замечал, оно доставляло средства пропитания, ему не везло: он не принес домой ни копейки.

ГЛАВА XIII

Василий Данилов испытал, что не может путем нищенства добыть себе необходимое на издержки для написания прошения о поступлении в службу; он увидал, что нет ему иного пути к достижению желаемого, как только стянуть у кого-нибудь! А тут, как на зло, разошлась между дворнею весть, будто господа собираются переезжать в Москву; говорили, что княгиня уже перебралась с Васильевского острова в свой прежний двор на Воскресенской перспективе и, чего доброго, захочет перенестись со всем гнездом в более старый двор своего рода в Москве. Государя Петра Великого на свете уже нет, и бояре, поневоле проживавшие в любимом им Петербурге, теперь не побоятся вернуться в белокаменную, где жили и умирали их деды и прадеды. Эти слухи встревожили Василия Данилова. Ему сейчас представился боярчонок Яков Петрович, что с таким удо-

вольствием бил холуя по сусалам чуть не каждый день; представился и другой боярчонок, князь Владимир Петрович, который без шуму, без крику так нещадно приказал отодрать при своих глазах холуя, что несчастный после того с месяц пролежал в больнице. Страшно становилось Василию Данилову, как только он воображал себе, что приедут господа в Москву; если бы даже ни тот ни другой из боярчонков не захотели брать к себе в услужение опального холопа, то холоп все-таки ни в каком случае не мог быть охранен от опасности: случится какое-нибудь воровство или иного рода худое дело во дворе — и тогда примутся без разведки за Василия Данилова, как за ведомого вора. Куда ни кинь, все клин! Василию Данилову много дурного приходилось ждать, оставаясь в холопстве! Одно только средство избавиться от грозящих бед казалось ему — воспользоваться законом, предоставлявшим холопям вступать в царскую службу,— и за чем остановка? Только за какою-нибудь полтиною! Украсть полтину... непременно украсть!.. У кого бы лучше украсть, как не у управителя! Но Василий Данилов не вхож в дом, где помещается управляющий. Думал, думал Василий, у кого бы украсть, и остановился на двух Семенах; они привезли Василия Данилова в Москву и теперь по боярской воле оставались в Москве, обманувшись в своих надеждах войти в милость своей боярыни. Семен Кривцов спал в особой избе, построенной собственно для холостых. Василий Данилов в числе многих других парней помещался там же. Он подметил, что Семен Кривцов носит в кармане своего кафтана кошелек; из этого кошелька не раз вынимал Семен деньги, а когда ложился спать, вешал свой кафтан подле себя на колку. Это подметил Василий, но не видал, чтоб Семен, ложась, вынимал из кармана свой кошелек; и сообразил Василий, что Семен Кривцов ночью оставляет кошелек в кармане своего кафтана. И вот ночью, когда уснули все холопи, помещавшиеся в этой избе, Василий Данилов вскочил, подошел без обуви к постели Семена, вынул из кармана кошелек, воротился с ним к своей кожаной подушке, потом тихонько вышел из избы. Раскрыв кошелек, при тусклом ночном полусвете увидал он там серебряный рубль и кучу мелких старинных денег и алтынников. Вынувши деньги, Василий вошел в избу: все спало мертвецким сном. Василий Данилов подошел босиком к постели Семена Кривцова и вложил в карман висячего кафтана опустошенный кошелек, а сам отправился на свое обычное место, как

ни в чем не бывало. Совесть холуя в этот раз успокаивалась тем, что Семен Кривцов был ему враг и наделал много зла: он открыл похищение образа, он подвел Василия к такой дерке, что заставила его полежать месяц в больнице, он наконец вместе со своим товарищем Семеном Плошкаревым в Питере и в Москве ославил его перед всею боярскою дворнею ведомым явленным вором!

Утром Семен Кривцов, надевая свой кафтан, заметил, что кошелек его стал что-то пуст, посмотрел и крикнул: «Братцы! Тут ночью у меня в кармане гости были и деньги взяли». Холуи, услышавши эти слова, загалдели, и тотчас явилось подозрение на Василия Данилова, как на ведомого вора: он ведь недаром по боярыниному приказу из Питера в Москву прислан за воровство. Василия Данилова в избе уже не было. Он поспешил выйти пораньше, как будто по дворовому боярскому делу, и принялся за какую-то работу. В избе толки о нем продолжались несколько минут, но так как Семен Кривцов не особенно был дорог для прочей холуйской компании, то скоро затихли. Семен Кривцов увидал, что эта честная компания не слишком горячо примется отстаивать его интересы и что ему самому придется обращаться к пособию управляющего домом, как главного начальника и распорядителя. Семен Плошкарев более всех других принял к сердцу дело своего товарища. Когда взошедшее солнце поднялось уже над горизонтом, Василий Данилов оставил свою дворовую работу, за которую принялся только для вида, и вышел со двора, чтобы приступить к давно задуманному им делу своего освобождения из-под холопской зависимости. Таскаясь в предшествовавшие дни с целью зашибить копейку нищенством, Василий Данилов узнал, что в Охотном ряду есть трактир, где всякое утро можно было встретить кого-нибудь из площадных подьячих, готовых тут же скропать какую угодно бумагу за приличное вознаграждение, с добавкою приличного же угощения. Трактир этот находился на том самом месте, где в настоящее время находится трактир Егорова. И тогда, как теперь, славился стоявший там трактир жирными блинами, привлекавшими охотников поесть сытненько; и тогда, как теперь, изгонялось оттуда проклятое зелье —«богомерзкая трава табака». Василий Данилов сразу встретил там такого человека, какого ему нужно было. То был подьячий, которого все знали в околотке. Василий Данилов, узнавши, кто он, подошел к нему и объявил свое желание, чтобы для него написать просьбу.

— Отчего не написать? — отвечал ему подьячий.— Можно, только надобно прежде поднести чарочку и блинцами покормить.

Василий Данилов тотчас приказал подать водки и блинов, налил себе и собеседнику по чарке и объявил, чтобы ему было написано прошение в канцелярию для свидетельства мужеского пола.

— Понимаем! — сказал подьячий.— Это дело не легкое для тебя и не такое скорое, чтобы его можно так скоро сделать, как на словах сказать. Ты, чай, крепостной холоп, не так ли?

— Да,— отвечал Василий Данилов.

— Я сразу угадал,— сказал с хвастливым видом подьячий,— я тертый калач! Сейчас смекну, кто только подойдет ко мне. Ты хочешь от своих господ тайком в царскую службу уйти. Оно, точно, законом дозволяется, и никто за это в суд потянуть тебя не посмеет, и поэтому сочинять, и писать, и набело переписывать такие прошения запрета нет, и твоим господам как бы ни досадно было, а прицепиться ко мне за то они не могут, зачем-де написал!.. А вот что только: коли узнают они, что ты вот собираешься подавать такое прошение, так они могут поднять против тебя головное дело, объявить, что, примером, ты украл что-нибудь, либо что другое противозаконное, так тебя в канцелярию не примут. А коли уж ты успеешь такое прошение подать и у тебя его примут, тогда уж господа на тебя головного иска не властны подать: хоть и подадут, а уж тебя из службы назад в господское холопство не повернут. Так вот и смекай теперь, в чем тут осторожность великую иметь надлежит: чтобы господа не проведали про твой умысел, и тебя не накрыли, и не заявили против тебя какого головного дела. Понимаешь?

— Понимаю,— отвечал холуй.

— А коли понимаешь,— продолжал подьячий,— так я тебе скажу, что такое прошение написать стоит три рубля, и коли не дашь, так я писать не стану.

— Дорого, почтенный,— говорит Василий Данилов.— Я человек бедный; у меня столько денег нет. Нельзя ли дешевле? Сделай милосердие, уступи: ей-Богу, столько денег нет. Не могу!

— Ну, пожалуй, я тебе сделаю уступку,— сказал подьячий,— дай два рубля!

— Не могу и двух,— сказал Василий Данилов.— Дал бы

с радостью, коли бы у меня столько денег было; а то, вот те крест, нету! Возьми четыре гривны!

— Что ты? Четыре гривны! — сказал подьячий.— Вишь, какой дешевый! Словно нищему — четыре гривны сулит!

— Что ж,— сказал Василий Данилов,— коли так дорожишься, я и сам напишу, я грамоте учился!

— Учился, да мало, и, верно, недоучился! — возразил подьячий.— Ты думаешь, как склады выучил, так и все можешь читать и писать. Нет, брат, постой. Прошение написать не безделица! При покойном царе новые образцы настали везде, все на иной лад писаться начало. Не знаючи, десять листов орленой бумаги испортишь, а не напишешь; и выйдет, что жалеешь двух рублей, а потратишь больше, чем на четыре. Тут наука хитрая. Десять лет надобно учиться, пока руку набьешь; да и то еще: пока ты напишешь, да подашь, а оно выйдет не так, тебя опять заставят писать; ты опять напишешь, а оно снова не так; а тут разнесется слух, дознаются господа твои да на тебя привод затеют. Вот труды твои пропали и дело твое не выгорело!

Вдруг за плечами Василия Данилова раздаются слова: «Ты в приводе. Ты украл деньги у Семена Кривцова!» Оглянулся Василий Данилов. Стоял управитель двора князей Долгоруковых, а с ним было четверо долгоруковских холопей; и два Семена были тут же. Подьячий сейчас встал со своего места и ушел, опасаясь, чтоб его не впутали в начинающееся дело и не поставили свидетелем. Василий Данилов, словно обваренный кипятком, не оправдывался, не защищался и безропотно отдался в руки холопей, которые, по приказанию управителя, подхватили его под руки. Трактирщик потребовал уплаты за водку и за блины. Василий Данилов машинально совал ему рубль, но Семен Кривцов вырвал из его рук этот рубль и, показывая управителю, произнес: «Ей-Богу, мой рубль. Был у меня в кошельке с мелочью. Прикажи, господин, обыскать его — найдешь и мою мелочь: алтынники, гривенники и деньги».

Управитель тотчас приказал холопям сунуть руки в карманы Василия Данилова. Из кармана вытащили мелкие монеты, украденные из кошелька Семена Кривцова.

Улики были достаточны для управителя. Василия Данилова повели двое Семенов за управителем по Охотному ряду к боярскому двору Долгоруковых. Толпы сновавших по Торговой улице с любопытством останавливались и приглядывались, как вели человека под руки. «Татишку, видно, поймали!» — говорили насчет Василия Данилова.

Привели Василия Данилова во двор и ввели в дом к управителю.

— Ты опять за прежнее взялся,— говорил ему управитель,— не покаялся! Мало, видно, тебе в Питере в шкуру задали. В Москве хотел еще прославиться! Да еще замыслил в царскую службу вступать, а от своих бояр отречись. Вот каков ты! Как будто воров в царской службе надобно! Теперь мы тебя уже не будем сечь, не станем ниже бранить, а пошлем на съезжий двор: там пусть с тобой за все расправятся — и за прежнее, и за нынешнее. Ведите его на съезжий двор к капитану Лазареву-Станищеву; отдадите ему мою записку, а в ней напишу я ему, что за гусь к нему присылается; он с ним что надобно учинит. Ты, Семен Кривцов, иди туда же.

Управляющий пошел в дом писать записку, а Василия Данилова оставил на крыльце вместе с холопями, что привели его из трактира. Преступник не говорил ни слова и стоял как вкопанный, повеся голову. Холопи только сторожили, чтоб он не дал тягу, но не озывались к нему. Так прошло несколько минут. Управитель вышел из комнат с написанной бумагой и отдал ее одному из холопей, примолвивши: «Идите!»

И теперь не промолвил ни слова Василий Данилов; повинуясь велению управляющего, он повернулся и сошел с крыльца. Семены вместе с ним пошли. Съезжий двор, куда следовало отвести преступника, находился на Тверской улице, на том месте, где теперь городская часть. Входя на съезжий двор, холопи встретили капитана Лазарева-Станищева: он ходил по двору с коротким чубуком в зубах и пушил за что-то свою команду. Семен Плошкарев подал ему записку своего управителя. Капитан пробежал глазами записку, взглянул значительно на Василия Данилова, не сказал ни слова, махнул рукою, указывая на съезжий дом, а потом снова принялся распекать свою команду. Василия Данилова ввели в просторную избу, уставленную нарами. Она была битком набита народом. Спустя минут пять вошел туда капитан Лазарев-Станищев. Прежде всех обратился он к Василию Данилову. «Ты,— крикнул он, прибавя при этом обычное непечатное словцо,— ведомый неисправимый вор!» И с этими словами Лазарев-Станищев свистнул Василия Данилова кулаком по физиономии так сильно, что холуй не устоял на ногах и опустился на землю. «Ведите его в темную!» — скомандовал капитан своим подчиненным. Полицейские служители

схватили преступника, вывели в сени и по лестнице, сходившей вниз, повели в подземелье.

Там, в коридоре, куда никогда не проникал солнечный свет, были устроены небольшие отделения или клетки с лежанками. Сюда сажали таких преступников, с которыми окончательная расправа не производилась на месте; съезжий двор только пересылал их в другое ведомство. Василий Данилов именно был из таких. Управитель дома князей Долгоруковых написал в записке капитану Лазареву-Станищеву, что отправляемый холоп — неисправимый вор, уже несколько раз попадался в татьбе и снова покусился на то же преступление. По приказанию своей госпожи он предавал преступника государственной власти, как подлежавшего казни, определенной за уголовные преступления. Его следовало наказать кнутом, вырвать ноздри и сослать в Рогервик на каторжную работу. С ним поступили таким образом именно потому, что он замышлял добровольно поступить в солдаты, как дозволено было холопям, не состоящим ни в каком приводе: помещица ничего бы за него не получила и теряла свою собственность, и если уж так, то пусть же строптивый холуй по суду потерпит наказание, хоть хвастать не будет, что провел своих господ и стал от них волен по своему хотению.

ГЛАВА XIV

Василия Данилова посадили в одну из клеток подземелья и заперли, оставив в совершенной тьме. Горько заплакал тогда несчастливец о своей горемычной судьбе; ничего ему не удавалось, за что только он ни принимался, что б только он ни затевал! Хотел он как-нибудь у господ в милость войти, к ворожее ходил, не удалось, господа его с той поры только бить пуще начали. Богу он молился, святой Екатерине-великомученице молебен служил, не подал ему Бог помощи, не сжалилась над ним святая Екатерина. Хотел он с дьяволом сойтись — и дьявол его надул! Хотел на царскую службу поступить — и тут не удалось. Куда он ни кидался — нигде ему не везло! И горько порыдавши, он наконец растянулся на лежанке, где не было подушки и под голову приходилось подмостить кулак. В таком положении бедный холуй уснул. Тут снится ему: приходит опять дьявол и говорит: «Ты меня кликал, а потом забыл меня и надо мною как будто надругался! Опять стал Богу молиться. А Бог разве помог тебе? Коли так будешь посту-

пать: то к Богу станешь прибегать, то меня кликать начнешь, так выйдет для тебя самое худое. Бог от тебя отступит за то, что ты врага божия кликал, а я, враг божий, тебе не дам помочи за то, что ты Богу молишься! А ты коли хочешь, чтоб я помогал тебе, так Богу не молись, поклонись мне, меня одного почитай и на меня одного надейся. Так я найду тебе средствие избавить тебя. Я в больнице являлся тебе и говорил — напиши донос на свою госпожу. А ты меня не послушал, вот и опять в беду попался. Подай донос! Объяви здесь, что есть за тобою дело и слово!» Василий Данилов проснулся и под впечатлением ужаса, возбужденного сновидением, стал креститься и говорить молитву. Последние несчастия, постигшие его после призывания дьявола, отбили у него веру в то, что дьявол может ему помочь, а исповедь и епитимья, наложенная на него отцом Андреем, еще более внушили ему расположение к раскаянью пред Богом. Он отплевывался и открещивался от мысли опять предаться наставлению дьявола, а такая мысль лезла ему в голову мимо собственной его воли. Он опять заплакал о своей горькой судьбе и, утомившись от плача, опять уснул. Тогда снова привиделось ему во сне: является дьявол и говорит ему: «Что ты Бога боишься? Что ты Богу веришь и на Бога надеешься? Разве ты ему не молился? Разве он помог тебе? Дурак ты, дурак! Попа Андрея слов испугался. А что тебе его слушать! Просил ты у него денег, разве он дал тебе? Ты не знаешь еще того, что этот поп тайно про тебя сказал управителю, что ты прошение хочешь подавать; это он, поп, тебе всю пакость учинил. Ты, дурак, ему по секрету сказал, а он твой секрет выдал через то, что управитель ему обещал давать подачки, если он станет ему объявлять про его дворню, что кто замышляет и что кто откроет попу на исповеди. У них, у попов, руки загребущие: везде возьмут, где взять удастся. Теперь вот ты через этого попа и в тюрьме сидишь. Не слушай же того, что там тебе этот поп врал, не делай так, как он тебе велел: не молись Богу, забудь совсем про Бога, что он на свете есть. Мне помолись, мне поклонись! Я тебя из беды выведу, я тебя в люди введу, и станет тебе на свете жить хорошо, только мне угождай. Закричи: «Слово и дело!» — тебя сейчас отсюда выведут, в Тайную поведут, там ты напишешь извет на свою госпожу: хотела, мол, околдовать царицу, приворотный корешок доставала; я, мол, сам слыхал, как она говорила про то с княгинею Федосьею Владимировною».

Опять проснулся Василий и в этот раз уже иначе отнесся к своему видению. «Вот два раза сряду является ко мне дьявол,— думал он,— это неспроста! Что же такое, что грех? Я боялся греха, Богу молился, хотел Богу угодить, Бога о милости к себе просил, а Бог мне не пособил. Теперь дьявол набивается. Пусть пособляет! Я сделаю так, как дьявол приказывает».

Василий Данилов долгое время лежал в раздумье. Сон опять стал клонить его. Но едва только он погрузился в дремоту,— ему еще казалось, что он не спит,— а дьявол опять перед ним и, кажется ему, стоит в человеческом образе и говорит: «Закричи: «Слово и дело!» Эй,— говорю я тебе! — закричи, а как приведут тебя — на госпожу извет напиши. Чего их жалеть, господ этих! Они вашу братью, холопей, не жалеют, так и вы их не жалейте!»

Проснулся Василий Данилов. Троекратное сновидение совершенно перевернуло ему мозг. Теперь уже никто не мог бы убедить несчастного холуя, что явление дьявола было не более как сонная греза. Нет, он крепко верил, что дьявол три раза приходил к нему и три раза приказывал одно и то же делать для избавления от постигшей его беды. Мрак, посреди которого находился бедный узник, распалял в нем воображение. Если бы Василий Данилов сидел при свете, окружавшие его предметы развлекали бы его думы; но тут, сколько ни открывал он глаза, сколько ни напрягал зрение,— ничего не встречало оно, кроме черной непроницаемой тьмы, и мысль неудержимо неслась туда, куда уже раз была натолкнута. Таким образом, в совершенной уверенности, что к нему приходил дьявол, Василий Данилов решился вполне отдаться под покровительство и руководство этого «господина дьявола»; не размышлял уже более Василий Данилов о том, что за существо этот господин дьявол: коварный ли это враг рода человеческого, как о нем говорят все люди, или это какой-то добрый друг, который хлопочет его, бедняка, вытащить из беды. После долгого раздумья решился Василий Данилов последовать наставлению и, вскочивши с лежанки, начал кричать изо всей силы, чтоб его услышали: «Гей! Ай! Гей!» На крик его, несколько раз повторенный, сторож, приставленный наблюдать над посаженными в подземелье, отпер дверь застенка, где сидел Василий Данилов, протянул вперед руку, державшую свечу в фонаре, и грубо спросил:

— Что орешь?

— Слово и дело! Я знаю слово и дело государево! — произнес Василий Данилов.

— Уже ночь! — сказал сторож.— Утром скажешь капитану, когда прикажет привести тебя к себе.— С этими словами сторож запер дверь.

Василий Данилов опять остался в непроницаемой тьме. Сколько прошло времени после того, он знать не мог, но ему показалось очень долго. Наконец двери его застенка отперлись, вошел сторож с фонарем в руке и сказал:

— Иди за мною!

Вышел Василий Данилов, и как только, повинуясь сторожу, он взошел из подземелья по лестнице в сени, явился капитан Лазарев-Станищев. Не обращаясь ни с одним словом к узнику, он приказал полицейским служителям надеть на узника холщовый мешок; этот мешок покрывал ему голову и весь корпус тела с руками; в мешке сделаны были отверстия для глаз и для дыхания. Когда наряд был окончен, капитан сказал служителям:

— Ведите в Преображенский!

Василия Данилова вывели на улицу. Одевавшие его служители шли подле него так близко, что едва не касались его тела; поодаль от них шло по шести других полицейских солдат с ружьями. Далеко, через всю Москву пришлось вести Василия Данилова; нищие, толпами стоявшие и сидевшие по улицам, вскакивали и убегали от него, даже такие, что прикидывались слепыми, теперь забывали свою роль и бежали опрометью, без опасности на что-нибудь наткнуться и упасть; безногие кидали свои деревяшки и улепетывали так, как будто прежде они были боярскими скороходами; купцы затворялись в своих лавках и шалашах; кто случайно шел напротив него по своему делу, сворачивал и перебегал на другую сторону улицы, а извозчики, шедшие с обозом, завидя вдали белеющее пугало, завертывали свой обоз в другую улицу и делали бесполезный крюк, лишь бы не попасться навстречу страшилищу. Ужасным чудовищем для москвичей было такое явление, хотя не очень редкое в то время. Тот, кого вели по улицам в таком наряде, напоминавшем наряд, в какой облекают приговоренных к повешанию, назывался в народе «язык». Все знали, что его ведут в Преображенский приказ, в «бедность», как прозвал народ это страшное судилище, а ведут затем, что он заявил за собою слово и дело государево. Все знали, что такого человека ожидает в приказе пытка, хотя бы он отнюдь не был обвиненный,

а обвинял кого-то другого; такой человек на все был готов: уж коли сам полез в такое место, не убоявшись того, что с ним там станется, тому не страшно будет оговорить всякого другого, хоть бы встречного-поперечного, хоть и такого, что его никогда в глаза не видал. После разберут; а пока разберут, все-таки потащат всякого в приказ, на кого только «язык» покажет! Говорили, в приказе делалось так: всякого, кого только туда приводили, был ли он кем другим оговорен, или сам являлся доносчиком на других,— всякого прежде всего непременно секли, не спрашивая ни о чем, а потом уже, когда его высекут, начинали допрашивать; за допросом, если приведенный не показывал себя ни в чем виноватым или путался в своем показании,— предавали его пытке; а про разные роды пыток в Преображенском приказе ходили такие страшные рассказы, что, слушая их, не только слабонервная женщина могла упасть в обморок, но и у крепкого мужчины поднимались дыбом волосы, когда только слушавший подумает, что с ним может статься то, о чем рассказывают. Эти рассказы были большею частью вымышлены, но иногда совпадали с действительностью, даже нередко случайно. Достоверных известий получить было трудно. Все дела в Преображенском приказе производились и сохранялись в глубочайшей тайне; кто имел счастье выходить оттуда целым, того при выходе обязывали соблюдать молчание насчет того, что с ним во время его пребывания в приказе говорили и делали; каждый, побывавши в этом приказе один раз, боялся попасть туда в другой: это равносильно было — попасть в ад, а нескромному рассказчику попасть в Преображенский приказ в другой раз было как нельзя легче, потому что разглашение государственных тайн считалось тяжелым преступлением, которое судилось в этом приказе. Поэтому слышать на самом деле кому-нибудь от очевидца про то, что делалось в приказе, почти никому не удавалось, хотя хвастливые рассказчики часто уверяли, будто слышали от очевидцев то, о чем сообщали приятелям по секрету.

Говорили даже, что оттуда никто на божий свет не ворочается: большая часть из тех, что туда попадутся, умирает от пыточных мучений или от дурного содержания, а уж коли найдется такой крепкий, что все вынесет и не за что будет приговорить его к смерти, того засаживают навеки в тюрьму. Внутри, в кремлевских башнях, устроены каменные мешки, где человеку невозможно ни прямо стоять, ни сидеть, ни лежать: кругло со всех сторон; вкинут

человека в такой мешок и запрут: сиди себе там на корточках, перекачиваясь беспрестанно, выходу оттуда никогда не будет, а сверху будут кидать заключенному по куску хлеба в день, чтоб не пропал с голода. Такие рассказы возбуждали повсеместный ужас, а попасть в Преображенский приказ всякому было возможно, как бы он чист и праведен ни был. Стоило только такому «языку», что вели по улице в холщовом мешке, оговорить кого-нибудь без всякой причины, оговоренному сейчас же надевали такой же мешок и вели в «бедность». Вот оттого-то и бежали по улицам от Василия Данилова, когда его вели в Преображенский приказ.

ГЛАВА XV

Привели Василия Данилова в Преображенскую слободу и остановились перед двумя деревянными большими домами, посреди которых были ворота. Полицейские со своим «языком» вошли в просторный двор. В глубине этого двора, за брусяною стеною, виднелись вершины больших деревьев.

Туда направили свой путь полицейские и вошли в калитку. Там был огород. В огороде росли липы, клены, березы; деревья эти были насажены так густо, что закрывали вид вперед. Пошли по этой роще и очутились перед каменным домом; он так неожиданно являлся приходящим, как будто с неба спускался или из-под земли выходил. Дом был в два яруса, оштукатурен белою краскою, покрыт зеленою черепицею. Снаружи он смотрел необыкновенно приветливо. Перед входом в него был разбит цветник, блиставший множеством прекрасных и пахучих цветов. Можно было бы ожидать здесь жилища какого-нибудь добрейшего и гостеприимнейшего хозяина, и никак нельзя было предположить, что здесь то именно страшное место, которого даже название боялись произносить русские люди. Недаром он был тайным судилищем: все в нем было укрыто от взоров толпы, и даже сам он скрывался так, что его никак нельзя было угадать посреди зелени и цветов. У главного входа над дверьми висел в деревянном большом киоте обложенный золотым окладом образ Спасителя, при котором теплилась неугасаемая лампада.

Полицейские вошли с Василием Даниловым в большие сени; с первого раза видно было, что сени эти были проходные: прямо против входа, куда вошли полицейские с «языком», на противоположной стороне был другой вход, из

полуотворенных дверей которого проникала в сени полоса солнечного света.

Мы не пойдем туда с нашим холуем, потому что его следует нам вести в другое место, но скажем для удовлетворения наших читателей, что там были построены погреба, или выхода, крытые сверху дерном с землею. Это были так называемые «сибирки»: туда засаживали преступников, судимых в Преображенском приказе. Перед сибирками было просторное место, где совершались казни. Так было во время стрелецкого розыска. Но в описываемое нами время там ничто не говорило о каких-нибудь карах, произведенных недавно; все орудия мучений были убраны и спрятаны в деревянном сарае позади сибирок. Но как герой нашего рассказа сюда не пойдет, то мы не станем распространяться о таинствах этого двора.

Василия Данилова остановили в сенях. Сторож, постоянно находившийся в этих сенях в качестве привратника, подошел к узкой каменной лестнице, ведущей в верхний этаж, и, не входя на лестницу, крикнул: «Слово и дело!» На этот крик сошел с лестницы в сени комиссар в форменном кафтане и сказал: «Князя нет! Уехал к себе на Моховую! Надобно подождать до завтра». Он вынул из кармана связку ключей, отыскал между ними тот, какой ему был нужен в данное время, и отпер им одну из дверей, которых было несколько в сенях. «Сюда!» — сказал он Василию Данилову и впустил его в отпертую дверь, а сам немедленно запер ее на ключ, потом потребовал промеморию от полицейского комиссара, при которой препровождался Василий Данилов, и ушел с полученною бумагою наверх, а через короткое время прислал сверху сторожа: тот принес и отдал полицейским служителям квитанцию в доставлении арестанта. Полицейские ушли восвояси.

Василий Данилов очутился в небольшой комнате, освещенной двумя окнами, снабженными решетками. В этой комнате не на чем было ни сесть, ни лечь. Кирпичный пол комнаты был завален множеством разного сора: видно было сразу, что давно уже никто не подметал этого угла.

Уставший от долгой проходки, Василий Данилов улегся на полу, а когда пришла ночь, заснул с верою и надеждою, что господин дьявол поможет ему по своему обещанию. Утром на другой день, проснувшись, услышал Василий Данилов шаги в сенях. Несколько раз они смолкали, потом снова раздавались. То собирались в приказ служащие на исправление обычной своей должности. Спустя несколько

времени отперлась и его комната. Вошло двое сторожей, сняли с него холщовый мешок, которого снять с себя он до сих пор не посмел, вывели в сени и повели по лестнице в верхний этаж.

За столами, покрытыми темно-зеленым сукном, сидели подьячие: канцелярист и копиисты. Тут была канцелярия Преображенского приказа. Против входной двери, куда вошел Василий Данилов, была другая дверь: верхняя половина ее состояла из стекол. Из этой двери вышел дьяк Преображенского приказа. Он подозвал к себе приведенного Василия Данилова и спросил:

— Ты человек княгини Анны Петровны Долгоруковой?

Получив утвердительный ответ, дьяк спросил:

— С каким словом и делом озвался ты? На кого?

— На мою госпожу! — отвечал Василий Данилов.

— В каком умысле? — спрашивал дьяк.— Что ты за нею знаешь?

— Намеревалась государыню извести дурным зельем,— отвечал Василий Данилов.

— Отрава? — спросил дьяк, делая серьезное лицо.

— Да,— отвечал Василий Данилов.

— Садись здесь,— сказал дьяк, указывая Василию место за столом.— Ты грамоте умеешь?

— Умею,— был ответ.

— И писать сможешь? — спросил дьяк.

— Смогу,— отвечал Василий Данилов.

— Вот тебе здесь бумага, перья и чернила. Пиши свой извет, в чем твое слово и дело государево. Все пиши, что знаешь, без утайки и без затеи, а лишнего, что к делу не идет, отнюдь не пиши. Слышишь? — прибавил дьяк тоном угрозы.

Дьяк ушел опять в ту дверь, откуда выходил, а Василий Данилов сел на указанное ему место, написал показание и, написавши, произнес: «Я окончил». Дали знать дьяку. Тот вошел снова в канцелярию, просмотрел написанное Василием и сказал:

— Припиши еще со слов моих так: «Сие все извещаю по истине, как перед самим всемогущим Богом и страшным судом его, что все написанное здесь я не затеял по злобе или по мщению». Написал?

— Написал,— произнес Василий Данилов.

— Тебя господа часто и больно бивали? — спросил дьяк.

— Бивали часто и больно,— произнес жалобно Василий.

— То-то я вижу, что бивали. Оттого-то и написал ты про свою госпожу такое,— сказал дьяк таким же жалобным голосом, и в этом голосе слышалась насмешка. Дьяк ушел в дверь со стеклами, в покой, где сидел боярин приказа.

Боярином этим был знаменитый в свое время князь Иван Федорович Ромодановский. Это был сын еще более чем он знаменитого князя Федора Юрьевича, которому Петр Великий дал шутовской титул князя-кесаря. Федор Юрьевич представлял лицо государя со всеми наружными признаками царского величия в торжественных сценических действиях, которые так любил устраивать Петр Великий; ту же роль играл Ромодановский и в пиршествах, и в разных церемониях, нередко имевших смысл насмешки над русскою стариною. Где мог являться царь с пышною обстановкою, но без действительной власти, там играл роль царя князь Федор Юрьевич. Настоящий государь проходил государственную службу по всем установленным степеням, заслуживал трудными подвигами чины, а возводим в эти чины был призрачным государем, князем Федором Юрьевичем. Вместе с тем князь Федор Юрьевич в течение двадцати лет был начальником Преображенского приказа и за свою жестокость прозван был «зверем»; сам Петр давал ему это прозвище. При таком качестве князь Федор Юрьевич был большой хлебосол, любитель пиров и забав. После его кончины все права, должности и титулы, по воле государя, перешли к его сыну. Князь Иван Федорович был похож на отца, и Петр, как рассказывали, замечая такое сходство, говаривал: «Князь Федор Юрьевич как будто не умирал!» Но при многих сходствах с родителем князь Иван Федорович представлял и черты, не похожие на характер князя Федора Юрьевича. Князь Иван Федорович, как и отец его, был большой приверженец старых обычаев, и в то же время, подобно своему родителю, был верным и покорным слугою государя, ненавидевшего и разрушавшего строй старых обычаев,— в этом сын походил на отца; но у князя Ивана Федоровича не было, с одной стороны, того отвращения к европейским нововведениям, какое при всяком удобном случае выказывал князь Федор Юрьевич, а с другой — не было у него и той ретивости, с какою покойный родитель его старался охранять царскую особу и честь престола от всяких внутренних супостатов. Никакое царское повеление не заставило бы князя Федора Юрьевича ввести в свой домашний обиход что-нибудь такое, чего не бывало в боярском домостроительстве с давне-

го времени; зато уж что бы ни приказал царь ему сделать со всяким другим за приверженность к старым обычаям,— князь Федор Юрьевич исполнит царскую волю без возражения, с усердием. Князь Иван Федорович, напротив, стал допускать в свой домашний обиход много европейского даже без особого царского приказания, единственно в силу повсеместно входивших обычаев: таким образом, князь Федор Юрьевич не пил никакой другой водки, кроме крепчайшей перцовки, которую в большом кубке каждому входящему к нему гостю подносил медведь, нарочно тому выученный; а князь Иван Федорович полюбил польскую старку, причем отцовский медведь не играл уже роли официанта. Князь Иван Федорович, начальствуя Преображенским приказом, хотя и поддерживал пытками и мучительствами страшную славу этого учреждения, но уже не с такою любовью относился к его судебной практике, как родитель. Князь Федор Юрьевич, бывало, с особенным своеобразным злорадством встречал каждого нового преступника; ему было как-то по душе допрашивать, подводить, путать и всячески мучить; когда он лично присутствовал при пытках, как великих, так и малых, всякая доставляла ему, сообразно своему значению, истинное наслаждение.

— Я,— говаривал он,— если какой день никого не помучу, так и не пообедаю со вкусом.

Его домашние и слуги замечали: коли князь весел, шутлив, ест и пьет с аппетитом,— это уж несомненный признак, что в Преображенском приказе был какой-нибудь необычный застенок, либо кого-нибудь долго и крепко пытали, либо разом многих пытали. Князь Иван Федорович такой любви к делам приказа не оказывал. Правда, он никому не давал спуска, когда приходилось пытать, но чаще сам лично не ходил в пыточную, а поручал надзор за работою заплечных мастеров своим подчиненным, да и приливу подсудимых в приказ он не радовался, как его родитель, напротив, был доволен, когда их какой-нибудь день не было. Впрочем, это происходило не оттого, чтоб ему было жалко людей, и не от сострадания к ним не любил он привода новых лиц. Он говорил обыкновенно так: «Черт бы их побрал! Коли б их меньше было, так отдохнуть бы можно было дома».

Князь Иван Федорович любил, подобно своему родителю, пиры, охоту с собаками и соколами и всякие иные забавы и тратил на это денег больше, чем его покойный

родитель, но не вдавался в забавы с таким жаром, как князь Федор Юрьевич. Больше всех пиршеств и забав любил князь Иван Федорович покой и сон. Поесть поплотнее, выпить пообильнее, да потом, после обеда, залечь часа на три спать, а вечером опять плотно поужинать с выпивкою, и потом также улечься на мягких перинах и спать непробудно до утра — вот для него был верх наслаждения! Он исполнял как возложенные на него царские дела, так и свои, боярские, с отцовскою аккуратностью, но без отцовской живости. На отца он был похож наружностью: такое же кругловидное лицо с выдавшимися вперед скулами, обросшими мясом, тот же средний рост, такая же перевалистая походка, но у него не было тех сверкающих маленьких глаз князя Федора Юрьевича, которые, казалось, прошивали человека насквозь. У князя Ивана Федоровича глаза были заплывшие, ленивые, полусонные.

Боярин, взяв от дьяка показание, посмотрел на него и, отдав снова дьяку, приказал читать перед собою вслух. Дьяк прочитал следующее:

«В нынешнем, 1725 г. в последних числах мая месяца, а которого числа подлинно не упомню, будучи я, Василий Данилов, в доме боярыни моей княгини Анны Петровны Долгоруковой, что в Питербурхе на Васильевском острову, был свидетелем: приехала к той боярыне моей княгине Анне Петровне княгиня Федосья Владимировна Голицына, и сели они на крыльце в красных креслах, а я стоял за дверью в комнате, и оные княгини вели меж себя разговоры, а о чем разговаривали, того не знаю, и в тех разговорах прислышал я, Василий. Говорила княгиня Анна Петровна: пришло-де ко мне из Голенд от сына моего, князя Сергея Петровича, письмо чтоб я-де оплатила долги его все вдруг или бы дала письмо в долгех его, чтоб заплатить на срок, и тогда-де оттуда скоро выедет, нонешний год, а не заплачу, и ему выехать не пустят, а возьмут под арест. И теперь мне взять негде, только я намерилась, чтоб сыскать такого человека, чтоб достал мне такой корешок, чтоб тем корешком ее величество государыню царицу приворотить, чтоб она, государыня, за моего сына долги заплатила. И после тех слов спустя дни три или четыре,— не помню,— оные две княгини сошедшися, позвала меня моя боярыня принесть квасу, и я принес квасу и слышал, как княгиня Анна говорила княгине Федосье: «Вот, что мы говорили с тобой про лекарство»,— и из сумочки вынула незнамо какой корешок красный с полвершка, отдала его той княгине

Федосье, и княгиня Федосья, посмотревши корешка, отдала его по-прежнему княгине Анне и спросила ее: «Через кого будешь давать?» А княгиня Анна сказала: «Надежа-де у меня есть на одного человека». А на кого у нее надежа, того я не узнал, оттого что она хоть сказала про кого-то княгине Федосье, только я того не услыхал, затем что тихо сказала, и поставил кувшин с квасом, а сам вышел прочь из светлицы».

— Это дело, видимо, пустое! — сказал боярин.— Только и его совсем нельзя оставить. Посечь изветчика, а как после того не снимет с себя своего слова, то списать с его показания копию и послать в Питер к Девиеру; пусть сделает допрос обеим этим княгиням. Позови ко мне изветчика.

Дьяк высунулся из двери и объявил в канцелярии, что боярин зовет к себе на глаза изветчика.

Впустили Василия Данилова. Князь Иван Федорович, не приподнимаясь со своего места, поднял голову, взглянул на вошедшего холуя и снова потупил глаза.

— Ты на своем извете стоять хочешь твердо?

— Твердо,— сказал Василий Данилов.

— Да не по злобе ли ты это затеял? — сказал князь Иван Федорович, не глядя на Василия Данилова.— Подлые люди везде готовы лихое учинить особам знатного шляхетства. Говори по сущей истине: не затейное ли дело твое?

— Поистине так было, как я написал,— произнес Василий Данилов.

— Ты из полицейской сюда прислан. Ты в полицейской заявил за собою слово и дело. Как ты попал в полицейскую? — спрашивал боярин.

— Управитель дома княжеского господ моих доставил меня в полицейскую,— отвечал Василий.

— За что? — спросил князь.

— За то, что я хотел подавать прошение в канцелярию для свидетельства мужеского пола душ. Хотел я в царскую службу поступить солдатом,— отвечал Василий Данилов.

— Комиссар полицейский пишет, что тебя за кражу прислали в полицейскую. В какой краже ты уличился? — спрашивал князь.

— Это на меня напрасно взвели. Я ничего не крал в своей жизни ни у своих господ, ни у чужих. Управитель услыхал, что я собираюсь на господ своих доложить. Оттого на меня разозлился. А я, думаючи довести умысел княгинин на государыню, по простоте своей боялся, чтоб

меня после не били и затем хотел в солдаты, чтоб господа надо мной уже никакой воли не брали. Моя боярыня проведала, что я слыхал про ее разговоры, и затем напрасно меня в покраже обвинила, велела больно высечь и после того в Москву отправила в свой двор,— рассказывал Василий.

— Ох, не врешь ли ты? — заметил князь.— Сперва ты сказал, что твоя боярыня хочет отравить государыню, а в писанном твоем показании говоришь про какой-то корешок, чтобы государыню на милость к себе приворотить. Вот уж ты и порознился.

— Я,— произнес Василий,— так сказал, думаючи, что отрава с приворотным корнем в одной силе. А что я писал, то все по сущей истине: готов присягу дать.

— Ты дашь присягу,— сказал князь.— Иди сюда.

Он указал на дверь позади себя.

Василий Данилов пошел в эту дверь. Князь Иван Федорович сказал дьяку:

— Учинить ему допрос с невеликим пристрастием. Дать пять ударов кнутом. При допросе будет Шабаев.

Дьяк направился в канцелярию и вызвал оттуда одного канцеляриста.

— Князь велел тебя нарядить к розыску над изветчиком. Пять! И речи его пыточные запишешь ты! — сказал дьяк Шабаеву.

Канцелярист ушел в ту дверь, куда прежде приказано было войти Василию Данилову.

Рядом с комнатою, где обыкновенно сидел начальник Преображенского приказа с товарищами, была довольно просторная комната, где совершались первые пытки, так называемый розыск с невеликим пристрастием. Всяк, кто только приходил в приказ, по своей ли воле, как изветчик, или был туда призываем по начавшемуся делу, непременно должен был побывать в этой комнате. Всякий доносчик, написавши или продиктовавши свое показание, подвергался там нескольким ударам кнута, после чего должен был или подтвердить прежнее показание, или чем-нибудь дополнить и изменить его. Без этого нельзя было начинать дела. Предполагалось, что донос мог быть ложен, и чтоб узнать, справедлив ли он, нужным считалось пристрастить доносителя. Обыкновенно род первой такой пытки был кнут, и отсюда составилась пословица: «Доносчику первый кнут!» Так буквально исполнялось почти всегда, особенно когда доносчик был из подлых людей; освобождались от

этого лица шляхетные, да и то, если они почему-нибудь приобрели к себе доверие и внимание.

В комнате, куда вошел Василий Данилов и куда за ним последовал канцелярист Шабаев, на каменном полу вокруг стен стояли шкафы, там сохранялись разные орудия. Посредине сделана была виска с цепями и веревками вроде качелей. Заплечный мастер в красной рубахе и черном кафтане, надетом сверх этой рубахи, стоял уже там. Он жил в здании приказа и обязан был каждый день утром являться на свою службу в эту комнату и быть всегда готовым к исполнению своей обязанности. Он стоял у самой виски. Близ него на полу лежал кнут, его обычное орудие.

— Скидай кафтан и клади на землю! — сказал Шабаев Василию Данилову.

— Помилуйте! Бога ради, помилуйте! — завопил Василий Данилов.— За что же? Ей-Богу, я истинную правду написал, ни в чем не солгал.

— Так вот и надобно узнать: правду ли ты сказал,— возразил ему Шабаев.— Скидай кафтан, говорю я тебе!

— Помилуйте! — вопил Василий Данилов.

— Палач! Сорви с него кафтан! Слушай ты, холоп. Скидай, а то, коли палач сорвет, так и кафтан пропадет: ему достанется! — произнес Шабаев.

— Боже мой! Боже мой! — рыдая, говорил Василий.— Да что ж это такое? Били, били господа, и тут еще бить будут!

Он снял с себя кафтан.

— Били, верно, за то, чтоб не воровал,— говорил Шабаев,— да, видно, все мало били, коли нам приходится тебя учить!

Василий Данилов, по приказанию, снял за кафтаном и камзол.

— Спусти рубаху! — сказал ему канцелярист.

Василий Данилов спустил до половины рубаху. На спине открылись рубцы, оставшиеся следами от тех побоев, которые холуй вынес в конюшне княгини на Васильевском острову.

— О, тебя таки учили порядком! — заметил, усмехнувшись, канцелярист.

— Да еще как! — жалобно проговорил Василий Данилов.— С месяц после того в больнице пролежал!

— И еще, пожалуй, пролежишь,— сказал канцеля-

рист.— Ну, да это твое дело, а не мое. Палач! Вдень ему руки в кольцо и прицепи!

Палач продел обе руки Василия Данилова в висячие медные кольца и прикрепил их крючком, вкидывавшимся в петельку.

— Начинай! — сказал палачу канцелярист.

Палач ударил холуя по спине кнутом, состоявшим из тонкого ремешка, обмазанного смолою.

Василий Данилов жалобно вскрикнул.

— Стоишь ли твердо на своем показании? — спросил его Шабаев.

— Стою! — пролепетал холуй.

— Палач! Еще удар! — сказал канцелярист и после удара спросил: — Стоишь ли на прежнем показании?

— Ох, стою! — вскрикнул Василий Данилов.

Кровь брызнула со спины.

— Палач! Третий удар! — сказал канцелярист.

После третьего удара он снова повторил прежний вопрос пытаемому.

— Батюшки! Помилуйте! — завопил Василий Данилов.— Всю правду скажу!

— Вот оно что! Правдиво говорит: «Кнут не ангел, души не вынет из тела, а правду выжмет!» Сними его, палач! — сказал Шабаев.

Палач освободил руки Василия. Здесь же близ виски стоял стол: на нем была чернильница и бумага. Шабаев сел и спросил Василия Данилова.

— Говори, что изменяешь в первом своем показании.

Василий Данилов, подведенный палачом к столу, сказал:

— Что я написал, будто слышал про разговор княгини Анны с княгинею Федосьею на крыльце, то было так, а что в светлице, то я забыл и теперь припомнил: там не княгиня Федосья была, а колдунья-калмычка, что живет в Татарской слободе и ворожбою занимается. Боярыня моя посылала за нею свою боярскую боярыню Мавру Тимофеевну, и та привела ее в двор ко княгине, и я видал, как эта калмычка ей, княгине, тот корешок подала, а я в те поры приносил кувшин с квасом княгине.

Канцелярист, оставив Василия в пыточной, понес снятое с него показание князю Ивану Федоровичу.

Прочитавши это добавочное показание, князь Иван Федорович сказал:

— Еще три удара.

Канцелярист вошел в пыточную. Василий Данилов с окровавленною спиною стоял, еще не одевшись.

— Привязывай его снова, палач! — сказал Шабаев.

Василий Данилов завопил, зарыдал и упал к ногам канцеляриста.

— Батюшки светы! Помилосердуйте!

— Что ж? Разве это моя воля? Дурак этакой! — произнес Шабаев и снова приказал палачу привязывать Василия Данилова.

Приказание было исполнено при раздирающих криках и воплях несчастного холуя.

— Начинай, палач! — произнес канцелярист.

Палач дал один удар. Канцелярист спрашивал:

— Стоишь ли на втором показании?

— Стою! — кричал Василий Данилов.

— Стоишь ли на втором показании? — произнес снова канцелярист после того, как, по его приказанию, палач отвесил еще удар.

— Стою на своем! Батюшки, помилосердуйте!

— Палач, стегни его теперь посильнее! — сказал канцелярист.

Палач ударил холуя в третий раз. Кровь полилась ручьем.

— Стоишь ли твердо на своем втором показании? — еще раз провозгласил канцелярист.

— Стою! Батюшки, отцы родные, сжальтесь! — вскрикнул Василий Данилов.

Канцелярист сказал палачу:

— Снимите его с колец. Довольно. А ты можешь теперь одеваться,— прибавил он Василию Данилову и пошел к князю Ивану Федоровичу.

— Остался при втором показании,— сказал Шабаев.

Князь Иван Федорович произнес:

— На поруки выпустить его нельзя, оттого что он в показаниях своих порознился, а в сибирку засадить тоже нельзя, потому что он в приводе по воровству какому-нибудь у нас не был. Заковать его, и послать в Панкратьевскую слободу к посадскому человеку Федьке Зюзе, и приставить к нему караульного, а с его показаний списать копию и послать в Питер с промемориею к Девиеру.

Канцелярист Шабаев ушел в пыточную, отпер один из шкафов, достал оттуда ручные и ножные кандалы и приказал палачу заковать Василия Данилова.

Тяжелые ручные и ножные кандалы запирались висячи-

ми замками. Палач исполнил приказание. Тогда Шабаев велел следовать Василию Данилову за собою и вывел его из пыточной другой дверью на внутренний двор приказа, где были построены сибирки. Там же была караульня. Шабаев вызвал двух солдат и приказал им отвести колодника по назначению боярина к Федору Зюзе.

ГЛАВА XVI

— Имеете ли вы настолько доверия к вашему покорному и доброжелательному слуге,— начал Девиер, обращаясь к княгине,— что будете откровенно отвечать на вопросы, касающиеся близко к вашему вышереченному делу?

— Конечно,— сказала княгиня.

— Извините и простите,— сказал Девиер,— если я сделаю вам вопрос, который может показаться слишком смелым. Вы изволили сказывать, что говорили о вашем желании просить государыню об уплате долга вашего сына князю Василию Лукичу Долгорукову. Не изволили ли обращаться еще к кому-нибудь иному о том же деле, кроме князя Василия Лукича?

— Нет, граф, ни к кому не обращалась,— сказала княгиня, на которую втайне от такого вопроса находил невольно неопределенный страх.

— Решительно ни к кому? — допрашивал ее Девиер.

— Решительно ни к кому,— произнесла княгиня.

Тогда Девиер покачал головою и начал такую речь:

— Скажите, как люди склонны к выдумкам! Удивительно! Воображаю, как вы изумитесь, услышавши от меня то, что я сообщу вам сейчас под глубоким секретом. Я, впрочем, не стал бы говорить об этом, если бы наперед не испросил вашего разрешения и вы бы не дозволили мне быть с вами вполне откровенным. По этому дозволению, надеюсь, вы не рассердитесь на меня. Представьте, княгиня: говорят, будто ваше сиятельство обращались к какой-то женщине из подлого звания и хлопотали, как бы через нее достать какой-то приворотный корешок и силою того корешка приворожить к себе на милость государыню императрицу, чтобы она заплатила долг вашего сына! Я, разумеется, этой басне ни на минуту не поверил: как таки можно, чтобы такая известная умом и воспитанием госпожа знатного рода стала прибегать к подобным суевериям, свойственным подлому народу! Не изволили слыхать такой сплетки про себя, ваше сиятельство?

Девиер, оканчивая свою речь, улыбался, а между тем внимательно всматривался в черты лица княгини, и от его проницательной наблюдательности не ускользнули выступавшие на лице княгини то краска, то бледность.

Но княгиня сдержалась. Теперь только пришла ей в голову мысль, что призыв ее к генерал-полицмейстеру возник по поводу ее сношений с калмычкою, но как Девиер, намекнувши о какой-то женщине из подлого звания, не показал вида, что ему было известно, что это за женщина, то княгиня сочла благоразумным притвориться, что не понимает слов, обращенных к ней, и показала вид, какой обыкновенно показывают люди, когда в первый раз слышат такое, в чем их хотят обличить.

Девиер сказал яснее:

— Говорят, будто ваше сиятельство призывали к себе в дом для этой цели женщину-калмычку, живущую в Татарской слободе и известную в подлом народе своим занятием по части гаданий, ворожбы и всяких волшебствований.

— Ах, граф, я теперь понимаю, что это значит! — сказала тогда княгиня Анна Петровна.— Изволите видеть: был у меня холоп, приставленный мною к моему сыну князю Якову. Он украл сорочку моего сына, а другие слуги донесли мне, что этот мерзавец вор собирался идти к колдунье-калмычке в Татарскую слободу. Я сообразила, что сорочка украдена с той целью, чтобы нести ее к этой колдунье, и послала к ней свою женщину, приказывая позвать ее, эту колдунью, ко мне; я хотела узнать от ней, точно ли у ней сорочка моего сына. Калмычка у меня была и сказала, что холоп мой точно у ней был и приносил сорочку, просил на эту сорочку наколдовать и сделать так, чтобы господин его любил; только калмычка от него той сорочки, говорит, не приняла и от себя его прогнала. Вот за этим делом была у меня эта калмычка. А таких разговоров, чтобы доставать приворотный корешок да этим корешком привораживать к себе в милость государыню, у меня с этой калмычкой не было. Она рассказала мне про моего холопа да и пошла себе. Только я ее и видала. Больше того не видала ни разу и не звала ни за чем. А холопа этого, негодяя, тогда же наказали за то, что к колдунье ходил.

— Как уж там наказали! — произнес добродушно-насмешливым тоном Девиер.— По-дамски наказали. Вот как бы вы его к нам, в нашу канцелярию, прислали, так бы мы его так наказали, что пролежал бы в больнице дней десять.

— Негодяй не покаялся,— рассказывала княгиня,— снова стал воровать; украл у меня образ, да воровство его скоро за ним объявилось; он говорил, что образ этот задал какому-то поповичу-серебряку, а тот попович, когда мы посылали к нему людей, сказал, что никакого образа не брал и моего холопа в глаза не видывал; так я приказала высечь его посильнее и велела отправить его в Москву. А сегодня я получила от моего управляющего из Москвы известие, что этот негодный и там заворовался и управляющий отправил его наказать на съезжий двор, а негодяй, устрашась, видно, полицейских батогов, закричал «слово и дело», и его отвели в Преображенский приказ.

— Вы, княгиня,— говорил ей Девиер,— не извольте ни о чем о таковом беспокоиться. Никакому негодяю веры никакой не дадут. А я вашего сына дело приму к сердцу, как бы своего родного детища, и буду стараться, насколько сил у меня станет. По крайности, успею ли я или не успею — то Богу известно, но надеюсь, что ваше сиятельство оцените мои старания не по той мере, в какой они будут успешны, а по той, насколько моего благожелательства к вам есть и будет.

Княгиня сказала:

— У меня, граф, слов никак не хватает на благодарность за вашу милость ко мне, бедной вдове. Только я опасаюсь, граф, не повредят ли мне клеветы, которые про меня распустили какие-то шельмы? Я подозреваю, граф, что это все дело этого холопа, про которого я вам докладывала: по злобе на меня за то, что за его дурные дела я велела наказать его, он готов на меня такую небылицу наплесть...

— Я это все понимаю,— сказал Девиер.— Неужели вы думаете, у нас так ведется: коли какой вор затейно на кого-нибудь что выдумает, так по его словам начнут сейчас к честным людям прицепляться? Не первый год, кажется, полицейское дело ведем. Вас смутило то, что вы про себя клеветы услыхали? Понятно! Клеветы такое свойство и такой форс в себе замыкают, что весь свет облетят, а последний о них узнает тот, на кого они были направлены. Не удивительно, что и вы прежде о том ничего не слыхали, что про вас злодеи сочиняли ваши. Я говорю вам, не извольте нимало беспокоиться. Я вас спросил, чтобы знать, откуда все это пошло, а теперь с меня довольно, я знаю. Клеветы на вас не помешают мне вести ваше дело: с меня этого и довольно. А у вас, княгиня,— начал, помолчавши

немного, Девиер,— кроме князя Сергея Петровича, что пребывает за границею, еще сколько сыновей?

— При мне живут двое,— отвечала княгиня,— князь Яков Петрович да князь Владимир Петрович. Князь Владимир служит в кавалергардской собственной ее величества государыни императрицы роте.

— А князь Яков Петрович также где-нибудь состоит на службе? — спросил Девиер.

— Нет, граф,— отвечала княгиня.— Этот сын, сама не знаю, как сказать, Богом он обижен немного, что ли! Добродушный такой, как ангел, только памяти у него как-то немного. Учили его, учили... он вот, кажись, и прилежно учится и старается, да ничему выучиться не может. Ни к наукам, ни к иностранным диалектам у него нет ни способности, ни большой охоты. Немца и француза нанимали; денег много ухлопали, а все напрасно — никак не выучится! Так и думаю, пусть уж дома сидит, хозяином будет!

— Оно и это дело хорошее,— сказал Девиер.— Однако я так думаю: отчего не попробовать, может быть, к какой-нибудь службе он и пригодится? Много есть таких мест на службе, что большой науки не требуется и дела много не нужно, а все-таки чины получать можно. Теперь уж такой строгости не будет, как при покойнике государе было. Теперь все-таки милостивее и вольготнее станет благородным людям.

Поговоривши еще о том, о другом, об имениях покойного мужа княгини, о ее собственных имениях и о прочем, Девиер узнал вполне сидевшую перед ним госпожу и понял ее настолько, насколько ему нужным казалось понять ее в данное время. Он отпустил ее от себя с новыми увесистыми заверениями в неизменной, всегдашней своей готовности быть по первому ее желанию во всем и везде к ее услугам.

Княгиня, ехавшая к генерал-полицмейстеру с тайною боязнью, возвращалась совершенно очарованная его любезностью и добродушием. Приехавши в свой дом на Воскресенской перспективе, первым делом ее было позвать свою доверенную боярскую боярыню Мавру Тимофеевну и с нею поделиться приятными впечатлениями нового знакомства с человеком, так много обещавшим ей сделать добра. Но каково было удивление княгини Анны Петровны, когда она узнала, что Мавры Тимофеевны нет во дворе, что за несколько минут до возвращения княгини Мавру Тимофеевну

увели неизвестно куда двое полицейских служителей. За что и как это произошло, никто из дворни не мог боярыне объяснить. Было дело так: дожидаясь возвращения своей боярыни, Мавра Тимофеевна побежала в людскую избу приказать что-то, и когда вышла из людской с тем, чтоб идти обратно в боярский дом, где постоянно находилась и днем и ночью, вдруг перерезывают ей путь к дому двое полицейских, говорят ей что-то, потом — она идет впереди их к воротам и все трое исчезают из глаз смотревших на эту сцену из окна людской холопей; только это и могли они теперь сообщить своей боярыне о Мавре Тимофеевне!

Княгиня Анна Петровна всплеснула руками, когда услышала такую нежданную весть. Только теперь стало в ее голове проясняться и она уразумевала, что Девиер не ради одной любезности приглашал ее к себе. Есть, конечно, какой-то донос на нее; затевается на ее голову что-то недоброе, все из-за этого корешка, который хотела она иметь и которого никогда не держала в руках и даже не видала. Что ж это такое? Откуда это? От какого врага тайного? От Васьки? Да, управляющий писал, что Васька на съезжем дворе объявил за собою «слово и дело»! Верно, он! Но если это от Васьки, то от кого мог Васька узнать о корешке? От калмычки? Но отчего калмычка не дала ей, боярыне, корешка: стало быть, побоялась? А коли побоялась, то как же не побоится она рассказывать холую? Для чего? Для того ли, чтоб этот холуй донес на боярыню? Так не лучше ли было калмычке донести самой? А может быть, это она и донесла, а на Ваську только подозрение! Может быть, «слово и дело», что объявил за собою Васька, совсем не касаются корешка? Да так, видно, оно и есть! Непременно это дело проклятой этой яги, калмычки! Оттого-то и Мавру Тимофеевну потащили полицейские! Верно, калмычка сказала, что к ней за корешком приходила Мавра Тимофеевна, и теперь Мавру Тимофеевну затем взяли в полицейскую, что там калмычка будет ее уличать. Однако как это калмычка прежде не донесла? Больше месяца тому прошло, ведь за это самой калмычке может достаться: зачем-де прежде не донесла? А Мавра Тимофеевна как то будет вести себя перед полицейскою властью? Ох, она трусиха, большая трусиха! Верна-то она своей боярыне верна, да глуповата как холопка! Так раздумывала себе княгиня на все лады, силясь понять то, что происходило вокруг нее.

Тем временем Мавра Тимофеевна сидела уже в полиц-

мейстерской канцелярии под замком, а перед вечером позвали ее к генерал-полицмейстеру, который так галантерейно беседовал с ее боярыней. Теперь настал черед и для боярской боярыни.

Когда ее ввели в ту комнату, где незадолго до того Девиер наговорил княгине Анне Петровне столько хороших обещаний, генерал-полицмейстер стоял посреди комнаты, обмерил входившую глазами с головы до ног, потом спросил:

— Тебя посылала твоя боярыня за корешком в Татарскую слободу к колдунье-калмычке?

Такой вопрос сразу ошеломил Мавру Тимофеевну. Он был как нельзя верен: Мавра Тимофеевна сейчас вспомнила, как происходило то, о чем ее спрашивали; ей показалось, что тот, кто ее спрашивает, уже знает, как происходило дело: это представлялось ей вне всякого сомнения, и теперь запираться и бесполезно и страшно. Второпях, в испуге Мавра Тимофеевна почти против собственной воли произнесла:

— Меня!

Девиер понял, какого рода птичка попалась в его сетку. Он спросил:

— Ты принесла корешок, или калмычка с тобою пришла, или после калмычка принесла?

Тут Мавра Тимофеевна поняла, что генерал-полицмейстер не знает доподлинно, как дело происходило, и она напрасно испугалась и созналась, что ходила за корешком. Мавра Тимофеевна задумала теперь выпутываться из тенет, в которые нечаянно запуталась. Она говорила теперь:

— Ваше сиятельство, я ходила звать калмычку к моей боярыне ради того, что холоп наш Василий Данилов занес к ней сорочку нашего молодого боярина князя Якова Петровича. Я ходила узнать, правда ли это, и позвала ее к своей госпоже, чтоб она сама княгине объяснила; и калмычка со мною пришла к нам и сказала княгине, что Василий точно к ней приносил сорочку, только она той сорочки от него не взяла.

— А потом зачем в другой раз ты к ней ходила? — спрашивал Девиер, догадавшийся по соображению, что если княгиня имела намерение добыть себе корешок, то не ограничилась одним разом свидания с калмычкою.— А! Зачем в другой раз ходила? Говори правду, я все знаю; сознавайся, а иначе будет худо.

Он так грозно посмотрел на Мавру Тимофеевну, что та обомлела и упала на колени.

— Помилосердуй, батюшка, отец родной, ваше сиятельство! — завопила она.— Мы люди подневольные, должны делать то, что нам господа велят! Разве можем знать мы, что у наших господ на мыслях? Что нам велят, то мы и делаем, куда посылают, мы туда идем!

— Правда, правда твоя, добрая женщина! — сказал Девиер, внезапно изменивши прежний грозный тон речи на ласковый и приветливый.— Вижу тебя с первого раза: ты умная и рассудительная женщина! Конечно, как вашему холопскому званию знать то, что ваши господа затевают? Куда вас посылают, вы туда идете. Скажи же мне без всякой утайки, все скажи! Госпоже своей ты верно служила, и за это я тебя очень похвалю. Но как над тобой есть госпожа, что может сделать над тобою все, что захочет, так и над твоей госпожой есть такая же госпожа — государыня царица! Знаешь ли ты это?

— Как же, знаю, ваше сиятельство! — сказала Мавра Тимофеевна.

— А коли знаешь,— сказал Девиер,— так и смекни своим умом. Я от царицы приставлен, и когда тебя спрашиваю, так не от себя, от ней самой: это все равно как бы сама государыня тебя спрашивала. Говори всю правду: зачем ходила ты от своей госпожи к этой калмычке?

— Я уже сказала, ваше сиятельство, что наш холоп украл у молодого боярина сорочку, говорили, будто он ту сорочку занес к этой колдунье...— начала было Мавра Тимофеевна, но генерал-полицмейстер перебил ее и сказал:

— Это ты первый раз ходила. Да. Я слыхал уже от тебя. Ты мне скажи: зачем в другой-то раз посылали тебя к колдунье?

Девиер с такою твердостью делал свой вопрос и при этом так сморщил брови, что Мавре Тимофеевне опять показалось, что генерал уже знает все и отлыгаться нельзя перед ним. Опять одолел ее страх, и, как всегда бывает с людьми трусливого десятка, она думала поскорее выгородить себя, не заботясь о других. Она произнесла:

— Я не знаю, зачем нужно было моей боярыне эту калмычку. Я, ваше сиятельство, не смела спрашивать свою госпожу об этом.

— Ты уже сказала, что за корешком ходила,— заметил Девиер.

— Я второпях не разобрала, о чем изволите спрашивать, ваше сиятельство,— сказала Мавра Тимофеевна.

— Когда ты в другой раз ходила к калмычке, что приказывала твоя боярыня сказать ей? — спрашивал Девиер.

— Велела сказать калмычке, чтоб та пришла к ней,— отвечала Мавра Тимофеевна.

— А больше ничего? — спрашивал Девиер.

— Больше ничего, ваше сиятельство,— отвечала Мавра Тимофеевна.

— Не говорила разве тебе княгиня, чтоб калмычка принесла ей обещанный корешок? — был дан вопрос.

Мавру Тимофеевну словно кипятком облило. «Он все знает!» — подумала она в страхе и, совершенно смешавшись, говорила:

— Я не знаю, ваше сиятельство, мы люди простые, подневольные, почем нам знать... Может быть, и корешок... я не знаю, ваше сиятельство.

— Я тебя спрашиваю,— продолжал генерал-полицмейстер,— говорила твоя боярыня, чтоб ты сказала калмычке, чтоб она принесла к ней обещанный корешок? Я знаю, что ты женщина подневольная и могла не знать, зачем боярыне твоей нужен корешок, а ты скажи мне только: приказывала тебе княгиня потребовать от калмычки какой-то корешок?

— Я не знаю корешка и не видала,— отвечала Мавра Тимофеевна.

— Верю, верю, матушка, что ты не видала и не знаешь, что это был за корешок,— сказал Девиер.— Да я тебя не о том спрашиваю: видала ли ты его или знаешь что про него; а я тебя спрашиваю: посылала ли тебя княгиня к калмычке за каким-то корешком?

— Нет, ваше сиятельство, я ходила за сорочкой,— говорила запинаясь Мавра Тимофеевна. И опять стала рассказывать уже прежде сообщенную историю о похищении сорочки Василием Даниловым. Девиер прервал ее:

— Это ты уже говорила. Первый раз ты ходила к калмычке за сорочкой. Это уж мы знаем. Ну, а второй раз зачем ты ходила к ней после того, как она побывала у твоей госпожи?

— Я не могу знать, зачем боярыне нужно ее было,— сказала Мавра Тимофеевна.

— Ты звать ее ходила к княгине? — спросил Девиер.

— Точно так! — сказала Мавра Тримофеевна.— Я не могу знать господской воли!

— Что ж, колдунья по твоему зову приходила к твоей боярыне? — допрашивал Девиер.

— Нет, не приходила,— отвечала Мавра Тимофеевна.

— Сказала, что придет,— отвечала Мавра Тимофеевна.

— И приходила? — произнес допроситель.

— Нет, не приходила,— был ответ.

— Обманула? Сказала — придет и не пришла? Так, что ли? — допрашивал Девиер.

— Да,— был ответ.

— А ты к ней снова ходила? — был дан вопрос.

— Ходила,— последовал ответ.

— Зачем? — спрашивал Девиер.

— Чтоб к моей боярыне пришла,— сказала Мавра Тимофеевна.

— Этот раз она приходила?

— Нет, сказала — не придет!

— Почему сказала — не придет? — был вопрос.

— Не знаю,— последовал ответ.

— А про корешок будто не знаешь? Так-таки будто княгиня ничего тебе про него и не сказала? Говори-ко лучше правду,— спрашивал Девиер.

— Правду говорю вашему сиятельству. Я не знаю. Как мне, холопке, зна́ть госпожи своей мысли, что у ней на уме! — твердила Мавра Тимофеевна.

— Как тебя зовут по имени, по отчеству? — спросил неожиданно Девиер.

— Мавра Тимофеевна,— отвечала женщина.

— Слушай, Мавра Тимофеевна,— сказал Девиер,— я ведь старый воробей — меня ты не проведешь. Я вижу, что ты хочешь от меня отбояриться и отолгаться. Напрасно. Я тебя, Мавра Тимофеевна, всю насквозь вижу. Говори правду, отвечай на мой вопрос прямо; не увертывайся. А не то я прикажу тебя огоньком поджарить!

— Ваше сиятельство! — завопила боярская боярыня.— Помилосердуйте! Чем я виновата! Мы люди подневольные. Разве можем знать мы, холопи, что думают делать наши господа!

— Обдумай, Мавра Тимофеевна,— сказал Девиер,— я даю тебе время. Спустя недолго я опять позову тебя и наперед говорю тебе решительно: если не станешь гово́рить прямо и давать искренние ответы на мои вопросы, прикажу пытать огнем. Уведите ее! — крикнул Девиер за дверь.

Явились двое полицейских служителей, стоявших наго-

тове за дверьми. Они увели Мавру Тимофеевну и, проведя по коридорам полицейской канцелярии, не ведомым никому, кроме тех, которые никогда бы не хотели их ведать, привели в небольшую комнату и оставили одну. Мавра Тимофеевна была как в чаду, вспоминала, что у ней спрашивали, с трудом припоминала, что она отвечала, и поверяла себя, не проговорилась ли она как-нибудь невольно. Ее схватили во дворе княгини совершенно неприготовленную: она не знала, зачем и к кому ведут ее, спрашивала у своих спутников, а те молчали как немые. Все вопросы Девиера посыпались на нее как снег на голову, по русской пословице. Теперь ей дали короткий срок подумать и обещали огненную муку, если она по-прежнему будет запираться и отлынивать от прямых ответов. Стала Мавра Тимофеевна придумывать, как бы ей сочинить такие ответы, чтоб и себя выгородить и госпожу свою не подвести,— и ничего не могла придумать. Страх ожидаемой и обещанной пытки огнем поражал ее и уничтожал в ней всякую способность мыслить и выискивать способы к защите. Ей, однако, не пришло в голову, что она уже сделала неисправимую ошибку, сказавши, что княгиня посылала ее к калмычке в другой и третий раз. По своей простоте она не видала здесь беды, считая долгом только не открыть ничего насчет корешка, которого княгиня добивалась от колдуньи. Неопытная в такого рода допросах, не могла она сообразить, что должно было быть известным Девиеру и что оставалось ему закрытым, и оттого попадалась впросак.

Между тем к Девиеру, тотчас после ухода Мавры Тимофеевны, привели калмычку, которая уже несколько часов сидела взаперти в полицейской канцелярии. Калмычка вошла в кабинет генерал-полицмейстера в страшном испуге. Смертная бледность покрывала ее лицо. Девиер всегда любил принимать искусственные постановки, чтоб сделать внушение на того, кого допрашивал, и всегда делал это, смотря по лицу, которое к нему приводили. На этот раз, когда калмычка входила, Девиер ходил большими шагами по комнате, заложа руки в карманы, как будто что-то обдумывая и показывая вид, будто не замечает никого в то мгновение, как входившая калмычка поклонилась ему. Потом, как будто неожиданно увидя ее, он остановился, прищурился и, направляя к ней шаги, грозно заговорил:

— Ты опять за свои прежние пакости, старая ведьма! Забыла, видно, ты мои слова! Зажили, видно, и следы

полицейских батогов на твоей спине! Опять колдовать пустилась!

— Нет, батюшка, ваше сиятельство! — произносила дрожащим голосом колдунья.— Я чувствую и помню ваши наставления. С той поры как вы запретили, я не занимаюсь этими скверными делами.

— Как не занимаешься,— говорил Девиер.— А к княгине Долгоруковой, Анне Петровне, зачем ходила?

— Ее холуй,— отвечала калмычка,— приходил ко мне и приносил сорочку своего боярина, просил наколдовать на нее, а я не взяла и сказала ему, что этими делами не занимаюсь. А там боярыня как-то узнала про него и прислала за мною спросить, точно ли было так. Я ей сказала, что приходил, мол, приносил сорочку, только я не взяла от него. Вот за этим делом я была у княгини. По ее приказу пришла к ней. Можно сказать, что поневоле. Она боярыня знатная, а я бедная баба, так что, почитай, нищая.

Девиер тогда спросил ее:

— А в другой раз княгиня зачем тебя звала?

Калмычка струсила. Ей показалось, что Девиер знает все; она бы сразу сказала ему теперь всю правду, не пожалела бы княгиню, но тут ей пришло на мысль, если она и скажет, ее не помилуют. Все-таки она будет виновна, зачем тогда не донесла. И калмычка, скоро сообразивши это, отвечала:

— Звали меня к княгине, но я не пошла. Сказала той женщине, что не пойду, незачем-де ходить.

— Смотри! — сказал грозно Девиер.— Если окажется, что ты лжешь, я с тобой так сделаю, что тебе и в голову никогда не приходило.

Он велел увести калмычку.

— Обе эти бабы,— сказал он вошедшему делопроизводителю,— говорят в одно. Видно, что княгиня звала колдунью не один раз, как она в разговоре со мною сказала, только не оказывается, зачем княгиня звала калмычку в другой раз. Обе заявляют они, что в самом деле не знают. Княгинина женщина подозрительно чтоб не знала, а калмычка могла не знать, зачем ее звали, когда не пошла по зову; не пойти же могла действительно, не забывши той порки, какую ей задали прошлого года. Нельзя пытать ни той, ни другой, но отпустить их тоже нельзя, потому что на княгине остается подозрение. Велите их поместить здесь до дальнейшего моего решения.

На другой день после того приехала к Девиеру княгиня

Федосья Владимировна Голицына, получившая приглашение явиться к особе генерал-полицмейстера. Девиер принял ее в той парадной комнате, где он принимал княгиню Анну Петровну. Эта комната была специально назначена для приема дам и знатных лиц, когда случалось требовать их к генерал-полицмейстеру.

Княгиня Федосья Владимировна была женщина лет сорока, немного ниже ростом в сравнении с княгинею Анною Петровною и толще ее. Она была одета по тогдашней моде: в шелковую робу лилового цвета с фижмами; на груди у нее сияла жирная золотая цепь, на шее богатое жемчужное ожерелье, на голове высился огромный фонтанж. Вступая в комнату, она легко кивнула головою и перекашиваясь обращала голову к Девиеру, когда тот, изгибая свой корпус и расставляя коромыслом руки, подходил к ней с улыбкою.

— Ваше сиятельство! — говорил Девиер.— С природным вашим великодушием простите меня за то, что не приехал к вам, но возымел упование на снисходительность вашу. Я так занят, как вы, княгиня, представить себе затруднитесь. Между тем по делу, к вам, княгиня, лично не относящемуся, необходимым вышло обратиться к вашему сиятельству.

Княгиня отвечала:

— Вы, граф, исполняли и исполняете ваш долг. Я же исполняю свой, являясь по приказанию к генерал-полицмейстеру. Что угодно будет вам от меня?

— Я не смею приказывать не только такому значительному лицу, как вы, княгиня, но и вообще никакой особе шляхетного достоинства. Я могу только просить,— говорил Девиер.

— Вы очень учтивы, граф, паче моего достоинства,— сказала княгиня.— Что угодно? Я стою перед вами, генерал-полицмейстер.

Девиер, поворотившись влево, указал на диван и произнес:

— Я покорнейше прошу вас, княгиня, принять место.

Княгиня уселась. Девиер сел против нее на стул.

— Глубокое уважение как к вам, достопочтенная княгиня, так и к вашему высокоименитому брату, господину фельдмаршалу, а равно и к вашему господину супругу...

Так начал было Девиер, но княгиня перебила его и сказала отрывисто:

— Генерал! Супруга моего в живых нет. Брат мой фельдмаршал не может, надеюсь, быть причастен к тому

делу, по которому вы меня вызвали. Я прошу вас, граф, приступите прямо к этому, мне не известному, делу.

Девиер понял, что княгиня умышленно хочет не допускать его до напрасной риторики и, с своей стороны, переменил тон. Он спросил ее:

— Вы изволите находиться в дружестве с княгинею Анною Петровною Долгоруковою. Не так ли?

— Не знаю, что вы разумеете под этим словом. Я знакома с нею,— произнесла княгиня.

— Давно ли? — спрашивал Девиер.

— Очень давно, с детства,— сказала княгиня.

— Часто видитесь с нею? — спрашивал Девиер.

— Состоим в хлебосольстве и в свойстве,— отвечала княгиня Федосья Владимировна.

— Говорила ли вам княгиня Анна Петровна о своем намерении приворотить посредством волшебного корешка государыню императрицу? — был вопрос.

— Не говорила,— был ответ.

— У ней, у княгини, есть сын в Голландии, князь Сергей Петрович. Вы его знаете? — сделан был вопрос.

— Знаю,— последовал ответ.

— Мать затруднялась заплатить наделанные им долги и хотела, чтоб государыня за него заплатила, а для этого обращалась к одной женщине из подлого звания, желая достать от ней такой приворотный корешок, чтоб им воздействовать,— говорил генерал-полицмейстер.

— Я этого не слыхала,— произнесла княгиня.

— Княгиня Анна Петровна,— говорил Девиер,— была у меня своею особою и просила меня ходатайствовать перед государынею императрицею, чтоб ее величество всемилостивейше соизволила выплатить долг ее сына из казны. Не говорила ли она вам об этом?

— Не говорила,— отвечала княгиня.

— Странно! — сказал Девиер.— Как это она вам не говорила, когда, по собственным словам вашим, вы друг с другом состоите в свойстве и хлебосольстве!

— Не знаю. Может быть, странно, только она мне о том не говорила,— был ответ.

Девиеру ясно стало, что таким путем он ничего не добьется. Он решился быть еще прямее. Он рассказал ей все, что знал о покраже рубашки князя Якова Петровича, об обращении холопа к колдунье, о призыве княгинею колдуньи к себе и потом сказал:

— Этот холоп в Москве объявил за собою «слово и дело

государево» и в Преображенском приказе показал, что княгиня с вышеизъясненною целью искала приворотного корешка. Он говорит, будто подслушал разговор своей боярыни княгини Анны Петровны с вашим сиятельством о таковой материи.

— Я не имела такого разговора с княгинею Анною Петровною,— сказала княгиня Федосья Владимировна.

— Стало быть, холоп сей составил свой донос затейным способом? — заметил Девиер.

— Должно быть, так,— сказала княгиня.

— Ваше сиятельство не слыхали прежде об этом доносе? — спросил генерал-полицмейстер.

— Не слыхала,— ответила княгиня.

— Итак, не смею более беспокоить ваш слух, княгиня, моими речами об этом деле,— сказал Девиер.— Позвольте вам предложить чашку кофе,— прибавил он.

Княгиня сдержанно сказала:

— Если, граф, вы находите, что я более не нужна вам по делу, по которому вы призывали меня, благоволите отпустить меня.

Девиер сказал:

— Не смею ни минуты вас удерживать, княгиня. Еще раз прошу прощения, что обеспокоил вас. Я исполнял свой долг.

— А я свой,— сказала княгиня.

— Чтоб соблюсти установленную законом форму,— сказал Девиер,— позвольте на письме представить вам сделанные мною вопросы и написать под ними данные вами ответы, а наконец просить вас подписать оные.

— Исполню все, что считаете необходимым по закону,— отвечала княгиня.

Девиер отошел к другому столу, где лежала бумага и стояла чернильница. Он написал вопросы с ответами и поднес княгине. Она прочитала и подписала.

— Моя жена,— сказал Девиер,— давно горит желанием познакомиться с вашим сиятельством. Не откажите, княгиня, в вашем дозволении приехать к вам с пристойною визитою.

— Если графине то угодно будет, я сочту себе в приятность,— сказала княгиня.

— И мне, княгиня, дозвольте пользоваться честью быть с вами знакомым,— сказал Девиер.

— Как вам будет угодно,— отвечала княгиня.

Девиер проводил княгиню до дверей своей гостиной и, изгибаясь, по своему обычаю, сказал:

— Княгиня! Препоручаю себя вашему благосклонному вниманию!

— Граф! Свидетельствую вам мое уважение,— произнесла княгиня и вышла в дверь.

Девиер из этой комнаты отправился в свой кабинет и позвонил, приказывая позвать к себе делопроизводителя.

— Потрудитесь,— сказал генерал-полицмейстер, подавая делопроизводителю бумагу,— списать набело вот эти два показания, списанные мною без вас со слов женщины, крепостной княгини Долгоруковой, и со слов калмычки, и подать им к подписи, если грамоте умеют, а коли не умеют, то подпишите за них сами, согласно их желанию. А вот показание княгини Голицыной, ею подписанное. Затем приобщите их к делу и самое дело при отношении отправьте в Тайную канцелярию к Андрею Ивановичу. И самих этих обеих баб препроводите к нему же в Тайную канцелярию. В отношении пропишите все, что я списал со слов княгини Долгоруковой. При сем сделайте замечание, что, по моему мнению, княгиня эта сильно подозревается в том, что имела замысел достать приворотный корешок с целью приворотить государыню и заставить ее заплатить за ее сына долги. Там, что делать с нею дальше по сему подозрению, то зависит от благоусмотрения Тайной канцелярии. Да сверх того припишите, что по миновении надобности в калмычке, по прикосновенности ее к делу княгини Долгоруковой, оная калмычка имеет быть препровождена паки в генерал-полицмейстерскую канцелярию по подозрению, возникшему о ней в занятиях волшебствами и гаданиями. Извольте ещё приготовить отношение в Преображенский приказ, в коем изложите, что холопа Василия Данилова, там содержащегося, надлежит допросить под пристрастием насчет его обращения к колдунье-калмычке с украденною рубашкою своего господина. Все это изготовьте и завтра подайте мне к подписи.

— Слушаю, ваше сиятельство! — почтительно отвечал делопроизводитель.

ГЛАВА XVII

Тайная канцелярия считалась тогда в Петропавловской крепости в так называемом тогда гарнизоне. Но, собственно, это страшное учреждение не имело ни постоянного

местопребывания, ни определенных правил делопроизводства, ни руководящих его приговорами законов. Тайной канцелярии как будто не существовало: никто не смел говорить о ней, никто не смел знать её. А между тем это безгласное, почти неизвестное учреждение было важнее всех коллегий и канцелярий. Тайная канцелярия была раздвоением Преображенского приказа; учреждена была она в Петербурге; Преображенский приказ оставался в Москве и не упразднялся, хотя одинакие дела производились и в этом приказе, и в означенной канцелярии, смотря по удобству, вызываемому местом жительства и положением подсудимых. Начальник Тайной канцелярии, генерал-майор Андрей Иванович Ушаков, жил на Петербургском острову в собственном доме, близ крепости, но проводил много своего времени в гарнизоне или в разъездах по тайным делам. В доме у него для таких тайных дел было два особых покоя, рядом с канцелярскою комнатою, наполненною обыкновенно приказными людьми. Так как дела, производившиеся здесь, были облечены строгим секретом, то попасть туда на службу было нелегко и надобно было для этого иметь сильную протекцию; зато попавшие туда сами были, так сказать, под стражею и под постоянным страхом. Впрочем, их было немного; кроме Андрея Ивановича, число всех не превышало десятка. Комната, служившая помещением Андрея Ивановича во время отправления им своих обязанностей, была снабжена столами, обитыми черною клеенкою, и стульями с красными сафьянными подушками и чрезвычайно широкими спинками. Кроме массивного шкафа с резьбою черного цвета, нескольких гравюр, висевших по стенам, и портретов Петра Великого да императрицы, там не было никаких украшений и мебели. В такой комнате сидели Андрей Иванович Ушаков и граф Антон Мануйлович Девиер. Теперь у них разговор шел о деле княгини Долгоруковой.

— Знаешь что, Антон Мануйлович,— говорил Ушаков,— я просмотрел это долгоруковское дело, что ты прислал ко мне. С твоим мнением я согласен. Скажу тебе еще более. Я полагаю, оно важнее, чем тебе кажется. Тут, тут неспроста. Конечно, баба эта дурища, и только всего, да мне кажется, через нее мало-помалу можно зацепиться за такие ниточки, что поведут к чему-нибудь дорогому. Впрочем, быть может, я ошибаюсь, но как хорошенько потянуть, так и откроется, чтó оно: стоит ли оно чего или так себе — плевок! Я вот что задумал: попробую начать подкоп вести

с дурака сына княгини Якова: он еще глупее своей матери. Я послал позвать его. Ты мне пособишь, Антон Мануйлович.

— Чем, говори? — сказал Девиер.

— А не больше, как только тем, что посидишь тут со мною, как я заведу дружеские речи с этим дураком,— сказал Ушаков.— Я по твоим следам иду, Антон Мануйлович. Ты обещал его матери содействовать перед государынею, чтоб она получила от ней милость и уплату долга ее сына, а я задумал подобное с сынком ее.

— Как же это? — спросил Девиер.

— Сам увидишь, брат,— сказал Ушаков.— Ты сиди только да слушай.

Среди таких разговоров доложили Андрею Ивановичу, что доставлен по его приказанию сын княгини Долгоруковой. Вошел князь Яков Петрович, бледный, трепещущий; он оглядывался вокруг себя с испуганным и вместе ужасно глупым видом. Андрей Иванович, переваливаясь своим кругловатым корпусом, шел к нему навстречу. Его толстые губы подернулись приветливою улыбкою; глаза засверкали чрезвычайным добродушием.

— Почтеннейший князь Яков Петрович,— начал Андрей Иванович,— не положи гнева, что я тебя сюда позвал. Ко мне ведь зовут людей по допросам, и потому наше место называется в народе — худое место. Каждый его боится, и отплевывается от него, и открещивается, а кого сюда зовут, тот часто трясется как осиновый лист. А тебя, князек, попросили сюда совсем не по таким материям. Эй! — крикнул Ушаков. Явился лакей.— Водки, вина и закуски. Прежде надобно выпить и червяка заморить, а потом и за дело взяться. Так, Антон Мануйлович? Рекомендую тебе, князек, это мой сердечный друг граф Девиер. Он, впрочем, маменьку твою, князь, хорошо знает и ей большой приятель и протектор. Маменька твоя, чай, говорила тебе о нем?

Подали водки, несколько бутылок вина и разных закусок. Андрей Иванович выпил сам водки, потом пригласил сделать то же гостя. Князь Яков Петрович смутился и остолбенел; он никак не ожидал такого дружелюбного, фамильярного обхождения от господина, которого не знал и не видал никогда близко и о котором не слыхал ничего, кроме страшного. Князь Яков не пил водки, да и не чувствовал никогда желания ее пить, но теперь не осмеливался отговариваться, думая, что это с его стороны будет неуважитель-

но. Он человек еще очень молодой, а перед ним старики и важные сановники. Он выпил рюмку знатного размера и от непривычки поморщился. Андрей Иванович заметил это, засмеялся и сказал:

— Ты, братец, я вижу, еще зелен, неопытен собеседник, не горазд пить. Жаль, что покойник наш батюшка государь Петр Алексеевич не завербовал тебя в свою веселую всепьянейшую компанию. А то вот ты хоть куда молодец, а для веселой беседы глядишь красной девицей. Пей ты, Антон Мануйлович, ты ведь старый воробей!

Девиер захохотал и выпил рюмку.

Андрей Иванович налил еще себе, выпил, потом налил снова, поднес князю Якову и сказал:

— Выпьем по паре! Знаешь, всякой животины Бог сотворил по паре. И человека тоже, мужа и жену сотворил есть. Так пишется в Слове Божии. Пей, брат князек, не кобенься, пей!

Князь Яков уже опьянел от первой рюмки, не знал, что с ним делается, не понимал, куда и зачем он попал, и машинально пропустил в горло другую красоулю, такую же, как первая.

— Да он молодец! Ей-ей, молодец! Право, молодец! Смотри, Антон Мануйлович, наш, наш! — говорил Ушаков.

При этом он дружески трепал князя Якова по плечу. Осмотрелся князь Яков и стал закусывать. Андрей Иванович и Антон Мануйлович также закусывали.

— Ну, теперь приступим к делу. Сядемте, господа. Не знаешь ты, конечно, князь Яков Петрович,— начал Андрей Иванович,— зачем я пригласил тебя сегодня. А я вот зачем пригласил тебя: хочу я предложить тебе службу у нас в Тайной канцелярии. Прежде, разумеется, надлежит твое желание знать и твое согласие иметь. Тогда я войду с докладом к ее величеству о твоем определении.

— А согласись, Андрей Иванович,— говорил Девиер,— ведь это я тебя навел на сию благую мысль. Мне первому князь должен быть благодарен.

— Неправда, неправда! Не он! — говорил Ушаков.— Не хвастай, Антон Мануйлович. Ты и не знал про него путным способом. Начал ты говорить мне про его матушку, стал со мною советоваться, как бы дело ее довести до царицы, а я как услыхал, да говорю: «Э, да это та госпожа, у которой сын большой умница!» Ты спрашиваешь: «Какой?» А я говорю: «Как же! Князь Яков Петрович, всем известный». А ты, брат, видно-то мало и знал про него. А теперь на себя

берешь! Не хвастай, не хвастай! Вот и видна сейчас иноземная натура, французская; или то бишь; ты ведь, кажется, испанец происхождением? Так, кажется?

— Какой я иноземец? — говорил Девиер.— Не испанец был мой отец, а португалец, только я с малых лет возраста говорил по-французски и на родине моего батюшки никогда не бывал. А потом, как увидал меня государь Петр Алексеевич, я поступил в русскую службу и так обрусел за тридцать лет, что теперь, чаю, никто не узнает, что я по роду не русский. Совсем как есть руский человек! Об заклад побьюсь с кем хочешь — никто не признает во мне теперь иноземца!

— Как же, как же! Держи карман пошире! — говорил Андрей Иванович.— Это тебе по твоему иноземству так показывается, а коренной русак сразу увидит, что ты заморская птица.

— Нет! Нет! Это меня ты нарочно дразнишь,— говорил Девиер.— У меня чисто русская душа: сам царь, покойник, то мне говаривал не раз.

— Про то спорить я не стану,— сказал Ушаков.— А все-таки не ты мне подал мысль позвать к себе князя Якова Петровича, а я сам. Князь Яков Петрович! Будем, дружище, служить вместе. Я вот как тебя от души полюбил. Сам не знаю за что. Верно, оттого что слыхал про тебя, что ты больно умный человек. Говори, согласен ли служить у нас в Тайной канцелярии?

— Я готов служить ее величеству государыне, где ей будет угодно приказать,— отвечал князь Яков.

— Так и следует истинно русскому человеку,— сказал Андрей Иванович.— Ну что, Антон Мануйлович, не умный разве ответ? Я ж говорю, что это такой молодец: что ни слово скажет, словно рублем подарит. Умен, умен наш князь!

При этом Андрей Иванович, сидя против князя Якова, взял его за обе руки, а князь осклабился и представлял из себя преглупую фигуру.

— Я уверен, что из тебя, мой дорогой княжище, что-то необыкновенное выйдет,— продолжал Ушаков.— Я прочу тебя на свое место. Ты, брат, заменишь меня. С твоим необыкновенным умом дойти до того недолго. Сам поведу тебя к государыне и представлю. Ты ей очень понравишься своим умом. А дело скоро уразумеешь, на то я надеюсь.

— При ваших наставлениях...— говорил князь Яков. Он хотел еще что-то проговорить, да язык не повертывался,

а мозг не шевелился, потому что был отуманен выпитою водкою.

— А вот наш общий друг Антон Мануйлович,— начал Ушаков,— старается пред государыней об деле вашей почтенной маменьки. Да маленькая неосторожность вашей маменьки его приостановила, а то бы дело уж и выгорело. Антон Мануйлович, говорить князю, что ли?

— Говори, он ведь свой,— сказал Девиер.

— Всем теперь нам свой! — произнес с видом торжества Ушаков.— Граф Антон Мануйлович хлопочет, как бы так устроить, чтоб государыня заплатила из казны долг вашего братца князя Сергея Петровича, что в текущее время находится в Голендерской земле. И вдруг что же? Что бы вы думали! Слышит граф отовсюду, что ваша маменька заранее наговорила всем про то, что надеется от государыни такой к себе милости. Ужасно неосторожно! Ну как не понимать, что про такие замыслы надобно секрет держать большой, а не публиковать преждевременно. Не можете ли вы, князь, догадаться, каким это путем всякая сволочь знает про такое желание вашей маменьки?

— Какое? — спрашивает князь Яков.— О чем?

— Да о том,— сказал Девиер,— что вашей матушке княгине Анне Петровне хотелось бы, когда б императрица заплатила долги ее старшего сына, братца вашего, князь Яков Петрович. Я узнал наверное, что она говорила про то князю Василию Лукичу Долгорукову. Это верно. Но, видно, и кроме него кому-нибудь она говорила и обращалась либо у себя в доме как-нибудь невзначай проговорилась.

— Не знаю, граф,— сказал князь Яков Петрович.

— Не знаете? — подхватил Ушаков.— Кому ж знать больше вас то, что у вас в доме деется? Вы очень умны, князь, да ведь и я не дурак! Я вижу, вы, князь, осторожность соблюдаете, боитесь нас, я вижу. Только напрасно: поберегите эту осторожность на другие случаи. Мы свои. В целой России у вашей семьи нет таких друзей, как мы двое. Поверьте, князь, это так. Мы оба хотим пользы и вам, и вашей матушке, и всему роду вашему.

— Мне,— говорил Девиер,— сообщил сам князь Василий Лукич, будто матушка ваша приезжала к нему и просила, нельзя ли как-нибудь подействовать на императрицу, чтоб она изволила всемилостивейше выплатить долги князя Сергея Петровича. Да ему же сказала в разговоре: вот, говорит, как бы достать такой приворотный корешок, чтобы царицу на милость к себе к своей семье приворо-

жить. Слыхала-де, что есть такой корешок! Говорил про матушку вашу это князь Василий Лукич, а сам смеялся: эдакое, замечает, суеверие! Как бы только от одного князя слыхал я такие речи, так это бы еще ничего: он все-таки для вас для всех свой человек. А вот дурно, что то же почти я слыхал от других, болтают везде, что княгиня Анна Петровна Долгорукова волшебного корешка ищет, чтоб им околдовать государыню, так что я теперь и государыне представить об ее деле не решаюсь; боюсь, как бы до государыни не дошли эти толки. Оно, конечно, беды от того вашей матушке не будет, но она сделается смешною, и государыне, знаете, неловко будет говорить.

— Уж, верно,— сказал Ушаков,— у маменьки вашей со всяким только и разговоров, что о своем милом Сереже, как бы его высвободить от долгов. Ведь правда, князь?

— Она, точно, часто говорит об этом,— сказал князь Яков Петрович, который, опьяневши, совершенно верил, что с ним сидят его вернейшие друзья, говорят с ним искренно и бояться их нечего.— И о том,— продолжал он,— часто матушка говорила, как бы денег достать от государыни.

— А с кем она толковала об этом? — спросил Ушаков.

— Да почти со всяким, кто к нам приедет,— отвечал князь Яков Петрович.

— И надеялась более всего на калмычку, что живет в Татарской слободе,— подхватил Девиер.

— Это какая же? — говорил князь Яков.— Уж не та ли, что к ней носил мою сорочку мой холоп Васька?

— Именно, именно! — говорил с живостью Девиер.— Та самая. После того, как сорочку вашу отыскивали, княгиня, ваша матушка, призывала ее опять к себе и просила у ней приворотного корешка на царицу, так везде рассказывают.

— Матушка, точно, говорила,— сказал, глупо улыбаясь, князь Яков,— у этой калмычки есть-де корешок такой, как бы им только дотронуться до государыни, так всякие милости можно бы было от государыни получить и денег много достать. Говорила маменька, обещала-де калмычка достать такой корешок, затребовала за него десять золотых венгерских; матушка деньги послала, калмычка от нее деньги взяла, а корешка, шельма, не принесла — побоялась. Это матушка рассказывала сама нам.

— Вы, князь Яков Петрович,— сказал Девиер, лукаво улыбаясь,— редкого ума человек, хоть и молоды. Я позво-

лю себе вам пророчить в будущем высокое положение. Не правда ли, Андрей Иванович?

— А я разве того тебе не говорил сам прежде? — сказал Андрей Иванович.— Выпьемте еще, господа, по стакану вина. Вот рекомендую, превосходное бургонское — мне прислал в подарок два ведра французский посланник. Редкое, скажу вам, вино, старое. Еще 1700 года, двадцать пять лет стоит. А вот, когда угодно,— венгерское. Это немногим моложе, а все же довольно стоялое. Это 1709 года, ровесник Полтавской битве. Это наше, домашнее. Покойник батюшка выписал его в тот год, как шведа разбили под Полтавой, и не велел трогать пятнадцать лет. Не дождался старик сам попробовать его, а оставил нам в наследство. Кому какое по вкусу. Князь! Какое вы предпочитаете, бургонское или венгерское?

— Мне все равно,— сказал князь,— я не знаток в винах, пью, какое подадут.

— Рекомендую бургонское,— сказал Ушаков,— ну, а про тебя я знаю, что ты любишь то же вино.

Он налил обоим гостям по стакану бургонского, а себе третий стакан. Все трое чокнулись и выпили. Ушаков вышел из комнаты и через несколько минут воротился опять.

— Завтрашний день,— говорил он,— я приготовлю о поступлении вашем в нашу Тайную канцелярию доклад государыне. Через два либо три дня, князь, вы вступите в исполнение ваших новых обязанностей.

— О, из вас, князь, выйдет отличный служака! — сказал Девиер.— Поверьте, придет время, когда вы станете первый человек в России. Именно такие и нужны нашему отечеству, как вы.

— И, может быть, кто знает,— прибавил Ушаков,— придется и нам, старикам, заискивать у тебя протекции. А!

— Как можно! — конфузливо произнес князь Яков Петрович.

— А вот у нас на первых порах есть казусное дело. И ты, князь, своим умом пособишь нам,— сказал Ушаков.

— О каком деле изволите говорить? — спросил князь Яков Петрович.

— Сегодня нельзя открыть,— отвечал Ушаков.— Когда станешь формально у нас на службе, сам все узнаешь. Наши дела ведь зело секретны. Никто про них не ведает; самые фельдмаршалы к нам в секрет не допускаются. Светлейший Меншиков, каков ни есть, а к нам своего носа всунуть не посмеет. Сильнее нашего места нет. Так-то!

А ты вот, князь, хоть и молод и не служил еще, да начнешь свою службу в таком важнейшем месте. Что думаешь? Не станут тебе все сверстники твои завидовать?

Князь Яков Петрович, принимая за чистую монету все, что ему говорили, приходил в неописанный восторг от удовольствия скоро увидеть себя вознесенным на такую высоту. Он воображал радость матери своей, когда она от него услышит, каких друзей послал ему Бог и в какой чести он будет находиться на служебном поприще. Неоднократно мать журила его за лень и беспечность, поставляла в пример многих, равных ему по летам и по происхождению, умевших занять видное положение в обществе, и жалела, что Бог послал ей такого сына, с которым неловко показаться в люди: теперь-то он покажет, что маменька ошиблась в нем, теперь-то он составит славу своего рода и маменька станет перед всеми гордиться таким детищем.

— Покамест,— указал Ушаков,— мы покажем тебе, наш дорогой князюшка, кое-какие любопытные тайны нашей канцелярии. Никому чужому они не показываются, а тебе все можно, потому что ты уже наш, хоть еще не совсем, да все уж не чужой нам! Пойдем, князюшка, с нами!

Ушаков взял князя Якова под руку. Князь, пьяный, с трудом волочил ноги. Они вышли из комнаты, в которой сидели за закускою, и пошли по коридору. Прошедши немного, Ушаков отворил двери. Они вошли в большую комнату, освещенную большим четвероугольным окном; за ними сзади следовал Девиер.

Сделавши несколько шагов вперед вместе со своим путеводителем, князь Яков очутился внезапно лицом к лицу перед своею матерью.

Княгина стояла на возвышении, поднимавшемся на вершок от пола. Сзади ее стоял солдат, по-видимому, сопровождавший ее, а далее была дверь, возле которой стояла неизвестная женщина. Лицо княгини было бледно и носило выражение испуга; короткие волосы в беспорядке; на ней не было парика; платье на ней было утреннее; казалось, она была только что поднята с постели и не успела ни прилично одеться, ни причесаться.

Князь Яков Петрович, увидя так неожиданно мать свою, отшатнулся и стоял, разинув рот и выпуча глаза. Его собеседники вдруг изменили тон и уже были не те добродушные старички, что так отечески ласкали молодого человека и сулили ему новое неведомое счастье в служебном мире, в который намеревались по своему дружескому рас-

положению ввести его. Ушаков принял величественную постать, на лице отпечатлелось что-то необыкновенно важное и суровое. Он говорил:

— Госпожа княгиня Анна Петровна Долгорукова! Собственный сын ваш князь Яков Петрович показывает, что вы просили калмычку, живущую в Татарской слободе и занимающуюся разными волшебствами и тому подобными суевериями, достать вам приворотный корешок, которым бы вы могли приворотить к себе в милость государыню императрицу с целью побудить ее заплатить долги за вашего сына, князя Сергея Долгорукова, находящегося в чужих краях. Он, сын ваш, князь Яков, утверждает, что вы для того послали означенной калмычке, по ее требованию, десять венгерских червонцев, но калмычка, взявши ваши червонцы, желаемого вами корешка не доставила, и вы от того сильно досадовали. Признаете ли справедливость такого показания?

Княгиня выслушала такую речь с возрастающим смущением, закусывая губы, несколько раз отдергивала голову назад, бросала гневные взгляды на сына, оглядывалась вокруг, словно зверь, застигнутый псами, и по окончании речи Ушакова сказала, обращая слово свое к сыну.

— Неужели ты это все на меня насказал, Яков?

— Я ничего... Я только так...— отвечал князь Яков,— они меня спрашивали о калмычке, я только сказал насчет сорочки...

— Вы, князь,— сказал строгим тоном Ушаков,— говорили не мне наедине, говорили при свидетеле, при графе Антоне Мануйловиче, у меня в кабинете. Не извольте отнекиваться. Что говорили вы нам двоим, то извольте повторить здесь при вашей матери. Первое показание с вас снято. Теперь, на очной ставке с лицом, которое вы оговорили, должны вы подтвердить его. Не хитрите, извещайте прямо.

Князь Яков Петрович силился что-то произнести, но только мычал.

— Он дурак! — сказала гневно княгиня.— Он дураком родился, дураком вырос, дураком и в могилу пойдет! А вы, господа, рады тому, что поймали дурака да напоили его. Разве я не вижу, что он пьян? Он у меня под страхом жил, вина не то что не пил, даже и не видел. Не мудрено, что с одной рюмки одурел и занес чепуху на родную мать!

— Княгиня! — вскрикнул Ушаков, топнувши ногою.— Вы забываетесь; не знаете разве, где вы находитесь!

— Ваше превосходительство, генерал-майор! — сказала княгиня.— Извольте допрашивать меня по закону, а вы наводите на меня собственных моих детей, да еще подпаиваете!

— Княгиня! — отвечал Ушаков.— Я закон знаю лучше вас. Учить меня вам не приходится. Отвечайте на мои вопросы, а не учите меня. Вы слышали, я вам сообщил, что сын ваш показывает против вас. Извольте сказать: признаете ли справедливым его показание? Сознаетесь ли в том, в чем вас обвиняют?

— Я не слыхала, что сын мой говорил против меня, против своей матери,— сказала княгиня.— Я от сына слышала только лепет какой-то, а не речи. Пусть твердым голосом скажет. Яков, слышишь меня? Ты доносишь на свою мать. Говори свой донос, коли у тебя нет стыда.

— Я ничего... я не говорю...— лепетал Яков и, превозмогая самого себя, обернулся к Ушакову и сказал:

— Ваше превосходительство, не извольте верить тому, что от меня слышали в кабинете. Я выпил лишнее и наболтал вздор. Сам не знаю, что я говорил пьяный. От всего отрекаюсь. Не надобно мне и службы вашей, что вы обещали. Я на мать свою не доносчик.

— Ты,— сказал ему Ушаков,— уже все сказал, и назад нельзя поворачиваться. Хоть бы ты одному мне наедине открылся, и тогда речи твои силу имели бы, оттого что я доверенный человек моей государыни, и коли тебя спрашиваю, так это все едино, что государыня бы тебя спрашивала своею особою, а с высочайшим лицом нельзя так дурить, что сказал, а после отказался. За это с тебя со спины кожу снимут. Ты же вспомни, разве наедине мне говорил? Вот свидетель Антон Мануйлович, также другой доверенный от государыни.

— Помилуйте! — вопил князь Яков Петрович.— Господа! Пощадите! Я ничего не знаю; на мать свою я не доносчик!

— Я тебя сейчас велю кнутом вздуть! Ты у меня заговоришь и всю правду скажешь,— заревел Ушаков, топая ногами. Это он делал умышленно, чтоб внушать страх допрашиваемым. Княгиня, услыхавши такие угрозы, расточаемые ее сыну, пришла в ужас и вскрикнула. Ушаков принял спокойный вид и сказал князю Якову:

— Пошел вон, дурак.

Несчастный князь Яков повиновался и оборотился к двери, откуда в это время выглянуло двое солдат.

— Уведите его под караул! — сказал Ушаков.

Князя Якова Петровича посадили в запертой комнате под стражею. Ушаков, выгнавши его, обратился к княгине:

— Извольте сказать мне положительно. Сознаетесь ли в том, что против вас свидетельствовано?

— Я подписала, что ко мне приносили от графа Девиера. Там были мои ответы на вопросы, что он делал мне у себя в генерал-полицмейстерской канцелярии,— отвечала княгиня.

— Но потом сын ваш показал на вас? — спрашивал Ушаков.

— Я не слыхала от него никакого показания,— отвечала княгиня.

— Он сконфузился, увидя вас. Но прежде все положительно изложил мне при свидетеле, при графе Девиере. Я вам передал его показание. Вы слышали; отвечайте же, правду ли он показал? Сознаетесь ли, что поручали калмычке доставить вам волшебный корешок и послали ей десять венгерских золотых? — спрашивал Ушаков.

— Нет, генерал! — отвечала решительным тоном княгиня Анна Петровна.— Это неправда. Этого не было.

— Княгиня! — сказал Ушаков.— Даю вам короткое время на размышление. Обдумайте свое положение. Если вы еще будете упорствовать и запираться, я прибегну ко внушительным средствам.

— Как угодно, генерал! — сказала княгиня.— Я твердо стою на одном. Никакого корешка не требовала, денег не посылала и колдунью к себе за этим делом не призывала.

— Княгиня! — сказал Ушаков.— Последний раз говорю вам. Объявите искренно и откровенно вашей государыне вашу вину и покайтесь в ней добровольно!

— Я ни в чем не виновата! — сказала княгиня.

— Это ваше последнее слово? — спросил Ушаков.

— Да, последнее,— отвечала княгиня.

Ушаков хлопнул ладонями. По этому сигналу помост возвышения, на котором стояла княгиня, опустился вниз. Княгиня очутилась под полом до половины корпуса. Ее руки не могли просунуться вниз и остались распростертыми на помосте. Под полом раздались удары розог. Княгиню секли. Она кричала и вопила:

— Генерал! Пощадите! Что это? Пощадите! Я государыне буду жаловаться. За что мне такое бесчестье? Генерал! Пощадите! Девиер! Заступитесь! Вы обещали... Вы говорили... Пощадите!..

ГЛАВА XVIII

Девиер стоял позади Ушакова и смотрел на княгиню, умышленно принимая вид сожаления; он двигал плечами, как будто хотел тем произнести: не моя власть, княгиня, в этом месте. Ушаков подошел к ней как можно ближе и тихим голосом произнес:

— Сознайтесь! Вас сейчас перестанут сечь. А если не сознаетесь, прикажу огнем припекать.

— Сознаюсь! — закричала княгиня.

Ушаков хлопнул в ладони. Удары перестали раздаваться. Помост возвышения приподнялся. Княгиня очутилась опять всем корпусом в комнате, но не могла устоять и упала на пол; на ногах ее из-под одежды струилась кровь. Силы оставляли княгиню. Лицо ее покрылось смертною бледностью. Она лишилась чувств. Ушаков кликнул женщину, что стояла у дверей; та подошла и поднесла к носу княгини склянку со спиртом. Княгиня пришла в себя. Ушаков сел у столика, стоявшего неподалеку особняком с бумагою и чернильницею. Он стал что-то писать. Княгиня села в кресло, которое придвинула к ней женщина, подававшая спирт. Княгиня всхлипывала и закрывала лицо руками. Девиер стоял неподвижно и продолжал смотреть на княгиню с видом грусти и соболезнования.

Ушаков, окончивши свое писание, подсунул столик к княгине и сказал:

— Подпишите!

Княгиня не полюбопытствовала взглянуть, что ей подавали, и машинально подписала свое имя, потом снова начала рыдать и закрывать лицо руками.

— Введите Мавру! — закричал Ушаков.

Ввели Мавру Тимофеевну.

— Мавра! — сказал Ушаков.— Твоя боярыня во всем созналась; поэтому тебе нечего больше запираться и врать. Ты ходила к калмычке звать ее к княгине?

— Ходила,— отвечала Мавра.

— И требовала от ней приворотного корешка? — спросил Ушаков.

Мавра Тимофеевна запнулась, жалобно глянула на свою боярыню, а княгиня, продолжая по-прежнему рыдать, приподняла голову и сказала:

— Мавра Тимофеевна! Я во всем повинилась. Что они хотят, то по-ихнему пусть будет. Мы пропали.

— За приворотным корешком? — спрашивал снова

Ушаков.— И принесла калмычке десять венгерских золотых? Так? Говори!

— Так! — сказала печально боярская боярыня.

— А она корешок тебе дала или сама принесла к княгине? — спросил Ушаков.

— Обманула. Обещала принести и не принесла,— отвечала Мавра Тимофеевна.

— А ты знала, зачем твоей боярыне тот приворотный корешок? — спрашивал Ушаков.

— Нет, не знала. Как можем мы знать, что у наших господ на мыслях? Мы идем, куда нам прикажут. Мы люди подневольные,— говорила Мавра Тимофеевна.

— Надобно теперь эту шельму калмычку уличить,— сказал Девиер.

Ушаков хлопнул в ладони. Вошел солдат.

— Введите калмычку! — сказал Ушаков.

Ввели калмычку.

— Ты мерзкая, гнусная баба! — сказал ей Ушаков, сморщив брови.— Ты хочешь от нас отделаться ложью и запирательством! Слушай, что на тебя говорят! Ты знаешь вот эту женщину?

Он указал на Мавру Тимофеевну.

— Знаю,— сказала калмычка.

— Она приносила тебе десять венгерских золотых. Ты их взяла. За что ты их брала? — спрашивал Ушаков.

— Мне принесла их эта женщина от княгини Анны Петровны Долгоруковой, вот их княжеской милости.— Она при этих словах указала на княгиню, сидевшую в креслах.— Я женщина хворая, старая, бедная, работать уже нет силушки, только и живу, что милостями господ. Я думала, что княгиня, дай Бог ей доброго здоровья, по моей бедности изволила прислать этих десять золотых на прокормление.

— Врешь! — говорил Ушаков.— Врешь! Тебе эти золотые принесены были за корешок, что ты прежде обещала княгине. Ты деньги взяла, а корешка не дала и не принесла сама. Так было, Мавра? — промолвил Ушаков, обратившись к Мавре Тимофеевне.

— Точно так,— отвечала Мавра Тимофеевна.

Калмычка сказала:

— Женщина, что приходила ко мне от княгини и принесла десять червонцев, точно говорила, как бы достать приворотный корешок, неведомо,— для княгини или для кого другого; только я корешка ей не дала оттого, что их

сиятельство граф Девиер еще прежде мне суровый запрет положили, чтоб этими делами не заниматься. Извольте спросить эту самую женщину: дала ли я ей корешок, которого она у меня спросила?

— А зачем ты не донесла об этом по начальству? — спросил Ушаков.— Ты знала, на какой конец требуется от тебя корешок? Ты знала об умысле княгини Долгоруковой приворожить государыню? Зачем тотчас не донесла?

— Я не знала о таком умысле,— сказала калмычка.

— Ты врешь, подлая баба! — сказал Ушаков.— Первый раз ты соврала: сказала, что женщина за корешком к тебе не приходила, а как свели тебя с нею да уличили, ты созналась, что она у тебя корешка просила. Знатно и тут, будто не знаешь, на какой конец нужен был корешок, и то все врешь, надеючись, что некому-де уличить тебя. Но мы найдем такие способы, что ты хочешь ли, не хочешь, а правду нам скажешь. Мы тебя сперва попробуем кнутом по спине погладить, а коли этим тебя не доймем, так и огоньком подогреем.

— Ваша воля надо мною, генерал,— сказала калмычка.— Я не знаю, на какой конец хотела достать приворотный корешок эта женщина.

— Позвать заплечных мастеров,— крикнул Ушаков.

Солдат побежал. Ушаков, обращаясь к калмычке, говорил:

— Слушай, глупая ты баба! Ты ведь стара. Который тебе год от рождения?

— Без трех годов семьдесят лет будет,— отвечала калмычка.

— Не выдержишь! Издохнешь! — говорил Ушаков.— Лучше повинись добровольно.

— Во всем воля ваша. Делайте со мной что угодно,— сказала калмычка.

Вошло двое палачей. У одного в руке был кнут, у другого веревка.

— Делайте с этой бабой ваше дело по обычаю! — сказал палачам Ушаков.

Один из палачей стащил с калмычки верхнее платье, потом схватил ее за руки, связал их веревками и втащил калмычку к себе на спину, держа в руках веревку, обвязывавшую ее обе руки. Калмычка, находясь уже на спине палача, закричала:

— Батюшка генерал! Во всем винюсь, что велите, все на себя скажу.

— Ага! Хрупка на расправу,— сказал Ушаков.— Ну что, сознаешься? Знала, зачем княгине нужен был корешок?

— Как приказываете говорить, так и буду! — сказала калмычка.— Знала. Я по совести сказала, как перед Богом истинным, что не знала, а ваша милость требуете, чтоб я сказала, что знала, так нечего делать, скажу — знала; все равно как сказала бы, выдержавши пытку.

— Ты писать умеешь? — спросил Ушаков калмычку.

— Не умею,— отвечала та.

— А ты? — спросил Ушаков, обратясь к Мавре Тимофеевне.

— Нет, не умею, батюшка, ваше превосходительство,— отвечала Мавра Тимофеевна.

— Уведите подсудимых! — сказал Ушаков.

Солдаты увели из залы всех — и княгиню, и Мавру Тимофеевну, и калмычку.

— Ну что? — говорил Ушаков Девиеру.— Похвалишь нас, Антон Мануйлович, али, может быть, за что-нибудь укоришь?

Девиер с видом размышляющего человека сказал:

— С неделю тому назад герцога голштинского министр говорил мне: какой-то философ написал — осуждает пытки, не надобно-де людей пытать, муками-де правды от них не дознаешься: убоясь мучений либо не выдержавши их, иной наплетет на себя невесть что, чего не токмо что не делал, а и в помышлениях у него того не было, а он под пыткою все на себя наговорит. Я вот смотрю сегодня, и слушаю, да и думаю: прав ли, не прав ли тот француз, что так размышляет.

— И как же ты рассуждаешь, Антон Мануйлович, прав он али не прав? — спросил его Ушаков.

— Думаю,— отвечал Девиер,— что частью прав, а частью не прав. Я думаю, что эта княгиня точно замышляла приворотный корешок достать и свою бабу посылала к колдунье; если б ее не высекли, она бы ни за что не повинилась. А вот что калмычка, так мне сдается, она и впрямь не знала, зачем княгине тот корешок нужен; но, испугавшись моего запрета, корешка не дала; так я думаю — она могла в самом деле не знать об умысле княгини против государыни, а теперь как увидала заплечных мастеров, так испугалась и наговорила на себя, как тебе угодно будет.

— Может быть! — заметил Ушаков.— Да это все равно. Ну, положим, она и не знала и сама на себя наговорила.

Что ж за беда? Пропадет она — туда и дорога! Что жалеть ее — она ведь подлого звания, мало ли таких баб случаем пропадает? Зато самая сущность дела открыта. А без пристрастия и пыток как ты открыл бы ее? Вестимо, никто на себя сам не скажет, коли его не припугнуть. Эти модники, что пишут там в своих книжках, только напрасно духи смущают людские. По старине живали наши деды и прадеды, и пытки у них при розыске бывали. Не без того, что и безвинных замучивали: слова нет, всего бывало; зато и правду узнавали, а без пристрастия, говорю, правды не узнаешь! А этих умников, что выдумывают такое, что пытать ненадобно,— их бы ко мне, так я бы как позвал моих заплечных мастеров, запели бы эти сочинители совсем иные песенки!

ГЛАВА XIX

По окончании первого допроса с невеликим пристрастием Василия Данилова отвели, как мы выше сказали, к посадскому человеку Федору Зюзе. Василий Данилов был из таких подсудимых, которых нельзя было ни посадить в сибирку, ни отдать на поруку; таких помещали на время у какого-нибудь слободского домохозяина, и это составляло такую же постойную повинность, как содержание нижних воинских чинов. Хозяин, которому выпадал на долю такой жребий, обязан был поместить у себя в доме колодника и с ним вместе караульного солдата, приставленного беречь колодника. Караульный солдат отдавал хозяину свой солдатский паек на свое прокормление, а приварок полагался хозяйский; приварком назывался труд приготовления кушанья и все принадлежности, как, например, всякие огородные овощи; в скоромные дни хозяева давали солдату и мясо — и оно считалось приварком. На арестанта от казны ничего не выдавалось хозяину. Колодники в России издавна питались мирским подаянием. Хозяева могли давать колоднику есть, но могли и не давать,— как и всякий посторонний мог подать колоднику милостыню, но мог и не подать. Колодников, содержавшихся по всякому суду, водили на цепи просить милостыню. Петр Великий запретил было такие вождения, но потом разрешил снова, когда увидал, что прокормление их делается отяготительным для казны. Подсудимых в Преображенском приказе никогда не водили, так как дела, по которым они находились под стражею, были секретные дела; тех, что сидели

в сибирках, кормили на казенное иждивение, но очень скудно и плохо; а те, которым отводилось временное помещение у хозяев слободских, оставались на произвол судьбы, и состояние их было самое плачевное, если они сами не имели настолько средств, чтоб содержать себя или же их родные и близкие не приносили к ним необходимого. У Василия Данилова не было в Москве ни родни, ни дружбы. Если хозяева из сострадания не дадут ему либо караульный солдат не кинет ему какого-нибудь куска, то хоть с голоду пропадай! И пришлось Василию Данилову пить зело горькую, хоть и последнюю чашу. Посадский человек Федор Зюзя поместил его у себя в чуланчике, устроенном в сенях, отделявших две избы его жилища: черную и светлую. Чуланчик был длиною в две сажени, а шириною в сажень, отделялся от сеней перегородкою с дверью, которая замыкалась, а освещался полусветом, проникавшим из сеней через верх перегородки, не доходившей вплоть до потолка. Если внешняя дверь со двора в сени затворялась, то в чуланчике было совершенно темно. На одной стороне близ стены устроено было из досок место для лежания колоднику, покрытое рогожею; постелью для Василия Данилова служил его собственный зипун и кафтан; на противоположной стороне такое же место из досок назначалось для караульного солдата, который приходил туда только спать, а все остальное время дня проводил в сенях.

Последние кнуты, испробованные на допросе в Преображенском приказе, отозвались Василию Данилову тяжелее, чем та баня, какую с повторениями задавали ему молодые князья Долгоруковы. Битье в Петербурге довело его до болезни, но зато его отправили в госпиталь, где врачи иноземцы приложили ему свое попечение, давали лекарства, держали в чистоте и кормили как следует; теперь он отдан был на попечение Федора Зюзи, а тот, поместивши его в чулане, не обращал на него никакого внимания, да и не был к тому обязан. С первого дня колодник терпел ужасную боль от побоев на спине и от кандалов, которые томили и грызли ему руки и ноги. Целых два дня он ничего не ел и не пил; солдат, входивший к нему, не заговаривал с ним и не отвечал ему на вопросы. На третий день Василий Данилов, терпя возрастающую боль в теле, умолял дать ему воды, и насилу сжалился над его просьбами караульный и принес ему ковш воды. Вдобавок наступил уже октябрь: в чуланчике было холодно, потому что там не было топки.

Только на четвертый день сжалилась над ним хозяйка и послала щей и хлеба, и с тех пор начала давать ему есть каждый день, хотя в небольшом количестве, да и за то считала себя великою благодетельницею и думала, что милостыня ее будет принята Богом все равно как восковая свечка, поставленная перед образом. Но силы Василия Данилова упадали каждый день все более и более; раны, явившиеся на месте побоев, не только не заживали, но разгнивались от неопрятного содержания: их никто не промывал, из них выступала материя, наполнявшая весь чуланчик нестерпимым смрадом. Караульный солдат перестал ложиться в чулане, а постилал себе постель в сенях на полу, но когда входил в чуланчик, то не мог сдержаться и посылал колоднику самые отъявленные ругательства. Солдат не задавал себе такого вопроса: виноват ли этот несчастный, что испускает такой смрад? Сам хозяин Федор Зюзя досадовал, когда этот смрад проникал через перегородку в сени и беспокоил его нос во время проходов из светлицы в черную избу. В порыве досады он даже говорил: «Пойду в приказ, буду боярина молить, чтоб избавил мой дом от такого жильца». Но когда из-за перегородки раздавались болезненные стоны страдальца, жалость невольно заступала место досады в его сердце и он, вздыхая, говорил: «Хоть бы уж Бог сжалился над ним и прибрал его к себе!» Василий Данилов мысленно только и молил Бога, чтобы окончил его страдания. Тогда в сердце бедняка зашевелилось глубокое, жгучее раскаяние в прежних содеянных им грехах, особенно в сношении с дьяволом, а он глубоко верил, что дьявол действительно к нему являлся своею особою и подводил его к гибели. Так прошло семнадцать мучительных суток. Страдалец ослабел до того, что не мог сдвинуться с места, и лежал весь в нечистотах, потому что караульный солдат не брал на себя заботы переворачивать его и убирать за ним. Уже Василий Данилов несколько суток ничего не ел, хотя солдат приносил в чулан посылаемую от хозяйки дома пищу и, затыкая нос, ставил ее близ Василия, а сам поскорее торопился выйти из чулана и запирал за собою дверь. Колодник не дотрагивался до этой пищи, потому что не в состоянии был приподняться. Уже и стонал он не так громко, как прежде. Наконец 23 октября утром, когда караульный солдат вошел посмотреть на него, Василий Данилов слабым, чуть слышным голосом сказал: «Я умру, позовите священника».— «Умрешь, так черту баран будет,— сказал со своим обыч-

ным бессердечием солдат,— еще буду я для тебя искать священника!» Но, на счастье Василия Данилова, услыхала эту речь проходившая через сени хозяйка и, когда солдат вышел из чуланчика, сказала ему:

— Нельзя так оставлять колодника. Грешно! Исповедаться и причаститься ему надобно. Поди заяви о том своему начальству, служивый!

И солдату пришло в голову, как бы не отвечать, в самом деле, перед начальством, если колодник умрет без исповеди и причастия, а между тем откроется, что колодник заявлял желание, чтоб к нему позвали священника. Солдат под влиянием этого страха пошел к караульному дежурному офицеру, капитану Василию Ярыжкину, который, по своей трехдневной очереди, в тот день надзирал за содержимыми в слободе колодниками. Ярыжкин послал того же караульного солдата в приказ словесно довести до сведения князя Ивана Федоровича: не заблагорассудит ли что-нибудь учинить по возникшему казусу.

Князь Иван Федорович только что расположился за своим столиком в приказе, как дьяк известил его, что из Петербургской генерал-полицмейстерской канцелярии прислана промемория по делу о доносе человека князей Долгоруковых на свою госпожу. Оказывается, что этот холоп сам искал для себя и своей корысти помощи той самой колдуньи, о сношениях с коею обвинял свою боярыню княгиню, почему надлежит сделать ему о том допрос с пристрастием.

— Привести его в пыточную,— сказал князь Иван Федорович.— Назначить к допросу Шабаева.

— Ваше сиятельство! — сказал дьяк.— Сие нам уже невозможно. Только что пришел от караульного офицера из слободы солдат, что поставлен на карауле у этого колодника. Он извещает, что колодник заболел опасно и просит священника для исповеди и причащения. И тот же колодник просит для своего недуга снять с него кандалы.

— Нельзя в том отказать никакому злодею,— сказал князь,— самых последних грешников господь призывает к покаянию. Послать к нему отца Петра из Преображенского дворца. И кандалы с колодника снять можно. Только усугубить над ним внимание.

Тотчас в канцелярии был написан ордер попу, отцу Петру, чтобы шел исповедовать колодника. Князь подписал этот ордер.

Пока отец Петр, получив ордер, успел дойти до Панк-

ратьевской слободы, капитан Ярыжкин отправился лично взглянуть на колодника, потребовавшего духовного отца, и когда капитан подходил ко двору Зюзи, его догнал солдат, карауливший Василия Данилова и ворочавшийся тогда из приказа. Он сообщил капитану, что князь дозволил расковать колодника; так, по крайней мере, передано было ему от имени князя. Отперли чуланчик. Ярыжкин был поражен как смрадом, исходившим от разлагавшегося заживо колодника, так и жалким зрелищем, способным растрогать самое жесткое человеческое чувство. Бледный, опухший лежал несчастный с закрытыми глазами; на его грязном белье, превратившемся в кору от засохшей на нем сукровицы, кишели насекомые, терзавшие страдальца. Ноги и руки страшно опухли от кандалов. Близ него стояла пища, еще вчера принесенная и оставшаяся без употребления. За Ярыжкиным вошли хозяева, муж с женою. Караульный офицер приказал немедленно снять с колодника оковы. Федор Зюзя смотрел, насупивши брови, а жена его невольно расплакалась и сказала мужу тихонько:

— Дадим ему, Христа ради, чистое белье, а то у него не в чем и святых таин принять!

— Что ж, дай! — сказал Зюзя.— Это будет Христова милостыня.

И, получивши от мужа разрешение, хозяйка побежала в избу, а оттуда принесла и подала солдату чистое, хотя и дырявое белье.

Не без труда сволокли с колодника его прежнее белье, прилипшее к телу в тех местах, где раны разгноились. Это увеличивало боль, а Василий Данилов стонал и охал. По приказанию хозяйки солдат обтер колодника намоченною в воде мочалкою и потом надел на него чистое белье.

— К тебе сейчас священник придет,— сказал Ярыжкин.— Можешь ли говорить?

— Могу,— сказал Василий Данилов, которому прикосновение холодной воды как будто поддержало жизненную силу.

Через несколько минут вошел священник, и Ярыжкин приказал всем выйти, оставив в чулане с колодником наедине отца Петра.

ГЛАВА XX

Отец Петр был один из так называемых ученых попов: он воспитывался в Славяно-греко-латинской академии и находился уже около двадцати лет в церкви Преображенского дворца. Его нередко посылали исповедовать приговоренных к смерти или измученных пытками, когда от таких пыток угрожал конец. Отец Петр приобрел ту славу, что никакой священник не умел так тронуть преступника и утешить его в последние минуты. Отец Петр был вдовец и бездетен, а потому, не отвлекаясь ничем мирским, как большая часть попов, совершенно предался своему долгу. Многолетняя опытность научила его умению с первого взгляда распознавать, с кем приходится иметь дело и как с кем следует говорить. Таким образом, и в этот раз отец Петр, приходя к колоднику, помещенному в доме Федора Зюзи, смекнул, что этот колодник, вероятно, попал в Преображенский приказ с доносом, потому что только таких до поры до времени помещают у посадских.

— Мир тебе! — сказал отец Петр, входя в чулан и тотчас сел на скамейке, поставленной подле места, на котором лежал больной.— Больно побили? — с тоном соболезнования произнес он потом.

— Больно, батюшка, мне не привыкать быть битому,— проговорил тихо Василий Данилов,— как бы смиловался Бог надо мною, чтоб уже больше не били, принял бы меня!

— Все в его святой воле! — сказал священник.— Надобно только сделать так, чтобы хуже не было, когда здесь бить уж не будут. Во грехах покаяться надобно.

— Я великий грешник! — сказал Василий Данилов.— Такой грешник, что никакой милости от Бога чаять недостоин.

— Это хорошо, что ты так говоришь, только мало того, чтоб так только сказать; надобно духовному отцу свои грехи поведать, потом посоветоваться, нельзя ли чем их замолить.

— Ох, батюшка,— говорил тоном отчаяния колодник,— мои грехи таковы, что и вымолвить страшно. Я от Бога отрекался и дьяволу душу свою предавал.

— Пока еще ты жив — дьявол еще не взял тебя! — сказал священник.— Расскажи все, что с тобой было, только покороче рассказывай: тебе говорить тяжело.

Василий Данилов изложил все, что с ним происходило, начиная с того, как он ходил с рубашкою своего господина

к колдунье, чтоб она приворожила господина и стал бы тот к нему милостивее. Он кончил всеми его воображаемыми сношениями с дьяволом. Все рассказал Василий искренно и выказывал при этом полную уверенность, что дьявол являлся ему не только в сонном мечтании, но в человеческом образе наяву.

— А донос на госпожу, что дьявол тебя научил подать, был затейный? — спросил священник.

— Нет, батюшка,— сказал колодник,— моя боярыня точно говорила своей приятельнице, как бы такой корешок добыть, чтоб государыню к себе приворожить. Это подлинно.

— Однако ты не знаешь, чтоб такой корешок у ней был? — спросил священник.— Истинно говори, как перед Богом!

— Не знаю,— был ответ.

— А показал, что его видел? — спрашивал священник.

— Да, показал,— отвечал Василий.

— Стало быть, неправду показал,— говорил священник.— Ты слыхал только про корешок, а сказал, будто видел его. И это все по злобе. Ну, скажи мне, мой друг, истинную правду, как перед самим грозным судьею, перед Богом: если б тебя господа не били, подал ли бы ты на свою госпожу донос сей? Подумай и скажи. Если бы господа тебя любили, ласкали, жаловали, ты бы не решился делать им такое зло и подавать на них донос. Я думаю так. Коли б твоя боярыня была к тебе милостива и во всем тебе доверяла, и ты б невзначай услыхал, что она со своею приятельницею такие речи ведет про корешок, ты б не токмо не извещал на нее, а скорее, может быть, сказал бы ей: «Боярыня! Не извольте, мол, говорить таких речей, а то, Боже сохрани, как-нибудь попадетесь!» Ведь так бы ты поступил, если б господа твои были тебе как отцы родные. Уж никак бы не показывал, что сам видел корешок? Так? Говори правду!

— Да,— отвечал болезненно Василий Данилов.

— Стало быть, и выходит, что ты по злобе тот донос учинил, да еще и ложно! — сказал священник.

— Ах, батюшка! — говорил болезненно Василий Данилов.— Если бы вы знали, как они, господа мои, меня били, мучили, как ругались надо мной!

— Ну, слушай же,— говорил священник,— ты сознаешься, что грех твой зело велик, что ты от Бога отрекался

и дьявола призывал на помощь? Сознаешься, говори, как думаешь, велик твой грех или не велик?!

— Ах, как велик, батюшка! — говорил жалобно Василий Данилов.

— Дьяволу ты предавался, дьявол над тобой на этом свете посмеялся! Вот до какой последней гибели довел тебя! Вот что значит духа злобы звать на помощь! — говорил священник.

— Ах, батюшка, батюшка! Велик грех мой, не простит меня Бог! Пропащая душа моя! — вопил Василий Данилов.

— Сам отдался дьяволу,— произнес священник,— и будешь ты его, дьявола, достояние после смерти, а смерть от тебя не за горами.

— Что же мне делать, батюшка? Как умилосердить Господа? — говорил Василий Данилов.

— Велик твой грех, но божие милосердие еще больше его! Велик твой грех, но велико должно быть и покаяние, которым ты этот грех замолить можешь. Ты прежде каялся духовнику? — спрашивал отец Петр.

— Каялся,— отвечал Василий Данилов.— Мне священник епитимью наложил: целый год в церковь к заутрени ходить. А я не покаялся да стал воровать, а как попался, опять являлся мне дьявол, и я его послушался и донос подал на госпожу. Значит, моя епитимья ни во что!

— Я тебе наложу другую,— сказал отец Петр.— Такой епитимьи, чтоб на долгое время нести ее тебе, накладывать невозможно. Я думаю, тебе, может быть, на свете жить недолго. Я наложу на тебя иного рода епитимью. Ты сознался мне, что не видал корешка у своей боярыни и, стало быть, донос твой ложный: отрекись от своего доноса, объяви, что ты на госпожу свою извещал по единой злобе, неправдою.

— Тогда разве будет мне прощение от Бога? — спросил Василий Данилов.

— Будет, полное,— сказал священник.— Ты грамотен?

— Да,— был ответ.

— «Отче наш» знаешь? — спросил отец Петр.

— Знаю,— отвечал Василий.

— Читай,— сказал священник.

Василий Данилов читал:

— «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя твое, да приидет царствие твое, да будет воля твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный даждь нам днесь и остави нам долги наша...»

— Стой! — сказал отец Петр.— Какие это долги наши перед Богом, что в молитве помянул? Чем и как мы это задолжали ему?

— Это наши грехи,— сказал Василий Данилов.— Так объяснял отец Андрей Егорьевского монастыря, у кого я учился.

— Правильно,— сказал отец Петр.— Далее как? «Якоже и мы...»

— «Якоже и мы оставляем должникам нашим»,— произнес Василий.

— Видишь! — сказал отец Петр.— Молитву «Отче наш» сам Господь Бог сложил и велел нам вот так ему молиться. Оставь нам долги наши так, как и мы оставляем долги тем, что нам задолжали. Значит: прости нам, Боже, в чем перед тобою согрешили,— за то нам прости, что мы прощаем тех, что против нас согрешили. Вот против тебя согрешили твои господа тем, что немилостиво обходились с тобою, а ты против Бога согрешил, что от него отрекался и дьявола, духа злобы, к себе на помощь звал. Он, Господь, в святом своем Евангелии сказал: коли будете отпускать согрешения людям, так и вам отпустит ваши согрешения отец небесный; а не будете отпускать согрешения людям, так и вам не отпустит согрешений ваших отец небесный. Прости же господам своим все, что они тебе делали, и не чини им зла, а сотвори добро. Господь велит добро творить за сделанное нам зло. Отрекись от своего доноса — и ты сделаешь господам твоим добро. И тогда Господь простит тебя за твой тяжкий грех. А коли не сделаешь этого — так не будет тебе милости: предался ты дьяволу и пойдешь к нему в ад кромешный.

— Батюшка! Батюшка! Я согласен. Я прощаю... я отрекусь! — произнес растроганный страдалец.

— Я позову сюда офицера. При нем скажешь, а он запишет твое показание.

Отец Петр, сказавши эти слова, вышел и потом вошел снова в чуланчик вместе с капитаном Ярыжкиным, а караульный солдат внес в чулан и поставил небольшой столик с чернильницею, пером и листом бумаги.

Ярыжкин сел и со слов колодника, при пояснительном участии отца Петра, написал такое показание:

«Аз дворовый человек княгини Долгоруковой, Василий Данилов, видя смертный час свой и помня страшный суд божий, ради очищения души своей от грехов в том винюсь, что о непристойных словах показал я в Преображенском

приказе на помещицу свою княгиню Анну Долгорукову неправду и затейно, никаких непристойных слов от помещицы своей княгини Анны Долгоруковой я, Василий, нигде не слыхал и никакого кореня у ней не видал, также и от княгини вдовы Федосьи Владимировой Голицыной показанных слов будто к словам оной княгини Долгоруковой о лекарстве я, Василий, не слыхал; тем всем оных княгинь поклепал напрасно, также про дворовую женку ее, княгини помещицы моей, Мавру Тимофеевну и про калмычку из Татарской слободы вымыслил затейно, а то все затеял я по злобе, понеже была мне от тое помещицы моей, княгини Анны Долгоруковой, изгоня и от сыновей ее Якова и Владимира терпел я большие побои, и будучи я, Василий, в Москве, усмыслил в канцелярию для свидетельства мужеска пола душ подать доношение, чтоб меня, Василия, определили в матросы или солдаты, и как для подачи доношения хотел я нанимать подьячего, и свидевшись с ним в трактире в Охотном ряду, и там взял меня, Василия, человек княгини Анны Долгоруковой, Степан Плошкарев, с товарищи и привел на цепи во двор моей помещицы, а из двора отправили меня на съезжий двор, и я, убоясь над собою розыска, сказал за собою ее императорского величества «слово и дело», и меня повели в Преображенский приказ, и по присылке в тот приказ оные слова на помещицу свою княгиню Анну я, Василий, затеял по дьявольскому наущению, а от человек никто меня к тому не научал ни по засылке и ни по скупу с другими».

Написавши эти слова, Ярыжкин поднес колоднику бумагу и перо. Василий Данилов, приподнятый с своего ложа, дрожащим почерком подписал свое прозвище.

— Теперь,— сказал отец Петр,— оставьте нас.

Ярыжкин и солдат вышли.

— Твой грех прощен от Бога! — сказал отец Петр.— Это тебе глаголет моими недостойными устами сам Господь! Небо и земля прейдут, но словеса его не прейдут. Он обещает прощение тем, кто прощает своим врагам. Ты простил своим, и Бог тебе простил твой тяжкий грех.

Отец Петр прочитал ему разрешительную молитву и причастил святых таин.

— Что ты мне говорил про твои сношения с дьяволом,— сказал поп,— тот страшный грех тебе уже прощен, и я никому про него не скажу, а если бы написал про это в показании, так тебе такая беда пришла бы, что... ну да это... прошло! Господь с тобою!

Священник оставил больного. Караульный офицер представил показание колодника в Преображенский приказ.

Прочитавши поданное, князь Иван Федорович сказал своему дьяку:

— Освободить от ареста колодника и отослать в боярский двор Долгоруковой. А что он там у них в какой-то краже объявился, так пусть о том ведаются сами либо отсылают его куда хотят. Их человек, так пусть с ним делают что им угодно. А в генерал-полицмейстерскую канцелярию послать промеморию с копией его последнего показания.

На следующий день дьяк доложил своему боярину: «Промемория в генерал-полицмейстерскую канцелярию готова. Извольте подписать. А караульный офицер из Панкратьевской слободы сейчас пришел в приказ: извещает, что колодник, что помещен был у Федора Зюзи, сегодня на заре скончался».

— Выдать на покупку гроба и на саван два рубля. Попу отцу Петру сообщить,— приказал князь Иван Федорович.

Тело Василия Данилова, обернутое в саван, было положено в сосновый гроб и опущено в землю на Преображенском кладбище. Отец Петр совершил над ним обряд в доме Федора Зюзи. Покойника везли на телеге; никто не провожал его, кроме солдата, который должен был следовать за ним по обязанности. Никто не проронил о нем ни слезинки. У него в Москве не было ни родных, ни близких; не было их у него нигде на широкой земле. Грустно прошла его двадцатидвухлетняя жизнь; грустно постигла его кончина. Не могли помянуть его добром все, знавшие его: кража, обманы, побои — вот все, что составляло признаки его земного бытия! А между тем, он сделал доброе дело перед смертью — он простил за все пинки и побои, которые приходилось ему переносить, и простил не только пустыми словами, а поступком, которым спасал свою боярыню, не сознававшую в нём никакого человеческого достоинства, спасал и того боярчонка, который безжалостно поругался над ним.

ГЛАВА XXI

В доме князей Долгоруковых, находившемся на Воскресенской перспективе, в комнате, которой стены были обиты сафьянными обоями с позолоченными узорами, в высоком кресле белого цвета с золотыми полосками сидела княгиня

Анна Петровна. Не более трех часов прошло с того времени, как она, отпущенная на свободу Ушаковым, прибыла в свой дом. Перед ней стоял князь Яков Петрович, повесивши голову, с очень скорбным видом; поодаль от него, у столика с стеклянною доскою, из-под которой выглядывал вышивной рисунок цветного букета, стоял князь Владимир и с выражением досады смотрел на брата.

— Я виноват, маменька,— говорил князь Яков,— простите меня. Сам я не знаю, что говорил, не помню. Они меня поят да поят, а я думаю: «Как не пить? Может, это им в афронт будет». А они мне подливают да меня хвалят — говорят, будто я очень умен, Ушаков обещает определить меня в Тайную канцелярию на службу, уверяет, что с моими способностями я далеко пойду; займешь, говорит, со временем мое место. В милость к царице тебя введу. Я спрашиваю: «За что-де ко мне такая аттенция?» А он отвечает: «За то-де, что ты очень умный человек и на все способный». Я и в самом деле подумал, что он вправду так ко мне говорит и хочет мне добра. А он все подливает да подливает. Тут сам я не знаю, как опьянел, а что после того говорил, ей-Богу, не помню. Убей меня Бог, если помню!

— Негодный ты сын! — сказала княгиня.— Да как это язык поворотился у тебя на родную мать свою такое наговорить?

— Да я не помню, говорил ли я им или не говорил,— сказал Яков.

— Как же не говорил? — возражала княгиня.— Когда они знают, что у меня с детьми в семье какие речи держались. Откуда же они узнали про это?

— Маменька! — говорил князь Владимир.— Не сердись на Яшу. Может быть, он и в самом деле вовсе ничего такого не открывал. Его подпоили; он что-нибудь проболтал, а они уж после из его слов выцедили. Так они всегда поступают. Яша прост и добр. Его хитрец всегда проведет; по своей доброте он скажет такое, что другой увидит его насквозь и сам узнает такое, что Яша и не сказывал ему. Поверьте, маменька, так было. Сердиться на него не надобно.

— Ох дети, дети! — говорила княгиня.— Беда мне с вами!

— Беда, слава Богу, миновала,— сказал князь Владимир.

— Хорошо, что так случилось,— сказала княгиня.— Нас спасло только то, что этот шельма Васька, подавши донос в Москве, пришел в чувствие и отрекся от своего доноса. Не случись этого, мне пропадать бы неминуемо, да и вам,

детям моим, было бы худо! А через что? Через глупость Яшину. Меня княгиня Федосья давно уже учила, как говорить, коли, не дай Бог, что станется. Я так и стала, сделала по ее совету. Уперлась-таки да уперлась. Мало того, что обвинить меня не мочно было, еще и милость хотели показать. Девиер горячо взялся было хлопотать у государыни, чтоб изволила заплатить долг Сережин; отпустил он меня так вежливо, так любезно... И дело пошло бы на лад. Как вот, на беду, Ушаков вздумал Яшу кликать к себе. Пронюхали, значит: мать-де умна, ее не проведешь, а сын глуповат; позовем сынка, он выболтается!

— Что об этом толковать? От чего ни случилось, да случилось, а слава тебе, Господи, что окончилось счастливо,— говорил князь Владимир.

— Да, счастливо! — говорила княгиня.— А срама-то, срама! Разве мало его? Теперь поехать куда-нибудь в гости, так пальцами указывать станут. А не дай Бог узнают еще, что высекли! И Боже сохрани!

— А что делать, маменька! Что ж, что высекли? — говорил князь Владимир.— Мало ли кого секли? И на спине светлейшего сколько палок походило! Воля царская. Тут афронта нет никакого.

— Ну, Яша, Бог с тобой! Прощаю тебя, ты мой сын, мое дитя, моя кровь!

Яша с чувством поцеловал руку матери.

— Княгиня Федосья Владимировна приехали! — сказал вошедший холоп, и вслед за ним вошла в комнату из зала княгиня Голицына.

— Анюта, ты, слава Богу, жива и здорова! — воскликнула княгиня Федосья. Княгиня Анна вскочила, и обе сжимали одна другую крепко в объятиях.

— Вот,— сказала княгиня Федосья,— еще не помню такого радостного дня в своей жизни, как сегодня! Как ты прислала за мною, я так и полетела, и пока доехала до тебя, так показалось ужасть как долго. Ну, голубушка моя, Анюта, рассказывай, что с тобой было, что делалось?

ГЛАВА XXII

Княгиня Федосья уселась на диване, окрашенном в такую же белую краску, как и кресло, на котором прежде сидела княгиня Анна, с золотыми полосками и с золотыми барельефами посредине спинки, изображавшими Аполлона и девять муз. Княгиня Анна, как предупредительная хозяй-

ка, подмостила ей под спину бархатную подушку с золотыми вышивками, малинового цвета, такого же, каким обит был диван и вся мебель светлицы. Хозяйка села возле нее и начала свою повесть. Когда ее рассказ дошел до того, как ее взяли из дома и привезли в Тайную к Ушакову и там она увидела доносителя на себя, Яшу, княгиня Федосья с видом укора посмотрела на князя Якова и покачала головою. Княгиня Анна говорила:

— Подпоили его, Феня, подпоили! Он вина у меня совсем никогда не пил. А тут, знаешь, видит, важные люди просят его, лебезят около него, он по своей простоте не посмел отказываться, пьет, коли велят, а потом повели его, пьяного, и говорят, что ты, дескать, на мать свою наговорил! Бедный туда-сюда: «Я не говорил, с чего вы это взяли?» —«Нет,— твердят ему,— ты говорил, нас двое, свидетель есть — отпираться не смей». Он, бедный, и руками и ногами от них отмахивается. Тогда они его прогнали, а я осталась — и вдруг подо мною пол опускается, как будто в какие-то тартарары... руки не идут под пол, а ноги под полом!

— Ай! — воскликнула невольно княгиня Федосья.

— А Ушаков стоит передо мною да говорит: «Сознайтесь, княгиня! Тогда вас сечь не станут». Что ж будешь тут делать? «Я созна́юсь,— говорю,— в чем хотите, созна́юсь, когда бить станут!» Тут привели мою Мавру Тимофеевну. Та было стала запираться, а я вижу, что из того ничего не выйдет, говорю ей: «Нечего делать! Сознавайся во всем. Пропали мы все, видно!» Она созналась. Потом меня повели куда-то, я сама не знаю куда, посадили в карету, и отвезли в крепость, и там посадили в комнату с толстыми-толстыми стенами, и заперли. Одно окно, да и то вполовину замазано снаружи, а за окном с наружной стороны железные решетки. Сижу я там и плачу горькими слезами. И вот, Феня, пошли для меня страшные-престрашные дни! Одна, ни души человеческой не вижу и не слышу, только часовой, слышно, топает в коридоре да часы на колокольне выбивают, когда приходит им время. А придут раз в сутки, есть принесут, одно кушанье в оловянной миске поставят да уйдут, что спрошу — не отвечают. А утром женщина придет постель убрать, и та ничего не говорит, знать, запрещено им разговоры вести. И не чаяла я, Феня, никакой себе льготы. Думаю: «Верно, в Сибирь зашлют, а может быть, тут, в крепости, навек оставят сидеть!» И так прошло девять дней! Господи ты Боже мой!

Врагу лютому не пожелала бы такой муки, какую я за эти дни перенесла! Вдруг на девятый день отпирают мою комнату. Вошел смотритель и говорит: «Пожалуйте, княгиня, карету за вами прислали; требует к себе генерал Ушаков».— «Ну,— думаю,— пришел конец мой теперь. Что Бог даст, пусть то и будет. Уж лучше, кабы голову отсекли!» Вышла я, а там, на крепостном дворе, карета, а возле нее, вижу я, стоят мой Яша и моя Мавра Тимофеевна. «Извольте садиться в карету. Всех вас повезут к Ушакову». Вот поехали и приехали. Ведут нас по лестнице к Ушакову. У меня так ноги и подламываются. Чуть-чуть иду. Вошли в залу, вижу, стоит Ушаков, возле него какой-то ихний приказный человек с бумагами. Ушаков видит меня, кланяется и говорит: «Княгиня, вы теперь свободны! Тот холоп ваш, что на вас доносил, заболевши, перед смертью пришел в раскаяние и показал, все-де, что он прежде на вас доносил, все это неправда, сделал он на вас по злобе, за то, что от вас, а паче от вашего сына была ему жесточь. Теперь извольте в той карете, в которой приехали из гарнизона, отправляться к себе домой или куда вам будет угодно. Больше вас по этому делу никто не смеет беспокоить». Тут я ему сказала: «Генерал! За что же вы меня изволили высечь и за что я потерпела заключение? Теперь вот вы сами говорите, что я ни в чем не виновна!» «Это,— говорит он,— не моя вина, княгиня. Не я вас высек и держал в крепости, а закон! Я только закон исполнял». Я ему на это: «Если так,— говорю,— так попросите государыню императрицу, не изволит ли она показать ко мне какую-нибудь милость за то, что я невинно потерпела от закона!» На это Ушаков сказал: «Княгиня! Рад бы сделать вам угодное, только это не мое дело. Я не имею права по своей обязанности беспокоить государыню такими просьбами. Обратитесь насчет этого к Девиеру. Он, Девиер, мне говорил, что обещал ходатайствовать за вас, чтоб государыня изволила заплатить долг за вашего сына, и уже собирался ехать за этим делом к государыне. Да тут неожиданно ваше дело возникло и помешало. Теперь кстати будет — съездите к нему, попросите его. Он человек добрый и к вам очень расположен. Съездите непременно». А мой Яша, простачок-добрячок, стоит тут же возле меня и говорит ему: «Вы, генерал, призывали меня к себе и предлагали определить меня на службу в вашу канцелярию. Теперь вот маменька моя не виновата, и я прав; не будет ли вам угодно оказать мне милость и по вашему обещанию определить меня?»

Молодо-зелено, видишь! Нашел время и место! Ушаков только засмеялся и говорит: «Я, князь, подумаю об этом; когда можно будет, пришлю за вами». Да после этих слов и отвернулся от нас. Нечего было больше делать. Мы сели в его карету, все трое, и приехали домой. Спустя немного времени я послала известить тебя, Феня.

— Спасибо тебе, душа моя,— сказала княгиня Федосья.— А ведь и меня звал к себе Девиер, только я помню, что говорил мне про такие случаи покойный мой муж, да и братья тоже научали. Оно мне тут и пригодилось. Начал было он, Девиер, подпускать ко мне свои турусы на колесах, а я не поддалась на его подходы да с первого раза обошлась с ним так, что ни с какой стороны не подойдет ко мне: стал спрашивать насчет твоего дела, а я ему все одно да одно: ничего-де не видала, ничего не слыхала. Он с тем и отпустил меня, и более меня уж никуда не звали.

— Как ты думаешь, Феня,— спросила княгиня Анна Петровна,— ехать мне к Девиеру?

— Зачем ты к нему поедешь? — спрашивала княгиня Федосья Владимировна.

— Припомнить ему, что он сам обещал, и просить походатайствовать у государыни, чтоб оказала мне милость за то, что я невинно потерпела,— сказала княгиня Анна Петровна.— Ушаков же сказал мне: «Поезжайте к Девиеру. Он к вам расположен».

— Разве ты, Анюта, и теперь еще не понимаешь, что тебе это говорили, только выпытуючи тебя; пробовали, с какой стороны к тебе можно подъехать! — говорила княгиня Федосья Владимировна.

— Уж если к кому ехать просить, так лучше к князю Василию Лукичу,— сказал князь Яков.

— Да я к нему ездила! — сказала княгиня Анна Петровна.

— Сынок твой говорит правду,— сказала княгиня Федосья Владимировна.— Князь Василий Лукич тогда тебе отказал, потому что он точно бережет царскую казну. Но князь большой заступник за честь своего рода. Он пошел по покойнике Якове Федоровиче. Тот ведь как отстоял у царя Петра моего брата Василия по царевичеву делу! Брата моего только сослали, а потом вернули снова, а если б князь Яков Федорович не заступался за него, так брат потерял бы и голову. И теперь я думаю про князя Василия Лукича; его попросить, что вот, дескать, его роду долгоруковскому чинится какое бесчестье: берут в Тайную

вдову с сыном, секут, запирают в крепость, а потом оказывается, что все понапрасну, что они невинны и душою и телом, да и сам доносчик снимает с них прочь свой извет. Он, пожалуй, как про все это узнает, примет это к сердцу и не откажет тебе, как прежде. Положим, не сделает для тебя так много, чтоб царица долг заплатила, а все же выпросит для тебя и для твоей семьи какой-нибудь особой царской милости и льготы.

— А я думаю так,— сказал князь Владимир,— пойти к Меншикову. Я без того пойду просить: за что меня, по случаю извета на мать, из кавалергардов выписали? Да и попрошу его за маменьку.

— Меншиков,— сказала княгиня Федосья,— Долгоруковых роду неприятствен. Он издавна к нему злобствует. Вся Россия знает, что Долгоруковых род древний, знатный; он с прежними царями в родстве и свойстве. А Меншикова род откуда? Сам он пирогами торговал, сказывают, когда мал был! Подбился в милость покойному царю не какими ратными и государственными делами, а через то, что потехам царским был потаковник, таким потехам, что и сказать-то стыдно, и только через то вошел в такую славу, что выше родовитых особ стоит, светлейшим называется; такого титула не дали кому-нибудь почестнее родом, а дали ему! Поэтому вот зазнался он, а все-таки ему мозолит то, что кругом него есть люди знатные. Хотел бы он, чтоб все кругом его было подлого происхождения, как он сам. От этого он и нас, Долгоруковых, не терпит.

После этого разговора завели княгини другую беседу. Княгиня Федосья рассказывала приятельнице о разных слухах и событиях, случившихся с той поры, как княгиня Анна была в заключении. Когда после того княгиня Федосья уехала домой, княгиня Анна Петровна начала интимную беседу со своей Маврой Тимофеевной, которая была самою близкою особою, знавшею все ее тайны. Нельзя сказать, чтобы между боярынею и ее слугою, состоявшею у ней в крепостной зависимости, образовалась тесная, искренняя дружба, какая возможна между равными. Но у княгини была потребность сказать кому-нибудь, что у ней на уме. Княгиню Федосью княгиня Анна любила, но сознавала, что княгиня Федосья умнее ее, а потому часто княгиня Анна совестилась говорить ей так, как в данное время сама думала. Княгиня Федосья не одобряла мысли ехать к Девиеру и просить его; княгиня Анна соглашалась с нею и не могла оспорить ее, а все-таки от ней не отходила

мысль попытаться: ведь советовал же ей сделать это Ушаков, когда отпустил ее на свободу! И вот она заговорила об этом с Маврой Тимофеевной. Княгиня знала, что Мавра — слуга верная, не изменит; почему же с ней не поговорить? Она и не посмеет, не дерзнет слова неприятного промолвить; с ней можно вслух думать, и раздумывать, и передумывать.

— Мавра Тимофеевна,— сказала Анна Петровна,— не знаю сама, ехать ли к Девиеру? Княгиня Федосья не советует, думает, что он обманом обещания давал, а помнишь, Ушаков при тебе как говорил: «Поезжайте, поезжайте к Девиеру, он к вам расположен».

— По моему глупому холопскому рассуждению,— отвечала боярская боярыня,— вам, матушка княгиня, бесперепеременно следует поехать, а коли он не сделает, так и к князю Василию Лукичу поехать, как советовала княгиня Федосья Владимировна. Все средствия перепробовать, а то и к самой государыне съездить, сказать, что вот, мол, ваше величество, такое мне бесчестье напрасное, помилосердуйте, явите царскую милость, мы ведь не какие-нибудь, мы ведь князья Долгорукие!

— Да,— подумавши, сказала княгиня,— поеду к Девиеру. Только ты смотри, Мавра Тимофеевна, никому, никому про это. Чтоб княгиня Федосья не уведала, а то засмеет меня. Да и дети мои пусть про то не знают пока...

На другой день княгиня Анна Петровна, принарядившись и причесавшись галантным способом, отправилась к генерал-полицмейстеру. Во время прежнего свидания с княгинею Девиер так много показал ей любезности, что в голову княгине приходила даже мысль: не влюбился ли в нее Девиер? Женская суетность поддерживала в ней эту мысль вопреки голосу рассудка.

У подъезда в сенях привратник впустил ее, сказавши, что генерал-полицмейстер дома и в этот час принимает всех, кому до него нужда. Княгиня смело и весело пошла по уставленной кадками с деревьями лестнице, но когда вошла в переднюю, в которую так вежливо провожал ее некогда хозяин из своей гостиной, теперь, в этой передней, какой-то неизвестный ей господин, выходя из внутренних покоев дома с портфелью под мышкою, сказал ей:

— Граф не принимает. Он занят.

— Меня примет,— сказала княгиня.— Он мне позволил обращаться к нему.

И после этого ответа она сказала стоявшему здесь же служителю:

— Доложи, братец, графу Антону Мануйловичу, что княгиня Анна Петровна Долгорукова имеет крайнюю нужду видеться с его сиятельством.

Служитель пошел в комнаты и чрез несколько секунд, возвратившись в переднюю, сказал княгине:

— Граф приказал просить ваше сиятельство извинить их. Они не могут вас принять.

— Не может быть,— сказала княгиня,— ты, верно, как-нибудь переврал. Поди скажи: княгиня Анна Петровна Долгорукова просит графа уделить ей хоть минуту, а если граф теперь так занят, то пусть назначит время, когда мне приехать к нему.

Отправился снова по поручению княгини служитель во внутренние покои дома и, вернувшись в переднюю, сказал княгине:

— Граф приказал вам сказать, что он не имеет чести вести знакомство с княгинею Анною Петровною Долгоруковою и такой чести отнюдь не ищет. Просит граф не беспокоить его напрасными и бездельными посещениями, понеже он во вся часы занят бывает разными важными делами.

Ничего после этого не оставалось княгине, как повернуть домой. Княгиня не открыла своей приближенной боярской боярыне подробностей приема, испытанного в передней генерал-полицмейстера; ей было стыдно не только говорить об этом, но и вспомнить, и она ограничилась тем, что сказала:

— Не принимает никого! Делами важными занят, так мне сказали. Я не хочу к нему более ездить. Ну его! Коли захочет, сам пусть ко мне приедет.

— Ах он длинноногий комар! — воскликнула Мавра Тимофеевна.— Вишь ты! Некогда ему! А тогда небось как сладко наобещал!

Вошел к матери князь Владимир Петрович и сказал:

— Маменька! Я был сейчас у светлейшего. Насчет своего зачисления вновь в кавалергардскую роту просил. Светлейший удостоил меня наимилостивейшего приятия, обещал, что меня снова зачислят немедля, а засим, выслушав от меня о том, что с вами случилось, пожелал видеться с вами лично и велел просить вас, маменька, пожаловать к нему. «Я,— говорит,— для этой почтенной особы все постараюсь сделать угодное за перенесенное безвинно тер-

пение от Девиера и Ушакова». Он, маменька, им обоим недруг и рад будет вам сделать добро, в досаду им.

— Ах ты, мой добрый Володя! — воскликнула мать.— Ты это без моей просьбы сам о маменьке своей постарался! Вот сынок так дорогой сынок! Ты не то что Яшенька. Тот, по неразумию своему, маменьку в беду было впутал, а ты, душа моя, хочешь, чтоб все следы моего бесчестия были смыты. Спасибо, спасибо, Володя!

У княгини выступали невольно слезы. Она с глубоким чувством целовала князя Владимира, которому до того оказывала менее материнской ласки, чем князю Якову Петровичу.

ГЛАВА XXIII

Спустя сутки княгиня, нарядившись в лучшую свою робу, сделанную по тогдашней последней моде, села в карету и отправилась на пристань, где стояла ее собственная гондола. В этой гондоле она поплыла вниз по Неве и причалила к пристани, стоявшей на Васильевском острову, прямо против подъезда меншиковского дворца. Разрисованные столбы поддерживали круглый балдахин, осенявший эту пристань, а над балдахином вверху красовалась фигура Нептуна с трезубцем.

Два холопа, провожавшие княгиню, высадили ее из гондолы и, поддерживая под руки, повели к подъезду, до которого от пристани надобно было сделать пятнадцать или двадцать шагов. Княгиня вошла в большие сени, где на толстых каменных столбах была устроена лестница, двумя путями ведущая вверх. Близ окна в сенях за столом сидел чиновник, принимавший посетителей и поступавший с ними по соображению с данною от светлейшего инструкциею. Когда княгиня объявила ему, что светлейший звал ее к себе, чиновник указал ей путь наверх по лестнице, которая в нескольких местах на загибах была уставлена статуями и большими позолоченными подсвечниками с несколькими свечами, вправленными в каждом из них. Княгине предшествовал служитель, побежавший вперед докладывать князю. Княгиня Анна Петровна вошла в большую переднюю, а оттуда в длинную залу, освещенную рядом окон с полукруглыми перемычками и с верхним круглым оконцем над каждым из окон; на сводообразном потолке, расписанном фресками из мифологии, висел ряд хрустальных люстр с несколькими рядами вставленных свечей,

а между окнами на стене красовались длинные зеркала в золоченых рамах, украшенных резною работою. Служитель, отправившись во внутренние покои, воротился в залу и объявил княгине, что светлейший приглашает ее к себе в кабинет. Вслед за тем он отворил одну из дверей и указал туда рукою. Княгиня вошла. Князь Меншиков сидел одетый во что-то среднее между халатом и кафтаном, сделанное из шелковой грубой ткани голубого цвета и усаженное по полам большими перламутровыми пуговицами. Князь был еще без парика, в утреннем одеянии; на голове у него была красная бархатная четвероугольная шапочка с золотою кистью. Он сидел в широком кресле, обитом красным сафьяном, с золочеными локотниками и спинкою, облокотясь одной рукой на длинный письменный стол красного дерева со шкафом на верхней доске, в котором вделано было множество маленьких ящичков. Против князя у окна в таком же кресле сидел старичок лет под шестьдесят, с добродушным выражением лица и с маленькими подвижными глазками; он был одет в серый кафтан, черные панталоны и черные шелковые чулки; по его приемам можно было признать в нем одного из умных и деловых людей, умеющих притом обращаться с людьми сообразно условиям, в какие они поставлены. Князь при входе княгини едва привстал со своего кресла и, слегка кивнув головою, указал ей место на коротком диванчике, поставленном у одной из стен кабинета.

— Твой сын, княгиня,— начал Меншиков,— был у меня, просил зачислить его снова в кавалергардскую роту: его исключили по ошибке. Он мне рассказал, что с тобой недавно произошла неприятность, и я пожелал видать тебя лично.

Говорил эти слова Меншиков таким тоном, как мог бы говорить державный государь: видно было, что он привык уже к роли властелина, хотя его толстое лицо, большие губы и грубый сиповатый голос не подали бы повода увидавшему его в первый раз счесть его человеком высшего происхождения, а пальцы на руках у него обличали человека, некогда не чуждого черных работ. Вид его был как-то угрюм.

— Расскажи, как это случилась неприятность с тобою,— продолжал он, обращаясь к княгине.— Не конфузься присутствием моего гостя. Это мой добрый друг, кабинет-секретарь ее величества, тайный советник и кавалер Алексей

Иванович Макаров. Он не повредит тебе, а напротив, надеюсь, будет еще полезен.

Княгиня смутилась, увидя Макарова и вспомнив прежнее с ним свидание. Она привстала и поклонилась Макарову. Тот молча отплатил княгине легким поклоном головы. Князь Меншиков продолжал:

— Расскажите, княгиня, как это с вами все случилось, без утайки все расскажите, не бойтесь ничего.

Княгиня начала свой рассказ о бывших с нею приключениях в генерал-полицмейстерской канцелярии и у генерала Ушакова, и когда дошла до того, как Ушаков по данному знаку приказал опустить пол и княгиню под полом стали сечь, Макаров усмехнулся, а Меншиков, державший голову опущенною, приподнял ее, взглянул на княгиню и опустил снова голову. Княгиня, рассказывая свои несчастья, плакала и прерывала собственную речь, но Меншиков, приподнявши голову, серьезно сказал:

— Княгиня, я попрошу тебя, рассказывай скорее!

Княгиня стала говорить торопливо, и по окончании ее повествования Меншиков сказал:

— Ты, княгиня, находила затруднение заплатить долг твоего сына. И теперь в том же состоишь положении?

— Светлейший князь! — отвечала княгиня.— Перевозились на Васильевский, строились, это ресурсы наши подорвало... Не скрою, светлейший, что мне теперь нелегко выплатить эти долги, что на сыне моем считаются, изъян мне большой! Но что изъян! Тут важнее дело: честь моя родовая потерпела! Я не то что с рождения моего в приводе не бывала, а думала век прожить и в гроб лечь честноименно, а вот случилось такое — ни за что ни про что; вор, шпынь, подлый холоп, озлившись за то, что за воровство его били, сочинил на меня такую затею, потом сам же, пришедши в чувствие, в своей неправде повинился, а я-то через его затеи что вынесла!

Княгиня при этом плакала. Меншиков спросил ее:

— Как велик долг, что считается на твоем сыне?

— Тридцать тысяч ефимков,— сказала княгиня.

— Долг сей будет выплачен,— сказал Меншиков.— Это тебе, княгиня, в вознаграждение за то, что понапрасну потерпела. Мимо такового казуса сей уплаты не последовало бы на твоего сына никоими меры, понеже с какого повода платить казне долги князей Долгоруковых, которые довольно свои маетности имеют. Но ваше терпение, невинно перенесенное, дает повод на партикулярную к вашей

персоне аттенцию. Изволь внушить своему сыну, князю Сергею Петровичу, когда он воротится из чужих краев, что выручил его из долга и возвращению в родной край содействовал князь Александр Меншиков. Без его милости и протекции тому бы не бывать! А князь Меншиков, коли кого полюбит, тому на свете будет жить тепло! У меня много врагов; они не только всяческими способы мне вред учинить хотят, но к тому и добрых людей против меня наставляют. Я по чувству Христовой любви врагам своим прощаю и воздавать им злом за зло не хочу, а если б захотел, то многие уже теперь были бы в Сибири, они же доселе в чести и в чинах немалых благополучно живут да про меня худое плетут. Разносят, будто я в царской милости не твердо обретаюсь и в силе своей упадаю, а я все тот же, и Бог меня хранит. Я злобе их не внимаю: они меня съесть хотят, да не могут, и оттого что не могут ничего мне сделать, я их не боюсь и не трогаю. Пусть злобствуют! Я еще им же добро сделать готов, и неоднократно то бывало: под Меншикова яму роют, да в ту же яму сами попадают, а Меншиков их из ямы вытаскивает. Не раз бывало, что Меншикова думали погубить, да сами себя губили, а Меншиков, зная их против него умыслы, за них же печаловался. Оттого это все делается, что Меншиков в помощи божьей живет. Господь — просвещение мое и спаситель мой! Ничего не сделает мне против божьей воли человек лихой. Вот вы, княгиня, и знайте — коли станут говорить: «Да что Меншиков? Он теперь уж не тот Меншиков, что прежде был! Теперь нет за ним прежней царской милости»,— а ты, княгиня, слушаючи это, не верь, государыня моя, и сыновей своих учи, чтоб таким речам не верили.

— Пока жива буду, ваших милостей не забуду! — сказала княгиня и стала целовать руку Меншикова, а Меншиков, не препятствуя ей делать это, в то же время обратился к Макарову и сказал:

— Алексей Иванович! Напиши доклад о выдаче княгине Анне Петровне Долгоруковой тридцати тысяч ефимков в уплату долга сына ее, князя Сергея Петровича, находящегося в Голландии, и поясни, что сие учиняется в видах вознаграждения ей, княгине Анне, за претерпенное заключение и поклеп в дурном умысле на государыню, что все княгиня испытала по ошибке и неосмотрительности господина генерал-полицмейстера Девиера и начальствующего Тайною канцеляриею генерал-майора Ушакова.

Потом, обратившись к княгине, Меншиков прибавил:

— Ты, княгиня, получишь свои деньги завтра. Доклад подастся в свое время, а я имею от царицы полномочие выдавать в штатс-контору предписания на выдачи денег по своему усмотрению.

— Доклад,— сказал Макаров,— будет иметь то действие, что Девиеру и Ушакову сделано будет строгое внушение за то, что неосмотрительно поступают, оскорбляют неповинно шляхетных персон и через то подвергают казну утратам, понеже долг есть верховной власти вознаграждать оскорбленных по достоинству.

— Итак, государыня моя княгиня,— произнес Меншиков, вставши со своего места, чтоб отпустить княгиню Анну Петровну,— препоручаю себя вашему вниманию!

Княгиня, простившись со светлейшим князем, вышла из его дворца тем же путем, как и вошла. Села она в свою гондолу, дожидавшую ее у пристани, вместе с провожавшими свою боярыню холопами, и поплыла вверх по Неве. День был осенний, холодный, но ясный, каких немного бывает осенью в Петербурге. На душе у княгини было так легко, так весело, что все кругом ее смотрело как будто большим праздником. Казалось ей, как будто все сочувствуют ее радости, ее счастью, как будто все, навстречу ей плывущие по Неве, уже знают о том, что случилось с нею у князя Меншикова: одни завидуют ей, другие, по добродушию, довольны, что ей привалило такое благополучие. Наконец княгиня причалила к пристани у Литейной; там ждали ее лошади с коляскою; приехала она в свой дом, и первая личность, встретившая ее, была Мавра Тимофеевна.

Боярская боярыня, выпроводивши княгиню в путь к светлейшему, беспрестанно выбегала смотреть на крыльцо, не возвращается ли ее боярыня, стояла на крыльце по несколько минут, уходила в комнаты и снова на крыльцо выходила. Мавра Тимофеевна искренно была привязана к своей боярыне и, правду сказать, несравненно сильнее, чем боярыня к ней. Это была истинно холопская привязанность, такая, какая возможна была только при существовании крепостного права, когда холопи, не имея значения по собственной личности, так прилеплялись к личности господ своих, что происходившее с последними напечатлевалось в сердце их холопей так же, как и то, что бы с самими холопами происходило. Господские радости и печали были их собственными радостями и печалями; терял ли господин

что-нибудь или приобретал — для верного холопа было все равно как бы он сам что-нибудь терял или приобретал; у холопа ничего своего не было, он и сам был не свой, зато все, что имел его боярин, холоп считал как бы своим собственным. Обо всем, что касалось его боярина, он выражался не иначе, как словами «наше, мы». Но такая сердечная привязанность была только со стороны холопей к господам, а не обратно — господ к холопям. У господ было свое, поэтому господин не нуждался и не мог нуждаться ни в чем холопском. Только ничего не имущий может быть проникнут беззаветною любовью к другим. Когда у человека заведется своя копейка, он поневоле становится эгоистом, по крайней мере, настолько, что для него во всем существует смысл пословицы: «Своя рубашка к телу ближе!»

Мавра Тимофеевна была в этом отношении совершенным типом холопки, беззаветно преданной своей госпоже. Никакие выгоды и обещания не в силах были поколебать ее сердечной привязанности; она могла изменить боярыне разве только в виду угрожающих ей мук, да и то разве под невольным влиянием испуга, когда человек не дает себе отчета, почему он такой, а не иной шаг сделал, почему он сказал так, а не иначе. И теперь Мавра Тимофеевна, дождавшись княгини, по сияющему лицу своей боярыни догадалась, что с тою случилось что-то очень приятное, и сама Мавра Тимофеевна, не зная еще, в чем дело, уже просияла радостью.

— Ну, слава Богу, Мавра Тимофеевна,— сказала княгиня.— Все кончилось как нельзя лучше. Светлейший пришлет завтра тридцать тысяч ефимков в уплату долга Сережина!

Мавра Тимофеевна в умилении перекрестилась.

Повидавшись с сыновьями, княгиня Анна Петровна и перед ними излила чувства радости и довольства. Она обнимала, целовала и благодарила Владимира, совершенно простила Якова и в знак полного примирения поцеловала его в лоб и осенила крестным знамением.

Между тем Мавра Тимофеевна не утерпела и побежала в людскую сообщить холопской компании, какую там застала, о неожиданном благополучии, ниспосланном их боярыне. Там застала она приехавших из Москвы дворовых боярских людей. Они рассказывали дворне, что Василий Данилов умер. Мавра Тимофеевна сказала:

— Наделал было беды своей боярыне, да покаялся и

повернул так, что из беды вышло добро. У светлейшего были: светлейший поступился от государыни заплатить долг князя Сергея Петровича. А все-таки негде правды деть, посекли немного ее сиятельство! — прибавила Мавра Тимофеевна шепотом и оглядываясь, не услышит ли кто ею сказанного.

— Их, господ, хоть и посекут, зато деньгами заплатят, коли найдут, что посекли неповинно, либо чем другим воздадут, а нашему брату хоть испишут спину ни за что ни про что, а денег не дадут ни копейки. «Засохнет как на собаке!» — говорил один старый холоп. А отчего? Оттого, что господская шкура совсем иная, чем наша. Господ иначе создал Бог, чем нашего брата.

— А все ведь это сталось через Ваську Данилова, сякого сына,— заметила одна женщина.— Не угоразди его лукавый донос затеять, не получила бы наша боярыня таких денег от казны.

— Что ж! Он хоть донос подал, да зато после опять снял его. Через это он и учинил добро своей боярыне, что снял свой донос с нее,— заметил один холуй.— Значит, в чувствие пришел, покаялся, не совсем, значит, лукавому отдался на лихие дела.

— Пусть Господь простит ему и помилует его грешную душу! — сказал другой.

Позади произносившего эти слова стояла Груша, та самая, из-за которой князь Яков озлился когда-то на Василия Данилова. Она перекрестилась; на ресницах у ней показалась слеза. Она вышла из людской. Эта девушка успела уже побывать в руках князя Якова Петровича, успела и надоесть ему, поневоле уступив место другой сенной девушке. Вспомнила Груша про Василия, и стало ей больно и грустно. Этот парень любил ее, а она от него руками и ногами отбивалась. «Может быть, оттого с горя и задуровал! — подумала она.— А что ж было делать? Мы ведь подневольные люди».

На другой день Груша выпросила у своей боярыни медных денег — свечку поставить у обедни. Княгиня была тогда очень ласкова под влиянием своего благополучия. Пришедши перед началом обедни в церковь Воскресенья Христова, что на Воскресенской перспективе, Груша купила копеечную свечу, поставила ее перед местным образом Спасителя и, отошедши, крестилась, тихонько приговаривая: «Господи! Помяни во царствии твоем усопшего раба твоего Василия!»

ЧЕРНИГОВКА

Быль второй половины XVII века

I

1676 года в июне месяце в город Чернигов воротился черниговский полковник Василий Кашперович Борковский из Батурина, куда ездил по гетманскому зову для войсковых дел. Полковник ехал в колясе, запряженной четырьмя лошадьми, а по бокам его колясы ехало с каждой стороны по верховому казаку из его собственной полковничьей компании. По мосту, построенному через реку Стрижень, коляса въехала в деревянные ворота с башнею наверху, сделанные в земляном валу, окаймлявшем внутренний город, или за́мок; бревенчатая стена, шедшая поверх всей окраины вала, носила, с первого взгляда на нее, следы недавней постройки. Удар колокола на башне возвестил о возвращении господина полковника. Коляса въехала в один из дворов неподалеку церкви св. Параскевии, под крыльцо деревянного дома, обсаженного кругом молодыми деревцами, которые были огорожены плетеными круглыми загородками для защиты от скотины. Разом со въездом во двор полковника спешили во двор полковые старшины — обозный, судья и писарь, как только услышали звон на башне, возвещавший о приезде полковника. Полковник вышел из своей колясы, взошел на крыльцо и, подбоченясь по-начальнически, ожидал старшин, скоро шедших по направлению к крыльцу и уже на дороге снимавших шапки. Полковник в ответ на их поклоны чуть приподнял свою шапку, ничего им не сказал, а только смотрел на них и повернулся ко входу в свой дом. Старшины последовали за ним, неся в руках шапки. Выбежавшие из дома служители суетились около колясы и вынимали оттуда дорожные вещи. В сенях встречали полковника члены его семьи: жена, сын и две дочери. Не сказавши ни слова семье, полковник обратился к писарю и сказал:

— Пане писарю! Швидше біжи і пиши універсальні листи до всіх сотників: нехай незабаром з'їздяться до Чернігова з виборними козаками із своїх сотень. Поход буде. Припиши ще: который забариться і не прибуде в термін, той не утече значного військового карання. А вас, панове суддя

і обозний, я покличу. Розговор з вами буде. Пан гетьман ординує наш полк в Задніпре на Дорошенка.

Старшины ушли. Полковник вошел из сеней в просторную комнату, уставленную по окраине стены лавками, покрытыми черною кожею, несколькими креслами с высокими спинками и двумя столами, покрытыми цветными коврами. Служитель снял с него верхнее платье. Тогда полковник поцеловался с женою, потом с детьми, которые, подходя к отцу, прежде кланялись ему до земли, а потом целовали ему руку. Полковник приказал служителю подать трубку и расселся в кресле близ стола.

Полковница, матерая женщина лет за сорок, в парчевом кораблике на голове и в зеленой, вышитой серебром су́кне, спросила мужа, не прикажет ли он подать что-нибудь поесть и выпить. Полковник поморщился, сказал, что он на дороге поел, а до ужина недалеко, но потом, подумавши, попросил выпить терновки. Ему подала на подносе вошедшая прислужница. Полковник выпил, поставил серебряную чарку на поднос и спросил жену:

— Був хто у нас без мене?

— Новий воєвода приїздив,— сказала полковница.

— Який же він з виду? — спросил полковник.

— Так собі чоловічок,— отвечала полковница,— не дуже старий, не дуже молодий; лице йому червоне, трохи дзюбане. А хто його зна, що воно таке єсть! Я спитала його: чи гаразд йому домівка здалася; він одвітив, що добра, і зараз почав сам себе вихваляти. «Зо мною,— каже,— уживетесь, бо я чоловік простий, і правдивий, і з душі,— каже,— полюбив народ ваш малоросійський. Дай Бог, щоб ви мене так полюбили, як я вас». Потім почав говорити по-божественному, про церкви розпитовав, хвалив тебе, що усердствуєш божій церкві і храми будуєш.

— Вони,— сказав полковник,— усі такі ласкаві, як до нас приїдуть, а обживуться — так і не такими стануть.

— А я вже,— сказала, переминаясь, полковница,— і про сього прочула не дуже добрую річ.

— Що таке прочула? — спросил напряженно полковник.

— Говорять: через день після того, як сюди приїхав, став допитоваться, які у нас в Чернігові єсть чарівниці, і уже одну, кажуть, приводили до його стрільці москалі із тих, що тут зоставались після прежнього воєводи.

Полковник не отвечал на это ничего, как будто не слыхал того, о чем сообщала ему жена, и завел речь о другом, сообщил, что их полк посылают вместе с другими на

Дорошенка понуждать его, чтоб ехал, по данному прежде обещанию, на левый берег Днепра слагать с себя гетманский сан перед князем Ромодановским и гетманом Иваном Самойло́вичем. Полковник изъявил сожаление, что ему не дают времени строить предпринятые здания в Чернигове и беспрестанно отрывают по другим делам. Борковский был большой охотник строиться. Много церковных зданий в Чернигове обязаны ему поправками, прибавками, а иные — появлением на свет. И теперь был он озабочен постройкою братской трапезы в Елецком монастыре, поручал в свое предполагавшееся отсутствие жене наблюдать за начатым делом, вести переговоры с штукатурами и малярами и приказывал ей во всем поступать с совета отца архимандрита Иоанникия Голятовского. Во время этой беседы с женою дети находились здесь же и стояли почтительно у стены: хотя сыну пошел уже двадцатый год, а одной из дочерей — семнадцатый, но они без воли отцовской не смели сесть в присутствии родителя и завести речь с ним, прежде чем он сам за чем-нибудь к ним обратится. С самой женой Борковский хотя был любезен, но постоянно серьезен, и жена, применяясь к его нраву, говорила с ним так, что готова была только исполнять то, что он придумает и ей укажет.

Во время беседы полковника с женою вошел служитель и доложил, что идет новоприбывший в Чернигов воевода. Полковник тотчас встал и пошел к дверям, в которые входил гость. Это был краснощекий, с небольшою круглою русою бородкою, невысокорослый человек, одетый в бархатный кафтан голубого цвета с большим стоячим воротником, вышитым золотом. Кафтан был застегнут на все пуговицы, серебряные, грушевидные, с прорезью. Воевода нес в руке шапку, сделанную наподобие колпака. Его звали Тимофей Васильевич Чоглоков. Осклабляясь, он поклонился полковнику, касаясь пальцами до земли, и сказал:

— Земно и низко кланяюсь высокочтимому господину полковнику! Я новый черниговский воевода, недавно прибыл в ваш город по указу царскому на уряд. Челом бьем и усердно просим любить нас и жаловать и быть к нам во всех делах милостивцем!

И воевода еще раз поклонился, коснувшись пальцами одной руки до помоста.

— И к нам, недостойным царским слугам и подножкам царского престола, просим быть милостивцем и теплым заступником перед царским пресветлым величеством,—

сказал полковник, также кланяясь.— Се моя господиня,— прибавил Борковский, подводя к воеводе жену,— а се мої діти, їх же ми даде Бог!

— С боярынею твоею видались мы,— сказал, осклабляясь, воевода.— Как приехал я в Чернигов — первым делом было идти и тебе поклониться, а твоей вельможности тут не было, так я господыню твою милостивую видел и челом ей побил!

Воевода, кланяясь в пояс полковнице и детям, бросил мимоходом на старшую дочь Борковского такой взгляд, в котором опытному наблюдателю можно было отгадать впечатление, какое невольно производит на записного женолюбца вид каждого смазливого женского личика.

Жена и дети вышли. Полковник усадил воеводу в кресло и начал с ним разговор. Немного спустя вышедшая за двери пани Борковская ворочалась снова в сопровождении служанки, которая несла на серебряном подносе графин с водкою и варенье. Полковница просила воеводу отведать ее хозяйственного приготовления, так как она сама наливала водку на ягоды и сама варила варенье.

Воевода, выпивши, по обычаю поцеловался с хозяйкою, потом, обратясь к хозяину, сказал:

— Воистину, видимо, благословение божие на доме твоей вельможности! Жена твоя яко лоза плодовитая и дети твои яко гроздие вокруг трапезы твоея!

— А у твоей милости, господин воевода, с собою здесь хозяйка? — спросил полковник.

— Нету,— отвечал воевода,— молодым было родители меня женили, да жена, проживши со мною три года, померла.

— Что ж? Господин воевода еще не стар. Может быть, пошлет Бог другую супружницу,— сказал полковник.

— Я тебе доложу, господин вельможный полковник, вот как,— говорил с многозначительным постным выражением лица воевода,— я точно еще не стар, да познал тщету земного жития. О душевном спасении хочу мыслить, а не о телесных сластех.

Полковник бросил жене недоверчивый взгляд и спросил воеводу:

— Твоя милость у нас в гетманщине перво́ на воеводстве или были прежде еще в каком нашем городе?

— В малороссийских городах пришлось быть в первый раз у вас в Чернигове на воеводстве, а в слободских полкех был воеводою в Харьковском полку в городе Чугуеве; там

немного узнал я ваших людей. И скажу твоей вельможности по душе: так полюбил ваш народ, что жалею, зачем не родился вашим человеком! Такие у вас добрые, богоугодные люди, от них же первый и найлучший господин полковник черниговский: об нем далеко слава идет. И в Москве все говорят про то, как он усердствует о благолепии церквей божиих и как ко всему священному делу навычен и охочен.

— Я последний и найхудейший от многих,— сказал Борковский.— Трудимось в поте лица своего, по божией воле, да в день судный заступление имамы от пресвятыя богородицы.

— Был я,— говорил воевода,— у преосвященного Лазаря, и у отца архимандрита Иоанникия, и у отца игумена Зосимы. Какие это честные особы! Какие умные, сведущие философы! Истинно у нас в московской земле таких не сыщешь, хоть всю землю исходи. И они в един глас про вельможность твою доброе слово говорят да величают честность твою.

— Державмость на свете молитвами оных богоугодных мужей! — сказал Борковский.

Вошел полковой писарь с бумагами.

— Уже написано? — сказал полковник.— То добро́— бо к спіху надобно! Всім сотникам?

— Всім,— отвечал писарь.

Полковник закричал, чтоб ему подали каламарь, и подписал один за другим шестнадцать приказов сотникам Черниговского полка. Писарь, забравши бумаги, ушел. Вслед за тем служитель доложил, что у крыльца дожидается сотник черниговской сотни. Борковский приказал позвать его.

Вошел молодой, лет тридцати, мужчина, статный, белолицый, черноусый, с высоким открытым лбом, с большими глазами. Это был тогдашний сотник черниговской полковой сотни Булавка. Поклонившись полковнику, он обвел большими глазами вокруг себя и на мгновение остановил их на госте, как будто желая спросить полковника: можно ли при нем говорить о том, за чем пришел; потом, успокоившись от раздумья, начал полковнику говорить:

— Вашої вельможності прийшов спитать: будеть поход, як зараз прийшов лист от твоєї вельможності; чи можна мені оставить в го́роді і не брать в поход швагра мого, козака Молявку-Многопеняжного, бо він заручився і йому треба весілля грать?

— Того ніяк не можна! — сказал строго полковник.—

Коли твого швагра зоставить задля весілля, то другі козаки почнуть собі просити, аби їх зоставили. Хто задля весілля, хто задля похорон, а хто вигада собі інше що-небудь... Не позволю: не прохай! Нехай твій швагер підожде; вернеться з походу — тоді і весілля справить. Де твій швагер заручився?

— У козака Пилипа Куса,— сказал сотник.— Одиниця дочка у батька. Коли жодною мірою не можна зоставить мого швагра, так чи не можна тепер, у Петрівку, повінчать його, а весілля справлять тоді вже, як Бог дасть з походу вернуться?

— То вже не наше козацьке діло, а церковне,— сказал полковник.— Нехай просить владичного розрішення у преосвященного Лазаря, а я, полковник, од себе противності не маю. Нехай собі вінчаються, коли владика дозволить. Тільки ми в поход виступаєм в неділю, а післязавтра субота. Швагер твій мусить бути в поході.

— Как? Разве это у вас можно? — заметил воевода.— Вы, кажись, православного закона! Как же это? В Петров пост свадьбу праздновать?

Полковник отвечал:

— Власне, заборонняється в постни дні свадєбноє піршество — весільна гулянка, по-нашому,— а щоб совершить обряд церковний — на те потрібно тільки розрішення архієрея; аще архієрей знає, що праздника весільного і гулянки в піст не буде, то й розрішить. У нас, господин воєвода, такий єсть обичай од дідів і прадідів, що муж з жоною сожительствують і уважаються перед всім світом у брачному союзі, або, як у нас говориться, в малженстві, тільки з того часу, як справиться весілля у молодої і молодого, по нашому звичаю, як воно ведеться в народі нашім, а до тієї пори молода ходить як дівиця і головою світить, і ніхто її за мужатую невісту не уважає, аж поки на весіллі не покриють. Тим-то у нас архієрей можеть розрішити вінчання у піст, аби тільки знав, що до кінця посту не будуть справовати весілля.

В продолжение этой объяснительной речи сотник Булавка стоял, потупивши голову, но изредка с любопытством бросал взгляды на воеводу, а тот жадно слушал полковника.

— Странные для нас, русских московских людей, дела рассказываешь ты, господин полковник,— сказал воевода.— Такого ничего не делается у нас, в московской земле. Однако и то справедливо говорят добрые люди: что го-

род — то норов, что край — то свой обычай. Греха тут, я думаю, нет. У вас исстари так повелось, а у нас не так, а вера у нас все-таки одна остается, хоть, видишь, вон что́ у вас архиереи разрешают, а у нас никто к архиерею об этом и просить не посмеет пойти. У вас,— прибавил он, обращаясь не к хозяину, а к сотнику,— и при венчанье, может быть, такое творится, чего у нас нет?

— Не знаю,— отвечал Булавка,— я в Московщині не бував і не бачив, як у вас там діється.

— Непременно пойду в церковь, как будет венчаться казак, шурин этого сотника,— говорил воевода, обращаясь к Борковскому.— Прикажи, господин полковник, меня известить, я пойду!

— Сам с твоею милостию пойду! — сказал Борковский.

Сотник хотел уходить, но полковник приказал ему остаться. Воевода понял, что полковник имеет сказать сотнику нечто наедине, попрощался с хозяином и, провожаемый им в сени, ушел в свой двор, отстоявший от полковничьего саженях во ста.

Воротившись опять в комнату, Борковский сказал:

— Пане сотнику! Узнай ти мені, яку се чарівницю кликав до себе сей воєвода, як кажуть.

— Мені узнавать сього не приходиться, вельможний пане,— сказал Булавка,— бо я вже знаю. Приходила до його Феська Білобочиха, а приводив її стрілець Лозов Якушка. А за чим єї звано, того не знаю.

— Поклич єї зараз до себе, а як прийде — пришли з козаками вартовими до мене,— сказал полковник.

Сотник быстро ушел. Борковский велел позвать обозного, судью и писаря, разговаривал с ними о делах полковых и о походе. Наконец служитель доложил, что казаки привели бабу Белобочиху.

Обозный, судья и писарь при этом имени разом засмеялись.

— Що ви, панове, смієтесь? — сказал со строгим видом полковник.

Судья сказал:

— Вибачай, вельможний пане, либонь, яка справа точиться соромотна. Баба та Білобочиха відома сводниця в Чернігові!

— Еге ж! Добре, панове, що ви лучились,— сказал Борковский.— Увійдіте у другий покой і слухайте там, що стане казать мені ся Білобочиха.

Обозный, судья и писарь вошли по указанию хозяина

в другую комнату, следовавшую за тою, где происходила беседа. Ввели казаки бабу Белобочиху. То была низкорослая, с короткою шеею женщина лет пятидесяти, с маленькими, простодушными и вместе лукавыми глазками.

Полковник подошел прямо к ней с очень строгим и суровым видом и сказал:

— Бабо! чаклуєш! чарівничуєш! людям шкоди робиш! Ось я тебе пошлю до владики, щоб на тебе епітем'ю наложив да в монастир на працю заслав років на два або й надовше.

— Я нікому шкоди не діяла! — говорила баба, перекачивая голову и отважно глядя на полковника.— А коли хто покличе пособити в якій болісті, то не одмовляюсь, і твоя милость коли позовеш, то прийду і все подію, що можна і як Бог пособить.

— Брешеш! — сказал полковник.— Чого ти ходила до воєводи?

— А прислав звать, тим і ходила,— сказала Белобочиха.

— А по віщо прислав за тобою? Чого од тебе хотів? — спрашивал полковник.

— Та,— запинаясь, говорила баба,— казав про свою якусь хворобу, а я таки гаразд не второпала, що він там по-московськи мені казав; я йому одвітила: «Нічого не знаю». Да й пішла од його.

— Брешеш, бабо! — сказал полковник.— Не за тим тебе звано, не те воєвода казав тобі, не такий ти йому одвіт дала. Ей, козаки! — обратился полковник к тем казакам, которые привели Белобочиху.— Виведіть сю бабу на двір да й сполосуйте їй спину дротянкою-нагайкою.

— Пане вельможний! — вскричала Феська.— Я не стану доводить себе до нагайки. Скажу й без неї. Воєвода питав мене, чи не можна добуть йому дівчину красовиту: «Бо,— каже,— одинокий я чоловік, скушно спати». Таку, каже, дівку, щоб до його уніч ходила.

— А ти йому що на те сказала? — спросил полковник.

— Я сказала, не знаю... За таке діло ніколи не бралась! — отвечала Белобочиха.

— Брехня! Не те йому ти одвітила! — сказал Белобочихе полковник, потом, обращаясь к казакам, присовокупил: — Покропить їй нагайками плечі!

— Пане вельможний! — закричала Белобочиха.— Змилуйся! Всю правду скажу, тільки не виказуйте мене воєводі; він мене тоді з світа зжене, бо він звелів нікому того не виявляти, що мені казав.

— Моє полковницьке слово, що не скажу,— отвечал полковник,— і бити не буду, аби тільки правду сказала. Говори, да не тайся! Що одвітила? На яку дівку указала?

— Отже, всю правду повідаю,— сказала Феська.— Питав мене воєвода: яка тут у Чернігові красовитіша дівка? А я йому сказала, що як на моє око, так нема кращої над Ганну Кусівну, що отсе, як кажуть, просватана за козака Молявку. А воєвода каже: «Где би мені її увидить?» А я йому кажу: «А де ж? У церкві». А він казав, щоб я узнала, у якій церкві буде та дівчина, так він туди піде, щоб її повидати. От і все. Більш розмови у мене з воєводою не було. От вам хрест святий! — и Феська перекрестилась.

Полковник, разговаривая с кем бы то ни было, по выражению глаз и звуку речи отлично умел узнавать, правду ли ему говорят или ложь. На этот раз он заметил, что Белобочиха не лжет, и от ней он более ничего не добивался, а потому и отпустил. Феська убежала во всю старческую прыть, довольная тем, что избавилась от грозившей ее плечам дротянки.

— Чули, панове? — спросил полковник вышедших из другого покоя старшин.

— Чули, все чули! — был ответ.

— Так мовчіть поки до часу, а як час прийде, тоді ми заговорим, і, може, пригодиться те, що тепер чули!

II

Много цветов в садах зажиточных казаков, а между цветами нет ни одного такого, как роза. Ни крещатый барвинок, ни пахучий василек — ничто не сравнится, как говорит народная песня, с этой розою, превосходною, прекраснейшею розою. Вот так же: много красных девиц в городе Чернигове, и ни одна из них не сравнится с Ганною Кусивною — дочерью казака Пилипа Куса. Много писателей восхваляло в своих описаниях красоту женскую, так много, что если бы собрать все, что написано было в разных краях и на разных языках о женской красоте, то никакого царского дворца недостало бы для помещения всего, написанного по этой части. Но, правду сказать, если б стало возможности прочитать все написанное о женской красоте, то едва ли много оказалось бы там такого, что было бы выше одной истинной красавицы, существующей не в книгах, а в природе.

По этой-то причине мы не станем изображать красоты

Ганны Кусивны, а скажем только, что в течение трех лет оного времени в Чернигове кого бы ни спросили, кто из девиц черниговских всех красивее, все водно сказали бы, что нет красивее Ганны Кусивны; не сказал бы разве тот, кто уже полюбил другую девицу, так как всегда для влюбленного никакая особа женского пола не кажется прекраснее предмета его любви. Само собою разумеется, много было желавших получить ее себе в подруги жизни,— и как же должен был казаться счастливым тот, кому обещала красавица свое сердце! Эта завидная для многих доля выпала казаку Яцьку Феськовичу Молявке-Многопеняжному.

Ходит красавица в своем рутяном садочку, молодец подстилается к ней пахучим васильком, крещатым барвинком, ясным соколом пробирается молодец сквозь калиновые ветви, поймать хочет пташку-певунью, унести ее в свое теплое гнездышко. Вот сквозь ветви зеленых дерев блестит полуночное небо с бесчисленными звездами, всходит ясный месяц, и полюбилась ему одна звездочка паче прочих,— и месяц гоняется за нею, хочет схватить звездочку в свои объятия. А молодец Яцько Молявка-Многопеняжный посреди многих девиц черниговских полюбил паче всех прекрасную Ганну Кусивну и хочет ввести ее хозяйкою под свой домашний кров.

А в хате казака Пилипа Куса при свете лампады сидит пожилая Кусиха со свахою и с молодою дочерью Ганною. Они дожидаются старого хозяина казака Куса с его молодым нареченным зятем; вместе отправились они к владыке Лазарю Барановичу и воротятся с приговором судьбе Ганны Кусивны. С нетерпением мать и дочь прислушиваются к каждому звуку за окнами, за стенами хаты, на дворе и на улице, мало говорят между собою — все только слушают. Вот, наконец, заскрипели ворота, кто-то въехал во двор. Ганна бросается к окну, вглядывается во двор, озаренный лунным светом, и в тревоге восклицает:

— Матінко, се наші!

Вошли в хату казак Пилип Кус и казак Яцько Молявка-Многопеняжный.

Познакомимся теперь с обоими поодиночке.

Пилип Кус был казак лет сорока с лишком, плечистый, белокурый, с лысиной на передней части лба; в его волосах чуть пробивалась седина. По отсутствию морщин на лице и по веселым, спокойным глазам проницательный наблюдатель мог понять, что жизнь этого человека проходила без

больших потрясений и без крупных несчастий. В самом деле, за исключением немногих неприятностей, без которых вообще не обойдется земное бытие, этому человеку выпала такая доля, какую в тогдашней казацкой Украине мог иметь далеко не всякий казак. Родился Кус в Чернигове, где и теперь проживал, родился в семье не очень богатой и не очень бедной: у Кусова отца, как и у Кусова деда, всегда было что съесть, и выпить, и во что одеться, и нищему подать Христа ради. И у нашего Куса жизнь повелась точно так же. Раза три приходилось ему ходить в поход с прочими казаками своего полка, но ранен он не был ни разу; только навела было на него скорбь смерть его тестя, казака Мурмыла, убитого в схватке с поляками. Но ведь это чтó за несчастье в казацком быту, когда каждый казак с детства привыкает к мысли потерять в бою кого-нибудь из близких или самому положить голову! Пилип женился лет двадцати от роду, взял в приданое за женою кусок земли в седневской сотне дней в тридцать и жил с женою в полном согласии. У него, кроме жениной земли, был в верстах в осьми от Чернигова еще и отцовский участок с рощею, где стояла его пасека, и было у Куса довольно земли, так что Кус землю свою отдавал другим с половины. У Кусов было четверо детей, но трое умерли в младенчестве; уцелело четвертое дитя, дочка Ганна, которую теперь собирались родители отдавать замуж.

Жених Ганны Кусивны происходил от предков не из казацкого рода и был захожим человеком в Чернигове. Дед его, Федор Молявка, жил в Браславе и отдавал деньги в рост; за это какой-то дьячок приложил ему кличку Многопеняжный, и такая кличка привилась к его роду. Сыновья Федора наследовали, вместе с этой кличкой, любовь к отцовскому промыслу и возбуждали своею алчностию слух о несметном своем богатстве. Казацкий гетман Павло Тетеря, нуждаясь в деньгах, прицепился к одному из них, Феськý Федоренку, требовал от него денег; Феська, расставшись поневоле с тем, чего нельзя было укрыть, клялся всеми святыми, что у него более ничего нет, но Тетеря подверг его пытке, от которой Феська и умер. Скоро, однако, Тетеря был разбит Дроздом и выгнан из Украины. Но Дрозду нужны были деньги, так же как и Тетере, и Дрозд принялся за вдову Феська, взмылил ей спину нагайками, допрашивая, куда запрятаны у ней мужнины деньги, не добился признания и посадил ее в тюрьму.

Через месяц после того Дрозд был разбит Дорошенком,

отведен в Чигирин и там расстрелян. Вдова Феська освободилась из тюрьмы, но опасалась, чтоб и Дорошенко не стал делать с нею того же, что делали Дрозд и Тетеря; она поспешила выкопать из-под земли зарытые мужем червонцы и вместе с сыном и дочерью ушла на левую сторону Днепра. Два брата Феська еще прежде перебрались туда с женами и где-то поселились в слободских полках, куда, как в обетованную землю, стремились тогда переселенцы с правого берега Днепра. Вдова Феська Молявки-Многопеняжного не пошла слишком далеко искать новоселья, а по совету родных своих приютилась в Чернигове, выпросила себе место для двора и там построилась, как следовало. Дочь ее вышла замуж за Булавку, который потом сделан был сотником черниговской полковой сотни, а сын, который был моложе сестры своей несколькими годами, отдан был в обучение чтению и письму, а потом записан в казаки.

Грамотность была далеко не повсеместна между казаками, однако уже уважалась, и Молявка-Многопеняжный через то уже, что умел читать и писать, мог надеяться повышений в казацкой службе. Ему был двадцать второй год отроду, когда он увидал Ганну Кусивну и задумал на ней жениться. Яцько был под пару Ганне — чернобровый, кудрявый, становитый, писаный красавец и не беден, как говорили; кроме двора, у него никакой недвижимости в Чернигове не значилось, но слухи носились, что у его матери были деньги, а сколько было денег примерно, того не говорил никто, и сам сын не в состоянии был сказать. Несчастия, перенесенные его матерью из-за денег, сделали ее скупою и скрытною. Кто бы с нею не заводил разговор, она первым делом хныкала и жаловалась на сиротство, беспомощность и бедность и каждому рассказывала, как у ее мужа отнял деньги и самого замучил Тетеря.

Когда сын объявил матери, что замыслил жениться, мать сперва не слишком желательно приняла эту новость, но не стала сыну перечить, когда узнала, что Кус — казак не бедный и дочь у него единственная. Мать Молявки-Многопеняжного отправилась в гости к Кусихе и скоро сошлись с нею; всегда веселая, спокойная, добродушная Кусиха хоть кого могла привязать к себе. Обе старухи были вместе, когда Кус и Молявка-Многопеняжный вошли в хату.

— Ану, щó? — спрашивала бойкая, словоохотливая и привередливая Кусиха.— Чи з перцем, чи з маком?

— По-нашому сталось. Чого ходили, те і добули! — ска-

зал торжествующим тоном Кус.— А чи з усім по душі те буде нашому коханому зятеві, про те його вже спитайте.

— Не оставляють весілля грать? — спрашивала Молявчиха-Многопеняжная.

— Нізащо! — сказал Яцько.— Полковник аж розсердився, грізно глянув на мене і проговорив: «Коли станете докучать, то не дозволю тобі і ожениться».

— Ну як-таки він не дозволить? Де такий закон єсть, щоб не дозволив жениться полковник козакові? — говорила мать.

— З панством не зволодаєш,— сказал Молявка.— Що каже панство, нам те й робити, бо як не послухаєш, то що з того буде? Тоді хоч зарані п'ятами накивати треба, а коли на місті зостанешся під панським региментом, то пан коли не тим, то другим тебе дошкуля! От і мені так: «Ти,— каже,— в виборі стоїш записаний»! А я кажу: «Се коли твоєй милості ласка буде, так вельможний пан може...» — і не договорюю, тільки кланяюсь низько. А він зупинив мене та й каже: «Що може вельможний пан, про те не тобі розважати, бо єси ще молодий, а вельможному панові те не подобається, щоб ти зоставався тут, а хоче пан, щоб ти з іншими вибірними йшов у поход!» А що ж? Має свою рацію. Скачи, враже, як пан каже!

— Правда то правда, сину! — подхватил Кус.— Подначаліне діло наше. Повинні-сьмо слухати владзи. От, прикладом, хоч би і я! Мене вже давно не вписують у вибори, а здумалось би так панству, сказали б: «Йди, Кусе»,— і Кус чи хоче, чи не хоче, а мусить йти.

Молявка подсел к невесте и начал с нею говорить почти шепотом, так что другим не слышно было речей его. Невеста, слушая его речи, то улыбалась, то кивала одобрительно головою. Впрочем, если б и можно было слышать их разговор между собою, то передавать на бумагу разговоры между женихом и невестою довольно трудно. Бывает в таких разговорах бессвязица, а они все-таки бывают кстати и доставляют приятность тем, которые их ведут. Кусиха вышла из хаты, потом воротилась уже в сопровождении наймички; обе несли скатерть, оловянные тарелки, ножи, ложки, хлеб и водку в склянице. Послали скатерть, поставили на ней пляшку с водкой и положили хлеб. Тогда наймичка вышла в другую хату, находившуюся через сени, в которой обыкновенно топилась печь и готовилась ества, а хозяйка просила всех садиться за ужин, сама же из

шкафа, стоявшего направо от порога, вынула серебряные чарки и поставила на столе.

Выпили по чарке настойки, заели хлебом и оселедцем. Наймичка внесла большую оловянную мису с рыбною ухою, потом ушла снова и воротилась с оловянным блюдом, на котором лежали жареные караси, а молодая Кусивна, пошедши в чулан, находившийся в сенях, принесла оттуда деревянный складень с сотовым медом. Затем наймичка внесла на оловянной мисе целую гору оладий и ушла. Наймичка сама не садилась за стол: работники прежде вечеряли сами, потому что хозяева в этот день собрались ужинать позже обыкновенного.

— Коли ж їх вінчатимуть? — спрашивала Молявчиха.

— Післязавтра в неділю,— сказал Кус.— Як одійде рання служба у святого Спаса. Владика проказав нам науку, як треба жити, да вже так дуже письменно й ладно, що ми не дуже-то і второпали; не знаю, як зятенко, а я, грішний чоловік, нічого до пуття не зрозумів з того, що він казав. Чув тільки про якийсь виноград, да про лозу, да про якогось там жениха і дів мудрих і буїх: хто його зна, до чого воно там у них приходиться! А от що, так уже ми добре зрозуміли, так добре: щоб, казав, молоді, повінчавшись, зараз, вийшовши з церкви, розійшлись і не сходились одно з другим, аж поки піст сей не скончиться. Піде, каже, молодець у поход на царську службу: коли, Бог дасть, живий і здоровий вернеться, тоді нехай уступає в сожитіє і весілля по вашому обичаю собі отправите. А тепер, говóрить, не можна, і щоб не було у вас ні музики, ні танців, ні пісень.

— Се все ченці видумали,— заметила Кусиха,— щоб і у Петрівку гріх був навіть співати! Але ж дівчата на улицях коли ж і співають, як не у Петрівку. Преосвященний сам чує, сидячи в своєму монастирі, як вони співають. Чому ж не увійме їх? Хіба на улиці менш гріха співати, ніж весілля справлять?

— На все свій час положено законом,— сказал Кус.— Вони люди розумні і вченії: усе знають — за що од Бога гріх, а за що нема гріха. Нам тільки слухать їх і чинить, як вони велять.

— Істинно розумно і премудро говорить сват! — сказала мать жениха.— Що воно єсть весілля, так се тільки люди повидумували, щоб гуляти да тратитись. Настоящого пуття з того немає. Повінчались — і всьому кінець. То божий закон, а що весілля — то витребеньки!

— Як можна, свашенько! — сказала Кусиха.— Од дідів і прадідів Бог зна з якого часу то повелось, і того змінять не можна. Да і що б то за життя наше було, якби весілля не було! Один раз молоді поберуться між собою, у їх тоді як би весна! От як по весні вся твар заворушиться і так стане хороше і весело, що і старі неначе помолодшають; от так же як молода людина з другою молодою зійдуться і спаруються, тоді і нам, старим, стане якось весело, аж дух радується, коли на їх дивишся, і старі наші кості розімнуться, і пом'янемо́ свої літа молодії.

— Аже ж і владика не казав, що веселиться не треба о́всі, а казав тільки, щоб у Петрівки весілля не справляти, бо єсть піст,— заметил Кус,— а владика тут же прибавив: «Коли минуть Петрівки, тоді,— каже,— справляйте собі весілля по вашому звичаю». А до мене владика так промовив: «Повінчаються діти, ти, старий, бери дочку за руку, веди з церкви додому й держи за приглядом, аж поки зять твій з походу не ве́рнеться, щоб часом не звонпила і дівоцтва свого не втеряла».

— Наша Ганна не таківська,— сказала Кусиха,— і преже ніхто про неї не смів недоброго слова промовить, худої слави боялась,— а тепер, коли жених є, то вона буде його дожидати і об нім тільки думатиме, а більш ні об чім.

— А вже,— сказала Молявчиха,— коли б тільки Яцько вернувся з того походу щасливо, то ліпшої пари йому би і не найти. Тільки — всі ми під Богом. Буває часом і так: повінчались, побрались, тільки б жити, да поживати, да добра наживати, а тут...

— А тут,— перебил ее охмелевший Кус,— вернеться молодець, учистимо весілля на славу. Я, старий, покину свою стару, бо огидла, ухоплю за руку другу стару, свою любу сваху, да з нею в танець піду. От так!

И с этими словами он схватил за руку Молявчиху и потащил ее с лавки на середину хаты.

— А своя стара тебе за полу смикне і не пустить,— сказала Кусиха, удерживая мужа за полы его кунтуша.

Молявчиха упиралась и говорила:

— Змолоду я не була охоча до сих танців, а тепер на старощах об могилі помислити, а не об танцях!

— Батько-тесть шуткує,— сказал Молявка,— аже ж не все трощиться да журиться, і пошутковать можна трохи. Чи так, моя ясочка? — прибавил он, обращаясь к Ганне.

Ганна, улыбаясь, отвечала наклонением головы.

— Поживемо́ з тобою вкупі, скільки Бог велить,— про-

должал Яцько, обращая речь к невесте,— поживемо, і постаріємось, і дітей наживемо, і станем їх паровати, тоді спом'янемо, як чудно ми самі спаровались! Прийшлось нам повінчатись, да зараз і розійтись, як дві хмарки, тільки ненадовго.

— Мені здається,— сказал Кус,— се вже останній поход буде на сього пройдисвіта Дорошенка: от уже третій год манить наших, обіцяє приїхать і своє гетьманство здать, а потім знову збирається бусурман вести на руїну християнську. Тепер уже, ма́буть, прийде йому кінець.

— А може, й так станеться, як сталось торік і позаторік, що ходили, походили да назад вернулись, нічого не вдіявши,— сказала Молявчиха.

— А що б ти, свахо, здорова була́: навіщо ти нещастя пророкуєш? — сказал порывисто Кус.— Бог єсть милостив: на його уповають царі і владики: Бог — утіха християнству й смирить бусурманську гординю. На його надіємось!

— Вибачайте мені, дурній, свати! — сказала Молявчиха.— Бо я дуже вже з лихом спізналась за своє життя. Се непере́ливки! Мій добрий чоловік — царство йому небесне, не нажилась я з ним: погубили його прокляті недо́ляшки! А мене саму́ хіба мало мучили і катовали! На плечах досі шрами видко, як Дрозденко, собачий син, отполосовав нагайкою-дротянкою! По правді йому, бісовому, сталось: пізнав, мабуть, лютий катюга, як-то боляче людям буває, як йому заліпили кулі у груди! Тим оце я, дурна, як згадаю, що було колись зо мною, так і думаю: як би не стряслось знову якого лиха! Вибачайте мене, панство свати!

Молявчиха встала с места и поклонилась Кусу и Кусихе.

— Знаємо, свахо, знаємо добре, що тобі немало Господь посилав лиха, та все те вже минуло і не вернеться. Як з нами ти поріднилась, так з тієї пори все лихо минуло. Поцілуємось да вип'ємо добру чарку! — сказал Кус, выпивая и подавая Молявчихе чарку с горелкою.

— Дай, Боже, нашим любим діткам проміж себе кохатись і довго жити в щасті і здоров'ї! — произнесла Молявчиха, выпивая чарку и передавая Кусихе.

— Дай, Боже,— сказала Кусиха,— вмісті з нами глядіть і не наглядіться на їх коханнячко і не налюбоватись їх щастям!

— А нашим любим і шановним родителям велика і нескончаєма до нашої смерті дяка за те, що нас вигодовали, і до розуму довели, і нас спаровали! — сказал Молявка, выпивая горелку из чарки и передавая чарку невесте.

— Вам, тату й мамо, нехай Бог воздасть за мене, що мене згодовали, викохали, до розуму довели і за любого Яцька заміж оддаєте! Дай, Боже, вам обом довгого віку й здоров'я! — провозгласила Ганна, поклонилась родителям и выпила.

— Дай, Боже, щастя, здоров'я на многая літа усім! — провозглашали все и разом наливали горелки в чарки и выпивали.

— Ходім, сину, час уже додому,— сказала Молявчиха.— Як вернешся з походу, зберемось тоді знову до панства сватів да заберемо молоду княгиню: буде вона моїм ста́рощам підмога.

— Буде вона,— сказала Ганна,— веселити матінку свого любого Яця ласкавими словами, буде слухняна й шановлива.

— Яка ти добра, яка ти гарна!.. Моя ясочко! — сказал с чувством Молявка.

Кус с женою и дочерью проводили старуху и сына ее за ворота.

Месяц обливал серебристо-зеленым светом крыши черниговских домов, вершины деревьев в садах и рощах, лучи его играли по ярко вызолоченным крестам недавно обновленных церквей.

III

В субботу, на другой день после того, когда происходило описанное выше, съезжались в Чернигов из ближних сотен сотники со своими выбранными в поход казаками: белоусовский — Товстолис, выбельский — Лобко, любецкий — Посуденко, седневский — Петличный, киселевский — Бутович, слобинский — Тризна, сосницкий — Литовчик; другие, которых сотни лежали далее, выезжали прямо, чтобы на дороге присоединиться к той части полка, которая выступит из Чернигова. У кого из казаков в Чернигове были родные или приятели, тот приставал в их дворы, другие располагались за́ городом в поле при возах и лошадях. Некоторые казаки не везли с собою воза, а вели навьюченную своими пожитками лошадь, привязавши к той, на которой казак сидел сам. Каждый сотник, приезжая в Чернигов, являлся к полковнику и не с пустыми руками: один нес ему «на ралець» зверину или птицу, застреленную у себя, другой — рыбу, пойманную в реке или озере своей сотни, кто приводил вола, кто лошадь, кто овцу. Борковский приказывал служителям принять принесенное, объяв-

лял каждому сотнику, что надобно будет идти в поход в воскресенье после литургии, и приглашал всех сходиться к нему на хлеб, на соль перед выступлением.

В воскресенье зазвонили к обедне. Прибывшие казаки пошли по церквам, но не все; иные оставались беречь возы и лошадей своих и товарищеских. Зазвонили и в церкви Всемилостивого Спаса. Это древнейший из русских храмов. Всегда мог и до сих пор может гордиться Чернигов перед другими русскими городами этим почтенным памятником седой старины. Построенный князем Мстиславом Володимировичем еще ранее киевской Софии, после разорения Чернигова, случившегося во время Батыя, этот храм оставался в развалинах до самого полковника Василия Кашперовича Борковского, который недавно оправил его на собственный счет, а Лазарь Баранович только в текущем году освятил новопоставленный в нем престол и назначил к возобновленному храму протоиерея и причт церковный. Кафедральным соборным храмом была тогда церковь Бориса и Глеба; впрочем, архиепископ Лазарь до того времени хотя и считался черниговским архиепископом, но проживал постоянно в Новгороде-Сиверском; он только недавно полюбил Чернигов и стал в нем жить, именно после того, как оправили старую Спасскую церковь.

Спасская церковь, уже в конце XVIII века несколько переделанная и вновь расписанная, в описываемое нами время носила в себе еще живучие признаки прежней старины. Тогда еще существовали на трех внутренних стенах хоры, куда вела лестница не изнутри храма, а с улицы через башню, пристроенную к левой стороне храма: теперь от этих хоров осталась только одна сторона. Вход в трапезу с западной стороны был широкий, и направо от него был пристроен к церковным стенам притвор, ныне разобранный. Внутри трапезы по стенам и по столбам виднелась еще стенная иконопись, до того старая, что с трудом уже разобрать можно было, что за фигуры там изображались; это казалось безобразным, и требовалась замена старого новым, но средств на такую замену недоставало, и, благодаря такому недостатку, стены церкви оставались в более древнем виде, чем остаются они в наше время.

Звон благовестного колокола раздавался с вершины башни, пристроенной с левой стороны храма. Валила толпа благочестивого народа в этот древний храм чрез главный вход. Вошла туда и брачившаяся чета: казак Яцько Фесенко Молявка-Многопеняжный и невеста его, казачка Ганна

Кусивна. Толпа казаков и мещан, входившая в церковь, расступалась перед ними и с благоговением пропустила их. Голова невесты красовалась венком из цветов и обилием разноцветных лент, вплетенных в длинные шелковистые косы, спадавшие по спине; на Ганне надета была вышитая золотом сукня, из-под которой внизу виднелись две стороны плахты, вытканной в четвероугольники, черные попеременно с красными; на груди невесты сверкали позолоченные кресты и коралловые монисты; ноги обуты были в красные полусапожки с гремящими подковками. Рядом с нею с правой стороны шел жених, статный казак с подбритою головою и черными усами, одетый в синий жупан, подпоясанный цветным поясом; к поясу привешена была сабля в кожаных ножнах, разукрашенных серебряными бляхами; обут он был в высокие черные сапоги на подборах с подковками. Вошедши в церковь, жених стал у правого из столбов, поддерживающих свод трапезы, невеста стала у левого столба. Взоры всех жадно впивались в невесту и жениха, и слышались замечания: «Ах, какая пара! ах, что за красавица!»

Вслед за ними скоро вошли в церковь наши знакомые господа, полковник Борковский и воевода Чоглоков. Воевода раза два бросил взгляд на невесту и потом уже, казалось, не хотел замечать ее; во все время литургии не поворачивал даже и головы в ту сторону, где стояла Ганна Кусивна, хотя полковник не раз, поглядывая на невесту, нагибался к нему и шептал ему что-то. Перед начатием литургии дьякон с амвона провозгласил, что, с разрешения преосвященнейшего Лазаря, архиепископа черниговского и новгород-сиверского и блюстителя Киевского митрополичьего престола, по случаю отправления черниговского полка в поход, будет совершено венчание черниговской сотни казака Якова Молявки-Многопеняжного с девицею Анною, дочерью казака той же сотни Филиппа Куса, с тем, однако, что супружеское сожитие их должно наступить не ранее праздника св. апостолов Петра и Павла, и самое венчание хотя и будет совершено ранее, но будет значиться якобы свершенным в день св[ятых] апостолов Петра и Павла. По окончании литургии поставили среди церкви аналой, протоиерей подозвал жениха и невесту, связал им руки рушником и начал последование бракосочетания. Над головою жениха держал венец его зять, сотник Булавка, над говолою невесты — сестра жениха, жена Булавки. По окончании обряда протоиерей велел новобрачным поцело-

ваться. Тут скоро подошел к невесте родитель ее Кус, взял дочь за руку и, не обращая внимания на жениха, ни на кого из окружавших, потащил ее из церкви: он буквально исполнял приказание преосвященного. Жених остался один. Подошел к нему полковник и промолвил:

— Будь здоров, козаче, з молодою жоною, дай Бог тобі щастя і во всім благопоспішення, добра наживать, дітей породить і згодовать і до розуму довести. Тепер до мене йди хліба-солі покуштовать да од мене разом зо всіма в поход, а я Булавці розказав твій віз і все, що тобі на дорогу треба, випроводить, поки ти у мене гостюватимеш.

Нельзя было ничем отделаться Молявке. Он рядовой казак, а полковник приглашал его к себе за стол наравне с начальными особами: слишком великая честь! Не сказавши ни слова, Молявка пошел за полковником.

— Що, пане воєвода! — говорил полковник воеводе, выходя из церкви.— Яку кралю добув собі сей козарлюга? А!

— Мне не пристало на женскую красоту прельщаться,— отвечал понуро воевода,— не по летам то мне и не по званию. Притом она чужая жена, а Господь сказал: «Аже кто воззрит на жену во еже вожделети ю, уже любодействова с нею в сердце своем!»

Народ расходился из церкви. Полковник с воеводою сел в колясу, и оба поехали в дом полковника. На крыльце дома стояли полковые старшины, обозный, судья и писарь. Они были в другой церкви и ранее прибыли к полковнику. Все вошли в дом, за полковником явились сотники. Кушанье было уже готово, все сели за стол. Недолго тянулась эта дорожная трапеза; ели немного, но пить надобно было немало и притом заздравные чаши. Полковник провозгласил чашу здравия великого государя, потом чашу за гетмана и все войско Запорожское, а наконец — за успех предпринимаемого похода. Тогда полковник объявил, что время двинуться в путь. Полковница позвала детей. Борковский благословил их, дал обычное наставление во всем слушаться матери, потом, обратясь к обозному, сказал, что вместо себя ему поручает управление оставшимися казаками, приказывал жить в согласии и дружбе с воеводою и совет с ним держать во всех делах, касающихся города.

— Счастливо оставайтесь и нас дожидайтесь! — было последнее слово полковника, обращенное ко всем остававшимся.

У крыльца стоял оседланный конь полковника. Борковский вскочил на него с такою быстротою, как будто ему

было двадцать лет от роду. Приподнявши шапку, он последний раз обратился к стоявшей на крыльце семье и произнес: «Прощавайте! З Богом!» — и хлестнул он слегка коня своего. За ним сели на своих коней, заранее подведенных в полковничий двор, старшины и сотники и двинулись. Загремели литавры. Заколоколили по всем церквям. По этому знаку сотни двинулись со своих становищ и сотники спешили соединиться со своими подначальными. Булавка поехал впереди своей сотни, а ближе всех к нему следовал его шурин, Молявка.

IV

День, когда совершилось венчание Молявки-Многопеняжного, был ясный и жаркий. В хате Куса собрались две старухи — Кусиха и Молявчиха — ожидать своих детей из церкви. С Молявчихою пришла дочь ее, жена сотника Булавки, женщина лет двадцати пяти, недурная, но худощавая. Все три были одеты в праздничные сукни, вышитые шелками и золотом, в парчевых очипках, покрытых намитками, такими тонкими, что сквозь них просвечивало золотое шитье. Скрипнули двери, и, вместо ожидаемой новобрачной четы, вошел Кус с одною только дочерью.

— Слава Богу! — воскликнул Кус.— Покінчали! От тобі, свахо, нова дочка, нова робітниця в твоїм домі. Люби да жалій, за діло погримай, да легенько, по-материнськи.

— Моя голубочко, моя ластівочко! — произносила Молявчиха, обнимая и обцеловывая Ганну.— А Яцька мого чи вже ж таки не пустили попрощаться з матір'ю та з жінкою?

— Полковник покликав до себе обідать,— сказал Кус.— Не можна було йому відмовитись, бо єсть регіментар. Мабуть, нарочно покликав, щоб не дати йому мизгатись коло молодої подружжя, щоб так сталось, як владика велів,— не зіходитись йому з жінкою, поки піст не пройде. Авжеж, свахо, прийдеться нам попоститься і на діток наших не утішаться, аж поки не вернеться військо з походу!

— Еге! коли б то вернувся! — сказала Молявчиха со вздохом.

— Всі в божій волі! — сказала Булавчиха.— Таке наше життя, що козаки, наші чоловіки, частіш без нас, як з нами. I мій, бач, поїхав, мўшу одиницею чекати повороту його. На Бога треба вповати, милостив буде, коли його воля!

— Мудре слово сказано! — произнес Кус.— І моя Ганна, дівка розумна, те ж скаже. Так, Ганно?

— Так, тату! — сказала Ганна.— Що Бог дасть, нехай так і буде! — Но в это время у ней невольно показались слезы.

— А буде таке́,— сказал Кус,— що як вернеться зять, тоді накличемо гостей да справимо таке бучне весілля, щоб років зо́ три об ним говорили. А тепер поки в своїй сем'ї, без гостей, даваймо обідать. Дочко! Зніми з себе празникове одіння да порайся з наймичкою, щоб обід нала́годили. Сходи сама до пивниці да наточи тернівки і вишнівки, що у чималих барилах стоять у куточку: уже десять літ, як наливали, берегли для слушного часу. А тепер такий час прийшов, що кращого не було. Уточи два джбани да сама неси, а наймичці не давай і наймита до пивниці не пущай, бо вони наточать да не те що самі нишком питимуть, а ще людей частоватимуть. А воно у нас таке... клейнот!

Ганна вошла в комнату, расположенную рядом с передней избой той же хаты, и вышла оттуда в другом одеянии, какое носила повсякдень. На ней была черная с цветами исподница и зеленая суконная сукня. Она, гремя ключами, вышла из хаты в сени.

Кусова хата двумя окнами выходила во двор, а одним окном на улицу. Оставшись одни, старики заметили, что из улицы кто-то заглянул к ним в окно.

— Хто се там? — с беспокойством сказал Кус и вышел из хаты.— Чого там вам? — слышался его голос.— Чого ви спинаєтесь на призьбу да зазираєте в чужу хату! Ідіть, ідіть собі, відкіля прийшли!

Он воротился в хату.

— Хто там? — спрашивали его Кусиха и Молявчиха.

— Якіїсь москалі,— отвечал Кус,— із воєводських ратних, запевне: двоє їх коло вікон стояли. Я протурив їх. Се, бачу, дізнались, що з сього двора сьогодні вінчались у церкві, так думали, тут весілля справлятимуть. Прийшли баньки витріщать. На чужий коровай у їх очі пориваються. Хотілось би їм, щоб їх позвали поїсти да попити. Нав'язливі люди, сі москалі. Цур їм, од їх по́ли вріж да втікай наш братчик.

Вошла Ганна, а за нею наймичка. Ганна держала два джбана с наливкою, наймичка — посуду. Накрыли скатертью стол, поставили посуду, положили ножи и ложки. Кусиха из шкапа достала серебряные чарки. Когда на столе все было установлено, наймичка стала приносить

ествы: сначала борщ с рыбой, потом жареную рыбу, пирог с рыбой, ягоды и мед в сотах. Поставивши кушанья на стол, сама наймичка взяла ложку и села за стол с хозяевами. Затем вошел наймит, мужчина лет сорока, годовой работник, обедавший всегда с хозяевами. По приглашению Куса и наймит и наймичка выпили водки и пожелали счастия, здоровья и благополучия новоповенчанной паре. Обед шел как-то торжественно и как бы священнодейственно; все были молчаливы, прониклись важностью совершившегося события. Вдруг раздался колокольный звон.

— Козаки в поход йдуть! — сказал Кус и встал.— І наш козак-молодець виходить. Дай, Боже, всім їм щасливу дорогу і в своїй і в царській справі доброго й помисного повоження!

Он перекрестился.

— І щасливо додому повернутись! — произнесла Булавчиха.

У Ганны снова на глаза навернулись слезы, и она прикладывала к глазам рукав своей вышитой сорочки, хотя и желала пересилить себя, казаться спокойною.

— Скільки у сій чарці крапель, стільки літ жити б твоєму синові, а нашому зятеві в добрім здоров'ї, ніякого лиха не зазнаючи! — сказала Кусиха, обращаясь с чаркою к Молявчихе.

— А нам бы все служити таким добрим да милостивим господарям! — произнес наймит.

После обеда все встали развязнее и веселее. Кусиха так расходилась, что пощелкивала пальцами, да подскакивала, да несколько раз повторяла, что ей ради такого радостного случая хочется танцевать. Кус тотчас начал было ей вторить. Увлеклась даже понурая Варка Молявчиха и уже не стала, как делала прежде, упираться, когда Кус схватил ее за руку и приглашал танцевать с ним в паре. Кусиха, хлопая в ладоши и подпрыгивая, пела:

Кукуріку, півнику, на току,
Чекай мене, дівочко, до року!
Хіба ж би я розуму не мала,
Щоб я тебе цілий рік чекала.
Хіба ж би я з розуму ізійшла,
Щоб я собі кращого не знайшла!

Остановившись, она закричала:

— Да що се ми танцюєм без музики! — Потом, обратившись к наймиту, проговорила: — Явтуху! Серденько! Іди

поклич Василя-скрипника да, коли можна, ще кого-небудь, хоч того дударя, як, пак, його...

— Юрка? — сказал наймит и хотел уходить. Но Кус остановил рукою его, дернувши за полу свитки, и говорил, обратившись к жене:

— Ні, ні, жінко Параско! Сього не можна.

— Чому не можна? — порывисто спрашивала Кусиха.

— А тому не можна,— сказал Кус,— що владика не велів. Нам треба його слухати. Не можна, не можна, не дозволю!

— Не дозволиш, так нехай по-твоєму буде,— сказала Кусиха,— ти на те господар, пан в своїм домі.

Успокоившись от внезапного порыва к веселости, вся семья уселась снова на лавках, немного поболтали, потом Молявчиха с дочерью встали, помолились к образам, поблагодарили хозяев за хлеб-соль и собрались домой. Молявчиха, кланяясь в пояс, просила Куса и Кусиху с дочкою к ней на обед на другой день. Кусы обещали. После ухода Молявчихи и Булавчихи Кус, чувствуя, что голова его от винных паров отяжелела, отправился в садик, подостлал под голову свою свиту, залег спать в курене, сложенном из ветвей под двумя яблонями. Пчелы, вылетая из расставленных по садику ульев, наводили на него сладкую дремоту своим жужжанием. Кусиха забралась отдыхать в чулане, откуда окно выходило только в сени: там летом было прохладно и безопасно от надоедливых мух. Ганна с наймичкою перемыли посуду после обеда, уставили ее на место, подмели хату. Окончивши работу, Ганна ушла в сад и, чтоб не мешать отцу, забилась в противоположный угол садика, села под развесистою липою и там предалась раздумью.

Недалеко от ней был тын, огораживавший садик с улицы, и чрез прогалину в этом тыне смотрели в сад четыре злые глаза, но Ганна их не замечала. Долго сидела таким образом Ганна. Пробегало в ее памяти все ее детство с той минуты, как она стала сознавать свое бытие на свете, ласки и приголубления родителей и близких, игры с девочками и мальчиками одного с нею возраста; приходили на память песни, которые она слышала и мимо своей воли перенимала; вспомнились первые, неясные ощущения потребности любви, выражавшиеся тем, что ей все вокруг становилось как-то грустным; вспомнила первую встречу с Молявкою, первый разговор с молодцем, о котором она и своим родителям не показала ни малейшего намека, первое его объяс-

нение и ее взаимное признание, которое тогда бросило ее в краску, его сватовство, согласие родителей, беспредельную радость и довольство, охватившие ее душу, приготовление семьи к свадьбе... Все это вспоминать было так сладко и весело! Затем — ее венчание, тотчас за ним — разлука! Пришли ей на память ровестницы, уже вышедшие замуж,— на одной свадьбе она сама была в дружках, на другой в светилках; ее подруги, повенчавшись, были покрыты и стали жить с мужьями. А она? Обвенчалась — и Бог знает, покуда будет ходить девкою: не ее воля и не ее жениха! С нею не так, как с другими! Вдруг ей становилось страшно за свою будущность. Что-то темное, тесное, что-то не то колючее, не то жгучее ей представлялось. Ух! И она, пересиливая себя, вскочила и перекрестилась.

Солнце на западе стало склоняться к горе, и тени от строений и деревьев удлинялись; в разных местах Чернигова начал показываться над крышами хат дымок, дававший знать, что уже люди начинают топить печи для вечери. Ганна вспомнила, что надобно полить цветы в саду, повянувшие от дневного зноя, вышла из сада, вошла в сени, где увидала мать; она только что вышла из чулана и умывала себе заспанное лицо. Ганна отворила дверь в противоположную сторону через сени в рабочую избу, или поварню, взяла ведра, сказала, что пойдет по воду к Стрижню, и вышла со двора.

Ряд дворов, между которыми был двор Куса, выходил прямо к высокому берегу реки Стрижня. Против Кусова двора сход к реке был крут, но влево, двора через три, шел из города к реке подземный ход, прорытый в горе. Этот тайник устроен был для того, чтобы, на случай неприятельского нашествия, в городе не было недостатка в воде. Главный вход его находился далеко в средине города, но и близко от Кусова двора входила в него боковая лестница ступеней на десять вниз: ею можно было очутиться в тайнике. Этим путем обыкновенно ходили за водою дивчата, жившие неподалеку в конце города: можно было таким образом подойти прямо к воде, не таскаясь с ведрами на гору. Туда направилась Ганна с своими ведрами. Но, идя со двора к тайнику, встретила она двух москалей и остановилась; она заметила, что это были те головы, что заглядывали в окно, когда она возвратилась из церкви; их тогда удалил от окна ее родитель. Ганну взяло раздумье. «Зачем они тут слоняются?» — думала она. Но москали, бросивши на нее взгляды, по-видимому, равнодушные, пошли в про-

тивоположную сторону от тайника, мимо Кусова двора, нимало не оглядываясь на нее. «Нет,— подумала Ганна,— я испугалась напрасно. Это люди совестливые; они меня не зацепляют!»

Она смело пошла к спуску в тайник, сошла по лестнице и очутилась в темноте: только слабый свет проникал туда с той стороны, куда ей нужно было идти за водою. Вдруг послышались сзади торопливые шаги. Не успела Ганна решить, бежать ли ей вперед или назад, четыре сильные руки схватили Ганну сзади, коромысло с ведрами упало, она крикнула, но ее крик потерялся в тайнике. Ей завязали рот и глаза, она не в силах была более ни крикнуть, ни распознать, где она очутится. Ее потащили, или, лучше сказать, понесли. Сама она с испугу не могла уже двигаться. Похитители унесли добычу свою к главному выходу из тайника, находящемуся, как сказано выше, в средине города.

V

— Где Ганна? — спрашивал Кус у своей жены уже в сумерках.— Где вона?

Кусиха не видала дочери и не знала, где она. Кусиха пошла в черную хату и спрашивала наймичку. Та сказала, что Ганна пошла за водою.

— Давно? — спросила Кусиха.

— Давненько уже,— сказала наймичка.

— Пора б уже їй вернуться, бо вже темніє надворі.

Кусиха стала недовольна дочерью. Никогда с нею подобного прежде не бывало. Как можно так запаздывать! Верно, думала, встретилась с подругами-девчатами и заболталась с ними, а может быть, какая из подруг к себе зазвала. Так подумала Кусиха, так сообщила и мужу. Но время шло, Ганна не возвращалась. Наступила уже совершенная темнота, ночь была темная, месяц был уже на ущербе, всходил поздно и тогда еще не показывался на небе. Родители тревожились не на шутку. Вышедши за ворота, отец и мать пошли в разные стороны, и оба кричали: «Ганно, Ганно!» Но их крик только повторялся какими-то насмешниками, собравшимися на игрище. Шалуны стали передразнивать кричавших: «Ганно, Ганно!», подделываясь под слышанные голоса, и себе кричали: «Ганно, Ганно!», хотя их не занимало, какую там это Ганну ищут.

Воротились родители домой. Кус бил себя руками о полы

и машинально твердил: «Нема, нема!» Кусиха терзалась и вопила: «Доненько моя! Любонько моя! Де ти ділась? Де ти єси? Чи ти жива ще, чи, може, тебе уже на світі немає?»

Наймит и наймичка, из участия к заботе своих хозяев, взяли фонари и пошли к тайнику. Через несколько минут наймичка прибежала оттуда в испуге и, вбежавши в хату, завопила:

— Лишенько! Відра лежать в пролазі!

Вслед за нею наймит принес ведра и коромысло. Увидавши эти вещи, Кусиха испустила пронзительный крик, металась из стороны в сторону, не знала, бедная, куда бежать ей, что делать, схватилась за голову, сбила с себя очипок, начала рвать на себе волосы и кричала: «Доненько, доненько! пропала ти, пропала!»

— Утопла! — сказал Кус, но потом приложил палец ко лбу, что с ним случалось всегда, когда он о чем-нибудь трудном размышлял.— Ні, не утопла! — продолжал он.— Якби утопла, то відра й коромисло не лежали б далеко від води. Не утопла вона. Лихі люди її зайняли в тайнику. Може, убили! А за що? Кому вона що недобре удіяла?! Сказать би, звір її розірвав. Так як же звір туди забереться? Хіба які лиходії вхопили її та згвалтовали, залестившись на те, що дуже хороша. Учинють над нею, що захочуть, а потім у воду вкинуть!

От таких догадок приходила Кусиха все больше и больше в ярость. Ей казалось, что именно так и есть, как говорит муж: злодеи сгубили ее дочь. И принялась она сыпать ругательства и проклятия на злодеев.

Наймичка, по приказанию хозяйки, известила Молявчиху о внезапной пропаже нареченной невестки. Молявчиха тотчас явилась к Кусихе. Обе старухи завели вопль, а Кус то корил баб за их крики и вопли, то вторил им сам и раздражал их скорбь своими жалобами и дурными догадками. Так провела ночь злополучная семья. Иногда, на мгновение, надежда сменяла отчаяние: услышат за двором шум, скрипнут где-нибудь ворота, залает собака... подступит к сердцу радость, слушают, не она ли... дожидаются. Ее нет! Мимолетная надежда опять сменяется отчаянием, а оно, после короткого и напрасного перерыва, делается еще более жгучим и гнетучим.

Стало наконец рассветать.

— Будем кричати да голосити,— з сього нічого не буде! — сказал Кус.— Піду до городового атамана, заявлю.

Нехай шукають Ганни; коли її нема на світі, то нехай хоч слід її знайдуть.

И, оставивши баб продолжать свои вопли, Кус пришел к городовому атаману.

Атаман, по прозвищу Беззубый, с удивлением узнал о внезапном исчезновении той новобрачной, красотою которой любовался вчера в церкви св[ятого] Спаса со всем бывшим там народом. Первое, что предпринял атаман, был расспрос Кусу: не было ли у него с кем вражды и ссоры. Кус уверял, что не было. Тогда атаман, немного подумавши, решил послать десятских обходить все казацкие дворы и в городе и в пригородных селах и везде спрашивать, не видали ли где Ганны Кусивны и не сообщит ли кто догадки о том, кто бы мог ее схватить.

— Чи не вхопили її москалі? — заметил Кус.— Вчора, як повернулись з вінчання, примітив я, що коло мого двора все ходили якісь москалі й у вікна зазирали.

— Сходи до воєводи! — сказал городовой атаман.— Попрохай, щоб велів учинить розиск проміж своїми да й войтові написав, щоби по міщанських дворах те ж учинено було, а то ми тільки над козацькими дворами региментуємо.

Кус отправился к воеводе.

— Что тебе, добрый человек? — сказал ласково Тимофей Васильевич, когда вошел в его дом Кус и низко поклонился.

Кус рассказал ему, что дочь его пропала без вести.

— Эх, добрый человек, добрый человек,— сказал Тимофей Васильевич.— Видно, что отец нежный! Всего один день, а он уж горячку запорол. Подожди, найдется! Да вот что, добрый ты человек, скажи по правде: она, может быть, у тебя гулящая и своевольная. Вестимо, коли одна дочь у отца, у матери, так избалована.

— Ні, пане воєводо,— сказал Кус,— вона у нас не те що не гуляща і не своєвільна, а така, що її ніколи не треба ні спинять, ні учить, вона і на улицю ніколи не ходила, де бува ігрище. Така слухняна, соромлива, гречна... Спитайте усіх сусідів, усі в один голос нічого не вимовлять про неї, тільки хороше.

— Так, может быть, встретилась с какою-нибудь подругою, а та ее зазвала к себе в гости, пошли у них промеж себя тары да бары, ночь захватила, она побоялась идти домой и осталась ночевать в гостях,— говорил воевода.

— Я і сам так спершу думав,— сказал Кус,— тільки

вже б їй пора була вернуться давно. Ніколи такого случаю не було з нею, пане воєводо.

— Так что же, что не бывало! Теперь в первый раз такой случай пришел! Я рад тебе, добрый человек, во всем помочь, написать велю войту, чтоб учинил розыск о ней по всем мещанским дворам, а сам я пошлю своих стрельцов по тем дворам, где есть становища наших царских ратных людей. Только я уверен, добрый человек, что не успеют произвести розыск по мещанским дворам, как твоя дочь к тебе явится. А я твою дочь вчера в церкви видал мельком, как она венчалась. Я с паном полковником там был. Славный молодец твой зять. И она красавица. Парочка нарядная. Полковник мне сказал, что жених тотчас после венца пойдет с казаками в поход. Мне так стало жалко, что я просил полковника, нельзя ли ради новоженного дела оставить его. Что же, мое дело сторона! Нам, воеводам, от великого государя не велено вступаться в казацкие дела. Будь покоен, добрый человек! Дочь твоя найдется, сама к тебе воротится, а не придет сама, так мы ее найдем, и я сам, самолично, приведу ее к тебе. На том даю тебе мое крепкое слово.

Кус поблагодарил воеводу за доброе слово и ушел.

Прошел день, прошел другой, третий,— Ганна не возвращалась. Мать до того заметалась, что стала как безумная, и в речах ее мало было склада. От тоски напало на нее такое истомление, что пройдет несколько саженей и садится либо совсем упадет на землю. Молявчиха первые дни очень сердечно принимала участие в беде, постигшей мать ее невестки, но на четвертый между двумя бабами начались пререкания. Кусиха в своих сетованиях о дочери высказалась, между прочим, что «на лиху годину» повенчалась она с Молявкою, а Молявчиха оскорбилась такою выходкою и, с своей стороны, ядовито заметила, что Бог знает, где она делась, может быть, у ней на уме заранее что-нибудь затеяно было, а может быть, ее родители знают, где их дочь теперь, знают, да не скажут!

— Не такого зятя нам було б добути, а дру́гого кого-небудь, то, може б, дочка наша ціла була! — сказала Кусиха.

— Не такого подружжя треба б моєму синові, а мені невістки! — произнесла Молявчиха.

Мать Молявки-Многопеняжного ставила Кусихе на вид, что Молявка родом значительнее каких-нибудь Кусов и Кусы должны бы себе за честь считать, что роднятся с Молявками. Кусиха упрекала, что Молявки хотят загар-

бать Кусово достояние и для этого входят с ним в свойство: Кусы и Молявки хоть и одинаково казаки, но Кусы старинные от прадедов и прапрадедов черниговские казаки, а Молявки так себе — какие-то прибыши.

С таких едких замечаний начались взаимные ругательства, а наконец и проклятия.

— А щоб твоя дочка не знайшлася, а так би скрізь землю пішла! Негодниця вона! — сказала Молявчиха.

— А щоб твій син з войни не вернувся! — крикнула Кусиха.

Спор дошел до того, что Молявчиха плюнула на Кусиху, а Кусиха плюнула на Молявчиху. Молявчиха сказала, что с этих пор нога ее не будет в Кусихиной хате, а Кусиха сказала, что было бы лучше всего, когда бы и прежде ни Молявчиха, ни сын ее не переступали их порога.

Добродушный Кус хотел было умиротворить разъярившихся баб, но потом рукою махнул и произнес:

— Баби яко баби: волос довгий, а розум короткий.

С той поры Молявчиха не посещала Кусихи, а Кусиха не приходила к Молявчихе. Но приходили к Кусихе разные соседки; им рассказывала Кусиха о своей размолвке с Молявчихою, а соседки, слушая это, с своей стороны подстрекали их к ссоре: нашлись такие, что начали переносить Кусихе, что говорит о ней Молявчиха, а Молявчихе — что говорит о ней Кусиха.

Окончился Петров пост. Ганна не возвращалась. Несколько раз еще ходил Кус и к городовому атаману, и к войту, и к воеводе. Никто не порадовал его открытием следов пропавшей дочери. Атаман даже заметил, что Кус в своем нетерпении начинает надоедать своими жалобами на свою долю, что у него, атамана, без его дела много других дел. Войт сказал, что употребил уже все меры, какие у него были в распоряжении, и не его вина, что ничего не открыл. При этом войт заметил Кусу: «Было б не пущать дочки, то б и не пропала!» Любезнее всех принимал Куса воевода, всегда жалел о нем, делая вместе с ним разные предположения насчет пропажи его дочери, и утешал всеми возможными способами, даже говорил, что если бы случилось так, что его дочери уже не было на этом свете, то все-таки доброму человеку остается то утешение, что он увидится с нею на том свете. При этом Тимофей Васильевич благочестиво вздохнул.

Между тем по поводу исчезновения Кусивны стали расходиться выдумки, самые нелепые, безобразные, отчасти

легендарного свойства, но оскорбительные для семейства Кусов. Все это вымышлялось бабами из тех дворов, которые были небогаты: там был повод завидовать состоянию Кусов. Таким образом болтали, что Кус нажил свое состояние (которое завистникам представлялось в преувеличенном размере) тем, что знался с бесами: еще будучи парубком, при помощи бесов нашел он заклятый клад; никто не мог добыть этого клада, и за то, чтоб его вырыть, обещал Кус бесу дитя свое, как у него будут дети. После того Кус женился, пошли у него дети, но все умирали в малом возрасте, одна только дочь доросла до совершенных лет, и в тот самый день, как она вышла замуж и повенчалась, бесы потребовали исполнения обещания, данного отцом в то время, как они ему помогли вырыть клад. Ганну Кусивну схватили не люди, а бесы, и уж теперь найти ее никак нельзя, потому что она — в пекле, и дорого, рассуждали, обошелся Кусу добытый клад; теперь бы он рад был в десять раз дать против того, сколько тогда получил, да уж нельзя! Другие говорили, что Кусиха — ведьма, умеет перевертываться то свиньею, то клубком, то копною, то жабою, то летучею мышью и научила такой же ведьмовской науке свою дочь, но этой дочери не следовало принимать святого закона, а она, как повенчалась, и святой закон приняла, вот за то, рассердившись, бесы ее ухватили. Были еще и такие толки: полюбила Кусивна Молявку и причаровала его к себе с бесовскою помощью. Молявка без ней жить на свете не мог, только ей не следовало вступать с ним в закон, а как она повенчалась — бесы ее за то ухватили: живи с ним по-нашему, а не по-божьему! Сочинили еще и вот что: продал Кус свою дочку монаху, а для вида выдал ее замуж за Молявку затем, чтоб, как Молявка уйдет на войну, он дочку свою передаст монаху в пользование, а слух пустит в народе, будто его дочку утащил кто-то неведомо куда! И еще было немало подобных вымыслов, один другого безобразнее. Кумушки обо всех ходивших толках сообщали Кусихе, уверяли ее, что это все выдумала Молявчиха, и тем раздражили Кусиху. Она так увлеклась злобою против Молявчихи, что даже печаль о погибшей без вести дочери уступала в ее сердце место этой злобе. Молявчиха, со своей стороны, поджигаемая такими же кумушками, выражала благодарение небу, что сын ее нежданным путем избавился от недостойной связи, и молила Бога о благополучном его возвращении с войны для того, чтобы он поскорее мог сыскать себе другую подругу жизни.

Прошел июль. Прошли Спасовки. Вот уж и люди сельские отработались в поле. Уже осенние утренние холода стали предвещать наступление осенней слякоти, а за нею стужи и снегов. Ганны все не было, и никто не мог сказать, где она: и след ее простыл.

VI

Под городом Чигирином, на широкой равнине, по которой змеится извилистая река Тясмин, раскинулся стан казацкий, разбросались купы полотняных шатров по полкам, высланным гетманом. Между этими шатрами пестреют палатки начальных лиц, их пологи из цветной ткани, а на верхах их пуки павлиньих перьев. Далее от казацкого стана над рекою Янчаркою расположен стан царских великорусских войск под начальством Григория Ивановича Косагова.

Это отряды, которые выслали к Чигирину гетман Самойлович и боярин Ромодановский, удержавши остальные войска свои в стане под Вороновкою.

Начальником или наказным гетманом над высланными казаками назначен генеральный бунчужный Леонтий Полуботок, тогда временно занимавший уряд переяславского полковника. Собрались у него в шатре полковники: черниговский, гадяцкий и миргородский. Наказной гетман объявил, что Григорий Иванович Косагов посылает к Дорошенку увещательную грамоту; и казаки должны послать такую ж от своего гетмана.

Полуботок громко прочитал составленную генеральным писарем грамоту и, передавая ее Борковскому, сказал:

— Василій Кашперович! Вибери кого-небудь послати з сим листом. Значного урядового не посилай. Годі чествовати сього пройдисвіта! Пошли до його якого-небудь рядовиќа, такого тільки, щоб потрапив придивиться, що там діється у Чигирині.

— У мене якраз такий знайдеться,— отвечал Борковский и ушел с грамотою в свою ставку, отстоявшую от Полуботковой сажен на пятьдесят.

Оставшиеся в шатре у Полуботка стали пить и закусывать, а Борковский, пришедши в свой шатер, велел позвать Булавку и сказал:

— Пане сотнику! Посилай швагра свого Молявку з оцим листом до Дорошенка і скажи, щоб він, будучи у Чигирині, що можна там, виглядів і вислухав. Він не дурень, зрозуміє.

Булавка, передавая шурину эту грамоту, говорил:

— Оце тобі, мій голубе, значне полєценє. Тепер час тобі і случáй показати себе усім людям і панству. Клич з собою суремщика.

Молявка вместе с трубачом отправился к окраине нижнего города Чигирина, отстоявшего на добрую версту от казацкого стана. Собственно, это и был город в смысле людского поселения, так как то, что называлось верхним городом, был только замок, или цитадель. Нижний город был обведен земляным валом, по верху которого шла толстая бревенчатая стена, а под валом, на наружной стороне, прокопан был ров в три сажени в ширину и глубину. Молявка обвязал себе голову белым платком, трубач изо всей силы затрубил. Караульные казаки с башни, построенной над воротами, окликали подходивших к городу, а Молявка, вместо ответа, наткнул на саблю свою шапку с повязанным на ней платком и махал ею. Караульные спустили поднятый вверх цепями у ворот мост через ров и отворили калитку, проделанную в тяжелых воротах. Молявка вместе с трубачом вошел в город. Его сразу окружила толпа. Спрашивали — зачем, к кому, с чем. Молявка сказал, что с «листом» к гетману.

— А хоч би він швидше сам зрікся от того нещасливого гетьманования! — послышалось в толпе.

— Чого-то вже йому тепер упираться? Сам же, збираючи громаду, каже, що вірним царським слугівцем хоче зоставатись, так чого ж коли цар велить їхать і здавать своє гетьманство, так уже б і робив, як цар йому каже. Так ні! Каже: підождемо. Турок нехай, каже, москаля ще полякає, так москаль здатніш буде на умову. А щоб його! Чого там ще дожидати? Вже уся Україна до вас на слободи утекла, а в Чигирині тільки що тижнів на два стане чим жить. Тоді всі так юрбою і сипнуть до вас. Не пухнуть же всім з голоду!

Такие речи услышал тогда Молявка от народа, едва только вошел.

— Де він? — спрашивал Молявка.— Либонь, там, на горі? Ведіть мене до його.

Он указал на гору, откуда белелись стены недавно оштукатуренного дома гетманского, стоявшего посреди замка.

— Ні, там його нема,— был ответ.— Он чуєш: музúка гра. Се він розважує своє горе, чуючи, що приходить кінець. Накликав музик: скрипки, кобзи, бандури, сопілки, сурми,

бубни, ходить по го́роду із шинка в шинок, удаючи, ніби він уже не гетьман, а про́стий козарлюга-запорожець. І старшини з ним, і тесть його Яненко й інші. Ідуть да співають і скачуть.

— Еге! — заметил кто-то.— Як чує, що над шиєю гостре залізо висить, так який став до всіх доступний, простий да приязний, а перше пишався!

— Тепер що хоч йому кажи, так не сердиться, хоч і не послухає ради, а не сердитиметься за неї; перше, скажи лишень йому таке, що проти шерсті,— так опісля сам стережися: присікається, неначе за що інше, да у дибу заб'є, а то і голову стяти розкаже,— заметил чигиринский сотник Блоха, стоявший здесь же, между прочими.

До ушей Молявки долетали звуки музыки, и все становились ближе и ближе. Прошедши несколько десятков шагов далее, до поворота в другую улицу, он наткнулся на шествие, выступавшее из этой поперечной улицы. Бежала пестрая толпа народа обоего пола и разных возрастов, начиная от седобородых дедов и сгорбленных баб и кончая детишками в одних рубашонках; в бархатном, малинового цвета кунтуше, в красных сапогах и в заломленной набекрень шапке с бриллиантовым пером, гетман Дорошенко отплясывал тропака; обок его то же делали писарь Вуехович, обозный Бережецкий, судья Уласенко, гетманский тесть Павло Яненко — все одетые в праздничные кунтуши разных цветов — кто в коричневом, кто в ярко-красном, кто в зеленом. Если бы внимательно вглядеться в их лица и движения, то можно было сразу уразуметь, что они более по принуждению, чем по добровольному влечению делали это. За плясунами шли музыканты. Вельможные гуляки, притопывая ногами, хором пели:

Паутина по дорозі повилась, повилась,
А дівчина з козаком понялась, понялась.

— Не сю! — крикнул вдруг Дорошенко.— А тую, що грали, як з замку виходили.

Музыканты остановились и потом заиграли на другой голос. Дорошенко затянул:

Нікому я не дивуюсь, як сам я собі,
Пройшли мої літа з світа, як лист по воді,
А вже мої стежки-дорожки позаростали,
А вже мої вороні коні поїз'їжджали,
А вже моє золоте сідельце поламалося,
А вже моя родинонька одцуралася.

При звуках этой песни приостановилась пляска. Молявка думал: не подойти ли и подать «лист» Дорошенку, но не решился, соображая, что, чего доброго, он рассердится и почтет за издевку над собою. Но гетман со старшинами, сделавши несколько шагов и припевая песню, пошли прямо к шинку, где на крыльце стоял шинкарь, празднично одетый: видно было, что и шинкарь приготовился к посещению его шинка высокими гостями.

— Шинкарю! Що стоїш, йолопе! — кричал что было силы Дорошенко.— Свому панові, батькові гетьманові, горілки піднось!

«О,— подумал про себя Молявка,— він не соромиться і тут же сам себе гетьманом величає. Так і на мене він не розсердиться, коли я йому як гетьманові подам належний до його лист».

Шинкарь подносил Дорошенку с поклоном большую стопу, налитую до края горилкою. В это время протеснился Молявка и, ставши лицом к лицу перед Дорошенком, поклонился, подал грамоту и произнес:

— Ясновельможний пане! Лист од його милості ясновельможного пана гетьмана Івана Самойловича.

— А! — сказал Дорошенко, быстро взглянувши на подателя.— Ти не кажи просто: «Од гетьмана лист», а кажи: «Од гетьмана обох сторон Дніпра». Бо він так себе іменує, хоча по сю сторону тоді хіба осяде, як мене тут не буде. Подай лист! Хто ти такий?

— Я,— отвечал Молявка,— Черніговського полку черніговської сотні козак-рядовик. Послав мене полковник Василь Борковський, а він взяв сей лист од наказного гетьманського Левона Полуботка.

— Гетьман обох сторон Дніпра, мабуть, мене вже і за чоловіка не ставить. Посилає до мене такого простака! А чому значного урядового не прислав? Було б тому полковникові, що тебе до мене виправив, було б йому самому сюди приїхать да в ноги мені поклониться,— сказал Дорошенко.

— Того я не знаю, пане ясновельможний гетьмане! — сказал Молявка.— Бо я чоловік підначальний. Региментар мій мене позвав і дав сей лист до твоєї милості. Мушу слухати!

— Правда, чоловіче,— сказал Дорошенко,— бачу, що у тебе голова не сіном напхана. Ти хоч простак, а вже коли до мене прийшов, так став мій гість. Пий з нами горілку. Шинкарю, налий йому.

Шинкарь налил стопу горилки и подал Молявке. Казак поднял ее вверх и крикнул:

— Доброго здоров'я і в усім щасливого поводження, пане ясновельможний гетьмане!

С этими словами он выхилил всю стопу.

— Як тебе звуть, козаче? — спросил Дорошенко.

— Яцько Молявка-Многопіняжний,— проговорил посланец.

— Грошей, видать, багато було у батьків, що так продражнили! Але хоч би і у тебе самого було грошей много, а все-таки не слід було посилати простого рядовика до мене. Вуєхович! — сказал он, обратившись к своему писарю.— Читай усій громаді! Я гетьманом не сам собою став і сам собою без громадської ради нічого не чиню.

Вуехович, человек невысокого роста, с красноватыми хитрыми глазами, взявши принесенный «лист», стал читать его, произнося тонким, почти женским голосом:

«Мой велце шановный, ласкавый добродию, пане а пане гетьмане чигиринський! По указу царского пресветлого величества послали-сьмо с купной порады его милости боярина князя Григория Григорьевича Ромодановского, стольника Григория Ивановича Косагова с выборными царскими ратными людьми генерального бунчужного Левона Полуботка с четырьмя казацкими полками и с нашею конною надворною кампаниею ку Чигирину, понеже многократне и многообразне твоя милость ему, боярину, и мне, гетману обеих сторон Днепра, обещал еси своею особою прибыти до нас в обоз для принесения присяги его царскому пресветлому величеству, обаче тое твоеи милости обещане доселе не совершено делом».

— Стривай! — прервал чтение Дорошенко.— Як «не совершено ділом»! Свідки мені усі чигиринці і панове запорожці, що приїздили до мене того минулого року в місяці октябрі, з котрих деякі й нині тепер притомні суть, як я тоді виконав присягу царському пресвітлому величеству перед паном кошовим отаманом Іваном Сірком і перед донським отаманом Фролом Минаєнком в притомності многих товарищей війська низового січового і донського, а напотім і санжаки турецькі одослав на столицю в Москву. А попович-гетьман пише, буцім обітниця моя не совершена ділом! Батько Яненко, чи ти возив санжаки в Москву?

— Я, пане гетьмане! — отвечал Яненко.

— А гетьману-поповичу хочеться, щоб я йому поклонився? — продолжал Дорошенко.— Інше діло — вірою-прав-

дою цареві-государеві служить і добра хотіть, а інше — царським подданим кланятись. Я вірний підданий і слугóвець царському пресвітлому величеству, як присягав йому, а поповичеві кланятись не хочу.— Он поднял вверх налитый горилкою кубок и громогласно проговорил: — П'ю, на тім п'ю, що мені гетьманові-поповичеві клейнодів не оддавать. Панове запорожці і ви всі, панове чигиринці, громадо! Заступіться за мене! На що се навкруги Чигирин оступило московське і барабашівське військо? Я цареві не ворог, не супостат, а такий же вірний подданий, як вони всі. Вони мусять отойти од нашого города. Молявко-Многопіняжний! Перескажи те, що ти од мене чув. Не хочу Самойловичеві-поповичеві кланятися, а сам поїду в Москву, поб'ю чолом царському пресвітлому величеству самому, а не його царському бояринові і не гетьманові — барабашському поповичеві. А коли не одійдуть і мене не пропустять, так я сяду на кухву з порохом і спалюсь, і всі чигиринці разом зо мною пропадуть. Нехай гріх на тих буде, що не хотять святого покою і братернюю війну зачинають. Я до їх з щирим серцем, а вони на мене з ножем. Я покою хочу, а вони йдуть на мене войною на втіху бусурманам, хреста святого ворогам. Да ще мене перед царським пресвітлим величеством і перед усім християнством оговорюють. Запорожці і ви всі, чигиринці! Не видавайте мене, як донці колись Стеньку свого видали!

— Не видамо, не видамо! — кричали запорожцы, стоявшие кучкою в красных жупанах.

— Не видамо, всі один на одному головою наложим! — произносили чигиринцы вслед за сечевыми гостями; многие хотели бы выразиться иначе, да не смели: каждый не ручался, чтобы все поддержали голос, противный гетманской воле.

— «Ще козацька не вмерла мати!» — казав колись вічнославної пам'яті батько Зіновій-Богдан Хмельницький! — продолжал Дорошенко с увеличивающимся задором.— Коли наше не в лад, то ми з нашим і назад. Коли так, то ми опять бусурмана в поміч покличем. А що ж робить! Коли свої браття-християни так нам немилостиві,— з неволі приходиться у бусурмана ласки прохати. Не бійтесь, братці чигиринці, моя люба громадо! Подасть Бог нам рятунок проти сих немилостивців, що хотіли б нас в ложці води втопити. Прийдуть на одсіч нам бусурмани, і тоді москалі і барабаші будуть, як зайці, утікати од Чигирина. Уже то було з ними. Пам'ятаєте, як четвертого року

приходили під самий Чигирин гетьман-попович і боярин Ромодан з великими силами, одначе, почувши, що хан, його милость, йде з своїми ордами, мусили одступиться, а хан перерізав їм шлях до Черкас. Ледве-ледве, утративши многих, добігли до Дніпра і срамотно утекли в свою сторону. І тепер з ними те ж станеться. Ось підождать прийдеться кілька день, прийде салтан Нураддин з ордою, у нас на кілька день стане харчу. А коли Бог так дасть, що прийдеться нам пропадать, так і пропадем всі до одного! Чуєш се ти, Молявка Многопіняжна? Уторопав, що тут казано? Оце все і розкажи, кому там слід, да скажи, щоб наперед не присилали до мене простого рядового, а нехай розмову зо мною ведуть через значних людей, войскових товаришів. Бо я ще своєї гетьманської булави не здавав, і ще я єсть гетьман, і мене треба їм поважати, як належить гетьмана. І ляхи пишуть до мене латиною і величають мене: «Zux zaporovien is».

После этой речи Дорошенко обратился к народу и кричал:

— Не вмерла ще козацька мати! Козак п'є, на лихо не потурає і самого чорта не боїться, не те що московської да барабашської душі!

И он начал снова плясать, припевая:

Не тепер, не тепер
По гриби ходити,
Восени, восени,
Як будуть родити.

Вуехович отстал от гетмана и подозвал к себе кого-то из толпы, говорил что-то на ухо, поглядывая в то же время на Молявку, а последний продолжал стоять на одном месте, провожая глазами удалявшегося с приплясом гетмана; человек, с которым говорил писарь, кивнул головою, давая знать, что все разумеет; тогда сам Вуехович подошел к Молявке и сказал:

— Ти сказав, що ти козак Черніговського полку. Поклонись Василю Кашперовичу, полковнику свому. Скажи: писар Вуєхович шле йому свій братерній поклон, щирому приятелеві!

Сказавши это, Вуехович пошел за гетманом, куда также двигалась густая толпа народа. Молявка повернул назад, уже исполнивши свое поручение, как он думал. Вдруг догоняет его тот самый человек, которому Вуехович говорил что-то на ухо.

Он сказал Молявке:

— Товаришу земляче, я виведу тебе! — Он шел с ним рука об руку к городским воротам и говорил: — Посилає гетьман козака Мотовила в образі старця, ніби ялмужни просячого, з листом до кримського салтана, уверчен у його в личаках. Він от зараз за тобою з города вийде. Всі люди в Чигирині об тім тільки Бога молять, щоб гетьмани швидше замирились між собою,— огидла война; до того, коли довго стоятиме військо, голод настане. Уже і так дітей много умирає. Всі хотіли б йти за Дніпр на слободи.

Эти слова проговорил он без всяких движений, потупя вниз голову и не глядя на Молявку, и никто из шедших около него не мог ни расслышать его слов, ни даже догадаться, что он передает посланцу какой-то секрет. Не дожидаясь никакого ответа, неизвестный оставил Молявку.

По выходе из ворот Молявка стал раздумывать, что лучше делать ему: идти ли в стан и объявить о посланном в образе нищего или подождать, пока этот нищий выйдет из города? Он рассчитывал: если он теперь заявит о том, что услыхал, то нищего могут как-нибудь проглядеть или даже если поймают, то другие, а не он сам; напротив, если он сам лично этого нищего схватит и приведет к начальству, то дело оценится как важный и очень полезный для всего войска подвиг. И выбрал он последнее и нарочно пошел медленно, беспрестанно оглядываясь назад, как вдруг своими быстрыми глазами увидел, что из рва, окружавшего город, высунулась человеческая фигура и пошла по направлению вправо, в сторону, противоположную той, куда следовал Молявка. Молявка тотчас понял, что в городском укреплении есть где-нибудь тайный выход и виденный им человек прошел им так, что очутился во рву, а потом, при пособии какого-нибудь средства, выкарабкался изо рва. Молявка быстро и круто повернул вбок, наперерез пути выползшего из рва человека.

Скоро был Молявка лицом к лицу с этим человеком. Это был на вид оборванный донельзя нищий. Ноги у него были в лаптях, без онуч. На плечах и вдоль тела болтались грязные отрепья — остатки существовавшей когда-то свитки, из-под них виднелось заплатанное грязное белье. Нищий снял дырявую шапку и низко кланялся, увидя подходящего хорошо одетого казака.

— Боже! Який гультіпака! Який бідолага! — говорил тоном сострадания Молявка.— Відкіля ти, чи не з Чигирина?

— Еге! милостивий добродію! — отвечал нищий.— Утік,

да вони й самі, правду сказать, пустили, не стали задержувать, бо скоро нічого буде всім їсти і всі підуть так, як я.

— Ходи зо мною, старче божий! — сказал Молявка.— Мені от як стало жаль тебе! Я тебе нагодую, і одягну, і через стан проведу, бо сам не проберешся. Затримають і в полон заберуть.

— Мені, добродію, все рівно. Нехай беруть. Я не мовчатиму, все повідаю, що знаю; до того — не до татар піду, а своїм же християнам оддамся,— говорил нищий.

Он пошел вместе с Молявкою. Доходили до стана. Уже виднелись палатки начальных людей. Сторожа перекликались.

Дойдя до караула, Молявка воткнул на саблю свою шапку, обвязанную белым платком.

— Гасло! — крикнули караульные.

— Свята п'ятниця! — отвечал Молявка. То был дневной лозунг. Его пропустили.

— А се хто з тобою йде? — спрашивали караульные, показывая на нищего.

— Се старець, милостині просить. Бідний, я його з Чигирина з собою взяв, хоче до нас перейти. Я йому милостиню подам.— Потом, обратившись к нищему, Молявка сказал: — Бач, які у тебе погані личаки, скидай їх к злидню, обуй мої сап'янці. Мені тебе дуже жалко стало. Я сам з себе все поскидаю да тебе одягну, бо в мене, дяковать Богу, все є. От і кирея тобі. Скидай свої ганчірки!

Молявка снял с себя коричневого цвета суконную кирею и хотел набросить на плечи нищему. Нищий, словно кто на него кипятком брызнул, отскочил в сторону, потом, приняв вид смиренника, говорил:

— Ох, паночку! Добродію мій! Чи варт я того? Боже, Боже! От Господь послав якого милостивого доброчинця. Далебі се півсвіта сходи, другого такого доброчинця не надибаєш!

Он кланялся в ноги.

— Скидай, кажу, свої личаки, обувай мої сап'янці! — говорил Молявка.

Нищий повертывался туда-сюда и, видимо, не знал, что ему делать.

Молявка крикнул к сторожевым казакам:

— Скидайте, братці, з мене сап'янці і обувайте сього старця, а я в його личаках доплентаюсь як-небудь до Черніговського полку!

— Пане ласкавий, пане милостивий! Не треба! Не треба! — говорил нищий и порывался идти в сторону.

— Ні, треба, старче! — сказал Молявка.— Чуєш, що тобі кажуть: давай мені свої личаки, а сам обувай мої сап'янці!

— Паночку, добродію! — говорил совершенно растерявшийся нищий.— Не хочу, далебі — не хочу! — и с этими словами пустился было скорым шагом уходить.

— Доженіть його, козаки! — сказал караульным Молявка.— Візьміть у його личаки, а йому дайте обутися в мої сап'янці!

Казаки бросились на нищего. Тот, сам не зная, как избавиться от беды, начал уже бежать во всю прыть; казаки догнали его, повалили, сняли с ног его лапти, надели на него «сап'янці» и привели к Молявке.

Молявка достал из кармана нож, разрезал лапти и вынул из них свернутое в тонкую трубочку письмо, засунутое в складки лык, из которых были сплетены лапти.

— Се не про нас писано,— сказал Молявка, развернувши письмо,— сього ми не розберемо! Се, мабуть, по-татарськи або по-турецьки. Да у нас в полку знайдеться і такий, що прочита. Іди лиш, старче, за мною, до нашого полковника!

— Пане добродію, пане добродію! — возопил нищий.— Я не старець. Мушу всю правду повідати. Я козак Дорошенків. Гетьман чигиринський послав мене в образі старцеві пробратись через ваш стан в степ і подать звістку салтану, що стоїть за Ташликом, щоб швидше приходив з ордою на одсіч. Се Дорошенко свій лист мені заложив у личаки, а я не хотів йти до салтана, а хотів перейти до вас на цареву службу.

— Як тебе зовуть? — спрашивал Молявка.

— Козак Мотовило,— был ответ.

— Добре, що не брешеш,— сказал Молявка,— не бійсь нічого. Іди до мого полковника за мною.

Они пошли. Караульные казаки проводили их несколько саженей, потом воротились назад и смеялись виденному ими событию. Молявка пустил Мотовила вперед себя. Прошедши версты две, они проходили мимо заросли, и Мотовило затеял было броситься в кусты, но Молявка догнал его, схватил за руку и, сняв с себя пояс, крепко завязал ему назад руки.

— Ти, бачу, прудкий, козаче,— сказал Молявка,— да я, мабуть, моцніший од тебе.

И он погнал Мотовила далее, а сам постоянно держался за край пояса, которым были связаны руки Мотовила.

Казаки Черниговского полка, стоявшие на карауле у своей полковой ставки, окликали его, потом, когда он произнес лозунг, пропустили.

— Я,— сказал Молявка,— веду до пана полковника таке дивнє звіря́, що він зрадіє, скоро побачить!

Молявка привел Мотовила к шатру Борковского.

— Пане полковнику! — кричал он.— Виходь, твоя милость, глядіть на диво дивне!

Борковский тогда только что воротился в свой шатер после осмотра своего полка; услышав голос Молявки, он вышел со своим обычным серьезным видом. Молявка рассказал ему все, что видал в Чигирине, и представил пойманного казака, но не сказал, однако, что ему незнакомый человек в Чигирине заранее сказал про Мотовила, а изобразил дело так, как будто он, Молявка, сам, по собственной смекалке, задержал нищего и вынул у него из лаптей таинственное письмо, написанное на неизвестном для него языке.

Борковский сказал:

— За сю послугу, що ти вчинив всьому війську Запорозькому, наставляю тебе хоружим твоєї черніговської сотні. Зовіть швидше Галана Ко́зиря.

Галан Козырь был родом татарин; в детстве достался он в полон казакам, принял св[ятое] крещение и был записан в казацкий реестр в Черниговском полку. Был он дорогой человек, знал татарское письмо и гордился всегда, когда происходило какое-нибудь сношение с бусурманами.

— Прочитай і переложи! — сказал Борковский этому Галану, когда его привели к полковнику.

Галан прочитал и сказал:

— Дорошенко пише до салтана Нураддина: просить приспішати на одсіч до Чигирина, бо його москалі і барабаші навкруг оступили.

Полковник приказал написать перевод этой грамоты для представления наказному гетману.

Пришел Булавка. Борковский похвалил его шурина и объявил, что повышает его за заслугу войску Запорожскому.

Обрадованный Булавка поклонился, нагнувшись до земли, а Борковский отвечал ему легким начальническим киванием головою.

Принесли перевод перехваченного письма. Борковский

понес его Полуботку и прочитал в собрании всех полковников.

— От гарно! гарно! — воскликнули все полковники в один голос.

— Тепер,— заметил гадяцкий полковник Михайло Василéвич,— Дорошенко у нас в руках!

— Він здасться! — заметил миргородский.

— Нізвідки йому більш немає надії,— прибавил лубенский.

Полуботок заливался добродушным смехом, потешаясь над промахом Дорошенка.

— Тепер,— сказал он,— послати сказати Дорошенкові, що лист його у нас. Нехай більш не сподівається на бусурманську поміч, а швидше здається, не проливаючи крові, а то як візьмемо його з бою, то вже не буде йому шани!

— Нехай же сей козак, що піймав Мотовила, понесе Дорошенкові знову лист наш, нехай Дорошенко не бариться, а виїздить до нас і од нас їде до пана гетьмана, коли не хоче, щоб ми його взяли, як собаки вовка. Сей козак уже тепер не рядовик, а хоружий. Дорошенко заспесивився, що рядовика до його посилано, і велів через його наказати, щоб ми йому рядовиків не посилали, а посилали б урядових значних. От тепер ми йому з полкової старшини урядового шлем! — говорил Борковский.

— Нехай, нехай! — все в один голос сказали.

Написали грамоту и отправили в Чигирин того же Молявку-Многопеняжного.

VII

Опять, как в первый раз, Молявка вместе с трубачом подошел к воротам нижнего города. Опять Молявка выставил на сабле свою шапку, обвитую белым платком, а трубач протрубил. Отворили калитку в воротах. Объявивши себя полковым сотенным хоружим, Молявка сказал, что у него есть письмо к гетману.

У Дорошенка в Чигирине было два двора: один — новый, им не так давно построенный на горе в верхнем городе, или в замке, другой — в нижнем городе, в так называемом «місті». Последний был его родовой двор. Его строил еще дед Петра Дорошенка, Михайло, бывший потом гетманом, и двор этот переходил из поколения в поколение по наследству. При этом дворе, очень обширном, был также

обширный сад, расположенный на берегу Тясмина, за садом — водяная мельница, принадлежавшая Дорошенкам. К этому двору направили тогда чигиринцы посланца. Молявка взошел на крыльцо, поднялся по лестнице вверх и, отворивши дверь, вступил в просторную комнату, уставленную лавками и двумя столами. За каждым из этих столов сидело по канцеляристу; они что-то писали. Писарь Вуехович расхаживал по комнате. Молявка почтительно поклонился и сказал, что пришел от наказного гетмана к гетману Петру Дорофеевичу с «листом».

Вуехович узнал его сразу и сказал:

— Аже гетьман тобі наказовав, щоб рядовика до його не посилали, а слали би якого урядового!

— Я тепер уже не рядовик,— сказал Молявка.— Я сотенний хоружий.

— За немалі, певне, послуги тебе так зразу піднесли! — сказал Вуехович, догадавшийся, что повышение этого казака связано как-нибудь с отправлением Мотовила, о котором Вуехович приказал тайно сообщить этому казаку.

— Про те вла́дза знає! — сказал Молявка.

Вуехович с «листом» вышел. Молявка несколько времени стоял, оглядывая покой, куда вошел. Канцеляристы продолжали сидеть и строчить какие-то бумаги. Один из них как-то приподнялся, и Молявка узнал в нем того самого, который в первый его приход, поговоривши с Вуеховичем, подбежал к нему и сообщил о Мотовиле.

Молявка не смел начать с ним разговора, как вдруг тот сам, улучив минуту, когда Молявка, расхаживая по покою, приблизился к столу, за которым канцелярист писал, и спросил его:

— Вашець прошу, чи не знаєш, вашець, нашого товариша Кочубея, що наш гетьман посилав до Царгорода, а у його челядник покрав папери, то він побоявся нашого гетьмана і втік до вашого. Кажуть, йому добре у пана гетьмана Самойло́вича?

— Я його особисто не знаю,— отвечал Молявка,— а чув, що йому коло ясновельможного добре поводиться.

— І Мазепа, наш прежній писар, кажуть, великий чоловік у Івана Самойло́вича. Усім добре тим, що од нас до його перейшли. Хороший дуже ваш гетьман. І наш Вуєхович-писар того тільки і бажа, аби наш ясновельможний свою булаву зложив і гетьманство здав. І ми всі об тім тільки Бога молим, щоб те швидше сталось.

Вошел Вуехович с озабоченным видом.

— Пан гетьман,— сказал он Молявке,— велить тебе, мій голубе, до мене взяти на господу, поки одповідь дасться.

Вуехович отвел Молявку в свой дом, находившийся рядом с двором Дорошенка, и на дороге спросил Молявку:

— Поклонився від мене Борковському?

— Поклонився,— отвечал Молявка,— і по сьому поклонові мене піднесли в хоружі.

— Тепер,— сказал Вуехович,— нашому гетьманові той найщиріший приятель і правдивий добродій, хто його доведе до того, щоб він поклонився Самойло́вичеві і гетьманство своє з себе скинув. Бо нікуди, нікуди нам діться!

Оставив в своем доме Молявку под опеку матери своей, Вуехович воротился во двор Дорошенка.

Дорошенко, узнав из письма Полуботка, что Мотовило схвачен и последняя попытка упрямиться не удается, пришел в большую досаду и более всего сердился на Яненченка, своего шурина, и на других, которые вместе с гетманским шурином уговорили его сделать последнее усилие и послать еще раз к татарам просьбу о помощи. Действительно, гетман не хотел этого делать, но поддался советам и настойчивости других, как и прежде бывало с ним такое нередко: не хочет, противится, а потом поддается и снова сердится на тех, которых послушался. Таким выработало его ужасное положение Украйны, когда глава этой страны сам не знал, за что ему схватиться и что избрать за лучшее. Но никогда не поступил Дорошенко так опрометчиво, как теперь, послушавшись совета своего шурина и других, не расположенных покоряться левобережному гетману, а этого-то именно, во что бы то ни стало, требовало московское правительство. Долго уже водил чигиринский гетман Само́йло́вича и Ромодановского обещаниями исполнить царскую волю и только обманывал их, а сам между тем все-таки продолжал сноситься с турками и татарами. Теперь, когда вся область, управляемая Дорошенком, почти опустела и взять его самого в Чигирине было нетрудно, последнее спасение зависело от того, чтобы его покорность царю, хотя напоследок, могла представиться сколько-нибудь искреннею,— и в это-то время новое сношение с татарами должно было окончательно раздражить тех, от которых зависела его будущая судьба.

Коварство его было открыто. Дорошенку более чем когда-нибудь приходилось отдаться, и теперь думал он только о том, как бы сдаться с тем условием, чтоб ему была прощена вместе с прежними винами и эта последняя вы-

ходка. Он, получивши «лист» Полуботка, принесенный новопоставленным сотенным хоружим, приказал созвать к себе свою немалочисленную родню и тех старшин, которые еще оставались ему верными. Место сбора указано было не у него, а у его матери, которая жила в том же дворе, но в особом доме, построенном в саду. Дорошенко очень уважал свою мать, хотя часто досаждал ей своим вспыльчивым нравом, а потом просил у нее прощения и мирился с нею. Это была высокорослая сгорбленная старуха с трясучею головою; на ее лице, искаженном летами, виднелись еще следы былой красоты, а когда-то эта старуха считалась первою красавицею между чигиринскими дивчатами и потому в оное время досталась в замужество первому молодцу в Чигирине, Дорошу Михайловичу, сыну когда-то бывшего гетманом Михайла Дорошенка, статному, богатому, умному, как о нем все говорили. Этот Дорош, посланный Богданом Хмельницким в Варшаву, так умел там блеснуть своим природным умом, что поляки, несмотря на изуверную свою тогдашнюю ненависть ко всему русскому, наградили его шляхетским достоинством, хотя он не показал им ни малейшей охоты изменить казацкому делу и еще менее православной вере. С ним, с этим Дорошем, прожила она двадцать один год и народила ему сыновей и дочерей.

По смерти его она осталась полновластною хозяйкою и главою семьи. Возникавшая нередко между этой старухой и старшим сыном Петром безладица происходила из-за жены Петровой, Ефросинии Павловны, из рода Хмельницких, с которою Петро, однако, соединился браком по совету матери, находившей полезным для своего сына посвоиться с родом, считавшим в числе своих членов знаменитого Богдана. Это была, впрочем, вторая жена Петрова: с первою жил он недолго, имевши от нее одну дочь, которую потом выдал за Лизогуба. Отец второй жены Петровой — Павло Яненко-Хмельницкий, приходившийся троюродным братом Богдану, отдал за Петра Дорошенка дочь свою против ее воли: Приська любила уже другого, плакала, умоляла отца не губить ее, не отдавать за нелюба, но отец не послушал ее, увлекся тем, что будет считать гетмана своим зятем, и насильно повел ее к венцу. Зато с первых же дней супружества молодая Дорошенчиха объявляла своему мужу, что любить его никогда не будет, и особенно возненавидела свою свекровь, так как знала, что последняя настаивала, чтоб ее сын женился на Хмельниц-

кой. Невестка во всем перечила старухе, а старуха ни в чем ей не смалчивала. Петро думал всеми способами угождать жене, чтобы через то приобресть ее любовь, и в спорах ее с его матерью постоянно принимал сторону жены. От этого происходили между сыном и матерью возмутительно бурные сцены, только и возможные в таком обществе, каким было тогда казацкое, где вспыльчивые натуры не умели себя сдерживать.

Вскоре, однако, гетманша вывела из терпения и своего мужа. Было это в то время, когда гетман Дорошенко отправился в поход на левый берег Днепра, где свергнул с гетманства и отдал народу на расправу Брюховецкого. Оставшись без мужа, Дорошенчиха сошлась с прежним своим возлюбленным, но свекровь, проведавши об этом, тотчас дала знать сыну,— и это, как известно из истории, было поводом того, что Дорошенко поспешил воротиться в Чигирин и не окончил затеянного им дела. После того он вместе со своим тестем засадил жену в монастырь. Успел ли ускользнуть от его расправы возлюбленный Дорошенчихи — мы не знаем. Она просидела в монастыре несколько лет и научилась там пить. Дочь ее, оставленная в младенчестве, вырастала без матери, тосковала об ней, беспрестанно надоедала отцу расспросами о матери, и гетману стало жаль жены. Он поехал с дочерью в монастырь простить жену за прежнее, взял с нее присягу, что она будет ему верна, и позвал снова к себе в дом. Недолго Дорошенчиха жила покойно: начались у ней опять ссоры со свекровью, а привычка напиваться, усвоенная в монастыре, не только не оставляла ее, но еще усиливалась. Петру то и дело приходилось мирить жену с матерью, читать жене нравоучения и от нее выслушивать упреки, что он загубил ее молодость. Она и теперь, как ранее, смело и искренно высказывала ему и постоянно твердила, что не любит его и любить никогда не будет.

Но не только из-за жены происходил разлад у Дорошенка с матерью; не ладила мать с ним и за его дружбу с бусурманами. У Дорошенка с детских лет до старости жива была глубокая детская вера в силу материнского благословения, и он не мог никогда относиться к матери так, как большая часть казаков относилась тогда вообще к женщине, под каким бы видом ни было женское естество для них; не мог он сказать: «Ты мать, но ты баба, я тебя уважаю, но ты знай свои бабьи дела, а в наши казацкие не мешайся!» Напротив, у Дорошенка не было тайн от своей

матери, и никакого дела, никакого похода или союза не предпринимал он, не испросив у матери совета и благословения. Когда задумал он отдаваться под протекцию турецкого падишаха, мать не дала ему благословения, но он тогда матери не послушал и потом сваливал все на старшин и на казацкую раду, извиняя себя тем, что гетман не самовластный государь и должен поступать так, как приговорит все войско Запорожское. Когда турецкая протекция начала оказывать неизбежные последствия и падишах потребовал от своего нового «голдовника» набора детей в янычары, а Петро хотел было уже исполнить повеление властителя, старуха до такой степени пришла в негодование, что начала проклинать сына, а вспыльчивый Петро пришел в такую ярость, что запер мать под замок и держал несколько часов, как невольницу, но потом одумался, просил у ней прощения за свою горячность, поклялся ей, что будет стараться отрешиться от бусурманской власти и поддаться православному государю. И с этой поры, действительно, Петро Дорошенко охладился к союзу с бусурманами и пытался сойтись с Москвою. То было желание как его матери, так разом с нею и всего народа, который, спасаясь от бусурманского господства, бежал громадами за Днепр искать новоселья в областях православного монарха. И Петро не прочь был от подданства царю московскому, но все-таки хотелось ему учинить это подданство на таких условиях, которые бы ему и всей Украйне давали наибольшую степень самобытности и независимости, и немало хитрил и вилял он. Потерял он все подвластное себе население, остался только с одним Чигирином, и то сильно обезлюденным; приперли его, как говорится, к стене московские и казацкие силы. Не удалась ему и последняя попытка пригласить крымского салтана и заставить Самойловичевых казаков отступить от Чигирина. Петро Дорошенко, собрав всю родню, приходит к матери, склоняет перед нею колени и говорит:

— Мати! Востаннє благослови на добре діло: вийти з усіма чигиринцями і положити бунчук і булаву на волю царського величества!

— Кільки років чула я від тебе про сеє, і скільки разів давав ти обітниці, а напотім опять бусурмана до себе на поміч кликав! — сказала с чувством скорби мать.

— Не раз! — сказал Дорошенко.— Говорив я тобі, мати, що діялось те ради віри християнської і народу благочестивого, щоб вольності його зберегти.

— Хороші вольності придбав ти йому, народові сьому! — сказала мать.— Загонять православних християн в кримську неволю, як череду,— от славні вольності!

— Твоє діло, мати, благословити, а ми вже самі знатимемо, як нам поступова́ти,— сказал Петро.

— О Господи, Господи, за що ти покарав мене, грішну, що я породила таку потва́ру! — вопила старуха.— Проклинатимуть, Петре, тебе многі душі християнські, і внуки і правнуки на тебе жалітимуться і плакатимуться. Що ти думаєш? Чи ти над собою страшного суда божого не чаєш?

— От і пішла, і пішла, мати, прежній молебень правити! — сказал с досадою Петро.— Авжеж, не вернеться те, що пройшло! Батько Богдан Хмельницький недурно казав: при сухому дереві і живе запалюється!

— Се треба занехати,— отозвался Павло Яненко, тесть Петров,— не про те річ: чи добре, чи недобре ми перше учиняли. Він кається. Він, свахо, у тебе благословенія прохає на добро, так що вже його колишнім дорікати!

— Схаменулись ви, да чи не пізно! — сказала старуха.— Що то цар тобі тепер скаже? Скільки років його дурили! На Сибір тебе за́шле. Туди б тобі і слід, аби мого бідного, коханого Гриця вернули!

— Ти, свахо, за Грицем зажурилась; Гриця тобі жалко, бо Гриця при тобі немає,— сказал Яненко.— А коли б Гриць повернувся, а замість Гриця Петра заковали в заліза, то б і за Петром убивалась ти, як за Грицем тепер убиваєшся. Хіба Гриць того не робив, що Петро? А вже ми всі одним миром помировані! Всі погрішили проти царя православного і проти усього миру християнського. І я з вами теж. Ударимо ж самі себе у груди і покаємось. Може, милосердий цар простить!

— Здається, уже часу не маєш! — сказал сын Яненка.— Мотовило, що посланий був до салтана, попався барабашцям у неволю, і лист гетьманський у його взяли. Знають уже, що посилали-сьмо знову звати кримців. Сього нам не пробачать. Тепер якраз, як говорить стара, на Сибір гетьмана зашлють.

— А який чорт нагадав того Мотовила посилати, коли не ти, Яцько, з своїми приятелями? — говорил с чувством огорчения Яненко.— Я казав: не треба, і гетьман не хотів, так ви його збили з путі!

— Недобре зробили, що Мотовила послали,— произнес Петро,— а ще гірше нам те, що Мотовило попався. Тільки тепер мені Полуботок пише, коли я не стану бариться

і вийду до їх зараз, то вони Мотовила випустять і про лист наш, до салтана писаний, московському гетьманові не об'являть.

— Потурай! — сказал Яненченко.— Тільки вийдеш, так усіх нас у кайдани заб'ють да у Москву зашлють.

— Обіцяє Полуботок і лист наш до нас вернути,— сказал Петро.— Ось читай, що вони написали нам.

— Одначе не прислали! — возразил Яненченко.

— Пришлють,— сказал, с решимостью выступивши, Вуехович.— Присягаюсь на тім, що пришлють і гетьманові московському не скажуть. Люди наші.

— А ти почім знаєш? — сказал Яненченко.— Хіба вже з ними змовився: соболів московських захотів!

— Ти мене, Якове, соболями не урікай,— сказал с видом достоинства Вуехович.— Молодий ти ще, щоб мені таке завдавати. Я над твого батька старший літами, а не те що над тебе, хлопця!

— Мій писар вірний мені чоловік,— сказал Петро.— Я не дозволю на його порікати.

— Не дозволиш, то й добре йому,— возразил Яненченко.— На те гетьман єси. І про Мазепу казав ти колись, що вірний тобі. А Мазепа тепер перший чоловік у гетьмана-поповича став.

— А що ж робити, коли так склалось,— произнес Петро.— І Мазепу не виновачу я. Не класти було йому шиї під обух. Я б і сам так зробив, як Мазепа, якби на його місці був. Ті полковники, що від мене відцурались, більш виноваті. А всьому початок положив зять Лизогуб, що перший з них підлизався. Ті всі гірш мені зашкодили, ніж Мазепа. Да я тепер нікого не виновачу, бо їм нічого було більш робити. Бачили вони заздалегідь, що з сього усього нічого не виникне, окромя лиха. Я один винен, що не послухав їх доброї ради і на бусурманів понадіявся!

— Мазепа мені великий приятель був,— сказал Вуехович.— І тепер, сподіваюсь, таким зостався. Пошлемо до Самойловича посланців, а я лист до Мазепи напишу і прохатиму, щоб за нас заступився перед гетьманом. А Мазепа у Самойловича велику силу має. Да він такий розумний, що і з Москвою знатиме, як повестись. Він усе поробить нам як слід і улагодить.

— Так, так! — говорил Яненченко.

— Се такий шельмованець, що кого схоче поведе і проведе і в проваллю заведе. Він підлестився до нашого гетьмана, а як побачив, що сонце йому вже не так світить, як

перше світило, так зараз ізрадив свого добродія, тепер підлестився до поповича, а коли прийде час, і того зрадить. Отакий-то ваш Мазепа.

— Кого ж пошлемо у посланцях до Самойловича? — спрашивал Петро.

— Мене, пане гетьмане, посилай! — отозвался Кондрат Тарасенко, племянник старой Дорошенчихи, быстроглазый, черноволосый молодец, вскочив со своего места.

— Добре! — сказал гетман.— Ти, козаче, не дурень єси і на річі мастак. А другого кого ж пошлемо? Другий нехай їде сам Вуєхович, коли він сподівається урештовать усе через Мазепу, свого давнього приятеля. Я прийду до Самойловича і до Ромодана, нехай тільки перед вами вони заприсягнуться, що мені нічого не буде, і всіх наших зоставлять на своїх прежніх мешканнях жити, і всі мої вини, що я проти царя учинив, простяться і на пришлий час не споминатимуться. А я заприсягну не втручатись у жадні козацькі справи і стану жити вцáлє приватною особою. Ви з Тарасенком дайте за мене таку обітницю, а від них привезіть мені в листу таку, як я кажу і бажаю.

— Не повірять вони сьому,— сказал судья Уласенко,— скажуть: не перший раз обіцялись, а не виконали своїх обіцянок.

— Що ж нам діяти? — сказал Дорошенко.— Бач, Воронівка, Черкаси, навіть Жаботин і Медведівка — усі відчахнулись од моєї владзи. Уже тільки чигиринці да охоче військо тримаються ще за мене, да й ті незабаром одійдуть, бо вже охотникам показав дорогу Мовчан. Нехай так робиться, як Вуєхович казав. Благослови, мати!

— Як до царя подаваться, так тоді матчиного благословення треба, а як з бусурманами водитись, так тоді матчиної ради не слухаєш. Інші порадники єсть на те! — говорила с выражением горечи и озлобления старуха.

— Хіба я, мати, не прохав твого благословення, як турка під Каменець звав і як Мазепу посилав? — говорил с выражением укора Дорошенко.

— Не благословляла я тебе. Перший раз що моє благословення чи неблагословення варто було, коли найперший владика митрополит благословив тебе на приязнь із турком. А в другий раз я не те що не благословила тебе, а ще кляла, а ти так розлютовавсь, що аж руками на мене замірявся і замкнув мене, ніби яку злодіюку!

— Мати! — жалобно произнес Дорошенко.— Аже ж я

каявся перед тобою і вік свій каятимусь. Сам Бог прощає покутуючих грішників.

— Тільки не таких, що, як собака, на блюваки свої обертаються, як кажуть святі отці. Твоя покута — шкілювання з Бога, а не щира покута,— говорила старуха, более и более раздражаясь.

— Пішла, пішла, стара! — с досадою вскрикнул Дорошенко.

— Еге! — продолжала раздраженная старуха.— Стара вона стала, тая, що тебе породила і вигодувала! Розум через старощі утратила. Що ж? Молодої слухай! Що вона тобі в гречку скаче — се нічого. Було Хомі, буде ще й тобі!

— Ти, стара, на кого се натякаєш? — обозвалась жена Петрова, все время сидевшая молчаливо и как бы дремавшая после порядочного, как видно было, излияния в себя винного пития.— Нічого мене їсти і попрікати! Який зо мною гріх не стався, я його спокутовала не за один рік!

— Спокутовала! — возразила старуха со злобным смехом.— З черницями, а може, і з ченцями розпилась. Бач, і тепер очі залиті.

— Через кого я така стала, як не через тебе, стара! — говорила, порываясь с места, Петрова жена.— Все через тебе! Як я заміж вийшла за твого сина, так з першого дня як почала ти мене клювати да гризти да чоловікові на мене наговорювати, аж поки не засадили мене в монастир. А тепер досадно тобі, що опять мене взяли до себе жити.

— Пріська, буде! — грозно заметил ей отец ее, Павло Яненко.

— Пріська, годі тобі! Утихомирся,— таким же тоном проговорил ей Петро.

— Чого там «буде та годі»! — говорила раздражившаяся Приська.— Чого ви на мене гуртом нападаєтесь? Самі у гріх увели та й гризете!

— Як ми тебе у гріх увели? — повышая голос, говорила старуха.— Хіба з нас хто направив тебе... Пам'ятаєш, як тебе уловили з молодцем та написали твому чоловікові. О негідниця! Сама ти в гріх ускочила, не боячись Бога і людей не стидячись.

— Хто мене у гріх увів, питаєте ви? — говорила Приська.— Батько, рідний батько, що оддав мене силоміць за нелюбого. От хто мене у гріх увів спочатку. Я не хотіла йти за Петра, а мене гвалтом узяли і повезли у церкву вінчатись. Петро знав, кого брав. Хіба він кохав мене? Якби

я не Хмельницького роду була, то він би і не здумав мене брати, а якби взяв, то давно б мене зарубав.

— І давно було б треба! — с гневом сказал Петро.— Зробить би з тобою, як зробив Богдан з своєю другою жінкою! Ми ж, бач, з батьком твоїм посадили тебе в монастир, щоб ти одумалась і спокутовала. Ти ж, бачу, все ж така ж, яка й була.

— Атож! Олії з мене не виб'єте. І до смерті буду все така,— говорила крикливим голосом все более и более раздражавшаяся Приська.— У гречку скакала та ще скакатиму. От що! Ось поїдь, Петре, відсіля місяців на два або на три. Побачиш тоді, чого я тут нароблю!

— Цить, навіжена! — крикнул на нее Петро.— Хіба схотілось знову під чорний каптур? Добре, мабуть, випила!

— А що ж? — говорила с жаром Приська.— Випила! Тобі можна, а мені так ні! Ти, гетьман, позавчора накликав музики та пішов по шинках танцювати, а я, гетьманша, зберу жінок та козаків і піду по улиці. Отак! — При этом она сделала круговорот своим телом.— Що мені зробиш? — продолжала она, доходя до исступления.— В монастир засадиш? Садови́! Заріжеш, може? Ріж! Я тебе не любила, не люблю і ніколи не любитиму!

— Нехай тобі лихо! — сказал Дорошенко.— Хіба я тебе люблю? Держу тебе того ради, що дочка мала єсть. Да і те: яка ти ні єси, а все ж таки ти мені жінка вінчана. Тим і держу, хоч не хочу.

— І держиш, і держатимеш, мій голубе! Хоч хочеш, хоч не хочеш; взяв, так і терпи всі мої вибрики! — говорила, заливаясь ироническим смехом, Приська.

— Дочко! угомонись! — наставительно говорил ей отец.

— Не гримай на мене, батечку! — отвечала ему Приська.— Навіщо оддав мене за нелюба, а не за того, хто був мені милий!

— Чорт тебе знав, хто у тебе милий був! — заметил Дорошенко.

— Нема вже його, нема! — говорила Приська.— Тепер кого нагибаю на дорозі да сподоба́ю, той мені й милий. Багато милих буде! Що день, то один милий, а на другий день — інший милий. От яка я. Петро се добре зна.

Мать соскочила с места и закричала:

— Петре, сину, забий їй рот, щоб не верзла такого. Боже! Якого сорому довелось наслухатись від невістки!

— Пріську! — закричал, топнувши ногою, Петро,— не роздратуй мене. Не вдержусь, битиму!

— А я тобі дам дулю під ніс,— сказала Дорошенчиха.— Ось глянь, яка дуля! На! Покуштуй, мій голубе.

— Дочко! — громко крикнул отец, бросившись на дочь.

— Пріcько! — крикнул Дорошенко и схватил ее за руку.

Приська посмотрела на него с видом, вызывающим к себе сожаление.

— Пріська! — продолжал Дорошенко.— Йди собі в свою комірку та виспись. Бо ти, бачу, вже чимало випила. Хто се їй горілки приніс?

— Сама узяла у тебе в шкапчику. Найшла та й напилась,— сказала Приська.

— Йди, йди! — говорил Дорошенко, улыбаясь и стараясь показать, как будто все обращает в шутку.— Йди, серце, коханко!

Приська пошла в двери, подскакивая и припевая:

І бив мене муж, волочив мене муж,
Ой бив і рублем, ще й качалкою,
А і к світу назвав ще й коханкою!

Она скрылась.

— Нехай іде собі та виспиться,— сказал Петро.— Лихо з такою малоумною жінкою! А подумаєш: чим винна вона, що їй Бог розуму не дав! От тепер, здихавшись її, почнемо знову про діло наше!

— Зятю! — говорил Яненко.— Сі москалі далебі не такі страшні і люті, якими тут у нас здаються. Я приглядівсь до них, як був у Москві. Прийняли мене ласќаво, до самого царя водили до руки... І церкви у їх такі ж, як у нас, християнські, тільки багатше і краще наших. З Москвою в братерстві жити нам згодніше, ніж з бусурманами. Бо вже ми досвідчили, що то єсть побратимство з кримцями і з турком. Що нам бусурмани вчинили? Тільки Украйну спустошили! Яких не побили, ті повтікали. Куди нам тепер подітись? Не шукать милості у тих же бусурман, да й те, бач: ми вже прохали, так не дають більш, тільки нас манять. Один раз помогли, у ляхів собі Подолля забрали, та й годі. Уже ж не до ляхів нам тулитись.

— А чому ж не до ляхів? — сказал Шульга, полковник охочих казаков.— Отепер би з ними краще було поєднатись. Якби вони побачили, що ми тепер лепше до них, як до Москви, привертаємось, то б їм прийшлось дуже по душі.

— Їм би, може, прийшлось по душі, та нам не по нашій шкурі! — сказал Дорошенко.— Ні, Шульго! Сього вже уд-

руге і втретє не повторяй. Ніколи, поки світ сонця, козак з ляхом не зійдуться.

— Сто чортів їх батькові і матері, тим ляхам-бісам! — воскликнул обозный Бережецкий.— Тільки моя така щира думка, що, відцуравшись від ляхів, не приставати до Москви, на її підмову не піддаватись, а славне військо Запорозьке низовеє— от наша надія! О, якби ми трималися всі вкупі: не те, що ляхи — і москалі не побороли б нашої козацької сили.

— Добра твоя річ,— сказал судья Уласенко,— тільки якби років хоч десять попереду була проказана. Бо вже тепер Україна через нутряні свої розрухи ні на віщо звелася.

— Ми з військом низовим єднали-сьмо,— сказал Дорошенко.— І перед кошовим присягу цареві виконали. Так Москва тієї присяги не поважає, і бояре її не хочуть, кажуть, щоб виконали ми присягу перед Самойло́вичем і перед Ромоданом, а не інак. Що робити! Не хотілось нам коритись перед поповичем, да нічого не вдієм. Не поповичеві поклонимось, а цареві, що його наставив і посилає. Учиню так, як цар велить, а опісля не маю techn кновать нічого. Житиму в приваті тихо-мирно. Що там робитиметься,— мені все байдуже! Нехай тільки мене вже не займають і всю родню мою, і при нашій худобі нас нехай зоставлять. З нас і буде! І поповичеві годитиму. Що захочуть, нехай витворяють надо мною: сількісь! Все терпітиму! Багато я погордував над людьми на своєму віку. Покаятись при кінці віку хочу. Аже кажеться: в терпінні стяжите ваші душі! Мати, благослови!

— Аби тільки за перші злі учинки не взявся,— сказала старуха.— А на добрі я благословляю.

Мать со слезами на глазах встала со своего места, сняла со стены висевший образ Спасителя в терновом венце и, осенив им склонившего перед нею голову сына, произнесла:

— Сину мій любий, сину первородний! За все, чим проти мене погрішив єси, я тебе прощаю і благословляю на життя нове. Пошли тобі, Господи, здоров'я і щастя!

После этой семейной сцены Дорошенко велел позвать привезшего Полуботков «лист» посланца. Привели Молявку.

— Скажи мені правду, козаче, да тільки щиру правду, як перед Богом. Не відбріхуйся,— говорил ему Дорошенко.— А я тобі даю справедливе слово гетьманське: не буде тобі

нічого злого. Ти піймав мого Мотовилу? Не бійсь, кажи просто.

— Я, пане гетьмане! — отвечал Молявка.

— Я так і думав,— сказал Дорошенко.— Бо за віщось велике тебе зразу так піднесли, що з простого рядовика хоружим сотенним учинили. Як же ти його піймав? Чи дав тобі хто про його заранi звістку?

— Вийшовши з Чигирина, угледів я, що якийсь бідолашний старець виліза крадькома з города. Підзорно мені те здалось. Я догнав його. Подаровав спершу йому своє одіння і сап'янці, а у його взяти хотів, що на йому було. Він не дався. Тоді я догадався, що тут щось є, позвав козаків, роззули його, і я з личаків вийняв лист.

— Кажи правду,— заговорил Дорошенко.— Мотовила не посилано до московського гетьмана?

— Ні. Сидить у Борковського за сторожею,— сказал Молявка.

— І листа мого не посилано до московського стану? — спрашивал Дорошенко.

— І листа не посилано,— отвечал Молявка.

— Я,— сказал Дорошенко,— пошлю Вуєховича і Тарасенка до обозу пана Самойловича і Ромодана: нехай умову підпишуть і присягнуть обопільно. Тоді я до їх приїду гетьманство своє здавати. А тим часом, поки мої вернуться, ти зостанешся аманатом. А Полуботок нехай мого Мотовила пришле до мене і лист той мій, що перейнято. Я тоді разом з тобою до їх виїду!

VIII

В казацком стане в шатре наказного гетмана Полуботка собрались все пришедшие под Чигирин полковники. Перед этим собранием, сидевшим за столом, стояли Дорошенковы посланцы Вуехович и Тарасенко. Они объясняли полковникам, что отправка Мотовила учинена была Яненченком мимо воли и ведома гетмана, уверяли, что с Яненченком в соумышлении немного неопытной молодежи, которая сама не знает, что делает, а большинство чигиринцев заодно с гетманом стоит твердо на том, чтобы искренне, без обмана покориться. Вуехович умолял полковников поступить в этом случае по-товарищески, не сообщать о перехваченном «листе» Косагову, простить неразумную молодежь и не думать, чтоб Дорошенко участвовал в таком коварном замысле, а Дорошенку отослать и Мотовила и взятый

у него в лаптях «лист». Тогда Дорошенко немедленно приедет к ним в стан. Полуботок отвечал, что все сделается так, как желает Дорошенко, только пусть Дорошенко немедленно после отправки к нему Мотовила с «листом» приезжает в московский стан на речку Янчарку и там пред всеми положит свои клейноды, а потом поедет в главный обоз к Ромодановскому и Самойловичу. Полковники тотчас приказали возвратить Дорошенку «лист» перехваченный и препроводить Мотовила в Чигирин, а Вуеховича и Тарасенка отправили к Косагову, от которого те уехали в главный обоз к Самойловичу и Ромодановскому.

Между тем новый хоружий черниговской полковой сотни сидел в доме Вуеховича, которого мать, по приказанию сына, угощала со всевозможным хлебосольством. К концу дня сказали Молявке, что его зовет гетман. Он вышел за ворота двора Вуеховича, но там ожидали его Яненченко и приятель последнего, бывший медведовский сотник Губарь.

Яненченко сказал Молявке:

— Ти піймав Мотовила?

— Я,— ответил Молявка.— Я вже повідав самому ясновельможному.

— Чи ти козак правдивий, чи, може, московський шпиг? — спрашивали его.

— Я — козак правдивий! — отвечал Молявка.

— Так слухай,— сказал Яненченко,— не всі у нас такі ледащі, як наш гетьман, що старого бабського черевика не варт. Не над козаками йому гетьмановати, а свині пасти. Без Дорошенка знайдемо собі іншого гетьмана. Чутка у нас права, що турський цар, довідавшись про Дорошенкову зраду, нарік гетьманом сина славної пам'яті Богдана Хмельницького Юрася, пожаловав його князем Малоросійської України, і велів одягнуть його у каптан і берет йому дати. Ми до його пристанем, коли з'явиться з турським незвитяжоним військом. Людей хоробрих, розумних і сталих нам треба. Відпокутуй вину свою, що вхопив нашого чоловіка в неволю. Приставай до нас. Зоставайся з нами, відступись од московського царя і присягни служить Богданову сину. А коли не захочеш так учинити — світу божого більш не побачиш! Тут зараз тебе і смерть постигне.

— Не те, що до вас пристану,— отвечал Молявка,— а намагаюсь наших полчан черніговських і других, як прилучиться, відвернуть од регіменту Самойловичевого.

А брешеш, сучий сину! — сказал Губарь.— З ляку за свою душу нам се ти кажеш! Відкіля се воно так сталось, що потайчора, слугуючи вірно гетьманові-поповичеві, ти полонив нашого чоловіка, а сьогодні вже єдної думки з нами став. Брехня, брехня, не піддуриш нас! Думаєш як-небудь вишмигнуть від нас, а потім доведеш про нас!

Ні, панове,— отвечал Молявка,— не хочу вас піддуровать, з щирого серця вам кажу. Хіба, ви думаєте, у нас на лівому боці забули про батька нашого Богдана? Хіба тоді про його забудуть, як уже ні одного козака там не зостанеться! Поки світ сонця — пам'ятатимуть і згадуватимуть його, і синові його слуговати раді будуть мало не всі. У нас якби просто ректи: отступіться од царя да приставайте до турка або до ляха, то правда — мало б знайшлось охітних. Або так сказати: відречіться од регіменту Самойловичевого, нехай буде вашим гетьманом Дорошенко, або Ханенко, або хто інший, хоч би хто з ваших мостей, то ледве би на те пристало багато. А Хмельницького імено — велике то слово! Тим і я, панове, як тільки сказали ви, що турецький цар наставляє Хмельниченка не тільки що гетьманом, а ще князем, зараз Бог зна як зрадів і з першого слова сказав, що хочу йому вірно слуговати! У нас, панове, давно така гадка між народом ходить, що коли-небудь прийде Юрко Хмельниченко відбирати свою батьківщину, і тоді всі до його пристануть, і вся Украйна поєднається, і не буде над нами ніякого чужого панования, ні московського, ні лядського, а своє власне буде, і усім лихам кінець прийде, і щастя Бог дасть людям своїм.

— Якби ми про Хмельниченка тобі не сказали, то б таки ти усе згодився мальованим способом на всяку нашу думку, аби тільки від нас вирваться. Бо ми тобі сказали, що смерть постигне тебе, коли не згодишся,— заметил Губарь.

— Ми тебе тільки так дражнимо, а ми тебе зараз поведем та розкажемо тебе розстріляти як московського шпига.

— Не злякався я, бо на те я козак,— говорил Молявка.— Чи можна козакові смерті боятись? На тім козацьке життя стоїть, що видюща смерть у його на кожнім кроку. Не вірите мені — ведіть розстріляйте. Коли-небудь умирати треба. Хоч десять літ, хоч двадцять — а все-таки колинебудь смерть прийде. Вічно не житиму. Розстріляйте мене, коли не вірите, а я вам правду сказав: як ви мене питали, так я вам і казав, як думаю. Я перед вами на святім хресті і на Євангелії присягнусь, що вірно слугуватиму Богданову синові. А не вірите, розстріляйте мене.

— Губарю! — сказал Яненченко,— поклич Остаматенка. Нехай перед нами трьома присягу виконає. Люди нам потрібні.

Губарь быстро побежал. Молявка стоял молча в раздумье, ожидая своей судьбы.

Яненченко первый прервал молчание и начал бранить Дорошенка. Молявка только слушал. Скоро воротился Губарь с новым лицом, в котором Молявка узнал того самого канцеляриста, который в первый приход в Чигирин сообщил ему, по приказанию Вуеховича, о Мотовиле. Молявка тотчас смекнул, что у этих господ, от которых теперь зависела его участь, что-то между собою не ладно и один под другим роет яму.

— Сей козак до нашої думки пристає і хоче нам в пригоді стати,— сказал Яненченко. Затем он рассказал предложение подговаривать левобережных казаков в пользу Хмельниченка.— Чи приймати його до нашого гурту, чи, може, розстріляти як московського шпига? Як думаєте, пане Остапе? — спрашивал он далее.

— Я так думаю, що приймати його до гурту. Нам людей треба,— отвечал новоприбывший.

— А Дорошенко, скурвий син, нехай віється ік дідьку! — начал снова Яненченко.— Нехай покуштує московського кнута, як Демко Многогрішний, що одібрав добру нагороду за свою вірную службу цареві.

— Хіба один тільки Демко! — заметил Молявка.— А Яким Сомко, а Васюта Золотаренко, а Оника Силич? А Мефодій архирей? Уже хто Москви прихильнішим був, як той архирей. А як йому за те Москва оддячила! Що казати? Мало хіба нашого люду запропастила проклятуща Москва! У нас така чутка досі ходить, що і самого батька Богдана Москва завчасу з світа білого звела: отрути, кажуть, йому поддали за те, що боярам не хотів годити. Московський цар тільки що зоветься і пишеться самодержець, а править не він. Всім заправляють і роблять, що хочуть, бояре, а цар тільки спить да їсть і п'є всласть.

— Правду говориш, товаришу! — сказал одобрительным голосом Яненченко.— Ходім же у церкву, там заприсягнешся. У нас єсть і піп такий, що з нами єдиної згоди.

Заговор о приглашении Юраска Хмельницкого уже зрел в Чигирине, хотя и не слишком еще распространился. Соумышленников у Яненченка было, может, каких-нибудь десятка три. В числе их был один из чигиринских священников. Это был прежде казак-запорожец, учился он когда-

то в бурсе, а потом воевал несколько лет с запорожцами по степям и рекам; за какое-то преступление в коше хотели было его заколотить палками; он впору убежал из Сечи, явился к митрополиту Тукальскому и просил посвятить его в попы. Случаи были в те времена не редкие, что казаки, прежде отличавшиеся достоинствами войсковых людей своего века, поступали в духовное звание. Митрополит посвятил и этого казака и назначил вторым священником при одной из чигиринских церквей. Его-то сманил на свою сторону Яненченко. Все четверо пришли к этому попу и просили привести к присяге новобранца. Поп вышел из своего дома; он, остерегаясь, чтоб не заметил и не узнал о происходящем главный священник того храма, где этот поп числился только вторым, провел казаков в церковь, приказавши им идти не вместе, а врозь. Когда сошлись в церкви, Молявка перед крестом и Евангелием произнес присягу со слов Яненченка и в этой присяге давал пред лицом вездесущего Бога обещание отступиться от московского царя и служить верою и правдою Георгию Гедеону Венжику Хмельницкому, гетману и князю Малороссийской Украины.

Между тем привезли к Дорошенке Мотовила с перехваченным «листом» и вместе с тем письмо от Полуботка: наказной гетман приглашал Дорошенка нимало не медля ехать по своему обещанию в стан. Уже было поздно.

— Завтра вранці поїду,— отвечал Дорошенко.

Настало утро. Когда обвиднело, Дорошенко приказал во всех чигиринских церквях благовестить на сбор народа и приказал позвать к себе Молявку, который, после данной им присяги на верность князю Малороссийской Украины, радовался, что избежал опасности, и ласкал себя сладкими грезами о предстоявшей возможности новыми услугами царю приобресть еще повышение по службе. Явился он к Дорошенку по зову гетмана. У крыльца его дома уже стояла оседланная и подведенная гетману лошадь.

— Тепер ти вільний! — сказал ему Дорошенко.— Поїдемо разом зо мною до вашого табору!

Вышедши из дома, Дорошенко сел верхом на подведенного ему коня и выехал со двора. На крыльце стояла его семья. Старшины были уже на улице, дожидаясь там гетмана. Весь город уже обегали сердюки, скликая народ на раду. И близ гетманского дома набралась такая толпа, что Дорошенку не без труда можно было проехать, чтоб стать

на таком месте, откуда бы долетавшая речь его могла быть удобно слышана на далекое расстояние.

Сидел Дорошенко верхом на сером породистом арабском коне, подаренном ему когда-то великим турецким визирем, и громогласно говорил:

— Православні християне! Добрий народе україно-малоросійський! Приходить нам наш останній час! Не можна уже нам стояти за свою вольность. Самі відаєте, скільки літ стояв я за неї і чого не робив: і турків, і татар закликав, але бусурмане, ім'я наше християнське ненавидячи, нещиро нам давали поміч, думаючи об тім єдине, як би наш край у вічну неволю під себе загорнути. Куди не повернемось, усюди нам боляче і гаряче. Україна сьогобочна спустіла. Народ, який зоставсь не побитий від чужого меча, розбігся, покинувши батьківські оселі. Ні з ким стояти. Зосталось просить милості і ласки у білого православного царя. Відомо то усім, що моя думка була здавна така, що нема нам ліпшої долі, як зоставатися під високою рукою царського пресвітлого величества, єдиного православного монархи на світі. Тільки тому перешкодою було те, що православний цар не приймав нас, а розказовав нам, щоб ми покорні були ляхам. А ми під ляхами буть не хотіли, і згодиться з ними нам ніяк не можна було, бо ляхи велце зрадливі люде і на змові своїй не стоять. До того ж старшина наша не вся змовлялась на тім, щоб одностайно цареві слуговать і покірними буть, боячись за свої вольності. Торік, як самі знаєте, присягали ми на віру православному цареві перед кошовим запорозьким Сірком, але царському пресвітлому величеству тая наша присяга не приймовна, і тепер посилає православний цар свою військову силу, щоб ми присягли перед гетьманом Іваном Самойловичем і царським боярином князем Григорієм Ромодановським і перед ними з себе гетьманство своє зложили. Биться нам не годиться, да і ні з ким до бою стати. Покладаймось цалє на ласку царського пресвітлого величества з тим єдине варунком, щоб нас при нашім бідолашнім житії і при нашій щуплій худобі зоставили. Така моя думка, панове громадо!

— Згода, згода! — раздалось множество голосов.

— Нема згоди! — раздался в толпе один резкий голос, а за ним голосов двадцать, как это, повторили: — Нема згоди!

— Хто кричить «нема згоди», нехай вийде і скаже: що ж нам діяти і куди обернутись? — сказал Дорошенко.

— Під турком лєпш буде! — закричал кто-то.

— А чому до ляхів не послати? — раздался голос Шульги.

— К чортовому батькові ляхів! — крикнул брацлавский полковник Булюбаш.— Хто ще скаже, щоб нам коритись ляхам, того ми каменюками поб'ємо!

— Ляхи наші прирожденні вороги! — кричали другие.

— Краще чортові коритись, ніж ляхові! — повторяли иные.— Нема з ляхами згоди й довіку, до суду не буде!

— Я бачу,— сказал Дорошенко,— що все велике множество чигиринського люду хоче покоритися волі православного монархи, царського пресвітлого величества. Так я поїду до гетьмана Самойловича, поклонюсь йому і здам своє гетьманство, випрохавши тільки, щоб вас з осель ваших гвалтом не виводили. А сам куди розкажуть мені їхать, туди й поїду. Простіть мене, братія, аще в чім яко чоловік прогрішився проти вас всіх в óбець і проти кожного особно; і я всіх тих прощаю, аще хто проти мене зло мислив!

— Нехай Бог тебе покриває своїми святими крилами! — провозгласила толпа.

Священники в ризах вышли со крестами в руках. Понесли вперед Евангелия, образа, хоругви. Дорошенко сошел со своего коня и сел в поданную колясу. Многие видели, что у него на глазах сверкали выступившие слезы.

Коляса Дорошенка медленно ехала за крестным ходом. Позади колясы и по бокам ее ехало, шло и бежало множество народа обоего пола: те следовали верхом, другие — в повозках, большая часть — пешком. Были тут седовласые старцы, были и недорослые хлопцы. Под звуки колоколов шествие это вышло из ворот города и потянулось к югу. При переезде через казацкий стан караульные окликали шествие. Был ответ: гетман Петр Дорошенко едет в войско царского величества сдавать свое гетманство! Дорога, окаймляясь рядами курганов, памятников глубокой старины, которых такое множество вокруг Чигирина, привела в яр, посреди которого протекала речка Янчарка. По берегу ее белели полотняные шатры великорусского отряда. Перед шатром предводителя Григория Ивановича Косагова стоял стол, на котором лежали крест и Евангелие. Косагов уже дожидался Дорошенка, стоял в малиновом кафтане, расшитом золотными травами, с козырем, украшенным жемчугом; на голове у него была остроконечная, подбитая соболем шапка. Около Косагова стояли великорусские начальные люди и малороссийские полковники, присланные к

Чигирину. Крестный ход уже достиг своей цели; хоругви и образа блистали под лучами яркого солнца.

Подъехала наконец к шатру коляса гетмана.

Дорошенко сошел на землю. За ним вынесли из этой колясы бунчук и булаву во влагалищах; бунчук поставили близ стола, булаву положили на столе.

Дорошенко, приблизясь к Косагову, поклонился, прикоснувшись пальцами до земли, и сказал:

— Стольник великого государя Григорий Иванович! По воле великого государя моего царя и великого князя Федора Алексеевича, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца, приехал я поновить пред тобою присягу на верность царскому пресветлому величеству, которую дал прежде перед кошевым запорожским Иваном Сирком и донским атаманом Фролом Минаевым.

Косагов сказал ему:

— Гетман Петр Дорофеевич! То учинил ты зело добре. Великий государь тебя за то жалует и приказывает похвалять и спросить тебя и всех чигиринских казаков и все посольство о здоровье. Вот крест и Евангелие. Присягни пред ними, что ты поедешь к гетману Ивану Самойловичу и к боярину князю Григорию Григорьевичу Ромодановскому в обоз под Вороновку сложить свое гетманство и дать присягу на верное и вечное подданство его царскому величеству!

Дорошенко, подошедши к столу, произнес присягу, повторяя слова священника, приехавшего вместе с Косаговым.

После присяги Дорошенко повидался с Полуботком и другими казацкими полковниками и, указывая на Молявку, стоявшего сзади, сказал:

— От ваш атаман, живий і здоровий. Поможи вам, Боже, за те, що обійшлись як слід братам і товаришам. Тепер уже все скінчилось. Воювати між собою не будем. Прийміть мене до свого гурту, бідного вигнанця, не пам'ятайте, що діялось перед сим. Самі ви люди розумні, зрозумієте, що я мусив зберігати, що мені полецано було, а тепер нехай божа воля станеться.

— Ти, пане, свою справу чинив, а ми свою чинили,— сказал Борковский.— Не пам'ятуй і ти, що ми на тебе войною ходили. Як перед сим щиро ворогували, так тепер, замирившися, станем тебе поважати і кохати як брата і товарища!

— Вернуться мої посланці, тоді я з вами до головного обозу поїду,— сказал Дорошенко.

Полуботок пригласил Дорошенка в шатер на чарку горилки. Подали Дорошенку налитый вином серебряный кубок. Взявши его в руки, он поднял его вверх и провозгласил здоровье гетмана и всего войска Запорожского.

За шатром раздался гул. Послышались крики: «Повернулись! Повернулись!» Дорошенко поставил на стол кубок, еще не успевши допить его, отступил и отвернул полу шатра. Он увидел Вуеховича и Тарасенка, которые вставали из коляски и держали в руках по листу бумаги. Их коляску кругом обступила толпа чигиринцев, прибывших в стан вместе с Дорошенком.

— Що, братці? — с видом вопроса крикнул к ним Дорошенко, еще не допуская их к себе приблизиться.

— Все як належить! — отвечал Кондрат.

— Дяковать милосердому Богові! — громко произнес Вуехович.— На все згодились і твою милость якнайскоріш до себе чекають. От листи від пана гетьмана і від боярина Ромодана... А се, пане, лист до твоєї милості особистий від пана Мазепи,— прибавил Вуехович.

Дорошенко прежде всего схватил в руки письмо от Мазепы, так как его занимало желание укрыть от великорусского начальства последнюю отправку Мотовила к салтану Нуреддину. В этом письме от Мазепы Дорошенко нашел только неясное и короткое уверение, что со стороны гетмана и старшин будет сделано все по желанию Дорошенка, сообщенному Вуеховичем.

IX

Освободившись из Чигирина, Молявка рассказал прежде всего обо всем, что с ним происходило, своему полковнику Борковскому. Немедленно Борковский сообщил об этом наказному, а Полуботок нашел, что принесенные Молявкою известия до того важны, что следует отправить самого этого Молявку к гетману, пусть Молявка сам лично расскажет ясновельможному все, и тогда главные региментари царских войск могут в пору сообразить, что им делать и какие меры предпринять в ожидании вновь затеваемой смуты. Полуботок приказал составить об этом «лист» к Самойловичу, вручил его Молявке для передачи и приказал последнему, в дополнение к написанному, словесно обстоятельнее изложить все, что найдут нужным узнать от него.

В тот же день отправился Молявка и прибыл в главный обоз под Вороновкою. Его, как посланца от наказного, провели к ставке гетмана. В оное время походы совершались не с такою быстротою и не так налегке, как теперь. Военачальники останавливались с войском иногда надолго и должны были иметь с собою все удобства, какими пользовались в постоянных местах своего пребывания. Об удобствах подначальных и рядовых воинов и даже их продовольствии заботились тогда мало, но зато уже те, которые ими начальствовали, всегда брали с собою всего много. У малороссийского гетмана в походе была и своя походная церковь с духовенством, и своя походная кухня, и буфет, и канцелярия, и прислуга, иногда очень многочисленная. Гетман Самойлович, совершая походы разом с великороссийским боярином, начальствовавшим царскою ратью, посылаемою в Малороссийский край, устраивал пиршества, приглашал на них и своих и великороссийских начальных людей, отправлял в столицу посланцев с вестями, принимал московских и других послов и гонцов, творил на походе суд и расправу со старшиною. При таких обычаях необходимо было брать с собою и возить множество вещей и людей, тем более что при малолюдстве края и при бедности культуры не везде можно было добыть всего, что окажется нужным. Таким образом, где только останавливалось войско на продолжительное время, в обозе возникал вдруг многолюдный и шумный город. Так было и под Вороновкою.

Гетманская ставка была в средине обоза; она состояла из купы шатров, между которыми отличался нарядностью и обширностью шатер самого гетмана Самойловича, разбитый на три части, отделенные одна от другой холщовыми выкрашенными занавесами. Переднее отделение имело вид обширной залы и было установлено полками со множеством серебряной посуды. Посреди стояли столы и при них складные стулья. Туда ввели Молявку. Самойлович находился тогда в другом отделении шатра, в своей спальне, и сидел там на своей походной постели перед столом, на котором лежали бумаги. С ним было двое из особ уже близких к нему, но не занимавших еще старшинских мест: один был Иван Степанович Мазепа, другой — Василий Леонтьевич Кочубей; оба они состояли в неопределенном звании значных войсковых товарищей; все, однако, в войске уже знали, что это самые приближенные к гетману люди. Прочитавши переданный Самойловичу через служи-

теля «лист» Полуботка, привезенный Молявкою, гетман дал этот «лист» прочитать Мазепе и Кочубею, потом велел Мазепе поговорить с тем хоружим, который прислан с «листом».

Впущенный в переднее отделение гетманского шатра, Молявка был поражен множеством серебряной посуды. Ничего подобного не мог он видеть в своей жизни, до сих пор протекавшей в скромной обстановке быта рядовиков, где какая-нибудь полдюжина серебряных чарок да серебряная солонка в шкапчике считались уже признаком Бог знает какого довольства. А тут — в поставцах, расставленных во все стороны, горели, как жар, в таком множестве позолоченные и серебряные под чернью роструханы, достаканы, кубки, солоницы, ложки, черенки ножей и вилок,— и все это сработано с вычурами, «штучне», как говорили тогда малороссияне.

Молявка уже приучил себя к почтительности перед высшими лицами и притом слышал от Булавки, что у гетмана Самойловича старшины генеральные сами сесть не решаются, прежде чем он не пригласит, а потому Молявка не смел сесть, хоть и немало стульев там было расставлено. Молявка стоя глазел на посуду, не дерзая подойти к ней поближе. Вот, наконец, развернулась пола занавеса, отделявшего переднее отделение шатра от другого, внутреннего, и из-за нее вышел худощавый, среднего роста человек с чрезвычайно добродушным выражением лица и с осклабляющимися губами, но с проницательными черными глазами. То был Мазепа.

— А де черніговської сотні хоружий, що привіз від Полуботка лист до ясновельможного пана? — спросил он, поводя глазами.

Молявка тотчас подошел к нему и поклонился в пояс. Мазепа сказал:

— Розкажи мені, серденько козаче, як ти ходив до Дорошенка в Чигирин, що там бачив і що чув. Усе розкажи по ряду; ясновельможний гетьман велів тебе розпитати.

Молявка принялся рассказывать подробно о всех своих приключениях, и когда пришлось говорить о собственных подвигах, Мазепа телодвижениями показывал ему одобрение. Но Молявка и на этот раз, как при передаче того же Борковскому, не сказал Мазепе, что насчет Мотовила предупредили его заранее в Чигирине. Мазепа, вглядываясь ему пристально в глаза, перебил его вопросом:

— А Вуєхович тобі нічого про се не сказав? Він не

говорив з тобою? Може, він коли не сам, то через кого іншого звістив тебе?

Не решился Молявка отрицать этого, видя, что господин, который его спрашивает, как будто еще и не слыша его слов, читает, что у него на уме. Он сказал, что было именно так.

— А не знаєш, як зовуть того, що тебе звістив? — спрашивал Мазепа.

— Його зовуть Остаматенко. Я узнав про те опісля, як мене Яненченко підмовляв; тоді й сей був з Яненченком,— сказал Молявка.

— Кажи дальш,— сказал Мазепа.

Молявка говорил, как Дорошенко оставил его аманатом. Мазепа сказал:

— Дорошенкові хотілось, щоб московські гетьмани не знали, що він хотів бусурмана знов закликать. Нехай не турбується. Хоч нічого не утаїться од нас перед царським величеством, єднак Дорошенкові з того лиха не буде.

Молявка рассказал, как Яненченко с товарищами принудили его дать присягу на верность Хмельниченку.

— А як же, козаченьку, не стидно було тобі давать мальовану присягу? — сказал тоном укора Мазепа.— Хто ж після сього віру іматиме і другій твоїй присязі?

Не допустивши ответа, Мазепа вышел. Молявка стоял, словно кто его холодной водой окатил. Он почувствовал, что Мазепа выворотил ему сразу душу наизнанку и заглянул в нее так глубоко, как он сам ни за что не хотел, чтоб кто-нибудь заглядывал туда.

Мазепа передал гетману все, что слышал от Молявки.

— Я думаю,— сказал гетман,— тепер, як ми вже знаємо, що в Чигирині складається факція за Хмельниченка і його навіть чекають з турецькою силою, то уже Дорошенка жодною мірою не можна зоставляти в Чигирині. Бо Дорошенко через свою жінку свій чоловік Хмельниченкові. І Павло Яненко, тесть його, і діти Павлові того ж роду. Як Дорошенко приїде до нас, сказати йому зараз, що по царській волі мусить він незабаром перебиратись по наш бік Дніпра. Я йому покажу мешкання. Ти що на се повідаєш, Іване Степановичу?

— Ясновельможний пане! — сказал Мазепа.— Ти нашого зда́ня питаєш, ніби шкілюючи з нас. Бо нам зостається тільки, як дурням, лупать очима і ніби твоїй милості похлібствовати. Хоч який справедливий слуговець своїй отчизні — не здолає тобі власної ради дати, бо як скаже

щиру правду, то правда та мусить походити не від його, а від тебе, бо скаже те, що ти перш сам вимовиш. Твоя милость завше дасть сам таку мудру резолюцію, що нам не зостанеться нічого, як тільки згодиться з тобою. Бо хоч би ми три дні, п'ять день міркували, то не додумались би ні до чого найліпшого. Якби у царя, великого государя нашого, на Москві коло його пресвітлого престола були такі особи мудрі, як наш гетьман,— не ділялось би того, що діється часом.

— Я думаю,— продолжал Самойлович,— Дорошенкові дать мешкання в Сосниці, бо то буде недалеко від Батурина. А в Сосниці сотником наставити козака такого, щоб можна було на його покластися, щоб він за Дорошенком пильно назирав.

— Істинно розумно! — сказал Мазепа. Повторил то же выражение и Кочубей.

— А сотником наставить того хоружого, що привіз нам сей лист,— сказал гетман.— Що ви на се речете, панове?

— Ясновельможний пане! — сказал Кочубей.— Сей хоружий, будучи в Чигирині, заприсягнувсь Хмельниченкові слуговати. Чи не зрадить він і нас, як тепер уже зрадив Хмельниченка, заприсягнувши йому віру?

— А ти що на се повідаєш, Іване Степановичу? — спросил Самойлович Мазепу.

— Я,— сказал Мазепа,— своїм малим розумом уважаю так, що нема нічого мудрішого, як того хоружого наставить сотником там, де мешкатиме Дорошенко. Видко уже, що то за голова, коли так хитромудро, невеликим коштом і нам корисно справив своє полєценя в Чигирині. А що пан Кочубей промовив, то з назбит чулої гордливості ку добру сполному, але несправедливе. Коли ворог приставить ніж до горла да стане казати: присягайся мені, а то я тебе заріжу,— то прийдеться хоч кому згодиться з ним і штучне присягнути, а потім усе те на добро своїм повернути, то буде розумніш, ніж голову положити і дарма пропасти. Не гáни, а шани варт сей козак за свій поступок.

— І я так думаю,— сказал Самойлович.— Нехай сей хоружий буде сотником в Сосниці. Хто тепер там сотник?

— Стецько Литовчик,— отвечал Кочубей.

— Я тому Литовчику подарую маєтку і універсальний лист на неї дам. Нехай зостається поки значним войсковим товари́шем! А сього сотником наставити. Іване, поклич його до мене, а ти, Василю, дай мені список маєткам до роздавання в Черніговському полку,— говорил гетман.

Мазепа вышел. Кочубей нашел и подал гетману рукописный перечень имениям, определенным в раздачу. Гетман углубился в него. Между тем Мазепа позвал Молявку, и тот, ступая на цыпочках осторожно и почтительно за Мазепою, вошел в отделение гетманской спальни. Самойлович, не отрывая глаз от списка и не повертывая головы к вошедшему, стал говорить к нему таким тоном, как будто уже целый час с ним ведет беседу:

— Відсіля поїдеш у Сосницю. Я тебе туди наставляю сотником. Там житиме Дорошенко. Приглядуй за ним. В обидва ока гляди. Коли що від його затіється недобре, а ти не доглянеш, то не утечеш жорстокого карання і конечного розорення. Але не дражни його ніяк. Доглядай за ним так, щоб він не знав і не помічав, що ти за їм назираєш. Гречне, уштиве і поважливо з ним поводись. Часто одвідуй його, але так, щоб він ні разу тобі не сказав: «Чого ти мене турбуєш?» Ходи до його ніби для услуги йому, підмічуй, в чім йому потреба, і, не дожидаючись, поки він тебе попросить, сам для його все достарчай, а чого сам не здолаєш, про те зараз до мене давай звість. Щоб ти знав, коли хто до його в гості прибуде і коли він кого з своїх домових куди посилатиме. Усе щоб ти провідав і знав. І про все таке мені просто до власних рук моїх гетьманських пиши. Нікому про се не кажи, що ти за Дорошенком назираєш, тільки я да ти про себе щоб відали. Їдь собі з Богом до своєї нової сотні. З моєї канцелярії оцей пан (он указал на Кочубея) дасть тобі універсальний лист на сотництво за моїм власним підписом.

Проговоривши все это, гетман, до того времени все устремлявший глаза в лежащий перед ним список, в первый раз взглянул на того, кому говорил, окинул его взором своим с головы до ног и опять стал рассматривать свои бумаги.

Молявка поклонился низко уже более не глядевшему на него верховному своему начальнику и вышел в большой радости. Слова гетмана о том, чтоб он писал прямо к нему, приятно отдавались у него в ушах. Он понимал, что дозволение сотнику сноситься непосредственно с гетманом, помимо полковничьего уряда, было большое к нему внимание, и он чувствовал, что высоко поднимается на своем служебном поприще.

Мы не станем описывать, как Дорошенко, забравши толпу выборных из чигиринцев и скрывавшихся в Чигирине жителей других правобережных городков, в сопровождении

Полуботка и его казаков ездил в обоз под Вороновкою, сложил с себя гетманское достоинство, передал гетману Самойловичу свой бунчук, булаву, знамена, грамоты, полученные прежде от турецкого падишаха, двенадцать пушек, как принес в присутствии царского боярина Ромодановского и гетмана Самойловича присягу на вечное и непоколебимое подданство великому государю, как потом, возвратившись в Чигирин, сдал Самойловичу этот город со всеми боевыми запасами и получил от Самойловича, сообразно царской воле, приказание переехать с семьею на житье на левый берег Днепра, где гетман указал ему местопребывание в Соснице. Все эти важные исторические события не относятся непосредственно к нашему рассказу.

X

Схватившие Ганну Кусивну, обезумевшую от внезапного похищения, притащили ее в дом воеводы, где был устроен чердак в качестве отдельной горницы; там стояла кровать с постелью, несколько скамей и стол. Туда встащили Ганну по крутой, узкой лестнице и заперли за нею дверь. Несколько времени не могла Ганна опомниться и придти в себя: ей все это казалось каким-то страшным сновидением; ей хотелось скорее проснуться.

В горницу, где она была заперта, вошел наконец Тимофей Васильевич Чоглоков. Осклабляясь и приосаниваясь, сел он на скамью и говорил:

— Здорово, красавица, хорошая моя, чудесная, ненаглядная, несравненная! Здорово!

Ганна, не придя еще в себя, стояла перед ним растерянная и смотрела бессмысленными глазами.

— Увидал я вперво тебя в жизни,— продолжал Чоглоков,— и пришлась ты мне по сердцу вот как!

При этом он рукою повел себя по горлу. Ганна продолжала стоять как вкопанная.

— Лучше и краше тебя не видал на свити! — говорил Чоглоков.— Вот ей же Богу не видал краше тебя!

Ганна продолжала стоять перед ним, выпучивши глаза.

Воевода продолжал:

— Ты не знаешь девка, кто таков я. Так знай: я тут у вас самый первый человек. Знатнее и выше меня здесь из ваших никого нет. Ваш полковник подошвы моего сапога не стоит, сам ваш гетман мне не под стать. Вот кто я такой! Я от самого царя-батюшки великого государя сюда при-

слан: я царское око, я царское ухо. Сам великий государь меня знает и жалует. А ты, дурочка хохлушечка, знаешь ли, что такое наш царь, великий государь? Он все едино, что Бог на небе, так он, царь, на земле со всеми властен сделать, что захочет! А я его ближний человек, воевода над вами! Так я для вашей братии все равно, что царь сам. Вот и смекни, девка!

Ганна Кусивна начинала понемногу приходить в себя, но еще не вполне понимала свое положение и не в силах была давать ни ответов, ни вопросов.

— Теперь слыхала,— продолжал свою речь воевода, немного помолчавши,— что я за человек такой? Вот какому человеку полюбилась ты, девка, пуще всех. Таково уж твое счастье, девка. Я хочу, чтоб ты стала моею душенькою, моею лапушкою!

— Я чужая жона! — пробормотала Ганна.

— Какая такая чужая жена? — сказал, захохотавши, воевода.— Что ты, девка, шутки строишь? Нешто жены чужие, замужние бабы ходят с открытою головою, в лентах с косами, как ты?

— Я повінчаная! — произнесла Ганна.

— Когда? — произнес воевода.

— Сьогодня,— отвечала Ганна.

— Сегодня? — говорил воевода, продолжая хохотать.— Что ты меня дурачишь? Сегодня? Разве я турок или католик, что не знаю своей веры? Какое сегодня время? Теперь пост Петров. В такие дни венчать не положено.

— Я не знаю,— произнесла Ганна.— Владика розрішив. Нас вінчали, я повінчаная!

— Неправда твоя, девка! — сказал Чоглоков.— Того быть не может. У вас все одна вера, как у нас. А коли у вас такие дураки владыки, что в посты венчать позволяют, так твое венчанье не в венчанье, потому что противно закону святому. Ну, коли говоришь, венчалась, так где же твой муж и зачем же ты, повенчавшись с ним, ходишь по-девочьи, с открытыми волосами?

— Мужа мого угнали з козаками в поход,— сказала Ганна, мало-помалу приходя в себя,— а я буду ходить по-дівоцьки, поки вернеться з походу; тоді весілля справлять і мене покриють.

— Как это веселье? — спрашивал воевода, не вполне понимая чуждый ему способ выражения.— По-вашему, значит, в церкви венец не всему делу конец! Нужно еще какое-то веселье отправлять! Значит, венчанье свое ты сама

за большое дело не почитаешь, коли еще надобно тебе какого-то веселья? Стало быть, на мое выходит, что твое венчанье — не в венчанье. И выходит, девка, что ты затеваешь, будто венчалась. Стало быть, он тебе не муж, а только еще жених. А для такого важного человека, как я, можно всякого вашего жениха побоку.

— Ні, він мені не жених, а муж став, як я повінчалась! Я чужая жона! — говорила Ганна.

— Не муж он тебе, красавица моя, поверь моему слову. Я закон лучше тебя знаю. Можно тебе его послать к херам для такого большого человека, как я,— произнес Чоглоков.

— Ні на кого я не проміняю свого мужа! — сказала решительным голосом Ганна.— Не піду я на гріх нізащо на світі. Я Бога боюсь. Ти, хто тебе зна, що за чоловік: говориш, буцім присланий від самого царя. Як же ти, царський чоловік, таке діло твориш: чужу жінку зманюєш? Хіба цар тебе до нас на худе послав? Коли ти від царя посланий, так ти нас на добре наставляй, а не на погане!

— Я на доброе дело тебя и наставляю. За кого такого ты замуж выходишь? — спрашивал воевода.

— За того, кого полюбила і за кого отець і мати оддають! — отвечала Ганна.

— Слушай, девка! — говорил воевода.— Я очень богат, денег у меня много-много, и вотчины есть: озолочу!

— Не треба мені твоїх деньог і вотчин! Шукай собі з своїми деньгами й вотчинами іншу, а мене пусти до батенька і до матінки! — проговорила Ганна и зарыдала.

— Не упрямься, душенька. Слышишь, не упрямься! — сказал воевода и, вставши, хотел обнять ее.

— Геть! — крикнула Ганна не своим голосом.— Ліпше убий мене на сім місці, а я на гріх з тобою не піду! Я чесного роду дитина, дівкою ходивши, дівоцтва свого не втеряла і, ставши замужем, своєї доброї слави не покаляю!.. Геть! Нехай тобі лихо!

— Что ты говоришь о доброй славе да о грехе! — сказал воевода, более и более воспламеняясь страстью.— Какая тут недобрая слава? Какой тут грех? Ты мне так по сердцу пришлась, что я тебя за себя замуж хочу взять!

— Неправда! Замуж ти мене не візьмеш, а тільки дуриш, хочеш, як би улестить мене. Як таки тобі, такому значному царському чоловікові, да просту дівку за себе взяти, да ще не з свого московського роду? А хоч би ти і вправді се говорив, так сьому статись не можна, бо я вже казала тобі:

я чужа жона вінчана, і замуж іншому не можна мене вже брати!

— А я говорю тебе, что твое венчанье не в венчанье. Не по закону венчать тебя разрешил владыка. Над вашим владыкою есть другой владыка постарше, патриарх. Он твоего венчанья не вменит в венчанье и разрешит тебе выйти за меня замуж!

— Я,— говорила с более смелым и решительным видом Ганна,— вже тобі сказала, що я чужа жона, мене повінчали. Да хоч би і ваш патріарха, як ти кажеш, розрішив, то я би за тебе не пішла. Люблю я свого Яцька і ні на кого в світі його не проміняю.

— А меня, стало быть, не любишь! — сказал воевода с зверской яростью.

Ганна молчала, переминаясь.

Воевода еще раз спросил:

— А меня, стало быть, не любишь? Не хорош я для тебя?

— Не люблю! — сказала смело Ганна.— Як я любитиму такого, що його вперше бачу?

— Я сказал тебе, кто я такой,— промолвил воевода.— Коли не веришь, спроси у кого хочешь: все тебе скажут, что я царский воевода, в Чернигов прислан!

— Да будь ти не те що воєвода, будь ти самий найперший, як там у вас зоветься, князь, чи що, хоч самого царя син,— я за тебе не піду, а гріха творить не стану ні з ким!

— Так-таки не пойдёшь за меня? — спрашивал воевода, которого черты лица принимали все более и более зверское выражение.

— Так-таки не піду! — отвечала Ганна.

— И не любишь меня? — спрашивал дико воевода.

Ганна остановилась ответом. Воевода повторил вопрос.

— А сам знаєш! — отвечала она; потом, разразившись рыданием, бросилась к ногам его и говорила: — Відпусти мене, боярине, Христа ради відпусти до батенька і до матінки!

— Ну нет, девка! — сказал воевода.— Не на то я тебя сюда велел привести, чтоб, ничего с тобой не сделавши, да отпустить. У нас говорят: кто бабе спустит, тот баба сам. Хоть плачь, хоть кричи — ничего не пособишь. Тут, окромя меня, никто тебя не услышит. Ты теперь в моих руках и от меня не вырвешься. Коли не хочешь добром, ласкою, так будет по-моему силою!

— Боярину! — вопила Ганна.— Відпусти мене! Батечку!

Голубчику! Пожалій мене, сироту бідну! Я нікому не скажу, що зо мною діялось, ні батькові, ні матері, нікому! Відпусти! Бог тобі за те нагородить усяким добром. Голубчику! Пошануй! Відпусти!

— Нет, девка-красавица! Не отпущу! — говорил воевода.— Больно ты мне приглянулась, к сердцу мне пришлась!

— Пане воєводо! — промолвила Ганна, поднявшись и ставши с выражением собственного достоинства.— У мене єсть чоловік. Він узнає і заступиться за мене. Він до самого царя дійде і суд на тебе знайде!

— Ого, девка! — сказал воевода со злобною усмешкою.— Ты еще пугать меня своим казаком! Он до царя самого дойдет! Э! Далеко ему до великого государя, как кулику до Петрова дня! Что твой казак? Наплевать на него! Что он мне сделает? Я царев воевода. Мне больше поверят, чем какому-нибудь хохлачу-казачишке. Не боюсь я его, дурака. Что хочу, то вот с тобой и учиню. Полюбилась ты мне зело, девка! — Он схватил ее поперек стана.

— Я розіб'ю вікно, кинусь, уб'юсь! На тобі гріх буде! — кричала Ганна.

— Окно узко! Не пролезешь! — сказал воевода...

Ганна барахталась. Напрасно!..

. . . .

Утром другого дня сидел воевода в своем доме. Перед ним стоял холоп его Васька, один из ухвативших в тайнике Ганну, парень лет двадцати с лишком, с нахальными глазами, постоянно державший голову то на правую, то на левую сторону, часто потряхивая русыми кудрями. Воевода говорил:

— Васька, хочешь жениться?

— Коли твоя боярская воля будет,— отвечал Васька.

— У тебя зазнобушки нет? — спросил воевода.— Правду отвечай мне.

— Нету, боярин! — ухмыляясь, ответил Васька.

— Найти невесту тебе? Хочешь, найду, красавицу... ух! — говорил воевода.

Васька только поклонился.

— Вон ту девку, что вы с Макаркою подхватили. Хочешь? — сказал воевода.

— Помилуй, государь,— сказал Васька.— Моему ли холопскому рылу такие калачи есть! Она просто краля писаная!

— Так вот на этой крале я хочу женить тебя,— продолжал воевода.— Хочешь али нет?

— Ведь она повенчанная, боярин,— сказал Васька.

— Это не в строку,— перебил воевода.— Развенчаем. В пост их венчали; такое венчанье не крепко!

— Венчать в другой раз, пожалуй, не станут! — заметил Васька.

— Вы повезете ее в мою подмосковную вотчину,— там вас отец Харитоний обвенчает. Он все так сделает, как я захочу. А я напишу ему с вами; вот он вас и обвенчает. Только вот с чем, Вася,— как меня из Чернигова выведут, тогда я тебя с женою в Москву вызову: ты будешь пускать жену свою ко мне на постелю?

— Не то что пускать, сам ее к тебе приведу,— отвечал Васька.— За большое счастье поставлю себе.

— А я тебя, Васька, за то озолочу,— говорил Чоглоков.— Первый у меня человек станешь. Коли захочешь — и приказчиком тебя над всею вотчиною сделаю. И платье с моего плеча носить будешь, и есть-пить будешь то, что я ем-пью!

— Как, твоя милость, захочешь, так и будет! — отвечал Васька, кланяясь.— Мы все рабы твои и покорны тебе во всем должны быть. Ты нам пуще отца родного, кормилец наш, милостивец!

Чоглоков говорил:

— Запряжете тройку в кибитку, посадите в нее хохлушку, закроете кожами и рогожами и повезете из города тайно в полночь. Держите ее крепко, чтоб не выскочила и не кричала, пока уж далеченько от города уедете. Ничего с ней не говорите о том, что с нею станется и куда ее везете. А привезете в нашу вотчину — тотчас отцу Харитонию мое письмо подадите: он вас обвенчает. Будешь с женою жить у меня во дворе в особой избе, а я напишу приказчику, чтоб выдавал вам помесячно корм во всяком довольстве.

В полночь выехала из черниговского замка воеводская кибитка, вся закрытая кожами и рогожами. Внутри ее сидела связанная толстыми веревками по ногам Ганна Кусивна, а по бокам ее — Васька и Макарка. Она силилась было вырваться, но Васька держал ее крепко, ухвативши за стан, а Макарка затыкал ей платком рот, как только она показывала намерение крикнуть. Правили лошадьми двое сидевших напереди стрельцов. Переехали на пароме Десну. Проехали еще верст пять. Васька тогда открыл кожу кибитки.

— Не бойся, девка, не мечись, не рвись! — говорил он.—

Не улизнешь. Будешь сидеть и молчать — оставлю кибитку не закрытою и держать тебя не буду, а станешь шалить — опять закрою и сдавлю тебя так, что будет больно.

Проехали еще верст двадцать. Ганна молчала. Тогда Васька и Макарка сняли с ее ног веревки, но обвязали ей стан и попеременно держали в своих руках конец веревки, так что не выпускали ее из своих рук ни на шаг даже и тогда, когда вставали из кибитки. Но в самой Ганне произошла тогда такая перемена, какой она бы сама не предвидела за собою. Она внутренне рассудила так: «Горе меня постигло великое, такое, что уж хуже и тяжелее быть не может. Надобно терпеть. Богу, видно, так угодно. Коли Бог сжалится надо мною, то пошлет по мою душу и приберет меня с сего света либо из этой тяжкой горькой беды меня вызволит, а не угодно то будет Богу, а воля его святая станется такова, чтоб я на этом свете долго мучилась,— буду мучиться и терпеть. Все, что со мною станут делать, пусть их делают, пусть поругаются, издеваются надо мною, как хотят: все это, значит, Богу так угодно!» И с этой твердой думой впала она в какое-то деревянное отупение, не покушалась уходить, во всем повиновалась своим тиранам; дадут ей обед и скажут: ешь и пей,— она ест и пьет; скажут: ложись и спи,— и она ложится и даже засыпает, потому что горе ее притомливает.

Так везли ее через города и села; когда с ней говорили, она отвечала, но односложными словами, и наиболее обычный ответ ее был: не знаю. Так довезли ее в вотчину Чоглокова, в село Прогной на реке Протве.

Холопи, привезшие Ганну, въехали на боярский двор, вывели ее из кибитки и засадили в чердачном особом покое. Ганна, очутившись одна, с час поплакала, а потом от утомления заснула. Она уже не заботилась, что с нею станется. Ее держали под замком и, принося ей пить и есть, уходили не иначе, как запирая двери за собой замком, но это, собственно, было уже лишним: пленница не побежала бы, если б ее оставили и с отворенною дверью; она бы не отважилась на побег уже потому, что не знала, куда ее завезли и далеко ли очутилась она от родного Чернигова.

Между тем Васька и Макарка пошли с письмом Чоглокова к священнику, отцу Харитонию. Этот священник был из холопей Чоглокова. Господин отдал его обучаться грамоте, а потом, давши взятку в Патриаршем приказе, исходатайствовал посвящение его в попы в свою вотчину. Ставши

отцом Харитонием, бывший мужик-сиволап, он не без запинки умел читать богослужебные книги, а в исполнении всех своих обязанностей, вместо всякой кормчей, служила ему воля вотчинника прихода, в который его поставили. Что господин прикажет — он все исполнит без рассуждения, считая, что не он, а господин будет в ответе, если что им приказанное — несправедливо. При таком взгляде на свои пастырские обязанности и при своем круглейшем невежестве в религии почтенный отец Харитоний ничего не мог произнесть, кроме полной готовности сделать все так, как в письме к нему приказывал теперь господин. И вот в одно из ближайших воскресений холопи, привезшие Ганну, вошли к ней и велели идти за собою. Она повиновалась, не спрашивая, куда и зачем идти ей. Ее привели в церковь, где окончилась обедня. Кроме Васьки и Макарки, стояло там еще неизвестных Ганне трое холопей. Пономарь в мужицком зипуне и в лаптях зажег пред местными образами свечи и дал по зажженной свече Ваське и Ганне. Отец Харитоний вышел в облачении, отворил царские врата и, подойдя к аналою, стоявшему посреди церкви, начал последование бракосочетания. Исполняя буквально то, что перед ним написано было в книге, лежавшей на аналое, он обратился к Ваське и Ганне и спросил того и другую: не принужденное ли желание имеют они вступить в супружеский союз? Тут только поняла Ганна, что с ней выделывают, и благим матом закричала: «Не хо́чу! Нельзя! Я повінчана з другим!» Но священник не обратил на это внимания, как будто не слыхал ее слов, и продолжал богослужение. Ганна не хотела ни за что надевать поданного ей кольца, но холопи надели ей на палец это кольцо насильно, а Васька шепнул ей, что она будет жестоко побита, если станет упрямиться, и все-таки ее повенчают. Ганна оставила на пальце надетое ей насильственно кольцо. Когда новобрачных повели вокруг аналоя, Ганна горько плакала, порывалась кричать и бежать, но шедший рядом с нею Васька сказал ей: «Молчи! А не то мы с тебя кожу сдерем!» — и Ганна ограничилась горьким рыданием. После окончания венчания священник, все-таки исполняя буквально то, что видел написанным в требнике, приказывал новобрачным поцеловаться. Ганна с омерзением отворотилась, но Макарка, бывший у нее шафером, поворотил ее голову обратно и натолкнул прямо на голову Васьки. Ганну увели из церкви; она продолжала рыдать и всхлипывать, а новый супруг грозил ей снятием со спины шкуры, печени-

ем огня, выкалыванием глаз. Окружившие их холопи и холопки нимало не были поражены видом рыдающей новобрачной, так как рыдания невесты были обычны в русском семейном быту и даже, по народному воззрению, составляли необходимую сущность брачного обряда. Все понимали, что невесту отдали замуж насильно, по воле господина, но это было совершенно в порядке вещей и никого не возмущало.

Привели Ганну во двор. Стала она теперь женою нового незнакомого мужа, жила с ним в особой избе, небольшой, составлявшей пристенок к большой дворовой избе, куда собиралась дворня на работу. Ей задавали разные работы на дворе: колоть и носить дрова в избу, топить печь; зимою вечерами заставляли прясть вместе с другими дворовыми бабами: ничего она не перечила. Бывали случаи, дворовые бабы поднимали ее на смех за ее малороссийский говор в ответах, которые она им давала, за ее постоянно унылый вид; она не серчала, не отгрызалась, а только молча рыдала; слезы и рыдания возбуждали издевки холопок. Ее одели в великорусскую одежду и говорили, что теперь она красивее, что эдак лучше, чем в ее прежнем хохлацком убранстве, в каком она приехала,— теперь-де, по крайней мере, она похожа на православную. Она все сносила и молчала. Внутри ее, однако, принужденное спокойствие подчас возмущалось ужасными душевными бурями. Не раз приходило ей в голову покончить с собою: разбить себе голову о печь избы; улучивши время, когда за ней меньше будут глядеть, выбежать поискать воды и утопиться. Но тут сознавала она, что то будет тяжелый грех перед Богом, вспоминала она, как ей твердили с детства, что не бывает от Бога на том свете прощения тому, кто наложит на себя руки, и будет грешная душа скитаться, мучиться и не знать покоя; надобно терпеть всякую беду, как бы человеку ни было дурно, а все-таки милосердый Бог когда-нибудь пошлет конец его житию и потом наградит его на небесах. Иногда овладевала ею злоба, являлось желание: как бы извести этого ненавистного Ваську, этого насильно навязанного ей мужа, или же зажечь под ветер ночью избу и всю усадьбу,— авось все сгорят, проклятые, и потом пусть с нею что хотят делают — хоть огнем жгут, хоть с живой шкуру дерут, а она уж за себя отдала! Ей до крайности невыносима была вся обстановка круга, в который ее бросили; ей, природной свободной казачке, и неведом и немыслим казался холопский строй жизни, куда

всосаться ее неволили; слыхала она прежде на родине жалобные песни о татарской неволе, слыхала раздирающие сердце рассказы, как татары хватали в полях и рощах неосторожно ходивших за ягодами дивчат и уводили в свою сторону и как бедные страдали у них в неволе; но то ведь с крещеными так делают враги-нехристи; а около ней люди как будто сами крещеные: и церкви у них есть, и образа в избах, а поступают с нею так, как бы хуже и бусурмане не поступили, если бы уловили. Что же их жалеть? Пусть бы все сгорели! Но тут останавливал ее внутренний голос: «И так думать — великий грех перед Богом, Господь не велит делать зла врагам!» Ганна заливалась горькими слезами и просила Бога простить ей невольно пришедшее желание зла своим мучителям. Так глубокая детская вера хранила ее от покушений на самоубийство и от искания способов отмщения за себя. Дни шли за днями. Ганна все более и более свыкалась с тем бесчувственным спокойствием, когда все терпится, не ищутся уже средства спасения, привыкается даже к тому, к чему никогда, как прежде казалось, привыкнуть невозможно.

Васька, однако, не надоедал Ганне предъявлением своей супружеской власти над нею. Ганна была ему покорна, как овца, но сама не в силах была скрыть от него отвращения к его особе. Поэтому и Васька почувствовал, что его что-то отталкивает от женщины, которая и против своей и против его воли называется его женою. Подвернулась Ваське из той же чоглоковской дворни молодая смазливая вдовушка, сама стала лебезить около него, и Васька скоро с нею сошелся. «Ты думаешь,— говорил он своей лапушке,— мне большая приятность возиться с этой хохлачкой! Провались она от меня сквозь землю! Наше дело холопское: что велит государь, то мы и делаем! Вот приглянулась ему хохлачка: «Женись,— говорит,— Васька, а ко мне будет она ходить». Это, видишь, мне жениться для прикрытия греха его! «Озолочу», — говорит. Ну, озолотит ли, нет ли, а деться негде, надо слушаться: по крайности хоть шкуры со спины не спустит! Вот и стереги этого черта — не было печали, да черти накачали! Эх-ма! Иногда, как расхнычется, так вот взял бы кулаком дал ей по голове да тут бы и приплюснул. А иногда так самому, глядя на нее, жалко станет, словно тебе кто в сердце колом ткнет. Ну, и махнешь рукой!»

XI

По окончании похода к Чигирину Самойлович распустил все полки по домам на зимний отдых, но Черниговский полк назначил в гарнизон в Чигирин. Борковский уехал в Чернигов сделать новый выбор между казаками, чтобы остававшихся до сего времени в домах своих отправить на смену бывших на службе и послать их в Чигирин с обозным полка своего, давши ему звание наказного полковника.

Дома Борковский узнал от жены своей, что пропала без вести та невеста, которая с разрешения владыки была обвенчана в самый день выступления полка в поход. В народных толках об этом событии, доходивших до полковницы, уже бросалось подозрение на воеводу, который и другими своими поступками успел возбудить против себя неудовольствие и омерзение. Полковница сообщила мужу, что без него воевода приглашал к себе в дом зажиточных черниговских мещан и вымогал от них себе в почесть деньги: с кого — сто рублей, с кого — двести и поболее, грозил в противном случае расставить у них в домах своих стрельцов, и мещане, чтоб избавиться от таких немилых гостей, давали воеводе требуемые сумы. Подначальные ему стрельцы и рейтары, ходя по базару, насильно брали у перекупок разное съестное и не платили, отговариваясь, что они-де царские служилые люди, хохлы обязаны их кормить и всячески им угождать; у них хотели отобрать отнятое, а товарищи их стали заступаться за отнявших и били малороссиян. Подавалась по этому поводу жалоба в магистрат, члены магистрата приходили сами к воеводе просить управы, а он с бесчестием прогнал их. Сам воевода ездил по лавкам, набирал товары, обещая уплатить после, а когда хозяева явились к нему за уплатою, он с насмешкою говорил им, что заплатит на втором Христовом пришествии. Большой он охотник был до женского естества, и его воеводские люди водят к нему женок и девок из мещанских и поспольских дворов,— стали забираться уже и в дворы казацкие, начали сманивать казацких жен и дочерей, напугивая их, что уведут силою, если не согласятся идти по доброй воле; мужья и отцы, слыша то, жаловались обозному, бывшему в звании наказного полковника в отсутствие Борковского. Обозный пошел объясниться с самим воеводою, но воевода затопал, закричал, что все это вздор, что обозный это сам затеял на его людей и на

него, воеводу, и прогнал обозного с бесчестием. Такие новости передала полковница своему мужу. Борковский позвал обозного, тот подтвердил все, что говорила полковница, и прибавил, что воевода сказал ему так: «Твое дело унимать глупцов от таких безлепичных речей, а не приходить с ними ко мне; вот я на тебя челобитную подам великому государю в своем бесчестии».

Борковский поехал к Чоглокову присмотреться к нему и прислушаться к тому, что будет он говорить.

Чоглоков, как только из окна увидал въезжавшего к нему в коляске полковника, тотчас выбежал на крыльцо, кланялся, касаясь пальцами до земли, улыбался, произносил радостные восклицания, обнимал, целовал полковника, как старого друга, просил в свой дом и, пустивши его вперед, сам шел за ним и говорил: «Вот когда для меня настал истинно светлый день, когда я увидал дорогого гостя, почтенного Василия Кашперовича!»

Усадивши Борковского на почетном месте, Чоглоков забегал, приказывал подавать вина и разных угощений и, обратившись к полковнику, сказал:

— Одинокий я человек, без хозяйки. Вам, женатым людям, инó дело: есть кому все приготовить и угостить дорогого гостя. А вот я — один! Так оно, может быть, и не так выходит учтиво. Не взыщи, приятель мой!

— За хозяйкою дело не станет,— произнес Борковский,— лишь бы только господину воеводе приглянулась какая боярышня.

— Оно так, да видишь, приятель мой,— сказал Чоглоков,— я помышляю о том, как душу спасти после своей смерти, больше, чем о том, чтобы в сей привременной жизни было хорошо. Что наша здешняя жизнь? Дней наших лет семьдесят, аще же в силах — осмьдесят; что это перед вечным житием в царствии божии, где и тысяща лет яко день един! А какой путь ведет туда, во царствие божие! Узкий и тернистый путь, широкий же и гладкий путь ведет в погибель. У меня, Василий Кашперович, книжечка есть. Отменная книжечка. Вот, посмотри-ко, приятель.— Он достал из угла под образами рукописную книжечку с миниатюрами, указал ему на рисунок и продолжал: — Вот узкий и широкий путь. В чем тот и другой показываются? Вот узкий и тернистый путь, по каким утесам, скалам и пропастям земным он тянется узкою тропою, а тропа та вся обросла колючками, а по том пути идут все хромые, слепые, нищие да схимники-отшельники, что в скорбях и

слезах о гресех своих и людских житие свое проводят. А куда этот путь приводит? Смотри: вон церковь, а на церковной паперти в архиерейском облачении сам Господь стоит, а около него апостолы, и благословляет идущих к нему Господь, значит, как сказано в Евангелии: приидите благословеннии! А вон другой, широкий путь. Смотри, все сады да цветы прекрасные, благоухающие, и дорога какая гладкая, и по дороге все столы стоят, а за столами все бражники и пьяницы сидят, а перед ними человек с балалайкою в руках, заломивши набекрень шапку, трепака отплясывает. А вон дале — баня, а в ней парятся мужчина с женщиною — значит, прелюбодеяние; а дале, вон смотри, муж с женою и семьею обедает, люди богатые, в одеждах испещренных, в мехах дорогих, а на столах у них кубки и достаканы и братины все серебряные, а через двери к ним нищий старец руку протягивает, а они на него не смотрят. Видишь, все эти по широкому пути идут, и те, что в законном супружестве пребывают в довольствии и счастьи, мало к бедной братии милостивы, оттого что сами горя не знают, и они на широком пути вместе с пьяницами и любодейцами! А смотри, куда этот широкий путь приводит их. К мостику, а мостик тоненек, словно жердочка, а под мостом бездна, в ней же гады многочисленные, драконы, змеи, крокодилы, скорпии... Вон один грешник упал с того мостика да прямо в пасть крокодилу! Вот он, широкий-то путь! А мы, грешные, бесчувственные, живучи в сем суетном мире, не помышляем о том, что может нас ожидать на том свете! О Господи Боже! Господи Боже! Аще бы мы чаще имели в памяти последний час наш смертный, меньше бы, чай, грешили в нашем житии. Так вот, почтеннейший и возлюбленнейший приятель мой, иногда бы мне и хотелось жениться, да боюсь, чтоб не стать на приятный путь жизненный, а одинокое житие хотя неприятно и терпишь, зато помнишь, что в терпении наше спасение, и тем утешаешься.

Борковский на это сказал:

— Тимофей Васильевич! Брачное житие благословенно Богом и не может повести в ад, хиба́ человек станет неправдою жить; так то уже будет ему кара за другие грехи, а не за брачное житие, еже нисколько несть греховно.

Воевода повел глаза в другую сторону, приподнял вверх голову и вздохнул.

Борковский начал речь о другом.

— Без нас,— сказал он,— тут проізошло дивне діло.

В той день, як ми виступали в поход, вінчали у св[ятого] Спаса нашого козака Молявку-Многопіняжного, і ми із твоєю молостію вкупі у церкві тоді були. У той же вечір, як ми вийшли, ухоплено молоду в потайнику, що до Стрижня з города пороблений, там знайшли її відра і коромисло, а її самої не знайшли, і досі нема. Кажуть, би твоя милость посилав одшуковать її, чи где не обрітеся слід погибшої?

— Правда,— сказал Чоглоков,— ко мне приходил отец ее, и по его прошению посылал я стрельцов разыскивать. Нигде не найдено ее. А вот потом получил я такое известие от своего приказчика, что мой холоп Васька Оглобля, отпросившийся у меня из Чернигова в мою вотчину, привез туда малороссийскую девку и хочет на ней жениться. Я написал, что позволяю, и спросил, кто такая эта девка? Вчера прислали мне известие, из него же я узнал, что это та самая девка, что здесь искали. Они уже повенчались, по их обоюдному желанию и по моему дозволению. Анна Кусовна называется эта девка, не так ли?

— Вона! — сказал огорошенный полковник.— Да як же їх там повінчали, коли вона вже повінчана з другим тут, в Чернігові?

— Этого я не знаю,— отвечал воевода.— Только я такую бумагу получил и выпис об их венчании от священника. Но и то правду надобно сказать: такой брак, что здесь был, не по закону совершился — в Петров пост!

— Архієпископ розрішив,— сказал Борковский.

— Не смеет архиепископ того разрешать,— сказал воевода.— Как пойдет из-за этого, Боже сохрани, дело и дознается святейший патриарх со всем священным собором, не похвалят за то вашего архиепископа. Знаешь ли, Никон-патриарх не в версту архиепископу Лазарю, а и с того сан сняли вселенские патриархи. Как бы с вашим архиепископом того же не случилось!

— У нас,— говорил Борковский,— від прадідів так ведеться, що в пости забороняється вступленіє у малженське сожитіє, а не вінчання, і владика може розрішити обрядок хоч і в піст, аби тільки в малженське життя не вступали до кінця посту.

— Много вы прожили под лядским владычеством, и много латинского блудословия к вам перешло,— сказал Чоглоков.— Теперь же, как вы поступили под державу царей православных, надобно такие плевелы из церкви божией исторгать. Ваш архиепископ Лазарь добре то знает! Зачем же так поступает?

— Ето уже діло не наше, а духовноє,— возразил полковник.— Может бить, архієпископу Лазарю не годилось того тепер розрішати, но когда оная жона здесь з одним уже повінчана, не годилось її перевінчувать з другим.

— Охота вашему казаку жалеть о такой бабенке! — сказал воевода.— Привязалась к другому — туда ей и дорога! Она, видно, понимает, что брак их не крепок, когда решилась бежать с чужим человеком и обвенчаться с ним. Твоему казаку бы только еще благодарить Бога, что отвязалась от него сама такая жена.

— Тут,— сказал Борковский,—єсть щось таке, що тикається твоєї милості. Як тільки твоя милость приїхав до нас у Чернігов, зараз посилав єси стрільця Якушку за бабою Білобочихою, відомою всім зводницею, і прохав, аби вона твоєї милості добула на ніч Ганну Кусівну, про яку казано твоєй милості, що то найкрасовитіша з дівчат чернігoвських. Білобочиха то сама нам повідала, і свідки на то єсть: нашого полку старшини — обозний і писар. А скоро після того Ганна Кусівна пропала. З того немалий якоби суспект виникає на поступки твоєї милості.

— Не говорить было тебе таких пустошных затейных речей передо мною, и не мне их слушать,— сказал порывисто-гневно воевода.— Тебе глупая баба намолола, а ты по дурости своей хохлацкой смеешь мне то в глаза повторять! Белобочиха твоя лаяла что собака, а ты разносишь ее лай по ветру да еще дерзаешь говорить, забывая, что я старше и честнее тебя в десять раз! Я царский воевода, а вы все казаки — что, как не мужики и не мужичьи сыны!

— Вибачай, пане воєвода,— сказал Борковский,— тільки про те, що повідала Білобочиха при свідках, пошлеться в Приказ да, може, ще дещо про твою милость.

С этими словами, не прощаясь более с взволнованным воеводою, ушел от него Борковский. Воротившись домой, он сказал полковнице:

— Пропавша Кусівна — то, бачу я, воєводське діло, проклятеє то діло!

Через день явился к Борковскому черниговский войт с бурмистром и двумя лавниками, членами магистрата. Они принесли Борковскому на государево имя челобитную, в которой излагали безобразия воеводы Чоглокова и били челом о его удалении. В этой челобитной обвинялся Чоглоков во всех тех поступках, о которых полковница пересказывала своему мужу после его возвращения из похода. Борковский позвал полкового писаря, приказал читать

поданную челобитную при себе и при войте с товарищами, и когда в челобитной дочитался писарь до того, что воеводские люди подговаривали женщин и девок к непристойному делу для воеводы, Борковский остановил чтение и сказал:

— Припиши отут: «Черніговськая міщанка Білобочиха пред полковником і полковою старшиною повідала, іже воєвода, призвав єє к собі, полєцал єй подмовить на блудноє з ним діло козачку Ганну Кусівну, вступившую перед цим в малженський союз з козаком Молявкою-Многопіняжним, которая Ганна потом, по отшествії мужа своєго в поход з прочими козаками, безвістно пропала; по возвращенії же із похода козаков оний воєвода повідал полковнику черніговському Дунін-Борковському, яко би оная Ганна вступила в новоє малженство з єго воєводським чоловіком і нині находиться з оним своїм новим мужем в його воєводській подмосковной вотчині, того ради уповательно, что ведомый такого беззаконного отнятия жены у живого мужа и отдания оной в малженство з іним чоловіком воевода был сам не безучастником такового діла...» Да ще припиши отут, що чолобитна подається не точію від міщанства, но і од черніговського козацтва. Все як подобає скомпонуй і мені подай для одправки ясновельможному.

Молявка-Многопеняжный по окончании похода прибыл в свой Чернигов с тем, чтобы, собравшись в течение какой-нибудь одной недели, ехать с матерью и молодою женою в Сосницу. Невозможно описать порыва довольства и радости старой Молявчихи, когда, встретивши прибывшего сына и расцеловавши его, она узнала, что он в такое непродолжительное время из простого рядовика дослужился до хоружего, а вслед за тем до сотника, и притом с исключительным правом сноситься прямо с самим гетманом. На первый вопрос его о жене мать сообщила ему роковую весть. Молявка, услыша такую весть, побледнел, как полотно, и стоял несколько времени как вкопанный в землю. Мать, утешая сына, говорила:

— Синку! Не журись. Я тобі скажу: необачно ми зробили, що засватали з сеї сем'ї дівчину. Досвідчилась я, що непевні то люди. Звісно, перше як нам було знать, що воно таке, а опісля стало видко, що люди недобрі, погана сем'я! І сама молода — Бог зна що! Тут щось да не ладно. Як-таки так, як вони кажуть: «Пропала і хто її зна, де і куди поділась». А тут затим Кусиха наплела на мене таке, що й казати ніяково! І відьма я, і чарівниця, і лукава я,

і злюка... Такого наплела, так мене оговорила, що не чаяла я ніколи дожити до такої ганьби.

Старуха начала рыдать. Сын стал в свою очередь ее утешать, но материнские слова глубоко врезались ему в душу и сразу перевернули в ней нежное чувство привязанности к жене и возбудили чувство злобы к Кусам, виновным в его глазах уже тем, что мать его на них жалуется с плачем. Но такая внутренняя перемена была еще в зародыше, и он не только стыдился бы открыть ее другим, но искренно хотел бы не замечать и сам, что она в нем происходит. Молявчиха советовала ему вовсе не ходить к Кусам и изъявляла опасение, чтоб его там не причаровали. Сын, однако, на этот раз не послушал такого совета и пошел к тестю и теще.

С ужасного дня исчезновения единственной дочери Кусы находились в постоянной тоске и так изменились в своей наружности, что Молявка чуть мог узнать в них тех, которых знал всего за три месяца. Оба супруга встретили его ласково, но с горькими рыданиями. Заплакал с ними и зять. Но Кусиха тотчас же, не стесняясь, начала упрекать Молявчиху, хотя беспрестанно при этом просила у зятя извинения за то, что так отзывается о его матери. Впрочем, вспыльчивая и самолюбивая, но чрезвычайно добросердечная Кусиха тут же изъявляла со своей стороны готовность и примириться.

— Ошельмовала,— говорила Кусиха,— всю нашу сем'ю, повидумувала про нас чорт зна що таке, аби добрих людей від нас одвернути. І хто її зна, чого вона так на нас визвірилась. Нічого, далебі, нічого ми їй не вдіяли, ми до неї з щирого серця, як до родички нашої, а вона до нас — як лютий ворог. І тепер ми на неї нічого, Бог з нею, нехай Господь її судить! А ми нічого, таки нічогісінько!

Молявка, слушая подобное, был в большом затруднении, что отвечать, но Кус вывел его из такого положения. Он встал, пошел к двери и сказал:

— А йди, зятю, сюди, я тобі щось скажу.

Молявка вышел с ним вместе в сени, и Кус ему сказал:

— Ти, зятю, на се не потурай! Поколотились промеж себе жінки, а тут де взялись цокотухи збоку да й стали їх подцьковувати. Підожди, любий зятеньку, все перемелеться і зміниться. Аби тільки Ганна знайшлась, то ми б гуртом взялись і зараз старих баб на згоду привели. Ох! Да де-то тієї Ганни взяти!

І Кус горько зарыдал.

Расстроенный видом плачущих родителей, Молявка обещал во что бы то ни стало изо всех своих сил искать Ганну, уверял, что он готов идти хоть в пекло, лишь бы ее вернуть и избавить от беды. В заключение он сказал, что пойдет сейчас к полковнику просить совета, куда ему кинуться.

Пришел Молявка-Многопеняжный к своему полковнику.

Борковский, обращавшийся вообще с подчиненными холодным, сухим, начальническим тоном и не делавший до сих пор для Молявки никакого исключения, в этот раз принял его с осклабляющимся лицом, поздравлял с сотницким званием, изъявлял надежду, что, оставаясь по-прежнему в Черниговском полку, он может всегда рассчитывать на своего полковника как на искреннего покровителя и благодетеля. Потом Борковский объявил ему о том, что услышал от воеводы о браке жены его с воеводским человеком. Молявка побледнел и затрясся. Борковский начал его утешать таким же тоном, в каком говорила ему мать, доказывал, что хотя здесь было коварство воеводы, но дело не могло совершиться без участия и согласия самой молодой Молявчихи,— невозможно ей иначе очутиться где-то под Москвою и обвенчаться с другим. Полковник советовал Молявке со своей стороны отречься от такой жены и, пользуясь нарушением брачной верности с ее стороны, подумать и об устройстве своей судьбы.

— Моя рада, серце козаче,— сказал полковник,— піти до воєводи да взять від його випис об тім, що, казав він, до його прислано від попа того, що вінчав твою жінку, да з сим виписом йти до преосвященного Лазаря: нехай він, бачучи, що жінка твоя порвала малженський союз, розрішить і тобі, яко вільному і вцалє від того союзу свободному, з іншою дружиною закон прийняти. Архієпископ повинен тобі то на письмі дати. Ти молодець голінний і велце розумний: піднесешся високо. Я се бачу. Бо я старий птах — наскрізь тебе, як і кожного чоловіка, угляжу! Кусова дочка невелика пташина, а за тебе тепер хоч яка панночка замуж піде. Да от, прикладом сказать: у моєї жінки єсть небога-сестрениця. Багато уже до неї молодят залицялося, вона всіми гордувала і гарбуза їм підносила. А тобою і та не побрезгувала би. Се я тобі так тільки, на приклад, кажу; таких панночок чимало знайдеться в сім'ях у наших значних товаришів. А то все не рівня яким-небудь там Кусам. Бо ти, серце козаче, тепер уже не рядовик, а сотник, наш брат, значний товариш, так тобі уже слід з нашим братом, а не з простими рядовиками ріднитися.

Молявка-Многопеняжный вдруг как будто освежился от таких слов и благодарил полковника за добрый отеческий совет.

Возвратившись к матери, он рассказал ей обо всем, что слышал от полковника.

— А що! — сказала Молявчиха.— Говорила я тобі: щось не ладно, непевні вони всі, і необачне було твоє оженіння. Отже, на моє вийшло. Не без власної вини її було те, що вона зникла. А що, чи не правда моя? Тепер сам бачиш і розважиш: уже ж не без її згоди повінчано її з кимсь другим. І полковник, бач, те ж говорить. Полковник тобі добра хоче. Що він тобі натюкнув на якусь свою сестреницю, так се щоб ти догадався да посватався. Цур їй, тій Кусівні, нехай її ті люблять, що в болоті трублять! Іди, синку, швидше до воєводи і прохай у його той випис, що полковник тобі казав про його, а там чвалай до владики, щоб тобі розрішив оженитись з іншою. І справді, синку, ти вже неабиякий рядовик, а сотник, дяковать Богу, з панством врівні, так тепер тобі вже не з простими черняками, а з родовитими знатися і приятельство вести подобає. Ти ж молодий і хороший, мій синочку любий! Авжеж, після всього оце, хоч би Кусівна і повернулась до тебе, хіба ж би ти її прийняв за жону з-під якогось там чорт батька зна московського холопя? Таку паскуду і скибкою взяти гидко!

Молявка-Многопеняжный поддался внушению матери. Узнавши, что его жена принадлежит другому, по ее ли собственной воле это случилось или нет — все равно, она ему уже стала не мила, а мысль — породниться с панами, с самим даже Борковским, представлявшимся до того времени ему в неприступном величии его сана, надежда получить в приданое маетности, зажить паном, увидеть к себе от своих прежних товарищей по званию, простых рядовиков, то раболепное уважение, которое, как он замечал, оказывалось урядовым и значным людям — перспектива чересчур светлая для того, который и прежде заботливо думал о возможности своего возвышения. Он отправился к своему зятю, к сотнику Булавке. Тот, узнавши о выходе замуж Кусивны и о загадочной речи полковника, пришел просто в восторг. Булавка увидел во всем этом возможность выгод и для самого себя: через своего шурина и он мог войти в свойство с полковником. Булавка торопил шурина к воеводе, советовал ему, умолял его не заводить с воеводою никаких щекотливых для последнего объяснений, не раздражать его, не показывать ему никакой скорби о поте-

ре жены, а почтительно выпросить от него выпись и поблагодарить, потом с выпискою идти к архиепископу.

Молявка отправился к воеводе.

Прислуга воеводская не хотела его пускать, но Молявка приказал доложить воеводе, что пришел к нему сосницкий сотник и нуждается поговорить с воеводою об очень важном деле.

Воевода вышел и, увидя Молявку, узнал его и с гневом сказал:

— Ты что это задумал назвать себя сотником? Я тебя знаю, ты простой казак, а не сотник. Чего тебе надобно, мужик ты наґлый, невежливый!

— Вашець прошу,— отвечал Молявка,— за поход під Чигирин мене піднесено спершу хоружим сотенним, а потім сотником, і сам ясновельможний поставив мене в Сосницю.

— Твое сотничество при тебе,— сказал воевода, поглядывая на него все еще сердито, надеясь, что он пришел затем, чтобы по поводу жены своей входить с ним в неприятные объяснения.— Ну, какое же дело до меня, господин сотник?

— Рач твоя милость,— сказал, почтительно поклонившись воеводе, Молявка,— пожаловать мене дать випис об тім, що, як мені повідав пан полковник, моя жінка в непритомності моїй повінчалась з якимсь чоловіком. Щоб я, маючи таке свідоцтво і віддаючи, що жона моя, будучи зо мною повінчана в законнім малженстві, розорвала закон, і сам би мав право на оження з іншою.

Видя, что Молявка, вместо того чтоб являться с укорами, приступает к воеводе очень почтительно с челобитьем, Чоглоков переменил тон, стал ласков и сказал добродушным тоном:

— Это можно, дружище. Можно все для приятеля. Дам я тебе выпись за рукою священника о том, что жена твоя по доброй своей воле повенчана с моим человеком. Только я тебе, дружище, скажу: неправильно говоришь ты, что она твоя законная жена венчанная. Да, приятель, это слово твое неправильное. Не жена тебе она была. Незаконно разрешил архиепископ тебя с нею повенчать в Петров пост. Это она сама знала и потому, как ты уехал, сошлась с моим человеком. Я, по их челобитью, приказал им ехать в мою вотчину и там повенчать их разрешил священнику. Вот тебе выпись. Читай, коли читать умеешь.

Он вынес и дал ему бумагу. Молявка молча прочитал ее.

Ну, видишь,— продолжал воевода,— что сделала твоя жена? Сам на себя пеняй, что не в законное время затеял венчаться. Да, впрочем, нечего тебе о ней тужить. Если она, тотчас после венчанья, оставшись без тебя, не захотела ждать тебя, а связалась с другим, туда ей и дорога! Ты — сотник: поищи себе другой, получше, и породовитее, и позначнее. Боже благослови тебя на все доброе!

Молявка ничего не сказал, поклонился воеводе низко и вышел с выписью. У него блеснуло такое подозрение: вероятно, Ганна была в связи с этим холопом и хотела только для прикрытия выйти замуж за другого; но когда Молявка ушел в поход, они сговорились и ушли, а потом в чужой стороне обвенчались.

Архиепископ Лазарь Баранович, старик под шестьдесят лет, страдавший болезнью, называемой в Малороссии «гостец», и беспрестанно жаловавшийся на свои недуги, был между тем необыкновенно деятелен и в писаниях и в делах по управлению епархиею и ко всем доступен. Переселившись из Новгород-Сиверского в Чернигов в 1672 году, Лазарь избрал себе местопребывание в Борисоглебском монастыре, им основанном или возобновленном в самой средине города, недалеко от древнего св[ятого] Спаса. Каждый день у него были определенные часы для приема посетителей по делам. Молявка-Многопеняжный попал к нему в такое время, когда случайно у святителя не было никого,— келейник допустил его. Владыка в черной рясе и в клобуке сидел за столом, на котором была навалена куча писаной бумаги. Молявка-Многопеняжный поклонился ему до земли, а Лазарь, приподнявшись, благословил его и, устремивши в него свои старческие, но еще не утратившие огня глаза, приготовился его слушать. Стоя перед архиепископом, Молявка-Многопеняжный рассказал подробно историю исчезновения жены своей и незаконного вступления в брак с другим при живом прежнем муже. При этом он дал заметить, что подозревает участие воеводы. Лазарь, выслушавши внимательно, произнес: «Человече! Бегай клеветы. Ужасное то чудовище, триглавное и многоязычное и на кождом языце клюв острый, пронзающий, как у птаха драпежного, и тым клювом долбит душу, и того ради от клюва таковаго клеветою нарицается».

Но когда Молявка-Многопеняжный сообщил, что воевода отнесся неуважительно об архиепископе и твердил, что архиепископ незаконно поступил, разрешивши венчание в Петров пост, Лазарь произнес:

— Ему ли пристало судить о том! Его дело город строить да царских ратных людей кормить и одевать. Знал бы он от ратных людей кóрма карман себе набивать, как они, воеводы, обвыкли творить, а когда можно и когда не можно венчать, о том бы не додумывались, понеже то решать належит нам, а не им. Не властны мирские в наши дела входить, бо як у нас мовиться: коли не піп, то і в ризи не суйся! Архиерееве суть божиих таин толкователи, и аще мирянин дерзнет в духовну справу самовольно вторгаться, то не точию от нашего смирения будет неблагословен, но и от самого Бога осуждение приимет.

Молявка-Многопеняжный показал владыке выпись за рукою священника о браке его жены с иным и просил по ней выдать ему разрешение на вступление в новый брак. Владыка, просмотревши выпись, сказал:

— Печать церковная есть. Так. В сведоцтве повенчана называется Анна Филиппова дочь Кус, а я знаю, что та Анна Кусивна с тобою повенчана была. Ергдо — от живого мужа вдруге замуж пошла. В Евангелии Господь возбраняет мужу от жены отторгаться словесе разве прелюбодейного, а прелюбодеяние жены твоей явно и несомненно есть. Имаши и ты право вступить в иное супружество, аще пожелаеши. Лучше-бо женитися, неже разжизатися. Ты воин, а не инок, давший обет девства, в мире живешь, и трудно тебе в чистоте пребыти, понеже к тому и млад еси. Повелим тебе дать из нашей консистории сведоцтво на вторичный брак, а сию выпись нам оставь: возбудим, аще потребно будет, церковный суд над женою твоею.

Через несколько дней Молявка-Многопеняжный получил из консистории свидетельство на вступление во вторичный брак и показал его матери и Булавке. Оба пришли в восторг. Булавка взялся быть сватом в доме родителей племянницы пани Борковской.

Собрались Молявки к переселению и через неделю выехали в Сосницу, провожаемые Булавкою и его женою. Кусов не видал более Молявка-Многопеняжный и не считал нужным более видеть их... Собственно, он никогда не любил глубоко Ганны, а собрался жениться так себе, как женится большая часть людей, увлекаясь притом ее красотою. Теперь же он — сотник, Ганна — простая казачка, да и не могла она, как ему казалось, быть невинною в своем незаконном браке с воеводским холопом...

XII

Новый сосницкий сотник, приехавши на новоселье, поместился в дом, который занимал прежний сотник, уехавший в пожалованное ему имение. Молявка-Многопеняжный первым делом почел съездить в ранговую сотницкую маетность и заявить о себе тамошнему поспольству, как о новом господине сотнике. Вернувшись в Сосницу, он занялся постройкою двора для ожидаемого туда Дорошенка в просторном, отведенном для того по гетманскому приказанию месте, получил через присланного от гетмана канцеляриста деньги, нанимал плотников, столяров, маляров, кровельщиков и всяких мастеров, надсматривал над их работами, а для временного помещения Дорошенку нанял двор близ самого того двора, где жил сам. Еще двор, который начали строить для Дорошенка, далеко не был окончен, а Дорошенко 1 ноября приехал, на первый раз, однако, без семьи.

Бывший чигиринский гетман был встречен сотником, низкорослым, тонким, с птичьим носом писарем и хоружим, толстолицым, кругловидным человеком с постоянно открытыми губами. Сотенные старшины, встретивши Дорошенка за городом, шли с открытыми головами обок его колясы. Толпы сосницких жителей, и казаки и посполитые, бежали, глазея на павшее величие, недавно еще наводившее своим именем страх на левобережную Украину, так часто ожидавшую его вторжения с своими союзниками-бусурманами.

Привели Дорошенка в назначенное ему помещение. Дорошенко, узнавши в сотнике Молявку, дружелюбно брал его за руку, радовался, что назначили к нему сотником знакомого человека. Но тут же запала ему мысль, что этот предупредительный и на вид услужливый сотник приставлен, чтоб надзирать за ним.

Дорошенко остановился в отведенном ему доме, где было два отделения: в одном — кухня и кладовая, в другом, на противоположной стороне через сени,— две просторные комнаты. На третий день после того он поехал к Самойловичу в Батурин. Самойлович принял бывшего своего соперника чрезвычайно радушно и гостеприимно: несколько дней сряду пировали, пили, веселились, потешались музыкою, заведенною у себя гетманом, и потешными огнями, ездили вместе на охоту. Желая показать свою верность к царю, Дорошенко сообщал гетману разные предположения и советы относительно обороны от турецкого вторжения, кото-

рое тогда ожидалось, и гетман, передавая их московскому правительству, уверял, что Дорошенко держит себя, как прилично верному царскому подданному.

Воротившись от гетмана, Дорошенко жил в отведенном ему дворе, и каждый день, как только он вставал ото сна, перед ним уже стоял неутомимый сотник, докладывал о ходе работ в постройке двора, спрашивал: не нужно ли того, другого, и показывал особенное удовольствие, когда мог услужить Дорошенку. Не раз ходил с ним вместе Дорошенко глядеть на постройку. Осматривая обширное место, отведенное ему при дворе, Дорошенко изъявил желание завести там когда-нибудь сад, и сотник на другой же день принялся рассаживать плодовые деревья. Постройка дворовых строений шла с чрезвычайною быстротою; в первых числах декабря, благодаря щедрости в издержках и множеству рабочих рук, дом, где должен был жить сам хозяин, был уже готов, поставлены и первый раз протоплены печи, а восемнадцатого числа совершено было освящение. Дом состоял из четырех покоев, довольно обширных и светлых, убраны были они просто и чисто, как обыкновенное жилище зажиточного малороссийского хозяина: зеленые муравленые печи, обмазанные мелом с молоком стены, лавки с полавочниками, столы, застланные килимами, ряды образов в передних углах с торчащими в маленьких подсвечниках восковыми свечечками, четыре кровати, размещенные в задних комнатах, висячий умывальник над медным большим тазом в сенях... Осматривая новоселье вместе с Молявкою и духовенством, приглашенным к освящению, Дорошенко казался им очень доволен, говорил, что желает окончить дни свои в этом уголку, а когда остался один на один с сотником, спросил его:

— Козаче-товарӣшу! Скажи мені правду щиру. Призивав тебе особисто гетьман, як тебе сюди сотником наставив?

— Призивав,— отвечал сотник.

— А що він тобі тоді казав? — говорил Дорошенко.— Казав, щоб ти за мною пильно доглядав і назирав і йому про мене звістку давав? Так, серденько?

— Отже, не так,— отвечал Молявка-Многопеняжный.— Казав пан гетьман, щоб я робив для тебе усе, що тобі здається потрібним, і був би тобі у всім на послузі. Казав, щоб я не доводив до того, щоб сам твоя милость попросив чого для себе, а щоб запобігав твому хотінню, казав до того, щоб я, Боже храни, чим твою милость не уразив і не роздражнив. От тобі хрест святий, що се мені гетьман,

призвавши до обозу під Вороновкою, розказував. А того, щоб я за твоєю милостію назирав, сього і не потрібно було мене научати. Бо не в гнів твоїй милості буде: якби я що побачив от твоєї милості недобре, то і без гетьманської науки учинив би згідно з присягою, котру давали-м цареві.

— Добре кажеш, козаче,— отвечал Дорошенко,— отже, і я хочу жити згідно з присягою, що дали-м царському величеству перед гетьманом і царським боярином, і не маю ні з чим ховатись ні від тебе, ні від пана гетьмана. Тепер, як царське величество мене прийняв і я зрікся навіки свого гетьманства, то уже, єй-Богу, не хочу нічого, аби тільки жити приватно без клопіт. Далебі, не жалію того нещасливого уряду гетьманського! Нічим добрим його спом'янути! Дяковать Богові, що ся вага з моїх плечей спала! От у сьому куточку віку доживатиму тихо і смирно, нічого не відаючи, ні о чім не дбаючи, що там на сьому многомятежному світі діяться буде! Відкрились мої сліпі очі: побачив я, що як ми тут добиваємось на світі, всі великощі світові — усе порох і сміття! Подарував мені пан гетьман маєтку, по весні поїду туди, буду розпорядковати, хозяйновати, а тут у дворі сад, бачиш, заводжу: може, Бог доведе і плоду з його покуштовати! Об тім тільки думаю, аби матері моїй і родичам зоставлена в Чигирині худоба не пропала, як война там почнеться.

— Коли, не дай Боже, те станеться,— сказав Молявка,— пан гетьман нагородить твою милость і всіх родичів твоєї милості сови́то на сім боці.

— Пан гетьман так і обіцяв,— сказал Дорошенко.— Я йому вірю, у його серце дуже добре, дай Боже йому здоров'я.

На праздниках Рождества Христова приехала семья Дорошенка. За ними приехала прислуга, привезли на подводах на двадцати разные припасы и домашнюю рухлядь Дорошенка. Тогда один из покоев в новопостроенном доме оставлен был для приема посетителей, а в остальных разместился он с своею семьею, состоявшею тогда из жены, малолетней дочери и брата Андрея. У Петра Дорошенка с женою тотчас же начались обычные несогласия. Молявка-Многопеняжный постоянно, как и прежде, посещавший Дорошенка и всеми мерами услуживавший ему и угождавший, был свидетелем бурных семейных сцен между несогласными супругами, и Дорошенко, зная от самого Молявки о его несчастном приключении, говорил ему:

— Не журися, пане сотнику, що у тебе жінку відняли. Буває з жінкою справжнє пекло, от як і мені. Оженитьcя чоловікові буває діло добре, тільки рідко удачливе. З тобою, може, сталось би таке ж, як і зо мною. А коли тебе жінка покинула, то і дякуй за се Богові!

Молявка-Многопеняжный сказал Дорошенку, что одинокому жить скучно и он, может быть, женится снова. Дорошенко воскликнул: «А не дай тобі Господи! Нащо тобі та жінка здалася — камінь за плечима!»

На праздник Богоявления в 1677 году приехал к Дорошенку тесть его Яненко, проезжавший из Чигирина в Новые Млыны, где гетман указал ему жительство и в окрестности этого местечка подарил ему имение. По этому поводу был у Дорошенка роскошный обед. Сотник, разумеется, был приглашен туда. Яненко, видя, что зять его относится к сосницкому сотнику по-дружески, и сам так же стал относиться к нему. У Молявки-Многопеняжного между тем назревала лукавая мысль: соблазняла его возможность отличиться перед гетманом своею умелостью надзирать за Дорошенком; очень хотелось ему, чтоб кто-нибудь, либо само он, либо иной из его родни, переведенной на жительство на левую сторону Днепра, проговорился, а он бы донес о том гетману. Его намерению помог неосторожно брат Петра Дорошенка — Андрей.

Завелся за обедом разговор о Юраске Хмельницком, бывшем тогда в Украине героем дня. Петро Дорошенко сказал:

— Я його знаю давно, як йому був тільки сімнадцятий год і наставили його гетьманом. О, сміху було немалого з того гетьманства! Я тоді прилуцьким полковником був. Боярин Василь Борисович Шереметєв, будучи в Києві, на всю громаду примовив: «Этому гетманишке только бы гусей пасти, а не гетмановати!» Ми всі, скільки нас було там, трохи не луснули з реготу!

— За таку ущипливу примовку на нашого гетьмана боярин Василь Борисович достойно сидить уже двадцятий год у тяжкій неволі,— сказал Андрей Дорошенко.— Отож йому Бог заплатив! Глядіть же, аби Юраска тепер не показав, що прийшов йому час не гусей пасти́, а москалів бити! Як би він москалям і козакам лівобережним не задав прочухана! Ось побачите. Сила турецька велика; москалеві з нею не справитись! До Юраски весь люд сипне, не тільки з того боку, а навіть і з сього, як тільки почує, що за турецькою поміччю іде батьківщину свою відбирати.

Со злобною радостью слушал эту речь Молявка-Многопеняжный, только и хотел, чтоб от Петра Дорошенка последовал ответ в таком же духе, но Петро Дорошенко, строго взглянувши на брата, расходившегося от немалого употребления вина, сказал:

— Андрію! Не подобно таке верзти. Ми вже свою справу покінчали, усе утеряли. Прохали-сьмо у царя ласки і притулу і одібрали-сьмо. Маємо до кінця нашого віку дяковати сердечне великому государеві за милость, а не хвалити царських злочинців.

— Я, брате Петре, їх не хвалю,— отвечал опомнившийся Андрей,— я кажу тільки, яке нещастя нам трапитися може, а того я не жадаю, щоб воно сталось, не дай Боже!

После этой беседы Молявка-Многопеняжный, воротившись домой, настрочил донесение к гетману, где изложил слышанные им на обеде у павшего гетмана речи Андрея Дорошенка, произнесенные в нетрезвом виде, но в своем доносе не солгал и написал, что Петро Дорошенко остановил своего брата и пожурил его за непристойные слова.

Донос этот пришел не совсем кстати для Молявки-Многопеняжного, хотя не остался без вреда для Петра Дорошенка.

Через несколько дней после того поехал Андрей Дорошенко в Батурин к гетману по очень важному делу, в котором мог угодить Самойловичу. Производился суд над стародубским полковником Рославцем и нежинским протопопом Адамовичем. Эти господа подавали донос на гетмана в Москву, но были отосланы к гетману для предания их войсковому суду. Низложенный чигиринский гетман посылал своего брата Андрея с уликами, важными и полезными для Самойловича. Андрей прибыл в Батурин тотчас после того, как гетман получил донос от Молявки-Многопеняжного. Видел Самойлович на деле расположение к себе Дорошенков, принял Андрея очень радушно и прямо спросил его: зачем он произносил непристойные речи на обеде у своего брата Петра о силах Юраски Хмельницкого, которых будто бы Москва не одолеет? Хотя Самойлович не сказал, откуда он узнал об этом, но Андрею нетрудно было догадаться, что донос на него послан сосницким сотником. Андрей Дорошенко сразу сознался во всем, извинялся тем, что был тогда в подпитии, и клялся быть вперед осторожнее. Самойлович поверил его искренности, притом сознание Андрея ни в чем не противоречило доносу Молявки-Многопеняжного. Самойлович ограничился легким внушением

Андрею, но из осторожности написал об этом в Москву. В Москве же в Малороссийском приказе рассудили так: за Петром Дорошенком ничего предосудительного не замечено, но у него в доме произносятся непристойные речи, и чаять, коли Петра Дорошенка из Украины вывести прочь, то будет спокойнее.

На Андрея Дорошенка не обратили большого внимания, тем более что, по донесению Самойловича, слова произносимы были «в подпитии». Все навалились на Петра, даром что Петро никак не одобрял выходок своего брата. Вышло по пословице: с больной головы на здоровую! Из Москвы послали к Самойловичу указ прислать Петра Дорошенка в Москву «для совета о воинских делах». Самойлович, в ответ на требование о присылке Петра, представил в Приказ, что Петру Дорошенку обещано было царским именем жить в Малороссии и он ведет себя смирно: не следует его так скоро трогать с места жительства во избежание волнений в народе. Пославши такой ответ, Самойлович думал, что теперь уже не станут более требовать присылки в столицу Дорошенка.

Андрей Дорошенко, воротившись из Батурина в Сосницу, рассказал брату Петру, что гетману уже известно про то, что говорилось за обедом насчет вступления Хмельниченка с турецкими силами. Для обоих братьев стало тогда ясно, что донос сделан был сотником сосницким; оба брата положили между собою не допускать этого человека до близости к себе.

Но ни объясниться с Молявкою, ни даже дать ему почувствовать, что Дорошенкам известна его проделка, Петру не удалось. Молявка-Многопеняжный, испросивши письменно от гетмана разрешение, уехал к Бутримам, у которых Булавка успел высватать ему невесту. Вместо себя он поручил управление сотнею хоружему. Прошел генварь. Во второй половине февраля настала масленица. Гетман Самойлович просил прибыть к нему Петра Дорошенка. Поехал к нему Петро, пробыл у него всю масленицу; вместе пировали, веселились, ездили с собаками на охоту. Гетман не сказал Дорошенку ни слова о том, что уже приезжал царский посланник требовать его высылки в Москву: гетман думал, что московское правительство уже успокоилось его представлениями и что уже все кончено, а потому не хотел беспокоить своего гостя.

В понедельник на первой неделе великого поста Петро Дорошенко выехал из Батурина в свою Сосницу без всяко-

го дурного для себя предчувствия. Но на следующий затем день приехал в Батурин новый царский посланец с требованием выслать Петра Дорошенка в Москву. Нечего было делать Самойловичу. Он принужден был уступить, тем более что ему обещали со временем отпустить Дорошенка по желанию гетмана. Послал Самойлович к Дорошенку генерального судью Домонтовича с письмом такого содержания: «Пане Петро! Поїжджай без жодного сумнительства до Москви. Тебе затим тільки зовуть, щоб видить царськії очі, і хочуть тебе розпитать про справи турецькі і татарські».

Словно громом поражен был Дорошенко, когда такая неожиданность стряслась над его головою. Для малороссиян в тот век ехать по зову в Москву представлялось чем-то зловещим, для Дорошенка — тем более, когда он, сдаваясь царю, так настойчиво домогался, чтоб ему дали обещание оставить его на родине. С горечью произнес он:

— Хоч би на смерть кому велено було йти, і тому би преже дали знати. Суди Бог пану гетьману, що не звістив мене зарані!

Недолго он собирался, хотя Самойлович, посылая за ним Домонтовича, не приказал торопить его. 8 марта 1677 года уехал он навек из милой Украины. Горькими слезами разливалась его старая мать и малолетняя дочь, плакал и брат Андрей, но жена Петрова осталась безучастною и, проводивши мужа, не стеснилась произнести: «Слава тобі, Господи! Увезли від мене мого нелюба!»

Через неделю после отъезда Дорошенка воротился в Сосницу Молявка с молодою женою.

XIII

Новый тесть Молявки, Бутрим, был когда-то полковым есаулом при черниговском полковнике Небабе еще во времена Богдана Хмельницкого, но, пробывши в этой должности года три, стал войсковым товарищем и, получивши маетность в Черниговском полку, занялся исключительно увеличением своего состояния. Благо, что полк Черниговский был один из тех, которые менее других подвергались опустошениям в оные бурные времена. В течение двадцати лет Бутрим успел значительно разбогатеть захватом займанщин, чем тогда обыкновенно богатели украинские землевладельцы. Из своего села, которое ему бесспорно принадлежит, помещик высылает своих подданных, семью или

две, заводить хутор или слободку, присвоить к этому хутору ле́са, сенокоса, лугов, пашни, сколько захочет и сколько будет возможно в окрестности; иногда, встретив тут же поселившегося прежде него козака, подпоит его и выдурит у него поле выгодною для себя продажею, а если заметит, что хозяин поля не зубаст, то и так отнимет и к своей земле примежует. Так заводились новые поселения. И Бутрим расширялся таким способом и на все свои выселки выхлопотал себе полковничьи листы, утвержденные в гетманской канцелярии. Бутрим жил в ладу со всеми черниговскими полковниками, даром что они менялись часто и поступавший вновь на уряд был врагом смещенному: Бутрим со всеми одинаково ладил и дружил. Но ближе всех находился он с Дуниным-Борковским, потому что Бутрим и Дунин-Борковский женаты были на родных сестрах. Было у Бутрима четыре дочери: из них две были уже выданы в замужество, третья выходила теперь за сосницкого сотника. Бутрим считался во всем соседстве, да и сам себя считал, большим мудрецом в житейских делах и любил давать советы. Когда приехал к нему Молявка женихом его дочери, Бутрим набивал ему в голову, что его положение редкое, отменное и всем завидное: в короткое время из рядовика стал он сотником, да еще каким! — не выбранным казаками, а сам гетман его назначил и поручил ему важное царское дело — надзирать за Дорошенком. Будут и в Москве знать про него. И стал Бутрим делать соображения: как бы кстати было, если б у Дорошенка объявились какие-нибудь недобрые речи против Москвы, а это, казалось, дело возможное; тут бы сотник, узнавши, сообщил гетману, а гетман в Москву, и поднялся бы высоко Молявка. Зять не утерпел и сообщил тестю, что уже сталось именно то, чего тесть желал бы,— а Бутрим очень похвалил Молявку за его поступок, советовал, однако, хранить пока это дело в большой тайне, но пророчил из него важные последствия, благоприятные для сосницкого сотника.

Мать Молявки была вне себя от удовольствия, что сын ее вступает в свойство с таким панским семейством, с такими богатыми и знатными людьми. «Это,— говорила она,— не то что какие-то там Кусы». При воспоминании о последних она открещивалась и благодарила Бога за то, что избавил ее сына от них. Преусердно старалась тогда старуха Молявчиха сдружиться с панею Бутримовою, которая, однако, хоть и была любезна, но тут же показывала, что она себе

на уме, и обращалась с Молявчихою свысока. В Малороссии в те времена было в нравах, что кто разбогатеет, тот смотрит уже свысока на всякого, кто победнее его и похуже живет. У женщин эта черта выдавалась еще резче, чем у мужчин.

Пышно отпраздновали свадьбу пана Молявки-Многопеняжного с панною Бутримовною, по извечному прадедовскому обычаю, со старостами, дружками, боярами, со всеми обрядами, сохранившимися до нашего времени у простолюдинов, но в описываемые нами времена соблюдавшимися и в знатнейших панских домах. Свадебный персонал обоего пола составился из семей окрестных значных товарищей, съехавшихся к Бутримам нарочно по их приглашению. Во дворе панском поместиться всем было невозможно, поэтому на время удалили нескольких посполитых подданных и заставили их поместиться у соседей, а собственные жилища уступить гостям. Впрочем, никто из подданных не лишен был участия в празднике своих панов: на панском дворе расставлены были столы, и за ними угощали народ горилкою и свининою. Пир шел целых три дня, и в это время много было съедено кормленых кабанов, баранов, кур, гусей, индеек; с утра до вечера гремела музыка, и в доме и на дворе раздавался топот пляшущих, а по ночам в увеселение гостям и толпе народа замечались потешные огни. После пяти дней стали разъезжаться гости, за исключением самых близких, принадлежавших к свадебному персоналу: те оставались до отъезда новобрачных. Родители упаковали «скриньку» новобрачной, состоявшую из полдюжины больших сундуков с приданым: там были женские наряды и уборы, саяны, кафтаны, плахты, шубки, рубахи, наволоки, одеяла, завесы, чехлы, мониста, серебряная посуда, шкатулки с разными безделушками — все, что по тогдашнему образу жизни составляло домашнее богатство значных людей. Ко всему этому прилагалась опись, потому что в случае смерти дочери приданое возвращалось в ее род, если она не оставляла детей. Бутрим вручил дочери и зятю документ на уступаемое ей имение, но этот документ был написан так, что дочь его могла сделаться полною владелицею своего имения разве только после смерти родителя; при своей жизни предусмотрительный родитель все-таки оставлял за собою возможность держать в руках и имение дочери и ее самое с мужем в зависимости от себя. Наступил день отъезда. Ко крыльцу панского дома подвезли крытые сани. Новобрачные и мать Молявки вы-

шли, совсем одетые по-дорожному; родители невесты, стоя с образом, благословляли их последний раз, а новобрачные поклонились им до земли. Тогда оставшиеся у Бутрима гости свадебного персонала, стоя вокруг отъезжавших, запели жалобную песню, где говорилось об отъезде дочери от родителей в чужую дальнюю сторону. Под голос этой песни сели в сани Молявки и двинулись в путь.

Приезд Молявки-Многопеняжного в Сосницу с молодой женой, казалось, был для него истинным триумфом. Первою новостью, которую услышал он, было известие об увозе Петра Дорошенка в Москву. Вспомнил он пророчества Бутрима и обрадовался: он догадался, что все это сделалось по его доносу и теперь его знают в Москве, он сослужил царю службу и надеется, что за то будет в милости у гетмана и у верховных властей. Но хоружий, управляющий сотнею во время отсутствия сотника, сообщил ему другую, не так приятную новость.

Вот что произошло в Соснице за то время, когда Молявка ездил сочетаться браком. Андрей Дорошенко ездил к гетману с уликами против Рославца и Адамовича вместе с сотенным писарем Куликом. Этот Кулик с первого раза невзлюбил Молявки. Находясь вместе с Андреем Дорошенком в Батурине, он близко знал, что гетман принял Андрея чрезвычайно ласково. Воротившись в Сосницу, Кулик бросил между казаками мысль, что можно было бы упросить гетмана дозволить учинить выбор сотника и избрать Андрея. Вслед за тем скоро приехал в Сосницу генеральный судья Домонтович за Петром Дорошенком и гласно заявил, что гетман получил из Москвы «лист», где, в утешение Дорошенкам, ему поручалось давать, по своему усмотрению, его братьям и родственникам должности в войске Запорожском.

Петра Дорошенка увезли. Сотника Молявки-Многопеняжного не было. Писарь, опираясь на слова генерального судьи Домонтовича, стал действовать смелее и настроил против Молявки атамана городового Крука. Родился у этого атамана ребенок; родитель пригласил к себе на крестины четырех куренных атаманов из соседских сел. Кулик был восприемником. На крестильном пиру подвыпившие гости стали рассуждать о своем сотнике: все вообще мало были им довольны; его обращение с подчиненными было как-то сухо и заносчиво; замечали, что был он корыстолюбив, а главное — противен им был он тем, что был не выбран казаками, как бы следовало по вековому обычаю,

а назначен сверху, не спрашиваясь, хотят или не хотят его подчиненные. Кулик объяснял, что это все сталось только потому, что в Соснице указано было жить Петру Дорошенку и нужны были вначале для него разом и помощь и надзор над ним. Теперь же Петра Дорошенка в Соснице нет; теперь можно подать гетману челобитную, чтоб дозволил выбрать сотника по обычным, извечным войсковым правам: такой выбор будет по нраву самому гетману. Все согласились. Писарь составил челобитную, атаманы, бывшие у Крука, приложили руки и обещали склонить на свою сторону и хоружего, но хоружий держался Молявки; ему казалось, что назначенный самим гетманом сотник сидит так крепко на своем месте, что скорее пошатнется тот, кто задумает столкнуть его с места. Хотя Кулик не рассказал хоружему всего, что происходило у Крука, но хоружий сам про все пронюхал. Когда Молявка воротился в Сосницу, хоружий донес ему, что́ против него затевается.

Взъярился Молявка, закипел досадою, и женщины — мать и жена — стали обе разом побуждать его не спускать своим недругам. Недолго думая, сотник приказал позвать к себе атамана городового и сотенного писаря.

Надменно встретил он позванных, одною рукою подпершись в бок, другою заложивши за пояс, обвивавший его кармазинный кафтан, не кивнул головою в ответ на их глубокий поклон и разразился такою речью:

— Що се я вам став негожий? Ви збираєтесь між собою та радитесь: кого собі в сотники іншого обрати? Забули єсте, мабуть, що не ви мене обирали, а сам ясновельможний гетьман мене над вами поставив без вашого «сирна»? А хіба того не знаєте, що коли проти мене йдете, то усе рівно, що проти самого гетьмана супиняєтесь? А ви знаєте, що то єсть супинятися проти нашого гетьмана. Петро Рославець не вам рівня,— а що з ним сталось? Знаєте ви, скурві сини: маленьку цидулу напишу до ясновельможного, так вас зашлють туди, де і вороння кісток ваших не знайде. Се все ти, Куличе! Твої се хірхулі! А ти, атамане Круку, як смів ти без мене курінних збирати?

— Пане сотнику! — сказал Крук.— Я не збирав. У мене були гості, давні приятелі, на хрестинах. Сього ще ніколи не бувало, щоб ми повинні-сьмо були твоєї милості запитоватись, чи можна нам до себе гостей звати, а звлаща в такій справі, як хрестини. Твоєї милості тут не було. Не зоставляти ж дітей наших нехрещених, дожидаючись, поки волить вернутися, твоя милість!

— А ви на своїх хрестинах про мене розмовляли, мене судили, як би мене з сотництва звести, радилися! А! Так, кажи! Були між вами такі річі? — спрашивал сотник.

— Пане сотнику,— сказал городовой атаман,— я твоїй милості одповів і ще скажу: звав я гостей на хрестини, а що там говорилось, коли пилось і їлось, так ми тоді ж і забули-сьмо; підпилі були!

— Ось я позову хлопців, да розтягну вас отут, да киями добре одшмарую! — сказал с увеличивавшеюся запальчивостью сотник.— Ви не гадайте й не помишляйте, щоб мене вашою волею з сотництва звести. Я не такий сотник, як інщі, що виберете самі да потім і коверзуєте, як хочете. Мене сам ясновельможний гетьман над вами наставив, а все через те, що мене знає і на мене більш полєцається, як на всю вашу громаду. Мені гетьман дозволив писати просто до його власних рук, а другі сотники того не сміють, мусять через своїх полковників зноситися з гетьманом. Тільки я один на всю Україну, один такий сотник, що до самого гетьмана просто пишу. От і знайте мене. Ти, Куличе, скурвий сине, пся кров, хлопська юха! Ти, ти всьому привідця, собачий сине!

Он схватил Кулика за грудь и начал трясти его. Кулик, пригнутый сильной рукой Молявки, поклонился ему до земли и говорил:

— Пане вельможний! Не гнівися. Твоя во всім воля, тільки я проти милості твоєї ні в чім не прошпетився; певне, твоїй милості на мене щось наплетено.

— Знаю я вас, лукавих синів! — сказал сотник.— І ви ж знайте мене, коли так. Тягатися зо мною у вас мочі не стане. Перш усі ви з вашими жінками і дітьми пропадете, у Сибір підете, ніж мене од себе зведете́. За мене гетьман, а за гетьманом і сам цар! Куди ж вам, чорнякам, до мене? Пошліть козаків до курінних, щоб з'їздилися до мене віншовати мене з малженством і везли б мені належитий ралець од себе і од своїх куренів. Чуєш?

— Чуємо, вельможний пане сотнику!— в один голос сказали атаман и писарь.

Во время этого разговора мать и жена стояли позади и потешались величием: первая — своего сына, вторая — своего мужа. Старуха Молявчиха еще каких-нибудь полгода назад и мысли к себе допустить не смела, чтоб ее сын так распекал чиновных людей, писарей и атаманов, а теперь довелось ей тешиться, смотреть, как перед ее сыном корятся и смиренно кланяются писари и атаманы; Бутри-

мовна же и воспиталась в такой семье, где ей внушали с детства, что она выйдет за знатного человека, такого, что будет иметь право других гнуть и жать! Это был идеал человеческого достоинства по понятиям, господствовавшим в том кругу, где взросла Бутримовна.

Вышедши от Молявки, писарь Кулик сказал атаману Круку:

— Пане куме! Посилай козаків звать курінних, як розказує пан сотник, а тим часом мерщій запрягаймо коні в санки та чухраймо до Батурина: подамо нашу супліку гетьманові! Що буде, те нехай буде. А я сподіваюсь певне, що станеться по-нашому. Поки з'їдуться у Сосницю куренні — ми тим часом вернемось. Тоді з гетьманської волі зберемо раду вибирати сотника.

И в тот же день уехали они из Сосницы.

Сметливый человек был писарь Кулик. Слыхал он прежде, что у гетмана Самойловича в большом доверии Мазепа, и к нему-то Кулик с Круком обратился прямо. Он представил ему, что казацкая громада очень недовольна назначенным ей от гетмана в сотники Молявкою и просит возвратить ей старинное право избрать сотника по своему желанию вольными голосами.

Мазепа отвечал, что Самойлович и сам уже не очень доволен этим сотником: беспокойный он человек, лезет с пустыми доносами, успел уже доносами выжить Петра Дорошенка. Однако, прибавил Мазепа, Петру Дорошенку в Москве худо не будет; кроме того, из Москвы написали гетману, чтоб ласков был к его оставшейся родне.

«Стало быть,— заметили Кулик и Крук,— гетману не будет противно, если мы Андрея Дорошенка выберем в сотники».

Мазепа уверил их, что, напротив, гетману это будет особенно приятно. Взявши от них суплику, Мазепа отправился с нею к гетману. В тот же день написан был в генеральной канцелярии от лица гетмана лист, дозволяющий сосничанам избрать себе сотника по своим правам и вольностям. О Молявке-Многопеняжном в этом листе не упоминалось вовсе, как будто его в Соснице не бывало. Мазепа сам отдал гетманский лист «супликантам», и те немедленно уехали обратно.

Между тем куренные атаманы, по призыву разосланных к ним казаков, стали собираться в сотенный город; двое из них успели уже явиться к пану сотнику с поздравлениями, заявили ему о подарках от своих куреней и от себя лично;

подарки эти состояли в штуках скота и ульях пчел, а от себя атаманы жертвовали новобрачным разные серебряные вещицы. Но они только заявили о своих дарах, а ничего отдать не успели.

Воротились из Батурина Крук и Кулик. Тотчас городовой атаман пригласил священника, мещанского войта и нескольких куренных, успевших приехать в Сосницу. Он объявил всем, что будет рада по гетманскому приказанию. Зазвонили в колокол. Ударили в литавры.

Молявка не подозревал, чтоб городовой атаман и сотенный писарь осмелились ехать с супликою прямо в Батурин; напротив, Молявка думал, что напугал их своим грозным приемом, и они, желая загладить свою вину, выехали из Сосницы собирать куренных затем, чтоб те ехали с поздравлениями к сотнику. Оставаясь спокойно в своем доме, сотник услышал неожиданный звон колокола, бой литавр и послал казака узнать, что такое делается.

Вышел казак из сосницкого дома, сделал несколько шагов по улице и очутился на площади перед церковью. Вышла толпа народа. Уже устроено было наскоро возвышенное место; на нем стояли Кулик и Крук, возле них куренные атаманы и войт; хоружий, приятель и сторонник Молявки, стоял тут же с ними и держал сотенное знамя.

Вот как это сталось. Когда Крук с Куликом, ворочаясь из Батурина, случайно встретили едущего хоружего, остановили и показали гетманский лист,— у хоружего разом, так сказать, открылись глаза. Он увидал, что Молявка-Многопеняжный вовсе не так силен и крепок, каким выдавал себя. Поэтому хоружий вдруг изменился, не счел уместным извещать своего бывшего приятеля о собравшейся над ним грозе, а совершенно отдался в распоряжение атамана городового и писаря, по их приказанию взял сотенное знамя и поспешил на раду. Писарь Кулик, развернувши гетманский лист, читал пред народом:

— «Иоанн Самойлович, гетман обоих сторон Днепра войска его царского пресветлого величества Запорожского ознаймуем сим отворчатым листом нашим гетманским города Сосницы и всей сосницкой сотни обывателям всех чинов людям иж ставши перед нами очевисто означенного города Сосницы атаман городовый Василь Крук и писарь сотенный Иван Кулик именем всех атаманов и козаков и мещан и всего поспольства вышенамеченного города Сосницы и всей сосницкой сотни суппликовали нам, просячи, абы мы-сьмо дозволили им по стародавним их правам

и вольностям войсковым обрати себе вольными голосами по своему излюблению сотника, на що мы, глядючи на старожитны права и вольности войска Запорожского, им на таковое обрание дозволяем, варуючи, еднак, абы по скончании такового обрания нам для конечной нашей о том сентенции оный выбор за рукоприкладством их доставлен был чрез его милость вельможного пана полковника черниговского, до которого регименту войскового сосницкая сотня належит».

Услыша такую речь, посланный Молявкою казак не отправился назад, а остался смотреть, что дальше происходить будет.

— Андрій Дорошенко нехай буде сотником! — закричали атаманы, а за ними и казаки.

— Андрій Дорошенко! — повторило множество голосов мещанства и поспольства.

Андрей Дорошенко вышел из своего дома, услыхавши звук колоколов и бой литавр, совсем не приготовленный и не ожидавший ничего; Андрей Дорошенко не стал пробираться сквозь толпу, а стал близ церкви. Толпа казаков, увидя его, с криками бросились к нему, потащила и поставила на возвышенное место; атаманы накрывали его своими шапками, хоружий вручал ему знамя, все кричали: «На сырно! на сырно!»

Андрей Дорошенко стал было упираться, извиняться в своем недостоинстве, но Крук громогласно заявил, что такова воля всей громады и он не смеет противиться общему желанию.

Тогда казак, посланный Молявкою, ушел с площади и принес Молявке весть о состоявшемся выборе нового сотника.

— Як вони сміють! — закричал Молявка. За ним завопили на тот же лад его мать и жена.— То своєволя! То ошуканство,— кричал он,— то бунт проти зверхності. Я до гетьмана самого зараз поїду.

Вдруг вошел Кулик. Молявка бросился было на него с кулаками, скрежетал зубами от злости, но писарь обеими руками остановил его задор и дал совет вести себя потише:

— Уже мосьпан не сотник, громада вибрала другого сотника, Андрія Дорошенка!

— Що мені ваша громада! — кричал Молявка.— Я більший од усієї вашої нікчемної громади. Сам гетьман мене наставив над вами, так сам гетьман, коли захоче, має мене звести, а не ви, шолудиві!

Кулик объявил, что у них есть гетманский лист, дозволяющий выбрать нового сотника.

— Се лист підбірний, мальований! Самі його зложили! — кричал Молявка.— Гетьман такого листу не підпише. Покаж лист.

— Іди на раду до нового сотника,— він тобі лист покаже! — произнес Кулик.

— Не піду в вашу мужичу чернячу раду. І вашого задрипаного Андрія Дорошенка знать я не хочу. Більший і сильніший я од усіх вас. Пан гетьман мене наставив по царськой волі, а се же усе рівно, якби сам цар мене наставив. Я вас усіх!..

— Нічого ти нам не вдієш!— сказал Кулик.— Лучче тихенько та любенько покорись громаді, зречись сотницьких маєток, поклонись новому сотникові, а потім війся собі туди, відкіля узявся, або куди схочеш, туди од нас і дівайся.

— Чорти б нехай задрали вашого обраного сотника і всіх вас! — кричал Молявка.— Поїду до самого гетьмана. Ви в мене знатимете, бунтівники...

— Нічого твоїй милості їхати до гетьмана, бо лист гетьманський явне указує гетьманську волю над нами у сій справі. А лист той у нас!

— Подай мені сюди сей лист! Коли сам своїми очима побачу, що ясновельможний мене змістив, тоді і покорюсь,— сказал наконец начинавший опамятываться сотник.

— Добре, коли не хочеш йти до нас в раду, то ми тобі сюди принесем лист, тільки не я один принесу, бо ти ще вирвеш лист і зопсуєш його, а свідків не буде. А ми прийдем до тебе громадою.

Кулик, сказавши это, вышел. Молявка и семья его встревожились, не зная, за что приняться. Мать ломала себе руки и принялась за свои обычные жалобы на долю, которая всю жизнь ее преследует с сыном: ничего им не удается, поманила их доля большим добром, а теперь вот все пошло по ветру. Жена давала мужу совет ехать к черниговскому полковнику и просить, чтоб он заступился за своих родичей перед гетманом. Сам Молявка бегал быстрыми шагами взад и вперед, хватался обеими руками за голову и судорожно пожимал плечами. В сильном волнении он не находил, на чем ему остановиться, за что ухватиться.

Вошли Кулик, Крук и Андрей Дорошенко.

— Доброго здоров'я ласкавому пану-добродієві! — сказал Андрей Дрошенко.

Такое же приветствие повторил и Крук.

— Іще не віншовали-м твою милість на законному малженстві! — сказал Андрей Дорошенко.— Пошли, Боже, твоєй милості доброго здоров'я і во всім щасливого повоження на многая літа! Твоїй милості нехай відомо те буде, іж прийшов до сосницької громади от ясновельможного пана гетьмана лист, дозволячий вольними голосами обрати сотника. По тому листу гетьманському отворчатому сосницької сотні громада вольними і тихими голосами єдиностайно обрала на уряд сотницький мене, Андрія Дорошенка. Волиш зобачити сей лист гетьманський — от він, пане бувший сотнику!

Он поднес ему бумагу с выражением почтительности.

Молявка взял «лист», прочитал его, выпучил глаза в недоумении, потому отдал назад «лист» и минуты три молчал. И другие молчали. Наконец Молявка сам перервал молчание и сказал:

— Поїду до вельможного пана його милості полковника черніговського. Але ж, пане Андрію Дорошенко! Твоє сотництво це може вилами на воді підписано. Бачу, що ви добули якийсь лист з гетьманської войськової канцелярії. А вже пан полковник дізнається от самого гетьмана, як воно сталось таке.

Все трое: Дорошенко, Кулик и Крук — изъявили ему желание счастливой дороги. В тот же день собрался Молявка и на ночь уехал с женою и матерью в Чернигов, а для громоздких сундуков с жениным приданым нанял подводы.

Полковник Борковский на ту пору недавно воротился из Чигирина, где с осени стоял со своим полком на залоге. Явились к нему Молявки. Полковник, узнавши от них, что все это случилось, тотчас же велел запрягать сани и отправился налегке в Батурин, а Молявке приказал дожидаться у него.

Ничего не удалось полковнику у гетмана. Самойлович объяснил ему, что назначил было в Сосницу сотника только того ради, что нужно было устроить прямо от гетмана наблюдение над Петром Дорошенком. Теперь же, когда Петра Дорошенка вызвали в Москву, наблюдать уже не над кем, и он, гетман, не считает себя вправе нарушать для сосницкой сотни извечные уставы войска Запорожского и запрещать сосничанам выбор сотника по их желанию. Не его, гетмана, в том вина, что сосничане не выбрали себе этого Молявку-Многопеняжного, а выбрали Андрея Доро-

шенка. Не утвердить Андрея не было никакого повода, тем более что и в Москве этим будут довольны.

Борковский просил чем-нибудь иным вознаградить Молявку. Самойлович отвечал, что когда-нибудь, со временем, он покажет ему милость, когда тот ее чем-либо заслужит. Борковский за это озлобился на гетмана. Самолюбие черниговского полковника было уязвлено тем, что гетман в этом деле не сделал ничего по его просьбе: с этой поры Борковский стал недоброжелателем гетмана.

Молявки уехали к Бутриму. Не очень радушно, не очень охотно поместил их у себя этот господин. Но делать было нечего: не оставлять же дочки на волю судьбы. Старая Молявчиха очень скоро повздорила с паней Бутримовой; правда, она скоро и смирилась перед нею, потому что иначе негде было бы ей приютиться, но с тех пор играла жалкую роль приживалки, сносила от Бутримихи невнимание и явное к себе пренебрежение, а оставаясь наедине с сыном, горько плакала, жаловалась на свою долю и вооружала сына как против тестя и тещи, так и против жены. Жена Молявки, чувствуя превосходство и своего отца и свое собственное по отцу пред таким мужем, который остается без власти над другими, без богатства, без значения, стала обращаться с мужем заносчиво и высокомерно. Все терпел Молявка, потому что, бывало, как только поднимет он голос против сварливой жены, так за нее начинают вступаться тесть и теща, задевают его колкими замечаниями, напоминают, что он у них на хлебах живет и сам собственных средств не имеет, выражают вдобавок обидное сожаление, что ошиблись они, отдавши дочь за такого человека.

— Не живем ми тут, а мучимся,— говорил подчас матери Молявка-Моногопеняжный.

XIV

Челобитная черниговцев, всякого чина и звания людей, на воеводу Чоглокова была Борковским отправлена к гетману, а гетман без замедления препроводил ее в Малороссийский приказ. В то время Самойлович был в большой силе и в доверии у московского правительства, и царь Федор Алексеевич весь Малороссийский край держал, как говорилось тогда, в большом возлюблении. Чоглоков был неугоден малороссиянам, и на этом одном основании велено было его удалить с воеводства, не разбирая справедливости возникших против него жалоб. В конце марта при-

ехал Чоглоков в Москву,— у него там на Арбате был собственный двор. Тотчас же принужден был Чоглоков в Малороссийском приказе давать поминки и спустить бо́льшую половину того, что успел награбить в Чернигове. Так обыкновенно делалось тогда с царскими воеводами: их высылали «в городи» на воеводство, они там обирали жителей, а, по возвращении в Москву, их самих обирали в приказах. Чоглоков не мог тогда предвидеть, что одним этим он не отделается, и послал в свою Пахровскую вотчину приказание привезти красавицу Анну Черниговку с ее мужем Ваською Чесноковым.

Все было исполнено по его боярскому приказанию. Приехали из вотчины в Москву Васька и Макарка. Привезли они с собою и Ганну Кусивну.

Тогда в доме Тимофея Васильевича Чоглокова происходила вот какая сцена.

В своем боярском кресле сидел, развалясь, Тимофей Васильевич. Перед ним стоял Васька Чесноков. Тимофей Васильевич говорил ему:

— Так-то, любезнейший ты мой Васютка. Ты будешь приводить ко мне свою жену на ночь, как только я потребую, а я тебе о том буду давать приказ заранее. Жить вы будете у меня в особой надворной избе и всякую харчь получать от моего стола, одевать я вас буду паче других слуг моих и жаловать вас буду, оттого что я вас не за чужих, а за своих почитаю. Поживете годика три-четыре, я вас на волю отпущу с немалым награждением. Только чтоб этого, что между нами творится, никто не знал, только бы вы двое да я про то ведали, а другие все чтоб и не догадывались.

— Уж в этом положись на меня, государь! — отвечал Васька.— У меня все равно, что в могилу закопано. Никто не узнает. Я твоею милостью по горло доволен и по смерть свою не забуду того, что твоя государская милость мне делаешь. Уж поверь, государь, будет по твоему скусу твоей милости бабенка, а я за чистотою смотреть буду и чтоб не гуляла.

— Я на тебя, Васютка, надеюсь, как на каменную гору,— сказал Чоглоков.— Ну, а как везли ее, не порывалась она стречка дать?

— Она,— сказал Васька,— може, и убегла бы, да перво́, что дороги не знала в чужой земле, а тут мы за нею глядели в четыре глаза. Только уж как привезли в вотчину да повели под венец, так больно артачилась. Только отец

Харитоний на то не посмотрел: она кричит благим матом —«не хочу!»,— а он «Исаия ликуй!» поет. Молодец поп! Ей-Богу, молодец! Потом уже тихо и смирно велась, боялась, чтоб ее не били; говорила только нам: «Делайте со мною, что хотите. Я ваша,— говорит,— невольница; я все равно что у татар в полону!» И работает, бывало, все, что ей прикажут. Только все скучна была да плакала пóчасту: бывало, как только сама одна останется, так и ревет.

— Ну что, бабьи слезы — вода,— проговорил Чоглоков.— Обживется — слюбится. И здесь, в Москве, смотри за нею, Васютка, чтоб не убегла. Пока еще она тут никого не знает? Держи ее, Васютка, так, чтоб, окромя наших людей, во дворе никто ее не знал.

— Опасно,— заметил Васька,— пока не обвыкнет, чтоб не вздумала заорать: «Я чужая жена, меня обвенчали с другим насильно!» А тут какой-нибудь лиходей подслушает и донесет. Мне за то как бы в ответе не быть перед твоею государскою милостию.

— Покрепче держи, позорче гляди — и не будешь передо мною в ответе,— сказал Чоглоков.

— Буду смотреть за нею строго, по твоему боярскому приказу,— сказал, поклонившись, Васька.

— Сегодня вечером приведи ко мне Анну! — сказал Чоглоков.

— Слушаю, государь,— сказал, поклонившись, Васька.

В людской избе собралась дворня ужинать. Ваське и Анне хоть назначил господин особый покой и харч от своего стола, но был еще первый только день их приезда в Москву, и они до следующего утра расположились в общей избе. Ганна, одетая в цветной летник с кикою на голове, была похожа на чистую великороссиянку и молча сидела на лавке. Холопи и холопки поглядывали на нее с любопытством и делали друг с другом шепотом на ее счет замечания, а иные обращались с речью к ней самой, но она отделывалась короткими фразами, которые смысла другие понять не могли и все-таки не удерживались от смеха над малороссийским акцентом Ганны.

Сели ужинать. Ганна, по приказанию Васьки, села и взяла в руки ложку.

— Ну что, хохлачка? — сказал кто-то.— Скучно тебе небось без ваших вареничков? А?

Ганна принужденно осклабилась.

— Иди к своему гетману, вареничков у него попроси,—

сказал другой.— Вон вашего гетмана привезли, говорят, и держат, как собаку, на цепи.

— Его поместили, говорят, на Греческом дворе,— заметил кто-то.

— На время. Построят особую избу для него,— заметил другой.

— А в Сибирь разве не пошлют его? — спросил кто-то.

— В Сибирь не зашлют,— объяснил другой,— он ведь не нашего царя был холоп, а польский или турецкий — черт его знает чей, только не нашенский; он сдался нашему царю в полон.

— Так, так,— заметили другие.— Ну, значит, он не согрубил против нашего царя, так его в Сибирь не за что посылать, значит, его в Москве держать станут!

— Так коли он нашему царю сам сдался, зачем его не остановили там, где взяли? — кто-то спросил.

— А, видно, не годится! — ответил другой.

— Его там в своей стороне где-то поместили сперва, да проведали, что дуровать собирается, оттого сюда привезли,— сказал Васька.

Ганна не проронила ни одного слова, все слышала, все твердо запечатлела в своей памяти, но спросить ни о чем не смела.

— А как он прозывается? — спросил кто-то.

— Петра Дорошонок! — сказал Васька, живший недавно в Чернигове и наслышавшийся там об этом имени.

И Ганна вспомнила, что с детских лет ее в кругу ее семейных и знакомых часто повторялось это имя; знала она, что и муж ее Молявка-Многопеняжный с казаками пошел в поход против этого Дорошенка.

Разговоры у холопей перешли на другие предметы. Ганна не вмешивалась и погрузилась в свою обычную задумчивость.

После ужина Васька вывел ее в сени и сказал:

— Анна! Боярин зовет тебя к себе на ночь!

Ганна ничего не ответила.

— Что, рада? — спросил Васька.

— Овсі не рада,— сказала Ганна.— Тільки те мені чудно: ставишся ти моїм чоловіком, а мене до іншого ведеш. Хіба така у вас віра?

— Такая, коли хочешь знать, у нас вера,— отвечал Васька,— чтоб слушаться господ своих и делать, что господа приказывают.

Ганна молча пошла вслед за Ваською.

— Здравствуй, девка,— сказал Чоглоков, оставшись с Ганною наедине,— здравствуй, красная! Видишь, опять ты со мною, душенька. Не бойся, я не лютый зверь, не задеру!

Ганна не показывала ни тени сопротивления, была послушна во всем, не начинала никакой речи и отвечала только, либо: «Не знаю», либо: «Як велиш».

Утром, когда еще Тимофей Васильевич на солнечном восходе спал как убитый, Ганна вышла от него, не пошла в людскую, а направилась к воротам двора, выходившим на улицу. День был весенний, ясный. Москва уже была на ногах; народ сновал из улицы в улицу. Земля кое-где была еще грязна, но уже во многих местах просыхала. Ганна не знала, куда ей повернуться: она не бывала еще ни на одной московской улице, привезенная только вчера прямо в боярский двор Чоглокова. Наудачу пошла она влево, уперлась во двор, повернула еще налево, потом направо, шла, сама не зная, куда зайдет, и беспрестанно оглядывалась, не преследуют ли ее, не смея спросить никого из встречающихся. Улица, по которой она шла, раздваивалась, и Ганна решилась наконец спросить у встречной женщины, куда пройти на Греческий двор.

— Ах, родимая! Слышу по твоей речи, что ты не здешняя,— сказала ей женщина.— Первый раз, видно, в Москве?

— Первый раз,— отвечала Ганна.

— Трудно, родимая, ух, как трудно бывает здесь тому, кто первый раз в Москве, пока не привыкнет. Тебе на Греческий двор-то? Иди влево отсюда, а там, произошедши два переулка вправо, не иди туда, а будет третий вправо же, так ты туда иди, и все прямо, прямо, увидишь вдалеке колокольню большущую — Иван Великий прозывается, так ты все иди и на нее смотри, и дойдешь до стены белокаменной, и повернешь влево, и там спросишь Греческий двор, тебе люди покажут!

— Спасибі, тітусю! — сказала Ганна и пошла по указанному пути, устремляя постоянно глаза на золоченую главу Ивана Великого, блиставшую под лучами весеннего утреннего солнца. Но в сети запутанных московских улиц она опять сбилась с пути и стала спрашивать о Греческом дворе у встретившихся ей мужиков. Эти мужики не оказались предупредительны и любезны, как прежняя женщина, направлявшая Ганну к Греческому двору. Эти мужики, услышавши малороссийскую речь, стали поднимать Ганну на́ смех и передразнивать.

— Да ты, видно, украинская ворона залетела в Москву! А какая, черт ее не взял, красивая! Ходи с нами, добрыми молодцами, во царев кабак! Мы тебя угостим!

— Не хóчу! — отвечала Ганна.— Я не піду з вами!

Но один мужик схватил ее за стан.

— Геть! — закричала Ганна.— Кажу, не піду я з вами. Пустіть!

— Пустіть! — передразнивали ее мужики, но Ганна вырвалась от них.

Она пошла скорыми шагами далее и боялась уже спрашивать дороги: научил ее первый опыт, что в Москве молодой красивенькой женщине было небезопасно расспрашивать дорогу у мужчин. Прошедши наудачу несколько улиц, она решилась, наконец, спросить у какой-то старухи, где Греческий двор. Старуха указала, что он был от ней уже в нескольких шагах.

Греческий двор стоял тогда на том месте, где теперь Никольский монастырь, называемый Греческим и построенный на Греческом дворе именно около того времени, когда совершались описываемые события. У ворот двора стояли караульные стрельцы.

— Тут Грецький двір? — спросила Ганна.

— Тут! Кого тебе? — спросили караульные.

— Гетьмана Петра Дорошенка.

— Нельзя! — грозно отвечал караульный.— Зачем тебе его? Вон наш полуголова. Спроси его.

Он указал на ходившего по двору стрелецкого полуголову. Ганна подошла к нему, поклонилась и сказала:

— Чи не можна, добродію, побачить гетьмана Дорошенка?

Полуголова подозрительно оглядел ее с головы до ног и проворчал:

— Первое — он уж не гетман и величать его так нельзя. А второе — какое тебе до него будет такое дело? Ты черкашенка, что ли?

— Еге! — отвечала Ганна.

— Не велено без позволения от Приказа пускать к нему никого, кроме тех, что на Малороссийском дворе черкассы в посольстве приехали,— сказал полуголова.— Ты из их-них, что ли?

— Я його родичка,— сказала Ганна.

— Что это такое: родичка? — говорил полуголова.— Родня ему приходишься, что ли?..

— Еге! — сказала Ганна.

— Хорошо, я сам поведу тебя к нему,— отвечал полуголова.

Петро Дорошенко, привезенный в Москву, был помещен на Греческом дворе и находился в состоянии, составлявшем средину между положением гостя и пленника. Уже он представлялся ко двору, удостоился целовать царскую руку, думный дьяк пред лицом самого великого государя изрек прощение всем его винам и противностям; затем ему сказано было, что он останется в Москве до окончания войны с турками для совета о разных воинских делах. С тех пор он жил на Греческом дворе; его действительно приглашали в Приказ раза три, брали от него сказку о татарских и турецких путях, о средствах к обороне Чигирина и тому подобное. Между тем у его помещения стояло на карауле попеременно по двадцати стрельцов с полуголовами. Наконец в последние пред этим дни позвали его к думному дьяку Лариону Иванову, и тот сказал ему, чтоб он подал челобитную о доставлении ему в Москву жены его. Дорошенко ужаснулся.

— Великому государю, значит, угодно меня оставить здесь навсегда? — спросил он.

— Такой воли великого государя нет,— отвечал дьяк.— Но тебе указано жить на Москве, доколе не утишится война с неверными, а сколько времени она будет длиться, про то Бог весть. Мужу от жены врозь пребывати не подобает.

Нечего было делать Петру Дорошенку. Написал он со слов думного дьяка челобитную о привозе его жены. В ожидании привоза немилой ему жены и не зная, чем окончится его судьба, Дорошенко метался, словно дикий зверь в клетке. Доне́льзя опротивела ему тогда эта Москва. Думал было он спокойно доживать веку после своей бурной жизни в милой родной Украине, посреди родного народа, на полной воле, а его держат в московской земле, и притом в неволе, хотя не говорят ему, что он в неволе.

В это-то время стрелецкий полуголова привел к нему Ганну Кусивну.

Дорошенко ходил большими шагами по комнате в обычном своем волнении. Полуголова, вошедши с Ганною, сказал:

— Петр Дорофеевич! Вот эта женщина желает видеть твою милость. Говорит она: сродни твоей милости.

— Я не знаю этой женщины,— сказал Дорошенко, огля-

девши Ганну. И потом, обратясь к ней, спросил: — Яка ти мені родичка?

— Я така тобі родичка, як усі наські люди тобі родичі,— сказала Ганна.— Ясновельможний гетьмане! Вислухай мене, я прийшла до твоєї милості за порадою. Поможи мені, бідолазі!

— Я не гетьман,— сказал Дорошенко,— навіть не полковник, жодного уряду не маю! Я просто в'язень у Москві! Чим я тобі поможу? Я сам бідний. Усі статки-маєтки свої покинув у Чигирині да у Сосниці.

— Я не грошей прийшла прохати,— сказала Кусивна,— хоч я така убога, що і хліба шматка не маю на чужій стороні, а прийшла до твоєї милості не за грошима, а за порадою. Вислухай мене, дай мені порадоньку, бідній, нещасній сироті, ні до кого мені повернутися, пригорнутися на чужій чужині, тільки до своїх людей.

И она, заливаясь слезами, повалилась к ногам Дорошенка. С головы ее спала кика. Ганна на первых порах сконфузилась, очутившись простоволосою, но не решилась надевать на голову противного, насильно ей навязанного московского головного убора.

И почему-то вспомнил Дорошенко, как перед ним со слезами валялись бедные украинцы, когда он их отдавал сотнями в неволю туркам и татарам. Не жаль ему их тогда было, потому что думал он тогда не о лицах поодиночке, а о целой отчизне, которой хотел добыть свободы и независимости. Теперь уже об этой отчизне он не думал, потому что сам погубил ее. Теперь жаль ему стало неизвестной женщины, валявшейся у ног его.

— Встань, молодице,— сказал он.— І кажи, звідки ти?

— З Чернігова,— отвечала Ганна.— Козацького роду, по батькові Кусівна. В Петрівку торік віддали мене заміж, владика дозволив повінчати, а мій молодий в той же день пішов у похід; а я ввечері пійшла по воду до річки Стрижня; в потайнику мене ухопили, очі і рот зав'язали і приволокли до воєводи, а воєвода згвалтовав мене і відослав з своїми людьми у свою вотчину під Москву і там приказав мене гвалтом повінчати з своїм чоловіком, а потім, приїхавши сам до Москви, приказав мене привезти, хоче, щоб я жила з тим його чоловіком, з яким мене гвалтом повінчано, а йому самóму стала підложницею.

— А твій перший чоловік живий ще? — спросил Дорошенко.

— Не знаю, ясновельможний пане, чи він ще живий,—

отвечала Ганна.— Його зовуть Яцько Молявка-Многопіняжний. Його в поход угнали, а мене ухоплено,— і з тієї пори я про його не чула.

— Молявка-Многопіняжний! — воскликнул Дорошенко.— Я твого чоловіка добре знаю. Він тепер уже сотником у Сосниці. Казав він мені, що у його жінку украли і віддали за другого, казав! Яку ж я тобі, молодице, пораду дам? Іди, молодице, до думного дяка Ларіона Іванова і усе йому повідай, як отсе мені повідала. Я ось тобі цидулу напишу до його!

Он пошел в другую комнату. Ганна дожидалась стоя, опустивши глаза в землю. Дорошенко вышел, отдал ей написанную цидулу и сказал полуголове:

— Кажіть одвести сю жону до Ларіона Іванова в Приказ. А тобі, молодице, нá: от, скільки здолаю, стільки помагаю.

Он подал ей несколько серебряных монет, вынес из другого покоя черный шелковый платок и вручил ей, сказавши, что это ей на голову, чтоб не надевать более московской кики.

XV

Привели стрельцы Ганну Кусивну к думному дьяку Лариону Иванову, находившемуся тогда в Приказе. Это был сорокалетний плечистый мужчина с здоровым лицом, с красным от большого употребления напитков носом и с маленькой красноватой бородкой. Прочитавши цидулу Дорошенка, он велел позвать Ганну.

— Мы с тобою, красавица,— сказал он ей,— видимся впервое, а, кажись, я тебя уже знаю. Уж не та ли ты, что писано было нам от гетмана по челобитной полковника Борковского и всех черниговских всяких чинов обывателей на царского воеводу́ Чоглокова, между иными его худыми делами, что он заслал какую-то жену чужую в свою вотчину и там ее повенчал и в другой раз с его человеком?

Ганна рассказала ему всю свою историю так же, как и Дорошенку.

— Кто тебя знает,— сказал думный дьяк,— какой у тебя муж законный, коли ты с двумя венчалась, и со вторым мужем от живого первого. Это уж не наше дело, а церковное. Я тебя отправлю в Патриарший приказ.

— Мене згвалтовали, навік осоромотили! — с рыданием говорила Ганна.

Думный дьяк не совсем понял смысл слышанных слов, но уразумел, что идет жалоба на насилие, учиненное ей Чоглоковым, и сказал:

— Хорошо; мы его допросим. А ты, женка, явись сюда завтра!

— А де ж я буду? — сказала Ганна.— Я до його в двір не вернусь, лучче в річку кинусь!

— Побудешь здесь, в Приказе. Я велю тебя поместить,— сказал думный дьяк и велел отвести ее в нижний подклеть, где были покои, нарочно отводимые на случай для тех, которых нужно было задержать в Приказе на время.

На другое утро опять привели Ганну пред думного дьяка. Она увидала здесь своего злодея Чоглокова, побледнела и затряслась.

— Ну, Тимофей Васильевич,— говорил Чоглокову Ларион Иванов.— Вот женщина показывает на тебя! — При этом он изложил то, что слыхал от Ганны.— Что скажешь на это? Знаешь ты эту женку? — спрашивал он в заключение Чоглокова.

— Знаю,— сказал Чоглоков,— только не так было, как она показывает. Эта женка клеплет на меня безлепицу. Она первый раз пришла ко мне с моим человеком Ваською Чесноковым, и оба стали просить у меня позволения обвенчаться. Она была тогда в девичьем наряде. Я позволил, да и не было никакой причины им того не позволять. Мой холоп Васька Чесноков тогда отпросился от меня домой в нашу подмосковную вотчину, и я отпустил его; он поехал вместе с этой женкой и письмо от меня повез к священнику моей вотчины, и тот священник, видя их доброе обоюдное согласие, их обвенчал. А как меня из Чернигова с воеводства отозвали, я приехал в Москву и велел Ваську с женой привезти к себе во двор мне на службу, а не для срамного дела, как она лает. А вчерашнего утра эта женщина из моего двора сбежала, малую толику животов покрадючи, и теперь затеяла на меня такое, что честному, богобоязненному человеку и помыслить страшно.

— Мене повінчали, я не дівка була, а мужатая жона, вони мене по-злодіяцьку ухопили, і згвалтовали, і за іншого силоміць повінчали, мужату жону! — вопила Ганна.

— Спроси ее, господин,— сказал Чоглоков.— Когда ее повенчали первый раз и где?

— У св[ятого] Спаса,— сказала Ганна.— У той саме день, як виступали козаки в поход.

— А какой тогда был день? — спрашивал Чоглоков.— Тогда был Петров пост. Скажи, господин думный дьяк: можно разве по закону православному венчать в Петров пост?

— Ну, лебедка, что скажешь? — обратился Ларион Иванов к Ганне.— Правду ли этот господин говорит? Был тогда Петров пост?

Ганна стала объяснять, что владыка разрешил венчание в пост. Но так как объяснения эти произносились по-малороссийски, то думный дьяк моргал бровями и пожимал плечами, бросая вопросительные взгляды на Чоглокова, и потом сказал Ганне:

— Невдомек что-то мне, что ты баешь, лебедка. Дело-то это не нашенское, а церковное. Ступай себе, я позову тебя, когда нужно будет.

Ганна поклонилась до земли и с рыданиями стала просить пощады и сострадания к своей горькой судьбе, но Ларион Иванов, вместо ответа, дал знак, и Ганну увели. Думный дьяк сказал Чоглокову, что он за ним после пришлет, а теперь у него иные спешные дела.

Через день Ларион Иванов опять призвал Чоглокова.

— У тебя, Тимофей Васильевич, где вотчина-то? На Пахре, кажись?

— На Пахре,— сказал Чоглоков.

А сколько четей земли, сенокосу, лесу и рабочих крестьян и дворовых людей? — спрашивал Ларион Иванов.

Чоглоков рассказал все, что у него спрашивали.

— А сколько скота, есть ли овцы, пчелы, при дворе сад, огород, гумно, сколько одоньев хлеба? — спрашивал думный дьяк.

Чоглоков и на это отвечал, прибавивши, что многого не упомнить, а у него есть на то опись всему.

— Хорошо,— сказал думный дьяк,— продай мне половину твоей вотчины по описи.

Чоглоков был словно громом оглушен таким предложением. Он замялся, говорил, сам не зная что, но смысл его слов был таков, что он продавать своей вотчины не желает.

— Ну, воля твоя! — сказал думный дьяк.— Ты на то хозяин и владелец. Я только тебе свое желание заявил: купил бы у тебя, когда бы ты захотел продать, а не хочешь — как знаешь! Я с своим назад.

Несколько минут молчали оба. Тимофею Васильевичу было очень неловко. Он понимал, чего хочет думный дьяк.

Тимофея Васильевича бросало то в жар, то в холод от зловещего молчания Лариона Иванова.

— Ну, просим прощения! — сказал наконец Ларион Иванов, и Чоглоков в сильном волнении вышел от него.

Прошла неделя. Чоглоков находился в невыносимо тревожном состоянии. Недавно еще, тотчас по своем возвращении из Чернигова, отвалил он «в почесть» Лариону Иванову немалую толику наличными, да и подьячих Малороссийского приказа угобзил порядком, так что почти уже ничего у него не осталось из того, что успел он зашибить себе в Чернигове на воеводстве. Теперь видел он, что его хотят облупить, как липку. Дал намек Ларион Иванов да и замолчал, не зовет его больше. Хоть бы уж позвал да сказал, что с ним намерен сделать, если он половину своей вотчины не уступит!

И прошло еще несколько дней, мучительных для Тимофея Васильевича. Передумывал он и то и другое, прикидывал и так и этак. Ничего не мог выдумать. Но вот, наконец, уже дней через десять после первого предложения о продаже половины вотчины зовут его опять в Малороссийский приказ.

Стал лицом к лицу Тимофей Васильевич с Ларионом Ивановым.

Ларион Иванов, сидя за своими бумагами, сказал вошедшему к нему Тимофею Васильевичу:

— Ну что, господин бывший черниговский воевода: дела-то наши не хороши. Как-то выпутаемся мы от доноса, что прислал на твою милость черниговский полковник от всего Черниговского полка и от города Чернигова войта, и бургомистров, и райцев, и всего мещанства и поспольства? Как ты думаешь об этом, господин бывший воевода?

— Ларион Иванович, отец родной! — проговорил сквозь слезы Чоглоков.— Я ведь твоей милости бил челом и в почесть подал, что можно было. Тогда положили всему тому погреб.

— Э, нет, батюшка Тимофей Васильевич! — сказал Ларион Иванов.— Мы тебя только выписали из Чернигова, вместо того чтобы там, на месте, розыск чинить над тобою. Было бы для тебя не лучше, коли б мы, оставивши тебя в Чернигове, новому воеводе приказали над тобой разыскивать. Новому воеводе захотелось бы показать: вот-де какие дурные воеводы до него там были, а он не таков, и таких дел за ним не чаят худых! Тебя, голубчика, может быть, посадили бы там в тюрьму, а те черниговцы, как бы стали

их допрашивать, навряд бы твою милость оправили. И теперь — вот хоть с этой бабенкой, что у нас тут сидит внизу. Видишь, черниговский полковник написал про какую-то там у них женку Белобочиху, будто она, при свидетелях полковых старшинах, говорила, что ты ее подговаривал привести к тебе Анну Кусовну для блудного дела. А потом эта самая Анна пропала безвестно и очутилась в твоей вотчине замужем за твоим человеком, и вот видишь, что на тебя показывает. Мы начнем розыск чинить о сем. Да и то еще: в челобитной черниговской пишется, твои-де стрельцы ходили по дворам мещанским и казацким и подговаривали женок и девок тебе на блудное дело. И об этом пошлем в Чернигов розыскать, оттого что это сходится с делом об этой женке Анне. А что скажут по тому розыску — тебе лучше знать! Не дай Бог, да скажут что-нибудь недоброе,— тогда тебе, Тимофей Васильевич, будет, ух, как плохо! Великому государю наверх в докладе пойдет. Как бы твоей милости не пришлось ехать в дальние сибирские города, да еще, может быть, и не воеводою, а поверстают в дети боярские либо еще пониже. Вон еще при боярине Матвееве, как нашим Приказом управлял, что сталось с Демкою Многогрешным. Тот был гетман, повыше тебя, воеводы. И дел за ним не бывало таких, как за тобою!

— Батюшка, Ларион Иванов, отец родной, кормилец! Власть твоя и воля твоя. Не погуби! Смилуйся! — завопил Чоглоков и повалился к ногам думного дьяка.

Ларион Иванов сказал:

— Встань, Тимофей Васильевич! Одному великому государю подобает кланяться в землю, а я ведь не великий государь твой, я только дьяк его царского величества.

Тимофей Васильевич встал и продолжал плакать; он совсем растерянный стоял перед думным дьяком. Ларион Иванов продолжал:

— Ты, батюшко Тимофей Васильевич, не глуп человек и ведаешь, как в свете ведется между людьми. Все мы, грешные, охочи творить добро наипаче тем, что нам его творят. На том, сударь, весь свет стоит и тем держится, что мы один другому тяготы носим, один другому угодное творим, и коли мы к людям хороши, так и люди к нам также хороши. Ты испугался розыска над собой и бьешь мне челом, чтобы я заступился за тебя; а я намедни, коли не забыл, бил челом твоей милости, чтоб ты изволил продать мне половину твоей Пахровской вотчины. Однако ты на мое челобитье не подался и меня не пожаловал.

Теперь же ты вот мне бьешь челом о своем деле. Что же, как думаешь? И мне поступить с тобою, как ты со мною поступил, не податься на твое челобитье?

— Батюшко, отец родной! Смилуйся! Ведь половина моего состояния родового, кровного! — вопил Чоглоков.

— На это я вот что тебе скажу, любезнейший мой Тимофей Васильич,— сказал думный дьяк.— Человек ты книжный и, конечно, читывал, как в Святом Писании говорится: лучше калекою войти в царствие божие, чем со всеми целыми удами быть ввержену в геенну огненную. И ты ныне поступи так, по сему премудрому словеси. Лучше тебе, мой дорогой, потерять половину своей вотчины и остаться жить в покое с другою ее половиною, чем, владеючи обеими половинами, быть загнатым туда, куда Макар телят не гоняет. Все равно не будешь тогда володеть своею вотчиною, достанется кому-нибудь другому из твоего рода, а то, может быть, еще и отпишут на великого государя. А коли начнется над тобой строгий, правдивый розыск, так тебе в те поры не сдобровать. Это я наперед вижу, да и ты сам, Тимофей Васильевич, лучше меня это видишь и знаешь.

— Бери, батюшка! — возопил Чоглоков и ударил себя о полы руками.— Бери, только выручи!

— Подай опись имуществу своему,— сказал думный дьяк.— Напиши купчую данную, запиши в Поместном приказе и ко мне доставь вместе с описью. Да не подумай, Тимофей Васильевич, меня в чем-нибудь провести. Смотри, чтобы в купчей данной была вписана в точности половина всего, что значится по описи. Я посмотрю, слицую, и коли объявится не все в точности, так и купчая не в купчую. Не приму.

— Да нельзя ли уж, коли так,— сказал Чоглоков,— воротить эту женку к ее мужу в мой двор, к моему человеку, да тем и дело покончить?

— А, жирно будет! — возразил Ларион Иванов.— Доволен будь и тем, Тимофей Васильевич, что сам цел останешься. Надобно дело решать так, чтобы и тебя спасти от гибели, и против правды не покривить. Мы вот как постановим. Что женка оная на воеводу показывала, того никакими доводы не довела, и черниговское челобитье, что на того же воеводу написано, ничем не доведено, а воевода в ответ сказал-де, что все то на него затеяно от черниговцев напрасно по злобе за то, что он, воевода, радея о царской выгоде, их, черниговцев, плутовству не потакал; и мы,

великий государь, указали дальнейших розысков за неимением доводов над воеводою не чинить, а женку Анну, за двоемужество, отослать к духовному суду в Патриарший приказ. Вот оно и выйдет, как говорится: и козы целы, и волки сыты будут.

— А если,— заметил Чоглоков,— та женка в Патриаршем приказе учнет на меня показывать ту же безлепицу, что показывала здесь? Тогда меня в Патриарший приказ позовут!

— Мы,— сказал тогда думный дьяк,— здесь, в Малороссийском приказе, именем царским тебя оправим и от дела того Анниного совсем отлучим. По наговорам той женки могут позвать в Патриарший приказ не тебя, а человека того, что с нею венчался и стал ей мужем, потому что у них общее духовное дело. А ты заранее призови того человека своего и под страхом великим запрети ему, чтоб, когда его призовут в Патриарший приказ, тебя в дело не втягивал и ничего о тебе там говорить не дерзал, а отложил бы тебя вовсе. Ты же здесь у нас в расспросе своем напиши, что дозволил человеку своему венчаться с Анною, не знаючи никак, чтоб Анна была с кем иным обвенчана, понеже сама Анна тебе того не объявляла и ты считал ее девкою, тем паче, что она ходила по-девичьи. А хоть бы кто со стороны и говорил тебе, что она венчана в Петров пост, ты такой глупой речи не поверил, знаючи, что по закону нашему православному в пост венчать не мочно. Здесь у нас, в Малороссийском приказе, такую сказку напишешь и оставишь. И только.

Поклонился Чоглоков думному дьяку Лариону Иванову, еще раз назвал его кормильцем, спасителем, отцом родным. В тот же день написал он показание в таком смысле, как научил его думный дьяк, а через неделю принес Лариону Иванову купчую данную на половину своей Пахровской вотчины и опись всему своему имуществу, числящемуся при той вотчине. Ларион Иванов пересмотрел то и другое, проверил сходство купчей с описью и сказал:

— Спасибо тебе, кормилец, благодетель. Весною начну строиться в новой купленной вотчине. Будем с тобою жить по-приятельски, как добрым соседям подобает.

Все это время Ганна жила в подклете Малороссийского приказа, питаясь скудным поденным кормом, выдававшимся из царской казны тюремным сидельцам; она дополняла его недостаток тем, что просила сторожей покупать ей за те деньги, что дал ей Дорошенко. Несколько дней сидело

вместе с нею двое бродяг малороссиян, взятых в Москве и отправленных на родину. Они были из другого малороссийского края, из Полтавского полка, и сидели в подклете Приказа недолго, к большому удовольствию Ганны, которой один из них стал было надоедать своими любезностями. Когда их вывели, Ганна осталась одна; ее позвали тогда в Приказ, дали ей еще три рубля мелкими копейками и сказали, что ей подает на милостыню Дорошенко, бывший по своим делам в Приказе и там осведомлявшийся о ней. Ганна, отведенная в свою тюрьму, горячо молилась за своего благодетеля, не забывавшего о ней и подавшего ей святую Христову милостыню.

После окончания сделки с Чоглоковым думный дьяк приказал привести пред свою особу Ганну и приказал подьячему прочитать ей приговор, гласивший, что так как жалоба женки Анны на воеводу Чоглокова никакими доводами не доказывается, то дело о сем в Малороссийском приказе прекращается, женка же Анна отсылается к святейшему патриарху для учинения над нею духовного суда за незаконное вступление в брачный союз.

Стрельцы повели Ганну в Патриарший приказ.

В доме у Чоглокова происходила такая сцена: Тимофей Васильевич призвал к себе холопей своих Ваську и Макарку и говорил им:

— Ну, братцы! Больно недобро мне с этой проклятой хохлушей. Оттягал у меня думный дьяк половину Пахровской вотчины. Что будешь делать? Загрозил злодей, что начнут обо мне вновь розыскивать. Я дал ему купчую данную. Да еще и тут делу не конец. Хохлушку велел отвести в Патриарший приказ к духовному суду,— там будут розыскивать о ее двоемужестве. И вас, может быть, позовут. Смотрите же, не примешивать меня никак. Ты, Васька, в одно упрись и говори: никакого-де приказу насчет женитьбы своей от своего государя не слыхал. Сам к нему, вместе с Анною, приходил просить позволения повенчаться, не знаючи того, чтоб она была с иным кем повенчана.

— Уж в том, государь, будь спокоен. Как прикажешь, так и буду говорить,— сказал Васька.

— И насчет того, коли станет она твердить, что господин ее изнасиловал и приказывал тебе водить к нему на постелю, говори одно: «Того я не знаю и от государя моего ничего такого не слыхал»,— говорил Чоглоков.— Об этом в Патриаршем приказе розыскивать не будут, затем что по этому наговору меня уже в Малороссийском приказе опра-

вили. И ты своими речами не подавай никакого повода. И ты гляди тоже, Макарка.

— Мое дело здесь второе,— сказал Макарка.— Коли Васька на меня не скажет, так меня, чай, и не покличут. А покличут и станут спрашивать, так я буду говорить в одно с Васькой.

— Оно,— сказал Чоглоков,— вашему брату, холопу, в наговорах на нас, ваших государей, веры не дают. Только все-таки вы меня никоими делы не смейте бесчестить. А не то — сами знаете, властен я с вами обоими расправиться опосля, как захочу.

Когда Васька с Макаркой остались одни, Васька сказал своему товарищу:

— Государь-то струсил! Да еще как! Шутка ли: половину вотчины спустил. Плохо дело. Почитай, как припрут его, так и другую половину спустит. И нам тогда, видно, не ему служить в холопстве придется. Продаст и нас. Пускай, черт их побери, зовут нас в Патриарший приказ, пускай допрашивают. Будем стоять за своего государя, пока можно и пока сил наших станет, ну, а то ведь своя шкура всякой чужой шкуры дороже, хоть бы и государской!

XVI

Патриарх Иоаким Савелов в описываемое время был возрастом между шестьюдесятью и семьюдесятью годами, старик чрезвычайно живой и неутомимо деятельный. Это был человек ученый по своему времени; воспитывался он в Киевской коллегии и сохранял к ней большое уважение, но это не мешало ему быть резким и непримиримым противником западного влияния, проникавшего все духовное образование в Малороссии и, по мнению патриарха, вредно отзывавшегося на русскую церковь. Патриарх Иоаким писал очень много, писал и с двух сторон защищал вверенную ему церковь: и против западного влияния, входившего через Киев, и против старообрядческого раскола, развивавшегося в Великой Руси. При всех, однако, своих ученых и литературных занятиях Иоаким не только не покидал дел внутреннего управления, но занимался ими лично и так устойчиво, как никто из его предшественников, не исключая и самого Никона. Никто из патриархов не ограничил до такой степени произвол архиерейской власти обязательным учреждением при архиереях советов из призываемых к соуправлению и суду духовных лиц; это каса-

лось зауряд с другими епархиями и патриаршей епархии, но патриарх на это не посмотрел: сам он был до того деятелен и внимателен ко всему, что мало нуждался в содействии и совете духовных особ. В Патриаршем приказе сидели назначенные от патриарха архимандрит и двое протопопов, призывались выборные духовные власти — поповские старосты, но все они, собственно, делали мало за патриарха,— напротив, патриарх много делал за них. Еще по предмету суда над духовенством эти соуправители патриарха, по крайней мере, все-таки что-нибудь да значили: снимали допросы и показания, наводили справки, постановляли приговоры; патриарх сам проверял все их предварительные работы и сам произносил окончательное решение. В таких же делах, где не духовные, а мирские люди привлекались к духовному суду, сидевшие в Патриаршем приказе ни до чего почти не касались, делал все дьяк и подносил патриарху. Главным дьяком Патриаршего приказа был тогда Иван Родионович Калитин, притоптавшийся пожилой господин лет под пятьдесят, с круглой, несколько поседевшей бородкой, бойко владевший и пером и речью, большой делец. Патриарх оказывал ему чрезвычайное доверие, считал столько же умным, сколько честным, бескорыстным и преданным себе человеком. Репутация умного человека была за дьяком повсеместна; насчет его честности и бескорыстия никто не мог бы указать, что вот с того-то или с этого Калитин «вымучил» что-нибудь; но многие в недоумении пожимали плечами, узнавая, что от некоторых дел перепадали патриаршему дьяку немалые выгоды, и нельзя было объяснить, как это он устраивал.

Когда привели в Патриарший приказ Ганну Кусивну, Калитин, недавно в этот день явившийся в Приказ для исполнения своей должности, сидел с товарищем своим, другим дьяком Леонтием Саввичем Скворцовым, которого Калитин любил и покровительствовал. Прежде чем позвать к себе на глаза приведенную в приказ женщину, Калитин прочитал отписку, при которой ее препроводили из Малороссийского приказа; в этой отписке изложена была вся суть дела, касавшаяся и Чоглокова.

— Смотри-ко, Левонтий Саввич,— сказал Калитин Скворцову,— какую украинскую птицу прислали к нам. Только ощипали, да не ее, а, видно, из-за нее кого-то другого!

Скворцов, еще не так опытный в дьяческом деле, не смекнул сразу всего, что раскусил Иван Родионович; про-

глядевши бумагу, Скворцов поднял к товарищу голову с вопросительным выражением в лице. Калитин засмеялся.

— Разумен зело думный! — сказал Калитин.— Остриг барана, а шкуру еще нам оставил. Что ж, и за то спасибо!

— Вестимо,— сказал Скворцов,— нагрел руки около воеводы и закрыл его ловко! Все шито-крыто, хоть кое-где белые ниточки виднеются. Но нам ни с какого боку за него приняться не мочно. Во всем очищен явился, духовную разве кару наложить, да и то не на него.

— Оставили,— сказал Калитин,— оставили нам тоненькую ниточку; за нее бережливо еще можно ухватиться. Вглядись в бумагу! Баба, видишь, повенчана вдругоряд с холопом воеводским; сам воевода очищен и его звать сюда никак не смеем, но холопа того на розыск потянем. А холоп, думаешь, так и будет стоять за своего государя? Как же! Не больно-то крепко станет держаться за него, когда над самим собою почует грозу.

— Ведь подчас,— сказал Скворцов,— можно воеводу того, если нужно будет, попугать святейшим, что вот, мол, внесет сам святейший его дело наверх, к царю государю, чтоб розыском перевершить.

— И так можно. Правда,— сказал Калитин.— А то вот посмотри, пригодится нам 54 статья уложения о холопьем суде.

Калитин приказал позвать Ганну.

— Молодушка! — сказал он ей.— Ты разом за двумя мужьями очутилась. От живого мужа с другим повенчалась!

— Повінчали силоміць! — начала было Ганна.

— Так,— перебил ее Калитин,— насильно? Так? Ты объявила это в своей сказке, что от тебя взяли в Малороссийском приказе. Стойшь ты на том, что не хотела выходить за другого, а тебя насильно повенчали?

— Насильно,— сказала Ганна.

— И не хочешь жить со вторым своим мужем, холопом Чоглокова?

— Не хотіла і не хочу! — сказала Ганна.

— И хочешь вернуться к первому своему мужу?

— Хочу. Я його одного за мужа собі почитаю.

— Придется тебе, молодушка,— сказал дьяк,— пожить у нас в Москве. Есть ли у тебя какое пристанище и будет ли у тебя что есть и пить? Есть у тебя, может быть, на Москве родные или знакомые добрые люди?

— Нікого немає,— отвечала Ганна.

— Так уж коли у тебя нет никого знакомого здесь, так не хочешь ли — возьму я тебя к себе во двор на услугу. Ты, молодка, не бойся,— не подумай чего-нибудь нехорошего. Я человек семейный, у меня жена, дети, худого умысла не чай. Поживешь у меня, пока твое дело завершится. Вот, посиди там в сторожке, а как станем расходиться, так я тебя с собой возьму, и ты пойдешь ко мне во двор.

Ганну увели. Вошли в Приказ сидевшие там архимандрит и протопоп. Калитин подал им несколько бумаг, рассказывая вкоротке их содержание. В числе таких бумаг была и отписка о Ганне. Духовные не обратили на нее особого внимания.

После полудня стали расходиться, и дьяк Калитин велел кликнуть Ганну и сказал ей:

— Забери с собой свое имущество и отправляйся со мною.

— У мене нічого немає,— сказала, заплакавши, Ганна.— Я утекла в чім стояла. І сорочку одну третій тиждень ношу.

— Крещеные, кажись, люди,— сказал Калитин.— И своему брату о Христе Иисусе, крещеному человеку, во всякое время и во всяк час Христа ради подать можем!

Калитин уехал в свой дом, находившийся в Белом городе, тотчас за Неглинною. Он повез с собою Ганну и, приехавши домой, передал ее своей жене, пожилой госпоже, лет за сорок; он поручал ей приставить к какому-нибудь занятию во дворе привезенную женщину, объяснивши, что это несчастная бесприютная сирота, должна пробыть несколько времени в Москве, и если дать ей приют, то это будет доброе, богоугодное дело. Калитина с ласковым видом стала было с нею заговаривать, но сразу наткнулась на несколько непонятных малороссийских выражений и обратилась с вопросительным лицом к мужу.

— Хохлачка! — сказал Калитин.— У них в речах есть разница с нашенскою речью московскою, а во всем прочем народ добрый, душевный и веры одной с нами.

Калитина отправила Ганну в дворовую баню, подарила ей чистое, хотя не совсем новое, и целое белье и приставила её ходить за коровами.

На третий день после водворения Ганны на новоселье недельщик потребовал в Патриарший приказ к ответу холопей Чоглокова Ваську и Макарку. Господин еще раз повторил им прежнее наставление — отнюдь не вмешивать его

в дело. Васька перекрестился и побожился, что не выронит слова такого, чтоб сталось в ущерб своему государю.

Холопей привели в Патриарший приказ в то время, когда заседавшие там духовные были в сборе. Васька и Макарка поклонились, касаясь пальцами пола, и стояли, ожидая вопросов. Калитин подошел под благословение к архимандриту.

— Начинай, Господи благослови! — произнес архимандрит.

Калитин отошел и, обращаясь к холопям, говорил важным и суровым голосом:

— Наш Приказ святейшего патриарха во многом совсем не то, что другие Приказы. Во многих Приказах по многим мирским делам холопьим сказкам верить не указано и спрашивать холопа непристойно, потому что холоп — невольный человек, и чести на нем нет, и бесчестья за него не положено ему, а у нас насчет этого не так, здесь ведаются дела духовные, а не мирские.

— А о духовных вещах,— сказал архимандрит,— говорится в св[ятом] писании: несть скиф, ни эллин, ни раб, ни свобод. В церкви Христовой раб̀у бывает такая же честь, как не рабу. Раб, как и его государь, одним крещением крещен, одним миром помазан, одно тело и кровь Господню приемлет, и на рабов такой же брачный венец, как и на господ возлагают. Того ради здесь и сказка раба приемлется, как и сказка свободного человека. Принесите перед крестом и Евангелием присягу, что будете говорить сущую правду, как перед самим Богом на страшном и нелицеприятном его судище, аще же станете лгать и скрывать истину и затевать, то подвергнетесь каре от Бога в будущем веке, а здесь в житии своем от святой нашей церкви проклятию и градскому суду на жестокие мучения преданы будете.

— Слышите? — спрашивал грозным тоном Калитин.— Слушайте и мимо ушей не пропускайте.

Встал с своего места протопоп, взял лежавшую перед ним на столе свернутую епитрахиль, вынул из нее крест и Евангелие и положил на аналое, стоявшем впереди стола, за которым сидели духовные лица. Протопоп надел епитрахиль. Оба холопа, поднявши два пальца правой руки вверх, проговорили вслед за священником слова присяги, потом поцеловали крест и Евангелие. Протопоп завернул священные вещи в епитрахиль и сел на свое место.

Дьяк, обратясь к холопам, сказал:

— Кто из вас двоих Василий, кто стал мужем Анны Кусовны, показывающей себя женою казака Молявки?

— Я,— отвечал Васька.

— Я,— говорил дьяк,— стану тебя спрашивать не того ради, чтоб уведать от тебя про такое, чего я еще не знаю. Буду я тебя спрашивать про то, что я уже без тебя знаю, а спрашивать об этом стану я только для того, чтоб знать: правду или неправду будешь ты говорить. И коли ты станешь плутать и лгать, то я тотчас прикажу тебя вести в застенок и позвать заплечного мастера, и велю ему тебя сперва батогами, а там, смотря по твоему запирательству, и кнутьем покропить. Если ж правду будешь говорить, то ничего не бойся. Ты человек подневольный, и что бы господин твой тебе ни приказал, ты должен был то чинить, и хоть бы ты что неправое учинил по государя своего приказу, в ответе за то будешь не ты, а государь твой. Отвечай сущую правду... А ты, Ермолай,— прибавил он, обратившись к подьячему, сидевшему за столиком у окна,— будешь записывать их речи... Спрашиваю,— сказал он, возвышая голос.— Коли ты выходил сюда, призывал тебя государь твой и велел тебе говорить в Приказе, что он, твой государь, тебе брать за жену Анну Кусовну не неволил, а будто ты, Васька, с нею, Анною, вместе приходили к твоему господину и просили позволить вам между собой повенчаться? Так было? Говори: это тебе первый вопрос.

Васька, ошеломленный, глянул на Макарку, как будто хотел ему глазами сделать вопрос: «Кто ж это ему перенес? Ты разве? Кроме тебя и меня, этих слов никто не слыхал». Но тут же собразил, что Макарка вместе с ним в одно время вышел со двора. В совершенном недоумении он выпучил глаза на дьяка. Калитин глядел на него с насмешливым выражением, не дождавшись скорого ответа, повторил свой вопрос и прибавил:

— Сам видишь, уже я все знаю, что у вас делалось и говорилось, хоть и не был у вас. Значит, лгать и выдумывать бесполезно. Говори истину. Так было?

— Да, так было,— произнес Васька.

— Хорошо, что правду сказал,— говорил Калитин.— Теперь стану я тебе говорить, что ты прежде делал и что с тобою делалось. А ты, смекаючи, что я уже все знаю, только говори, что именно так было, как я тебе сказал.

И он начал спрашивать, соображаясь с показанием Ганны, которого смысл был означен в отписке из Малороссийского приказа, припомнил, как в Чернигове они, Васька

с Макаркою, ухватили Ганну в тайнике и притащили к своему государю на воеводский двор.

— Так ли было? Говори сущую правду! — спросил он.

— Так было,— отвечал Васька.

— Еще хвалю за то, что говоришь правду,— сказал дьяк.— Ты человек подневольный, и в том, что ты чинил по приказу господина, вины никакой нет. И св[ятое] писание говорит: «Несть раб болей господина своего». Пиши, Ермолай, его речи. Слыхал, что он учинил по господскому приказу? Пиши!

— Слыхал,— отвечал Ермолай и принялся писать.

Давши время Ермолаю записать, Калитин продолжал:

— Государь твой велел тебе вместе с Макаркою и со стрельцами двумя везти Анну в свою подмосковную вотчину на Пахре, и там священник, творя волю господина вашего, тебя с Анною повенчал сильно, хоть Анна и кричала, что не хочет и что она уже с другим повенчана. А священник на то не смотрел. И ты, по указу своего государя, Анне в те поры грозил жестоким боем и муками, чтоб не кричала. Так было?

— Так было,— отвечал Васька.

Калитин продолжал:

— Когда же государя вашего взяли с воеводства из Чернигова, и он, государь ваш, приехавши на Москву, приказал тебе, Ваське, с Макаркою ту Анну привезти к нему во двор на Арбате, и вы то учинили по господскому приказанию. Так ли было?

— Так,— произнес Васька.

— Пиши, Ермолай,— сказал Калитин и потом продолжал свой допрос: — И как вы приехали на Москву, ваш господин приказал тебе, Ваське, глядеть за своею женою Анною и приводить к нему, господину твоему, на постель для блудного дела в те поры, как он тебе то прикажет. И ты ее один раз к нему приводил. Так было? Говори!

Васька остановился, замялся,— понял он, что настает решительная минута, приходится сказать на господина такое, чем ему, конечно, согрубить. Калитин сказал:

— Я знаю, зачем ты стал. Вот этого-то именно паче всего не велел тебе господин объявлять, но сам видишь: я уже без тебя все это знаю, стало быть, ни запирательством, ни лганьем ты своему государю никакой корысти не учинишь, а только себе самому причинишь скорбь немалую. Кнут — сам знаешь — не ангел: души не выймет, а правду

вытянет из тебя. Лучше скажи всю правду, не подставляючи спины своей под кнут.

— А моему государю что за то будет? — спросил Васька.

Дьяк засмеялся.

— Хочешь много знать, умен чересчур станешь,— сказал он.— Что будет?! Нешто мы твоего государя здесь судим? Государь твой уж был судим там, где ведом был, в Малороссийском приказе, и оправлен. В наш Патриарший приказ отдана женка Анна для духовного суда, и мы тебя допрашиваем затем, чтоб знать — чья она жена: твоя ли или другого; и кому ее следует отдать: тебе или тому казаку Молявке; и виновата ли она в том, что от живого мужа ее с другим повенчали? Вот о чем тут дело у святейшего патриарха, и до твоего государя дела нам нет никоторого.

— Так было, как изволишь говорить,— произнес Васька.

— То есть,— продолжал Калитин,— господин твой затем тебя женил, чтобы ты ему свою жену приводил на постелю? Так ли?

— Так,— сказал Васька.

— Запиши, Ермолай! — сказал Калитин и, обратившись снова к допрашиваемым, говорил: — Далее вас спрашивать нечего. На другой день, когда ты, Васька, приводил Анну к своему господину, она убегла со двора, и вы уже ее более не видали. С тебя, Васька, расспрос кончен. Хорошо, что ни в чем не запирался, не отлыгался. С тебя, Макарка, расспрос недолгий будет. Ты вместе с Ваською схватил насильно Анну в тайнике, вместе с Ваською возил ее из Чернигова в Пахринскую вотчину и при венчании был и потом, по государскому приказу, вместе с Ваською привез ее в Москву.

— Так было,— сказал Макарка.

— И государь при тебе велел Ваське приводить ее к нему на постелю для блудного дела? — спрашивал дьяк.

— Я того не знаю,— сказал Макарка.— Мне такого приказа не бывало.

— Не тебе, а Ваське был такой приказ, только при тебе дан. Ты вместе с Ваською то слышал. И в том тебе вины никакой нет. Не запирайся, а то что тебе не за себя, а за другого муку терпеть, коли он, этот другой, уже сам повинился во всем?

— Помилуйте! — произнес испуганный Макарка.— Васька правду сказал про себя, и я говорю то же, что Васька.

— Запиши, Ермолай,— сказал дьяк и, снова обратившись к Ваське, произнес: — В конце всего ты объяви: желаешь ли ты оставлять Анну у себя женою или согласен, чтоб ее отправили к ее первому муже?

— Не желаю,— произнес решительно Васька.— Насильно меня государь мой женил, а не по своему хотенью я на ней женился. Не надобна она мне! Пусть себе идет, куда хочет.

— Пиши, Ермолай! — сказал дьяк.— Вот это и все, что нам нужно было!

Васька упал к ногам дьяка. За ним то же сделал Макарка.

— Батюшки, кормильцы! — говорил с плачем Васька.— Воззрите милосердым оком на нас, бедных рабов, людей подневольных. Наговорили мы на государя своего, хоть и правду сущую говорили, только мы останемся в его воле, и он нас задерет теперь. Укройте, защитите нас, голубчики, отцы родные!

— Что ты боишься своего государя, то чинишь ты хорошо,— сказал дьяк.— Раб должен бояться своего господина и слушать его во всем. Только над твоим государем есть еще повыше государь. Знаешь ты это?

— Вестимо так! — сказал Васька.— Я знаю, что над всеми господами нашими государями есть выше всех господин, батюшка-царь великий государь, и властен он над нашими государями так же, как властны они, государи наши, над нами, бедными сиротами. Только сам изволишь ведать, твоя милость, люди говорят: до Бога высоко, а до царя далеко, а государь наш к нам ближе всего. К царю-батюшке нашему холопьему рылу приступить не можно, о том и думать нам непристойно, а свой государь как захочет, так с нас шкуру снимет. Нельзя ли, батюшки-кормильцы, уговорить нашего государя, чтоб нас не мучил, а до того часа, как изволите ему о том сказать, не отпускайте нас к нему, подержите где-нибудь инде.

— А, вот что! — сказал дьяк.— Добре! Можно! Вы останетесь для розыска при нашем Приказе, пока мы переговорим с вашим государем. Тем временем поживите у нас на дворах, поработайте, а мы вам за то корм давать будем. Левонтий Саввич! — сказал он, обратясь к Скворцову.— Ты возьми к себе в двор Ваську, а я возьму Макарку. У меня теперь во дворе Анна, так видеться ей с Васькой не пригоже.

Так порешили дьяки и разобрали себе холопей. Архи-

мандрит, слушая весь допрос, при окончании его произнес только:

— Изрядно хорошо! Боже благослови!

Прошло после того недели две. Калитин умышленно тянул время, находя необходимым порядочно протомить Чоглокова страхом неизвестности. И он не ошибся в расчете. Чоглоков, не увидевши возвратившихся из Приказа своих холопей, стал беспокоиться, и беспокойство его возрастало с каждым проходившим днем. Сердце его чуяло, что задержка его холопей — не даром, что над ним самим собирается какая-то новая туча; как все подобные ему люди, он был трусливого десятка человек, а ожидание чего-то дурного, но не известного, тревожило его больше самого удара. Наконец явился к нему недельщик и потребовал в Патриарший приказ.

Были в Приказе все в сборе, и духовные сановники, и дьяки, и подьячие — все на своих местах. Ермолай с чернильницей и бумагами сидел у окна при своем столике.

Ввели Чоглокова.

Не успел Чоглоков отвесить обычные поклоны, как Калитин встает с своего места, подходит под благословение к архимандриту, потом подступает к Чоглокову и, двигая пальцами правой руки, говорит ему:

— Тимофей Васильевич Чоглоков! Как тебе не стыдно, как тебе не совестно такие дела творить! Бога ты, видно, не боишься, людей добрых не стыдишься! Вас, царских служилых господ дворян, посылает великий государь за правдой наблюдать, чтоб нигде сильные слабым, а богатые бедным обид не чинили, вам царским именем надлежит сирот оборонять, а ты, греховодник, пустился на такие беззакония, что и говорить срам! Да еще где! У чужих людей, в малороссийских городах! Как после этого черкасские люди могут быть царскому величеству верны и Московской державе крепки, когда к ним будут посылаться начальными людьми такие озорники, бесчинники, блудники, насильники, как твоя милость! Скажут черкасские люди: мы ради обороны единые восточные католические веры отдались сами доброю волею под державу великого государя, а к нам присылают из Москвы таких, что с нами горее ляха и бусурмана поступают. Ты, видно, о Боге не помышляешь, и суда его страшного не страшишься, и царского гнева над собою не чаешь; на свои, знать, достатки уповаешь, что нажил неправедным способом. Знай же! Сыщется на тебя управа; отольются волку овечьи слезки!

Чоглоков никак не ожидал такой встречи и несколько минут не мог поворотить языка, чтоб ответить; он только в смущении бросал по сторонам тревожные взгляды, как будто высматривая, за что бы ему ухватиться, укрываясь от такого неожиданного наступления. Калитин, остановившись на миг, стал снова вычитывать ему упреки в том же тоне, примешивая к ним угрозы. Наконец Чоглоков, собравшись с духом, решился заступиться за свою оскорбленную честь и произнес:

— Господин честный дьяк Иван Родионович! Я не подведом твоей милости и не знаю, с чего ты это вздумал позвать меня сюда и задавать мне бесчестные речи. Вместо разговора с тобою, я подам великому государю на тебя челобитную в бесчестьи.

— Ты подашь на меня челобитную! — воскликнул дьяк; потом, обратившись к духовным сановникам, говорил:— Извольте прислушать, отцы честнейшие! И ты, Левонтий Саввич, тоже. Он еще хочет подавать на нас челобитье в бесчестьи! Молод ты разумом, хоть летами, кажись, и подошел. Не понимаешь разве того, что коли тебя позвали в Патриарший приказ, так с тобой говорит там не дьяк, а сам святейший патриарх через своего дьяка!

— Так вот я и докладываю святейшему патриарху,— сказал Чоглоков.— Прежде надобно сказать, за что я стал достоин, чтоб меня лаять, а не лаять ни за что ни про что!

— А,— воскликнул с злым смехом Калитин,— ты прикидываешься тихоней. Постой же, коли так: покажу я тебе сейчас, за что ты достоин, чтоб тебя лаять.

Он подошел к двери, отворил ее и, давши кому-то знак рукою, отступил, а в дверь вошла Ганна.

— Что это за женка? Знаешь ты ее? — спрашивал Калитин Чоглокова.

— Я ее знаю,— отвечал Чоглоков.— Это жена моего холопа Васьки.

— Насильно, в попрание всякого закона божеского и человеческого, стала она женою его по твоему разбойничьему умыслу. Она — жена черниговского казака Молявки. Ты это знал, ты был на ее венчаньи, и приглянулась женская красота ее твоему скотскому плотоугодию, и учинил ты силою над нею срамное дело, потом приказал повенчать ее, мужнюю жену, с своим холопом, затем чтобы к себе на постелю водить. Вот кто такая эта женка. Срамник ты негодный, человек имени христианского недостойный!

— Это неправда! — сказал Чоглоков.— Эта женка сама своею охотою пошла замуж за моего человека. А в Москву я выписал ее с мужем совсем не для какого-то срамного дела, а для услуги себе! Вы же звали того холопа, что с ней венчан. Спросите его при мне.

— Холоп, как холоп! — сказал Калитин.— Холоп и при государе своем холоп и без него холоп! Отвечаешь ли во всем за своего холопа?

— Отвечаю,— сказал Чоглоков,— что он вместе с этой вот женкой приходили ко мне и просили дозволения повенчаться!

— Ніколи сього не було! — произнесла Ганна.

Калитин продолжал:

— А ответчик ли ты за своего холопа во всем другом? И в том, чего сам не знаешь,— ответчик ты за своего холопа? Если по розыску и по суду уличится в чем твой холоп виноватым, ответчик ли ты за своего холопа?

— Нет,— сказал Чоглоков.— Пусть за себя сам отвечает, коли в чем винен.

— И ты в том не ответчик за своего холопа?

— Не ответчик,— сказал Чоглоков.

— Пиши, Ермолай,— сказал дьяк подьячему, потом снова обратился к Чоглокову:— Ну, так видишь ли, холоп твой Васька показал то же, что эта женка. Никогда они вдвоем не просили тебя, а велел ты своим людям насильно схватить ее и повенчать затем, чтоб женку пускали к тебе для блудного дела.

— Если холоп мой такое говорит,— он лжет! Холопу верить не мочно, когда он такую безлепицу на своего государя сказывает,— произнес, вспыхнувши, Чоглоков.

— Потише, не брыкайся! — сказал ему Калитин.— Мочно ему верить! У нас суд духовный, а не мирской; здесь и холопа свидетельство приемлется, потому что и холоп такой же сын церкви. Да, впрочем, и в мирском деле верить холопу мочно, коли ты уже объявил, что за своего холопа не ответчик. Левонтий Саввич! Прочти ему 54 статью Уложения о холопьем суде.

Скворцов прочитал:

— «Будет ответчик скажет, что холоп сам за себя отвечает, и против истцовой исковой челобитной велети холопу отвечати и с суда прав ли или виноват будет верити холопу, что ни станет в суде говорити».

— Это сюда не идет! — воскликнул Чоглоков.— Это го-

ворится о холопьем суде; вот если бы суд происходил в Холопьем приказе...

— Ти, ти, ти! законник какой выискался! — прервал Калитин.— Да здесь, говорят тебе, духовный суд, где речи холопьи и без того приемлются.

— Так и судите себе свои духовные дела! — сказал раздраженным голосом Чоглоков.— С чего же это вы меня-то сюда притащили да стали в уголовщине обвинять? Изнасилование — дело уголовное, а не духовное.

— Врешь,— сказал Калитин.— Изнасилование — блудное дело, а блуд всякий карается духовною карою.

— Про блудное сожитие довести надобно,— сказал Чоглоков,— а вы на меня не доведете.

— Уже доведено! — сказал дьяк.

— Нет, не доведено! — смелым тоном говорил Чоглоков: — И довести невозможно, и не ваше то дело есть. По доносу этой самой черниговской женки и по другим таким же лживым доносам от черниговских жителей розыскивалось уже обо мне в том Приказе, к которому я по службе своей тянул. И дело было порешено, и я оправлен. Духовного дела за мной никоторого нет. То дело, что у вас ведется об этой женке, что она объявляется с двумя мужьями повенчана, то дело до меня отнюдь не належит. С чего вы это на меня насели? Вот уж подлинно, как говорится: с больной головы да на здоровую!

— А ты знаешь,— сказал архимандрит.— Святейший патриарх есть верный и неусыпный печальник перед царем от всех утесненных и обидимых, вот таких, как сия женка! Тебя, говоришь, оправили в Приказе, но во всех Приказах сидят люди, не ангелы, а подобострастнии человецы. Они, по человеческому недомыслию, ошибиться могут и неправое признать правым. Над всеми Приказами один глава есть — царь. А к царю наверх святейшему патриарху вход всегда чист и открыт.

— И царю великому государю и святейшему патриарху говорю я одно: не виноват я,— все на меня затеяно! — говорил Чоглоков.

Дьяк Калитин, указывая на Ганну, говорил Чоглокову:

— Вот эта самая женка может говорить с великим государем и сама своими усты расскажет ему про все. Ты скажешь: куда ей до царя-батюшки — далеко и высоко! Она точно; как-таки можно, кажись, чтоб такой простой бабенке да до великого государя царя всея России доступить! Ну, а вот же святейший патриарх так силен, что

может дать ей доступ туда, куда бы ей и во сне не приснилось добраться. С нею-то будет! Объявляю тебе о сем именем великого государя святейшего патриарха: если добровольно не принесешь повинной, как перед самим Богом, и не подашь челобитной, в ней же подобает тебе выписать свои вины и с сокрушением сердца просить прощения, а станешь твердить, что ты оправлен и каяться тебе не в чем, за такую гордыню постигнет тебя великая досада и кручина. Изволит святейший патриарх войти о сем деле к великому государю печальником за эту бедную женку, а там, если царю угодно станет,— эту женку введут наверх, и она расскажет все великому государю. Смотри, чтоб тебе после очень худо не было. Говорят тебе воистину: с святейшим патриархом не дерзай тягаться. Обдумай, потом приходи к нам и подай челобитную. Быть может, великий государь святейший патриарх смилуется над тобою, видя твое сердечное раскаяние, и назначит тебе духовное покаяние да тем и кончится, и он тогда не изволит уже печаловаться об этой женке. Вот тебе сроку от святейшего патриарха дается одна неделя. Чтоб в это время ты порешил все.

Чоглоков не мог уже более ничего говорить. Он увидал себя вдруг в таком особенном положении, в каком никогда и не воображал, чтоб мог очутиться. Бледен, как мертвец, стоял он, словно выслушал смертный приговор.

Калитин обратился к Ганне и говорил:

— Бедная женка-чужеземка! Сирота беспомощная! Не унывай душою. Есть еще верховное правосудие у царя, у батюшки-света! Что Бог на небе, то царь на земле. Божий он помазанник, божий наместник! Всякая земная гордыня и неправда смирится перед ним.

Ганна не уразумела всего смысла речи Калитина, но чувствительный тон, с которым он говорил, произвел на нее такое впечатление, что она зарыдала.

Чоглоков поклонился до земли и вышел в ужасном смущении.

Калитин велел идти Ганне во двор.

Когда все разошлись из Приказа, Калитин остался с Скворцовым, и Скворцов сказал:

— Я узнал наверное: Ларион Иванов таки оттянул у этого живодера половину его вотчины на Пахре, по купчей данной.

— И я об этом уже знаю,— отвечал Калитин.— Осталась другая половина да еще двор в Москве! Мы поделимся с тобою, как поп делится с причтом. Мне две трети, треть

тебе. А живодер останется нищ и убог. Поделом своим заслугу приимет!

Несчастный Тимофей Васильевич чувствовал себя в крайнем, безвыходном положении. Прежде хоть он потерял половину Пахровской вотчины, так все-таки у него оставалась другая половина. Теперь он был уверен, что если, Боже сохрани, патриарх станет печаловать пред царем о черниговской женке, то произведут по царскому особому повелению такой розыск над ним, что десять Пахровских вотчин его не вывезут из погибели. «И зачем, я, дурак, отдал половину своей вотчины Лариону Иванову? — стал думать он. Но вслед за тем рассудил так: — Нет, все равно,— не отдал бы, так в Малороссийском приказе меня бы все равно утопили! Однако он, Ларион Иванов, взял с меня половину вотчины за то, чтобы от беды меня охранить. А беда все-таки настигает меня. Пойду к нему за советом. Уж коли обобрал меня, так пусть совет даст, как последней беды избыть». Он пошел в Малороссийский приказ к Лариону Иванову.

В первый раз не приняли его. Подьячий объявил ему, что думный дьяк занят важными делами и не может тратить время на разговоры с такими, которых он не звал к себе по делам. Чоглоков пришел на другой день. Ему сообщили то же, что и вчера, но после того, как он дал подьячему некий поминок, был допущен к думному дьяку и притом очутился с ним наедине.

— Что нужно? — спрашивал сухо думный дьяк и пристально всматривался в посетителя, как будто не видал его никогда.

— Батюшка, отец родной! — возопил Чоглоков.— За советом благим к тебе я пришел. Спаси, как знаешь; я тебе ведь половину своей родовой вотчины отдал за то, чтобы из беды спастись. А вот на меня опять беда наваливается.

— Ты, кажется, Чоглоков,— говорил прежним сухим тоном думный дьяк,— я у тебя вотчину купил на Пахре и заплатил тебе чистыми деньгами, и ты мне купчую данную выдал. Что ж? Разве что по вотчине этой?

— Ты, батюшка-кормилец, хорошо знаешь, как и чем заплатил ты мне за вотчину,— отвечал Чоглоков.— Спасти меня взялся от беды по доносу, что был на меня. За то и вотчину от меня взял.

— Не помню, не слыхивал, ничего не знаю! — говорил Ларион Иванов.— За такие дела никогда ни с кого не

бирывал. В купчей данной значится, что я тебе чистыми деньгами заплатил.

— Да, точно,— сказал Чоглоков, смекнувший, в чем дело, и по опыту знавший, что не следует называть взяток их настоящим именем, а надобно притвориться, что то была покупка, а не взятка. Сам, будучи воеводою, так же делывал.— Да, да,— продолжал он.— Продана твоей милости за чистые денежки, только ты, отец-кормилец, в те поры утешал меня тем, что по делу об этой черниговской женке Анне мне уже ничего не будет, остается-де одно духовное дело о ее браке, так одно дело то пойдет в Патриарший приказ, а мое здесь уже покончилось. Я так и думал; ан вон же не то выходит!

И он рассказал ему обо всем, что было с ним в Патриаршем приказе.

— Того ждать можно было,— сказал думный дьяк.— Им тоже есть хочется, как и нам с тобою. От меня же чего ты хочешь?

— Совета, отеческого совета, благодетель мой,— говорил Чоглоков.— Как тут мне поступить, куда повернуться? Надеючись на слово твоей милости, я думал, что уже все покончилось и меня больше тягать не будут!

— Оно, точно, здесь и кончилось,— сказал дьяк.— За скудостию доводов в доносах на тебя не велено нять веры тем доносам, а чтобы женку ту не отсылать к духовному суду, того не говорилось, и тебе не обещалось. Женка разом за двумя мужьями: не нам было то розыскивать, а святейшему патриарху. А мы святейшему патриарху не указ. Того, как тебе говорили, что патриарх обещает о той женке входить наверх к государю, я не знал и заранее думать о том не мог. Его, святейшего, воля. А правда, патриарх властен во всякое время доступить к царю и печаловать пред ним о всех угнетенных и обидимых.

— Что же, какой совет мне подашь, отец-милостивец? — сказал Чоглоков.

— Сойтись как-нибудь с дьяком Калитиным, хотя бы пришлось тебе ударить челом другою половиною твоей вотчины,— сказал, засмеявшись, Ларион Иванов.

— А мне-то после того по миру ходить? — болезненно спросил Чоглоков.

— В Москве скорее подадут милостыню, чем где-нибудь в Сибири,— сказал дьяк.— Если святейший патриарх станет против тебя перед самим царем, то гляди, чтоб тебе спины не накропили да потом в Сибирь в заточение не

послали. Да еще, почитай, так, что ни в стрельцы, ни в казаки, ни в пахотные не поверстают, а в тюрьму вкинуть велят! Как подумаешь о том, что может статься с тобою, так и выйдет: не весело по Москве ходить, милостыни выпрашивать, а еще скучнее в Сибири где-нибудь в тюрьме заживо гнить. На Москве, может быть, Бог пошлет тебе какого-нибудь доброго боярина, и тот возьмет тебя к себе, а там — потихоньку-помаленьку — и опять в люди выйдешь. Не будут знать, что довело тебя до нищеты, а ведь говорим же — бедность не порок. Я думаю, один способ тебе: сойтись с Калитиным, хоть бы, говорю, и половиною вотчины ему поступиться.

Чоглоков разразился воплями.

— О, какая ж ты баба,— насмешливо сказал думный дьяк.

— Отец родной, кормилец! — говорил Чоглоков, устыдившись своего малодушия и стараясь крепиться.— Поставь себя на моем месте,— ну, как бы у тебя все разом отнимали?

— Не зарекаюсь,— сказал думный дьяк.— Может быть, со мною когда-нибудь что и похуже станется. Мало ли случаев бывало: вот человек в почести и в богатстве, а тут распалится на него царь — и все прахом пошло. А и так бывает: вон при блаженной памяти царе Алексее Михайловиче божиим попущением поднялась в Москве междоусобная брань против боярина Морозова и Траханиотова; какие были богачи и силачи в земле нашей, а все пошло по ветру. Мудрее нас были отцы и деды наши и вымыслили такую пословицу: от сумы да от тюрьмы никто на Руси не зарекайся. И теперь то же умные головы твердят. И я не зарекаюсь, не знаю, что со мною вперед станется и где Господь и как велит голову положить! И ты тоже. Вспомни, как ты в Чернигове воеводствовал, мог ли тогда думать, что это воеводство тебе так солоно отзовется! Теперь терпи! Человек ты, кажись, книжен, про Лазаря и богача читывал. Хорошо было богачу на этом свете, да на том-то горячо пришлось; а бедному Лазарю куда как здесь худо было, да там стало прохладительно.

— Мое последнее добро! — печально восклицал Чоглоков.

— Тело дороже одежды, а душа дороже тела,— сказал Ларион Иванов.— Крепись, молись и во грехах своих кайся Богу. Вотчины жаль, да делать нечего, и с ней придется распрощаться! Вот мой совет.

Чоглоков ушел от думного дьяка в самом отчаянном расположении духа. И так и этак передумывал Чоглоков. И то и другое приходило ему в голову. «Уж не оставить ли все на волю божию? — задал он себе вопрос, но тотчас сам себе и отвечал на него.— Невозможно! Пойдет патриарх печаловаться о бедной Ганне, а царь черкасский народ любит. Для примера, на страх другим, люто казнить велит, чтоб угодить черкасскому народу, и стану я притчею во языцех из рода в род. Меня в тартарары зашлют, а вотчину все-таки отберут на великого государя. Куда ни повернись — везде жжет огнем!»

Он отправился в Патриарший приказ и спрашивал, где живет дьяк Скворцов: с ним хотел он прежде поговорить, а к самому Калитину обратиться боялся,— такого он задал ему перцу своим приемом! В Приказе ему сказали, что Скворцов прибыл в Приказ, а Калитина еще нет. Он вошел к Скворцову, поклонился до земли, стал спрашивать, что ему делать и как расположить к себе Калитина, который так загрозил ему. Нельзя ли как-нибудь умилостивить его, чтоб он не доносил о нем святейшему и не направлял патриарха печаловать перед царем за Анну. К удивлению Чоглокова, Скворцов сразу намекнул ему на то, что говорил думный дьяк Ларион Иванов, именно на уступку Калитину остальной половины вотчины Пахровской, и тут же показал, что ему и Калитину известно уже, что другая половина отдана в Малороссийском приказе.

— Ведь и мы, патриаршие дьяки,— сказал Скворцов,— не хуже царских в Малороссийском приказе; чем там побил челом, тем и у нас побей! А оно точно: все на нем, на Калитине, висит; святейший очень его любит и во всем ему верит. Как дьяк Калитин доложит ему, так и останется!

Оставались еще сутки до рокового срока, данного ему Калитиным для обдумывания. Весь день ходил Чоглоков по своему двору и чувствовал, что последний день ходит по нем честным хозяином, владельцем вотчины, из которой привык получать в московский двор всякие запасы. Настал другой за тем день. Чоглоков приказал запрячь лошадей, сел в колымагу и мысленно говорил к своим лошадям: «Эх, вы, мои бедные, сердечные лошадушки! не придется вам более меня возить, а мне на вас ездить; придется, может быть, пешком с мешком за милостынею ходить по Москве!»

Чоглоков в Патриаршем приказе застал дьяка Калитина вместе со Скворцовым, и подьячий Ермолай сидел за своим столиком у окна. Духовных особ еще не было.

— Надумался? — спросил сурово Калитин.

— Надумался, батюшка, отец-благодетель! — сказал Чоглоков и повалился к ногам дьяка.— Батюшка-кормилец! Бью тебе челом своею последнею вотчинишкою на реке Пахре. Соизволь принять?

— Что? — гневно сказал Калитин.— За кого ты меня приемлешь? Чтоб я правосудие продавал? Что я! Со Иудою-христопродавцем вровень стану, что ли? А видел ты, дурачина, что с тем Иудою сталось: как на западной стене, в церкви, написан ад кромешный, а там тот Иуда на коленах у сатаны сидит и мошну в руке держит с теми тридцатью сребрениками, что за Господа нашего от беззаконных архиереев жидовских взял? И мне того же хочешь? Ах, ты, дурачина, мужичина неотесанный! Видно, как сам управлял, воеводствуючи в Чернигове, грабил, обдирал жителей, так по себе и о всех других думаешь? Нет, нет! Не брал я ни с кого еще неправедно ни одной полушки. Что ты меня своею вотчиною манишь? Душу свою разве отдам за твою проклятую вотчину, подавиться бы и тебе ею! Не туда, брат, угодил. В других Приказах, может быть, берут посулы и поминки, а в нашем Патриаршем приказе о таковом беззаконии и помыслить не посмеют. А ты вот что, напиши челобитную святейшему патриарху Кир-Иоакиму, а в той челобитной пропиши все свои грехи тяжкие: как направедно в Чернигове людей обирал, как женок и девок на блудное дело подговаривал, как Анну приказал схватить и насильно отдал за своего холопа замужнюю женщину, все ради своего блудного сластолюбия, ничего не утай, ни в чем не солги, все открой перед святейшим патриархом, как перед самим Богом на исповеди, и сам себе в наказание отдай и свою вотчину на Пахре и свой двор на Арбате в Москве, все, что имеешь, отдай во искупление грехов своих в волю святейшему патриарху, чтоб со всем сим поступил по своему мудрому рассмотрению на благо святой, соборной и апостольской церкви. Вот коли так учинишь — иное дело: святейший патриарх, видя твое нелицемерное раскаяние, укажет тебе какое-нибудь легкое церковное покаяние и простит тебя, не станет входить к великому государю с печалованием о женке Анне, но прикажет отослать ее к первому ее мужу.

— У меня ничего не останется! — сказал Чоглоков.— Как же мне тогда жить на свете? Чем питаться?

— Свет не без добрых людей,— сказал Калитин.— Пропитание тебе дадут. Сам святейший патриарх, чаю, изволит

подать тебе святую Христову милостыню. Бесчестья на тебе не будет; что ты про себя напишешь в челобитной, то в тайне пребудет, все равно, как бы ты священнику рассказал на духу. Можешь опять поправиться и еще воеводою будешь и опять разживешься.

— Нельзя ли уж хоть двор-то мой на Москве оставить мне? — говорил Чоглоков.

— Ни, ни! — заговорил решительно Калитин.— Словом Господним скажу тебе: не изыдеши отсюду, дондеже воздаси последний кодрант. И двор, и все, что в доме есть, и всех холопей своих при дворе — все, все отдай! Не уподобись Анании и Сапфире, что вызвались с целым имуществом своим апостолам Христовым да утаили, не все отдали, а за это святой первоверховный Петр покарал их,— оба разом так тут же упали и дух испустили! И ты того же не покушайся чинить, что они. Вот видишь, с тебя нужно было бы взыскать денег, с чем отправить женку Анну домой в Чернигов и на проест ей дать, да уж это мы кое-как соберем с твоей вотчины сами.

— Берите! Что хотите — все берите! — сказал Чоглоков и разразился рыданием.

Калитин приказал Ермолаю писать челобитную, которую должен был подписать Чоглоков. Во все время писания челобитной Чоглоков сидел в углу; видно было, что он хотел пересилить себя, но никак не мог и беспрестанно всхлипывал. Между тем пришли духовные особы и расселись на своих местах. Когда челобитная была написана, Калитин, взявши ее от Ермолая, подозвал Чоглокова. В этой челобитной грешник сознавался и каялся во всех своих неправдах и выражался, что обо всем этом он открывает святейшему патриарху, как перед Богом на исповеди. Чоглоков дрожащею рукою подписал челобитную.

Тогда Калитин подошел к архимандриту и протопопу и объяснил, что Чоглоков подает челобитную святейшему и кается во всех своих грехах, как перед Богом на исповеди, а потому сия челобитная не может быть пришита к делам, но должна быть доставлена в руки патриарха запечатанною.

— Достойно, хорошо! Боже, благослови! — произнес архимандрит.

— Вот то-то,— сказал Калитин, обратившись к Чоглокову.— Вас всех, воевод, следовало бы учить так, как мы тебя научили. Да на несчастье твое ты один к нам попался. А то в других Приказах ваша братия из воды суха выходит. Ну,

а вот как к нам кто из вас по церковному делу попадется, так мы раскопаем всю вашу яму, где скрыты ваши скверны!

Калитин после того отправился с докладом к патриарху, подал ему челобитную от Чоглокова и с своей стороны просил быть к нему милостивым, снисходя к искренности его раскаяния. Такое явление было не частое. Иоаким распечатал челобитную и, прочитавши, сказал:

— Это сын необычный! Аще он подал нам такую челобитную, в коей аки бы на исповеди вся своя тайная поведает, то и мы принимаем его челобитную ако исповедь и не станем просить царя великого государя, чтобы вновь о нем разыскивал, и карать царским судом, хотя бы то и следовало по его гнусным деяниям. Церковную епитимью указываем ему такову: два лета не причащаться св[ятых] таин и ходить ежедневно в церковь, по первое лето не входить в трапезу с верными, а стоять в притворе, и вздыхать к Богу, и о прощении своих грехов молить; по окончании же единого лета может входить и стоять в трапезе со всеми верными; по миновении же паки другого лета — дозволяется ему причащаться святых, страшных, бессмертных, животворящих Христовых таин. Сие ему в приговоре вписать, но грехов тех, в коих он кается в своей челобитной, в приговор не вписывать, понеже он искренно и нелицемерно покаялся, как и дела его показали довольно. Вотчину же, что он отдал во искупление грехов своих в святую соборную и апостольскую церковь, мы указываем вписать в число наших патриарших вотчин, определенных для раздачи нашим служилым людям, а в числе наших домовых не вписывать, оттого что нам, духовным, запрещено уже давно приобретать себе новые вотчины, раздавать же служилым людям за их заслуги можно.

Патриарх взглянул в глаза Калитину, как будто с желанием произнести: не отдать ли ее тебе? Но Калитин стоял со смиренным видом, потупя глаза в землю и как будто ничего для себя не желая и вовсе о себе не думая. Патриарху, всегда к нему благоволившему, он особенно понравился в эту минуту.

— Мы тебя, Калитин, давно не жаловали,— сказал патриарх, погодивши с минуту и продолжая опять глядеть ему в лицо.

— Доволен зело милостями твоими, всечестный господине, святейший владыко! — сказал, кланяясь в пояс, Калитин.— По моим малым заслужишкам и по моему невеликому умишку, твоя святыня безмерне был всегда милосерд

и ко мне и к семье моей, и ныне, как и всегда, я уповаю на твое благоутробие, как тебе Господь Бог известит и на сердце твое владычнее положит. Но дерзал бы я просить твое святейшество не о себе, а о товарище моем дьяке Скворцове. Его бы некоторою, хотя невеликою, благостынею от твоего благоутробия, великий господине наш, святейший владыко, утешить.

— Доброе сердце у тебя, Иван,— сказал патриарх,— что ты не о себе, а о своем товарище просишь. Хорошо. Мы жалуем тебя, Ивана Калитина, в поместье тою вотчиною, что подарил нам в святую церковь сей Чоглоков, а Левонтию Скворцову будет тот двор его на Москве, что он дарит нам же разом с вотчиною.

Калитин упал к ногам патриарха, потом, приподнявшись и стоя на коленях, поцеловал его руку. Патриарх благословил его и продолжал:

— Архиепископу Лазарю Барановичу написать от нашего имени отческое и братственное внушение, чтоб он в своей епархии не позволял так поступать и не разрешал совершать браки в те дни, в которые пост установлен по правилам святой восточной католической церкви. От сего немало зла возникает, как тому пример и ныне видим. Лицемеры предлоги вымышляют: венчанье и брак не в брак считают, и блудные дела оттого починаются. Изложив сие все преосвященному Лазарю, увещевать его, чтоб он обычаев латинских не держался, хотя таковые и укоренились в тамошних людях через долговременное пребывание под иноверным господством; ему, яко пастырю доброму, а не наемнику, надлежит бдеть о словесных овцах своих и охранять их от влезания к ним душегубительного латинского волка. Жену оную Анну отправить к ее первому единозаконному мужу в супружеское сожитие; за вступление же незаконное в брак при живом муже никакого церковного наказания ей не чинить, понеже то сталось по конечной неволе.

— О священнике пахримском, что венчал незаконно Анну, что укажешь, всечестный господине, святый владыко? — произнес Калитин.— Позвать бы его, да на патриаршем дворе подержать в железах с месяц.

— Нет, мало,— сказал патриарх.— Хоть и господин той вотчины повелел ему, но он должен был помнить, что у него есть свой господин, архипастырь. Продержать его в железах в нашем погребе на хлебе, на воде да на квасе не месяц, а четыре месяца. Да и то пусть себе вменит в милость, что

не велим его расстричь за такое богопротивное дело, снисходя к тому точию, что сие содеял он по малодушию и боязни. Жене же той, возвращая ее к мужу, выдать от нашего смирения Христову милостыню на дорогу пятьдесят рублев.

Пришедши из покоев патриарших в Приказ, Калитин говорил Скворцову:

— Слава тебе, Господи! Сталось все так, как лучше и хотеть не могли. Святейший пожаловал мне пахринскую вотчину чоглоковскую. Я и не просил его, а он сам без моего челобитья меня пожаловал! А я тогда говорю ему: много доволен, о себе не прошу, а вот если б милость была твоя, честнейший владыко, пожаловать бы изволил, как Бог тебя наставит, моего товарища Левонтия Скворцова,— а он на это: вот, говорит, хвалю за то, что просишь не о себе, а о другом. Даю ему, Скворцову, говорит, тот двор московский, что Чоглоков отдал. Вот, Левонтий Саввич, у тебя теперь свой дворик будет, свое гнездышко.

Скворцов, с выражениями радости, целовал Калитина и благодарил его, но втайне он не был доволен тем, что Калитин как будто забыл вовсе, что обещал было ему треть вотчины чоглоковской, если ему она достанется. Но заявлять об этом товарищу Скворцов не посмел: он был, что называется, человек смирный и потрухивал перед Калитиным.

— А все-таки досадно! — сказал Калитин.— Ларион Иванов подполовинил знатно животы бездельника, а нам только последушки остались!

XVII

Ганна, в продолжение производства дела в Патриаршем приказе, жила во дворе Калитина с прочею челядью в дворовой избе и исполняла свои обязанности: ходила за двумя коровами, доила их, ставила молоко на устой, подкладывала коровам корм, выметала хлевок, в котором они стояли; близ нее постоянно ходила девочка лет пятнадцати, которую госпожа готовила быть коровницею. Калитина удивилась, когда Ганна, по малороссийскому обычаю, принялась было доить коров, подпуская к ним телят, что в Москве не было в обычае. Ганна объяснила хозяйке, что через это телята будут лучше расти и набираться силы и будет из них крупный рабочий скот. Калитина до тех пор думала, что можно заботиться разве только о телушках, а не о быках, и пришла в изумление, когда услыхала, что

в черкасской земле пашут землю быками. Ганна получала от хозяйки и другие поручения, исполняла все с радением, как умела, и Калитина была ею очень довольна.

Так прошли летние месяцы 1677 года. Во второй половине сентября этого года, воротившись по обычаю из Приказа домой, Калитин сообщил жене приятную для них обоих новость. Святейший патриарх изволил пожаловать их вотчиною из домовых патриарших вотчин, тою самою, что владел бездельник, обидевший женку-хохлачку, помещенную в их дворе, а самую женку велел отправить на ее родину к первому мужу.

Позвали Ганну.

— Доброго тебе здоровья, молодушка! — сказал ей Калитин.— Дело твое, слава Богу, покончилось. Святейший патриарх указал считать упраздненным навеки твой насильный брак с чоглоковским холопом и отпустил тебя к твоему первому мужу, да еще святейший патриарх пожаловал, изволил приказать выдать тебе от него, святейшего, милостыни на дорогу пятьдесят рублев. Завтра позовут тебя в Приказ и там прочтут приговор.

Ганна бросилась целовать руки Калитину и Калитиной, благодарила за хлеб, за соль и просила прощения, если, быть может, не умела чем-нибудь угодить им во время своего прожития. Калитина похвалила ее за усердие и желала ей благополучия.

— А ехать тебе одной с подводчиком будет, может быть, и скучно и непригоже,— сказал Калитин.— Ты бы сходила на Малороссийский двор и узнала там, не едет ли кто из ваших земляков в вашу сторону. И ты бы с ними съехала.

Ганна воспользовалась таким советом, но стала расспрашивать не о Малороссийском дворе, а о том, где теперь живет Дорошенко; она считала долгом поблагодарить его за то, что он первый принял в ней участие и помогал ей в ее крайности. Она узнала, что Дорошенко с Греческого двора переведен в свой собственный двор, пожалованный ему от царя.

Нашла она Дорошенко в его новоселье и была допущена к нему. Петро принял ее ласково, как старую знакомую, расспросил, как окончилось ее дело, и сказал:

— Тобі якраз можно їхать з нашими людьми, що до мене приїздили от брата Андрія і незабаром уїздять назад у Сосницю. Тільки я тобі, молодице, новину скажу, може, не дуже пріймовну. Авжеж, правди не сховаєш нігде. Чоловік твій Молявка, що сотникував у Сосниці, оженився

з другою, з Бутримовою дочкою, дівкою. Отакий недобрий, не хотів підождать тебе!

Ганна сначала побледнела и минуты две-три стояла как вкопанная, потом разразилась горьким плачем.

Дорошенко сказал:

— Жаль тебе, молодице, далебі, дуже жаль! Одначе Господь заплатив твоєму невірнику. Катюзі по заслузі. Уже Молявка не сотник тепер. Ясновельможний змістив його і пожалував сотництво братові моєму Андрієві. А Молявка живе у тестя свого Бутрима і, кажуть, усе не ладить із своєю жінкою.

— Він проти мене ні в чім не винен,— сказала Ганна сквозь слезы.— Як-то було йому чекати мене, коли ніхто не знав,де я поділась, а до того, може, і написано було і йому було читано, що я повінчана з іншим у Московщині. Запевне так було. Бог з ним! Мабуть, така мені доля од Бога судилася!

— Авжеж так, правда, молодице! — сказал Дорошенко.— Бог чоловіка сотворив, Бог за чоловіком і чинить так, як волить. На мене поглянь, молодице: що я був колись і що став! Був я гетьман, володів Україною, з царями-королями водився, як з рівнею, а тепер — на чужій стороні в пониженню, в неволі... Да ще поздоров, Боже, великого государя милосердого: дав мені, бідному, прихилок і хліба кус, а там, на Україні, вся моя худоба знівечилась, і самий мій Чигирин запевне не устоїть і пропаде. А у тебе, молодице, є батько й мати?

— Є,— отвечала Ганна.— Або ліпше скажу: були, а тепер чи живі — не знаю!

— До їх їдь! — сказал Дорошенко.— Вже таки у свого роду легше тобі жити буде! Боже тебе благослови. На тобі, молодице, од мене на дорогу!

Дорошенко подарил ей несколько рублей. Ганна поцеловала ему руку.

Послушавши в Приказе указ о себе и получивши жалованные ей от патриарха пятьдесят рублей, Ганна простилась с Калитиным. Хозяйка подарила ей узел с бельем, летником и двумя поневами: то был ей знак хозяйской благодарности за непродолжительную, но исправную службу и милостыня на бедность от семьи Калитиных. Не жаль было им дать эту милостыню! Они через Анну получили несравненно больше выгод, чем насколько теперь давали Анне.

Ганна прибыла с своим узелком в дом Дорошенка и

оттуда выехала с его людьми, привозившими в Москву для Петра Дорошенка жизненные припасы и ворочавшимися к Андрею Дорошенку с разными сделанными в Москве закупками. Удаляясь из Москвы, Ганна мысленно послала проклятие злодею, испортившему ее молодую жизнь.

Следуя все дальше и дальше на юг, не узнала она, что проклятие бедной женщины постигло злодея скорее, чем можно было ждать. Ограбленный в Приказах до ниточки, выгнанный со двора, Чоглоков шатался по Москве, где день, где ночь, принялся с горя пить и пропивать небольшую сумму денег, уцелевших у него в кармане от погрома. Через месяц не хватило у него за что пить; одетый в лохмотья, в которые превратилось бывшее на нем одеяние, он слонялся около Петровского кружала, кланялся всем проходящим, вымаливал денежку на пропитание, или, вернее, на пропитие. Пришла зима, наступили морозы. У Чоглокова не было ни теплого помещения, ни теплой одежды: бесприютный, ночевал он то в кабаках, то на улицах под церковными зданиями, и однажды кто-то по христолюбию дал ему малую толику денег на пропитание. Чоглоков перед тем долго ничего не ел, и, как выпил водки, она его так разобрала, что едва он вышел из кружала, как упал, заснул на мерзлой земле и уж больше не проснулся. Его тело подобрано было поутру, отвезено в убогий дом и там свалено в общую могилу, в кучу с другими трупами опившихся, которых в Москве каждое утро собирали по улицам. Не помянули раба божия Тимофея по-христиански ни запискою его имени в синодик, ни подачею часточки за упокой души его те дьяки, которые владели ограбленными у него вотчинами: не имели они повода осведомляться о его судьбе и даже не узнали о его смерти.

XVIII

Дорошенко хорошо изучил и знал казацкую натуру: часто не бывает ей удержу, когда на глаза казаку попадается молодая, да еще красивая женщина. Людей, приезжавших из Сосницы, было четверо, на двух подводах. Все люди были уже немолодые, но Петро Дорошенко все-таки, не совсем полагаясь на их пожилой возраст, перед обратною отправкою призвал их всех и настрого приказал, чтобы они обращались с Ганною почтительно, как с честною чужою женою, не привязывались бы к ней ни с чем греховодным, и прибавил, что если они себя станут вести иначе, то брат его Андрей взмылит им спины канчуками. Это охранило

Ганну на всю дорогу и от надоедливых любезностей и от лишней болтовни. Она обращалась с товарищами пути хотя не надувая губ, но не пускалась в продолжительные беседы, не скрывала от них того, что с нею происходило в Москве, когда ее о том спрашивали, но ограничивалась короткими ответами и старалась им дать заметить, что ей тем будет приятнее, чем меньше будут они толковать с ней. Зато они и оставляли ей много времени погружаться в свои думы, а думы у ней сменялись одна за другою. Ей, конечно, становилось легко на душе, как только приходила ей в голову мысль, что уже не увидит она более ни отвратительного Чоглокова, ни противного Васьки, против собственной воли принуждавшего ее считать его своим мужем; не увитит она более ни дьяков, ни приказных сторожей, ни вообще москалей, чужих для нее людей. Минутами величайшего наслаждения кажутся человеку те минуты, когда ему удается освободиться от бед и мучений, которые долго терпел без верной надежды от них избавиться. Но весть о новом браке ее мужа сразу отравила Ганне это счастие. Мимо собственной воли Ганны злоба прокрадывалась в ее добрую, кроткую душу. «Он не любил тебя,— зачем же сватался? — говорил внутри ее голос этой злобы.— Если б он в самом деле тебя любил, он бы не связался так скоро с иною женщиною. Он бы искал тебя и нашел бы твой след; он, как твой законный муж, узнал бы, в какой ты беде находишься в чужедальней стороне, и вытащил бы из беды свою подругу, хотя бы ему пришлось пробираться на край света до студеного моря!» Но потом и сердце и рассудок произносили над ее супругом иной приговор: «А может быть, он и искал своей жены, и, может быть, набрел на ее следы, да узнал, а не то — и выписку ему показали, что она за другим замужем в далекой Московщине. А разве кто-нибудь мог ему тогда объяснить, как это сталось со мною, как я, повенчавшись с ним в Чернигове, да очутилась под Москвою и там поп насильно повенчал с москалем? И то надобно по правде судить: не он первый от живой жены женился, а я первая от живого мужа была повенчана! Он того не мог узнать, что это поневоле со мною приключилось! Что ж ему отыскивать меня, с кем-то другим в Московщине повенчанную? Экое добро я! Коли такая у него жена, что от него отступилась, так и он от нее отступился! И тяжело, ух, как тяжело ему, бедному, должно быть, было на душе, когда узнал он, что я чужая чья-то жена! Может быть, от такой тяготы да тоски он

и задумал сам скорее жениться! Вот и теперь, как я вернусь в Чернигов, а он заподлинно узнает, что я ни в чем не виновата и из столицы меня послали к нему, моему законному мужу, так будет жалеть и сам себя станет клясть — зачем женился? Да и жену свою, может быть, еще возненавидит. Ах, не дай Бог, не дай того, пресвятая богородица! Нет, нет! Я не стану сама ему выставляться; пусть лучше не знает, где и что со мною деется! Пусть себе живет с тою, которую полюбил, и она пусть верно любит его. Дай Боже им счастия! А про меня пусть совсем забудет!»

Было осеннее время. Осень в тот год была довольно сухая и ясная, дожди падали не часто; дорога была гладкая, исключая низких мест. Ехалось и живее и скорее. Осень вообще в жизни поселян самое веселое время. Уберутся хлеба; хозяева устраивают братчины; раздаются повсюду песни;осенью же более всего бывает и свадеб. Проезжая через села, не в одном месте путники наши встречали пестрые кружки свадебных поездов, шедших или ехавших с песнями и гигиканьем, а кое-где еще и с музыкою, с сопелями, накрами и домрами. В первом малорусском селе, через которое они ехали, вступивши в пределы Гетманщины, увидала бедная женщина «дружек», которые, идя по улице с невестою, пели:

Молода Ганночка, що нахилиться,
Слізоньками умиється,
Що розігнеться,
Рукавцем утреться.

На Ганну эти встречи наводили грустные впечатления: припомнилась ей собственная свадьба, так странно затеянная, не вполне совершившаяся, так нежданно и ужасно прерванная и оставившая ей горькую долю умываться слезами, как пелось в услышанной песне.

Наконец они доехали до Сосницы.

Сосницкому сотнику Андрею Дорошенку подали от брата Петра письмо. Брат просил его оказать покровительство Ганне Молявчихе. Андрей тотчас велел позвать ее к себе. Первым делом его было спросить: довольна ли она людьми, провожавшими ее из Москвы; потом Андрей свел разговор на ее мужа, рассказал про его житье-бытье в Соснице до самого того времени, когда сосницкая громада отрешила его от сотничества и выбрала сотником его, Андрея Дорошенка.

— А Молявка десь повіявся до своїх Бутримів! — закончил свой рассказ Андрей Дорошенко.

Чрезвычайно досадно было Ганне слушать все это о ее муже, но ни в чем противоречить она и не смела и не могла. Андрей Дорошенко представлял Ганне, что ее Молявка — человек совсем дурной и жалеть об нем не стоит, когда он связался с другою женщиною, не дождавшись своей законной жены и не зная, где она и что с нею делается. Сидевший тут полковой писарь стал было доказывать, что архиепископ не по правде дозволил Молявке жениться вновь от живой жены, так как это по закону разрешается только в таком случае, когда бы жена находилась в безвестной отлучке семь лет; он советовал Ганне подать от своего имени иск. Но Ганна, до тех пор только слушавшая и сама ничего не говорившая, в первый раз открыла рот и произнесла, что такой совет напрасен: не станет она принуждать мужа жить с собою, когда тот не захочет этого сам. Андрей Дорошенко согласился с Ганною, но прибавил, что не худо бы ей, однако, сходить к преосвященному и взять от него заранее законное свидетельство на право вступить вторично в супружество. Ганна на это ничего не сказала.

Андрей Дорошенко, вместе с женою, обласкал и угостил Ганну, как дорогую гостью, и на другое утро после того снарядил подводу и отправил на ней Ганну в Чернигов.

Приближался конец октября. Был день холодный, облачный, время от времени то проглядывало из облаков, то скрывалось за ними солнышко. В такой день подвода, отправленная с Ганною, въехала в Чернигов через стриженский мост и тотчас повернула вдоль берега Стрижня. Ганна проехала мимо бокового входа в тайник, куда в последний день своего пребывания в Чернигове пошла она с ведрами на свою погибель. Ганна невольно дрогнула. Через несколько минут подвода остановилась у Кусова двора. Ганна сошла с повозки, взяла с собою узелок и вошла во двор. Сердце у нее сильно билось, ноги подкашивались; ее волновала мысль: застанет ли она в живых своих дорогих и, конечно, изнывших в тоске за нею стариков. Первое существо, встретившее ее, была собака, которая на цепи по веревке бегала взад и вперед. Услышала собака скрип калитки в ворота, бросилась туда с лаем, но вдруг, узнавши сразу Ганну, принялась визжать и ползать, силясь приблизиться к знакомому лицу. Ганна подошла к ней и погладила ее. Повернувшись к хате, она тронула знако-

мую дверь и вошла в сени. И здесь никого она не встретила. Она творит крестное знамение, она лепечет молитву: «Господи Ісусе Христе, помилуй нас!» Она берется за ручку двери, ведущей из сеней в светлицу. Рука ее дрожит, она долго не в силах отворить двери. Вдруг дверь отворяется изнутри. Перед Ганною стоит ее мать.

Обе в единый миг испустили пронзительные крики. Обе кинулись одна к другой на шею.

— Мамочко! — воскликнула Ганна.

— Доненько! — произнесла мать и начала обцеловывать дочь, прилегая головою то к тому, то к другому плечу ее. Отец что-то работал в саду; наймичка, все та же, которая жила у Кусов и прежде, услыхала радостные крики из своей рабочей хаты, прибежала в светлицу, увидевши Ганну, всплеснула руками и побежала куда-то. Она дала знать отцу; тот прибежал вместе с наймитом — тем самым, которого когда-то, в день бракосочетания Ганны, Кусиха хотела посылать за музыкою. Мать и дочь продолжали целоваться и обниматься; слышались только вздохи и короткие восклицания. Кус первый заговорил, обращая взоры к иконам:

— Господи милостивий! Як же ти зо мною, грішним, милосерд єси, що сподобив мене на схилку віку мого любу мою дитину побачити. Тепер, Господи, аще рачиш мене і до себе прийняти, нехай твоя воля стане! Бо вже на сім світі ліпшого мені нічого не зостанеться чекати. Як то чудно ти, праведний і милостивий Господи, нас і караєш і милуєш.

Он схватил Ганну за голову, целовал ее долго, прижимая к своей груди, и разливался слезами.

Подошла затем наймичка и наймит, целовались и здоровались с Ганной. Оба они привыкли к дому Кусов за многие годы, стали уже как бы членами их семьи и горячо принимали к сердцу судьбу своих хозяев. И они плакали, целуясь с нежданно явившеюся хозяйскою дочкою.

Утомленная от излияний любви, Ганна села на лавку. Кусиха, сама не зная зачем, пошла к шкафу и стала искать, сама не зная чего; это делалось по привычке малороссийской натуры: если ей на душе очень весело, то первое побуждение у ней является — поить и кормить все окружающее. По тому же народному побуждению наймичка пошла в чулан, взяла там складень с медом и внесла в светлицу, а потом попросила у хозяйки: не даст ли ей ключей от погреба «наточить» наливки,— и Кусиха машинально отдала ей ключи.

— Дочко! Серденько! Розкажи, що з тобою діялось? Куди і як ти од нас пропала? Де була? Як жива зосталась і як до нас вернулась? Ох, Боже наш, Боже! Як же то ми з батьком помучилися за тобою, Ганно,— говорила Кусиха.

— Мамочко! Таточко! — произнесла Ганна.— Простіть мене, коли в чім я проти вас согрішила! Бо запевне грішниця я була велика, що Господь послав на мене таке лихо!

— Кажи, кажи! — повторили отец и мать. Наймичка и наймит, стоя поодаль, напрягли внимание.

Ганна начала повесть своих бед. Рассказ о бесстыдном и злодейском поступке воеводы произвел на сидевшего близ Ганны отца такое впечатление, что он вскочил с места, затрясся всем телом, лицо его побагровело; он ударил кулаком по столу, потом залился горючими слезами. Заволновалось в нем разом растерзанное чувство родителя и уязвленное достоинство человека. Успокоившись немного, он произнес:

— Бідна наша головонька! Нещаслива наших людей доленька!

Рассказ о том, как Ганну привезли в подмосковную вотчину и там насильно венчали с холопом, призвел опять взрыв негодования и бешенства у раздраженного отца.

— О, єретичі сини! Куди вони затягли нас, бідних! — воскликнул он, и нельзя было сразу понять, о ком говорит он.

Когда же, рассказывая все по порядку, дошла она до того, как, убежавши от Чоглокова, пришла она к Дорошенку и тот оказал к ней некоторое внимание, Кус сделал такое замечание:

— Єдине свій чоловік найшовся на чужій стороні при лихій години! Сам нещасливий, а споглянув на чужу нещасливу долю. Дай, Боже, йому щастя-здоров'я! Якби його там не було, до кого б вона утекла, до кого б вона прихилилась між чужими людьми-ворогами!

Ганна все рассказала, что знала и слышала, как дьяки обобрали ее злодея Чоглокова.

— Тільки всього! — произнес отец.— Покарали ж!

— Мало йому буде — спалить його на вуглях або живцем шкуру з його злупить! Усе б ще не по заслузі йому було,— сказала Кусиха, находившаяся под влиянием рассказа Ганны в сильном озлоблении, хотя по своей природе вовсе не была способна делать чего-нибудь похожего на то, что говорила.

Ганна сказала, что перед отъездом ее из Москвы Доро-

шенко сообщил ей о новом браке с другою Молявки-Многопеняжного. При этом Ганна заплакала и закрыла лицо руками. Отец нахмурился и повесил голову. Кусиха начала укорять старую Молявчиху, говорила, что все это она так подстроила, научила своего сына оставить в беде и забыть свою пропавшую жену.

— Бог знає,— заметил Кус,— може, і не стара; може, сам молодий якось провідав, що його жінка з іншим повінчана. Аже ж: як би пак його з другою повінчали, коли б не знали певне, що перша його жінка сама вже повінчана з іншим?

— Я його не виновачу,— сказала Ганна.— Запевне, йому довели, як на долоні, що я з іншим повінчана, і він те ж ізробив. Чим він винен? Моя доля нещаслива винна.

И она снова разразилась рыданьями.

— Авжеж! — говорила раздраженная Кусиха.— Щоб його душа так пролилась уся, як отсе через його ллються сльози моєї дитини!

— Баба, як єсть баба! — сказал Кус.— Сама не знає, на кого сердиться. Правду повідать — чи винен він, чи ні, того не знаю, а коли винен, то все-таки менш од усіх!

— А хіба вона чим винна проти його! — сказала Кусиха.

— Тато правдивіший! — сказала Ганна.— Ні в чім, ні в чім він не винен. Дай, Боже, йому доброго здоров'я і щастя з іншою, аби тільки вона його щирим серцем так любила, як я. Не судив нам Бог укупі жити; а я йому не те що нічого злого не жадаю, а рада б ще хоч яке лихо перебути, аби йому добре було!

— Випила ти добрий ківш лиха, дочко! — сказала Кусиха.— Не дай, Боже, куштовать його за таке паскудне, що одвернулось од тебе і наплювало на тебе!

Кус сказал:

— Я бачу, сей молодець дуже задатний, зумів собі стежку протоптати. З простого рядовика — нашого брата — піднісся у панство, сотником зразу став! Да засьі Зазнавсь, мабуть, скоро. Скинули, кажуть.

— І я чула,— сказала Ганна,— скинули, і Дорошенків брат — сотником у Сосниці.

— Єму сількісь! З багатою панною оженився, з Бутримовною. Се люди багаті,— заметил Кус.

— Буває, тату, що з бідною приятнійше шматок житнього хліба гризти, ніж з багатою смачний обід обідати і дорогі напитки вживати. Минуй його, Боже, недобра доля! — сказала Ганна.

— Так як же се? — заметила Кусиха.— Ганна йому жінка була, а тепер уже що ж вона: не жінка йому стала, чи як?

— Я йому жінкою і зосталась,— сказала Ганна.— У мене лист єсть од патріарха з його Приказу даний: те вінчання, що на мене в Московщині силоміць наложили, не уважать за вінчання, а мене щитать за жінку Молявці-Многопіняжному. Так патріарх присудив.

— Отсе у Молявки дві жінки разом буде, чи що? — спрашивала Кусиха.— Сього по нашому хрещеному звичаю не можно. Яка-небудь да одна йому жінка повинна бути: або ти, обо та, друга!

— Або ні та, ні друга! — сказал Кус.— По моєму розгляду — так. Хоч не винен він, що з двома побрався, а вже як перша жінка знайшлась, так не треба завдавати жалю ні тій, ні другій, і не жити б йому ні з першою, ні з другою, а уйти у монастир Богові слуговати.

— А я ще раз кажу,— сказала Ганна,— нехай живе в щасті-здоров'ї з тією, котра його полюбила без мене. Ні в чім він проти мене не согрішив, ні я проти його. Я по вік свій турбовати його нічим не стану. Аже ж ви, тату і мамо, не проженете мене з своєї домівки! З вами укупі житиму, вам годитиму, вам слугуватиму, старощів ваших доглядатиму, за вас, тату і мамо, щодня й вечір, вставаючи і лягаючи, Бога благатиму. От так увесь вік свій коротатиму!

— Дитино люба,— сказала Кусиха,— ти ще молоденька! Може, Бог, коли милосердіє єго буде, нагородить тебе за все те лихо, що одбула єси неповинно. Може, Бог пошле тобі дружину!

— А як я маю з тією дружиною зійтися? — сказала Ганна.— Хіба я її шукатиму?

— Не ти, доню, її шукатимеш, а вона тебе знайде,— сказала Кусиха.— Ще ти хороша, доненько моя: хоч і спала з виду од того палючого лиха, а ще не зовсім зниділа.

— Не знаю,— сказала Ганна,— того, що буде попереду. Не знаю — і вигадувать про те не стану, і зарікатись не буду. Одно тільки знаю: не піду я ні за кого такого, що мене щиро не полюбить і котрого я сама не полюблю. Отсе я знаю. А що дальш зо мною станеться і яку Бог долю мені судить, про те не знаю і думать про те не хочу.

— Се розумне слово, дочко! — сказал Кус.— Не маємо про пришле гадати. Треба жить, як набіжить, та й годі. Слава милосердому Богові: ти у нас одна, а у нас худобонька, хвалить Бога, єсть: хоч ми не дуже багаті, а все-таки

нужди не знаємо. Усе наше — твоє. Коли очі наші закриються, нікому ж воно все зостанеться, як тільки тобі.

После этого разговора начался семейный обед. Все подпили наливки. Кус вынул бульшую серебряную стопу, которая была подарена одним значным войсковым товарищем еще на свадьбе Куса с Кусихою. Наливши ее до верха смородиновкою, Кус поднял стопу вверх и произнес:

— Подай, Боже, доброго здоров'я і щасливого віку доживання славному тогобочному гетьманові Петрові Дорошенку за те, що нашу дитину ласкаво прийняв на чужій стороні між чужими лихими людьми, нашими ворогами! Аще же в чім согрішив перед Богом, пошли йому, Господи, час покаяття і прости його по великому твоєму милосердію!

Примечание. О дальнейшей судьбе возвращенной на родину Ганны Кусивны в деле об ней известий нет. Мы строго держались, в основных чертах, той фабулы, на какую случайно наткнулись, рассматривая акты, хранящиеся в московском архиве министерства юстиции. Мы дозволили себе в изложении вносить только подробности истории быта и нравов описываемого времени на основании черт, рассеянных в различных источниках того века.

ПРИМІТКИ

ПОВЕСТИ

СЫН

Рассказ из времени XVII века

Початкові вісім розділів вперше надруковано в журн. «Архив исторических и практических сведений, относящихся до России» (1859.—№ 7,8; 18607— № 9,10) з підзаголовком «Из архива фамильных преданий». Повний текст опубліковано у виданні: Сын. Рассказ из времени XVII в. Н. Костомарова.— СПб: изд. Е. Н. Ахматовой, 1865.

Подається за цим окремим виданням.

Цензурний дозвіл має дату «Санкт-Петербург, 21 мая 1864 г.», а на титулі дата пізніша —1865 р. Дата цензурного дозволу дає нам орієнтовну дату закінчення повісті.

Саранск — місто при впадінні р. Саранки в р. Інсару, засноване 1641 р. як сторожовий пункт на південно-східному кордоні Російської держави; нині — столиця Мордовської АРСР.

...не захотели служить свейскому государю...— шведському королю Густаву-Адольфу (1564—1632).

Михаил Федорович (1596—1645) — російський цар (з 1613 р.), родоначальник династії Романових; бувши хворобливим і пасивним, віддав фактичну владу в руки свого батька патріарха Філарета (до 1633 р.) та бояр.

Алексей Михайлович (1629—1676) — російський цар (з 1645 р.), син Михайла Федоровича, батько Петра І. Посилив центральну владу, прийняв під свою руку Україну, повернув Сіверську землю, Смоленськ; запровадив кріпацтво й придушив повстання у Москві (1648), Новгороді (1650), Пскові (1662), повстання Степана Разіна (1670—1671).

...повести об Александре Македонском...— різні варіанти перекладів і переробок грецької повісті II — III ст. «Олександрія» та, ймовірно, першої частини хроніки Георгія Амартола, де йшлося про життя і подвиги македонського царя Олександра (356—323 рр. до н. е.).

Ян II Казимир — Ян II Казимир (1609—1672) — польський король (1648—1668), син Сигізмунда III Вази. У 1649, 1653, 1663 рр. особисто вів посполите рушення на Україну для придушення національно-визвольної боротьби українського народу проти польсько-шляхетського гноблення. Виснажений одночасними війнами з Росією (1654 р.) та Швецією (1655—1660 рр.), зрікся престолу (1668 р.).

...отличился на Дрожиполе...—29 січня 1654 р. 25-тисячне з'єднане військо під керівництвом Б. Хмельницького та В. В. Шереметєва зустрілося в триденній битві з польським військом під керівництвом М. Потоцького та С. Чарнецького коло Умані «...на поле, которое называлось от

маленького там текущего протока, Бавы, где теперь деревушка Багва» [1]; а на другий день «...сделался такой сильный мороз, какой редко бывает в этих странах: воины с трудом могли держать в руках мушкеты и окоченевали от стужи. Козаки, вспоминая эти трудные дни, прозвали с тех пор это урочище *«Дрыжи-поле»,* то есть: поле дрожи» [2]. Загинуло з обох сторін до п'ятнадцяти тисяч воїнів.

...когда Хмельницкий шел ко Львову — у серпні — вересні 1854 р. [3].

...под Гродеком его ранили...— наприкінці вересня 1854 р. козацький загін під командуванням миргородського полковника Г. Сахновича-Лісницького, надісланий Б. Хмельницьким з-під Львова, розбив польське військо Потоцького в урочищі Камінь-Брод під Гродеком (Слонігродеком), змусивши його залишки тікати до Яворова [4].

...когда наконец поляки, пораженные со всех сторон, обманули царя Алексея обещанием возвести его на престол и устроили виленский мир...—«Царь отправил своих полномочных в Вильну, где с полномочными Речи Посполитой, в сентябре 1656 года, заключили трактат, по которому Речь Посполитая обязывалась, по смерти Яна-Казимира, избрать на польский престол Алексея Михайловича, а Алексей Михайлович, считая уже Польшу как бы своим достоянием, обещался защищать ее и обратить оружие против шведов, бывших своих союзников» [5]. Але 1660 р. Польща відновила війну з Росією.

...обратить из его поместья земли двести четей в вотчину — в нагороду за добру військову службу перевести частину землі з «поместья» — тобто наділу, який давався дворянину пожиттєво за службу,— у власне його володіння, яке він мав право передати своїм дітям у спадщину («вотчину»).

...Шереметев разбит под Чудновым и отдан татарам поляками, которым сдался военнопленным...— Шереметєв Василь Борисович (бл. 1622—1682), — російський державний та військовий діяч, воєвода. Під час російсько-польської війни 1654—1667 рр. брав Невель, Полоцьк, Вітебськ; у січні 1655 р. успішно бився під Ахматовим на Дрижи-полі. З 1658 р. був воєводою в Києві, де провадив з І. Виговським боротьбу, яка закінчилася обранням на гетьмана Ю. Хмельницького. 1660 р. під Чудновом через зраду Ю. Хмельницького був захоплений у польський полон і виданий кримському ханові. Пробув у неволі двадцять років. Викуплений урядом Федора Олексійовича 1681 р.

...Украина отпала от царского скипетра...—17 жовтня 1660 р. гетьман Юрій Хмельницький уклав з Польщею трактат в с. Слободище (нині Бердичівського р-ну, Житомирської обл.) про відрив України від Росії

---

[1] Костомаров Н. И. Богдан Хмельницкий.— Спб, 1884.— Т. 3.— С. 193; автор посилається на повідомлення С. Величка (І, 209).
[2] Там же.— С. 195.
[3] Там же.— С. 203.
[4] Там же.— С. 203—204.
[5] Там же.— С. 234.

і перехід під владу Польщі; ця угода була віддаленим наслідком російсько-польського Віленського перемир'я і безпосереднім — поразки козацьких полків під Любаром і Чудновим та оточення їх польсько-шляхетським військом під Слободищем. Угода зводила нанівець досягнення народно-визвольної боротьби українського народу під проводом Б. Хмельницького. Однак, захопивши Правобережну Україну, польсько-шляхетське військо не спромоглося взяти Київ та Лівобережжя, зустрівши відсіч козацьких військ наказного гетьмана Я. Сомка та запорожців під проводом кошового отамана І. Сірка.

Хвалынское море — давня російська назва Каспійського моря.

...объявился у них какой-то батюшка Степан Тимофеевич...— Разін (бл. 1630—1671) — відомий донський отаман, а в 1670—1671 рр. керівник селянської війни, що охопила Поволжя і Дон, була підтримана полковником І. Дзиковським на Слобідській Україні.

...и с ним будто бы патриарх Никон...— Никон (Минов Микита) (1605—1681) — російський патріарх (1652—1658); провів реформи, що викликали розкол церкви, а втручання в політику спричинилося до неласки царя Олексія Михайловича і, згодом, до заслання, яке зробило його страдником, популярним в народі, й викликало чутки про підтримку ним Разіна.

...да бают, с ним же еще и царевич Алексей Алексеевич...— Олексій Олексійович (1654—1670) — царевич, син Олексія Михайловича і М. І. Милославської. Помер молодим.

...челобитная против уложения...—«Соборное уложение» — законодавчий кодекс Російської держави, прийнятий на Земському соборі 1649 р.

Губной староста — адміністративна виборна особа в Росії XVI — XVII ст., що мала під своєю юрисдикцією губу — територіальний округ, що збігався з пізнішим повітом; старостам належало карати розбійників та злодіїв, а згодом вести й інші кримінальні справи.

...як на Україні воєвод побито...— на початку 1668 р. на Лівобережжі відбулося народне повстання проти сваволі російської адміністрації — люди відмовилися сплачувати податки, повиганяли воєвод із стрілецькими загонами.

...коли старий стану, так піду до Межигорського Спаса або у Печерське...— за традицією, запорозькі козаки на старість знаходили притулок у монастирях, в тому числі — у Межигорському коло Вишгорода під Києвом або в Печерській лаврі. Таким епізодом розпочинається поема Т. Шевченка «Чернець»; П. О. Куліш записав почуту від нього розповідь про цей звичай.

Инсара — місто на річках Інсарі та Іссі; в середині XVII ст.— фортеця, потім — повітове місто Пензенської губернії; нині — райцентр в Мордовській АРСР.

Керенск — місто на річках Керенка, Чангар, Вад; відоме з 1658 р.; 1671 р. захоплене повстанцями С. Разіна.

...князь Долгорукий...— Долгоруков Юрій Олексійович (? —1682) — воєначальник і державний діяч, боярин царя Олексія Михайловича (з 1648 р.); одержав низку перемог над польсько-шляхетським військом (гетьмана Гонсевського — Вільна, 1659 р.; гетьмана Сапеги — Могильов, 1661 р.). Розбив війська С. Разіна під Арзамасом, Симбірськом (нині — Ульяновськ), Нижнім Новгородом (нині Горький). Начальник Стрілецького приказу (з 1676 р.). Убитий стрільцями разом із сином Михайлом під час Московського повстання 15—16 травня 1682 р.

КУДЕЯР

Историческая хроника
в трех книгах

Вперше надруковано в журн. «Вестник Европы» (1875.—№ 4.— С. 461—549; № 5.— С. 5—77; № 6.— С. 465—548).

Подається за виданням: Кудеяр. Историческая хроника в трех книгах.— СПБ.: изд. М. Суворина, 1882.

Датується за автобіографією та першодруком. Наприкінці травня 1874 р. письменник повернувся з с. Дідовці на Прилуччині, де він гостював у маєтку удови А. Л. Кисіль (Крагельської), до Петербурга й невдовзі, ймовірно, на початку червня, виїхав на дачу на Петровському острові. «...Я, поселившись на даче, принялся писать собственноручно историческую повесть —«Кудеяра», взявши сюжет из эпохи Ивана Грозного. Сверх того, здесь же я написал статью «Царевич Алексей Петрович»... В последних числах июля, с этой дачи, я отправился в Киев на археологический съезд» [1]. Відтоді аж до моменту, коли М. М. Стасюлевич сам вийняв з шухляди у тяжко хворого автора обіцяний роман і опублікував його в «Вестнику Европы», в автобіографії відсутні будь-які згадки про дальшу працю над романом. Отже, твір датуємо орієнтовно: червень — липень 1874 р., Петербург.

Кудеяр — герой народних легенд та переказів, пов'язаних з різного роду печерами, залишками давніх городищ тощо; селяни на півночі України, в Білорусії, середній смузі Росії оповідають,що це залишки житла розбійника Кудеяра з ватагою [2]. До літературних обробок легенди — поряд з «хронікою» Костомарова — належать однойменні балади В. Кюхельбеке-

---

[1] Костомаров Н. И. Автобиография.— Литературное наследие... Н. И. Костомарова.— Спб, 1890.— С. 201.

[2] Один з таких переказів, почутий на Брянщині, опублікував М. Добротворський (Кудеяров курган // Киевская старина.— 1889.— № 6.— С. 607—609).

ра[1] та повість С. Браїловського[2]. Сам же письменник засвідчив у заключній виносці до тексту твору, що він одержав від О. О. Русова записи, зроблені останнім у 70-х рр. минулого століття на Чернігівщині; причому селяни твердили, що подібні перекази побутують і на Поділлі та Саратовщині. Однак ці перекази мали під собою і реальну основу: Кудеяр був особою історичною. «Разбойник Кудеяр Тишенков да несколько детей боярских,— писав Костомаров у історичному нарисі «Царь Иван Васильевич Грозный»,— вероятно, его шайки (в числе их были природные татары) сообщили хану о плачевном состоянии Русской земли... Девлет-Гирей... весною 1571 года бросился в средину Московского государства. ...Иван Васильевич бежал и предал столицу на произвол судьбы... В какие-нибудь три-четыре часа вся Москва сгорела»[3]. В «хроніці» письменник дав своєму героєві ім'я Юрій, дійсне ім'я розбійника зробив прізвищем; ототожнення його з царевичем Юрієм є художнім домислом.

Никольская церковь в Китай-городе.— Китай-город — укріплена кам'яними мурами частина Москви між річками Неглинною та Москвою; тут знаходились укріплені монастирі Микільський, Богоявленський, двори — Соляний, Кузнецький, Гостинний, Митний, Печатний, Посольський та кілька гостинних дворів для приїжджих, а також кілька приказів (канцелярій), митниця, палати духовенства, бояр. Нині це район Красної площі, вулиць Разіна, Куйбишева, 25 Октября.

...и страшен стал агарянам, яко Гедеон и Сампсон...; *на брань с нечестивыми измаильтяны...*— агаряни та ізмаїльтяни — назви ворожих іудеям мусульманських племен; Гедеон — один из суддів ізраїльських; зруйнував поганський жертовник Баалу й спорудив Ієгові; переможець ворожого племені мідіанітів. Сампсон, Самсон — біблійний богатир.

Пристав — царський урядовець, що виконував різноманітні доручення влади, в т. ч. й зустріч і супровід прибулих до Москви послів.

Иван IV Васильевич, Иван Грозный (1530—1584) — великий князь московський (з 1533), цар (з 1547); з метою централізації держави провів феодальні реформи (управління, армії, правові), посиливши закріпачення селян; поширював межі держави: приєднав Казанське (1547—1552), Астраханське (1556) ханства, сибірські землі, провадив безуспішну Лівонську війну. З 1565 р. запровадив опричнину з метою розправи над політичними супротивниками, дійсними й уявними. 1570 р. винищив значну частину жителів Новгорода й Пскова. З роками ясно виявилося психічне захворювання,— манія переслідування, садизм, вибухи руйнівної люті (під

---

[1] Кюхельбекер В. К. Кудеяр (Баллада) // Кюхельбекер В. К. Избр. произведения: В 2 т.— М.; Л., 1967.— Т. І.— С. 253—261.

[2] Браиловский С. Кудоярова пещера: рассказ-предание // Киевская старина.—1894.—№ 11.— С. 207—241.

[3] Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей.— Спб, 1912. Кн. 1.— С. 397—398.

час одного з них він убив сина Івана). Поряд з цим цар, як людина освічена, сприяв розвиткові літописання, церковному будівництву.

Вишневецкий-Корибут Дмитрий Иванович (? —1563) — український магнат, князь, воєначальник. 1556 р. побудував фортецю на о. Хортиця, а також надіслав загін козаків для спільного з російським військом походу на Крим. Вступивши 1558 р. на службу до царя Івана IV Грозного, дістав від нього великі земельні володіння, в тому числі місто Бельов. Брав участь в поході російської армії на Крим. На початку Лівонської війни (1558—1583) перейшов на службу до Сигізмунда II Августа, польського короля. 1563 р. керував козацьким загоном у Молдавії, потрапив у полон і був страчений турками в Стамбулі. І Костомаров, й інші історики і письменники (серед них і П. Куліш) довгий час ототожнювали його з легендарним козаком Байдою.

Староста — у Польщі XIV — XVIII ст. представник короля на певній території, де він здійснював адміністративну, військову й судову владу. Д. Вишневецький до переїзду до Москви служив черкаським старостою (Черкаси у XVI ст. були прикордонним містом Речі Посполитої).

Фроловские ворота Кремля — так до 1658 р. називалася нинішня Спаська брама, збудована архітектором П'єтро-Антоніо Саларі (після 1450—1493).

Дума — рада бояр при царі; у XV — XVII ст., крім бояр, у ній засідали окольничі, думні дворяни й думні дяки.

Думний дяк — найвища канцелярська посада — секретар у царській Думі, а також керуючий якимось приказом — канцелярією, що відала певним родом справ.

Висковатый Иван Михайлович (? —1570) — російський державний діяч, з 1561 р.— печатник (хранитель державної печаті). Вів активну дипломатичну діяльність, був прихильником ведення Лівонської війни (1558—1583). Скараний на смерть через обвинувачення у зраді на користь Туреччини, Криму, Польщі.

Жигимонт-Август — Сигізмунд II Август (1520—1572) — польський король і великий князь литовський (з 1548). Боровся проти Росії за Прибалтику в Лівонській війні (1558—1583); учасник економічної блокади Росії західними державами; один з ініціаторів Люблінської унії (1569); допустивши у Польщу ієзуїтів, став винуватцем початку католицької експансії.

Благовещенский собор — у Кремлі, збудований у 1484—1489 рр.

Ржевский — Ржевський Матвій Іванович (рр. нар. і см. невідом.) — російський військовий і державний діяч, дяк; очолив похід російського війська на Очаків (1556 р.); був намісником у Чернігові, Рильську, Ряжську; 1576 р.— очолив посольство до Криму.

Белев — Бельов, місто на верхній течії р. Оки; вперше згаданий в літописах під 1147 р.. У XIV — XVI ст. був центром Бельовського князівства, підпорядкованого Московському. У 30—40-х рр. XVI ст. кня-

зівство було скасоване, а останній князь Іван Іванович помер на засланні. За царювання Олексія Михайловича став значним промисловим містом (1557 р. місто віддане у вотчину Д. І. Вишневецькому), пізніше — повітовим Тульської губернії; нині райцентр Тульської обл.

Курбский Андрей Михайлович (1528—1583) — князь, російський політичний і військовий діяч, письменник-публіцист. У 40—50-х рр. брав активну участь в управлінні державою, відзначився у казанських походах (1545—1552), Лівонській війні (1562). Після падіння уряду О. Ф. Адашева деякий час залишався при владі, але, дізнавшись про майбутню розправу, 30 квітня 1564 р. утік за кордон до м. Вольмара, став литовським магнатом і членом королівської ради при королі Сигізмунді-Августі. З 1564 р. розпочав листовну полеміку з Іваном IV. Написав «Историю о великом князе Московском» — політичний памфлет.

Адашев Алексей Федорович (? —1561) — російський державний діяч; з кінця 40-х рр.— один з керівників Вибраної ради; провадив політику згоди між усіма шарами класу феодалів; сприяв проведенню реформ з метою зміцнення централізованої влади. Як дипломат здійснював підготовку до приєднання Казанського й Астраханського ханства і до Лівонської війни. 1559 р. уклав мир з Лівонією і чинив опір продовженню війни, що ворожа йому партія Захар'їних, родичів цариці Анастасії, використала проти нього: 1560 р. його заарештовано й віддано під варту до м. Юр'єва (нині Тарту Ест. РСР), де він і помер.

Адашев Данило Федорович (? — бл. 1562—1563 рр.) — російський воєначальник, брат Олексія. З 1559 р.— окольничий (керуючий приказом чи полком, думний урядовець); учасник взяття Казані, Лівонської війни. Очолив безуспішний похід на Крим (1559). З 1560 р.— начальник артилерії в Лівонії. Невдовзі потрапив у опалу й страчений разом з родиною.

Хортица — Велика й Мала Хортиці — острови на Дніпрі, коло м. Запоріжжя; тут були засіки (січі) — укріплення, що прикривали козацькі промисли, а пізніше — Запорозьку Січ з півночі. В середині XVI ст. Д. Вишневецький збудував тут замок, невдовзі зруйнований татарами. Звідси розпочиналися походи Т. Трясила, І. Сулими, Б. Хмельницького, І. Сірка та ін. Нині тут історико-культурний заповідник.

Кримський юрт — Кримське ханство — феодальна держава в Криму (1443—1783); з 1475 р.— васал Туреччини. Столиця — Бахчисарай (нині — райцентр Кримської обл. УРСР).

Тотчас венецейская Речь Посполитая пошлет свои каторги на Беломорье...— Венеціанська республіка (V — кінець XVIII ст.) у XI — XVIII ст. вела війни з Туреччиною, зокрема у 1538—1540 та у 1570—1573 рр., часто за підтримкою Ватікану й Іспанії. У зображений в романі період воєнних дій не було; за Костомаровим, Вишневецький сподівався, що Венеціанська республіка підтримає Росію у війні з Кримом та Туреччиною.

...и мултане, и волохи поднимутся...— мултани — купці, лихварі, засновники торгових колоній в різних країнах Сходу, в тому числі й

в Астрахані й Закавказзі, вихідці з міста Мултани (Західний Пакистан). Волохи — народність, що увійшла до складу румунської нації.

...с ливонскими немцами надобно вам замириться...— Іван IV Грозний провадив Лівонську війну за вихід Росії до Балтійського моря (1558—1583), що передбачало захоплення території Лівонської конфедерації держав (Лівонського ордену, Ризького архієпископства, Дерптського, Езель-Вікського й Курляндського єпископства; з 1561 р. до Лівонії приєдналися польсько-литовська держава й Швеція. 1558 р. взято Нарву, Дерпт (нині — Тарту); російські війська дійшли до Ревеля (нині — Таллін). Під час влаштованого О. Адашевим перемир'я 1559 р. лівонські феодали уклали угоду з Сигізмундом II Августом. Після перших перемог розпочалися поразки російського війська (з 1564 р.); цього ж року до Литви утік А. Курбський, а восени на Рязанщину напав кримський хан Девлет-Гірей. Поразки стимулювали посилення репресій проти бояр та запровадження опричнини.

Псьол — ліва притока Дніпра, впадає коло м. Кременчука.

Козлов — кримське місто Гезльов — турецька фортеця (XVI — XVII ст.), нині — м. Євпаторія Кримської обл. УРСР.

Кафа — колишня назва Феодосії, відомий турецький ринок невільників у XV — XVIII ст. в Криму.

...как он ходил под Казань...—16 червня 1552 р. російське військо на чолі з Іваном IV Грозним вирушило на Казань, яка була столицею Казанського ханства (1438—1552), що у спілці з Астраханським ханством, Ногайською ордою, Кримом і Туреччиною провадило агресивну політику щодо Московської держави. По дорозі, під Тулою, розбито 30-тисячне військо кримського хана Девлет-Гірея. Після місячної облоги Казань узято штурмом 2 жовтня 1552 р. і ханство ліквідоване.

Посошные люди — рекрути до війська, які набиралися за певною кількістю з сохи (*соха* — одиниця оподаткування, з якої збирався також поземельний податок — *посошне;* соха вимірювалася кількістю робочої сили або ремісницького майна; з середини XVI ст. запроваджено велику соху — за певною кількістю землі).

...а другой буквы не разберу, не то люди, не то мыслите...— назви літер кириличного алфавіту: люди — л, мысліте — м, глаголь — г, слово — с, рцы — р тощо.

Сильвестр Косов (? — бл. 1566) — священик Благовещенського собору в московському Кремлі, російський політичний діяч і письменник, родом з Новгорода. Один з керівників уряду при Івані IV — Вибраної ради; перебував в опозиції до цариці Анастасії та її родичів, бояр Захар'їних. 1560 р. потрапив у неласку до царя, постригся у ченці, жив у північних монастирях. Автор нової редакції «Домостроя», публіцистичних трактатів про обов'язки царя й уряду, церкви, збирач манускриптів. *«Домострой»* — звід правил поведінки міщанина, укладений наприкінці XV — початку

XVI ст. за участю Сильвестра, який потім, у Москві, створив нову редакцію пам'ятки.

Захарьины — брати цариці Анастасії, Микита і Григорій Романовичі. Микита (? —1586) — окільничий (1559 р.), потім боярин (з 1565 р.); став родоначальником царського роду Романових.

Владимир Андреевич (1533—1569) — двоюрідний брат Івана IV Грозного; страчений як провідник опозиції.

Князь Володимир — великий київський князь Володимир Святославич (? —1015), впровадив християнство на Русі (988—989), пізніше канонізований православною церквою. Московські царі оголосили себе його нащадками.

Колывань — російська назва м. Ревеля (нині — Таллін).

Нюренберг — місто в Баварії.

Регенсбург — місто в Баварії, порт на р. Дунай.

Князь Серебряный — Серебряний Василь Семенович (? — бл. 1568) — князь, боярин, воєвода, учасник осади Казані (1552 р.), Полоцька (1563 р.), Юр'єва (1558); очолив низку походів у Лівонію.

Воротынские — князівський рід; з нього найвідоміший — Михайло Іванович (бл. 1510—1573) — воєначальник, учасник взяття Казані, боярин; як прихильник О. Ф. Адашева, потрапив у неласку, засланий на Білоозеро; наприкінці 60-х рр. повернутий, керував сторожовою службою держави. 1572 р. під Серпуховом переміг кримського хана Девлет-Гірея, а наступного року через звинувачення у зв'язках з цим ханом — був страчений.

Шуйский Петр Иванович — російський воєначальник, князь, учасник Лівонської війни; взяв після облоги Дерпт і Феллін; був намісником у Полоцьку; розбитий польським гетьманом Радзивілом на р. Улі.

Девлет-Гирей (? —1577) — кримський хан (з 1551 р.); васал султана Туреччини; нападав на російські війська під час їх походу на Казань; брав участь разом з турецькими військами в поході на Астрахань (1569 р.); 1571 р. зі 120 тисячами війська спалив Москву, але наступного року був розбитий російськими військами на чолі з М. І. Воротинським при Серпухові й Молодях під Москвою.

Далеко-далеко за Пермью великой есть горы каменные...— Перм Велика — територія сучасного Комі-Перм'яцького автономного округу; гори...— Уральський хребет.

Югра — російська назва узбережжя Північного моря (європейського й сибірського), а також племен, що жили на цій території.

Бысть некогда царство греческое...— Візантійська імперія (IV — XV ст.) — держава, утворена у східній частині колишньої Римської імперії після її зруйнування (Балканський п-ів, Мала Азія, південно-східне Середземномор'я); столиця — Константинополь (рос. назва — Царград), нині — Стамбул.

...отпаде ветхий Рим от благочестия...—1054 р. офіційно оформився розкол християнської церкви на римсько-католицьку й православну.

Маран-афа (тюрк.) — прокльон, що прикликус нещастя.

Ефес — стародавня грецька колонія в Малій Азії, заснована в XII ст. до н. е.; відомий ремісничий, торговий, релігійний центр, що містив храм Артеміди — одне з семи світових див.

Ефиопия —Єфіопія, єдина християнська держава в Африці, на її північному сході; ефіопи сповідували монофіситство.

Никон Черной горы — Никон (кінець XI — початок XII ст.) — чернець Чорногорського монастиря біля міста Антіохії в Сірії, автор монастирського уставу, один із отців православної церкви.

Соловецьке море — частина акваторії Білого моря коло Соловецьких островів.

Вяземский Афанасий Иванович (? — бл. 1570) — князь, оружний, впливовий опричник; по звинуваченню у зраді був ув'язнений, де й помер.

Тройца — тут — Троїце-Сергієвська лавра, заснована Сергієм Радонезьким в XIV ст., притулок московських царів під час небезпеки (нині — м. Загорськ, Московської обл.)

Холопский приказ — урядова канцелярія, що відала справами селян-кріпаків — холопів.

Кабала, кабальні люди — довічна кріпаччина через несплату боргу поміщикові.

Юрьев день — день «осіннього» Юрія —26 листопада; селяни-кріпаки мали право за тиждень до і після нього переходити до іншого поміщика; скасований Борисом Годуновим 1597 р.

Разряд, Разрядный приказ — канцелярія у справах війська.

Болхов — містечко, на р. Нугрь, притоці р. Оки, відоме з XIII ст.; нині райцентр Орловської обл. РРФСР.

Муравский шлях — степовий шлях від Перекопу на Тулу (XVI — XVIII ст.); ним набігали на Україну і Росію кримські татари. Від нього відгалужувалися Бакаєв та Ізюмський шляхи.

Перекоп — перешийок, що з'єднує Кримський півострів з материком; оточений затокою Сиваш та Азовським морем; його ширина —30 км.

Самара — річка, ліва притока Дніпра, впадає коло Запоріжжя.

Ногайские татары — мали свою державу — Ногайську орду, яка виділилась із Золотої Орди наприкінці XIV — на початку XV ст. Займала величезну степову територію від Волги до Іртиша північніше Аральського й Каспійського морів.

Илья Муромец — богатир, герой київського циклу билин.

...как было с Матюхою Башкиным да с дьяком Висковатовым...— боярського сина Матвія Башкіна з товаришами, а також дяка Івана Висковатого, ігумена Троїцького монастиря Артемія, архімандрита суздальського Спасо-Єфимієва монастиря Феодорита церковний собор під головуванням митрополита Макарія 1554 р. обвинуватив у різного роду єресях і розіслав по монастирях на покуту, а Висковатого — на трирічне церковне покаяння.

Митрополит Макарий — Макарій (1482—1563) — російський митрополит (з 1542 р.), письменник, редактор «Четей Миней» та «Степенной книги».

Данилов монастырь — заснований 1282 р. князем Данилом Олександровичем на південній околиці Москви, захищав місто від набігів татар. З середини XIX ст.— місце поховання діячів російської культури. Нині повернутий православній російській церкві.

...в праздник чудотворца Николая (летнего) — 9 травня за ст. ст.

Ненасытица — Ненаситець — найбільший кам'яний поріг на Дніпрі, нині схований під водою, піднятою греблею Дніпрогесу.

Ислам-Кермен — турецька фортеця в пониззі Дніпра, неподалік від нинішньої Каховки.

...один из новокрещеных касимовских татар.— Касимовське царство — удільне князівство на р. Оці (XV — XVII ст.); московські царі «виділяли» його татарським царям, які, починаючи від казанського царевича Касим-хана (? — бл. 1469), ставали до них на службу.

Солейман — Сулейман I Кануні (Сулейман Розкішний) (1495—1566) — турецький султан (1520—1566), шляхом загарбницьких війн домігся найбільшої могутності Османської імперії.

Альма — річка в Криму, на якій стоїть Бахчисарай — тодішня столиця Кримського ханства.

Орель — річка, ліва притока Дніпра.

Ворскла — річка, ліва притока Дніпра (нині впадає в Дніпродзержинське водосховище).

Рыльск — місто на р. Сейм, відоме з 1152 р.; нині райцентр Курської обл.

Царь разделил свое государство на опричнину и земщину.—1565 р. Іван IV з метою викорінення боярської «крамоли» розділив територію Російської держави на дві частини; до опричнини — царського уділу зі своїм військом — опричниками, не підсудними боярській владі фінансами,— одійшли Можайськ, Вязьма, Суздаль, Козельськ, Бельов, Перемишль, Великий Устюг, Вологда, Каргополь тощо; цар оселився в Александровській слободі. З цієї території виселялися боярські роди, що підірвало могутність земельної аристократії. Земщиною вважалися всі інші землі; лише деякі (Костромський повіт, Обонезька і Бежецька п'ятини Новгорода й Торгова сторона в Новгороді) то переходили до опричнини, то поверталися до земщини. Керували земщиною боярська дума й територіальні прикази (канцелярії); її військом були земські полки. Цей поділ було тимчасово скасовано 1572 р., відновлено 1575—1576 рр. з постанням нової боярської опозиції; остаточно скасовано зі смертю Івана IV 1584 р.

Ливны — містечко, відоме з XII ст.; нині райцентр в Орловській обл. РРФСР.

Новосиль — місто на р. Зуші, відоме з 1155 р.; нині райцентр в Орловській обл. РРФСР.

Соловки — Соловецький монастир — монастир-фортеця на Соловецьких островах Білого моря, заснована в XV ст.; місце заслання опальних бояр та церковників.

Серпухов — місто-фортеця на р. Оці, відоме з XIV ст.; нині місто Московської обл. РРФСР.

...с крещеным царем казанским... — після взяття Казані 2 жовтня 1652 р. казанського царя Касанвіча було вихрещено й названо Сімеоном.

Юрьев — Юр'єв — російська назва лівонського міста Дорпата (Дерпта, 1224—1893); нині — м. Тарту, Естонія.

Ругодив — літописна назва лівонського м. Нарви.

Голіаф — біблійний лютий велетень, переможений молодим Давидом.

Александровская слобода — резиденція Івана IV Грозного (грудень 1564—1572); тут з катівнею та собором парадоксально співіснувала друкарня, де 1577 р. видрукувано Псалтир. Нині — м. Александров на р. Сірій, райцентр Володимирської обл.

Царские жильцы — люди, що, перебуваючи на царській службі, були увільнені від оподаткування, на відміну від служилих людей, які мали сплачувати податки.

Скуратов Малюта — Скуратов-Бєльський Григорій Лук'янович (? — 1573) — боярин-опричник, головний провідник політики терору, кат Новгорода (1570). Загинув у бою в Лівонії.

Мамстрюк Темрюкович (? —70-і рр. XVI ст.) — син Темрюка Айдарова, старшого князя Кабарди, брат цариці Марії Черкаської, другої дружини Івана IV.

Переславль-Залесский — центр древньоруського князівства, місто на березі Плещеєва озера, з 1302 р. перебувало у складі Московського князівства.

Писано-бо: «Аще не возненавидит отца своего и матерь...» —Євангеліє від св. Луки, р. 14, вірш 26.

...во время херувимской — херувімської пісні: «Иже херувимы тайно образующе...»

Жиздра — річка, ліва притока р. Оки.

Филипп — Количев Пилип Степанович (1507—1569) — російський митрополит (з 1566 р.). За публічні протести проти репресій скинутий (1568 р.) і, за наказом царя, задушений.

Костомаров, Самсон — дворянин, предок автора, про якого він писав у автобіографії: «При Иване Васильевиче Грозном сын боярский Самсон Мартынович Костомаров, служивший в опричнине, убежал из Московского государства в Литву, был принят ласково Сигизмундом-Августом и наделен поместьем в Ковельском [?] уезде... Внук Самсона, Петр Костомаров, пристал к Хмельницкому и после Берестецкого поражения... потерял свое наследственное имение... Костомаров, вместе со многими волынцами,

приставшими к Хмельницкому, ушел в пределы Московского государства... Так начался Острогожский полк...»[1]

Василий III Иванович (1479—1533) — великий князь московський (з 1505 р.), син Івана III Васильовича й Софії Палеолог.

Соломония — Соломонія (або Соломоніда) Сабурова, перша дружина Василія III, відіслана до монастиря.

...а новая государыня...— друга дружина Василія III Глинська Єлена Василівна (? —1538), дочка князя Василія Львовича Глинського, мати майбутнього Івана IV й регентша Російської держави при малому великому князеві (1533—1538). Здійснила ряд реформ, спрямованих на централізацію держави.

Угра — річка, ліва притока р. Оки.

Оптин монастырь — Оптина пустинь (або Введенська) — чоловічий монастир під м. Козельськом, заснований в XIV ст. Оптою (Макарієм).

Калуга — місто на р. Оці, відоме з 1371 р.; нині — центр Калузької обл. РРФСР.

Лихвин — місто на р. Оці, з 1944 р. має назву Чекалін, в Тульській обл. РРФСР.

Венев — Веньов, місто на Тульщині, відоме з 1400 р. Нині — райцентр в Тульській обл. РРФСР.

Рязань — місто на р. Оці, відоме з 1096 р. під назвою Переслав-Рязанський; нині центр Рязанської обл. РРФСР.

Путивль — місто на р. Сейм на кордоні Російської держави; відоме з 1146 р.; нині — райцентр Сумської обл. УРСР.

Елец — місто на р. Тиха Сосна (нині — Сосна), відоме з 1146 р.; нині — райцентр у Липецькій обл. РРФСР.

Коломна — фортеця коло впадіння р. Москви в Оку, відома з XII ст.; нині — райцентр у Московській обл. РРФСР.

Радуницкий монастырь (Радуницкий-Николаевский или Радовицкий) — чоловічий монастир, розташований на північний захід від Рязані коло сіл Радовиці та Сужної Слобідки, на озері Святе — між лісів і боліт. Заснований близько 1584 р.

Пронск — колись місто на р. Проні, відоме з XII ст.; нині — райцентр в Рязанській обл. РРФСР.

Зарайск — фортеця на р. Осетр, відома з XIII ст. Нині райцентр Московської обл. РРФСР.

Муром — місто на р. Оці, відоме з 862 р.; центр Муромо-Рязанського (з 1097 р.), а згодом — Муромського (XII — XV ст.) князівства. Нині — райцентр у Володимирській обл. РРФСР.

...новый дворец... за Неглинною...— На початку 1655 р. «...вместо

[1] Литературное наследие... Н. И. Костомарова.— С. 3—4.

Кремля царь приказал строить себе другой двор за Неглинною (между Арбатскою и Никитскою улицами)...»[1].

Собакина Марфа Васильевна (? —1573) — третя дружина Івана IV; захворівши ще до одруження, померла через кілька днів після нього.

Клин — місто, відоме з 1234 р.; нині — райцентр Московської обл. РРФСР.

Торжок — місто на р. Тверца, відоме з 1139 р.; нині — райцентр в Калінінській обл. РРФСР.

Данков — місто на р. Дон, засноване у 1571 р.; нині райцентр у Липецькій обл. РРФСР.

Оскол — річка, ліва притока Сіверського Дінця.

...сокровища Соломоновы...— Соломон — цар Ізраїльсько-Іудейського царства (965—928 рр. до н. е.), син царя Давида. Уславився мудрістю й багатством.

Бельский, князь — Бельський Іван Дмитрович (? —1571) — воєначальник, учасник Лівонської війни (1558—1583), кримських походів; перший боярин в земщині.

Коломенское — село під Москвою, де знаходилася царська садиба; вперше згадується 1339 р. Нині — державний історико-архітектурний музей-заповідник «Коломенське».

...праздник Вознесения...— християнське свято на честь вознесення на небо воскреслого Ісуса Христа; святкується на 40-й день після Великодня.

...потрясали ее скопища Стеньки Разина, Булавского, Некрасова, Пугачева и иных...— йдеться про селянсько-козацькі повстання С. Разіна (1670), К. Булавіна (1707—1708), одним з керівників у якого був донський отаман Ігнат Некрасов (Некраса,) О. І. Пугачова (1773—1775).

СОРОК ЛЕТ

Народная
малороссийская легенда

Вперше надруковано окремим виданням: Н. Костомаров. Сорок лет (Малороссийская легенда).— М.: изд. редакции «Газеты А. Гатцука», 1881.

Подається за цим текстом.

Датується за авторською приміткою до тексту окремого видання: «Написано по-малорусски в 1840 г. Переведено по-русски в 1876 г.».

Перший розділ первісної, української редакції, який значно відрізняється від російської, зберігся в копії рукою О. О. Корсуна (ЦНБ АН УРСР, Відділ рукописів, І, 1895); на зшитку пізніший напис олівцем, ймовірно, рукою А. Л. Костомарової: «Сорок лет, начало малорусской легенды, написано в молодых летах. Находилось у Александра Александровича Корсуна». Подаємо цей текст:

---

[1] Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей.— Спб., 1912.— Кн. 1.— С. 379.

СОРОК ЛІТ

Українська мирянська казка

I

Ой, як тяжко убогому
Багату любити!
Пісня

Були собі парубок та дівка. Парубка звали Степанком, дівку — Ганною. Ганна була дочка заможного мужика; Степанко був бідний сирота. Степанко жив у небагатого дядька і працював йому мість наймита; Ганна господарювала за матір'ю хатами й коморами. Ганна була дівка гарна, гожа станом, як тополя, вродою ладна, як рожа, брови у неї чорні, очі такі, що хоч скільки не цілуй, так же ще хочеться. І Степанко був хлопець не простий: бравий, чорноусий, білолиций, розумний, звичайний, голінний. Жили вони у одній слободі, а бачились дітьми рідко. Та от уже вони й не діти: не тим не діти, що Степанкові од роду двадцять літ, а Ганні шістнадцять; а тим, що раз, ідучи до церкви на Літнього Миколу, Ганна подивилась на Степанка і почервоніла, а Степанко подививсь на Ганну і увесь поблід. І з тій пори Степанкові часто на думку приходила Ганна, а Ганні — Степанко. Потім, ідучи з церкви на Вшестя, Степанко моргнув на Ганну, а Ганна осміхнулась на Степанка; і з тій пори Степанкові так і лізла в вічі Ганна, а Ганні — Степанко. Напослідок, раз Ганна гралась в танку з дівчатами, туда вбрався і Степанко з хлопцями. Якось у гурбі, мов ненароком, Степанко поцілував Ганну, а Ганна ускубнула Степанка: і з тій пори Степанко полюбив Ганну, а Ганна Степанка.

Днів через три після того вийшли на улицю дівчата. Ганна преж ніколи не ходила, бо батько не пускав, хоч дівчата і прохали її, говорячи: «Ганночко, голубочко, сестричко, вийди до нас на улицю». А лучилось, бач, так, що Ганнин батько кудись поїхав (а він купцював), так мати й пустила її, говорячи: «Іди, Ганночко, донечко, погуляй собі легесенько». От Ганна й пішла. Там діялось, звісно, що діється на улиці. Там був і Степанко. О саму північ, не знаю, якось так лучилось, що мість слободи, де збиралась улиця, Ганна з Степанком опинились за річкою, біля кузні, де Ганна, взявши рукою за плече Степанка, співала:

Ой місяцю-місяченьку, зайди за комору,
Хай я з своїм милесеньким трошки поговорю!

А Степанко, положивши Ганні на колінки руку, цілував її в гарячі щоки, і його поцілунки були наче музика до Ганниної пісні. Там Степанко сказав, що довіку до суду не буде нікого любити, пріч Ганни, а Ганна сказала, що ні за кого не піде, пріч Степанка. Тут же сказала вона, щоб він прийшов до неї ввечері до саду, а вона тим часом поговорить з матір'ю, як Степанкові сватать її йти.

Андрій (так звали Ганниного батька) був чоловік, яких багато споткається по багатих селах. Нажив собі копійчину іспершу тим, що од батька ще осталось йому удовіль; потім тим, що, торгуючи то хлібом, то сіллю, то скотиною, умів коли що придбати, коли спустити з рук; а більш усього розбагатів він тоді, як один рік був неурожай, а у його хліба було довіль, та ще прикупив та й продавав по дорогій ціні. Ходив він у синьому жупані, плисових штанях, шкапових чоботях; страх не любив тих, що ходять у білих свитах. Не знавсь з мужиками, а все з купцями, та попами, та панками. Часто служив молебні Божій Матері, курив по неділях рясним ладаном. Мав срібні ложки, тарілки, самовар, чотирнадцять образів, дзеркало і поміст у хатах і кімнатах і часто, сидячи крій віконця з яким-небудь письмоводителем і п'ючи чай, шкалював з людей, що ходили по улиці, і поприкладував усім свої мена́ в слободі. Був він письменний і хвастався, що дуже зна службу святу, говорячи, що один раз диякон питав його десь у кунпанії: «Чи говорить коли на службі диякон «Во віки віков?» Так усі сказали, що ні. «А я,— каже,— зараз і сказав: «Тоді говорить, як проспівають «Господи, спаси благочестивые и услыши ны». З жінкою і дочкою обходивсь як пан, хоч і давав волю по хазяйству, а при йому рота роззявить не сміли і сісти без його приказу; і ласкавого слова ніколи їм не скаже. Такий був Андрій.

Ганна знала натуру свого батька і не стала говорить об Степанкові, та й нічого було, бо він їй і речі докінчити не дав би. А сказала вона своїй матері, жінці простій, котра не дуже любила старого. Мати пішла раятися до ворожки. Ворожка веліла прийти самій Ганні і сказала їй так:

— Батько твій оддасть тебе за Степана, тільки треба, щоб Степанко явився до його у жупані, наче багатій.

— Як же можна,— питала Ганна,— де йому взяти жупана? Та хоч би де і взяв, батько зна, що він бідний!

— Хай скаже, що скарб знайшов, батько йому й повірить. Ну, та мені все рівно; я тільки що знаю, то й кажу. То як самі знаєте.

Говорила довго об сім Ганна матері, думала довго й сама і рішила сказати Степанкові. Наступила ніч. Степанко прийшов на те місто, куди йому веліла Ганна. Прийшла і коханка, обняла його, уздихнула і сказала:

— Ох, Степанку мій любий! Полюбила я тебе, а тепер і сама не рада!

— Як, моє серденько?

— Не знаю, що й діяти на світі! Батько у мене чоловік багатий та

суровий: не тільки не захоче мене оддать за тебе — і пікнуть не дасть! Мене ж ще приб'є, а ти і в двір не ходи — ломакою прожене!

Степанко випустив із рук Ганнині руки, взявся за голову і сів на землі, а вона стала біля його.

— Ні, Ганно, а вже он що я бачу: ти з мене посміялась тільки. Бодай же тебе сей та той, а я тебе і люблю, й любитиму. Прощай! Піду світ за очима!

— Стривай, голубчику, не сердись, мій миленький, мій любий, не гнівися дурно на мене! Не утікай! Я над тобою ніколи й не думала сміятись. Се ти, мабуть, надо мною сміявсь, коли так кажеш!

І попрікали вони друг дружку. Напослідок Ганна сіла біля його і розказала, що казала ворожка.

— Де́ вже,— каже Степанко,— об тім і говорить, чого не можна зробити!.. Ні, Ганно, мабуть, не бути мені твоїм, а тобі моєю! Прийдеться розлучитись, як дві хмари, що на часинку зійдуться докупи, а вітер повіє і розжене їх... Пропали тепер літа мої зо світу! Ох, праведно кажеться, що трудно убогому багату любити!

— Серденько моє,— одказує йому Ганна,— що хочеш, роби, хоч украдь де-небудь, тільки зроби так, як ворожка сказала... З добрими людьми порайся; як знаєш, так і роби, тільки, крий Боже... я сама собі смерті заподію, коли ти мене не озьмеш! — І зглянула вона на його наче страшно; потім і каже: — Мені й тобі не жити, коли не так!

І пішла з городу. Степанко ж довго сидів, не тямлячи себе, потім, як уже світати починало, встав, надів шапку і пішов.

Куди ж він пішов? Туди, де добрії люде від туги лічуться,— в шинок. Степанко не пив преж горілки; а хоч і пив, так мало, а тепер хтозна-що на його найшло. «Піду,— каже,— нап'юся п'яний та й спатиму, абощо: хоч трохи сеє лихо позабуду!» От і пішов і прийшов. Сидять в шинку три чоловіка: один — Семен Швець, другий — Мосій Коваль, третій... Йменння християнського він не стóїть, та ніхто у селі й не знав, як його піп хрестив, бо він був захожий; а звали його Придибалка. Перед їми вертілась якась молодиця. Придибалка був ватажок усіх ворів, злодіїв, розбійників і п'яниць на селі. Ума у його було до сукиного сина, а того, що зоветься совістю,— ні на копійку. Добрі люде плювали, як зустрінуть його: і справді, що то була за мерзенна тварь така!.. В церкву не ходить, в піст їсть м'ясо, зводить жінок та дівчат — не для себе, а для кунпанії, науча людей на всяке злеє, і таку натуру мав, що хоч кого, так улестить та умовить, і вже хто хіба що його не послуха. Сам завсегда у стороні: підведе на худе кого-небудь, і той після постражда, а він собі регочеться. Скільки через його поробились старцями! Скільки жінок і матерей по його підмовам покúдали мужиків і дітвору і пішли на розрішеніє! Скільки хлопців, що були б хорошими людьми, зробились через його ледачими і опісля вже каялись, а його проклинали!.. І на вид гидкий був: пика йому червона з пістряками; ніс широкий, цвіту такого, як недоспіла слива; очі сірі і бігають, як два огонька на болоті; сам

рижий, сутуловатий, колінки наче підломлені,— такий був поганий, що й сказати не можна. Він не з села був родом, а відкілясь захожий, поселивсь тута років з п'ять, сам-один, без жінки, край слободи. До його в слободі жили чесно, примірно, приязно; як же він поселився — наче Бог прокляв ту землю: кожен день люде лаються та деруться, дружка дружку обманюють, крадуть, в сім'ях нема ніде порядку: сини скубуться з батьками, матері з дочками та невістками, дівчата продають себе проїжджаючим... Уже й суд приїздив мертві тіла свідкувати, що находили коло слободи, і об піджогах. До того ще й Бог посилав усякі лиха на людей: то неврожай, то болісті,— так що преж слобода була хоч куди, а тепера звелась ні на віщо. А все з тої пори, як Придибалка в ній поселився.

Семен Швець був собі чоловік на одно око сліпий, лисий, товстовидий, з довгими усами; жінку свою звів зо світу отрутою,— і жінка дуже добра була! Сам пив, волочився, кожен день у шинку гуляє, а ніччю кудись одлучається з слободи.

Мосій Коваль, тридцять літ от роду, носив синій камдзьол з мідними гудзиками, тяжинні штани і проділене по-московськи волосся. Говорив, усе стараючись накидати по-московськи. Грав на скрипці пісню «Чем я тебя огорчила» і дуже бришкав тим, що знав хороше музику. У його була жінка молода, тільки його не любила, а пустилась *во вся тяжкая;* за те і він не дуже її кохав і сам розрішав. Нажив він собі копійчину, тільки не ковалюванням, а тим, що усе крутивсь коло постоялого (він же й шинок) і виглядував багатих панів, щоб підсусідитись до коляски, коли візниця поведе коней наповати, а лакей засне під повіткою, та що-небудь стягнути; та молодих купценків, щоб піддружитись до їх та почастувати чим-небудь таким, від чого б гроші йому перепадали. Із Семеном Шевцем жив він гарно. Про молодицю і говорить нічого.

Тоді, як Степанко увійшов у шинок, Мосій грав на скрипиці, прибиваючи ногою; молодиця плясала, співаючи пісню «Пішла мати до Києва», Семен підтягував, а Придибалка тягнув горілку. У таку кунпанію вбрався наш Степанко. Мовчки, ні на віщо не дивлячись, нічого не слухаючи, сів він в конець стола, налив собі чарку, покуштував, повісив голову і підперся об стіл локтями.

— Гей, здоров был, пан Степан,— гукнув на його Коваль,— ай ты хворай, што ля? Насилу ты прийшов к нам! А мы вот как хатели тебя пабачить! Ну што ж! Гуляти да пісеньку співати!

Семен Швець поглядів на його, хотів був щось сказати й замовк. Придибалка подививсь на його кошачими очима. Степанко встав і давай усміхатись і вигадувать дещо... От хіба натура чоловіча, панове! У журбі хочеться здаватись веселим, а у радості насуплюєш брови. Степанко, для которого цілий світ здавався з лушпин оріху, сміявся з Ковалем і Шевцем (хоч Швець і не охочий був сміятись, а тільки за кунпанію), і ні Швець, ні Коваль не взяли догадки об його журбі. Один Придибалка взяв його стиха за руку і сказав:

— Жалко мені тебе, братику, ну, та ти ще не зусім пропав!

— Як не пропав?! — закричав, як дубом пришиблений, Степанко.— Брешеш, вражий сину!

Тоді і Швець, і Коваль обернулись до його з попитками.

— А нащо вам? — казав їм Степанко.— Ви мені не пособите!

— Душею поділимося,— кричав Коваль,— для такого приятеля останню сорочку здійму!

— А, ну тебе! — сказав йому Придибалка.— Ідіть собі з Гапкою, а то вже пізно. Гапко, веди лиш своїх бахурів відсіль, а ми побалакаємо.

І Гапка, взявши Шевця одною рукою, другою взяла Коваля, і всі почали плясати й співати московської пісні:

А барыня пошла спаты,
За барыней два салдаты.

І поперлись із шинка. Оставсь один Степанко з Придибалкою.

Придибалка почав його розпитувати, Степанко йому розказав усе горе. Придибалка взяв його за руку і каже:

— Не бійсь, усе буде по-нашому. Найдемо скарб справжній і жупанів готових, і ти озьмеш за себе свою коханку.

— Батько рідний! — сказав Степанко.

— Синку любий! — сказав Придибалка, і обнялись вони собі.

Потім Придибалка каже:

— Ходім же тепер додому, та там я тобі скажу, як зробити.

І пішли вони до Придибалки.

Писано-бо: «Аще разрешите на земли, разрешено будет на небеси» — Євангеліє від св. Матвія, р. 16, вірш 19.

«Блаженны нищии духом: тех-бо есть царствие божие!» —Євангеліє від св. Луки, р. 6, вірш 20.

...о жене, пролившей драгоценное миро на Господа, которую Иуда укорил; а Господь сказал: «Нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда» —Євангеліє від св. Матвія, р. 25, вірш 6—11.

...не уподобись Ананию и Сапфире.— Притча про подружжя, яке продало свій маєток, але, віддаючи гроші апостолам, приховало щось для себе. Почувши докір св. Петра, вони одне за одним померли (Дії святих апостолів, р. 5, вірш 1—11).

«Имейте веру божию, и аще речете горе сей: «Верзися в море»,— будет по глаголу вашему» —Євангеліє від св. Матвія, р. 17, вірш 19—21.

Видно, ты уподобляешься тому богачу...— Йдеться про багатого й доброчесного юнака, який чесно виконував усі заповіді, але зажурився, коли Ісус поставив умовою повної досконалості роздати убогим усі свої добра (Євангеліє від св. Матвія, р. 19, вірш 16—26).

ХОЛУЙ

Эпизод из историческо-бытовой русской жизни первой половины XVIII столетия

Вперше опубліковано у газ. «Новое время», 1878, №№ 662, 664, 669, 673, 676, 679, 680, 686, 687, 690, 697, 700, 704, 708, 715, 717, 721, 728, 731, 734 під редакторською назвою «Холоп».

Подається за окремим виданням: Н. И. Костомаров. Холуй. Эпизод из историческо-бытовой русской жизни первой половины XVIII столетия.— Спб, 1885.— С. 326.

Датується за першодруком, орієнтовно: 1878, Петербург.

Відомий російський літературознавець і добрий знайомий Костомарова О. М. Пипін, упорядник «Литературного наследия... Н. И. Костомарова» (Спб., 1890), де вміщено й бібліографію його публікацій, пише стосовно повісті: «Отдельное издание вышло в 1886 г.[1] под первоначальным названием «Холуй», так как, противно желанию автора, по желанию редакции «Нового времени», оно было заменено названием «Холоп». Отрывок этого же рассказа, с названием «Холуй», был помещен в «Газете Гатцука» 1883 г., №№ 50 и 51» [2]. Таким чином, бачимо, що автор висловив свою волю стосовно назви повісті двічі — при публікації уривка її в газеті та окремим виданням.

...когда основатель Петербурга только что закрыл глаза и его гроб стоял в деревянной церкви Петропавловского собора...— Петро I помер 28 січня 1725 р., похований в Петропавловському соборі фортеці, якій він дав назву «Санкт-Петербург», а день початку її будівництва —16 травня 1703 р. вважається днем заснування міста. Того ж року почалося й будівництво дерев'яної церкви Петропавловського собору, пізніше заміненої кам'яною (завершено 1733 р., архітектор Д. Трезіні).

...дворец Меньшикова с огромным садом, тянувшимся по нынешней Кадетской линии...— палац, розміщений на подарованому Петром І Меншикову Васильєвському острові, є однією з перших будівель міста (1710—1714, архітектор — Д. Фонтана). Пізніше там розміщувався шляхетський, потім — кадетський корпуси; нині — філіал Ермітажу. *Меншиков* Олександр Данилович (1673—1729) — російський державний і військовий діяч, генерал-фельдмаршал (з 1709 р.), генералісимус (з 1727 р.), перший генерал-губернатор Петербурга.

...дворец царицы Прасковьи, вскоре потом обращенный в здание Академии наук — палац цариці Прасковії Федорівни, дружини царя Івана Олексійовича, старшого брата Петра І, містився на стрілці Васильєвського острова; не зберігся.

---

[1] Друкарська помилка — треба: 1885 р.

[2] Литературное наследие... Н. И. Костомарова.— СПб, 1890.— С. 515.

...каменная церковь Воскресения... — церква Воскресіння Христова збудована на березі Великої Неви на стрілці Васильєвського острова.

...в мятежный день 15 мая 1682 года... — 15—17 травня 1682 р. московські стрільці повстали проти утисків з боку бояр-воєначальників; це повстання використали бояри Милославські, родичі першої дружини царя Олексія Михайловича — Марії Іллівни, для розправи з Наришкіними — родичами другої його дружини Наталії Кирилівни, матері десятирічного Петра I, щойно — разом із старшим братом Іваном Олексійовичем — обраного царем. На очах Петра були вбиті багато його родичів, а також близькі вельможі А. С. Матвєєв, І. М. Язиков, Ю. О. Долгорукий та його син Михайло, Г. Г. Ромодановський та ін. Інтереси стрільців представляв новий (після вбитого Ю. О. Долгорукого) начальник Стрілецького приказу І. А. Хованський. В результаті царями стали Іван та Петро, а справжньою правителькою-регентшею — царівна Софія Олексіївна, сестра Петра та Івана. 17 вересня Хованських скарано на горло, повсталим обіцяно амністію, і цим упокорено.

Воцарилась Екатерина — Катерина I Олексіївна (1684—1727) — російська імператриця (з 1725 р.); дівоче ім'я — Марта Скавронська, дочка литовського селянина. Друга дружина Петра I. Після його смерті її звели на престол гвардійські полки, очолені О. Д. Меншиковим, який став фактичним керівником держави.

...в Москве... на углу Тверской улицы и Охотного ряда... — Тверська — до 1932 р. частина вул. Горького від сучасного проспекту Маркса до площі Маяковського; Охотний ряд — торговий ринок; в XVII ст. знаходився на місці сучасного Кремлівського пр.

...чтобы Макаров был безукоризненный Аристид... — Макаров Олексій Васильович (1674 або 1675—1750) — російський урядовець, кабінет-секретар Петра I, вів секретну документацію; при Катерині I — таємний радник. Аристид (540—467 до н. е.) — афінський полководець і державний діяч, уособлення громадянських чеснот.

...не хуже Меншикова, Апраксина, Шафирова, Долгорукова... — Апраксін Федір Матвійович (1661—1728) — граф, генерал-адмірал, шваґер царя Федора Олексійовича, з 1682 р.— стольник при Петрі I, з 1700 р.— головний начальник Адміралтейського приказу, з 1717 р.— президент Адміралтейської колегії. Шафіров Петро Павлович (1669—1739) — російський дипломат, активно здійснював зовнішню політику Петра I, прибічник війни зі Швецією за оволодіння Балтійським морем; 1737 р. брав участь в укладенні Немирівської угоди. Долгоруков Олексій Григорович (? — 1734) — державний діяч, смоленський губернатор (з 1713 р.), президент головного магістрату (з 1723 р.), сенатор; помер у Березові, засланий імператрицею Анною Іоаннівною.

...портреты... Людовика XIV, польского короля Августа и прусского короля... — Людовік XIV (1638—1715) — французький король (з 1643 р.), втілення абсолютизму, войовничості, егоцентризму. Август II Сильний

(1670—1733) — саксонський курфюст (з 1694 р.), польський король (1697—1706, 1709—1733), союзник Петра I в Північній війні 1700—1721 рр. Прусський король — Фрідріх Вільгельм I (1688—1740), на троні з 1713 р.; мав прізвисько «фельдфебель на троні».

Ингерманландия — Інгрія, або Іжорська земля,— узбережжя Неви й Фінської затоки, що входило до складу новгородської Водської п'ятини, населене здавна фінськими народностями, пізніше — новгородцями. Міста — Іван-город, Копор'є, Ям, Орішок (пізніше — Шліссельбург). У 1702—1704 рр. завойована Петром I, перетворена в однойменну губернію під орудою О. Д. Меншикова. До неї увійшли ще й Новгород, Стара Русса, Псков і низка малих міст; з 1712 р. іменувалася Санкт-Петербурзькою губернією.

Герцик Агрипіна Іванівна (дівоче прізвище Левенець; (рр. н. і см. невідом.) — дочка одного з управителів Генеральної Войськової канцелярії, дружина І. П. Герцика, прибічника І. С. Мазепи. З 1712 р. поселена у Москві, де жила ще 1727 р.

Полуботок Павло Леонтійович (бл. 1660—1723) — чернігівський полковник (1706—1722), генеральний бунчужний, наказний гетьман Лівобережної України (1722—1723); очолив верхівку старшини, яка прагнула відновити гетьманщину, скасувати всевладний орган царського управління Україною — Малоросійську колегію (1722—1727; 1764—1786). Викликаний за наказом Петра I до Петербурга, був заарештований, помер в казематі Петропавловської фортеці. Однією з художніх інтерпретацій його долі є епізод коло пам'ятника Петру I в поемі Т. Шевченка «Сон» («У всякого своя доля...»).

...местнические счеты покончились еще при царе Феодоре, брате царя Петра Алексеевича.— Федір Олексійович (1661—1682) — російський цар (з 1676 р.), син Олексія Михайловича і його першої дружини Марії Іллівни Милославської; серед проведених ним антифеодальних реформ була й ліквідація місництва, було спалено розрядні книги, де велися ієрархічні списки урядовців та воєначальників; при ньому ж 1681 р. укладено Бахчисарайський мир між Росією й Туреччиною, за яким Україну поділено між обома державами: до Росії відійшли Лівобережжя, Київ, Васильків, Трипілля, Дідівщина, Радомишль, влада над Запорожжям; до Туреччини — Південна Київщина, Поділля, Брацлавщина. Землі між Дніпром і Південним Бугом мали залишатися незаселеними.

...на Петербургский остров, где находился Гостиный двор — між кронверком Петропавловської фортеці (на схід від неї) та Руською слободою.

...либо на Адмиралтейский, где заводился другой — в центральній частині міста коло Адміралтейської верфі.

...к пристани у Мытного двора.— Митний двір знаходився із західного боку Петропавловської фортеці на березі Малої Неви.

...две слободы морские завел — Большую и Малую — обидві слободи

містилися на південь від Адміралтейської верфі (пізніше — район Великої та Малої Морських вулиць).

Русская слобода — в часи Петра I знаходилася на Петербурзькому острові на березі Малої Невки (потім вулиці Велика Посадська, Велика Ружейна, Велика Монетна).

...дом губернатора Корсакова...— знаходився на північний схід від Петропавловської фортеці.

...после Ништадского мира шведы ушли в отечество.—30 серпня (10 вересня) 1721 р. укладено Ніштадський мирний договір, яким завершилася Північна війна (1700—1721). За ним до Росії відійшли Ліфляндія, Естляндія, Інгерманландія, частина Карелії та Моозундські острови; Росія відшкодувала Швеції 2 млн. єфимків та повернула частину Фінляндії.

...знаменитых братьев Долгоруковых, Василия и Михаила...— російські державні діячі, члени Верховної Таємної ради, сенатори.

Москворецкий мост — дерев'яний міст на палях через р. Москву; 1829 р. замінений мостом на кам'яних биках, а 1938 р.— сучасним мостом, що з'єднує Красну площу з вулицею Велика Ординка.

Каменный мост — Всехсвятський кам'яний міст (1692 р.) навпроти Боровицької брами Кремля, пізніше розібраний. 1859 р. на його місці збудовано Великий кам'яний міст, а 1938 р.— сучасний міст цієї ж назви.

...в каторгу на Рогервик...— Рогервік — бухта на західному узбережжі Фінської затоки в Естляндії, де з 1723 р. йшло будівництво закладеної Петром I фортеці й морського порту.

Дмитровка — нині Пушкінська вул. (з 1937 р.) та Чехівська (з 1944 р.).

Мясницкая улица — нині вул. Кірова (з 1935 р.).

...в Тайную поведут...— Таємну канцелярію і Преображенський приказ заснував на початку свого царювання Петро I як військове відомство; з 1702 р. перетворив його на таємну поліцію — туди відсилали тих, хто оголошував за собою «государево слово и дело»; а невдовзі приказ почав займатися переважно політичними справами. Керував ним князь Ф. Ю. Ромодановський (бл. 1640—1717). Слідство провадилося із застосуванням нелюдських катувань, при яких нерідко був присутній цар.

...воспитывался в Славяно-Греко-Латинской академии — перший вищий освітній заклад в Росії; утворена 1687 р. під назвою Елліно-Грецька академія на основі школи при Богоявленському монастирі у Москві; пізніше розмістилася в Заіконоспаському монастирі (нині — вул. 25 Октября, 7); 1701 р. зреформована в Слов'яно-Латинську; 1814 р. перетворена в Московську духовну академію й переведена в Троїце-Сергієву лавру (м. Загорськ). Першими викладачами були викладачі й вихованці Києво-Могилянської академії С. Полоцький, Є. Славинецький, С. Яворський та ін.

...Преображенский дворец — заміський царський палац на лівому березі р. Яузи, де пройшли дитячі роки Петра I; тут діяв один з перших

російських придворних театрів — т. зв. «комедійна хоромина»; коло палацу в приміщенні «потешной крепости» містився Преображенський приказ.

ЧЕРНИГОВКА

Быль второй половины XVII века

Вперше надруковано в журн. «Исторический вестник».—1881.— № 1.— С. 46—74; № 2.— С. 269—329; № 3.— С. 524—577.

Подається за виданням: Черниговка. Быль второй половины XVII века. Сочинение Николая Костомарова.— СПб., 1881.

Датується стосовно часу першої публікації, орієнтовно: 1880 р., Москва — Петербург.

Авторська примітка до заголовка вказує на документальну основу повісті: «Содержание взято из дел Малороссийского приказа, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции, кн. 46, л. 221—228». Документи опубліковані у виданні: Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России.— СПб., 1885.— Т. 13.—№ 54.— С. 217—222: «54. 1677, июля 17— августа 8. Дело о черниговке Анне Кусовой, похищенной черниговским воеводою Чоглоковым, искавшей помощи у Дорошенка и после производства дела переданной ему для отправления на ее родину».

Чернигов — місто на річках Десні й Стрижні, відоме з IX ст. За часів Київської Русі — центр Чернігівського князівства. З 1648 р., після визволення з-під влади Речі Посполитої — центр Чернігівського полку, створеного на початку народно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Сотенними містечками були Березна, Городня, Любеч, Мена, Понорниця, Седнів, Сосниця. В другій половині XVII ст.— також і резиденція чернігівського й новгород-сіверського єпископа.

Борковский Василий Кашперович — Дунін-Борковський Василь Касперович (Карпович) (1640—1702) — значний український військовий і державний діяч. Чернігівський полковник (1672—1687); генеральний обозний (1687—1702); був прибічником І. Самойловича й, пізніше, сприяв І. Мазепі в осягненні гетьманської влади, їздив з ним 1689 р. до Москви, де одержав царську грамоту на подаровані йому Мазепою маєтки. Дружиною його була дочка вибельського сотника Марія Степанівна Шуба.

Батурин — місто на р. Сейм, засноване в першій чверті XVII ст.; сотенне містечко батуринської сотні Ніжинського полку; у 1669—1708 рр.— резиденція гетьманів Лівобережної України. Нині — селище міського типу Бахмацького району Чернігівської обл. УРСР.

А вас, панове суддя і обозний, я покличу...— суддя й обозний належали до полкової козацької старшини: суддя вершив військовий суд; обозний відав артилерією; писар — канцелярією.

Виборні козаки — заможні козаки, що могли виставити до війська

озброєного вершника; інше козацтво вважалося підпомічниками, бо виставляло одного вершника від кількох козаків-підпомічників.

Пан гетьман ординує наш полк в Задніпре на Дорошенка...— Дорошенко Петро Дорофійович (1627—1698) — український державний і військовий діяч; черкаський полковник (1665); гетьман Правобережної України (1666—1676). Зробив спробу відновити спілку з Російською державою при умові скасування Московських статей 1665 р. та Андрусівського перемир'я 1667 р., але дістав відмову. 1669 р. підписав угоду з Туреччиною. 1672 р. Туреччина змусила Польщу укласти Бучацький мирний договір, за яким остання віддавала Туреччині Поділля, залишаючи південну Київщину й Брацлавщину під владою Дорошенка; але він не був ратифікований сеймом, і польсько-турецька війна тривала за участю російських військ та військ лівобережного гетьмана І. Самойловича на боці Польщі (на підставі Андрусівського перемир'я 1667 р. Росії з Польщею) проти П. Дорошенка і турецько-татарських загарбників. 1676 р. Дорошенко здав Чигирин, а сам переїхав до Сосниці, звідки невдовзі був відкликаний до Москви. Поставлений воєводою у Вятці (1679—1682). 1682 р. дістав у володіння с. Ярополче (пізніше — Волоколамського повіту Московської губернії). Похований в Ярополчому.

Ромодановский — Ромодановський Григорій Григорович (? —1682) — російський державний, військовий діяч, боярин, князь, керівник російських військ у російсько-польській війні 1654—1667 рр. Укладав Глухівські статті з гетьманом Д. Многогрішним; брав участь на раді в Переяславі 1659 р. і Ніжинській —1661 р., воював проти Ю. Хмельницького, П. Дорошенка. Вбитий повсталими стрільцями у Москві 1682 р.

Самойлович Іван Самійлович (? —1690) — гетьман Лівобережної (1672—1687) та Правобережної (1674—1687) України. Брав участь в боротьбі з гетьманом П. Дорошенком (1676), з турками й гетьманом Ю. Хмельницьким під час чигиринських походів 1677 і 1678 рр. Після невдачі походу російсько-українських військ на Крим 1687 р. його звинувачено в зраді на користь кримського хана й заслано до Сибіру.

Єлецький Успенський монастир — у Чернігові заснований у 60-х рр. XI ст. князем Святославом Ярославичем; в часи визвольної війни був одним із осередків антиуніатської боротьби.

Голятовский Иоанникий — Галятовський Іоаннікій (? —1688) — український письменник, громадсько-політичний та церковний діяч. Ректор Києво-Могилянської академії, ігумен Чернігівського Єлецького монастиря. Автор теолого-публіцистичних трактатів (пол. мовою) «Лебідь» та «Алькоран Магометів», збірки проповідей «Ключ розуменія...» та легенд «Небо новое...», активний борець проти унії, католицизму, магометанства.

Слобожанщина, слобідські полки — з XVII ст.— територія Російської держави: на Лівобережжі з другої половини XVI ст. оселялося слободами українське населення з Правобережжя, тікаючи від польсько-шляхетського

гніту. Московський уряд утворив тут у 50-х рр. XVII ст. слобідські полки — Острогозький (Рибінський), Охтирський, Сумський, Харківський.

«...Я новый черниговский воевода, недавно прибыл в ваш город по указу царскому на уряд...» — після Переяславської ради 1654 р. царський уряд посилав своїх воєвод спершу у найбільші українські міста, далі — особливо після вірнопідданського візиту гетьмана І. Брюховецького з старшиною до Москви 1665 р.— у багато міст України; свавільне поводження воєвод з міським населенням викликало народні заворушення,— особливо одностайним було повстання 1668 р., коли воєвод і збирачів податків було вигнано з багатьох міст, а кількох убито чи подаровано татарам [1]. Після Глухівської ради 1669 р., де за підтримкою Г. Г. Ромодановського гетьманом обрано Д. Многогрішного, в укладених тоді статтях цар Олексій Михайлович не погодився відмінити присутність воєвод і наполіг на тому, щоб вони лишилися у Києві, Переяславі, Ніжині, Чернігові, Острі.

...у преосвященного Лазаря...— Баранович Лазар (1620—1693) — український церковний, політичний діяч, письменник. Ректор Київського колегіуму (з 1650 р.); чернігівський і новгород-сіверський архієпископ (з 1657 р.); автор збірок проповідей «Меч духовний...» (1666), «Труби словес проповідних» (1674), спрямованих проти унії та католицизму, збірки поезій польською мовою «Лютня Аполлонова» (1671).

Петров пост — Петрівка, один з великих постів, розпочинався через тиждень після зелених свят і тривав до свята Петра і Павла, яке відзначалося 29 червня за ст. ст.

День — міра земельного наділу: кількість землі, яку можна виорати за день — приблизно три чверті десятини; день поділявся на упруги; упруг — ділянка землі, яку можна зорати однією упряжкою волів — приблизно чверть десятини.

...после разорения Чернигова, случившегося во время Батыя.—1239 р. Бату-хан (Саїн-хан) (1208—1255) зруйнував Чернігів.

...городовой атаман, десяцкие...— городовий атаман — виборний міський старшина; десяцькі — найнижчі урядовці, що виконували обов'язки міської поліції.

Косагов Григорий Иванович (рр. н. і см. невідом.) — наприкінці 50-х рр. XVII ст.— полковник. помічник командуючого російським військом на Україні боярина Г. Г. Ромодановського, стольник. Виконував наказ царя утримати силою запорожців у покорі урядові, але не досяг успіху й змушений був повернутися зі своїм загоном від Кодака на центральну Україну. Спільно з І. Самойловичем із 15-тисячним загоном стрільців обложив Дорошенка в Чигирині й разом з Полуботком прийняв присягу переможеного П. Дорошенка на вірність цареві Федору Олексійовичу.

Вуєхович (Воєхович) Михайло (рр. нар. і см. невідом.) — генеральний

---

[1] Маркевич Н. История Малороссии.— М, 1842.— Т. 2.— С. 160.

писар у канцелярії гетьмана П. Дорошенка; пізніше — генеральний суддя в уряді І. С. Мазепи.

Сірко Іван Дмитрович (між 1605 і 1610—1680) — запорозький кошовий отаман, сподвижник Б. Хмельницького; боровся проти І. Виговського, П. Тетері; після Андрусівського перемир'я 1667 р. підтримував П. Дорошенка, але розірвав з ним 1670 р. Відомий походами в Крим, облогою Очакова; з його іменем пов'язаний відомий лист до турецького султана Магомета IV (цей епізод зображено І. Рєпіним). Помер у Січі 1 серпня 1680 р. (підозрюють помсту кримського хана Мурада-Гірея, який за рік до того підмовив свого мурзу уночі зарізати кошового, але той був викритий; на цей раз, можливо, була використана отрута) [1].

...а потім і санжаки турецькі одослав на столицю в Москву...—1775 р. П. Дорошенко, бажаючи укласти спілку з царем, присягнув царю на вічне підданство в присутності донського отамана Фрола Минаєва, Івана Сірка, духівництва, а на доказ своєї вірності відіслав до Москви зі своїм тестем Павлом Яненком-Хмельницьким «турецкие санжаки»: бунчук и два знамени (означавшие прежнее подданство Дорошенка Турции, от которого он теперь совершенно отрекался)» [2] .

...попович барабашский...— так зневажливо називали гетьмана І. Самойловича за його походження: «Новоизбранный вождь был сын священника, прежде жившего на правом берегу Днепра, а потом перешедшего на левую, в местѣчко Старый Колядин» [3].

Нураддин —(? —1640) — султан Ногайської орди. На початку 1675 р. разом з турецьким воєначальником Ібрагімом-пашею вторгся в Україну і був розбитий польським королем Яном Собеським під Львовом.

...і Мазепа, наш прежній писар...— Мазепа Іван Степанович (1644—1709) — український державний і військовий діяч. Український православний шляхтич за походженням, дістав освіту в ієзуїтів у Полоцьку, служив при дворі польського короля Яна II Казимира, але 1669 р., після конфлікту з одним із магнатів, утік до П. Дорошенка. 1674 р. перейшов до І. Самойловича.

Дорошенко Михайло (? —1628) — гетьман реєстрових козаків (1625—1628), дід П. Дорошенка. Брав участь у Хотинській війні 1620—1621 рр., в повстанні гетьмана М. Жмайла 1625 р. Загинув при облозі Кафи (Феодосії).

Дорошенко Дорош Михайлович (рр. нар. і см. невідом.) — полковник козацького війська (1650); батько П. Дорошенка; бувши послом Б. Хмельницького у Варшаві, одержав від короля Яна-Казимира шляхетство (1660).

Яненко-Хмельницька Єфросинія Павлівна — дочка київського полков-

---

[1] Маркевич Н. И. История Малороссии.— М., 1842.— Т. 2.— С. 272.

[2] Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Второй отдел. Вып. 4.— СПб, 1874.— С. 313.

[3] Костомаров Н. И. Там же.— С. 309.

ника П. Яненка-Хмельницького, дружина П. Дорошенка. В червні 1677 р. перевезена до Москви до свого чоловіка проти власної волі.

...падишах потребовал... набора детей в янычары... — люта султанська гвардія — яничари — утворювалася із спеціально вихованих полонених хлопчиків, у тому числі й українських. «Несколько тысяч мальчиков, денежные суммы и награбленные пожитки были повергнуты Дорошенком к стопам Магомета IV...» [1].

Дорошенко Григорій Дорофійович (рр. нар. і см. невідом.) — брацлавський полковник (1668—1674), брат і сподвижник гетьмана П. Дорошенка; наказний гетьман (1668); був полоняником у Москві, звідки відпущений на Україну і оселений в Батурині (1677). Остання згадка про нього — жив на Україні у 1684 р.

...як турка під Кам'янець звав... — за угодою 1669 р. Дорошенка з султанською Портою, султан Магомет IV (Мухаммед IV) розпочав підготовку до війни з Польщею і влітку 1672 р. з 300-тисячною армією вирушив на Поділля; після тижневої облоги турками здобуто неприступний Кам'янець (Подільський).

...коли найперший владика митрополит благословив тебе на приязнь з турком — йдеться про патріарха константинопольського Паїсія, який «по султанскому повелению дал послам открытую грамоту, отлучающую от церкви и предающую анафеме всех непослушных гетману Дорошенку...» [1]

...зробить би з тобою, як зробив Богдан з другою жінкою... — «По одним известиям, вторая жена (Чаплинская.— *В. С.*) была убита его сыном Тимофеем, по другим — казнена им самим за преступную связь с часовым мастером, приставшим к нему в 1648 г. под Львовом, бывшим потом его домовым казначеем и обкрадывавшим гетмана. По третьим — он услышал о ее смерти в мае 1651 г. и тосковал» [2].

Хмельниченко Юрко — Хмельницький Юрій (Георгій Гедеон Венжик) Богданович («Юрась») — молодший син Богдана Хмельницького, гетьман України (1659—1663); 1660 р. під час війни між Росією і Польщею перейшов на бік Польщі, уклавши Слободищенський трактат; разом з поляками під Чудновом розбив загін В. Б. Шереметєва; 1663 р. зрікся влади й прийняв чернецтво; на Правобережжі гетьманом обрали П. Тетерю, за намовою якого польський уряд ув'язнив Хмельницького в Марієнбурзькій фортеці; по звільненні жив в Уманському монастирі; 1673 р. захоплений в полон татарами, став архімандритом одного з грецьких монастирів у Константинополі; турки змусили його взяти участь в походах на Україну 1677 і 1678 рр. (т. зв. чигиринських); 1685 р. турки вдруге призначили

---

[1] Маркевич Н. И. История Малороссии.— М., 1842.— Т. 2.— С. 180.

[2] Костомаров Н. И. Исторические произведения. Автобиография.— К., 1989.— С. 386.

Хмельницького гетьманом України, а через півроку стратили в Кам'янці (Подільському).

...нехай покуштує московського кнута, як Демко Многогрішний — Многогрішний Дем'ян Гнатович (рр. нар. і см. невідом.) — чернігівський полковник, гетьман Лівобережної України (1668—1672), обраний на старшинській раді у Новгороді-Сіверському; уклав з російським урядом Глухівські статті (1669), які цілковито позбавляли Україну самоврядування. Нещадно придушував селянсько-козацькі виступи; відзначився зажерливістю й користолюбством; був обвинувачений у зраді, скинутий з гетьманства старшиною, яка відвезла його до Москви. Там, на слідстві, його катували і, хоч не знайшли підтвердження обвинувачень, засудили на смерть, замінивши її ув'язненням в Іркутську (до 1688 р.). Потім там же служив у війську, а 1696 р. прийняв чернецтво.

Сомко Яким — Сомко Яків Семенович (? —1663) — прилуцький полковник (з 1652 р.), наказний гетьман (1660), прихильник союзу з Російською державою, спільно з якою у 1660—1662 рр. воював проти польських і кримських нападників; з 1662 р.— гетьман України; після Чорної ради 1663 р. скараний на смерть новим гетьманом — І. Брюховецьким.

Золотаренко Васюта — Золотаренко Василь Никифорович (? — 1663) — ніжинський полковник (1658—1663), прибічник угоди з Російською державою; боровся за гетьманську владу проти Я. Сомка та І. Брюховецького,— останній, діставши гетьманство на Чорній раді 1663 р., наказав стратити Золотаренка і Сомка.

Тукальский митрополит — Іосиф IV Нелюбович-Тукальський (? — 1675) — український церковний і політичний діяч, прибічник І. Виговського, Ю. Хмельницького; 1663 р. проголошений Київським митрополитом, але не визнаний духівництвом. Приєднавшись до П. Дорошенка, прийняв турецьке підданство.

Кочубей Василь Леонтійович (1640—1708) — генеральний писар (1687—1699), генеральний суддя (1699—1708). Після донесення Петру I про змову І. Мазепи з польським та шведським королями був виданий останньому й страчений. Похований в Києво-Печерській лаврі.

Кормчая книга (книги) — збірники церковних і — частково — громадянських законів і правил, що походять від візантійського Номоканону (VI ст.), доповнені статтями «Руської правди», уставами князів Володимира та Ярослава, правилами церковного Собору 1274 р. та ін. Священик міг користуватись нововиданими Йосифівською Кормчею книгою (1650) або Никонівською (1653).

Новгород-Сіверський — місто на Чернігівщині, центр давньоруського Сіверського князівства (з 1096); відоме з 1044 р. У 1674—1679 рр. тут працювала заснована на кошти Л. Барановича друкарня, де друкувалися букварі, навчальні посібники, твори І. Галятовського та Л. Барановича.

У 1782—1797 рр.— центр Новгород-Сіверського намісництва, потім — місто Малоросійської губернії.

...на праздниках Рождества Христова...—25 грудня за ст. ст.

...на праздник Богоявления...— збігається зі святом Хрещення; свято на честь явлення всієї божественної трійці при хрещенні Христа святкується 6 січня за ст. ст.

Дорошенко Андрій Дорофійович (рр. нар. і см. невідом.) — паволоцький полковник, брат П. Дорошенка; наказний гетьман (1674); сосницький сотник (1677, 1689, 1691); супроводжував гетьмана І. Мазепу до Москви (1689).

...Никольский монастырь на месте Греческого двора — московський Микільський (Ніколаєвський) монастир заснований в кінці XIV ст., в 60-х рр. XVII ст. переданий грецьким монахам. Пізніше повністю перебудований. Знаходиться на нинішній вулиці 25 Октября, поблизу Заіконоспаського монастиря й Історико-Архівного інституту.

Иванов Ларион (? —1682) — думний дяк, керуючий Посольським приказом; вбитий стрільцями під час Московського повстання 15—16 травня 1682 р.

Патриарший приказ — церковна установа, що керувала патріаршими й митрополичими вотчинами в Росії; заснований на початку XVII ст. патріархом Філаретом, який керував цим приказом.

Матвеев Артамон Сергеевич (1625—1682) — боярин, думний дяк, начальник Малоросійського приказа.

Савелов Иоаким, патриарх — Савелов Іван Петрович, російський патріарх (1673—1690).

...Белый город, тотчас за Неглинною...— частина Москви в межах сучасного Бульварного кільця, де знаходились садиби бояр, сади, монастирі — Рождественський, Високо-Петровський, Сретенський та ін., Пушечний і Опричний двори. *Неглинна* — річка, нині загнана в підземні труби.

...про Лазаря и богача читывал...— йдеться про євангельську притчу про багатого й Лазаря, з якої випливає, що чим людина більше страждає на землі, тим краще їй буде на небі, а багатий значно більше шансів має потрапити до пекла (Євангеліє від св. Луки, р. 16, вірш 19—31).

СЛОВНИК

Адама́шка — сорт шовкової тканини.

Ада́мова голова — малюнок людського черепа під зображенням хреста (на хрестах, поминальних граматках тощо).

Але́мбик — скляний перегонний куб.

Алты́н — срібна монета в 6 грошів, або 3 копійки.

Амана́т — заложник.

Амба́р — сарай, комора.

Анады́сь — намедни — допіру, нещодавно.

Анала́в — деталь православного ритуального одягу — плат із зображенням хреста, черепа тощо, який носиться на грудях.

Анало́й — предмет церковного ритуалу — високий столик з похилим верхом, на який кладуть ікони, богослужбові книги тощо.

Аске́р — воїн.

Байра́к — яр, порослий лісом.

Ба́ли — балачки.

Баса́н — облямівка плаття.

Ба́хур — коханець, розпусник.

Бере́зка, березонька — повитиця, плетуха звичайна.

Біскуп — католицький єпископ.

Боло́на (болонь, оболонь) — лука; відкрите місце.

Басма́нный — від «басма» — портрет владаря (спершу — хана). Басманними (басменними) називали оклади священних книг, ікон, хрестів, покриті чеканкою у вигляді фігурок чи портрета святих.

Беглербе́г — турецький губернатор.

Бейлы́к — володіння бея — турецького начальника певної території.

Беке́ша — верхній теплий чоловічий одяг з брижами в стані.

Бирюч — вісник, глашатай.

Брань — битва, війна.

Бра́тина — кухоль, ківш, миска.

Бра́тчина — свято, бенкет, який селяни влаштовували спільно по закінченню жнив чи взимку.

Бурми́стр — бурмистер, міський голова.

Буркалы (лайливе) — булькаті очі.

В привáті — приватно.
Вагá — тут: вагання.
Варýнок — умова.
Вáшець — ваша милість *(чемне звертання)*.
Вергати — кидати
Війт — голова судової колегії в міському суді.
Влáдза — влада.
Волéння — бажання.
Волíнка (розмовне — коза) — старовинний музичний духовий інструмент з трьома дудками й шкіряним міхом-резонатором.
Вцáлє — цілковито.

Волхв — мудрець, чарівник, знахар.
Ворóтник — вартовий коло міської брами.
Вотчúнник — власник вотчини — родової земельної власності.
Вóшвы — вшиті з іншої тканини деталі одягу, часом з вишивкою.

Гáна — осуд, неслава.
Гирлúга — довгий ціпок, загнутий на кінці, яким користуються вівчарі.
Гирувáти — розмірковувати.
Глúгати — глитати, лигати.
Голíнний — бравий, молодецький.
Горлúвість — дбайливість.
Гостéць — ревматизм.
Голд, голдóвник — поселенець на чужій землі; хазяїн, залежний від власника; пожиттєвий арендатор, васал.
Губá — адміністративно-територіальна округа у Московській Русі (пізніше — повіт).
Гудóк — старовинний музичний смичковий інструмент, що має три струни.
Гудóшник — скоморох, гравець на гудку й волинці.
Гумнó — тік.
Гяýр — немусульманин, невірний, християнин.

Дáча — землеволодіння.
Джýра — молодий козак, слуга й товариш значного козака.
Деснúця — права рука.
Дúман — демон.
Дошпéтний — доречний.
Драпéжний, драпíжний — хижацький.
Дрáхвá (дрóхвá) — великий степовий птах родини журавлеподібних.
Дýбити — дерти, здирати (про гроші), бити.

Дёверь — брат чоловіка.
До́мра — народний щипковий музичний інструмент.
Достально́й — останній; той, що лишився.
Дува́н — здобич; розподіл здобичі, частина здобичі при розподілі.
Дува́нить — ділити.

Епитрахиль — ритуальний православний одяг — довга смуга тканини, що надягається на шию під ризою.
Екте́ния — заздравне моління з відповідями хору — за царя, митрополита тощо.
Ендова́— дерев'яна або металева човноподібна посудина з широким горлом для розливання напоїв.
Епанча́— широкий чоловічий плащ-накидка, без рукавів; такий же, але коротенький, жіночий.
Еса́ул — старший (після отамана) над козаками.

Жупа́н — верхній чоловічий одяг.
Животы́— майно, життя.

Зави́стувати — заздрити.
Залеца́ти — доручати
Зда́нє— думка, судження.

Землни́н (землянúн) — постійний мешканець, член сільської громади.
За́сека — засіка, завал із зрубаних дерев.
Заты́нщик — воїн-оборонець міста, бойовий пост якого — «за тином» — за стіною всередині фортеці або на валу.
Зёмский (суд) — від земство — громадське управління в повітах (поза містами).
Зипу́н — російський селянський верхній одяг з домотканого сукна, без коміра, сіряк.

Ізгарб — заметіль.

Иги́т, джиги́т — воїн, вершник.
Извёт (изветная челобитная)— донос.
Ирмос — вступний вірш церковної пісні, який вихваляє його зміст.

Кармази́нний — з кармазину — дорогого сукна малинового кольору.
Каштеля́н — управитель замку.
Кирёя — довгий теплий плащ з сукна з капюшоном (відлигою).
Кита́йка — шовкова матерія, здебільшого червона.
Клейно́т — дорогоцінність.
Конёчний — обов'язковий, необхідний.

Корми́га — ярмо, поневолення.
Корово́дець — перезва, хоровод.
Коромо́ла — змова.
Кото́ра — чвара.
Кравчи́на — військовий загін.

Кабалі́стика, кабала́ — містична течія в іудаїзмі, що розглядає Біблію як світ символів, знання яких дозволяє людині втручатися в божественно-космічний процес.
Кади́-аске́р — військовий суддя.
Капуджи́-баши́—«хранитель дверей ханського шатра» — придворний титул.
Ка́торга — весельне судно, галера.
Кафи́зма — назва кожного з 20 відділів, на які розділений псалтир для читання при православному богослужінні.
Ки́ка — російський народний жіночий головний убір.
Кио́т — засклена складана рама чи шафка для ікон.
Киси́м баши́— стяти голову.
Кисте́нь — зброя: коротка палиця з прикріпленою до одного кінця на ланцюгу металевою кулею, гирею тощо.
Клеть — комора; чотирикутний зруб з колод.
Клюга́— металева насадка списа.
Ко́зырь (на кафтане) — клапоть червоного сукна з жовтою нашивкою, який носили розкольники при Петрі І; високий стоячий комір.
Коре́ц — залізний чи дерев'яний ківш; міра сипучих тіл.
Кружа́ло — шинок.
Ку́нка — (куна, кунья мордка) — старий грошовий знак, коли хутро куниці (соболя, білки) заміняли гроші.
Курилта́й, курулта́й — ханська рада.

Ла́вник — член міського суду.
Ла́нець — обідранець.
Лемі́ш — робоча деталь плуга.
Лещи́нник, ліщина — зарості лісового горіха.
Лєпш — ліпше, краще.
Личаки́— селянське взуття, плетене з лика.
Личма́н — ляпас; металева нашийна жіноча прикраса; вівчар.
Літа́нія — вид католицької молитви, яка виконується під час урочистих процесій.
Луга́р — розбійник, що живе в лузі, в плавнях.
Лука́— вигин (річки, брови, сідла тощо).
Люба́стровий — алебастровий.

Ле́тник — жіночий літній одяг.

Литургíя — головне християнське богослужіння (обідня), під час якого відбувається таїнство причастя.

Лотыгóла (летгóла) — російська назва (поряд з летьегóла) — древнєлатиської народності латгалів; жили на правому березі Даугави, а з XII ст. поширились і на територію угро-фінського племені лівів — узбережжя Балтійського моря в районі сучасного Вентспілса.

Любодéйцы — перелюбники.

Магістрáт — міська управа.

Малжéнство — шлюбне подружжя.

Масни́ця — тиждень до великого посту, коли церква дозволяє вживати м'ясо й розважатися.

Мéно, мéньня — ім'я.

Меріти — мріти

Ми́згатись — залицятись, гультяювати.

Мізи́льна (мізинна) дитина — найменша, наймолодша, мізинчик.

Місь — замість.

Міч — міць, сила, могутність; меч.

Мосцíвий (пан) — шляхетний, вельможний.

Музувíр, (бузу*вíр, безувíр)* — нехристиянин, бусурман; люта, безжалісна людина.

Мýфті(й) — вчений, знавець Корану, консультант в духовних та юридичних справах (на суді тощо).

Мотчáнье — зволікання.

Мошнá— торбина для грошей, гаман; багатство.

Мурáвленый — полив'яний; обкладений полив'яною плиткою — кахлями.

Мытарь — збирач податків в Іудеї; збирач мита (плата на заставі за право проїзду) в старій Русі.

Навісни́й — навіжений, скажений.

Назби́т — занадто.

Нали́га — ярмо.

Настобóрщитися — настовбурчитися.

Непритóмність — відсутність.

Ним — поки.

Нáкры — давньоруський ударний музичний інструмент на зразок барабана чи бубна.

Намáз — щоденна мусульманська молитва.

Недéльщик — розсильний з приказа.

Нектáр — солодкий сік; в античній міфології — напій богів, що дарує їм безсмертя.

Ординувáти — направляти, посилати.
Оспáлий — змарнілий, в'ялий, недбалий.
Отруї — отруювачі.
Оцвáньок — обрубок, оцупок.

Обéдня — див. литургия.
Обрúк, обрúка — корм коням — овес із січкою.
Óбъярь — старовинна шовкова тканина; муар.
Оклáд (ікони) — металеве прикрашене покриття на ікону.
Окольнúчий — царський урядовець, що відав прийомом послів, спорядженням обозів тощо.
Óпашень — літній чоловічий довгий просторий одяг із сукна.
Óткуп, откупá — право на стягнення з населення податків, на монопольне ведення торгів; викуп.

Пáплюга — повія.
Пеня́ — штраф; докір.
Підзóрно — підозріло.
Піщáль — старовинна гармата; пізніше — зброя, подібна до гвинтівки.
Плащанúця — предмет релігійного культу — чотирикутний план із зображенням тіла Христа в домовині.
Плóскінь — коноплі.
Повожéня — шастіння.
Полєцéнє — доручення, вказівка.
Поспóльство, поспíльство — громада.
Потáла — наруга.
Прúпетень (припутень) — дикий голуб.
Протесáти — згубити, втратити.
Протоієрéй — те ж, що протопóп — настоятель церковного причту.
Протопóп — те ж, що протоієрéй.
П'ятнó — тавро.

Падишáх (тур.— ш а х ш а х і в) — титул турецького султана.
Перепéча — каравай зі здобного тіста.
Персть — земний прах, пил; плоть.
Повалýша — приміщення для спання в старовинних будівлях.
Подзóр — гаптована чи мереживна крайка, бережок одягу; архітектурна деталь — декоративний різьблений карниз.
Подклéт, подклéть — нижнє приміщення сільського будинку під другим, житловим, поверхом.
Позумéнты — позлітка, позумент.

Полть, пóлоть — половина м'ясної туші.

Полуштóф — міра питва, близько півлітра; скляна посудина для напоїв чотирикутної форми.

Порок — механічний пристрій для руйнування стін.

Прíстав — посадова особа, приставлена до когось для нагляду; поліцейський.

Промемóрия — офіційний папір, пам'ятна записка у якійсь справі.

Прóтори — витрати, збитки.

Прямúть — відкрито висловлювати свої думки.

Ралéць, на ралéць — в подарунок.

Рачúтель — дбайлива людина; опікун.

Рачúти — турбуватись про щось, дбати, доглядати.

Регімéнт — полк.

Регіментáр — полковник, воєначальник.

Риштувáти — лаштувати.

Ругá — кошти, які відпускала держава на утримання причту; натуральні приношення прихожан.

Рю́ма — дражливе прізвисько (від рюмсати).

Рябéць — шуліка.

Сайдáк — сагайдак (шкіряний футляр для стріл).

Санджáк — прапор; адміністративно-територіальна округа, що управляється санджакчеєм (він же — начальник фортеці); військові атрибути.

Сап'я́ни — чоботи з сап'яну — вичиненої та яскраво пофарбованої козячої шкіри.

Свиріпа — бур'ян.

Селєрдáр-агá — начальник яничарів.

Сестрíниця — племінниця, дочка сестри.

Скóта (скит) — нора, печера.

Солонéць — ділянка з солоним мінеральним джерелом; солоний грунт; солоне озеро чи джерело.

Спорúш — шпориш — трава.

Спóлний — спільний.

Степовúк — запорожець; той, хто живе в степу.

Стрáнній — сторонній, чужий, мандрівний.

Стропа, строп — канатна петля для вантажу, трос.

Суплíка — скарга.

Суспéкт — підозра.

Сакмá — колія, слід колеса чи полозок; лісова стежка; росяний слід; витоптаний у степових травах слід загону.

Сафья́н — вичинена й пофарбована козина шкіра.

Сая́н — російський жіночий одяг — сарафан, спідниця з бретелями.

Сéнник, сенница — сарай або повітка для зберігання сіна.
Сераскúр — воєначальник, головнокомандуючий.
Сермя́га — верхній чоловічий одяг з сирового, нефарбованого сукна.
Сермя́жник, сермяжница — зневажлива назва селянина чи селянки.
Серя́к — те ж, що сермяга і сермяжник.
Сеунч — в давній Русі — вісник, гонець.
Сикофáнт — наклепник, донощик.
Синóдик — поминальний список; поминальна церковна служба.
Сипáй — солдат найманого війська в Індії (XVIII — XIX ст.).
Слуп — стовп; пас волової вичиненої шкіри на чоботи.
Смýшка — хутро з шкурок новонароджених ягнят.
Стамéд — шерстяна тканина.
Станúца — козацький загін з певного селища; ключ перелітних птахів.

Талá, талú— верболіз.
Ташлúк — річка.
Тýрнія — рицарський турнір, герць, двобій.
Тýрський — турецький.
Тусáн — стусан.
Тат-агасы— урядовець, що здійснював нагляд над усіма невільниками в Кримському ханстві.
Тáты — татарські піддані, християни.
Тáфья — невеличка кругла шапочка — тюбетейка, ярмолка, єломок,— яку носили під шапкою.
Тимарли —«служилые помещики, вроде русских детей боярских» *(авт.).*
Трéбник — богослужбова книга, де вміщено молитви до різного роду церковних відправ (треб) в належному порядку.
Трут — гніт або висушений гриб трутник, що застосовується при викрешуванні вогню.
Тубóльцы — тубільці.
Тул — колчан для стріл, сагайдак.
Тулумбáс — ударний музичний інструмент на зразок літавр.
Тяглó— податок за ремісничий промисел, що стягався з жителів посаду чи слободи.

Убрýс — рушник, хустка, габа; вишиваний оклад на ікону.
Улєм — учений мусульманський суддя чи церковник.
Уды — частини тіла, члени.
Укрух (хліба) — кусень.

Фáкція — змова; група, фракція.
Форбóти — мережива.
Фиáл — широка пласка чаша із легко загнутими досередини краями; чаша, кубок.
Фряг, фрязин, фряжанин — італієць; чужоземець.

Хармáркати, харамáркати — мурмотати.
Харцúзство — грабунок, розбій.
Харцизя́ки, харцúзи — розбійники.
Хúжа, хúжка — комірка.
Хірхýлі — плутні, хитрощі.
Хорýжий, хорýнжий — нижчий офіцерський чин в козацькому війську.

Херувúмская — молитовний спів, що розпочинається словами «Иже херувимы...»

Цидýла — записка, лист.

Целовáльник — на Русі у XV — XVII ст.— збирач податків, поліцай, судовий урядовець; ці посадові особи, обіймаючи посаду, присягали цілуванням хреста.

Червінець — золота монета 3 крб., а пізніше — і в 5 та 10 крб.
Черня́к — чоловік простий.
Чорнокнúжництво — мистецтво магії, чаклунство.
Чýра — див. джýра.

Чамбýл (чембур) — третій, окремий, повід гнуздечки, за який водять чи прив'язують коня.
Чапрáк, чепрак — підстилка під кінське сідло — з сукна, килима, хутра.
Часы́— церковні відправи у ранніх християн; пізніше церква поєднала молитви й обряди першого часа з утренею, третього й шостого — з обіднею, дев'ятого — з вечернею.
Четь — міра землі: 40 сажнів у довжину та 30 сажнів у ширину, або 1,5 десятини, тобто 1,638 га.
Чугá— чоловічий дорожній одяг — вузький короткий каптан з рукавами до ліктя.
Чухнá (або чухонці, майміси) — російська народна назва фінських племен карельського походження, що жили в околицях Петербурга, в Інгерманландії.

Шáлеві пояси — пояс з тонкої строкатої шерстяної тканини.
Швáгер, шýрин — брат дружини.
Шúки — ряди; — шикувáтися — вистроювати ряди.
Шкилювáти — висміювати.

Шалтáн — султан.
Шелéхнути — шелеснути.
Ширитвáс, шеритвáс — чан, казан.
Шпóни — кігті.

Штýчне — фальшиве.
Шульпіка — шуліка, яструб.

Шестипсáлмие — шість псалмів (3-й, 37, 62, 87, 102, 142-й), читанням яких розпочинається утреня — церковна православна відправа.
Шайтáн — у мусульман — чорт, диявол.
Штоф — міра напоїв (близько 1 л.), чотиригранна пляшка.

Эджйды —«нечто вроде наших казаков» (*авт.*).

Юрт — володіння, область, земля, держава.
Юха — спритняк, пролаза.

Ялмýжна — милостиня.

Ям — селище, де знаходяться поштова станція і живуть ямщики — селяни, що перевозять на своїх (а пізніше — казенних) конях пошту й подорожніх.
Ямник — збирач податків на поштову службу.
Ярыза, ярыга, ярыжка — розсильний в поліції, переносне — п'яничка, волоцюга, дармоїд.

ЗМІСТ

ПОВІСТІ

ЛИТЕРАТУРНО ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ

КОСТОМАРОВ
Николай Иванович

СОЧИНЕНИЯ
В ДВУХ ТОМАХ

Том второй

ПОВЕСТИ

Составление, предисловие
и примечания
В. Л. Смилянской

Киев,
издательство художественной литературы
«Дніпро»

На украинском языке

Редактор *Л. С. Пономаренко*
Художнє оформлення *Р. К. Пахолюка*
Художній редактор *А. І. Клименко*
Технічний редактор *П. Д. Цуркан*
Коректор *В. Ф. Котляревська*

ИБ № 4653

Здано до складання 28.12.89.
Підписано до друку 22.05.90.
Формат 84×108[1]/32. Папір друкарський № 2.
Гарнітура таймс. Друк високий.
Умовн. друк. арк. 41,16+1 вкл.Умовн. фарбовідб. 41,423.
Обл.-вид. арк. 45,741. Тираж 120 000 пр. (I з-д 1—65 000 прим.)
Зам. 0—84. Ціна 3 крб. 80к.

Видавництво художньої літератури «Дніпро».
252601, Київ-МСП, вул. Володимирська, 42.

Головне підприємство
республіканського виробничого
об'єднання «Поліграфкнига».
252057, Київ, вул. Довженка, 3.

Костомаров М. І.

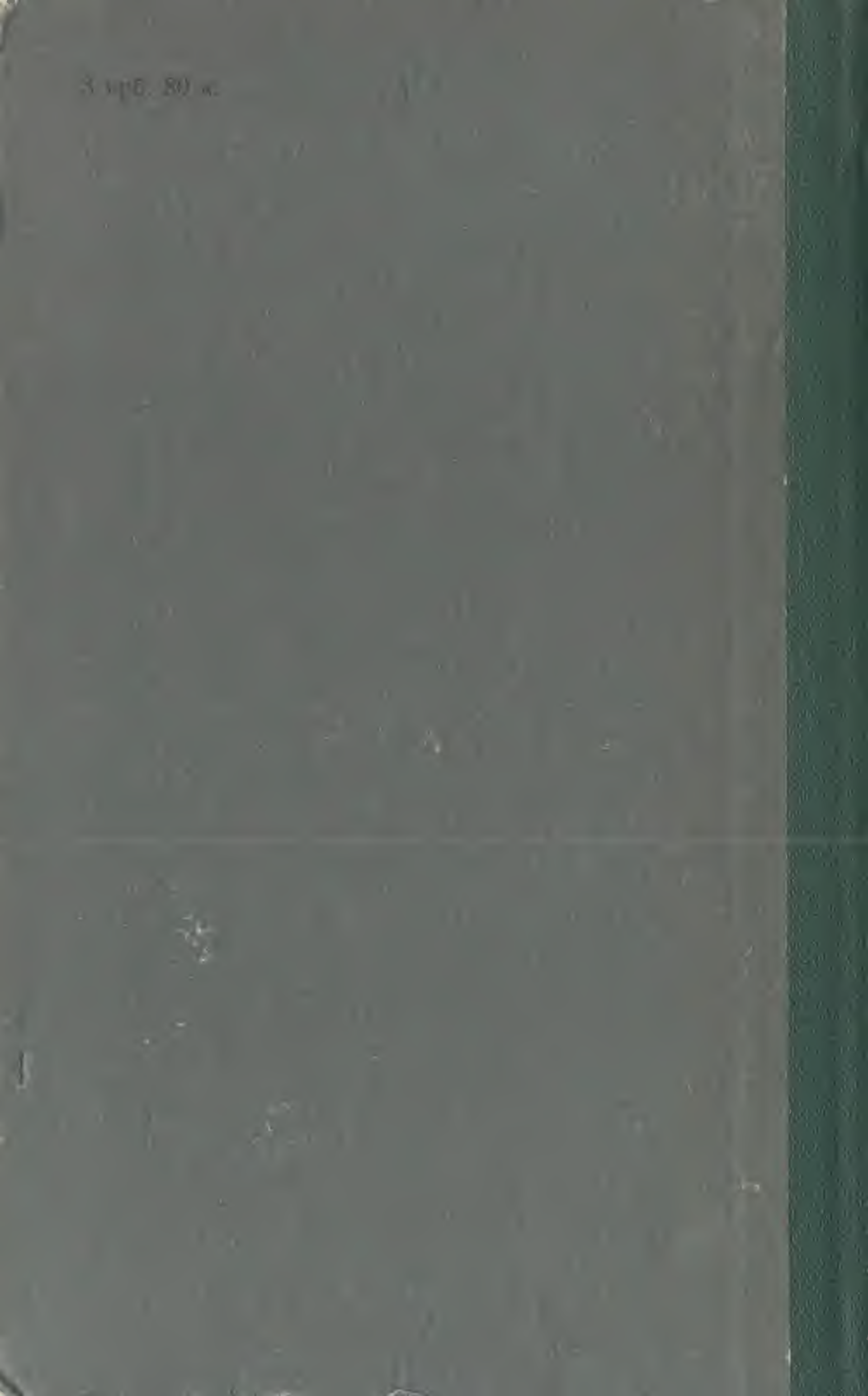
К72 Твори: В 2 т.— К.: Дніпро, 1990.— Повісті. /Упоряд., передм. та приміт. В. Л. Смілянської.—780 с.

ISBN 5-308-00582-6 (т. 2)
ISBN 5-308-00583-4

До тому ввійшли історичні повісті, написані російською мовою, в яких відображено побут, звичаї, трагічні події XVI — XVIII ст.— «Сын», «Кудеяр», «Сорок лет», «Холуй», «Черниговка».

К $\frac{\text{4702640106—052}}{\text{М205(04)—90}}$ **52.90**

ББК 84Ук1+84Р1


3 руб. 80 к.